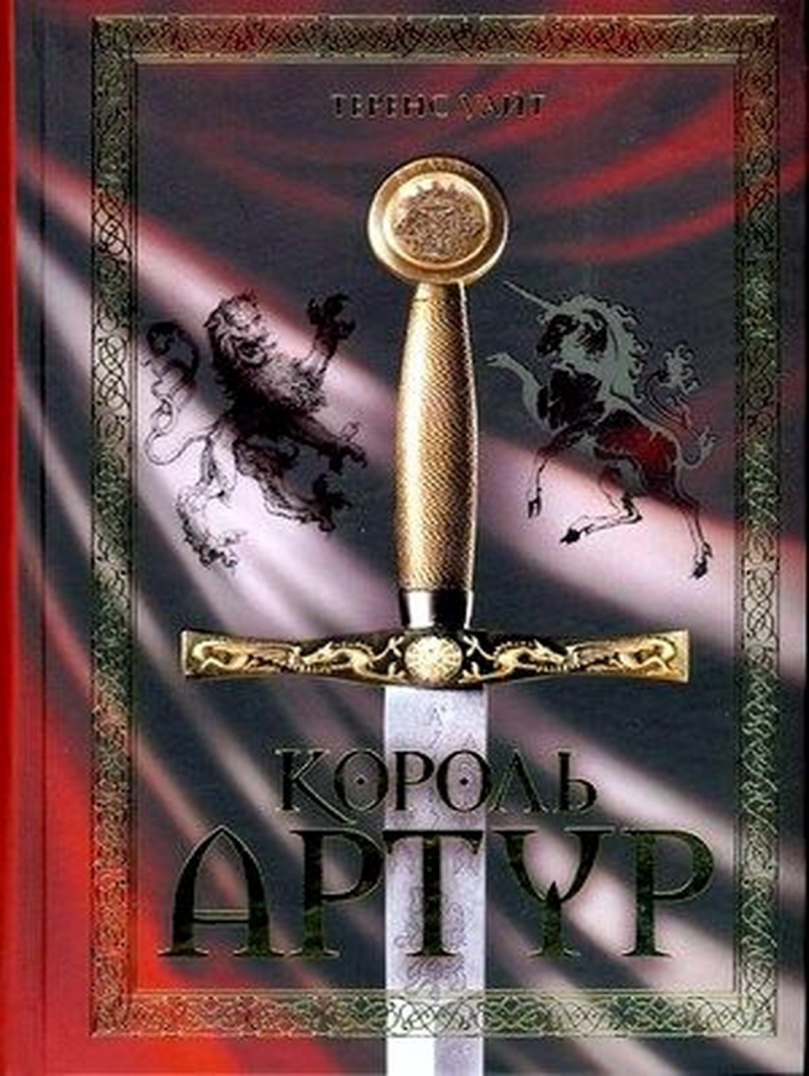
Теренс Уайт
Король
Артур

# Король Артур (сборник)
# Теренс Хэнбери Уайт

Аннотация
Теренс Хэнбери Уайт. Король Артур
Меч в камне
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
Царица Воздуха и Тьмы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Рыцарь, совершивший проступок
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Свеча на ветру
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
Книга Мерлина
1
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## Аннотация

Впервые на русском языке полное издание романов о Короле Артуре (в оригинале Король былого и грядущего) знаменитого английского писателя Теренса Хэнбери Уайта (1906-1964). Наряду с эпопеей Джона Рональда Руэла Толкина "Властелин Колец" и трилогией "Горненгаст" Мервина Пика - это одна из самых знаменитых и необычных книг жанра "фэнтези".

Легенда о храбром и мудром Короле Артуре и благородных рыцарях Круглого Стола пережила немало веков. О Короле Артуре писали много и охотно. Однако слава лучшего романиста досталась 33-летнему англичанину Теренсу Хэнбери Уайту. Это он заставил миллионы пламенных сердец вспыхивать жаром, наслаждаясь чтением книг о дворе Короля Артура: тайных дворцовых заговорах и интригах, погонях и схватках на мечах, ядах роковых красавиц, любовных чарах и клятвах на крови.

# Теренс Хэнбери Уайт
# Король Артур

# Меч в камне

*Не в обычной стране, где шумят леса,*
*Льются воды и воздух колышется голубой,*
*Но у Мерлина, в Стране Волшебства*
*Станем странствовать мы с тобой.*
*INCIPIT LIBER PRIMUS*

# 1

Понедельники, среды и пятницы отводились под скоропись и Основания Логики, а остальные дни недели — под «Органон», Зубрежку и Астрологию. Гувернантка вечно сбивалась, объясняя устройство астролябии, и, запутавшись окончательно, отнимала ее у Варта, шлепая его по рукам. Кэя она по рукам не шлепала, потому что, когда Кэй подрастет, он будет зваться сэр Кэй, владетель угодий. Варта прозвали Вартом, то есть «прыщом», потому что это более-менее рифмовалось с «Артом» — его настоящим, хоть и укороченным, именем. Это Кэй его так прозвал. Кэя же называли только Кэем и больше никак, поскольку он был слишком высокороден, чтобы давать ему прозвища, и разгневался бы на всякого, кто попытался бы это сделать. У гувернантки были рыжие волосы и какая-то таинственная рана, обеспечившая ей немалый престиж средь всех женщин замка, которым она эту рану показывала, разумеется, закрыв предварительно двери. Сказывали, что рана помещается у нее на седалище и причинена она некими доспехами, на которые гувернантка неосмотрительно усе-

лась во время одного пикника. В конце концов, она предложила показать эту рану сэру Эктору, приходившемуся Кэю отцом, а затем у нее начались истерические припадки, и ее отослали. Позже выяснилось, что до того, как поступить в гувернантки, она три года провела в приюте для душевнобольных.

После полудня программа была такая: понедельники и пятницы — турнирное дело и выездка; вторники — соколиная охота; среды — фехтование; четверги — стрельба из лука; субботы — теория рыцарства, включая науку о том, на какие лады трубить во всяком случае жизни, терминология ловитвы и все добрые правила охоты. Ежели ты ошибался, скажем, трубя сигнал или разделывая добычу, тебя пригибали к туше убитого зверя и плашмя лупили мечом. Это называлось «сделать отбивную». Грубая забава, вроде бритья головы при переходе экватора. Кэю отбивных не делали, хоть ошибался он часто.

Когда они избавились от гувернантки, сэр Эктор сказал:

— Да в конце-то концов, пропади все оно пропадом, нельзя же, чтобы мальчики целый день скакали тут, как хулиганы, — в конце-то концов, пропади оно пропадом! В их возрасте полагается

получать первостатейное образование. Я в их гады долбил всю эту латынь и прочее каждый день аж с пяти утра. Счастливейшее время во всей моей жизни. Передайте-ка мне портвейн.

Сэр Груммор Груммурсум, заночевавший в замке, потому что ночная тьма застигла его в пути после особенно долгого гона, сказал, что его в этом возрасте драли каждое утро, так как он вместо того, чтоб учиться, удирал охотиться с соколом. Сдается, что эта-то слабость и не позволила ему одолеть в грамматике «будущее простое». Это где-то в первой трети левого листа, сказал он. А лист, помнится, был девяносто седьмой. Портвейн он передал.

Сэр Эктор спросил:

— Хорошо поохотились нынче? Сэр Груммор ответил:

— Да неплохо. По правде, отличный вышел денек. Застукал одного малого по имени сэр Брюс Безжалостный, как раз он сносил голову девице в Сорной Пуще, гнал его до Навозной Просади в Бичестере, там он спетлил и скрылся в Гиблом Лесу. Добрых двадцать пять миль он от меня драпал.

— Крепкий орешек, — сказал сэр Эктор.

— Да, так вот насчет мальчишек, обо всей этой латыни и прочем, — добавил старый джентль-

мен. — А то, понимаете ли, amas, а они тут скачут, как хулиганы: что бы вы мне присоветовали?

— А, — сказал сэр Груммор, прикладывая палец к носу и прижмуривая глаз, обращенный к бутылке, — тут надо крепко подумать, если вы не против таких моих слов.

— Отчего буду против? — сказал сэр Эктор. — Спасибо и на том, что вы вообще хоть что-то сказали. Премного вам благодарен, а как же! Подлейте себе портвейна.

— А хороший портвейн.

— Мне доставляет его один из моих друзей.

— Так вот насчет мальчиков, — сказал сэр Груммор. — Сколько их тут, вам известно?

— Двое, — сказал сэр Эктор, — ну, то есть, если считать обоих.

— В Итон, я полагаю, вы их услать не можете? — осторожно осведомился сэр Груммор. — Дальний путь и все такое, это мы понимаем.

На самом деле назвал он не совсем Итон, ибо Колледж Благословенной Девы Марии был основан не раньше 1440-го, но названное им место было примерно в этом же роде. Да и пили они не портвейн, а Метеглин, — просто упоминание о современном вине позволит вам лучше прочувствовать атмосферу.

— Дело не то чтобы в расстоянии, — сказал сэр Эктор, — а в этом великане, как бишь его, который засел на пути. Сами понимаете, придется пробираться по его землям.

— А как бишь его?

— Да вот не могу сейчас вспомнить, хоть убей. Ну, тот парень, что живет у Бурливых Вод.

— Галапас, — сказал сэр Груммор.

— Вот этот самый.

— Тогда остается только одно, — сказал сэр Груммор, — обзавестись наставником.

— Вы имеете в виду малого, который умеет учить?

— Вот именно, — сказал сэр Груммор. — Наставник, понимаете ли, это такой малый, который умеет учить.

— Хлебните еще портвейна, — сказал сэр Эктор. — После такой охоты вам это необходимо.

— Великолепный денек, — сказал сэр Груммор. — Только похоже, что в наши дни великана уже не добудешь. Гонишь его двадцать пять миль, а после всего только и остается, что пометить место, где он ушел в нору, если ты его и вовсе не потерял. Хуже нет — начинать охоту сначала.

— Мы перебили у них всех пащенков, — сказал сэр Эктор. — Теперь они позволяют себя погонять,

но всегда удирают.

— Сдваивают следы, — сказал сэр Груммор. — Так бы я выразился. Вечная история с этими крупными великанами, когда им есть куда удрать. Они сдваивают следы.

— Однако если придется обзаводиться наставником, — сказал сэр Эктор, — то я все же в толк не возьму, как его раздобыть.

— Дайте объявление, — сказал сэр Груммор.

— Да уж давал, — сказал сэр Эктор. — «Хумберландский Глашатай и Кардалский Известник» все горло себе надорвал.

— Значит, единственный способ, — сказал сэр Груммор, — это снарядиться на поиски.

— Вы разумеете поиски наставника, — уточнил сэр Эктор.

— Вот именно.

— Hie, Haec, Hoc, — сказал сэр Эктор. — Подлейте себе этого пойла, как бы оно там ни называлось.

— Смак, — сказал сэр Груммор.

На том они и порешили. Сэр Груммор Груммурсум назавтра отбыл домой, а сэр Эктор завязал на носовом платке узелок, чтоб не забыть заняться поисками наставника, как только выпадет свободное время, и поскольку он не вполне себе представлял, с чего же их начинать, он покамест

рассказал мальчикам о предложении сэра Грумора и велел им хулиганить поменьше. И все отправились на уборку сена.

Стоял июль, а в этом месяце все способные на то мужчины и женщины владения работали в поле под водительством сэра Эктора. Во всяком случае, на это время про образование мальчиков можно было забыть.

Замок сэра Эктора располагался на обширной росчисти посреди еще более обширного леса. Вокруг замка шли двойные стены и крепостной ров, защищенный тыном. Укрепленный каменный мост доходил до середины рва. Другую половину рва перекрывал мост деревянный, подъемный, который каждую ночь подтягивали кверху. Перейдя подъемный мост, вы оказывались в начале единственной деревенской улицы длиной примерно в полмили, по сторонам которой лепились глинобитные, крытые соломой домишки. Улица делила росчисть на два больших поля: левое, пахотное, было нарезано на сотни узких и длинных полос, а правое спускалось к реке, — половина его использовалась под выпас, а другая, отгороженная, под сенокосный луг.

Стоял июль, и погода стояла июльская — такая, какой и полагалось стоять в Старой Англии. На

бронзовых, как у индейцев, лицах устрашающе сверкали зубы и сияли глаза. Собаки слонялись, высунув языки, или, задыхаясь, валялись в скудной тени, а деревенские лошади били себя по потным крупам хвостами и все норовили большими задними копытами смахнуть слепней с живота. Коровы лениво бродили по пастбищу или же, задрав хвосты, скакали, сильно гневя тем сэра Эктора.

Сэр Эктор, забравшись на верхушку омета, откуда ему было видно, чем занимается каждый, выкрикивал приказания во все концы двухсотакрового поля, и лицо его багровело. Лучшие косцы, удаляясь, двигались в ряд по еще нетронутой траве, и косы их гудели под сильным солнцем. Женщины деревянными граблями сгребали подсохшее сено в длинные валки, а два мальчика шли с сенными вилами следом и выравнивали валки, чтобы сено удобнее было метать. За ними, грохоча шипастыми деревянными колесами, двигались большие возы, запряженные лошадьми или медленными белыми волами. Один мужчина стоял на возу, принимая охапки и распоряжаясь, и еще двое шли по бокам, подбирая вилами сено, приготовленное мальчиками, и закидывая его первому наверх. Повозку проводили по лугу

между двумя валками, загружая ее в строгой последовательности от передних кольев воза к задним, и человек наверху сердито покрикивал, указывая, с какой стороны метать. Погрузчики ворчали на мальчиков за плохо уложенное сено и грозились отдубасить их, если те, замедлив шаг, попадутся им в руки.

Когда воз нагружался доверху, волов подводили к скирде, на которой стоял сэр Эктор, и вилами сметывали сено наверх. Это было дело нетрудное, потому что сено загружалось с соблюдением определенного порядка — не то, что теперь, — и сэр Эктор забирался все выше, уступая место своим помощникам, которые и делали всю работу, а сам утаптывал сено, потел, тыкал вилами туда и сюда, пытаясь заставить скирду расти ровно, и кричал, что она развалится, едва задуют западные ветра.

Варту нравился сенокос, и дело у него спорилось. Кэй, двумя годами старше его, обыкновенно вставал на край охапки, которую норовил подцепить, и в итоге сил у него уходило вдвое больше, чем у Варта, а результатов было вдвое меньше. Но он не терпел, когда его хоть в чем-то превосходили, и обычно сражался с проклятым сеном до одури.

День после гостевания сэра Груммора выдался изнурительным для мужчин, весь срок от утренней дойки и до дневной, и еще после нее до захода солнца тяжко трудившихся, сражаясь с душной стихией. Ибо сено было для них природной стихией, — подобной воздуху или морю, — они в ней плавали, ныряли в нее и даже ею дышали. Мелкие семена и сенная труха набивались им в волосы, в рот, в ноздри, забирались, щекоча, под одежду. Впрочем, одежд на них было всего ничего, и тени между их плавно игравшими мускулами синевой отливали на орехово-смуглой коже. Те, кого страшила гроза, сказались в то утро больными.

Гроза разразилась после полудня. Сэр Эктор продержал людей на поле до того, что громадные всполохи засверкали уже прямо над их головами, и с неба, темного словно ночь, ударил ливень, и они сразу промокли насквозь и не могли ничего разглядеть в сотне ярдов от себя. Мальчики забрались под возы, зарылись, съежившись, в сено, чтобы уберечь тепло мокрых тел от холодного ветра, и подшучивали друг над другом, пока над ними рушились небеса. Кэя трясло, хоть и не от холода, но он, как и все, зубоскалил, не желая выказать страха. При последнем, самом сильном

раскате все невольно содрогнулись, и каждый увидел испуг другого, и все рассмеялись, отгоняя смехом стыд.

И на этом уборка сена закончилась, можно было поиграть. Мальчиков отправили домой переодеться. Старая дама, их няня, принесла из-под гладильного пресса сухие дублеты, выговорила мальчикам за то, что они играют со смертью, и осудила сэра Эктора, так надолго их задержавшего. Вслед за тем, надев чистые рубахи, они выбежали на дышавший свежестью, искрящийся двор.

— Давай возьмем Простака и посмотрим, — сумеет он добыть пару кроликов на ловчем поле, — воскликнул Варт.

— Полезут тебе кролики наружу в такую мокредь, — сказал саркастически Кэй, довольный, что поймал его на ошибке по части естествоведения.

— Да ладно, пойдем. Скоро подсохнет.

— Ну, тогда я понесу Простака.

Когда они вдвоем выходили охотиться, Кэй всегда настаивал, что нести ястреба и спускать его будет он. Он обладал таким правом — не только по старшинству, но и потому, что был законным сыном сэра Эктора. А Варт не был законным сы-

ном. Эта особенность его положения оставалась для него не очень понятной, но упоминания о ней не доставляли ему удовольствия, поскольку Кэй, похоже, считал, что она как-то его принижает. К тому же не иметь ни отца, ни матери — означало отличаться от всех остальных, а Кэй приучил его к мысли, что в таком отличии хорошего мало. Никто с ним про это не разговаривал, но он размышлял на эту тему, оставаясь один, и испытывал боль. Он не любил упоминаний об этом, а поскольку такие упоминания оказывались неизбежны, едва между мальчиками возникали споры о первенстве, Варт приобрел привычку уступать сразу, еще до упоминания. Кроме того, он любил Кэя и всегда нуждался в том, чтобы кто-то его направлял. В нем была сильно развита потребность в герое, перед которым он бы мог преклоняться.

— Так пошли же! — воскликнул Варт, и они припустились к кречатне, опрокидывая попадавшиеся по пути тележные колеса.

Кречатня была одним из важнейших в замке мест — после конюшни и псарни. Она располагалась прямо напротив башенного покоя и смотрела на юг. Окна, пробитые в наружной стене замка, пришлось сделать маленькими — как

никак укрепление, но те, что выходили на двор замка, были большими и давали обильный свет. На окна были тесно набиты отвесные планки, поперечные же отсутствовали. Отсутствовали и стекла, но, чтобы уберечь соколов от сквозняка, в маленькие окна были вставлены роговые пластинки. В одном конце кречатни располагался небольшой очаг, — тут находилось нечто вроде места для отдыха, наподобие того угла в седельной, где сырыми ночами после лисьей охоты собираются грумы, чтобы начистить сбрую. Здесь помещались два стула, котел, верстак со множеством разнообразных ножичков и хирургических инструментов и несколько полок, уставленных горшочками. На горшочках имелись бирки: «Кардамон», «Имбирь», «Ячменный сахар», «Корчи», «От хрипов», «От запора», «Вертеж» и тому подобные. Здесь были развешаны кожи, искромсанные там, где от них отрезали куски для

изготовления опутенок, должиков и клобучков[1]. С аккуратного ряда гвоздей свисали бубенчики, шарнирчики и серебряные ногавки с клеймом сэра Эктора на каждой. На особой полке, самой красивой, стояли клобучки: совсем старые, растрескавшиеся полевые клобучки, изготовленные еще до рождения Кэя, крошечные клобучки для кречетов, маленькие для соколов-самцов, прекрасные новенькие клобучки, которые кроились для препровождения времени долгими зимними вечерами. Все они, кроме полевых, несли цвета сэра Эктора: белая с красной байковой оторочкой и сизоватым султанчиком наверху, сделанным из горловых перьев цапли. На верстаке валялась всякая всячина, какую можно увидеть в любой мастерской: обрывки веревок, куски проволоки, разные железки, инструменты, ломти хлеба и сыра, подъеденного мышью, кожаная бутылка, несколько изодранных перчаток на левую руку,

---

**[1] notes: 1**

Опутенки — ременные или суконные кольца на ноге ловчей птицы, в которые продеваются должики — ремешки, пристегиваемые к рукавице охотника. Ногавки — металлические кольца примерно того же назначения, служащие также для того, чтобы сделать птицу приметной. Клобучки — особые колпачки, в которых ловчие птицы выносятся на охоту (полевые клобучки) или спят ночами. Далее упоминается вабило — одно или два сшитых вместе крыла какой-либо птицы, вырванных прямо с мясом; вабило применяют для приманки сокола или для отъема у него добычи; а также колодка — это действительно деревянная колодка, на которой птица спит во время обучения.

гвозди, куски мешковины, пара вабил. Прямо по дереву верстака кем-то были коряво нацарапаны подсчеты: «Кролики 111 1», «Заец 1 1 1» и так далее. Писал человек не особенно грамотный.

В правой части комнаты, залитой послеполуденным солнцем, размещались отгороженные один от другого насесты, к которым были привязаны птицы. Тут были два маленьких кречета, только-только снятых с колодок, старый сапсан — особой пользы от него не было в этой лесистой земле, но его держали солидности ради, кобчик, которого мальчикам давали, когда они только-только приступили к изучению начал соколиной охоты, перепелятник, которого из доброты содержал сэр Эктор, — птица принадлежала приходскому священнику, — а в дальнем конце в особой собственной отгородке сидел ястреб по кличке Простак.

Кречатню держали в чистоте, пол устилал песок, впитывавший помет и скинутую погадку; прибирали здесь ежедневно. Сэр Эктор приходил сюда каждое утро в семь часов, и двое сокольничих почтительно стояли у двери снаружи. Если они забывали пригладить волосы, он отправлял их на отсидку в казармы. Они не видели в том обиды.

Кэй надел на левую руку одну из перчаток и позвал Простака, — но Простак, злой, с прижатыми перьями, сверкнул на него бешеным оранжевым глазом и спускаться не пожелал. Кэй снял его сам.

— Думаешь, можно его пускать? — с сомнением спросил Варт. — Он же линяет.

— Конечно, можно, дурачок, — сказал Кэй. — Он просто хочет, чтобы сначала его понесли немного, вот и все.

И через покос, на котором лежало, снова намокнув и утратив все свои добрые свойства, с таким тщанием собранное сено, они пошли к ловчему полю, где поднимались деревья, стоявшие сначала вразброс, словно бы в парке, но постепенно стеснявшиеся, отбрасывая уже лесную тень. Под деревьями были прорыты сотни кроличьих нор, столь близко одна к другой, что главная трудность состояла не в отыскании кролика, а в отыскании кролика на достаточном удалении от его норы.

— Хоб говорит, что нельзя спускать Простака, пока он не попробует подняться хотя бы два раза, — сказал Варт.

— Хоб ничего в этом не понимает. Никто не может сказать, готов ястреб травить или нет,

кроме того, кто его несет.

Почувствовав, что его освободили от пут, приготавливая к охоте, Простак немного поворошился, как бы желая взлететь. Он выпятил грудь и взъерошил кроющие наплечные перья и мягкие — на ногах. Однако в последний миг он вроде как передумал и осел на руке, не поднявшись. Это движение ястреба пробудило у Варта неодолимое желание нести его самому. Ему страшно хотелось отобрать птицу у Кэя и самому привести ее в должное расположение. Он был совершенно уверен, что смог бы улучшить настроение Простака, почесывая ему ноги и легко ероша грудные перья, если бы только ему дали этим заняться вместо того, чтобы тащиться сзади с дурацким вабилом. Но он понимал, что постоянно лезть к старшему мальчику с советами значило лишь разозлить его, и потому молчал. Точно так же как во время теперешней ружейной охоты ни в коем случае нельзя порицать старшего по команде, так и в охоте с соколом важно было, чтобы никакой посторонний совет не мешал соколятнику принимать решение.

— Пошел! — крикнул Кэй, выбросив руку вверх, чтобы ястребу было легче сняться, и кролик прыснул перед ними по изрядно подъеденной траве, и

Простак был уже в воздухе. Это движение оказалось неожиданным для Варта, кролика и ястреба, для всех троих, и все трое на миг удивленно застыли. Затем большие крылья летучего убийцы принялись вспарывать воздух, но неохотно и нерешительно. Кролик исчез в неприметной норе. Ястреб поднимался все выше, оцепенело, словно ребенок, высоко подброшенный качелями, пока крылья его не сложились и он не уселся на дерево. Сверху Простак оглядел своих хозяев, раскрыл клюв, словно бы попыхтел, разгневанный неудачей, и затем остался недвижен. Два сердца замерли.

## 2

Изрядное время спустя, когда мальчики уже насвистелись, намахались вабилом и набегались от дерева к дереву за раздраженным и мрачным ястребом, Кэй потерял терпение.

— Ну и пусть убирается, — сказал он. — Все равно проку от него никакого.

— Ой, но мы же не можем его оставить, — закричал Варт. — Что скажет Хоб?

— Это мой ястреб, а не Хоба, — гневно воскликнул Кэй. — Какая мне разница, что он скажет? Хоб — слуга.

— Но ведь Хоб воспитал Простака. Мы-то можем его потерять, мы же не сидели с ним без сна три ночи подряд, не таскали его на себе целыми днями. Нельзя нам бросить Хобова ястреба. Это было бы свинством.

— Ну вот и будет ему урок. И сам он дурак, и ястреб его дрянной. Кому нужен дрянной и глупый ястреб? Оставайся, конечно, раз ты такой чувствительный, а я ухожу домой.

— Я останусь, — печально сказал Варт, — если ты пошлешь сюда Хоба, когда доберешься до дому.

Кэй, злившийся, поскольку он понимал, что спустил птицу, толком, ее не подготовив, двинулся в противоположную от замка сторону, и Варту пришлось окликнуть его и поправить. А Варт, у которого сердце колотилось вовсю, уселся под деревом и уставился на Простака, как кошка на воробья.

Кэю то что, он не так уж и увлекался соколиной охотой, относясь к ней всего лишь как к времяпрепровождению, приличному для мальчика, занимающего в жизни его положение, но Варт, обладавший душой соколятника, понимал, что худшей беды, чем утрата сокола, и не придумаешь. Он знал, что Хоб трудился по четырнадцати часов в день, обучая Простака ремеслу, и что труды эти походили на борение Иакова с ангелом. Если Простак потеряется, потеряна будет также и часть Хобовой души. Варт не посмел бы взглянуть в осуждающие глаза старого сокольничего после всего, чему тот постарался выучить мальчиков.

Что же ему оставалось делать? Самое лучшее — сидеть, положив вабило на землю, чтобы Простак мог, когда сочтет нужным, сам на него спуститься. Но у Простака таких намерений не было. Прошлой ночью его накормили до отвала, и голода он не испытывал. Жаркий день испортил

ему настроение. Мальчишки, которые свистели и махали внизу и гонялись за ним от дерева к дереву, совсем замутили его и так-то не особенно ясное разумение. Он не вполне понимал теперь, чего ему, собственно, хочется, — но уж во всяком случае не того, чего хотелось кому бы то ни было еще. Он думал, что, пожалуй, неплохо кого-нибудь укокошить — просто так, назло.

Прошло еще немалое время, и Варт оказался уже на краю настоящего леса, а Простак — и вовсе внутри. Раз за разом ястреб, приводя Варта в ярость, перелетал все ближе к лесу, пока они не очутились так далеко от замка, как мальчику еще не доводилось бывать, на краю чащобы.

Нынешнего английского леса Варт бы не убоялся, иное дело — великие пущи Старой Англии. Не одни только дикие вепри страшили его, хотя аккурат в эту пору стаи молодняка по всему лесу свирепо взрывали землю, и не то, что из-за всякого дерева мог подобраться к нему какой-нибудь из уцелевших волков, бледноглазый, со слюнявою пастью. Безумные и злобные звери были не единственными обитателями густо населенного мрака. Люди, сами озлобясь, также искали здесь крова, — изгои, коварные и кровожадные, словно стервятники, и столь же гонимые. В особенности

Варту не давала покоя мысль об одном человеке по имени Вот, именем этим деревенские стращали детей. Он некогда жил в деревне сэра Эктора, и Варт еще помнил его. Был он косоглаз, безнос и слаб разумением. Детишки осыпали его камнями. Как-то раз он набросился на них, поймал одного и с рычанием откусил и его нос тоже. А затем убежал в лес. Теперь камни полетели в безносого мальчика, а Вот, как полагали, так и живет в лесу, бегает там на четвереньках, одетый в шкуры.

Помимо того, в ту легендарную пору жили в лесу чародеи, а равно и чудные животные, неведомые современным трудам по естественной истории. Встречались там и постоянные шайки саксонских разбойников, — это уж был не Вот, — эти жили вместе, одевались во все зеленое, и били из луков, никогда не давая промаха. Имелось даже несколько драконов, правда маленьких, они ютились под камнями и шипели как закипающий чайник.

А вдобавок ко всему становилось темно. Тропы в лесу отсутствовали, и никто в деревне не знал, что там, с другой его стороны. Пала вечерняя тишь, и высокие деревья стояли, безмолвно глядя на Варта.

Он чувствовал, что самое безопасное — это пой-

ти домой, пока он еще понимает, где он, но у него было отважное сердце, и отступаться он не желал. Варт сознавал, что стоит Простаку проспать одну ночь на воле, как он вновь одичает и уже навсегда. Простаку ничего не стоило вернуться в исходное состояние. Но если бы бедному Варту удалось заметить, где он устроится спать, и если бы Хоб появился вдруг с фонарем, они все же могли бы еще взять его этой ночью, взобравшись на дерево, покамест он дремлет, и задурив его светом. Мальчик более-менее представлял себе, где сидит ястреб, — примерно в ста ярдах от него, в самой гуще деревьев, — именно там галдели грачи, вернувшиеся к вечеру в гнезда.

Он пометил одно из деревьев, стоявших на опушке, надеясь, что это поможет ему найти дорогу назад, и принялся продираться через подлесок. По граю грачей он понял, что Простак тут же перепорхнул еще дальше.

Пока мальчик сражался с колким кустарником, опустилась тихая ночь. Но он, изо всей мочи напрягая слух, упрямо продвигался вперед, а перелеты сонного Простака становились все более краткими и недалекими, и наконец, перед тем как настала полная тьма, мальчик увидел на фоне неба сгорбленные плечи ястреба, сидевшего

на дереве прямо над ним. Варт присел под деревом, чтобы больше не тревожить птицу, пока она засыпает, и Простак, стоявший на одной ноге, не обратил на него никакого внимания.

«Может быть, — сказал сам себе Варт, — даже если Хоб не придет, а я и не вижу, как бы он смог теперь отыскать меня в этом нехоженном лесу, мне все же удастся самому забраться на дерево и снять с него Простака. Нужно, чтобы он оставался там до полуночи, потому что тогда уж он точно заснет. Если я негромко окликну его, он подумает, что это просто кто-то пришел, как обычно, взять его, пока он сидит в клобучке. Только лезть придется очень тихо. Тогда, если я его поймаю, надо будет еще отыскать дорогу домой, а там уже мост поднимут. Но, может быть, кто-то дождется меня, Кэй ведь сказал им, что меня нет. Вот интересно только, в какую сторону я пойду. Лучше бы Кэй остался».

Он затиснулся между древесных корней, пытаясь сыскать место поудобнее, где бы жесткое дерево не впивалось в лопатки.

«Мне кажется, надо идти за ту высокую ель, у которой верхушка похожа на пику. Зря я не запомнил, с какой стороны от меня село солнце, тогда после восхода можно было бы держать его

с той же стороны и так вернуться домой. Интересно, там вправду что-то шевелится под елью? Ох, только бы мне не встретить этого старого, одичавшего Вота, не хватало еще, чтобы он мне нос откусил! До чего же противный вид у Простака, стоит себе на одной ноге, как будто ничего не случилось».

В этот миг что-то просвистело, чмокнуло, и Варт увидел стрелу, вошедшую в дерево между пальцами его правой руки. Он отдернул руку, подумав, что кто-то его ужалил, и лишь тогда заметил ее. Затем все замедлилось. У него нашлось время внимательно рассмотреть стрелу и то, как она на три вершка ушла в твердое дерево. Стрела была черная, с желтыми опоясками, как у осы, и желтым старшим пером. Другие два — черные. Крашеные гусиные перья.

Тут Варт обнаружил, что, хоть он и страшился опасностей леса до того, как это случилось, теперь, попав в переделку, страха уже не испытывает. Он быстро поднялся, — ему показалось, что медленно, — и обогнул дерево. Едва он это проделал, как другая стрела зажужжала и чмокнула, но эта, вся, кроме оперения, зарылась в траву и осталась торчать там недвижно, словно никогда не летала.

По другую сторону дерева оказалась поляна, поросшая орляком высотою футов в шесть. Укрытие было прекрасное, но шорох папоротниковых листьев выдавал Варта. Он услышал, как еще одна стрела шуркнула по жесткой широкой листве и вроде бы выругался мужчина, но не очень близко. Потом он услышал, как этот мужчина, или кто он там был, бежит через папоротник. Стрелять это существо больше не решалось, потому что стрела вещь ценная, а в подлеске она наверняка затеряется. Варт скользнул, как змея, как кролик, как беззвучный филин. Он был мал, и тому созданию нечего было противопоставить ему в этой игре. Через пять минут Варт был в безопасности.

Убийца поискал свои стрелы и, ворча, удалился, — а Варт понял, что даже если он спасся от лучника, то и ястреба, и дорогу домой он потерял. Он не имел ни малейшего представления о том, где находится. С полчаса он пролежал, забившись под рухнувшее дерево и выжидая, когда удалится неведомое существо и перестанет неистово биться сердце. Оно заколотилось уже после того, как он понял, что спасен.

«Охо-хо, — думал он, — вот теперь я и впрямь заблудился, и выбирать мне почти что не из чего, — либо мне нос откусят, либо проткнут

насквозь одной из этих осиных стрел, либо меня слопает шипучий дракон или волк, или дикий вепрь, или чародей, если чародеи едят мальчиков, а я думаю, что едят. Самое время от души пожалеть, что я не был послушным и злил гувернантку, когда она билась с астролябией, и не любил моего дорогого опекуна сэра Эктора так, как он того заслуживает».

При этих печальных мыслях и особенно при воспоминании о добром сэре Экторе с его сенными вилами и красным носом, глаза бедного Варта наполнились слезами, и он, совершенно безутешный, остался лежать под упавшим стволом.

Он осмелился вылезть наружу лишь после того, как солнце загасило последние лучи своего затянувшегося прощания и над посеребренными вершинами деревьев встала луна во всем ее грозном величии. Тогда он поднялся, вытряхнул из дублета мелкие веточки и побрел, отчаявшийся, выбирая дорогу полегче и доверив участь свою Господу. Так он брел около получаса и временами чувствовал себя пободрей, — потому что залитый светом луны летний лес был по-настоящему красив и прохладен, — и наконец набрел на прекраснейшее из зрелищ, какие ему доводилось видеть за всю свою короткую жизнь.

В лесу открылась поляна, широкий простор облитой луною травы, и на дальнем ее конце светились в белых лучах стволы. Там росли буки, чьи стволы всего красивей в жемчужном свете луны, а среди буков чуялось легчайшее шевеление и слышался серебряный звон. Перед тем как раздался звон, там стояли лишь буки, но сразу после обозначился рыцарь в полных доспехах, бездвижный, безмолвный и призрачный среди величавых стволов. Он восседал на огромном белом коне, стоявшем в такой же сосредоточенной неподвижности, как и всадник, и держал в правой руке, уперев его комлем в стремя, высокое, ровное турнирное копье, поднимавшееся среди коренастых древес все выше и выше, пока очерк его не возникал на бархатном небе. Все это плавало в свете луны, все серебрилось, слишком прекрасное, чтобы описать.

Варт не знал, как ему быть. Он не знал, безопасно ли будет подойти к этому рыцарю, — в лесу ведь так много страшного, что даже рыцарь может оказаться призраком. Да он и выглядел совершеннейшим призраком, когда возник, углубленный в созерцание, на самом краешке мрака. В конце концов мальчик надумал, что если это и призрак, то все-таки призрак рыцаря,

а рыцари по обету обязаны оказывать помощь людям, попавшим в беду.

— Простите меня, — сказал он, когда очутился прямо перед таинственной фигурой, — не могли бы вы указать мне дорогу к замку сэра Эктора?

При этих словах призрак подпрыгнул так, что едва не свалился с коня, и издал сквозь забрало приглушенное «бээээ», совсем как овца.

— Простите, — заново начал Варт, но остановился, охваченный ужасом, не дойдя до конца своей речи.

Ибо призрак поднял забрало, обнаружив два исполинских ока, как бы прихваченных коркою льда; воскликнул тревожно: «Что-что?»; вынул глаза, оказавшиеся парой запотевших внутри шлема очков в роговой оправе; попытался вытереть их о конскую гриву, отчего они стали только мутнее; поднял обе руки над головой и попробовал вытереть очки о плюмаж; уронил копье; уронил очки; сполз с коня, чтобы их отыскать, при этом забрало захлопнулось; поднял забрало; наклонился за очками; выпрямился, потому что забрало захлопнулось снова, и воскликнул печально: «Силы благие!»

Варт отыскал очки, протер их и подал призраку, который их тут же надел (забрало сразу захлоп-

нулось) и принялся с таким рвением карабкаться обратно на коня, словно спасал свою драгоценную жизнь. Забравшись, он протянул руку за копьем, которое вручил ему Варт, и, ощутив себя в безопасности, приоткрыл забрало левой рукой, да так и держал потом открытым. Затем призрак воззрился на мальчика, приложивши руку ко лбу, — словно потерпевший крушение мореплаватель, высматривающий землю, — и вскричал: «Ага! Это кто ж у нас тут такой, что?»

— Прошу прощения, — сказал Варт, — я мальчик, чей опекун сэр Эктор.

— Милый мальчуган, — сказал Рыцарь. — В жизни его не встречал.

— Не могли бы вы указать мне путь к его замку?

— Ни малейшего представления. Сам чужой в этих краях.

— Я заблудился, — сказал Варт.

— А вот это забавно. Я и сам заблудился лет семнадцать назад.

— Прозываюсь Король Пеллинор, — продолжал Рыцарь. — Может, слыхал обо мне, что? — Забрало закрылось с хлопком, похожим на эхо этого «что?», но было немедленно вновь открыто.

— Семнадцать лет, с самого Михайлова дня,

гоняюсь за Искомым Зверем. Скучно, страсть.

— Да уж я себе представляю, — сказал Варт, который отродясь не слыхивал ни про Короля Пеллинора, ни про Искомого Зверя, но решил, что самое безопасное в нынешних обстоятельствах — сказать именно это.

— Это Бремя Пеллиноров, — гордо сказал Король. — Лишь Пеллинор может его настигнуть — то есть, конечно, или его ближайший родич. Всех Пеллиноров воспитывают, исходя из этой идеи. Ограниченное образование, в сущности. Катыши и прочее в этом роде.

— Про катыши я знаю, — произнес с интересом мальчик. — Это помет, оставляемый зверем, когда его гонят. Ловчий кладет его в свой рог, чтобы потом показать хозяину, и может сказать по нему, разрешена ли охота на этого зверя и каково его состояние.

— Умный ребенок, — отметил Король. — Очень. Ну вот, а я почти постоянно таскаю катыши с собой.

— Нечистоплотный обычай, — добавил он, обретая подавленный вид, — и совершенно бессмысленный. Сам понимаешь, Искомый Зверь на свете один, и вопрос дозволена на него охота или нет не может даже возникнуть.

Тут забрало его приладилось падать так часто, что Варт решил пока не думать о своих невзгодах, а попытаться взбодрить собеседника, задавая ему вопросы по единственному предмету, о котором тот, видимо, мог говорить со знанием дела. Даже беседа с заблудившимся членом королевской фамилии лучше, чем одиночество в лесу.

— А на что он похож с виду, этот Искомый Зверь?

— Ах, мы, знаешь ли, именуем его Бет Глатисант, — отвечал монарх, принимая ученый вид и возвышая голос, — или, что по-английски сказать, Искомая Зверь. Ты же можешь называть ее всяко, — добавил он милостиво, — хочешь — Искомая Зверь, а хочешь — Искомый. Сия Зверь обладает главою змеи, э-гм, и туловом леобарса, и лядвеями льва, и голенями оленя. И куда тот зверь ни пойдет, из чрева его исходит шум, как бы от тридцати пар гончих псов.

— Если, конечно, он в это время не пьет, — добавил Король.

— Вот, должно быть, жуткое чудище, — сказал Варт, опасливо озираясь.

— Жуткое чудище, — повторил Король. — Таков он и есть, Бет Глатисант.

— И как вы за ним гоняетесь?

Похоже, то был неверный вопрос, ибо вид у Пеллинора стал еще удрученней.

— У меня с собой ищейная сука, — сказал он печально. — Вон она, там.

Варт поглядел в ту сторону, куда уныло указывал большой палец монарха, и увидел многократно обмотанное веревкой дерево. Конец веревки был привязан к седлу Короля Пеллинора.

— Что-то я ее не разгляжу.

— Запуталась в веревке с той стороны, смею сказать. С ней вечно так — я в одну сторону, она в другую.

Варт обошел дерево и обнаружил крупную белую псину, вычесывающую блох. Едва увидев Варта, она принялась извиваться всем телом, бессмысленно осклабясь и задыхаясь от стараний облизать ему все лицо, несмотря на веревку. Псина была слишком опутана веревкой, чтобы сдвинуться с места.

— Ищейка в общем хорошая, — сказал Король Пеллинор, — только уж очень пыхтит, вечно в чем-нибудь путается и тянет не в ту сторону. С ней да с этим забралом я порою не знаю, куда и поворотить.

— А почему вы ее не отвяжете? — спросил Варт. — Она бы тогда гонялась за Зверем вряд ли

хуже, чем теперь.

— Вот видишь ли, она тогда удирает, и я ее иногда по неделям не вижу.

— А без нее скучновато, — добавил Король, — гонишься за Зверем, а где он, что он — никогда ведь толком не знаешь. А тут все же, понимаешь, компания.

— Похоже, по натуре она дружелюбна.

— Чересчур дружелюбна. Порой я вообще сомневаюсь, за Зверем ли она гоняется.

— И что она делает, когда его видит?

— А ничего.

— Ну что же, — сказал Варт. — Я думаю, В конце концов у нее все же появится к нему интерес.

— Как бы там ни было, прошло уже восемь месяцев с тех пор, как мы его видели.

С самого начала беседы голос у бедняги становился все более грустным, и теперь Король явственно начал пошмыгивать носом.

— Это проклятие Пеллиноров, — воскликнул он, — вечно таскаться за этим паршивым Зверем. Уж если на то пошло, кому вообще он нужен? Сначала ты останавливаешься, чтобы спустить ищейку, потом у тебя сваливается забрало, потом ничего не видишь через очки. Поспать негде, где ты есть никому не известно. Зимой ревматизм,

летом солнечные удары. И ведь несколько часов уходит на то, чтобы напялить эти клятые доспехи. А напялишь, — так либо изжаришься, либо заледенеешь, да они еще и ржавеют. Сидишь всю ночь, начищаешь. Ах, как бы мне хотелось иметь хороший собственный домик и жить в нем, — с кроватями, с настоящими подушками, с простынями. Будь я богат, именно это я бы и купил. Хорошую кровать с хорошей подушкой и с хорошей простыней, на которой приятно лежать, а потом я бы вывел этого паршивого коня на луг да сказал бы этой паршивой ищейке: «Беги куда-нибудь, поиграй», и покидал бы в окно все мои паршивые латы, а паршивого Зверя оставил в покое, пусть он сам на себя охотится, — вот что бы я сделал.

— Если бы вы смогли показать мне дорогу домой, — сказал хитроумный Варт, — то сэр Эктор наверняка оставил бы вас ночевать.

— Ты вправду так думаешь? — вскричал Король. — На кровати?

— На кровати с периной.

Глаза у Короля Пеллинора округлились, как блюдца.

— С периной! — медленно повторил он. — А подушка там будет?

— Подушки, пуховые.

— Пуховые подушки! — прошептал король, затаивая дыхание. А затем стремительно выдохнул: — Какой, наверное, чудный дом у твоего господина!

— Я думаю, он не дальше, чем в двух часах пути отсюда, — сказал Варт, стараясь не упустить удачи.

— И что же, этот господин послал тебя для того, чтобы ты меня к нему пригласил? (Он уже забыл, что Варт заблудился.) Как это мило с его стороны, очень мило, по-моему, что?

— Он будет рад нас видеть, — искренне сказал Варт.

— Ах, как это мило с его стороны, — снова воскликнул Король, принимаясь торопливо оправлять свою амуницию. — И какой он, должно быть, милый джентльмен, раз у него есть кровать с периной! Я полагаю, придется ее с кем-нибудь разделить? — произнес он с сомнением.

— Вы сможете получить кровать в ваше полное распоряжение.

— Кровать с периной, в полное распоряжение, с простыней и с подушкой, — а может, даже с двумя или с подушкой и с валиком — и не нужно вовремя подниматься к завтраку! Твой опекун,

он как — вовремя поднимается к завтраку?

— Никогда, — сказал Варт.

— А блохи в постели есть?

— Ни единой.

— Ну! — сказал Король Пеллинор. — Должен сказать, звучит до того хорошо, что и словами не выразишь. Кровать с периной и притом ни единого слова о катышах. Как долго, ты говоришь, нам туда добираться?

— Часа два, — сказал Варт, но второе из двух этих слов ему пришлось прокричать, ибо его заглушил шум, который в это мгновение поднялся где-то неподалеку.

— Что это? — воскликнул Варт.

— Внемли! — крикнул Король.

— Милость Господня!

— Это Зверь!

И рьяный охотник немедля забыл обо всем, кроме своей задачи. Он вытер очки о заднюю часть штанов — о единственный доступный на нем кусок ткани, меж тем как вокруг все разрастался кровожадный утробный рев. Он приладил очки на кончик длинного носа — в точности перед тем, как автоматически хлопнуло забрало. Он стиснул в правой руке тяжелое копье и галопом поскакал в сторону шума. Веревка, об-

мотанная вокруг дерева, не отпустила его далеко — никчемная сука тем временем меланхолически гавкала, — и с громовым лязгом Король сверзился наземь. В следующую секунду он уже поднялся (Варт был уверен, что очки разлетелись вдребезги) и заскакал на одной ноге вокруг белого коня (другая застряла в стремени). Подпруга выдержала, каким-то образом он вновь залез на коня, оседлав заодно и копье, и загалопировал вокруг дерева в направлении, противном тому, в котором ищейка приматывалась к стволу. Он сделал на три круга больше, чем требовалось, а сука меж тем с лаем мчала в другую сторону, и наконец с четвертой или пятой попытки они избавились от помехи. «Улюлю, что!» — вскричал Король Пеллинор, размахивая в воздухе копьем и возбужденно раскачиваясь в седле. Затем он исчез во мраке леса вместе с несчастной собакой, влекомой за ним на веревке.

## 3

Мальчику сладко спалось под пологом леса — тем неглубоким, но освежающим сном, каким спишь в первый раз на открытом воздухе. Поначалу он лишь немного уходил под поверхность сна и проскальзывал там, словно лосось по мелководью, так близко к поверхности, что ему казалось, будто он еще в воздушной среде. Он думал, что бодрствует, хотя уже спал. Он видел, как звезды вращаются над его запрокинутым лицом на своих беззвучных и бессонных осях, как с жестким шуршанием трется о них листва, и слышал, как что-то чуть шевелится в траве. Легкий шелест шагов, биение мягких бахромчатых крыльев и тихий шорох чьих-то телец, легко скользящих вдоль травинок или бряцающих листами орляка, поначалу страшили и интересовали его, так что он поворачивался посмотреть, что там такое (но ни разу ничего не увидел), потом убаюкивали, и он уже не стремился их разглядеть, уверясь, что они — это они и ничто иное, и, наконец, все разом исчезало, а он утопал все глубже, глубже, зарываясь носом в пахучий дерн, в теплую почву, в неиссякающие подземные воды.

Трудно было уснуть под ярким светом летней луны, но уснувший спал уже крепко. Солнце взошло рано, заставив Варта негодующе отвернуться, но, засыпая, он научился осиливать свет, и теперь свет не смог его разбудить. Только в девять, через пять часов после рассвета, он перекатился на спину, открыл глаза и мгновенно проснулся. Очень хотелось есть.

Варту приходилось слышать о людях, кормившихся одними лишь ягодами, но сейчас эти сведения не представлялись полезными, ибо стоял июль и ягод не было вовсе. Он нашел две земляничины и с жадностью их проглотил. На вкус они показались ему слаще всего на свете, и он пожалел, что их так мало. Потом ему захотелось, чтобы теперь стоял апрель, тогда он мог бы найти птичьи яйца и насытиться ими, или чтобы Простак не потерялся и поймал бы ему кролика, а он бы его зажарил на огне, который добыл бы, потерев одной палочкой о другую, будто презренный индеец. Впрочем, Простака он потерял, да, похоже, потерялся и сам, — пожалуй, и палочки навряд ли бы загорелись. Он решил, что не мог уйти от дома дальше, чем на три-четыре мили, и что самое правильное в его положении — это тихо сидеть и прислушиваться. Тогда, если повезет

с ветром, он сможет услышать шум сеностава и на слух отыскать дорогу к замку.

Услышал же он негромкий лязг, который заставил его подумать, что, верно, Король Пеллинор где-то невдалеке снова гоняет Искомого Зверя. Только звук был уж больно мерный и какой-то единонацеленный, отчего он решил, что Король Пеллинор с немалым терпением и усердием пытается совершить некое особое действие — к примеру, почесать себе спину, не снимая доспехов. И он пошел в направлении шума.

В лесу обнаружилась поляна, а на ней — опрятный каменный домик. Домик, хоть Варт в тот миг этого и не приметил, разделялся на две части. Главную составляла горница, или гостиная для всякого случая, высокая, до самой крыши, в полу ее помещался очаг, дым от которого без особой поспешности уходил через дырку в соломенной кровле. Другая половина домика делилась горизонтальным настилом надвое, — вверху находилась спальня, она же и кабинет, а низ служил кладовкой, клетью, конюшней и хлевом. Здесь, внизу, проживал белый ослик, а наверх отсюда вела приставная лестница.

Перед домом был вырыт колодец, и очень старый джентльмен, вращая ворот, тянул оттуда

бадью с водой, — металлический лязг, услышанный Вартом, как раз и производился колодезной цепью.

«Блям-блям-блям» говорила цепь, пока бадья не ударила о закраину колодца, и «Ах, чтоб тебе провалиться! — сказал старый джентльмен. — Уж казалось бы, после стольких лет ученых занятий ты мог бы, клянусь Пресвятой Богородицей, разжиться чем-нибудь почище этого чертова колодца и дурацкой бадьи, чего бы оно, черт подери, ни стоило».

«И опять же, с какой стороны ни взгляни, — прибавил старый джентльмен, вытягивая бадью из колодца и недоброжелательно ее озирая, — ну что им стоило протянуть сюда электричество с водопроводом?»

Его облекала ниспадающая мантия с меховым капюшоном, на которой были вышиты знаки Зодиака, разнообразные кабалистические символы вроде треугольников с оком внутри, странного вида крестов, древесных листьев, птичьих и звериных костей, — и целый планетариум звезд, сиявших под солнцем, словно осколки зеркал. На голове красовалась остроконечная шляпа вроде дурацкого колпака или того головного убора, какой носили в то время дамы, только у дам с

верхушки обыкновенно свисала вуаль. Еще при нем были — волшебная палочка, вырезанная из lignum vitae — священного дерева жизни, которую он положил близ себя на траву, и пара очков в роговой оправе — вроде тех, что носил Король Пеллинор. Очки были необычные: без заушин, походящие формой на ножницы или на сяжки гигантской осы — убийцы тарантулов.

— Прошу прощения, сэр, — сказал Варт, — не могли бы вы указать мне дорогу к замку сэра Эктора, если вас это не затруднит.

Пожилой джентльмен поставил бадью на землю и взглянул на него.

— А зовут тебя, стало быть, Вартом?

— Да, сэр, пожалуйста, сэр.

— Мое имя Мерлин, — сказал старик.

— Как поживаете?

— Как поживаете?

Когда с формальностями было покончено, возникла пауза, и Варт смог подробнее разглядеть старика. Волшебник, не мигая, уставился на него со своего рода благосклонным любопытством, порождавшим ощущение, что и он может глазеть на старика и это не будет грубостью, все равно как если бы он разглядывал одну из коров своего попечителя, которая, оперев о калитку голову,

призадумалась вдруг о его персоне.

Мерлина украшала длинная белая борода и длинные белые висячие усы. Приглядевшись, Варт обнаружил, что вид у него далеко не опрятный. Не то чтобы ему грязь набилась под ногти или еще что-то такое, нет, но складывалось впечатление, что в волосах его гнездится некая крупная птица. Варту случалось видеть гнезда перепелятника и ястреба, безумную мешанину мелких прутьев и объедков, отнятых у белок и ворон, белый помет, старые кости, нечистые перья, погадку, — все, что покрывало ближние ветви и основание древесного ствола. Схожее зрелище являл собою и Мерлин. На плечах старика среди звезд и треугольников мантии виднелись дорожки помета, и пока он, неспешно помаргивая, разглядывал стоявшего перед ним мальчика, с кончика его шляпы неторопливо спускался крупный паук. Выражение у Мерлина было озабоченное, как будто он пытался припомнить какое-то имя, писавшееся как Чол, но произносившееся совершенно иначе, может быть, Мензис или все-таки Далзиэль? Пока он рассматривал мальчика, его добрые голубые глаза, очень большие и круглые под очками, словно затягивались пленкой и туманились; наконец он с решитель-

ным выражением отворотился, как бы придя к выводу, что ему это все-таки не по силам.

— Персики любишь?

— Еще бы, — сказал Варт, у которого немедленно потекли слюнки.

— Они в эту пору редки, — неодобрительно произнес старик и зашагал по направлению к дому.

Варт последовал за ним, поскольку это было проще всего, предложил поднести бадью (что явно понравилось Мерлину, тут же ее отдавшему) и ждал, пока Мерлин разбирался с ключами, — бормоча, ошибаясь и роняя их на траву. Наконец, когда они проникли внутрь черно-белого домика — с такими сложностями, словно они его взламывали, — мальчик влез по лестнице за хозяином и оказался в комнате наверху.

Это была самая удивительная комната, в какой ему когда-либо приходилось бывать.

Со стропил свисал доподлинный крюкорыл, совершенно такой, как в жизни, страшенный, со стеклянными глазами и оттопыренным пластинчатым хвостом. Когда его хозяин вошел в комнату, чудище в знак приветствия подмигнуло одним глазом, хоть и было оно чучелом. Здесь помещались тысячи книг в побуревших кожаных переплетах, иные были прикованы к полкам це-

пями, иные прислонились одна к другой, как если бы выпили лишку и не очень себе доверяли. От них тянуло плесенью, их солидная сумрачность навевала безмятежный покой. Были тут и чучела птиц — попугаев, сорок, зимородков, павлинов во всей их красе, разве что пары перьев в хвосте не хватало, и малых пичужек размером с жуков, и знаменитого феникса, от коего пахло ладаном и кардамоном. Феникс вряд ли был настоящим, поскольку единовременно может существовать только один. Над полкой камина висела лисья голова, под которой было написано «ГРАФТОН, ОТ БУКИНГЕМА ДО ДАВЕНТРИ, 2 ЧАС. 20 МИН.», а также сорокафунтовый лосось с подписью «ЛОХ-О, 43 МИН., БУЛЬДОГ» и совсем живой на вид василиск с подписью печатными буквами «КРОУХЕРСТ, ШОТЛАНДСКАЯ ВЫДРОВАЯ». Тут было несколько кабаньих клыков и тигриных когтей, и когтей леобарса, симметрично размещенных в стеклянной витринке, и огромная голова памирского архара, шесть живых ужей в подобии аквариума, несколько домиков ос-отшельниц, красиво вставленных в стеклянный цилиндр, заурядный пчелиный улей, обитатели коего безмятежно влетали и вылетали в окно, два молодых ежа, обернутых в вату, чета барсуков, при появлении

волшебника сразу же завопивших «ик-ик-ик», двадцать коробочек, вмещавших шестерку гарпий, гусениц палочника и даже одну — олеандрового бражника ценою в шесть пенсов, — все кормились на своих любимых листьях, — ружейный ящик с разнообразным оружием, которое еще предстояло изобрести через полтысячи лет, ящик с таковыми же удилищами, комодик, набитый мормышками на лосося, Мерлиновой собственноручной вязки, другой комод, на ящиках которого красовались таблички «Мандрагора», «Мандрагоровый корень», «Камнеломка» и прочее, пучок индюшачьих и гусиных перьев, еще не подготовленных для письма, астролябия, двенадцать пар сапог, дюжина неводов, три дюжины проволочных силков на кролика, двенадцать пробочников, несколько муравьиных гнезд между двумя пластинами стекла, пузырьки с чернилами всевозможных оттенков от красного до фиолетового, штопальные иглы, золотая медаль лучшего стипендиата Уинчестера, четыре или пять фонографов, выводок полевой мыши живьем, два черепа, множество дорогого стекла — стекло венецианское, бристольское — и бутыль полировочной мастики, немного желтого японского фарфора и клуазонне, четыр-

надцатое издание «Британской Энциклопедии» (подпорченное, если правду сказать, чрезмерным натурализмом его познавательных вкладных иллюстраций), два набора красок, один — масляных, другой — акварельных, три глобуса с изображением уже открытых земель, несколько окаменелостей, набитая голова странного гибрида верблюда и парса, именуемого также гирафой, шесть больших лесных муравьев, стеклянные реторты, колбы, бунзеновские горелки и еще много чего, включая полный комплект сигаретных обложек работы Питера Скотта, изображающих пернатую дичь.

Войдя в этот покой, Мерлин снял свою остроконечную шляпу, цеплявшуюся за кровлю, и сразу в одном из темных углов послышалась чья-то пробежка, захлопали мягкие крылья, и на черной шапочке, покрывавшей его макушку, объявилась неясыть.

— Ой, какая милая сова! — воскликнул Варт.

Однако, когда он приблизился к ней, протянув руку, сова распрямилась, став выше наполовину, затвердела, словно аршин проглотив, сожмурилась, оставив лишь узенькие щелки, — вот как обыкновенно делаешь ты, когда приходится закрывать глаза, играя в прятки, — и сообщила

неуверенным голосом:

— А никакой тут совы и нету.

После чего совсем закрыла глаза да еще отвернулась.

— Это всего лишь мальчик, — сказал Мерлин.

— И мальчика нету, — с надеждой сказала птица, не повернув головы.

Варт, пораженный открытием, что совы могут, оказывается, разговаривать, окончательно забылся и подошел еще ближе, отчего птица и вовсе разнервничалась, нагадила Мерлину прямо на голову, — комната была совершенно бела от помета, — и отлетела, усевшись на самом дальнем краешке крюкорылова хвоста, вне пределов досягаемости.

— У нас так редко случаются гости, — пояснил волшебник, вытирая голову половинкой драных пижамных штанов, которую держал для этой цели, — что Архимед немного стесняется незнакомцев. Иди сюда, Архимед, я хочу познакомить тебя с моим другом по имени Варт.

Тут он протянул к Архимеду руку, и тот враскачку, совсем по-гусиному, прошелся по крюкорыльей спине, — ему приходилось идти переваливаясь, чтобы не повредить хвоста, — и с явственной неохотой соскочил к Мерлину на

палец.

— Вытяни палец и приставь сзади к его лапкам. Нет, повыше, под самым хвостом.

Когда Варт это сделал, Мерлин слегка сдвинул Архимеда назад, так что палец мальчика уперся ему в ноги, и Архимеду осталось либо отступить, либо совсем потерять равновесие. Он отступил. Варт стоял, замерев от восторга, а мохнатые лапки крепко обхватывали его палец, покалывая кожу острыми коготками.

— Поздоровайся как полагается, — сказал Мерлин.

— Не буду, — сказал Архимед, глядя в сторону и ухватываясь покрепче.

— Ох, до чего же он милый, — снова вымолвил Варт. — Давно он у вас?

— Архимед живет у меня еще с того времени, когда был маленьким, — таким маленьким, что головка у него была размером не больше цыплячьей.

— Хорошо бы он со мною поговорил.

— Может быть, если ты дашь ему эту мышь, только вежливо, он захочет поближе с тобой познакомиться.

Мерлин вынул из шапочки мертвую мышь.

— Я их всегда тут держу и червей для рыбалки

тоже. По-моему, очень удобно, — и вручил ее Варту, а тот протянул мышь Архимеду — с некоторой опаской, ибо кривой ореховый клюв выглядел достаточно грозно, — но Архимед, внимательно осмотрев мышь, подмигнул Варту, переступил по пальцу поближе к ней, закрыл глаза и наклонился вперед. Он постоял с закрытыми глазами и выражением блаженства на лице, словно читая молитву, и затем, удивительной боковой поклевкой взял лакомство столь нежным прихватом, что будь это мыльный пузырь, и тот остался бы цел. Он еще посидел, наклонившись вперед, с мышью, свисавшей из клюва, как если бы толком не знал, что же с ней дальше делать. Затем приподнял правую лапку, — он был правша, хоть люди уверены, что это относится только к ним, — и взял ею мышь. Он держал ее так, как мальчик держит палочку с леденцом, как полицейский — свою дубинку, и глядел на нее, покусывая за хвост Потом перевернул головою вперед, ибо Варт подал мышь неправильно, и заглотнул одним махом. Оглядев общество (хвост еще свисал из угла его клюва), словно желая сказать: «Я предпочел бы, чтоб вы не глазели так на меня», Архимед отвернулся, воспитанно сглотнул хвостик, почесал левой лапкой свою шкиперскую

бородку и взъерошил перья.

— Ну, пусть его, — сказал Мерлин. — Может быть, он не желает сходиться с тобой, не узнав, что ты собой представляешь. С совами нелегко подружиться, зато уж потом не раздружишься.

— Может, он посидит у меня на плече, — сказал Варт и при этом машинально опустил руку, так что Архимед, предпочитавший сидеть как можно выше, взбежал по рукаву и скромно встал у Варта за ухом.

— А теперь завтракать, — сказал Мерлин.

На столике у окна Варт увидел чудеснейший завтрак, аккуратно накрытый для двоих. Персики там были. Там были также дыни, земляника со сливками, сухарики, коричневая, пышущая жаром форель, еще более лакомые жареные окуни, цыплята с обжигающей рот острой приправой, почки с грибами на гренках, фрикасе, кэрри и на выбор — булькающий кофе и наиотменнейший шоколад со сливками в больших чашках.

— Возьми горчицы, — сказал волшебник, когда они добрались до почек.

Горшочек с горчицей приподнялся и, переваливаясь, как Архимед, подошел к тарелке Варта на тонких серебряных ножках. Затем он распрямил свои гнутые ручки и одной приподнял с

преувеличенной вежливостью крышку, а другой протянул Варту щедро наполненную ложку.

— Ну и горшочек! — воскликнул Варт. — Где вы такой раздобыли?

При этих словах горшочек расплылся в улыбке и начал важно прогуливаться взад-вперед, но Мерлин стукнул его чайной ложкой по маковке, так что он сел и сразу накрылся.

— Горшочек неплох, — ворчливо сказал волшебник, — но уж больно любит покрасоваться.

Доброта старика и особенно чудесные вещи, которыми он владел, до того поразили Варта, что ему не хотелось приставать к чародею с вопросами личного свойства. Ему казалось, что вежливее всего будет просто сидеть и говорить лишь тогда, когда волшебник к нему обратится. Но Мерлин говорил мало и вопросов не задавал, так что у Варта в конце концов любопытство взяло верх над хорошими манерами, и он решился спросить о том, что томило его уже некоторое время.

— Вы не будете против, если я вас спрошу кое о чем?

— Для того я здесь и сижу.

— Как вы узнали, что завтракать будут двое?

Приготавливаясь ответить, старый джентльмен откинулся в кресле и раскурил огромную

пенковую трубку («Господь милосердный, да он же дышит огнем», — подумалось Варту, сроду не слышавшему о табаке). Затем он с неуверенным видом снял свою шапочку, — вывалились три мыши, — и почесал лысую голову.

— Ты когда-нибудь пробовал рисовать, глядя в зеркало? — спросил он.

— По-моему, нет.

— Зеркало, — сказал Мерлин, протягивая руку. Тут же в ладони его очутилось маленькое дамское зеркальце.

— Да не такое, дурак, — сердито сказал он. — Мне нужно зеркало настолько большое, чтобы, глядя в него, можно было побриться.

Зеркальце сгинуло, а на месте его появилось зеркало для бритья размером в квадратный фут. Затем он быстро потребовал карандаш и бумагу, — и получил неочиненный карандаш и номер «Морнинг Пост», отослал их назад, получил авторучку, не заправленную чернилами, и шесть стопок бурой бумаги, годной разве что на обертку, отослал их назад, разразился гневной тирадой, в которой часто упоминалась Пресвятая Богородица, и в конце концов получил угольный карандаш и немного папиросной бумаги, о которых сказал, что эти сойдут.

Он положил один из листков перед зеркалом и нанес на него пять точек.

— А ну-ка, — сказал он, — соедини эти точки так, чтобы вышло W, но при этом смотри только в зеркало.

Варт взял карандаш и попробовал сделать то, что ему велели.

— Ну что же, не так уж и плохо, — сказал волшебник без особой уверенности, — и, пожалуй, даже смахивает немного на M.

После чего впал в задумчивость, поглаживая бороду, вдыхая огонь и глядя на лист бумаги.

— Так что насчет завтрака?

— Ах, да. Как я узнал, что завтракать будут двое? Именно потому я и показал тебе зеркало. Дело в том, что обычные люди, родившись, двигаются во Времени вперед, если ты понимаешь, что я имею в виду, да и почти все в мире движется в ту же сторону. Оттого и жить обыкновенным людям довольно просто, как просто было бы превратить эти точки в W, если бы ты смотрел на них прямо, а не задом наперед и шиворот навыворот. Я же, к несчастью, рожден на другом конце времени и вынужден жить спереду назад, окруженный при этом людьми, живущими сзаду наперед. Кое-кто называет это проницательностью.

Он вдруг прервал свою речь и с тревогой воззрился на Варта.

— Я тебе раньше этого не говорил?

— Нет, мы же встретились всего полчаса назад.

— Так мало времени осталось? — сказал Мерлин, и большая слеза скатилась к самому кончику его носа. Он стер ее тем же куском пижамы и встревожено прибавил: — А еще раз я тебе буду об этом рассказывать?

— Не знаю, — сказал Варт. — А вы уже все рассказали?

— Ты понимаешь, когда вот так живешь, непременно запутаешься во Времени. Первое дело, перемешиваются все глагольные времена. Если ты знаешь, что должно случиться с людьми, и не знаешь, что с ними уже случилось, трудновато бывает помешать случиться тому, что ты не хочешь, чтобы случалось, — ты понимаешь, о чем я толкую? Все равно как рисовать, глядя в зеркало.

Варт мало что понял, но все равно собрался сказать, что ему жалко Мерлина, если все это заставляет его горевать, но вдруг ощутил, что с ухом его творится что-то неладное. «Не дергайся», — сказал старик именно в то мгновение, когда Варт собрался вскочить, и Варт остался сидеть. Архимед, все это время простоявший за-

бытым у него на плече, нежно прижался к нему. Клюв его очутился у самой мочки уха, щекоча ее волосками, и внезапно мягкий и хриплый голос шепнул: «Как поживаете?», и показалось, что звуки эти раздались прямо у Варта в голове.

— Вот так Архимед! — закричал Варт, тут же забыв о горестях Мерлина. — Видишь, он все же решил со мною поговорить!

Варт осторожно прислонил голову к гладким перьям, и неясыть, прихватив клювом краешек его уха, быстро-быстро, мельчайшими клевками прошлась по его закруглению.

— Я буду звать его Арчи!

— Очень надеюсь, что ничего подобного ты не сделаешь, — мгновенно воскликнул Мерлин голосом сердитым и резким, а неясыть перелетела к нему на плечо, как можно дальше от Варта.

— Разве это обидно?

— Ты бы еще Филином меня назвал или Филей, — сварливо сказал Архимед. — С тебя станется. Или Фалалеем, — с горечью добавил он.

Мерлин взял Варта за руку и добрым голосом сказал:

— Ты юн и не понимаешь этих вещей. Но ты еще обнаружишь, что совы — самые вежливые, прямодушные и преданные из живых существ.

С ними нельзя быть фамильярным, грубым или вульгарным, также нельзя их высмеивать. Их прародительница — Афина, богиня мудрости, и хоть они часто с охотой разыгрывают шута, чтобы тебя позабавить, такое поведение — прерогатива истинно мудрых. Прозвище Арчи для такой птицы попросту невозможно.

— Прости меня, Архимед, — сказал Варт,

— И ты прости меня, мальчик, — откликнулся Архимед. — Я мог бы понять, что речи твои от незнания, и ныне горько раскаиваюсь в мелочности, с какой оскорбился тем, что не подразумевало никаких оскорблений.

Архимед и вправду раскаивался и выглядел столь прежалостно, что Мерлину пришлось напустить на себя вид самый беспечный и переменить разговор.

— Ну что же, — сказал он, — теперь, когда мы покончили с завтраком, я полагаю, самое время отправиться всем троим на поиски обратной дороги к сэру Эктору.

— Минутку, прошу простить, — добавил он, словно бы спохватившись, и, обернувшись к столовым приборам, ткнул в них узловатым пальцем и суровым голосом произнес: — Мыться.

По этому слову вся посуда, ножи и вилки брыз-

нули со стола, скатерть вытряхнула крошки в окно, а салфетки сами собой сложились. Все поскакали по лестнице вниз — туда, где Мерлин оставил бадью, и понеслись оттуда такие вопли и гам, словно ораву детей отпустили из школы. Мерлин подошел к двери и крикнул: «Поосторожней, чтобы никто у меня не разбился». Но голос его совсем заглушили визгливые вопли, плеск и выкрики: «Ой-й-й, холодрыга!», «Я тут долго не выдержу», «Полегче, ты же меня разобьешь» или «Пошли, утопим заварочный чайник».

— И вы действительно проводите меня до самого дома? — спросил Варт, с трудом веривший в хорошие новости.

— Почему бы и нет? Как еще я смогу стать твоим наставником?

Тут глаза Варта принялись округляться и округлялись, пока не стали почти такими же, как у Архимеда, сидевшего у него на плече, а лицо принялось краснеть и краснеть, дыхание же остановилось и, кажется, собралось в комок ниже сердца.

— Ну! — выкрикнул он, и глаза его засияли от возбуждения, вызванного этим открытием. — Так это я, значит, на Поиски ходил!

## 4

Рассказывать Варт начал, еще не пройдя половины подъемного моста.

— Смотрите, кого я привел, — сказал он. — Смотрите! Я ходил на Поиски! Три стрелы в меня выпустили. Черные с желтыми полосами. Птицу зовут Архимед. Я видел Короля Пеллинора. Это мой наставник, Мерлин. Ради него я и отправился на Поиски. Он гнал Искомого Зверя. Это я про Короля Пеллинора. В лесу было жутко. А Мерлин заставил тарелки помыться. Привет, Хоб. Смотри, мы принесли Простака.

Хоб лишь посмотрел на Варта, но с такой гордостью, что Варт залился краской. Так приятно было опять вернуться домой, к друзьям, свершив все, что хотел совершить.

Хриплым голосом Хоб произнес:

— Ах, мастер, мы еще сделаем из вас соколятника. Он потянулся к Простаку, словно не в силах был долее удерживать руки, впрочем, успев погладить и Варта, приласкав их обоих, потому что не мог разобрать, кого из них ему приятнее видеть. Простака он усадил к себе на кулак с тем же чувством, с каким калека снова прилаживает

потерянную было привычную деревянную ногу.

— Это Мерлин его поймал, — сказал Варт. — Когда мы шли домой, он послал на поиски Архимеда. А Архимед вернулся и говорит, что нашел, и что он убил голубя и теперь его ест. Тут мы пошли и спугнули его. Потом Мерлин воткнул вокруг голубя шесть перьев из его собственного хвоста, а вокруг перьев сделал петлю из длинной веревки. Один конец он привязал к палке, торчавшей в земле, а с другим мы спрятались за куст. Он сказал, что не станет использовать магию. Сказал, что в Высоких Искусствах магией пользоваться нельзя, ну, как нечестно создавать великую статую с помощью волшебства. Понимаете, ее полагается резцом высекать. Потом Простак спустился, чтобы прикончить голубя, а мы потянули веревку, и петля скользнула по перьям и поймала его за лапки. Ох и разозлился же он! Но мы ему дали голубя.

Хоб почтительно поклонился Мерлину, и тот столь же вежливо ответил ему. Они с важным расположением осмотрели друг друга, признав один в другом мастера своего цеха. Когда им удастся остаться наедине, они еще смогут наговориться об искусстве соколиной охоты, хоть Хоб от природы человек молчаливый. Пока же им

должно ждать, когда наступит их время.

— О, Кэй, — крикнул Варт, как только тот появился вместе с няней и прочими, кто радостно спешил его поприветствовать. — Смотри, я привел нам наставника, это волшебник. У него есть горшочек с горчицей, который умеет ходить.

— Я рад, что ты возвратился, — сказал Кэй.

— Вот горе, да где же вы спали, мастер Арт? — воскликнула няня. — Посмотрите, ваш чистый дублет весь в грязи, весь изорван. Ну и напугали ж вы нас, я прямо не знаю. И в волосах, посмотрите, сплошные сучки. Ах вы мой озорной, беспризорный ягненочек.

Прибежал, громыхая надетыми задом наперед наголенниками, сэр Эктор и расцеловал Арта в обе щеки.

— Ну-ну-ну, — растроганно воскликнул он. — Вот мы и дома, а? Черт знает, каких мы делов понаделали, а? Весь дом кверху дном поставили.

Но втайне он испытывал гордость за то, что Варт остался с ястребом, и испытал еще большую, увидев, что ястреб пойман, ибо все это время Хоб держал птицу на воздетой руке, так, чтобы все ее видели.

— Ах, сэр, — сказал Варт, — а ведь я выходил на поиски, о которых вы говорили, на поиски

наставника, и вот я его нашел. Пожалуйста, вот он, этот джентльмен, а прозвание его — Мерлин. У него тут с собой барсуки и ежи, и мышь, и муравьи и всякие твари на том белом ослике, потому что мы не могли оставить их там голодать. Он великий волшебник и умеет доставать всякие вещи прямо из воздуха.

— Ах маг и волшебник, — сказал сэр Эктор, надевая очки и внимательно оглядывая Мерлина. — Надеюсь, магия белая?

— Несомненно, — ответил Мерлин, терпеливо стоявший в толпе, сложив на некромантической мантии руки, Архимед же, меж тем, вытянувшись и застыв, восседал на его голове.

— Вообще-то неплохо бы рекомендации посмотреть, — произнес сэр Эктор с сомнением. — Такой уж порядок.

— Рекомендации, — сказал Мерлин, простирая руку.

Мгновенно в руке его появилось несколько тяжелых таблет за подписью Аристотеля, пергамент, подписанный Гекатой, и пара машинописных страниц (вторые копии) с росчерком так и не сумевшего припомнить, откуда он знает Мерлина, ректора Тринити-колледжа. Все они характеризовали Мерлина наилучшим образом.

— Из рукава достал, — проницательно заметил сэр Эктор. — А еще что-нибудь вы умеете?

— Дерево, — сказал Мерлин. И посреди двора тут же выросла огромная шелковица с сочными синими ягодами, готовыми со стуком осыпаться наземь. Это было тем более замечательно, что шелковицы приобрели популярность только во времена Кромвеля.

— Эти штуки проделывают при помощи зеркал, — сказал сэр Эктор.

— Снег, — откликнулся Мерлин. — И зонт, — поспешно добавил он.

И не успели они оглянуться, как медяное летнее небо побронзовело, похолодело, снизилось, и пребольшущие хлопья снега, каких сроду никто не видел, медленно поплыли над ними, опускаясь на крепостные зубцы. Никто еще и не ахнул, а снега навалило уже на вершок, и всех зазнобило на зимнем ветру. Нос сэра Эктора посинел, с кончика его свисала сосулька, и у всех, кроме Мерлина, на плечах образовались пласты снега. Мерлин стоял в середине толпы, подняв зонт повыше, чтобы прикрыть и Архимеда.

— А это все гипнотизм, — объяснил сэр Эктор, стуча зубами. — Как у тех проходимцев из Индий.

— Однако, будет, — добавил он торопливо, — этого более чем достаточно. Я уверен, что из вас выйдет отличный наставник, чтобы учить этих мальчиков.

Снег немедленно прекратился, и показалось солнце.

— Достаточно, чтобы наградить воспалением легких, — промолвила няня, — или запугать податливых слуг.

Мерлин меж тем сложил и отдал обратно в воздух зонт, и воздух зонт принял.

— Нет, вы только представьте, мальчик в одиночку управился с такими поисками, — воскликнул сэр Эктор. — Ну-ну-ну! Чудеса да и только!

— Тоже мне поиски, — сказал Кэй. — Он просто пошел за ястребом, вот и все.

— И он добыл ястреба, мастер Кэй, — неодобрительно молвил Хоб.

— Да ладно, — сказал Кэй, — готов поспорить, что это не он, а старик.

— Кэй, — молвил Мерлин, чей облик внезапно стал грозным, — во все дни свои глаголаешь ты, исполнясь гордыни купно с злоречием, а того ради и злосчастья. И все твои горести изойдут из твоих собственных уст.

При этих словах всем стало не по себе, а Кэй,

вместо того чтобы по обыкновению прогневаться, свесил главу. В сущности он был человек далеко не противный, напротив — умный, живой, гордый, страстный и властолюбивый. Он был из тех людей, что не становятся ни водимыми, ни водительствующими, но остаются лишь при честолюбивом сердце, нетерпеливо бьющемся в темнице непреуспевшего тела. Мерлин тут же и устыдился сказанной резкости. Чтобы поправить впечатление, он вынул из воздуха серебряный охотничий ножичек и протянул его Кэю. Шишак на рукояти был сделан из черепа горностая, проваренного в масле и отполированного под стать слоновой кости, и Кэю ножик полюбился.

## 5

Дом сэра Эктора назывался Замок Дикого Леса. Он более походил на городок или деревню, чем на дом одного человека, — он и становился деревней в пору опасности, ибо эта часть нашего рассказа относится ко временам неспокойным. При всяком набеге или вторжении какого-нибудь соседствующего тирана каждый, кто жил во владении, поспешал в замок, гоня перед собою скотину и загоняя ее в межстенные замковые дворы, где она оставалась, пока не минет опасность. Глинобитные хижины при набегах почти неизменно сгорали, и приходилось потом с проклятьями их отстраивать. По этой же причине не имело смысла ставить в деревне церковь, ибо и ее пришлось бы каждый раз строить заново. Селяне посещали замковую часовню. По воскресеньям они облачались в лучшие одежды и шествовали по улице самой респектабельной поступью, озираясь по сторонам с видом неуверенно-важным, словно бы не желая, чтобы сразу было понятно, куда это они направляются; в будние же дни они приходили к мессе и к вечерням в обычной одежде да и вышагивали веселее. В те времена

все посещали церковь и всем это нравилось.

Замок Дикого Леса стоит и поныне, еще видны развалины его ладных стен, заросших плющом, обтесанных солнцем и ветром. Теперь здесь живут ящерки, в плюще согреваются зимними ночами оголодавшие воробьи, и сова-сипуха раз за разом прилетает гнать их оттуда, зависая снаружи над перепуганным сообществом и колотя крыльями по плющу, чтобы их выкурить. Большая часть внешней стены обрушилась, хотя можно еще различить основания двенадцати опорных башен, охранявших ее. Они были круглые и выступали из стены в ров, так что лучники имели возможность стрелять во всех направлениях и прикрывать любой участок стены. Внутри башен шли винтовые лестницы. Лестницы завивались вокруг центральных колонн, а в колоннах имелись прорези, через которые тоже стреляли из луков. Даже если враг пробивался за внешнюю стену и врывался в башню, защитники замка могли отступать по ступеням наверх и сквозь эти щели обстреливать тех, кто преследовал их.

Каменная часть подъемного моста с барбаканом и стрельницами наворотного покоя еще в хорошем состоянии. Здесь много хитроумных приспособлений. Если врагам и удавалось пре-

одолеть деревянный мост, а его поднимали, что не облегчало задачу, их поджидала утяжеленная громадным бревном опускная решетка, способная раздавить кого угодно в лепешку да еще и проткнуть насквозь. Пол барбакана прикрывал большую ловушку, через которую враги опять-таки попадали в ров. А на другом конце барбакана их поджидала еще одна опускная решетка, так что нападающих можно было запереть между решетками и уничтожить сверху, поскольку в полу стрельниц, или навесных башенок, имелись отверстия, через которые защитники замка могли сбрасывать им на голову все, что было под руками. И наконец, выпуклый резной орнамент в середине сводчатого потолка крепостных ворот скрывал небольшое аккуратное отверстие, ведшее в верхний покой, где стоял большой котел, в котором плавился свинец или кипело масло.

Это что касается наружных укреплений. Проникнув же за внешнюю стену, ты попадал в своего рода широкий коридор, возможно, забитый ошалелыми овцами, и обнаруживал перед собой еще одну, вполне самостоятельную крепость. То была внутренняя цитадель с восемью огромными опорными башнями, стоящими и поныне. Какое удовольствие — забраться на самую высокую

из них и лежать там, озирая порубежье Уэльса, из-за которого приходили иные из этих старинных напастей, и не иметь над головой ничего, кроме солнца, и посматривать на семенящих внизу маленьких туристов, ничего не ведающих о стрелах и кипящем масле. Подумай, сколько столетий выстояла эта несокрушимая башня. Ей случалось переходить из рук в руки — один раз после осады, дважды по причине предательства, но штурмом ее не взяли ни разу. На этой башне нес свою службу дозорный. Здесь он стоял на страже над синими лесами, что уходят к Уэльсу. Ныне его белые старые кости лежат под полом часовни, так что стоять на страже придется тебе.

Если ты глянешь вниз и не испугаешься высоты (Общество Охраны Того и Сего установило превосходное ограждение, дабы охранить тебя от падения вниз), ты сможешь увидеть всю анатомию внутреннего двора, лежащего под тобою, как карта. Ты сможешь увидеть часовню, ныне вполне открытую своему богу, и окна обширного зала с верхним покоем над ним. Ты сможешь увидеть дымоходы огромных каминов и то, как хитроумно придумано соединение с ними боковых вытяжных труб, и маленькие личные покои, ныне доступные публике, и исполинскую кухню.

Если ты человек с понятием, ты проведешь здесь дни, а то и недели, строя догадки и понемногу проясняя для себя, где помещались конюшни, где кречатня, где находился коровник, оружейная, сеновалы, колодец, кузня, псарня, где квартировали солдаты, где проживал священник, где находились покои моего господина и госпожи. И тогда все это снова вырастет, обступая тебя. В солнечном свете засуетятся вокруг низкорослые люди, — они были меньше, чем мы, и нам было бы трудновато втиснуться в немногие уцелевшие части доспехов или в их старые перчатки, — заблеют овцы на свой вечный манер, и, может быть, зашелестит прилетевшая из Уэльса трехперая стрела и замрет с таким видом, словно ей ни разу и не довелось шелохнуться.

Конечно, для мальчика это был рай. Варт сновал по замку, как кролик снует по путанному своему лабиринту. Он знал все и вся — все особые запахи, все места, где легко взобраться на стену, уютные норы, потайные укрытия, соскоки, скаты, закоулки, кладовки и прочие благодатные уголки. На каждое время года у него, как у кошки, имелось излюбленное местечко, и он непрестанно вопил, скакал, дрался и выводил людей из терпения, и лодырничал, и мечтал, и воображал себя рыца-

рем. В эту минуту он находился на псарне.

В те дни у людей были свои представления о выучке собак, не те, что бытуют ныне. Они полагались более на любовь, чем на строгость. Вообразите теперешнего владельца псовой охоты, как он укладывается в постель со своими гончими, а между тем Флавий Арриан говорит, что «самое лучшее, если они смогут спать с кем-то из людей, потому что это делает их человечнее, и потому что души их исполняются радости в обществе человеческих существ; также, если ночью они были неспокойны или страдали внутренней немощью, вы будете знать об этом и не станете использовать их для охоты на следующий день». На псарном дворе сэра Эктора имелся особый мальчишка по прозванию Собачий Мальчик, живший вместе с гончими днем и ночью. Он был чем-то вроде вожака собачьей стаи, и ему вменялось в обязанность каждодневно выводить их на прогулку, выдергивать колючки из лап, следить, чтобы не завелись у них на ушах язвочки, накладывать при мелких вывихах повязки, давать им снадобье от глистов, отделять и выхаживать заболевших чумкой, быть судьею в их ссорах, а по ночам спать меж ними, свернувшись калачиком. И если мне простят еще одну ученую цитату, то

вот как описывал позже такого мальчика убитый при Азенкуре герцог Йорк в своей книге «Королевская Охота»: «Также я обучу это дитя выводить собак дважды на дню — утром и вечером, но так, чтобы солнце непременно еще стояло в небе, особливо зимой. И пусть он позволит им долго бегать и резвиться на солнечном лугу, и затем пусть вычешет каждую гончую одну за одной и протрет ее насухо большим пуком соломы, и пусть поступает так во всякое утро. И затем пусть он отводит их в некое красивое место, где растут мягкие травы и злаки, и иные растения, каковых они смогут поесть, ибо это лекарство для них». И тогда, «как сердце мальчика и все дела его» будут с гончими, сами гончие станут «добры и ласковы, и чисты, довольны и веселы, и игривы, и приязненны для всякого рода существ, не считая дикого зверя, к коему им надлежит проявлять свирепство, ревность и злобу».

Собачьим мальчишкой сэра Эктора был никто иной как тот, которому откусил нос страшный Вот. Порядочного человеческого носа у него не было, да сверх того прочие деревенские дети осыпали его камнями, — вот он и нашел утешение в обществе животных. Мальчик разговаривал с собаками — не как нянька с младенцем, но

на их собственном языке, рыча и лая. Все они любили его и уважали за то, что он выдергивает им колючки из лап, и со всеми своими неприятностями бежали прямо к нему. А он всегда сразу же понимал, какая приключилась беда, и, как правило, находил способ ее поправить. Для собак было счастьем иметь при себе свое божество, да к тому же и в зримом образе.

Варт был привязан к Собачьему Мальчику и считал его очень умным, поскольку тому удавалось так управляться с собаками, — ибо он мог одним лишь движеньем руки добиться от них едва ли не всего, — а Собачий Мальчик любил Варта примерно так же, как собаки любили его самого, и вообще считал Варта почти что святым, потому что Варт умел читать и писать. Они проводили вместе немало времени, возясь на псарне с собаками.

Псарня располагалась невдалеке от кречатни, прямо под сеновалом, так что летом в ней было прохладно, а зимою тепло. Население ее составляли аланы, борзые, гончие и ищейки. Звали их Увалень, Упорный, Феба, Клей, Венок, Тальбот, Люс, Люффра, Аполлон, Хвала, Бран, Гелерт, Отскок, Мальчик, Лев, Громыхало, Тоби и Алмаз. Варт особенно любил пса по имени Каваль, и как

раз вылизывал ему нос — не наоборот, — когда его обнаружил Мерлин.

— Со временем это сочтут нечистоплотной привычкой, — сказал Мерлин, — хоть сам я ничего нечистоплотного в ней не вижу. В конце концов, нос этой твари, как равно и твой язык, — творенье Господних рук.

— И еще неизвестно, какое лучше, — задумчиво добавил философ.

Варт не всегда понимал, о чем Мерлин толкует, но слушать его речи любил. Ему не нравились взрослые, разговаривавшие с ним, как с маленьким, он предпочитал тех, что говорили, как привыкли, предоставляя ему мчаться вслед за их мыслью, ухватывать на лету значение слов, цепляясь за знакомые, строить догадки и усмехаться их сложным шуткам, внезапно обретавшим смысл. Он испытывал в этих случаях блаженство дельфина, играющего в неведомом море.

— Ну что же, пойдем? — спросил Мерлин. — По-моему, самое время начать наши уроки.

При этих словах сердце у Варта упало. Наставник провел здесь месяц, стоял уже август, но никаких уроков пока что не было. Теперь он вдруг вспомнил, что ради них Мерлин сюда и явился, и со страхом подумал об Основаниях Логики и

замызганной астролябии. Он, впрочем, понимал, что придется все это вытерпеть, и послушно встал, напоследок с сожалением потрепав Каваля. Он подумал, что с Мерлином, способным и «Органон» сделать интересным, особенно если он прибегнет к какому-нибудь волшебству, все может оказаться не таким уж и скучным..

Они вышли в замковый двор, под солнце, настолько жгучее, что в сравнении с ним жара сенокоса казалась совершеннейшим пустяком. Пекло, как в печке. Грозовые тучи, обычные при жаркой погоде, были тут как тут, — громады кучевых облаков с пылающими краями, — однако никакой грозы не предвиделось. Даже для нее было слишком жарко. «Вот бы сейчас, — думал Варт, — чем тащиться в душный класс, снять бы одежду да поплавать во рву».

Они пересекли двор, набрав побольше воздуху в грудь, как если бы им пришлось проскакивать сквозь раскаленную печь. В тени от наворотного покоя потянуло прохладой, но барбакан с его тесными стенами был истинным пеклом. Миновав его последним броском, они добрались до подъемного моста, — уж не догадался ли Мерлин, о чем он подумал? — и остановились, глядя на ров.

Была пора цветенья кувшинок. Они бы покры-

ли всю воду, если б сэр Эктор не приказывал каждый год расчищать часть рва мальчикам под купальню. Благодаря этому примерно двадцать ярдов по обе стороны от моста оставались свободны, так что можно было прямо с моста и нырять. Ров был глубокий. Его использовали под рыбный садок, чтобы обитатели замка могли получать рыбу по пятницам, и по этой причине архитекторы приняли особые меры, дабы сюда не попадали помои и сточные воды. Рыбы во рву каждый год плодилось изрядно.

— Эх, быть бы мне рыбой, — сказал Варт.

— Какою же именно?

Было, пожалуй, слишком жарко для размышлений на эту тему, но Варт в тот миг смотрел в прохладную воду, где бесцельно болтался целый школьный класс окуньков.

— Пожалуй, — сказал он, — мне бы понравилось быть окунем. Они храбрее глупой плотвы и не так кровожадны, как щуки.

Мерлин снял шляпу, учтиво поднял в воздух свою палочку из дерева жизни и медленно произнес:

— Нилрем теувтстевирп анутпен и ен тедуб ил но кат рбод отч темирп оготэ акорто в ыбыр?

Немедленно послышался зычный рев витых

морских раковин, и над зубцами стены объявился плотный, веселого вида господин, сидящий на растрепанном облаке. На животе у него виднелся вытатуированный якорь, а на груди — ладная русалка, под которой было написано «Мэйбл». Выплюнув табачную жвачку, он покивал приятельски Мерлину и нацелился трезубцем на Варта. Тут Варт обнаружил, что лишился одежды. Еще он обнаружил, что свалился с подъемного моста и боком звучно плюхнулся в воду. Еще обнаружил он, что ров и мост в размерах выросли в сотни раз. И понял он, что обратился в рыбу.

— О Мерлин, — закричал он, — пожалуйста, не оставляй меня!

— На этот раз не оставлю, — сказал ему на ухо крупный и важный линь. — Но впредь управляйся сам. Образование приобретается опытом, а сущность опыта в том, чтобы полагаться лишь на себя самого.

Оказалось, что быть существом иного рода дело нелегкое. Пытаться плыть на человечий манер было бессмысленно, ибо от этого его только скручивало наподобие пробочника да и плыл он слишком медленно. А плавать по-рыбьему он не умел.

— Не так, — веско вымолвил линь. — Положи

подбородок на левое плечо и попробуй складываться, будто карманный нож. Начинающему не следует думать о плавниках.

Ноги у Варта слиплись, образовав спинную кость, а ступни и пальцы на них стали хвостовым плавником. Руки тоже обратились в два плавника — нежно-розовых — и еще один вырос где-то на животе. Голова был свернута, и лицо смотрело через плечо так, что когда он изгибался посередине, ступни устремлялись скорее к уху, чем ко лбу. Тело приобрело красивый оливково-зеленый оттенок, его покрывала не особенно искусно сработанная пластинчатая кольчуга с темными полосками на боках. Не очень он был уверен, где у него бока, где спина, а где грудь, но то, что ныне стало его животом имело приятный беловатый окрас, а спину венчал отличный большой плавник, который можно было поднимать, изготовляясь к сражению, — в нем имелись шипы. По совету линя он сложился, как ножик, и обнаружил, что плывет прямо вниз, в донную тину.

— Пользуйся ногами, чтобы поворачивать вправо и влево, — сказал линь, — и расправь плавник на животе, тогда ты сможешь держаться на одной высоте. Ты теперь живешь в двух плоскостях, не в одной.

Варт обнаружил, что может держаться более или менее на одном уровне, меняя наклон боковых плавников и того, что на брюхе. Он неуверенно отплыл в сторону, испытывая чрезвычайное наслаждение.

— Вернись, — сказал линь. — Научись сначала плавать, а потом уж будешь метаться.

Чередою зигзагов Варт вернулся к наставнику и заметил:

— Похоже, что прямо я плыть не могу.

— Беда твоя в том, что плывешь ты не от плеча. Ты плаваешь, как плавал, когда был мальчиком, сгибаясь в бедрах. Попробуй складываться, начиная прямо от шеи и дальше к хвосту, и изгибай свое тело вправо ровно настолько, насколько ты хочешь, чтобы оно сдвинулось влево. Работай спиной.

Варт пару раз страшно дернулся и исчез в зарослях хвостника, росшего в нескольких ярдах от них.

— Так уже лучше, — сказал линь, скрытый из виду оливковой мглистой водой, и Варт с бесконечными затруднениями стал спиной выбираться из зарослей, выворачивая боковые плавники. Под конец, желая блеснуть, он одним мощным толчком метнулся туда, откуда слы-

шался голос.

— Хорошо, — сказал линь, когда они столкнулись хвостами. — Однако главное достоинство храбрости — ее осмысленность. Попробуй-ка, сможешь сделать вот так? — прибавил он.

И без какого бы то ни было видимого усилия он спиною заплыл под кувшинку. Без видимого усилия, — но Варт, старательный ученик, внимательно следил за малейшими движениями его плавников. Он крутнул собственными плавниками против часовой стрелки, ловко прищелкнул кончиком хвоста и оказался бок о бок с линем.

— Великолепно, — сказал Мерлин. — Давай-ка немного поплаваем.

Теперь Варт держался ровно и двигался довольно уверенно. У него появилось время оглядеться в необычайном мире, куда окунул его трезубец татуированного господина. Мир этот отличался от того, к которому он привык. Прежде всего, небо над ним выглядело теперь идеально правильным кругом. Этот круг замкнулся горизонтом. Чтобы представить себя на месте Варта, тебе придется вообразить круговой горизонт, расположенный в нескольких вершках над твоей головой, — вместо плоского, который ты видишь обычно. Под этим горизонтом, воздушным, вообрази еще один —

водный, сферический и чуть ли не перевернутый вверх ногами, — ибо поверхность воды отчасти служит зеркалом для всего, что находится под нею. Это вообразить трудновато. И тем труднее это вообразить, что любая вещь, которую человек счел бы находящейся над водной поверхностью, теперь окаймлялась всеми цветами спектра. Например, если бы ты сидел у воды, пытаясь выудить Варта, он бы увидел тебя — на краешке чайного блюдца, каким для него был наружный воздух, — не как одного человека, поводящего удилищем, но как семерых с очертаньями красным, оранжевым, желтым, зеленым, голубым, синим и фиолетовым, и все они махали бы одной и той же удочкой, чьи цвета менялись бы точно так же. В сущности, ты был бы для него человеком с радуги, сигнальным огнем, вспыхивающим разнообразными красками, кои, лучась, перетекают друг в дружку. Ты блистал бы на водах, как Клеопатра в стихах.

Не считая этого, самым чудесным было отсутствие веса. Он больше не чувствовал себя привязанным к земле, вынужденным ковылять по ее плоской поверхности, придавленным силой тяготения и тяжестью атмосферы. Он мог делать то, о чем издавна мечтали люди, — летать. В сущ-

ности, нет никакого различия между полетом в воде и полетом по воздуху. Самое же лучшее заключалось в том, что ему не приходилось лететь в машине, дергая за рычаги и неподвижно сидя на месте, — он летал благодаря усилиям собственного тела. Это походило на знакомый каждому сон.

Едва наставник с учеником вознамерились отправиться в ознакомительное плавание, как между двух колеблющихся, похожих на бутылки кустов хвостника показался бледный от волнения застенчивый юный окунь. Он смотрел на них большими опасливыми глазами и явно хотел о чем-то спросить, но никак не решался.

— Приблизься, — важно сказал Мерлин.

При этом слове окунь прыснул к ним, словно курица, залился слезами и, заикаясь, начал рассказывать.

— Б-б-б-б-будьте так добреньки, доктор, — пролепетал несчастный столь невнятно, что они с трудом различили слова, — у н-н-нас в с-с-с-семье та-болезнь, что м-м-м-мы подумали, может б-б-б-быть, вы уделите нам в-в-в-время? Это наша д-д-дорогая Мамочка, она все время плавает кверху ж-ж-ж-ж-животом и т-т-т-так ужасно в-в-выглядит и г-г-г-говорит такие странные ве-

щи, что мы п-п-п-правда думаем, что ей нужен д-д-д-д-доктор, если это в-в-в-вам не покажется дерзостью. К-к-к-клара и говорит иди, скажи ему, в-в-в-вы меня понимаете, д-д-д-доктор?

Тут изо рта бедного окуня столь обильно пошли пузыри, что его бормотание, и без того отягченное заиканием и общей слезливостью, стало совсем неразборчивым, и ему только и осталось вперяться в Мерлина скорбными очами.

— Не надо так волноваться, малыш, — сказал Мерлин. — А ну-ка, отведи меня к своей Мамочке, и мы посмотрим, что можно сделать.

И все трое отплыли во мглу, клубившуюся под подъемным мостом, на подвиг милосердия.

— Окуни в большинстве своем неврастеники, — шептал Мерлин, прикрываясь плавником. — Вернее всего, тут случай нервической истерии, им нужен скорее психолог, чем врач.

Мамочка окуня, как тот и описывал, лежала на спине. Глаза у нее съехались к носу, она сложила плавники на груди и время от времени выпускала маленький пузырек. Дети кружком обступали ее и при появлении каждого пузырька пихали друг дружку в бок и разевали в изумлении рты. На лице у Мамочки изображалась ангельская улыбка.

— Так-так-так, — сказал Мерлин, замечательно подражая повадкам доктора у постели больного, — и как себя нынче чувствует миссис Окунь?

Он погладил окунят по головкам и величаво приблизился к пациентке. Следует, быть может, отметить, что Мерлин был грузной, полнотелой рыбой весом почти в пять фунтов, золотистых тонов, с мелкой чешуей, полными плавниками, слизистыми боками и оранжевыми глазами — весьма внушительная фигура.

Миссис Окунь томно протянула ему плавник, выразительно вздохнула и сказала:

— Ах, доктор, так вы все же пришли?

— Хм, — произнес доктор таким низким голосом, на какой только был способен.

Затем он велел всем закрыть глаза, — Варт подглядывал, — и поплыл вокруг больной в величавом и медленном танце. Плавая, он пел. И вот что это была за песня:

*Терапевтический,*
*Элефантический,*
*Диагностический,*
*Вздрог!*
*Панкреатический,*
*Микростатический,*

*Антитоксический, Рок!*
*При дурном катаболизме,*
*Заикизме, бормотизме,*
*Производим снип, снап, снорум,*
*Отсекаем отсекорум.*
*Диспепсия,*
*Анемия,*
*Токсимия,*
*Эктазия,*
*Раз и два, и три: эгей!*
*Хворь выходит из костей,*
*Напевая трали-вали, и*
*Всего За Пять Гиней!*

К концу этой песни он уже кружил так близко к пациентке, что касался ее и терся своими коричневатыми, гладко-чешуйчатыми боками об ее, иссохшие и бледные. Возможно, он излечил ее своей слизью, — говорят ведь, что все рыбы обращаются к линю за лекарством, — а может быть, дело было в прикосновениях, в массаже или в гипнозе. Во всяком случае, миссис Окунь вдруг перестала косить, перевернулась брюшком вниз и сказала:

— Ах, доктор, милый доктор, мне кажется, я могла бы сейчас съесть маленького пескожила.

— Никаких пескожилов, — сказал Мерлин, — во всяком случае, в ближайшие два дня. Я вам прописываю крепкий бульон из водорослей, принимать каждые два часа. Видите ли, нам следует восстановить ваши силы. В конце концов, и Рим ведь не сразу строился.

Вслед за этим он еще раз погладил всех окуньков по головкам, пожелал им вырасти и стать храбрыми рыбками и с важным видом отплыл во мрак. Плывя, он надувал и втягивал щеки.

— Что ты имел в виду, когда сказал насчет Рима? — спросил Варт, едва они отплыли достаточно далеко, чтобы их не услышали.

— А Бог его знает.

Они поплыли бок о бок (время от времени Мерлин напоминал забывчивому Варту о необходимости работать спиной), и странный подводный мир, сладко прохладный после наружного жара, стал разворачиваться вокруг них. В обширных лесах подводной травы были проложены аккуратные тропки, над ними целыми школами неподвижно висели колюшки, обучавшиеся слаженно выполнять физические упражнения. По команде «Раз» они замирали, по команде «Два»

выполняли поворот кругом, а по команде «Три» мгновенно выстраивались в пирамиду, в вершине которой находилось что-нибудь вкусное. По стеблям кувшинок или исподам их листьев неторопливо семенили улитки, а перловицы полеживали себе на дне, ничем особым не занимаясь. Их розовые тела походили оттенком на лучшего сорта клубничное мороженое. Небольшие стайки окуней, — странное дело, вся рыба, что покрупнее, похоже, куда-то попряталась, — демонстрировали свое нежное кровообращение, так что вся компания вдруг заливалась краской или покрывалась бледностью с такой же легкостью, с какой это проделывают дамы в викторианских романах. Только краска у них была темно-оливковая, и была она краской гнева. Всякий раз, что Мерлин со своим спутником проплывали мимо них, они угрожающе задирали шипастые спинные плавники и опускали их, лишь завидев, что Мерлин — линь. Из-за темных полосок на их боках казалось, что они уже побывали на решетке жаровни, но эти полоски становились то светлей, то темней. Однажды нашим странникам случилось проплывать под лебедем. Белое создание колыхалось над ними, как цеппелин, видна была только его подводная

часть. Зато уж ее было видно очень хорошо, и оказалось, что лебедь плавает несколько боком, поджав одну ногу.

— Смотри, — сказал Варт, — у бедняги нога покалечена. Он может грести только одной, а другую всю скрючило.

— Вздор, — резко выпалил лебедь, сунув голову в воду и неодобрительно сморщив черные ноздри. — Лебеди так отдыхают, а ты можешь держать свое рыбье сочувствие при себе, вот так.

И пока они не скрылись из виду, он провожал их гневно пылающим взором, будто белый змей, вдруг пробивший потолок.

— Плыви рядом со мной, — сказал линь, — плыви так, словно на свете никогда и не было ничего такого, чего стоило бы бояться. Ты разве не видишь, что эти места совершенно как лес, которым тебе пришлось пройти, чтобы встретить меня?

— Разве?

— А взгляни вон туда.

Варт взглянул и поначалу ничего не увидел, но вскоре различил сквозистую фигурку, неподвижно висевшую почти у поверхности. Она расположилась на самом краешке тени от кувшинки и явно наслаждалась солнечным светом. То был щуренок, совершенно неподвижный и,

может быть, спящий; он походил на трубчатый стебелек или на распластанного морского конька. Вырастет — тот еще будет бандюга.

— Вот с одним из таких я и собираюсь тебя познакомить — с Императором этих трущоб. Я-то, в качестве доктора, пользуюсь правом неприкосновенности, и, смею надеяться, тебя он тоже уважит, как моего компаньона, — но ты все же держи хвост подогнутым: вдруг на него накатят тиранические настроения.

— Так он, значит, Владыка Рва?

— Именно-именно. Здесь его называют Старый Джек, иногда — Черный Питер, но по большей части стараются имени не поминать. Просто говорят — господин Ща. Вот посмотришь, что значит быть королем.

Варт начал малость приотставать от своего проводника и, вероятно, правильно поступил, ибо они подплыли совсем близко к старому деспоту, прежде чем Варт, наконец, заметил его, а заметив, в страхе отпрянул, ибо господин Ща имел четыре фута в длину, а вес его трудновато было даже прикинуть. Огромное тело, теневидное, почти неразличимое между стеблей, завершалось ликом, изрытым всеми скорбями, терзающими абсолютных монархов, — жестокостью, рас-

каянием, старением, гордыней, себялюбием, одиночеством и мыслями, непосильными для рассудка отдельной личности. Господин Ща висел или парил перед ними, углы его обширной иронической пасти были навек оттянуты вниз, как бы от некой печали, длинные гладкие челюсти сообщали его выражению нечто американское, сходство с Дядюшкой Сэмом. Он был беспощаден, лишен иллюзий, наделен логическим складом ума, — хищный, свирепый, безжалостный, — но глаза его, огромные, переливчатые, как драгоценные камни, казались глазами раненого оленя — большие, испуганные, нежные и полные скорби. Он не шелохнулся, но окинул их горестным взглядом.

Про себя Варт решил, что господин Ща ему вовсе не нравится.

— Властитель, — сказал Мерлин, не обращая внимания на трепет, пронизавший Варта, — я привел к вам молодого адепта, желающего принять вашу веру.

— Веру во что? — медленно вопросил Владыка Рва, почти не раскрывая рта и говоря в нос.

— В силу, — ответил линь.

— Пусть скажет сам за себя.

— С вашего дозволения, — сказал Варт, — я не

знаю, о чем мне должно спросить.

— На свете нет ничего, — сказал монарх, — за вычетом силы, коей ты притворно взыскуешь: силы перемалывать и силы переваривать, силы искать и силы отыскивать, силы ждать и силы предъявлять права, все это сила и все — беспощадность, и зарождаются они в тебе, немного ниже затылка.

— Спасибо.

— Любовь — всего лишь обман, навязанный нам силами эволюции. Наслаждение — приманка, подброшенная ими же. Существует лишь сила. Сила принадлежит индивидуальному разуму, но силы разума недостаточно. В конце концов, все решает телесная мощь и Один Только Сильный Прав.

— Теперь же, как я полагаю, тебе самое время уйти, молодой господин, ибо я нахожу эту беседу скучной и утомительной. И я считаю, что тебе лучше исчезнуть почти мгновенно, иначе моя не питающая иллюзий пасть может внезапно решиться представить тебя всем моим зубам. Да, я решительно полагаю, что самое умное для тебя — убраться сию же минуту. Итак, попрощайся с моим величеством — и надолго.

Тут обнаружилось, что хвастливые щучьи речи

едва не заворожили Варта, — он и не заметил, что плотно сжатая пасть все приближалась и приближалась к нему. Она подвигалась неощутимо, пока наставления отвлекали его, и вдруг разрослась, оказавшись в вершке от его носа. С последней фразой она распахнулась, жуткая, просторная, кожа натянулась, обнажив алчные зубы. Казалось, внутри нее нет ничего — одни только зубы, — острые, словно тернии, зубы рядами и грядами, всюду, их было там как гвоздей в сапогах поденщика, и лишь в последнюю секунду Варт, напрягая волю, смог сжаться в комок, припомнить все, чему его научили, и ускользнуть. Зубы, все сразу, клацнули сзади, у самого кончика хвоста, покамест он складывался, как самый лучший карманный ножик, какой ему когда-либо дарили.

Мгновенье спустя он вновь стоял на сухой земле, стоял рядом с Мерлином на раскаленном мосту, задыхаясь в душной одежде.

## 6

По четвергам мальчики после обеда занимались стрельбой из лука. Две соломенные мишени отстояли на пятьдесят ярдов одна от другой, и когда они выпускали все стрелы в одну, им оставалось лишь дойти до нее, подобрать стрелы и, повернувшись кругом, стрелять в другую. Погода еще была прелестная, летняя, за обедом подавали цыплят, так что Мерлин дошел с ними до края стрельбища и расположился под деревом. Тепло, цыплята и сливки, которыми он обильно полил свой пудинг, и чоканье стрел по мишеням, — звук, навевавший дремоту, подобно шелесту кос или перекличке деревенских сверчков, — и танец овальных солнечных пятен в древесной листве, — все это скоро и крепко усыпило старика.

Стрельба из лука была в те дни делом серьезным. Ее еще не отдали в забаву индейцам и маленьким мальчикам. Тот, у кого стрельба не задавалась, выходил из себя, совершенно как нынешние состоятельные стрелки по фазанам. Кэй стрелял плоховато. Он слишком усердствовал и дергал стрелу, отпуская, вместо того чтобы предоставить луку направить ее.

— Ладно, пошли, — сказал он. — Меня тошнит от этих дурацких мишеней. Давай постреляем в чучело.

Они оставили мишени в покое и постреляли немного в чучело — большого, ярко раскрашенного самодельного попугая, сидевшего на подпорке, — и по нему Кэй промахнулся тоже. Поначалу он думал: «Ну я эту дрянь достану, даже если придется остаться без чая». А потом ему все просто прискучило.

Варт сказал:

— Может, тогда поиграем в разбойников. А через полчаса вернемся и разбудим Мерлина.

Игра в разбойников состояла в том, что они разгуливали с луками, выпуская по одной стреле в каждую подходящую цель, какая ни встретится. Иногда ею становилась кротовая кочка, иногда — кустик ситника, иногда — большой куст чертополоха почти у самых ног. Расстояние до цели всякий раз выбиралось иное, порой до нее было ярдов сто двадцать, — дальше их мальчишечьи луки послать стрелу не могли, — а порой они выбирали ближайший куст чертополоха, и тогда приходилось метить пониже, потому что стрела, покидая лук, всегда подлетает вверх на фут-другой. Попадание считалось за пять очков, а если от

цели до стрелы можно было достать луком, — это давало очко. В конце игры очки складывались.

В этот четверг они выбирали цели с умом. К тому же траву на широком поле недавно скосили, и им не приходилось подолгу отыскивать стрелы, что при стрельбе из лука случается так же часто, как при игре в гольф поиск мяча после опрометчивого удара близ изгороди или в каком-то неровном месте. В итоге они забрели дальше обычного и оказались у опушки дикого леса, в котором потерялся Простак.

— Давай дойдем до ловчего поля, — сказал Кэй, — и попробуем подстрелить кролика. Все веселей, чем стрелять по кочкам.

Так они и сделали. Выбрали два дерева, отстоявших ярдов на сто, и каждый встал под своим, ожидая, когда появятся кролики. Они стояли не двигаясь, подняв луки и наложив на них стрелы, чтобы производить как можно меньше движений и не вспугнуть кроликов, когда те полезут из нор. Стоять так им было нетрудно, ибо первый экзамен, который они сдавали, обучаясь искусству лучника, как раз и сводился к тому, чтобы простоять полчаса с луком в вытянутой руке. У каждого было шесть стрел и каждый мог выпустить их, прицелясь, прежде чем придется

распугивать кроликов, подбирая стрелы. Сама стрела не производит шума достаточного, чтобы встревожить более одного кролика — того, в которого она летит.

На пятой стреле Кэю улыбнулась удача. Он точно примерился к ветру и расстоянию, и стрела попала молодому кролику прямо в голову. Бедняга стоял торчком, пытаясь разглядеть Кэя и гадая, кто он такой.

— Эх, хорош выстрел! — крикнул Варт, когда они подбежали к кролику. Им впервые так повезло — попасть в кролика да еще и убить его на месте.

Тщательно выпотрошив его подаренным Мерлином охотничьим ножом — для сохранения свежести — и пропустив одну его заднюю ногу под сухожильем другой, чтобы его удобнее было нести, мальчики собрались со своей добычей домой. Но перед тем как снимать тетиву с лука, они обычно выполняли особый обряд. Каждый четверг, под вечер, по завершении занятий им разрешалось наложить на лук еще по одной стреле и выстрелить прямо в небо. То был жест отчасти прощания, отчасти триумфа, и жест этот был прекрасен. Сегодня он стал салютом в честь их первой добычи.

Варт следил за своей стрелой, уходящей вверх. Солнце уже клонилось на запад, к вечеру, и деревья, среди которых они стояли, погрузили их в негустую тень, а потому стрела, взлетев над деревьями и вырвавшись на солнечный свет, загорелась на вечереющем небе так, словно сама была солнцем. Она уходила все выше и выше, не раскачиваясь, что бывает, когда стрела зацепится за тетиву, взмывая, всплывая, возносясь в небеса, неуклонная, золотая, чудесная. И в тот самый миг, когда она утратила силу, в миг, когда судьба приглушила ее честолюбивый порыв, и она изготовилась, перевернувшись, пасть в материнское лоно земли, случилось недоброе чудо. Утомленно хлопая крыльями, появилась, предвестницей приближения ночи, черная ворона. Она появилась, она устремилась к стреле, она схватила ее. И, тяжело набрав высоту, исчезла, унося стрелу в клюве.

Кэй испугался, а Варт рассердился ужасно. Он полюбил полет этой стрелы, ее гордую стремительность, горящую в солнечном свете, и к тому же то была лучшая из его стрел. Единственная, в совершенстве уравновешенная, острая, с тугим опереньем, с чистой ложбинкой для тетивы, без кривизны и царапин.

— Это была ведьма, — сказал Кэй.

— А по мне хоть десять, — ответил Варт. — Я хочу получить обратно мою стрелу.

— Так она же в лес улетела.

— Я пойду за ней.

— Тогда иди один, — сказал Кэй. — Я из-за какой-то паршивой стрелы в Дикий Лес не полезу.

— Пойду один.

— Ну ладно, — сдался Кэй. — Видно, придется и мне с тобой идти, раз уж ты так уперся. На что хочешь поспорить готов, сцапает нас там Вот.

— Пусть себе цапает, — сказал Варт. — Мне нужна моя стрела.

И они вошли в лес в том месте, где последний раз мелькнула мерзкая птица.

Меньше чем через пять минут перед ними открылась прогалина с колодцем и домиком, совсем такими, как у Мерлина.

— Господи, — сказал Кэй, — я и не знал, что так близко от нас есть жилье. Слушай, пошли отсюда.

— Погоди, дай оглядеться, — сказал Варт. — Здесь, наверное, какой-нибудь колдун живет.

К садовой калитке у домика была привинчена медная табличка. На ней значилось:

Мадам Мим, Бакалавр гуманитарных наук

(Дом–Даниэль)
ФОРТЕПИАНО
ВЫШИВАНИЕ
НЕКРОМАНТИЯ
Разносчикам, рекламным агентам
и налоговым инспекторам
вход воспрещен.
Осторожно, злой дракон.

На окнах домика висели тюлевые занавески. Они едва приметно колыхались, ибо за ними пряталась, подглядывая, некая дама. Черная ворона сидела на трубе.

— Пошли отсюда, — повторил Кэй. — Да пошли же. Точно тебе говорю, она ее ни за что не отдаст.

Тут дверь домика растворилась, и они увидели стоящую на пороге ведьму, ослепительной красоты женщину лет тридцати с черными, как смоль, волосами, такими черными, что они отливали синевой, будто оперенье сороки, с глазами небесной голубизны и с выражением тихой кротости в лице. Коварная была особа.

— Как поживаете, дорогие мои? — спросила мадам Мим. — И чем я могу быть вам полезной сегодня?

Мальчики стянули с голов кожаные шапчонки,

и Варт сказал:

— Не будете ли вы так добры, вон там на трубе сидит ворона, по–моему, она утащила мою стрелу.

— В точности так, — сказала мадам Мим. — Стрела там, в доме.

— Не вернете ли вы ее мне?

— Неизбежно, — мадам Мим сделала приглашающий жест. — Молодой джентльмен получит свою стрелу в сей самый миг, лишь только маятник четырежды качнется и нетопырь три раза пропищит.

— Большое вам спасибо, — сказал Варт.

— Войдите, — сказала мадам Мим. — Почтите мой порог. Вкусите от скромного гостеприимства с такой же открытой душой, с какой оно вам предлагается.

— Право же, мы не сможем у вас задержаться, — вежливо сказал Варт. — Нам и вправду нужно идти. Нас дома ждут.

— Сладкое ожидание, — благоговейно откликнулась мадам Мим.

— И все же трудно отделаться от мысли, — прибавила она, — что молодые джентльмены могли бы найти немного времени и оказать честь бедной селянке, хотя бы из одной лишь учтивости.

Немногие способны поверить в то, сколь верноподданные чувства охватывают нас, безродных арендаторов, когда случается нам принимать у себя сыновей владетеля этих земель.

— Мы бы с удовольствием к вам загляну-ли, — сказал Варт, — нет, правда, с большим удовольствием, но понимаете, мы и так уже запаздываем.

В ответ стоящая на пороге дама с жеманным подвыванием произнесла:

— Конечно, угощение у меня самое незатейливое, не то, к какому вы привыкли, и что же удивительного в том, что столь высокородным особам совсем не хочется его вкусить.

Тут уже не выдержал Кэй, всегда хорошо знавший как подобает и как не подобает себя вести. Будучи мальчиком аристократическим, он почитал необходимым снисходить до тех, кто ниже его рождением, дабы они имели основания его обожать. Пусть даже приходилось рискнуть и посетить ведьмино логово, но допустить, чтобы про него говорили, будто он отказался разделить трапезу с арендатором, по причине скромности угощения, он все же не мог.

— Ладно, Варт, — сказал он. — войдем. Нас все равно раньше вечерни не ждут.

Они ступили за порог, минуя мадам Мим, присевшую перед ними в глубоком реверансе, и в тот же миг она цапнула мальчиков за загривки, сильными, как у цыганки, руками оторвала от земли и рванула с обоими к задней двери чуть ли не до того, как они вошли в переднюю. Гостиная и кухня пронеслись перед Вартом, едва успев оставить после себя смазанные впечатления. Занавесочки в кружавчиках, герань, литография, известная под названием "Выбор Девы", текст "Отче наш" отпечатанный шиворотнавыворот и повешенный вверх ногами, морская раковина, игольник в форме сердечка с надписью "Презент из Камелота", палки от метел, котлы, бутыли с вином из одуванчиков, — и вот уже мальчики, бьющиеся в потугах вырваться из ее лап, очутились на заднем дворе.

— Мы полагали, что подрастающим охотникам будет любопытно взглянуть на наших кроликов, — сказала мадам Мим.

Во дворе и впрямь имелось несколько больших кроличьих клеток, да только кроликов в них не было. В одной сидел несчастный замызганный филин, жалкий и, видимо, пребывающий в полном небрежении; в другой — незнакомый Варту с Кэем мальчуган, дурачок, который только и

смог при их появлении выкатить глаза да залопотать. Третью занимал облезлый черный петух. В чертвертой помещался шелудивый козел, тоже черный. Еще две стояли пустыми.

— Плаксивая Прорва! — крикнула ведьма.

— Здесь, маменька, — ответила черная ворона.

Хлопая крыльями и клекоча, ворона спустилась и села рядом с ними на землю, скосив набок поросший щетиною черный клюв. Она была любимицей ведьмы.

— Открой дверцы, — приказала мадам Мим, — и Плаксивая Прорва получит на ужин глазки, кругленькие и голубые.

Ворона–стервятница, всем своим обликом выражая довольство, с троекратным ура поспешила исполнить приказ, крепким клювом тягая тяжелые двери. Мальчиков затолкали вовнутрь, каждого в свою клетку, и мадам Мим оглядела их с нескрываемым удовлетворением. На дверях клеток имелись заговоренные замки, — чтобы открыть их, ведьме приходилось что-то такое шептать в замочные скважины.

— Лучшая парочка молодых джентльменов, — сказала ведьма, — какую когда-либо тушили и жарили. Выкормлены, готова поспорить, отменного качества мясом, молоком и всем прочим.

Ну что же, большого оставим на воскресенье, — авось мне удастся раздобыть немного вина, чтобы добавить в котел, а того, что поменьше, отведаем при восходе луны, ибо, Боже мой и черт подери, как подумаю, что не сей же час предстоит мне воткнуть в него мою острую вилку, у меня просто дух занимается.

— Выпусти меня отсюда, старая ведьма, — хрипло сказал Кэй, — выпусти или тебе придется иметь дело с сэром Эктором.

Заслышав такие слова, мадам Мим не смогла долее сдерживать буйную радость.

— Нет, вы послушайте шалуна, — закричала она, прищелкивая пальцами и отплясывая перед клетками подобие джиги с подскоками. — Послушайте, что говорит этот сладенький, храбренький, нежный кусочек парного мяса. Он мне дерзит, он мне грозит сэром Эктором, стоя на самом краю кухонного котла. Ах, говорю вам, что ежели мне до исхода недели не выпадет счастья впиться в их мясо зубами, я просто в обморок упаду, и в том вам клянусь именами Скармиглиони, Велиала, Пеора, Кириато Саннуто и Доктора Д.

Она закружила по заднему двору и огороду, отчищая котлы, собирая на грядках травки для приправы, востря ножи с секачами, грея воду,

подскакивая от восторга, облизывая ненасытные губы, произнося заклинания, заплетая в косу черные, как ночь, волосы и распевая за работою песни.

Первым делом она пропела старинную ведьмячью песню:

*Духи черные и белые, духи света и могилы.*

*В этом вареве смешайтесь, как смешаться вам по силам.*

*Это кровь летучей мыши:*

*Лей, чтоб взвар поднялся выше,*

*Леопарса жуткий яд:*

*Суй туда же, все подряд.*

*В этом вареве смешайтесь, как смешаться вам по силам.*

Затем спела песню рабочую:

*Две чайных ложки хереса,*

*Три унции дрожжей,*

*Единорога фунта два,*

*И Бог наш пир призрей.*

*Все отбить по мере сил,*

*Все отбросить на дуршлаг,*

*Вскипятить, кусок отчикать,*

*Прыг, скок, бряк.*

*То в ведро, а то в котел, с пивом, джином и горчицей.*

*Подстрелить, подбить, словить, выдрать перышко у птицы.*

*Греть не сильно и не слабо.*

*Богу наш угоден шабаш.*

*Тре–ке–ке!*

*Три жабы в горшке.*

*Бру–га–га!*

*Лягушья нога.*

*Я сквозь занавесочку в кружавчиках взираю:*

*Вот идет всем девам дева, на дурное*

*вышла дело, я вас уверяю!*

*Ах, дитя, ваш облик милый*

*Словно создан для могилы.*

*Щепоточку соли.*

С этими словами она хапнула полную жменю соли,

*Глоток алкоголя.*

Она на бесстыдный манер завертелась супротив солнца.

*И эх–нанни–нанни–нанни безо всяких "может быть".*

Под конец этой песни мадам Мим ни с того ни с сего расчувствовалась и отвела душу, исполнив несколько богохульственных гимнов, а также нежную любовную песенку, каковую пропела вполголоса, но зато с переливами. Песня была

такая:

*Моя любовь красна, как нос,*
*И хвост у нее лохматый.*
*И где бы милый мой ни бродил,*
*Я зову его Черт Рогатый.*

С тем она и удалилась в гостиную, чтобы накрыть на стол.

Бедный Кэй плакал, лежа ничком в углу последней в ряду клетки и ни на что не обращая внимания. Мадам Мим, прежде чем швырнуть Кэя внутрь, исщипала его с головы до ног, проверяя, довольно ли он упитан. Да еще и смачно шлепнула, как это делают мясники, дабы удостовериться, что внутри у него нет пустот. А главное, он не испытывал ни малейшего желания быть съеденным за воскресным обедом, зато испытывал жалкий гнев на Варта, который завел его сюда и обрек столь ужасной участи из-за какой-то ерундовой стрелы. Кэй совсем забыл, что именно по его настоянию они переступили порог домика, себе на погибель.

Варт же сидел на корточках, ибо клетка была слишком мала, чтобы распрямиться в ней во весь рост, и изучал свое узилище. Решетки железные и дверца железная тоже. Он по очереди потряс прутья, прутья не подались, с таким же успехом

можно было пытаться сдвинуть с места скалу. В углу помещалась железная миска для воды, — вода в ней, правда, отсутствовала, — и груда старой соломы, чтобы было на чем полежать. В соломе кишели какие-то паразиты.

— Наша хозяйка, — сказал вдруг сидевший в соседней клетке старый шелудивый козел, — не больно-то заботится о своих питомцах.

Говорил он тихо, стараясь, чтобы его не подслушали, но трупоедка–ворона, так и оставшаяся сидеть на каминной трубе, чтобы шпионить за ними, приметила, что мальчик с козлом разговаривают, и подобралась поближе.

— Если хочешь поговорить, — сказал козел, — говори, только шепотом.

— А ты что, один из ее домочадцев? — подозрительно осведомился Варт.

Бедное создание не оскорбилось его словами и даже постаралось не показать, как обиден ему подобный вопрос.

— Нет, — ответило оно, — я не из ее домочадцев. Я всего только шелудивый старый козел, да еще и ободранный, как ты можешь заметить, а держат меня здесь для того, чтобы принести в жертву.

— Она и тебя тоже съест? — спросил Варт, и голос его дрогнул.

— Не она. Для такой сладкоежки я слишком зловонен, это уж ты мне поверь. Нет, ей нужна моя кровь, чтобы размалеваться перед Вальпургиевой Ночью.

— Это, знаешь, еще не скоро, — без малейших признаков жалости к себе продолжал козел. — За себя-то мне не так и обидно, потому что я уже старый. А ты посмотри вон на того несчастного филина, она его держит здесь просто потому, что в ней чувство собственника взыграло, а покормить то и дело забывает. Как увижу это, во мне прямо кровь закипает. Ему же полетать охота, крылья расправить. Он каждую ночь все бегает, бегает по клетке, бегает, будто большая крыса, такое его томит беспокойство. Видишь, все мягкие перья себе обломал. Я ладно, мне малоподвижная жизнь даже по нраву, — молодость моя улетела, природа себя оказывает, — но то, что она вытворяет с филином, это, я бы сказал, редкостный позор. С этим нужно чтото делать.

Варт сознавал, что его этой ночью вероятно убьют, первым из всей томящейся в клетках компании, и все же величие козлиной души его поневоле растрогало. Сам ожидая исполнения смертного приговора, козел еще находил в себе силы печалиться о филине. Варт позавидовал

его отваге.

— Ах, если б я мог отсюда выбраться, — сказал он. — Я знаю одного волшебника, который бы мигом ее утихомирил и выручил всех нас.

Козел некоторое время обдумывал его слова, кивая доброй старой головой с огромными дымчатыми глазами. Затем сказал:

— Вообще-то говоря, я знаю, как открыть твою клетку, я только не хотел упоминать об этом раньше времени. Прижми ухо к прутьям. Я знаю, как выпустить тебя, но не твоего бедного друга, который так жалобно плачет. Мне не хотелось подвергать тебя подобному искушению. Понимаешь, когда она заговаривает мой замок и два других, те что по бокам от меня, я слышу слова, которые она произносит. Когда же она отходит к дальним клеткам, мне уже ничего не слышно. Я знаю слова, способные освободить тебя и меня, и черного петуха впридачу, а вот твоему другу я помочь ничем не могу.

— Так почему же ты до сих пор не сбежал? — спросил Варт, сердце которого начало ухать в груди.

— Видишь ли, я не могу ничего сказать на человеческом языке, — печально ответил козел, — и этот несчастный слабоумный мальчонка, дура-

чок, и он никаких слов выговорить не способен.

— Ну так скажи их мне.

— Ты тогда выйдешь на свободу, и я с петухом тоже, если, конечно, ты задержишься, чтобы выпустить нас. Но хватит ли тебе духу остаться или ты сразу сбежишь? И как быть с твоим другом и с дурачком, и со старым филином?

— Окажись я на свободе, я бы сразу побежал за Мерлином, — сказал Варт. — Сразу же, уверяю тебя, и он пришел бы сюда и в два счета убил бы старую ведьму, и тогда мы все вышли бы на свободу.

Козел вглядывался в мальчика, старые утомленные глаза его, казалось, пытались проникнуть в сокровенные глубины вартова сердца.

— Я сообщу тебе лишь те слова, которые открывают твою клетку, — в конце концов произнес козел. — Мы с петухом останемся здесь вместе с твоим другом — заложниками твоего возвращения.

— Ах, козел, — зашептал Варт. — Ты мог бы заставить меня произнести сначала слова, которые выпустят на свободу тебя, и сразу сбежать. Или освободить нас троих, начав для верности с себя, и покинуть Кэя на съедение. Но ты остаешься с ним. Ах, козел, я никогда тебя не забуду, и если

мне не удастся вернуться вовремя, я не смогу больше жить.

— Нам придется подождать темноты. Теперь уж недолго.

Во время разговора они видели, как мадам Мим зажигает в гостиной масляную лампу. Лампа была под розовым с узорчиками абажуром. Ворона, не способная видеть в темноте, потихоньку подкралась поближе к клеткам, чтобы по крайности иметь возможность подслушивать.

— Послушай, козел, — снова заговорил Варт, в душе которого в этих чреватых опасностью сумерках совершалась некая странная и страшная работа, — придвинь голову еще ближе. Пожалуйста, поверь мне, я вовсе не хочу превзойти тебя великодушием, но у меня есть план. Мне кажется, будет лучше, если я останусь заложником, а ты убежишь. Ты черный, тебя в темноте не видно. И ног у тебя четыре, так что бегаешь ты быстрее меня. Лучше тебе отправиться с весточкой к Мерлину. Я прошепчу заклинание для твоего замка, а сам останусь здесь.

Последние слова он выговорил с трудом, ибо сознавал, что мадам Мим теперь уже в любую минуту может прийти за ним, и если Мерлин к тому времени еще не появится, для него, Варта,

это будет смертным приговором. Но он выговорил их, вытолкнул из себя так, словно дышал под водой, потому что сознавал и другое: если мадам явится за ним, а его не будет, она почти наверняка тут же сожрет Кэя.

— Господин, — без лишних слов произнес козел.

Он вытянул вперед одну ногу и приник двурогим лбом к земле в поклоне, отдаваемом лишь королям. А затем, уже как другу, он поцеловал Варту руку.

— Поспеши, — сказал Варт, — просунь ко мне рог сквозь прутья, и я одной из стрел напишу на нем записку для Мерлина.

Трудно было придумать, что написать столь неудобным стилом на столь малом пространстве. В конце концов, Варт просто нацарапал "Кэй". Он не написал своего имени, полагая, что Кэй намного важнее его и потому помощь для Кэя придет скорее.

— Дорогу знаешь? — спросил он.

— Знаю, моя бабка жила в замке.

— Так что надо сказать? Какие слова?

— Мои, — ответил козел, — довольно неприятные.

— Говори же.

— Ладно, — согласился козел. — Ты должен сказать: "Пусть доброе пищеваренье ждет до появленья аппетита".

— Ах, козел, — надтреснутым голосом сказал Варт. — как это все ужасно! Но беги быстрее, козел, и возвратись благополучно, и знаешь, козел, поцелуй меня еще раз на прощание.

Однако козел не стал его целовать. Он отдал Варту императорские почести, преклонив на сей раз оба колена, и едва только Варт произнес необходимые слова, метнулся из клетки вон и скрылся во мраке.

На беду, хоть оба они и шептались так тихо, что ворона не могла подслушать их разговор, заклинание все же пришлось произнести погромче, иначе оно не дошло бы до дверцы соседней клетки, да и дверца, когда открывалась, скрипнула.

— Маменька, маменька! — истошно завопила ворона. — Кролики разбегаются!

Сей же миг в освещенном проеме кухонной двери объявилась мадам Мим.

— Что там такое, Плаксынька? — крикнула она. — Что нас такое гнетет, синичка ты моя ласковая?

— Кролики разбегаются, — еще раз провереща-ла ворона.

Ведьма выскочила во двор, но слишком поздно, чтобы поймать козла или даже увидеть его, а потому сразу принялась проверять запоры, освещая их пальцами. Пальцы она, растопырив, держала торчком, на кончике каждого трепетал язычок синего пламени.

— Один мальчик на месте, — пересчитывала своих пленников мадам Мим, — плачет, бедненький, обеда дожидается. Два мальчика на месте, и ни один не похудел. Один козел шелудивый пропал, ну и невелика потеря. Филин-то с петухом остались, и дурачок никуда не делся.

— И все же, — прибавила мадам Мим, — то, что он удрал, это нам предостережение, серьезное предостережение, вот что это такое.

— Он шептался с мальчишкой, — наябедничала ворона, — последние полчаса они все время шептались.

— Вот как? — сказала ведьма. — Значит, козел шептался с моим объяденьецем, э? Ну и много пользы это тебе принесло, мой мальчик? А как тебе понравится начиночка из шалфея? Однако, тыто куда смотрела, Прорвочка ты моя? Как ты могла допустить такое их поведение? За это останешься без обеда, птичка моя расписная, райская. А ну-ка, плюхай отсюда на любое сохлое дерево и

устраивайся на ночлег.

— Ах, маменька, — заныла ворона. — Я всего лишь выполняла мой долг.

— Плюхай отсюда, тебе говорят, — прикрикнула мадам Мим. — Пошла прочь, и можешь там дуться, сколько захочешь.

Бедная ворона свесила голову и, бормоча что-то язвительное, поплелась на другой конец крыши.

— Ну–с, мой сочный кусочек, — сказала ведьма, повернувшись к Варту и прошептав положенное "Когдадовольствуешься–малым–достаточное–целый–пир", чтобы открыть его дверцу, — нам кажется, что котел уже закипает, и печка прогрелась в меру. Как моему молочному поросеночку понравится, когда его нашпигуют сальцем? Не все же ему шептаться по углам.

Варт, сколько мог, метался по клетке, не давая себя изловить, — он старался хоть немного потянуть время, чтобы Мерлин успел прийти к ним на помощь.

— Отцепись от меня, скотина, — вопил он. — Отцепись, старая карга, не то я тебе все пальцы перекусаю.

— Ишь как царапается, бедненький, — говорила мадам Мим. — Господи благослови, как он извивается и дерется и все только потому, что

попал к басурманочке на обед.

— Ты не посмеешь меня убить, — кричал Варт, уже пойманный за ногу и повисший в воздухе вниз головой. — Тронь меня хоть пальцем, и ты пожалеешь об этом.

— Ягненочек, — сказала мадам Мим, — куропаточка полногрудая, как же он, бедный, пищит.

— Так вот, мой маленький, — продолжала ведьма, неся его в освещенную лампами кухню, на полу которой была расстелена чистая простыня, — в старину нравы были жестокие, и цыпляток ощипывали еще живыми. Так у них перышки легче выходили. В наши дни до такого зверства никто не доходит, никогда–никогда, но с другой стороны, маленькие мальчики, они ведь боли совершенно не чувствуют. Одежду с них лучше сдирать, пока они еще живы, а зажарить мальчика в одежде и тем испортить себе все удовольствие от еды, — такое кому же в голову вскочит?

— Убийца, — выкрикнул Варт. — Ночь еще не пройдет, как ты раскаешься в этом.

— Ах ты, заинька, — сказала ведьма, — просто срам — убивать такого, просто срам. Как у него волосики-то мягкие вздыбились, как он глазки-то выпучил. Бедная Прорвочка, не видать ей этих

глазок, надо же, жалость какая. Вот как доходит до подобных дел, так, право, иногда прямо подмывает обратиться в вегетарианство.

Ведьма уложила Варта себе на подол, стиснула ему коленями голову и с расторопностью, свидетельствующей о немалой практике, начала стаскивать с него одежду. Варт изо всей мочи лягался и дергался, сознавая, что любое промедление отсрочит его неминучую смерть и даст козлу больше времени, чтобы привести на помощь Мерлина. Ведьма же, раздевая его, пела ощипательную песню, вот такую:

Хорошо щипать перо,
Коли дичь послушна — о.
Мягкое идет легко,
Жесткое натужно — о.
Если ж бьется, негодяй,
Ты на корчи не взирай.

Ибо мальчики, по счастью, к боли равнодушны.

Эту песню она перемежала другой, кухонной, — песней счастливой стряпухи:

Нежная шкурка хрустит на зубах,
Ах, мой утеночек сладенький, ах!
Вертел туда,
Жилки сюда,

Кушанье выйдет, как в лучших домах.

— Ты пожалеешь об этом, — кричал Варт, — даже если доживешь до тысячи лет.

— Ну, будет, поговорили, — сказала мадам Мим. — Пора уже нам тюкнуть его по темечку.

Держи его за ножки и
Едва головку задерет,
Руби ребром ладони, и
Он тут же и помрет.

Страшная ведьма подняла Варта повыше, намереваясь поступить с ним по сказанному, и в самое это мгновение в кухне с шипением, но без треска, полыхнула летняя зарница, и на пороге возник Мерлин.

— Ха! — сказал он. — А ну-ка посмотрим, чего стоит полученный в Дом–Даниэле с отличием диплом по двум специальностям против приватных уроков моего учителя Блейза.

Мадам Мим, не глядя, отложила Варта в сторонку, поднялась из кресла и распрямилась во весь свой велколепный рост. Ее роскошные волосы начали потрескивать, из сверкающих глаз полетели искры. Целую минуту она и Мерлин простояли друг против дружки, не произнеся ни единого слова. Затем мадам Мим присела в царственном реверансе, а Мерлин холодно склонил голову. Он

отступил, пропуская ее в дверь, и вышел следом за ней в огород.

Прежде, чем мы двинемся дальше, вероятно, следует объяснить, что в те далекие дни, когда в Дом–Даниэле, в подводных чертогах морского царя, действительно располагался колледж, готовивший колдунов и ведьм, и когда все чародеи делились на черных и белых, между двумя этими вероисповеданиями существовала серьезная вражда. Ссоры черных магов с белыми разрешались посредством официальных дуэлей. Протекала же колдовская дуэль так. Дуэлянты вставали один против другого в каком-нибудь месте — просторном и свободном от помех, — и ожидали сигнала к началу схватки. Услышав сигнал, они имели право превращаться во что угодно. Отчасти это напоминало игру, в которую и поныне играют вдвоем, при помощи кулаков. Игроки произносят "раз–два–три" и по счету "три" показывают либо два пальца, что означает — ножницы, либо ладонь — бумагу, либо сжатый кулак — камень. Если вы изобразите бумагу, а ваш противник ножницы, то победит он, потому что ножницы режут бумагу; но если вы превратитесь в камень, то ножницы его затупятся, и победа достанется вам. Цель же колдуна–дуэлянта состояла

в том, чтобы обратиться в такое животное, растение или минерал, которое способно уничтожить животное, минерал или растение, выбранное противником. Схватки порой тянулись часами.

Обязанности секунданта при Мерлине исполнял Архимед. Секундантшей мадам Мим служила ворона, между тем как Геката, которой полагалось присутствовать при каждой такой стычке, приглядывая за тем, чтобы все совершалось по правилам, сидела на поставленной посреди огорода стремянке и осуществляла судейство. Это была спокойная, мускулистая дама, светившаяся собственным светом, похожим на лунный. Мерлин и мадам Мим засучили рукава, отдали верхнее платье на храненье Гекате, и Геката, чтобы с большим удобством наблюдать за боем, надвинула на брови защищающий глаза целлулоидный козырек.

При первом ударе гонга мадам Мим, не теряя времени, превратилась в дракона. Это был распространенный дебют, и Мерлину полагалось в ответ обратиться в грозу или что-то подобное. Вместо этого он сразу внес в поединок изрядную путаницу, став полевой мышью, совершенно незаметной в траве, и тяпнув мадам Мим за хвост, пока та озиралась по сторонам, ибо ей понадоби-

лось целых пять минут, чтобы его обнаружить. Когда же до нее дошло, кто ее укусил, она тут же обратилась в разъяренную кошку.

Варт затаил дыхание, ожидая, кем же теперь станет мышь, — быть может, тигром, способным прикончить кошку, — однако Мерлин просто–напросто превратился в другую кошку. Он стоял перед мадам и корчил рожи. Столь противное всем канонам поведение противника совершенно сбило мадам Мим с панталыку, и ей потребовалась целая минута, чтобы прийти в себя и обратиться в собаку. Она не успела еще завершить превращение, как на месте, занимаемом Мерлином, обнаружилась вторая собака, точь в точь такая же.

— Отлично сыграно, сэр! — воскликнул Варт, начиная понимать замысел Мерлина.

Мадам Мим обозлилась. Непробиваемая тактика противника выводила ее из терпения и требовала значительных внутренних усилий для сохранения душевного равновесия. Мадам понимала, что, лишившись его, она утратит способность к трезвой оценке происходящего, а вместе с нею и жизнь. Если при всяком ее превращении в свирепого зверя Мерлин будет превращаться в точно такого же, дуэль либо об-

ратится в собачью драку, либо закончится патом. Ей следовало сменить тактику и взять Мерлина врасплох.

В этот миг ударил гонг, обозначив конец первого раунда. Бойцы разошлись по углам, секунданты, хлопая крыльями, охладили их разгоряченные лица, причем Архимед, покусывая Мерлина клювом, провел небольшой сеанс массажа.

— Второй раунд, — скомандовала Геката. — Прошу секундантов покинуть ринг… Время!

Гонг пропел и два отчаянных мага снова сошлись лицом к лицу.

Отдыхая, мадам Мим разработала план. Она решила занять для начала оборонительную позицию и тем вынудить Мерлина перейти в наступление. Она превратилась в развесистый дуб.

Несколько секунд Мерлин в недоумении простоял перед дубом. Затем он с чрезмерной самоуверенностью, — и как вскоре выяснилось, поспешностью, — перекинулся в дымчатую лазоревку, вспорхнул и весело уселся на одну из ветвей мадам Мим. Пару мгновений дуб, казалось, кипел от гнева, но скоро гнев сменился холодной, как лед, яростью, и вместо ветки под бедной лазоревкой появилась змея. Пасть у змеи была разинута, птичка, собственно говоря, рас-

селась аккурат на ее нижней челюсти. Челюсти лязгнули, однако за долю мгновения до того лазоревку, обернувшуюся комаром, уже отнесло в безопасный воздух. Впрочем, Мадам Мим мигом сообразила, что к чему, и теперь сражение пошло с ошеломительной быстротой. Чем быстрее атакующая сторона принимала очередное обличие, тем меньше времени оставалось ее противнику, чтобы выдумать форму, способную его защитить, так что теперь изменения происходили со скоростью мысли. Едва комар успел взлететь, как змею заменила жаба, чей пытливый язык, почему-то растущий не изо рта, а с самого краешка челюсти, уже стремительно раскручивался, норовя прищелкнуть его. Комар, ошалев от вражьего натиска, перешел в наступление: загнанный в угол Мерлин предстал перед жабой в образе цапли, способной ее проглотить. Но тут уже мадам Мим оказалась в своей стихии. Теперь игра пошла по нормальным правилам, и никто не успел даже глазом моргнуть, как жаба обернулась сапсаном, падающим цапле на спину со скоростью, равной двумстам пятидесяти милям в час. Бедный Мерлин, начавший утрачивать самообладание, торопливо преобразился в слона, — выиграв этим ходом хоть малую, но передышку, — однако

безжалостная мадам Мим мгновенно переметнулась из сапсанов в аллои. Аллой крупнее слона настолько же, насколько слон крупнее овцы. Это такое животное вроде коня, но со слоновьим хоботом. Мадам Мим задрала хобот повыше, испустила пронзительный вопль, которого не постыдился бы и паровоз, и ринулась на задыхающегося врага. В тот же миг Мерлин исчез.

— Раз, — сказала Геката. — Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять…

Но прежде, чем прозвучало, присуждая Мерлину поражение, фатальное "десять", он, вытирая со лба пот, объявился в самой гуще крапивы. Он стоял средь ее стеблей в крапивном обличии.

На сей раз аллой не видел причины менять свой облик. Испустив еще один душераздирающий вопль, он бросился на стоящего перед ним врага. Мерлин сгинул за долю секунды до того, как на него обрушился хлещущий хобот, и миг все простояли спокойно, озираясь и гадая, где он покажется снова.

— Раз, — вновь начала Геката, но пока она продолжала считать, произошло нечто странное. Аллоя вдруг одолела икота, он покраснел, явственно вздулся, зашелся в кашле, покрылся сыпью, трижды споткнулся, выкатил глаза и

грохнулся наземь. Он застонал, дрыгнул ногой и сказал: "Прощай навек". Варт закричал ура, Архимед заухал, трупоедка–ворона рухнула замертво, а Геката, сидя на стремянке, аплодировала так, что едва с нее не свернулась. Мастерский был удар.

Изобретательный маг последовательно обратился в целую вереницу еще не открытых микробов икоты, скарлатины, коклюша, оспы и весноватости, и мерзкая мадам Мим, подхватив все эти болести сразу, незамедлительно сдохла.

Глава 13 из первого варианта "Меча в камне"

(Действие ее происходит сразу после возвращения

мальчиков от Робина Вуда и перед получением сэром

Эктором письма от Утера Пендрагона.)

Лето все-таки кончилось, и теперь уж никто бы не стал отрицать явственного наступления осени. Довольно грустная наступила пора, в которую еще блистающему в безоблачном небе старому ясному солнцу впервые за многие месяцы не удается согреть тело, в которую по утрам и вечерам принимаются пошевеливать призрачными щупальцами туман, изморозь, ветер, и осенняя паутина, словно взбодренная мощью близкой

зимы, начинает напоминать о себе среди охладелых тел, брошенных бравым летом. На деревьях еще сохранялись листья, еще зеленые, но то была уже свинцовая зелень старой листвы, слишком многое повидавшей с весеннего времени, времени веселых красок, казалось, миновавшего так давно, и как всякое счастье, так быстро. Одна за одной пошли овечьи ярмарки. При первом же сильном ветре со стуком попадали наземь спелые сливы, и там и здесь в прелестном солнечном свете, которому так скоро предстояло ослабнуть, зажелтели листья буков и дубов: одни — чтобы погибнуть скорой и милосердной смертью, другие — чтобы и дальше мрачно цепляться за промерзшее дерево и бумажными скелетиками шелестеть под восточным ветром зимы, пока опять не придет весна.

Рука у Варта больше не болела, но из опасения попортить ее, пока она не залечилась окончательно, ему все еще не позволяли предаваться после полудня воинственным упражнениям под руководством сержанта. Вместо упражнений он уходил на прогулки, навещал веселую семейку из пяти чеглоков, выкликавших "кюи–кюи–кюи–кюи–кюи" и готовых теперь уже в любой день отправиться в дальний перелет, — они и так

задержались, — и собирал огромных гусениц, прошедших все положенные метаморфозы и неуклюже ползающих в поисках удобного для окукливания места. Лучшим его трофеем стала толстая, абрикосово–сливовая гусеница пахучего древоточца, ныне без особого недовольства похоронившая себя под шелковыми нитями в ящике с рыхлой землей, который Варт держал рядом со своей кроватью. Три года ушло у гусеницы на то, чтобы достичь нынешних размеров, теперь ей оставалось пролежать, притаившись, еще целый год, прежде чем огромная, мышастая бабочка вылезет из своих старых доспехов и начнет накачивать кровь в прожилки расправляемых крыльев.

Во время одной из таких прогулок Мерлин поймал ужа. Они случайно столкнулись нос к носу, — каждый со своей стороны огибал мысок уже осеменившейся крапивы, и волшебник налетел на бедное пресмыкающееся так стремительно, что оно и двух раз не успело прищелкнуть черным раздвоенным языком. Мерлин держал извивающуюся, шипящую, испускающую мощный запах ацетилена змею, а Варт с ужасом смотрел на обоих.

— Ты его не бойся, — сказал Мерлин. — Это всего

лишь кусочек оливковой молнии с охряным V позади блестящей черной головки. Ни укусить, ни ужалить тебя он не может. Он в жизни своей не причинил никому вреда и умеет лишь удирать да вот еще пахнуть.

— Смотри, — сказал он и стал поглаживать ужа от головы к хвосту: бедняга попытался увернуться от прикосновений, но вскоре смирился с ними, не прекращая однако потуг выскользнуть из человеческой руки.

— Их каждый убить норовит, — возмущенно сказал Мерлин. — Какой-то, прости Господи, дурак объявил, что гадюку можно узнать по букве V на головке, потому что по–латыни, видишь ли, "vipera" означает "змея". На гадючьей-то голове чтобы хоть чтонибудь разглядеть, надо пять минут потратить, а в результате забивают до смерти вот этих красавцев, благо V у них яркожелтое да еще с черной каемкой. На, подержи его.

Варт с опаской взял змею в руки, стараясь держать ее так, чтобы задний проход, из которого исходило зловоние, оказался подальше. Он всегда полагал, что змеи не только опасны, но и скользки, однако эта скользкой совсем не была. Она казалась на ощупь сухой, будто кусок живой

веревки, и подобно веревке, оставляла в пальцах приятное ощущение, создаваемое покрывающими ее чешуйками. Каждая унция змеиного тела представляла собою мышцу, каждая чешуйка на животе — крепкую и подвижную ногу. Варту приходилось прежде держать в руках жаб, но те толстые, философически бородавчатые создания казались вязкими из-за их мягкой, податливой плоти. Что же до этого существа, оно оставляло впечатление сухой, нежно шершавой, переливающейся силы. Температура его была точно такой же, как у земли, на которой оно грелось под солнцем.

— Ты как-то просил, чтобы тебя превратили в змею, — сказал Мерлин. — Не передумал еще?

— Нет, я с удовольствием.

— Жизнь у них не такая уж и увлекательная. Не думаю, чтобы среди них с тобой случилось что-нибудь интересное. Вот этот малый ест, скорее всего, раз в неделю, а то и в две, а все остальное время спит. С другой стороны, если я превращу тебя в ужа, ты, может быть, сумеешь его разговорить. На большее не рассчитывай.

— Все равно, я хотел бы попробовать.

— Ну ладно, хоть отдохнешь от стрельбы по антропофагам

Мерлин выпустил ужа, и тот стремглав метнулся в крапиву. Затем Мерлин обменялся несколькими греческими словами с невидимым господином по имени Асклепий, обернулся к Варту и сказал:

— Я останусь здесь на пару часов, может быть, присяду вон под тем деревом и вздремну. Потом позову тебя и ты уж, пожалуйста, выйди. Пока.

Варт попытался тоже сказать "Пока", но обнаружил, что онемел. Он быстро взглянул себе на руки, рук на месте не оказалось. Асклепий так нежно увел его в свой мир, что Варт этого не заметил. Теперь он лежал на земле.

— Ладно, давай, ползи, — сказал Мерлин. — Поищи его там, в крапиве.

Некоторые люди говорят, будто змеи глухи, а есть и такие, кто уверяет, что они намеренно лишают себя слуха, дабы не поддаваться магическим чарам музыки. Мудрая гадюка, к примеру, как о том сообщает множество ученых мужей, ложится одним ухом на землю и вонзает в другое острый кончик собственного хвоста, чтобы только не слышать мелодий, которые вы ей наигрываете. Варт же доподлинно обнаружил, что змеи вовсе не глухи. У него, во всяком случае, ухо имелось, и это ухо воспринимало густые

рокочущие звуки, лишь отчасти схожие с теми, какие ему приходилось слышать в бытность свою мальчиком. Если, скажем, ты опустишься, сидя в ванне, под воду, и кто-то ударит по ней, или трубы вдруг забурчат, звуки, которые ты услышишь, будут совсем не такими, какие слышны снаружи. Но если достаточно долго продержать голову под водой, то скоро привыкнешь к этим звукам и научишься связывать рев и гудение с водопроводными трубами. То есть, хоть сами звуки и переменятся, ты все равно будешь слышать все те же трубы, какие слышит человек, остающийся в наружном воздухе. Точно так же и Варт услышал слова Мерлина, пусть даже голос волшебника показался Варту пронзительным и тонким, а потому Варт надеялся, что и со змеей ему все же удастся поговорить. Он щелчком выбросил изо рта язык, которым пользовался, как щупом, — подобно человеку, пробующему длинной жердью топкое болото, — и скользнул в крапиву, на поиски собеседника.

Вторая змея лежала, приникнув к земле и еще пребывая в состоянии чрезвычайного смятения. Она ухитрилась затиснуться под самые корни растущей среди крапивы жесткой травы, ибо между зеленой травой и почвой (в истинном

смысле этого слова) всегда существует воздушная прослойка. Верхний слой травы как бы приподнимается, подпираемый колоннами выцветших, белесых корней, — вот в такой покрывающей всякий луг огромной полости с земляным полом и зеленым потолком и нашел убежище бедный уж. Он горько плакался себе самому, восклицая очень приятным, слабеньким, простеньким голоском: "Увы! Увы!".

Трудно объяснить, как разговаривают змеи. Ну вот разве что: всем известно, что существуют такие световые лучи — инфракрасные, ультрафиолетовые и те, что лежат в спектре еще дальше этих, — которые, скажем, муравьи углядеть способны, а люди — нет. Точно так же существуют и звуковые волны, тон которых лежит либо выше писка летучей мыши, — Моцарт в 1770 году слышал, как такой звук издала Лукреция Агуари, — либо ниже, чем рокот дальнего грома, который фазаны слышат раньше человека (или им просто удается разглядеть вспышку молнии?). Вот посредством подобных трудновообразимых мелодических акцентов змеи и ведут разговоры.

— Ты кто? — трепеща, спросил уж, когда Варт заполз в укромную полость. — Человека видел? По–моему, это был H. sapiens. Я только сию мину-

ту улепетнул от него.

Несчастного так трясло, что он, не дожидаясь ответов на свои вопросы, взволнованно продолжал:

— Ну и жуткое же создание. Ты заметил, как от него пахнет? Нет уж, больше я второпях никуда выскакивать не стану, это будьте благонадежны. А то видишь, в какую историю вляпался? Насколько я разглядел, это был H. sapiens barbatus. Их тут немало водится. Прими мой совет, отлежись пару деньков. Я всего на минутку вылез, думал разжиться лягушкой–другой перед зимней спячкой, так он налетел на меня, почище ежа. Ей–ей, я в жизни так не пугался. Как ты считаешь, может, мне лучше сразу спать завалиться?

— Я бы на твоем месте не беспокоился, — сказал Варт. — Как раз этого человека я немного знаю, он змей любит.

— Кушать? — с запинкой спросил уж.

— Да нет. Он относится к ним по–дружески, у него даже есть несколько питомцев. Когда мы… то есть я хотел сказать — он, когда он выходит собирать травы, то основное время тратит на ловлю лягушек, чтобы покормить своих змей. Удивительно, как мало лягушек попадается, когда начинаешь искать, — все жабы да жабы. А

жаб змеи не едят.

— Я как-то съел жабу, — понемногу успокаиваясь, сказал уж. — Знаешь, совсем маленькая была, а все равно невкусная. И все же я бы ни за какие лягушки не хотел оказаться среди питомцев этого существа. Ты случаем не знаешь, какого он пола?

— Мужского, — сказал Варт.

-- H. sapiens barbatus, — повторил уж, ощутивший себя — теперь, когда предмет обсуждения удалось классифицировать, — в большей безопасности.

— А тебя как зовут, дитя мое?

Варт не знал, что ответить, и потому просто сказал правду.

— Странное имя, — с сомнением в голосе произнес уж.

— А у тебя какое? — спросил Варт.

-- T. natrix.

— Это T. что-нибудь обозначает?

— Ну, во всяком случае не Томми, если ты это имел в виду, — несколько высокомерно ответил уж. — В моем семействе оно всегда означало Tropidonotus.

— Прошу прощения.

— Ты на меня только не обижайся, — сказал уж, — но помоему, твоим образованием немного

пренебрегали. Мало того, что мать назвала тебя Вартом, как какую-нибудь вульгарную Bufonidae, так ты еще и T. natrix'а признать не способен. У тебя вообще-то мать когда-нибудь была?

— Вообще-то не было.

— О, извини, — воскликнул уж. — Надеюсь, я не ранил твоих чувств. Ты хочешь сказать, что у тебя никогда не было никого, кто преподал бы тебе Легенды и Сны и прочее?

— Никогда.

— Ах ты бедный тритончик! Чем же ты занимаешься во время спячки?

— Наверное, просто сплю.

— И снов не видишь?

— Нет, — ответил Варт. — По–моему, нет. Во всяком случае, не много.

Тут выяснилось, что T. natrix — существо добросердое и чувствительное, ибо, услышав ответ Варта, оно сронило — из носа — маленькую чистую слезу и возмущенно воскликнуло:

— Какой позор! Стыдно даже представить себе несчастную маленькую рептилию, как она заползает на долгие зимние месяцы в одинокую норку и не может ни матушку вспомнить, ни хоть какого ни на есть Сна посмотреть, чтобы скоротать время. Тебя, наверное, даже Истории

не обучали?

— Историю я немного знаю, — неуверенно ответил Варт. — Про Александра Великого и еще кое-что.

— Какая-нибудь современная дребедень, без сомнения, — сказал уж. — Как ты зиму протянешь, я совершенно не понимаю. Но хотя бы про Atlantosaurus immanis и Ceratosaurus nasicornis тебе кто-нибудь рассказывал?

— Да вроде бы нет.

— Ну, я просто слов не нахожу.

— А сам ты не мог бы мне про них рассказать?

— Это определенно представляется делом в высшей степени добрым, — ответил уж, — и, клянусь Асклепием, так я и поступлю, даже если рассказ займет остаток дня. Господи, да я во всю зиму заснуть не смогу, думая о том, как ты дрожишь у себя в норе, не имея пищи для размышлений.

— Очень будет любезно с твоей стороны, если ты мне про них расскажешь.

— Обязательно расскажу, — ответило доброе пресмыкающееся. — Сейчас ты узнаешь, какие мысли кружат в скромном, неспешном, зимнем разуме всякой змеи, пока снаружи шуршит, опадая, снег, — да, собственно, и летом тоже, когда змеи греются на теплых камнях. Что бы ты пред-

почел, Историю или Легенды?

— Пожалуй, Историю, — сказал Варт.

— Историю, — пробормотал уж, и глаза его, закрыть которых он не мог, затянулись пленкой.

— Историю, — негромко повторил он. — Угу.

— Ну, не знаю… — спустя минуту, произнес уж.

Затем он тихо вздохнул, так и не придя к какому-либо решению.

— Про нас тебе лучше забыть, — отрешенно начал он. — Ни меня, ни тебя История не касается. Мы слишком малы, чтобы великое море обращало на нас внимание. Потому-то у меня и нет своего имени — T. natrix и только, как у всех моих пращуров. Само по себе семейство T. natrix еще как-то участвует в Истории, а я — я нет.

Уж замолк, стараясь побороть охватившие его чувства, а затем неторопливо продолжил.

— Мы, змеи, помним одно, дитя мое. Если не считать еще двух народов, мы — старейшие из существ, обитающих в мире. Взгляни хотя бы на этого смехотворного H. sapiens barbatus, который только что так меня напугал. Когда он появился на свет? Десять–двадцать тысяч лет назад. А что могут значить эти десять или двадцать тысяч? Земля остывала. Воды покрывали ее. Сто миллионов лет тому назад в Великое Море при-

шла Жизнь, и тогда в нем зародились рыбы. Это старейший средь всех народов, Рыбы. Их дети выползли из воды и обосновались в прибрежных зарослях, так появились Амфибии, или Земноводные, среди которых числятся и наши друзья тритоны. Третьим народом, произошедшим от Амфибий, были Рептилии, сиречь Пресмыкающиеся, — к коим принадлежим и мы. Подумай о ликах древнего мира, среди которых ползал по илу T. natrix, подумай о миллионах лет. Да что говорить, птицы, которых ты видишь каждый день, — это наши потомки, но мы продолжаем существовать рядом с ними.

— Ты хочешь сказать, что когда ты родился, еще не было ни птиц, ни людей?

— Ни птиц, ни людей, ни обезьян, ни оленей, ни слонов, — никаких животных подобного рода: только земноводные, пресмыкающиеся, рыбы и мезозойский мир.

— Такова история, — задумчиво добавил уж, — и любому из этих H. sapiens barbatus стоило бы вспомнить о ней, когда ему в очередной раз приспичит убить ужа вместо гадюки.

— Есть некая странность в Воле Морей, и эта странность связана с Историей нашего семейства. Тебе никогда не приходилось слышать рассказ о

H. sapiens armatus georgius sanctus?

— По–моему, нет, — ответил Варт.

— Давным–давно, когда даже T. natrix был еще юн и исполнен надежд, жили на свете два семейства, называемых Atlantosaurus immanis и Ceratosaurus nasicornis. Атлантозавр имел в длину сто пятнадцать футов. Мозгов у него было не так чтобы много, хотя мне приходилось когда-то слышать разговоры о том, что у него будто бы имелся, на другом его конце, добавочный мозг, присматривающий за хвостом, кормился же Атлантозавр, объедая деревья. Был он застенчив, задумчив и совершенно безвреден, разве что сжует по ошибке заодно с ветками и древесную лягушку. Жил он очень долго, и сколько ни жил, все думал, думал, и хоть получалось у него это не так чтобы очень хорошо, но все же к концу жизни, глядишь, чтонибудь да придумает. Сколько я помню, он сумел додуматься до способа, с помощью которого двадцатифутовому исполину вроде него, удается просуществовать, не сломавшись под собственным весом, — он обзавелся полыми костями. Птицам, знаешь, тоже приходится решать эту задачу, но, правда, по иным причинам. Впрочем, не исключено, что я путаю его с каким-то другим динозавром.

— Да, а вот Ceratosaurus nasicornis был существом довольно маленьким, всего–навсего семнадцати футов в длину. Зато у него имелись зубы, способные дробить и терзать, и до того плохо подогнанные один к другому, что скакал он с вечно полуоскаленной как бы в страшной улыбке убийственной пастью. Он именно скакал, будто кенгуру, смертоносный кенгуру, и наскакивал он, как правило, на бедного Atlantosaurus immanis. На морде у него торчал рог, как у носорога, им он пропарывал брешь в крупном, неповоротливом старом теле своей жертвы, и зубы его с лязгом сходились в плоти бедняги, будто в спелом плоде, и рывком мускулистой шеи он выдирал оттуда здоровенный кусок мяса. А что самое страшное, скакал он целыми стадами.

-- Ceratosaurus nasicornis воевал с Atlantosaurus immanis, то была странная война, угодная Духу Вод, война соперничества и эволюции, заставляющая деревья на Амазонке сражаться друг с другом за солнечный свет, вытягиваясь все выше, война, в ходе которой многим моим родичам пришлось ради блага жизни пожертвовать такими удобнейшими вещами, как конечности, зубы и зрение.

— Кератозавры были безжалостны и агрессив-

ны, Атлантозавры — кротки и преклонны летами. Их битва длилась много столетий, примерно столько же, сколько потребуется H. sapiens'у, чтобы истребить себя самого. К концу этого срока восторжествовала пассивная сторона. Свирепые Кенгуру, сея вокруг себя смерть, убивали каждого десятого из числа противников и затем пожирали его мертвое тело, но ведь мертвые тела не способны к воспроизводству вида, так что в конце концов Кенгуру извели ту самую живую плоть, которой кормились. Слишком безжалостный по мнению Духа Вод, слишком кровожадный, чтобы мирно занять свое место в последовательной иерархии жертв, Кератозавр скитался по густым джунглям в напрасных поисках пищи, которая могла бы удовлетворить его щелкающие челюсти, а затем вымер, уснул, как уснули его предки.

— Последняя Атлантозавриха высунула из джунглей, в которых она пряталась, сорокафутовую шею и осмотрела истощенное тело своего околевшего с голода гонителя. Ей удалось сохранить жизнь, потому что она, подобно разумнику–вяхирю, избрала своей специализацией бегство. Она выучилась улепетывать, таиться, стоять без движения, управлять своим запахом, прятаться в водах. Смирение позволило

ей пережить врага, убившего ее мужа, — ныне она вынашивала мужниных детей, последних представителей победившего рода. Рождение их ожидалось через несколько лет.

— Тем временем подоспел и H. sapiens. Он тоже натерпелся ужасов от кровожадного Кенгуру. Дабы защитить себя от этого хищника, он породил подкласс, называемый H. sapiens armatus, представители этого подкласса были укрыты металлическими панцирями и носили с собой копья, коими защищались от динозавров. Дальнейшее усовершенствование этого подкласса привело к появлению отряда, называемого H. sapiens armatus georgius sanctus, существа, его составлявшие, не отличались особой наблюдательностью и относили всех динозавров к классу своих врагов.

— Атлантозавриха, высунув из зарослей шею, с торжеством размышляла о своих неродившихся детях. Во весь свой век она никого не убила, и будущим ее потомкам предстояло продлить жизнь вегетарианской расы. Она услышала лязг, издаваемый H. sapiens armatus georgius sanctus, и с дружелюбным интересом повернула к нему свою миловидную рептильную голову.

— А дальше? — спросил Варт.

— Ну, убил он ее, конечно, — с неожиданной краткостью заключил уж и отвернулся. — Мы с ней принадлежали к одной расе.

— Мне очень жаль, — сказал Варт. — Просто не знаю, что и сказать.

— А что тут можно сказать, милый ты мой? — ответил терпеливый уж. — Пожалуй, нам следует сменить тему. Давай, я расскажу тебе какую-нибудь Легенду или Сон.

Варт сказал:

— Если они печальные, то лучше не надо.

— Ничего нет на свете печального, — ответил уж, — не считая Истории. Все эти повести лишь материал для созерцания, которому мы предаемся во всю зимнюю спячку.

— А что в нем хорошего, в созерцании?

— Да как тебе сказать, все-таки — препровождение времени. Вон даже H. sapiens и тот, знаешь ли, понастроил себе с этой целью музеев: и кстати, созерцает во многих из них побелевшие кости Атлантозавров вместе с панцырями georgius sanctus.

— Если тебе известна какая-либо достаточно веселая Легенда, — сказал Варт, — я, наверное, смогу ее выдержать.

— Какой–ты смешной, тритончик, — с нежно-

стью сказал T. natrix (похоже, что "тритончик" было одним из его любимых словечек). — Пожалуй, я расскажу тебе Легенду о моем опасном кузене, из-за которого мне приходится страдать.

— Она веселая?

— Ну, не знаю, — она просто тянется, пока не дойдет до конца, а там и кончается, как любая Легенда.

— Ну, расскажи, — согласился Варт.

— Эта Легенда, — откашлявшись, заговорил монотонным голосом уж, — происходит из Бирмы, страны, о которой ты, скорее всего, никогда не слыхал.

— Когда-то давным–давно на свете существовала всего одна ядовитая змея и змеей этой был питон. Как ты знаешь, он теперь уже не ядовит, и история о том, почему он лишился яда, весьма любопытна. В те дни он был весь белый. И вот случилось ему познакомиться с женой одного человека, которую звали тетушка Еу, и по прошествии времени они полюбили друг друга. Тетушка Еу покинула мужа и ушла жить к питону, имя же его было P. reticulatus. Женщина она была в некоторых отношениях старомодная, из тех, что с наслаждением шьют для людейсвященников домашние туфли, и вот она вскоре решила

соткать для своего питона весьма живописную новую облегающую кожу, богато изукрашенную черными ромбами и желтыми точками, и разбросанными там и сям через правильные промежутки янтарными квадратами и крестиками, какие встречаются у людей на ковриках и на вышивке. P. reticulatus'у новая кожа страшно понравилась, и он стал носить ее не снимая, и потому он теперь уже больше не белый.

— В ту пору питон увлекался опытами со своим редкостным ядом. Поскольку он был единственной на свете ядовитой змеей, ему, естественно, достался весь тот яд, который ныне поделен между всеми прочими змеями. Ужасный яд его был, поэтому, столь крепок, что питон мог убить человека, где бы тот ни находился, просто–напросто укусив отпечаток ноги, который этому человеку случилось оставить на земле. P. reticulatus, натурально, гордился такой своей способностью, но никак не удавалось ему получить зримое ее доказательство. Он ведь не мог увидеть, как человек умирает, находясь в это время в трех–четырех милях от своей жертвы и кусая ее след. А удостоверить на опыте истинность своей способности ему очень хотелось.

— И вот однажды он решил, что можно, по-

жалуй, положиться на показания надежного свидетеля. И уговорил он одну ворону, с которой дружил, слетать в селение Каренов, — так назывались люди, жившие в тех местах, — и проследить, и посмотреть, умрет ли человек, когда он, питон, укусит его след.

— А надо тебе сказать, что у Каренов был удивительный обычай отмечать смерть или похороны не плачем и стенаниями, но веселием, пением, танцами, прыжками и барабанным боем. Вот прилетела ворона и уселась на дерево, чтобы понаблюдать за событиями, и после того, как человек умер, Карены принялись исполнять обычные свои обряды прямо перед той хижиной, в которой лежал пораженный ядом мужчина. Посмотрела ворона на них, посмотрела да и вернулась к питону и рассказала, что не только никто не помер от его ядовитого укуса, а напротив, все люди от него возрадовались до чрезвычайности, словно он их занес на седьмое небо. Питон до того осерчал, что влез на самую верхушку дерева и вытошнил бесполезный яд до самой последней унции.

— Яд, разумеется, должен был на что-то упасть. Питон-то способность жалить утратил, но зато ядовитым стало дерево, — и поныне еще Антро-

пофаги отравляют его соком свои стрелы, — ну и кроме того, несколько существ, случайно оказавшихся под деревом, получили каждый свою долю. Среди них были Кобра, Водный Змей и Лягушка.

— А следует тебе знать, что тетушка Еу питала, однако же, слабость к своим смертным собратьям, и вот, узнав, что яд всетаки был ядовитым, стала она корить P. reticulatus'a за то, что он наделил столь многих существ способностью приносить людям погибель. P. reticulatus, испытывая к ней благодарность за сотканную ею одежду, почувствовал раскаяние в содеянном и стал думать, как бы ему все исправить. И собрал он всех тварей, получивших яд, и объяснил им его природу, и попросил дать обещание, что они не станут пользоваться им в деспотических целях.

— Кобра согласилась с высказанными им замечаниями и сказала: "Если покусится кто ослепить мои глаза и заставить меня лить слезы семь раз на дню, вот тогда я стану кусаться, а иначе ни за что". То же пообещали и иные твари, что подобрее. И только Водный Змей да дура Лягушка объявили, что им непонятно при чем тут питон, и что они, со своей стороны, намерены кусаться, когда им того захочется. Питон, не медля, набросился на них и загнал их в воду, а вода, разумеется, весь яд

из них вымыла, растворила и унесла.

Варт подождал немного, надеясь услышать продолжение этой истории, но продолжения не последовало. К концу рассказа голос T. natrix'a становился все глуше и сонливее, ибо близился вечер, и ветер веял уже холодком. Казалось монотонность рассказа все сильнее и сильнее воздействует на самого рассказчика, если вы представляете себе, как это бывает, так что под конец рассказ словно бы сам себя рассказывал из задремавшей змеи, — хотя определенно утверждать, что она спит, было невозможно, поскольку веки у змей отсутствуют и глаза им прикрыть нечем.

— Спасибо, — сказал Варт. — По–моему, это хорошая история.

— Посмотри ее еще раз во время зимней спячки, — сонно прошептал T. natrix.

— Хорошо.

— Спокойной ночи, — сказал уж.

— Спокойной ночи.

Странно, но Варта и вправду клонило в сон. Был ли причиной тому голос ужа или прохлада, или на него так подействовал услышанный рассказ, но через две минуты он уже спал сном рептилии. Во сне он был стар, стар, как вены Зем-

ли, оказавшиеся змеями, и Асклепий с бородой белой, словно горные ледники, убаюкивал его колыбельной. Он учил его мудрости, древней мудрости, благодаря которой старые змеи способны бродить на трехстах ногах сразу по тому же самому миру, в коем научились летать их внуки, птицы; он пел Варту песню всех Вод:

В великом море светила плывут
Над вечным кружением вод.
Приляг, преклони шальную главу
На грудь, что не чует, не помнит, не ждет.
Она лишь качает нас в люльке из звезд, —
Рептилию, розу, ей все равно.
Отсюда мы вышли и здесь наш погост.
Спокойной ночи, радостных снов.

В конце концов Мерлину пришлось двадцать раз выкликать уснувшую змею тонким человеческим голосом, чтобы она вовремя поспела к чаю.

# 7

Турнирное дело и выездка занимали два дня в неделю, потому что их почитали в те дни наиважнейшими в образовании всякого джентльмена. Мерлин недовольно ворчал по поводу увлечения спортом, говоря, что, видимо, теперь человек числится образованным, если он способен сшибить другого с коня, и что помешательство на атлетических играх губительно для учености, — никто к ней не относится так, как то бывало в его молодые годы, и всем государственным школам пришлось волей-неволей поступиться своими высокими принципами, — но сэр Эктор, сам некогда входивший в турнирную сборную своего колледжа, сказал, что битва при Креси была выиграна на спортивных площадках Камелота. От этого заявления Мерлин впал в такое неистовство, что наслал на сэра Эктора ревматизм, коим тот и маялся целых две ночи кряду, покамест Мерлин над ним не сжалился.

В ту пору турнирное дело было великим искусством и требовало постоянной практики. Когда два рыцаря бились на поединке, каждый держал копье в правой руке, но коня своего направлял

так, чтобы противник оказывался от него слева. Стало быть, упор копья находился со стороны тела, противоположной той, на которую обрушивался противник. Человеку, привыкшему, скажем, открывать калитку арапником, это может показаться противным природе, но на то имелись свои причины. Первое дело, это означало, что щит помещался в левой руке, так что противники встречались щитом к щиту, оставаясь полностью прикрытыми. А кроме того, это означало, что человека можно было сбросить с коня, нанеся ему после широкого пологого замаха удар наконечником или ратовищем, — если вы не чувствовали себя достаточно уверенным для того, чтобы прямо бить острием. Пологий удар был наипростейшим или же требующим наименьшего искусства турнирным ударом.

Добрые бойцы, вроде Ланселота или Тристрама, всегда предпочитали удар острием, потому что возможность нанести его возникала прежде всякой иной, хотя для неумелой руки и возможность промахнуться была немалой. Если один из рыцарей нападал, отведя копье, чтобы выбить противника из седла, другой, с копьем, нацеленным прямо, мог свалить его, сблизясь на длину копья, и еще до того, как противник толком за-

махнется.

Теперь о том, как должно держать копье для прямого удара. Никакого нет достоинства в том, чтобы, скорчась в седле и крепко вцепившись в копье, напрягаться в ожидании жесткого столкновения, ибо если вы так его держите, острие болтается вверх-вниз при каждом движении вашего громыхающего коня, и вы почти наверняка промахнетесь. Напротив, сидеть в седле надлежит свободно, копье же держать легко, балансируя его согласно движеньям коня. И лишь перед самым ударом должно сжать коленями конские бока, весь свой вес бросить вперед и копье ухватить покрепче, не двумя пальцами (указательным и большим), а всей ладонью, и прижать правый локоть к боку, поддерживая древко копья.

Теперь о длине копья. Ясно, что человек с копьем длиною в сто ярдов сшибет противника с копьем длиною в десять или двенадцать футов еще до того, как последний к нему приблизится. Однако изготовить копье длиной в сто ярдов невозможно, а коли и изготовишь, так не утащишь. Турнирному бойцу следует установить для себя наибольшую длину копья, с которой он способен управиться на самой большой скорости,

а там уж этой длины и держаться. У сэра Ланселота, который объявится вскоре после того, как мы завершим эту часть нашего повествования, имелись копья разных размеров, и он всегда требовал, чтобы ему подали Большое Копье или То, Что Поменьше, — по обстоятельствам.

Теперь о том, в какое место должно разить врага. В оружейной Замка Дикого Леса висело большое изображение рыцаря в доспехах, на коем кружками обозначены были уязвимые точки. Точки эти менялись в зависимости от вида доспехов, так что прежде чем наскакивать на противника, надлежало его изучить и избрать одну из них. Хорошие оружейники, — лучшие жили в Уоррингтоне, да и посейчас живут близ него, — особливо старались, чтобы перед и места соединения изготавливаемых ими доспехов были покатыми, тогда острие копья с них соскальзывало. Любопытно, что щиты готических доспехов тяготели скорее к вогнутости. Предпочтительнее было, чтобы острие копья не покидало щита, потому что иначе оно могло, соскользнув вверх или вниз, попасть в какое-либо уязвимое место на латах. Вообще же наилучшим для удара местом считался самый гребень турнирного шлема, — то есть, если его обладатель был достаточно

тщеславен, чтобы увенчать себя большим металлическим гребнем, в чьих складках и украшениях острие копья находило себе готовое пристанище. Тщеславных обладателей таких гребней, украшенных медведями, драконами, а то еще кораблями да замками, имелось предостаточно, но сэр Ланселот всегда ограничивался гладким шлемом, — разве что прицеплял к нему пучок перьев, не способный задержать копье, или (был один такой случай) тонкий дамский рукав.

Слишком долго было бы входить во все интересные подробности истинного турнирного искусства, которые полагалось заучивать мальчикам, ибо в те дни имело смысл быть основательным и всесторонним знатоком своего ремесла. Надлежало знать, какая древесина лучше пригодна для изготовления копий и почему, надлежало знать даже, как ее обрабатывать, чтобы копья не трескались и не коробились. Существовала тьма спорных вопросов по части вооружения и доспехов и следовало разбираться во всех.

У самых стен замка сэра Эктора лежало поле для конных турниров, хотя турниров здесь не проводили с тех самых пор, как родился Кэй. То был зеленый луг с коротко подстриженной травой, окруженный широкими муравчатыми валами,

удобными для разбивки шатров. Вдоль одной его стороны стояла на сваях старая деревянная трибуна, предназначенная для дам. Ныне поле использовалось лишь для занятий по турнирному делу, поэтому на одном его конце установили мишень для упражнений с копьем, а на другом — кольцо. Деревянная мишень изображала сарацина на колу. Сарацин имел ярко-синюю физиономию, красную бороду и злющие зенки. В левой руке он держал щит, а в правой плоский деревянный меч. Если ты попадал ему копьем в середину лба, все было отлично, но если копье ударяло в щит или еще куда-либо справа или слева от средней линии, он очень шустро проворачивался и, как правило, успевал огреть тебя мечом, пока ты, пригнувшись, проскакивал мимо. Кое-где краска на нем облупилась, а над правым глазом торчали размозженные щепки. Кольцо же представляло собой обычное железное кольцо, свисавшее на веревке с некоего подобия виселицы. Если тебе удавалось поддеть его острием, веревка рвалась, и ты мог гордо проехаться с кольцом на копье.

В тот день немного похолодало, ибо почти уже завиделась осень. Мальчики вышли на турнирное поле вместе с каптенармусом и Мерлином.

Каптенармус, или сержант-оружейник, был негнущимся, бледным, поскакивающим на ходу господином с навощенными усами. Он всегда расхаживал, выпятив грудь, словно зобастый голубь, и при всякой возможности выкрикивал: «По счету „Раз»...». Живот он старательно втягивал, ценою немалых усилий, и часто спотыкался, поскольку грудь не позволяла ему увидеть, что там у него под ногами. Еще он постоянно поигрывал мышцами, к немалому раздражению Мерлина.

Варт лежал рядом с Мерлином в тени трибуны и скреб кожу, раздраженную краснотелками, которых всегда так много в пору жатвы. Зазубренные серпы лишь недавно завершили свои труды, и пшеница стояла в копнах о восьми снопах каждая посреди высокой тогдашней стерни. Кожа у Варта все еще зудела. К тому же у него были ободраны плечи и горело ухо — следствие неудачных выпадов по мишени, ибо учебные упражнения выполнялись, разумеется, без доспехов. Варт радовался тому, что теперь настала очередь Кэю все это сносить, и, полусонный, лежал в тени, подремывая, почесываясь, подрагивая, как собака, и лишь отчасти забавляясь происходящим на поле.

Мерлин сидел, поворотясь спиной ко всем атле-

тическим игрищам, и упражнялся в заклинании, которое он призабыл. Заклинание предназначалось для того, чтобы заставить сержантовы усы распрямиться, но почему-то распрямляло только один ус, да и того сержант не замечал. Всякий раз, как Мерлин произносил заклинание, сержант машинально вновь подкручивал ус, а Мерлин говорил: «Вот черт!» и начинал сначала. Один раз он ошибся, и у сержанта вдруг захлопали уши, отчего тот испуганно посмотрел на небо.

С дальнего края турнирного поля плыл по тихому воздуху голос сержанта.

— Не то, не то, мастер Кэй, совсем не то. Не пойдет. Не пойдет. Копье надо держать между большим и указательным пальцами правой руки, а щит — в линию со швом на штанах…

Варт потер ободранное ухо и вздохнул.

— О чем это ты горюешь?

— Я не горюю, я думаю.

— О чем же ты думаешь?

— Да так, ни о чем в особенности. Я думал, что вот Кэй учится на рыцаря.

— Есть о чем горевать, — с жаром воскликнул Мерлин. — Куча безмозглых единорогов чванятся своей образованностью лишь потому, что умеют спихнуть один другого палкой с коня! Ну,

просто сил никаких нет! Да тот же сэр Эктор, я уверен, с куда большей радостью взял бы вам в наставники какого-нибудь дурацкого турнирного тренера, только и умеющего, что болтать кулачищами на манер человекообразной обезьяны, чем прославленного своей неподкупностью мага с международной репутацией и первоклассными почетными степенями всех европейских университетов. Вся беда норманнской аристократии в том, что она попросту помешалась на играх, вот именно, попросту помешалась.

Он гневно умолк и нарочно заставил сержантовы уши хлопнуть дважды, в унисон.

— Да я, в общем, думал-то не об этом, — сказал Варт. — Я думал о том, как здорово было бы стать рыцарем, вроде Кэя.

— Ну, так ты им скоро и станешь, разве нет? — раздраженно спросил старик.

Варт не ответил.

— Разве нет?

Мерлин обернулся и сквозь очки вгляделся в мальчика.

— Ну, а теперь в чем дело? — ядовито осведомился он. Осмотр показал, что его ученик старается не расплакаться, и если обратиться к нему участливым тоном, мальчик не выдержит

и разревется.

— Не буду я рыцарем, — холодно ответил Варт. Мерлинов трюк сработал, и плакать Варту уже не хотелось: ему хотелось чем-нибудь тюкнуть Мерлина. — Не буду я рыцарем, потому что я не настоящий сын сэра Эктора. Это Кэя посвятят в рыцари, а я буду его оруженосцем.

Мерлин вновь повернулся к нему спиной, но глаза его за очками сверкали.

— Вот горе-то, — сказал он без сострадания. Варта прорвало, он высказывал вслух все свои потаенные мысли.

— Да, — закричал он, — а если бы у меня были настоящие отец и мать, я бы тогда мог стать странствующим рыцарем.

— И что бы ты тогда делал?

— Я бы тогда завел великолепные доспехи и несколько дюжин копий, и вороного коня высотой в восемнадцать ладоней, и назвался бы Черным Рыцарем. И я бы встал у источника или у брода, или еще где-нибудь и заставлял бы всех честных рыцарей, подъезжающих туда, сражаться со мной во славу наших дам, и всех бы их сбрасывал с коней, так что они падали бы на землю страшным падением, а я бы их потом отпускал. И я бы весь год жил под открытым небом,

в шатре, и никогда б ничего не делал, а только сражался на копьях и странствовал в поисках подвигов, и получал бы призы на турнирах, и даже не сказал бы никому моего имени.

— Твоей жене такая жизнь вряд ли понравилась бы.

— Да ну, я и не собираюсь жениться. По-моему, они дуры.

— Хотя возлюбленной дамой пришлось бы обзавестись, — неуверенно добавил будущий рыцарь, — чтобы я мог носить на шлеме знак ее благосклонности и совершать в ее честь подвиги.

Шмель, жужжа, пролетел между ними, под трибуну и снова на солнце.

— А ты хотел бы увидеть каких-нибудь настоящих странствующих рыцарей? — медленно спросил чародей. — Прямо сейчас, в образовательных целях?

— Еще бы! С тех пор как я себя помню, тут не было даже ни одного турнира.

— Я полагаю, это можно устроить.

— Ой, пожалуйста, устрой. Ты мог бы взять меня на турнир, как брал к рыбам.

— Я полагаю, это будет полезно для образования, — в определенном смысле.

— Еще как, — сказал Варт. — Я и придумать не могу ничего полезнее для образования, чем сражение каких-нибудь настоящих рыцарей. Ой, ну, пожалуйста, сделай это.

— Ты предпочел бы какого-нибудь определенного рыцаря?

— Короля Пеллинора, — сразу ответил Варт. Со времени их странной встречи в лесу он питал слабость к этому джентльмену.

Мерлин сказал:

— Ну что же, он вполне подойдет. Вытяни руки вдоль тела и расслабь мышцы. Cabricias arci thuram, catalamus, singulariter, nominativa, haec musa. Закрой глаза и не открывай. Bonus, Bona, Bonum. Поехали. Deus Sanctus, est-ne oratio Latinas? Etiam, oui, quare? Pourquoi? Quai substantivo et adjectivum concordat in generi, numerum et casus. Приехали.

Пока продолжались заклинания, Варт испытывал довольно странные ощущения. Поначалу он слышал, как сержант кричит Кэю: «Не так, не так, ноги держи книзу и раскачивай тело от бедер». Затем эти слова стали все удаляться и удаляться, как если бы он смотрел себе на ноги с другого конца подзорной трубы, и принялись завиваться в конус, словно бы оказавшись на

узком донышке смерча, который засасывал его самого, поднимая на воздух. Затем остался лишь громкий кружащийся шум — рев и шипение, — разросшиеся в истинный ураган, и ему начало казаться, что он этого больше не вынесет. Наконец наступила полная тишь, и Мерлин сказал: «Приехали». Заняло все это примерно столько же времени, сколько нужно шутихе ценою в шесть пенсов, чтобы взвиться с неистовым свистом и, достигнув положенной ей высоты, поворотить назад и рассыпаться дробным громом и цветастыми звездами. Глаза он открыл в ту минуту, когда можно было б услышать, как незримый патрончик ударяется оземь.

Они лежали под буком в Диком Лесу.

— Приехали, — повторил Мерлин. — Вставай, отряхнись.

— А вон там, насколько я понимаю, — продолжал волшебник довольным тоном (ибо на сей раз заклинание сработало без сучка и задоринки), — твой друг, Король Пеллинор скачет к нам через поле брани.

— Здравствуйте, здравствуйте, — кричал Король Пеллинор, и забрало его то взлетало, то падало. — Да никак это, я говорю, молодой человек с периной из перьев, не так ли, что?

— Я самый, — сказал Варт. — И я очень рад вас видеть. Удалось вам настигнуть зверя?

— Нет, — сказал Король Пеллинор. — Зверя не удалось. Ох, да ко мне же, ко мне, ищейка, и оставь этот куст в покое. Куш! Куш! Противная, противная! Видишь, она опять сбилась со следа, что? Страшно интересуется кроликами. Говорю тебе, нету там никого, дурацкая ты собака. Куш! Куш! Брось его, брось! Ну же, к ноге, к ноге, тебе говорят! Нипочем не идет к ноге, — прибавил он.

В это мгновение псина выгнала из куста фазана, и тот с оглушительным стрекотом взвился, а собака до того взволновалась, что раза три или четыре обежала вместе с веревкой вокруг хозяина, задыхаясь при этом, как в приступе астмы. Конь Короля Пеллинора терпеливо стоял, пока веревка опутывала его ноги, и Мерлину с Вартом пришлось изловить ищейку и отмотать ее вспять, прежде чем они смогли продолжить беседу.

— Да, ну вот, — промолвил Король Пеллинор, — премного обязан, большое спасибо. А ты не познакомишь меня со своим другом, что?

— Это мой наставник, Мерлин, великий волшебник.

— Как поживаете? — сказал Король. — Всегда рад встрече с волшебником. Собственно, рад вся-

кой встрече. Позволяет, знаете, скоротать время, что? когда выезжаешь на поиски.

— Рад, — сказал Мерлин самым своим таинственным тоном.

— Рад, — ответил Король, торопясь произвести хорошее впечатление.

Они обменялись рукопожатием.

— Вы сказали «рад» или «град»? — занервничал вдруг Король и стал озираться. — Я-то сам думал, погода останется ясная.

— Это он просто так, поздоровался, — пояснил Варт.

— А, да, здравствуйте.

Они еще раз пожали друг другу руки.

— Хороший денек, — сказал Король Пеллинор. — А как, на ваш взгляд, погода сегодня?

— По-моему, смахивает на антициклон.

— А, да, — сказал Король. — Антициклон. Ну, я, пожалуй, поеду.

Короля колотила крупная дрожь, он несколько раз поднял и опустил забрало, откашлялся, завязал поводья узлом, воскликнул «Если позволите?», — вообще ясно было, что его подмывает поскорее убраться отсюда.

— Он занимается белой магией, — сказал Варт. — Не надо его бояться. Он, ваше величество,

мой лучший друг и к тому же он вечно путается в своих заклинаниях.

— А, да, — сказал Король Пеллинор. — Белая магия, что? Тесен мир, не так ли? Как поживаете?

— Рад, — сказал Мерлин.

— Рад, — сказал Король Пеллинор.

И они в третий раз пожали друг другу руки.

— На вашем месте я бы не спешил уезжать, — сказал чародей. — Сюда скачет сэр Груммор Груммурсум, намереваясь вызвать вас на поединок.

— Нет, правда? Сэр Как-вы-сказали спешит сюда, чтобы вызвать меня?

— Несомненно.

— И хороший наездник?

— Я думаю, вы составите равную пару.

— Да, должен сказать, — воскликнул Король Пеллинор. — Уж быть граду, так семь ден кряду.

— Рад, — сказал Мерлин.

— Рад, — сказал Король Пеллинор.

— Рад, — сказал Варт.

— По правде сказать, я что-то устал от рукопожатий, — объявил монарх. — Давайте считать, что мы уже познакомились.

— А что, — спросил Варт, спеша переменить тему, — сэр Груммор Груммурсум и вправду ска-

чет сюда, чтобы вызвать Короля Пеллинора на битву?

— А взгляните-ка вон туда, — ответил Мерлин, и оба посмотрели в ту сторону, куда указал его палец.

По поляне в полных боевых доспехах галопом скакал сэр Груммор Груммурсум. Вместо обычного шлема с забралом он облачился в настоящий турнирный шлем, похожий на ведерко для угля, шлем подпрыгивал вверх-вниз и громко лязгал. Он распевал свою старую школьную песню:

С тобою закуемся В доспехи до макушки — В крови у нас охота Противустать друг дружке! Навстречу! Навстречу! Навстречу! Сшибемся — и «дзынь!» щиты! Навстречу! Навстречу! Навстречу! И помыслы чисты![2]

— О, Господи, — воскликнул Король Пелли-нор. — Я уж два месяца толком не бился, а прошлой зимой на турнире получил восемнадцать предупреждений. Они как раз ввели новые правила.

Пока он это рассказывал, подъехал сэр Груммор. Он сразу узнал Варта.

— Приветик, — сказал сэр Груммор. — Ты ведь

---

**[2] notes: 2**
Перевод С. Степанова.

мальчишка сэра Эктора, так? А этот, в смешной шляпе, кто таков?

— Это мой наставник, — поспешно сказал Варт. — Мерлин, волшебник.

Сэр Груммор взглянул на Мерлина, — в те дни волшебники почитались истинным рыцарством за людей второго разбора, — и холодно сказал:

— Ах, волшебник. Как поживаете?

— А это Король Пеллинор, — сказал Варт. — Сэр Груммор Груммурсум — Король Пеллинор.

— Как поживаете? — осведомился сэр Груммор.

— Град, — сказал Король Пеллинор. — Нет, то есть я хотел сказать, града не будет, верно?

— Хороший денек, — сказал сэр Груммор.

— Да, денек неплохой, не правда ли, что?

— Охотились сегодня?

— О, да, спасибо. Знаете, все время охочусь. На Искомого Зверя.

— Интересная работа, очень.

— Да, интересная. Не хотите взглянуть на катыши?

— Клянусь Юпитером, конечно! Люблю разглядывать катыши.

— Самые лучшие у меня дома, но и эти неплохи, право.

— Да благословит Господь мою душу. Так это и есть его катыши?

— Ну да, его.

— Интересные катыши.

— Да, очень интересные, правда? Только немного надоедают, — добавил Король Пеллинор.

— Так-так. А денек-то хороший, верно?

— Да, денек в общем хороший.

— Так, может, нам тогда сразиться, а, как?

— Да, по-моему, неплохо бы сразиться, — сказал Король Пеллинор, — нет, право.

— А из-за чего будем драться?

— Ну, как обычно, я думаю. Кто-нибудь, окажите любезность, помогите мне с этим шлемом.

В общем-то помогать пришлось всем троим, ибо при том количестве винтов, которые следовало вывинтить, гаек, которые надлежало ослабить, и болтов, которые Король, одеваясь поутру, впопыхах засадил не в ту резьбу, задача извлечения его из дорожного шлема и облачения в боевой превратилась в праздник технической мысли. Шлем был огромный, вроде газгольдера, выложенный изнутри двумя слоями кожи и трехдюймовым слоем соломы.

Приведя себя в состояние готовности, рыцари разъехались по разным краям поляны и затем

съехались в середине ее.

— Честный рыцарь, — сказал Король Пеллинор, — прошу тебя, назови мне твое имя.

— Оно касается только меня, — ответил сэр Груммор положенной формулой.

— Сие неучтиво сказано, — сказал Король Пеллинор, — что? Ибо ни единый рыцарь не страшится открыто назвать свое имя, когда не имеет причины стыдиться его.

— Что до этого, то я считаю за лучшее, чтобы ты покуда не знал моего имени, так что не спрашивай.

— Тогда ты должен встать, чтобы сразиться со мной, неверный рыцарь.

— А вы не ошиблись, Пеллинор? — осведомился сэр Груммор. — По-моему, тут должно быть «тогда становись».

— О, виноват, сэр Груммор. Да, конечно, именно так. Тогда становись, чтобы сразиться со мной, неверный рыцарь.

И не тратя дальнейших слов, два джентльмена вернулись на противоположные концы поляны, уперли копья в седельные упоры и изготовились к предварительной сшибке.

— Пожалуй, нам лучше залезть на дерево, — сказал Мерлин. — Никогда не знаешь, что может

случиться в таком поединке.

Они вскарабкались на большой бук с удобными, торчавшими во все стороны ветвями, и Варт обосновался на высоте футов в пятнадцать, поближе к концу гладкого сука, откуда он мог хорошо все видеть. Нигде не сидится так уютно, как на буке.

Чтобы как следует представить себе разыгравшуюся там ужасную битву, необходимо знать одну вещь. В ту пору (или, во всяком случае, в пору самых тяжелых доспехов) полностью вооруженный рыцарь нес на себе столько железа, сколько весил сам, — а то и поболе. Совокупный его вес составлял обычно не меньше, чем двадцать два стоуна, иногда и до двадцати пяти. Это означало, что восседать ему приходилось на тихоходном, огромном тяжеловозе вроде нынешних фермерских, а собственные его движения настолько затруднялись грузом железа и разного рода набивочным материалом, что становились замедленными, словно в кино.

— Тронулись! — крикнул Варт и затаил дыхание.

Грузные кони пошли громыхающим шагом, медленно и величаво. Копья, до поры смотревшие в небо, склонились теперь к земле и нацелились

друг на друга. Видно было, как Король Пеллинор и сэр Груммор изо всей мочи бухают пятками в бока своих коней, и через несколько минут великолепные животные уже переваливались, изображая рысь, от которой сотрясалась земля. Блям, драм, бум, бум — скакали кони, а оба рыцаря в унисон плюхали ногами и локтями, и немалая толика дневного света пробивалась между ними и их седлами. Затем темп переменился, конь сэра Груммора явно перешел на галоп. В следующую минуту то же самое проделал и конь Короля Пеллинора. Зрелище было страшное.

— О, Господи! — воскликнул Варт, устыдясь своей кровожадности, из-за которой сражаются здесь эти рыцари. — Как ты думаешь, они не поубивают друг друга?

— Опасный вид спорта, — сказал Мерлин, покачивая головой.

— Сейчас! — крикнул Варт.

С могучим лязгом железных копыт, от которого кровь стыла в жилах, всадники встретились. Копья их качнулись в нескольких дюймах от шлемов, — каждый выбрал сложный удар острием, — и их уже относило галопом в противоположные стороны. Сэр Груммор глубоко вогнал копье в ствол бука, на котором сидели зрители,

и встал. Позади него Короля Пеллинора вместе с копьем совсем унесло из виду.

— Можно смотреть? — спросил Варт, в самый опасный момент закрывший глаза.

— Вполне, — сказал Мерлин. — Им потребуется кое-какое время, чтобы опять встать в позицию.

— Тпру, тпру, говорю! — далеко и глухо прокричал Король Пеллинор за можжевеловыми кустами.

— Эй, эй, Пеллинор! — прокричал сэр Груммор. — Вернись, дорогуша, я здесь.

Последовала долгая пауза, во время которой две сложных боевых установки приводили себя в порядок, и наконец Король Пеллинор занял место на конце поляны, противоположном тому, с какого он начал, а сэр Груммор оказался на его начальной позиции.

— Рыцарь-предатель! — крикнул сэр Груммор.

— Сдавайся, изменник, что? — крикнул Король Пеллинор.

Они снова наставили копья и с громом устремились в атаку.

— Ох, — сказал Варт, — хоть бы они не поранили друг друга.

Но тяжеловозы уже трудолюбиво трюхали один другому навстречу, и оба рыцаря одновре-

менно решили нанести боковой удар. Каждый развернул копье справа налево, и прежде чем Варт успел сказать что-либо еще, послышался ужасный мелодический гром. Дзынь! — запели доспехи, словно моторный омнибус врезался в кузню, — и бойцы уже сидели бок о бок на зеленой траве, а кони их уносились галопом в противоположные стороны.

— Отличное падение, — сказал Мерлин.

Кони замедлили бег, — долг их был выполнен, и они принялись смирно щипать траву. Король Пеллинор и сэр Груммор сидели, глядя перед собой; под мышкой у каждого было на всякий случай зажато копье противника.

— Ну! — сказал Варт. — Вот так удар! Пока, по-моему, оба целы.

Сэр Груммор и Король Пеллинор с затруднением встали.

— Защищайся! — крикнул Король Пеллинор.

— Да спасет тебя Бог! — крикнул сэр Груммор. При этом они извлекли мечи и столь свирепо

рванулись вперед, что каждый, нанеся другому по шлему оставивший вмятину удар, плюхнулся наземь.

— Бах! — крикнул Король Пеллинор.

— Бух! — крикнул сэр Груммор.

— Милость Господня! — воскликнул Варт — Какое сражение!

Теперь рыцари осерчали, и битва возобновилась всерьез. Впрочем, это было не так уж и важно, ибо они, столь закованные в металл, не могли причинить друг другу большого вреда. Им требовалось столько времени, чтобы подняться, а нанесение удара, когда ты весишь восьмую часть тонны, дело настолько обременительное, что каждую стадию состязания легко было выделить и оценить.

На первой стадии Король Пеллинор и сэр Груммор примерно полчаса стояли один против другого и молотили друг друга по шлемам. Возможность имелась лишь для одного удара за раз, поэтому они использовали ее более или менее по очереди, — Король Пеллинор наносил удар, пока сэр Груммор замахивался, и наоборот. Поначалу, если один ронял меч или втыкал его в землю, другой обрушивал на него два или три дополнительных удара, пока его противник терпеливо нашаривал меч или пытался его вытянуть. Спустя какое-то время они освоились с ритмом и стали походить на механических игрушечных мужичков-дровосеков. Постепенно монотонность этого упражнения умиротворила их, потом они и вовсе

заскучали.

Вторая стадия началась с перемены в порядке сражения, произведенной по обоюдному соглашению. Сэр Груммор потопал на один конец поляны, а Король Пеллинор грузно прошагал к другому. Там они развернулись и раз-другой покачались взад-вперед, чтобы как следует уравновеситься. Когда они наклонялись вперед, им приходилось совершать небольшую пробежку, чтобы справиться с весом, а чересчур наклоняясь назад, они падали навзничь. Таким образом, даже простая ходьба представляла собой задачу не из легких. Должным образом распределив свой вес, каждый немного сместил вперед центр тяжести, слегка нарушил равновесие и, чтобы не упасть, перешел на трусцу. Они сближались, словно два вепря.

Встретились они в середине поляны, грудь в грудь, с грохотом, какой бывает при крушении корабля, отскочили один от другого с густым колокольным звоном и рухнули, задыхаясь. Пыхтя, они пролежали несколько минут. Затем стали медленно подниматься на ноги, и было заметно, что оба опять осерчали.

Видимо, Король Пеллинор не только вышел из себя, но и несколько ошалел от удара. Он поднял-

ся, поворотясь лицом не в ту сторону, и никак не мог отыскать сэра Груммора. Дело вполне извинительное, поскольку высматривать противника ему приходилось сквозь узкую щель, да и та располагалась в трех дюймах от его глаз — из-за набитой под шлем соломы. Но и при всем том вид у него был помраченный. Возможно, у него разбились очки. Сэр Грум-мор поспешил воспользоваться своим преимуществом.

— Получай! — крикнул сэр Груммор, обрушивая двумя руками удар на маковку неудачливого монарха, покамест тот ворочал головой, глядя в противоположную сторону.

Король Пеллинор мрачно поворотился, но противник оказался слишком быстр для него. Сэр Груммор, семеня, обежал Короля, по-прежнему оставаясь у него за спиной, и нанес ему еще один страшный удар по тому же самому месту.

— Где ты? — спросил Король Пеллинор.

— Здесь! — крикнул сэр Груммор и снова ударил его.

Бедный Король обернулся так быстро, как только мог, но сэр Груммор опять от него ускользнул.

— Ату его сзади! — крикнул сэр Груммор и долбанул еще раз.

— По-моему, ты невежа, — сказал Король Пел-

линор.

— Хрясь! — ответил сэр Груммор и действительно хряснул.

Вследствие начального столкновения, все повторявшихся ударов по затылку и загадочного поведения противника Король Пеллинор на глазах терял разумение. Он покачивался взад-вперед под градом сыпавшихся на него ударов и слабо отмахивался руками.

— Бедный Король, — сказал Варт. — Не стоило бы его так молотить.

Как бы в ответ на его пожелание сэр Груммор прервал свои труды.

— Мира хочешь? — спросил он.

Король Пеллинор не ответил. Сэр Груммор отвесил ему еще одну плюху и сказал:

— Не скажешь «Мир», отрублю тебе голову.

— Не скажу, — промолвил Король. Дзынь! — лязгнул меч по его голове. Дзынь! — повторил он.

Дзынь! — в третий раз.

— Мир, — сказал, а вернее промямлил Король Пеллинор.

И затем, едва лишь сэр Груммор расслабился, упиваясь победой, Король развернулся, возопил во весь голос «Не мир!» и со всей силой толкнул

его прямо в грудь.

Сэр Груммор повалился на спину.

— Ну! — воскликнул Варт. — Как он его надул! Я бы до этого не додумался!

Король Пеллинор поспешил усесться своей жертве на грудь, увеличив тем ее вес до четверти тонны и лишив всякой возможности двигаться, и начал отвязывать шлем сэра Груммора.

— Ты сказал «Мир»!

— А шепотом сказал «Не мир».

— Ты сжулил.

— А вот и нет.

— Невежа ты, вот ты кто.

— А вот и нет.

— А вот и да.

— А вот и нет.

— А вот и да.

— Я сказал «Не мир».

— Ты сказал «Мир».

— А вот и нет.

— А вот и да.

— А вот и нет.

— А вот и да.

К этому времени шлем сэра Груммора был уже снят, и показалась его голова, гневно взиравшая на Короля Пеллинора. Лицо у него было совер-

шенно багровое.

— Сдавайся, ты, изменник, — сказал Король.

— Не сдамся, — сказал сэр Груммор.

— Ты должен сдаться, не то я отрублю тебе голову.

— Ну и руби.

— Да ладно тебе, — сказал Король. — Ты же знаешь, что должен сдаваться, когда с тебя сняли шлем.

— Это не считается.

— Ну, так я отрублю тебе голову.

— Ну и руби, мне все равно.

Король угрожающе помахал занесенным мечом.

— Давай, продолжай, — сказал сэр Груммор, — а я посмотрю.

Король опустил меч и сказал:

— Ох, говорю же, сдавайся, пожалуйста.

— Сам сдавайся, — сказал сэр Груммор.

— Как же я сдамся? Ведь это все-таки я на тебе сижу, ведь верно, что?

— Ну и что, я нарочно поддался.

— Ох, ну брось, Груммор. По-моему, ты невежа, что не сдаешься. Ты же отлично знаешь, что я не могу отрубить тебе голову.

— Не стану я сдаваться мошеннику, который

сказал «мир», а после дерется.

— Я не мошенник.

— Мошенник и есть.

— Нет, я не мошенник.

— Вот именно, что мошенник.

— А вот и нет.

— А вот и да.

— Ну, хорошо, — сказал Король Пеллинор. — Тогда вставай, надевай свой шлем и будем драться. Я никому не позволю обзываться мошенником.

— Мошенник! — сказал сэр Груммор.

Оба поднялись и стали возиться с шлемом, шипя «А вот и нет» — «А вот и да», пока не приладили его как положено. Затем они разошлись по краям поляны, качнулись вперед, перенося вес на пальцы ног, и понеслись один на другого, гремя и лязгая, словно два сбежавших трамвая.

К несчастью, оба уже озлились настолько, что утратили всякую бдительность и в своем неистовстве проскочили один мимо другого. Инерция, накопленная их доспехами, была чересчур велика, чтобы они сумели остановиться еще до того, как изящно разминулись, поэтому они принялись маневрировать и в результате совсем потеряли друг друга из виду. Смотреть на них было забавно, потому что Король Пеллинор, уже

однажды пойманный сзади, все время вертелся, заглядывая себе за спину, и сэр Груммор, поскольку он сам использовал эту военную хитрость, проделывал то же самое. Так они проблуждали минут примерно с пяток, замирая, прислушиваясь, лязгая, пригибаясь, крадясь, вглядываясь, ступая на цыпочках, и время от времени наугад отмахиваясь от якобы подобравшегося сзади врага. Один раз они сблизились на несколько футов, постояли спиной к спине и, крадучись, с бесконечными предосторожностями разошлись в свою сторону каждый, а еще один раз Король Пеллинор зацепил сэра Груммора, отмахнувшись мечом назад, и оба мгновенно оборотились, но до того уже навертелись, что у них закружились головы, и они опять потеряли друг друга.

Через пять минут сэр Груммор сказал:

— Ладно, Пеллинор. Кончай прятаться. Я все равно тебя вижу.

— Я вовсе не прячусь, — возмущенно воскликнул Король Пеллинор. — Ну, где я?

Так они и отыскали друг друга и сошлись поближе, лицом к лицу.

— Невежа, — сказал сэр Груммор.

— Как же, — сказал Король Пеллинор.

Они развернулись и пошли по своим углам,

полные негодования.

— Мошенник, — проорал сэр Груммор.

— Бандит, — проорал Король Пеллинор.

И с этими словами они собрали все силы для решающей встречи, наклонились, опустили головы, словно два бодливых козла, и буквально рванулись вперед, к последнему столкновению. Увы, прицел их оказался неверен. Они разминулись почти на пять ярдов, пронеслись на всех парах, делая по меньшей мере восемь узлов, как корабли, что безмолвно минуют друг друга в ночи, и покатили дальше навстречу своей судьбе. В тщетных усилиях затормозить оба рыцаря замахали руками вперед, как ветряные мельницы. Оба продолжали бежать с неубывающей скоростью. Затем сэр Груммор головой протаранил бук, на котором сидел Варт, а Король Пеллинор столкнулся с каштаном, что рос на другом краю поляны. Деревья дрогнули, лес зазвенел. Черные дрозды и белки подняли крик, и на полмили вокруг лесные голуби сорвались с гнезд. Ненадолго (можно было бы досчитать до трех) рыцари застыли по стойке смирно. Потом, с последним единогласным мелодическим звоном, оба навзничь пали на роковую траву.

— Оглушены, — сказал Мерлин. — Насколько

могу судить.

— Вот несчастье, — сказал Варт. — Может, мы слезем, поможем им.

— Мы могли бы облить им головы водой, — рассудительно произнес Мерлин, — если бы тут имелась вода. Не думаю, впрочем, что они нам скажут спасибо, когда у них заржавеют доспехи. С ними все будет в порядке. К тому же нам пора возвращаться домой.

— Но они, может быть, умерли!

— Они не умерли, я знаю. Через минуту-другую они очнутся и поедут домой обедать.

— У бедного Короля Пеллинора нет дома.

— Ну, значит, сэр Груммор пригласит его к себе ночевать. Когда они придут в себя, они уже будут лучшими друзьями. Да и всегда ими были.

— Ты думаешь?

— Мой милый мальчик, я знаю. Закрой глаза, мы отправляемся.

Варт подчинился высшей мудрости Мерлина.

— А как ты думаешь, — спросил он с закрытыми глазами, — у этого сэра Груммора есть перина?

— Наверное, есть.

— Ну, ладно, — сказал Варт. — Это будет хорошо для Короля Пеллинора, пусть даже его оглушили.

Прозвучали латинские слова, и свершились тайные пассы. Воронка свистящего шума и пространства приняла их в себя. Через две секунды они лежали под трибуной, и голос сержанта звал с другого конца турнирного поля: «А ну-ка, мастер Арт, а ну-ка. Хватит вам уже лодырничать. Выходите-ка с мастером Кэем на солнышко, раз-два, раз-два, да посмотрите, что такое настоящий турнир».

## 8

Вечер был сырой и холодный, какие уже выпадают под самый конец августа, и Варт слонялся по замку, не зная, чем бы заняться. Некоторое время он проторчал на псарне, разговаривая с Кавалем, затем поплелся на кухню, чтобы помочь поворачивать вертел. Но на кухне оказалось слишком жарко. Его не то чтобы не выпускали из-за дождя на волю мамки да няньки, как это частенько бывает с несчастными детьми нашего поколения, а просто не влекли к себе царившие там слякоть и скука. Окружающие были ему противны.

— Вот чертов мальчишка! — сказал сэр Эктор. — Господа Бога ради, отлепись ты, наконец, от этого окна и найди своего учителя. Когда я был мальчиком, мы всегда занимались в дождливые дни, вот именно, развивали свой ум.

— Варт дурак, — сказал Кэй.

— Ой, беги, утеночек, беги, — сказала старая няня. — Некогда мне нынче слушать твое нытье, видишь, сколько у меня стирки.

— А ну, молодой хозяин, — сказал Хоб, — бегика к себе, нечего птиц тревожить.

— Не-не-не-не, — сказал сержант. — Шагом

марш отсюда. У меня и так дела по горло, мне еще драить все эти чертовы доспехи.

Даже Собачий Мальчишка облаял его, когда он вернулся на псарню.

Варт потащился в башню, в верхний покой, где Мерлин старательно вязал себе на зиму ночной колпак.

— Через каждый ряд убираю по две петли, — сказал волшебник, — и все равно верхушка почему-то получается слишком острой. Совершенная луковица. Видать, слишком много убавляю.

— Я думал, может, ты поучишь меня чему-нибудь, — сказал Варт. — Все равно больше делать нечего.

— Ты, стало быть, полагаешь, что наукой занимаются от нечего делать? — ядовито осведомился Мерлин. Ибо и у него настроение было дурное.

— Ну, — сказал Варт, — смотря какой.

— Но уж моей-то во всяком случае? — спросил волшебник, сверкая глазами.

— Ох, Мерлин, — воскликнул Варт, не отвечая на вопрос, — прошу тебя, найди мне какое-нибудь дело, а то на душе так погано! Никому я ни на что сегодня не нужен и совершенно никакого разумного занятия не вижу. И все этот дождь.

— А ты бы вязать научился.

— Может, мне в кого-нибудь превратиться, в рыбу там или еще во что?

— Рыбой ты уже был, — сказал Мерлин. — Человеку мало-мальски прилежному нет нужды дважды давать один и тот же урок.

— Ну, тогда, может, птицей?

— Если бы ты хоть что-то знал, — сказал Мерлин, — а это, увы, не так, ты знал бы и то, что птицы терпеть не могут летать под дождем, потому что у них намокают и слипаются перья, и вообще вид становится замызганный.

— Я мог бы побыть соколом у Хоба в кречатне, — упорствовал Варт. — Тогда я сидел бы под крышей и не намок.

— Эк куда тебя метнуло, — сказал старик, — в соколы.

— Ты же знаешь, что можешь обратить меня в сокола, если захочешь, — закричал Варт, — и только нарочно дразнишь разговорами о дожде. Я так не согласен!

— Фу-ты, ну-ты!

— Мерлин, милый, — взмолился Варт, — пожалуйста, преврати меня в сокола. Если ты не сделаешь этого, я сам что-нибудь сотворю. Прямо не знаю что.

Мерлин отложил вязание и поверх очков осмот-

рел своего ученика.

— Мальчик мой, — сказал он, — пока я еще не расстался с тобой, ты можешь стать кем угодно, — овощем, животным, минералом, микробом или вирусом, на здоровье, но тебе придется поверить в превосходство моей прозорливости. Еще не время обращать тебя в сокола, — и прежде всего потому, что Хоб по-прежнему в кречатне, кормит птиц, — так что можешь пока посидеть и поучиться на человека.

— Ладно, — сказал Варт, — раз такое дело. И сел.

Через несколько минут он спросил:

— Дозволено ли мне говорить на манер человеческого существа, или тому, кто вскорости будет лишь виден, но не слышен, надлежит просить особого позволения?

— Говорить дозволено всякому.

— Это прекрасно, потому что я хотел обратить твое внимание на то, что ты уже на три ряда ввязал в ночной колпак свою бороду.

— Ах, чтоб меня!

— По-моему, самое лучшее отрезать у твоей бороды кончик. Принести тебе ножницы?

— Почему ты раньше мне не сказал?

— Хотел посмотреть, что получится.

— Мой мальчик, ты подверг себя серьезной опасности, — сказал волшебник, — ибо мог превратиться в хлебный ломоть и поджариться.

И, бормоча себе что-то под нос, он принялся медленно и с величайшими предосторожностями, дабы не спустить петли, выпутывать бороду.

— Интересно, — спросил Варт, когда решил, что наставник его уже успокоился, — летать будет так же трудно, как плавать?

— Летать тебе не придется. Я не собираюсь превращать тебя в вольного сокола, — просто подсажу тебя на ночь в кречатню, чтобы ты мог с ними поговорить. Это и есть лучший вид обучения — беседа со специалистами.

— А они станут говорить?

— Они каждую ночь говорят, как только наступает полная тьма. Рассказывают, как их поймали, и о том, что помнят из вольной жизни: о своей родословной, о великих делах своих предков, о военной выучке, о том, чему они научились и чему им еще предстоит научиться В сущности, это армейские разговоры, такие можно услышать в кантине образцового кавалерийского полка: тактика, личное оружие, разного рода пари, знаменитые охоты, вино, женщины, песни.

— Другая их тема, — продолжал он, — это еда.

Неприятно думать об этом, но основа их выучки — голод. Бедняги вечно хотят есть и все вспоминают лучшие рестораны, в которых им доводилось бывать, и как они там пили шампанское, заедая его икрой и цыганскими песнями. Все они, разумеется, из благородных семейств.

— Это безобразие, что им приходится жить в неволе и мучиться голодом.

— Видишь ли, они не вполне сознают, что пребывают в неволе, — не более, чем кавалерийские офицеры. Они почитают себя существами, преданными своей профессии, вроде как членами рыцарского ордена или чего-то подобного. Понимаешь, к членству в кречатне допускаются только хищники, и это изрядно помогает выдерживать подобную жизнь. Они знают, что ни один представитель низших классов туда проникнуть не сможет. Каких-нибудь черных дроздов и прочей шушеры на их насестах не встретишь. Ну, а что до голода, об истощении тут речи, конечно, нет. Их ведь натаскивают, понимаешь? — ну, и как всякий, кому приходится помногу тренироваться, они постоянно думают о еде.

— Когда я смогу начать?

— Начать ты можешь прямо сейчас, если хочешь. Моя проницательность сообщает, что Хоб

сию минуту покинул кречатню и отправился спать. Однако прежде всего тебе надлежит решить, какого рода соколом ты предпочел бы стать.

— Я предпочел бы стать дербником, — сказал вежливый Варт.

Этот ответ волшебнику оказался приятен, ибо на языке тех времен «дербник» звучал как «мерлин».

— Очень правильный выбор, — сказал он. — Ну что же, начнем, если ты не против.

Варт поднялся с табурета и встал перед своим наставником. Мерлин отложил вязание в сторону.

— Во-первых, ты должен уменьшиться, — сказал он, нажимая Варту на макушку и продолжая нажимать, пока тот не стал размером чуть меньше голубя. — Теперь привстань на кончики пальцев, согни колени, прижми локти к бокам, ладони подними на уровень плеч и сожми указательный палец с большим, а безымянный со средним. Вот так, гляди.

При этих словах дряхлый некромант встал на цыпочки и проделал все сказанное.

Варт прилежно повторил его позу, гадая, что будет дальше. Дальше Мерлин, шепотом произно-

сивший последние заклинания, вдруг превратился в кондора, а со стоявшим на цыпочках Вартом ничего не произошло. Мерлин маячил перед ним, словно бы обсыхая на солнышке, с крыльями, раскинутыми чуть не на одиннадцать футов, с оранжевой головой и фуксиновыми глазами навыкате, похожими на драгоценные камни. Вид у него был удивленный и довольно смешной.

— Вернись, — сказал Варт. — Ты не того превратил.

— А все весенняя уборка, клянусь Пресвятой Богородицей, — воскликнул Мерлин, вновь обратясь в себя самого. — Один раз пустишь женщину на полчаса в кабинет, и уже невозможно понять, где лежит нужное заклинание, и вообще лежало ли оно там когда-либо. Ну, становись, попробуем снова.

На этот раз по-прежнему крохотный Варт ощутил, как ступни его, удлиняясь, царапают пальцами пол. Он ощутил, как задираются кверху и оттопыриваются пятки, как колени уходят в живот. Бедра его сильно укоротились. От запястий до плеч наросла сетчатая кожица, на кончиках пальцев раскрылись и стали быстро расти мягкие синеватые стволики первых маховых перьев. Вторые пустили ростки между запястьями и

локтями, а концы каждого из больших пальцев опушились маленькими и прелестными ложными маховыми перышками.

Как бы по мановению ока выросла дюжина хвостовых перьев со сдвоенными рулевыми посередке, а на спине, на груди и на плечах выскользнуло из-под кожи кроющее оперение, пряча корни наиболее важных контурных перьев. Варт быстро глянул на Мерлина, сунул голову между ног и там осмотрелся, взъерошил перья, чтобы они стали по местам, и принялся острым когтем скрести подбородок.

— Ладно, — сказал Мерлин. — Теперь садись ко мне на руку, — ох, да поосторожней, не цапайся, — и выслушай то, что я должен тебе сказать. Сейчас я тебя отнесу в кречатню, которую Хоб запер на ночь, и посажу рядом с Балином и Баланом, свободного и без клобучка. Теперь повнимательней. Не приближайся ни к кому без предварительного разговора. Тебе следует помнить, что они большей частью сидят в клобучках и с перепугу могут поступить опрометчиво. Балину и Балану можешь доверять, кроме них — кобчику и перепелятнику. К сапсанихе близко не подходи, разве что она сама тебя позовет. И ни в коем случае не вставай вблизи отгородки

Простака, потому что он-то без клобучка, и будь у него хоть полшанса, он достанет тебя сквозь ее ячейки. У бедняги не все дома, и если он только ухватит тебя, живым ты от него не уйдешь. Помни, что ты навещаешь своего рода армейскую трапезную спартанцев. Эти ребята — кадровые военные. Единственное твое занятие в качестве молодого младшего офицера — это держать рот на замке, говорить только когда к тебе обращаются и никого не перебивать.

— Готов поспорить, что я не такой уж и младший, — сказал Варт, — все-таки дербник.

— Что ж, вообще говоря, ты прав, — сказал Мерлин. — Ты увидишь, что и кобчик, и перепелятник будут с тобой вежливы, но ради всего святого не перебивай ни старших дербников, ни сапсаниху. Она у них — шеф полка. Что же до Простака, то он тоже полковник, хоть и пехотный, так что с ними поаккуратней.

— Я буду осторожен, — сказал Варт, начавший уже немного побаиваться.

— Хорошо. Утром я приду за тобой. До того, как поднимется Хоб.

Птицы молчали, когда Мерлин внес в кречатню их нового сотоварища, и сохраняли молчание еще несколько времени после того, как их оста-

вили в темноте. Дождь уступил место полной августовской луне, столь яркой, что можно было видеть в пятнадцати ярдах от двери мохнатую гусеницу, ползущую по бугристому песчанику крепостной стены, и Варту потребовалось лишь несколько мгновений, чтобы глаза его свыклись с рассеянным светом, наполнявшим кречатню. Свет, слегка отливающий серебром, пропитал темноту, и перед глазами Варта предстало зрелище несколько жутковатое. Посеребренные луной ястребы и соколы стояли каждый на одной ноге, другую подобрав под свисающее с живота оперение, и каждый являл собою неподвижное изваяние рыцаря в полных доспехах. Они стояли важно в своих украшенных перьями шлемах, при шпорах и при оружии. Мешковина и холст отгородок между насестами тяжело колыхались под дыханием ветра, словно знамена в часовне, и в рыцарственном терпении высокая воздушная знать несла свою рыцарскую стражу. В ту пору клобучки нахлобучивали на кого только могли, даже на ястребов и на дербников, которых теперь в клобучках не держат.

Увидев эти царственные фигуры, стоящие столь спокойно, словно их вытесали из камня, Варт затаил дыхание. Он был до того ошеломлен их

величием, что наставления Мерлина касательно смиренного и скромного поведения оказались совеем не нужными.

Наконец послышался легкий звон колокольчика. Крупная самка сапсана шевельнулась и произнесла высоким носовым голосом, исходившим из ее аристократического клюва:

— Джентльмены, можете говорить. И вновь наступила мертвая тишина.

Лишь из дальнего угла, отгороженного сетью для Простака, сидевшего там привольно, без клобучка, и сильно линявшего, доносилась невнятная воркотня холерического пехотного полковника.

— Проклятые черномазые, — бормотал он. — Проклятая администрация. Проклятые политиканы. Проклятые большевики. Что в воздухе я вижу пред собою? Кинжал проклятый? Хвать за рукоять. Проклятое пятно. Так-то, Простак, останься тебе всей жизни один только краткий час, и то был бы ты проклят во веки веков.

— Полковник, — холодно произнесла сапсаниха, — не при младших офицерах.

— Прошу прощения, Мэм, — мгновенно откликнулся несчастный полковник. — Знаете, в голову что-то вступило. Какое-то глубокое проклятье.

И вновь тишина, официальная, жуткая и спокойная.

— Кто этот новый офицер? — осведомился тот же прекрасный и яростный голос.

Никто не ответил.

— Ответьте сами, сэр, — скомандовала сапсаниха, глядя прямо перед собой, словно бы разговаривая во сне.

Они не могли разглядеть его сквозь клобучки.

— С вашего позволения, — сказал Варт, — я дербник…

И умолк, испуганный тишиной.

Валан, один из настоящих дербников, стоявший с ним рядом, склонился и вполне добродушно прошептал ему на ухо:

— Не бойся. Называй ее «Мадам».

— Я дербник, Мадам, если позволите.

— Дербник. Это хорошо. А из какой линии Дербников вы происходите?

Варт ни малейшего понятия не имел, из какой линии он происходит, но не осмелился обнаружить себя ложью.

— Мадам, — сказал он, — я один из Дербников Дикого Леса.

Вслед за этим опять наступила тишь, серебристая тишь, которой он начал страшиться.

— Существуют йоркширские Дербники, — произнесла наконец ее почетное превосходительство своим медленным голосом, — и валийские Дербники и Мак-Дербники с севера. Затем имеются Дербники Солсбери, есть кое-кто в окрестностях Экебура, также О'Дербники из Коннаута. Но я что-то не слышала ни о каком семействе из Дикого Леса.

— Осмелюсь сказать, Мадам, — произнес Балан, — это скорее всего младшая ветвь.

— Благослови его Бог, — подумал Варт. — Завтра специально словлю воробья и скормлю ему, когда Хоб отвернется.

— Не сомневаюсь, капитан Балан, что это правильный вывод.

Вновь наступило молчание.

В конце концов сапсаниха звякнула в колокольчик. И произнесла:

— Ну что же, перейдем к катехизису, а после — присяга.

Варт услыхал, как при этих словах слева от него нервно закашлялся перепелятник, но сапсаниха не обратила на это внимания.

— Дербник из Дикого Леса, — сказала она, — каковы суть Звери Ногатые?

— Звери Ногатые, — ответствовал Варт, бла-

гословляя свою звезду, что свела его с сэром Эктором, давшим ему Первостатейное Образование, — суть скакуны, собаки и соколы.

— Отчего же оные прозываются «Звери Ногатые»?

— Оттого, что жизнь сих зверей зависит от мощи их ног, а потому, по закону, всякий, кто причиняет ущерб их ногам, почитается покусителем на сами их жизни. Ибо захромавший скакун — это мертвый скакун.

— Хорошо, — молвила сапсаниха. — Каковы суть твои наиглавнейшие члены?

— Крылья, — ответил Варт, мгновенье поколебавшись, — это была догадка, ибо ответа он не знал.

Одновременно звякнули все колокольца, и надгробные изваяния горестно опустили поджатые ноги. Теперь они, обеспокоенные, стояли на двух ногах.

— Твои что? — резко воззвала сапсаниха.

— Он сказал — его проклятые крылья, — сообщил из своего загона полковник Простак. — Кто первым крикнет «Стой!», тот проклят будет!

— Крылья и у дрозда есть! — выкрикнул кобчик, в тревоге впервые раскрыв свой острый изогнутый клюв.

— Думай! — чуть слышно шепнул Балан. Варт лихорадочно думал.

Крылья, хвост, ноги, глаза — чего же нет у дрозда?

— Когти!

— Это сойдет, — добродушно произнесла сапсаниха, выдержав одну из своих пугающих пауз. — Верный ответ — «Ноги», как и на все остальные вопросы, но «Когти» тоже неплохо.

И все соколы, — мы, разумеется, вольно используем это понятие, ибо были средь них соколы, были и ястребы, — вновь подобрали ноги и успокоились.

— Каков же первый закон ноги?

(«Думай», — сказал дружелюбно настроенный маленький Балан из-под ложного махового пера.) Варт подумал и надумал правильно.

— Не пущать, — сказал он.

— Последний вопрос, — произнесла сапсаниха. — Как мог бы ты, Дербник, убить голубя крупнее себя.

Тут Варту повезло, ибо он слышал рассказ Хоба о том, как это сделал однажды Балан, и он осторожно ответил:

— Я придушил бы его ногой.

— Хорошо! — сказала сапсаниха.

— Браво! — встопырив перья, воскликнули остальные.

— Девяносто процентов, — быстро прикинув, сообщил перепелятник. — Если, конечно, вы дадите ему половинку за когти.

— Пусть дьявол закоптит меня! Проклятье!

— Полковник, прошу вас! Балан зашептал Варту:

— Полковник Простак несколько не в себе. Мы полагаем, что тут вся причина в печени, но кобчик уверяет, что он не выдержал постоянного напряжения, в котором ему приходится жить, чтобы соответствовать высоким принципам ее светлости. Он говорит, что ее светлость однажды обратилась к Полковнику с высоты своего положения в обществе, как кавалерист к пехотинцу, понимаете, и тому оставалось только зажмуриться, — голова пошла крутом. Так он с тех пор и не оправился.

— Капитан Балан, — произнесла сапсаниха, — шептаться невежливо. Мы продолжаем вступительные испытания нового офицера. Ваш черед, падре.

Бедный перепелятник, вид которого в последние несколько минут становился все более нервным, запунцовел и принялся лепетать ка-

кую-то путаную клятву, в коей упоминались ногавки, должики и клобучки. «Сею ногавкой, — слышал Варт, — наделяю тебя… любви, почета и повиновенья. — пока должик нас не разлучит.»

Но прежде чем падре добрался до конца этой клятвы, голос его сорвался, и он зарыдал.

— О, смилуйтесь, ваша светлость, я проявил небрежение и не сумел сохранить учебные пособия.

(«Учебные пособия — это кости и прочее, — объяснил Балан. — Ты ведь должен присягнуть на костях».)

— Вы не смогли сохранить учебные пособия? Но это первейший ваш долг — хранить учебные пособия.

— Я знаю.

— Что же вы с ними сделали?

Голос перепелятника треснул под тяжестью кощунственного признания:

— Я… я их съел, — и несчастный священник расплакался.

Никто ничего не сказал. Нарушение воинского долга было настолько ужасным, что слова утратили смысл. Все стояли на двух ногах, поворотив к преступнику незрячие головы. Ни слова осуждения. Только и слышно было, во все пятиминутное

молчание, как всхлипывает и тихо-тихо икает невоздержный священнослужитель.

— Ну что же, — в конце концов произнесла сапсаниха, — придется отложить посвящение до завтра.

— С вашего разрешения, Мадам, — сказал Балин, — быть может, мы смогли бы произвести испытание нынче ночью? Насколько я понимаю, кандидат свободен в передвижениях, ибо я не слышал, чтобы его привязали.

Услышав об испытании, Варт внутренне содрогнулся и решил про себя, что Балин не получит завтра и перышка от Баланова воробья.

— Благодарю вас, Капитан Балин. Я как раз сама размышляла об этом.

Балин заткнулся.

— Кандидат, вы свободны?

— О да, Мадам, к вашим услугам: но испытание мне как-то не по душе.

— Таков порядок.

— Позвольте, позвольте, — задумчиво произнесла ее почетная светлость, — какое у нас было последнее испытание? Вы не припомните, Капитан Балан?

— Мое испытание, Мэм, — сказал дружелюбный дербник, — и оно состояло в том, чтобы

провисеть в опутенках всю третью стражу.

— Раз он не привязан, он этого сделать не сможет.

— Вы бы могли немного его поклевать, Мэм, — произнес кобчик, — конечно, в разумных пределах.

— Отправьте его постоять рядом с Полковником Простаком, пока мы трижды не прозвоним в колокольца, — предложил второй дербник.

— О, нет, нет! — с мукой закричал из своего удаленного мрака полоумный полковник. — Не надо, ваша светлость. Умоляю вас, не делайте этого. Ведь я, ваша светлость, такой проклятущий подлец, что не могу отвечать за последствия. Пожалейте, ваша светлость, бедного мальчика, и не введите нас во искушение.

— Полковник, следите за собой. Это очень хорошее испытание.

— О Мадам, меня предупреждали, чтобы я не становился рядом с Полковником Простаком.

— Предупреждали? И кто же?

Бедный Варт уже понял, что ему осталось либо признаться в своей человеческой природе и не выведать больше ни единого их секрета, либо пройти через предстоящее испытание и обогатиться новыми знаниями. Трусом он быть не

желал.

— Я встану рядом с Полковником, Мадам, — сказал Варт и тут же спохватился, что тон его оскорбителен.

Но сапсаниха оставила его тон без внимания.

— Вот и отлично, — сказала она. — Но прежде нам надлежит пропеть гимн. Ну-с, падре, если вы не съели и гимны вместе с пособиями, будьте любезны, просолируйте нам 23-й номер, только не Нынешний, а Старинный. Гимн Испытания.

— А вы, мистер Коб, — добавила она, обратясь к кобчику, — постарайтесь, чтобы вас было не очень слышно, вечно вы вверх забираете.

Соколы неподвижно стояли, облитые лунным светом, пока перепелятник отсчитывал: «Раз, два, три». Затем все их кривые и зубчатые клювы раскрылись под клобучками, и они грянули резким хором, и вот что они пропели:

Жизнь — это жертва и кровь, ну что ж, И не с этим сдюжит орлиный глаз. А поживе в утеху — хилая ложь: Timor Mortis — вот что бессилит нас.

Но Ногатые Звери только в Хватку и верят, Ибо плоть нечиста, а нога сильна. Слава сильному лорду, одинокому, гордому: Timor Mortis — вот что возносит нас.

Нерадивым — стыд, а бессильным — беда,

Смерть трусливцу, не знающему, где присесть. Но для клюва и когтя крови хватит всегда: Timor Mortis — это мы сами и есть!

— Отменно, — сказала сапсаниха. — Капитан Балан, по-моему, вы немного съехали с верхнего «до». А теперь, кандидат, отправляйтесь и простойте вблизи отгородки Полковника Простака, пока мы не прозвоним в наши колокольчики трижды. По третьему звонку можете двигаться с какой вам угодно скоростью.

— Очень хорошо, Мадам, — сказал Варт, от негодования утративший всякий страх. Он легко взмахнул крыльями и уселся на самый краешек отгороженного насеста вблизи проволочной сети, за которой сидел Простак.

— Мальчик! — нездешним голосом крикнул Полковник. — Не приближайся ко мне, не надо. Увы, не искушайте злого духа проклятьем, тяготеющим над ним.

— Я не боюсь вас, сэр, — сказал Варт. — Не изводите себя, ибо ни с одним из нас никакого вреда не случится.

— Ничего себе, никакого вреда! О, уходи, пока еще не поздно. Во мне пробуждается извечное вожделенье.

— Не бойтесь, сэр. Им и звонить-то только три

раза.

При этих словах рыцари опустили поджатые ноги и торжественно ими тряхнули. Первый сладостный перезвон заполнил кречатню.

— Мадам, Мадам! — вскричал терзаемый мукой Полковник. — Имейте жалость, имейте жалость к слабой плоти существа, над коим тяготеет проклятие. По ком звонит колокол, Мадам? Мне долго не продержаться.

— Мужайтесь, сэр, — мягко сказал Варт.

— Мужайтесь, сэр! Увы! Тому назад две ночи, как в полночь самую, в проулке, что юлит за церковью Святого Марка, я дюка повстречал: нес на плече он человечью ногу и выл, да жутко, страсть!

— Пустое, сэр, — сказал Варт.

— Какое там пустое! Говорит, я волк, говорит, всей-то и разницы, что у волка шкура наружу, а у меня, говорит, вовнутрь. Давай, раздери мою плоть и проверь. Мол, так вот просто сводит все концы удар кинжала!

Колокольчики прозвонили вторично.

Сердце Варта начало колотиться, а Полковник тем временем подползал к нему по насесту. Топ, топ, — он подвигался, на каждом шагу судорожно вцепляясь в древесину. Его несчастные, безум-

ные, с остановившейся мыслью глаза сверкали в свете луны, сияли среди докучливой тьмы его угрюмого чела. В нем не было ни жестокости, ни недостойной страсти. Он сам был от Варта в ужасе, он не торжествовал над ним, в убийстве был его долг.

— Что ж, будь конец всему концом, — шептал Полковник, — все кончить могли б мы разом. Ну кто бы подумал, что в юноше столько крови?

— Полковник! — сказал Варт, но заставил себя остаться на месте.

— Мальчик! — вскричал Полковник. — Говори со мной, задержи меня, будь милосерден!

— У вас за спиной кошка, — спокойно промолвил Варт, — или даже куница. Взгляните.

Полковник оборотился, стремительный, словно осиное жало, и угрожающе воззрился во тьму. Там было пусто. Он вновь обратил свой бешеный взор на Варта, поняв, что обманут. Затем, холодным тоном гадюки:

— Чу, колокол звонит. Пора! Иду! Малыш, ударам скорбным не внимай — они тебя проводят в ад иль в рай.

Пока он говорил, колокольчики звякнули в третий раз, и теперь честь не мешала Варту двинуться с места. Испытание кончилось, Варт

мог улететь. Но едва он рванулся, едва взлетел с быстротой, превосходящей всякий рывок и всякий полет на свете, жуткие серповидные когти выпростались из пластинчатых ног Полковника, — нет, высверкнули, ибо движение это было слишком быстрым для глаза, — и тяжко, тесно и страшно огромные ятаганы сомкнулись на его ускользавших больших пальцах, будто лапы здоровенного полисмена.

Они сомкнулись и, похоже было, уже навсегда. Крепче, крепче, стальные бедренные мышцы дважды конвульсивно дернулись, напряглись. Затем Варт оказался на два ярда дальше от сетки, а Полковник Простак остался стоять на одной ноге, стиснув в другой несколько ячеек сети и Вартовы ложные маховые перья вместе с теми, что их покрывали. Два-три перышка поменьше неторопливо плыли в лунном луче, опускаясь на пол.

— Хорошо отстоял! — крикнул довольный Балан.

— Истинно джентльменское поведение, — сказала ее светлость, оставив без внимания то обстоятельство, что Капитан Балан высказался раньше нее.

— Аминь! — сказал перепелятник.

— Отважное сердце! — сказал кобчик.

— Не следует ли нам пропеть теперь Песнь Триумфа? — спросил смягчившийся Балин.

— Разумеется, — сказала сапсаниха.

И они запели все вместе, и солистом у них оказался певший во все горло Полковник Простак, и триумфально звенели их колокольца в страшном свете луны.

*Горние птицы слаще,*
*Но птицы долин толще,*
*Оттого-то их чаще*
*Мы обращаем в мощи.*
*Кто там скорчился — кролик?*
*Бей его в грудь и в брюхо!*
*Кролик сладок до колик,*
*И визг его тешит ухо.*
*Тот бьет в поднебесье птицу,*
*И пух облачками тает,*
*Тот низом за птицей стремится,*
*А тот ей башку отрывает.*
*Но Варт — меж Дербников Король -*
*Всех дальше коготь свой простер,*
*Пусть же шлет он дары*

*Нам на наши пиры,*

*И да славит его наш хор!*

— Попомните мои слова, — воскликнул красавец Балан, — из этого юного кандидата выйдет настоящий король. А ну-ка, ребяты, хором, все вместе, в последний раз:

*Но Варт — меж Дербников Король -*

*Всех дальше коготь свой простер,*

*Пусть же шлет он дары*

*Нам на наши пиры,*

*И да славит его наш хор!*

## 9

— Ну и ну! — произнес Варт, проснувшись на следующее утро в своей собственной постели. — Какая жуткая, какая роскошная банда!

Кэй уселся в кровати и сразу застрекотал, сварливо, как белка.

— Где это тебя носило ночью? — закричал он — Небось в окошко удрал? Вот я скажу отцу, он тебя выдерет. Знаешь же, что нам не велено выходить после вечернего колокола. Чем это ты занимался? Я тебя повсюду искал. Вылез, вылез, я знаю.

Порой, когда мальчикам требовалось по какому-то секретному делу выбраться ночью из замка, — чтобы подстеречь барсука, например, или поймать линя, которые только на вечерней зорьке и ловятся, — они спускались по водосточной трубе в ров и переплывали его.

— Ой, заткнись, — сказал Варт, — я не выспался.

Кэй ответил:

— Вставай, вставай, скотина. Где ты был?

— Не скажу.

Он знал, что Кэй все равно не поверит его рассказу, а только обругает его вруном и еще сильней

разозлится.

— Не скажешь — убью!

— Прямо так и убьешь.

— И убью.

Варт повернулся на другой бок.

— Скотина, — сказал Кэй. И двумя пальцами, указательным и большим, ухватил Варта за сгиб руки и ущипнул изо всей мочи. Варт дернулся, словно лосось, вдруг оказавшийся на крючке, и заехал ему прямо в глаз. Миг — они уже выскочили из кровати, бледные, злые, сильно напоминающие освежеванных кроликов, — ибо в те дни люди спали безо всякой одежки, — и замахали руками, как ветряки, норовя причинить один другому побольше вреда.

Кэй был старше и крупнее Варта, так что в конце концов победа досталась бы ему, но он был более нервен и воображением обладал пожившее. Он легко мог представить себе последствия каждого из нацеленных на него ударов, и это ослабляло его оборону. Варт же представлял собой разгневанный ураган в чистом виде.

— Оставь меня в покое, понял?

Но Варт отнюдь не намеревался оставить его в покое, напротив, набыченный и размахивающий руками, он и Кэю не давал этого сделать. Метили

оба только в лицо противника.

Кэй доставал дальше и кулаки имел потяжелее. Он выбросил руку вперед — больше для самозащиты, чем для чего-то иного, — и Варт звучно влепился глазом в кулак. Небо покрылось гулкой тьмой, из которой летели в разные стороны пылающие метеоры. Варт запыхтел, всхлипнул и исхитрился попасть противнику по носу, и оттуда струйкой хлынула кровь. Кэй уронил руки, повернулся к Варту спиной и сказал неприязненным, гнусавым и полным осуждения голосом: «Кровь пошла». Битва закончилась.

Кэй лежал на каменном полу, кровь пузырилась в носу, а Варт, с заплывшим глазом, вытянул из двери огромный ключ и подсунул его Кэю под голову. Ни тот, ни другой не сказали ни слова.

Наконец Кэй повернулся лицом в пол и заплакал. Он говорил:

— Для тебя Мерлин все делает, а для меня ничего.

Тут Варт и впрямь почувствовал себя скотиной. Молча одевшись, он помчался к волшебнику. Дорогой его перехватила няня.

— Ах ты, баловник, — воскликнула она, схватив его за руку и встряхнув, — опять подрался с мастером Кэем. Вы полюбуйтесь на его глаз, ну,

доложу я вам! Этого хватит, чтобы свести с ума целую коллегию хирургов.

— Да ладно, все в порядке, — сказал Кэй.

— Нет, куколка моя, не в порядке, — воскликнула няня, серчая и делая вид, что хочет его отшлепать. — Ну-ка, рассказывай, откудова это, пока я тебя не высекла.

— Стукнулся о спинку кровати, — уныло сказал Варт.

Няня немедленно прижала его к широкой груди, прихлопнула по спине и сказала:

— Ах, голубок, голубок. То же самое говорил мне сэр Эктор, когда я ловила его с синяком под глазом лет сорок назад. Крепче чем в хорошей семье нигде за хорошую ложь не держатся. Ну пойдем, невинная крошка, пойдем на кухню, там мы враз прилепим тебе на рожицу отличный кусочек мяса. Но ты все-таки не дерись с теми, кто здоровее тебя.

— Да все в порядке, — снова сказал Варт, которому вся эта суета была противна, но судьба решила его покарать, и старая дама была непреклонна. Прошло полчаса, прежде чем он смог ускользнуть от нее, да и то пришлось унести с собой сочный шмат сырого мяса, который он, как предполагалось, будет прижимать к подбитому глазу.

— Ничто лучше хорошей вырезки не вытягивает гуморов, — сказала няня, а повариха добавила:

— Да мы тут с самой Пасхи такого лакомого кусочка не видели, и такого сочного тоже.

— Отнесу эту дрянь Балану, — решил Варт и возобновил поиски учителя.

Он без труда отыскал его в башенной комнате, которую тот выбрал еще в день своего появления в замке. Все философы предпочитают жить в башнях, в чем можно убедиться, посетив жилище, выбранное Эразмом в Кембриджском колледже, но башня Мерлина была даже красивее той. Не было в замке покоя выше этого, он располагался прямо под сторожевым постом главной цитадели, и из его окна взгляд мог привольно блуждать по общинному полю, — коим по праву владели кролики, — по парку, по ловчему полю, пока, наконец, не терялся среди далеких синеватых верхушек Дикого Леса. По этому морю древесной листвы катились, как по овсам, бугристые волны, под конец растворяясь в дальних горах, где никто никогда не бывал, в облачных башнях и роскошных чертогах небес.

Замечания, сделанные Мерлином по поводу подбитого глаза, носили чисто медицинский

характер.

— Изменение цвета, — сказал он, — вызывается кровоизлиянием во внутренних тканях (экхимоз) и проходит стадии от темно-лиловой через зеленую к желтой, а затем пропадает.

На это возразить было, вроде бы, нечего.

— Я полагаю, — продолжал Мерлин, — ты получил его, подравшись с Кэем.

— Да. А откуда ты знаешь?

— Ну, уж так уж.

— Я тебя искал, чтобы поговорить насчет Кэя.

— Говори. Требуй. Отвечу.

— Ну вот. Кэй считает, это нечестно, что меня ты все время в кого-нибудь превращаешь, а его нет. И я тоже считаю, что это нечестно.

— И я так считаю.

— Тогда в следующий раз, как будем превращаться, ты преврати нас обоих.

Мерлин уже позавтракал и теперь попыхивал пенковой трубкой, по-прежнему заставлявшей его ученика думать, что он дышит огнем. Вот и сейчас он основательно затянулся, оглядел Варта.. открыл рот, чтобы что-то сказать, передумал, выдохнул дым и еще раз набрал полные легкие.

— Порой, — сказал он, — жизнь вообще кажется нечестной. Известна тебе история про Илию и

Равви Иаханана?

— Нет, — сказал Варт.

Он выбрал на полу местечко поудобнее и смиренно уселся, сообразив, что ему предстоит, как в случае с зеркалом, выслушать некую притчу.

— Этот Равви, — сказал Мерлин, — отправился странствовать вместе с пророком Илией. Шли они целый день и к ночи дошли до скромной хижины бедняка, у которого только и было богатства, что корова. Бедняк выбежал из хижины вместе с женой, чтобы пригласить к себе путников на ночь и предложить им все то нехитрое гостеприимство, какое могли они дать в их стесненных обстоятельствах. Илия и Равви получили в изобилии молока, и в придачу к нему домашнего хлеба и масла, и их уложили спать в лучшую кровать, в то время как смиренные хозяева легли в кухне перед очагом. А поутру корова бедняка оказалась мертвой.

— А дальше?

— Они шли весь следующий день и под вечер пришли к дому очень богатого торговца, рассчитывая на его гостеприимство. Торговец оказался неприветлив, высокомерен и богат, и все что он сделал для пророка и его спутника, — это уложил их в хлеву, дав им воды и хлеба. Однако наутро

Илия долго благодарил его за все содеянное и в награду за доброту прислал камнетеса, чтобы тот починил обвалившуюся стену его дома.

— Равви Иаханан, не мог долее молчать и стал умолять святого, чтобы тот объяснил, почему он так обошелся с этими людьми.

— Что касается бедняка, столь гостеприимно принявшего нас, — ответил пророк, — это его жене суждено было умереть той ночью, но в награду за доброту Бог отнял у него не жену, а корову. Стену же этого богатого скряги я распорядился починить потому, что вблизи от нее спрятан сундук с золотом, и если бы скряга сам принялся за стену, он бы нашел сокровище. А потому не говори перед Господом: Что это ты делаешь? Но скажи в сердце своем: Разве не праведны дела Владыки всей земли нашей?

— Хорошая история, — сказал Варт, ибо история, видимо, кончилась.

— Мне очень жаль, — сказал Мерлин, — что только ты один и можешь получать от меня дополнительное образование, но с другой стороны, меня, видишь ли, только для того и прислали.

— Но я не понимаю, какой вред будет для Кэя, если он тоже его получит.

— И я не понимаю. Но ведь и Равви Иаханан

не понимал, для чего нужно было чинить стену того скупердяя.

— Нет, это-то я понял, — неуверенно сказал Варт, — но, по-моему, корова все-таки зря умерла. Ну хоть разочек можно мне взять с собой Кэя?

Мерлин мягко сказал:

— Быть может, что хорошо для тебя, для него окажется дурно. А кроме того, припомни, он ведь ни разу не попросил, чтобы его во что-нибудь превратили.

— Все равно он этого хочет. Ты ведь знаешь, я люблю Кэя, и, по-моему, люди его просто не понимают. Ему приходится изображать гордеца, потому что он боязливый.

— Ты так и не понял, о чем я толкую. Ну превратился бы он прошлой ночью в дербника и оробел бы, и не выдержал испытания?

— А откуда ты знаешь про испытание?

— Здравствуйте, опять двадцать пять.

— Ладно, — упрямо сказал Варт. — А если бы он выдержал испытание и не оробел? Я не понимаю, зачем обязательно предполагать то, а не это.

— Издеваешься ты надо мной, что ли! — горячо воскликнул волшебник. — Ты, похоже, ничего нынче утром не понимаешь. Что ты хочешь, чтобы я сделал?

— Преврати меня с Кэем в змей или еще во что. Мерлин сорвал очки, швырнул их о пол и растоптал обеими ногами.

— А-а, разрази меня Кастор и Поллукс до самых Бермуд! — выкрикнул он и тут же с пугающим ревом исчез.

Варт так и сидел, озадаченно уставясь на пустое кресло наставника, когда несколько мгновений спустя Мерлин вновь объявился. Он лишился шляпы, а борода его была вся спутана, словно бы бурей. Он снова сел и разгладил дрожащими пальцами мантию.

— Зачем ты это сделал? — спросил Варт.

— Я не нарочно.

— Ты что, хочешь сказать, что Кастор и Поллукс так и сдули тебя на Бермуды?

— Пусть это будет тебе уроком, — ответил Мерлин, — не бранись. И вообще, давай поговорим о чем-нибудь другом.

— Мы говорили о Кэе.

— Да, и вот что я собирался тебе сказать, как раз перед тем, как отправился — э-гм! — сбирать росу с Бермудских островов. Превратить Кэя во что бы то ни было я не могу. Я не получил такой власти, когда был послан сюда. Почему так — ни ты, ни я сказать не способны, — но факт остается

фактом. Я пытался намекнуть тебе на некоторые причины, его породившие, но ты их не принял, прими, стало быть, сам факт, в голом виде. А теперь, будь добр, помолчи, пока я не овладею вновь дыханием и шляпой.

Варт сидел тихо, а Мерлин закрыл глаза и принялся что-то бормотать про себя. Вскоре на голове его появилась смешная высокая черная круглая шляпа. То был цилиндр.

Мерлин с отвращением оглядел его, горько сказал:

— И это у них называется службой доставки!

И вернул цилиндр обратно в воздух. Покончив с этим, он гневно вскочил и воскликнул:

— Поди сюда!

Варт с Архимедом посмотрели один на другого, гадая, что это значит, — Архимед все это время просидел на подоконнике, любуясь видом, ибо он, разумеется, никогда не расставался с хозяином, — впрочем, Мерлин не обращал на них никакого внимания.

— И что? — гневно спросил Мерлин, ни к кому зримому не обращаясь. По-твоему, это смешно?

— Очень хорошо, тогда зачем же ты это сделал?

— Это не извинение. Естественно, я подразуме-

вал шляпу, которую носил.

— Здесь, оболтус, здесь! На что мне шляпа, которую я носил в 1890-м году? У тебя что, совершенно нет чувства времени?

Мерлин содрал бескозырку, тут же появившуюся на его голове, и для обозрения поднял ее несколько кверху.

— Это анахронизм, — свирепо воскликнул он. — Вот что это такое, собачий анахронизм!

Архимед, как видно, привык к этим сценам, потому что вдруг произнес урезонивающим тоном:

— Почему бы тебе не сказать ему как она называется, хозяин? Скажи: «Хочу мою шляпу волшебника», а не «Шляпу, которую я носил». Может быть, бедняга просто не в силах жить, как ты, спереду назад?

Мерлин надулся и произнес:

— Хочу мою шляпу волшебника. Немедленно на голове его утвердилась коническая шляпа.

Предгрозовая атмосфера рассеялась. Варт снова уселся на пол, а Архимед опять принялся охорашиваться, протягивая через стиснутый клюв перья на крыльях и на хвосте и добиваясь, чтобы бородки их улеглись гладко, одна к другой. На каждой бородке имелись еще сотни крошечных крючков, или бородочек, посредством которых

перья сцепляются друг с другом. Вот он их и отглаживал, чтобы легли по местам.

Мерлин сказал:

— Прошу прощения, день у меня сегодня как-то не сложился, в этом все дело.

— Так насчет Кэя, — сказал Варт. — Даже если ты не можешь ни во что его превратить, ты ведь мог бы устроить нам обоим приключение без превращений?

Мерлин видимым образом сделал усилие, чтобы сдержаться и бесстрастно обдумать этот вопрос. Он был уже сыт этой темой по горло.

— Для Кэя я не могу пользоваться никаким волшебством, — медленно вымолвил он, — кроме того, которым я сам так или иначе обладаю, — проницательностью, прозорливостью и прочим в этом роде. Ты хочешь, чтобы я ими воспользовался?

— А как ты используешь прозорливость?

— Она рассказывает мне о том, что должно, как ты бы выразился, случиться, а проницательность иногда говорит, что происходит или происходило в иных местах.

— А вот прямо сейчас ничего не происходит такого, на что нам с Кэем стоит пойти и взглянуть?

Мерлин тут же хлопнул себя по лбу и возбуж-

денно воскликнул:

— Все понял. Конечно, происходит, и, конечно, тебе стоит на это взглянуть. Да, можешь взять Кэя, только поторопитесь. Выходите сразу после мессы. Ну да, это то, что нужно. Дойдете общинным полем до Хобовой полоски ячменя, да так и идите в этом же направлении, пока куда-нибудь не придете. Вот и будет отлично, да, а я после обеда малость вздремну, чем мараться об эти «Основания Логики». Или я уж вздремнул?

— Пока еще нет, — сказал Архимед, — это тебя еще ожидает, хозяин.

— Отлично, отлично! Но смотри, Варт, не забудь взять с собой Кэя, чтобы я мог вздремнуть.

— А что мы увидим? — спросил Варт.

— Ой, только не лезь ко мне с этими пустяками. Давай, беги, будь умницей, и главное — Кэя взять не забудь. Что же ты раньше меня не надоумил? Запомни — вдоль ячменной полоски. Так-так-так! Первый выходной, пусть даже полвыходного, с тех пор, как я связался с этим клятым учительством. Значит, сначала я вздремну перед завтраком, потом перед чаем. Потом надо будет подумать, чем занять себя до обеда. Чем я займусь перед обедом, а, Архимед?

— Малость вздремнешь, я полагаю, — холодно

молвил Архимед, обращая к хозяину спину, ибо ему, как и Варту, больше всего на свете нравилось наблюдать течение жизни.

## 10

Варт сознавал, что, если он расскажет Кэю о разговоре с Мерлином, Кэй не соизволит участвовать в приключении и никуда с ним не пойдет. А потому он ничего ему не сказал. Странно, но драка вновь подружила их, и каждый заглядывал другому в глаза со своего рода стеснительной преданностью. Не испытывая какой бы то ни было враждебности, а один только легкий стыд, и ничего друг другу не объясняя, они вместе вышли после мессы и вскоре оказались в конце принадлежащей Хобу полоски ячменя. Варту не пришлось ничего придумывать. Здесь уже все было просто.

— Пошли, — сказал он. — Мерлин велел тебе передать, что там дальше кое-что припасено специально для тебя.

— А что именно? — спросил Кэй.

— Приключение.

— И как мы туда доберемся?

— Надо идти в направлении, которое указывает эта полоска, я думаю, в итоге мы окажемся в лесу. Нужно, чтобы солнце так и держалось слева, хотя, конечно, придется учитывать, что оно движется.

— Ладно, — сказал Кэй. — А что за приключение?

— Не знаю.

И они прошли вдоль полоски и пошли, придерживаясь воображаемого направления, через парк и ловчее поле, озираясь по сторонам, чтобы не упустить мгновения, когда случится какое-нибудь волшебство. Нет ли чего-либо чудесного в потревоженной ими полудюжине молодых фазанов? Кэй готов был поклясться, что один из них — белый. Если бы он был белый и если бы с небес на него вдруг пал черный орел, они бы точно знали, что начинаются чудеса, и что им остается только последовать за фазаном — или орлом, — пока они не доберутся до девицы в заколдованном замке. Впрочем, фазан белым не был. На опушке леса Кэй сказал:

— Похоже, придется войти в лес? Мерлин говорил: идти в направлении полоски.

— Ну ладно, — сказал Кэй. — Я не боюсь. Раз это приключение предназначено для меня, в нем ничего дурного не будет.

Они вошли в лес и с удивлением обнаружили, что идти по нему — одно удовольствие. Лес был примерно таков, каковы и ныне большие леса, хотя вообще-то в те времена рядовой лес походил

скорее на амазонские джунгли. Лесами тогда еще не владели любители фазаньей охоты, и позаботиться о том, чтобы подлесок вовремя прореживался, было некому; не существовало в те времена и тысячной доли теперешних лесоторговцев, производящих благоразумные вырубки в немногих уцелевших лесах. По большей части Дикий Лес был почти непроходим — исполинский барьер вечных деревьев, где павшие припадали к живым, держась за них с помощью плюща, а живые, борясь друг с другом, тянулись к солнцу, дававшему им жизнь, где топкая из-за отсутствия стоков почва перемежалась с высохшей и горючей, заваленной сушняком, и можно было вдруг провалиться сквозь трухлявый древесный ствол прямиком в муравейник, либо так завязнуть в плетях ежевики, вьюнков, в зарослях жимолости, ворсянки и того, что зовут в деревне дерябкой, что приходилось потом собирать себя по кусочкам, развешанным на три ярда вокруг.

Итак, пока все шло хорошо. Линия Хоба вела их вдоль чего-то вроде череды прогалин, тенистых и ропщущих, где дикий тимьян дрожал от гудения пчел. Пора насекомых миновала свою вершину, наступило время ос и плодов, но здесь еще цвели фритиллярии, и ванессы и красные адмиралы

порхали над цветущею мятой. Варт сорвал листок и жевал его на ходу, словно резинку.

— Странно, — сказал он, — здесь оказывается люди бывают. — Гляди-ка, след от копыта, да еще и подкованного.

— Не много же ты увидел, — сказал Кэй, — вон там человек сидит.

И вправду, в конце следующей прогалины сидел, привалясь бочком к стволу сваленного дерева, человек с топором лесоруба. Странный такой человечек, махонький, горбатый, с лицом словно бы из красного дерева, в одежде из множества старых кожаных лохмотьев, стянутых на мускулистых руках и ногах обрывками веревки. Он уплетал ломоть хлеба с овечьим сыром, помогая себе ножом, превращенным многими годами заточки в узенькую полоску, и подпирая спиной одно из самых высоких деревьев, какие они когда-либо видели. Вокруг него все усыпала белая древесная щепа. И пенек казался новехоньким. Глаза у человечка были яркие, как у лисы.

— Вот это, наверное, и есть приключение, — прошептал Варт.

— Да ну уж, — сказал Кэй, — для приключения нужны рыцари в доспехах или драконы, или еще что-нибудь похожее, а не старые чумазые

дровосеки.

— Пускай, но я все же хочу расспросить его, что тут к чему.

Они подошли к жующему лесовичку, который, похоже, их не заметил, и спросили, куда ведут эти прогалины. Раза два или три они повторили вопрос и наконец убедились, что бедняга либо глух, либо не в своем уме, либо и то и другое. Он не ответил и даже не шевельнулся.

— Да ладно, пошли, — сказал Кэй. — Он, скорее всего, с придурью, вроде как Вот, и даже не понимает толком, на что глядит. Пойдем, оставь старого дурня в покое.

Они прошли еще около мили, и путь был по-прежнему легок. Тропинок здесь, в сущности, не было, и прогалины не переходили одна в другую. Всякий, случайно забредший сюда, решил бы, что тут. лишь одна поляна — та, на которой он находится, — длиной в пару сотен ярдов, да так бы и думал, пока не дошел до конца ее и не обнаружил другую, заслоненную несколькими деревьями. Время от времени им попадался пень со следами топора, но в большинстве эти пни были тщательно упрятаны в ежевике, а то и вовсе выкорчеваны. Варту подумалось, что и сами прогалины — дело человеческих рук.

На краю одной из полян Кэй ухватил Варта за локоть и молча указал на другую ее сторону. Там мягко всходил к исполинскому явору, вытянувшемуся футов на девяносто, травянистый пригорок. На пригорке привольно разлегся столь же исполинский мужчина, а рядом с ним пес. Мужчину, как и явор, проглядеть было трудно, ибо росту в нем без башмаков было семь футов, а из одежды на нем имелось лишь подобие килта из зеленой линкольнской шерсти. Кожаная наручь покрывала левую руку от запястья до локтя. На огромной загорелой груди покоилась голова пса, — пес навострил уши и следил за мальчиками, но никаких движений не делал, — голова чуть покачивалась вверх-вниз, когда поднимались и опадали грудные мышцы. Мужчина, видимо, спал. Близ него лежал семифутовый лук и несколько стрел в портновскую мерку длиной. Как и у лесовика, отливала его кожа красным деревом, и курчавые волосы на груди золотились, прохваченные солнцем.

— Вот оно, — возбужденно шепнул Кэй.

К мужчине они подходили с осторожностью, опасаясь пса. Но пес лишь проводил их глазами, голова его так и осталась лежать на хозяйской груди, а хвост чуть приметно дрогнул в знак

приветствия, — не поднимаясь, на пару дюймов проехался по траве туда-сюда. Мужчина открыл глаза, — он, как видно, совсем и не спал, — улыбнулся мальчикам и ткнул большим пальцем в направлении дальше по прогалине. Затем улыбка пропала, и он снова закрыл глаза.

— Прошу прощения, — сказал Кэй, — что это у вас тут происходит?

Мужчина ничего не ответил, и глаз не раскрыл, но снова поднял руку и указал большим пальцем в сторону.

— Он хочет, чтобы мы шли дальше, — сказал Кэй.

— Вот уж это наверняка приключение, — сказал Варт. — Интересно, не влез ли тот глухой лесовик на дерево, которое подпирал, и не передал ли сообщения на это дерево? Он явно нас ожидал.

При этих словах голый гигант открыл один глаз и с некоторым удивлением воззрился на Варта. Затем открыл оба, рассмеялся, отчего все его большое лицо покрыли морщинки, сел, потрепал пса, подобрал лук и поднялся на ноги.

— Так-так, молодые хозяева, — сказал он, еще смеясь. — Значит, мы все-таки объявились. Верно говорят, новенький котел лучше варит.

Кэй посмотрел на него в полном изумлении.

— Вы кто? — спросил он.

— Нейлор, — сказал гигант, — Джон Нейлор — так меня звали в большом мире, покамест я не ушел в лес. Потом ненадолго стал прозываться Джон-Малыш, это уж в лесу, но наши ребята предпочитают звать меня навыворот — Маленьким Джоном.

— О! — в восторге воскликнул Варт. — Так я про вас слышал и часто, когда по вечерам рассказывали саксонские сказки, — про вас и про Робина Гуда.

— Только не Гуда, — неодобрительно молвил Маленький Джон. — Это негожее прозвание для человека, мастер, особливо в лесу.

— Но в сказках его зовут Робин Гуд, — сказал Кэй.

— А, это все книгочеи. Вечно все путают. Ну, как бы там ни было, а нам пора двигаться.

Они пристроились по сторонам от огромного мужчины, и, чтобы держаться с ним вровень, им приходилось на один его шаг делать три своих — и делать быстро, ибо хоть говорил он очень медленно, но босые ноги его шагали очень быстро. Пес трусил следом.

— А скажите, — спросил Варт, — куда вы нас ведете?

— Так, получается, что к Робин 'уду, куда же еще? Как это вы не догадались с вашим умом, мастер Арт?

При этом гигант лукаво подмигнул краешком глаза, ибо понимал, что вдвойне озадачил мальчиков — во-первых, для них так и осталось неясным настоящее прозвание Робина, а во-вторых, — откуда Маленькому Джону знать Варта?

Варт для начала выбрал второй вопрос.

— Откуда вы знаете мое имя?

— Да уж мы знаем, — сказал Маленький Джон.

— А Робин 'уд знает, что мы придем?

— Ну нет, утеночек мой, ученый мальчуган вроде тебя должен и имя его произносить по-ученому.

— Да как же его зовут? — воскликнул мальчик, отчаявшись и задыхаясь оттого, что приходилось все время бежать. — Вы-то сказали «'уд»!

— Так ведь 'уд и есть, утеночек, так же, как зовется по-нашему лес, которым вы бежите. Это очень хорошее имя.

— Робин Вуд!

— Вестимо, Робин 'уд. Как же еще его называть, когда он-то и правит лесом? Они ведь места привольные, леса-то, добрые места. Хочешь, спи в них, что зимою, что летом, хочешь, бей дичь для

общества, если проголодался, хочешь, дыши их запахом, когда деревья выпускают хорошенькие яркие листья, одно за другим, все по порядку, или теряют старые — по тому же порядку, но только наоборот; можешь стоять, и тебя не увидят, можешь ходить, тебя не услышат, а уляжешься спать, лес согреет тебя, — да, доброе место лес, настоящее, для вольного человека с руками и с сердцем.

Кэй сказал:

— А я-то думал, что все люди Робина Вуда носят штаны и дублеты из зеленой линкольнской шерсти.

— Так это мы зимой, когда есть в том нужда, а то еще кожаные поножи надеваем, но то на лесных работах, а летом такая одежка нужна разве что на заставах — для тех, кому нечем заняться, кроме как сторожить.

— Так, значит, вы на посту стояли?

— Ну да, как и старый Мач, с которым вы говорили у сваленного дерева.

— А большое дерево, к которому мы подходим, — воскликнул торжествующий Кэй, — это, я думаю, крепость Робина Вуда!

Они приближались к царице леса.

Это была липа, огромная, как та, что растет в

«Парке Мур» в Хартфордшире, — не менее сотни футов в высоту и футов семнадцать в обхвате, если обхватывать в ярде от земли. Подножие ствола ее, схожего с буковым, украшало кружево молодой поросли, а кора в тех местах, где от ствола отходили большие ветви, треснула и обесцветилась от дождевой воды и древесного сока. Пчелы жужжали среди ее липких и ярких листьев, уходящих в небо все выше и выше, и веревочная лестница терялась в кроне. Без лестницы никто бы на нее не взобрался, даже в железных крючьях.

— Верно надумали, мастер Кэй, — сказал Маленький Джон. — А вон и мастер Робин, между ее корнями.

Мальчики, внимание которых приковал дозорный, забравшийся в воронье гнездо на вершине этого качающегося и шепчущего украшения земли, сразу опустили глаза вниз и впились ими в прославленного разбойника.

Вопреки их ожиданиям, вид у него был вовсе не романтический, — во всяком случае, на первый взгляд, — хоть ростом он лишь немного уступал Маленькому Джону. Эти двое были, безусловно, единственными на свете людьми, которым когда-либо удавалось послать стрелу из большого

английского лука на целую милю. Жилистый человек с телом, лишенным жира, не полуголый, как Джон, но в простом выцветшем зеленом платье и с серебряным охотничьим рогом на боку. Чисто выбритый, загорелый, мускулистый и узловатый, как древесные корни, но причиной его зрелости и узловатости были вольный воздух и поэзия, а не возраст, ибо лет ему было едва за тридцать. (Он доживет до восьмидесяти семи и будет считать причиной своего долголетия смолистый воздух сосновых лесов.) В эту минуту он лежал на спине и глядел вверх, хотя и не в небо.

Голова Робина Вуда счастливо покоилась на коленях у Мэриан. Она сидела между корнями липы в цельнокроеном зеленом камзоле с полным стрел колчаном на опояске, голорукая и голоногая. Блестящие каштановые волосы, обыкновенно заплетаемые для удобства в косы на время стряпни и охоты, привольно лились с ее головы, и волны их обрамляли его лицо. Они негромко пели на два голоса, и Мэриан щекотала Робину кончик носа прядью мягких волос.

*Под свежею листвою, -*

пела девица Мэриан, -

*Кто рад лежать со мною,*

*Кто с птичьим хором в лад*

*Слить звонко песни рад, -*

*К нам просим, к нам просим, к нам просим, -*

негромко подпел Робин.

*В лесной тени Враги одни —*

*Зима, ненастье, осень.*

Они счастливо рассмеялись и начали заново, поочередно выпевая строки:

*Вком честолюбья нет,*

*Кто любит солнца свет,*

*Самищет, что поесть,*

*Доволен всем, что есть,*

затем оба вместе:

*К нам просим, к нам просим, к нам просим.*

*В лесной тени*

*Враги одни -*

*Зима, ненастье, осень.*[3]

Пенье закончилось смехом. Робин, который

---

**[3] notes: 3**
Перевод Т. Щепкиной-Куперник.

накручивал на загорелые пальцы тонкие шелковистые пряди, падавшие ему на лицо, резко дернул за них и вскочил на ноги.

— Привет, Джон, — сказал он, сразу заметив пришедших.

— Привет, Хозяин, — сказал Маленький Джон.

— Так, значит, привел молодых сквайров?

— Они меня привели.

— Так или этак, добро пожаловать, — сказал Робин. — Я не слышал о сэре Экторе ни одного дурного слова и не знаю причин, по которым стоило бы травить его щенят. Как поживаете, Кэй и Варт, и кто указал вам путь через лес по моим прогалинам именно в этот день?

— Робин, — перебила его женщина, — ты их не можешь принять!

— Почему же, голубка моя?

— Они же дети.

— Именно дети нам и нужны.

— Это не по-людски, — сердито сказала она и принялась собирать волосы.

Разбойник, видимо, полагал, что. разумнее с нею не спорить. Вместо этого он оборотился к мальчикам и спросил:

— Стрелять умеете?

— Будьте уверены, — сказал Варт.

— Мог бы попробовать, — сказал более сдержанный Кэй под общий смех, вызванный заверением Варта.

— Иди-ка сюда, Мэриан, дай им один из твоих луков.

Она подала ему лук и с полдюжины коротких стрел.

— А ну-ка, в чучело, — сказал Робин, передавая их Варту.

Варт огляделся и обнаружил чучело примерно в сотне шагов от себя. Он понял, что свалял дурака и весело сказал:

— Прости, Робин Вуд, но, боюсь, для меня это далековато.

— Не беда, — ответил разбойник. — Выстрели. Мне достаточно посмотреть, как ты это делаешь.

Варт наложил стрелу как только мог быстро и аккуратно, широко расставил ноги в линию с направлением, по которому хотел отправить стрелу, расправил плечи, оттянул тетиву к подбородку, смерил взглядом мишень, направил стрелу вверх примерно на двадцать градусов, прицелился на двадцать ярдов правее, потому что всегда немного отдергивал влево, и пустил стрелу. Он промахнулся, но не сильно.

— Теперь Кэй, — сказал Робин.

Кэй произвел те же движения и тоже выстрелил хорошо. Каждый держал лук верно, быстро отыскивал старшее перо и соответственно ставил стрелу, каждый натягивал лук за тетиву, — большинство мальчиков, которых этому не учили, тянут за кончик стрелы около выемки, сжимая его большим и указательным пальцами, но настоящий лучник оттягивает тетиву двумя или тремя пальцами, позволяя стреле лишь следовать за ними, — ни тот ни другой не позволяли острию стрелы отклоняться влево, пока натягивался лук, и не цепляли тетивой за левое предплечье, — две ошибки, общие для незнающих людей, — и каждый пускал стрелу без рывка.

— Хорошо, — сказал разбойник. — Эти не только на арфах играют.

— Робин, — резко произнесла Мэриан, — нельзя подвергать детей опасности. Отправь их домой, к отцу.

— Я не сделаю этого, — сказал он, — если они сами не захотят. Это их драка, в той же мере, что и моя.

— Какая драка? — спросил Кэй.

Разбойник отбросил лук, уселся, скрестив ноги, на землю и, потянув девицу Мэриан, заставил и ее присесть рядом. Судя по его лицу, он испыты-

вал затруднения.

— Дело касается Морганы ле Фэй, — сказал он. — А ее поступки объяснить трудновато.

— Я бы и не пыталась.

Робин сердито обернулся к возлюбленной.

— Мэриан, — сказал он, — либо нам придется прибегнуть к их помощи, либо придется оставить без помощи тех троих. Я не хотел просить мальчиков, чтобы они пришли к нам, но либо так, либо Тук достанется ей.

Варт решил, что самое время задать тактичный вопрос, а потому он вежливо кашлянул и сказал:

— Простите, а кто такая Моргана ле Фэй? Все трое ответили сразу.

— Плохой человек, — сказал Маленький Джон.

— Королева эльфов, — сказал Робин.

— Нет, — сказала Мэриан. — Она чародейка.

— Суть в том, — сказал Робин, — что толком никому не известно, кто она. По моему мнению, она из эльфов. И этого мнения, — сказал он, взглянув на жену, — я продолжаю держаться.

Кэй спросил:

— Вы хотите сказать, что она из тех существ в шляпах из колокольчиков, что целыми днями сидят на поганках?

Ему ответил взрыв смеха.

— Безусловно, нет. Таких созданий и вовсе не существует. А эта — настоящая королева да еще и из самых худших средь них.

— Если мальчикам придется в этом участвовать, — сказала Мэриан, — ты лучше объясни им все с самого начала.

Разбойник глубоко вздохнул, распрямил скрещенные ноги, и на лицо его снова вернулось затрудненное выражение.

— Ладно, — сказал он. — Будем исходить из того, что Моргана все же королева эльфов или, во всяком случае, имеет к ним отношение, и что эльфы — вовсе не те создания, про которых вам рассказывала нянька. Кое-кто говорит, что они — Древнейший Народ, живший в Англии еще до того, как сюда заявились римляне, до нас, саксов, и даже до самого Древнего Люда, и что их загнали под землю. Кое-кто говорит, что они немного похожи на людей или гномов, другие говорят, что вид у них самый обычный, а третьи, — что у них вообще нет никакого вида, а просто они принимают любые обличил, какие им в голову забредут. Как бы они ни выглядели, они владеют знанием древних гаэлов. Они в своих норах ведают такие вещи, о которых человеческий род давно позабыл, и о большей части этих вещей

лучше бы и не слышать.

— Шепотом, — со странным выражением сказала золотоволосая дама, и мальчики увидели, что маленький кружок сдвинулся потеснее.

— Так вот, — понизив голое, промолвил Робин, — главное в этих созданиях, о которых я говорю, и если позволите, я не стану снова их называть, главное то, что они лишены сердец. И не то чтобы они питали склонность ко злу, а просто если поймаешь кого-то из них и разрежешь, то сердца внутри не найдешь. И кровь у них холодная, как у рыб.

— И они повсюду, там, где беседуют люди. Мальчики оглянулись.

— Успокойтесь, — сказал Робин. — Больше рассказывать вам о них никакой нужды нет. Суть в том, что я уверен: эта Моргана — королева, ну, скажем так, Доброго Народца, и я знаю, что она иногда поселяется в замке к северу от нашего леса, называемом Замок Чэриот. Мэриан говорит, что сама-то королева не принадлежит к эльфам, что она — всего лишь волшебница, которая дружит с ними. Есть люди, которые уверяют, что она дочь герцога Кернуолла. Не это важно. Важно, что нынче утром благодаря ее чарам Древнейший из Всех Народ захватил одного из моих слуг и одного

из ваших.

— Неужели Тука? — воскликнул Маленький Джон, ничего не знавший о событиях, поскольку он был в дозоре.

Робин кивнул:

— Весть пришла с северных деревьев еще до того, как поступило твое сообщение о мальчиках.

— Бедный, бедный монах!

— Расскажи, как это случилось, — сказала Мэриан — И, может быть, стоит сначала объяснить насчет имен.

— О Благословенном Народе, — сказал Робин, — мы знаем мало, но знаем, что люди его принимают названья животных. Например, они могут называться Коровами или Козлами, или Свиньями и так далее. Поэтому, если ты кличешь одну из своих коров, всегда нужно указывать — какую именно. Иначе можешь накликать эльфа, — мне следовало сказать Малого Человечка, — носящего то же имя, и если ты вызвал его, он придет и может забрать тебя с собой.

— Похоже, случилось так, — сказала Мэриан, перенимая рассказ, — что Собачий Мальчишка из вашего замка повел собак на опушку леса, где они обыкновенно опрастываются, да приметил там отца Тука, который болтал с живущим по-

близости стариком по имени Вот…

— Простите нас, — вскричали оба мальчика, — но не тот ли это старик, что жил в нашей деревне перед тем, как спятить? Тот, что откусил Собачьему Мальчику нос, а теперь превратился в людоеда и обитает в лесу?

— Он самый, — ответил Робин, — только… бедняга, он вовсе не людоед. Кормится травой, корешками, желудями и даже мухе вреда причинить не способен. Боюсь, в ваших рассказах что-то напутано.

— Вот питается желудями, эх, ничего себе!

— А дальше, — терпеливо произнесла Мэриан, — случилось так. Они сошлись втроем, чтобы скоротать денек, и один из псов (по-моему, тот, которого звали Каваль) стал прыгать на бедного Вота, пытаясь лизнуть его в лицо. Старик испугался, а ваш Собачий Мальчишка крикнул: «Пес, ко мне!», желая остановить его. Но не указал на него пальцем. Понимаете, он должен был пальцем на него указать.

— И что было дальше?

— А то, что один из моих людей — Скателок, или Скарлетт, как его именуют в балладах, рубил неподалеку деревья, и он говорит, что они исчезли, просто исчезли вместе с собакой.

— Бедный Каваль!

— Так значит, их эльфы забрали.

— Ты хочешь сказать — Мирный Народец.

— Да, извиняюсь.

— Дело все в том, что если Моргана действительно королева этих созданий и если мы желаем спасти их прежде, чем она их зачарует, — а одна из древних их королев по прозванью Цирцея превращала тех, кого ловила, в свиней, — придется искать их у нее в замке.

— Стало быть, нужно идти туда.

## 11

Робин улыбнулся старшему мальчику и потрепал его по спине, а Варт между тем мучился мыслью о своем псе. Затем разбойник прочистил горло и заговорил опять.

— Насчет этого ты прав, — сказал он, — но тут я должен сказать тебе самое неприятное. Беда в том, что в Замок Чэриот никто, кроме мальчика или девочки, проникнуть не может.

— Ты хочешь сказать, что туда невозможно проникнуть?

— Ты бы проникнуть смог.

— Я так понимаю, — объяснил Варт, обдумав сказанное, — что это как с единорогом.

— Верно. Единорог — животное волшебное, и поймать его может только девица. Эльфы — тоже волшебные существа, и входить в их замки могут лишь люди невинные. Потому-то они и крадут детишек из колыбелей.

С минуту Кэй и Варт просидели в молчании. Затем Кэй сказал:

— Ну что же, я готов. В конце концов, это мое приключение.

И Варт сказал:

— Я тоже готов. Каваль — мой любимый пес. Робин взглянул на Мэриан.

— Отлично, — сказал он. — Не будем тратить слов попусту, а лучше обговорим наши планы. Мне нравится, что вы решились отправиться туда, не особенно представляя, что вас там ожидает, но на самом деле все будет не так страшно, как вы думаете.

— Мы пойдем с вами, — сказала Мэриан. — Наша ватага проводит вас до замка, Ваше дело — только войти внутрь, а это уж в самом конце.

— Да, а нам тем временем, видимо, придется драться с ее грифоном.

— Так там и грифон есть?

— Есть-есть. Охраняет Замок Чэриот, злющий, как цепной пес. Мы должны миновать его по пути туда, иначе он поднимет тревогу, и вам не удастся войти. Придется поползать.

— Надо дождаться ночи.

Мальчики приятно провели первую половину дня, осваивая два лука, принадлежащих Мэриан. На этом настоял Робин. Он сказал, что стрелять из чужого лука — это то же самое, что косить траву чужой косой, — безнадежное дело. На обед они, как и все остальные, получили холодный пирог с олениной и мед. Разбойники появились к обеду,

словно из рукава фокусника. Только что никого на краю прогалины не было видно, а через миг с полдюжины разбойников уже обнаружились прямо в середине ее, — загорелые мужчины, некоторые в зеленых одеждах, беззвучно возникшие из зарослей папоротника или древесных крон. Под конец их собралось около сотни, весело жующих и смеющихся. Они превратились в изгоев не потому, что кого-то убили, и не по иной причине подобного рода. Это были саксы, воспротивившиеся захватам Утера Пендрагона и отказавшиеся принять короля-чужестранца. Их много жило среди топей и в диких лесах Англии. Они были тем же, чем были солдаты сопротивления во времена позднейших оккупации. Еду им выдавали в подобии хижины из зеленых ветвей, где стряпала Мэриан со своими помощницами.

Обычно партизаны выставляли часового следить за приходящими по деревьям вестями, а сами укладывались после полудня спать, — отчасти потому, что охотились они в основном в такое время, когда труженики в большинстве своем почивают, а отчасти и потому, что дикие звери спят после полудня, стало быть, то же довлеет и их ловцам. Однако в этот день Робин собрал совет, на который призвал и мальчиков.

— Послушайте, — сказал он, — лучше, если вы будете знать, что мы намереваемся делать. Сотня наших людей двинется с вами к замку Королевы Морганы, разделившись на четыре отряда. Вы пойдете в отряде Мэриан. Когда мы достигнем дуба, разбитого молнией в год великой бури, до сторожевого поста грифона останется около мили. У дуба отряды встретятся, а дальше придется двигаться тихо, тише теней. Нам нужно миновать грифона, не всполошив его. Если это удастся и все пройдет хорошо, мы остановимся примерно в четырехстах ярдах от замка. Ближе нам подойти нельзя из-за железа в наконечниках наших стрел, оттуда вы пойдете одни.

— Теперь, Кэй и Варт, я должен вам объяснить, в чем тут дело с железом. Если наши друзья действительно были захвачены, э-э-э, Добрым Людом и если Королева Моргана ле Фэй действительно его королева, тогда у нас имеется одно преимущество. Из Доброго Люда никто не способен вынести близость железа. Причина тут в том, что Древнейший Народ возник в пору, когда обходились одним только кремнем, еще до того, как было открыто железо, и все их невзгоды произошли от новейших металлов. Народ, завоевавший их, владел стальными мечами (что даже лучше железа),

потому-то ему и удалось загнать Древнейших под землю.

— Вот причина, по которой нам придется этой ночью держаться подальше, чтобы их не встревожить. Но вы двое, с небольшими ножами, спрятанными в кулаках, будете в безопасности, если только не позволите лезвию показаться наружу. Пара маленьких ножичков не потревожит их, пусть только лезвия будут скрыты. Все что вам нужно сделать, это пройти последнюю часть пути, держась покрепче за лезвия ножей, без помех проникнуть в замок и найти дорогу к темнице, в которой томятся пленники. Едва только пленники окажутся под защитой вашего металла, они смогут уйти с вами оттуда. Вы это поняли, Кэй и Варт?

— Да, конечно, — сказали они. — Мы это прекрасно поняли.

— И еще одно. Самое важное — это держаться за железо, а следующее по важности — ничего не есть. Всякому, кто что-нибудь съест в крепости сами знаете кого, придется остаться в ней навсегда, а потому ради всего святого ничего не ешьте внутри замка, как бы вам ни захотелось. Запомните?

— Запомним.

Покончив со штабным инструктажем, Робин отправился отдавать приказания своим людям. Он произнес перед ними длинную речь, все объяснив о грифоне, о необходимости скрытного передвижения и о том, что собираются сделать мальчики. Когда он закончил речь, выслушанную в полном молчании, произошло нечто странное. Он снова заговорил и произнес ту же самую речь слово в слово от начала и до конца. Закончив ее во второй раз, он сказал: «А теперь капитаны», и сотня мужчин разбилась на группы по двадцать человек. Они разошлись по разным концам поляны и обступили кружками Мэриан, Маленького Джона, Мача, Скарлетта и Робина. И из каждого кружка поднялось к небесам слитное гудение.

— Какого черта они там делают?

— Слушай, — ответил Варт.

Они повторяли речь, слово в слово.

Видимо, ни один из них не умел ни читать, ни писать, но слушать и запоминать они научились. Таким-то способом Робин и поддерживал связь во время ночных набегов, — зная, что каждый его человек выучил наизусть то, что известно их предводителю, — и потому-то он мог при необходимости дозволить каждому из своих людей действовать в одиночку.

После того как люди Робина повторили данные им наставления и ни один не запнулся, воспроизводя его речь, они получили боевые стрелы, по дюжине каждый. Наконечники у этих стрел были тяжелее обычного и заточены, словно бритвы, и оперенье эти стрелы имели крупное, прямоугольное. Затем был произведен осмотр луков, и на двух-трех пришлось сменить тетиву. Затем наступило молчание.

— Ну так вперед! — весело крикнул Робин.

Он взмахнул рукой, и его люди, улыбаясь, приветственно подняли луки. Затем вздох, шелест, треск неосторожного сучка, и поляна вокруг гигантской липы оказалась такой же пустой, какой была до появления в этих местах человека.

— Пошли со мной, — сказала Мэриан, положив мальчикам руки на плечи. Пчелы жужжали в листве у них за спиной.

Шли они долго. Рукотворные прогалины, крестом сходившиеся к липе, уже через полчаса сошли на нет. После этого пришлось пробиваться через девственный лес. Это было бы не так уж и трудно, если бы можно было действительно пробиваться, но предполагалось, что они должны двигаться бесшумно. Мэриан показала им, как пробираться бочком, там одним, тут другим, как

мгновенно останавливаться, когда тебя цепляет ежевика, и терпеливо выпутываться из нее, как осмотрительно ставить ногу и переносить на нее вес, уверясь, что под нее не попало никакого сучка, как с первого взгляда отличить место, пройти через которое будет легче всего, и как поддерживать что-то вроде ритма в движении, который поможет им, несмотря на все препятствия. И хотя по обе стороны от них около сотни мужчин двигались к той же цели, слышали они только себя.

Поначалу мальчики испытывали недовольство тем, что их отдали под начало женщине. Они предпочли бы идти с Робином и думали, что оказаться в подчинении у Мэриан — это все равно как быть отданными на попечение гувернантке. Вскоре они поняли, что ошиблись. Она возражала против их участия, но теперь, когда решение было принято, относилась к ним, как к сотоварищам. А быть у нее в сотоварищах оказалось делом нелегким. Прежде всего, они бы не угнались за ней, если бы она не останавливалась, чтобы их подождать. Она обладала способностью передвигаться на четвереньках или даже ползти, подобно змее, почти с тою же скоростью, с какой им удавалось передвигаться на ногах, а кроме того, она была искусным воином — в отличие от

них. Она была настоящей подругой разбойника, если не принимать во внимание длинных волос, которые большинство разбойничьих жен предпочитало в те времена стричь коротко. Одним из советов, данных ею перед тем, как закончились все разговоры, был такой: когда стреляешь в битве, целься вверх. Низкая стрела ударяется оземь, пущенная повыше, может убить кого-то во второй шеренге бойцов.

— Если придется жениться, — думал Варт, вообще-то сомневавшийся в этом, — женюсь на такой вот девушке, похожей на золотую лисицу.

Мальчики того не знали, но Мэриан умела ухать в кулак по-совиному и пронзительно свистеть, притиснув язык к зубам и сунув два пальца в рот; она могла приманить к себе какую угодно птицу, изобразив ее зов, и по большей части понимала их нехитрый язык, — она, например, понимала крики синиц, предупреждающие о приближении ястреба; она дважды попадала из лука в цель, в которую Робин попадал трижды, и умела пройтись колесом. Но в настоящий момент ни одно из этих умений не требовалось.

Быстро сгущались сумерки, — опускался один из первых осенних туманов, — и в смутном лесу перекликались друг с дружкой члены еще не

распавшейся семьи неясытей: «кивик», — пищала молодежь, а старики отвечали надлежащим: «хуруу, хуруу». Крики «ту-вит, ту-вуу», коих поэты ожидают от сов, являются на самом-то деле кличем, издаваемым совершенно определенным семейством птиц. Чем труднее становилось разглядеть ежевику и иные препятствия, тем вернее мальчики угадывали их. Странно, но Варт обнаружил, что по мере того, как лес умолкает, ему удается двигаться со все большим, а не меньшим беззвучием. Вынужденный полагаться на одни только осязание и слух, он обнаружил, что с их помощью ему управляться легче и что он способен передвигаться и быстро, и тихо.

Уже близко к вечерне, или, как мы бы сказали, в исходе девятого часа, — и они отшагали по трудному лесу не меньше семи миль, — когда Мэриан тронула Кэя за плечо и указала ему в синюю тьму. Они уже видели в темноте, насколько это доступно человеческим существам, и во всяком случае лучше, чем любой из нынешних горожан, и потому различили перед собой расколотый дуб, к которому лесные навыки Мэриан вывели их после семимильного марша по непролазной чащобе. Не сговариваясь, они мгновенно решили подобраться к нему так тихо, чтобы даже солдаты

их собственной армии, возможно, уже ожидавшие здесь, не узнали об их появлении.

Но человек неподвижный всегда в преимуществе перед движущимся человеком, и едва они добрались до крайних корней, как коснулись их плеч дружеские руки, легко, словно перышки, прихлопнув по спинам, и направили туда, где можно было присесть. Корни дуба оказались густо населены. Чувство было такое, что они попали в стаю скворцов или грачей, устроившихся на ночлег. В ночной таинственности сотня мужчин дышала вокруг Варта, и звук их дыхания походил на переливистый шелест нашей собственной крови, когда мы, бывает, читаем или пишем в одинокие, ночные часы. Темное, тихое чрево ночи поглотило их окончательно.

Вскоре Варт обнаружил, что кузнечики еще выводят свои трели, тонкие, почти за пределами слуха, похожие на скрип летучей мыши. Они поскрипывали один за другим. Поскрипывали они до тех пор, пока Мэриан не скрипнула троекратно, сотой, — за себя и за мальчиков. Разбойники были в сборе, наступило время двигаться дальше.

Послышался шорох, словно бы ветер шевельнул последние листья девятисотлетнего дуба.

Затем мягко ухнула сова, пискнула полевая мышь, гукнул кролик, лис тявкнул во тьме, гулко, словно кашлянул лев, и летучая мышь свистнула над их головами. Вновь зашелестела листва, теперь она шелестела подольше, можно было бы досчитать до ста, а затем девицу Мэриан, — это она подражала кролику, — обступил ее отряд, двадцать два человека. Варт ощутил, как мужчины по бокам от него взяли его за руки, они встали кругом и вновь заслышался стрекот кузнечиков. Стрекот шел по кругу, по направлению к Варту, и когда последний кузнечик потер одной ножкой о другую, мужчина справа от Варта сжал его руку. Варт стрекотнул. Сразу следом то же проделал мужчина слева и тоже сжал ему руку. Итак, двадцать два кузнечика из отряда девицы Мэриан были готовы к последнему скрытному переходу.

Кому-то этот переход мог бы показаться кошмаром, но Варт наслаждался им. Он упивался ночью, ощущая себя бестелесным, безмолвным, вездесущим. Он чувствовал, что может подойти к кормящей крольчихе и ухватить ее, пушистую, бьющуюся, за уши еще до того, как она почует его. Он чувствовал, что может проскочить между ног у идущих поодаль его мужчин или вытянуть у них из ножен сверкающие кинжалы, и они пой-

дут дальше, ничего не заметив. Восторг ночной сокровенности, словно вино, растворился в его крови. И впрямь, он был настолько мал и молод, что мог перемещаться с тою же неприметностью, что и воины. Возраст и вес придавали им грузности при всех их лесных уменьях, его же юность и легкость наделяли его подвижностью даже в отсутствие их мастерства.

Переход, хоть и опасный, оказался нетрудным. Заросли поредели, слишком звучный папоротник редко попадался на здешней болотистой почве, так что двигаться можно было в три раза быстрее. Они шли, как во сне, не нуждаясь в водительстве совиного уханья или писка летучей мыши, и некий необходимый ритм, сообщенный им спящим лесом, держал их вблизи друг от друга. Одни из них томились страхом, другие желали отомстить за товарищей, третьи как бы лишились тел и, крадучись, двигались, будто во сне.

Прошло примерно двадцать минут, когда девица Мэриан приостановилась и указала налево.

Из мальчиков ни один не читал книги сэра Джона де Мандевилля, и потому они не знали, что размерами грифон в восемь раз превосходит льва. Ныне, повернувшись налево и вглядевшись в безмолвный мрак ночи, они узрели очерченным

на фоне неба и звезд нечто такое, в возможность чего им никогда не удалось бы поверить. То был молодой, самец грифона в первом его оперении.

Спереди — по самые плечи и передние ноги — он походил на огромного сокола. Клюв, изогнутый как персидский клинок, длинные крылья, в коих длиннее всего были маховые перья, могучие когти — вылитый сокол, но, как и отмечено Мандевиллем, размером в восемь раз больше льва. За плечами начинались изменения. Там, где обычный сокол или, скажем, орел ограничивается двенадцатью перьями своего хвоста, этот Сокол Львовидный Змееобразный отрастил себе тулово и задние ноги африканского зверя, да вдобавок еще и змеиный хвост. В двадцати четырех футах над собой мальчики увидели в таинственном свете ночной луны неподдельного грифона, уронившего сонную голову на грудь, так что зловещий клюв зарылся в грудные перья, — и зрелище это было почище, чем вид сотни кондоров сразу. Стиснув зубы и стараясь не дышать, они поспешили неприметно убраться оттуда, упрятав величавое видение жути в кунсткамеру воспоминаний.

Они, наконец, приблизились к замку, пора было разбойникам остановиться. Их предводи-

тельница молча коснулась рук Кэя и Варта, и те пошли вперед через редеющий лес, к тлевшему за деревьями призрачному сиянию.

Они оказались на просторной вырубке или поляне и замерли, пораженные тем, что увидели. А увидели они замок, сооруженный из одной лишь еды и ни из чего иного, — только на самой высокой его башне сидела черная ворона и держала в клюве стрелу.

Древнейший Люд имел склонность к обжорству. Может быть, оттого, что ему вечно не хватало еды. Еще и в наши дни можно прочесть написанную одним из них поэму, известную как «Видение Мак Кон Глинна». В этом «Видении» имеется описание замка, построенного из разного рода снеди. Вот как это выглядит в переводе:

*И узрел я озеро свежего молока*
*Посреди прекрасной равнины.*
*И узрел островерхий дом,*
*Крытый масляной крышей.*
*Косяки все сплошь из дрочены,*
*И крыльцо из масла и простокваши,*
*И кровати из роскошного сала,*
*И щиты из жатого сыра.*

*А за теми щитами виднелись люди*
*Из мягкого сыра, сладкого, гладкого,*
*Не искавшие ранить Гаэла,*
*Каждый с пикой из старого масла.*
*Огромный котел, наполненный мясом*
*(Я был не прочь за него приняться),*
*С изжелта-белой вареной капустой,*
*А рядом сосуд, молоком налитый.*
*Дом из грудинки на множестве ребер*
*За плетнем из рубца, — коим кланы и живы, -*
*И всякой еды, человеку приятной,*
*Казалось мне, собрано здесь в изобилии.*
*Из одной лишь свиной требухи состояли*
*Дивные замковые стропила,*
*А балки замка и все колонны -*
*Из самой отборной свинины.*

В точности перед такой крепостью и стояли мальчики, испытывая изумление и тошноту. Она поднималась из молочного озера, сама по себе излучая таинственный свет — с маслянистым и жирным отливом. Таково было

волшебное обличье Замка Чэриот, посредством коего Древнейшие, — все же учуяв спрятанные ножи, — полагали ввести детишек в соблазн. Они полагали соблазнить их едой.

Пахло все это как бакалейная, мясная и рыбная лавки, скатанные в один ком заодно с сыроварней.

Впечатление было жуткое до невероятия, — нечто сладкое, липучее, пряное, — так что мальчики не испытывали ни малейшей потребности проглотить хотя бы кусочек. Соблазн они, впрочем, испытывали — удрать.

Нужно было, однако, спасать пленников.

Они с трудом перешли грязный подъемный мост, — из масла, в котором еще торчали клочья коровьей шкуры, — увязая в нем по лодыжки. Рубец с требухой заставил их содрогнуться. Они наставили ножи на солдат из мягкого, сладкого, гладкого сыра, и те отпрянули.

Наконец они набрели на внутренний покой, где лежала, раскинувшись на кровати из роскошного сала, сама Моргана ле Фэй.

То была толстая, безвкусно одетая женщина средних лет, черноволосая, с усиками над верхней губой, и плоть ее была человеческой плотью. Увидев ножи, она крепко закрыла глаза и словно

бы впала в транс. Возможно, когда она проживала вне этого чрезвычайно странного замка или когда она не пыталась такого рода магией возбудить чей-нибудь аппетит, ей удавалось принять вид покрасивее.

Пленники оказались привязанными к колоннам из самой отборной свинины.

— Мне очень жаль, если это железо причиняет вам боль, — сказал Кэй, — но мы пришли, чтобы спасти наших друзей.

Королева Моргана содрогнулась.

— Не прикажете ли вы вашим сырным солдатам их развязать?

Нет, не прикажет.

— Тут все дело в магии, — сказал Варт. — Как ты думаешь, не следует ли нам подойти и поцеловать ее или сделать еще что-нибудь столь же противное?

— Может, довольно будет коснуться ее железом?

— Ну, давай, попробуй.

— Нет, лучше ты.

— Пойдем вместе.

И они взялись за руки, чтобы приблизиться к Королеве. Королева начала извиваться в сале словно слизняк. Металл причинял ей страдания.

В конце концов, как раз перед тем, как они коснулись ее, что-то вдруг хлюпнуло, шамкнуло, заурчало, — и Замок Чэриот в его наколдованном эльфами волшебном обличьи мгновенно растаял, оставив пятерых человек и собаку стоять на лесной поляне, еще слегка попахивавшей непроцеженным молоком.

— Ах, лопни мои глаза! — вымолвил отче Тук. — Лопни мои глаза, и провались я на этом месте! Вот не сносить мне башки, коли я не думал, что всем нам каюк!

— Хозяин! — сказал Собачий Мальчик. Каваль утешался тем, что оглушительно лаял, хватал их за пятки, падал на спину, норовя вилять в этой позе хвостом, и вообще вел себя совершеннейшим идиотом. Старина Вот держался за вихор на лбу.

— Ну, а теперь, — сказал Кэй, — поскольку это все же мое приключение, — давайте-ка побыстрее домой.

## 12

Однако же Моргана ле Фэй, хоть и не могла в ее волшебном обличьи переносить близость железа, все еще оставалась хозяйкой грифона. И в миг, когда исчез ее замок, она с помощью чар спустила этого зверя с его золотой цепи.

Разбойники, довольные успехом, не проявили должной осторожности. Они решили окольным путем обогнуть то место, где видели цепное чудовище, и шагали по темному лесу, не помышляя о какой-либо опасности.

И вот послышался шум, похожий на свисток паровоза, а в ответ ему, — перекрывая его, — голосом феникса запел серебряный рог Робина Вуда.

— Тун, тон, тавон, тон-тавон, тан-тон-тавон, тон-тан-тон-тавон, — распевал рожок. — Мут, трут, тру-ру-рут, тру-ту-ру-рут. Трут, трут. Тран, тран, тран, тран.

Робин выдувал свою охотничью музыку, и захваченные врасплох лучники развернулись навстречу нападающему грифону. Одним движением они выставили вперед левые ноги и выпустили такую тучу стрел, что показалось, будто посыпался снег.

Варт увидел, как зверь на лету запнулся; здоровенная стрела торчала у него между лопаток. Собственная стрела мальчика ушла далеко в сторону, и он торопливо согнулся, чтобы достать из колчана другую. Он увидел, как шеренга его товарищей-лучников покачнулась, будто по условленному сигналу, — каждый из мужчин склонился за новой стрелой. Он услышал, как снова пропели луки, как зашуршали в воздухе оперенья. Он увидел, как проблеснула в лунном свете фаланга стрел. Всю свою жизнь де этой минуты он стрелял по соломенным мишеням, отвечавшим стреле «пфут!». Как часто он жаждал услышать звук, который издает это чистое и смертельное оружие, попадая в плотную плоть. Теперь он его услышал.

Но латы у грифона были толстые, словно у крокодила, и почти все стрелы, кроме наиболее точно нацеленных, соскальзывали с них. Грифон по-прежнему приближался, издавая пронзительный визг. Слева и справа начали падать люди, сметенные его хлещущим хвостом.

Варт никак не мог наложить стрелу на тетиву. Старшее перо не вставало как следует. Все вокруг внезапно замедлилось.

Он видел черную громаду тела, летевшую в

блеске луны. Он почувствовал, как коготь вцепился ему в грудь. Он почувствовал, что медленно переворачивается в воздухе, придавленный сверху жестокой тяжестью. Где-то в кружащейся карусели пространства мелькнуло лицо Кэя, горящее волнением в свете звезд, а по другую сторону колеса пролетело с открытым ртом лицо кричащей девицы Мэриан. И перед тем как соскользнуть во мрак, он подумал, что этот крик обращен к нему.

Они извлекли его из-под мертвого грифона, в глазу которого обнаружили застрявшую стрелу Кэя. Грифон умер в броске.

Затем какое-то время Варту было очень больно, — пока Робин вправлял ключицу и накладывал повязку из зеленой ткани, отрезав ее от своего капюшона, — а после этого вся команда полегла спать прямо у туши грифона, ибо устали все, как собаки. Слишком поздно было, чтоб возвращаться в замок сэра Эктора или даже в разбойничий лагерь под огромным деревом. С опасностями похода было покончено, и все, что оставалось сделать этой ночью, — это разжечь костры, выставить часовых и завалиться спать кто где стоит.

Впрочем, Варт почти и не спал. Он сидел,

прислонясь спиной к дереву, наблюдая, как в неровном свете костра прохаживаются взад-вперед красные часовые, прислушиваясь к тихому обмену паролями и размышляя о волнующих событиях дня. События кружились и кружились у него в голове, иногда теряя должный порядок и воспроизводясь задом наперед или кусками. Он видел последний бросок чудовища, слышал крик Мэриан: «Хороший выстрел!», прислушивался к гудению пчел, мешавшемуся со стрекотом кузнечиков, и стрелял, стрелял, сотни и тысячи раз в деревянных попугаев, обращавшихся в грифонов. Кэй и спасенный Собачий Мальчишка спали, подрагивая, с ним рядом и казались непостижимыми и чужими, как часто бывает со спящими людьми, а Каваль, лежавший у здорового плеча, время от времени облизывал его горячие щеки. Заря занималась медленно, так медленно и с такими задержками, что невозможно было определить, когда же в действительности рассвело, — дело обычное в летние месяцы.

— Ну что же, — сказал Робин, когда все проснулись и позавтракали прихваченными с собой холодной олениной и хлебом, — как ни жаль, а пора нам расстаться, Кэй. А то еще сэр Эктор пойдет на меня походом, чтобы выручить вас.

Спасибо за помощь. Могу я чем-нибудь одарить вас в знак благодарности?

— Все было чудесно, — ответил Кэй. — Просто чудесно. Можно мне взять грифона, которого я подстрелил?

— Он слишком тяжел, чтобы его тащить. Почему бы тебе не взять его голову?

— С удовольствием, — сказал Кэй, — если только кто-нибудь согласится ее отрезать. Это был мой грифон.

— А как ты собираешься поступить со старым Вотом? — спросил Варт.

— Зависит от того, чего ему хочется. Может быть, ему по нраву жить в одиночку и питаться желудями, как он уже и привык, а может быть, он пожелает присоединиться к нашей шайке, мы будем рады его принять. Как-никак из вашей деревни он убежал, и я не думаю, чтобы ему захотелось в нее возвращаться. А ты что об этом думаешь?

— Если ты собираешься сделать мне подарок, — медленно сказал Варт, — я предпочел бы получить Вота. Тебе это не покажется неправильным?

— Вообще-то, — сказал Робин — покажется. По-моему, не следует преподносить в подарок людей,

им это может не понравиться. Во всяком случае, так полагаем мы, саксы. Да и что ты намерен с ним сделать?

— Я вовсе не хочу держать его под замком или как-то еще ограничивать. Понимаешь, у нас есть наставник, и он чародей, вот я и подумал, что, может, ему удастся вернуть Воту рассудок.

— Милый мальчик, — сказал Робин. — Конечно, бери его. Прости меня за ошибку. По крайности, мы можем спросить у него, захочет ли он уйти с тобой.

После того как кто-то отправился на поиски Вота, Робин сказал:

— Ты лучше сам с ним поговори.

Привели бедного старика, ухмыляющегося, сконфуженного, уродливого и страшно грязного — и поставили его перед Робином.

— Ну, давай, — сказал Робин.

Варт толком не представлял, как ему все изложить, однако сказал:

— Послушай, Вот, ты не хотел бы пойти со мною домой, совсем ненадолго, пожалуйста?

— АнаНанаВарраБааВаа, — ответил Вот, дергая себя за вихор, ухмыляясь, кланяясь и плавно помавая руками во всех направлениях.

— Пойдешь со мной?

— ВанаНанаВанавана.

— Обед? — в отчаянии спросил Варт.

— Р! — утвердительно крикнул несчастный, и глаза его засветились в радостном предвкушении еды.

— Туда, — сказал Варт, указывая в ту сторону, где, судя по солнцу, находился замок его попечителя. — Обед. Пойдем. Я беру.

— Хозяин, — сказал Вот, вдруг вспомнив единственное слово, — слово, с которым он привык обращаться к большим людям, дарившим его пропитанием, к единственному его источнику существования.

— Что ж, — сказал Робин, — хорошее получилось приключение, жаль, что вы уходите. Надеюсь, мы с вами еще увидимся.

— Приходите в любое время, — сказала Мэриан, — как только соскучитесь. Все что вам нужно, — это идти по прогалинам. А ты, Варт, несколько дней побереги ключицу.

— Я пошлю людей проводить вас до края ловчего поля, — сказал Робин. — А там уж вам придется идти самим. Надеюсь, Собачий Мальчик сможет дотащить голову грифона.

— До свиданья, — сказал Кэй. — До свиданья, — сказал Робин.

— До свиданья, — сказал Варт.

— До свиданья, — сказала Мэриан, улыбаясь.

— До свиданья, — вскричали разбойники разом и взмахнули луками.

И Кэй, Варт, Собачий Мальчик, Вот и Каваль вместе с их эскортом тронулись в долгий дуть домой.

Прием их ожидал сногсшибательный. Когда предыдущим днем собаки воротились без Каваля и Собачьего Мальчика, а ввечеру ни Кэй, ни Варт не вернулись домой, замок охватило смятение. С няней приключился припадок, Хоб до полуночи прорыскал в окрестностях леса, повара сожгли предназначенную для обеда ногу, а каптенармус все доспехи начистил дважды и все мечи и все пики заострил, словно бритвы, на случай набега. В конце концов кому-то пришло в голову порасспросить Мерлина, который как раз пристроился вздремнуть по третьему разу. Волшебник — ради тишины и спокойствия, потребных для его отдыха, — прибегнул к своей проницательности и в точности рассказал сэру Эктору, чем заняты мальчики, где они находятся и когда следует ждать их обратно. Он предсказал их возвращение с точностью до минуты.

А потому, когда небольшая процессия воз-

вращавшихся из похода воинов завиднелась с подъемного моста, встречать их высыпало все население замка. В середине толпы стоял сэр Эктор, имея при себе толстую трость, каковой он предполагал отдубасить их за то, что они пересекли границу владения и причинили столько хлопот; тут же была и няня, по настоянию которой на мост вынесли флаг, поднимавшийся, когда сэр Эктор мальчиком возвращался домой на каникулы, на флаге значилось «Добро Пожаловать Домой»; немного сбоку стоял бросивший своих любимых соколов Хоб и прикрывал щитком ладони орлиные очи, желая все разглядеть первым; повара и вся кухонная обслуга лупили в кастрюли и сковородки, распевая «Ах, когда же опять он воротится вспять?» или что-то подобное, совершенно без всякого лада; громко мяукал кухонный кот; собаки, удравшие с псарни, потому что доглядеть за ними было некому, приготовлялись задрать кухонного кота; сержант на радостях так напыжился, что, похоже, мог в любую минуту взорваться, он, разумеется, начальственным тоном распорядился, чтобы все кричали «ура», как только он скажет: «Раз, два!».

— Раз, два! — крикнул сержант.

— Ура-а! — послушно закричали все прочие,

включая и сэра Эктора.

— Глядите, что я добыл, — прокричал Кэй. — Я подстрелил грифона, а Варта ранило.

— Гав-гав-гав! — залаяли разом собаки и хлынули к Собачьему Мальчику, облизывая его лицо, царапая грудь, обнюхивая его сверху донизу, чтобы выяснить, что с ним случилось, и с надеждой поглядывая на голову грифона, которую Собачий Мальчик поднял повыше, чтобы они ее не сожрали.

— Господи, благослови мою душу! — воскликнул сэр Эктор.

— Увы, мой бедный воробушек, — запричитала няня, роняя флаг. — Господи-Боже, да у него вся рука примотана к грудке каким-то зеленым тряпьем!

— Подумаешь, — сказал Варт. — Ой, только не трогай меня. Больно.

— Можно я из него чучело набью? — спросил Кэй.

— Ну, будь я проклят, — сказал Хоб. — Да никак этот старикан — наш Вот, тот, что спятил, а после сбежал.

— Мои дорогие, дорогие мальчики, — сказал сэр Эктор. — До чего же я рад, что вы возвратились.

— Ах ты старый ты олух, — торжествующе вос-

кликнула няня. — А где, интересно узнать, твоя большая дубина?

— Гм! — произнес сэр Эктор. — Как вы посмели оставить замок и причинить нам столько тревог?

— Это настоящий грифон, — сказал Кэй, понимавший, что бояться решительно нечего. — Я их дюжинами сшибал. У Варта ключица сломана. А Вота с Собачьим Мальчиком мы спасли.

— Вот что значит внушить молодежи правильные представления о стрельбе, — гордо сказал сержант.

Сэр Эктор расцеловал мальчиков и приказал представить ему грифона.

— Да-а! — воскликнул он. — Вот так чудище! Мы повесим его чучело в трапезной. Какие, говоришь, у него мерки?

— Восемьдесят два дюйма от уха до уха. Робин сказал, что это может оказаться рекордом.

— Надо позаботиться, чтобы его занесли в хроники.

— А недурной подвернулся, верно? — заметил Кэй с хорошо отрепетированным хладнокровием.

— Я отдам его в набивку сэру Роланду Уорду, — *;* в полном восторге продолжал сэр Эктор, — и

велю приделать к нему пластинку слоновой кости с надписью готическим шрифтом «ПЕРВЫЙ ГРИФОН КЭЯ» — и с датой.

— Да перестань ты, наконец, ребячиться, — прикрикнула няня. — А ну-ка, мастер Арт, ягненочек мой, немедленно марш в постель. А ты, сэр Эктор, не стыдно тебе забавляться, как полоумному, с головой этого чудища, когда бедный ребенок стоит на пороге смерти. Сержант, хватит пыжиться. Давай-ка, поворачивайся, бери лошадь да скачи в Кардал за хирургом.

Она замахнулась на сержанта передником, и сержант съежился и прыснул в сторону, словно шуганутый куренок.

— Ну говорю же тебе, все в порядке, — сказал Варт. — Подумаешь, ключицу сломал, — Робин ее прошлой ночью вправил. Она ни чуточки не болит.

— Отцепитесь от мальчика, няня, — приказал сэр Эктор, принимая сторону мужчин против женщин и желая восстановить свое верховенство, подорванное упоминанием о дубинке. — Нужно будет, Мерлин его посмотрит. А кто такой Робин?

— Робин Вуд, — вместе воскликнули мальчики.

— Никогда о таком не слышал.

— Ты называешь его Робин Гудом, — тоном превосходства пояснил Кэй, — а на самом деле он Вуд, лесной дух.

— Так-так-так, вы, значит, разбойничали вместе с этим прохвостом! Пойдемте-ка, мальчики, завтракать, там вы мне про него и расскажете.

— Мы уже позавтракали, — сказал Варт, — несколько часов назад. Можно я лучше возьму Вота и повидаюсь с Мерлином?

— Слушай, так это же тот старик, который свихнулся и потом скрылся в лесу. Его-то вы где подцепили?

— Добрый Люд захватил его вместе с Собачьим Мальчиком и Кавалем.

— Но мы подстрелили грифона, — вмешался Кэй. — Я сам его подстрелил.

— Вот я и хочу посмотреть, не сможет ли Мерлин вернуть ему разум.

— Мастер Арт, — твердо сказала няня. После отповеди сэра Эктора и до самой этой минуты она оставалась бессловесной. — Мастер Арт, ты сию же минуту пойдешь в свою комнату и ляжешь в постель. Может быть я и старая дура, это уж вам виднее, но я полсотни лет прослужила в Семье и как-нибудь знаю свой долг. Уж я-то не стану точить здесь со всякими остолопами лясы, когда

твоя рука того и гляди отвалится!

— Да, а ты, старый индюк, — добавила она, свирепо повернувшись к сэру Эктору, — смотри, пока бедный малютка не отдохнет, держи своего фокусника подальше от его комнаты, может, хоть на это сгодишься!

— Повесничать с чудищами и придурками, — продолжала победительница, уводя своего беспомощного пленника с поля брани. — Сроду о таком не слыхала!

— Пожалуйста, кто-нибудь, скажите Мерлину, пусть займется Вотом, — крикнула через плечо несчастная жертва, и голос ее затих в отдалении.

Варт проснулся в прохладной постели, чувствуя себя гораздо лучше. Старая фурия, что ухаживала за ним, плотно занавесила окна, поэтому в комнате было темно и уютно, но по золотому солнечному лучу, пересекавшему пол, он мог сказать, что время уже перевалило за полдень. Он не просто чувствовал себя лучше. Он чувствовал себя очень хорошо, до того хорошо, что оставаться в постели не было никакой возможности. Резким движением он отбросил покрывало, но тут же зашипел, потому что в плече, о котором он во сне позабыл, что-то крякнуло и заскрипело. Тогда он с большей осторожностью соскользнул с

постели и, опершись на одну руку, встал, сунул в шлепанцы босые ступни, и кое-как завернулся в ночную рубаху. Шлепая туфлями, он отправился по каменным переходам к обветшалой винтовой лестнице, — ему нужен был Мерлин.

Добравшись до классной, он обнаружил, что Кэй продолжает получать положенное им Первостатейное Образование. Видимо, Кэй писал диктант, ибо открывая дверь, Варт слышал, как Мерлин размеренным тоном выговаривает старинное правило средневековой мнемоники: «Barbara Celarent Darii Ferioque Prioris», а Кэй просит его:

— Погоди немного. У меня перо вкось пошло.

— Гляньте-ка на него, — сказал Кэй, когда они его увидели. — Ты же должен лежать в постели и помирать от гангрены или еще от чего.

— Вот и я, Мерлин, — сказал Варт. — А где Вот?

— Хорошо бы тебе постараться избегать аллитераций в обыденной речи, — ответил колдун. — Вот например, фраза: «Дорогой, дорога до города дороговата, — неудачна даже в качестве аллитеративной. И затем, сентенция твоя двусмысленна, чтобы не сказать о ней хуже. Я мог бы принять ее за загадку и ответить: „А вот где!“ или, если бы я был Король Пеллинор: „Что-что-что,

вот?“ Когда дело касается навыков разговорной речи, никакая осмотрительность не бывает излишней.

Видимо, Кэй хорошо справлялся с диктантом, и старый джентльмен пребывал в приятном расположении духа.

— Ну, ты же знаешь, что я имею в виду, — сказал Варт. — Что ты сделал с безносым стариком?

— Он его вылечил, — сказал Кэй.

— Что ж, — сказал Мерлин, — можно назвать это так, а можно и по-другому. Разумеется, когда проживешь столько лет, сколько прожил я в этом мире, да еще и задом наперед, худо-бедно, а начинаешь разбираться в болезнях. Боюсь, впрочем, что для нынешнего поколения чудеса аналитической психологии и пластической хирургии — не что иное, как закрытая книга.

— Так что ты с ним сделал?

— О, всего лишь провел сеанс психоанализа, — величественно ответил волшебник. — Да, и кроме того, пришил им обоим новые носы.

— Какие еще носы? — удивился Варт.

— Вот уж это умора полная, — сказал Кэй. — Сначала он хотел пришить одному из них нос грифона, но я его не отдал. Тогда он взял носы от поросят, — у нас сегодня поросята на ужин, — и

использовал их. Я лично думаю, что они того и гляди захрюкают.

— Операция деликатная, — сказал Мерлин, — но увенчалась успехом.

— Ну что же, — с сомнением сказал Варт, — я надеюсь, что все обойдется. А чем они потом занялись?

— Пошли на псарню. Старый Вот очень сожалел о том, что сделал с Собачьим Мальчишкой, но говорит, что не помнит, как он это сделал. Говорит, что, когда в него полетели камни, все вдруг почернело, и дальше он ничего вспомнить не может. Собачий Мальчик его простил и сказал, что ему теперь все едино. В будущем они намерены вместе работать на псарне и о прошлом больше не думать. Мальчик говорит, что старик был добр к нему, когда они томились в плену у Королевы Эльфов, и как он теперь понимает, первым делом не надо было ему самому кидаться камнями. Он говорит, что часто думал об этом, когда другие мальчишки кидались камнями в него.

— Ладно, — сказал Варт. — Я рад, что все обернулось к лучшему. Как ты думаешь, можно мне их сейчас навестить?

— Ради всего святого, — воскликнул Мерлин, — не делай ты ничего, что разозлит твою няньку.

Старуха треснула меня шваброй, когда я сегодня перед полуднем зашел повидаться с тобой, и сломала мои очки. Не мог бы ты подождать до завтра?

Назавтра Вот и Собачий Мальчик были уже лучшими друзьями. Общие переживания, — камни, летящие из толпы, и колонны из свинины, к которым их привязала Моргана ле Фэй, — соединили их и дали им пищу для воспоминаний, которыми они и делились всю остальную жизнь, лежа по ночам среди собак. К тому же поутру оба отодрали носы, коими Мерлин столь великодушно их наделил. Они объяснили это тем, что теперь им привычнее без носов, да и вообще они предпочитают жить с собаками.

## 13

Как ни сетовал бедный калека, а три смертельно скучных дня ему пришлось провести в своей комнате. Все эти дни он сидел один, разве что Кэй приходил, чтобы завалиться спать, и Мерлину приходилось давать ему образование сквозь замочную скважину — да и то лишь в то время, когда про няню было точно известно, что она занята стиркой.

Единственным развлечением, оставшимся мальчику, были муравьиные гнезда, — те, что помещались между стеклянными пластинками, — он принес их с собой, когда впервые привел в замок Мерлина из его лесного домишки.

— А ты не можешь, — жалостно ныл он под дверью, — во что-нибудь превратить меня, пока я здесь заперт?

— Я не могу выкрикивать заклинания через замочную скважину.

— Через что?

— ЗА-МОЧ-НУЮ-СКВА-ЖИ-НУ!

— А!

— Ты тут?

— Да.

— Что?

— Что?

— Одна только путаница от этого крика! — воскликнул Мерлин и принялся топтать свою шляпу. — Чтобы Кастор и Поллукс… нет, хватит. Да снидет Божия благодать на мое кровяное давление…

— А в муравья ты не мог бы меня превратить?

— Во что?

— В МУ-РА-ВЬЯ! Для муравьев ведь большого заклинания не нужно? Оно бы в скважину пролезло.

— Не думаю, что это разумно.

— Почему?

— Они опасны.

— Ты мог бы приглядывать за мной с помощью твоей проницательности и превратить обратно, если дела обернутся худо. Пожалуйста, преврати меня хоть во что-нибудь, а то я тут помешаюсь.

— Милый мальчик, это не наши норманнские муравьи, эти родом с берегов Африки. Они агрессивны.

— Я не знаю, что такое «агрессивны».

За дверью наступило длительное молчание.

— Ладно, — в конце концов сказал Мерлин. — Это знание для тебя преждевременно. Хотя рано

или поздно и его придется приобрести. Погоди-ка. В этой штуковине два гнезда, правильно?

— Здесь две пары пластинок.

— Возьми с полу тростнику и положи ее между двумя гнездами — на манер моста. Сделал?

— Да.

Местность, в которую он попал, походила на обширное поле, усеянное валунами, на одном из концов его виднелась сплющенная — между пластинами стекла — цитадель. Попасть в нее можно было через туннели, пробитые в камне, и над каждым из входов красовалось уведомление:

*ВСЕ, ЧТО НЕ ЗАПРЕЩЕНО — ОБЯЗАТЕЛЬНО*

Уведомление ему не понравилось, хоть и осталось непонятным. Про себя он подумал: надо бы немного осмотреться, прежде чем лезть вовнутрь. По непонятной причине, эти надписи поубавили в нем охоты проникнуть в крепость, они придавали грубым туннелям какой-то зловредный вид.

Размышляя о надписях, он осторожно пошевелил похожими на антенны сяжками, привыкая к новым ощущениям, и покрепче уперся ступнями в землю, как бы желая утвердиться в новом для него мире насекомых. Передними ножками он почистил сяжки, подергал за них, пригладил, — вид у него был при этом совершенно как

у викторианского негодяя, подкручивающего усы. Затем он зевнул, — ибо и муравьи тоже зевают, — и потянулся, совсем как человек. И сразу за этим осознал нечто, ожидавшее осознания, — а именно, что в голове у него слышен какой-то шум, причем явно членораздельный. Шум ли то был или некий сложный запах, он никак не мог разобрать, — проще всего описать это явление, сказав, что оно походило на передачу по радио. Поступала передача через сяжки.

Музыка, размеренная, словно пульс, а с нею слова — что-то вроде «Ложка-ножка-мошка-крошка» или «Мамми-мамми-мамми-мамми», или «Ты-мечты-цветы». Поначалу ему эти песни нравились, особенно про «Вновь-кровь-любовь», — пока он не обнаружил, что они не меняются. Едва закончившись, они начинались сызнова. Через час-другой его уже тошнило от них.

Кроме того, в голове у него раздавался голос — в паузах между музыкой — и по всей видимости отдавал некие приказания. «Всех двудневок перевести в западный проход», — говорил он, или: «Номеру 210397/WD заступить в суповую команду взамен выпавшего из гнезда 333105/WD». Голос был роскошный, но какой-то безликий, — словно его очарование явилось результатом старатель-

ных упражнений, своего рода цирковым трюком. Мертвый был голос.

Мальчик, или, быть может, нам следовало бы сказать муравей, пошел прочь от крепости, едва лишь ощутил в себе способность передвигаться. Он начал исследовать каменистую пустошь, однако чувствовал себя при этом неважно, — идти в то место, откуда исходили приказы ему не хотелось, но и этот тесноватый пейзаж наводил на него тоску. Он обнаружил среди валунов неприметные тропки, извилистые, казавшиеся бесцельными, и вместе с тем, целенаправленные, ведшие к зернохранилищу, но также и куда-то еще, — а куда, он не разобрался. По одной из них он добрел до глыбы земли, под которой располагалась естественная котловина. В котловине, — опять-таки обладавшей странным выражением бессмысленной осмысленности — он обнаружил пару дохлых муравьев. Они лежали рядышком, но неряшливо, как будто некто весьма старательный притащил их сюда, по дороге забыв — зачем. По их скрюченным тельцам нельзя было угадать, рады они были умереть, или нет. они просто лежали, как два опрокинутых стула.

Пока он разглядывал трупы, по тропинке спустился живой муравей, тащивший третьего

покойника.

— Хай, Барбарус! — сказал он. Варт воспитанно ответил:

— Хай.

В одном отношении, хоть он и не подозревал об этом, ему повезло. Мерлин не забыл снабдить его нужным для гнезда запахом, — ибо, пахни от него каким-то иным гнездом, муравьи убили б его на месте. Если бы мисс Эдит Кавелл была муравьем, на памятнике ей было б написано: «ЗАПАХ ЕЩЕ НЕ ВСЕ».

Муравей кое-как свалил принесенный труп и принялся растаскивать двух других в разные стороны. Казалось, он не знает, куда их пристроить. Или вернее, он знал, что лежать они должны в определенном порядке, но не мог сообразить, как этого порядка добиться. Он походил на человека с чашкой чая в одной руке и бутербродом в другой, которому захотелось чиркнуть спичкой и закурить сигарету. Однако если бы человек додумался поставить чашку и положить бутерброд, — прежде чем хвататься за сигарету и спички, — этот муравей положил бы бутерброд и взял спички, потом бросил бы спички и схватился за сигареты, потом положил бы сигарету и взял бутерброд, поставил бы чашку, взял сигарету и наконец

оставил бы бутерброд в покое и взял спички. Он, видимо, склонен был полагаться для достижения цели на случайную последовательность действий. Терпения ему хватало, а вот думать он не умел. Если перетаскивать три трупа с места на место, их удается со временем уложить под глыбой в одну линию, что и составляло его обязанность.

Варт наблюдал за его суетой с удивлением, обратившимся в раздражение, а затем в неприязнь. Он испытывал желание спросить муравья, не лучше ли загодя обдумать то, что намереваешься делать, — досадливое желание человека, наблюдающего за худо исполняемой работой. Потом у него возникла потребность задать и еще кой-какие вопросы, к примеру: «Тебе нравится быть могильщиком?» или «Ты раб?», или даже «Ты счастлив?».

Самое-то удивительное было то, что задать эти вопросы он не мог. Для этого пришлось бы переложить их на муравьиный язык и передать через антенны, — между тем, он с беспомощным чувством обнаружил вдруг, что нужных ему слов попросту не существует. Не было слов ни для счастья, ни для свободы, не было слова «нравиться», как не было их и для противоположных понятий. Он ощутил себя немым, пытающим-

ся крикнуть: «Пожар!». Наиболее близкими по смыслу словами, какие ему удалось подобрать даже для «правильный» и «неправильный» были «дельный» и «бездельный».

Отвозившись с трупами и оставив их лежать в беспорядке, муравей снова поворотил на тропу. У себя на пути он обнаружил Варта, а потому затормозил и взмахнул, словно танк, выносными антеннами. Впрочем, он, волосатый, с безгласым и грозным шлемом вместо лица и с чем-то вроде шипов на члениках передних ног, походил скорее на рыцаря в латах верхом на укрытом бронею коне, — или даже на их комбинацию, на косматого кентавра в доспехах.

Он снова сказал:

— Хай, Барбарус!

— Хай!

— Что ты делаешь? Мальчик правдиво ответил:

— Ничего не делаю.

Несколько секунд муравей пребывал в ошеломлении, в каком пребывал бы и ты, если б Эйнштейн поделился с тобой своими последними соображениями касательно Вселенной. Затем он расправил все двенадцать колен антенны и, не обращая внимания на Варта, заговорил прямо в

небо. Он сказал:

— Квадрат пять, докладывает 105978/UDC, В квадрате пять сумасшедший муравей. Прием.

Слово «сумасшедший» он заменил словом «бездельный». Впоследствии Варт обнаружил, что в этом языке имеется лишь две характеристики: «дельный» и «бездельный», — применяемые в любых ценностных суждениях. Если сборщики обнаруживали сладкие семена, — эти семена были «дельными», если же кто-то уже успел обработать их сулемой, они становились «бездельными» семенами, и этим вопрос исчерпывался. Даже передаваемые по радио «крошки», «цветы», «мамми-мамми» и прочее полностью описывались утверждением относительно дельности оных.

Вещание на миг прервалось, и роскошный голос произнес:

— Штаб-квартира отвечает на вызов 105978/UDC. Какой у него номер? Прием.

Муравей спросил:

— Какой у тебя номер?

— Не знаю.

После того как эта новость дошла до штаб-квартиры, из нее поступило указание спросить, может ли он объяснить причину своего отсутствия на

службе. Муравей спросил — теми же словами и тем же голосом, что и радио. Варту стало не по себе, и к тому же он обозлился, — оба ощущения были ему неприятны.

— Могу, — ответил он саркастически, поскольку ясно было, что воспринять сарказм это существо неспособно. — Я упал, ударился головой и ничего больше не помню.

— Докладывает 105978/UDC. У бездельного провал в памяти по причине выпадения из гнезда. Прием.

— Штаб-квартира отвечает 105978/UDC. Номер бездельного муравья 42436/WD, выпал из гнезда этим утром, во время работы в кисельной команде.

Если он достаточно компетентен для исполнения своего долга…

— А вот это — «достаточно компетентен для исполнения своего долга» — на муравьином языке произносится без затруднений, ибо сводится к слову «дельный». Но довольно лингвистики.

— …если он достаточно компетентен для исполнения своего долга, проинструктируйте 42436/WD присоединиться к кисельной команде, освободив присланного на его место 210021/WD. Конец передачи.

Муравей повторил сообщение.

Оказалось, что лучшего объяснения, чем выдуманное им — насчет ушиба головы — выдумать было невозможно, даже если бы захотелось, ибо эти муравьи время от времени спотыкались и падали. Они принадлежали к виду «Messor barbarus», что означает по-латыни «жнец иноземный».

— Ладно.

Могильщик, не уделяя ему больше никакого внимания, пополз по тропе за новым трупом или за чем-то еще, что следовало отволочь на помойку.

Варт двинулся в другом направлении — на соединение с кисельной командой. Он запомнил свой номер и номер рядового, которого ему предстояло сменить.

Служащие кисельной команды стояли в одном из внешних помещений крепости кружком, словно идолопоклонники. Варт встал в круг, объявив, что 210021/WD должен вернуться в главное гнездо. Вслед за этим он, как и остальные, принялся наполнять себя сладким киселем. Они производили его, скребя собранные другими зерна, пережевывая что наскребли, пока не получалось нечто среднее между пастой и супом, после чего

кисель заглатывался и попадал им в утробы. Поначалу кисель показался ему очень вкусным, так что ел он с жадностью, но через несколько секунд стал испытывать неудовлетворенность. Он никак не мог понять, в чем тут дело. Он старательно жевал и заглатывал, подражая остальным членам команды, однако все это походило на пиршество без яств или же на обед в спектакле. Было тут нечто от дурного сна, в котором поглощаешь в огромных количествах шпаклевку и никак не можешь остановиться.

Зерна лежали штабелем, и вокруг него все время суетились муравьи. Те, кто до краев набивал утробы, уходили вовнутрь крепости, заменяемые процессией пустых муравьев, шествующих оттуда. Новых муравьев в этой процессии не было, одна и та же дюжина сновала туда и сюда, и этим же самым им предстояло заниматься до скончания жизни.

Внезапно Варт осознал, что съедаемое не попадает к нему в желудок. В самом начале туда проникла малая часть, теперь же основная масса жвачки скоплялась в подобии верхнего желудка или зоба, откуда ее можно было легко изъять. А едва он присоединился к уходящему на запад потоку муравьев, до него дошло, что предстоит

отрыгнуть запасенное на каком-нибудь продуктовом складе.

Работая, члены кисельной команды беседовали друг с другом. Сначала это показалось ему хорошим знаком, и он прислушивался, чтобы побольше узнать.

— О Великий Ковчег! — говорил один. — Снова в ушах это «Мамми-мамми-мамми-мамми». По-моему, «Мамми-мамми-мамми-мамми» очень милая (дельная) песенка. Она такая первоклассная (дельная).

Другой замечал:

— По-моему, наша любимая Водительница просто чудесна, а по-твоему как? Мне сообщали, что в последней войне ее ужалили три сотни врагов, и она получила за это Крест Муравьиной Отваги.

— Какое счастье, что мы родились в гнезде «А», правда? А то бы мучились в этом ужасном «В».

— А ты слышал про 310099/WD, ужас, правда? Конечно его сразу казнили, по особому распоряжению нашей любимой Водительницы.

— О Великий Ковчег! Снова в ушах эта «Мамми-мамми-мамми-мамми». По-моему…

Варт набил утробу и потащился к гнезду, оставив их в начале нового круга. У них не было ни новостей, ни скандалов, ничего такого, о чем

можно было бы поболтать. Никакой новизны для них не существовало. Даже разговоры о казнях укладывались в формулу, изменялся лишь регистрационный номер преступника. Покончив с «мамми-мамми-мамми-мам-ми», они были вынуждены переходить к любимой Водительнице, а от нее — к презренным Барбарусам «В» и к последним казням. Причем, даже все любимое, чудесное и счастливое было «дельным», а все ужасное «бездельным».

Мальчик оказался в крепостной зале, где сотни и сотни муравьев вылизывали и кормили малюток, борясь с перепадами температуры, растаскивали личинок по разным переходам, открывали и закрывали вентиляционные проходы. В середине залы восседала довольная Водительница, откладывая яйца, прислушиваясь к сообщениям по радио, испуская распоряжения или отдавая приказы о казнях, купаясь в море обожания. (Впоследствии он узнал от Мерлина, что у разных муравьев Водительницы вступают в должность по-разному. К примеру, у вида Bothriomyrmex честолюбивая основоположница Нового Порядка вторгается в гнездо вида Tapinoma и запрыгивает прежней тиранше на спину. После чего, укрытая запахом хозяйки, гостья без спешки отпиливает

ей голову, пока не приобретет таким способом безусловных прав на руководящее положение.)

В конце концов он так и не донес свой кисель до склада. Всякий, кому припадала охота поесть, останавливал его, заставлял открыть рот и кормился оттуда. Они не обращались с ним как с отдельной личностью да, в сущности, и сами личностями не обладали. Он был бессловесным лакеем, обслуживавшим бессловесных клиентов. Даже его желудок ему не принадлежал.

Однако нам не стоит входить в дальнейшие подробности относительно муравьев — это неприятная тема. Довольно сказать, что мальчик продолжал жить среди них, подлаживаясь к их обычаям, наблюдая их и пытаясь как можно больше понять, но не имея возможности задавать вопросы. Причина была не только в том, что язык их не обзавелся словами для обсуждения тем, интересующих человека, и потому было *невозможно* спросить у них, верят ли они в Жизнь, в Свободу, в Стремление к Счастью, — но также и в том, что спрашивать что-либо было просто опасно. Любой вопрос представлялся им признаком сумасшествия. В их жизни вопросы отсутствовали: имелись только приказы. Варт ползал от гнезда к зернам и обратно, восклицая, что песня

про «мамми» очень милая, распахивая рот, чтобы срыгнуть, и пытаясь понять, что удастся.

Ближе к вечеру на камышовый мост, построенный им по указанию Мерлина, забрел муравей-разведчик. Принадлежал он к тому же самому виду, но происходил из другого гнезда. Его повстречал один из мусорщиков и тут же убил.

После доклада об этой новости радиовещание изменилось, а вернее сказать, оно изменилось, едва лишь шпионы установили, что в гнезде Иных имеются запасы зерна.

Вместо «Мамми-мамми-мамми» начали передавать «Муравия, Муравия превыше всего», а поток распоряжений стал перемежаться беседами о войне, патриотизме и экономическом положении. Роскошный голос поведал, что их обожаемое отечество окружено ордами презренных Иногнездян, — и в ответ эфирные хоры запели:

Коль кровь Иного капает с клинка
Прекрасна жизнь и радость велика.

Было также разъяснено, что Отец всех Муравьев в мудрости своей заповедал, дабы Иногнездяне были вовек в рабстве у Наших гнездян. В настоящее время у обожаемого отечества имеется только одна кормушка — возмутительное положение, каковое надлежит исправить, дабы не

исчезла драгоценная раса.

Затем утверждалось, что под угрозой находится национальное достояние Наших. Их границы вот-вот будут нарушены, их домашний скот, жуков, того и гляди угонят, а их общинный желудок ссохнется от голода. Варт внимательно выслушал две таких передачи, чтобы запомнить их на будущее.

В первой доводы были расположены в следующем порядке:

*А. Мы столь многочисленны, что голодаем.*

*Б. Поэтому нам следует всемерно увеличивать численность наших семейств, чтобы стать еще многочисленнее и голоднее.*

*В. Когда мы станем еще многочисленнее и голоднее, мы, очевидно, обретем право отбирать у иных народов их зерновые запасы. Помимо прочего, у нас к тому времени появится многочисленная и голодная армия.*

Лишь после того как это логическое построение получило практическое применение и валовая продукция родильных приютов утроилась, — тем временем, благодаря Мерлину, оба гнезда получали кисель в количествах, покрывавших все их потребности, ибо приходится признать, .что голодающим нациям, по всей видимости, никогда не

удается изголодаться до такой степени, чтобы они не могли позволить себе тратить на вооружение гораздо больше всех остальных, — только после того начались лекции второй разновидности.

Выглядели они так:

*А. Мы гораздо многочисленнее их, а потому имеем право на их кисель.*

*Б. Они гораздо многочисленнее нас, а потому норовят бесстыдно украсть наш кисель.*

*В. Мы — могучая раса, а потому обладаем естественным правом поработить их жалкую расу.*

*Г. Они — могучая раса, и вопреки естеству норовят поработить нашу безобидную расу.*

*Д. Мы должны напасть на них ради самообороны.*

*Е. Обороняя себя, они нападают на нас.*

*Ж. Если сегодня мы на них не нападем, они нападут на нас завтра.*

*З. В любом случае мы вовсе не нападаем на них. Мы несем им неисчислимые блага.*

После обращений второго рода начались религиозные церемонии. Они, как установил впоследствии Варт, были унаследованы от легендарного прошлого, столь давнего, что для него и даты не подберешь, прошлого, в котором мураши еще не додумались до коммунизма. Церемонии

восходили к тем временам, когда муравьи еще не утратили сходство с людьми, и некоторые из этих церемоний производили очень сильное впечатление.

Во время одной из них исполнялся псалом, начинавшийся — с учетом языковых различий — хорошо известными словами: «Мечу подвластна земля и что наполняет ее, компасу бомбардировщика и им, что сеют бомбы с него», — и кончавшийся очень страшно: «Возлетите на воздух, врата, да поднимутся верхи ваши, и вы возлетите, двери вечныя, и войдет Царь славы! Кто сей Царь славы? Се Господь Призрачных Сил, Он — Царь славы!»

Странно, но рядовых муравьев песнопения не воодушевляли, а лекции не интересовали. И то и другое они принимали как данность. Для них это были ритуалы вроде песенок про «Мамми» или разговоров о Любимой Водительнице. Муравьи не относились к ним как к плохим или хорошим, волнующим, разумным или устрашающим. Они вообще их не воспринимали, — но находили Дельными.

Вскоре настало время и для войны. Приказы о подготовке к ней были отданы, солдаты вымуштрованы до последней степени, на стенах гнезда

появились патриотические лозунги: «Жало или Жвачка?» или «Присягаю тебе, мой Запах!», и Варт окончательно впал в отчаяние. Вечно звучащие прямо в голове голоса, от которых он не мог избавиться, невозможность уединения, ибо одни постоянно кормились прямо из его живота, а другие распевали в его мозгу, смертельная пустота, заместившая чувства, утрата всех оценок за исключением двух, всепроникающая даже не злоба, а монотонность, — все это убивало в нем неотделимое от детства радостное отношение к жизни.

Кошмарные армии уже почти сошлись для сражения, споря о воображаемой границе между двумя кусками стекла, когда Мерлин пришел Варту на помощь. Чары его вернули изнемогшего естествоиспытателя обратно в постель, которой тот не мог нарадоваться.

## 14

Осенью все приготовлялись к зиме. Вечерами сидели, отгоняя долгоножек от свеч и светильников. Днем выводили коров на жнивье, к сорным травам, обойденным серпом. Выгоняли свиней попастись на лесные опушки, где мальчишки обивали деревья, чтобы снабдить свиней желудями. Дела хватало каждому. Из риги слышалось ровное шлепанье цепов; по нарезанному на полоски ячменя и пшеницы общинному полю взад-вперед проплывали тяжеленные деревянные плуги, а за ними, мерно раскачиваясь, шагали сеятели с привешенными к шеям лукошками, меча семена правой рукой под левую ногу и наоборот. Другие поселяне, громыхая, везли груженные папоротником возы на шипастых колесах, и кто-нибудь из них непременно отмечал, что следует

Поболе листьев запасти, покамест лето дышит,
Чтоб можно было полежать скоту под зимней крышей.

Тем временем третьи волокли из лесу дрова для замковых очагов. Звон стоял в резком воздухе от клиньев и колотушек.

И все были счастливы. Вообще-то саксы пребывали в рабстве у своих норманнских хозяев, — то есть ежели вы предпочитаете такой взгляд на их положение, — однако если посмотреть на него с другой стороны, они представляли собой тех же фермерских батраков, что и ныне ухитряются как-то протянуть на несколько шиллингов в неделю. Просто ни тогдашние виллане, ни теперешние батраки не голодали, когда хозяином их оказывался такой человек, как сэр Эктор. Если ни один скотовладелец никогда не почитал экономически разумным держать своих коров впроголодь, то с какой же стати рабовладелец стал бы морить голодом своих рабов? Суть в том, что даже в наши дни сельский батрак соглашается на столь малую плату лишь потому, что не хочет продавать и душу свою впридачу к рукам, — без чего он никак не обошелся бы в городе, — и такого рода свободу духа можно было обрести в деревне с самых стародавних времен. Виллане были работниками. Они жили скопом в лачугах всего об одной комнате: семьи, куры, поросята или телка, которую, вероятно, звали Пеструхой, — ужасная, нездоровая жизнь! Но вот им она нравилась. На здоровье они не жаловались, свежий воздух им доставался задаром и

без малейшей примеси фабричного дыма, и, что было для них самым главным, душевнейший их интерес был связан с тем, как бы поспоровистее сработать свою работу. Они знали, что сэр Эктор ими гордится. Они представляли для него даже большую ценность, чем скот, а поскольку свой скот он ценил выше чего бы то ни было, за исключением разве своих детей, этим сказано многое. Он жил и трудился вместе со своими крестьянами, пекся об их благополучии и без труда отличал доброго работника от худого. В сущности, он был вечным фермером, — одним из тех, кто, на первый взгляд, выгадывает, подряжая батраков за столько-то шиллингов в неделю, но при этом приплачивает еще полстолька за добровольную переработку, дома предоставляет задаром и задаром же снабжает своих батраков яйцами, молоком и хлебом домашней выпечки.

Конечно, в иных частях Волшебной Страны существовали злые и деспотические хозяева, — феодальные бандиты, обузданию коих и предстояло посвятить свою жизнь Королю Артуру, — но порок коренился не в феодальной системе, а в людях, ею злоупотреблявших.

Сэр Эктор бродил среди всей этой кипучей деятельности с насупленным челом. Когда старая

дама, посаженная за живой изгородью одной из пшеничных полосок — отпугивать голубей и грачей, вдруг с шальным воплем взвилась рядом с ним, он подскочил едва не на целый фут. Он нынче был нервный.

— А, чтоб тебя! — сказал сэр Эктор. Затем, вглядевшись как следует, добавил громким, рассерженным голосом. — Благость Господня!..

И он достал из кармана письмо и перечитал его заново.

Владелец Замка Дикого Леса был не только фермером. Он был армейским капитаном, всегда готовым организовать и возглавить оборону своих угодий от разбойничьих банд, а также спортсменом, проводившим, когда удавалось выкроить время, по целым дням в рыцарских поединках. Но и не только. Он был еще Владельцем Гончих Собак, — а вернее, владельцем оленегона и прочих гончих, — и он сам охотился со своею сворой. Увалень, Упорный, Феба, Клей, Венок, Тальбот, Люс, Люффра, Аполлон, Хвала, Вран, Гелерт, Отскок, Мальчик, Лев, Громыхало, Тоби, Алмаз и Каваль не были комнатными собачками. Они были Гончими Дикого Леса, абонементы не продаются, два дня в неделю, старший охотник — владелец собак.

Вот что говорилось в письме, если его перевести с латыни:

*Король сэру Эктору и проч.*

*Мы посылаем к тебе Вильяма Твайти, нашего ловчего, и подручных его для охоты в Диком Лесу с нашими кабаньими борзыми (canibusnostrisporkericis), дабы они могли затравить двух или трех вепрей. Тебе надлежит засолить взятую ими добычу и держать ее в добром виде, шкуры же, кои они тебе передадут, надлежит тебе выбелить, как укажет тебе сказанный Вильям. И мы приказываем тебе доставлять им все потребное столько времени, сколько они у тебя пробудут по нашему указанию, о расходах же и о прочем представить отчет и прочее.*

*Засвидетельствовано в Тауэре города Лондона 20 ноября двенадцатого года нашего царствования.*

*УТЕР ПЕНДРАГОН 12-го Утера.*

Оно конечно, лес принадлежал Королю, равно как и права посылать в него на охоту своих собак. К тому же его величеству приходилось кормить множество голодных ртов, — при его-то дворе и армии, — и желание получить столько надлежаще засоленных вепрей, оленей, косуль и прочее, сколько удастся, было только естественным.

Его право. Каковое право не отменяло того обстоятельства, что сэр Эктор привык считать этот лес *своим* и негодовал по поводу привлечения к охоте чужих собак, — как будто его собственные ни на что не годятся! Королю довольно было послать к нему за парой вепрей, и он бы с удовольствием сам их добыл. Он опасался, что буйные королевские слуги распугают ему всю дичь, — никогда ведь не знаешь, чего от этих городских ожидать, — и что ловчий Короля, вот этот малый, Твайти, станет глумиться над его скромным охотничьим хозяйством, расстроит его охотников, да, чего доброго, еще полезет распоряжаться к нему на псарню. По правде сказать, сэр Эктор стеснялся. И потом. Куда он, к дьяволу, денет этих королевских гончих? Это что же, ему, сэру Эктору, выгонять своих собак на улицу, чтобы устроить королевских на собственной псарне? «Благость Господня!» — повторил несчастный владетель. Право, хуже, чем десятину платить.

Сэр Эктор сунул проклятущее письмо в карман и затопал по пашне. Виллане, приглядываясь к его походке, весело переговаривались:

— Видать, хозяин снова без дела мается.

Это возмутительное проявление тирании, вот что это такое. И хоть приходилось терпеть

его каждый год, приятней оно не становилось. Затруднение с псарней он всегда решал одинаково, но меньше от этого не тревожился. Придется пригласить соседей на торжественную встречу, чтобы как можно внушительней выглядеть в глазах королевского ловчего, а значит, шли гонцов через лес к сэру Груммору и так далее. Затем придется еще как-то их всех развлекать. Король написал заблаговременно, стало быть, намерен прислать своих людей к началу охотничьего сезона. Сезон раньше 25-го декабря не начнется. Возможно, этот малый пожелает устроить один из дурацких больших послерождественских сборов — чистая показуха и бестолковщина, — сотни пеших охотников перекликаются, лезут вепрю под ноги, вытаптывают посевы и вообще превращают охоту черт те во что. И откуда ему, к дьяволу, знать в ноябре, где окажутся к Рождеству лучшие вепри? С этими кабанятами, секачами и одинцами никогда не поймешь что к чему. И потом. Гончую, которую на следующее лето собираются использовать в настоящей, требующей искусства травле, всегда под Рождество выпускают на кабана. Это самое начало ее учебы, в которой она переходит от зайцев и всякой мелочи к своему настоящему зверю, — значит,

этот малый, Твайти, приволочет сюда кучу неотесанных щенят, от которых никому ничего, кроме мороки, не будет.

— Ах, чтоб тебя! — сказал сэр Эктор и с размаху ступил в коровью лепешку.

С минуту он мрачно постоял, наблюдая, как его мальчишки пытаются изловить на ловчем поле последние листья. Пришли они сюда не за этим, да в общем-то и не верили, даже в те далекие дни, что каждый пойманный лист означает счастливый месяц в новом году. А просто когда западный ветер стал обрывать золотые лохмотья, они показались им чарующими и неуловимыми. И из чистой радости следить за ними, кричать, смеяться, чувствовать, как кружится запрокинутая голова и метаться в попытках поймать хоть одно из этих созданий, явно живых, судя по хитрости, с какой они ускользали, мальчишки, словно юные фавны, скакали на развалинах года. Плечо у Варта совсем зажило.

Единственный, размышлял сэр Эктор, от кого мог бы быть прок по части устройства королевскому ловчему настоящей охоты, — это тот парень, Робин Гуд. Хотя теперь его, вроде, зовут Робином Вудом, — не иначе как какие-то новомодные фокусы. Но Вуд он там или Гуд, а уж

этот-то малый знает, где отыскать пару хороших клыков. Он, небось, уже несколько месяцев, как лакомится кабанятиной, ему и сезон не сезон.

Но можно ли просить человека затравить для тебя добычу, а после не пригласить его на пирушку? А что скажет королевский ловчий да и соседи тоже, обнаружив среди гостей партизана? Не то чтобы этот Робин Вуд был дурным малым, малый он добрый и сосед хороший. Он не раз давал сэру Эктору знать, когда из-за валлийской границы выходили ватаги головорезов, и никогда ничем не досаждал ни рыцарю, ни его землепашцам. Ну добывает он время от времени немного оленины себе на прокорм, — какое кому дело? Тут, говорят, леса на сотни квадратных миль, всем хватит. От добра добра не ищут, — такой у сэра Эктора был девиз. Вот если б еще соседи с ним соглашались.

И другая забота — как за всем уследить. Одно дело пышные охоты в почти что искусственных лесах вроде Виндзорских, где охотится Король, и совсем другое — охота в Диком Лесу. А что если знаменитые гончие Его Величества взыграют да кинутся гнать единорога или еще кого? Всем известно, что единорога можно словить только использовав для приманки молодую девицу (в котором случае он смирно кладет ей на лоно свою

белую голову вместе с перламутровым рогом), так что королевские щенки могут гнаться за ним по лесу многие лиги и все равно его не догнать, и потеряться, и что тогда скажет сэр Эктор своему суверену? А тут еще этот Бет Глатисант, о котором все столько наслышаны. Имея змеиную голову, леопардово тулово, лядвии льва и оленьи голени, да притом издавая шум как бы от тридцати пар гончих псов, он уж наверное, прежде чем они его завалят, положит немало королевских щенков. От чего им одна только польза. И что скажет Король Пеллинор, если мастер Вильям Твайти прикончит его зверюгу? Потом еще есть дракончики, что живут под камнями и шипят, вроде как чайники, — опасные твари, очень. А положим, они напорются на настоящего большого дракона? Положим, они на грифона наткнутся?

Некоторое время сэр Эктор сумрачно обдумывал эту перспективу, а потом обнаружил вдруг, что настроение у него поднялось. И преотличная выйдет штука, если мастер Вильям Твайти со своими дурацкими псами повстречает Искомого Зверя, вот именно, да еще если тот их сожрет, всех до единого.

Развеселившись этим видением, он развернулся на краю пахоты и зашагал домой. У изгороди,

где в ожидании грачей сидела старая дама, ему повезло углядеть несколько подбиравшихся к пашне голубей раньше, чем она заметила их или его, и это дало ему счастливую возможность испустить такой вопль, что он ощутил себя более чем вознагражденным за свой подскок зрелищем ее парения в воздухе.

— Доброго вам вечера, — приветливо сказал сэр Эктор, когда старая дама оправилась достаточно, чтобы присесть перед ним в реверансе.

Эта маленькая удача настолько улучшила расположение его духа, что, проходя деревенской улицей, он окликнул приходского священника и пригласил его к обеду. Затем он забрался в башню, где помещался его особый покой, и тяжело уселся за стол, чтобы за оставшиеся до обеда два-три часа написать верноподданническое письмо Королю Утеру. Именно столько времени на него и должно было уйти с учетом вострения перьев, посыпания клякс песком, выходов на лестницу с тем, чтобы, выкликая сверху дворецкого, выяснять у него, как пишется то или это слово, и зачинов нового письма, когда прежнее принимало уж слишком неряшливый вид.

Сэр Эктор сидел в башне, и поворотившее на зиму солнце бросало оранжевые лучи на его лысую

голову. Перо скрипело, сэр Эктор задумывался и в затруднении покусывал кончик пера, а замковый покой вкруг него заполняла тьма. В этой комнате, имевшей те же размеры, что и расположенный под нею главный замковый зал, позволительны были большие южные окна, ибо помещалась она на втором этаже. Тут имелись два очага, и пока уходило солнце, пепельные поленья обращались из серых в красные. Вокруг очагов лежало несколько любимых гончих, пофыркивая во сне, или вычесывая блох, или угрызая бараньи мослы, которые они выклянчили на кухне. В углу застыл на своем насесте накрытый клобучком сапсан — недвижный идол, грезящий о иных небесах.

Если бы ты отправился теперь осматривать башенный покой Замка Дикого Леса, ты не нашел бы в нем мебели. Но солнечный свет как и прежде вливается в него через каменные оконницы толщиною в два фута и, проходя переплеты, перенимает от них тепловатый оттенок песчаника — янтарное свечение времени. Зайдя в ближайшую лавку древностей, ты сможешь увидеть несколько прилично скопированных образчиков мебели, предположительно украшавшей ту комнату. Вероятно, там будут дубовые сундуки и стенные шкафы с готическими филен-

ками и странными лицами людей или ангелов — или чертей — среди трудно различимой резьбы, черной, навощенной, поеденной червями, лоснистой, — хмурые свидетели давней жизни, основательные, словно гробы. Но мебель башенного покоя была совсем не такой. И чертячьи головки и филенки в складках, как бы на ткани, на ней имелись, да только дерево было моложе столетий на шесть, семь или восемь. И потому в теплом свете заката янтарем отливали не одни лишь оконные переплеты. Немногочисленные крепкие дубовые сундуки, стоявшие в комнате (накрытые яркими коврами ради удобства сидения), были из молодого, золотистого дуба, а щечки чертей и херувимов сияли, словно умытые с мылом.

## 15

Была Рождественская ночь, канун Большой Охоты. Следует помнить, что дело происходило в Доброй Старой Англии, в Стране Волшебства, в ту пору, когда румяные бароны ели прямо руками, а к столу подавали павлинов с развевающимися хвостами или кабаньи головы с воткнутыми обратно клыками; когда не существовало безработных, потому что людей не хватало и некому было идти в безработные; когда по лесам стоял звон от рыцарей, молотивших друг дружку по шлемам, и единороги били в свете зимней луны серебряными копытцами, и благородное их дыхание синим дымком стояло в морозном воздухе. Это были великие и уютные чудеса. Но было в Старой Англии и еще большее чудо. Погода умела себя вести.

Весною в лугах послушно расцветали цветочки, искрилась роса, распевали птицы. В летнюю пору не менее четырех месяцев стояла прекраснейшая жара, а уж если дождило — ровно столько, сколько требовалось сельскому хозяйству, — то устраивалось как-то так, что дождь шел, пока ты лежал в кровати. Осенью листья пламенели

и бряцали под западным ветром, умеряя печаль расставания прощальной красой. Зимой же, под которую и всего-то отводилось два месяца, ровно лежали снега глубиною в три фута, — никогда не раскисая, никогда.

Ночь Рождества вступила в Замок Дикого Леса, и вокруг всего замка снег лежал, как ему и полагалось лежать. Он тяжело нависал на зубчатых стенах, словно толстая глазурь на восхитительных плюшках, благопристойно обращаясь в нескольких наиболее удобных местах в чистейшие и наидлиннейшие из возможных сосульки. Он висел округлыми комьями на ветвях лесных деревьев, делая их красивее яблонь в цвету, и временами соскальзывал с сельских кровель, — когда ему предоставлялся случай свалиться на кого-нибудь позабавнее и доставить всем удовольствие. Мальчишки лепили из него снежки, но никогда не совали внутрь камней, чтобы удар был больнее, а собаки, когда их выводили оправиться, покусывали его, катались по нему и выглядели удивленными, но довольными, если им случалось нырнуть в какой-нибудь сугроб покрупнее. Ров обратился в каток, и гром стоял по нему от скользящих костей, приспособленных под коньки, а на его берегу всем и каждому без

исключения выдавались горячие каштаны и мед, приправленный пряностями. Ухали совы. Повара выносили для птичек множество крошек. Крестьяне разгуливали в красных варежках. Еще ярче варежек краснелось лицо сэра Эктора. И всего ярче рдели по вечерам огни в домах на деревенской улице, пока завывал вдоль по улице ветер и староанглийские волки слонялись вокруг, глотая, как полагается, слюнки и порою поглядывая в замочные скважины красными глазками.

Стояла ночь Рождества и все шло положенным чередом. Вся деревня пришла отобедать в замковом зале. На обед подавали кабанью голову, и оленину, и свинину, и говядину, и барашка, и каплунов, — но не индейку, потому что этой птицы еще не придумали. Подавали также сливовый пудинг и изюм в горящем спирту, и кончики пальцев светились синим огнем, и меда было столько, сколько кому удавалось выпить. Пили здоровье сэра Эктора со «Всевозможным почтеньем, Хозяин» и с «Наилучшими поздравлениями с открытьем охоты, господа мои, дамы и многие прочие». Были тут и фигляры для волнующего драматического представленья истории, в которой Святой Георгий, и Сарацин, и уморительный

Доктор совершали удивительные дела; рождественские певцы спели «Adeste Fidelis» и «О Деве пою» высокими, чистыми тенорами. После этого дети, — те, что не объелись за обедом, — принялись играть в жмурки и прочие полагающиеся игры, а молодые парни и девушки — отплясывать веселые танцы в середине зала, откуда убрали, чтобы расчистить место, столы. Старики расселись по стенам со стаканами меда в руках, радуясь, что им уже нет нужды выделывать эдакие коленца да прыжки со скачками, а объевшиеся дети присели с ними рядом да скоро и заснули, прислонив к их плечам головки. Сэр Эктор сидел за хозяйским столом с рыцарственными гостями, съехавшимися ради завтрашней охоты, улыбаясь, кивая и прикладываясь к бургундскому, или к меху с шерри, или к мальвазийскому вину.

Посидели немного, и сэр Груммор потребовал тишины. Он встал и спел под гром оваций свою старую школьную песню, хотя большую часть призабыл, так что пришлось ее прогудеть в усы. Затем принялись пихать под бока Короля Пеллинора, и тот поднялся и застенчиво спел:

*В преславном Линкольншире родился я Пеллинором*

*И гонял Искомого Зверя целых семнадцать лет,*

*Покамест не повстречался (вот он сидит) с сэром Груммором,*

*И сэр Груммор немедля меня пригласил на обед.*

*С той поры (и поныне)*

*Я все сплю на перине,*

*А большей радости в жизни и нет!*

— Видите ли, — объяснял покрасневший Король Пеллинор, пока он усаживался, а окружающие хлопали его по спине, — старина Груммор пригласил меня пожить у него, что? после того, как мы с ним приятно сразились, и с тех пор я предоставил моего проклятого Зверя самому себе, а если он заскучает, так пусть пойдет и повесится на стене, что?

— И правильно сделали, — отвечали ему окружающие. — Всяк за себя живет, пока может.

Затем вызван был появившийся намедни вечером Вильям Твайти, и прославленный ловчий поднялся с совершенно серьезным лицом и, уставив на сэра Эктора сумрачный взор, пропел:

*Ты знаком с Вильямом Твайти,*

*— Весь кафтан его в грязище?*

*Ты знаком с Вильямом Твайти,*

*— Он в лесах за зверем рыщет?*

*Как же мне его не знать!*

*Мне пришлось его связать,*

*Чтоб хоть разик спокойно вздремнуть поутру*

*И не слышать ни псов его, ни «ту-ру-ру»!*

— Браво! — закричал сэр Эктор. — Слыхали, а? Говорит, пришлось его связать, ну что за славный парень! Вот клянусь, я как услышал первую строчку, решил: все, начал бахвалиться. Отличные ребята эти ловчие, а? Передайте мастеру Твайти мальвазию и мои поздравления.

Мальчики, свернувшись калачиком, лежали под скамьями близ очага, Варт обнимал Каваля. Жар, крики и запах меда не нравились Кавалю, ему хотелось сбежать, но Варт крепко держал его, ему нужно было к кому-то прижаться, и Каваль оставался с ним против воли и тяжко дышал, свесив розоватый язык.

«А теперь Ральф Пасселью!» — «Добрый, старый Ральф». — «Ральф, а кто корову убил?» — «Попрошу тишины, корове уже не поможешь!»

Под эти крики поднялся на самом дальнем и скромном конце стола приятнейший старичок, как поднимался он при всякой подобной оказии уже полстолетия. Лет ему было не менее восьмидесяти пяти, он почти уж ослеп и почти что оглох, но еще мог, и желал, и рад был дрожащим тенорком исполнить все ту же самую песню, какую ко всеобщему удовольствию певал он в Диком Лесу и до того, как запеленутый сэр Эктор объявился в своей колыбельке. Расслышать его за хозяйским столом не могли, — слишком он удалился во Времени, чтобы докричаться до них через весь зал, — но каждый знал, что поет надтреснутый голосок, и каждому эта песня нравилась. А пел он вот что:

*Шел по улице Король*
*По прозванью Старый Коль.*
*Глядь, за лужею девчонка*
*Задрала свою юбчонку,*
*Через лужу прыг да скок,*
*Так и обмер старичок:*
*Как увидел он лодыжку,*
*Враз взяла его одышка,*
*Чуть не помер он от срама,*

*Вот какие нынче дамы.*

В песне было около двадцати куплетов, и в каждом Старому Колю-Королю поневоле приходилось узреть нечто такое, чего ему видеть не следовало, и в конце каждого все разражались веселыми криками, пока наконец старина Ральф, осыпанный благодарностями, не уселся со смутной улыбкой перед наполненной заново кружкой меда.

Настала пора сэру Эктору завершить праздничный вечер. Он важно поднялся и произнес следующую речь:

— Друзья, сельчане и прочие. Хоть и непривычно мне говорить на публике.,

Веселый шумок прокатился по залу при этих словах, ибо всякий признал речь, которую сэр Эктор произносил последние двадцать лет, и всякий приветствовал ее как милого брата.

— …и непривычно мне говорить на публике, — но это моя обязанность, — и могу сказать, обязанность весьма приятная — приветствовать всех и каждого на этом нашем домашнем празднестве. Прошедший год был хорош, — и тут я не боюсь, что кто-то меня оспорит, — хорош и для пастуха и для пахаря. Все мы знаем, что Пеструха из Дикого Леса вторично завоевала первый приз

на Кардальской Выставке Скота, а в новом году завоюет и кубок. Тем больше славы Дикому Лесу. Пока мы тут сегодня сидели, я обратил внимание на то, что некоторых лиц среди нас уже больше не видно, но и новые добавились к нашему семейному кругу. Это все в руце всесильного Провидения, к коему все мы испытываем чувство благодарности. Да и сами мы сотворены и отпущены бродить по миру затем, чтобы радоваться воссоединению в такой вот приятный вечер. Думаю, всем нам следует быть благодарными за блага, коими мы осыпаны. Сегодня мы принимаем у себя славного Короля Пеллинора, чьи труды по части избавления нашего леса от грозного Искомого Зверя всем нам известны. Господь да благословит Короля Пеллинора. («Слушайте, слушайте!») Среди нас также сэр Груммор Груммурсум, знаменитый спортсмен, который, я могу сказать ему это прямо в лицо, никогда не покидает седла, не свершив приличествующего Подвига. («Ура-а!») Наконец, последнее по счету, но не по чести, — нас почтил визитом наипрославленнейший среди ловчих Его Величества, мастер Вильям Твайти, который, я совершенно в этом уверен, продемонстрирует нам завтра такую охоту, что нам останется только протирать в изумленьи глаза да желать, чтобы

свора королевских гончих всегда охотилась в нашем Лесу, который все мы так любим. («Улю-лю» и несколько имитаций сигнала общего сбора.) Благодарю вас, мои дорогие друзья, за искренние приветствия в адрес этих джентльменов. Я уверен, что они примут их с той же искренностью и теплосердечием, какие звучат в этих приветствиях. А теперь мне пора закончить мои краткие замечания. Наступает Новый Год, и нам следует обратить свои взоры к задачам, которые ставит перед нами будущее. Довольно сказать, что и в следующем году нас ожидает Выставка Скота. Друзья, я могу лишь пожелать вам счастливого Рождества, и после того как отец Сайдботем прочитает за нас благодарственную молитву, мы завершим наш вечер пением Национального Гимна.

Приветственные крики, разразившиеся по завершении речи сэра Эктора, только-только и удалось приглушить разрозненным шиканьем под конец латинской молитвы викария, а затем все поднялись и верноподданнически запели, освещенные пламенем очага:

*Боже, храни Короля,*
*Лета и дни Пендрагоновы для!*

*Властвуй, всевластный наш,*
*Вечно-прекрасный наш,*
*Буйно-ужасный наш,*
*О, Пендрагон!*[4]

Стихли последние ноты, праздничная толпа покинула зал. Снаружи, на деревенской улице, мерцали фонари, люди расходились по домам стайками, из страха перед бродящими под луною волками, и Замок Дикого Леса уснул, умиротворенный и темный, среди благословенных снегов.

---

**[4] notes: 4**
Перевод С. Степанова.

## 16

На следующее утро Варт встал пораньше. Едва пробудившись, он сделал над собой усилие, сбросил огромную медвежью шкуру, под которой спал, и метнул свое голое тело в объятия жгучего воздуха. Одевался он торопливо, трясся, подпрыгивал, чтобы сохранить хоть немного тепла, и выпускал синие клубы с шипящим звуком, каким успокаивают лошадь. Разбив лед в тазике, он окунул туда лицо с такой гримасой, словно глотал какую-нибудь кислятину, вымолвил «А-а-ах!» и с силой растер полотенцем уязвленные щеки. Затем, ощущая себя вполне согревшимся, он скачками понесся на запасную псарню, чтобы понаблюдать за последними приготовлениями королевских охотников.

При дневном свете мастер Вильям Твайти обернулся сморщенным, изможденного вида человеком с выражением печали на лице. Всю его жизнь ему приходилось преследовать разного рода зверье, предназначенное для королевского стола, а настигнув его, еще и разделывать на полагающиеся части. В сущности, более чем наполовину он был мясником. Ему надлежало знать,

какие части туши следует отдать на съеденье собакам, а какие оставить своим помощникам. Да еще и разделывать тушу полагалось красиво, оставляя, скажем, от хвоста пару позвонков, чтобы огузок выглядел попривлекательнее, так что примерно столько же, сколько он себя помнил, он либо гнал оленя, либо делил его на порции.

Не очень-то ему все это нравилось. Самцы-олени и ланьи стада, вепри-одинцы, лисьи выводки, табунки косуль, компании куниц, барсучьи братства и волчьи ватаги — все это представлялось ему чем-то таким, что приходится потрошить, либо свежевать, а затем тащить домой и там варить или жарить. Вы могли беседовать с ним о костях и клыках, о ливере и подпашке, о катышах, выкиде и помете, он при таком разговоре сохранял вежливый вид — и только. Он понимал, что вы просто щеголяете этими словами, а для него они были частью его работы. Вы могли рассказывать ему о здоровенном медведе, который едва не задрал вас прошлой зимой, и он лишь смотрел бы на вас безучастными глазами. Самого его здоровенные медведи драли шестнадцать раз, у него все ноги были в беловатых рубцах, тянувшихся до самых ребер. И слушая ваш рассказ, он занимался бы каким-нибудь подручным делом, имеющим

отношение к его профессии. Только одно могло расшевелить мастера Вильяма Твайти. Зимой или летом, гнался ли он пешим или скакал на коне по следу вепря или оленя, душа его пребывала где-то еще Но стоило упомянуть при мастере Твайти о заячьей лежке и, продолжая гонку или скачку за проклятым оленем, по-видимому, ставшим его судьбой, он начинал поглядывать одним глазом через плечо, высматривая косого. Зайцы были единственным предметом, разговор о котором он охотно поддерживал. Его вечно слали то в один замок, то в другой — по всей Англии, — и когда он туда попадал, тамошние подданные короля задавали в его честь пирушку, пополняя его стакан и расспрашивая о самых знатных его охотах. Он отвечал рассеянно, все больше односложными словами. Но едва кто-нибудь поминал лопоухого, как Твайти преображался, ударял стаканом о стол и принимался рассказывать о чудесных свойствах этого изумительного зверька, уверяя, что никому не по силам распутать его следы, потому как один и тот же косой может быть сегодня самцом, а завтра самкой, пока он жирует, мечет помет и гложет деревья, чего вообще никакой иной зверь на свете делать не может.

Некоторое время Варт наблюдал за великим че-

ловеком, а потом вышел наружу, посмотреть, нет ли какой надежды на завтрак. Оказалось — есть, ибо все в замке испытывали то же самое нервное возбуждение, которое спозаранку выгнало его из постели, и даже Мерлин облачился в бриджи, несколько столетий спустя вошедшие в моду среди университетских охотников с биглями.

Охота на вепря была делом веселым. Она не имела никакого сходства с нынешним откапыванием барсуков, стрельбой из засады или лисьей гоньбой. Пожалуй, ближе всего к ней стоит охота с хорьком на кролика, — с той лишь разницей, что место хорька занимали собаки, что вепрь в отличие от кролика с легкостью мог вас прикончить и что вместо ружья приходилось носить с собой особую пику, от которой и зависела ваша жизнь. Как правило, верхами на вепря не охотились. Возможно, причина тут в том, что охота эта приходилась на два зимних месяца, в которые староанглийский снег норовил облепить комьями копыта коней, отчего скачка становилась опасной. В итоге вы, пеший и вооруженный одной только сталью, выходили на противника, намного превосходящего вас весом и к тому же способного распороть вас от пупа до подбородка и водрузить вашу голову на зубцы

своего замка. Только одно правило и имелось в охоте на вепря, а именно: Держись. Если вепрь бросался на вас, следовало упасть на одно колено и выставить в его сторону пику. Правой рукой вы упирали в землю ее ратовище, чтобы сдержать удар, а левую вытягивали как можно дальше, целя в несущегося зверя. Пика была острая, словно бритва, и имела поперечину дюймах, примерно, в восемнадцати от острия. Эта поперечина, или перекладина, не позволяла пике уходить в грудь вепря больше, чем на восемнадцать дюймов. Без нее вепрь мог бы достать охотника на другом конце пики, даже если б ему пришлось нанизаться на нее. А так его удавалось держать от себя на расстоянии, равном длине пики, засадив в него восемнадцать дюймов стали. Вот тут-то и нужно было держаться.

Весил он от двухсот до четырехсот фунтов, и в жизни у него имелась одна только цель — сновать и взбрыкивать, и мотаться из стороны в сторону, пока не удастся добраться до супостата и разодрать его на куски, а единственной целью супостата было не выпустить пику, плотно прижатую к боку в ожидании кого-нибудь, кто подоспеет на помощь и прикончит зверюгу. Пока охотнику удавалось удерживать свой конец

оружия, коего другой сидел в кабане, он знал, что между ними по крайней мере сохраняется расстояние, равное длине пики, сколько бы вепрь ни мотал и ни кружил его по лесу. Если ты основательно все это обдумаешь, ты, может быть, поймешь, почему в день большой послерождественской вылазки все охотники замка проснулись рано и завтрак свой поглощали в несколько подавленном настроении.

— Ага, — сказал сэр Груммор, вгрызаясь в свиную отбивную, которую он держал пальцами, — как раз поспел к завтраку, а?

— Поспел, — ответил Варт.

— Утречко ясное, охотничье, — сказал сэр Груммор. — Пику-то наточил, а?

— Да, наточил, спасибо, — сказал Варт и подошел к буфету, чтобы взять себе отбивную.

— Что же вы, Пеллинор? — спросил сэр Эктор, — возьмите цыплят. Вы нынче совсем ничего не едите.

Король Пеллинор ответил:

— Да как-то не хочется, но все равно спасибо. Что-то мне сегодня неможется с утра, что?

Сэр Груммор выпростал из отбивной нос и резко осведомился:

— Нервы?

— О нет, — воскликнул Король Пеллинор. — Вовсе нет, право, что? Я, видимо, что-то такое проглотил вчера вечером, неподходящее.

— Глупости, дружище, — сказал сэр Эктор. — А ну-ка, давайте, съешьте пару цыплят, чтобы подкрепить свои силы.

Он всучил несчастному Королю двух или трех каплунов, и тот с прежалким видом присел на дальнем конце стола, пытаясь проглотить хоть несколько кусочков.

— К концу дня, осмелюсь сказать, — значительно произнес сэр Груммор, — они ему понадобятся.

— Вы полагаете?

— Уверен, — сказал сэр Груммор и подмигнул хозяину.

Варт заметил, что сэр Груммор с сэром Эктором едят с несколько преувеличенной охотой. Сам он не чувствовал себя способным справиться более чем с одной отбивной, что же до Кэя, тот в столовую залу даже не заглянул.

Покончив с завтраком и посовещавшись с мастером Твайти, охотники повлеклись к месту общего сбора. Возможно, нынешнему владельцу гончих та свора показалась бы помесной. Ее составляли с полдюжины черно-белых ала-

нов, походивших на борзых с головами не то бультерьеров, не то кого похуже. Эти собаки — самые подходящие для охоты на вепря — были в намордниках по причине своей свирепости. «Борзые», пару которых взяли с собой просто на всякий случай, на деле были ничем иным, как тем, что теперь называют «гончими», тогда как ищейки представляли собой помесь бладхаундов с нынешними красными сеттерами. Этих вели в ошейниках и на сворах. Браки сильно походили на биглей и шли рядом с хозяином вперевалку, как бигли и ходят, — зрелище просто очаровательное.

Вместе с собаками шли загонщики. Мерлин в его спортивных брюках разительно походил на лорда Бадена-Пауэлла, с той, разумеется, разницей, что последний не носил бороды. Сэр Эктор был облачен в «отвечающие случаю» кожаные одежды, — охота в доспехах почиталась неспортивной, — он шагал поодаль мастера Твайти с выражением, являвшим смесь важности и досады, каковое от века присуще владельцам псовой охоты. Сэр Груммор, шедший сразу за ними, отдувался и спрашивал у кого ни попадя, наточил ли тот пику. Король Пеллинор приотстал и шел вместе с селянами, чувствуя, что чем больше

народу вокруг, тем, значит, меньше опасность. Деревня вышла вся, каждая мужская душа владения, от сокольничего Хоба до старого безносого Вота, и каждый нес пику или рогатину, или сточившуюся косу, прикрученную к крепкому колу. Даже женщины помоложе, те что были еще на выданьи, и они вышли с корзинами провианта для мужчин. Получился настоящий большой послерождественский сбор.

На опушке леса к ним присоединился последний из охотников. Это был высокий, видный собой человек, одетый во все зеленое и с семифутовым луком в руках.

— Доброго утречка, мастер, — приязненно сказал он сэру Эктору.

— А, да, — ответил сэр Эктор. — Да-да, утро доброе, верно? Да, доброго утречка.

Он отвел господина в зеленом в сторонку и сказал слышным всякому громким шепотом:

— Во имя Неба, дружище, будьте поосторожней. Это ловчий самого Короля, а вон те двое — Король Пеллинор и сэр Груммор. Так что, дружище, будьте умницей, не говорите ничего такого, ну знаете, спорного, хорошо? Будьте умницей, старина.

— Разумеется не скажу, — успокоил его человек в зеленом, — но, думаю, вам все же лучше нас

познакомить.

Изрядно покраснев, сэр Эктор позвал:

— Послушайте, Груммор, будьте добры, подойдите сюда на минутку. Я вас хочу познакомить со старым приятелем, — мой приятель, его зовут Вуд, старинный приятель, — Вуд, на В, понимаете, не на Г. Да, а вот это Король Пеллинор.

— Рад, — сказал Король Пеллинор, так и не избавившийся от этой привычки, посещавшей его в минуты нервозности.

— Как поживаете? — сказал сэр Груммор. — Робин Гуду вы, я полагаю, не родственник?

— О нет, ни в малой мере, — вмешался сэр Эктор. — ВЭ-У-ДЭ, понимаете, «древесина», — ну вот, из чего мебель делают — мебель, знаете ли, там, пики и… ну… в общем пики, и эту, мебель.

— Как поживаете? — сказал Робин.

— Рад, — ответил Король Пеллинор.

— Да, — сказал сэр Груммор, — занятно, что вы оба носите зеленое.

— Да, занятно, правда? — подхватил обеспокоенный сэр Эктор. — Он-то носит зеленое в знак траура по своей тетке, она, знаете, упала с дерева и умерла.

— О, прошу прощения, — сказал сэр Груммор, огорченный тем, что затронул столь чувствитель-

ный предмет — и все закончилось наилучшим образом.

— Ну, мистер Вуд, — сказал сэр Эктор, когда ему удалось прийти в себя, — а теперь, — где наше первое логово?

Едва был задан этот вопрос, в разговор включился мастер Твайти, и состоялась краткая дружеская беседа, уснащенная разного рода специальными терминами, как-то «выкид» и прочее. За ней последовал долгий переход по зимнему лесу, а затем началось веселье.

Варт расстался с паническим чувством, сжимавшим его желудок, в ту самую минуту, как отправился в путь. Движение и поземка оживили его, и теперь глаза у него сверкали почти так же ярко, как ледяные кристаллы под белым солнцем зимы, а кровь бежала по жилам, подгоняемая охотничьим возбуждением. Посматривая на выжлятника, ведшего на своре двух бладхаундов, он заметил, как напрягаются псы по мере приближения к кабаньему логову. Он увидел, как различные собаки одна за одной, — кончая борзыми, которые охотятся не по запаху, — впадают в беспокойство и принимаются повизгивать от нетерпения. Он заметил, как Робин, приостановившись, подобрал несколько выкидов и передал

их мастеру Твайти, и тогда вся процессия остановилась. Эти места были уже опасны.

До некоторой степени охота на вепря имела сходство с охотой на лисят, — а именно в той, что и вепрю нужно не дать удрать. Но главным в этой охоте было — убить его как можно быстрее. Варт занял свое место в цепи охотников, обложивших логово чудища, и опустился в снег на одно колено, уперев конец пики в землю и изготовясь к любым неожиданностям. Он почувствовал, как примолкли охотники и увидел, что мастер Твайти молча махнул выжлятнику — спускай. Две гончих немедленно рванулись к убежищу кабана. Неслись они молча.

Потянулись долгие пять минут, в течение которых ничего не происходило. Сердца окруживших логово гулко стучали, и в согласии с ними на каждой шее трепетала маленькая вена. Каждый вертел головой, как бы желая уверить-ся, что соседи его на месте, и дыхание жизни мирно уплывало белым парком вместе с северным ветром, и каждый вдруг ощутил, насколько прекрасна жизнь, которой, если дела обернутся плохо, вонючие клыки могут в несколько секунд лишить кого-то из них.

Вепрь не выдает своего бешенства воем. Ни

рева, ни лая гончих от логова не доносилось. Лишь в сотне примерно ярдов от Варта, на краю поляны, возникло вдруг черное существо. Оно и на вепря-то не походило — во всяком случае в те несколько секунд, что оно там простояло. Слишком быстро оно появилось, чтобы обнаружить сходство с кем бы то ни было. И прежде чем Варт понял, кто это, зверь бросился на сэра Груммора.

Черная туша неслась по белому снегу, взметая маленькие облачка. Сэр Груммор — тоже черный на белом фоне — перекувыркнулся в воздухе, вздыбив облако покрупнее. Северный ветер ясно донес что-то похожее на всхрап (но ни малейшего звука падения), и вепрь исчез. Когда он исчез, но не раньше, Варт осознал, что теперь многое знает о нем, — много такого, чего он не имел времени заметить, пока вепрь был рядом. Он запомнил узкую щетинистую гриву, торчком стоявшую на остром хребте, промельк мерзейших клыков, выпяченные ребра и красное пламя свинячих глазок.

Сэр Груммор встал, стряхнул с себя, невредимого, снег и обругал свою пику. Несколько капель вспененной крови виднелись на белой земле. Мастер Твайти приложил к губам рог. Спустили аланов, и волнующие звуки гона зазвенели по

лесу, и все вокруг сразу пришло в движение. Гончим, которые подняли вепря, — именно этим словом следует обозначать выживание зверя из логова, — позволили гнать его, чтобы они как следует раззадорились. Заливались браки. С лаем понеслись по сугробам аланы. Все побежали, крича на бегу.

— Пошел, пошел! — вопили загонщики. — Shahou, shahou! Авант, сэр, авант!

— Пиль, пиль! — встревожено кричал мастер Твайти. — Джентльмены, будьте добры, уступите дорогу собакам.

— Вот так так! — кричал Король Пеллинор. — Кто-нибудь видел, куда он делся? Что за денек! Sa ca cy avaunt, cy sa avaunt, sa cy avaunt!

— Держитесь, Пеллинор! — кричал сэр Эктор. — Собак берегитесь, собак! Самому вам его не заметить! II est hault! II est hault!

И «Тиль-ес-хо!» — отзывались загонщики, «Так легко», — пели деревья, «Далеко», — бормотали вдали сугробы, и с тяжелых ветвей, потревоженных сотрясением воздуха, на укутанную землю безмолвно соскальзывали клубы сверкающей пыли.

Варт обнаружил, что бежит рядом с мастером Твайти.

Отчасти это походило на бег по пересеченной местности с той лишь разницей, что бежать приходилось по лесу, где иногда и с места-то стронуться трудно. Все зависело от собачьей музыки и различных сигналов, выдуваемых ловчим с тем, чтобы сообщить, где он и что поделывает. Без них вся охота растерялась бы ровно за две минуты, да и с ними примерно половина людей заблудилась за три.

Варт прилип к Твайти, словно репей. Несмотря на многолетний опыт ловчего, Варт не отставал от него, потому что малые размеры Варта позволяли ему с большей легкостью преодолевать препятствия, а кроме того его многому научила девица Мэриан. Робин тоже держался вровень с ними, а вот кряхтение сэра Эктора и блеяние Короля Пеллинора скоро затихли вдали. Сэр Груммор сдался быстро, — вепрь основательно перешиб ему дыхание, — так что сэр Груммор остался далеко позади, объявив, что пика у него затупилась. С ним, чтобы не потеряться, остался и Кэй. Загонщики, запутавшись в сигналах горна, давно уже разбрелись кто куда. Мерлин порвал свои бриджи и остановился, чтобы заштопать их при помощи магии. Сержант до того переполнил воздухом грудь, крича «Ату!» и объясняя всем

и каждому, в какую сторону надо бежать, что полностью утратил ориентацию и вел теперь в неправильном направлении толпу несчастных селян — по-индейски, гуськом, бегом марш! колени выше! И Хоб все еще бежал.

— Пиль, пиль, — задыхался ловчий, обращаясь к Варту, словно тот был гончей. — Не так быстро, мастер, они потеряли след.

Пока он выговаривал это, Варт заметил, что собачий лай стал слабее и жалобней.

— Стоп, — сказал Робин, — иначе мы о него споткнемся.

— Пиль, пиль! — во весь голос закричал мастер Твайти, — Назад, здесь его яма, яма! — Он перебросил перевязь на грудь, поднял рог к губам и затрубил сигнал общего сбора.

Ответом ему было одинокое тявканье одной из гончих.

— Назад! — крикнул ловчий.

В голосе гончей появилась уверенная нотка, тявканье прервалось и тут же выросло до громкого лая.

— Назад! Ко мне, ами! Слушай Бомона отважного! Все ко мне, все!

Голос гончей покрыли звонкие тенора браков. Шум разросся до взволнованного крещендо,

когда более слабые ноты покрыл кровожадный рев аланов.

— Накрыли, — кратко сказал Твайти, и трое людей опять побежали, и ловчий трубил на ходу ободрительное «тру-ру-ру».

Загнанный вепрь угрюмо стоял в редком подлеске. Зад его прикрывало сваленное бурей дерево, так что позиция была неприступна. Он стоял в обороне, поваркивал, чуть приподняв верхнюю губу. Кровь от удара сэра Груммора жирно сочилась из-под щетины на плече, стекая к ногам; с рыла на обагренный снег капала пена, и снег таял. Глазки вепря метались из стороны в сторону. Гончие стояли кружком, лая ему прямо в морду, а у ног его со сломанным хребтом извивался Бомон, Вепрь не обращал внимания на еще живую собаку, уже не способную ему повредить. Он был черен, распален, окровавлен.

— Ну, вперед, — произнес ловчий.

Он двинулся на кабана, выставив перед собою пику, и ободренные хозяином гончие тоже стали шаг за шагом подвигаться к нему.

Внезапно вся сцена переменилась с такой быстротой, словно рухнул карточный домик. Вепрь уже не оборонялся, он летел на мастера Твайти. И как только он ринулся, аланы облепили его,

свирепо вцепившись кто в плечо, кто в глотку, кто в ногу, так что на ловчего несся уже не вепрь, а звериный клубок. Твайти не решился ударить пикой, опасаясь поранить собак. Клубок близился неудержимо — так, словно собаки и вовсе не мешали движению. Твайти начал оборачивать пику, чтобы ударить тупым концом, но не успел, и груда грызущихся тел обрушилась на него. Он отпрыгнул, но зацепился за корень, и исчез под грудой. Варт прыгал вокруг, в отчаянии размахивая пикой, но ткнуть ею было решительно некуда. Робин же одним движением отбросил пику, вытянул меч, вступил в рычащую свалку и спокойно поднял за ногу вверх одного из аланов. Тот и не подумал разомкнуть челюстей, но место, прежде занятое его телом, освободилось. Туда-то и опустился меч — медленно — раз, другой, третий. Громоздкое сооружение качнулось, выправилось, снова качнулось и тяжело завалилось на левую сторону. Охота закончилась.

Мастер Твайти медленно вытянул из-под вепря ногу, встал, взялся правой рукой за колено, испытующе покачал его туда-сюда, сам себе кивнул и захромал к Бомону. Он опустился возле пса на колени и перенес на них собачью голову. Он гладил ее и говорил:

— Слушай Бомона отважного. Тише, Бомон, топ amy. Oyez a Beaumont отважный. Ходу, ходу, 1a douce Beaumont.

Бомон лизнул его руку, но хвостом шевельнуть не смог. Ловчий кивнул подошедшему сзади Робину и задержал своим взглядом собачий.

— Хороший пес, Бомон отважный, — говорил он, — теперь усни, Бомон, старый друг, старый хороший пес. — И меч Робина увел Бомона из этого мира туда, где он на свободе будет гнать зверье вместе с Орионом и кувыркаться средь звезд.

Несколько мгновений Варту трудно было смотреть на мастера Твайти. Странный, морщинистый человек, ничего не сказав, поднялся и арапником привычно отогнал собак от кабаньей туши. Затем, прижав к губам рог, он выдул четыре долгих и ровных ноты — известье о смерти преследуемого зверя. Но у него имелась своя причина сыграть эти ноты, и Варт вдруг испугался, ибо ему показалось, что мастер плачет.

Прошло время, и сигнал собрал всех, кто отстал. Хоб появился сразу, а следом пришел и сэр Эктор, сбивая пикой снег с кустов, важно пыхтя и восклицая:

— Отлично проделано, Твайти. Восхитительный гон, весьма. Истинный образец псовой

охоты, вот как я бы сказал. Сколько в нем весу?

Понемногу стайками сходились и остальные. Прибежал с криком: «Ату его, ату!» Король Пеллинор, не ведающий, что охота закончилась. Узнав же об этом он остановился, жалостно произнес: «Ату его, что?» и погрузился в молчание. Под самый конец объявился даже отряд индейцев, ведомый сержантом все так же бегом (и выше колени!), — отряд встал на краю поляны, и сержант с немалым удовлетворением объявил ему, что кабы не он, все бы они заблудились. Пришел и Мерлин, придерживая свои беговые брюки, — магия не сработала. Притопал вместе с Кэем сэр Груммор, уверяя, что это был лучший удар, какой он когда-либо видел, хоть он его и не видел, а вслед за тем настало время «разделки» туши, что и было произведено с немалой сноровкой.

По этому поводу случилось всем позабавиться. Король Пеллинор, который, по правде сказать, был весь день не в своей тарелке, впал в роковую ошибку, спросив, когда собаки получат свою «дачу». Прежде всего, как всем хорошо известно, «дачей» называются внутренности — кишки и так далее, — каковые гончим подносят в награду на шкуре добытого зверя (sur le quir), а убитого вепря, что также ведомо всякому, не свежуют.

Его потрошат, не сдирая шкуры, поскольку же шкуры нет, нету и «дачи». Все мы знаем, что в этом случае вознаграждением для собак является «хлебово», то есть сваренная на костре мешанина из требухи и хлеба, так что бедный Король Пеллинор, разумеется, выбрал неверное слово.

А посему Короля Пеллинора под громкое «ура» пригнули к туше, и сэр Эктор смачно шлепнул протестующего монарха мечом по спине. После чего Король сказал:

— По-моему, все вы отъявленные мерзавцы, — и, что-то бормоча, удалился в глубь леса.

Вепря разделали, собак наградили, и загонщики, стоя кружками и беседуя (сесть на снег они не могли, потому что тогда бы намокли), съели провизию, принесенную девушками в корзинках. Пробили небольшой бочонок вина, прихваченный предусмотрительным сэром Эктором, и все как следует выпили. Ноги вепря связали, просунули между ними кол, двое мужчин взвалили его на плечи. Вильям Твайти отошел в сторонку и со всем вежеством протрубил отбой.

Именно в этот миг вернулся Король Пеллинор. Еще до того как его стало видно, все услыхали, как он ломает кусты и взывает: «Скорее, скорее! Сюда! Случилось самое страшное!» Он театраль-

но возник на краю поляны именно в ту минуту, когда потревоженная ветка, чье бремя оказалось слишком тяжелым, обрушила ему на голову что-то около центнера снега. Но Король Пеллинор этого даже и не заметил. Он выкарабкался из сугроба, не обратив на него никакого внимания, и воззвал:

— Скорее, скорее!

— Что такое, Пеллинор? — прокричал сэр Эктор.

— Ох, скорее сюда, — крикнул Король и, помраченно поворотясь, снова исчез в лесу.

— Как по-вашему, — поинтересовался сэр Эктор, — с ним все в порядке?

— Возбудимая натура, — сказал сэр Груммор, — весьма.

— Пойдемте-ка поглядим, что он там делает.

И вся процессия неторопливо двинулась в сторону Короля Пеллинора, повторяя по свежим следам в снегу его беспорядочные метания.

Их ожидало зрелище, к которому они не были готовы. В мертвых кустах можжевельника сидел Король Пеллинор, и по лицу его потоком струились слезы. А на коленях его покоилась огромная змеиная голова, и он ее гладил. По другую сторону головы тянулось долгое, тощее, желтое, покрытое

пятнами тело. Завершалось оно подобием львиных лап с оленьими голенями.

— Ну что ты, ну что? — говорил Король Пеллинор. — Я же не думал навсегда тебя бросить. Мне хотелось хоть немного поспать на перине, вот и все. Я бы вернулся, правда, обязательно бы вернулся. Ох, ну не умирай же, Зверюга, что ж ты меня совсем без катышей оставишь?

Увидевши сэра Эктора, Король принялся командовать. Отчаяние придало ему властности.

— Ну же, сэр Эктор, — воскликнул он, — что ж вы стоите, как дурачок? Немедля тащите сюда ваш бочонок с вином.

Притащили бочонок и, не скупясь, налили Искомому Зверю вина.

— Несчастное создание, — разгневанно говорил Король Пеллинор. — Оно зачахло, просто зачахло оттого, что никто не проявлял к нему интереса. Как я мог столько времени оставаться у сэра Груммора и ни разу не вспомнить о моей доброй, старой Зверушке — ума не приложу! Вы только посмотрите на ее ребра, посмотрите. Словно обручи на бочке. Лежит в снегу, одна-одинешенька, утратив всякую волю к жизни. Давай-ка, Зверь, поднимись, попробуй сделать еще глоточек. Это тебе поможет.

— Развалился на перине, — добавил безжалостный монарх, испепеляя взглядом сэра Груммора, — как, как деточка малая!

— Но как же вы — как же вы его отыскали? — запинаясь, спросил сэр Эктор.

— Случайно наткнулся. Вам надо спасибо сказать, хоть и не за что. Носятся тут, как орава придурков, и лупят друг друга мечами по спинам. Случайно наткнулся вот здесь, прямо в кустах. Лежит, — спина, бедная, вся в снегу, в глазах слезы, и в целом свете никому до нее нет дела. Вот что значит неправильный образ жизни. То ли дело прежде! Вставали мы с ней в одно время, всегда в один чае выходили на охоту, а в половине одиннадцатого — спать. А что теперь — взгляните на нее. Превратилась в развалину, и это вы будете виноваты, если она умрет. Вы и ваша постель.

— Однако, Пеллинор! — сказал сэр Груммор…

— Заткнитесь! — мгновенно ответил Король. — И что вы стоите тут, дурак-дураком. Делайте что-нибудь. Добудьте еще один кол, чтобы мы смогли донести старушку Глатисанту до дома. Вы-то что же, Эктор, — совсем уже разумения лишились? Все что нам требуется — это снести ее домой и уложить на кухне, у очага. Отправьте кого-нибудь вперед, пусть приготовят хлеба и мо-

лока. А вы, Твайти, или как вы там предпочитаете зваться, перестаньте тютькаться с вашей дудкой, бегите к дому и скажите там, пусть согреют несколько одеял. И когда мы придем домой, — закончил Король Пеллинор, — мы ее первым делом накормим до отвала для укрепления сил, а поутру, если она оправится, я ей дам форы пару часов — и вперед, к старой жизни. Как насчет этого, а, Глатисантушка? Твое дело улепетывать, мое — догонять. Подите сюда, Робин Гуд, или как вас там, — вы небось думали, я не знаю, — все я знаю, будет уж вам опираться на лук с видом этакого нерадивого следопыта. Давайте, голубчик, встряхнитесь, и пусть этот свихнувшийся на мускулатуре сержант пособит вам ее нести. Ну, подняли, да полегче. Вперед, обормоты, да смотрите у меня, не споткнитесь. Пуховые подушки, «дачи», надо же! Детский лепет! Давайте-давайте, двигайтесь, вперед, шагом марш! Головы у вас пуховые, вот это как называется!

— Что же до вас, Груммор, — прибавил Король уже после того, как закончил, — можете сами влезть в вашу постель, накрыться периной и задохнуться!

## 17

— По-моему, — сказал Мерлин, как-то под вечер взглянув на Варта поверх очков, — тебе самое время получить еще одну порцию образования. Я хочу сказать, Время-то уходит.

Дело было ранней весной, и все, что виделось из окна, казалось прекрасным. Зимний покров сошел и увлек за собой сэра Груммора, мастера Твайти, Короля Пеллинора и Искомого Зверя, — последний под воздействием доброты, молока и хлеба поправился. Он ускакал в снега, всем своим видом выказывая благодарность, а два часа спустя за ним последовал взволнованный Король, и зрители на зубчатых стенах наблюдали за тем, как Зверь, достигнув границы ловчего поля, принялся с большой изобретательностью запутывать следы на снегу. Он то бежал задом, то отпрыгивал в сторону футов на двадцать, то хвостом заметал отпечатки, то отползал вбок, цепляясь за нижние ветви деревьев, — словом, с явным наслаждением проделывал множество разных фокусов. Видели они и Короля Пеллинора, который, пока все это длилось, стоял, исправно зажмуря глаза и считая до десяти тысяч, а потом,

добравшись до трудного места, совершенно запутался и в конце концов ускакал галопом не в ту сторону, волоча за собою ищейку.

День был чудесный. За окном классной комнаты лиственницы далекого леса уже оделись в слепящую зелень, и земля сверкала, набухая миллионами капель, и лесные птицы все уже вернулись домой — повесничать и петь. По вечерам деревенский люд копошился у себя в огородах, высаживая фасоль, и казалось, что ради этих неотложных дел и ради тех, что возникли (одновременно с высадкой фасоли) у слизняков, у почек, у птиц, у ягнят, — все живое, словно по сговору, высыпало наружу.

— Так в кого бы ты хотел превратиться? — спросил Мерлин.

Варт выглянул в окно, прислушиваясь к повторенной дважды чистой песенке дрозда. Он сказал:

— Я уже был однажды птицей, но только ночью, в кречатне, а полетать мне так и не пришлось. Даже при том, что не следует дважды делать одного и того же урока, как ты считаешь, — нельзя мне побыть птицей, чтобы и этому научиться?

Его мучала зависть к птицам, которая томит по весне всякого чувствительного человека и дохо-

дит порой до таких проявлений, как разорение птичьих гнезд.

— Не вижу к сему никаких препятствий, — сказал чародей. — Почему бы тебе не попробовать полетать нынешней ночью?

— Но ведь ночью они спят.

— Тем больше будет возможностей их разглядеть, не спугнув. Ты мог бы вечером отправиться с Архимедом, он тебе все расскажет о них.

— Ты это сделаешь, Архимед?

— С наслаждением, — ответил Архимед. — Я и сам бы не прочь слегка прогуляться.

— А ты знаешь, — спросил Варт, думая о дрозде, — почему птицы поют и как? Это что, их язык?

— Разумеется, язык. Не богатый язык, не такой, как у человека, но все же довольно развитый.

— Гилберт Уайт, — сказал Мерлин, — заметил или еще заметит, это уж как вам больше нравится, что «язык птиц весьма древен и, как и в других древних разновидностях речи, говорится в нем малое, но подразумевается многое». Где-то у него сказано также, что «грачи в пору кормленья птенцов покушаются иногда — в веселии сердца — запеть, но без большого успеха».

— Грачей я люблю, — сказал Варт. — Странно,

но это мои любимые птицы.

— Почему? — спросил Архимед.

— Ну, просто они мне нравятся. Мне нравится их дерзость.

— Нерадивые родители, — процитировал Мерлин, пребывавший в ученом расположении, — и дерзкие, распущенные дети.

— Вообще говоря, — задумчиво сказал Архимед, — всем вороньим присуще извращенное чувство юмора.

Варт пояснил:

— Мне нравится, как они наслаждаются полетом. Они не просто летают, как прочие птицы, они летают ради веселья. Особенно приятно смотреть, как они на ночь слетаются к гнездам, гогоча, переругиваясь и пихаясь, словно простонародье. А иногда они переворачиваются на спину и кувыркаются в воздухе, просто для смеха или же забыв, что они вообще-то летят, и принимаясь по-простецки вычесывать блох.

— Они разумные птицы, — сказал Архимед, — несмотря на их низменный юмор. Ты знаешь, они из тех птиц, у которых имеется парламент и общественное устройство.

— Ты хочешь сказать, что у них есть законы?

— Да уж, разумеется, есть. Каждую осень они

слетаются на поле, чтобы их обсудить.

— И каковы же эти законы?

— Ну, как тебе сказать, — законы о защите грачиного гнездовья, о браке и тому подобные. Запрещается, например, вступать в брак вне гнездовья, а уж если ты утрачиваешь всякое чувство приличия и приводишь себе чернявую девицу из соседнего поселения, то все раздирают твое гнездо на кусочки, едва ты его построишь. Тебя вынуждают переселиться в пригород, вот потому-то вокруг каждого грачиного гнездовища на нескольких деревьях непременно видны отдельные гнезда.

— И что мне еще в них нравится, — сказал Варт, — это их пылкость. Они, может быть, и воры, и склонны к дурацким розыгрышам, и скандалят, и задирают друг друга, при этом вопя во все горло, а все же у них хватает отваги всей оравой наваливаться на врага. Потому что даже если вас целая стая, все же, по-моему, чтобы напасть на ястреба, требуется отвага. И даже атакуя его, они продолжают валять дурака.

— Орава — она орава и есть, — надменно произнес Архимед. — Это ты верное слово сказал.

— Ну что же, во всяком случае это веселая орава, — ответил Варт, — и мне она нравится.

— А какая твоя любимая птица? — ради поддержания мира вежливо спросил Мерлин.

Некоторое время Архимед размышлял, а затем ответил:

— Что ж, это серьезный вопрос. Это все равно как спросить у тебя, какая твоя любимая книга. В целом, однако, я думаю, что мне следует предпочесть голубя.

— Он что, вкуснее?

— Эту сторону дела я не рассматриваю, — сказал Архимед тоном воспитанного человека. — В сущности говоря, голубь представляет собой любимое блюдо всякого хищника, разумеется, если хищник достаточно велик, чтобы с ним справиться, но я имел в виду лишь его бытовые повадки.

— Опиши их.

— Голубь, — сказал Архимед, — это своего рода квакер. Одевается он во все серое. В детях послушен, в любви постоянен, в родителях мудр и знает, как знает всякий философ, что любой человек ему враг. С ходом столетий голубь приобрел множество специальных познаний по части спасения бегством. Ни единый голубь никогда не совершит акта агрессии, равно как и не нападет на своих преследователей; но с другой стороны, не существует птицы, столь же искусной в при-

емах уклонения от них. Голубь научился падать с дерева вниз со стороны, противоположной подходящему к дереву человеку, и лететь низом так, чтобы между ним и человеком оказалась изгородь. Нет птицы, которая так же хорошо оценивает расстояние. Бдительные, пыльные, пахучие и легко теряющие перья, — отчего собаки отказываются брать их в зубы, — защищенные от дроби подбивкою своего оперения, голуби с истинной любовью воркуют друг с дружкой, с истинной заботливостью вскармливают своих хитроумно сокрытых детенышей и с истинной мудростью упархивают от любого агрессора — раса любителей мира, вечных переселенцев, уходящих в своих крытых фургонах от воинственных индейцев. Это любящие индивидуалисты, выживающие в борьбе с силами массового истребления лишь благодаря философии бегства.

— Знаешь ли ты, — прибавил Архимед, — что чета голубей всегда устраивается на ночлег головою к хвосту друг друга, так, чтобы можно было посматривать в обе стороны?

— Я знаю, что так делают наши домашние голуби, — сказал Варт. — И думаю, что люди вечно норовят их убить оттого, что они такие прожорливые. Что мне нравится в вяхирях, так это то,

как они хлопают крыльями и как они во время брачных полетов взмывают вверх, складывают крылья и падают, так что полет их походит на полет дятла.

— Вообще-то на дятлов они не похожи, — сказал Мерлин.

— Вообще-то нет, — признал Варт.

— А у тебя какая птица любимая? — спросил Архимед, чувствуя, что надо дать высказаться и хозяину.

Мерлин сложил пальцы вместе, как Шерлок Холмс, и без промедленья ответил:

— Я предпочитаю зяблика. Мой друг Линней называет его coelebs, или птицей-холостяком. Стаям зябликов хватает ума разделяться на зиму, так что самцы и самки летают отдельно. А потому хотя бы в зимние месяцы они живут в совершенном мире.

— Наша беседа, — напомнил Архимед, — началась с вопроса о том, умеют ли птицы говорить.

— Другой мой друг, — немедленно откликнулся Мерлин наиученейшим своим тоном, — утверждает или будет утверждать, что все разговоры о птичьем языке начинаются с вопроса о подражании. Аристотель, как ты знаешь, также выводит трагедию из подражания.

Архимед испустил тяжкий вздох и обронил с пророческой интонацией:

— Ну давай уж, выкладывай все до конца.

— Дело обстоит так, — сказал Мерлин. — Кобчик падает на мышь, и несчастная мышь, пронзенная его когтями, испускает в агонии писк: «Киии!» В следующий раз, когда кобчик завидит мышь, он уже сам из подражания начинает выкрикивать: «Киии». Другой кобчик, возможно супруг или супруга первого, присоединяется к этому крику, и через несколько миллионов лет уже все кобчики выкликают друг друга только им присущей нотой: «Кии-кии-кии».

— Но нельзя же строить все выводы на одной только птице, — сказал Варт.

— А я и не собираюсь. Крик соколов походит на крик их добычи. Кряквы квакают совсем как лягушки, которых они едят, тоже и сорокопуты подражают горестным крикам тех, кого они употребляют в пищу. Дрозды, в том числе и черные, щелкают, как улиточьи домики, которые они разбивают. Разного рода вьюрки воспроизводят звук, сопровождающий разгрызанье семян, а дятлы подражают стуку по дереву, который они издают, когда добывают себе на прокорм насекомых.

— Но ведь у всех птиц в песнях больше одной

только ноты!

— Конечно-конечно. Из подражания возникла только призывная нота, а затем в результате ее повторения и варьирования появились различные птичьи напевы.

— Я тебя понял, — холодно сказал Архимед. — А обо мне что ты скажешь?

— Ну, ты же отлично знаешь, — сказал Мерлин, — что мышь-землеройка, на которую ты налетаешь, восклицает: «Куиик!». По этой самой причине молодняк твоего вида призывает друг друга криком «Куиик».

— А старики? — саркастически осведомился Архимед.

— Хуруу, Хуруу, — не желая сдаваться, воскликнул Мерлин. — Друг мой, это элементарно. После первой своей зимы они подражают завыванию ветра в том древесном дупле, которое выбрали для ночлега.

— Понятно, — холоднее, чем когда бы то ни было, произнес Архимед. — Отметим, что на сей раз ни о какой добыче речь не идет.

— Ой, да брось, пожалуйста, — парировал Мерлин. — Существуют же и другие вещи помимо еды. Например, даже птица время от времени пьет воду или купается в ней. Именно звук реч-

ного течения и слышим мы в песне скворца.

— Теперь, как видно, — сказал Архимед, — дело уже не только в том, что мы едим, но и в том, что пьем или слышим.

— А почему бы и нет?

— Ну хорошо, пускай, — сказал, уступая, Архимед.

— А по-моему, это интересная мысль, — сказал Варт, чтобы подбодрить наставника. — Но как же из этих подражаний получился язык?

— Поначалу были простые повторы, — сказал Мерлин, — потом пошли вариации. Ты, как видно, не осознаешь, как много значит интонация и скорость произнесения. Положим, я бы сказал: «Какой хороший денек», вот так — просто. Ты бы ответил мне: «Да, хороший». Но если бы я с нежной интонацией произнес: «Какой *хороший* денек», ты, возможно, подумал бы обо мне: «Вот приятный человек». С другой стороны, если бы я почти неслышно шепнул: «Какой хороший денек», ты, быть может, начал бы озираться, пытаясь понять, что меня так напугало. Вот примерно таким образом птицы и разработали свой язык.

— А не мог бы ты нам сообщить, — сказал Архимед, — раз уж ты столько всего знаешь об

этом, как много различных сведений способны мы, птицы, передавать, меняя темп и ударения в коленцах наших так называемых призывных кликов?

— Разумеется, очень много. Если ты влюблен, ты будешь кричать «Кии-уик» с мягкими ударениями, а посылая вызов или выражая ненависть, выкрикнешь то же «Кии-уик» сердито; ты испускаешь призывный клич с повышением тона, если не знаешь, где твой партнер, или же хочешь отвлечь его внимание от гнезда, когда близ него появляется кто-то чужой; приближаясь зимней порой к старому гнезду, ты можешь прокричать те же ноты любовно — это условный рефлекс, закрепленный радостями, которые ты когда-то испытал в этом гнезде, а если я подойду к гнезду и тебя напугаю, ты можешь выкрикнуть: «Киуик-кииуик-кииуик» — и получится громкий сигнал тревоги.

— Когда разговор доходит до условных рефлексов, — кисло заметил Архимед, — я предпочитаю отправляться на поиски мыши.

— Пожалуйста, отправляйся. И когда ты ее найдешь, ты, смею утверждать, испустишь еще один клич, характерный для неясытей, хоть и не часто упоминаемый в книгах по орнитологии. Я говорю

о звуке «ток» или «тцк», о котором человеческие существа говорят: «причмокнуть губами».

— И чему же, как ты полагаешь, подражает сей звук?

— Очевидно, хрусту мышиных костей.

— Ловко у тебя это выходит, хозяин, — сказал Архимед, — и до тех пор, пока дело касается одной только бедной неясыти, ты останешься победителем. Исходя из моего личного опыта, я могу сказать тебе только одно: все твои речи ничего не стоят. Синичка способна поведать тебе не только о том, что ей угрожает опасность, но и какая именно. Она умеет сказать: «Берегись кошки», или «Берегись ястреба», или «Берегись неясыти» так ясно, как если бы ты это в азбуке прочел.

— Я этого и не отрицаю, — сказал Мерлин. — Я говорил тебе лишь о началах языка. А вот попробуй-ка ты назвать мне хотя бы одну птичку, применительно к пению которой я бы не смог указать исходного образца для подражания.

— Козодой, — сказал Варт.

— Жужжанье пчелиных крыл, — тут же ответил его наставник.

— Соловей, — безнадежно сказал Архимед.

— Ах, — произнес Мерлин, откидываясь в уютном кресле. — Тут нам предстоит воссоздать

душевную песнь нашей возлюбленной Прозерпины, пробуждающейся во всей ее текучей красе.

— Тирию, — мягко вымолвил Варт.

— Пию, — тихо добавил Архимед.

— Музыка! — в восторге заключил некромант, не способный воспроизвести и самых элементарных подражательных нот.

— Привет, — сказал Кэй, открывая дверь в вечереющую классную комнату. — Извините, что опоздал на урок географии. Пытался добыть несколько птичек с помощью арбалета. Видите вот, дрозда подстрелил.

## 18

Варт лежал, как ему и было велено, бодрствуя. Следовало дождаться, пока уснет Кэй, и тогда за ним придет Архимед с Мерлиновым волшебством. Он лежал под огромной медвежьей шкурой и смотрел в окно на весенние звезды, уже не морозные и металлические, но как бы отмытые заново, набухающие влагой. Вечер был замечательный — ни дождя, ни облачка. Небо между звездами казалось сделанным из самого темного и роскошного бархата. В проеме глубокого, глядящего на запад окна над самым горизонтом гнались за Сириусом ловчие псы-звезды, Альдебаран и Бетельгейзе, озираясь на своего господина, — на Орион, еще не взошедший над краем земли. Сквозь окно проникал в комнату ясно различимый аромат укрытых ночью цветов, ибо уже зацветала смородина, дикая вишня, слива, боярышник, и слышно было, как в окружающих, смутно различимых деревьях не менее пяти соловьев состязаются в конкурсе певческой красоты. Варт лежал на спине, под наполовину сползшей медвежьей шкурой, скрестив за головою руки. Ночь была слишком прекрасна,

чтобы спать, слишком тепла, чтобы подтягивать шкуру. Как зачарованный, следил он за звездами. Скоро снова настанет лето, он сможет уходить ночевать на замковые стены и видеть, как звезды парят над его лицом — близко, будто мотыльки, — они и похожи, по крайности Млечный Путь, на пыльцу с мотыльковых крыльев. И в то же самое время они будут так далеки, что в переполненной вздохами душе начнут беспомощно роиться неизъяснимые мысли о вселенной и вечности, и он представит себе, как улетает меж ними, все выше и выше, никогда их не достигая, никогда не завершая полета, все покидая, всего лишаясь в спокойной стремительности пространства.

Когда Архимед пришел за ним, он уже крепко спал.

— Съешь-ка вот это, — сказал Архимед и вручил ему дохлую мышь.

Варт чувствовал себя до того необычно, что без протестов принял пушистую кроху и сунул ее в рот, даже не подумав, что она может оказаться препротивной. А потому и не удивился, почувствовав, что вкус у нее отменный, — что-то вроде неочищенного персика, хотя, конечно, сама мышь была вкусней своей шкурки.

— А теперь пора и в полет, — сказал Архимед. —

Запрыгни на подоконник и посиди немного, чтоб попривыкнуть, прежде чем мы снимемся.

Варт вспрыгнул на подоконник и машинально лишний раз взмахнул крыльями — точно так же, как взмахивает руками прыгун в высоту. Он плюхнулся на подоконник с глухим ударом, какой слышишь, когда садится с лету сова, но вовремя остановиться не смог и вывалился из окна.

«Ну вот, — развеселившись, подумал он, — тут-то я и сверну себе шею».

Странное дело, но он почему-то не воспринимал . жизнь всерьез. Стены замка пронеслись мимо, замковый ров и земля наплывали на Варта. Он ударил крыльями, и земля ушла вниз, будто вода в худом колодце. Через секунду сила удара истратилась, и земля вновь начала приближаться. Он ударил еще раз. Как странно было нестись над то взбухавшей, то опадавшей под ним землей в полном беззвучии бахромчатого оперения.

— Ради всего святого, — послышался задыхающийся голос Архимеда, мотавшегося вверх и вниз в темноте сзади него, — перестань ты летать, словно дятел. Глядя на тебя, всякий решил бы, что ты — домовый сыч, если бы эту тварь уже завезли в страну. Ты знаешь, что ты делаешь? Ты бьешь

крыльями, набираешь скорость, забираешься, пока она не иссякнет, вверх, зависаешь, а как только начинаешь терять высоту, бьешь крыльями снова — и все сначала. С тобой невозможно держаться вровень.

— Ну да, — беспечно, сказал Варт, — а если я не стану этого делать, я просто свалюсь на землю.

— Идиот, — сказал Архимед. — Ты должен все время помахивать крыльями, а не подпрыгивать на них таким манером.

Варт сделал, как ему было сказано, и с удивлением обнаружил, что земля выровнялась и движется под ним, не покачиваясь, ровным потоком.

— Вот так-то лучше.

— Как странно все выглядит, — отметил мальчик с некоторым изумлением, ибо теперь у него появилась возможность как следует оглядеться.

И вправду, мир выглядел странно. Пожалуй, лучше всего мы опишем его, если скажем, что он походил на фотографический негатив, ибо Варт теперь видел кое-что за пределами спектра, доступного человеческим существам. Инфракрасная камера способна фотографировать в темноте, в которой мы ничего не увидим, но она же фотографирует и при дневном освещении.

То же и с совами, ибо утверждение, что видят они лишь ночью, было бы несправедливым. Они хорошо видят днем, да только они еще обладают тем преимуществом, что и ночью видят не хуже. А потому они, естественным образом, предпочитают охотиться ночью, когда прочим тварям остается рассчитывать лишь на их милосердие. В дневное время зеленые деревья показались бы Варту белесыми, как бы покрытыми яблоневым цветом, и сейчас, ночью, все тоже выглядело поиному. Это было все равно как лететь в сумерках, когда все краски сведены к оттенкам одного и того же цвета, и, как и в сумерках, вид был довольно мрачный.

— Тебе нравится? — спросил Архимед.

— Очень нравится. Знаешь, когда я был рыбой, вода в одних местах была потеплее, в других — похолоднее, вот и с воздухом то же самое.

— Температура, — сказал Архимед, — зависит от растительности внизу. Деревья и травы, все они согревают над собою воздух.

— Да, — сказал Варт, — понимаю теперь, почему рептилии, выйдя из рыб, решили податься в птицы. Дело, безусловно, приятное.

— А ты начинаешь соображать что к чему, — отметил Архимед. — Не будешь возражать, если

мы присядем?

— А как это сделать?

— Надо зависнуть. То есть ты должен подниматься, пока не лишишься скорости, — и тогда, как только почувствуешь, что начинаешь падать, — ты, ну, просто садишься. Ты когда-нибудь приглядывался, как птицы подлетают к ветке? Они не опускаются на нее сверху, но подныривают под нее, а затем поднимаются. А в верхней точке подъема зависают и садятся.

— Но птицы ведь и на землю садятся. И как кряквы опускаются на воду? Они же не могут подняться, чтобы сесть на нее.

— Ну, опуститься на землю или на что-нибудь плоское — дело вполне возможное, только более трудное. Приходится полого скользить с постоянно убывающей скоростью, а под конец увеличивать сопротивление воздуха, расправляя зонтиком крылья, опуская ноги, хвост и так далее. Ты, может быть, замечал, что немногим птицам удается проделать это, сохранив грациозность. Присмотрись, как плюхается ворона и сколько брызг поднимает кряква. Лучше всех это делают птицы, у которых крылья изогнуты, — цапли, скажем, или зуйки. И если правду сказать, мы, совы, тоже неплохо с этим справляемся.

— А длиннокрылые птицы, вроде стрижей, они, я полагаю, делают это хуже всего, потому что вообще не способны взлететь с плоской поверхности?

— Тут причины иные, — сказал Архимед, — но факты изложены верно. Однако так ли уж нужно нам беседовать на лету? Я начинаю уставать.

— Я тоже.

— Совы, как правило, предпочитают присаживаться через каждую сотню ярдов.

Варт, скопировав Архимеда, взлетел к выбранной ими ветке. Как только они оказались над ней, он начал падать, в последний миг уцепил ее своими мохнатыми лапками, пару раз качнулся взад-вперед, понял, что посадка прошла успешно, и сложил крылья.

Пока Варт тихо сидел, любуясь видом, его друг продолжал свою лекцию о птичьем полете. Стриж, конечно, хороший летун, рассказывал он, такой хороший, что способен проспать на лету целую ночь, недурны и грачи, — Варт ведь сам говорил, что любуется тем, как они наслаждаются полетом, — и все же, если взять небольшие высоты, — что автоматически сбрасывает стрижа со счетов, — истинным аэронавтом следует счесть зуйка. Он рассказывал о любви зуйков к воздуш-

ной акробатике, об их способности выполнять такие трюки, как вращение на лету, разворот с остановкой и даже кувырок через голову, — и все это из одной лишь любви к искусству. Зуйки — единственные птицы, практикующие посадку скольжением с большой высоты, не считая старейшего, самого веселого и красивого из всех воздухоплавателей, — ворона, который тоже проделывает это время от времени. Варт уделял этой лекции мало внимания, если вообще уделял, занятый приноравливанием глаз к странным тонам освещения. Краешком глаза он поглядывал на Архимеда, ибо Архимед, рассказывая, бессознательно высматривал, чем бы ему отобедать. Вид он при этом имел удивительный.

Верхушка теряющего скорость волчка перед тем, как ему упасть, описывает медленные круги. Основание его остается на месте, но макушка кружится, и чем ближе конец, тем большие круги она совершает. Именно это и проделывал, не сознавая того, Архимед. Лапы его стояли недвижно, а верхняя часть тела вращалась, как у человека, оказавшегося в кинотеатре за спиною у толстой дамы и не вполне уверенного, с какого ее боку лучше будет виден экран. Поскольку Архимед к тому же обладал способностью выкручивать

голову на плечах едва ль не на полный круг, легко себе представить, что зрелище получилось стоящее внимания.

— Что это ты делаешь? — спросил Варт.

Он еще не договорил, когда Архимед вдруг исчез. Вот только что сидела себе неясыть, рассказывала про зуйка, и вдруг — глядь, никакой неясыти нет. Лишь далеко внизу под Вартом послышался глухой шлепок, шелест листвы, как будто воздушная торпеда врезалась в заросли и летит, не считаясь с помехами.

Через минуту Архимед уже опять сидел рядом с ним на ветке, задумчиво раздирая мертвого воробья.

— А можно я так тоже попробую? — спросил Варт, ощутив вдруг склонность к кровопролитию.

— Вообще говоря, — ответил Архимед, проглотив то, что у него было во рту, — нельзя. Хватит с тебя и волшебной мыши, превратившей тебя в сову, — в конце-то концов, ты целый день кормился, как положено человеку, — к тому же ни одна сова не убивает удовольствия ради. И кроме прочего, предполагалось, что я возьму тебя с собой в образовательных целях, и как только я перекушу, мы образованием и займемся.

— И куда ж ты меня отправишь?

Архимед прикончил воробья, воспитанно вытер клюв о сучок и уставил на Варта широко распахнутые глаза. На этих больших, круглых глазах лежал, как выразился один знаменитый писатель, налет света, подобный лиловатому налету пыли на винограде.

— Теперь, поскольку ты умеешь летать, — сказал он, — Мерлин желает, чтобы ты побыл Диким Гусем.

Место, в котором он очутился, было совершенно плоским. В человечьем мире настоящая плоскость встречается редко, потому что дома, деревья, ограды иззубривают ландшафт. Трава и та тянется кверху бесчисленными стебельками. Но здесь, в утробе ночи, среди беспредельной, плоской, влажной грязи, напоминавшей черный творог, зацепиться глазу было решительно не за что. Даже если бы на ее месте простирался мокрый песок, и то бы он нес на себе отпечатки волн, схожие с нашими небными складками.

Лишь одна первородная стихия обитала на этой огромной равнине — ветер. Ибо здешний ветер был, безусловно, стихией. В нем ощущались пространность, могущество тьмы. В человеческом мире ветер приходит откуда-то и куда-то

уходит и, уходя, через что-то проходит — через деревья, улицы или ограды. Этот ветер приходил ниоткуда. И проходил через плоское ничто в никуда. Пологий, почти беззвучный, если не считать странного гула, осязаемый, бесконечный, ошеломляющий протяженностью, он тяжко тек над грязью. Его контуры можно было очертить по линейке. Титанические серые линии его шли, не колеблясь и не прерываясь. Можно было бы повесить на него зонтик за гнутую ручку, и тот так бы и остался висеть.

На этом ветру Варт ощущал себя как бы еще не сотворенным. Если не брать в расчет влажной твердыни под его перепончатыми лапами, он обитал в пустоте, в плотной, подобной хаосу, пустоте. Его ощущения были ощущениями геометрической точки, загадочным образом существующей на кратчайшем пути между двумя другими, или же линии, прочерченной по плоской поверхности, у коей имеются ширина и длина, но никакого объема. Никакого объема! Да ветер и являл собою объем в чистом виде! В нем были мощь, текучесть, сила, устремленность и ровность мирового потока, неуклонно изливающегося в преддверия ада.

Впрочем, и этому чистилищу поставлены были

пределы. Далеко на востоке, может быть в целой миле, стояла сплошная звуковая стена. Она нарастала, спадала, словно сжимаясь и разжимаясь, но оставалась сплошною. В ней слышалась угроза, она жаждала жертв, — ибо там простиралось огромное безжалостное море.

В двух милях к западу виднелись треугольником три пятнышка света. То светились слабенькие лампадки в хижинах рыбаков, вставших пораньше, чтобы поймать прилив в запутанных протоках соленых болот, где вода порою текла из океана. Тем и исчерпывались черты его мира — звук моря и три огонька; темень, пологость, пространность, влажность; и ровный поток ветра, вливающийся в бездонную ночь.

Когда забрезжил робкий день, мальчик обнаружил, что находится среди множества подобных ему созданий. Одни сидели в грязи, теперь взбаламученной злыми мелкими водами возвращающегося моря, другие уже уплывали по этой воде, пробужденные ею, от надоедливого прибоя. Сидевшие имели сходство с большими чайниками, засунувшими носики себе под крылья. Плывущие время от времени окунали головы в воду и затем трясли ими. Те, что проснулись еще до наступленья воды, стояли, с силой взма-

хивая крыльями. Глубокое безмолвие сменилось гоготом и болтовней. Их было сотни четыре в серой окрестности — замечательно красивых существ, диких белогрудых гусей, которых человек, однажды видевший их вблизи, никогда уже не забудет.

Задолго до восхода солнца они уже изготовились к полету. Прошлогодние семейные выводки сбивались в стайки, а сами эти стайки проявляли склонность к объединению с другими стайками, возможно под водительством дедушки или даже прадедушки или какого-то признанного вожака небесного воинства. Когда примерное разделение на отряды было завершено, в разговорах гусей обнаруживалась нотка легкого возбуждения. Они принимались резко вертеть головами то в одну, то в другую сторону. А затем, развернувшись по ветру, все вместе вдруг поднимались на воздух, по четырнадцать или по сорок гусей разом, и широкие крылья их загребали темноту, и в каждом горле трепетал восторженный вопль. Сделав круг, они быстро набирали высоту и скрывались из виду. Уже на двадцати ярдах они терялись во мраке. Те, что снялись пораньше, не издавали особого шума. До прихода солнца они предпочитали помалкивать, отпуская лишь случайные

замечания или, если возникала какая-либо опасность, выкликая одну предупредительную ноту. Тогда, заслышав предупреждение, все вертикально взмывали в небо.

Вартом овладевало беспокойство. Темные эскадрильи над его головой, поминутно снимавшиеся с земли, заронили в него вожделение. Его томила потребность последовать их примеру, но он не чувствовал уверенности в себе. Может быть, их семейные стаи, думал он, воспротивятся его вторжению. И все же ему не хотелось остаться в одиночестве. Ему хотелось соединиться с ними, насладиться обрядом утреннего полета, явно доставлявшего им удовольствие. В них ощущалось товарищество, вольная дисциплина и joie de vivre.

Когда ближайший к мальчику гусь расправил крылья и подскочил, он машинально проделал то же. Около восьми его соседей уже несколько времени дергали клювами, и он подражал им, словно их действия были заразительными, и теперь вместе с той же восьмеркой он полетел по гладкому воздуху. В миг, когда он покинул землю, ветер пропал. Неугомонность и свирепость его сгинули, как отсеченные ножом. Варт оказался у ветра внутри, и внутри был покой.

Восьмерка гусей построилась в линию, строго выдерживая равные промежутки. Варт оказался последним. Они летели к востоку, где занимался слабый свет, и вскоре перед ними стало всходить яркое солнце. Далеко за простором земли оранжево-алая трещина пронизала гряду облаков. Сияние разрасталось, внизу завиделись соленые топи. Они открылись перед ним лишенными примет болотами или вересковыми пустошами, по воле случая ставшими частью моря, — их вереск, еще сохранивший сходство с вереском, сопрягался с морской травой, пока не измок и не просолился, и ветви его осклизли. Место ручьев, что текли бы сквозь пустошь, заняла морская вода, пробившая русла в синеватой грязи. Там и сям стояли на кольях длинные сети, в которые мог бы влететь невнимательный гусь. Они-то и были, как он догадался, причиной тех предостерегающих криков. Две-три свиязи свисали с сетей, и далеко на востоке человек, похожий на муху, с жалким упорством тащился по слякоти, чтобы собрать добычу в мешок.

Солнце, вставая, окрасило пламенем ртуть протоков и мерцающий ил. Кроншнепы, начавшие скорбно стенать еще до рассвета, теперь перелетали с одной травянистой отмели на дру-

гую. Свиязи, ночевавшие на воде, принялись высвистывать свои сдвоенные ноты, похожие на свист рождественских шутих. Против ветра поднимались с земли кряквы. Травники, словно мыши, прыскали в стороны. Облачко крошечных чернозобиков, более плотное, чем стайка скворцов, разворачивалось в воздухе с шумом идущего поезда. С веселыми криками снималась с сосен, растущих на дюнах, черная воронья стража. Всяких видов береговые птицы облепили линию прибоя, наполнив ее оживлением и красотой.

Заря, заря над морем и совершенство упорядоченного полета были исполнены такой прелести, что мальчику захотелось запеть. Ему захотелось влиться в хор, славящий жизнь, и поскольку вокруг него крылья несли тысячу гусей, долго ждать ему не пришлось. Смех и музыка мгновенно пронизали караваны этих созданий, подобно дыму струившихся по небу грудью к встающему солнцу. Каждый отряд их пел на свой манер: кто проказливо, кто торжественно, кто чувствительно, кто с ликованием. Предвестники дня заполнили рассветное небо, и вот что они запели:

*О мир, под крылом кружащий, простри персты перламутра!*

*Солнце седое, сияй белогрудым баловням утра!*

*Багряные блики зари узри на груди гордой,*

*Услышь, как в каждой гортани гудят органы и горны!*

*Внемлите, темные тучи кочующего батальона,*

*Рожкам и рычанью гончих, гаму небесного гона!*

*В далекие дали, далёко, вольны и велики,*

*Уходят Anser albifrons, их песни и клики.*[5]

Стоял уже день, Варт прогуливался по неровному полю. Вокруг паслись товарищи по полету, выдергивая траву боковыми рывками мягких маленьких клювов, извивая шеи крутыми дужками, столь отличными от грациозных лебединых изгибов. И пока они так кормились, кто-то из их числа непременно стоял на страже, задрав по-змеиному голову. В недавние зимние месяцы, а то и в прежние зимы они разбились на пары,

---

**[5] notes: 5**
Перевод С. Степанова.

разбиение это сохранялось и там, где паслось семейство или целый летучий отряд. Молодая самочка, спавшая бок о бок с ним на грязевой равнине, была однолеткой. Она то и дело поглядывала на него умным глазом.

Мальчик, украдкой присмотревшись к ней, разглядел полненькое плотное тельце и приятные складочки на шее. Эти складки, как он краем глаза заметил, создавались разностью в оперении. Ряды вогнутых перышков отделялись один от другого, образуя подобие бахромы, которую он нашел очень изящной.

Наконец, молодая гусыня пихнула его клювом. Она как раз была часовым.

— Ты следующий, — сказала она.

Не дожидаясь ответа, она опустила голову и тем же движением выдернула травинку. Так, кормясь, она постепенно отдалилась от него.

Варт стоял на часах. Он не знал, за чем ему должно следить, и не видел никакого врага — только и было крутом, что кочки да его пасущиеся сотоварищи.

— Что это ты делаешь? — спросила она, когда спустя полчаса ей случилось проходить мимо.

— Стою на страже.

— Да ну тебя, — сказала она, хихикнув — или

правильнее сказать «гоготнув»? — Глупенький!

— Почему?

— Сам знаешь

— Честно, не знаю, — сказал он. — Я что-то не так делаю? Мне непонятно.

— Клюнь следующего. Ты перестоял уже самое малое вдвое больше положенного.

Варт сделал, как ему было сказано, и ближайший гусь принял у него вахту, а Варт подошел поближе к гусыне и стал пастись рядом с ней. Они пощипывали траву, косясь друг на дружку бисеринами глаз.

— Я показался тебе глуповатым, — застенчиво сказал он, впервые решившись открыть животному свою истинную видовую принадлежность, — но это потому, что я вообще-то не гусь. Я был рожден человеком. По правде, это мой первый полет.

Она удивилась, но не сильно.

— Это бывает не часто, — сказала она. — Люди обычно стремятся стать лебедями. Последними у нас тут побывали дети короля Лира. Впрочем, насколько я понимаю, все мы из семейства гусиных.

— О детях Лира я слышал.

— Им тут не понравилось. Они оказались безна-

дежными националистами, и такие религиозные были — все время вертелись вокруг одной ирландской часовни. Можно сказать, что других лебедей они вообще старались не замечать.

— А мне у вас нравится.

— Я так и подумала. Тебя зачем прислали?

— Учиться.

Они попаслись в молчании, пока его собственные слова не напомнили ему кое-что, о чем он хотел спросить.

— Часовые, — сказал он. — Мы что, воюем? Она не поняла последнего слова.

— Воюем?

— Ну, деремся с другим народом?

— Деремся? — неуверенно переспросила она. -

Мужчины, бывает, дерутся — из-за своих жен и так далее. Конечно, без кровопролития, — так, немножко помутузят друг друга, чтобы выяснить, кто из них лучше, кто хуже. Ты это имел в виду?

— Нет. Я имел в виду сражения армий — например с другими гусями.

Это ее позабавило.

— Интересно! Ты хочешь сказать, что собирается куча гусей и все одновременно тузят друг друга? Смешное, наверное, зрелище.

Тон ее удивил Варта, ибо он был еще мальчи-

ком и сердце имел доброе.

— Смешно смотреть, как они убивают друг друга?

— Убивают друг друга? Гусиные армии, и все убивают друг друга?

Медленно и неуверенно она начала постигать эту идею, и по лицу ее разливалась гадливость. Когда постижение завершилось, она пошла от него прочь. И молча ушла на другую сторону поля. Он последовал за ней, но она повернулась к нему спиной. Он обошел ее кругом, чтобы заглянуть ей в глаза, и испугался, увидев в них выражение неприязни, — такое, словно он сделал ей некое непристойное предложение.

Он неуклюже сказал:

— Прости. Я не понял.

— Прекрати эти разговоры!

— Прости.

Немного погодя он с обидой добавил: «По-моему, нельзя запрещать человеку спрашивать. А из-за часовых вопрос представлялся естественным».

Оказалось, однако, что разозлил он ее донельзя.

— Сейчас же прекрати эти разговоры! Хорошенькие мысли, должно быть, тебя посещают,

мерзость какая! Ты не имеешь никакого права говорить подобные вещи. Разумеется, у нас есть часовые. Здесь водятся и кречеты, и сапсаны, — ведь так? — и лисы, и горностаи, да и люди с сетями. Это естественные враги. Но какая же тварь дойдет до такой низости, чтобы разгуливать целыми бандами и убивать существ одной с нею крови?

— Муравьи, например, — упрямо сказал он. — И потом, я хотел ведь только узнать.

Она сделала над собою усилие, заставив себя проявить снисходительность. Было в ней что-то от синего чулка, — она полагала необходимым придерживаться, по возможности, широких взглядов.

— Меня зовут Лё-лёк. А тебе лучше назваться Кии-куа, тогда все подумают, что ты из Венгрии.

— А вы все слетаетесь из разных мест?

— Да, конечно, ну, то есть разные стаи. Кое-кто здесь из Сибири, другие из Лапландии, и, по-моему, я вижу одного-двух исландцев.

— И они не дерутся друг с дружкой за пастбища?

— Господи, и дурачок же ты все-таки, — сказала она. — У гусей не существует границ.

— Прости, а что такое границы?

— Воображаемые линии на земле, насколько я понимаю. Какие могут быть границы у тех, кто летает? Эти твои муравьи — да и люди тоже — в конце концов перестанут сражаться, если поднимутся в воздух.

— Вообще-то, мне сражения нравятся, — сказал Варт. — В них есть что-то рыцарское.

— Это потому, что ты маленький.

## 19

По вечерам после ужина, если только не буйствовало жаркое лето, они сходились в башенном покое, и приходской священник, преподобный Сайдботем, — а если он был занят сочинением проповеди, то и сам Мерлин — читал им из какой-нибудь исполненной мудрости книги историю, осенявшую миром их души. Зимой здесь было чудесно, толстые поленья рычали в камине, — буковые обливались синеватым безжалостным пламенем, вяз сгорал быстро и весело, ярко вспыхивал ясень, курилась ароматами сосна, — у камина спали собаки, им снилась охота, а в воображении мальчиков возникали прекрасные девы, опускавшие с башен до самой земли золотистые волосы, дабы спасителям их легче было взобраться наверх. Впрочем, здесь было неплохо почти во всякое время года.

Читали они обыкновенно книгу, озаглавленную "Gesta Romanorum", увлекательные повести которой начинались такими волнующими фразами, как "Жил некий Король, питавший необычайное пристрастие к маленьким собачкам, способным издавать громкий лай" или

"У некоего вельможи имелась белая корова, к каковой питал он невиданное пристрастие, указывая оному две причины: первая, что была эта корова белой без единого пятна на ней, а затем, потому..."

Пока разворачивалась чудесная история, мальчики да собственно и мужчины тоже сидели тихо, как церковные мыши, а когда непредсказуемое повествование подходило к концу, обращали взоры на преподобного Сайдботема (или на Мерлина, у которого это получалось хуже), дабы он растолковал им смысл рассказанного. Преподобный Сайдботем, набрав побольше воздуху в грудь, храбро брался за исполнение этой задачи, объясняя почему некий Король — это на самом деле Христос, а громко лающие собачки — суть ревностные проповедники, или почему белая корова есть ничто иное, как душа, млеко же, ею даваемое, — это богослужение и молитва. По временам, а если правду сказать, то как правило, бедному викарию приходилось изрядно попотеть, чтобы извлечь из рассказа мораль, однако в истинности его объяснений никто не сомневался, да к тому же большинство его слушателей довольно быстро засыпало.

Стояла тихая летняя ночь, — последняя, когда

еще можно было найти оправдания для того, чтобы разжечь камин, — и преподобный Сайдботем читал одну из своих повестей. Варт лежал, прислонясь в дремоте к тощим бокам борзых, сэр Эктор, чей взгляд приковали к себе освещавшие вечерний покой поленья, прихлебывал вино, Кэй играл сам с собою в шахматы, — довольно плохо играл, — а Мерлин с бородой, расцвеченной пламенем в шафрановые тона, скрестив ноги, сидел рядом с Вартом и вязал.

-- "Открыли однажды в Риме, — гугнивым голосом читал преподобный Сайдботем, — нетронутое какой-либо порчей тело, превосходившее ростом градскую стену, и было на этом теле начертано: "Паллас, сын Эвандера, убитый копьем бесчестного воина, покоится здесь". В головах же его горела свеча, каковую ни водою, ни дуновением не могли загасить, покамест не проткнули иглою дырку под самым пламенем и не впустили в свечу воздух. Рана, от коей умер сей великан, имела в длину четыре с половиною фута. Убит же он был после падения Трои и оставался в своей гробнице две тысячи и еще две сотни и еще сорок лет."

— Ты великана когда-нибудь видел? — тихо, чтобы не помешать чтению, спросил Мерлин. — Ну да, я помню, не видел. Ну-ка, возьми меня

за руку и закрой на минутку глаза.

Викарий еще что-то гудел про гигантского сына Эвандера, сэр Эктор глядел в огонь, Кэй с тихим щелчком переставил одну из фигур, а Варт с Мерлином уже стояли, держась за руки, посреди незнакомого леса.

— Это Лес Бурливых Вод, — сказал Мерлин, — мы с тобой собираемся навестить великана Галапаса. Теперь слушай. Сейчас ты невидим, потому что держишься за мою руку. Я способен усилием воли, — должен сказать, чрезвычайно утомительным, — сохранять себя невидимым, равно как и тебя, пока ты ко мне прикасаешься. Трудов это требует раза в два больших, ну да уж ладно. Однако, если ты хотя бы на миг отпустишь меня, ты станешь на этот самый миг видимым, а если ты это проделаешь в присутствии Галапаса, он тебя в один присест слопает. Так что держись.

— Хорошо, — сказал Варт.

— И не надо говорить "хорошо". Ничего тут хорошего нет. Все как раз плохо. Да, и еще. В этом чертовом лесу полно ловушек, так что ты окажешь мне большую любезность, если будешь смотреть под ноги.

— А что за ловушки?

— Да он тут нарыл ям глубиной футов при-

мерно в десять с ровными глиняными стенами, а сверху накрывает их сухими ветками, сосновыми иглами и тому подобным сором. Человек наступает на ветки и валится в яму, а Галапас по утрам обходит ловушки с луком наготове, чтобы прикончить тех, кто в них попался. Пристрелит бедолагу, спустится вниз и вытаскивает, — так у него на обед несколько штук набирается. Сам-то он из десятифутовой ямы вылезает без труда.

— Хорошо, — снова сказал Варт и тут же поправился, — я буду осторожен.

Быть невидимкой вовсе не так приятно, как кажется. Через несколько минут уже перестаешь понимать, где болтаются твои руки и ноги, — в лучшем случае догадываешься об этом с точностью до трех–четырех дюймов, — так что пробираться по заросшему кустарником лесу становится отнюдь не легко. Зарослито видишь отчетливо, а вот как ты сам расположен относительно них, точно сказать не можешь. С ногами, — хотя возникающие в них ощущения тоже становятся путаными, — кое-как еще удается сладить, приглядываясь к оставляемым ими следам и к траве, покорно ложащейся на землю под ними, но что касается рук, тут дело становится безнадежным, если только не сосредоточиться и

не стараться запоминать, куда ты их в последний раз пристроил. О положении тела, как правило, можно судить либо по неестественному изгибу какой-нибудь колючей ветки, либо основываясь на странном ощущении "центральности", свойственном всякому человеку по той причине, что душа его располагается неподалеку от печени.

— Держись крепче, — сказал Мерлин, — и ради всего святого, не путайся под ногами.

Они все шли и шли через лес, головы у них немного кружились, оба внимательно смотрели под ноги, — не подается ли земля, — и часто останавливались, когда какой-нибудь колючий куст впивался ветвями в их плоть. Мерлин, в очередной раз зацепившись, чертыхался, а чертыхаясь, отчасти утрачивал концентрацию, и оба становились видимыми — смутно, словно осенняя дымка. При этом кролики, оказавшиеся от них с подветренной стороны, садились на задние лапки и восклицали: "Господи–Боже!".

— А дальше что? — спросил Варт.

— Значит так, — ответил Мерлин. — Перед нами Бурливые Воды. На том берегу ты видишь замок великана, нам придется туда переплыть. Ходить, будучи невидимкой, тяжело, а уж плавать в таком состоянии и вовсе невозможно, даже если

упражняться годами. Вечно зарываешься носом в воду. Так что, пока мы будем переправляться, мне придется тебя отпустить. Постарайся как можно скорее найти меня на том берегу.

Варт вступил в теплую, освещенную звездами воду, струившуюся с мелодичностью, присущей только речке, в которой обитают лососи, и поплыл к противоположному берегу. Он плыл быстро, по–собачьи, забирая немного вниз по течению, и выбравшись из воды, вынужден был спуститься вдоль берега еще на четверть мили, прежде чем встретил мокрого Мерлина. Мерлин плыл брасом, демонстрируя изрядную точность неторопливых движений, и при этом глядел вперед, поверх рассекающей волну бороды, с отчасти озабоченным выражением плывущей за подбитой дичью собаки.

— Ладно, — сказал Мерлин, — беремся за руки и пойдем посмотрим, чем занят Галапас.

Невидимые, они пошли по травянистому лугу, отведенному, по всему судя, под парк, ибо несмотря на столь позднее время, многочисленные садовники в железных ошейниках прокашивали, пропалывали и подметали траву. Это были рабы.

— Захочешь что-либо сказать, — распорядился Мерлин, — говори шепотом.

Они подошли к кирпичной стене с прибитыми к ней плодовыми деревьями, по которым им предстояло взбираться наверх. Способ для этого пришлось использовать необычный, — влезая друг другу на плечи, подавая сверху руку и так далее, и всякий раз, как Варт поневоле отрывался от волшебника, он становился видимым. Со стороны это походило на сильно мерцающую фильму раннего кинематографа или на картинки, показываемые волшебным фонарем, в который приходится вставлять одну пластинку за другой. Рабсадовник, на глаза которому попался этот участок стены, скорбно постучал себя по голове и уполз в кусты, где его стошнило.

— Чшш, — шепнул Мерлин, когда оба долезли до верха. Они глянули вниз и увидели великана собственной персоной, вкушавшего при свете свечей вечерний покой на зеленой лужайке.

— Так он совсем и не большой, — разочарованно прошептал Варт.

— Десять футов, — прошипел Мерлин, — для великана он чрезвычайно высок. Я выбрал самого лучшего, какого знаю. Даже в Голиафе было всего–навсего шесть локтей с пядью, а это — девять футов четыре дюйма. Не нравится, иди домой.

— Прости. Я не хотел показаться неблагодар-

ным, Мерлин, просто я думал, что в них росту футов шестьдесят или около того.

— Шестьдесят футов! — фыркнул некромант.

Великан услышал какие-то звуки, доносящиеся с верхушки стены, и посмотрел в их строну, заметив громыхающим басом:

— Ишь как нетопыри-то к ночи распищались!

Затем он налил себе очередной рог мадеры и залпом осушил его.

Мерлин понизил голос и пустился в объяснения:

— Люди находят зубы и кости существ, подобных твоему приятелю Атлантозавру, ну и начинают рассказывать байки про людей–великанов. Один отыскал как-то зуб весом в двести унций. Драконы, те действительно достигают крупных размеров, а великаны нет.

— Но разве человек не может вырасти очень большим?

— Я и сам не понимаю в чем тут дело, это как-то связано с составом костного вещества. Если бы человек вырос до шестидесяти футов, он попросту переломал бы себе кости собственным весом. Самым высоким из великанов был Елеазар, так и в нем было росту одиннадцать с половиной футов.

— Да, — сказал Варт. — Должен признать, для

меня это разочарование.

— То есть не то, что ты привел меня посмотреть на него, — поспешно прибавил он, — а что росту в них меньше, чем я полагал. Но если подумать, так и десять футов — тоже немало.

— Да он вдвое выше тебя, — сказал Мерлин. — Ты ему в аккурат до пупа достанешь, а он с легкостью забросит тебя на скирду такой высоты, что ты на нее и сноп-то еле–еле метнешь.

Они до того увлеклись разговором, что совсем перестали следить за своими голосами, заставив великана вылезти из покойного кресла. Он приблизился к ним с трехгалонной бутылью вина в руке и некоторое время усердно пялился на стену, на которой они сидели. Затем швырнул в стену бутылью, ударившей чуть левее них, сердито сказал: "Чертовы совы!" и, тяжело ступая, потащился в замок.

— За ним! — торопливо воскликнул Мерлин.

Кое-как спустившись со стены, они схватились за руки и бегом проскользнули за великаном в садовую калитку.

Помещения, располагавшиеся в начале уходящей вниз лестницы, еще свидетельствовали о некоторой цивилизованности, — за обитыми зеленым сукном дверьми виднелись камердинеры

и лакеи (правда, с железными обручами на шеях), начищавшие столовое серебро и допивавшие что осталось в графинах. Ниже располагались кладовые, заставленные крепкими древними ларями, в которых хранились разнообразные золотые блюда, кубки и иные призы, завоеванные великаном на турнирах и скачках. Еще ниже стояли в мрачных комнатушках затянутые паутиной клетки для винных бутылок, и безотрадной наружности крысы задумчиво взирали на бестелесные следы, возникающие в пыли, и несколько человеческих тел свисало с крюков в шкафах для дичи, дозревая до съедобного состояния. Все это походило на Комнату Ужасов (вход только для взрослых) в музее мадам Тюссо.

В самом низу замка размещалась подземная тюрьма. Меловые стены ее сочились жирной на ощупь влагой, и разного рода душещипательные надписи и рисунки были нацарапаны на камнях. "Молитесь за несчастную Присциллу", — гласила первая надпись, а вторая сообщала: "Ах, если б я честно заплатил собачий налог, не попал бы я в такую беду". Далее был нарисован человек, болтающийся на виселице, растопырив, наподобие чучела Гая Фокса, руки и ноги, а за ним — черт с рогами. Пятой по порядку шла

надпись, вырезанная в камне: "Ночное солнце в два тридцать", шестая надпись удивлялась: "Да неужели?", а седьмая восклицала: "Увы мне, вечно я забывал покормить мою бедную канарейку: ныне и меня ожидает столь же страшная участь". Имелось также полузатертая кляуза: "Старый скот Галапас любит мадам Мим, грязную собаку", и кто-то еще приписал: "Покайтеся и спасетесь, ибо близится Царство Диаволово". Были тут и разного рода поцелуйчики, даты, набожные восклицания и присловия вроде "Не потратишься, не спохватишься" и "Спокойной ночи, милые дамы", а также сердца, пробитые стрелами, черепа с перекрещенными костями, свиньи с закрытыми глазами и трогательные послания вроде: "Не забудь в половине первого вынуть картошку из плиты", "Ключ под геранью", "Отомстите вонючему Галапасу, предательски меня погубившему" или просто: "Индейский мед для тех, кому на пустой желудок не спится". Мрачноватое было место.

— Ха! — вскричал Галапас, останавливаясь у одной из камер. — Так надумал ты вернуть мне мой патентованный непробиваемый шлем или же изготовить новый?

— Ничего он не твой, — отвечал слабый голос.

— Я его изобрел, я запатентовал, так что иди, заливай кому-нибудь другому, скотина.

— Назавтра без обеда, — сказал жестокий Галапас и подошел к следующей камере.

— Ну, так как же насчет кампании в прессе? — спросил великан. — Собираешься ты, наконец, написать, что Царица Савская совершила на меня неспровоцированное нападение, а я в порядке самообороны захватил ее земли?

— Нет, не собираюсь, — ответил томящийся в камере журналист.

— Утром отведаешь резиновых палок, — сказал Галапас.

— Куда ты подевал мой эластичный корсет? — загрохотал великан у третьей камеры.

— Не скажу, — ответила камера.

— Не скажешь, — объявил Галапас, — пятки подпалю.

— Пали сколько влезет.

— Э–э, ну брось, слушай, — взмолился великан. — Не могу я без корсета, у меня живот отвисает. Ну, скажи, а я тебя за это в генералы произведу, — меховую шапку наденешь, в Польшу поедешь охотиться. Или хочешь, ручного льва тебе подарю, или бороду, как на театре, и полетишь ты с Армадой в Америку. А хочешь, — женись на

любой из моих дочерей.

— По–моему, все твои предложения дурно пахнут, — ответила камера. — Ты бы лучше предал меня открытому суду за подрывную пропаганду.

— Ты просто–напросто подлый, мерзкий ворюга, — сказал великан и отошел к следующей камере.

— Ну а ты, — сказал, обращаясь к ней, Галапас, — что ты скажешь насчет выкупа, грязная английская свинья?

— Я не свинья, — ответила камера, — и не грязная. Во всяком случае, не был грязным, пока не свалился в твою подлую западню. Теперь у меня, конечно, вся спина в сосновых иголках. Что ты сделал с моей зубной щеткой, великан, и куда подевал мою ищейную суку, что?

— Думать мне больше не о чем, как о твоих щетках и суках, — взревел Галапас. — Я тебя о выкупе спрашиваю, идиот, или ты до того закоснел в британской тупости, что совсем уже ничего не понимаешь?

— Я желаю почистить зубы, — упрямо ответил Король Пеллинор. — А то у меня в них возникает какое-то странное чувство, если ты понимаешь, что я имею в виду, и мне от него становится не по себе.

-- Uomo bestiale, — вскричал великан. — А иных чувств, поизящнее, нет у тебя?

— Нет, — сказал Король Пеллинор, — по–моему, нет. Я хочу почистить зубы, и потом у меня ноги сводит от того, что я все время сижу на этих нарах, или как они у тебя называются.

— От пьянства ты что-ли отупел до полного невероятия? — взвился владелец замка. — Что ты сделал со своей душой, лавочник? Ты способен думать о чем-нибудь, кроме зубов?

— Я много о чем думаю, старичок, — ответил Король Пеллинор. — Я вот думаю, например, как приятно было бы съесть яичко всмятку, что?

— Так не получишь же ты никаких яичек и будешь сидеть здесь, пока не заплатишь выкупа. Как я по–твоему буду вести мой бизнес, если мне выкупов не станут платить? Что будет с моими концентрационными лагерями, с похоронными венками по тысяче долларов штука? Думаешь, мне все это даром дается? Да одному только Королю Гуитно Гаранхиру мне пришлось отослать венок в виде Валлийской Арфы в сорок футов длиной, сделанной из одних орхидей. А надпись на нем была такая: "Сладкоголосые Ангелы Провожают Тебя В Обитель Твоего Покоя".

— А что, очень хороший венок, — одобрительно

сказал Король Пеллинор. — Но нельзя ли мне все же получить назад мою зубную щетку, что? Нет, право же, черт подери, не столь уж многого я и прошу, в сравненьи с таким венком. Или все-таки многого?

— Недоумок! — рявкнул великан и отошел к следующей камере.

— Мы должны спасти его, — зашептал Варт. — Это же бедный старый Король Пеллинор, он, наверное, гнал Искомого Зверя и свалился в одну из ловушек, о которых ты мне говорил.

— Вот и пусть посидит, — сказал Мерлин. — Если человек настолько глуп, что не может держаться подальше от лап великана, то о нем и печалиться нечего.

— Может быть, он о чем-то задумался, — прошептал Варт.

— А не надо было задумываться, — прошипел волшебник. — Великаны, вроде этого, в конечном итоге совершенно безвредны, — прояви к такому немного участия, верни ему, скажем, корсет, и он сидит себе тихо, никого не трогает. Это любому известно. А раз уж он впутался в неприятности с Галапасом, пусть сам и выпутывается. Пускай выкуп платит.

— Я точно знаю, — сказал Варт, — что у него нет

ни гроша. Он даже перину себе не может купить.

— Тогда вел бы себя повежливее, — неуверенно огрызнулся Мерлин.

— Так он же старается, — сказал Варт, — он просто мало чего понимает. Ох, ну пожалуйста, Король Пеллинор — мой друг, не могу я видеть, как он сидит в этой страшной камере, и никто ему не желает помочь.

— Да что мы сделать-то можем? — сердито воскликнул Мерлин. — Камеры же заперты накрепко.

Сделать они и впрямь ничего не могли, но кричать так громко волшебнику все же не стоило, потому что крик этот навлек на них беду. Забыв о том, что самое правильное для невидимки — это помалкивать, Мерлин своими несдержанными речами сообщил их экспедиции опасный характер.

— Кто здесь? — взвизгнул, повернувшись спиной к пятой камере, Галапас.

— Никого, — выкрикнул Мерлин, — мышка.

Великан Галапас выхватил могучий меч, обернулся и оглядел коридор, освещая его факелом, который он поднял над головой.

— Чушь, — заявил он. — Мыши человеческим голосом не разговаривают.

— Пии, — произнес Мерлин, надеясь сойти за мышь.

— Обдурить меня хочешь, — сказал Галапас, — не выйдет. Вот я тебе сейчас как врежу моим сверкающим клинком и посмотрим, мышка ты или не мышка.

Он двинулся в их сторону, держа перед собой отливающее синим лезвие, и заплывшие жиром глаза его казались в свете факела безжалостными и по–поросячьи маленькими. Нетрудно вообразить, насколько это приятно, когда человек, весящий тридцать пять стоунов, пытается обнаружить тебя в узком проходе, держа в руке меч в твой рост длиною, и намереваясь проткнуть им твою печень.

— Не дури, — сказал Мерлин. — Это всего только мышка, ну, может быть, две. Мог бы и сам догадаться.

— Это не мышка, — сказал Галапас, — это невидимый волшебник. А невидимых волшебников я привык на части резать, понятно? Я их рву на куски, ты понял? чтобы невидимые кишки их вываливались на землю. Ну, где ты есть, волшебник? Иди сюда, я тебя зарежу, моргнуть не успеешь.

— Мы сзади тебя, — испуганно сказал Мерлин.

— Оглянись, мы в дальнем углу у тебя за спиной.

— Ага, — мрачно произнес Галапас. — Вы сзади, а голоса у вас спереди.

— Держись, — крикнул Мерлин, но Варт с перепугу уже выпустил его руку.

— А теперь — видимый волшебник, — сообщил великан. — Только маленький. Посмотрим, возьмет его меч — не возьмет?

— Да держись же ты, идиот, — отчаянно завопил Мерлин, и после недолгой бестолковой возни они снова схватили друг друга за руки.

— Опять пропал, — сказал Галапас и, взмахнув мечом, рубанул по тому месту, где они только что стояли. Меч высек из камня синие искры.

Мерлин прижал незримый рот к незримому уху Варта и зашептал:

— Ложись ничком на пол. Прижмемся к противоположным стенам, может, он мимо проскочит.

Проскочить-то он проскочил, но Варт, уползая по полу, снова оторвался от своего защитника. Он наугад шарил вокруг, пытаясь найти Мерлина, и разумеется, опять стал видимым, как всякий другой человек.

— Ха! — воскликнул Галапас. — Все тот же маленький и такой же видимый.

Он пырнул в темноту мечом, но Мерлин успел

вцепиться в руку своего ученика и буквально сорвать его с опасного места.

— Удивительный тип, — сказал великан. — Пожалуй, самое верное, это прочирикать мечом весь пол.

— Это, знаете, точь в точь как капусту шинкуют, — прибавил великан, — или чего другое режут, меленько–меленько.

Мерлин с Вартом, держась за руки, скорчились в самом дальнем углу коридора, а страшный великан Галапас приближался к ним, смеясь громовым смехом, исходящим из глубин его чрева, и простукивая мечом каждый дюйм пола. Клик, клик, звякал по грубому камню острый, как бритва, клинок, — ясно было, что никакой надежды на спасение у них не осталось. Теперь великан оказался в их прежнем тылу, отрезав путь к отступлению.

— Прощай, — прошептал Варт, — а все-таки дело того стоило.

— Прощай, — сказал Мерлин, — хотя по–моему — не стоило ни капли.

— Вот и правильно, попрощайтесь, — ощерился великан, — ибо вскорости мой секач распорет вас по всем швам.

— Друзья мои, — закричал из своей камеры Ко-

роль Пеллинор, — не говорите "прощай", не надо. Мне кажется, я слышу, как к нам приближается некто, и пока есть жизнь, есть надежда.

— Точно, — крикнул, также приходя им на помощь, лишенный свободы изобретатель и слабыми руками потряс прутья своей камеры. — Оставь этих людей в покое, ты, великан хрипатый, или не видать тебе непробиваемого шлема как своих ушей.

— А про корсет забыл? — изо всей мочи крикнула следующая камера, пытаясь отвлечь внимание великана. — Толстопузый!

— Я не толстый! — заорал Галапас, останавливаясь в самой середине коридора.

— Еще какой толстый, — ответила камера. — Пузан!

— Пузан! — заорали все узники разом. — Жирный старый Галапас!

— Жирный старый Галапас плачет, мамочку зовет,

У него корсет пропал, пузо по полу метет!

— Ну хорошо же, — сказал великан, физиономия которого приобрела замечательный синий оттенок. — Хорошо, красавчики мои. Дайте мне только прикончить эту парочку, и вы у меня все отведаете палок на ужин.

— Сам съешь, — ответили узники. — А этих двоих оставь в покое.

— Палок вам, — это было все, что сумел ответить великан, — палок и по малой порции тисочков для пальцев, на закуску. Ладно, на чем мы остановились?

Откуда-то издалека донесся гомон, словно бы даже лай, и Король Пеллинор, все это время прислушивавшийся у зарешеченного окошка, принялся вдруг скакать и прыгать.

— Вот оно! — завопил он в восторге. — Вот!

— Что за "оно"? — спросили все.

— Она! — объяснил Король. — Она, сама!

Пока Пеллинор давал эти пояснения, шум приблизился и теперь, усилясь, слышался уже из-под двери подземной тюрьмы, прямо за спиной великана. За дверью определенно бесновалась собачья свора.

— Гав! — рявкнула дверь, отчего великан и все прочие ошеломленно застыли.

— Гав! — рявкнула дверь еще раз, и петли ее затрещали.

— Гав! — в третий раз рявкнула дверь и слетела с петель.

— О–о-ой! — завопил великан Галапас, когда дверь с жутким грохотом рухнула на каменные

плиты, и в коридор ворвался Бет Глатисант.

— Оставь меня, ужасная тварь! — возопил великан, когда Искомый Зверь вцепился зубами в седалище его штанов.

— На помощь, на помощь! — завывал великан, пока чудище гнало его сквозь разломанную дверь.

— Добрая старая Зверюга! — голосил из-за решетки Король Пеллинор. — Нет, вы посмотрите на нее, я вас умоляю! Добрая старая Зверюга! Улю–лю–лю! Возьми его, старушка, возьми! Тащи его сюда, ну, ну, тащи его! Ах ты, умница моя! Сюда тащи, сюда!

— Дохлого, дохлого, — несколько преждевременно прибавил Король Пеллинор. — Дохлого тащи, ну, ну, тащи дохлого! Гони! Гони! Улю–лю–лю! Ну что вы скажете, а? Сама за дичью ходит, никто не учил!

— Р–р-гау! — заходился вдали Искомый Зверь. — Р–р-гау! Р–р-гау!

И все ясно услышали, как великан Галапас кругами скачет по винтовой лестнице самой высокой башни своего замка.

Мерлин с Вартом, воспользовавшись ключами, которые обронил великан, поспешно отомкнули двери всех камер, — впрочем, не оброни он

ключей, Зверь, без сомнения, разломал бы и их тоже, — и несчастные узники, помаргивая, выползли под свет горящего факела. Были они тощие, бледные, будто поганки, но дух их остался несломленным.

— Ну и ну, — говорили они. — Ничего себе вышла штука.

— Кончились наши тисочки на ужин.

— Ни тебе больше подземных тюрем, ни вони, — сказал изобретатель. — И на жестких нарах больше не придется сидеть.

— Интересно, куда он все-таки подевал мою зубную щетку?

— Отличное у вас животное, Пеллинор. Мы все обязаны ему жизнью.

— Трижды ура Глатисанту!

— Еще ищейка где-то тут должна быть.

— Да бросьте вы, дружище. Ну, почистите вы свои зубы в другой раз, найдете себе палочку или еще что, дайте только выбраться отсюда. Сейчас главное — освободить всех рабов и удрать, пока Зверь не выпустил его из башни.

— И кстати, не мешало бы прихватить по дороге несколько кубков.

— Господи, я бы не возражал, если бы мне предложили сейчас посидеть у доброго огня. Это

местечко наградило-таки меня ревматизмом.

— А давайте спалим все его палки и напишем на стенах, что мы о нем думаем.

— Старый добрый Глатисант!

— Трижды ура Пеллинору!

— Трижды ура всем остальным!

— Ура! Ура! Ура!

Оставаясь незримыми, Мерлин и Варт тихо покинули празднество. Они покинули рабов, толпившихся снаружи замка, — Король Пеллинор снимал с их шей железные обручи, присовокупляя несколько уместных слов, как если бы он раздавал награды на выпускном вечере. Глатисант еще продолжал бесчинствовать у дверей главной башни, голося, как тридцать пар гончих псов, а Галапас, завалив дверь всей мебелью, какую нашел, торчал теперь в башенном окне и орал, требуя срочно вызвать пожарных. Заключенный из камеры N 3 деловито собирал в великановой кладовке Золотые Кубки "Аскота" и иные призы, а газетчик от души веселился, разжигая праздничный костер из палок, тисочков для пальцев и всего остального, хотя бы отдаленно напоминавшего орудия пытки. Изобретатель, вооружась молотком и зубилом, выбивал на стенах опустевшего теперь коридора оскорби-

тельную надпись: "Накося, выкуси, Галапас!". Огонь костра, крики "ура" и ободряющие замечания Короля Пеллинора, наподобие: "Никогда англичане не будут рабами" или "Надеюсь, вы не забудете урока, который получили, когда были здесь вместе с нами", или "Всегда буду рад услышать о любом из Старых Рабов, — узнать, как у них жизнь дальше сложилась", или "Постарайтесь взять себе за правило дважды в день чистить зубы", — все это вместе создавало волнующую атмосферу прощального праздника, покидать который невидимым гостям совсем не хотелось, но — "Время дорого", — сказал Мерлин, и они поспешили к Бурливым Водам.

Если принять во внимание все с ними случившееся, что-то и вправду странное было во Времени, равно как и в его дороговизне, ибо, когда Варт снова открыл в башенном покое глаза, Кэй все еще продолжал щелкать шахматными фигурами, а сэр Эктор по–прежнему смотрел в огонь.

— Ну хорошо, — сказал сэр Эктор, — и что же изображает собой этот ваш великан?

Мерлин поднял глаза от вязания, а Варт в испуге открыл рот, собираясь ответить, однако вопрос был обращен к викарию.

Преподобный Сайдботем закрыл книгу, повествующую о Палласе, сыне Эвандера, испуганно вытаращил глаза, зажал в кулаке жидкую бороду, набрал в грудь воздуху, закрыл глаза и выпалил:

— Великан, возлюбленные чада мои, это Адам, коего Бог создал без всяческой порчи. Рана же, от которой он умер, есть нарушение божественной заповеди.

Сообщив это, он с шумом выпустил воздух, бороду оставил в покое и с торжеством посмотрел на Мерлина.

— Очень неплохо, — сказал Мерлин. — Особенно насчет отстутствия всяческой порчи. Ну, а как же свеча с иглой?

Викарий снова зажмурился, как бы от сильной боли, и все затихли, ожидая истолкования.

После нескольких минут ожидания Варт сказал:

— Если бы я был рыцарем в доспехах и повстречал великана, я отсек бы ему мечом ноги по самые колена и сказал: "При таком твоем росте с тобою проще иметь дело, нежели прежде", а потом снес бы ему и голову тоже.

— Чшш, — сказал сэр Эктор. — И думать об этом забудь.

— Свеча, — несмело промолвил викарий, — это

вечное пламя, томящее грешника, а погашено оно посредством иглы, каковая есть страсти Христовы.

— Нет, право же, очень неплохо, — сказал Мерлин и хлопнул викария по спине.

Весело горел огонь, словно костер, вокруг которого плясали рабы, и одна из собак вдруг заворчала во сне: "Р–р-гау, р–ргау", — и звук был такой, словно свора в тридцать пар псов гонит зверя где-то вдали, далеко–далеко, за освещенными ночью лесами.

## 20

Было нечто волшебное в том, как Мерлин управлялся с пространством и временем, ибо Варту казалось, что за одну весеннюю ночь, на которую он оставил свое тело спать под медвежьей шкурой, он провел с серым народом много дней и ночей.

Лё-лёк, хоть и была девчонкой, нравилась ему все больше. Он постоянно задавал ей вопросы насчет гусей. Она с ласковым добродушием рассказывала ему обо всем, что знала сама, и чем больше он узнавал, тем милее ему становились ее храбрые, благородные, спокойные и разумные сородичи. Она объяснила ему, что каждый из Белогрудых — это отдельная личность, не подчиненная законам или вождям, разве что те возникают сами собой. У них не было ни королей вроде Утера, ни законов, подобных жестоким законам норманнов. Они ничем не владели совместно. Любой гусь, нашедший что-нибудь вкусное, считал находку своей собственностью и отдолбал бы клювом всякого, кто попытался б ее стянуть. В то же самое время ни один из гусей не предъявлял каких-либо исключительных

территориальных прав ни на какую часть мира — кроме своего гнезда, но то уж была частная собственность. И еще она много рассказывала ему о перелетах.

— Мне кажется, — говорила она, — первый гусь, совершивший перелет из Сибири в Линкольншир и обратно, вернувшись, завел в Сибири семью. И вот, когда наступила зима и нужно было заново искать, чем прокормиться, он, должно быть, сумел кое-как отыскать ту же дорогу, ведь кроме него никто ее не знал. Год за годом он водил по ней свое разросшееся семейство, став его лоцманом и адмиралом. Когда ему пришла пора умирать, видимо, лучшими лоцманами оказались старшие его сыновья, поскольку они чаще других проделывали этот путь. Естественно, сыновья помоложе, не говоря уже о юнцах, не очень-то хорошо знали дорогу и потому были рады последовать за кем-то, кто ее знал. Возможно, и среди сыновей постарше имелись такие, что были известны своей бестолковостью, так что семья доверяла не всякому.

— Вот так, — говорила она, — и выбирается адмирал. Может быть, этой осенью к нам в семью заглянет Винк-винк и скажет: «Извините, среди вас нет ли случайно надежного лоцмана? Бедный

старый прадедушка скончался, когда поспела морошка, а от дядюшки Онка проку немного. Мы ищем кого-нибудь, за кем можно лететь следом». И мы тогда скажем: «Двоюродный дедушка будет рад, если вы составите нам компанию, но только имейте в виду, если что-то пойдет не так, мы не отвечаем». «Премного благодарен, — ответит он. — Уверен, что на вашего дедушку можно положиться. Вы не будете возражать, если я расскажу об этом Гогону, у них, сколько я знаю, такие же трудности?» «Нисколько».

— И таким образом, — пояснила она, — двоюродный дедушка станет адмиралом.

— Хороший способ.

— Видишь, какие у него нашивки, — уважительно прибавила она, и оба посмотрели на дородного патриарха, грудь которого действительно украшали черные полосы — вроде золотых кругов на рукаве адмирала.

Волнение в войске все нарастало. Молодые гуси вовсю флиртовали или сбивались в кучки — поговорить о своих лоцманах. Время от времени они затевали вдруг игры, будто дети, возбужденные предвкушением вечеринки. Одна из игр была такая: все становились в кружок, и совсем молодые гуси выходили один за дру-

гим в середину, вытянув шеи и притворяясь, что вот-вот зашипят. Дойдя до середины, они припускались бежать, хлопая крыльями. Это они показывали, какие они смельчаки и какие отличные выйдут из них адмиралы, стоит только им подрасти. Распространялась, кроме того, странная манера мотать из стороны в сторону клювом, что обыкновенно делается перед тем, как взлететь. Нетерпение овладело и старейшинами, и мудрецами, ведающими пути перелетов. Знающим взором они озирали облачные массы, оценивая ветер, — какова его сила и по какому, стало быть, румбу следует двигаться. Адмиралы, отягощенные грузом ответственности, тяжелой поступью меряли шканцы.

— Почему мне так неспокойно? — спрашивал он. — Словно что-то бродит в крови?

— Подожди, узнаешь, — загадочно говорила она. — Завтра, может быть, послезавтра.

Когда день настал, все изменилось на грязной пустоши и в соленых болотах. Похожий на муравья человек, с такой терпеливостью выходивший на каждой заре к своим длинным сетям, с расписаньем приливов, накрепко запечатленным у него в голове, — ибо ошибка во времени означала для него верную смерть, — заслышал в небе да-

лекие горны. Ни единой из тысяч птиц не увидел он ни на грязной равнине, ни на пастбищах, с которых пришел. Он был по-своему неплохим человеком, — он торжественно выпрямился и стянул с головы кожаную шапку. Это он набожно проделывал и каждой весной, когда гуси покидали его, и каждой осень», завидев первую из вернувшихся стай.

Пароходу требуется два или три дня, чтобы пересечь Северное море — так долго ползет он по этим зловещим водам. Но для гусей, мореходов воздуха, для острых их клиньев, в лохмотья раздирающих облака, для небесных певцов, обгоняющих бурю, — час за часом по семьдесят миль — для этих странных географов (здесь подъем на три мили, — так они говорят), плывущих не по водам, но по дождевым облакам, — для них все было иным.

И это иное наполняло их песни. Были средь них грубоватые, были саги, были и до крайности легкомысленные. Одна, довольно глупая, очень позабавила Варта:

*Иные в дорогу зовут берега,*
*Но травкою грязные манят луга -*
*Гу-гу-гу! Ги-ги-ги! Га-га-га!*

*Не шеи у нас, а подобье дуги -*
*Их словно бы слесарь согнул в три попе.*
*Га-га-га! Гу-гу-гу! Ги-ги-ги!*
*Мы травку пощипываем на лугу —*
*И другу здесь хватит, и хватит врагу!*
*Ги-ги-ги! Га-га-га! Гу-гу-гу!*
*Гу-гу-гу! Га-га-га! Нам грязь дорога!*
*Га-га-га! Ги-ги-ги! Трогать нас не моги!*
*Хорошо на лугу нам в семейном кругу!*
*Ги-ги-ги! Га-га-га! Гу-гу-гу!*[6]

Была еще чувствительная:

*Дикий и вольный, спустись с высока*
*И верни мне любовь моего гусака.*

А однажды, когда они пролетали над скалистым островом, населенным казарками, похожими на старых дев в кожаных черных перчатках, серых шляпках и гагатовых бусах, вся эскадрилья разразилась дразнилкой:

*Branta bernicla сидела в грязи,*
*Branta bernicla сидела в грязи,*

---

**[6] notes: 6**
Перевод С. Степанова.

*Branta bernicla сидела в грязи,*

*А мы пролетали мимо.*

*Вот мы летим, дорогая, гляди,*

*Вот мы летим, дорогая, гляди,*

*Вот мы летим, дорогая, гляди,*

*На Северный Полюс, мимо.*

Одна из самых скандинавских песен называлась «Радость жизни»:

*И ответил Ки-йо: кто здоров, тот и рад.*

*Крепость ног, гладкость крыл, гибкость шей, ясность*

*глаз — Нет на свете лучших наград!*

*Старый Анк отвечал: честь дороже даров.*

*Искатель путей, кормилец гусей, хранитель, а равно*

*податель идей — Вот кто слышит небесный зов!*

*А резвушка Ле-лёк: Любовь, господа!*

*Нежность очей, учтивость речей, прогулки вдвоем и гнездо*

*вечерком — Они пребудут всегда!*

*Был Лиг-уиг за желудок: Ах, еда! — он сказал.*

*Стебли травы, колкость стерни, злато полей, сытость*

*гусей — Это выше всяких похвал!*

*Братство! — крикнул Винк-винк, — Вольный дружества жар!*

*Построение в ряд, караванный отряд, все, как один, и*

*заоблачный клин — Вот в чем Вечности истинный дар!*

*Я же, Льоу, выбрал пенье — веселье сердец.*

*Музыка сфер, песни и смех, слезы тишком и мир*

*кувырком — Все это Льоу, певец.*

Порой, опускаясь с уровня перистых облаков, чтобы поймать благоприятный ветер, они попадали в облачные стаи — огромные башни, вылепленные из водных паров, белые, как отстиранное в понедельник белье, и плотные, как меренги. Случалось, что одно из этих небесных соцветий, снежно-белый помет колоссального Пегаса, оказывалось в нескольких милях перед

ними. Они прокладывали курс прямо на облако и смотрели, как оно разрастается, безмолвно и неуследимо, лишенным движения ростом, — и наконец, когда они приближались к нему вплотную, и казалось, вот-вот должны были больно удариться носами о его по-видимости плотную массу, солнце начинало тускнеть, и туманные призраки вдруг обвивали их на секунду, сплетаясь, словно небесные змеи. Их облегала серая сырость, и солнце медной монетой скрывалось из виду. Крылья ближайших соседей истаивали в пустоте, пока каждая птица не обращалась в одинокий звук посреди стужи уничтожения, в развоплощенное привидение. Потом они висели в лишенном примет небытии, не ощущая ни скорости, ни левого с правым, ни верха, ни низа, покамест с той же, что прежде, внезапностью не накалялся заново медный грош и не свивались за спиной небесные змеи. И через миг они опять попадали в самоцветно сверкающий мир с бирюзовым морем внизу, с вновь отстроенными блистательными дворцами небес и с еще не просохшей росой Эдема.

Одними из лучших минут перелета стали те, которые они провели, минуя скалистый остров в океане. Были и другие, например, когда их

строй пересекся с караваном тундровых лебедей, направлявшихся в Абиско и издававших на лету такие звуки, словно щенячий выводок тявкал, прикрывшись носовыми платками, или когда им повстречался виргинский филин, в мужественном одиночестве вершащий свой трудный полет, — в теплых перьях у него на спине, *так они уверяли,* совершал даровой переезд малютка-крапивник. Но одинокий остров был лучше всего.

На нем раскинулся птичий город. Все его жители сидели на яйцах, все переругивались, но отношения между ними были самые дружеские. На верхушке утеса, поросшей короткой травкой, мириады тупиков старательно рыли норы. Чуть ниже, на проспекте Гагарок, птиц набилось столько и на такие узкие полки, что им приходилось стоять, повернувшись спиною к морю и крепко держась за камень длинными пальцами. Еще ниже, на улице Чистика, толпились эти самые чистики, задирая в небо узкие игрушечные личики, как делают сидящие на яйцах дрозды. В самом низу находились Моевкины трущобы. И все эти птицы, откладывавшие, подобно человеку, по одному яйцу каждая, жили в такой тесноте, что трудно было разобрать, где чья голова, — пресловутого нашего жизненного

пространства им не хватало настолько, что если новая птица настойчиво пыталась усесться на полке, с нее в конце концов сваливалась одна из прежних ее обитательниц И при этом все отличались добродушием, веселились, ребячились и поддразнивали друг дружку. Они походили на неисчислимую толпу рыбных торговок, собранных на самой обширной в мире спортивной трибуне, занятых личными препирательствами, что-то поедающих из бумажных кульков, отпускающих шуточки в адрес судьи, распевающих комические куплеты, вразумляющих детишек и сетующих на мужей. «Подвиньтесь-ка малость, тетенька», — говорили они, или: «Протиснись вперед, Бабуся»; «Тут идет эта Флосси и садится прямо на креветок»; «Положи ириску в карман, дорогуша, и высморкайся»; «Глянь-кось, это там не дядя Альберт с пивком?»; «Можно, я тут приткнусь, я маленькая?»; «А вон и тетя Эмма тащится, все-таки сверзилась с полки»; «Шляпка моя не съехала?»; «Эк она раздухарилась!»

Птицы одной породы старались более или менее держаться своих сородичей, но и в этом особой мелочности не проявляли. На проспекте Гагарок там и сям попадались упрямые моевки, сидевшие на каком-нибудь выступе в твердом

намерении бороться за свои права. Всего их там было тысяч, наверное, десять, и шум от них стоял оглушительный.

Затем еще были фиорды и острова Норвегии. Кстати сказать, как раз на одном из тех островов услышал великий В. Г. Хадсон подлинную гусиную историю, над которой не грех задуматься человеку. Жил, рассказывает он нам, на побережье крестьянин, на чьих островах не было покоя от лис, так что он на одном из них поставил лисий капкан. Назавтра, навестив этот остров, он обнаружил, что в капкан попался старый дикий гусь, видимо, Великий Адмирал, если судить по его упитанности и нашивкам. Крестьянин не стал его убивать, а снес домой, подрезал крылья, связал ему ноги и выпустил во двор к своим уткам и курам. Так вот, одно из следствий лисьей докучливости состояло в том, что крестьянину приходилось крепко запирать птичник на ночь. Обыкновенно он выходил под вечер, чтобы загнать туда птицу, а потом запирал дверь. Несколько времени погодя, он приметил одно удивительное обстоятельство, а именно — куры, которых приходилось раньше собирать по всему двору, теперь дожидались его в сарае. Как-то под вечер он проследил за происходящим и обнару-

жил, что плененный им властелин взял на себя работу, значенье которой сумел постигнуть присущим ему разумением. Каждым вечером, ближе ко времени, когда запирался курятник, умудренный старик-адмирал обходил своих домашних товарищей, главенство над коими он на себя возложил, и, обходясь одними лишь собственными силами, благоразумно сгонял их в положенное место — так, словно полностью понимал, для чего это делается. Что же до диких гусей, в былое время летавших следом за ним, они никогда уже не садились на тот остров, — прежде всегда посещавшийся ими, — где был похищен их капитан.

И вот наконец после всех островов они приземлились в конечном пункте первого дня перелета. О, какое заслышалось восторженное бахвальство, какие всякий обращал к себе поздравления! Они падали с неба, ложась на крыло, выписывая фигуры высшего пилотажа и даже входя в штопор. Они испытывали гордость за себя и за своего лоцмана и нетерпенье при мысли об ожидающих их впереди семейственных наслажденьях.

Перед самой землей они начинали планировать, изогнув крылья книзу. В последний миг, сильно хлопая крыльями, они ловили в них ветер, и следом — плюх! — оказывались на земле.

С минуту подержав крылья над головой, они их складывали, быстро и аккуратно. Они пересекли Северное море.

— Слушай, Варт, — отчаянным голосом сказал Кэй, — тебе непременно нужна вся шкура? И почему ты дергался и бормотал? Да еще и храпел к тому же.

— Я не храпел! — гневно ответил Варт.

— Как храпел!

— Не храпел.

— Храпел. Гакал, как гусь.

— Неправда.

— Правда.

— Неправда. Ты сам еще хуже храпел.

— Ну уж нет.

— Ну уж да.

— Как же это я хуже храпел, если ты совсем не храпел?

Когда обстоятельное обсуждение этой темы закончилось, выяснилось, что они запаздывают к завтраку. Торопливо одевшись, мальчики выбежали под весеннее небо.

## 21

Снова настала пора сенокоса. Прошел год, как Мерлин жил с ними. Прилетали ветра, и снега, и дожди, и снова светило солнце. Мальчики не изменились, разве что ноги у них стали немного длиннее.

Миновало еще шесть лет.

Время от времени их навещал сэр Груммор. Время от времени удавалось увидеть Короля Пеллинора, — как он скачет прилеском за Зверем, или как Зверь скачет за ним, когда им случалось запутаться. Простак утратил вертикальные полосы на своем оперении однолетка, он еще посерел, поугрюмел, посвирепел, и на месте самых длинных вертикальных полос у него появились опрятные горизонтальные — новые знаки отличия. Дербников каждую зиму отпускали на волю, а на следующий год ловили новых. Волосы Хоба совсем побелели. Сержант-оружейник обзавелся брюшком и чуть не помер со стыда, но по-прежнему продолжал при всяком удобном случае выкрикивать «раз-два» все более хриплым голосом. Все прочие, если не считать мальчиков, словно бы и не менялись.

Мальчики подросли. Они, как и прежде, носились по замку, словно дикие жеребята, отправлялись, когда им вздумается, повидаться с Робином, и пережили бесчисленные приключения, о которых было вы слишком долго рассказывать.

Дополнительные уроки Мерлина шли своим чередом, ибо в те далекие дни даже взрослые люди были настолько ребячливы, что превращение в сову не казалось им чем-то неинтересным. Варт превращался в неисчислимое множество различных животных. Только и было в их жизни перемен, что теперь во время уроков фехтования Кэй со своим напарником легко справлялись с отпустившим брюшко сержантом и имели возможность поквитаться за множество ударов, когда-то полученных от него. Подрастая, они овладевали все более почтенным оружием и в конце концов получили полные рыцарские облачения и луки высотою почти в шесть футов, бившие стрелами длиною с портновский ярд. Вообще говоря, предполагалось, что всякий пользуется луком не выше своего роста, ибо стрельба из более высокого лука почиталась ненужной тратой энергии, — вроде пальбы крупным калибром по мелкой дичи. Во всяком случае, люди скромные предпочитали к таким лукам не прибегать. Это

считалось разновидностью фанфаронства.

Чем дальше, тем с Кэем становилось труднее. Он упрямо стрелял из лука, слишком длинного для него, и не особенно метко. Он то и дело выходил из себя и успел вызвать на драку почти всех окружающих, и в тех немногих случаях, когда драки действительно происходили, бывал неизменно бит. Кроме того, его переполняла саркастичность. Он доводил до отчаяния сержанта, приставая к нему по поводу брюшка, и донимал Варта разговорами о его отце и матери, когда поблизости не было сэра Эктора. Вообще-то, походило на то, что ему всего этого делать и не хотелось. Ему это даже не нравилось, но он не мог с собой справиться.

Варт оставался все тем же глупышом, он по-прежнему был привязан к Кэю и интересовался птицами.

Мерлин что ни год выглядел все моложе, — и это было только естественно, ибо он моложе и становился.

Архимед женился и вырастил в башенной комнате Мерлина несколько поколений миловидного пернатого молодняка.

Сэр Эктор обзавелся ишиасом. Молниями разбило три дерева. Каждое Рождество приезжал,

не меняясь ни на волос, мастер Твайти. Мастер Пасселью припомнил еще один куплет про Короля Коля.

Года проходили размеренно, и снег Старой Англии лежал, как от него и ждали, — даже с красногрудой зарянкой в одном углу картинки и церковным колоколом или освещенным окошком в другом, — и в конце концов почти уже наступило время посвятить Кэя в полноправные рыцари. Чем ближе подходил этот день, тем более отдалялись мальчики, — ибо Кэй почитал теперь неуместным держаться с Вартом на равной ноге, поскольку возвышенность рыцарского чина не допускает тесных дружеских отношений с оруженосцем. Варт, коему предстояло стать этим оруженосцем, безутешно таскался за Кэем, пока ему то дозволялось, а затем с прежалким чувством отправлялся на поиски какого-нибудь утешения.

Так он забрел на кухню.

«Ну вот, и попал я в Золушки, — сказал он себе. — И хоть до нынешней поры мне по какой-то странной причине доставалось все самое лучшее по части образования, теперь придется платить за прошлые удовольствия, за то, что я видел всех этих восхитительных драконов, колдуний, рыб,

гирафов, муравьев, диких гусей и прочих, теперь я стану заурядным оруженосцем и буду держать для Кэя запасное копье, покуда он, раздувшись от важности, красуется у какого-нибудь источника и сражается с каждым проезжим. Ну и пусть, — пока все это длилось, я замечательно проводил время, а быть Золушкой не так уж и скучно, если можно быть ею на кухне с очагом, достаточно обширным, чтобы зажарить быка».

И Варт с печальной признательностью оглядел хлопотливую кухню, расцвеченную языками пламени до явственного сходства с адом.

В те дни образование всякого цивилизованного джентльмена проходило обычно три стадии — паж, оруженосец, рыцарь, и, во всяком случае, в первых двух ипостасях Варт побывал. Тут имелось определенное сходство с воспитанием отпрыска нынешнего джентльмена, нажившего состояние торговлей, ибо и в те времена отец заставлял сына для приобретения нужных манер начинать с наинизшей ступени. Варт, состоя в пажах, научился накрывать стол тремя льняными скатертями, а поверх них еще парчового, и приносить мясо из кухни, и прислуживать сэру Эктору и его гостям, преклоняя одно колено, с чистым полотенцем через плечо, имея еще по

одному на всякого гостя и еще одно, особое, для протирания чаш. Он до тонкостей изучил благородное искусство угождения, и с самого раннего времени, какое он помнил, его нос вдыхал приятные запахи мяты, применяемой для придания свежести воде в умывальных кувшинах, или базилика, ромашки, фенхеля, иссопа, лаванды, коими его научили посыпать тростниковый пол, или ангелики, шафрана, анисового семени и эстрагона, коими приправлялись разносимые им пряные блюда. Поэтому с кухней он был знаком и помимо того обстоятельства, что все обитатели замка приходились ему друзьями, которых он мог навещать во всякое время.

Варт присел, освещенный огромным пламенем, и с удовольствием огляделся вокруг. Он смотрел на длинные вертелы, которые часто поворачивал, когда был помладше, сидя за старой соломенной мишенью, пропитанной водой, чтобы и самому не изжариться, на ложки и черпаки, связки которых можно было мерять ярдами и пользуясь которыми он поливал жаркое. Он смотрел, как идут приготовления к ужину, и рот его наполнялся слюной, — смотрел на кабанью голову с лимоном в зубах и с усами из колотого миндаля, которую внесут под звуки фанфар, на

пирог, спрыснутый кислым яблочным соком, политый густым перченым соусом, с торчащими из него птичьими ножками и пропитанными пряностями листьями, указующими начинку, и на приятнейшего вида сладкую полбу с корицей. «В конце концов, — сказал он себе со вздохом, — быть слугой не так уж и плохо».

— Все вздыхаешь? — спросил невесть откуда взявшийся Мерлин. — Совеем как в тот день, когда мы отправились посмотреть на битву Короля Пеллинора?

— О нет, — ответил Варт. — Или вернее, о да, и по той же самой причине. Но в общем-то я не жалуюсь. Я уверен, что оруженосец из меня выйдет получше, чем из Кэя. Посмотри на шафран, который сыпят в кашу. Он совершенно того же оттенка, что отсветы пламени на мясе над очагом.

— Вот и правильно, — сказал Мерлин. — Одни лишь глупцы стремятся к величию.

— Кэй не захотел рассказать, — сказал Варт, — что происходит, когда посвящают в рыцари. Он говорит, это слишком священное таинство. Так что же происходит при этом?

— Да множество всяческой суеты. Первым делом тебе придется раздеть его и усадить в купель, завешанную драгоценными драпировками, а

затем появятся двое испытанных рыцарей, — сэр Эктор, видимо, пригласит старика Груммора и Короля Пеллинора, — и оба сядут на край купели и примутся подробно рассказывать, каковы идеалы рыцарства. Покончив с этим, они окропят его водой из купели и осенят крестом, после чего ты отведешь его в чистую постель, пообсохнуть. Затем ты облачишь его в платье пустынника и отведешь в часовню, и там он останется, дабы бдеть целую ночь, созерцая свое оружие и читая молитвы. Считается, что это одинокое и страшное бдение, но на самом-то деле не такое уж оно одинокое, потому что все это время рядом с ним просидят викарий и человек, присматривающий за свечами, да еще вооруженный стражник, а возможно, и ты, в качестве оруженосца. Поутру ты проводишь его до постели, чтобы он как следует выспался, — после того, как он исповедается, и выслушает мессу, и поставит свечу с монетой, воткнутой в нее как можно ближе к горящему концу, — а потом, когда все отдохнут, ты опять оденешь его, но уже к обеду — в самое лучшее платье. Перед обедом ты введешь его в залу, где будут в полной готовности ожидать его шпоры и меч, и Король Пеллинор наденет первую шпору, а сэр Груммор вторую, и затем сэр Эктор опояшет

его мечом, и поцелует, и хлопнет по плечу, и скажет: «Будь добрым рыцарем».

— И все?

— Нет. Затем вы снова пойдете в часовню, и Кэй вручит свой меч викарию, а викарий возвратит его Кэю, а после этого наш добрый повар, вон тот, встретит его в дверях и потребует себе в награду его шпоры и промолвит: «Я стану хранить для тебя эти шпоры, и если когда-нибудь ты поступишь не так, как подобает честному рыцарю, тогда смотри, ибо я брошу их в суп».

— И на этом все кончится?

— Все, не считая обеда.

— Вот если бы меня сделали рыцарем, — сказал Варт, мечтательно глядя в огонь, — я бы настоял на том, чтобы совершить бдение в одиночестве, как Хоб со своими ястребами, и я бы молился, чтобы Господь позволил мне самому сразиться со всем мировым злом, так что если бы я победил, зла бы уже не осталось, а если бы я потерпел поражение, кроме меня никто бы не пострадал.

— И ты проявил бы тем самым чрезмерную самонадеянность, — сказал Мерлин, — ибо потерпел бы поражение и пострадал за это.

— Что ж, я бы не стал возражать.

— Правда? Подожди, пока это случится, там и

увидишь.

— Почему люди, когда они вырастают, думают не так, как думаю я, юнец?

— Ах милый ты мой, — сказал Мерлин, — смутил ты меня, старика. Не дождаться ли нам, покамест ты сам подрастешь и узнаешь причину?

— По-моему, это не ответ, — резонно заметил Варт.

Мерлин заломил руки.

— Ну хорошо, — сказал он, — а если тебе не позволят в одиночку сражаться со всем мировым злом?

— Ну, попросить-то можно, — сказал Варт.

— Попросить-то можно, — повторил Мерлин.

И сунув в рот конец бороды, он трагически уставился в огонь и начал свирепо ее жевать.

## 22

День церемонии близился, Королю Пеллинору и сэру Груммору отправили приглашения, Варт все чаще и чаще отсиживался на кухне.

— Послушай, Варт, старина, — сокрушенно сказал сэр Эктор, — не стоит принимать все это так близко к сердцу. Ну что ты дуешься, это тебе не идет.

— Я не дуюсь, — сказал Варт. — Мне не на что жаловаться, и я очень рад, что Кэй собирается стать рыцарем. Пожалуйста, не думайте, будто я дуюсь.

— Ты хороший мальчик, — сказал сэр Эктор. — Я знаю, что ты на самом деле не дуешься, но все же — развеселись. Ты ведь знаешь, Кэй человек по-своему не плохой.

— Кэй замечательный, — сказал Варт. — Мне просто невесело, потому что он, похоже, больше не хочет ходить со мной ни на охоту с соколами, ни куда-либо еще.

— Да молодой он еще, — сказал сэр Эктор. — Все образуется.

— Я в этом не сомневаюсь, — сказал Варт. — Просто сейчас он не хочет со мной никуда ходить.

Вот и я никуда не хожу. Но я пойду, — прибавил Варт. — Стоит ему приказать и я пойду и все выполню в точности. Нет, честное слово, я к Кэю очень хорошо отношусь и ни капельки не дуюсь.

— Выпей-ка вот этот стаканчик Канарского, — сказал сэр Эктор, — да пойди отыщи старину Мерлина, может быть он тебя развеселит.

— Сэр Эктор велел мне выпить стакан Канарского, — сказал Варт, — и отправил к тебе — посмотреть, не сумеешь ли ты меня развеселить.

— Сэр Эктор, — сказал Мерлин, — мудрый человек.

— Ну, — сказал Варт, — так как насчет веселья?

— Самое замечательное в печали то, — сказал Мерлин, окутываясь клубами дыма, — что можно чему-нибудь научиться. Знания — единственное, что никогда не подводит. Ты можешь состариться настолько, что все кости в тебе разболтаются, ты можешь лежать ночи напролет, прислушиваясь к непорядку в своих венах, ты можешь утратить единственную любовь и увидеть, как мир вокруг тебя опустошают злые безумцы, или знать, что честь твою пинками загнали в сточные канавы низких умов. И тогда останется только одно — учиться. Пытаться понять, почему мир пребывает

в движении и что его движет. Это единственное, от чего разум никогда не устает, к чему никогда не охладевает, что никогда не причиняет ему мучений, к чему не питает он страха или недоверия и перед чем не испытывает и тени сожаления. Учиться — больше тебе ничего не нужно. Ты только взгляни, как много на свете такого, что стоило бы изучить — чистая наука, единственное, что есть чистого в мире. Ты можешь потратить целую жизнь на изучение астрономии, три — на естественную историю, шесть — на литературу. И наконец, изведя миллиарды жизненных сроков на биологию и медицину, на богословие, на географию, на историю, на экономику, — ты, наконец-то, сможешь начать выделывать тележные колеса из наиболее подходящей для них древесины или истратить еще лет пятьдесят, изучая начала учения о наилучших способах одоления противника посредством фехтования. А после можно будет приступить к математике и заниматься ею, пока не придет пора изучать землепашество.

А помимо всех этих вещей, — сказал Варт, — чем бы ты предложил мне заняться прямо сейчас?

— Дай поразмыслить, — сказал волшебник,

впадая в задумчивость — В нашем распоряжении были на все про все шесть коротеньких лет, и полагаю, я вправе сказать, что за это время ты перебывал самыми разными животными, овощами, минералами и так далее — многими сущностями на земле, в воздухе, в воде и в огне, так?

— О животных и о земле, — сказал Варт, — я знаю не так уж и много.

— Тогда тебе стоит свести знакомство с моим другом барсуком.

— С барсуком мне еще не доводилось встречаться.

— Вот и отлично, — сказал Мерлин. — Если не считать Архимеда, этот барсук — ученейшая среди известных мне тварей. Тебе он понравится

— А кстати, — прибавил волшебник, останавливаясь посреди заклинания, — я тебе должен еще кое-что сказать. Этот раз — последний, больше я ни во что тебя превратить не смогу. Мы истратили все волшебство, отведенное для такого рода вещей, и на этом твое образование завершится. Завершатся и мои труды, едва только Кэй станет рыцарем. Тебе тогда придется покинуть замок, ты станешь оруженосцем, повидаешь белый свет, ну и я тоже отправлюсь в другие места. Как ты считаешь, ты чему-нибудь научился?

— Я учился и был счастлив.

— Тогда все в порядке, — сказал Мерлин. — Постарайся не забыть того, что узнал.

И он продолжил читать заклинание, наставив палочку из дерева жизни на Малую Медведицу, только-только засветившуюся в тусклом небе, как бы подвешенную за хвостик к Полярной Звезде, и, закончив, весело крикнул: «Приятного препровождения времени в последнем визите. Сердечный поклон Барсуку».

Крик донесся издалека, и Варт очутился рядом с древним курганом, похожим на громадную кротовую кочку, и прямо перед ним в склоне кургана чернела дыра.

— Это жилье барсука, — сказал он себе, — и я должен войти и побеседовать с ним. А я не пойду. Мало того, что мне никогда не придется стать рыцарем, так теперь еще моего собственного, моете любимого наставника, которого я сам отыскал в единственном за всю жизнь Поиске, выпавшем мне на долю, теперь и его у меня отнимают, и конец естественной истории. Ну и отлично, у меня осталась последняя веселая ночь перед вечным проклятием, и поскольку я нынче хищник, я и буду вести себя как хищник, вот так.

И он свирепо заковылял по мерцавшему снегу,

ибо стояла зима.

Если ты впал в отчаяние, совсем не плохо стать барсуком. Доводясь родичем медведям, куницам и выдрам, ты окажешься ближайшим из уцелевших в Англии подобием медведя, да притом еще столь толстошкурым, что тебе совершенно все равно, кто тебя кусает. Что же до собственных твоих укусов, то благодаря особому устройству твоих челюстей вывихнуть их практически невозможно, а потому как бы ни выкручивалось существо, в которое ты вцепился зубами, у тебя не будет никаких причин его выпускать. Барсуки принадлежат к немногим тварям, способным равнодушно сжевать ежа, точно так же, как пережевывают они и все остальное — от осиных гнезд и корней до крольчат.

Так получилось, что первым, кто подвернулся Варту, как раз и был спящий ежик.

— Ну-ка ты, колючий поросенок, — сказал Варт, уставясь на свою жертву туманными близорукими глазками. — А вот я тебя съем.

От этих слов ежик, прятавший на животе яркие бусинки глаз и длинный чувствительный носик и украсивший свои иглы довольно безвкусным убранством из высохших листьев, — перед тем как завалиться в травяное гнездо на зимнюю

спячку, — от этих слов ежик проснулся и завизжал самым жалостным образом.

— Чем сильнее ты будешь визжать, поросенок, — сказал Варт, — тем злее я буду скрипеть зубами. Во мне от твоего визга просто кровь закипает.

— Ах, мастер Язвец, — воскликнул ежик, сжимаясь еще плотнее. — Добрый мастер Язвец, яви милосердие бедному ежику, не будь таким тираном. Мы ведь, господин, не из простых ежишек, чтобы нас так запросто сжевать и сшамкать. Поимей жалость, добренький сэр, к безвредному, заеденному блохами селянину, не умеющему сказать, где право, где лево.

— Свиненок, — безжалостно молвил Варт, — визжи не визжи, ничего не поможет.

— Увы, бедная женушка, бедные детки!

— Готов поспорить, что нет у тебя ни того, ни другого. Вылезай-ка оттуда, ты, побродяжка. Приготовься встретить свою судьбу.

— Мастер Язвец, — взмолился несчастный кроха, — не надо, отчего ты такой жестокий, миленький мастер Язвец, утеночек мой. Внемли мольбам горемычного ежика! И ниспошли ему великое благо жизни, а уж он ежик не простой, о владетельный мастер, и споет он тебе множество

сладких песен или научит тебя сосать средь жемчужной росы молоко у коровки.

— Споет? — переспросил пораженный Варт.

— Дак как же не спеть-то! — воскликнул ежик. И торопливо запел, самым умиротворительным тоном, но несколько глуховато, ибо не смел развернуться.

— О, Гиневьева, — скорбно пел он себе в живот, — моя Гиневьева,

*Проходят дни -*
*И нет как нет, -*
*Но в свете*
*Памяти чисты,*
*Чисты те нежные мечты*
*Давно прошедших лет.*

Он спел также, не делая между песнями никаких промежутков, «Дом, милый дом» и «Старый мостик у запруды». Затем, поскольку на этом его репертуар и иссяк, он с торопливой дрожью вобрал побольше воздуху и вновь затянул «Гиневьеву», за которой последовали «Дом, милый дом» и «Старый мостик у запруды».

— Ладно, — сказал Варт, — можешь остановиться. Я не стану тебя кусать.

— Ах, снисходительный господин, — смиренно прошептал еж, — Мы будем благословлять святых и правление нашего края за твои добрейшие челюсти, покамест скачет по свету блоха и вползает расщелиной ежик.

И затем, убоявшись, что это краткое отступление в прозе ожесточит сердце тирана, он в третий раз, задыхаясь, запел «Гиневьеву».

— Да перестань ты петь, — сказал Варт, — ради всего святого. Развернись, я не причиню тебе никакого вреда. Ну же, глупый ежонок, развернись и расскажи мне, кто тебя научил этим песням.

— Развернись — это одно слово, — отвечал дрожащим голосом вовсе не склонный капризничать ежик, — а свернись — совершенно другое. Если ты, господин, увидишь в эту шаткую минуту мой голенький носик, ты, может быть, пожелаешь отодрать его своими белыми зубками, а уж мы понимаем — не все хорошо, что хорошо кусается. Давай лучше мы тебе снова песенку споем, милый мастер Язвец, насчет деревенского мостика.

— Я не хочу ее больше слышать. Ты очень хорошо ноешь, но больше не надо. Да развернись же ты, дурень, и расскажи, где научился петь.

— Мы ежики не простые, — заныл бедолага,

оставаясь скрученным так же туго, как прежде. — Нас еще маленьких подобрал один, из благородных, отнял, можно сказать, от материнской груди. Ах, ты ведь не станешь щипать нас за наши нежные члены, возлюбленный мастер Язвец, потому что он был настоящий барин и воспитывал нас, как положено, на коровьем молоке и на прочем, и мы все это лакали из господской посуды. Ах-ах, многим ли ежикам подавали водичку в фарфоровом блюдце, — очень, очень немногим.

— Ничего не понимаю, о чем ты толкуешь, — сказал Варт.

— Так он же был джентльмен, — в отчаянии воскликнул еж, — я же тебе рассказываю. Он взял нас, когда мы были маленькие, и кормил нас до отвала. Настоящий джентльмен, и кормил нас в гостиной, в какой ни один ежик отродясь не бывал и не будет, кормил на господском фарфоре, да, а потом в один ужасный день он нас бросил ни за что ни про что, из одного только коварства, в этом уж будьте уверены.

— А как звали того джентльмена?

— Он был джентльмен, да, такой он и был. У него не было настоящего имени, такого, чтобы его толком запомнить, но он был джентльмен,

вот кто ей был, и он нас кормил на фарфоре.

— А его не Мерлином звали? — спросил с любопытством Варт.

— Ах-ах, вот это самое имя. Настоящее имя, порядочное, только мы его никак выговорить не могли, как ни старались. Да, Мирн, так он себя называл, и он нас кормил на фарфоре, как настоящий порядочный джентльмен.

— Да развернись же ты, — воскликнул Варт. — Я знал человека, с которым ты жил, по-моему, я и тебя видел, ты был еще малюткой и лежал в его домике, обернутый в вату. Ну будет, ежик, прости, что я тебя напугал. Мы с тобою друзья, и я хочу, хотя бы во имя прежних времен, увидеть твой серый, мокрый, подергивающийся нос.

— Подергивающийся нос — это одно название, господин, — ответил, упорствуя, ежик, — а выдернутый — другое. Вы бы лучше шли, добрый мастер Язвец, и позволили бедному селянину малость вздремнуть, — ведь на то и зима. Да посетят тебя мысли о пчелах и меде, любезный барон, и да слетятся ангелы петь над ложем твоего покоя.

— Что за глупости, — воскликнул Варт. — Я не сделаю тебе никакого вреда, я же знал тебя совсем малышом.

— Эти мне барсуки, — промямлила себе в живот

несчастная тварь, — вот гуляют они по курганам, не замышляя никакого вреда, да благословит их Бог, а только они же тебя и прищемят, даже и не заметят, и что тогда делать усталому ежу? А все потому, что шкура у них больно толстая, вот ведь дело-то в чем, они же с малолетства и друг друга щиплют, и мамочку, и ничегошеньки не ощущают, — ну, натурально, и привыкают щипать кого ни попадя. Вон и у бедного моего господина, у мастера Мирна, как есть захотят, тут же «ик-ик-ик» и бегут стремглав да хвать его за лодыжки, держал он их маленьких, — а он, святейшая церковь! — как он, бедный, вопил. Да, с ними, с барсуками-то, значит, намаешься, это нам ведомо, как же. И ведь ничего же толком не видит, — добавил еж, прежде чем Варт успел возразить. — Тычется взад-вперед, ну вылитый мохнатый коврик семенит на толстых лапах. А подвернись-ка ему на пути, ну бывает не повезет, так он без всякого злого умысла тебя тут же чик-чик, просто так, с голодухи да сослепу, да из самозащиты, — ну, и что от тебя останется?

— И все, чем мы можем себя защитить, — продолжал ежик, — это дать ему как следует по носу. Смертоносная пятка — вот как они нас зовут в своих прописях. Дай одному из этих здоровенных

полосатиков в нос, бим-бом, вот этак, и резвая жизнь честь по чести летит из него наружу так, что он и засопеть не успеет. Честный нокаут, вот что это такое. Но как может бедный ежик заехать по носу барсуку? Когда ему нечем заехать и нечем от него защититься? Вот тут-то они и приходят к тебе и просят тебя развернуться!

— Можешь не разворачиваться, — сказал решительно Варт. — Прошу прощенья, дружок, что разбудил тебя и что напугал. По-моему, ты замечательный ежик, я даже снова повеселел от беседы с тобой. Спи себе, как спал, пока мы не встретились, а я пойду загляну к моему другу барсуку, как и было мне велено. Спокойной ночи, ежик, удачи тебе в снегах.

— Может, она и будет спокойная, — сварливо пыхтел ежик. — А может, не будет. То ему развернись, то не развернись. Сегодня одно, завтра другое. Охо-хо, ну и мир, никакого порядка. Впрочем, доброй вам ночи, любезные дамы, и тебе, матушка, тоже, пусть приходит град, пусть приходит снег, так и мы найдем продолжение в тех, кто придет за нами.

И с этими словами смиренный зверек свернулся еще туже, чем прежде, поворчал, поскрипел, и удалился в мир сновидений, настолько же более

глубоких, чем наши людские сны, насколько сон продолжительностью в целую зиму длиннее безмолвия одной-единственной ночи.

— Ну что же, — подумал Варт, — ничего не скажешь, он быстро управился со своими неприятностями. Забавно, что он сразу же и заснул. Готов поспорить, что он и не спал-то все это время самое большее наполовину, и толком проснувшись весной, решит, что все это ему приснилось.

С минуту он смотрел на грязный комочек из листьев, травы и блох, плотно свернувшийся в норке, +затем хрюкнул и отправился к барсучьей норе, двигаясь вспять по своим же продолговатым следам по снегу.

— Так, значит, Мерлин прислал тебя, — сказал барсук, — чтобы ты завершил образование. Что ж, я могу научить тебя только двум вещам — рыть землю и любить свой дом. Впрочем, к этому и сводится истинное назначение философии.

— А ты мне покажешь свой дом?

— Обязательно покажу, — сказал барсук, — хотя я, конечно, всем домом не пользуюсь. Дом у меня беспорядочный, старый, для одиночки великоват. Насколько я понимаю, некоторым его частям может быть лет и под тысячу. Нас тут живет четыре семейства, — кто там, кто сям, — это

если брать дом целиком, от чердака до подвала, так мы, случается, и по месяцам не встречаемся. Полагаю, вам, нынешним людям, он должен казаться развалюхой — ну, ничего не попишешь, зато в нем уютно.

Он засеменил по проходам зачарованной норы, переваливаясь с ноги на ногу странноватой барсучьей раскачкой, и белая маска его с черными полосами казалась во мраке лицом привидения.

— Вон по тому коридору, — сказал он, — если тебе хочется вымыть руки.

Барсуки не то, что лисы В их норах имеются особые помещения для отходов, где они складывают ненужные кости и всякий сор, настоящие погреба, имеются также и спальни, которые они держат в особенной чистоте, часто меняя подстилки. Увиденное очаровало Варта. Особенно ему понравились Большая Зала, расположенная в самой середине кургана, — трудно было решить, чем его счесть, колледжем или замком, — и анфилады комнат с запасными выходами, расходящиеся от нее, словно лучи. В Зале этой было, пожалуй, многовато паутины, из-за того, что она служила своего рода общей комнатой, и потому не находилась на попечении какой-либо из семей, но вид она имела решительно торже-

ственный. Барсук сказал, что это Профессорская. С украшенных панелями стен свисали освещенные сверху забранными в абажуры светляками портреты усопших барсуков, прославленных в свое время ученостью или благочестием. Имелись здесь и величавые кресла с тисненными золотом барсучьими лапками на кордовской коже сидений, — кожа повытерлась — и портрет Основателя над камином. Вокруг камина полукругом стояли кресла, снабженные экранами из красного дерева, коими всякий мог заслонить лицо от яркого пламени, имелась также доска, вроде качелей, по которой графины могли соскальзывать из середины к краям полукруга. В наружном проходе висело несколько черных мантий, вообще все было очень древним.

— В настоящий момент я холостяк, — сказал извиняющимся тоном барсук, когда они добрались до его собственной уютной комнаты с обоями в цветочек, — так что здесь, увы, всего одно кресло. Тебе придется посидеть на кровати. Устраивайся поудобнее, голубчик, пока я буду готовить пунш, и расскажи мне, что творится на белом свете.

— Да в общем все то же самое. Мерлин чувствует себя хорошо, а Кэя на той неделе произведут в рыцари.

— Интересная церемония.

— Какие у тебя здоровенные лапы, — заметил Варт, посмотрев, как барсук помешивает жидкость ложкой. — Впрочем, и у меня сейчас точно такие же.

И он окинул взглядом свои мускулистые кривоватые лапы. Мощная грудь соединяла пару передних лап, таких же могучих, как задние.

— Это чтобы землю копать, — с удовлетворением сообщило ученое создание. — Я да крот, — полагаю, тому, кто захочет угнаться за нами, придется рыть во всю прыть.

— Я тут снаружи ежика встретил.

— Прямо сейчас? Теперь считается, что ежи переносят свиную лихорадку и эту, знаешь, — болезнь грязных ног.

— А мне он понравился.

— Им присуща своего рода трогательная привлекательность, — печально сказал барсук, — но, боюсь, что я обычно их просто съедаю. Есть что-то неотразимое в том, как похрустывает ежатина.

— Египтяне, — прибавил он, подразумевая цыган, — тоже с удовольствием их едят.

— Мой не развернулся.

— А надо было столкнуть его в воду, тогда бы он быстро высунул лапки. Ну, иди сюда, пунш готов.

Присаживайся у огня и будь как дома.

— Приятно сидеть здесь, когда снаружи ветер и снег.

— Да, приятно. Давай выпьем за то, чтобы Кэю в его рыцарских делах сопутствовала удача,

— Ну что ж, за удачу Кэя.

— За удачу.

— Так, — сказал барсук, со вздохом опуская стакан. — Теперь объясни-ка мне, что это нашло на Мерлина и зачем он прислал тебя ко мне.

— Он что-то говорил насчет знаний, — ответил Варт.

— А, ну что же, если тебя интересуют знания, то ты попал по верному адресу. Только скажи, учеба, она тебе не кажется скучной?

— Кажется иногда, — сказал Варт, — а иногда не кажется. В общем и целом я могу вынести длинную лекцию, если она по естественной истории.

— Я как раз сейчас пишу трактат, — сказал барсук и смущенно откашлялся, показывая, что его просто вынудили упомянуть об этом, — в котором разъясняется, почему Человек стал главным среди животных. Может быть, тебе интересно будет его послушать?

— Я его, видишь ли, собираюсь представить на соискание докторской степени, — поспешно

добавил барсук, опасаясь, что Варт запротестует. Ему представлялось так мало шансов прочитать кому-нибудь свой труд, что он просто не мог упустить такую возможность.

— Буду очень благодарен, — сказал Варт.

— Тебе от него будет польза, голубчик. Нужно, конечно, изучать и птиц, и рыб, и животных, но заканчивать следует Человеком. Как удачно, что ты пришел! Так, куда же я, к черту, засунул рукопись?

И старый джентльмен принялся скрести вокруг своими большими когтями, пока не отыскал замызганную стопку страниц, один из углов которой уже был использован для растопки. Затем он уселся в свое кожаное кресло с глубокой вмятиной посередке, прикрыл макушку домашней шапочкой с кистью и извлек откуда-то пару особразных очков, каковые и пристроил на кончике носа.

— Гм, — сказал вслед за этим барсук. Робость тут же сковала его, он уставился на свои бумажки, покраснел и никак не мог приступить к чтению.

— Ну что же ты? — сказал Варт.

— Тут пока не все гладко, — застенчиво объяснил барсук. — Понимаешь, это просто грубый набросок. Прежде чем отослать его, я еще многое

переменю.

— Я все равно уверен, что он должен быть интересным.

— Да нет, что уж тут интересного. Так, случайные мысли, я набросал их в случайно освободившиеся полчаса, просто чтобы убить время Ну, во всяком случае, начинается это так.

— Г-гм! — сказал барсук. И принялся со всевозможной поспешностью читать трактат невозможно высоким фальцетом.

«Часто задают довольно праздный вопрос: с чего начался процесс эволюции — с курицы или с яйца? Было ли в начале яйцо, из которого вылупилась первая курица, или это курица сначала снесла яйцо? Я позволю себе утверждать, что первым создано было яйцо.

Когда Бог сотворил все яйца, из которых со временем следовало народиться рыбам, и змеям, и птицам, и млекопитающим, и даже утконосам, он призвал к Себе эмбрионов и увидел, что они хороши».

— Возможно, мне следует пояснить, — добавил барсук, нервно опуская бумаги и поверх них глядя на Варта, — что *все эмбрионы выглядят почти одинаково.* Эмбрион — это то, что ты есть до того, как родиться, — и неважно, кем ты намерева-

ешься стать: головастиком или фазаном, гирафой или человеком, — в эмбрионах ты выглядишь довольно противным и беспомощным существом. Дальше у меня так:

«Эмбрионы выстроились перед Богом, вежливо сложив на животиках слабые ручки и уважительно свесив тяжеловатые головы, и Бог обратился к ним.

Бог сказал: «Ну что ж, эмбрионы, вот все вы здесь, выглядите все совершенно одинаково, и теперь Мы намереваемся предоставить вам выбрать, кем вы желаете стать. Когда вы повзрослеете, вы, безусловно, станете покрупнее, однако Нам будет приятно пожаловать вас еще одним даром. Вы можете ныне заменить какую угодно часть своего существа на любое приспособление, какое представится вам полезным в вашей дальнейшей жизни. Например, в настоящем своем положении вы неспособны рыться в земле. И вот всякому, кто предпочитает обратить свои лапы в пару лопат или в садовые грабли, дозволяется это сделать. Или, другой пример, ныне вы можете пользоваться ртом исключительно для еды. Любому, кто пожелает превратить свой рот в оружие нападения, довольно лишь попросить, и он превратится в крюкорыла или в саблезубого тигра.

Теперь же подходите по одному и выбирайте себе орудия. Помните, впрочем, что по выбранному и произрастете да такими вовек и останетесь».

Все эмбрионы обдумали предмет с положенным вежеством, а затем принялись один за одним подступать к престолу вечности. Им дозволялось избрать две или три специализации, и некоторые предпочли использовать лапы для полета, а рты в виде оружия, или в виде щипцов для ореха, или в виде сверл, а то и ложек, иные же обратили тела свои в лодки, а лапы в весла. Мы, барсуки, крепко подумали и решились просить о даровании трех благ. Мы пожелали обратить наши шкуры в щиты, пасти в оружие, а лапы в садовые грабли. И все эти блага мы получили. Всякий специализировался на свой манер, и кое-кто на довольно странный. Скажем, одна пустынная ящерка надумала все свое тело обратить в промокашку, а некая жаба, живущая среди замученных жаждою антиподов, просто превратилась в бутылку с водой.

Подача прошений и раздача даров заняли два долгих дня, — пятый и шестой, насколько я помню, — и под самый конец дня шестого, как раз перед тем, как настало время закрываться на воскресенье, со всеми эмбрионами, кроме одного,

было покончено. Этим эмбрионом был Человек.

— Итак, Наш маленький человечек, — сказал Бог, — ты прождал до последнего, все откладывая решение, и Мы уверены, что все это время ты напряженно думал. Что можем Мы для тебя сделать?

— С Твоего разрешения, Боже, — сказал эмбрион, — я думаю, что у Тебя имелись причины, лучше всего ведомые Тебе самому, сотворить меня в нынешнем виде, и изменять этот вид было бы дерзостью с моей стороны. Если мне дозволяется выбор, я предпочел бы остаться таким, какой есть. Я бы не стал заменять ни единой из данных Тобою частей моего тела на иные и, несомненно, менее удачные части, а остался бы на всю мою жизнь беззащитным эмбрионом, пытающимся по мере сил самостоятельно изготовить пару-другую жалких приспособлений из дерева, железа и иных материалов, каковые Ты сочтешь уместным мне предоставить. Если мне понадобится лодка, я постараюсь построить ее из деревьев, а захочу летать — сооружу колесницу, которая будет делать это для меня. Может быть, я и совершаю немалую глупость, отвергая удобства, кои Ты в доброте Своей мне предлагаешь, но я постарался все обдумать по возможности тщательно и

надеюсь, что это ничтожное решение существа столь малого и невинного будет встречено Тобой с благосклонностью.

— Отменно сказано, — довольным тоном воскликнул Творец. — А ну-ка вы, эмбрионы, подойдите сюда с вашими клювами и прочими штучками, посмотрите на Нашего первого Человека. Вот единственный, кто разрешил Нашу загадку, единый из всех вас, и Мы с великой радостью назначаем его Владыкой над всеми Птицами Небесными, и над Зверями Земными, и над Рыбами Морскими. Теперь же пусть все остальные идут любиться и размножаться, ибв настало время закончить труды и передохнуть. Что до тебя, Человече, то ты во всю свою жизнь будешь нагим орудием, хотя будешь и сам прибегать к иным орудиям. И до самой могилы ты так и будешь выглядеть эмбрионом, но перед мощью твоей все прочие станут как эмбрионы. Навеки недоразвившийся, ты навсегда сохранишь в себе зерно Нашего образа, способность видеть некоторые из Наших печалей и испытывать некоторые из Наших радостей. Нам отчасти жалко тебя, Человек, но отчасти Мы на тебя и надеемся. Теперь же беги, и старайся там, как только сможешь. Да, и вот еще что, Человек, покамест ты не ушел.

— Слушаю, — сказал Адам, возвращаясь.

— Мы только хотели сказать, — застенчиво молвил Бог, стискивая ладони. — Да, так вот, Мы как раз хотели сказать: Да благословит тебя Бог.

— Хорошая история, — неуверенно молвил Варт. — Она мне нравится больше той, что рассказывал Мерлин про Равви. И еще она интересная

Барсук до того смутился, что жалко было смотреть.

— Нет, голубчик, нет. Ты преувеличиваешь. Так, небольшая притча, и то еще в лучшем случае. К тому же, боюсь, она немножко слишком оптимистична.

— Как это?

— Ну, вот видишь ли, верно, конечно, что человек — Владыка над всеми животными и самый могучий из них, — если подразумевать под этим самого страшного, — но в последнее время я иногда сомневаюсь, так ли уж он благословен.

— Сэр Эктор не кажется мне особенно страшным.

— И однако, если даже сэр Эктор выйдет прогуляться вдоль речки, не только птицы разлетятся прочь от него и звери кинутся врассыпную, но даже рыбы метнутся к другом берегу. Завидев друг друга, они так не делают.

— Но человек ведь — царь над всеми зверьми.

— Возможно. Или лучше сказать — тиран? К тому же еще необходимо признать, что у него множество пороков.

— У Короля Пеллинора их вовсе не много.

— Однако, если Король Утер объявит войну, Пеллинор на нее пойдет. Ты знаешь, что Homo sapiens — это почти единственное животное, ведущее войны?

— Муравьи тоже воюют.

— Голубчик, не говори так вот походя: «Муравьи тоже воюют». Муравьев существует больше четырех тысяч разновидностей, и среди них я могу насчитать лишь пяток агрессивных. Пять муравьев, один, насколько я знаю, термит — и Человек.

— Но ведь стаи волков из Дикого Леса каждую зиму режут наших овец,

— Волки и овцы, друг мой, принадлежат к разным видам. А настоящие войны ведутся между сообществами, принадлежащими к одному и тому же виду. Среди сотен тысяч видов я могу начесть только семь агрессивных. Даже среди Человеков имеется несколько разновидностей — эскимосы, скажем, цыгане, саами и кое-какие кочевники в Аравии, — которые не воюют,

потому что не проводят границ. В Природе войны встречаются реже, чем каннибальство. Тебе это не кажется неудачным стечением обстоятельств?

— Лично я, — сказал Варт, — с удовольствием отправился бы на войну, если б меня сделали рыцарем. Мне по душе трубы, знамена, сверканье доспехов и отчаянные атаки. И, конечно, я бы хотел совершить великие подвиги, быть отважным и победить свои страхи. Ведь есть же в войне отвага, и стойкость, и любовь между товарищами, а, барсук?

Ученое животное долго думало, глядя в огонь. В конце концов оно, как видно, решило сменить тему.

— А кто тебе больше понравился, — спросило оно, — муравьи или дикие гуси?

## 23

В канун торжественного уик-энда появился Король Пеллинор, пребывавший в состоянии крайнего возбуждения.

— Ну, я вам скажу! — вскрикивал он. — Вы знаете? Слышали? Это секрет, что?

— Что секрет, что? — спросили они у него.

— Да как же, Король, — кричало его величество. — Знаете насчет Короля?

— А что такое с Королем? — поинтересовался сэр Эктор. — Уж не хотите ли вы сказать, что он собирается к нам, поохотиться с этими его чертовыми гончими или еще что-нибудь такое?

— Он умер, — трагически вскричал Король Пеллинор. — Умер, бедняга, и охотиться больше не может.

Сэр Груммор уважительно встал и обнажил главу.

— Король умер, — сказал он. — Да здравствует Король.

Все остальные почувствовали, что им тоже следует встать, а няня мальчиков залилась слезами.

— Вот горе, так горе, — рыдала она. — Их верноподданное высочество померли, а какой

был уважительный господин. Сколько ихних раскрашенных портретов я вырезала из иллюстрированных молитвенников и приклеила над камином. С того самого времени, как он был совсем молоденький и все разъезжал по свету, осматривая замки, и потом, когда он выиграл конкурс на звание «Принц Очарование» и посещал зоны бедствий, не было такой картинки с ним, которую б я не вырезала, да, и я всегда думала о нем перед сном.

— Нянюшка, угомонитесь, — сказал сэр Эктор.

— Торжественный момент, ведь так? — сказал Король Пеллинор, — что? Утер Завоеватель, 1066 — 1216.

— Торжественная минута, — сказал сэр Грумор. — Король мертв. Да здравствует Король.

— Нам следует опустить шторы, — сказал Кэй, всегдашний приверженец должных формальностей, — и приспустить флаги.

— Это верно, — сказал сэр Эктор. — Кто-нибудь, сбегайте, скажите сержанту.

Очевидно, выполнять это распоряжение надлежало Варту, ибо из присутствовавших людей благородного звания он был самым младшим, — и Варт весело побежал на поиски сержанта. Оставшиеся в башенном покое вскоре услышали

голос, оравший: «А ну, раз-два, особый траур по его покойному величеству, по команде „два“ опускаем!», а затем плеск штандартов, знамен, вымпелов, флагов, флажков, лозунгов и эмблем, кои делали столь веселыми белоснежные башенки Замка Дикого Леса.

— Как вы об этом прослышали? — спросил сэр Эктор.

— Продирался, понимаете, прилеском за своей Зверюгой, и повстречал важного такого монаха-бенедиктинца, он мне и рассказал. Самая последняя новость.

— Бедный старик Пендрагон, — сказал сэр Эктор.

— Король умер, — важно возгласил сэр Груммор. — Да здравствует Король.

— Замечательно, конечно, что вы все время говорите об этом, дражайший Груммор, — раздражительно воскликнул Король Пеллинор, — но кто этот Король, что? — кто да здравствует-то, что? — о ком вы толкуете?

— Ну как же, его наследник, — ответил несколько озадаченный сэр Груммор.

— У нашего благословенного монарха, — слезливо сказала нянюшка, — не было никакого наследника. Это всякий знает, кто изучал верно-

подданное семейство.

— Господи помилуй! — воскликнул сэр Эктор. — Но ближайший-то родственник у него же ведь должен быть?

— Так в том-то и дело! — чрезвычайно возбудившись, закричал Король Пеллинор. — Это самое волнующее и есть, что? Ни наследника, ни ближайшего сородича, а трон кому же наследовать? Потому-то мой монах и тревожился, что? Потому все время и спрашивал, а кто же наследовать будет, что, а? Что?

— Вы что, хотите сказать, — гневно воскликнул сэр Груммор, — что в нашей Волшебной Стране больше нет Короля?

— Ни вот столечка, — закричал Король Пеллинор, чувствуя, какую он принес важную весть. — Зато появились знамения и чудеса всякого рода.

— По-моему, это скандал, — сказал сэр Груммор. — Бог ее знает, до чего докатилась несчастная старая страна. А всё эти лолларды и коммунисты, нисколько не сомневаюсь.

— Какие знамения и чудеса? — спросил сэр Эктор.

— Да, так вот, там в одной церкви появился такой меч, и он в камне. Ну, то есть не совсем в церкви, понимаете? а рядом с церковью, и не так

чтобы в камне, что? Но в этом роде, вот так вот можно сказать.

— Куда смотрит Церковь, не понимаю, — сказал сэр Груммор.

— И все это в наковальне, — объяснил Король.

— Церковь?

— Нет, меч.

— Но вы, вроде, сказали, что он был в камне?

— Нет, — сказал Король Пеллинор, — камень около церкви.

— Послушайте, Пеллинор, — сказал сэр Эктор, — вам нужно немного отдохнуть, старина, и начать все сначала. Ну-ка, выпейте вот этот рог меда и успокойтесь.

— Меч, — сказал Король Пеллинор, — торчит из наковальни, которая стоит на камне. Он проходит сквозь наковальню и прямо в камень. Наковальня прилипла к камню. Камень стоит около церкви. Налейте мне еще меду.

— Ну и не вижу тут никакого чуда, — заметил сэр Груммор. — Чудо в другом, — как они допускают такие вещи. Впрочем, в наши дни, когда вокруг сплошные агенты саксов, ни за что нельзя поручиться.

— Друг вы мой разлюбезный, — вскричал Пеллинор, снова приходя в возбуждение, — дело

же не в том, где стоит камень, что? — я же вам объясняю, а в том, что на нем написано, вот же в чем дело-то!

— На чем?

— Да на рукояти!

— Знаете, Пеллинор, — сказал сэр Эктор, — Вы просто посидите с минуту спокойно, лицом к стене, а потом вы нам все расскажете, о чем это вы тут толковали. Вы, главное, старина, успокойтесь. Не надо спешить. Посидите, посмотрите на стену, будьте умницей, а потом начинайте рассказывать, но только как можно медленнее.

— Там есть слова, написанные на этом мече, который торчит в этом камне, который стоит около этой церкви, — жалобно закричал Король Пеллинор, — и слова эти такие… Ох, да попытайтесь же вы меня выслушать, вместо того чтобы все время перебивать по пустякам, у меня уже голова от вас закружилась.

— Так какие это слова? — спросил Кэй.

— А слова такие, — сказал Король Пеллинор, — насколько я понял того старика-монаха из серого ордена.

— Ну, продолжайте, — сказал Кэй, ибо Король Пеллинор вдруг замолчал.

— Продолжайте, — сказал сэр Эктор, — что там

за слова на том мече в той наковальне на том камне около той церкви, говорите.

— Какая-нибудь красная пропаганда, не сомневаюсь, — заметил сэр Груммор.

Король Пеллинор плотно зажмурил глаза, протянул в обе стороны руки и объявил, каждое слово с заглавной буквы: «Кто Вытащит Меч Сей из Камня Сего и из Наковальни, Тот Есть по Праву Рождения Король над Всей Землею Английской».

— Это кто же сказал? — спросил сэр Груммор.

— Так меч, я же вам рассказываю.

— Разговорчивое оружие, — скептически заметил сэр Груммор.

— Да написано это на нем, — сердито вскричал Король, — написано, золотыми буквами.

— Ну, и чего ж вы его не вытащили? — спросил сэр Груммор.

— Так я же вам говорю, что меня там и не было. Все, что я вам рассказал, мне рассказал монах, про которого я вам рассказал, ведь я же вам рассказываю.

— И что, вытащили уже этот меч с письменами? — осведомился сэр Эктор.

— Нет, — театрально зашептал Король Пеллинор. — Это-то самое волнующее и есть. Не могут они его вытащить, хоть все уже пробовали, — так,

в шутку, — а потому решили объявить по всей Англии, что в день Нового Года будет устроен турнир, и тот, кто явится на турнир и сумеет вытащить меч, тот и может на веки вечные стать Королем над всей Англией, что? О том я и говорю.

— Отец! — вскричал Кэй. — Человек, который вытащит меч из камня, станет Королем Англии. Отец, может, нам поехать на этот турнир, попытать счастья?

— И думать нечего, — сказал сэр Эктор.

— Дорога до Лондона долгая, — сказал, покачав головой, сэр Груммор.

— Мой отец туда как-то ездил, — сказал Король Пеллинор.

А Кэй сказал:

— Ох, да почему же мы не можем поехать? Когда меня посвятят в рыцари, мне ведь нужно будет отправиться на какой-нибудь турнир, а этот назначен как раз ко времени. Там же будут все лучшие люди, и мы сможем увидеть прославленных рыцарей и великих королей. Дело не в мече, конечно, но ты подумай о турнире, может быть, величайшем, который когда-либо проводился в Стране Волшебства, подумай, сколько всего мы сможем увидеть и сделать. Отец, милый, если ты

меня любишь, позволь мне отправиться на этот турнир, чтобы я мог добыть на нем главный приз, ведь это будет первый мой бой.

— Но Кэй, — сказал сэр Эктор, — я и в Лондоне-то никогда не был.

— Тем больше причин поехать. По-моему, всякий, кто не выходит на такие турниры, просто доказывает, что в жилах его не течет благородная кровь. Подумай, что скажут о нас люди, если мы не поедем и не попытаем счастья с этим мечом. Они скажут, что сэр Эктор слишком низок рождением и понимает, что шансов у него никаких.

— А мы все и так знаем, что у нашего рода нет никаких шансов, — сказал сэр Эктор, — то есть, по части меча.

— Людей в Лондоне полным-полно, — сказал сэр Груммор, в голове у которого забрезжило робкое предвкушение. — Так говорят.

Он глубоко вздохнул и выкатил на хозяина замка глаза, вроде мраморных шариков.

— А магазинов! — внезапно добавил Король Пеллинор, тоже тяжело задышав.

— Будь я проклят! — вскричал сэр Эктор, так хватив рогом о стол, что брызги полетели. — Тогда поехали все в Лондон, хоть посмотрим на нового Короля!

И все поднялись, как один человек.

— Что же, я хуже отца, что ли? — воскликнул Король Пеллинор.

— Черт подери! — вскричал сэр Груммор. — В конце концов, пропади оно пропадом, все-таки это столица!

— Ура! — завопил Кэй.

— Господь милостив, — сказала няня.

В эту минуту вошел вместе с Мерлином Варт, но все были слишком возбуждены, чтобы заметить, что Варт, не будь он уже таким взрослым, пожалуй, сейчас бы не сдержал слез.

— А, Варт, — закричал Кэй, забыв на мгновение, что обращается всего лишь к оруженосцу, и вновь воротясь к детской их фамильярности. — Представляешь? Мы все собираемся в Лондон, на большой турнир в день Нового Года!

— Вот как?

— Да, и ты понесешь мой щит и копья для поединка, а я всех одолею и стану великим рыцарем!

— Ну что же, я рад, что мы все туда собираемся, — сказал Варт, — потому что и Мерлин тоже от нас уезжает.

— Да Мерлин нам и не понадобится.

— Он уезжает от нас, — повторил Варт.

— Уезжает? — переспросил сэр Эктор. — Постойте, это вроде бы мы все собрались уезжать.

— Он намерен покинуть Замок Дикого Леса. Сэр Эктор сказал:

— Погодите-ка, Мерлин, о чем это он? Ни слова не понимаю.

— Я пришел попрощаться, сэр Эктор, — сказал старый волшебник. — Завтра мой ученик Кэй будет посвящен в рыцари, а на следующей неделе другой мой ученик уедет отсюда как его оруженосец. Больше от меня здесь никакой пользы не будет, пора уходить.

— Ну, ну, не надо так говорить, — сказал сэр Эктор. — Я считаю вас очень полезным малым, что бы ни произошло. Оставайтесь и учите меня или станьте библиотекарем или еще кем-нибудь. Не бросите же вы старика в одиночестве после того, как дети разлетятся.

— Мы все еще встретимся, — сказал Мерлин, — так что печалиться не о чем.

— Не уходи, — сказал Кэй.

— Я должен уйти, — ответил его наставник. — Мы прекрасно проводили здесь время, пока были молоды, но Время летит, это в его природе. Существует множество дел в иных частях королевства, которыми мне следует заняться прямо сейчас,

для меня настает пора особенно хлопотная. Ну, Архимед, скажи обществу до свидания.

— До свидания, — нежно сказал Архимед, обращаясь к Варту.

— До свидания, — сказал Варт, не поднимая глаз.

— Но вы же не можете так вот уйти, — воскликнул сэр Эктор, — вы обязаны были известить меня за месяц вперед!

— Не могу? — ответил Мерлин, принимая позу, к которой всегда прибегают философы, намереваясь растаять в воздухе.

Он приподнялся на носки (Архимед покрепче вцепился ему в плечо) и начал вращаться, словно волчок, — сначала медленно, потом все быстрее, быстрее, пока не обратился в расплывчатый серый свет, — и через несколько секунд ни его, ни Архимеда не было и следа.

— До свидания, Варт, — прокричали за окном башенного покоя два еле слышных голоса.

— До свидания, — в последний раз вымолвил Варт — и торопливо вышел из комнаты.

# 24

Посвящение в рыцари прошло в суматохе приготовлений. Пышную купальню Кэя пришлось установить в кладовке между двумя вешалками для полотенец и старым сундуком с любимыми игрушками, содержавшем лохматую соломенную мишень для дротиков, — в те времена она называлась «флешкой», — потому что все остальные комнаты загромождали уложенные в дорогу пожитки. Няня все это время сооружала для всей компании новые теплые штаны, — исходя из того, что погода в любых краях вне пределов Дикого Леса изменчива до крайности, что же до сержанта, он полировал доспехи, пока они едва не стали ломаться у него в руках, а мечи доострил до того, что от клинков и половины не осталось.

И вот, наконец-то, настало время трогаться в путь.

Если тебе не выпало счастье жить в Старой Англии двенадцатого века, — или когда там случилась вся эта история, — да при этом еще в отдаленном замке на краю Порубежья, ты, может быть, затруднишься представить себе все чудеса их путешествия.

Дорога, или тракт, большей частью тянулась грядой высоких холмов или безлесых взгорий, и по обе стороны от путников расстилались внизу пустынные болота, где вздыхали под снегом тростники, и потрескивал лед, и на красной заре разносилось по зимнему воздуху громкое кряканье уток. И так по всей стране. Порой по одну сторону от гряды расстилались вересковые пустоши, а по другую — сотни тысяч акров леса, в котором огромные ветви гнулись под бременем снега. Порой они различали тонкую струйку дыма среди деревьев или горстку построек далеко в бесстрастных тростниках, а два раза наезжали на вполне почтенные города, способные похвастаться несколькими харчевнями, но в целом это была Англия, не тронутая цивилизацией. Вдоль самых лучших дорог на расстоянии полета стрелы были устранены любого рода укрытия, дабы не прирезали путника затаившиеся лиходеи.

Спали они где придется — иногда в хижине какого-нибудь землепашца, способной их приютить, иногда в замке собрата-рыцаря, пригласившего их отдохнуть, иногда у простого очага, среди блох, в маленькой грязной лачуге, перед которой торчал кол с привязанным к нему кустом, — такова была в те времена обычная

вывеска постоялых дворов — а раз или два и под открытым небом, поплотнее стеснившись для сохраненья тепла, окруженные жующими конями. И где бы они ни шли, и где бы ни спали, восточный ветер свистел в тростниках, и в звездном свете высоко проносились дикие гуси, приветствуя криком светила.

Лондон был переполнен. Не будь сэр Эктор счастливым обладателем небольшого участка земли на Пирожной улице, на коем стоял приличный постоялый двор, навряд ли удалось бы им отыскать пристанище. Но сэр Эктор был таковым обладателем, и собственно говоря, большая часть его доходов проистекала именно из этого источника, так что им удалось получить на пятерых три постели. И они сочли это удачей.

В первый день турнира сэр Кэй заставил их отправиться к арене по меньшей мере за час до времени, когда могло начаться единоборство. Он всю ночь пролежал без сна, воображая, как посшибает лучших баронов Англии, и не смог даже позавтракать. Теперь он, бледный, ехал верхом во главе кавалькады, и Варту хотелось сделать что-нибудь такое, что могло бы его успокоить.

Провинциалов, только и знавших, что запущенную турнирную площадку близ замка сэра

Эктора, сцена, открывшаяся их глазам, зачаровала. Перед ними лежало что-то вроде огромной зеленой котловины, размером с футбольное поле. Она уходила вглубь футов на десять от поверхности земли, имела наклонные скаты, и снег с нее был сметен. Травяной покров согревали соломой, убранной только этим утром, теперь средь белого ландшафта сверкала зеленью свежая трава. Вокруг арены расстилался мир, наполненный красками, столь ослепительными, подвижными и мерцающими, что хотелось закрыть глаза. Деревянные трибуны были расписаны алым и белым. Однотонные и клетчатые шелковые шатры знаменитостей, разбитые вкруг арены, пестрели лазурью, зеленью и шафраном. Куда ни глянь, развевались на резком ветру вымпелы и флажки, отливая всеми цветами радуги, вытягиваясь и хлопая на древках, а барьер, установленный в середине самой арены, был выкрашен в черно-белую шахматную клетку. Бойцы и их друзья по большей части пока еще не появились, но и глядя на тех, кто уже подъехал, можно было представить себе, как эти люди обратят арену в подобие цветочной поляны, как вспыхнут доспехи, как запляшут на ветру вырезные рукава герольдов, когда они поднимут к губам медные трубы, чтоб

сотрясти пушистые зимние тучи фанфарами и весельем.

— Боже правый! — вскричал сэр Кэй. — Я же меч дома забыл!

— Без меча к поединкам не допускают, — сказал сэр Груммор. — Тут правила строгие.

— . Ты бы лучше сходил за ним, — сказал сэр Эктор. — Время у тебя есть.

— Оруженосец сходит, — сказал сэр Кэй. — Это надо же так обмишуриться! Эй, сквайр, беги поскорее в гостиницу да принеси сюда мой меч. Успеешь вовремя, получишь шиллинг.

Варт побледнел не хуже сэра Кэя, и лицо у него стало такое, словно он его сейчас пришибет. Тем не менее он сказал: «Будет сделано, господин», развернул своего иноходца навстречу людям, стекавшимся к арене, и принялся старательно прокладывать себе дорогу к постоялому двору.

— Деньги он мне посулил! — безмолвно кричал Варт. — Снизошел до жалкого дурачка с высот своего боевого коня, удостоил взгляда и даже сквайром назвал! О Мерлин, дай мне терпения с этой скотиной, не допусти, чтобы я швырнул его грязный шиллинг ему в лицо!

Когда он добрался до гостиницы, та оказалась закрытой. Каждому не терпелось увидеть зна-

менитый турнир, и вся прислуга отправилась вслед за толпой. Времена были беззаконные, и оставлять свой дом без присмотра было небезопасно, — как, собственно, и спать в нем, — если вы не были совершенно уверены в его неприступности. Деревянные ставни, покрывавшие окна первого этажа, имели в толщину два дюйма, а на дверях красовались двойные засовы.

— Ну, и что же мне теперь делать, — спросил Варт, — чтоб заработать мой шиллинг?

С сокрушением осмотрел он закрытую наглухо гостиничку и внезапно его разобрал смех.

— Бедный Кэй, — говорил он. — Все эти глупости насчет шиллинга сказаны им лишь с перепугу да от отчаяния, и теперь у него появилась для того порядочная причина. Ну что ж, хоть какой-нибудь меч он получить должен, даже если мне придется ради него вломиться в Лондонский Тауэр.

— Откуда они тут берут мечи? — продолжал он. — Где бы мне его свистнуть? Смогу ли я, даже сидя верхом на полудохлом иноходце, взять на испуг какого-нибудь рыцаря и силой отнять у него оружие? В таком огромном городе должны же быть кузнецы и оружейники, чьи лавки еще открыты.

Он развернул коня и затрусил вдоль улицы. В конце ее помещался тихий погост, и что-то вроде скверика было разбито перед дверью церкви. Посреди скверика лежал тяжкий камень со стоящей на нем наковальней, из наковальни торчал красивый новенький меч.

— Так, — сказал Варт. — Похоже, тут какой-то военный мемориал, но, думаю, сойдет. Наверняка никто не стал бы сердиться на Кэя из-за военного мемориала, если бы знал, в каком он отчаянном положении.

Он привязал поводья к столбу кладбищенских ворот, прошел по гравиевой дорожке и взялся за меч.

— Выйди, меч, — сказал он. — Прошу тебя о снисхождении. Выйди, послужи доброму делу.

— Удивительно, — сказал Варт. — Какое-то странное чувство возникает, едва я касаюсь этого меча, и видеть я вдруг начинаю гораздо яснее. Как красивы горгульи на церкви и монастыре, при котором она стоит. Как величаво колышутся прославленные знамена в приделе. С каким благородством возносит тот тис красные чешуйки своего ствола, восхваляя Бога. Как чист снег. И пахнет тут чем-то похожим на пиретрум и эглантерию, — и что такое мне слышится, музыка?

То была действительно музыка — то ли флейты Пана играли, то ли фонографы, и свет на погосте был столь ясен и не слепящ, что можно было бы разглядеть за двадцать ярдов иголку.

— Странное место, — сказал Варт. — Здесь где-то есть люди. О люди, чего вы хотите?

Никто не ответил ему, лишь играла громкая музыка, и лился прекрасный свет.

— Люди, — крикнул Варт, — я должен взять этот меч. Не для себя, для Кэя. Я верну его назад.

Ответа не было, Варт повернулся к наковальне. Он увидел золотые буквы, но не стал их читать, увидел самоцветы на рукояти, вспыхивающие в чудесном свете.

— Выйди же, меч, — сказал Варт.

Обеими руками он взялся за перекладины, напрягся. Фонографы запели в мелодичном согласии, однако ничто не шелохнулось.

Когда перекладины меча стали впиваться в ладони, Варт выпустил их, и отступил, глядя на звезды.

— Хорошо его закрепили, — сказал он.

Он снова взялся за меч и потянул изо всей мочи.

Музыка заиграла громче, и свет над кладбищем заблистал подобием аметиста, но меч не

подался.

— О Мерлин, — восклинул Варт, — помоги мне добыть это оружие.

Послышался шелестящий гул, сопровождаемый долгим аккордом. По всему погосту возникли вдруг сотни старых друзей. Все разом, словно призраки Панча и Джуди из незапамятных дней, они появились из-за церковной ограды, и были средь них барсуки, соловьи, и простые коровы, и зайцы, и дикие гуси, и соколы, и собаки, и рыбы, щеголеватые единороги и осы-отшельницы, крюкорылы и ежики, и грифоны, и тысячи прочих животных, которых он когда-либо знал. Они маячили над церковной стеной, друзья и помощники Варта, и важно, по очереди говорили свое. Одни сошли с церковных знамен, другие вылезли из гербов, кто-то явился из вод, с небес, из окрестных полей, — но все, вплоть до крохотной землеройки, пришли помочь, потому что любили его. И Варт ощутил, как сила его возрастает.

— Работай спиной, — сказал Лука (или Щука?) с одного из гербовых знамен, — как в тот раз, когда я хотел тебя проглотить. Помни, что сила исходит из основанья затылка.

— Да не забудь и передние лапы, — попросил важный барсук, — каковые скрепляются грудью.

Вперед, милый мой эмбрион, найди для себя орудие.

Дербник, сидевший на самой верхушке тиса, вскричал;

— А ну, Капитан Варт, каков есть первый закон ноги? Вроде, я где-то когда-то слышал такие слова: «Не пущать»?

— Работай, работай, не замирай, словно дятел, — любовно покрикивала неясыть. — Постоянство усилий, утеночек, и ты его одолеешь.

И белогрудка сказала:

— Ну что же ты, Варт, уж если ты смог однажды пролететь над огромным Северным морем, неужели же тебе не по силам скоординировать пару маленьких крыловидных мышц? Собери воедино телесные силы с силами духа, и меч выйдет наружу, как будто из масла. Вперед, Homo sapiens, ибо все мы, твои друзья, ждем только повода, чтобы крикнуть «ура!».

И Варт в третий раз приблизился к огромному мечу. Ласково возложил он на меч правую руку и вынул его, легко, как из ножен.

Вокруг разливались веселые вопли и шум, словно никак не могла перестать играть шарманка. После долгих поисков Варт нашел среди этого гомона Кэя и вручил ему меч. Люди, собравшиеся

на турнир, галдели ужасно.

— Но это не мой меч, — сказал сэр Кэй.

— Другого достать не смог, — ответил Варт. — Постоялый двор на запоре.

— Красивый меч. Где ты его раздобыл?

— Нашел, — он торчал из камня около церкви.

Сэр Кэй нервно наблюдал поединок, дожидаясь своей очереди. Он не уделил большого внимания словам своего оруженосца.

— Странное место для меча, — сказал он.

— Да, торчит себе из наковальни.

— Что? — закричал сэр Кэй, вдруг повернувшись к нему. — Разве ты не сказал перед этим, что меч торчал из камня?

— Из камня тоже, — ответил Варт. — Там какой-то военный мемориал.

Несколько секунд сэр Кэй изумленно глядел на него, потом открыл рот, снова закрыл, облизал губы и, развернувшись, рванулся через толпу. Он искал сэра Эктора, и Варт следовал за ним по пятам.

— Отец, — крикнул сэр Кэй, — подойди сюда на минуту.

— Да, мой мальчик, — сказал сэр Эктор. — Роскошно умеют падать эти профессионалы. Ну, в чем дело, Кэй? Почему ты белый как полотно?

— Ты помнишь про тот меч, который должен вытащить Король Англии?

— Да.

— Ну так вот он. Он у меня. В моих руках. Я его вытащил.

Сэр Эктор не сказал ничего неразумного. Он посмотрел на Кэя, потом на Варта. Потом он опять окинул Кэя долгим и любящим взглядом и сказал:

— Поехали в церковь.

— Итак, Кэй, — сказал сэр Эктор, когда все они оказались у церковных дверей. Он смотрел на своего первенца ласково, но прямо ему между глаз. — Вот камень, меч у тебя. Он сделает тебя Королем Англии. Ты мой сын, я горжусь тобой и всегда буду гордиться, что бы ты не содеял. Можешь ли ты дать мне слово, что вытащил его сам, собственными силами?

Кэй взглянул на отца. Он также взглянул на Варта и на меч.

Затем он тихо-тихо отдал меч Варту. Он сказал:

— Я солгал. Это Варт его вытащил.

Что касается Варта, то прошло еще какое-то время, в течение которого сэр Эктор несколько раз просил его вложить меч обратно в камень, — что он проделывал — и в течение которого сэр Эктор

и Кэй тщетно пытались вынуть его. Варт вынимал его для них и раз или два засовывал обратно. Потом для него наступило время более тяжкое.

Он увидел, как милый его опекун на глазах обессилел и постарел, и как он с трудом опустился на подагрические колени.

— Сэр, — произнес сэр Эктор, не поднимая глаз, хоть обращался он к своему же собственному мальчику.

— Пожалуйста, отец, не делайте этого, — сказал Варт и тоже встал на колени. — Дайте я помогу вам, сэр Эктор, потому что, глядя на вас, я чувствую себя несчастным.

— Нет, нет, господин мой, — сказал сэр Эктор и обронил несколько бессильных старческих слез. — Я никогда не был вам отцом, ни кровным родичем, но могу поручиться, что вы еще выше родом, нежели я о вас думал.

— Многие говорили мне, что вы не отец мой, — сказал Варт, — но это ведь ничего не значит.

— Сэр, — смиренно молвил сэр Эктор, — соизволите ли вы быть мне добрым и милостивым господином, когда станете Королем?

— Ну не надо! — сказал Варт.

— Сэр, — сказал сэр Эктор, — лишь об одном прошу у вас: сделайте сына моего, вашего мо-

лочного брата сэра Кэя, сенешалем всех ваших владений.

Кэй тоже встал на колени, и этого стерпеть Варт был уже не в силах.

— Да перестаньте же вы, — закричал он. — Конечно, быть ему сенешалем, коли мне придется быть Королем, только, отец, ну не стойте же вы так на коленях, ибо это разрывает мне сердце. Прошу вас, встаньте, сэр Эктор, ведь этого вынести невозможно. О Боже, Боже, лучше бы мне и не видеть никогда этого дрянного меча!

И Варт тоже залился слезами.

# 25

Может быть, стоит еще написать главу и о коронации. Бароны, разумеется, подняли шум, но поскольку Варт готов был засовывать меч в камень и вытягивать его оттуда до самого Судного Дня, а больше никого на это способного не отыскалось, они в конце концов пошли на попятный. Несколько гаэльских баронов восстали, и пришлось их потом усмирять, но в целом народ Англии и партизаны, вроде Робина, остались довольны, что все уладилось. Им приходилось уже невмоготу от анархии, бывшей их уделом в правление Утера Пендрагона: невмоготу от властительных лордов и феодальных великанов, от рыцарей, творивших, что им заблагорассудится, от расовой дискриминации и от правления по принципу «Один Только Сильный Прав».

Коронация оказалась восхитительной церемонией. И восхитительнее всего было в ней то, что она походила на день рождения или на Рождество. Буквально все осыпали Варта подарками за мастерство, с коим он научился вытаскивать мечи из камней, а несколько жителей города Лондона попросили его помочь им вытянуть пробки

из непокорных бутылок или выбить застрявшие в бочках затычки, — а так же в иных важных домашних делах, с которыми сами они не сумели управиться… Собачий Мальчик и Вот прислали ему вскладчину микстуру от чумки, содержавшую хину и вообще совершенно бесценную. Лё-лёк прислала несколько стрел, сделанных из ее собственных перьев. Каваль просто пришел и отдал ему сердце и душу. Нянюшка из Замка Дикого Леса прислала микстуру от кашля, тридцать дюжин носовых платков, все с метками, и две двубортных спальных пижамы. Сержант прислал — на предмет сохранения нацией — медали, полученные им в крестовых походах. Хоб, проведя в терзаниях целую ночь, прислал Простака с новехонькими белой кожи опутенками, серебряными ногавками и серебряным колокольцем. Робин и Мэриан отправились на охоту, занявшую у них шесть недель, и прислали целую мантию из куньих шкурок. Маленький Джон добавил к этому тисовый лук высотою в семь футов, который Варт совершенно не способен был натянуть. От анонимного ежика поступило то ли четыре, то ли пять испачканных листьев, а на листьях — блохи. Искомый Зверь и Король Пеллинор думали-думали и прислали несколько драгоценнейших

катышей, завернутых в зеленые весенние листья и помещенных в золотой рог на красной бархатной перевязи. Сэр Груммор прислал дюжину дюжин копий с гербом его старой школы на каждом. Повара, насельники, вилланы и челядь Замка Дикого Леса сложились каждый по ангелу и отправили на церемонию шарабан, которым правил сэр Эктор, а в шарабане — огромную серебряную копию Пеструхи, завоевавшей таки первенство в третий раз, и Ральфа Пасселью, чтобы он спел на коронационном банкете. Архимед прислал собственного праправнука, дабы было кому сидеть за обедом на спинке королевского трона и гадить на пол. Лорд-Мэр и Олдермены города Лондона по подписке устроили в Тауэре просторный аквариум-кречатню-зверинец, в коем всякое существо непременно постилось один день в неделю для блага желудка, — и там, получая свежую пищу, доброе ложе, постоянный уход и все современные удобства, проживали от достиженья преклонного возраста и до заката их радостных жизней все друзья Варта, летающие, плавающие и бегающие. Граждане Лондона поднесли пятьдесят миллионов фунтов на поддержанье зверинца, а Кавалерственные Дамы Британии сшили из черного бархата пару

теплых домашних туфель и вышили по ним золотом инициалы Варта. Кэй подарил своего рекордного грифона с присовокуплением самых искренних чувств. Было и много других исполненных вкуса подарков от различных баронов, архиепископов, князей, ландграфов, племенных вождей, корпораций, пап, султанов, королевских комиссий, городских районных советов, царей, беев, махатм и так далее, но наилучший из всех любовно поднес Варту его собственный опекун, старый сэр Эктор. Его подарком была похожая на дурацкий колпак шутиха, фараонова змейка, которую полагалось поджигать с острия. Варт поджег ее и смотрел, как она растет. Когда пламя погасло, перед ним стоял Мерлин в своей волшебной шляпе.

— Ну вот, Варт, — сказал Мерлин, — вот мы и снова оказались — или окажемся — вместе. Как мило ты выглядишь в этой короне. Мне не дозволено было открыть тебе это до сей — или с той — поры, но отцом твоим был (или будет) Король Утер Пендрагон, и это именно я, в обличий нищего, принес тебя в золотых свивальниках в замок сэра Эктора. Мне ведомо все о твоем рождении, и о роде, и о том, кто дал тебе твое настоящее имя. Мне ведомы горести, что тебя ожидают,

и радости, ведомо мне и то, что уже никогда и никто не посмеет назвать тебя по-дружески Вартом. В будущем твоим славным уделом станут тягости и отрады, кои влечет за собой величие твоего прирожденного титула, а потому я прошу привилегии — быть самым первейшим среди твоих подданных, назвавших тебя, как своего возлюбленного сеньора: Королем Артуром.

— Ты надолго со мной останешься? — спросил Варт, мало что понявший из сказанного.

— Да, Варт, — ответил Мерлин. — А правильнее было б сказать (или будет?): Да, Король Артур.

***EXPLICIT LIBER PRIMUS***

# Царица Воздуха и Тьмы

*Когда же отпустит мне смерть, наконец,*
*Все зло, которое сделал отец?*
*И скоро ли под гробовою доской*
*Проклятие матери сыщет покой?*
*INOIPIT LIBER SECUNDUS*

# 1

Стояла на свете башня, а над башней торчал флюгер. Флюгером служила ворона со стрелою в клюве, чтобы указывать ветер.

Под самой крышей башни находилась редкая по неудобству круглая комната. В восточной ее части помещался чулан с дырою в полу. Дыра смотрела на наружные двери башни, коих имелось две, через нее можно было швырять вниз камни в случае осады. На беду ею же пользовался и ветер, — он входил в нее и вытекал в нестекленные окна или в трубу очага, если только не дул в противную сторону, пролетая сверху вниз. Получалось что-то вроде аэродинамической трубы. Вторая беда состояла в том, что комнату заполнял дым горящего торфа — от огня, разожженного не в ней, а в комнате ниже. Сложная система сквозняков высасывала дым из трубы очага. В сырую погоду каменные стены комнаты запотевали. Да и мебель в ней не отличалась удобством. Всей-то и было мебели, что груды камней, пригодных для швыряния через дыру, несколько заржавелых генуэзских арбалетов со стрелами и груда торфа для неразожженного очага. Кровати у четверки

детей не имелось. Будь комната квадратной, они могли бы соорудить нары, а так приходилось спать на полу, укрываясь, как получится, соломой и пледами.

Из пледов дети соорудили над своими головами подобие шатра и теперь лежали под ним, тесно прижавшись друг к другу и рассказывая историю. Им было слышно, как в нижней комнате мать подкармливает огонь, и они шептались, опасаясь, как бы и она их не услышала. Не то чтоб они боялись, что мать поднимется к ним и их прибьет. Они обожали ее немо и бездумно, потому что характер у нее был сильнее. И не в том было дело, что им запрещалось разговаривать после того, как они улягутся спать. Дело было, пожалуй, в том, что мать воспитала их — от безразличия ли, по лени или из своего рода жестокости безраздельного собственника — с увечным чувством хорошего и дурного. Они словно бы никогда точно не знали, хорошо ли они поступают или плохо.

Шептались они по-гаэльски. Вернее сказать, они шептались на странной смеси гаэльского и старинного языка рыцарства, которому их обучили, потому что он им понадобится, когда они подрастут. Английского они почти и не знали. Впоследствии, став знаменитыми рыцарями при

дворе великого короля, они поневоле выучились бегло говорить по-английски — все, кроме Гавейна, который, как глава клана, намеренно цеплялся за шотландский акцент, желая показать, что он не стыдится своего происхождения.

Рассказ вел Гавейн, поскольку он был самый старший. Они лежали рядышком, похожие на тощих, странных, украдчивых лягушат, — хорошо скроенные тела их готовы были окрепнуть, едва их удастся как следует напитать. Волосы у всех были светлые. Гавейн был ярко рыж, а Гарет белес, словно сено. Возраст их разнился от десяти до четырнадцати лет, моложе всех был Гарет. Гахерис был крепышом. Агравейн, самый старший после Гавейна, был **в**семье главным буяном — изворотливым, легко плачущим и боящимся боли. Это потому, что ему досталось богатое воображение, и головой он работал больше всех остальных.

— Давным-давно, о мои герои, — говорил Гавейн, — еще до того, как были мы рождены или даже задуманы, жила на белом свете наша прекрасная бабушка и звали ее Игрейна.

— Графиня Корнуольская, — сказал Агравейн.

— Наша бабушка — Графиня Корнуольская, — согласился Гавейн, — и влюбился в нее кровавый

Король Англии.

— По имени Утер Пендрагон, — сказал Агравейн.

— Кто рассказывает историю? — сердито спросил Гарет. — Закрой рот.

— И Король Утер Пендрагон, — продолжал Гавейн, — послал за Графом и Графинею Корнуолла…

— Нашими дедушкой и бабушкой, — сказал Гахерис.

— …и объявил, что должно им остаться с ним в его доме в Лондонском Тауэре. И вот, пока они оставались с ним там, он попросил нашу бабушку, чтобы она стала его женою вместо того, чтобы дальше жить с нашим дедушкой. Но добродетельная и прекрасная Графиня Корнуолла…

— Бабушка, — вставил Гахерис. Гарет воскликнул:

— Вот дьявол! Будет от тебя покой или нет? Последовали приглушенные препирательства, сдобренные взвизгами, шлепками и жалобными укорами.

— Добродетельная и прекрасная Графиня Корнуолла, — возобновил свой рассказ Гавейн, — отвергла посягательства Короля Утера Пендрагона и рассказала о них нашему дедушке. Она сказала:

«Видно, за нами послали, чтобы меня обесчестить. А потому, супруг мой, давайте сей же час уедем отсюда, тогда мы за ночь успеем доскакать до нашего замка». И они вышли средь ночи.

— В самую полночь, — поправил Гарет.

— …из королевской крепости, когда в доме все спали, и оседлали своих горделивых, огнеоких, быстроногих, соразмерных, большегубых, малоголовых, ретивых коней при свете ночной плошки и поскакали в Корнуолл так скоро, как только могли.

— То была ужасная скачка, — сказал Гарет.

— И кони под ними пали, — сказал Агравейн.

— Ну, нет, этого не было, — сказал Гарет. — Наши дедушка с бабушкой не стали бы до смерти загонять коней.

— Так пали или не пали? — спросил Гахерис.

— Нет, не пали, — поразмыслив, ответил Гавейн. — Но были от этого недалеки.

И он продолжил рассказ.

— Когда поутру Король Утер Пендрагон проведал о том, что случилось, разгневался он ужасно.

— Безумно, — подсказал Гарет.

— Ужасно, — сказал Гавейн — Король Утер Пендрагон ужасно разгневался. Он сказал: «Вот как Бог свят, мне принесут голову этого Графа

Корнуолла на блюде для пирогов!» И он послал нашему дедушке письмо, в коем предписывал ему готовиться и снаряжаться, ибо не пройдет и сорока дней, как он доберется до него хоть бы и в крепчайшем из его замков!

— А у него было два замка, — засмеявшись, сказал Агравейн. — Называемых Замок Тинтагильский и Замок Террабильский.

— И потому Граф Корнуолла поместил нашу бабушку в Тинтагиле, сам же отправился в Террабиль, и Король Утер Пендрагон подошел, дабы обложить их оба.

— И тут, — вскричал Гарет, более неспособный сдержаться, — король разбил множество шатров, и пошли между двумя сторонами великие сражения, и много полегло народу!

— Тысяча? — предположил Гахерис.

— Никак не меньше двух, — сказал Агравейн. — Мы, гаэлы, и не смогли бы положить меньше двух тысяч. По правде, там, может, полег целый миллион.

— И вот, когда наши бабушка с дедушкой стали одерживать верх и, похоже, стало, что Короля Утера ожидает полный разгром, явился туда злой волшебник, именуемый Мерлин…

— Негромант, — сказал Гарет.

— И тот негромант, поверите ли, посредством своего адского искусства преуспел в том, чтобы перенести предателя Утера Пендрагона в замок нашей бабушки. Дед же немедля предпринял вылазку из Террабиля, но был в сраженьи убит…

— Предательски.

— А несчастная графиня Корнуолла…

— Добродетельная и прекрасная Игрейна…

— Наша бабушка…

— …стала пленницей злобного англичанишки, вероломного Короля Драконов, и затем, несмотря на то, что у нее уже были целых три красавицы-дочери…

— Прекрасные Корнуольские Сестры.

— Тетя Элейна.

— Тетя Моргана.

— И мамочка.

— И даже имея этих прекрасных дочерей, ей пришлось неволею выйти замуж за Английского Короля, — за человека, который убил ее мужа!

В молчании размышляли они о превеликой английской порочности, ошеломленные ее denouement. То был любимый рассказ их матери, — в редких случаях, когда она снисходила до того, чтобы им что-нибудь рассказать, — и они заучили его наизусть. Наконец Агравейн проци-

тировал гаэльскую пословицу, которой она же их научила.

— Четырем вещам, — прошептал он, — никогда не доверится лоутеанин — коровьему рогу, лошадиному копыту, песьему рыку и английскому смеху.

И они тяжело заворочались на соломе, прислушиваясь к неким потаенным движениям в комнате под собой.

Комнату, расположенную под рассказчиками, освещала единственная свеча и шафрановый свет торфяного очага. Для королевского покоя она была бедновата, но в ней, по крайней мере, имелась кровать, — громадная, о четырех столбах, — в дневное время ею пользовались вместо трона. Над огнем перекипал на треноге железный котел. Свеча стояла перед полированной пластиной желтой меди, служившей зеркалом. В комнате находилось два живых существа — Королева и кошка. Черная кошка, черноволосая Королева, обе были голубоглазы.

Кошка лежала у очага на боку, будто мертвая. Это оттого, что лапы ее были связаны, как ноги оленя, несомого с охоты домой. Она уже не боролась и лежала теперь, уставясь в огонь щелками глаз и раздувая бока, с видом на удивление от-

решенным. Скорее всего, она просто лишилась сил, — ибо животные чуют приближение конца. По большей части они умирают с достоинством, в котором отказано человеческим существам. Может быть, перед кошкой, в непроницаемых глазах которой плясали пламенные язычки, проплывали картины восьми ее прежних жизней, и она обозревала их со стоицизмом животного, лишившегося и надежд, и страхов.

Королева подняла кошку с полу. Королева намеревалась испробовать известную ворожбу, — развлечения ради, или чтобы хоть как-то провести время, пока мужчины воюют. Это был способ стать невидимкой. Она не занималась ведовством всерьез, — как ее сестра, Моргана ле Фэй, — ибо была слишком пустоголова для серьезных занятий каким угодно искусством, хотя бы и черным. Она предавалась ему лишь оттого, что в крови у нее присутствовала некая чародейская примесь, как и у всякой женщины ее расы.

Кошка, брошенная в кипящую воду, страшно забилась и издала жуткий вой. Мокрый мех, вздыбленный паром, поблескивал, словно бок ударенного гарпуном кита, пока она пыталась выскочить наружу или проплыть немного со связанными лапами. В уродливо распяленной пасти

виднелась вся ее красноватая глотка и острые белые зубы, похожие на шипы. После первого вопля она уже не могла произвести никакого звука и лишь раздирала челюсти. Потом она умерла.

Моргауза, Королева Лоутеана и Оркнея, сидела у котла и ждала. По временам она пошевеливала кошку деревянной ложкой. Комнату начинала наполнять вонь от сваренной шкурки. В льстивом отсвете горящего торфа королева глядела в зеркало и видела в нем свою редкостную красоту: глубокие, большие глаза, мерцание темных лоснистых волос, полное тело, выражение легкой настороженности, когда она прислушивалась к шепоту в комнате наверху.

Гавейн сказал:

— Отмщение!

— Они не причинили никакого вреда Королю Пендрагону.

— Они лишь просили, чтобы их отпустили с миром.

Именно нечестность насилия, совершенного над их корнуольской бабушкой, причиняла страдания Гарету, — видение слабых и ни в чем неповинных людей, павших жертвами неодолимой тирании, — древней тирании галлов, — которую на Островах даже любой деревенский пахарь

воспринимал как личную обиду. Гарет был мальчиком великодушным. Мысль о сильном, восставшем на слабого, казалась ему ненавистной. Сердце его расширялось, заполняя всю грудь, словно бы от удушья. Напротив, Гавейн гневался потому, что зло причинили его семье. Он не считал силу неправым средством достижения успеха, но полагал, что не может быть правым никто, преуспевший в делах, направленных против его клана. Он не был ни умен, ни чувствителен, но был верен, порой до упрямства и даже — в дальнейшей жизни — до раздражающей тупости. И тогда и потом образ мыслей его был всегда одинаков: С Оркнеем, правым или неправым! Третий брат, Агравейн, испытывал волнение оттого, что дело касалось его матери. Он питал к ней странные чувства, каковые держал при себе. Что до Гахериса, он всегда поступал и чувствовал так, как все остальные.

Кошка распалась на куски. Мясо от долгого кипячения раскисло, и в котле не осталось ничего, кроме высокой пены, состоящей из шерсти, жира и мясных волокон. Под нею кружили в воде белые косточки, а те, что потяжелее, лежали на дне, и белые пузырьки воздуха поднимались грациозно, словно листья на осеннем ветру. Королева,

несколько сморщив носик из-за тяжкого запаха, исходившего от несоленого варева, отцедила жидкость в другую посудину. Фланелевое сито удержало осадок, в который обратилась кошка — набрякшую массу спутанных волос и ошметков мяса, тонкие кости. Она подула на осадок и принялась ворошить его ручкой ложки, чтобы он побыстрей остудился. Тогда можно будет разгрести его пальцами.

Королева знала, что во всякой полностью черной кошке имеется косточка, которая, если держать ее во рту, сварив предварительно кошку заживо, может превратить тебя в невидимку. Правда, никто точно не знал, даже в те времена, какая именно из костей на это способна. Потому и приходилось заниматься магией перед зеркалом, — так можно было отыскать нужную кость практическим путем.

И не то чтобы Моргаузе так уж хотелось стать невидимкой, напротив, ей, красавице, это было бы даже неприятно. Но все мужчины ушли. А тут — какое-никакое, а все же занятие, простое и хорошо знакомое чародейство. Оно, к тому же, позволяло ей повертеться перед зеркалом.

Королева разобрала кошачьи останки на две кучки, — в одной груда вываренных теплых ко-

стей, в другой комки разного разварившегося до мякоти сора. Затем она выбрала одну из костей и, оттопырив мизинчик, поднесла ее к алым губам. Она держала ее в зубах и стояла перед полированной медью, с сонным удовольствием озирая себя. Затем она бросила кость в огонь и подхватила другую.

Смотреть на нее было некому. А странноватый был вид, — как она раз за разом поворачивается от зеркала к кучке костей, всякий раз суя косточку в рот, оглядывая себя — не исчезла ли — и отбрасывая кость. Двигалась она грациозно, словно танцуя, словно было кому ее видеть или как будто хватало и того, что она сама себя видит.

В конце концов, — впрочем, так и не перепробовав все кости, — она утратила к ним интерес. Последние она нетерпеливо отшвырнула и выкинула всю грязь в окно, не особо заботясь о том, куда та может упасть. Затем она залила огонь, и каким-то своеобразным движением вытянулась на большой кровати, и долго лежала в темноте, без сна, и тело ее досадливо вздрагивало.

— Вот в этом, мои герои, — заключил Гавейн, — и есть причина, по коей мы, оркнейцы и корнуольцы, должны еще пуще противиться Королям Английским, а наипаче — клану Мак-

Пендрагона.

— И вот почему наш папа отправился биться с Королем Артуром, ибо Артур тоже Пендрагон. Так говорит наша мамочка.

— И мы обязаны вечно хранить эту вражду, — сказал Агравейн, — потому что мамочка из Корнуоллов. Дама Игрейна была наша бабушка.

— Наш долг — отомстить за семью.

— Потому что наша мамочка — самая прекрасная женщина в гористом, просторном, увесистом, приятно кружащемся мире.

— И потому что мы ее любим.

И впрямь, они любили ее. Быть может, и все мы отдаем лучшее, что есть в наших сердцах, бездумно, — тем, кто в ответ едва о нас вспоминает.

## 2

В мирном промежутке между двумя Гаэльскими Войнами на зубчатой башне Камелотской твердыни юный Король Англии стоял рядом со своим наставником и вглядывался в лиловатые вечерние дали. Под ними мягкий свет окутывал землю, и медленная река вилась между почтенным аббатством и величавой крепостью, и в закатных пламенных водах отражались шпили, и башенки, и длинные вымпелы, недвижно свисавшие в мирном воздухе.

Мир, лежавший пред ними, походил на игрушку, ибо они находились на высокой башне, царившей над городом. У себя под ногами они могли видеть траву внешнего замкового двора, — глядеть на нее вниз было жутковато, — и укороченного человечка с двумя ведрами на коромысле, бредущего по траве в сторону походного зверинца. Дальше, у наворотного покоя, смотреть на который было не так боязно, потому что помещался он не прямо под ними, виднелся ночной дозор, принимавший пост у сержанта. Дозорные и сержант щелкали каблуками, салютовали, потрясали копьями и обменивались паролями

звонко, словно свадебные колокола, — но двое на башне не слышали их, ибо все происходило слишком далеко внизу. Дозор напоминал оловянных солдатиков, крошечную ирландскую стражу, и топот солдатских ног оставался беззвучен на сочной, подъеденной овцами траве. Дальше, за внешней стеной, слышался глухой гомон, там рядились на рынке старухи, завывали младенцы, бражничали капралы, и с этим шумом мешалось блеянье нескольких козлов, звон от колокольцев двух-трех прокаженных, проходивших, накрывшись белыми балахонами, шелест от ряс монахинь, по двое добродетельно навещающих бедных, и крик от драки, затеянной какими-то джентльменами, сильно интересующимися лошадьми. На другом берегу реки, струившейся под крепостной стеной, мужчина перепахивал поле, привязав плуг прямо к лошадиному хвосту. Дерево плуга скрипело. Неподалеку от мужчины сидела на берегу некая молчаливая личность, пытаясь выловить на червя лосося, — реки в ту пору загажены не были, — а чуть подальше осел встречал подступавшую ночь громким концертом. Все эти звуки доносились до двоих, стоявших на башне, приглушенно, словно они слушали их через рупор, приложенный к уху не тем концом.

Артур был молод, он стоял еще на самом пороге жизни. Светловолосый, с глуповатым, — во всяком случае, бесхитростным — лицом. Открытое лицо, добрые глаза и выражение доверчивое и положительное, как у прилежного ученика, радующегося жизни и не верящего в прирожденную человеческую греховность. Просто ему никогда не приходилось испытывать дурного обхождения, и оттого он был добр к людям.

Короля облекала бархатная мантия, принадлежавшая Утеру Завоевателю, его отцу, отделанная бородами покоренных в давние дни четырнадцати королей. К сожалению, были среди этих королей и рыжие, и чернявые, и седые, и бороды они отращивали разной длины, так что отделка походила на боа из перьев. А вокруг пуговиц мантии топорщились их усы.

Мерлина же украшала борода белая, по пояс, и еще очки в роговой оправе и остроконечная шляпа. Он носил ее в знак уважения к порабощенным саксам, чьим национальным головным убором было либо подобие купальной шапочки, либо фригийский колпак, либо такой вот конус, только соломенный.

Двое слушали вечер, изредка обмениваясь словами, — когда слова приходили на ум.

— Да, — сказал Артур, — должен сказать, что королем быть приятно. Сражение получилось отличное.

— Ты так считаешь?

— Ну а как же не отличное? Видел бы ты, как бежал Лот Оркнейский, едва я пустил в дело Экскалибур.

— Сначала он поверг тебя наземь.

— Пустяки. Это оттого, что я не пользовался Экскалибуром. Стоило мне вытащить мой верный меч, и они разбежались, как кролики.

— Они вернутся, — сказал волшебник, — все шестеро. Короли Оркнея, Гарлота, Гоора, Шотландии, и Король из Башни, и Король-с-Сотней-Рыцарей уже учредили, в сущности говоря, Гаэльскую Конфедерацию. Тебе следует помнить, что твои притязания на трон вряд ли можно назвать традиционными.

— Да пускай возвращаются, — ответил Король, — не возражаю. На сей раз я разобью их как следует, и тогда мы увидим, кто здесь хозяин.

Старик сунул бороду в рот и принялся жевать ее, как делал обыкновенно, когда что-либо выводило его Из себя. Один перекушенный волос завяз у него между зубами. Он попытался вытолкнуть его языком, потом вытянул двумя пальцами. В

конце концов он принялся скручивать его концы в два колечка.

— Я полагаю, что рано или поздно тебя удастся чему-нибудь научить, — сказал он, — но видит Бог, до чего это тяжкая, изнурительная работа.

— Ну да?

— Да! — страстно воскликнул Мерлин. — Ну да? Ну да? Это все, что ты можешь сказать. Ну да? Ну да? Как школьник.

— Поаккуратней, а то я отрублю тебе голову.

— Отруби. Сделай доброе дело. По крайности, не придется больше учительствовать.

Артур облокотился на башенный парапет и повернулся к своему старинному другу.

— В чем дело, Мерлин? — спросил он. — Я что-то неверное сделал? Извини, коли так.

Волшебник расправил бороду и высморкался

— Горе не в том, что ты делаешь, — сказал он. — Горе в том, как ты думаешь. Если и существует что-то, чего я не в состоянии переносить, так это глупость. Я всегда говорил, что глупость — это прегрешение против Духа Святого.

— Да уж это я слышал.

— Ну вот, теперь ты язвишь.

Король взял его за плечо и развернул к себе.

— Послушай, — сказал он, — что такого случи-

лось? Ты в дурном настроении? Если я совершил какую-то глупость, скажи мне. Не надо злиться.

Эти слова только пуще разозлили престарелого некроманта.

— Скажи ему! — воскликнул он. — А что, интересно, ты станешь делать, когда сказать будет некому? Ты когда-нибудь собираешься начать думать самостоятельно? Что будет, когда меня заточат в этот мой дурацкий могильник, хотел бы я знать?

— Я и не слышал ни о каком могильнике.

— Да черт с ним, с могильником! Какой еще могильник? О чем я с тобой разговаривал, а?

— О глупости, — сказал Артур. — Разговор начался с глупости.

— Вот именно.

— Послушай, от твоего «вот именно» толку немного. Ты собирался мне что-то сказать о глупости.

— Я не знаю, что я собирался сказать. Ты своими штучками доводишь человека до такого каления, что через две минуты разговора никто уже не в состоянии понять, о чем он ведется. С чего все началось?

— Все началось со сражения.

— Теперь вспомнил, — сказал Мерлин. — Вот

именно с него все и началось.

— Я сказал, что сражение было доброе.

— Это я припоминаю.

— Так оно ведь и было доброе, — оправдывающимся тоном повторил Король. — Приятное было сражение, и я сам его выиграл, ведь это же весело.

Волшебник погружался вглубь своего сознания, и глаза его при этом затягивались пленкой, словно у ястреба. В течение нескольких минут на укреплениях стояла тишина, лишь над ближним полем пара играющих в охоту сапсанов кувыркалась в воздухе, выкрикивая «кик-кик-кик» и звеня колокольцами. Мерлин снова выглянул из своих глаз.

— Ты искусно выиграл это сражение, — медленно вымолвил он.

Артура учили, что следует проявлять скромность, и в простоте своей он не заметил, что стервятник вот-вот падет на него с высоты.

— Да чего там. Мне просто повезло.

— Очень искусно, — повторил Мерлин. — Сколько пехоты у тебя полегло?

— Не помню.

— Не помнишь.

— Кэй говорил…

Король застыл в середине фразы и взглянул на волшебника.

— Ладно, — сказал он. — Выходит, ничего в нем веселого не было. Я не подумал.

— Потери составили больше семи сотен. Разумеется, все сплошь мужики-пехотинцы. Из рыцарей никого не поранило, за вычетом одного, сломавшего ногу при падении с лошади.

Увидев, что Артур не собирается отвечать, старик продолжал с еще большей горечью.

— Я забыл, — прибавил он, — что ты получил несколько очень серьезных царапин.

Артур не отрывал пылающих глаз от ногтей на своей руке.

— Ненавижу тебя, когда ты такой зануда. Мерлин пришел в восторг.

— Вот! Вот это и есть потребное нам настроение, — сказал он, продевая свою руку сквозь королевскую и радостно улыбаясь. — Это уже на что-то похоже. Отвечай за себя сам, тогда не пропадешь. А просить совета — роковая ошибка. Помимо прочего, меня здесь очень скоро не будет, и советовать будет некому.

— О чем это ты все время твердишь, — что тебя здесь не будет, насчет могильника и так далее?

— Да ерунда. Мне в скором будущем предстоит

влюбиться в девицу по прозванью Нимуя, и тогда она выучит мои заклинания и на несколько веков заточит меня в пещеру. Это из тех вещей, от которых никуда не денешься.

— Но Мерлин, это же ужасно! Застрять на несколько столетий в пещере, будто жаба в норе! Надо же как-то этому помешать!

— Глупости, — сказал волшебник. — 0 чем я говорил?

— О той девице…

— Я говорил о советах и о том, что никогда не следует их принимать. Так вот, теперь я как раз собираюсь дать тебе парочку. Я советую тебе подумать о битвах, о волшебном твоем королевстве и о том, чем должен заниматься король. Ты сделаешь это?

— Сделаю. Разумеется, сделаю. Но вот насчет этой девицы, которая выучит твои заклинания…

— Ты понимаешь, дело ведь не в одних королях, но и просто в людях. Когда ты говоришь, что сражение вышло прелестное, ты думаешь так же, как твой отец. А я хочу, чтобы ты думал по-своему, чтобы ты оправдал все то образование, которое от меня получил, — потом, когда я буду всего лишь стариком, упрятанным в яму.

— Мерлин!

— Ладно, ладно! Я, собственно, и напрашивался на жалость. Не обращай внимания. Это я так, для эффекта. Сказать по правде, получить покой на несколько сотен лет — возможность совершенно очаровательная, а что до Нимуи, то, оглядываясь на прожитое, я с большим нетерпением предвкушаю нашу с ней встречу. Нет-нет, самое важное сейчас — это чтобы ты выучился думать самостоятельно, и еще вопрос о сражениях. Ты, например, думал когда-нибудь всерьез о состоянии твоей страны, или ты так и намерен продолжать ту жизнь, которую вел Утер Пендрагон? В конце-то концов, ты ведь здешний Король.

— Думал, но не очень подолгу.

— Понятно. Ну так разреши, я вместо тебя немного подумаю. Предположим, мы задумались о нашем гаэльском друге, о сэре Брюсе Безжалостном.

— Об этом типе!

— Вот именно. А что это ты так о нем отзываешься?

— Да ведь это свинья. Он же убивает девиц, а стоит настоящему рыцарю прийти кому-то из них на помощь, как он удирает во все лопатки. Он растит особых быстрых скакунов, чтобы никто не смог его изловить, да еще и нападает со спины.

Попался бы он мне, я бы его на месте убил.

— Что ж, — сказал Мерлин. — Не думаю, чтобы он сильно отличался от прочих. К чему, вообще говоря, сводится все это рыцарство? Если попросту, то оно означает, что нужно быть достаточно богатым, чтобы обзавестись замком, оружием и доспехами, а когда у тебя все это есть, ты можешь заставить саксов делать то, что тебе угодно. Единственно чем ты рискуешь — это получить пару царапин, если доведется нарваться на другого рыцаря. Вспомни хоть тот поединок между Пеллинором и Груммором, когда ты был маленький. Это ведь доспехи сражались. Любой барон может резать бедняков, сколько ему заблагорассудится, а увечить друг друга — это просто их каждодневная работа, — и в результате страна лежит в запустении. Сильный прав — вот их девиз. Брюс Безжалостный — всего лишь пример общего положения дел. Взгляни на Лота, на Нантреса, на Уриенса, на всю ораву гаэлов, сражающихся с тобой за Королевство. Я готов допустить, что вытягивание мечей из камней не такое уж юридически безупречное доказательство происхождения, но ведь короли Древнего Люда бьются с тобой не из-за этого. Они восстали против тебя, против своего суверена, просто потому что трон

зашатался. Как мы когда-то говаривали, трудности Англии — шанс для Ирландии. Для них это возможность свести расовые счеты, устроить небольшое чисто спортивное кровопускание и малость заработать на выкупах. Лично они в этой заварухе ничего не теряют, они же в латах, — и похоже, что ты тоже наслаждаешься. Однако посмотри на страну. Посмотри на сожженные риги, на торчащие из прудов ноги покойников, на лошадей, валяющихся вдоль дорог со вздувшимися животами, на разрушенные мельницы, на зарытые деньги, на то, как никто не решается выходить на дорогу с золотом или украшениями на одежде. Вот это и есть современное рыцарство. С привкусом Утера Пендрагона. А ты еще говоришь о веселом сражении!

— Я думал о себе.

— Я знаю.

— А надо было думать и о людях, у которых нет доспехов.

— Верно.

— Сильный не прав, так, Мерлин?

— Ага! — просияв, ответил волшебник. — Ага! Ты хитрый паренек, Артур, но на такой ерунде ты своего старого наставника не поймаешь. Тебе хочется меня разозлить и вынудить думать вме-

сто тебя. На это я не клюну. Я для этого слишком старый лис. Остальное тебе придется додумывать самому. Прав ли сильный, — а если не прав, то почему, привести причины и разработать план. И затем, — что ты намереваешься делать в этой связи.

— А что бы… — начал было Король, но вовремя заметил признаки неудовольствия.

— Очень хорошо, — сказал он. — Я подумаю об этом.

И принялся думать, поглаживая верхнюю губу там, где еще предстояло вырасти усам.

Перед тем, как им уйти с укреплений, случилось маленькое происшествие. Человек, несший ведра в зверинец, теперь воротился с пустыми. По дороге к кухонной двери он ненадолго остановился прямо под ними, совсем крохотный с виду. Артур, поигрывавший ослабевшим камнем, который он вытянул из навесной бойницы, утомясь от размышлений, глянул вниз с камнем в ладони.

— Каким маленьким кажется Курселен.

— Совсем крошка.

— Интересно, что будет, если я уроню этот камень ему на голову?

Мерлин прикинул расстояние.

— При тридцати двух футах в секунду, — сказал

он, — я полагаю, его убьет до смерти. Четырехсот g достаточно, чтобы разнести череп.

— Я никого никогда так не убивал, — пытливым тоном произнес юноша.

Мерлин смотрел на него.

— Ты Король, — сказал он. И добавил: — Никто тебе ни слова не скажет, если ты попробуешь.

Артур стоял неподвижно, перегнувшись, с камнем в руке. Затем он, не шелохнувшись, скосил глаза, чтобы встретиться взглядом с наставником.

Камень аккуратнейшим образом снес с головы Мерлина шляпу, и старый джентльмен грациозно помчался за юношей вниз по лестнице, размахивая палочкой из дерева жизни.

Артур был счастлив. Подобно человеку в Раю, еще до грехопадения, он наслаждался невинностью и удачей. Вместо бедного оруженосца он стал королем. Вместо того чтобы так и остаться сиротой, он был любим почти всеми, за исключеньем гаэлов, и сам отвечал любовью всякому.

Пока что во всем, что касалось его, на веселой, радостной поверхности сверкающего росой мира не замечалось ничего, похожего и на малую частицу печали.

## 3

Сэр Кэй интересовался Королевой Оркнея, — он много слышал о ней.

Как-то раз он спросил:

— Кто такая Королева Моргауза? Мне рассказывали, что она прекрасна. Это из-за нее желает драться с нами Древний Народ? И что представляет собой ее муж, Король Лот? Какой его полный титул? Я слышал, как одни называли его Королем Внешних Островов, а другие — Королем Лоутеана и Оркнея. Где этот Лоутеан? Недалеко от Ги Бразила? Я не понимаю, с какой стати бунтуют? Все же знают, что Король Англии — их феодальный властитель. Говорят, у нее четыре сына. Правда, что она не очень-то ладит с мужем?

Они верхом возвращались домой после целого дня, проведенного в горах за охотой с сапсанами на куропаток. Мерлин отправился с ними, потому что ему хотелось проехаться. В последнее время он впал в вегетарианство — в качестве принципиального противника всякого вида спорта, сопряженного с пролитием крови, хоть в пору бездумной юности и сам он успел поупражняться в большей части из них, да и поныне втайне насла-

ждался, глядя на соколов. Их совершенные круги в небесах, в ожидании, — снизу они казались не больше соринки — шумный шелест, с которым они, будто косой, сносили куропатку, и то, как несчастная дичь, мгновенно убитая, падала кверху тормашками в вереск, — перед всеми этими соблазнами он пасовал с неуютным чувством своей греховности. Он успокаивал это чувство, повторяя себе, что куропатки предназначены для еды. Но и то было пустой отговоркой, ибо употребление мяса также казалось ему неправым.

Артур, скакавший настороженно, как и положено осмотрительному молодому монарху, отвел глаза от куста утесника, за которым в те ранние анархические времена вполне могла затаиться засада, и, приподняв бровь, поворотился к своему наставнику. Половина его разума пыталась угадать, на какой из вопросов Кэя предпочтет ответить волшебник, но другая еще продолжала оценивать военные возможности ландшафта. Он знал, как далеко отстали от них сокольничие, — носильщик, тащивший накрытых клобучками птиц на квадратной раме, висевшей у него на плечах, и два вооруженных охранника, — и сколько еще ехать до следующего места, где можно было получить стрелу, сразившую Вильгельма

Рыжего.

Мерлин выбрал второй вопрос.

— Войн никогда не ведут по какой-то одной причине, — сказал он. — Причин, как правило, дюжины, все вперемешку. То же и с мятежами.

— Но ведь должна быть и главная, — сказал Кэй.

— Не обязательно. Артур сказал:

— Давайте-ка рысью. До тех кустов две мили по открытому месту, можно будет не спеша прогуляться назад, навстречу нашим людям. Заодно и кони продышатся.

С Мерлина сдуло шляпу. Пришлось остановиться, чтобы ее подобрать. После этого они неторопливо поехали в ряд.

— Одну из причин, — сказал волшебник, — составляет вечная вражда гаэлов и галлов. Гаэльская Конфедерация представляет древнюю расу, изгнанную из Англии несколькими другими расами, кои представляете вы. Естественно, они будут пакостить вам, где и как только смогут.

— Расовая история выше моего понимания, — сказал Кэй. — Никому неизвестно, кто к какой расе принадлежит. И во всяком случае, все они сервы.

Старик взглянул на него с выражением, пожа-

луй, даже довольным.

— Что меня всегда поражало в норманнах, — сказал он, — так это то, что они, в сущности, ничего ни о чем не знают, кроме как о самих себе. И ты, Кэй, в качестве норманнского джентльмена, довел эту черту до крайности. Вот интересно, знаешь ли ты хотя бы, кто такие гаэлы? Их еще называют кельтами.

— Кельт — это род боевого топора, — сказал Артур, удивив таким сообщением волшебника сильнее, чем его удивляли на протяжении жизни нескольких поколений, Ибо сообщение было верным в отношении одного из значений этого слова, но Артур того знать не мог.

— Я не об этих кельтах. Я говорю о народе. Будем называть их гаэлами. Я имел в виду древние народы, жившие в Британии, Корнуолле, Уэльсе, Ирландии и Шотландии. Пикты и прочие.

— Пикты? — спросил Кэй. — О пиктах я, по-моему, слышал. Пиктограммы. Они еще красились в синий цвет.

— И предполагалось ведь, что я даю вам образование!

Король задумчиво сказал:

— Ты не мог бы рассказать мне о расах, Мерлин? Наверное, я должен разбираться в ситуации, если

нам предстоит вторая война.

На этот раз удивился Кэй.

— А что, разве будет война? — спросил он. — Впервые слышу. Мне казалось, что мятеж был подавлен в прошлом году.

— Вернувшись домой, они вступили в новый союз с пятью новыми королями, так что теперь их одиннадцать. И эти новые тоже старых кровей. Кларенс Нортумберландский, Идрис Корнуольский, Крадилмас из Северного Уэльса, Брандегорис Странгорский и Ангвис Ирландский. Боюсь, война будет серьезная.

— И все из-за каких-то рас, — сказал с отвращением молочный брат Короля. — Ладно, хоть повеселимся.

Король оставил эти слова без внимания.

— Ну же, — сказал он Мерлину. — Мне нужны объяснения.

— Но только, — быстро добавил он, едва волшебник открыл рот, — поменьше подробностей.

Прежде чем смириться с этим ограничением, Мерлин еще дважды открывал и закрывал рот.

— Примерно три тысячи лет назад, — сказал он, — земля, по которой ты едешь, принадлежала расе гаэлов, сражавшихся медными топорами. Две тысячи лет назад их отогнала на запад другая

раса гаэлов, с бронзовыми мечами. Тысячу лет назад сюда вторглись германцы, у этого народа оружие было железное, но он не успел овладеть всеми Пиктианскими Островами, потому что в самый разгар вторжения явились римляне и ему помешали. Лет восемьсот назад римляне ушли, а затем еще одно вторжение германцев, — эта народность называлась по преимуществу саксами, — как водится, отогнала всю прочую шушеру на запад. Саксы только-только начали обосновываться, как объявился твой отец, Завоеватель, с командой норманнов, — вот тебе и нынешняя ситуация. Робин Вуд был саксом-партизаном.

— Я полагал, что нас именуют Британскими Островами.

— Правильно, именуют. Люди вечно смешивают В и П. А пуще германцев никто в согласных не путается. В Ирландии и по сию пору толкуют о каком-то народе, называемом Фоморы, каковые на самом деле попросту родом из Померании, в то время как…

В этот критический момент Артур его перебил.

— Получается, стало быть, следующее, — сказал он, — норманны поработили саксов, у которых имелись некогда собственные рабы, которые назывались гаэлами — Древним Народом. В таком

случае я не понимаю, с какой стати Гаэльская Конфедерация норовит сражаться со мной — с королем норманнов, — когда на самом деле их поработили саксы, да и произошло-то это сотни лет назад.

— Ты, мой мальчик, недооцениваешь памятливость гаэлов. Они не делают между вами различия. Норманны — германская раса, как и саксы, которых завоевал твой отец. Что же касается древних гаэлов, они попросту считают обе ваши расы ветвями одного и того же враждебного народа, загнавшего их на запад и на север.

Кэй решительно произнес:

— Я больше не вынесу истории. В конце концов, считается, что мы вроде бы выросли. Если так будет продолжаться, мы кончим диктантом.

Артур ухмыльнулся и запел хорошо им памятным голоском: «Barbara Celarent Parii Ferioque Prioris», а Кэй антифоном пропел четыре следующих строки.

Мерлин сказал:

— Сами просили.

— Вот и получили.

— Значит, суть в том, что война разразится потому, что германцы, галлы, или как ты их еще называл, давным-давно обидели гаэлов.

— Вовсе нет, — воскликнул волшебник. — Я никогда ничего подобного не говорил.

Его собеседники разинули рты.

— Я сказал, что война случится по дюжинам причин, не по одной. Еще одна из причин именно этой войны состоит в том, что Королева Моргауза носит брюки. Или, может быть, лучше сказать — тартановые штаны.

Артур терпеливо произнес:

— Я что-то не пойму. Сначала мне внушают, будто Лот и все остальные бунтуют потому, что они гаэлы, а мы галлы, а теперь меня уверяют, что все дело в штанах Королевы Оркнейской. Ты не мог бы высказаться определеннее?

— Существует вражда между гаэлами и галлами, о которой мы уже говорили. Но есть ведь и иные виды вражды. Ты не забыл, надеюсь, что твой отец еще до того, как ты родился, убил графа Корнуолла? Королева Моргауза — одна из дочерей этого графа.

— Прекрасные Корнуольские Сестры, — вставил Кэй.

— Вот именно. С одной из них вы знакомы — с Королевой Морганой ле Фэй. Это ее вы нашли на кровати из сала, когда ходили в поход с Робин Вудом. Третьей сестрой была Элейна. Вся троица

— ведьмы, хотя только Моргана и занимается этим всерьез.

— Если мой отец, — сказал Король, — убил отца Королевы Оркнея, то у нее, я думаю, есть добрая причина желать, чтобы муж ее восстал против меня.

— Это всего только личная причина. А личные причины не могут служить извинением для войны.

— И более того, — продолжал Король, — если моя раса изгнала расу гаэлов, то и у подданных Королевы Оркнея имеется, насколько я понимаю, причина не хуже.

Мерлин поскреб скрытый бородой подбородок рукой, державшей поводья, и задумался.

— Утер, — сказал он наконец, — твой оплакиваемый отец, был захватчиком. Равно как и его предшественники саксы, изгнавшие Древний Народ. Но если мы все будем строить на таком движении вспять, мы никогда не доберемся до конца. Древний Народ и сам был захватчиком по отношению к более ранней расе с медными топорами, однако и те топорных дел мастера являлись захватчиками по отношению к какой-то еще более ранней орде эскимосов, питавшихся моллюсками. Этак можно продолжать, пока не

доберешься до Каина с Авелем. Суть-то в том, что и Саксонское Завоевание было успешным, и Норманнское тоже. Твой отец давно усмирил неудачливых саксов, как бы грубо он это ни сделал, а по прошествии многих лет люди оказываются готовыми принять status quo. Кроме того, я хотел бы отметить, что Норманнское Завоевание являло собой процесс сплочения мелких делений в крупные, — тогда как теперешний мятеж Гаэльской Конфедерации представляет процесс распада. Они хотят разбить то, что они могли бы назвать Объединенным Королевством, на множество собственных мелких и кичливых королевств. Вот почему их побудительные мотивы не могут быть названы добрыми. Он еще раз поскреб подбородок и вдруг прогневался.

— Никогда я не переваривал этих националистов, — воскликнул он. — Участь человека в единении, не в разделении. Разделение в конце концов приведет нас к сообществу обезьян, швыряющих друг в друга орехами со своего дерева каждая.

— И все же, — сказал Король, — мне кажется, у них имеется достаточно поводов для обиды. Быть может, мне не следует с ними бороться?

— Сдаться что ли? — спросил Кэй, скорее забав-

ляясь, чем с испугом.

— Я мог бы отречься.

— Ты Король, — упрямо сказал старик. — Никто не скажет тебе ни слова, если ты отречешься.

Чуть позже он заговорил более мягким тоном.

— А знаешь ли ты, — сказал он с некоторым сожалением в голосе, — что и сам я принадлежу к Древнему Люду? Отец мой был, как уверяют, демоном, а мать — из гаэлов. Вся человеческая кровь, какая есть в моих жилах, досталась мне от Древних. И все-таки я противник их националистических идей, их политиканы кличут таких, как я, перебежчиками, ибо, раздавая клички, они набирают очки в дешевых дебатах. И еще, ты знаешь, Артур, жизнь — штука достаточно горькая и без территорий, войн и благородной вражды.

## 4

Сено уже собрали, еще неделя, и поспеют хлеба. Втроем они сидели в тени на краю пшеничного поля, наблюдая за белозубыми, дочерна загорелыми людьми, беспорядочно сновавшими по залитому солнцем полю, — кто приспосабливал новую ручку к косе, кто натачивал серп, — все готовились к окончанию ежегодных сельских трудов. Мирный покой осенял ближние к замку поля, здесь нечего было бояться стрел. Глядя на сборщиков урожая, они срывали полусозревшие колосья и с удовольствием покусывали зерна, наслаждаясь мягким молочным вкусом пшеницы и шелушистой, не столь обильной плотью овса. Жемчужный вкус ячменя, пожалуй, показался бы им странноватым, ибо ячмень еще не добрался до Страны Волшебства.

Мерлин все еще продолжал свои объяснения.

— Когда я был молод, — говорил он, — бытовала такая идея, что любая война — дело неправое. В те дни очень многие заявляли, что они просто-напросто никогда и ни за что сражаться не станут.

— Возможно, они были правы, — сказал Король.

— Нет, не были. Одна честная причина для драки все же имеется, и состоит она в том, что драку затеял кто-то другой. Понимаешь, войны, конечно, греховны, они, может быть, греховнее всего, что творят греховные виды живых существ. Они греховны настолько, что их вообще не следует допускать. Но если ты совершенно уверен, что войну начал другой человек, значит, наступило такое время, когда остановить его — это до некоторой степени твой долг.

— Но ведь любая из сторон всегда объявляет зачинщиком своего врага.

— Разумеется, объявляет, и даже хорошо, что ей приходится так поступать. По крайней мере, это показывает, что втайне каждая из сторон сознает, какой грех — развязывать войны.

— И все же насчет причин, — возразил Артур. — Если одна из сторон каким-то способом доводит другую до голода, — способы могут быть самые мирные, экономические, с военными действиями вовсе не связанные, — тогда голодающая сторона получает право сражаться, чтобы выйти из этого положения, — ты понимаешь, что я имею в виду?

— Я понимаю, что ты, как тебе кажется, имеешь в виду, — сказал волшебник, — однако ты

не прав. Войне нет оправданий, нет вообще, и какого бы зла твой народ ни причинил моему — не считая военного нападения — именно мой народ будет неправ, если *затеет* войну, чтобы выправить дело. Убийцу, к примеру, не оправдывают, когда он отговаривается тем, что жертва его была богата и его угнетала, — так с какой же стати оправдывать на этом основании целый народ? Несправедливость надлежит исправлять с помощью разума, а не силы.

Кэй сказал:

— Допустим, Король Лот Оркнейский выстраивает армию вдоль всей северной границы, — что остается делать нашему Королю, как не послать свою армию, чтобы она встала на той же самой линии? Теперь допустим, что все воины Лота обнажают мечи, тогда ведь и нам останется лишь обнажить наши. Ситуация может быть и сложнее Похоже, неспровоцированное нападение — это такая штука, с которой трудно быть в чем-то уверенным.

Мерлин рассердился.

— Это оттого, что тебе хочется, чтобы было на то похоже, — сказал он. — Совершенно очевидно, что зачинщиком будет Лот, ибо именно он угрожал нам силой. Установить главного виновника

можно всегда, если только не плутовать в рассуждениях. И в конечном счете, им безусловно является тот, кто наносит первый удар.

Кэй, однако, не желал так просто расстаться со своим доводом.

— Давай вместо двух армий возьмем двух людей, — сказал он. — Они стоят друг против друга, оба вытаскивают мечи, делая вид, что у них есть на то свои причины, оба начинают кружить один вокруг другого, выискивая слабое место, и оба делают ложный выпад мечом, притворяясь, будто желают ударить, но не ударяя И ты хочешь мне доказать, что зачинщик — это тот, кто по-настоящему нанесет первый удар?

— Да, если иных оснований для решения нет. В твоем же случае зачинщиком, очевидно, является тот, кто первый вывел свою армию к границе.

— Все эти разговоры о первом ударе — просто пустой звук. А если они ударят одновременно, или, допустим, ты не видишь, кто наносит первый удар, потому что слишком много народу стояло один против другого?

— Да почти всегда есть что-то еще, на чем можно основываться, вынося решение, — воскликнул старик. — Обратись к здравому смыслу. Посмотри, к примеру, на этот гаэльский мятеж. Есть у

Короля причины для нападения? Он ведь и так их феодальный властитель. Какой же смысл прикидываться, будто это он на них нападает? Никто не нападает на свое достояние.

— Я-то уж точно не чувствую себя во всем этом зачинщиком, — сказал Артур. ~ По правде сказать, я и не предвидел событий, пока они не разразились. Наверное, это из-за того, что меня растили в глуши.

— Любой разумный человек, — продолжал его наставник, не обращая внимания на помеху, — если он пребывает в твердом уме, в девяноста войнах из ста способен назвать зачинщика. Прежде всего, он способен увидеть, какая из сторон больше выиграет от войны, а это уже серьезная причина для подозрений. Затем можно выяснить, какая сторона первой пригрозила силой или принялась вооружаться И наконец, часто можно с точностью указать, кто нанес первый удар.

— А что, — сказал Кэй, — если одна из сторон первой применила угрозу силой, а другая нанесла первый удар?

— Ой, послушай, иди, сунь голову в бадью с холодной водой. Я же не утверждаю, что решение возможно в любом случае. С самого начала нашего спора я говорил, что существует множество

войн, в которых ежу понятно, кто агрессор, и что в таких войнах сражение с преступником может оказаться долгом всякого порядочного человека. Вот если ты не уверен в его преступности, — а тут ты обязан отдать себе полный отчет, собрав воедино всю честность, какая у тебя только найдется, всю, до крохи, — тогда, разумеется, поступай в пацифисты. Помнится, я и сам был когда-то яростным пацифистом — во время Бурской войны, когда моя страна оказалась агрессором, — и одна молодая дама едва не оглушила меня пищалкой в ночь Мафекинга.

— Расскажи нам про ночь Мафекинга, — сказал Кэй. — А то меня уже мутит от этих разговоров насчет того, кто прав, кто неправ.

— Ночь Мафекинга. — начал волшебник, всегда готовый рассказывать кому и о чем угодно. Однако ему помешал Король.

— Расскажи нам про Лота, — сказал он. — Раз уж придется с ним драться, надо бы знать, кто он такой. Вообще же эта тема — кто прав, кто неправ и почему, — меня заинтересовала.

— Король Лот… — начал Мерлин тем же самым тоном, но теперь Кэй его перебил.

— Нет, — сказал Кэй. — Расскажи о Королеве. Похоже, она интересней.

— Королева Моргауза..

Впервые в жизни Артур использовал право вето. Мерлин, заметив, как приподнялась его бровь, с неожиданным смирением вернулся к рассказу о Короле Оркнея.

— Король Лот, — сказал он, — рядовой член сословия пэров и королей-землевладельцев. Попросту ноль. И нечего о нем думать.

— Как это?

— Прежде всего, он то, что мы в мои молодые годы называли джентльменом из хорошей семьи. Подданные его — гаэлы, как и его жена, однако сам он прибыл сюда из Норвегии. Он такой же галл, как вы, представитель правящего класса, давным-давно завладевшего Островами. А это означает, что подход к войне у него в точности тот же, что был у твоего отца. Ему равно наплевать на гаэлов и на галлов, однако он отправляется воевать совершенно так же, как мои викторианские друзья отправлялись охотиться на лис, ну, может быть, еще ради выгоды или выкупа. К тому же его жена подзуживает.

— Порою, — сказал Король, — мне хочется, чтобы ты родился и жил, как все нормальные люди, — вперед. Эти твои викторианцы и ночь Мафекинга…

Мерлин разгневался.

— Связь между военным искусством норманнов и викторианской лисьей охотой не вызывает сомнений. Давай на минуту забудем про твоего отца и про Короля Лота и обратимся к литературе. Возьми норманнские предания, то, что говорится в них относительно таких легендарных личностей, как анжуйские короли. Все они, от Вильгельма Завоевателя до Генриха Третьего, предавались войне лишь в определенное время года. Стоило этому времени наступить, как они выезжали навстречу врагу в великолепных доспехах, уменьшавших опасность ранения до минимума, привычного для участника лисьей охоты. Возьми битву при Бренневилле, решившую участь войны, — девять сотен рыцарей вышли на поле сражения, и только трое оказались убиты. Возьми Генриха Второго, занимавшего деньги у Стефана, чтобы заплатить собственному войску, которое с этим же Стефаном и сражалось. А возьми спортивный этикет, согласно которому Генриху пришлось снять осаду, едва с осажденными соединился его враг, Людовик, поскольку Людовик был к тому же его сувереном. А возьми осаду горы Святого Михаила, при которой победа над осажденными была сочтена неспортивной

по той причине, что у осажденных иссякла вода. А битва при Мальмсбери, прекращенная из-за дурной погоды. Вот наследство, которое ты получил, Артур. Ты стал королем над землями, в которых народные агитаторы ненавидят друг друга по расовым причинам, а владетельные лорды сражаются для развлечения, и ни расовый маньяк, ни благородный боец даже не думают об обычных солдатах, которым только и выпадают увечья. И если ты, Король, не сможешь заставить дела в этом мире идти не так, как идут они ныне, твое правление будет нескончаемой вереницей пустяковых сражений, ведомых по причинам либо спортивным, либо и вовсе плевым, и гибнуть в них будут одни бедняки. Вот почему я просил тебя думать. Вот почему…

— Я думаю, — сказал Кэй, — это Динадан там машет руками. Значит, обед готов.

## 5

Дом Матушки Морлан на Внешних Островах едва ли превосходил размерами конуру крупной собаки, но был он удобен и полон интересных вещей. Дверь украшали две прибитых к ней конских подковы, а внутри имелось: пять статуэток, купленных у пилигримов и обвитых каждая потертыми четками, так что хороший молельщик мог передохнуть, переходя от одного порядка молитв к другому; несколько пучков слабительной льнянки, лежавших на крышке соляного ларя; несколько наплечных повязок, обмотанных вокруг кочерги; двадцать бутылок шотландского виски — все, кроме одной, пустые; около бушеля сушеной вербы — память о Вербных Воскресениях за последние семьдесят лет; и множество шерстяных нитей, которыми обвязывают коровий хвост, когда корова телится. Имелась здесь также и большая коса без рукояти, приготовленная Матушкой на случай появления грабителя, — если отыщется настолько дурной, чтобы сунуться к ней, — а у дымохода висели ясеневые дубинки, из которых ее больной муж когда-то давно намеревался понаделать цепов,

и с ними шкурки, содранные с угрей и полоски конской кожи, тоже заготовленные для цепов. Под шкурками стояла здоровенная бутыль со святой водой, а перед горящим в очаге торфом восседал со стаканом живительной влаги в руке ирландский святой, которых в ту пору много жило по берегам островов в ульеобразных кельях. Был он из сбившихся с пути истинного святых, ибо впал в пелагианскую ересь целестианского толка, уверовав, что душа и сама себя может спасти. И теперь деятельно спасал ее с помощью Матушки Морлан и крепкого виски.

— Да пребудут с вами Бог и Мария, Матушка Морлан, — сказал Гавейн. — Мы пришли послушать какую-нибудь историю, мэм.

— Да пребудут и с вами Бог, Мария и Андрей, — воскликнула старуха. — Что это вы просите меня об истории, когда вон его преподобие сидит на куче золы!

— Доброго вечера вам, Святой Тойрделбах, мы и не заметили вас в темноте.

— Да благословит вас Бог.

— И вам того же.

— Расскажите нам про убийства, — сказал Агравейн. — Про убийства и про воронов, что выклевывают глаза.

— Нет-нет, — закричал Гарет. — Лучше про таинственную девушку, которая вышла замуж за человека, потому что он украл у великана волшебного скакуна.

— Господь да прославится, — молвил Святой Тойрделбах. — Так вы, стало быть, желаете, чтоб история была загадочная.

— Да вы расскажите нам, какую хотите, Святой Тойрделбах.

— Расскажите нам про Ирландию.

— Расскажите про Королеву Меб, которая пожелала быка.

— Или спляшите одну из джиг.

— Господь да смилостивится над бедными вашими головушками — выдумают ведь, чтобы святой им джигу плясал!

Четверо представителей правящего класса уселись кто куда, — в хибарке имелись только две табуретки, — ив предвкушающем молчании уставились на святого.

— Так вам, значит, потребна история с моралью?

— Нет-нет. С моралью не надо. Нам бы такую, чтобы в ней было про драку. Давайте, Святой Тойрделбах, расскажите, как вы проломили епископу голову.

Святой отхлебнул добрый глоток виски и сплюнул в огонь.

— Жил да был когда-то король, — сказал Святой Тойрделбах, — а звали его, как бы вы думали? — звали его Король Конор Мак Несса. Здоровенный был, что твой кит, и жил он со своими родичами в месте, называемом Королевская Тара. До того незадолго отправился тот король биться против этих проклятых О'Хара, и подстрелили его в сшибке волшебною пулей. А надо вам знать, что древние герои делали себе пули из мозгов своих супостатов, — каковые они раскатывали ладонями в маленькие шарики и выкладывали сушиться на солнышко. Я-то, знаете ли, полагаю, что они ими стреляли из аркебузы, ну вот как стреляют из рогатки, а то еще из арбалета. Ну да как бы они ни стреляли, но старому Королю прострелили одной из этих самых пулек висок, а она возьми и прилепись прямо к черепу да еще в самом важном месте. «Конченый я человек», — говорит тут Король, и призывает он Судий Ирландских, дабы держать с ними совет насчет разных тонкостей акушерства. Первый судия и говорит: «Ты, Король Конор, все одно как мертвец. Пуля сидит у тебя в мозговой доле». Так говорят все медицинские жантильмены, и нет у них ува-

жения ни к человеку, ни к его убеждениям. «Ах, да что же это такое? — восклицает Король Ирландии. — Это ж выходит явственно злая судьба, ежели человеку нельзя чуть-чуть посражаться без того, чтобы не наступило скончание всем его дням». — «Неча болтать-то попусту, — отвечают хирурги. — Кое-чего еще сделать можно, а вот именно, что должно тебе воздержаться от всех неестественных возбуждений отныне и вовек. Да заодно уж, — они говорят, — надлежит тебе воздержаться и от естественных возбуждений тоже, потому как иначе пуля причинит тебе прободение, прободение приведет к истечению, а истечение — к воспалению, отчего и случится полное прекращение совершенно всех твоих жизненных функций. Это единственная твоя надежда, Король Конор, а нет — так лежать тебе всенепременно в земле, и будут тебя угрызать раскаянье и червяки». Да, разрази меня Господь, хорошенькое, можете себе представить, вышло состояние дел. Сидит это бедный Конор в крепости и ни тебе посмеяться, ни посражаться, ни крепкой водички в рот не берет и даже на красных девиц не глядит совсем, чтобы ему мозги не разорвало. А пуля, значит, торчит у него из виска, половинка внутри, половинка снаружи, и так он

и жил с того дня и вовек — в печали.

— Ура докторам, — сказала Матушка Морлан. — Вот же хитры, окаянные!

— И что с ним случилось потом? — спросил Гавейн. — Долго он прожил в той темной комнате?

— Что с ним случилось? Я как раз к этому и подхожу. Как-то раз ударила буря, и стены замка дрожали, как долгие сети, и немалая часть крепостной стены у них завалилась. Худшей бури в тех местах никто и припомнить не мог, и Король Конор выскочил под открытое небо — испросить у кого-нибудь совета. И нашел он одного из своих судий стоящим снаружи и спросил его, что же это такое творится. А тот судия был человек ученый и все обсказал Королю Конору. И рассказал он ему, что в этот день в оное время наш Спаситель был повешен в Еврее на дереве, и какая от того разыгралась буря, и говорил он Королю Конору о Божьем Завете. И тогда, что бы вы думали, Король Конор Ирландский в правом гневе помчался назад во дворец, дабы сыскать свой меч, и выбежал с ним в самую бурю защищать своего Спасителя, — да так вот и умер.

— Умер?

— Да.

— Ну и ну!

— Какая красивая смерть, — сказал Гарет. — Ему-то она мало добра принесла, но все равно в ней было величие!

Агравейн сказал:

— Если бы доктора велели мне соблюдать осторожность, я бы не стал кипятиться из-за ерунды, а сначала подумал, что из этого может выйти.

— Но ведь это был рыцарский поступок?

Гавейн начал сучить ногами.

— Глупый поступок, — сказал он наконец. — Никакого добра из него не вышло.

— Но ведь он же хотел, чтобы вышло добро.

— Он не для своей семьи старался, — сказал Гавейн. — И вообще я не понимаю, с чего он так разошелся.

— Как же не для семьи? Он старался для Бога, а Бог для всякого человека и есть семья. Король Конор вышел биться за правое дело и отдал за него жизнь.

Агравейн нетерпеливо ерзал седалищем по мягкой порыжелой торфяной золе. Гарет казался ему дурачком.

— Расскажите нам историю, — сказал он, чтобы переменить тему, — про то, как были сотворены свиньи.

— Или про великого Конана, — сказал Га-

вейн, — как его приколдовали к креслу. Как он прилип к нему и его нипочем не могли с него снять. И тогда они потянули изо всей силы и оторвали его, и им пришлось пересадить ему на зад кусок кожи, — а кожа оказалась баранья, и с тех пор фении носят чулки из той шерсти, что отросла на Конане!

— Нет, не надо, — сказал Гарет. — Довольно историй. Давайте, мои герои, сядем и побеседуем с разумением о серьезных вещах. Поговорим о нашем отце, который отправился воевать.

Святой Тойрделбах сделал изрядный глоток виски и сплюнул в огонь.

— Война — дело важное, — отметил он тоном человека, предающегося воспоминаниям. — Было время, я частенько хаживал на войну, — пока меня не причислили к лику святых. Да только устал я от войн.

Гавейн сказал:

— Не понимаю, как это люди устают от войн. Я бы ни за что не устал. В конце концов, это же самое что ни на есть занятие для джентльмена. Я хочу сказать, это все равно как устать от охоты или от соколов.

— Война, — сказал Тойрделбах, — вещь знатная, если ее не слишком уж много. А когда то и

дело сражаешься — как узнать, за что вообще идет драка? Бывали в Старой Ирландии хорошие войны, так они там бились из-за быка или еще из-за чего, и каждый мужчина с самого начала вкладывал в это дело всю душу.

— А почему вы устали от войн?

— Да уж больно много народу я положил. Кому же охота губить смертные души незнамо за что, а то и вовсе ни за что ни про что? По мне так лучше, когда выходят биться один на один.

— Ну, это эвон когда было.

— Да, — сокрушенно сказал святой. — Вот хоть те пули, про которые я вам толковал, — немного было бы проку от этих мозгов, кабы их добывали не в поединке. Потому в них и сила была.

— Я склонен согласиться с Тойрделбахом, — сказал Гарет. — В конце концов, что хорошего — убивать бедных мужланов, которые ничего толком не понимают? Куда правильнее для людей, если они прогневались, биться друг с другом — рыцарь против рыцаря.

— Так ведь тогда и войн не будет, — воскликнул Гахерис.

— Это уже выйдет полная нелепица, — сказал Гавейн. — Для войны нужны люди, куча людей.

— А иначе убивать будет некого, — пояснил

Агравейн.

Святой налил себе новую порцию виски, пропел под нос «Самогонка, милый друг, дай те Бог удачи» и взглянул на Матушку Морлан. Он чувствовал, что на него, быть может, вследствие выпитого, накатывает новая ересь, как-то там связанная с безбрачием клира. У него уже имелась одна насчет формы его тонзуры, еще одна, обычная, касательно пасхальной даты, и, разумеется, вся эта пелагианская история, — однако эта, последняя, порождала в нем ощущение, что детям здесь делать нечего.

— Войны, — сказал он с отвращением. — И с какой это стати, скажите, пожалуйста, детишки вроде вас рассуждают о войнах? Вы и ростом-то не выше сидящей наседки. Убирайтесь отсель, пока во мне не народилось к вам нехорошее чувство.

Святые, и Древнему Народу это было отлично известно, не принадлежали к числу людей, с которыми стоило препираться, а потому дети поспешно встали.

— Ну, что вы, — сказали они. — Ваша Святость, мы вовсе не намеревались кого-то обидеть. Мы лишь хотели обменяться идеями.

— Идеями! — воскликнул он, потянувшись за кочергой, — и они, как по мановению ока, проско-

чили сквозь низкую дверь и стояли теперь под пологими солнечными лучами на песчанистой улице, а в темной комнате за ними громыхали анафемы или что-то очень на них похожее.

На улице пара поеденных молью ослов искала травинки в трещинах каменной стены. Ослов стреножили, так что им с трудом удавалось ковылять, да и копыта у них выросли чрезмерно большие, походившие на бараньи рога или на загнутые коньки. Мальчики тут же их и реквизировали, ибо едва они завидели животных, как в головах у них моментально явилась новая мысль и уже во всей амуниции. Довольно им слушать истории и рассуждать о военных материях, а лучше отправиться на ослах в небольшую гавань за дюнами, — вдруг мужчины, в плетеных яликах выходившие в море, окажутся нынче с уловом. И ослы пригодятся, будет на ком рыбу везти.

Гавейн с Гаретом по очереди ехали на толстом осле — один его стегал, а другой сидел на голой спине. Осел временами подскакивал, но рысью идти не желал. Агравейн с Гахерисом вдвоем взобрались на тощего, причем первый уселся лицом к крупу, по которому и лупил безжалостно толстым корневищем морской травы. И все норовил заехать под хвост, чтобы уязвить побольнее.

Когда они добрались до моря, вид у них был странноватый, — тощие дети, с острыми носами, на кончиках которых у каждого висело по капле, с костлявыми запястьями, переросшими рукава, и ослы, лениво семенившие кругами, подпрыгивая порой, когда в их серые туши впивалась корявая погонялка. Зрелище было странное по причине их коловращения, сосредоточенности на неподвижной идее. Они могли бы составить отдельную солнечную систему в совершенно пустом пространстве, столь неуклонные круги описывали они по дюнам и по жесткой траве заливчика. Хотя, кто знает, может быть и у планет имеется в головах пара-другая идей.

Идея, владевшая мальчиками, состояла в том, чтобы сделать ослам побольнее. Никто не сказал им ни разу, что это жестоко, но, с другой стороны, и ослам об этом никто не сказал. Родившиеся на краю света, они знали о жестокости слишком много, чтобы ей удивляться. И потому в этом маленьком цирке царило согласие, — животные отказывались двигаться, а детей переполняла решимость сдвинуть их с места, и обе стороны соединяла общая цепь, цепь физической боли, с которой обе они согласились, не задавая вопросов. Сама же боль настолько вписывалась в

порядок вещей, что ее словно и не существовало, она выносилась за скобки. Животные вроде бы и не мучались, а дети вроде бы и не наслаждались их муками. Всей-то разницы было меж ними, что мальчики находились в бурном движении, а ослы оставались, сколько могли, неподвижными.

Вот в эту-то райскую сцену и за миг до того, как воспоминания о хижине Матушки Морлан растаяли в сознании детей, вплыла по водам волшебная барка, обтянутая белой венецианской парчой, таинственная, чудесная, и пока киль ее резал волны, она сама собою играла некую музыку. В барке находились три рыцаря и измученная морской болезнью ищейная сука. Чего-либо менее отвечающего традициям гаэльского мира невозможно было бы и представить.

— Послушайте, — произнес голос одного из рыцарей в барке, пока они еще плыли вдали, — вон там замок, верно ведь, что? Послушайте, он довольно красивый!

— Друг вы мой милый, перестаньте раскачивать лодку, — сказал второй рыцарь, — не то вы нас вывалите в воду.

От этого выговора воодушевление Короля Пеллинора иссякло, и он залился слезами, совсем

напугав и без того окаменевших детишек. Его рыдания доносились до них, мешаясь с плеском волн и музыкой барки, подплывавшей все ближе.

— Ах, море! — говорил он. — Лучше бы мне утонуть в твоих водах, что? Лучше бы пять морских саженей воды влились в меня, да так оно скоро и будет. Печаль, о, какая печаль!

— Что толку кричать «причаль», старина? Эта штука когда захочет, тогда и причалит. Она же волшебная.

— Я не говорил «причаль», — сварливо ответил Король. — Я говорил «печаль».

— Ну, и нет тут никакого причала.

— А мне все равно, есть тут причал или нет. Я сказал не «причал», а «печаль»!

— Хорошо, будь по-вашему, «причаль» так «причаль».

И в этот миг волшебная барка причалила — в точности там, где приставали обычно ивовые челноки. Три рыцаря вышли на берег, и оказалось, что у третьего черная кожа. То был просвещенный язычник по имени сэр Паломид,

— Удачно причалили, — сказал сэр Паломид, — ей-богу!

Люди сходились отовсюду, безмолвно, неуве-

ренно. Подойдя поближе к рыцарям, они замедляли поступь, но вдалеке кое-кто даже бежал. Мужчины, женщины, дети скатывались с дюн или с замкового холма лишь для того, чтобы, подобравшись поближе, перейти на крадущийся шаг. На расстоянии в двадцать ярдов они и вовсе застывали. Вставши кругом, они немо глазели на новоприбывших, напоминая людей, разглядывающих картины в галерее Уфицци. Они изучали их. Спешить теперь было некуда, необходимость перебегать к новой картине отсутствовала. Собственно говоря, отсутствовали и сами новые картины — отсутствовали с тех пор, как родились эти люди, ничего, кроме привычных в Лоутеане сцен, не видавшие. Взгляды их не то чтобы содержали в себе нечто оскорбительное, но и дружелюбия в них не обозначалось. Картины ведь и существуют для того, чтобы их разглядывать. Разглядывание начиналось с ног, тем более что на чужаках было заморское платье, а именно рыцарские доспехи, и имело целью усвоить материал, устройство, способ крепления и, может быть, цену их поножей. Затем взгляд перебирался к наголенникам, оттуда — к набедренникам и далее по восходящей. Чтобы добраться до лица, которое осматривалось последним, требовалось

не менее получаса.

Гаэлы, раззявив рты, стояли вкруг галлов, а в отдалении деревенские дети выкрикивали новость, и Матушка Морлан скакала, подобрав юбки, и, словно безумные, неслись по морю к берегу плетеные ялики. Молодые князьки Лоутеана, как зачарованные, слезли с ослов и присоединились к кругу. Круг начал сжиматься к центру, сдвигаясь так же медленно и молчаливо, как движется в часах минутная стрелка, тишину нарушали лишь приглушенные вскрики запоздавших, да и те умолкали, едва запоздавшие сливались с толпой. Круг сжимался потому, что всем хотелось притронуться к рыцарям, — не теперь, не через полчаса или около, не до того, как завершится осмотр, быть может, и никогда. А все же хотелось бы их потрогать, отчасти, чтобы увериться в их реальности, отчасти — чтобы прикинуть полную стоимость их облачения. И пока она прикидывалась, события потекли по трем направлениям: Матушка Морлан и прочие старухи принялись, перебирая четки, читать молитвы, женщины помоложе стали щипать друг дружку и хихикать, а мужчины, из уважения к молитве стянувшие свои колпаки, начали по-гаэльски обмениваться замечаниями вроде: «Ты посмотри на этого чер-

ного, да встанет Господь между нами и всяческой порчей» или «А на ночь-то они раздеваются, и как они вообще снимают с себя эти железные котлы?, — и в сознании как мужчин, так и женщин, безотносительно к возрасту и жизненным обстоятельствам, стал почти осязаемо, почти что видимо сгущаться чудовищный и безотчетный миазм, каковой и является основною особенностью всякого гаэльского разума.

«Вот они рыцари-англичане, „сассенахи“, стало быть, — думали гаэлы, — это и по оружию видно, а раз так, значит, они — рыцари того самого Короля Артура, против которого вторично взбунтовался собственный их король. Может, они заявились сюда — с всегдашним коварством сассенахов, — чтобы ударить Королю Лоту в спину? Может, они пришли как посланцы феодального властителя — властителя всех земель — оценить тутошнее имущество для обложения новым налогом? Может, они вообще из Пятой Колонны? Хотя, наверное, все гораздо сложнее, — ведь не такие же сассенахи простачки, чтобы явиться сюда в сассенахской одежде, — может, они вовсе и не посланцы Короля Артура? Может, они только переоделись сами в себя с какой-то целью, до того уж коварной, что в нее и поверить нельзя? В

чем тут подвох-то, а? Всегда и во всем хоть один да сыщется».

Люди, стоявшие кругом, смыкались, челюсти их все отвисали, корявые тела все горбились, начиная уже походить на кули да пугала, ото-всюду посверкивали маленькие глазки, полные бездонной проницательности, между тем как их лица приобретали выражение тупого упорства, становясь еще даже более неосмысленными, чем всегда.

Рыцари сдвинулись потеснее, под защиту друг друга. По правде сказать, они и не знали, что Англия воюет с Оркнеем. Они участвовали в одном приключении, державшем их в стороне от новейших известий. А в Оркнее навряд ли отыскался бы человек, которому захотелось бы их просвещать.

— Вы пока не смотрите в ту сторону, — сказал Король Пеллинор, — но там какие-то люди. Как, по-вашему, с ними все в порядке?

## 6

В Карлионе все было вверх дном, — шли приготовления ко второй кампании. Мерлин придумал, как ее выиграть, но поскольку его предложения подразумевали устройство засад и тайную помощь из-за рубежа, их приходилось держать в секрете. Медленно надвигавшаяся армия Лота настолько превосходила численностью королевское войско, что поневоле приходилось прибегать к стратегическим хитростям. План битвы оставался тайной, известной лишь четверым.

У рядовых же граждан, не ведающих о высокой политике, дел было по горло. Надлежало доостра заточить пики, и потому по всему городу день и ночь скрежетали точильные камни; следовало оперить тысячи стрел, и потому в домах лучников свет не гас круглые сутки, а по всем выгонам возбужденные йомены, имевшие нужду в перьях, гоняли несчастных гусей. Королевские павлины разгуливали голышом, похожие на старую подметальную щетку, — большинство первоклассных стрелков норовило заполучить то, что Чосер называет павлиньей стрелой, ибо

в ней было больше шика, — и запах кипящего клея восходил к небесам. Оружейники, работая по две смены, дабы довести рыцарей до полного блеска, музыкально звенели молотками, кузнецы подковывали боевых коней, а монахини безостановочно вязали шарфы для солдат или готовили перевязочный материал, — то, что они именовали «тампонами». Король Лот уже назвал место встречи двух армий, у Бедегрейна.

Король Англии с трудом одолел двести восемь ступенек, ведших к башенной комнате Мерлина, и постучал в дверь. Волшебник был у себя вместе с Архимедом, сидевшим на спинке его кресла и пытавшимся отыскать корень квадратный из минус единицы. Он позабыл, как это делается.

— Мерлин, — задыхаясь сказал Король, — мне нужно поговорить с тобой.

Мерлин гневно захлопнул книгу, вскочил на ноги, ухватил свою палочку из дерева жизни и налетел на Артура, как на цыпленка, которого следовало загнать обратно в курятник.

— Убирайся отсюда! — завопил он. — Ты что здесь делаешь? Как тебе в голову такое взбрело? Ты Король Англии или не Король? А ну, пошел из моей комнаты! Неслыханное дело! Немедленно вон и пришли за мной кого-нибудь!

— Да ведь я уже здесь.

— Ошибаешься! — находчиво ответил старик, вытолкал Короля из двери и захлопнул ее прямо перед его носом.

— Ну ладно! — сказал Артур и печально спустился по двумстам восьми ступеням.

Час спустя Мерлин явился в Королевскую Палату в ответ на вызов, переданный с пажом.

— Вот так-то лучше, — сказал он, с удобством усаживаясь на покрытый ковром сундук.

— Встань, — сказал Артур и хлопнул в ладоши, чтобы паж унес сиденье.

Мерлин, кипя от негодования, встал. Костяшки его стиснутых кулаков побелели.

— Так вот, по поводу того разговора о рыцарстве, — непринужденно начал Король.

— Не помню никакого разговора.

— Нет?

— В жизни меня так не оскорбляли!

— Так ведь я же Король, — сказал Артур. — Разве ты можешь сидеть в присутствии Короля?

— Чушь!

Артур захохотал не вполне подобающим образом, а его сводный брат, сэр Кэй, и старый опекун, сэр Эктор, вылезли из-за трона, позади которого они прятались. Сэр Кэй снял с Мерлина шляпу и

водрузил ее на сэра Эктора, и сэр Эктор сказал:

— Ну, благослови Господь мою душу, я теперь нигромант. Фокус-Покус.

Тут уже все рассмеялись, и немного погодя к ним присоединился и Мерлин, и послали за стульями, дабы можно было присесть, и откупорили бутылки с вином, дабы не вести беседы всухую.

— Видишь, — с гордостью сказал Артур, — я созвал совет.

Наступило недолгое молчание, ибо Артур впервые произносил речь и хотел собраться с мыслями.

— Так вот, — сказал Король, — касательно рыцарства. Я хочу поговорить о нем.

Мерлин мгновенно насторожился и уставился на Короля пронзительным взглядом. Пальцы его завились в узлы между звезд и таинственных знаков мантии, но он не пришел говорившему на помощь. Пожалуй, можно сказать, что этот миг был важнейшим в его карьере, — ради этого мига он прожил вспять Бог ведает сколько столетий, и теперь ему предстояло точно узнать, не прожил ли он их напрасно.

— Я все размышлял, — сказал Артур, — о Силе и Праве. Мне не кажется, что какие-то вещи должны делаться лишь потому, что ты *можешь*

их сделать. Мне кажется, что делать их следует потому, что ты *должен* их сделать. В конце концов, грош грошом и останется, с какой бы силой не давили мы на него с любой из сторон, пытаясь доказать, что он грош или что он — не грош. Это понятно?

Никто не ответил.

— Ну вот, как-то раз мы с Мерлином беседовали на крепостной стене, и он сказал, что последняя наша битва, — в которой погибло семьсот крестьян-пехотинцев, — не такая уж и веселая штука, как мне представлялось. Конечно, если вдуматься, ничего занятного в сражениях нет. Я хочу сказать, что людей убивать вообще не следует, ведь так? Пусть лучше живут. Хорошо. Однако занятно другое — занятно, что Мерлин помогал мне побеждать в сражениях. Он помогает мне и сейчас, и мы вместе надеемся победить в сражении при Бедегрейне, когда до него дойдет дело.

— И победим, — сказал сэр Эктор, посвященный в тайну.

— Мне это кажется непоследовательным. Почему он помогает мне выигрывать войны, если война — такое дурное дело?

Ответа ни от кого не последовало, и Король заговорил с большим волнением.

— Единственное, до чего я сумел додуматься, — сказал он, заливаясь румянцем, — это что я… что мы… что он… что он желал моей победы по какой-то причине.

Он остановился и взглянул на Мерлина. Мерлин отвернулся.

— И причина была в том, если я прав, — причина была в том, что если я, победив в этих двух битвах, смогу стать хозяином в моем королевстве, то я в дальнейшем сумею предотвратить сражения и как-то справиться с Силой. Я догадался? Правильно?

Волшебник не повернул головы, и руки его мирно лежали у него на коленях.

— Правильно! — воскликнул Артур.

И он заговорил так скоро, что едва сам поспевал за собой.

— Понимаете, — говорил он, — Сильный не Прав. Но Сила, и немалая, бродит по свету и с этим нужно что-то сделать. Это все равно как если бы Человек был наполовину добр и наполовину ужасен. Может быть, люди ужасны и больше, чем наполовину, и, когда их предоставляют самим себе, они просто дичают. Возьмите теперешнего рядового барона, человека вроде сэра Брюса Безжалостного, который разъезжает по всей стране

закованный в сталь и ради спортивного удовольствия делает, что ему заблагорассудится. Это олицетворение нашей норманнской идеи о том, что высшие классы обладают исключительным правом на власть, и никакое правосудие их не касается. Вот так начинает преобладать ужасная сторона человека, и возникают воровство, насилие, пытки. Люди обращаются в зверей.

— Однако Мерлин, как видите, помогает мне выиграть две моих битвы, чтобы я мог это прекратить. Он хочет, чтобы я навел порядок.

Лот, Уриенс и Ангвис, и все остальные, — они принадлежат старому миру, они из тех, кто желает потакать своим прихотям. Мне придется расправиться с ними собственным их оружием, они навязали мне это оружие, потому что сила — главный мотив их жизни, и лишь после этого начнется настоящая работа. Понимаете, битва при Бедегрейне — это только предварительный шаг. Мерлин же хотел, чтобы я задумался о том, что будет *после* нее.

Артур снова умолк, ожидая замечаний или ободрений, но лицо чародея оставалось повернутым в сторону, и только сэр Эктор, сидевший с ним рядом, мог видеть его глаза.

— И вот до чего я додумался, — сказал Артур. —

Почему бы не впрячь Силу — так, чтобы она служила Правоте? Я понимаю, что звучит это глупо, но я хочу сказать, что нельзя же делать вид, что Силы не существует. Она существует, в дурной половине человека, и пренебрегать ею невозможно. Ее нельзя просто отсечь, но, может быть, ее удастся направить — понимаете? — так, чтобы от нее была польза, а не вред.

Слушатели заинтересовались. Все они, за исключением Мерлина, наклонились вперед и слушали.

— Мысль моя в том, что если мы победим в предстоящем сражении и утвердимся в стране, то я образую своего рода рыцарский орден. Я не стану карать дурных рыцарей, не повешу Лота, я постараюсь вовлечь их в наш орден. Понимаете, надо так все устроить, чтобы это стало великой честью, вошло в моду и так далее. Чтобы всякому хотелось в него попасть. И затем я напишу клятву ордена, согласно которой Сила должна применяться лишь ради правого дела. Это ясно? Рыцари моего ордена будут странствовать по всему свету, по-прежнему облаченные в сталь и размахивающие мечами, — это даст отдушину для потребности рубиться — понимаете? — для того, что Мерлин называет духом

лисьей охоты, — но они будут обязаны разить, лишь сражаясь за доброе дело: защищать от сэра Брюса девиц, исправлять сотворенное некогда зло, помогать угнетенным и тому подобное. Вам эта мысль понятна? Это позволит использовать Силу вместо того, чтобы сражаться с ней, позволит зло обратить в добро. Вот, Мерлин, это все, что я смог придумать. Я думал очень старательно и, скорее всего, надумал что-то не то, как обычно. Но я думал. И ничего лучше этого выдумать не смогу. Прошу тебя, скажи же хоть что-нибудь.

Волшебник поднялся, выпрямился, словно столб, раскинул в стороны руки, уставил глаза в потолок и произнес первые несколько слов из «Ныне Отпущаеши».

# 7

Ситуация в Дунлоутеане сложилась запутанная. Практически любая ситуация, к которой имел касательство Король Пеллинор, становилась таковой, даже на самом что ни на есть диком севере. Прежде всего, он был влюблен, — потому он и плакал в барке. Это он объяснил Королеве Моргаузе при первой возможности — дело было не в морской болезни, а в любовной.

Случилось же с ним следующее. За несколько месяцев до того Король охотился на Искомого Зверя на южном побережье Страны Волшебства, как вдруг эта зверюга бросилась в море. Она уплывала, и змеиная голова ее рассекала водную гладь, подобно головке ужа, и Король окликнул проплывавший мимо корабль, имевший такой вид, словно он отправлялся на завоевание Гроба Господня. На корабле обнаружились сэр Груммор и сэр Паломид, каковые по доброте душевной повернули судно и пустились преследовать Зверя. Втроем они достигли берегов Фландрии, где Зверь сгинул в лесу, и там-то, пока они отдыхали в гостеприимном замке, Пеллинор влюбился в дочь Королевы Фландрии. До поры до времени

все складывалось отлично, — ибо избранницей Пеллинора оказалась особа средних лет, решительная, верная сердцем, умевшая стряпать, прекрасно ездить верхом и стелить постель, — однако надежды обеих сторон были сокрушены в самом начале появлением волшебной барки. Трое рыцарей взошли на нее и уселись, — посмотреть, что будет дальше, — поскольку не должно рыцарям уклоняться от приключения. Барка же сама по себе поспешно отчалила от берега, оставив дочь Королевы Фландрии в тревоге размахивать носовым платком. А перед тем как берегу вовсе скрыться из глаз, из лесу высунулась морда Искомого Зверя, имевшая выражение, насколько можно было различить на таком расстоянии, еще более удивленное, нежели у королевны. После этого они все плыли и плыли, пока не приплыли на Внешние Острова, и чем дальше они уплывали, тем пуще болезнь любви одолевала Короля, делая его общество совершенно невыносимым. Он проводил все время за писанием стихов и писем, кои невозможно было отправить, или рассказывая своим спутникам о принцессе, в семейном кругу прозванной Свинкой.

Подобное состояние дел еще можно было вытерпеть в Англии, где люди вроде Пеллинора

временами встречаются и даже почитаются соотечественниками за относительно сносных. Но в Лоутеане и Оркнее, где всякий англичанин — угнетатель, оно приобрело черты почти сверхъестественной невыносимости. Ни единый из островитян не мог понять, с какой именно целью пытается Король Пеллинор их обмишурить, прикидываясь самим собою, а потому было сочтено и мудрым, и безопасным не посвящать приезжих рыцарей в подробности, относящиеся к войне с Артуром. Лучше подождать, пока не удастся проникнуть в их замыслы.

А сверх всего этого возникло еще одно осложнение, особенно расстроившее детей. Королева Моргауза принялась вешаться приезжим на шею.

— Чем это матушка занималась с рыцарями на горе? — поинтересовался Гавейн как-то утром, когда они направлялись к келье Святого Тойрделбаха.

После долгого молчания Гахерис с некоторым затруднением ответил:

— Они там охотились на единорога.

— А как на него охотятся?

— Приманивают на девицу.

— Наша матушка, — сказал Агравейн, также

знавший подробности, — отправилась охотиться на единорога, а для рыцарей она — все равно что девица.

— А вы-то откуда все знаете? — спросил Гавейн.

— Подслушали.

У них имелось обыкновение подслушивать, затаясь на винтовой лестнице, — по временам, когда мать утрачивала к ним интерес.

Гахерис с необычайной для него свободой, ибо мальчик он был молчаливый, пустился в объяснения:

— Сэр Груммор сказал, что любовную грусть Короля можно развеять, если его удастся увлечь старым его занятием. Они беседовали о том, что у Короля был обычай охотиться на Зверя, который теперь потерялся. Вот она и сказала, что можно взамен поохотиться на единорога, и что она готова стать для них девственницей. По-моему, они удивились.

Несколько времени они шагали в молчании, пока Гавейн не произнес, вроде бы даже вопросительно:

— Я слыхал разговоры, что будто бы Король любит женщину, живущую во Фландрии, и что этот сэр Груммор уже женат? А у сарацина вообще

ведь черная кожа?

Никто не ответил.

— Долгая у них вышла охота, — сказал Гарет. — Я слышал, они никого не поймали.

— И рыцарям понравилось играть с нашей матушкой в эту игру?

Отвечать снова пришлось Гахерису. Ему, хоть и молчаливому, наблюдательности было не занимать.

— По-моему, они ничего в ней не поняли.

И они потащились дальше, и каждый молчал, не имея охоты обнаруживать свои мысли.

Келья Святого Тойрделбаха походила на старинный соломенный улей, только размером побольше и сделанный из камня. Окон у нее не имелось, а дверь была только одна, да и через ту приходилось проползать.

— Святой Отец, — закричали мальчики, колотя по неотесанному камню. — Святой Отец, мы пришли послушать историю.

Он был для них подателем пищи духовной — своего рода гуру, каким был для Артура Мерлин, — от него они получили все те начатки культуры, какими им довелось обладать. Когда мать отталкивала их, они бросались к нему, будто голодные щенки, согласные на любую еду.

Именно он научил их читать и писать.

— А, это вы, — сказал святой, просовывая голову в дверь. — Да пошлет вам Господь всякого преуспеяния нынешним утром.

— Да пошлет Он и вам того же.

— Новости есть?

— Нет, — сказал Гавейн, не желая упоминать о единороге.

Святой Тойрделбах испустил тяжкий вздох.

— И у меня тоже, — сказал он.

— Вы не могли бы рассказать нам какую-нибудь историю?

— А ну их, эти истории. Толку-то от них С какой стати стану я, погрязший в ересях, рассказывать вам истории? Вот уж сорок лет, как я не видал порядочного сражения, да и красной девицы тоже, ни одной, за все это время, — какую же историю я вам могу рассказать?

— Вы могли бы рассказать нам историю, в которой нет ни девиц, ни сражений.

— Ну, и что проку в такой истории? — гневно воскликнул он, выбираясь на белый свет.

— Если бы вам удалось посражаться, — сказал Гавейн, оставляя в стороне вопрос о красных девицах, — вы бы, наверное, чувствовали себя получше.

— То-то и горе! — вскричал Тойрделбах. — И с чего меня понесло в святые, понять не могу! Кабы я мог разок приложить кого-нибудь моей старой палицей, — и он извлек из-под рясы устрашающего вида дубину, — я бы себя чувствовал лучше, чем все святые Ирландии!

— Так расскажите нам про палицу.

Они внимательно разглядывали оружие, пока его святость рассказывал им, что нужно делать, чтобы дубинка получилась на славу. Он объяснял им, что для хорошей дубины годится лишь корневище, потому как обычные ветки норовят обломиться, особенно яблоневые, и как ее нужно смазать свиным перетопленным жиром и потом обернуть во что-нибудь и зарыть в навоз, и держать там, покуда корень не распрямится, и как ее потом полируют, натирая графитом и салом. Он показал им дырку, сквозь которую вовнутрь заливался свинец, и гвозди, торчавшие на конце, и зарубки у рукояти, заменившие скальпы, коими похвалялись древние люди. Затем он уважительно поцеловал ее и с прочувствованным вздохом снова сунул под рясу. Он отчасти ломал комедию, подпустив в свои речи акцента.

— Расскажите про черную руку, вылезавшую из печной трубы.

— Что-то не лежит у меня душа к этой истории. И вообще, она у меня хоть и не заячья, а все не на месте. Не иначе как порчу на меня напустили.

— Я думаю, — сказал Гарет, — и на нас напустили порчу. Все кажется каким-то неправильным.

— А вот был однажды такой случай с одной женщиной, — начал Тойрделбах. — Был у этой женщины муж, а жили они в Мэлайн Виг. А из детей прижили они только одну маленькую девочку. Вот как-то отправился этот мужчина резать торф на болоте, а как наступило время обедать, эта женщина и послала к нему с едой девчонку. Только отец присел, чтобы поесть, а девочка вдруг как закричит: «Смотри, отец, видишь вон там на горизонте большой корабль? Я могу заставить его пристать прямо здесь, у берега». «Да где тебе, — говорит отец. — Я вон побольше тебя, а и то не могу этого сделать». «Ладно, — говорит девочка, — а вот посмотри на меня». Подошла она к источнику, что был неподалеку, и ну мутить в нем воду. Корабль и пошел прямо к берегу.

— Она была ведьма, — объяснил Гахерис.

— Нет, это ее мать была ведьма, — сказал святой и продолжал свой рассказ.

— «А теперь, — говорит она, — я могу сделать так, что корабль врежется в берег». А отец и гово-

рит: «Ну уж этого ты не можешь». «Ладно, — говорит девочка, — а вот посмотри на меня». Взяла да и прыгнула в источник. Тут корабль как врежется в берег — и развалился на тысячу кусков. «Кто это тебя учит таким делам?» — спрашивает отец. «Моя мать. Когда ты уходишь работать, она меня дома учит, только мы пользуемся лоханью»,

— А зачем она прыгнула в источник? — спросил Агравейн. — Она, наверное, промокла.

— Чш-ш-ш.

— И вот пришел этот мужчина домой, поставил в угол лопату и сел на свою скамью. И говорит: «Чему это ты учишь девчонку? Не нравится мне жить в одном доме с ворожеями, больше я здесь не останусь». Взял да и ушел, и больше они его никогда не видели. А что с ними дальше сталось, того я не знаю.

— Ужасно, наверное, когда твоя мать колдунья, — сказал Гарет.

— Или когда жена, — добавил Гавейн.

— Еще хуже, когда жены и вовсе нет, — сказал святой и с пугающей внезапностью скрылся в свой улей, словно человечек в швейцарском барометре, который прячется внутрь, если погода ожидается ясная.

Мальчики не удивились и остались сидеть

вкруг двери, ожидая, не случится ли чего-нибудь еще. Они размышляли об источниках, колдуньях, единорогах и о материнских повадках.

— Я предлагаю, мои герои, — неожиданно молвил Гарет, — самим отправиться и изловить единорога.

Все уставились на него.

— Это все-таки лучше, чем совсем ничего. Мы не видели нашу маму уже целую неделю.

— Она забыла про нас, — горько сказал Агравейн.

— Это неправда. И не следует тебе так говорить о матушке.

— Это правда. Мы даже за обедом ей не прислуживаем.

— Это оттого, что ей приходится принимать тех рыцарей.

— Нет, не оттого.

— А отчего же тогда?

— Не скажу.

— Если мы сможем добыть ей единорога, который ей нужен, — сказал Гарет, — и принести его к ней, может, нам и позволят прислуживать?

Они обдумали эту идею, и в них зародилась надежда.

— Святой Тойрделбах, — закричали они, — вый-

дите снова! Мы собираемся ловить единорога.

Святой просунул голову в дырку и с подозрением их оглядел.

— Кто такой единорог? На что они похожи? Как его ловят?

Святой важно покивал и сгинул вторично, но лишь для того, чтобы через несколько мгновений вернуться на четвереньках и с обтянутым кожею томом, единственной мирской книгой, какой он владел. Подобно большинству святых, он зарабатывал себе на жизнь, копируя рукописи и рисуя в них картинки.

— Нам понадобится девица для приманки, — объяснили они святому.

— Да у нас этих девиц куча, — сказал Гарет. — Можно взять любую служанку или стряпуху.

— Они не пойдут.

— Ну, можно взять судомойку. Ее мы сможем заставить.

— И тогда, если мы поймаем единорога, который ей нужен, мы торжественно принесем его домой и отдадим нашей матушке! И будем каждый вечер прислуживать ей за ужином!

— И она будет довольна.

— А может, и после ужина тоже.

— А сэр Груммор посвятит нас в рыцари. Он ска-

жет: «Клянусь святыми мощами, никто никогда еще не совершал столь доблестного подвига!»

Святой Тойрделбах положил драгоценную книгу на траву, что росла рядом с его норой. Трава была вся в песке и в пустых улиточьих домиках, маленьких, желтых, с лиловатыми спиральками. Он раскрыл книгу, — бестиарий, озаглавленный «Liber de Natura Quorundam Animalium», — и оказалось, что на каждой его странице имеется картинка.

Мальчики заставили его побыстрее перелистывать пергаментные страницы чудесной готической рукописи, пропуская чарующих Грифонов, Бонаконов, Кроходилов, Мантикор, Харадров, Симургов, Сирен, Перидиксионов, Драконов и Аспидокалонов. Тщетно пытался привлечь их нетерпеливые взгляды Анталоп, трущийся извилистыми рогами о дерево тамариск, — коего ветви, перевивая ему рога, превращали зверя в легкую добычу для ловца. Тщетно испускал Бонакон газы, желая окоротить охотников. И Перидиксионы, сидевшие по веткам древа, делавшего их неуязвимыми для драконов, так и остались сидеть незамеченными. И Панфир, ароматным дыханием своим завлекающий добычу, не показался им интересным. И Тигрус, коего лег-

ко обморочить, бросив к его ногам стеклянный шар, дабы он, узрев там свое отражение, подумал, что это один из его детенышей, и Лев, что щадит лежачих и пленников, страшится белого петуха и заметает следы свои хвостом, покрытым листвою; и Козерог, способный без вреда для себя спрыгнуть с горы, ибо приземляется он на свои крутые рога; и Ял, умеющий прядать рогами так, словно они — уши; и Медведица, имеющая обыкновение вынашивать своих медвежат в виде комков, каковым она после придает языком такую форму, какая взбредет ей на ум; и птица Харадр — ежели оная сядет, оборотясь к вам лицом, на край вашей кровати, то значит вскорости вам умереть; и Дикобразы, что сбирают для своего потомства виноград, катаясь по ономy, и несут домой ягоды на кончиках игл; и даже большая китообразная тварь с семью плавниками и туповатой мордой — Аспидокалон, к которому неосторожный мореплаватель, случалось, приставал, принимая его за остров, даже Аспидокалон задержал их совсем ненадолго. В конце концов Тойрделбах отыскал им единорога, зовомого греками «Носорог».

Оказалось, что единорог столь же робок и быстр, сколь Анталоп, изловить же его возможно только одним способом. Нужно иметь для приманки де-

вицу, и, когда единорог увидит, что девица одна, он сразу же подойдет, чтобы положить свой рог ей на лоно. В книге была картинка, на которой не весьма достоверного вида девственница, держа одной рукой бедного зверя за рог, другой подзывала каких-то копейщиков. Написанная на ее физиономии неискренность уравновешивалась глупой уверенностью, с какой единорог взирал на девицу.

Едва прочитав наставления и переварив содержанье картинки, Гавейн поспешил на поиски судомойки.

— А ну-ка, — сказал он, — пошли с нами на гору, будем единорога ловить.

— Ох, мастер Гавейн, — вскричала ухваченная им служанка, имя которой было Мэг.

— Да-да, пошли. Будешь у нас приманкой. Он придет и положит рог тебе на колени.

Мэг расплакалась.

— Ну ладно, не дури.

— Ох, мастер Гавейн, не хочу я единорога. Я всегда была честной девушкой, право, и потом у меня еще вон сколько посуды немытой, и если Мистрис Трулав узнает, что я прогуляла, она меня высечет, мастер Гавейн, вот что она сделает.

Мастер Гавейн взял ее покрепче за косу и вывел

из кухни.

На чистом и влажном ветру, обдувающем вершину горы, они обсудили детали предстоящей охоты. Мэг, так и не переставшую плакать, держали за волосы, чтобы она не сбежала, и время от времени один из мальчишек передавал ее другому, если тому, кто держал ее, требовались для жестикуляции обе руки.

— Так вот, — говорил Гавейн. — Я буду командиром. Я самый старший, значит, мне и командовать.

— Я так и думал, — сказал Гарет.

— Вопрос вот в чем. В книге сказано, что приманку надо оставить одну.

— Она удерет.

— Ты удерешь, Мэг?

— Да, мастер Гавейн, конечно.

— Ну вот.

— Тогда ее надо связать.

— Ох, мастер Гахерис, как вам будет угодно, только зачем же меня вязать?

— Закрой рот. Ты всего лишь девчонка.

— Чем же мы ее свяжем? У нас и нет ничего.

— Я ваш командир, мои герои, и я приказываю, чтобы Гарет сбегал домой и принес каких-нибудь веревок.

— Не стану я этого делать.

— Но ты же все испортишь, если не сделаешь этого.

— Не понимаю, почему именно я. Вот так я и думал.

— Тогда я приказываю, чтобы наш Агравейн сходил за веревками.

— Только не я.

— Тогда пусть Гахерис.

— Не пойду.

— Мэг, противная девчонка, ты не должна убегать, поняла?

— Да, мастер Гавейн, только, ох, мастер Гавейн…

— Если найти крепкий вересковый корень, — сказал Агравейн, — можно будет обвязать вокруг него ее косы.

— Так и сделаем.

— Ох, ох!

После того как девственница была надежно привязана, четверо мальчиков обступили ее, обсуждая следующий шаг. Они спроворили в оружейной настоящие пики, с какими ходят на вепря, так что с оружием все у них было в порядке.

— Эта девица, — сказал Агравейн, — моя мать.

Она делает то же, что вчера делала мамочка. А я буду сэром Груммором.

— А я Пеллинором.

— Агравейн, если ему охота, может быть сэром Груммором, но приманку нужно оставить одну. Так сказано в книге.

— Ох, мастер Гавейн, ох, мастер Агравейн!

— Хватит выть. Спугнешь единорога.

— А нам после этого нужно уйти и спрятаться. Вот почему наша мама его не поймала, — потому что с ней оставались рыцари.

— Я буду Финн Мак Куил.

— А я — сэр Паломид.

— Ох, мастер Гавейн, умоляю, не оставляйте меня одну.

— Перестань ты вопить, — сказал Гавейн. — Ты дура. Гордиться надо, что тебя взяли в приманки. Вчера приманкой была наша матушка.

Гарет сказал:

— Ну что ты, Мэг, не плачь. Мы не позволим ему поранить тебя.

— В конце концов, он может тебя всего только убить, — жестоко сказал Агравейн.

От этого несчастная девочка разревелась еще сильнее.

— Зачем ты это сказал? — сердито спросил

Гавейн. — Вечно ты пугаешь людей. Теперь она завывает громче прежнего.

— Послушай, — сказал Гарет. — Послушай, Мэг. Мэг, бедняжка, не плачь. Когда мы вернемся домой, я обязательно дам тебе пострелять немного из моей катапульты.

— Ох, мастер Гарет!

— Ах, да пошли, наконец. Не можем мы с ней возиться

— Ну, будет, будет.

— Ох, ох!

— Мэг, — сказал Гавейн и скорчил страшную рожу, — если ты не престанешь визжать, я на тебя вот так посмотрю.

Слезы мгновенно высохли.

— Ну вот, — сказал Гавейн, — как только придет единорог, мы тут же выскочим и проткнем его. Ты поняла?

— А обязательно его убивать?

— Да, непременно.

— Понимаю.

— Я надеюсь, ему не будет больно, — сказал Гарет.

— Одна из твоих дурацких надежд, — сказал Агравейн.

— Я все-таки не понимаю, зачем его убивать.

— Чтобы оттащить его домой, к матери, остолоп.

— Разве мы не можем поймать его, — спросил Гарет, — и отвести к матери живьем, как, по-твоему? Я хочу сказать, что можно заставить Мэг вести его, если он смирный.

С этим Гавейн и Гахерис согласились.

— Если он смирный, — сказали они, — лучше привести его живого. Это самый лучший способ охоты на крупного зверя.

— А мы станем его подгонять, — сказал Агравейн — Можно будет лупить его палками.

— Да и Мэг заодно, — прибавил он, подумав. После этого они удалились в засаду, решившись хранить молчание. Ничего не было слышно, кроме нежного ветра, пчел в вереске и жаворонка высоко в небесах. Да еще иногда долетало шмыганье Мэг.

Когда единорог появился, все сложилось не так, как они ожидали. Прежде всего он был благороднейшим из животных, вместилищем красоты, зачаровывающей всех, кто его видел.

Единорог был бел, с серебряными копытцами и жемчужным рогом. Он изящно ступал по вереску, казалось, почти не приминая его, столь легка была поступь, и ветер волнами бежал по

его долгой гриве, только-только расчесанной. Самым чудесным в нем оказались глаза. По сторонам носа чуть синеватые складки взбегали к глазницам, погружая их в меланхоличную тень. Глаза, окруженные этой прекрасной и грустной тьмой, были столь печальны, нежны, одиноки и благородно трагичны, что при виде их всякое чувство, кроме любви, умирало.

Единорог поднялся к месту, на котором сидела Мэг-судомойка, и склонил перед нею главу. Он грациозно выгнул шею, так что жемчужный рог указывал в землю у ее ног, и приветствуя Мэг, легко поскреб серебряным копытцем вереск. Мэг забыла о слезах. Сделав королевский приветственный жест, она протянула к животному руку.

— Приблизься, единорог, — сказала она. — И если желаешь, положи мне на лоно свой рог.

Единорог легонько заржал и снова поскреб землю копытом. Затем, очень осторожно, он опустился сначала на одно колено, потом на другое, пока не оказался склоненным пред нею. Застыв в этой позе, он посмотрел на нее снизу вверх своими тающими глазами и наконец опустил ей на колени голову. Он искательно глядел на нее и терся белой, плоской щекой о гладкую ткань

ее платья. Глаза его закатились, показав ослепительные белки. Застенчиво опустив на землю круп, он улегся и лежал совершенно спокойно, глядя вверх на ее лицо. Из глаз его струилось доверие, он чуть приподнял переднюю ногу, словно желая ударить в землю копытом. То было лишь легкое движение воздуха, сказавшее: «Теперь удели мне внимание. Подари мне любовь. Пожалуйста, погладь мою гриву, ладно?»

Агравейн, сидевший в засаде, издал какой-то сдавленный сип и через миг уже мчался к единорогу, сжимая в руках отточенную кабанью пику. Прочие мальчики, сидя на корточках, вытянули шеи и следили за ним.

Добежав до единорога, Агравейн принялся колоть его пикой, спереди, сзади, в живот, под ребра. Он колол и визжал, а единорог с мукой смотрел на Мэг. Она казалась заколдованной, неспособной двинуть рукой. Видимо, и единорог не мог пошевелиться из-за ладони, мягко сжимавшей его рог. Кровь из ран, нанесенных пикою Агравейна, струилась по иссиня-белому ворсу шкуры.

Гарет припустился бегом, следом за ним Гавейн. Последним бежал Гахерис, глупый, не знающий, что предпринять.

— Стой! — кричал Гарет. — Отпусти его! Стой! Стой!

Гавейн подоспел первым как раз в то мгновение, когда пика Агравейна вошла в единорога под пятым ребром. Зверь содрогнулся. Трепет прошел по всему его телу, он далеко вытянул задние ноги. Они почти выпрямились, как если бы он совершал самый большой в своей жизни прыжок, и затем задрожали в смертельной агонии. Все это время глаза его не отрывались от глаз Мэг, и она по-прежнему глядела вниз, на него.

— Что ты делаешь? — завопил Гавейн. — Оставь его. Не причиняй ему зла.

— Ох, единорог, — прошептала Мэг.

Задние ноги единорога вытянулись, дрожь в них стихала. Голова его упала Мэг на колени. Ноги в последний раз дернулись и застыли, и синеватые веки поднялись, наполовину скрывая глаза. Он лежал неподвижно.

— Что ты наделал? — воскликнул Гарет. — Ты же убил его. Он был так прекрасен.

Агравейн завыл дурным голосом:

— Эта девчонка была моей матерью. Он положил ей голову на колени. Он должен был умереть.

— Мы же договорились, что сохраним его, —

вопил Гавейн. — Что отведем его домой и нас допустят к ужину.

— Бедный единорог, — сказала Мэг.

— Посмотрите, — сказал Гахерис. — Боюсь, он подох.

Гарет встал лицом к лицу с Агравейном, бывшим на три года старше него и способным свалить его наземь одним ударом.

— Зачем ты это сделал? — спросил он. — Убийца. Такой был чудесный единорог. Зачем ты его убил?

— Его голова лежала на коленях у нашей матери.

— Он же не хотел причинить ей вреда. У него копыта были серебряные.

— Он был единорогом, и его полагалось убить. И Мэг мне тоже нужно было убить.

— Ты предатель, — сказал Гавейн. — Мы бы отвели его домой, и нас допустили бы к ужину.

— Как бы там ни было, — сказал Гахерис, — теперь он подох.

Мэг наклонила голову над белой челкой единорога и тут же снова заплакала.

Гарет поглаживал голову единорога. Ему пришлось отвернуться, чтобы скрыть слезы. Гладя голову, он обнаружил, какая у единорога была

мягкая и ровная шкура. Он увидел вблизи глаза зверя, теперь быстро тускнеющие, и всей душой ощутил, что случилась трагедия.

— Ну, во всяком случае, теперь он подох, — в третий раз повторил Гахерис. — Так что лучше нам оттащить его домой.

— Все-таки мы изловили его, — сказал Гавейн, в сознании которого забрезжило чудо, совершенное ими.

— Скотину такую, — сказал Агравейн.

— Мы же поймали его! Мы, сами!

— Сэр Груммор ни одного не поймал.

— А мы поймали.

Гавейн уже позабыл, как ему жалко было единорога. Он заплясал вокруг тела, размахивая пикой и испуская жуткие, пронзительные вопли.

— Надо его выпотрошить, — сказал Гахерис. — Мы должны все сделать как следует, — вырезать требуху, взвалить его на пони и отвезти домой, в замок, как настоящие охотники.

— И тогда она будет довольна!

— Она скажет: «Господня нога! какие у меня выросли могучие сыновья!»

— И нам позволят вести себя, как сэру Груммору и Королю Пеллинору. Теперь уж все пойдет хорошо.

— Так как его потрошат-то?

— Мы ему вырежем кишки, — сказал Агравейн. Гарет встал и пошел в сторону вересковых зарослей. Он сказал:

— Не хочу я его потрошить. А ты, Мэг?

Мэг, ощущавшая тошноту, не ответила. Гарет развязал ее косы, и она вдруг рванулась и изо всей мочи побежала прочь от страшного места, к замку. Гарет кинулся следом.

— Мэг, Мэг! — звал он. — Подожди меня. Не убегай.

Но Мэг все бежала, быстро, как Анталоп, мелькали голые ноги, и Гарет сдался. Он упал в вереск и от всей души заплакал, и сам не зная почему.

А у трех потрошителей дело шло худо. Они принялись подрезать шкуру на брюхе, но не зная, как это толком делается, проткнули кишки. Чувствовали они себя преотвратно, а зверь, еще недавно прекрасный, стал теперь грязным и мерзким. Каждый из них на свой манер питал к единорогу любовь, включая и Агравейна, чьи чувства были особенно путаными, и чем более виновными ощущали они себя за порчу его красоты, тем сильнее его ненавидели за эту свою вину. Особенно сильную ненависть к мертвому телу испытывал Гавейн. Он ненавидел его за то, что оно мертвое,

за то, что оно когда-то было прекрасным, за то, что он ощущал себя подлой скотиной. Он любил зверя и сам же помог завлечь *:* его в ловушку, и теперь оставалось лишь излить свой стыд и ненависть к себе на труп. Он рубил этот труп, и резал, и чувствовал, что ему тоже хочется плакать.

— Ничего у нас не выйдет, — пыхтели мальчишки. — Как мы потащим его вниз, даже если сумеем выпотрошить?

— Но мы должны это сделать, — сказал Гахерис. — Должны. А если не сделаем, то какая от всего этого будет польза? Мы должны дотащить его до дому.

— Не дотащим.

— У нас нет пони.

— Когда потрошат оленя, его потом взваливают на пони.

— Нужно отрезать голову, — сказал Агравейн. — Мы должны отрезать ему голову и ее отнести. Хватит и головы. Ее мы как-нибудь вместе дотащим.

И они принялись за работу, ненавидя ее, с омерзением кромсая шею животного.

Лежа в вереске, Гарет выплакался. Он перекатился на спину и сразу перед глазами его раскинулось небо. В бесконечной небесной глуби

величаво проплывали облака, и у Гарета закружилась голова. Он думал: «Как далеко до этого облака? С милю? А до того, что выше него? Две? А за ними мили и мили, миллион миллионов миль, и все в пустой синеве. Может быть, сейчас я свалюсь с земли, если она вдруг перевернется, и поплыву все дальше и дальше. Я буду, пролетая, хвататься за облака, но они меня не удержат. И куда же я уплыву?»

От этой мысли Гарета замутило, а поскольку его к тому же еще мучил стыд за то, что он сбежал, не желая участвовать в потрошении, ему и вовсе стало не по себе. В таких обстоятельствах оставалось только одно — оставить то место, в котором тебя охватило неприятное чувство, в надежде, что и чувство тоже останется там. Он поднялся и пошел назад, к остальным.

— Привет, — сказал Гавейн, — ну что, поймал ты ее?

— Нет, она убежала в замок.

— Надеюсь, она никому не сболтнет, — сказал Гахерис. — Нужно, чтобы вышел сюрприз, а иначе нам пользы не будет.

Троица мясников была залита потом и кровью, и чувствовали они себя хуже некуда. Агравейна уже вырвало дважды. Но они продолжали тру-

диться, и Гарет стал им помогать.

— Что уж теперь останавливаться, — сказал Гавейн. — Подумай, как будет здорово, если мы сможем отнести ее к нашей матушке.

— Может быть, она даже поднимется наверх, пожелать нам доброй ночи, если мы принесем ей то, что ей нужно.

— Она рассмеется и назовет нас великими охотниками.

Когда удалось перебить хрящеватый хребет, выяснилось, что голова чересчур тяжела, чтобы ее нести. Они только изгваздались, пытаясь ее поднять. Тогда Гавейн предложил отволочь ее, обвязав веревкой. Правда, веревки не было.

— Мы можем тащить ее за рог, — сказал Гарет. — Во всяком случае, так ее можно будет волочь да еще подталкивать сзади, хотя бы пока мы на склоне горы.

Как следует ухватиться за рог удавалось лишь одному, так что они тянули голову по очереди, — один тянул, а остальные подталкивали сзади, когда голова застревала в канаве или цеплялась за вересковый корень. Даже и так им приходилось туго, и они останавливались примерно через каждые двадцать ярдов, чтобы поменяться местами.

— Когда мы доберемся до замка, — отдувался Гавейн, — мы укрепим ее на скамейке в саду. Матушка всегда проходит мимо скамейки, когда выходит перед ужином прогуляться. А мы встанем перед скамейкой, и как она подойдет, сразу отступим, она и увидит.

— То-то она удивится, — сказал Гахерис. Когда им, наконец, удалось спустить голову со склона горы, возникла новая помеха. Выяснилось, что по ровной земле голову уже не протянешь, потому что рог в качестве рычага здесь не годится.

Поскольку близился ужин и время подпирало, Гарет сам вызвался сбегать за веревкой. Веревкой обвязали то, что осталось от головы, и таким образом на этой, последней стадии вымазанный, окровавленный, иссеченный вереском экспонат, с вытекшими глазами и клочьями мяса, отстающего от костей, удалось дотащить до садика, где выращивались целебные травы. Они водрузили его на скамью и, как сумели, расправили гриву. Особенно Гарет старался так повернуть голову, чтобы дать хоть какое-то представление о памятной ему красоте.

Королева-волшебница пунктуально вышла на прогулку, беседуя с сэром Груммором; за ней по пятам бежали комнатные собачки: Трэй, Бланш

и Милка. Она не заметила четверых своих сыновей, стоявших перед скамейкой. Они стояли уважительно, в ряд, чумазые, возбужденные, и в груди у каждого колотилась надежда.

— Давай! — крикнул Гавейн, и они расступились.

Королева Моргауза не увидела единорога. Голова у нее была занята иными вещами. И она прошла мимо вместе с сэром Груммором.

— Матушка! — странным голосом вскрикнул Гарет и побежал за ней, хватая ее за подол.

— Да, мой ласковый. Чего тебе?

— Матушка! Мы добыли тебе единорога.

— Какие они забавники, сэр Груммор, — сказала она. — Ну, голубки, бегите, попросите, чтобы дали вам молочка.

— Но мамочка…

— Да, да, — низким голосом сказала она. — В другой раз.

И Королева, тихая, как предгрозовая туча, проследовала мимо вместе с недоумевающим рыцарем из Дикого Леса. Она не заметила, что одежда ее детей бесповоротно испорчена; она даже не выговорила им за это. Позже, вечером, узнав о единороге, она приказала их высечь, ибо день, проведенный ею с английскими рыцарями,

был неудачен.

## 8

Целый лес шатров украсил равнину при Бедегрейне. Они походили на старомодные пляжные будки и отливали всеми цветами радуги. На некоторых имелись даже полоски, в точности как на пляжных будках, но большая их часть была однотонной — зеленые, желтые и так далее. К боковым стенам шатров были прикреплены, а то и оттиснуты на них разнообразные геральдические изображения — огромные черные орлы, иногда даже двуглавые, виверны, копья, дубы, а порой — своего рода живописные каламбуры, обыгрывающие имена владельцев. Например, на шатре сэра Кэя имелся черный ключ, а на шатре сэра Элбоуза из вражьего лагеря — пара рук по локоть, в складчатых рукавах. Их еще называют манжесты. На макушках шатров развевались вымпелы, и у каждого шатра стояли, прислоненные к нему, снопы копий. У баронов позадиристей перед входом в шатер помещались щиты или огромные медные тазы, так что вам оставалось лишь бухнуть в один из них древком копья, и еще до того, как замирала гулкая музыка, барон, подобно сердитой пчеле, вылетал из

шатра, дабы с вами сразиться. Развеселый сэр Динадан вывесил у своего шатра здоровенный урыльник. Ну, разумеется, и на людей тоже стоило посмотреть. По всей равнине между шатров повара ругались с собаками, стянувшими шмат баранины, мальчишки-пажи норовили украдкой написать что-нибудь обидное на спинах один у другого, элегантные менестрели душевно пели, подыгрывая себе на лютнях, что-нибудь наподобие «Зеленых Рукавов», и оруженосцы с неимоверно невинными глазами пытались всучить друг другу охромелых коней, и лирники в надежде заработать грош наигрывали на виелах, и цыганки предсказывали желающим, что их ждет в предстоящем сражении, и играли в шахматы огромные рыцари в неряшливых тюрбанах, у некоторых из них сидели на коленях маркитантки, и куда ни глянь, мельтешили, словно на празднике, жонглеры, трузоры, акробаты, арфисты, трубадуры, шуты, менестрели, фигляры, медведи-плясуны, канатные плясуны, ходульные плясуны, плясуны балетные, шарлатаны, пожиратели огня и балансеры. Все это отчасти смахивало на Дерби в день скачек. Вкруг шатрового леса простирался, куда только достигали глаза — и дальше — бескрайний

Шервудский лес, полный диких вепрей, матерых оленей, разбойников, драконов и переливниц. В лесу помещалась также засада, о которой — предположительно — никто не ведал.

Король Артур не уделял внимания близившейся битве. Невидимый, он сидел в своем шатре, в самом средоточии всеобщей суеты и день за днем проводил в беседах с сэром Эктором, или с сэром Кэем, или с Мерлином. Командиры рангом пониже нарадоваться не могли тому, что их Король проводит столько военных советов, ибо, видя внутри шелкового шатра не гаснущую до самого утра лампаду, они преисполнялись уверенности, что Король обдумывает план великолепной кампании. На самом же деле разговоры шли о вещах совершенно иных.

— Они будут страшно завидовать друг другу, — говорил Кэй. — Каждый из рыцарей твоего ордена заявит, что он лучше всех прочих, и пожелает сидеть во главе стола.

— Значит, нам нужен круглый стол, безо всякой главы.

— Ну, Артур, как же ты усадишь за круглый стол сто пятьдесят рыцарей. Постой-ка…

Мерлин, который теперь почти и не вмешивался в разговор, а просто сидел, сложив руки на

животе и сияя, помог Кэю выбраться из затруднительного положения.

— Ярдов пятьдесят в поперечнике, — сказал он. — Рассчитывается с помощью 2р.

— Хорошо, пусть так. Скажем, пятьдесят ярдов. Ты представь, сколько места останется посередке. Это же деревянный океан с тонким людским ободком. В середине даже еду не поставишь, потому что никто до нее не дотянется.

— Значит, стол будет не круглый, а круговой, — сказал Артур. — Не могу подобрать нужного слова. Я хочу сказать, что мы ведь можем сделать стол наподобие обода или тележного колеса, и в пустом пространстве, там где у колеса спицы, смогут передвигаться слуги. А сидящих за ним мы назовем: Рыцари Круглого Стола.

— Отличное название!

— И самое важное, — продолжал Король, чем дольше думавший, тем мудрей становившийся, — важнейшее — это набрать побольше юношей. Старые рыцари, те, с которыми мы бьемся, в большинстве окажутся слишком старыми, чтобы чему-то научиться. Я думаю, мы сможем принять их и принудить сражаться по-новому, но они все равно будут сбиваться на старые повадки, вроде тех, что у сэра Брюса. Груммор и Пеллинор — их

мы, безусловно, должны принять — интересно только, куда они подевались? Груммор с Пеллинором подходят, потому что в глубине души они всегда оставались добряками. Но я не думаю, что люди Лота когда-либо смогут по-настоящему прижиться в ордене. Потому я и говорю, что нужно набрать молодых. Нам придется вырастить на будущее новое поколение рыцарей. Взять хоть того мальчугана по имени Ланселот, который прибыл сюда сам знаешь с кем, — вот такие-то нам и нужны. Они и составят истинный Круглый Стол.

— Кстати, о Столе, — сказал Мерлин. — Не понимаю, почему это я до сих пор не сказал тебе, что у Короля Леодегранса имеется один, и весьма подходящий. Поскольку ты намерен жениться на его дочери, можно его уговорить, чтобы он отдал тебе этот стол в виде свадебного подарка.

— Я намерен жениться на его дочери?

— Конечно. Ее зовут Гвиневера.

— Послушай, Мерлин, я не хочу знать будущего, да я и не уверен, что верю во все это…

— Есть вещи, которые я обязан тебе сказать, веришь ты в них или не веришь. Горе-то в том, что я никак не избавлюсь от ощущения, будто существует нечто, о чем я забыл тебе рассказать. Да, и напомни мне как-нибудь, чтобы я предупредил

тебя насчет Гвиневеры.

— Ты своими предсказаниями всех заморочил, — жалобно сказал Артур. — Я и сам уже запутался в половине вопросов, которые собирался тебе задать. Вот, к примеру, кем была моя…

— Тебе придется учредить особые праздники, — перебил его Кэй, — на Пятидесятницу и так далее, когда все рыцари будут собираться за обедом и повествовать о своих делах. Это может заставить их сражаться на твой новый манер, чтобы было о чем потом рассказать. А Мерлин мог бы с помощью волшебства написать против их мест их имена, а на сидениях вырезать гербы. Получится великолепно!

Эта волнующая идея заставила Короля забыть о своем вопросе, и оба молодых человека тут же уселись рисовать для волшебника собственные гербы, чтобы не вышло какой ошибки в цветах. В самый разгар этой работы Кэй, высунувший от усердия кончик языка, вдруг поднял глаза и сказал:

— А кстати. Помнишь, мы спорили насчет агрессии? Ну так вот, я придумал хорошую причину для того, чтобы начать войну.

Мерлин застыл.

— Хотел бы о ней услышать.

— Хорошая причина для того, чтобы начать войну, состоит попросту в том, что такая причина имеется! Например, может появиться король, открывший для людей новый образ жизни, — ты понимаешь? — что-то такое, от чего всем будет хорошо. Это может быть даже единственным способом спасти людей от погибели. Так вот, если люди окажутся слишком порочны или тупы, чтобы принять его способ, ему придется силой заставить их, мечом, в их же собственных интересах.

Волшебник вцепился в свою мантию, стиснул кулаки, винтом скручивая ткань, и затрясся всем телом.

— Весьма интересно, — произнес он дрожащим голосом. — Весьма. Когда я был молод, нашелся один такой — австриец, выдумавший новый образ жизни и убедивший себя, что он именно тот человек, который сможет привести его в действие. Он пытался осуществить свои реформы при помощи меча и утопил цивилизованный мир в страданиях и хаосе. Впрочем, было одно обстоятельство, которое этот деятель как-то упустил из виду, и состояло оно, друг мой, в том, что по части реформ у него имелся предшественник, и звали его Иисус Христос. Может быть, мы впра-

ве предположить, что о том, как спасти людей, Иисус знал не меньше австрийца. Странно вот только, что Иисус не выстроил своих учеников в штурмовые отряды, не сжег Иерусалимский Храм и не обвинил в поджоге Понтия Пилата. Наоборот, он очень ясно сказал, что задача философа — делать свои идеи *доступными,* а вовсе не навязывать их людям.

Вид у Кэя был бледный, но упрямый.

— Артур сражается в этой войне, — сказал он, — именно ради того, чтобы навязать свои идеи Королю Лоту.

## 9

Мысль Королевы относительно охоты на единорога имела удивительные последствия. Чем более страдал от любви Король Пеллинор, тем более очевидным становилось, что нужно что-то предпринимать. И сэра Паломида посетило вдохновение.

— Рассеять королевскую меланхолию, — заявил он, — способен только Искомый Зверь. За свою жизнь магараджа сахиб привязался к нему. Искренне ваш давно уже это сказал.

— По моему личному мнению, — сказал сэр Груммор, — Искомый Зверь умер. Во всяком случае, сейчас он во Фландрии.

— Тогда нам следует преобразиться в него, — сказал сэр Паломид, — Нам следует взять на себя роль Искомого Зверя, и пусть он охотится на нас.

— Вряд ли нам удастся преобразиться в Искомого Зверя.

Но идея уже увлекла сарацина.

— Почему же нет? — спросил он. — Почему нет, клянусь Джунго. Фигляры переодеваются в животных — в оленей, козлов и так далее, — и пляшут под звон колокольчиков, кружась и из-

гибаясь.

— Но право, Паломид, мы-то ведь не фигляры.

— Так станем же ими!

— Фиглярами!

Фиглярами звались менестрели наинизшего разбора, и сэру Груммору мысль обратиться в фигляра вовсе не улыбалась.

— Да как же мы сможем переодеться в Искомого Зверя? — слабо осведомился он. — Уж больно зверюга-то путаная.

— Опишите мне это животное.

— Ах, чтоб меня! У него змеиная голова, тело леопарда, лягвии льва и голени матерого оленя. И черт подери, где мы возьмем шум в его брюхе — как бы от тридцати пар гончих, напавших на след?

— Искренне ваш будет брюхом, — предложил сэр Паломид, — и станет подавать голос, вот так.

И Паломид завыл, словно тиролец.

— Тише! — крикнул сэр Груммор. — Вы весь замок перебудите.

— Значит, договорились?

— Нет, не договорились. За всю мою жизнь не слышал подобной чуши. Да потом, у вас и шум совершенно не тот. Шум должен быть вот какой.

И немелодичным альтом сэр Груммор закво-

хтал, будто тысяча диких гусей, плещущихся в Уоше.

— Тише! Тише! — закричал сэр Паломид.

— Какое там тише! Вы-то попросту визжали, как стадо свиней.

Тут двое натуралистов принялись гугукать и хрюкать, кудахтать и квохтать, кукарекать и крякать, хрипеть, сопеть, квакать, мяукать и взрыкивать один на другого, пока лица у них не стали краснее красного.

— Голову, — сказал сэр Груммор, внезапно прервавшись, — придется соорудить из картона.

— Или из парусины, — сказал сэр Паломид. — У населения, занятого рыбной ловлей, парусина должна иметься в достатке.

— А для копыт подойдут кожаные сапоги.

— Пятна мы нарисуем на теле.

— Тело придется сделать с пуговицами посередке.

— Там, где мы будем соединяться.

— И вы, — щедро добавил сэр Паломид, — можете взять себе заднюю половину и подражать собакам. Шум ведь должен доноситься из брюха, это установлено со всей очевидностью.

Сэр Груммор зарумянился от удовольствия, но сказал ворчливо, как норманну и следует:

— Что ж, Паломид, спасибо. Должен сказать, что, по-моему, это с вашей стороны чертовски любезно.

— Ну что вы.

Всю следующую неделю Король Пеллинор почти не видел своих друзей.

— Вы, Пеллинор, займитесь стихами, — говорили они ему, — или ступайте, повздыхайте на скалах, будьте умницей.

И Пеллинор убредал, нестройно выкрикивая «Фландрия — Саламандра я» или «Дочь — превозмочь», когда его посещала очередная идея, а где-то на заднем плане маячила темная Королева.

Тем временем за запертой дверью комнаты сэра Паломида шили, кромсали, расписывали и препирались в количествах, здесь почти и невиданных,

— Дорогой вы мой, говорю же *я* вам, что пятна у леопарда — черные.

— Жженая пробка, — упрямился сэр Паломид.

— Какая еще пробка? Да и нет у нас пробки. И два творца гневно таращились друг на друга.

— Примерьте голову.

— Так и есть, разорвали. Говорил же я вам.

— Конструкция головы отличалась некоторой непрочностью.

По завершении реконструкции язычник отступил несколько в сторону, чтобы полюбоваться результатом.

— Поосторожнее с пятнами, Паломид. Ну вот, вы их смазали.

— Тысяча извинений!

— Смотрите, куда ступаете.

— Да? А на ребра кто наступил?

На второй день возникли осложнения с крупом.

— Гузно у нас тесновато.

— А вы не наклоняйтесь.

— Как же мне не наклоняться, когда я задняя половина?

— Ничего, не треснет.

— Еще как треснет.

— Нет, не думаю,

— Вот видите, и треснуло.

— Вы все же посматривайте на мой хвост, — сказал сэр Груммор на третий день, — а то вы его топчете.

— Полегче, Груммор. Вы мне шею свернули.

— Вы разве не видите, в чем дело?

— Что я могу видеть со свернутой шеей?

— Это хвост.

Последовала пауза, во время которой они раз-

бирались, где кто.

— Так, теперь осторожно. Мы должны шагать в ногу.

— Задайте шаг.

— Левой! Правой! Левой! Правой!

— По-моему, у меня гузно съезжает.

— Если вы не будете держаться за поясницу искренне вашего, мы развалимся надвое.

— А если я буду держаться за вас, мне зада не удержать.

— Вот видите, пуговицы отлетели.

— Чертовы пуговицы.

— Искренне ваш предупреждал.

И потому весь четвертый день они пришивали пуговицы, а затем все начали заново.

— Могу я теперь полаять для практики?

— Да, конечно.

— Как вам изнутри мой лай?

— Звучит превосходно, Груммор, просто превосходно. Хотя впечатление остается отчасти странное оттого, что лай исходит из задней части, если только моя аргументация не представляется вам неосновательной.

— По-моему, звук получается глуховатый,

— Да, отчасти.

— Впрочем, возможно, что снаружи впечатле-

ние более благоприятное.

На пятый день они значительно продвинулись вперед.

— Нам следует попрактиковаться в галопе. В конце концов, мы же не можем все время прогуливаться, особенно когда он станет на нас охотиться.

— Очень хорошо.

— Как только я скажу «Марш», побежали. На старт, внимание, марш!

— Слушайте, Груммор, вы меня бодаете.

— Бодаю?

— Осторожно, кровать.

— Что вы сказали?

— О Господи!

— Чтоб она в адском огне сгорела, эта кровать! О, мои голени!

— Опять вы все пуговицы оторвали.

— Да черт с ними, с пуговицами. Я чуть ног не лишился.

— И голова у искренне вашего отлетела.

— Все же лучше ограничиться ходьбой.

— Под музыку галопировать было бы легче, — сказал сэр Груммор на шестой день. — Знаете, что-нибудь вроде охотничьего рога — тон-тон-тили-тон.

— Что поделаешь, музыки у нас нет.

— Нет.

— А не могли бы вы напевать «тили-тон», Паломид, покамест я лаю?

— Искренне ваш может попробовать.

— Ну и отлично, тогда вперед!

— Тон-тон-тили-тон, тон-тон-тили-тон!

— Проклятье!

— Придется делать всю штуку заново, — сказал сэр Паломид под конец уик-энда. — Правда, копыта еще в дело сгодятся.

— Вот уж не думал, что так больно вываливаться из дверей, — и хоть бы, знаете ли, на мох.

— Вероятно, мох не так бы сильно изодрал парусину.

— Придется нам делать ее с двойным запасом прочности.

— Да.

— Хорошо хоть копыта еще сгодятся.

— Клянусь Юпитером, Паломид, ну и чудище!

— На этот раз результат получился великолепный.

— Жаль, вы не можете изрыгать изо рта пламя или еще что-нибудь такое.

— Чревато воспламенением.

— Ну что ж, Паломид, попробуем галопом?

— Вне всяких сомнений.

— Тогда задвиньте кровать в угол.

— А вы повнимательней с пуговицами.

— Если увидите, что мы на что-нибудь набегаем, вы просто остановитесь, ладно?

— Да.

— Смотрите в оба, Паломид.

— Будьте уверены, Груммор.

— Ну как, готовы?

— Готов.

— Вперед.

— Какой великолепный рывок, Паломид, — воскликнул сэр Груммор из Дикого Леса.

— Благородный галоп.

— А вы заметили, как я все время лаял?

— Как было не заметить, сэр Груммор!

— Ну и ну, не помню, когда я еще получал такое удовольствие.

Они задыхались от торжества, стоя внутри своего монстра.

— Послушайте, Паломид, вы посмотрите, как я размахиваю хвостом.

— Очаровательно, сэр Груммор. А гляньте, как у меня глаз моргает.

— Нет-нет, Паломид. Это вы взгляните на хвост. Право, такое зрелище нельзя упустить.

— Послушайте, если я погляжу на ваш хвост, вы должны поглядеть на мой глаз. Это будет по-честному.

— Да я все равно изнутри ничего не вижу,

— Что до этого, сэр Груммор, то и искренне ваш не в состоянии достигнуть взором анальной области.

— Ну, ладно, давайте-ка пробежимся еще раз. Теперь я буду крутить хвостом и брехать как безумный. То-то жуткое выйдет зрелище.

— А искренне ваш станет мигать то одним, то другим оком.

— А не могли бы мы слегка пригарцовывать на ходу, Паломид, по временам, — знаете, этакие курбеты выделывать?

— Курбеты приобретают более естественный вид, когда исполняются задней частью, соло.

— Вы хотите сказать, что я могу исполнять их один?

— Сие целесообразней.

— Право же, Паломид, я должен сказать, что вы проявляете незаурядное благородство, позволяя мне гарцевать в одиночку.

— Искренне ваш может быть уверен, что при выполнении курбетов будут соблюдены меры предосторожности, предотвращающие нане-

сение неприятных ударов по задней стороне передней части животного?

— Вот именно как вы сказали, Паломид.

— Тогда по коням, сэр Груммор.

— Ату, Паломид!

— Тон-тон-тили-тон, на охоту мы идем!

Королеве пришлось признать невозможное. Даже своим затуманенным гаэльским разумом она вынуждена была уяснить, что осел питону не пара. Не оставалось решительно никакого смысла и дальше выставлять свои прелести и таланты ради ободрения этих смехотворных рыцарей, никакого смысла рассыпать перед ними тиранические соблазны того, что она почитала любовью. Внезапная перемена чувств позволила ей осознать, что она их ненавидит.

Они же попросту недоумки, да еще и сассенахи к тому же, а она — она святая. Эта смена настроения открыла ей, что она не любит никого, кроме своих драгоценных мальчиков. Она будет для них лучшей матерью в мире! Ее сердце изнывало по ним, материнская грудь вздымалась. Когда Гарет боязливо явился к ней в спальню с букетом сухого вереска — в виде извинения за то, что они вынудили ее их высечь, — Королева, поглядывая в зеркало, осыпала его поцелуями.

Он уклонился от ее объятий и вытер слезы, испытывая неудобство, смешанное с восторгом. Принесенный им вереск был театрально поставлен в вазу без воды, — больше всего на свете Королева ценила домашний уют — и его отпустили. Гарет выскочил из королевской спальни, распираемый новостью: они прощены, — и словно волчок, закружился, сбегая по винтовой лестнице.

Этот замок не походил на тот, по которому так любил бегать Король Артур. Норманн навряд ли счел бы его замком, разве что дозорная башня могла показаться ему чем-то знакомой. Замок был на тысячу лет древнее всего, знакомого норманнам.

Замок, через который бежал ребенок, чтобы принести братьям добрую весть о материнской любви, зародился в туманах прошлого как странный символ Древнего Люда — форт на мысу. Загнанные вулканом истории в море, они намертво вцепились в последний полуостров. За спинами их — в буквальном смысле этого выражения — было море, и они выстроили поперек узкого скалистого выступа одну-единственную стену. Море, ставшее их судьбой, стало также и последним их охранителем — по обе стороны

мыса. На этой узкой полоске суши разрисованные синей краской людоеды сложили из неотесанных камней исполинскую стену в четырнадцать футов высотой и во столько же толщиной, с террасами по внутренней стороне, с которых они могли метать свои копья с кремневыми наконечниками. По всей внешней стороне стены они закрепили дерном тысячи заостренных камней: каждый камень торчал наружу в виде chevaux de frise, походившей на окаменелого ежа. За ней, за этой колоссальной стеной они по ночам ютились в деревянных хибарах вместе со своим домашним скотом. Для украшения имелись наткнутые на колья головы врагов, а кроме того, их король построил себе под землей сокровищницу, способную — при необходимости бегства — послужить и подземным ходом. Ход шел под стеной, так что даже если бы форт взяли штурмом, король мог удрать за спинами нападающих. Размеры хода позволяли пробираться по нему всего одному человеку, да и тому на карачках, а кроме того, в нем был выстроен особый загиб, — там можно было посидеть, подождать преследователя, чтобы, дождавшись, проломить ему голову, пока он будет соображать, что это за препятствие возникло у него на пути. Дабы сохранить свою

предусмотрительность втайне, король, он же первосвященник, собственноручно казнил строителей подземелья.

Все это было в прошлом тысячелетии.

Дунлоутеан подрастал неспешно, со сдержанностью, свойственной Древнему Люду. То в одном месте вдруг объявится длинный деревянный сарай — память нашествия скандинавов, то в другом раскатают кусок древней стены, чтобы выстроить для священников круглую башню. Дозорная башня с коровником под двумя жилыми покоями выросла самой последней.

Так что Гарет в поисках братьев бежал среди неприбранных обломков столетий, среди пристроек и переделок, мимо каменных плит с огамической надписью, чествующей какого-то давно уже мертвого Дига, сына Ноу, вделанных кверх ногами в бастион позднейшей постройки. Бастион стоял на вершине открытого всем ветрам утеса, обглоданного дыханием Атлантики до костей, а под ним ютилась средь дюн рыбацкая деревушка. Он словно бы унаследовал вид на дюжину миль пенных валов и на сотни миль облаков. И вдоль всего побережья святые и ученые мужи Эрина обитали в каменных иглу, в священной мерзостности, прочитывая по пятидесяти

псалмов у себя в ульях и по пятидесяти под чистым небом, и еще по пятидесяти, погрузив тела свои в холодную воду и ненавидя переливчатый мир. Святой Тойрделбах был далеко не типичным их представителем.

Братьев своих Гарет обнаружил в кладовке.

Здесь стоял запах овсяной муки, копченой семги, сушеной трески, лука, акульего жира, сельди, засоленной в бочках, пеньки, маиса, куриного пуха, парусины, молока — по четвергам здесь пахтали масло — выдержанной сосновой доски, яблок, сохнущих трав, рыбьего клея, лака, который используют лучники, заморских пряностей, крысы, издохшей в ловушке, дичины, водорослей, древесной стружки, кухонных отбросов, еще не проданной шерсти горных овец и едкий запах дегтя.

Гавейн, Агравейн и Гахерис сидели на шерсти и грызли яблоки. Они спорили.

— Это не наше дело, — упрямо сказал Гавейн. Агравейн взвизгнул:

— Вот именно наше. Нас оно касается больше, чем кого бы то ни было. И потом, это дело неправое.

— Как ты смеешь говорить, что наша матушка неправа?

— Неправа.

— Права.

— Если ты только и можешь, что перечить.

— Для сассенахов они очень порядочные, — сказал Гавейн. — Вчера вечером сэр Груммор позволил мне примерить свой шлем,

— Это тут ни при чем. Гавейн сказал:

— Я не желаю говорить об этом. Это грязный разговор.

— Ах, чистый Гавейн!

Гарет, войдя, увидел, как лицо Гавейна, обращенное к Агравейну, вспыхнуло под рыжими волосами. Было ясно, что на него вот-вот накатит один из его приступов ярости, но Агравейн принадлежал к разряду неудачливых интеллектуалов, слишком гордых, чтобы смиряться перед грубой силой. Он был из тех, кого в споре сбивают на пол, потому что они не способны за себя постоять, но и лежа на полу они продолжают спорить, глумясь над противником: «Ну давай, давай, ударь еще, покажи, какой ты умный».

Гавейн уставился на Агравейна пылающим взглядом:

— Придержи язык.

— Не стану.

— Так я тебя заставлю.

— Заставишь — не заставишь, ничего от этого не изменится.

Гарет сказал:

— Замолчи, Агравейн. Гавейн, оставь его в покое; Агравейн, если ты не умолкнешь, он тебя убьет.

— А мне все равно, убьет он меня или нет. Я сказал правду.

— Утихни, тебе говорят.

— Не утихну. Я сказал, что мы должны составить письмо к отцу насчет этих рыцарей. Мы обязаны рассказать ему о нашей матери. Мы…

Гавейн обрушился на него, не дав ему закончить.

— Ах ты дьявольская душонка! — вопил он. — Предатель! А-а, вот ты как!

Ибо Агравейн сделал нечто, в семейных ссорах еще невиданное. Он был слабее Гавейна и боялся боли. Оказавшись подмятым, он вытащил кинжал и замахнулся на брата.

— Берегись, в руке, — крикнул Гарет. Дерущиеся метались по катаной шерсти.

— Гахерис, поймай его руку! Гавейн, отпусти его! Агравейн, брось кинжал! Агравейн! Если ты не бросишь его, он тебя убьет! Ах ты скотина!

Лицо у мальчика посинело, кинжала нигде

не было видно. Гавейн, стискивая руками горло Агравейна, яростно колотил его головою об пол. Гарет ухватил Гавейна за рубаху около шеи и скрутил ее, чтобы лишить его воздуха. Гахерис, ползая вокруг, шарил по полу в поисках кинжала.

— Оставь меня, — задыхался Гавейн — Отпусти. Он то ли закашлялся, то ли что-то всхрапнуло в его груди, словно у молодого льва, пробующего зарычать.

Агравейн, у которого был поврежден кадык, расслабил мышцы и лежал, икая, с закрытыми глазами. Судя по его виду, он был при смерти. Двое братьев оттащили Гавейна в сторону и держали его, пригибая к полу, все еще рвущегося к своей жертве, чтобы докончить начатое.

Странно, но когда на него накатывала вот такая черная ярость, он, видимо, лишался человеческих черт. В дальнейшем, когда его доводили до этого состояния, он убивал даже женщин, — хотя и горько сожалел об этом впоследствии.

Доведя поддельного Зверя до совершенства, рыцари унесли его и скрыли в пещере у подножья утесов, несколько выше приливной отметки. Затем они выпили виски, дабы отпраздновать событие, и как только стемнело, отправились

искать Короля.

Короля, с гусиным пером и листом пергамента, они отыскали в его покое. Стихов на пергаменте не было — только рисунок, имевший изобразить пронзенное стрелой сердце, внутри которого переплетались П и С. Король сморкался.

— Извините меня, Пеллинор, — сказал сэр Грум-мор, — но мы тут кое-что видели, на утесах.

— Что-нибудь гадкое?

— Ну, не вполне.

— Жаль, а я уже понадеялся.

Сэр Груммор обдумал положение и отодвинул сарацина в сторону. Они заранее сговорились о необходимости соблюдения определенного такта.

— Слушайте, Пеллинор, — невежливо сказал сэр Груммор, — что это вы рисуете?

— А как вы думаете, что?

— Похоже на какой-то рисунок.

— Рисунок и есть, — сказал Король. — Я был бы не против, если б вы оба куда-нибудь ушли. Ну, то есть, если вы в состоянии понимать намеки,

— Я бы на вашем месте провел здесь линию, — упорствовал сэр Груммор.

— Где?

— Вот здесь, где свинья нарисована.

— Друг любезный, я не понимаю, о чем вы толкуете.

— Виноват, Пеллинор, я решил, что это вы с закрытыми глазами рисовали свинью.

Сэр Паломид нашел, что настало время вмешаться.

— Сэр Груммор, — застенчиво молвил он, — наблюдал некий феномен, клянусь Юпитером!

— Феномен?

— Явление, — объяснил сэр Груммор.

— Какое еще явление? — подозрительно поинтересовался Король.

— Такое, что вам бы понравилось.

— У него было четыре ноги, — добавил сарацин.

— Это что, животное, овощ или минерал? — спросил Король.

— Животное.

— Свинья? — осведомился Король, у которого родилось подозрение, что они намекают на что-то.

— Нет-нет, Пеллинор. Какая еще свинья? Выбросьте вы этих свиней из головы. Эта штука издавала шум, подобно собачьей своре.

— Как от шестидесяти гончих, — пояснил сэр Паломид.

— Так это кит! — воскликнул Король.

— Нет, Пеллинор, нет. Кит же безногий.

— Но шум от него именно такой.

— Так кит или не кит?

— Дорогой мой, откуда мне знать? Постарайтесь не уклоняться от темы нашей беседы.

— Я и рад бы, да что за тема-то, что? Это походит на игру в зверинец.

— Да нет же, Пеллинор. Эта штука, которую мы видели, она лает.

— Ну, я вам скажу, — взвыл Пеллинор. — Лучше бы вы оба заткнулись или ушли бы отсюда. То у вас киты, то свиньи, теперь еще лает какая-то штука, это же спятить можно. Вам что, трудно оставить человека в покое? Он бы порисовал себе немного и без особого шума повесился, раз и навсегда. Я хочу сказать, это не такая уж невыполнимая просьба, что? Как по-вашему?

— Пеллинор, — сказал сэр Груммор, — крепитесь. Мы видели Искомого Зверя!

— Почему?

— Почему?

— Да, почему?

— А почему вы говорите «почему»?

— Я имел в виду, — пояснил сэр Груммор, — что вы могли бы спросить «где» или «когда». Но по-

чему «почему»?

— А почему нет?

— Пеллинор, вы что, утратили всякое чувство приличия? Я же говорю вам, мы видели *Искомого Зверя,* — он здесь, на утесах, совсем близко от нас.

— Он, к вашему сведению, не он, а она.

— Дело не в том, она или он, дружище. Дело в том, что мы ее видели.

— Так почему бы вам не пойти и не поймать ее?

— Потому что это не наше дело — ловить ее, Пеллинор, а ваше. В конце-то концов, она — труд всей вашей жизни, разве не так?

— Дура она.

— Может, дура, а может, не дура, — сказал сэр Груммор обиженным тоном. — Суть в том, что она ваш magnum opus. Только Пеллинор способен ее словить. Вы это сами всегда твердили.

— А зачем мне ее ловить? — спросил монарх, — Что? В конце концов, ей, вероятно, хорошо там, на скалах. Не понимаю, с чего вы подняли столько шуму?

— Сколько страшной печали в том, — добавил он, отвлекаясь от темы, — что люди не могут пожениться, когда им так хочется. Я хочу сказать,

какой мне прок в этой зверюге? Я ведь на ней не женат, верно? Так чего я за ней все время гоняюсь? По-моему, в этом нет логики.

— Все что вам требуется, Пеллинор, — это добрая охота. Чтобы взбодрить вашу печень.

Они отобрали у него перо и влили в него несколько стаканчиков ирландского, причем и себя не обидели,

— Похоже, это единственное, на что я гожусь, — сказал Король внезапно. — В конце концов, только Пеллинор способен ее словить,

— Ну вот и умница, вот и храбрец!

— Только я так иногда тоскую, — добавил он, прежде чем они сумели ему помешать, — по дочери Королевы Фландрии. Ока не была прекрасна, Груммор, но она меня понимала. Знаете, мне казалось, что мы очень подходим друг другу. Я, может быть, не такой уж и умный и вечно влипаю в неприятности, если за мной не присматривать, но когда Свинка была рядом, она всегда знала, как мне следует поступать. И потом, я был не один. Все-таки приятно иметь кого-нибудь рядом, особенно если всю жизнь гоняешься за Искомой Зверью, что? А то как-то одиноко в лесу. Конечно, и Зверь тоже в своем роде компания — пока за ней бегаешь. Но с ней ведь не поговоришь, не то

что со Свинкой. И стряпать она не умеет. Я и сам не понимаю, чего я лезу к вам с этими разговорами, но честное слово, порой становится как-то невмоготу. Свинка ведь не была какой-нибудь там вертихвосткой. Я и в самом деле любил ее, Груммор, правда, и если б она хоть отвечала на мои письма, как было бы хорошо.

— Бедный старина Пеллинор, — сказали они.

— Знаете, Паломид, я сегодня видел сразу семь сорок. Летели мимо, с виду — ну совершенные сковородки, с ручками. Одна означает горе, две — радость вскоре, три — жениться, четыре — мальчик родится. Выходит, что семь сорок — это четыре мальчика, верно?

— Похоже на то, — согласился сэр Груммор.

— Их должны были звать Агловаль, Персиваль и Ламорак, а у четвертого такое смешное имя, никак не могу его вспомнить. Ну, теперь-то уж что уж. Все-таки, сказать по правде, мне хотелось бы иметь сына по имени Дорнар.

— Послушайте, Пеллинор, что было, того не воротишь, и лучше с этим смириться. Почему бы вам, например, не набраться смелости и не поймать вашу Зверюгу?

— Как видно, придется.

— Ну и правильно. И выбросьте все остальное

из головы.

— Восемнадцать лет прошло, как я гоняюсь за ней, — задумчиво молвил Король. — Можно бы и поймать, для разнообразия. Интересно, куда подевалась моя ищейка?

— Ах, Пеллинор! Вот это уже разговор!

— Быть может, наш достопочтенный монарх прямо сейчас и начнет?

— Что вы, Паломид? Ночью? В темноте?

Сэр Паломид украдкой пихнул сэра Груммора.

— Наносите по железу удары, — прошептал он, — пока температура его высока.

— Вас понял.

— Я полагаю, это не важно, — сказал Король. — В сущности говоря, ничего не важно.

— Ну и отлично, — воскликнул сэр Груммор, беря руководство в свои руки. — Значит, поступим так. Старина Пеллинор затаится этой ночью в засаде на одном конце скал, а мы вдвоем как следует прочешем местность, двигаясь в его сторону с другого конца. Зверь наверняка где-то там, поскольку мы его видели прямо нынешним вечером.

— Как по-вашему, — спросил сэр Груммор, когда они переодевались в темноте, — неплохо я обосновал наше присутствие, — что мы де будем

загонять на него Зверя?

— Озарение свыше, — сказал сэр Паломид. — Голова у меня прямо сидит?

— Дружище, я и на дюйм дальше носа не вижу. Голос сарацина звучал неуверенно.

— Какая темень, — сказал он, — просто кромешная.

— Не обращайте внимания, — сказал сэр Груммор. — Зато она скроет мелкие недостатки нашего костюма. А там, глядишь, и луна покажется.

— Слава Богу, что меч у него обыкновенно тупой.

— Да, бросьте, Паломид, не трусьте. Не знаю почему, но я чувствую себя просто великолепно. Может, от виски. Но уж погарцую я нынче и полаю от души, будьте уверены.

— Вы пристегнулись ко мне, сэр Груммор. Перепутали пуговицы.

— Прошу прощения, Паломид.

— А не довольно будет вам просто размахивать хвостом и не гарцевать? Когда вы гарцуете, передняя часть испытывает некоторые неудобства.

— И хвостом помашу, и погарцую, — твердо сказал сэр Груммор.

— Ну что же, как знаете.

— На минутку уберите ваше копыто с хвоста,

Паломид.

— А вы не могли бы на первой стадии похода нести хвост перекинутым через руку?

— Это будет выглядеть не вполне натурально.

— Вы правы.

— Да еще и дождь начинается, — с горечью произнес сэр Паломид. — Если вдуматься, в этих краях вечно идет дождь.

Он просунул коричневую руку в отверстие змеиного рта и подставил ладонь под капли. Капли колотили по парусине, как град.

— Разлюбезнейшая передняя часть, — весело, ибо он влил в себя изрядное количество виски, произнес сэр Груммор, — прежде всего, именно вы задумали эту экспедицию. Веселее, старый арап! Пеллинору, который нас там дожидается, придется потуже. В конце концов, у него-то нет парусины в пятнах, чтобы спрятаться под ней от дождя.

— Возможно, дождь еще перестанет.

— Конечно, перестанет. Это вы в самую точку попали, старый вы басурман. Ну что, готовы?

— Да.

— Тогда задайте шаг.

— Левой! Правой!

— Про рожок не забудьте.

— Левой! Правой! Тон-тон-тили-тон! Пардон?

— Это я просто лаю.

— Тон-тон-тили-тон! Тон-тон-тили-тон!

— А теперь погарцуем.

— О Господи, сэр Груммор!

— Прошу прощения, Паломид.

— Искренне ваш теперь не скоро сможет присесть.

Король Пеллинор мирно стоял под каплями, летевшими с обрыва, и без выражения смотрел перед собой. Ищейная сука несколько раз обмотала вокруг него свое длинное вервие. Он был в полных доспехах, слегка заржавевших и протекавших в пяти местах. Вода лилась по голеням Пеллинора и по обоим предплечьям, но хуже всего обстояло дело с забралом, Оно походило на тупое рыло, ибо опыт показывал, что уродливый шлем пуще пугает врага, и Король Пеллинор сильно смахивал на любознательную свинью. Дождь проникал в шлем сквозь носовые отверстия, и вода стекала ровными струйками, щекотавшими ему грудь. Король думал.

Что ж, думал он, может быть, хоть это их как-то угомонит. Конечно, дождь, да и вообще во всем этом мало хорошего, но ребята они милые и уж больно им не терпелось. Трудно найти человека

добрее старого Грума, да и Паломид, парень, вроде бы, свой, даром что язычник. Раз им приспичило порезвиться, простая порядочность требует, чтобы он помог им в этой затее. И суке прогуляться полезно. Жалко, что она вечно обматывается вокруг, ну да что тут поделаешь, природе ведь не прикажешь. Завтра придется все утро скрести доспехи.

Хоть будет чем заняться, жалостно думал Король. Все лучше, чем с утра до вечера слоняться туда-сюда с вечной печалью, угрызающей сердце. И мысли его обратились к Свинке.

Чем хороша была дочь Королевы Фландрии, так это тем что она не смеялась над ним. Многие не прочь над тобой посмеяться, если ты всю свою жизнь гоняешься за Искомой Зверью и все никак ее не поймаешь, — а вот Свинка, она не смеялась. Она, казалось, сразу поняла, как это интересно, и сделала несколько разумных предложений относительно устройства различных ловушек. Естественно, он не думал изображать из себя умника или еще кого, но все же приятно, когда над тобой не смеются. Каждый делает, что может.

А потом наступил страшный день, когда к берегу пристала эта чертова барка. Они влезли в нее, потому что рыцарь обязан всегда устремляться

навстречу приключению, а она тут же возьми да и отплыви. Они все махали Свинке, и Зверюга высунула голову из лесу и бросилась к морю с совершенно расстроенным видом. Но барка плыла, фигурки на берегу уменьшались, пока только и остался едва различимым носовой платок, которым махала Свинка, а потом ищейку стошнило.

Он писал ей из каждого порта. Куда бы он ни попал, он отдавал письма хозяевам постоялых дворов, и те обещали их отослать. А она не прислала ему в ответ ни единого слога,

А все потому, что человек он — никчемный, решил Король. Нерешительный, неумный, вечно во что-нибудь впутывается. С какой стати дочь Королевы Фландрии станет писать такому человеку письма, особенно после того, как он уселся в волшебную барку и уплыл неизвестно куда? Все равно что бросил ее, — кончено, она рассердилась, и правильно. А дождь все лил, вода щекотала грудь, и сука расчихалась. Доспехи совсем заржавеют, да еще в шею дует сзади, там где привинчивается шлем. Темно, страшно. И с обрыва течет что-то липкое.

— Извините меня, сэр Груммор, это не вы сопите мне в ухо?

— Нет, дорогой друг, не я. Вы шагайте, шагайте.

Я только лаю, как умею, вот и все.

— Я спрашиваю не о лае, сэр Груммор, но о некоем шумном дыхании сиплой разновидности.

— Дорогой мой, а что вы меня-то спрашиваете? Все, что мне здесь слышно, это скрип, вроде как от кузнечных мехов.

— Искренне ваш полагает, что дождь вот-вот остановится. Вы не станете возражать, если и мы остановимся тоже?

— Знаете, Паломид, коли вам необходимо остановиться, останавливайтесь. Но если мы в скором времени не доберемся до места, у меня опять заколет в боку. И ради чего нам останавливаться?

— Мне бы хотелось, чтобы не было так темно.

— Но нельзя же останавливаться только потому, что темно.

— Нет. С этим приходится согласиться.

— Тогда вперед, старина. Левой! Правой! Самое милое дело.

— Послушайте, Груммор, — несколько погодя сказал Паломид. — Оно опять!

— Что?

— Пыхтит, сэр Груммор.

— А вы уверены, что это не я? — поинтересовался сэр Груммор.

— Положительно. Это пыхтение угрожающее

либо любовное, некое тяжкое дыхание. Ваш язычник искренне желает, чтобы не было так темно.

— Ну, вам сразу все подай. Вы, Паломид, все-таки будьте добры, шагайте.

Немного погодя сэр Груммор спросил погребальным тоном:

— Дорогой вы мой, а что это вы все время деретесь?

— Но я не дерусь, сэр Груммор.

— Да? А кто же это тогда?

— Искренне ваш никаких ударов не ощущает.

— Что-то все время наподдает меня сзади.

— Быть может, это ваш хвост?

— Нет. Хвост я вокруг себя обмотал.

— Во всяком случае, для меня было бы невозможным ударить вас сзади, ибо передние ноги находятся спереди.

— Вот, опять!

— Что?

— Наподдало! Это было явное нападение. Паломид, нас атакуют!

— Нет-нет, сэр Груммор. Это вам кажется.

— Паломид, мы должны развернуться!

— Зачем, сэр Груммор?

— Чтобы посмотреть, кто меня лупит сзади.

— Искренне ваш не может ничего разглядеть,

сэр Груммор. Слишком темно.

— Просуньте руку через рот, может, нащупаете что.

— Тут что-то круглое.

— Это я, сэр Паломид, Я сам, только сзади.

— Искреннейшие извинения, сэр Груммор.

— Пустяки, дружище, пустяки. Что вы еще ощущаете?

Голос добрейшего сарацина вдруг задрожал.

— Нечто холодное, — произнес он, — и… и склизкое.

— Оно двигается, Паломид?

— Двигается и, — оно сопит!

— Сопит?

— Сопит!

И в этот самый миг показалась луна.

— Силы благие! — тонким, визгливым голосом завопил сэр Паломид, едва выглянув изо рта. — Бежим, Грумморчик, бежим! Левой, правой! Ускорьте шаг! Форсированным маршем! Быстрее, быстрее! Не сбивайтесь с ноги! О мои бедные пятки! О мой Бог! О ужас!

Никакого смысла, решил Король. Вероятно, они заблудились — или отправились куда-нибудь повеселиться. Сырость собачья, как почти и всегда в Лоутеане, и если правду сказать, он сделал

все, что мог, чтобы не нарушить их планов. А они взяли себе да и ушли, пожалуй, можно даже так выразиться — или почти можно, — что поступили они неучтиво, оставив его ржаветь вместе с этой чертовой сукой. Нехорошо.

И Пеллинор решительно зашагал в направленьи постели, волоча за собою ищейку.

В расщелине, расположенной на полпути к вершине одного из самых крутых утесов, поддельный Зверь препирался с собственным животом.

— Но, дорогой мой рыцарь, как же мог искренне ваш предвидеть бедствие подобного рода?

— Это была ваша идея, — гневно ответствовал живот. — Вы надумали переодеваться. Вы и виноваты.

У подножия утеса сидела в чувствительном расположении духа Искомая Зверь, собственной персоной, ожидая под романтическим светом луны, когда к ней спустится лучшая ее половина. За спиной ее серебристо переливалось море В различных уголках ландшафта несколько дюжин согбенных и раскоряченных представителей Древнего Люда внимательно наблюдали за развитием ситуации, укрывшись в скалах, в дюнах, в раковинных кучах, в каменных иглу и так далее, — все еще тщетно пытаясь прозреть

непостижимые английские тайны.

## 10

В Бедегрейне эта ночь была последней перед битвой. Епископы в немалом числе благословляли армии обеих сторон, выслушивали исповеди и произносили мессы. Воины Артура относились ко всему этому уважительно, а воины Лота — неуважительно, ибо таково было обыкновение всех армий, обреченных на поражение. Епископы убеждали обе стороны, что они победят, ибо с ними Бог, но люди Короля Артура знали, что на каждого из них приходится три солдата врага, и потому почитали за лучшее получить отпущенье грехов. А люди Короля Лота, также осведомленные о соотношении сил, провели ночь, танцуя, пьянствуя, играя в кости и рассказывая друг другу грязные анекдоты. Во всяком случае, так записано в хрониках.

В палатке Короля Англии прошел последний военный совет, и Мерлин задержался после него, чтобы поболтать. Вид у него был встревоженный.

— О чем ты тревожишься, Мерлин? Разве нам предстоит все же проиграть эту битву?

— Нет. Битву ты выиграешь. Я не причиню

никакого вреда, сказав тебе об этом. Ты сделаешь все, что в твоих силах, будешь стойко сражаться и призовешь сам знаешь кого в нужный момент. Тебе от природы назначено выиграть битву, а потому неважно, скажу я об этом или не скажу. Нет. Сейчас меня беспокоит что-то еще, о чем мне следовало тебе рассказать.

— И о чем же это?

— Милостивые небеса! Разве стал бы я беспокоиться, если бы вспомнил — о чем?

— Это не о девице по имени Нимуя?

— Нет. Нет. Нет. Нет. Это дело совершенно иного рода. Это что-то — что-то такое, чего я никак не вспомню.

Немного погодя, Мерлин вытащил бороду изо рта и принялся пересчитывать пальцы.

— Про Гвиневеру я тебе рассказал, так ведь?

— Я в это не верю.

— Неважно. И насчет нее и Ланселота я тебя предупредил.

— А это предупреждение, — сказал Король, — было бы низким независимо от того, правдиво оно или ложно.

— Дальше, я сказал все, что следует, об Экскалибуре и об осторожности, с которой тебе следует обходиться с его ножнами?

— Да.

— Про твоего отца я тебе рассказал, стало быть, дело определенно не в нем, о его особе ты получил представление. Больше всего меня сбивает с толку, — вскричал волшебник, выдирая пучки волос из шевелюры, — что я не могу припомнить, касается это прошлого или будущего.

— Выбрось ты это из головы, — сказал Артур. — Будущего я все равно знать не хочу. Для меня было бы лучше всего, если бы ты не тревожился так об этом, потому что и я начинаю тревожиться.

— Но это что-то такое, о чем я обязан сказать. Это жизненно важно.

— А ты перестань думать об этом, — предложил Король, — тогда, может быть, оно само и придет. Тебе нужно отдохнуть. В последнее время ты слишком утруждал свою голову всеми этими предупреждениями и приготовлениями к битве.

— Я обязательно отдохну, — воскликнул Мерлин. — Как только сражение кончится, я отправлюсь пешком в Северный Хумберланд. У меня есть наставник по имени Блейз, живущий в Северном Хумберланде, как знать, вдруг он сможет сказать мне, что именно я пытаюсь припомнить. А потом мы с ним понаблюдаем за дикими птицами. Он великий знаток диких птиц.

— Вот и хорошо, — сказал Артур. — Отдохни как следует. А после, когда ты вернешься, мы сможем придумать, как нам помешать Нимуе.

Старик перестал возиться с пальцами и бросил на Короля острый взгляд.

— Невинный ты человек, Артур, — сказал он. — И очень добрый, честное слово.

— О чем это ты?

— Ты что-нибудь помнишь о волшебстве, которым владел, когда был еще маленьким?

— Нет. Разве я владел каким-либо волшебством? Я помню, что интересовался зверями и птицами. Собственно, потому я и устроил в Тауэре зверинец. Но о волшебстве не помню.

— Люди забывают об этом, — сказал Мерлин. — Ты, верно, и притч не помнишь, которые я рассказывал тебе, когда пытался что-либо объяснить?

— Помню, конечно. Одна была про какого-то Равви, ты ее рассказывал, когда я хотел куда-нибудь взять с собой Кэя. Я, правда, так и не понял, зачем умерла корова.

— Ладно, сейчас я хочу рассказать тебе еще одну притчу.

— Послушаю с удовольствием.

— На Востоке, возможно, в том же городе, где

родился Равви Иаханан, был один человек, который шел по базару в Дамаске и вдруг нос к носу столкнулся со Смертью. Он заметил удивленное выражение на страшном лице призрака, однако они миновали друг друга, не обменявшись ни еловом. Человек напугался и отправился к мудрецу спросить, что ему делать. Мудрец сказал, что Смерть, скорее всего, явилась в Дамаск, чтобы завтра поутру забрать его с собой. От этого бедняга пришел в ужас и спросил, не может ли он как-нибудь избежать такой участи. Думали они, думали и надумали только, что жертве следует за ночь верхом доскакать до Алеппо, тем самым ускользнув от черепа с кровавыми костями.

— И вот человек этот поскакал в Алеппо, — страшная была скачка, ибо никому еще не удавалось добраться туда за одну ночь, — и когда он туда добрался, он отправился на базарную площадь, радуясь, что ускользнул от Смерти.

— Тут-то Смерть и подошла к нему и хлопнула по плечу. «Прости меня, — сказала она, — но я пришла за тобой». «Но как же так, — вскричал охваченный ужасом человек, — мне казалось, что вчера я встретил тебя в Дамаске!» «Верно, — ответила Смерть. — Потому я и удивилась, ибо мне было велено встретиться с тобой сегодня — в

Алеппо».

Некоторое время Артур размышлял над этой страшной, хоть и затасканной историей, а затем сказал:

— Стало быть, пытаться спастись от Нимуи бессмысленно?

— Даже если бы я того хотел, — сказал Мерлин, — и то было бы бессмысленно. Существует некое свойство Времени и Пространства, которое еще предстоит обнаружить философу по имени Эйнштейн. Кое-кто называет его Судьбой.

— Но вот чего я не могу переварить, так это того, что ты окажешься жабой в норе.

— Ай, ладно, — сказал Мерлин, — ради любви люди и не то еще делают. И потом, почему это жаба в норе непременно несчастна, — да не больше, чем ты во сне, к примеру. Обдумаю кое-что, пока меня оттуда не выпустят.

— Так тебя все-таки выпустят?

— Я скажу тебе еще кое-что, Король, и возможно, оно тебя удивит. Это случится не скоро, сотни лет пройдут, но мы с тобою вернемся, оба. Знаешь, что будет написано у тебя на могиле? Hie jacet Arthurus Rex quandam Rexque futurus. Латынь еще помнишь? Это означает: Король былого и грядущего.

— И я возвращусь назад, так же, как ты?

— Некоторые говорят — из долины Авалона. Король молчал, задумавшись. Снаружи стояла глубокая ночь, и в ярко освещенном шатре было тихо. Шаги часовых по траве не долетали сюда,

— Интересно, — сказал он наконец, — а будут ли люди помнить о нашем Круглом Столе?

Мерлин не ответил. Голова его клонилась к белой бороде, кисти рук были сжаты коленями.

— Что же они будут за люди, Мерлин? — несчастным голосом воскликнул молодой человек.

## 11

Королева Лоутеана замкнулась у себя в покое, прервав всякие отношения со своими гостями, и Пеллинор совершил трапезу в одиночестве. Затем он пошел прогуляться по берегу, любовался чайками, что пролетали над ним подобно белым гусиным перьям с остриями, аккуратно обмакнутыми в чернила. Старые бакланы стояли, будто распятия, на камнях и сушили крылья. Он испытывал привычную грусть, но вместе с ней и чувство некоего неудобства, — ему словно недоставало чего-то. Чего именно — он не знал. Недоставало же ему Паломида и Груммора, но они как-то не приходили в голову.

В конце концов внимание его привлекли какие-то крики, и он отправился посмотреть, что там приключилось.

— Сюда, Пеллинор! Эгей! Мы здесь, наверху!

— В чем дело, Груммор? — с интересом спросил Король. — Чем это вы там, наверху, занимаетесь?

— Взгляните на Зверя, милейший, на Зверя взгляните!

— О, привет, так вы все же словили старушку

Глатисанту?

— Дорогой мой, ради Неба, сделайте что-нибудь. Мы тут всю ночь проторчали.

— Но почему вы так одеты, Груммор? Это что на вас, пятна или что?

— Милейший, ну что вы стоите на месте и препираетесь?

— Но послушайте, Груммор, у вас же хвост. Вон он свисает сзади, я вижу.

— Конечно, у меня хвост. Вы не могли бы перестать болтать и что-нибудь сделать? Мы всю ночь провели в этой чертовой расщелине и валимся от усталости с ног. Давайте, Пеллинор, прикончите вашу Зверюгу, только сразу.

— Помилуйте, с какой это стати я стану ее убивать?

— Небеса милосердные, разве вы последние восемнадцать лет не пытались ее убить? Ну же, Пеллинор, действуйте, будьте добрым малым, сделайте что-нибудь. Если вы сию же минуту ничего не предпримете, мы оба сковырнемся отсюда.

— Я все-таки не возьму в толк, — задумчиво произнес Король, — зачем вы вообще полезли на утес? И почему на вас эта одежда? У вас такой вид, как будто вы сами переоделись в какого-то

Зверя. И кстати, моя-то Зверь откуда взялась, а? Я хочу сказать, все это так неожиданно.

— Пеллинор, последний раз спрашиваю, намерены вы прикончить эту Зверюгу?

— Но зачем?

— Затем, что она загнала нас сюда, на утес.

— Это для нее необычно, — заметил Король. — Как правило, она не проявляет к людям такого интереса.

— Паломид утверждает, — хрипло сказал сэр Груммор, — что с его точки зрения, она в нас влюбилась.

— Влюбилась?

— Ну, вы же видите, мы переоделись в Зверя.

— Подобному подобает подобное, — еле слышно пояснил сэр Паломид.

Короля Пеллинора начала понемногу одолевать смешливость — впервые со дня их появления в Лоутеане.

— Ну и ну! — сказал он. — Да благословит Господь мою душу! Это что-то неслыханное. А почему Паломид решил, что она влюбилась в него?

— Ваша Зверь, — с достоинством пояснил сэр Груммор, — целую ночь ходила под утесом кругами, терлась об него и мурлыкала. И время от времени она изгибала шею и бросала на нас та-

кие, знаете, особенные взгляды.

— Какие взгляды, Груммор?

— Дорогой мой, да вы сами на нее посмотрите.

Искомая Зверь, не обратившая ни малейшего внимания на появление своего господина, чувствительнейшим образом таращилась на сэра Паломида. Подбородок ее со страстной преданностью прижимался к подножью утеса, хвост временами подрагивал. Она мела им по гальке из стороны в сторону, и множество украшавших хвост геральдических кисточек и орнаментальных листочков издавали шелестящий шум. Время от времени Зверь лапкой скребла скалу и поскуливала. Затем, явственно устыдясь своей откровенности, она изгибала грациозную змеиную шею и прятала голову под брюхо, смущенно бросая оттуда взгляды.

— Хорошо, Груммор, и чего же вы от меня хотите?

— Мы хотим спуститься, — ответил сэр Груммор.

— Это я уяснил, — сказал Король. — По-моему, мысль самая разумная. Я, с вашего дозволения, как-то не совсем понимаю, с чего у вас тут все началось, что? — но вот это я уяснил, то есть абсолютно.

— Так убейте Пеллинор. Убейте проклятую тварь.

— Нет, право, — сказал Король, — с чего бы вдруг! В конце концов, какой от нее вред? Весь мир любит влюбленных. Совершенно не понимаю, почему нужно убивать несчастное животное только за то, что его охватила нежная страсть. Я хочу сказать, я ведь и сам влюблен, ведь верно, что? Мы с ней вроде как товарищи по несчастью.

— Король Пеллинор, — решительно молвил сэр Паломид, — если быстро, и черт его знает как быстро, не будут предприняты какие-либо шаги, искренне ваш не замедлит погибнуть мучительной смертью, и мир праху его.

— Но Паломид, дорогой мой, я и не в состоянии убить несчастную старушку, у меня же меч тупой.

— Тогда оглушите ее мечом, Пеллинор. Дайте ей как следует по башке, авось, заработает сотрясение мозга!

— Груммор, дружище, вам легко говорить. А ну как оглушить ее не удастся? Она может выйти из себя, Груммор, и что тогда со мной будет? Я вообще никак не пойму, отчего это вы так жаждете каких-то насильственных мер? В конце концов, она-то вас любит, верно ведь, что?

— Каковы бы ни были причины поведения этой твари, суть в том, что мы вынуждены сидеть здесь, на выступе.

— Так значит, все что вам требуется, это слезть с него.

— Любезнейший, как же мы слезем, когда она тут же на нас наскочит?

— Но ведь это будет всего только любовный наскок, — успокоительно сказал Пеллинор. — Вроде как ухаживание. Не думаю, что она причинит вам зло. Все, что вам нужно делать, — это идти впереди нее, пока не дойдете до замка, что? В сущности говоря, вы могли бы даже немного ее обнадежить. Всякому любо, когда ему отвечают взаимностью.

— Вы что же, — холодно осведомился сэр Грумор, — предлагаете нам флиртовать с этой вашей рептилией?

— Это, безусловно, облегчило бы вашу задачу. Я подразумеваю — возвращение в замок.

— И как же мы это проделаем, хотелось бы знать?

— Ну, как вам сказать. Паломид мог бы время от времени обвивать ее шею своей, а вы бы махали хвостом. Я так понимаю, что лизать ее в нос вам не хочется?

— Искренне ваш, — немощно, но твердо и с отвращением произнес сэр Паломид, — не в состоянии ни обвиваться, ни лизаться. И кроме того, он сейчас упадет. Адью.

С этими словами он разжал обе руки, цеплявшиеся за край обрыва, да так бы и сгинул в пасти чудовища, когда бы сэр Груммор не изловчился его ухватить, а оставшиеся пуговицы не удержали бы его от падения.

— Вот! — сказал сэр Груммор. — Полюбуйтесь на вашу работу!

— Но дорогой мой друг…

— Я вам не друг и не дорогой. Вы попросту бросаете нас на погибель.

— Ох, да что вы!

— Да. Именно бросаете. Безжалостно. Король почесал в затылке.

— Пожалуй, — с сомнением сказал он, — я мог бы придержать ее за хвост, пока вы побежите к замку.

— Так придержите. Если вы сию минуту чего-нибудь не предпримете, Паломид рухнет, и нас разорвет напополам.

— И все равно я не понимаю, — печально сказал Король, — с чего это вам взбрело так одеваться. Для меня это загадка.

— Однако, что ж, — сказал он, ухватывая Зверюгу за хвост, — давай-ка, старушка. Раз-два взяли! Всегда должно делать лучшее из дозволяемого обстоятельствами. А вы, двое, мчите во весь опор. Поторопитесь, Груммор, я по хвосту чувствую, что Зверь недовольна. Ах ты, паршивка, нельзя! Бегите, Груммор! Негодная тварь! Фу! Гадкая, гадкая! Нельзя! Да скорее же вы, скорее! Уходите! Не трогать! Ходу! Она вот-вот сорвется! А ну-ка, к ноге! К ноге! Рядом! Ах ты, дрянь! Быстрее, Груммор! Сидеть, сидеть! Лежать, Зверюга! Да как ты смеешь! Осторожнее, Груммор, она взяла след! Ах ты так? Ну вот! Она меня цапнула!

Двое рыцарей достигли подъемного моста, на полголовы опережая Зверюгу, и едва они его проскочили, как мост сейчас же поднялся.

— Уф! — сказал сэр Груммор, отстегивая заднюю половину костюма и распрямляясь, чтобы вытереть лоб.

— Тьфу! — воскликнули старые бабы, притащившие в замок яйца. Из людей, вхожих в замок, кое-кто кое-как говорил по-английски, включая Святого Тойрделбаха и Матушку Морлан,

— Ах ты склизкая, тряская, скрюченная Зверь! — произнес страж моста, — О, сколь ужасно дыханье твое!

— Изыди от нас! — добавили зрители,

— А сэр Паломид-то, красавчик, — говорили многие из Древнего Люда, осведомленные о всенощном сидении на утесе, но по обыкновению ничего не сказавшие из боязни выдать себя, — того и гляди ляжет да помрет.

Оборотившись, чтобы взглянуть на язычника, они увидали, что по сказанному и вышло. Сэр Паломид, даже не сняв с себя головы, пал на каменную колоду подъемника и лежал, еле дыша. Они стянули его с камня, выплеснули ему в лицо целый ушат воды и принялись обмахивать передниками.

— Ах, бедолага, — с состраданием говорили они, — Сассенах! Дикарь черномазый! Неуж не очухается? Ну-ка спрысни еще! Вот так спрыснул!

Сэр Паломид медленно приходил в себя, пуская из носу пузыри.

— Куда это искренне ваш попал? — спросил он.

— Мы здесь, старина. Мы все же вернулись. А Зверь осталась снаружи.

Утверждение сэра Груммора подкрепило долетевшее сквозь опускную решетку печальное подвывание — как будто тридцать пар гончих псов завыли на луну, Сэр Паломид содрогнулся.

— Надо бы встать в дозор, посмотреть, не идет ли Король Пеллинор,

— Да, сэр Груммор, Дайте мне одну секундочку для восстановления сил.

— Зверь мог его изувечить.

— Бедняга!

— Вы-то как себя чувствуете?

— Недомогание минует, — отважно вымолвил сэр Паломид.

— Нам нельзя попусту тратить время. Может статься, в этот самый миг Зверь пожирает Пеллинора.

— Ведите меня, — сказал язычник, с трудом поднимаясь на ноги. — Вперед, на бастионы.

И все сообщество полезло вверх по узким лестницам дозорной башни.

Под ними в овраге, с одной стороны защищавшем замок, виднелась Искомая Зверь, казавшаяся отсюда маленькой и какой-то перевернутой. Она сидела на валуне, полоща в ручье хвост, и, склонив на сторону голову, не отводила глаз от подъемного моста. Из пасти ее свисал язык. Пеллинора же нигде не наблюдалось.

— Очевидно, она не пожирает его, — сказал сэр Груммор.

— Если только уже не пожрала.

— Не думаю, старина, чтобы у нее хватило на это времени, как-то оно непохоже.

— Если поразмыслить, то должны были бы остаться какие-то кости или еще что. Ну, хотя бы доспехи.

— Безусловно.

— И как вы считаете, что нам следует делать?

— Это сложный вопрос.

— Не полагаете ли вы, что нам должно произвести вылазку?

— Мы могли бы переждать, Паломид, посмотреть, что будет дальше, — а по-вашему как?

— Никаких купаний, — согласился сэр Паломид, — пока не выяснен брод.

Прождав вместе с рыцарями часа полтора, конгрегация Древнего Люда наскучила отсутствием развлечений и со стуком повалила по лестницам вниз, намереваясь, взобравшись на стену, пошвырять камнями в Искомую Зверь. Двое рыцарей остались в дозоре.

— Хорошенькая получается история.

— Действительно так.

— Я хочу сказать, если как следует в ней разобраться.

— Точно.

— С одной стороны Королева Оркнея на что-то

дуется, — я не мог не заметить, что охота на единорога как-то странно на нее повлияла — с другой нюнит Пеллинор. Да и вы, как считается, влюблены в Изольду Прекрасную, верно? А теперь еще эта Зверь к нам прицепилась.

— Запутанная ситуация.

— Любовь, как о ней подумаешь, — с натугой сказал сэр Груммор, — очень сильное чувство.

Именно в это мгновение — как бы в подтверждение слов сэра Груммора — на дороге, шедшей от скал, появились две неспешно бредущие в обнимку фигуры.

— Силы небесные, — воскликнул сэр Груммор, — а это еще кто такие?

Фигуры приближались и становились все различимее. Одной из них оказался Король Пеллинор. Рука его обвивала талию коренастой, средних лет дамы в юбке для верховой езды. У дамы было красное, лошадиное лицо, в свободной руке она сжимала арапник. Волосы были собраны в узел.

— Да это, никак, дочь Королевы Фландрии!

— Я говорю, вы, двое, — едва завидя рыцарей, закричал Король Пеллинор. — Я говорю, посмотрите! Кто это, по-вашему, можете догадаться? Нет, вы только подумайте, что? Как по-вашему,

кого это я отыскал?

— Ага! — гулко крикнула коренастая дама, пристукнув себя по щеке рукоятью арапника. — Это еще кто кого отыскал!

— Ну да, я знаю! Это вовсе не я ее отыскал, а она меня! Ну, что вы об этом думаете? И знаете что? — продолжал распираемый восторгом Король. — Ни на одно мое письмо и невозможно было ответить! Я на них адреса не ставил! У нас же не было адреса! То-то я все время чувствовал, что в них что-то не так! Ну вот, Свинка и вскочила на коня и давай рыскать за мною по горам да болотам! А Искомая Зверь очень ей помогала — у нее же отличнейший нюх, — да и эта волшебная барка тоже оказалась себе на уме, потому что, увидев, в какой я пребываю печали, она воротилась назад, за ними! Они на нее наткнулись в какой-то бухте и тут же — раз и сюда!

— А чего ж мы стоим? — кричал Король, не давая никому вставить ни слова. — Я хочу сказать, чего мы так надрываемся? Это что, по-вашему, вежливо? Давайте, вы, двое, сойдите вниз и впустите нас, А кстати, что такое с мостом — сломался?

— Это все Зверь, Пеллинор, Зверь! Она в овраге.

— А что с ней такое?

— Она осаждает замок.

— Ах да, — сказал Король. — Теперь вспомнил. Она же меня укусила. И что бы вы думали, — продолжал он, взмахивая рукою по воздуху, дабы показать, что она забинтована, — Свинка перевязала меня, я и моргнуть не успел, перевязала куском этой, как ее… ну, сами знаете!

— Нижней юбки, — бухнула дочь Королевы Фландрии.

— Да-да, своей нижней юбки! Короля скрючило смехом.

— Все это очень хорошо, Пеллинор, очень хорошо. Но что вы намерены предпринять относительно Звери?

Но Его Величество обуревало веселье.

— Подумаешь, Зверь! — вскричал он. — Она вам мешает? Я с ней быстро управлюсь.

— А ну-ка! — закричал он, подходя к краю оврага и размахивая мечом. — А ну-ка! Пошла! Кыш! Кыш!

Искомая Зверь окинула его отсутствующим взором. Она шевельнула хвостом — неуверенный жест узнавания, — а затем вновь сосредоточила свое внимание на наворотном покое. Редкие камни, которыми швыряли в нее Древние Люди,

она ловко ловила и проглатывала на способный довести до белого каления манер отгоняемой курицы.

— Опускайте мост! — приказал Король. — Я ею займусь! Кыш отсюда, кыш!

Мост с некоторой неуверенностью стал опускаться, и Зверюга немедленно подобралась поближе к нему, причем на морде ее выразилась надежда.

— А теперь, — закричал Король. — Беги внутрь, а я прикрою отход.

Мост коснулся земли, и Свинка понеслась по нему еще до того, как он толком улегся. Король Пеллинор, менее проворный или более замороченный нежными чувствами, налетел на нее прямо в воротах. Сзади в них врезалась Искомая Зверь, и Король полетел на землю.

— Берегись! Берегись! — завопили вассалы, рыбные торговки, сокольничие, кузнецы, лучники и прочие доброхоты, собравшиеся внутри.

Дочь Королевы Фландрии оборотилась, словно тигрица, обороняющая тигренка.

— Сгинь, бесстыжая потаскуха! — рявкнула она и ткнула арапник бедной твари под нос. Искомая Зверь отпрянула, из глаз ее брызнули слезы, и опускная решетка с треском рухнула

между ними.

К вечеру начал назревать новый кризис. Стало очевидным, что Глатисанта вознамерилась осаждать замок до поры, покамест не выйдет ее избранник, а в таких обстоятельствах Древний Люд, носивший яйца на рынок, отказывался покидать ворота без вооруженной охраны. Пришлось трем южным рыцарям сопровождать их конвоем к подножью замкового утеса с обнаженными мечами в руках.

Посреди деревенской улицы их поджидал, чтобы перенять конвой, Святой Тойрделбах — беспутный Силен, подпираемый четырьмя мальчуганами. Дыхание его наполнял резкий запах виски, он пребывал в неистовом расположении духа и вовсю размахивал палицей.

— И ни одной истории больше! — орал он. — Разве я не собираюсь жениться на старой Матушке Морлан, — вот сей минут додерусь с Дунканом и никогда больше не буду святым!

— Поздравляем! — в сотый раз повторили дети.

— А у нас тоже все хорошо, — добавил Гарет. — Нам разрешили каждый день прислуживать за обедом.

— Слава да почиет на Господе! Значит, каждый

день, попрошайка?

— Да, и матушка ходит с нами гулять.

— Ну, вот и ладно. Восхвалим молодость, она и придет!

Тут святой приметил конвой и взвыл, как ирокез:

— Мятежники!

— Успокойтесь, — говорили они ему. — Успокойтесь, Святой Отец. Эти мечи совсем не для драки.

— Это что же так? — спросил он разгневанно и кинулся целовать Короля Пеллинора и дышать на него.

Король сказал:

— Я говорю, вы действительно собрались жениться? Я тоже. Волнуетесь?

Вместо ответа святой человек обнял Короля обеими руками за шею и поволок его в самодельный кабак Матушки Морлан — чем Пеллинора не очень обрадовал, ибо ему не терпелось поскорее вернуться к Свинке, — впрочем, необходимость прощальной пирушки была очевидна. Весь гаэльский миазм расточился, словно туман, каковым он и был, под воздействием то ли любви, то ли виски, а может быть, вследствие собственной туманной природы, — и трое южан обнаружили,

что, не взирая на расовую травму, теплое сердце Севера приняло их в себя, признав в них и человеческих существ, и гостей.

# 12

Бедегрейнская битва состоялась близ Сурхота, что в Шервудском лесу, в Троицыно воскресение. То была решающая битва, ибо в некоторых отношениях она представляла собой — с поправкой на двенадцатый век — эквивалент того, что стало впоследствии называться «тотальной войной».

Одиннадцать Королей изготовились биться со своим сувереном по-норманнски — на отдающий лисьей охотой манер Генриха II и его сыновей; цели у них были спортивные и приобретательские, и они вовсе не собирались причинять кому-либо особые телесные повреждения. Разумеется, они — сиречь короли и их танкообразные рыцари из благородного сословия — готовы были к определенному риску: спорт есть спорт. То есть к риску того рода, о котором говорит нам Джоррокс. Король Лот вполне справедливо мог бы сказать, что возглавляемый им мятеж против Артура являл собою точную копию охоты на лис, но без присущего ей чувства вины и всего лишь при двадцати пяти процентах сопряженного с нею риска.

Впрочем, и Одиннадцати Королям нужно было чем-то оттенить свои доблести. Даже если ры-

цари не испытывали особого желания убивать друг друга в больших количествах, не имелось причин, по которым им следовало воздержаться от истребления сервов. По их представлениям, охота была б не охота, если бы по ее завершении нечего оказалось счесть в ягдташе.

Стало быть, война, в которой намеревались сражаться мятежные лорды, представляла собой своего рода двойную битву, или войну в войне. Во внешнем ее круге находилось шестьдесят тысяч вооруженных кто как крестьян-пехотинцев, марширующих вослед за Одиннадцатью, — в этом плохо вооруженном сброде трагедия гаэлов возбуждала пылкую ненависть к двадцати тысячам сассенахов Артуровой армии. Между двумя армиями существовала серьезная расовая вражда. Но вражда эта направлялась сверху — благородными лордами, отнюдь не жаждавшими крови друг друга. Армии изображали собой, так сказать, своры гончих, соревнующихся одна с другой под руководством Владельцев Псовой Охоты, воспринимающих всю забаву как возбуждающую игру. Если бы гончие, скажем, вдруг взбунтовались, Лот и его союзники с готовностью поскакали бы плечом к плечу с рыцарями Артура на подавление того, что они сочли бы истинным мятежом.

В определенном смысле благородные лорды внутреннего круга, к какой бы из сторон они ни принадлежали, традиционно относились друг к другу с большим дружелюбием, чем к собственным солдатам. Сколь можно большое число убитых представлялось им необходимым и с охотничьей точки зрения, и для пущей живописности происходящего. По их понятиям, добрая война — это такая, в которой «руки, плечи и головы летают над полем боя, и звон ударов отдается по водам и весям». При этом руки и головы должны принадлежать вилланам, ударами же, что звенят, не отсекая особого количества членов, надлежит обмениваться железным лордам. Так, во всяком случае, представляла себе сражение команда, состоявшая под началом у Лота. А после того как достаточное количество мужланов лишится голов и английским военачальникам в достаточной мере намнут бока, Артур признает невозможность дальнейшего сопротивления. Он капитулирует. Затем можно будет обговорить финансовые условия мира — что принесет, в виде выкупов, отменную прибыль — и все останется более или менее по-старому, разве что уничтожится фикция, именуемая «феодальный властитель», так она все равно была фикцией.

Естественно, такого рода войну полагалось проводить в согласии с этикетом, точно так же, как охоту на лис. Начинаться ей следовало в заранее назначенном месте да еще при наличии хорошей погоды, а протекать — в соответствии с признанным прецедентом.

Однако в голове у Артура обосновалась иная идея. В конечном итоге он не усматривал никаких спортивных достоинств в том, что восемьдесят тысяч простых людей будут биться друг с другом, в то время как мизерная часть от этого числа, упрятавшись в панцири, схожие с танковой броней, примется маневрировать в ожидании выкупов. Ему представлялось, что руки и головы обладают определенной ценностью — и не меньшей, чем та, какую числили за ними их обладатели, пусть даже обладатели эти были сервами. Мерлин научил его не доверяться логике, в соответствии с коей деревни надлежит разграбить на предмет приобретения фуража, землепашцев пустить по миру, а солдат перебить, и в итоге ему же и придется оплачивать причиненный ущерб, как мифическому Ричарду Львиное Сердце.

Король Англии приказал, дабы в его битвах никаких выкупов не было. Его рыцарям надлежало сражаться не с плохо вооруженной пехотой, но с

рыцарями Гаэльской Конфедерации. Пехотинцы пусть бьются друг с другом — и более того, поскольку им предстоит выяснить, кто настоящий агрессор, пусть их бьются в полную меру своих способностей. Что же до лордов, им надлежит нападать на лордов из стана мятежников так, словно перед ними пехота и ничто иное. Им не должно ни принимать каких-либо предварительных соглашений, ни соблюдать балетных правил. Войну с теми, кто ее развязал, надлежит доводить до конца, — пока они сами не ощутят потребности воздерживаться от военных действий, столкнувшись с тем, что в действительности представляет собой война.

В дальнейшем, — теперь он знал это точно — ему предстоит всю свою жизнь смирять самых разных носителей извращенного чувства чести, угрожая им Силой.

Так что мы вполне можем поверить, что воины Короля стремились в ночь перед битвой получить отпущение грехов. Кое-какие из идей юного Короля нашли дорогу к умам его солдат и командиров. Кое-какие из идеалов Круглого Стола, которому еще предстояло рождаться в муках, кое-что касательно ненавистных и опасных деяний, совершение коих необходимо во

имя добра, — ибо они сознавали, что битва будет кровавой, смертельной и лишенной надежд на вознаграждение. Им не предстояло выиграть ничего, кроме лишенного продажной цены сознания долга, выполненного, несмотря на страх, — то есть чего-то такого, что люди безнравственные часто замарывают, именуя, с несколько чрезмерными чувствами, славой. Эта идея укоренилась в сердцах молодых мужчин, стоявших на коленях перед раздающими милость Божию епископами и знающих, что соотношение сил составляет три к одному и что теплые их тела к закату, может быть, уже охладеют.

Артур начал с жестокого поступка и продолжал совершать таковые. Первый состоял в том, что он не стал дожидаться положенного часа. Ему следовало начать торжественный вывод войска на битву с Лотом сразу же после завтрака, а затем, к полудню, когда ряды бойцов будут должным образом выстроены, подать сигнал к началу сражения. Подавши сигнал, он должен был бросить своих рыцарей на пехотинцев Лота, в то время как рыцари Лота напали бы на его пехотинцев, — в итоге получилась бы отличнейшая резня

Вместо этого он атаковал ночью. В темноте, издавая боевой клич — достойный сожаления,

неджентльменский тактический ход, — он обрушился на лагерь мятежников, и кровь билась в венах на его шее, и Экскалибур плясал в его руке. Он понимал, что силы противника втрое превосходят его силы. Даже у одного короля из одиннадцати — у Короля-с-Сотней-Рыцарей — число подчиненных составляло две трети от числа, до которого когда-либо удавалось дорасти рыцарству Круглого Стола. И кроме того, не Артур затеял эту войну. Он сражался в своей стране, в сотнях миль от своих границ, против агрессора, коего он никак не спровоцировал.

Рушились шатры, взлетало пламя факелов, выпархивали из ножен клинки, и рев битвы мешался с удивленными пенями. Гул, казнимые и казнящие демоны среди отблесков пламени, — какие сцены происходили некогда в Шервуде, там, где ныне дубы теснятся в тени!

Начало было мастерское, и оно привело к успеху. Одиннадцать Королей и их бароны были уже в латах — на полное оснащение благородного лорда уходило так много времени, что он зачастую облачался в доспехи вечером накануне сражения. Если б не это, Артур мог бы одержать почти бескровную победу. Взамен нее он захватил инициативу и инициативу удерживал. Рыцари

Древнего Люда плечом к плечу пробивались сквозь разрушенный лагерь. Им удалось соединиться в тяжеловооруженное подразделение — по-прежнему в несколько раз превосходившее количеством латников все, что мог выставить против него Король, — но им недоставало привычного заслона из пешего воинства. Времени на организацию этого заслона не было, те же из пехотинцев, что остались при лордах, были либо деморализованы, либо лишены командиров. Артур свою пехоту отдал под начало Мерлина, чтобы она вела пеший бой вокруг лагеря, а кавалерию бросил против собственно рыцарей. Ему удалось обратить их в бегство, и он понимал, что следует в этом состоянии их и поддерживать. Они гневались и удивлялись тому, что представлялось им нерыцарственным покушением на их особы, возмутительным покушением с определенно кровожадными намерениями, — как будто баронов можно убивать, как каких-нибудь мужланов-саксов.

Второй жестокий поступок Короля состоял в том, что он пренебрег пехотинцами. Эту сторону битвы, — расовую борьбу, имевшую определенные реальные основания, пусть даже и дурные, он предоставил самим расам, — пехоте под во-

дительством Мерлина, оставшейся драться в лагере, из которого уже вынесло кавалерию. Там, среди шатров, на каждого галла приходилось по три гаэла, но гаэлы были застигнуты врасплох. Артур не желал им никакого вреда, гнев его был обращен на вождей, задуривших их и без того не очень ясные головы, но он понимал, что им следует дозволить вести их собственное сражение. Он лишь надеялся, что сражение это завершится победой его войска. Ему же тем временем надлежало заняться вождями — и когда занялась заря, жестокость его поступков стала для них очевидной.

Ибо Одиннадцать Королей сумели-таки собрать некое подобие пешего заслона, за которым они намеревались ожидать его нападения. Ему полагалось наброситься на этот заслон, образованный охваченными страхом людьми, и поубивать этих людей сколь возможно больше. Он же ими попросту пренебрег. Он проскакал сквозь пехоту так, словно она была вовсе не вражеской, — не потрудившись нанести ни единого удара, — и обрушился на тяжеловооруженное ядро. Пехота, со своей стороны, приняла его милосердие с несколько даже чрезмерной благодарностью. Она повела себя так, словно ей не была отпущена

высокая честь умереть за Лоутеан. Дисциплина, как говорили впоследствии генералы мятежников, была далеко не пиктская.

Атаки начались на рассвете.

Быть может, вам доводилось видеть, как атакует конница, — на каких-нибудь показательных военных учениях или на праздничных представлениях исторических сцен. Если так, вы знаете, что слово «видеть» тут не вполне годится. Вернее сказать: «слышать» — гром, землетрясение, ураганная пальба пышущих ярым сандаловым огнем батарей! Все так, и, однако же, это вы себе представили кавалерийскую атаку, не рыцарскую. Вообразите теперь, что кони вдвое превосходят по весу слабоуздых скакунов наших полуночных празднеств, и наездники их вдвое тяжелее из-за щитов и доспехов. Добавьте к звону упряжи кимвальное бряцание сшибающихся доспехов. Обратите воинскую форму в зеркала, сверкающие под солнцем, а пики — в стальные копья. Копья то взмывают, то клонятся. Земля дрожит под ногами. Комья взлетают из-под копыт, и глубокие отпечатки подков остаются в земле. Всего страшнее не воины, не мечи их, ни даже копья, всего страшнее копыта. Так выглядит атака этой неупорядоченной железной фаланги,

налетающей развернутым строем, неотвратимой, сокрушительной, грохочущей громче любых барабанов, в пыль разбивающей землю.

Рыцари Конфедерации сдерживали этот натиск, как могли. Они стояли, отвечая ударами на удары. Однако новизна положения, в котором они, несмотря на их ранг, стали объектом жестокости, новизна положения, в котором крупные силы раз за разом подвергаются заносчивым наскокам со стороны сил, в четверо, если не в пятеро, меньших, — все это сказалось на их моральном духе. Они подались перед натиском: еще сохраняя порядок, они все-таки отступили, — и их погнали прогалиной Шервудского леса, широкой прогалиной, похожей на травянистое русло реки с деревьями по берегам.

На этой стадии битвы многим довелось показать чудеса воинской доблести. Сам Король Лот преуспел в схватках с сэром Мелиотом де ла Рош и с сэром Клариансом. Кэй сокрушил его, но он снова сел на коня, лишь для того, чтобы получить рану в плечо от самого Артура, который появлялся повсюду, юный, торжествующий, разгоряченный до крайности.

Лот-генерал был, по-видимому, чрезмерным приверженцем дисциплины да к тому же еще

трусоватым. Но при всем его пристрастии к формальностям, в тактике он разбирался. К полудню он, похоже, понял, что столкнулся с новым способом ведения военных действий, требующим новых способов обороны. Стало очевидным, что демонов Артуровой кавалерии выкупы не интересуют и что они готовы так и биться головами о стену его войска, пока стена эта не рухнет. И Лот решил их измотать. На торопливом военном совете, состоявшемся за линией сражения, было решено, что Лот с четырьмя другими королями и половиной обороняющихся отойдет вдоль прогалины назад, чтобы подготовить позицию. Остающейся шестерки королей хватит, чтобы сдержать англичан, пока люди Лота отдохнут и заново воссоздадут боевые порядки. Затем, когда позиция будет готова, шестеро королей авангарда отойдут за нее отдыхать, оставив впереди Лота.

Армия соответственно разделилась.

Этот миг разделения Артур и счел той самой возможностью, которой он ожидал. Посланный им конюший галопом ускакал за деревья. Артур заключил договор о взаимной поддержке с двумя французскими королями, которых звали Бан и Боре, и оба его союзника прибыли к нему на помощь из Франции примерно с десятью тысячами

воинов. Французов спрятали по обе стороны от прогалины в виде резерва. Именно в их сторону Король и пытался оттеснить врага. Конюший ускакал, за пышными дубами замерцали доспехи, и Лота вдруг осенило, что он попал в ловушку. Но он смотрел лишь на один край прогалины, откуда на его фланг уже надвигался Боре, и не сознавал покуда, что с другой стороны к нему подбирается Бан.

На этой стадии у Лота стали сдавать нервы. Он был ранен в плечо, он столкнулся с врагом, видимо, считавшим смерть джентльмена естественной частью войны, а теперь еще и попал в засаду.

— О, сохрани нас от гибели и ужасных увечий, — как сообщают, сказал он, — ибо я хорошо вижу, что великая опасность смерти грозит нам.

Он отправил Короля Карадоса с сильным полком навстречу Королю Борсу и только тогда обнаружил, что второй конюший спустил на него Короля Бана с противоположной стороны. Он еще сохранял численное превосходство, но твердость утерял окончательно. «А! — сказал он герцогу Камбенету, — значит, быть нам побежденными». Предполагается даже, что он заплакал «от жалости и сострадания».

Сам Карадос был повергнут наземь, а полк его рассеян. Атаки Артура заставили отступить шестерых королей. Лот с дивизией короля Морганора развернулся, чтобы сдерживать Короля Бана, ударившего ему во фланг.

Удержись дневной свет еще на час, и с мятежом было бы покончено в тот же день. Но солнце село, спасая Древний Люд, а луны о ту пору не было. Артур отозвал свое войско, справедливо решив, что мятежники деморализованы, и дозволил своим воинам отоспаться — с теми удобствами, какие способны были предоставить им доспехи, — выставив немногих, но бдительных часовых.

Изнуренная армия его врагов, всю предыдущую ночь проигравших в кости, и эти ночные часы проводила без сна, не выпуская из рук оружия и держа военные советы. Как и во всех армиях горцев, когда-либо вторгавшихся в Страну Волшебства, командиры ее не питали доверия друг к другу. Они ожидали новой ночной атаки. Пережитое вселило в них страх. Они разошлись во мнениях касательно капитуляции и необходимости дальнейшего сопротивления. И лишь перед самой зарей Король Лот сумел настоять на своем.

По его приказу остатки пеших полков были

отогнаны в сторону, словно скот, — блуждать по лесу или уносить голые ноги куда придется. Рыцарям же предстояло сбиться в одну фалангу, дабы отражать атаки, а всякого, кто после этого побежит, следовало расстреливать на месте за трусость.

Утром, почти перед тем как они построились, Артур вновь обрушился на них. В соответствии со своей тактикой, он выслал на них для начала малый отряд, всего в сорок копий. Эти люди, ударная команда отборных рыцарей, возобновили атаки, прерванные накануне вечером. Раз за разом они налетали легким галопом, прорывали вражеские ряды или смешивали их и, перестроившись, возвращались. Упорствующее подразделение врага под их натиском подавалось назад, угрюмое, обескураженное, утратившее боевой дух.

В полдень трое союзных королей всеми своими силами нанесли завершающий удар. На миг все с громовым шумом смешалось, взвились на воздух поломанные копья, и пока они возвращались, кони месили воздух копытами. Вопль сотряс лес. И затем над истоптанной травой со следами копыт и разбитым дерном, с обломками оборонительного оружия, повисла неестественная тишина. Какие-то всадники ехали по траве, бесцельно, как

на прогулке. Но никаких упорядоченных следов гаэльского рыцарства видно уже не было.

Мерлин повстречал Короля, когда тот возвращался верхом из Сурхота, — волшебник выглядел усталым, он тоже еще не сходил с коня На нем была кольчуга без рукавов — доспех пехотинца, — которую он вытребовал себе перед битвой. Он сообщил, что пешие кланы просят о капитуляции.

## 13

Несколько недель спустя Король Пеллинор сидел со своей нареченной на вершине утеса, освещенного сентябрьской луной, и смотрел на море. Вскоре им предстояло отправиться в Англию и там пожениться. Рука Короля обвивала ее талию, а ухо прижималось к ее макушке. Окрестного мира они не замечали.

— Но Дорнар такое забавное имя, — говорил Король. — Понять не могу, как это ты до него додумалась?

— Да ведь это ты придумал его, Пеллинор.

— Я?

— Да. Агловаль, Персиваль, Ламорак и Дорнар.

— Они будут как херувимы, — с жаром сказал Король. — Как херувимы! А что такое херувимы?

Древний замок высился среди звезд у них за спиной. Еле слышные крики доносились с верхушки Круглой Башни, где Груммор и Паломид пререкались с Искомой Зверью. Она по-прежнему любила своего самозванца и по-прежнему держала замок в осаде — снятой всего на несколько часов в тот день, когда Лот воротился домой со своей разгромленной армией. Английские рыца-

ри очень удивились, узнав, что все это время они пребывали с Оркнеем в состоянии войны, однако что-либо предпринимать по этому поводу теперь было уже поздновато, ибо война закончилась. Теперь все сидели внутри, мост постоянно был поднят, а Глатисанта возлежала в свете луны у подножия башни, и голова ее отблескивала серебром. Убивать ее Пеллинор отказался.

Как-то после обеда вдруг объявился Мерлин, шедший пешком на север с рюкзачком вроде ранца и в паре чудовищных башмаков. Он был гладок, бел и весь сиял, словно угорь, приготовляющийся к свадебному путешествию в Саргассово море: близилось время Нимуи. Но он оставался все таким же рассеянным и никак не мог припомнить одной вещи о которой обязан был рассказать своему ученику, а потому историю местных затруднений слушал вполуха.

— Прошу прощения, — кричали они со стены, пока волшебник стоял снаружи, — это насчет Искомой Звери. Королева Лоутеана и Оркнея страшно гневается из-за нее.

— А вы уверены, что из-за нее?

— Определенно, дорогой друг. Видите ли, она нас держит в осаде.

— Мы с ним переоделись в некое подобие Зверя,

уважительный сэр, — жалобно голосил сэр Паломид, — и она увидела, как мы входим в замок. Налицо признаки, э-э-э, пылкой привязанности. Теперь эта тварь не уходит, потому что верит, что ее самец сидит внутри, и оттого опускать мост крайне небезопасно.

— А вы бы лучше объяснили ей все. Вышли на укрепления и объяснили, что она ошибается.

— Думаете, она поймет?

— В конце концов, — сказал волшебник, — это же волшебный зверь. Так что дело вполне возможное.

Но ничего из их объяснений не вышло. Она глядела на них так, словно подозревала их во вранье

— Послушайте, Мерлин. Постойте, не уходите.

— Мне пора, — отвечал он рассеянно. — Я должен что-то где-то сделать, но только не помню — что. А пока мне следует продолжать мой поход. Я должен встретиться в Северном Хумберланде с моим наставником Блейзом, чтобы мы могли занести сражение в хронику, потом нам предстоит немного понаблюдать диких гусей, а после этого, — нет, не могу припомнить.

— Но Мерлин, Зверь не хочет нам верить!

— Не обращайте внимания, — голос его оста-

вался неуверенным и тревожным. — Не могу останавливаться. Простите. Извинитесь за меня перед Королевой Моргаузой, ладно? И скажите, что я справлялся о ее здоровье.

Он приподнялся на носки и начал вращаться, намереваясь исчезнуть. Не так уж и много ходил он пешком в своем пешем походе.

— Мерлин, Мерлин! Погодите немного!

На миг он снова возник и спросил раздраженно:

— Ну? В чем дело?

— Зверь не поверила нам. Что же нам делать? Он нахмурился.

— Примените психоанализ, — сказал он наконец, вновь принимаясь вращаться.

— Но подождите же, Мерлин! Как его применять-то?

— Стандартным методом.

— Да в чем же он состоит? — в отчаянии закричали они.

Мерлин исчез совсем, но голос его еще задержался в воздухе.

— Просто выясните, что ей снится, ну, и так далее. Объясните ей простые факты жизни. Только не увлекайтесь слишком идеями Фрейда.

Вот после этого Груммору с Паломидом и при-

ходилось лезть вон из кожи — оттеняя счастье Короля Пеллинора, не желавшего возиться с пустяковыми проблемами.

— Так вот, понимаешь, — надрывался сэр Грумор, — когда курица сносит яйцо.

И сэр Паломид, перебивая его, лез с объяснениями касательно пестиков и тычинок.

Внутри замка, в королевском покое Дозорной Башни, лежали в двойной кровати Король Лот и его супруга. Король спал, утомленный усилиями, которых требовало от него писание военных мемуаров. Да и не было у него особой причины бодрствовать. Моргауза лежала без сна.

Завтра она отправлялась в Карлион на свадьбу Пеллинора. Она отправлялась, как объяснила она мужу, в качестве своего рода посланца, — с тем, чтобы вымолить ему прощение. С собой она забирала детей.

Лот, услышав об этой поездке, рассердился и хотел ее запретить, но супруга знала, как с ним управиться.

Королева беззвучно выбралась из кровати и подошла к своему сундуку. С тех пор как армия возвратилась, ей много нарассказали об Артуре — о его силе, обаянии, невинности, великодушии. Величие его явственно проступало даже сквозь

покровы, наброшенные завистью и подозрительностью тех, кого он одолел. Также ходили разговоры и о девице по имени Лионора, дочери графа Санам, с которой, как уверяли, у молодого человека роман. В темноте Королева открыла сундук и постояла с ним рядом в пятне падавшего из окна лунного света, держа в руках некую полоску. Последняя смахивала на тесьму.

Эта полоска представляла собой колдовское приспособление для магии, не столь жестокой, как та, с черной кошкой, но еще более отвратительной. Оно называлось «путы», — совсем как веревка, которой стреножат домашних животных, — таких вещиц немало хранилось в потайных сундуках Древнего Люда. Предназначалось оно скорее для ворожбы, чем для серьезной магии. Моргауза добыла его из тела солдата, привезенного мужем домой для похорон на Внешних Островах.

Тесьма была из человеческой кожи, и вырезалась она так, чтобы вышел силуэт покойника. Это означает, что вырезать ее надлежало, начиная с правого плеча, и нож — с двойным лезвием, чтобы вышла лента, — должен был пройти по наружной стороне правой руки, затем, словно бы вслед за перчаточным швом, вверх и вниз

по каждому пальцу и далее тыльной стороною руки вверх до подмышки. Потом он спускался по правому боку вниз, огибал ногу, поднимался к промежности — и так далее, пока не заканчивал круга на том же плече, с которого начал. Получалась такая длинная лента.

Использовали же «путы» следующим образом. Нужно было застать человека, которого вы любите, спящим. Затем нужно было, не разбудив его, набросить «путы» ему на голову и завязать бантиком. Если он в это время проснется, то не позже, чем через год, его постигнет смерть. Если же не проснется до самого конца операции, тогда ему ничего не останется, как вас полюбить.

Королева Моргауза стояла в свете луны, протягивая «путы» между пальцами.

Четверка детей тоже бодрствовала, но не в своей спальне. Во время королевского обеда они подслушивали на лестнице и потому знали, что отправляются вместе с матерью в Англию.

Они находились в крохотной Церкви Мужей — часовне, которой было столько же лет, сколько христианству на островах, хотя имела она в длину и в ширину не более двадцати футов. Построена часовенка была из нетесаного камня, как и огромная крепостная стена, и лунный

свет проходил сквозь единственное окно, незастекленное, чтобы упасть на каменный алтарь. Купель для святой воды, на которую падал свет, была выдолблена в грубом камне, под пару ей была и вырезанная из кремня крышка.

Дети Оркнея стояли, преклонив колени, в доме своих предков. Они молились о том, чтобы им выпало счастье хранить верность их любящей матери, чтобы они оставались достойными вражды Корнуолла, которой она их учила, и чтобы им никогда не довелось забыть туманную землю Лоутеана, в которой царствовали их отцы.

За окном торчком стоял в темном небе месяц, похожий на краешек ногтя, срезанный с пальца для колдовства, и явственно различался на фоне небес флюгер в виде вороны со стрелою в клюве, нацеленной на юг.

## 14

На счастье сэра Паломида и сэра Груммора Искомая Зверь вняла голосу разума в самый последний миг, перед тем как кавалькада выступила из замка, — если б не это, им пришлось бы остаться в Оркнее и пропустить королевское бракосочетание. И то они ее уламывали целую ночь напролет. Зверь пришла в себя совершенно внезапно.

Впрочем, не без побочных эффектов, ибо она перенесла свою привязанность на преуспевшего аналитика, Паломида, — что частенько случается в психоанализе, — и полностью утратила интерес к своему прежнему господину. Король Пеллинор, повздыхав о старых добрых денечках, поневоле уступил права на нее сарацину. Вот почему, хоть Мэлори и ясно говорит нам, что лишь Пеллинор может ее настигнуть, в последних книгах «Смерти Артура» мы постоянно видим, как за ней гоняется сэр Паломид. В любом случае, особой разницы в том, кто ее может настигнуть, а кто не может, нету, все равно никто не настиг.

Долгий переход на юг, к Карлиону, с мерно раскачивающимися паланкинами и трясущимся

в седлах конным эскортом под вьющимися флажками, возбуждал во всех волнующие чувства. Небезынтересное зрелище представляли собой и сами паланкины. Это были обыкновенные тележки со своего рода флагштоками спереди и сзади. Между флагштоками подвешивался гамак, в котором тряска почти не ощущалась. Двое рыцарей ехали за королевской повозкой, радуясь, что им все-таки удалось выбраться из замка и что теперь они попадут на королевскую свадьбу. За ними следовал Святой Тойрделбах с Матушкой Морлан — свадьба предстояла двойная. Сзади тащилась Искомая Зверь, не спуская глаз с Паломида, — из опасения, что ее опять бросят.

Все святые вылезли из своих ульев посмотреть, как они отъедут. Все фоморы, Фир Волг, Племена богини Дану, Древний Люд и прочие без малейшей подозрительности махали им руками с утесов, из плетеных лодчонок, с гор, из болот и из-под раковинных куч. Благородные олени и единороги все до единого выстроились по вершинам холмов, чтобы пожелать им доброй дороги. Крачки с раздвоенными хвостами, поднявшись над устьем реки, прощались с ними визгливыми криками, словно бы изображая сцену отплытия судна из какой-то радиопьесы; белобрюхие ка-

менки и коньки перепархивали за их спинами с одного куста утесника на другой; орлы, сапсаны, вороны и галки описывали над ними круги; торфяной дым летел им вослед, будто норовя в последний раз ударить в их ноздри; огамические камни, потайные ходы и береговые форты напоказ выставляли под сверкающее солнце свою доисторическую каменную кладку; лососи и сельди высовывали из воды лоснистые головы; и в общий хор вливались горы, ущелья и вересковые склоны прекраснейшей на свете страны, — и сама душа гаэльского мира кричала мальчикам самым звучным из голосов, доступных эльфам: «Помните нас!»

Если путешествие взволновало детей, то столичных чудес Карлиона хватило, чтобы у них занялось дыхание. Там, вокруг Королевского замка, шли улицы — не просто улица, одна-единственная, — стояли замки суверенных баронов, монастыри, часовни, храмы, рынки, купеческие дома. На улицах толклись сотни людей, все одетые в синее, красное, зеленое и в иные яркие цвета; они несли в руках корзины с купленными товарами, или гнали перед собой стада шипящих гусей, или просто метались туда-сюда (на этих были ливреи какого-нибудь знатнейшего лорда).

Звонили колокола, на башнях били куранты, плескались штандарты, — казалось, оживал сам воздух над их головами. Собаки, ослы, скакуны в чепраках, священники и фургоны, у которых колеса трубили, как в судный день, лавчонки, где продавались золоченые имбирные пряники, и большие магазины с выставленными на продажу наилучшими частями доспехов, кованными по самой последней моде. Торговцы пряностями, шелком, ювелиры. Над лавками и магазинами висели торговые знаки, как над нынешними харчевнями. Тут были бражничавшие вкруг винных лавок слуги, старухи, крикливо торговавшиеся из-за яиц, бродячие птицеловы, тащившие на продажу клетки с галками, дородные олдермены с золотыми цепями, загорелые пахари, почти без одежд, не считая каких-то кожаных лохмотьев, гончие на смычках, странного вида люди с Востока, продававшие попугаев, миловидные дамы, семенившие мимо в подобиях шутовских колпаков, с верхушек которых свисали, колыхаясь, вуали, и, возможно, с пажом впереди, несшим молитвенник, если дама направлялась в церковь.

Карлион был городом-крепостью, так что всю эту сутолоку окружала зубчатая стена, казавшаяся нескончаемой. Через каждые двести ярдов

из стены выдавалась опорная башня, а с четырех сторон ее прорезали громадные ворота. Приближаясь к городу по равнине, вы могли видеть, как крепостные башни и шпили церквей прорастают над стеной — купами, словно цветы в горшке.

Артур страшно обрадовался, вновь увидев старых друзей и услышав о помолвке Пеллинора. Пеллинор самым первым из рыцарей поразил его воображение, когда он еще был мальчиком в Диком Лесу, и он решил устроить для милого друга небывалую по великолепию свадьбу. Для венчания сняли кафедральный собор Карлиона и не пожалели никаких усилий, чтобы гости провели время на славу. Торжественную свадебную мессу служила такая галактика кардиналов, епископов и нунциев, что в огромном соборе, казалось, не осталось угла, где не теснились бы лиловые и пурпурные одежды, не пахло бы благовониями и маленькие мальчики не звонили бы в серебряные колокольца. Порой мальчик подбегал к епископу и тряс перед ним колокольчиком. Порой нунций налетал на кардинала и обкуривал его сверху донизу. Все это походило на битву цветов. Тысячи свечей сияли перед роскошными алтарями. Куда ни глянь, коротковатые, исполненные святости пальцы привычно расправляли маленькие ска-

терки, или сжимали книги, или поливали друг дружку Святой Водой, или уважительно указывали народу на Господа. Музыка звучала райская — и григорианская и амвросианская сразу, и собор был набит битком. Монахи, приоры и аббаты всех видов в сандалиях стояли между рыцарями в доспехах, воспламененных свечами. Присутствовал даже францисканский епископ в серой рясе и красной шляпе. Ризы и митры были почти все из золотой парчи, усыпанной бриллиантами, их столько раз снимали и возлагали опять, что весь собор полнился шелестом. Что до латинских текстов, то они произносились с такой быстротой, что стропила звенели от множественных родительного падежа, — увещания же, наставления и благословения изрекались прелатами в таких количествах, что удивительно, как это всю конгрегацию прямо на месте не забрали на небеса. Даже Папа, которому не меньше прочих хотелось, чтобы все прошло без сучка и задоринки, в доброте своей прислал множество индульгенций всякому, о ком только вспомнил.

После венчания состоялся свадебный пир. Короля Пеллинора с его Королевой — рука об руку простоявших всю предшествовавшую церемонию — возвели со Святым Тойрделба-

хом и Матушкой Морлан (что стояли за ними, совершенно ошалев от свечей, благовоний и окроплений) на почетное место, а прислуживал им, опускаясь на колено, сам Король Артур. Можете себе представить, в какой восторг пришла Матушка Морлан. Подавался пирог с павлином, заливные угри, девонширские сливки, приправленная кэрри морская свинья, фруктовый салат со льдом и две тысячи разных закусок. Звучали речи, песни, здравицы, звенели стаканы. Особый гонец полным ходом примчался из Северного Хумберланда и доставил новобрачным послание. Он сказал:

— Наилучшие пожелания от Мерлина точка. Подарок под троном точка. Сердечный привет Агловалю, Персивалю, Ламораку и Дорнару.

Когда волнение, причиненное посланием, улеглось и отыскался подарок, для младших участников пиршества были незамедлительно организованы подвижные игры. В них особенно отличился маленький паж Королевского дома. Он приходился сыном союзнику Артура под Бедегрейном, Королю Бану из Бенвика, а звали его Ланселотом. Также играли в «до-стань-яблочко», в шафлборд, качались на качелях, смотрели представление марионеток под названием «Мак и

пастухи», все очень смеялись. Святой Тойрделбах опозорился, оглушив своей палицей одного из самых жирных епископов, — они поспорили по поводу буллы, именуемой «Laudabiliter». Затем, в поздний уже час, все общество разошлось, напоследок с большим чувством исполнив «Забыть ли старую любовь». Короля Пеллинора стошнило, и новоиспеченная Королева Пеллинор уложила его спать, объяснив всем, что он переутомился.

Далеко в Северном Хумберланде Мерлин выскочил из постели. На двух зорях, утренней и вечерней, они наблюдали диких гусей, и он улегся спать страшно уставшим. И во сне вдруг вспомнил — простейшую вещь! Имя Артуровой матери — вот что забыл он назвать во всей этой суматохе! Сидел, разливался об Утере Пендрагоне, о Круглом Столе, о битвах, о Гвиневере, о ножнах, о том, что было и что еще будет, — а самое-то важное и забыл.

Матерью Артура была Игрейна, та самая Игрейна, плененная в Тинтагиле, та, о которой в начале этой книги разговаривали в Круглой Башне дети Оркнея. Артур был зачат в ту ночь, когда Утер Пендрагон приступом взял ее замок. Поскольку Утер, естественно, не мог жениться на ней, пока не закончится траур по графу, мальчик родился

слишком рано. Потому-то Артура и отослали на воспитание к сэру Эктору. Ни единая живая душа не знала, куда он отослан, за исключением Мерлина и Утера, — а теперь Утер мертв. Не знала даже Игрейна.

Покачиваясь, Мерлин стоял босиком на холодном полу. Если бы только он перенесся в Карлион, пока еще не было поздно! Но старик устал и запутался в своих прозрениях, голова его была еще одурманена сном. Он решил, что это можно будет сделать и утром, — никак не мог припомнить, где он сейчас, в будущем или в прошлом. Он слепо протянул руку с набрякшими венами к постели, образ Нимуи уже рисовался в его сонном мозгу. И он нырнул в кровать. Борода ушла в одеяло, нос уткнулся в подушку. Мерлин спал.

Король Артур снова сидел в Главной Зале, уже опустевшей. Несколько ближайших рыцарей выпили с ним на сон грядущий по стаканчику, и он остался один. Артур очень устал за день, хоть и пребывал ныне в полном расцвете юношеских сил. Прислонив затылок к спинке трона, он размышлял о том, что случилось во время свадьбы. С тех самых пор, как он, вытянув меч из камня, стал Королем, ему то и дело приходилось сражаться, и труды этих кампаний выковали из него блестя-

щего молодого мужчину. Похоже, он наконец-то сможет пожить в мире. Он думал о радостях мирной жизни, о том, что в один прекрасный день он и сам, как напророчил Мерлин, женится и у него будет дом. Тут мысли его перешли к Нимуе, а от нее к красивым женщинам вообще. Он заснул.

Пробудился он как от толчка и увидел перед собой черноволосую синеглазую красавицу с короной на голове. Четверо диковатых северных детей стояли позади своей матери, пугливые и ершистые, а она сматывала какую-то ленту.

Королева Моргауза с Внешних Островов намеренно не явилась на пир, — удобный миг она выбирала с особенной осмотрительностью. В этот раз юный Король увидел ее впервые, и она сознавала, что выглядит наилучшим образом.

Как случаются эти вещи, объяснить невозможно. Быть может в «путах» и впрямь присутствовала колдовская сила. Быть может, причина тут в том, что она была вдвое старше его, а стало быть, и мощи в ее оружии было вдвое больше. Быть может, причина в том, что Артур всегда был простодушен и легко перенимал у людей их собственную самооценку. А может быть, дело в том, что у него никогда не было матери и это олицетворение материнской любви — пока она стояла

перед ним, а за нею теснились дети — подействовало на его чувствительное воображение.

Объясняй не объясняй, но девять месяцев спустя Царица Воздуха и Тьмы разрешилась младенцем, которого она прижила от своего сводного брата. Младенца назвали Мордредом. И вот вам то, что Мерлин, начертивший его несколько позже, назвал родословным древом:

Ничего, даже если вам придется перечитать его дважды, словно некий урок из учебника истории, ибо это древо — важнейшая часть трагедии Артура. Вот почему сэр Томас Мэлори назвал свою очень длинную книгу *«Смертью* Артура». И хоть девять десятых рассказанной им истории, по всей видимости, относится к рыцарям, бьющимся на турнирах и предающимся поискам священной чаши и тому подобным делам, повествование остается целостным, и ведется оно о причинах, по которым молодого человека постигает к исходу жизни горестный конец. Это трагедия, как ее понимал Аристотель, общезначимая трагедия греховного деяния, возвращающегося к своим же истокам. Потому-то нам и должно знать родословную Мордреда и помнить, когда наступит время, что Король спал со своей сестрой. О последнем он не догадывался, и, возможно, во всем

виновата только она, но, как видно, в трагедии одной невинности мало.

*EXPLICIT LIBER SECUNDUS*

# Рыцарь, совершивший проступок

*«Ну нет, — сказал сэр Ланселот, — ..ибо рыцарь, однажды опозоренный, не смоет позора никогда.»*
*INCIPIT LIBER TERTIUS*

# 1

В Замке Бенвика мальчик-француз разглядывал свое лицо, отраженное полированной поверхностью шлема. Шлем отливал на солнце упрямым металлическим блеском. В сущности, он мало чем отличался от касок, какие и поныне носят солдаты, — зеркало из него было плохое, но лучшего мальчику раздобыть не удалось. Он вертел его так и этак, надеясь получить общее представление о своем лице по различным искажениям, создаваемым выпуклостями шлема. Он хотел уяснить, что он собой представляет, и страшился того, что ему предстояло узнать.

Мальчику казалось, что в нем есть какой-то изъян. Всю свою жизнь — даже став великим человеком и увидев мир лежащим у своих ног — он ощущал этот недостаток: нечто, таившееся в самой глубине души, осознаваемое, постыдное, но так и не понятое. Не стоит и нам пытаться это понять. Не нужно из праздного любопытства ломиться в дверь, которую он предпочел оставить закрытой.

Стены Оружейной, посреди которой стоял мальчик, украшали орудия войны. Последние

два часа он без остановки крутил в воздухе пару гантелей (он называл их «грузиками») и пел сам себе песню без слов — равно как и без мотива. Ему было пятнадцать лет. Он только что вернулся из Англии, где отец его, Король Бан Бенвикский, помогал Английскому Королю в подавлении мятежа. Если вы помните, Артур намеревался созвать для Круглого Стола именно юных рыцарей и приметил на пиру Ланселота, победившего в большинстве игр.

Ланселот, размахивая в воздухе гантелями и издавая бессловесный шум, напряженно размышлял о Короле Артуре. Он был влюблен в Короля. Потому-то он и размахивал своими «грузиками». Он помнил каждое слово того единственного разговора, который состоялся между ним и его героем.

Когда они грузились на корабль, чтобы отплыть во Францию, Артур, поцеловав на прощание Короля Бана, окликнул Ланселота, и они вдвоем отошли в один из тихих уголков судна. Фоном для их разговора служили украшенные гербами паруса Банова флота, матросы на корабельных снастях, орудийные башни, лучники и чайки, похожие на хлопья свинцовых белил.

— Ланс, — сказал Король, — отойдем на минут-

ку, ладно?

— Сэр.

— Я присматривался к тебе во время игр на пиру.

— Сэр.

— Похоже, ты победил в большинстве из них. Ланселот скосил глаза к кончику носа.

— Мне нужны люди, искусные в играх, и побольше, чтобы помочь в осуществлении одной идеи. Не сейчас — после, когда я действительно стану Королем и в моем королевстве наступит покой. Вот я и подумал, может быть, ты согласишься помочь мне, когда подрастешь?

Мальчик словно бы поежился и вдруг поднял на собеседника вспыхнувшие глаза.

— Это касается рыцарей, — продолжал Артур. — Я собираюсь основать рыцарский орден — что-то вроде Ордена Подвязки — который сможет противостоять Силе. Ты бы хотел присоединиться к нему?

— Да.

Король вглядывался в мальчика, затрудняясь понять, польщен ли тот, напуган или просто не хочет показаться невеждой.

— Ты понимаешь, о чем я говорю?

И тут Ланселот совершенно обескуражил Ар-

тура.

— У нас во Франции это называется «Fort Mayne» — «Сильная Рука», — пояснил он. — Самый сильный человек в клане добивается положения главы, а после этого творит, что захочет. Потому мы и зовем это «Сильной Рукой». Ты хочешь положить конец правлению Сильной Руки, собрав воедино рыцарей, которые больше верят в правоту, чем в силу. Да, мне бы очень хотелось стать одним из них. Но сначала мне нужно вырасти. Спасибо. Теперь же — прощай.

И они отплыли из Англии — мальчик стоял на носу корабля, не оглядываясь, ибо не желал выказывать того, что чувствовал. В ночь свадебного пиршества он уже влюбился в Артура и увозил с собою во Францию запечатленный в душе образ блестящего северного короля, сидевшего за вечерней трапезой в блеске и славе своих военных побед.

За черными глазами, которые усиленно вглядывались в шлем, таился сон, виденный Ланселотом прошлой ночью. Семь столетий назад — или пятнадцать, если принять хронологию Мэлори, — человек относился к снам так же серьезно, как нынешний психиатр, а сон Ланселота был сном тревожным. Не потому, что он означал

что-либо, — ибо что этот сон означает, мальчик и представить не мог, — а потому, что он оставил после себя чувство утраты. Вот что ему приснилось.

Сначала Ланселот и его младший брат, Эктор Окраинный, сидели в креслах. Затем они поднялись и вскочили на коней, и Ланселот сказал: «Едем разыскивать то, чего не найдем». Так они и поступили. Но Муж Силы напал на Ланселота и побил его, и сорвал с него облачение, и нарядил его в другие одежды, все в узлах, и заставил его ехать верхом на осле вместо коня. И так Ланселот выехал к источнику, которого прекраснее никогда не видывал в жизни, и сошел с осла, чтобы напиться. И казалось ему, что нет ничего лучше на свете, как испить из того источника. Но едва только он потянулся губами к воде, она отступила. Она уходила вниз, и он не мог до нее дотянуться. Это бегство воды оставило в нем ощущение покинутости

.

Артур, и источник, и гантели, которым предстояло сделать его достойным Артура, и боль в руках, уставших вращать гантели, — все это смутно теснилось в сознании мальчика, пока он так и этак клонил шлем, держа его в ладонях, но

голову мальчика занимала иная мысль — мысль о лице, отраженном в металле, и о чем-то, что, свихнувшись в глубине его духа, породило такое лицо. Он не был склонен к самообману. Он знал, что, как ни верти в руках морион, нового тот ничего не расскажет. Он давно уж решил, что, повзрослев и став настоящим рыцарем, изберет себе прозвание, полное грусти. Его как старшего сына непременно положат в рыцари, но он не примет имени «сэр Ланселот». Нет, он назовет себя Кавалером Мальфет — Рыцарем, Совершившим Проступок.

Насколько мальчик мог различить, — и, конечно, думал он, тому должна иметься причина, — лицо его было столь же уродливо, сколь у чудища из зверинца Артура. Более всего он походил на африканскую обезьяну.

## 2

В конце концов Ланселот стал величайшим из рыцарей Короля Артура. Он стал тем, чем в крикете был Брадман, — обладателем наивысшего турнирного рейтинга. Вторым и третьим были Тристрам и Ламорак.

Однако следует помнить, что человек не может стать хорошим игроком в крикет, не потратив достаточного времени на учение, и что рыцарский поединок, как и крикет, был своего рода искусством. Во многом он и походил на крикет. На каждом турнире имелся судейский шатер с самым настоящим судьей внутри, который помечал на пергаменте набранные баллы, точь-в-точь как теперешний крикетный судья отмечает очки за каждую пробежку. Да и зрителям, разгуливавшим в праздничных нарядах вокруг турнирного поля, от главной трибуны к шатру с буфетом, поединки должны были казаться очень похожими на спортивные игры. Времени на них уходило преизрядно — подачи сэра Ланселота, если он бился с добрым рыцарем, часто занимали весь день, — а в движениях бойцов, по причине тяжести вооружения, было нечто от замедленной

съемки. Когда начиналась рубка, сражающиеся вставали один против другого на зеленом лугу, совершенно как бэтсмен и боулер, — с той только разницей, что стояли они друг к другу поближе, — и, скажем, сэр Гавейн начинал с дуговой подачи, а сэр Ланселот уклонялся, изящно скользнув по траве ногой, на которую переносился вес, затем сэр Ланселот отвечал йоркером, прорывавшим защиту сэра Гавейна, — только называлось это «сделать выпад», — и все окружавшие поле разражались аплодисментами. И может быть, в королевском шатре Артур поворачивался к Гвиневере и отмечал, что техника работы ногами у великого человека, как и всегда, отменна. Сзади с рыцарских шлемов свисали маленькие занавесочки, защищавшие металл от горячего солнца, — наподобие тех носовых платков, которые в наши дни игроки в крикет иногда прилаживают к своим кепкам.

Рыцарская потеха была искусством в той же мере, в какой им является и крикет, и, может быть, единственное, чем Ланселот отличался от Брадмана, это значительно большее изящество. Ему не приходилось сгибаться над битой и скакать за мячом к середине поля. Он больше походил на Вулли. Невозможно, однако, стать похожим

на Вулли, если просто сидишь на стуле и очень хочешь быть на него похожим.

Оружейная, где стоял со своим морионом мальчик, ставший впоследствии сэром Ланселотом, была самым большим из помещений Бенвикского Замка. Именно здесь предстояло мальчику провести (с перерывами для сна) большую часть ближайших трех лет.

Комнаты главной части замка, которую он мог видеть из окон, были в большинстве своем маленькими, потому что когда строишь крепость, о роскоши думать не приходится. Внутреннюю цитадель с ее комнатушками окружал поместительный скотный двор — сюда на время осады загоняли принадлежащие замку стада. Вокруг двора шла высокая стена с башнями, а по внутренней ее стороне были пристроены просторные помещения, необходимые для устройства складов, амбаров, казарм и конюшен. В одном из них — между конюшней на пятьдесят лошадей и коровниками — и располагалась Оружейная. Самое лучшее фамильное оружие — ту его часть, которой действительно пользовались, — держали в цитадели, в одной из комнатушек, здесь же хранилось вооружение для войска, запасные части к родовому оружию и разного рода приспо-

собления, потребные для занятий гимнастикой, упражнений и физических тренировок.

Под стропилами кровли, совсем близко к ней, в изобилии висели или стояли, прислоненные, вымпелы и флажки с геральдическими фигурами Бана, — со «стягами Франции», как их теперь именуют, — могущие пригодиться при том или этом случае. Вдоль стены располагались турнирные копья, горизонтально уложенные на торчащие из стены гвозди так, чтобы не коробились. Они походили на гимнастические брусья. В одном из углов стояли торчком копья старые, уже покривившиеся или как-то иначе попорченные, но еще на что-то годные. На козлах, тянувшихся вдоль второй длинной стены, размещалось вооружение пеших воинов — кольчуги-безрукавки, латные рукавицы, дротики, морионы и бордосские мечи. Королю Бану повезло, что он жил в Бенвике, ибо именно в этих местах выделывались наилучшие бордосские мечи. Здесь имелись и особые бочонки, в которые снопами набивали оружие, отправляясь в заморские экспедиции, — некоторые бочонки так и оставались неразобранными после недавнего вояжа и содержали удивительную смесь самых разных вещей. Дядюшка Скок, ведавший Оружейной, начал бы-

ло распаковывать один из них, чтобы составить опись его содержимого, и в отчаянии удалился, обнаружив в нем десять фунтов фиников и пять голов сахару. Скорее всего, то был медовый сахар, если не те сахарные головы, что привозят из Крестовых походов. Дядюшка Скок бросил рядом с бочонком начатый список, в коем среди прочего значились: салад с забралом, златом украшенный, латных рукавиц осемь пар, покров парадный, карт колода, одежды верхние, бригантин пара, урыльник серебряный, X сорочек для моего Господина, камзол кожаный и кошель с шахматными фигурами. Далее, в алькове, образованном бочонками, располагались полки, составлявшие лазарет для увечного вооружения. На полках стояли огромные бутыли с оливковым маслом — теперь для оружия используют минеральное, но во времена Ланселота этих тонкостей не ведали, — короба с тончайшим шлифовальным песком, мешочки с панцирными гвоздями по одиннадцати шиллингов и восьми пенсов за двадцать тысяч, с клепками, с запасными кольчужными кольцами, с кожами для вырезывания новых ремешков и подкладок к наколенникам, и с ними тысячи иных деталей, некогда чарующих, а ныне утративших для нас всякий смысл.

Имелись тут и гамбизоны, очень похожие на щитки, какие носит хоккейный вратарь, или на стеганые одежды американских футболистов. По углам были рассованы — так, чтобы в середине комнаты оставалось побольше места, — разнообразные гимнастические снаряды вроде чучел для упражнений с копьем и прочего, а близ двери помещался стол дядюшки Скока. Стол усеивали гусиные перья, песок для присыпки написанного, трости, чтобы лупить Ланселота, когда на него нападала тупость, и невыразимо путаные заметки касательно того, какие из гамбизонов были в последнее время заложены, — ломбарды владельцам драгоценных доспехов сам Бог послал — какие шлемы удалось подновить посредством шлифовки, какие наручи нуждаются в починке и сколько было заплачено кому за какую потраву, которая когда.

Три года могут показаться мальчику бесконечно долгим сроком, если он проводит их в одной комнате, покидая ее лишь для того, чтобы поесть, поспать и поупражняться в бое на копьях. Трудно даже представить себе мальчишку, способного на такое, если только не уяснить с самого начала, что Ланселот не был романтиком и галантным кавалером. Теннисон и прерафаэлиты так и не

сумели понять этого довольно-таки угрюмого и слишком требовательного к себе мальчика с некрасивым лицом, так никому и не открывшего, что основное содержание его жизни составляют мечты и молитвы. Они, возможно, дивились, откуда в нем столько жестокости по отношению к себе самому, жестокости, подвигнувшей его в столь юном возрасте так сокрушать собственное тело. Они дивились, возможно, отчего он такой странный.

Сначала ему пришлось провести несколько изнурительных месяцев, наскакивая на дядюшку Скока с зажатой под мышкой притуплённой пикой. С головы до ног облаченный в доспехи, дядюшка Скок восседал на стуле, а Ланселот со своим безвредным оружием раз за разом нападал на него, заучивая те места на доспехах, в которые лучше всего направлять острие. Были также одинокие часы с «грузиками» и множество иных, проведенных под открытым небом, в которые он изучал различные виды бросков, швыряя рогатину или копье, или просто жердину, — пока ему не дозволили хотя бы притронуться к настоящему оружию. После этого, после года подобных трудов, его допустили до чучела. Оно представляло собой врытый в землю кол, и Ланселоту надлежало сра-

жаться с ним, вооружась щитом и мечом, — своего рода бой с тенью или с боксерской грушей. В этом «бою» Ланселоту приходилось использовать вооружение, весившее вдвое больше привычных щита и меча — фунтов под шестьдесят, — чтобы потом настоящее оружие не тяготило руку. В сравнении оно показалось бы легким. Последнюю стадию воспитания истинного мастера крикета составляли потешные бои. На ней, после всех горестных препон, воздвигаемых дисциплиной, его наконец-то допустили до почти настоящего боя с братьями и кузенами. Схватки проводились по строгим правилам. Сначала полагалось метнуть тупое копье, затем нанести семь ударов мечом, у которого были затуплены кромки и острие, «не сближаясь и не тягая друг друга за длани под страхом сурового наказания, каковое сочтут надлежащим судьи, приставленные надзирать за боем». Выпады почитались в этих состязаниях недопустимыми, то есть колющий удар запрещался. И наконец настал черед для вольного боя. Окрепший к этому времени мальчик мог на свой страх и риск нападать на своих сотоварищей с мечом и тарчем.

Если вам доводилось спускаться под воду в одном из тех стародавних водолазных костюмов,

какими пользовались в английском военном флоте до наступления эры легких водолазов и аквалангистов, вы, наверное, знаете, почему водолазы так медленно движутся. У водолаза на каждой ноге висит по сорок фунтов свинца да еще две свинцовых пластины — весом в пятьдесят фунтов каждая — на спине и на груди. Это помимо веса костюма и шлема. Пока водолаз на суше, он весит вдвое больше нормального человека. Переступить через лежащий на палубе канат или воздушный шланг для него — тяжелейший труд, то же самое, что влезть на стену. Если толкнуть его в грудь, тяжесть, прикрепленная к спине, перевесит, и он может грохнуться навзничь. И наоборот — толкните его в спину, и он рухнет ничком. Опытные водолазы приноравливаются к такого рода помехам и довольно проворно переставляют сорокафунтовые нога вверх и вниз по судовому трапу, но водолаза-любителя сам тяжкий труд передвижения способен утомить до полусмерти. Ланселоту, словно водолазу, пришлось учиться проворству, пребывая под гнетом силы тяжести.

Да и не только в этом отношении рыцарь в доспехах схож с водолазом.

Помимо шлемов, сложностей с дыханием и

затрудненности передвижения, и тем, и другим приходится для облачения в свои костюмы прибегать к содействию благожелательных и аккуратных помощников. И полагаться на этих помощников в том, что они все сделают как должно. Водолаз отдает свою жизнь в руки одевающих его матросов. Эти молодые люди, подобно пажам и оруженосцам, нянчатся с ним, проявляя немалую нежность, заботливость и своего рода попечительное уважение. И обращаются они к нему только по титулу, никогда по имени. «Садитесь, водолаз», — говорят они, или: «А теперь левую ногу, водолаз», или: «Водолаз-два, вы слышите меня по внутренней связи?».

Хорошо, когда можно отдать свою жизнь в чьи-то руки.

И так целых три года. Прочих мальчиков все это заботило мало, у них и без того хватало забот, — но для мальчика-уродца в эти труды умещалась вся полнота его темной и потаенной внутренней жизни. Он был обязан предстать перед Артуром искусным и разносторонним спортсменом, и он был обязан размышлять над теорией рыцарства, даже лежа ночами в постели. Ему надлежало выработать твердые мнения по сотням спорных вопросов — о должной длине оружия или покрое

гербового намета, о креплении латного оплечья или о том, более ли пригоден кедр для изготовления копий, нежели осина, как, по-видимому, считал Чосер.

Вот небольшой пример, одна из занимавших рыцарство проблем, над которыми размышлял Ланселот в те ранние годы. Был некогда рыцарь, носивший имя Рено де Рой, коему привелось однажды сразиться на копьях с рыцарем по прозванию Иоанн де Голланд. Рено намеренно так закрепил свой турнирный шлем — огромный, набитый соломою барабан, иногда надеваемый поверх собственно шлема, — что барабан этот еле держался. И когда Иоанн Голландский ударил в шлем острием копья, тот просто слетел. То есть шлем свалился с Рено вместо того, чтобы самому Рено свалиться с коня. Действенный трюк, но опасный, — долгое время все рыцарство судило и рядило о нем, одни говорили, что этот прием неспортивен, другие называли его хоть и честным, да рискованным, третьи же полагали, что идея сама по себе недурна.

Три года подчинения дисциплине сделали из Ланселота человека, лишенного веселия в сердце и не склонного распевать «тири-лири». Он отдал тридцать шесть месяцев жизни, которую в его

возрасте и обозреть-то можно было едва ли далее чем на неделю вперед, пожертвовав их замыслу человека, в которого был влюблен. Опорой ему служили мечты. Он желал стать лучшим рыцарем мира, чтобы Артур тоже мог его полюбить, а помимо этого желания имелось у него и другое, в ту пору еще исполнимое. Он желал, чтобы чистота и совершенство позволили бы ему сотворить какое-либо обыкновенное чудо — исцелить слепца, например, или еще что-то подобное.

## 3

Была одна общая черта у славных семейств, центром притяжения которых стала судьба Артура. Во всех трех имелся свой постоянно живущий рядом с семьей гений-хранитель — нечто среднее между наставником и наперсником, — определивший характер детей каждого из семейств. В замке сэра Эктора им был Мерлин, оказавший решающее влияние на жизнь Артура. В далеком и одиноком Лоутеане имелся святой Тойрделбах, чья воинственная философия, надо думать, во многом определила клановую обособленность Гавейна и его братьев. В замке Короля Бана проживал Ланселотов дядюшка, которого звали Гвенборс. На самом-то деле, мы уже встречали этого старика, известного каждому как дядюшка Скок, но его нареченное имя было Гвенборс. В ту пору имена обыкновенно давали, руководствуясь теми же правилами, в согласии с которым ныне наделяют кличками жеребят и гончих собак. Если вам выпадало родиться королевой Моргаузой и произвести на свет четырех детей, вы вставляли Г во все их имена (Гавейн, Агравейн, Гахерис и Гарет), и, естественно, если вашими братьями

оказались Бан и Боре, вам только и оставалось, что называться Гвенборсом. Так легче было запомнить, кто вы такой.

Из всей семьи один только дядюшка Скок принимал Ланселота всерьез, и только один Ланселот принимал всерьез дядюшку Скока. Относиться к старику без особой серьезности казалось проще простого, ибо он принадлежал к тем странноватого сорта людям, над которыми посмеиваются невежды — дядюшка Скок представлял собой истинного маэстро. Отраслью его знаний было рыцарство. Во всей Европе вы не сыскали бы и единой части доспехов, относительно которой у дядюшки Скока не имелось бы теории. Он гневно порицал новейший готический стиль с его складками, резными узорами и канавками. Он считал смехотворным ношение доспехов, внешний вид которых сильно напоминал переплетение канатов на нельсоновском буфете, ибо очевидно, что любой желобок будет зацепкой для копейного ратовища. Главное назначение хороших доспехов, говаривал он, состоит в том, чтобы острие копья с них соскальзывало, — и как подумаешь о немцах, украшающих свои латы этими жуткими желобами, так просто оторопь берет. Про геральдику он знал все, что только можно было знать. Если

кто-либо совершал серьезный промах, помещая один металл или цвет на другой, дядюшка Скок весь бурлил от гнева. Кончики длинных белых усов трепетали, словно антенны, окончания пальцев смыкались в жестах неистовой страсти, он размахивал руками, подпрыгивал, заводил глаза и только что не испускал шипучую пену. Впрочем, все маэстро до единого подвержены такого рода припадкам, и потому Ланселот редко обижался, получая плюху в ходе пылкого препирательства по поводу щитов с вырезом a bouche или относительно того, разумно или неразумно приделывать к щиту ременной навыйник. Порой Ланселот изводил дядюшку Скока настолько, что тот его поколачивал, но мальчик и это сносил. В те времена мальчики были выносливы.

Одна из причин, по которой Ланселот терпел выходки дядюшки Скока, состояла в том, что у того можно было выучиться всему, что мальчик считал необходимым. Дядюшка Скок был не только выдающимся знатоком и авторитетом в своей области, но и одним из первейших во Франции фехтовальщиков. Собственно говоря, и мальчик стремился к тому же: рубить, теснить и колоть под жестокой опекой гения, и нанеся удар от плеча, удерживать тяжкий меч в вытянутой

руке, пока не начнет казаться, что вот сейчас разорвешься надвое, — и все это лишь для того, чтобы дядюшка Скок, дергая за острие, заставлял его вытягиваться пуще и терпеть еще большую муку.

Сколько Ланселот помнил себя, близ него всегда обретался взбудораженный человечек с синевато-стальными глазами, подскакивающий, прищелкивающий пальцами и орущий так, словно от этого зависела жизнь: «Doublez! Dedoublez! Degagez! Un! Deux!»[7].

Однажды ясным днем в конце лета Ланселот с дядей сидели в Оружейной. В солнечных лучах, заливавших просторную комнату, плясала пыль, которую сами они подняли минуту назад, вдоль стен стояли начищенные доспехи и висели на колышках копья, шлемы и морионы. Кинжалы, коими добивают врага, латы, штандарты и вымпелы с гербами Бана теснились вокруг. Бойцы присели отдохнуть и отдышаться после схватки, дядюшка Скок пыхтел. Ланселоту уже минуло восемнадцать. Фехтовал он теперь лучше, чем его маэстро, — впрочем, дядюшка Скок не желал в этом признаться, а потому и его ученик из веж-

---

**[7] notes: 7**
Дуплет! Вилка! Отбить! Раз! Два! (фр.)

ливости делал вид, что это не так.

Они еще не передохнули, когда появился паж и сказал, что матушка Ланселота призывает его к себе.

— Зачем?

Паж ответил, что приехал джентльмен, желающий видеть его, и Королева просила, чтобы он пришел, не задерживаясь.

Королева Элейна сидела в башенном покое, там, где она обычно ткала гобелены, а по сторонам от нее расположились двое ее гостей. Это была не та Элейна, не одна из корнуольских сестер. В те времена имя это встречалось нередко, и в «Смерти Артура» его носят несколько женщин, в частности и оттого, что в книге этой смешалось несколько рукописных источников. Трое взрослых сидели в темноватой комнате за длинным столом, словно экзаменаторы. Помимо Элейны, это были пожилой господин, белобородый и в остроконечной шляпе, и приятного вида бойкая девица с оливковой кожей и выщипанными бровями. Все трое уставились на Ланселота, но первым открыл рот пожилой господин.

— Хм!

Прочие молча ждали.

— Вы назвали его Галахадом, — сказал пожи-

лой господин.

— То есть Галахад — его прежнее имя, — добавил он, — а теперь, после конфирмации, его зовут Ланселотом.

— Как вы об этом узнали?

— Тут уж ничего не поделаешь, — ответил Мерлин. — Это из тех вещей, которые знаешь — и все, и говорить больше не о чем. Так, постойте-ка, что еще я вам собирался сказать?

Дамочка с выщипанными бровями поднесла ладошку ко рту и зевнула, изящно, как кошка.

— Через тридцать лет, считая от сегодняшнего дня, исполнится заветнейшее из его сердечных желаний, а кроме того, он станет первым среди рыцарей мира.

— А я доживу до этого? — спросила Королева Элейна.

Мерлин поскреб голову, стукнул по маковке костяшками пальцев и ответствовал:

— Да.

— Ну что же, — сказала Королева, — должна сказать, все это просто чудесно. Ты слышал, Ланс? Тебе предстоит стать лучшим в мире рыцарем!

Юноша спросил:

— Вы прибыли сюда от двора Короля Артура?

— Да.

— Там все в порядке?

— Да. Он посылает тебе привет.

— Король счастлив?

— Очень. И Гвиневера тебе тоже кланялась.

— Какая Гвиневера?

— Милость Господня! — воскликнул волшебник. — Ты ее разве не знаешь? Впрочем, конечно, нет. У меня в голове все перепуталось.

Тут он взглянул на миловидную девицу так, словно это ее вина, — как оно в сущности и было. Девицу звали Нимуя, он, наконец, влюбился в нее.

— Гвиневера, — пояснила Нимуя, — это молодая Королева. Они с Артуром уже несколько времени, как женаты.

— Она дочь Короля Леодегранса, — пояснил Мерлин. — К свадьбе он подарил Артуру круглый стол и сотню рыцарей в придачу. Но за столом достанет места для ста пятидесяти.

— О! — произнес Ланселот.

— Король собирался тебя известить, — сказал Мерлин. — Быть может, вестник утонул по дороге. Наверное, шторм приключился. Нет, правда, он хотел тебя известить.

— О! — во второй раз произнес юноша. Мерлин заговорил торопливо, ибо понимал, что поло-

жение сложилось не из самых ловких. Глядя на Ланселота, он не мог уяснить, обижен ли тот или просто у него всегда такое лицо.

— Пока он успел заполнить лишь двадцать девять сидений, — рассказывал Мерлин. — Двадцать одно осталось незанятым. Свободных мест полно. И на них золотом начертаны имена рыцарей.

Последовала пауза, никто не знал, что сказать. Затем Ланселот откашлялся.

— Когда я был в Англии, — сказал он, — там был один мальчик. Его звали Гавейн. Он тоже стал рыцарем Стола?

Мерлин с виноватым видом кивнул головой.

— Его посвятили в день свадьбы Артура.

— Понятно.

Последовала еще одна долгая пауза.

— А эту даму, — сказал Мерлин, чувствуя, что паузу следует чем-то заполнить, — зовут Нимуя. Я влюбился в нее. У нас что-то вроде свадебного путешествия, только волшебного, и теперь нам самое время отправиться в Корнуолл. Простите, что не смогу погостить у вас подольше.

— Но Мерлин, дорогой, — воскликнула Королева, — вы ведь останетесь на ночь?

— Нет-нет. Спасибо. Огромное вам спасибо.

Именно сейчас мы страшно спешим.

— Но, может быть, хоть выпьете стаканчик чего-нибудь на дорожку?

— Спасибо, нет. Вы очень добры, но, право же, нам пора. Мы должны заняться в Корнуолле кое-каким волшебством.

— Вы так ненадолго заглянули… — начала Королева.

Мерлин прервал ее, поднявшись и взяв Нимую за руку.

— Ну, до свидания, — решительно вымолвил он, и оба, пару раз крутанувшись, исчезли.

Исчезли тела, но голос волшебника еще помедлил в воздухе.

— Что ж, вот и дело с концом, — произнес он с облегчением. — А теперь, ангел мой, как насчет того местечка в Корнуолле, про которое я тебе рассказывал, помнишь, с волшебной пещерой?

Медленно Ланселот вернулся в Оружейную к дядюшке Скоку. Он встал прямо перед дядюшкой и закусил губу.

— Я собираюсь в Англию, — сообщил он. Дядюшка Скок изумленно взглянул на него, но ничего не сказал.

— Уезжаю сегодня.

— Как-то ты неожиданно, — сказал дядюшка

Скок. — Твоя матушка обыкновенно не принимает решений с такой быстротой.

— Она ничего об этом не знает.

— Ты что, намерен сбежать?

— Если я скажу матери и отцу, ничего кроме шума не получится, — пояснил Ланселот. — Я не собираюсь убегать. Я вернусь. Но я должен попасть в Англию как можно скорее.

— И ты рассчитываешь, что я ничего не сообщу твоей матери?

— Да, рассчитываю.

Дядюшка Скок подергал себя за усы и скрестил руки.

— Если они проведают, что я мог тебе помешать, — заметил он, — Бан мне голову снимет.

— Не проведают, — безразлично сказал мальчик и пошел собираться в дорогу.

Спустя неделю, Ланселот с дядюшкой Скоком на странном корабле пересекали Ла-Манш. На носу и на корме судна размещались некие подобия крепостей. Еще одна крепость находилась посередке единственной мачты, придавая ей сходство с голубятней. Из нее во все стороны торчали флаги. Нарядный парус нес изображение Святого Креста, а с верхушки мачты свисал громадных размеров вымпел. Судно было о восьми веслах.

Обоих пассажиров тошнило.

# 4

С горестным чувством скакал в Камелот пылкий поклонник Артура. В восемнадцать лет отдать Королю всю свою жизнь и лишь для того, чтобы тебя забыли, — тяжко; тяжко провести столь многие часы в пыли и унынии Оружейной, размахивая тяжелым мечом, — лишь для того, чтобы узнать, что Гавейна посвятили в рыцари первым; а тяжелее всего — день за днем ломать свое тело ради идеала, исповедуемого человеком, который превосходит тебя годами, и, почти достигнув идеала, обнаружить, что под самый конец откуда ни возьмись появилась какая-то ветреница и без особых усилий отняла у тебя любовь этого человека. Ланселот ревновал к Гвиневере и сам стыдился того.

Дядюшка Скок молча трусил следом за горестным молодым человеком. Ему было ведомо нечто, о чем этот зеленый юнец еще не догадывался по молодости лет, — он знал, что его ученик — лучший рыцарь Европы. Дядюшка Скок, трепеща, поспевал за своим вундеркиндом, напоминая синицу, воспитавшую кукушонка. На своем скакуне он вез боевые доспехи, стянутые

ремнями в аккуратный тюк, — в согласии с его хитроумными соображениями, ибо отныне он был оруженосцем Ланселота.

Они выехали на лесную прогалину с небольшим потоком посередине. Тут находился брод, и поток бежал, позванивая, по чистым камням, лежавшим на глубине всего в несколько дюймов. Солнце заливало прогалину, ворковали сонные вяхири, а по другую сторону певучего тока возвышался огромный рыцарь в черных доспехах и низко надвинутом турнирном шлеме. Щит его обтягивала парусина, он неподвижно восседал на черном коне. Прочитать его герб никакой возможности не было. Неподвижный, осанистый в своей железной оболочке, с огромным слепым шлемом на голове, лишавшим его лица, он выглядел очень грозно. Невозможно было понять, о чем он думает и что собирается предпринять. Он казался воплощением опасности.

Ланселот остановился, дядюшка Скок тоже. Конь черного рыцаря перешел неглубокую воду, и рыцарь, оказавшись перед путниками, натянул поводья. Он поднял в приветственном жесте копье и ткнул им куда-то за спину Ланселота. Он то ли требовал, чтобы тот воротился домой, то ли указывал удобное место, с которого они могли бы

атаковать друг друга. Как бы там ни было, Ланселот отсалютовал ему рукой в латной рукавице и развернулся, чтобы занять исходную позицию. Он взял у дядюшки Скока одно из копий, натянул на голову висевший за спиной на цепочке шлем, поднял стальное забрало и закрепил его. Теперь и он стал человеком без лица.

Двое рыцарей взирали один на другого с противоположных концов небольшой поляны. Затем, хотя ни один из них так и не произнес до сих пор ни слова, они уперли копья в седельные упоры, пришпорили коней и двинулись друг на друга. Дядюшка Скок, выбравший безопасное место за одним из ближних деревьев, едва сдерживал охвативший его восторг. Он знал, что сейчас случится с черным рыцарем (хоть сам Ланселот не ведал того), и уже начал прищелкивать пальцами.

Когда делаешь нечто впервые, оно, как правило, очень волнует. Скажем, в первый раз самостоятельно управляя аэропланом, буквально не можешь дышать от волнения. Ланселот никогда до того не участвовал в настоящем поединке и хоть он сотни раз атаковал кольца и чучела, всерьез рисковать своей жизнью ему еще не приходилось. В первый миг он подумал:

«Ну вот, дошло и до дела. Теперь мне никто не поможет». Во второй — его действия стали автоматическими, словно перед ним было все то же чучело или кольцо.

Острие копья ударило черного рыцаря под обод оплечья, точно в нужное место. Конь Ланселота шел полным галопом, к которому конь черного рыцаря еще только готовился. Черного рыцаря вместе с конем резко развернуло справа налево, они взлетели в воздух и после небольшого полета по красивой параболе с лязгом грохнулись оземь. Проносясь мимо, Ланселот видел обоих распластавшимися по земле, сломанное копье рыцаря застряло между ног коня, одна из сверкающих подков сдирала парусину с упавшего щита. Всадник и конь сплелись воедино. Каждый из них боялся другого и наносил другому удары, пытаясь освободиться. Наконец конь сумел приподняться, опершись на передние ноги, круп его вздыбился, и рыцарь сел, подняв одну стальную рукавицу так, словно хотел почесать голову. Ланселот натянул поводья и поскакал обратно к рыцарю.

Обыкновенно, если один рыцарь сбрасывал другого с коня, упавший страшно сердился, обвинял в падении своего скакуна и требовал продолжения боя — пешими и на мечах. В виде

оправдания, как правило, говорилось: «Хоть сын кобылы меня и подвел, но клянусь, что меч отца моего не подведет никогда».

Однако черный рыцарь поступил необычно. Похоже, он принадлежал к разряду людей гораздо более веселых, чем то подразумевалось цветом его доспехов, ибо, усевшись, он присвистнул сквозь щель шлема в удивлении и восторге. После чего стянул шлем и вытер лоб. Щит, с которого копыто коня сорвало парусину, нес изображение «на золотом поле дракона червленого стоящего».

Ланселот, закинув копье в кусты, со всей поспешностью слез с коня и преклонил близ рыцаря колено. Любовь снова вспыхнула в нем. Как это похоже на Артура — слетев с коня, не гневаться, но сидеть на земле, издавая восторженные звуки.

— Сэр, — произнес Ланселот, смиренно снимая шлем и склоняя голову на французский манер.

Король в крайнем возбуждении кое-как поднялся на ноги.

— Ланселот! — воскликнул он. — Господи, да это же мальчик Ланселот! Ты сын короля из Бенвика. Я тебя помню, мы виделись, когда король приезжал сюда, чтобы биться под Бедегрейном. Как ты меня спешил! Отроду такого не видел! Где

ты этому выучился? Потрясающе! Ты не к моему двору направляешься? А как Король Бан? Как твоя очаровательная матушка? Нет, правда, милый ты мой, ты просто великолепно это проделал!

Ланселот поднял взгляд на запыхавшегося Короля, протянувшего обе руки, чтобы помочь ему встать, и горе его и ревность исчезли.

Они взобрались на коней и рысцой поскакали к замку, забыв про дядюшку Скока. Им столько нужно было сказать друг другу, что по дороге оба говорили, не умолкая. Ланселот пересказывал выдуманные послания от Короля Бана и Королевы Элейны, а Артур рассказывал про Гавейна, убившего некую даму. Он говорил о Короле Пеллиноре, столь расхрабрившемся после женитьбы, что он ненароком убил в поединке Короля Лота Оркнейского, и о Круглом Столе, с коим дела шли хорошо — настолько, насколько этого можно было ожидать, только очень медленно, — и о том, что теперь, с появлением Ланселота, все наладится, они и глазом моргнуть не успеют.

Его произвели в рыцари в первый же день, — уже два года как он мог стать рыцарем в любую минуту, но отказывался, не желая, чтобы его посвящал кто-либо, кроме Артура, — и в тот же день Артур представил его Гвиневере. Существу-

ет свидетельство, согласно которому Гвиневера была светловолоса, но это свидетельство неверно. Волосы ее были черны, так черны, что это несколько даже пугало, а в выражении синих глаз, глубоких и ясных, обозначалось бесстрашие, от которого тоже становилось не по себе. Странно изломанное лицо юноши удивило ее, но не вызвало страха.

— Ну вот, — сказал Король, соединяя их руки. — Это Ланселот, тот самый, о котором я тебе рассказывал. Ему предстоит стать лучшим моим рыцарем. Меня еще никто так с коня не сбрасывал! Будь с ним поласковей, Гвен. Его отец — один из самых старых моих друзей.

Ланселот холодно поцеловал ее руку.

Он не увидел в ней ничего особенного, поскольку сознание его заполняли картины, им же самим и написанные. Для образа подлинной Гвиневеры места в нем не оставалось. Он думал о ней лишь как о человеке, который его ограбил, а поскольку все грабители злоумышленны, вероломны и бессовестны, он и ее считал таковой.

— Как поживаете? — осведомилась Королева. Артур сказал:

— Нам придется пересказать ему все, что случилось со времени его отъезда из Англии. Хватит

надолго! С чего начнем?

— Начните со Стола, — попросил Ланселот.

— О Господи!

Издав смешок, Королева поворотила к новому рыцарю улыбающееся лицо.

— Артур только о нем все время и думает, — сказал она. — Ему этот Стол даже ночами снится. Да если он проговорит с вами целую неделю, и тогда всего не расскажет.

— Дело идет, и идет неплохо, — сказал Король. — Вообще говоря, невозможно и ожидать, чтобы такое дело шло без сучка без задоринки. Идея живет, и ее понемногу начинают усваивать, а это уже немало. Я уверен, она заработает.

— А про Оркнейскую партию ты не забыл?

— Дай срок, образумятся и они.

— Это вы о Гавейне? — заинтересовался Ланселот. — Что, собственно, неладно с Оркнейцами?

Король, казалось, смутился:

— По настоящему-то неладно не с ними, — сказал он, — а с их матерью, Моргаузой. Она растила их без любви и защиты, поэтому человека сердечного они попросту не воспринимают. Они подозрительны, всего боятся, и мне никак не удается внушить им наши идеи. Их здесь у нас трое — Гавейн, Гахерис и Агравейн. Во всем этом

нет их вины.

— В год нашей свадьбы, — пояснила Гвиневера, — Артур задал на Пятидесятницу первый свой пир и отправил всех на поиски достойных приключений, чтобы посмотреть, что из его идеи получится. А когда они воротились, оказалось, что Гавейн отрубил голову даме, и даже старый добряк Пеллинор оказался не в силах помочь девице, попавшей в беду. Артур ужасно на них разгневался.

— Гавейн был не очень и виноват, — сказал Король. — Он малый хороший. Мне он нравится. Виновата была та женщина.

— Я надеюсь, что с той поры хоть что-то переменилось к лучшему?

— Да. Изменения происходят, правда, медленно, но, по-моему, я все же вправе сказать, что перемены к лучшему есть.

— А Пеллинор сильно сокрушался? Артур сказал:

— Пеллинор сокрушался, да. Там, впрочем, и сокрушаться было особенно не о чем. Он просто очередной раз все перепутал. С Пеллинором другая беда, он после женитьбы на дочери королевы Фландрии почувствовал такую отвагу, что не на шутку увлекся поединками и по большей части

в них побеждает. Я ведь тебе рассказывал, как они с Королем Лотом затеяли поупражняться и как Пеллинор Лота убил. А в итоге возникла вражда. Дети Оркнея поклялись отомстить за смерть своего отца и устроили настоящую охоту на бедного старину Пеллинора. Мне с большим трудом удалось призвать их к порядку.

— Ланселот поможет тебе, — сказала Королева. — Теперь с тобой старый друг, на которого можно положиться, и все пойдет хорошо.

— Да, теперь все пойдет хорошо. Однако, Ланс, ты, наверное, хочешь увидеть свою комнату?

Лето перевалило за половину, и по всему Камелоту любители соколиной охоты выносили своих птиц на вольный простор, завершая их обучение. Если вы соколятник с понятием, вы постараетесь поскорее поднять своего сокола в воздух. Если же понятия вам не хватает, вы неизбежно наделаете ошибок, и в итоге обучение сокола растянется на долгий срок. По этой причине все соколятники Камелота норовили показать себя с лучшей стороны — сколь возможно раньше спуская соколов — и в какую бы сторону ни направились вы на прогулку по полям, вы бы непременно наткнулись на желчного владельца очередной птицы, распутывающего поводок и бранящегося со сво-

ими помощниками. Соколиная охота, как указал еще Яков Первый, до крайней степени распаляет страсти. Дело в том, что сами ловчие птицы — существа чрезвычайно гневливые, и человек, возящийся с ними, перенимает у них эту черту.

Артур подарил сэру Ланселоту, чтобы тот не скучал, еще не перелинявшую до конца самку кречета. Это было немалой любезностью, ибо предполагалось, что кречетами могут владеть лишь одни короли. Во всяком случае, так уверяет нас аббатиса Джулиана Бернерс, — быть может, не вполне основательно. Императору дозволено владеть орлом, королю — кречетом, а за ними следуют: сапсан для графа, дербник для дамы, ястреб для йомена, перепелятник для священника и пустельга для дьячка. Ланселоту подарок польстил, и он, не теряя времени, ударился в соперничество с прочими сердитыми соколятниками, из коих каждый неустанно трудился, понося методы всех остальных, обмениваясь с ними репликами, пропитанными сладчайшим ядом, и понемногу желтея от зависти.

Подаренная Ланселоту птица еще продолжала мытиться. Подобно Гамлету она была тучна и одышлива. Долгое сидение в кречатне во время линьки сделало ее угрюмой и вспыльчивой.

Поэтому Ланселоту пришлось несколько дней отпускать ее на поводке, пока он не уверился, что можно начать занятия с вабилом.

Если вам приходилось когда-либо припускать сокола на поводке, то есть на длинной бечевке, привязанной к опутенкам, чтобы птица не могла улететь, вы знаете, насколько это утомительное дело. В наши дни соколятники пользуются спиннинговыми катушками, что позволяет с большей легкостью и отматывать, и сматывать поводок, но во времена Ланселота хороших катушек не было, и поводок просто сматывали клубком, будто бечевку. При этом клубку грозили две главных напасти — первой из них подвержен всякий клубок, неизбежно обращающийся в путаницу узлов и петель. Вторая же состояла в том, что как только птицу отпускали над плохо выкошенным лугом, бечевка немедля цеплялась за чертополох или пучки травы, задерживая сокола и препятствуя его обучению. По всем этим причинам Ланселот, как и все остальные рассерженные соколятники, слоняясь по окрестностям Камелота, погружался в густую атмосферу соперничества, бьющих крыльями соколов и вяжущейся в узлы бечевы.

Король Артур попросил жену быть с молодым человеком поласковее. Она любила мужа и по-

нимала, что стоит между ним и его другом. Она была не настолько глупа, чтобы пытаться как-то возместить Ланселоту наносимый ею ущерб, однако этот юноша тронул ее воображение. Ей нравилось его изломанное лицо, пусть и уродливое, к тому же Артур сам попросил ее быть с ним поласковее. Помощников для соколятников в Камелоте не хватало — слишком многие нуждались в помощниках — и потому Гвиневера стала бродить с Ланселотом по полям, помогая ему распутывать поводки.

Он ее почти не замечал. «Пришла», — говорил он себе, или: «Уходит». Он уже углубился в воспитание сокола, лишь в малой степени бывшее женским занятием, и его мысли о Королеве редко выходили за описанные выше пределы. При всем безобразии его внешности, он вырос в замечательно вежливого молодого человека, да к тому же был еще и слишком застенчив, чтобы дозволить себе какие-либо игривые помыслы. Он занимался своей птицей, воспитанно благодарил Королеву за помощь и принимал оную со всем положенным вежеством.

В один из дней чертополох в особенности досаждал ему, кроме того днем раньше он промахнулся и перекормил кречета. У кречета настроение

было дурное, что передалось и Ланселоту. Гвиневера, мало понимавшая в соколах и не особенно ими интересовавшаяся, испугалась, увидя нахмуренное чело юноши, а испугавшись, стала неуклюжей. Она очень старалась помочь, но сознавала себя несведующей в соколином деле, и оттого мысли ее мешались. Очень старательно и аккуратно, с самыми лучшими намерениями, она совершенно запутала поводок. Ланселот только что не грубым жестом отнял у нее никудышный моток.

— Не пойдет, — сказал он и принялся сердитыми пальцами распускать ее с такой надеждой сделанную работу. Брови его сошлись угрюмо и страшно.

На миг все застыли. Застыла Гвиневера, уязвленная в самое сердце. Застыл, ощутив ее неподвижность, Ланселот. Застыл, прекратив хлопать крыльями, кречет, смолк шелест листвы.

В этот миг юноша вдруг понял, что обидел живого человека, годами равного ему. По ее взгляду он понял, что кажется ей ненавистным, что он удивил ее своей грубостью. Она со всей сердечностью пыталась помочь ему, он же бессердечно ее оттолкнул. Но самое главное состояло в том, что она — живой человек. Не ветреница, зло-

умышленная, вероломная и бессовестная, — а прелестная Дженни, способная мыслить и чувствовать.

## 5

Первыми, кто заметил, что Ланселот и Гвиневера влюбились друг в друга, были дядюшка Скок и сам Артур. Артура об этой любви некогда предуведомил Мерлин, — ныне надежно запертый в своей пещере ветреной Нимуей, — и Артур подсознательно страшился ее. Но знание будущего всегда оставалось для него ненавистным, и он ухитрился выбросить предупреждения Мерлина из головы. Дядюшка Скок отреагировал по-своему, он решил прочитать своему ученику нотацию — они как раз возились в кречатне с усмиренным кречетом.

— Божья нога! — воскликнул дядюшка Скок и присовокупил еще несколько замечаний в этом же роде. — Что с тобой? Что ты творишь? Выходит, лучший рыцарь Европы намерен плюнуть на все, чему я его учил, ради прекрасных дамских глаз? Да и дама-то к тому же замужняя!

— Я не понимаю, о чем ты?

— Не понимаю! Не понимает он! Пресвятая Богородица! — орал дядюшка Скок. — Я о Гвиневере говорю, разве не так? Да пребудет Слава Господня во веки веков!

Ланселот взял старика за плечи и усадил его на сундук.

— Послушай, дядюшка, — решительно сказал он. — Я все собирался с тобой поговорить. Не пора ли тебе возвращаться в Бенвик?

— В Бенвик? — возопил дядюшка, словно кинжалом пораженный в сердце.

— Да, в Бенвик. Не можешь же ты вечно изображать моего оруженосца. Во-первых, ты все-таки приходишься братом двум королям, во-вторых, ты в три раза старше меня. Это противно всем законам рыцарства.

— Законам рыцарства! — закричал старик. — Пф!

— Конечно, и нечего фыркать.

— И это я, научивший тебя всему, что ты знаешь! Я должен вернуться в Бенвик, не увидев, как ты покажешь себя? Да ведь ты даже мечом ни разу при мне не воспользовался, ни разу не извлек из ножен Весельчака! Это неблагодарность, предательство и вероломство! Горе мне до самой могилы! Кому я поверил? Благие Небеса!

И возмущенный старик испустил длинную череду галльских проклятий, включавшую и «Per Splendorem Dei» — божбу так называемого Вильгельма Завоевателя, и «Pasque Dieu», что отвечало

представлениям о хорошей шутке, присущим воображаемому Людовику XI. Видимо, они навели его на вдохновенную мысль так и следовать по королевским стопам, ибо он добавил сюда восклицания Вильгельма Рыжего, Генриха Первого, а также Иоанна и Генриха Третьего, каковыми были (в том же порядке) «Клянусь святым ликом из Лукки», «Клянусь Гробом Господним», «Зубом Господним» и «Господней Главой». Кречет, с явным одобрением взиравший на представление, встопорщил перья, обретя сходство со шваброй, которую служанка стряхивает, высунувши в окно.

— Ну хорошо, не хочешь — не уезжай, — сказал Ланселот. — Но, прошу тебя, не приставай ко мне с разговорами о Королеве. Да, мы друг другу нравимся, и я ничего не могу с этим поделать и ничего не вижу дурного в том, что один человек нравится другому. Это не означает, что мы с Королевой совершаем нечто постыдное. А когда ты принимаешься читать мне нотации, начинает казаться, будто в наших с ней отношениях что-то не так. Словно бы ты дурно думаешь обо мне или сомневаешься в моей чести. Пожалуйста, не упоминай больше об этом.

Дядюшка Скок выкатил глаза, взъерошил свою

шевелюру, похрустел суставами пальцев, перецеловал их кончики и исполнил еще несколько телодвижений, предназначенных выразить его точку зрения. Но более он об этой любви не заговаривал.

Реакция Артура на возникшую проблему была сложной. Предупреждение Мерлина относительно его жены и его лучшего друга содержало в себе противоречие, ибо друг вряд ли может считаться другом, если он тебя предает. Артур обожал свежую, словно розовый лепесток, Гвиневеру и питал к Ланселоту инстинктивное уважение, которому вскоре предстояло перерасти в привязанность. Оттого было трудно и заподозрить их, и не заподозрить.

В конце концов он пришел к заключению, что самое правильное — это взять Ланселота на войну с Римом. Это, во всяком случае, разлучит юношу с Гвиневерой, а иметь рядом с собой своего ученика и к тому же превосходного воина — справедливы ли были пророчества Мерлина или не справедливы — всегда приятно.

Война с Римом была делом путаным и к тому же растянувшимся на несколько лет. Нам нет нужды надолго на ней задерживаться. На свой манер она явилась логическим продолжением Бедегрейна

— продолжением той же битвы, но уже с европейским размахом. Феодальную идею войны ради выкупа удалось уничтожить в Британии, но не за ее рубежами, и ныне иноземные охотники до выкупов избрали своей мишенью только что взошедшего на престол Короля. Некий господин по имени Луций, состоявший Диктатором Рима, — и как странно думать о том, что Мэлори именно это слово, «Диктатор», и употребил, — прислал посольство, требуя от Артура дани, — требуемое именовалось «данью» до сражения и «выкупом» после, — на что Король, после консультаций с Парламентом, ответил, что никакой данью Диктатору не обязан. По сей причине Диктатор Луций объявил Артуру войну. Он разослал также, подобно Ларсу Порсенне у Маколея, послов во все стороны света, вербуя союзников. Из Рима в сторону Верхней Германии — на сражение с Англией — выступило не менее шестнадцати королей. У Луция имелись союзники в Амбагии и Аррагии, Алисандрии, Инде, Гермонии и Евфрате, в Аффрике и Европе Бескрайней, в Ертании и Эламии, в Аравии, Египте, Дамаске и Дамиате, в Кайре и Кападокии, в Тарсе и Турции, в Понтии и Памполии, в Сарии и Галахии, не считая Греции, Кипра, Македонии, Калабрии, Каталонии, Пор-

тингалии, а также многих тысяч Испанцев.

Как раз в первые недели увлечения Ланселота Гвиневерой настало время войскам Артура пересечь Пролив, чтобы встретить врага во Франции, — вот на эту-то войну он и решил взять с собой молодого человека. Ланселот, разумеется, не был в то время признанным главой рыцарей Круглого Стола, иначе вопроса о том, брать его или не брать вообще бы не возникло. К этой поре своей жизни он успел провести всего один поединок на копьях — с самим Артуром, а признанным главою рыцарей был Гавейн.

Ланселот сердился, что его отрывают от Гвиневеры, поскольку усматривал в этом недостаток доверия. Кроме того он знал, что при схожей оказии Король Марк оставил сэра Тристрама со своей женой в Корнуолле, и не понимал, отчего бы и его точно таким же образом не оставить при Гвиневере.

Нет никакой необходимости подробно излагать всю историю римской кампании, хоть она и заняла несколько лет. Это была самая обыкновенная война, противники много шумели, поочередно теснили и разили один другого, потеряли немало людей, и каждый ее день ознаменовывался проявлениями великой доблести

и блеском оружия. Одним словом, то был тот же Бедегрейн, но в более широком масштабе — при том же нежелании Артура относиться к войне, как к спортивному или коммерческому предприятию; впрочем, имелись у этой войны и свои отличительные черты. Рыжий Гавейн, будучи отправлен с посольством, прогневался и в самый разгар переговоров убил одного из послов противника. Сэр Ланселот командовал в страшной битве, в которой силы врага втрое превосходили число его воинов. Он убил царя Ливийского и трех славных лордов, которых звали Алакук, Хирод и Герингдаль. В ходе кампании пали три печально известных великана — двое от руки самого Артура. Наконец, во время последней битвы Артур нанес Диктатору Луцию такой удар по голове, что Эксаклибур дошел до середины груди. Среди зарубленных отыскались также Салтан Сарийский, Король Египетский и Царь Ефиопский, — предок Хай-ле-Силасии — и с ними еще семнадцать царей из разных мест да шестьдесят сенаторов римских. Артур — отнюдь не из сарказма — повелел уложить их тела в богато изукрашенные гробы и отослал Лорд-Мэру Рима вместо затребованной дани. В итоге Лорд-Мэр и почти вся Европа почли за лучшее признать

Артура своим феодальным властителем. Земли Плезанса, Павии, Петрасанта и Порт-Трембило обязались платить ему дань. Как и в Англии, на Континенте феодальные условности по части ведения войн были сокрушены навсегда.

За время войны Артур искренне привязался к Ланселоту и, возвращаясь домой, уже совершенно не верил в пророчество Мерлина. Он оттеснил его в самую глубь своего сознания. Ланселота признали лучшим во всей армии воином. Оба решили про себя, что Гвиневера не сможет встать между ними; так, в спокойствии, миновали первые несколько лет.

## 6

Какое представление о Ланселоте составляется у людей, обитающих по эту сторону времени? Возможно, они полагают всего лишь, что он был некрасивым молодым человеком, но хорошим спортсменом. Однако в нем присутствовало и нечто иное. Он был рыцарем со средневековым отношением к чести.

Существует присловье, которое еще и в наши дни можно услышать в сельских краях, и оно заключает в себе большую часть того, что мы пытаемся растолковать. К нему прибегают ирландские фермеры, когда говорят в похвалу или в виде лести: «У такого-то есть Слово. Что обещал, то сделает».

Вот и Ланселот стремился к тому, чтобы у него было Слово. Он почитал его, как почитают и ныне темные деревенские жители, драгоценнейшим из имений.

Удивительно, однако, что под венчающей его личность верностью себе и другим таилась натура далеко не праведная. Он ценил свое Слово не только потому, что был человеком достойным, но также и потому, что был человеком дурным.

Именно дурные люди и нуждаются в принципах, не позволяющих им распускаться. Прежде всего ему нравилось причинять людям боль. Именно по этой странной причине, по присущей ему жестокости, бедняга ни разу не убил человека, молившего его о пощаде, и не совершал жестоких поступков, если можно было без них обойтись. Да и одна из причин, по которой он полюбил Гвиневеру, состояла в том, что он сразу же причинил ей страдание. Если б не выражение боли в ее глазах, он мог вообще не заметить в ней человека.

По каким только странным причинам не становятся люди под конец жизни святыми. Человек, не пораженный тягой к порядочности, мог просто сбежать с женой своего героя и тогда, быть может, никакой трагедии с Артуром и не случилось бы. Рядовой человек, не протерзавшийся полжизни в стараниях понять, что такое праведность, и тем удержать себя от неправедных дел, мог бы попросту разрубить этот узел, в конце концов приведший их всех к гибели.

Флот, с которым двое друзей воротились в Англию после Римской войны, пристал в Сандуиче. Стоял серый сентябрьский день, синие с медью бабочки порхали в отаве, стрекотали, словно сверчки, куропатки, наливалась краскою еже-

вика, и фундук еще нежил в устланных ватою люльках свои безвкусные ядрышки. Королева Гвиневера встретила их на берегу, и Ланселот сразу же, пока она еще целовала Короля, понял, что она все-таки может встать между ними. Он дернулся, словно внутренности его вдруг завязались узлом, отдал Королеве честь, не медля отправился в ближайшую харчевню, улегся в кровать и провел в ней без сна целую ночь. Утром он попросил дозволения покинуть двор.

— Да ты и при дворе-то еще не был, — сказал Артур. — Зачем тебе уезжать так сразу?

— Я должен уехать.

— Должен уехать? — переспросил Король. — Что значит «должен уехать»?

Ланселот стиснул кулаки, так что костяшки вылезли наружу, и сказал:

— Я хочу отправиться на поиски приключений. Мне нужны приключения.

— Но Ланс…

— Для того ведь и создан Круглый Стол, разве не так? — выкрикнул молодой человек. — Рыцари должны искать приключений, сражаться с Силой, правильно? Почему ты пытаешься мне помешать? В этом же главный смысл нашей идеи!

— Да нет, отправляйся, конечно, — сказал

Король. — И не стоит так горячиться. Если тебе приспичило ехать, ты, разумеется, можешь поступать, как считаешь нужным. Мне просто хотелось, чтобы ты побыл с нами немного. Ну, не сердись, Ланс. Не понимаю, что на тебя нашло?

— Возвращайся скорее, — проговорила Гвиневера.

## 7

Так начались его знаменитые поиски приключений. Он предпринимал их не ради славы или развлечения. То были попытки бежать от Гвиневеры. Он пытался спасти свою честь, а не достигнуть почестей.

Нам придется описать одно из его странствий поподробнее, дабы показать, какими способами он пытался рассеяться и каково было в действии его прославленное благородство. К тому же это даст нам представление о состоянии Англии, вынудившем Короля Артура разработать его теорию правосудия. Дело ведь не в том, что Артур был педантом, а в том, что управляемая им Страна Волшебства билась в тенетах такой анархии, что без какой-либо идеи, подобной идее Круглого Стола, она вообще не смогла бы выжить. Воинственные наклонности людей, подобных Лоту, подавить удалось, но непокоренное баронство как жило в своих владениях, так и продолжало жить на разбойничий манер. Эти бароны попрежнему выдирали зубы евреям, вымогая у них деньги, или поджаривали не поладивших с ними епископов. Вилланов, которым не повезло с хо-

зяином, жгли на медленном огне или поливали расплавленным свинцом, или бросали помирать с выдавленными глазами, и немалое их число ползало тогда по дорогам на четвереньках с перерезанными ахиллесовыми сухожилиями. Любая пустяшная вражда выливалась в истребление беспомощных и бедных, а если по ходу сражения удавалось стащить рыцаря с коня, то доспехи его оказывались завинчены столь основательно, что причинить ему какой-либо вред мог лишь большой специалист. Вот, скажем, в легендарной битве при Бувине удалось спешить и окружить Филиппа-Августа Французского, и все же, как ни старалась несчастная пехота его проткнуть, ничего у нее не вышло: вскоре его отбили, и он продолжал сражаться еще даже лучше прежнего, потому что прогневался. Пусть, однако, история первого странствия Ланселота сама и на свой лад расскажет нам о тех сумбурных временах, когда страною правила Сила.

Жили на границе с Уэльсом два рыцаря по прозванию сэр Карадос и сэр Тарквин, оба кельтских кровей. Эта пара закоснелых баронов так и не признала власти Артура и вообще ни в какое правление, кроме насильственного, не верила. Жили они в крепких замках, в окружении нече-

стивых вассалов, находивших для упражнения в своей нечестивости куда больше возможностей, чем их удалось бы сыскать в сколько-нибудь обустроенном обществе. Бароны существовали подобно орлам, кормящимся своими более слабыми собратьями. Впрочем, сравнение с орлами несправедливо, ибо среди этих птиц нередко встречаются создания, исполненные благородства, в то время как сэр Тарквин решительно ни в каком благородстве замечен не был. Живи он теперь, его, пожалуй, упекли бы в сумасшедший дом, и уж во всяком случае свели бы к психоаналитику.

Однажды, когда сэр Ланселот почти уже месяц проскитался в поисках приключений, все удаляясь от мест, в которых ему хотелось бы находиться, так что каждый шаг коня причинял ему муку, он повстречался с облаченным в доспехи рыцарем, скакавшим на огромной кобыле, перекинув через седельную луку другого рыцаря, спутанного по рукам и ногам. Плененный рыцарь, забрызганный кровью и вымазанный в грязи, был в обмороке. Рыжая голова его билась о кобылью лопатку. Рыцарь, пленивший его, был человеком могучего сложения, по гербу Ланселот узнал, что перед ним сэр Карадос.

— Кто твой пленник?

Огромный рыцарь приподнял свисавший рядом с пленником щит и показал «на золоте стропило червленое средь трех чертополохов стоячих».

— Что ты сделал с сэром Гавейном?

— Не лезь не в свое дело, — ответил сэр Карадос.

Видимо, когда кобыла остановилась, Гавейн пришел в себя, ибо снизу донесся его голос:

— Это вы, сэр Ланселот?

— Как дела, Гавейн? Как вы себя чувствуете?

— Хуже некуда, — сказал сэр Гавейн, — вот разве только вы мне поможете. Ибо если вы не спасете меня, я не знаю другого рыцаря, который на это способен.

Он говорил формально, на Высоком языке рыцарства, — в те дни в ходу было два рода речи, скажем, верхне — и нижненемецкий или французский норманнов и английский саксов.

Ланселот посмотрел на сэра Карадоса и сказал простыми словами:

— Не опустить ли тебе этого рыцаря на землю и не сразиться ль со мной?

— Глупец, — ответил сэр Карадос, — ведь я и с тобой точно так же разделаюсь.

Они спустили сэра Гавейна на землю, связали покрепче, чтоб не сбежал, и приготовились к бою. У сэра Карадоса имелся оруженосец, подавший ему копье, Ланселоту же, настоявшему на том, чтобы дядюшка Скок остался дома, приходилось обслуживать себя самому.

Этот бой отличался от боя с Артуром. Прежде всего силы рыцарей были примерно равны, и в поединке на копьях ни один не слетел с коня. Ясеневые древки их копий просто разлетелись в щепу, но рыцари лишь покачнулись в седлах, и кони их устояли. В последовавшей за этим рубке Ланселот доказал свое превосходство. Примерно через час с небольшим он сумел нанести сэру Карадосу такой удар по шлему, что проломил ему череп, — и затем, пока мертвец еще раскачивался в седле, Ланселот ухватил его за ворот, бросил коню под ноги, сам в ту же минуту спешился и отсек ему голову. Он освободил сэра Гавейна, сердечно его благодарившего, и вновь поскакал по диким дорогам Англии, забыв и думать о Карадосе. На этих дорогах повстречался он со своим юным кузеном, сэром Лионелем, и дальше они отправились вместе в поисках зла, каковое должно исправить. Но забывать о сэре Карадосе было с их стороны неразумно.

Как-то раз в душный полдень въехали они после долгой скачки в лес. Ланселот чувствовал себя столь изнуренным внутренней борьбой с Королевой да и жаркой погодой тоже, что не мог продолжать путь. Сморило и Лионеля, а потому они решили прилечь под яблоней, что росла среди придорожных кустов, привязав коней к ее иссушенным солнцем ветвям. Ланселот мгновенно заснул, а сэру Лионелю все мешало жужжание мух, и пока он так маялся, явилось ему на глаза редкое зрелище.

Увидел он, как во весь опор пронеслись мимо три рыцаря в полных доспехах, а за ними еще один рыцарь, преследуя их. Копыта коней гремели и сотрясали землю, — странно, что Ланселот не проснулся, — и могучий охотник по одному нагонял свою дичь, сбрасывал на землю и вязал.

Лионель был юноша честолюбивый. Ему подумалось, что вот он, случай сравняться со своим знаменитым двоюродным братом. Он тихо поднялся, облачился в доспехи и поскакал вдогон победителю, дабы вызвать его. Меньше чем через минуту он тоже лежал на земле, связанный так, что и не двинуться, и прежде чем Ланселот пробудился, вся кавалькада исчезла. Загадочный рыцарь, победивший во всех этих схватках, был

сэр Тарквин, брат Карадоса, недавно убитого Ланселотом. Он имел обыкновение свозить, плененных им рыцарей в свой мрачный замок, срывать с них одежды и сечь, пока душа не утешится, — такое у него было хобби.

А Ланселот все спал, и той порой явилась, пригарцовывая, новая пышная кавалькада. Середину ее образовывал балдахин зеленого шелка, несомый на четырех копьях пышно разодетыми рыцарями. Под балдахином ехали на белых мулах четыре немолодые королевы. Зрелище было весьма живописное. Они как раз проезжали мимо яблони, когда конь Ланселота трубно заржал.

Королева Моргана ле Фэй, старшая из четырех королев, — а все они были колдуньи, — остановила процессию и подъехала к сэру Ланселоту поближе. Вид у него, раскинувшегося в полном воинском облачении на траве, был довольно грозный.

— Да это же сэр Ланселот!

Ничто не распространяется так быстро, как слух о скандале, особенно среди людей, прикосновенных к сверхъестественному, а потому четыре королевы уже знали о любви рыцаря к Королеве Гвиневере. Знали они и о том, что он признан сильнейшим рыцарем мира. Это заставило их

воспылать ревностью к Гвиневере. Так что возможность, вдруг открывшаяся перед ними, их немало утешила. Они тут же принялись переругиваться, споря о том, кому из них предстоит посредством магического искусства завладеть Ланселотом.

— Нам нет нужды пререкаться, — сказала Моргана ле Фэй. — Я наведу на него чары, чтобы он еще шесть часов не проснулся. А когда он окажется в моем замке, он сам сможет выбрать, которая из нас станет его полюбовницей.

Так она и сделала. Двое рыцарей, уложив спящего воина на щит, отнесли его в Замок Чэриот. Ныне тот не имел уже облика замка эльфов, построенного сплошь из еды, пребывая в обыденном виде зауряднейшей крепости. Все еще спящего Ланселота поместили в холодную голую комнату и оставили лежать, пока не развеются чары.

Очнувшись, Ланселот не смог понять, — куда он попал. Света в комнате не было, а каменные стены ее отзывались темницей. Он лежал в темноте, гадая, что приключится дальше. Затем мысли его перетекли к Королеве Гвиневере.

Дальше же приключилось вот что: пришла прекрасная девица, принесла ему обед и спросила,

как он поживает.

— Как дела, сэр Ланселот?

— Сам не знаю, прекрасная девица. Я не знаю, как я сюда попал, а потому не знаю и каковы мои дела.

— Вы только не падайте духом, — сказала девица. — Если вы действительно такой замечательный человек, как о вас говорят, я, может быть, завтра утром смогу вам помочь.

— Благодарю. Поможете вы мне или нет, но я рад, что вы обо мне такого доброго мнения.

И с тем прекрасная девица удалилась.

Поутру заслышался грохот засовов, скрежет ржавых запоров, и в темницу вошли несколько челядинцев в кольчугах. Они выстроились по обе стороны двери, а следом появились волшебные королевы, все в своих лучших нарядах. Каждая королева одарила сэра Ланселота величавым реверансом. Ланселот вежливо встал и сдержанно поклонился каждой из них. Моргана ле Фэй представила их как королев Гоора, Северного Уэльса, Восточной Страны и Внешних Островов.

— Ну что же, — сказала Моргана ле Фэй, — нам ведомо, кто ты такой, а потому не тешь себя мыслью, что мы ничего о тебе не знаем. Ты сэр Ланселот Дюлак и у тебя любовь с Королевой

Гвиневерой. О тебе говорят, что ты лучший рыцарь на свете, и по этой причине всякая дама к тебе благосклонна. Впрочем, теперь простись с их благосклонностью. Мы все королевы, ты в нашей власти, и тебе следует выбрать, какая из нас станет твоей возлюбленной. Заставить тебя мы, очевидно, не можем, пока ты сам не сделаешь выбор, — но одну из нас ты выбрать обязан. Итак, которую?

Ланселот сказал:

— Как же могу я ответить на подобный вопрос?

— Да уж как-то ответить придется.

— Прежде всего, — произнес он, — то, что сказали вы обо мне и супруге Короля Британии, — ложь. Будь я сейчас на свободе или имей, как прежде, оружие, я доказал бы это, сразившись с любым воином, какого вам было б угодно выставить против меня. Что же до прочего, я, безусловно, ни одну из вас в возлюбленные не возьму. Простите, если это невежливо, но больше мне нечего вам сказать.

— Вот как! — сказала Моргана ле Фэй.

— Вот так, — сказал Ланселот.

— И это все?

— Все.

Четыре королевы с холодным достоинством поклонились и строем вышли из комнаты. Стража четко развернулась налево кругом, лязгая по каменному полу доспехами. Свет начал удаляться. Дверь захлопнулась, взвизгнул ключ, и засовы с грохотом вернулись в свои гнезда.

Когда прекрасная девица вновь принесла ему пищу, он заметил, что ей явно хочется поговорить. Ланселот заключил, что девица она смелая и, судя по всему, довольно упрямая.

— Вы говорили, что, может быть, сумеете мне помочь?

Девица с сомнением оглядела его и сказала:

— Я могу вам помочь, если вы и вправду тот человек, за которого вас принимают. Вы действительно сэр Ланселот?

— Боюсь, что так.

— Я помогу вам, — сказала она, — если вы мне поможете.

И она залилась слезами.

Пока девица плачет, а делает она это с немалым очарованием и изрядным усердием, нам, пожалуй, следует пояснить кое-что касательно турниров — каковы они были в те давние дни Страны Волшебства. Настоящий турнир это не то, что единоличные поединки. В поединках рыцари

сражались один на один — копьями или мечами, — дабы завоевать награду. Турнир же более походил на беспорядочную потасовку. Каждый из рыцарей выбирал, на чьей стороне он будет сражаться, так что на каждой их оказывалось человек по двадцать или тридцать, и затем эти стороны бились довольно безалаберным образом. Такого рода массовым стычкам придавалось большое значение — скажем, если вы вносили плату за участие в турнире, вам дозволялось по тому же билету биться и в единоличных схватках, а если вы платили только за них, то участвовать в турнире вам уже не разрешали. Случалось, что в общей сшибке люди получали опасные увечья. В целом у этих схваток имелись свои достоинства — когда за ними присматривали судьи. К сожалению, в те ранние дни бывало это нечасто.

Добрая Старая Англия времен Пендрагона весьма походила на Несчастную Старинную Ирландию под ферулой О'Коннеллов. Она разделялась на обособленные партии. Рыцари одного графства, или обитатели одного округа, или челядинцы одного благородного владетеля без особого труда доводили себя до ненависти к партии, проживавшей по соседству. Эта ненависть перерастала во вражду, и тогда король

или вождь одной местности вызывал вождя другой на турнир — и партии сходились, горя желанием причинить одна другой побольше вреда. То же происходило во времена папистов и протестантов, или Стюартов и Оранжистов, встречавшихся с дубинами в руках и с жаждой убийства в душах.

— Почему вы плачете? — спросил сэр Ланселот.

— Ах, сэр, — рыдая, вымолвила девица, — этот ужасный Король Северного Уэльса вызвал моего отца на турнир в будущий вторник, а на его стороне трое рыцарей Короля Артура, и оттого моего несчастного отца непременно ждет поражение, и я боюсь, что его покалечат.

— Понятно. А как же имя вашего отца?

— Его зовут Король Багдемагус.

Сэр Ланселот встал и вежливо поцеловал ее в лоб. Он уже понял, чего от него ожидают.

— Хорошо, — сказал он. — Если вы вызволите меня из этой тюрьмы, я готов в будущий вторник сражаться на стороне Короля Багдемагуса.

— О, благодарю вас, — сказала девица, выжимая платок. — Теперь же, боюсь, мне нужно уйти, иначе внизу меня хватятся.

Естественно, что никакого желания помогать

Королеве Северного Уэльса томить Ланселота в узилище она не испытывала, тем более что Король Северного Уэльса намеревался биться с ее отцом.

Утром, еще до того как обитатели замка проснулись, Ланселот услышал, как тихо отворяется тяжелая дверь. Мягкая ладошка скользнула в его ладонь и повела его сквозь тьму. Они миновали двенадцать волшебных дверей и наконец достигли оружейной, в которой он обнаружил свое оружие и доспехи приготовленными и начищенными. Ланселот облачился, они прошли на конюшню — там его конь царапал булыжник блестящей подковой.

— Помните же.

— Конечно, — сказал он и выехал по подъемному мосту под утренний свет.

Пока они крались коридорами Замка Чэриот, у них составился план встречи с Королем Багдемагусом. Ланселоту предстояло приехать в обитель белых монахов, расположенную неподалеку, и там повстречаться с девицей, которой, разумеется, придется бежать от Королевы Морганы, ибо девица ей изменила, выпустив рыцаря из-под стражи. В обители они дождутся появления Короля Багдемагуса, а затем все подготовят к турниру.

К несчастью, Замок Чэриот стоял в Диком Лесу, и Ланселот заблудился, потеряв дорогу к обители. Конь и всадник проблуждали почти целый день, ударяясь о ветви, увязая в зарослях ежевики и быстро теряя терпение. Под вечер он наехал на шатер из легкого красного шелка и без единой души внутри.

Ланселот спешился и заглянул в шатер. Было в нем нечто странное — такая роскошь посреди мглистого леса, а вблизи ни единого человека.

«Странный шатер, — подумал он с печалью, ибо разум его переполняла Гвиневера, — но, верно, я могу провести в нем ночь. Либо он поставлен здесь ради некоего приключения, и тогда мне должно это приключение испытать, либо владельцы его отправились куда-то развлечься, и, стало быть, не будут возражать, если я найду в нем прибежище на ночь. Как бы там ни было, я заблудился и ничего иного мне не остается».

Он расседлал и стреножил коня. Затем снял доспехи и аккуратно повесил их на ближайшее дерево, пристроив поверху щит. Затем поел хлеба, данного ему в дорогу девицей, напился из ручья, бежавшего рядом с шатром, потянулся — да так, что хрустнули суставы, три раза ударил себя по зубам кулаком и улегся в постель. Постель ока-

залась роскошная, накрытая красным шелком в тон шатру. Ланселот завернулся в шелк, уткнулся носом в шелковую подушку, поцеловал ее взамен Гвиневеры и крепко уснул.

Когда он проснулся, ярко светила луна, а на его левой ноге сидел голый мужчина и подстригал себе ногти.

Ланселот, вырванный из объятий любовного сна, дернулся в постели, едва ощутив на себе мужчину. Мужчина же, не менее Ланселота удивленный тем, что в постели кто-то дергается, подпрыгнул и схватился за меч. Ланселот выскочил из постели по другую ее сторону и понесся к дереву, на котором висело его оружие. Мужчина гнался за ним, размахивая мечом и норовя полоснуть сзади. Ланселот успел добежать до дерева невредимым и обернулся с мечом в руке. Странно и страшно выглядели они в лунном свете, оба совершенно голые, с серебристой сталью в руках, сверкающей под первой за осень полной луной.

— Ага! — крикнул мужчина и яро взмахнул мечом, целя по ногам Ланселота. В следующий миг он выронил меч и ухватился обеими руками за живот, согнувшись и шипя. Из рассеченного живота била кровь, черная в свете луны, и какие-то внутренности с их потаенной жизнью виднелись

сквозь открытую рану.

— Не бей! — крикнул мужчина. — Пощади! Не бей меня больше. Ты убил меня.

— Сожалею, — сказал Ланселот. — Но ты даже не подождал, пока я возьмусь за меч.

Мужчина продолжал завывать:

— Пощади! Пощади!

Ланселот воткнул клинок в землю и склонился, чтобы осмотреть рану.

— Я не причиню тебе зла, — сказал он. — Не пугайся. Позволь мне взглянуть.

— Ты распорол мне печень, — обвинительным тоном сказал мужчина.

— Что же, большего, чем «сожалею», я сказать все равно не смогу, даже если придется. Тем более что я и не знаю, из-за чего мы с тобой сражались. Обопрись на мое плечо, я помогу тебе лечь в постель.

Когда он уложил мужчину, остановил кровь и обнаружил, что рана не смертельна, в просвете шатра показалась прекрасная собою дама. Им пришлось запалить светильник, так что она сразу увидела, что случилось, и сразу же завизжала в полный голос. Она бросилась к раненому, и ласкала его, и называла Ланселота убийцей, и была в своем горе крайне неистова.

— Перестань реветь, — сказал мужчина. — Никакой он не убийца. Просто мы оба ошиблись.

— Я лежал в кровати, — пояснил Ланселот, — а он вошел и сел на меня, и оба мы так напугались, что стали биться. Мне жаль, что я его ранил.

— Но ведь это наша кровать, — возопила дама, словно один из Трех Медведей. — Что ты делал в нашей кровати?

— Право же, — сказал Ланселот, — мне очень жаль. Когда я наткнулся на шатер, в нем никого не было, а я заблудился, устал, — вот и решил, что никому не будет вреда, если я проведу в нем ночь.

— Конечно, не будет, — сказал мужчина. — Прошу тебя, проведи здесь ночь, что же до раны, не думаю, что она так уж ужасна. Могу я узнать твое имя?

— Ланселот.

— Ничего себе! — воскликнул мужчина. — Дорогая, ты посмотри, с кем это я бился! Не диво, что он с меня стружку спустил. Диво, что я так легко отделался да и вообще жив остался.

И они настояли на том, чтобы Ланселот провел с ними ночь, а утром указали ему дорогу к обители белых монахов.

Для основной нашей истории эта встреча ни-

каких последствий не имела, не считая того, что рыцарь, коего звали Беллеус, едва он оправился, был введен Ланселотом в братство Круглого Стола. Малый он был великодушный, как раз в таких Артур и нуждался, Ланселот же, доставляя ему место за Столом, желал загладить невольную обиду.

В обители белых монахов, ужасно волнуясь, ожидала его прекрасная девица. Она опасалась, что Ланселот может покинуть ее в беде. Однако, едва застучали по камням копыта, как она, обрадованная, выбежала из башенного покоя навстречу.

— Отец приедет сегодня вечером, — вскричала она. — Ах, как я рада, что вы появились! Я боялась, что вы забудете.

Кривой рот Ланселота еще сильнее скривился в усмешке, когда он услышал выбранное ею слово. Он снял доспехи, искупался и стал ожидать Короля Багдемагуса.

— Странно устроена жизнь в Стране Волшебства, — говорил он себе, стараясь не думать о молодой Королеве. — Все происходит так быстро. Половину времени вообще невозможно понять, где ты и что ты, — и куда, спрашивается, пропал прямо из-под яблони мой кузен, придется еще

и им заниматься. Со всеми этими волшебными королевами, партийными турнирами, людьми, которые лезут ночью к тебе в постель, и бесследно исчезнувшей половиной родни трудно держать себя на верной ноге.

Затем он причесался, расправил складки на ферязи и спустился во двор, чтобы встретить Короля Багдемагуса.

Нет нужды пускаться в длинное описание турнира. Оно имеется у Мэлори. Ланселот отобрал себе в помощь трех из рекомендованных девицей молодых рыцарей и устроил так, что щиты у всех четверых были белые, без гербов и изображений. Такими щитами пользовались рыцари, еще не оперившиеся, Ланселот же настоял на них, зная, что на стороне противника будут сражаться трое из братства Круглого Стола. Ему не хотелось, чтобы они узнали его, ибо это могло возбудить при дворе недобрые чувства. С другой стороны, он полагал своим долгом сразиться с ними — из-за обещания, данного им девице. В партии Короля Северного Уэльса, возглавлявшего силы противника, числилось сто шестьдесят рыцарей, а на стороне Короля Багдемагуса — только восемьдесят. Ланселот сшибся с первым из рыцарей Круглого Стола так, что у того плечо вышло из

сустава. Второго он ударил столь сильно, что бедняга перелетел через круп своего коня и шлем его на семь дюймов зарылся в землю. Третий же получил по шлему такой удар, от которого у этого рыцаря носом хлынула кровь, а лошадь его понесла и пропала из виду. К тому времени, когда Ланселот сломал бедро Королю Северного Уэльса, каждый смог убедиться, что турнир завершен окончательно и бесповоротно.

Дальнейшие события связаны с поисками Лионеля, на которые отправился наш герой. У него только теперь появилось для этого время, — ибо с той поры, как пропал его двоюродный брат, он либо сидел у злокозненных королев под запором, либо выполнял свои обязательства перед девицей, освободившей его оттуда. Перед самым его отъездом Король Багдемагус получил на турнире приз, девица, чуть не плача, благодарила Ланселота, и все обменялись заверениями, что теперь они друзья навек, и что если только впредь кто-либо из них сможет сделать для кого-либо что-либо, довольно будет лишь весточку послать. Затем Ланселот вскочил на коня, определил, в какую сторону ехать, выспросив у нескольких селян, где он находится, и поскакал в сторону леса с яблоней, в котором затерялся его двоюродный

брат. Он полагал, что сможет, как следует прочесав окрестности того места, где он в последний раз видел кузена, взять пусть и остывший след.

В лесу с яблоней, а вернее сказать, прямо под этой самой яблоней, он повстречался с дамой на белой лошади. Яблоня почиталась волшебной, по каковой причине движение возле нее было весьма оживленное.

— Благородная дама, — сказал Ланселот, — не слыхали ли вы о каких-либо приключениях в этом лесу?

— Здесь множество приключений, — отвечала она, — если у тебя достанет мужества пойти им навстречу.

— Я мог бы попробовать.

— Ты, похоже, сильный мужчина, — сказала дама. — И вид у тебя отважный, вот только уши уж больно торчат. Если желаешь, я отведу тебя туда, где живет самый свирепый барон на свете, но только он непременно тебя убьет.

— Это меня не пугает.

— Но я отведу тебя лишь после того, как ты назовешь мне свое имя. Было б убийством вести тебя к нему, когда ты не из числа прославленных рыцарей.

— Меня зовут Ланселотом.

— Так я и думала, — сказала дама. — Ну что же, все складывается очень удачно. Если верить тому, что о тебе говорят, ты, быть может, единственный рыцарь на свете, способный одолеть человека, к которому я тебя поведу. Имя его — сэр Тарквин.

— Хорошо.

— Некоторые считают его сумасшедшим. У него в темнице томятся шестьдесят четыре рыцаря, коих он полонил своими руками, а свободное время он проводит, стегая их колючими лозами. Если ты попадешь к нему в плен, он и тебя будет сечь, раздев донага.

— Похоже, что с этим человеком интересно будет сразиться.

— У него там что-то вроде концентрационного лагеря.

— К таким именно встречам я себя и готовил, — сказал сэр Ланселот. — Артур придумал Круглый Стол как раз для того, чтобы воспрепятствовать такого рода поступкам.

— Но если ты хочешь, чтобы я тебя к нему проводила, ты должен пообещать сделать потом кое-что для меня — то есть, если ты победишь.

— А что именно? — с опаской осведомился он.

— Не бойся, — ответила дама. — Всего лишь одолеть еще одного известного мне рыцаря, кото-

рый досаждает неким девицам.

— Это я вам с радостью обещаю.

— Ну что же, — сказала дама. — Господу виднее, преуспеешь ты или нет. Как бы там ни было, а я стану молиться за тебя, пока ты сражаешься.

Они поскакали и скакали довольно долго, пока не выехали к броду, похожему на тот, у которого Ланселот сражался с Королем Артуром. С деревьев у брода свисали заржавелые шлемы и понурые щиты — числом шестьдесят четыре, — их перевязи и стропила, и лилии раскрытые, и птицы безлапые, и орлы парящие, и львы, идущие анфас, выглядели одинокими и покинутыми. Изъеденная грибком навыйников позеленела. Походило все это на вешалку для разного хлама в чулане лесничего.

Посреди поляны, на самом большом дереве, висел, царя над разбитыми щитами, огромный медный таз. Новее всех был щит Лионеля — серебряный, с червленой перевязью, он выделялся знаком принадлежности к младшей линии рода.

Ланселот знал, что следует делать с тазом и именно это и сделал. Он закрепил свой шлем, подъехал под мокрой листвой к тазу и принялся дубасить в него древком копья, и дубасил, покуда не вышиб дно. Затем и он, и дама какое-то время

мирно стояли под покровом леса в тишине, казалось, оглушенной ужасающим шумом.

Никто к ним не вышел.

— Там дальше замок, — сказала дама.

Молча они подъехали к воротам замка и с полчаса разъезжали перед ними взад и вперед. Шлем и латные рукавицы Ланселот снял и, нахмурясь, в тревоге покусывал ногти.

По прошествии получаса показался скачущий лесом могучий рыцарь. Он так походил на сэра Карадоса — рыцаря, убитого во спасенье Гавейна, что Ланселот испугался. Не только был он того же сложения, но с седельной луки его кобылицы тоже свешивался связанный рыцарь. И что самое странное, щит связанного рыцаря нес те же три чертополоха и стропило, и красный квадрат в верхнем правом углу. Собственно говоря, второй из могучих рыцарей пленил Гахериса — Гавейнова брата. Ланселот окинул рыцаря оценивающим взглядом.

Быть может, не стоит упускать здесь возможности упомянуть о том, что хороший знаток рыцарского стиля нередко опознавал укрытого доспехами рыцаря, даже если тот изменял свой облик и нес щит, лишенный герба и изображений. В дальнейшей своей жизни Ланселот часто

сражался переодетым, потому что иначе никто бы с ним сражаться не стал. И все же Артур и иные, как правило, распознавали его по посадке. В наши дни люди узнают игроков в крикет даже на расстоянии, не позволяющем разглядеть их лица, — то же и тогда.

Ланселот благодаря своей долгой практике знал толк в рыцарском стиле. С минуту понаблюдав за сэром Тарквином, он приметил, что тот не очень крепко сидит в седле. И обернувшись к даме, Ланселот сказал, что если посадка Тарквина и всегда такова, как теперь, то он, пожалуй, сможет освободить его узников. Как оказалось, когда доходило до копий, посадка Тарквина значительно улучшалась, так что критическое замечание Ланселота оказалось бессмысленным, но оно бросает некоторый, пусть и косвенный, свет на искусство копейного боя, а потому заслуживает упоминания.

Главное в этом бою — сноровка наездника. Если человеку доставало отваги в миг столкновения перейти на полный галоп, он обыкновенно и побеждал. Большая же часть бойцов слегка осаживала, что уменьшало их натиск. Вот почему Ланселот раз за разом побеждал в поединке на копьях. Ланселот обладал тем, что дядюшка Скок

обозначал словом *ŭlan*[8]. Порой, пытаясь остаться неузнанным, он скакал нарочито неловко, обнаруживая просвет между собой и седлом. Но бросок, совершаемый им в последний момент, был всегда настоящим, — и зрители, а зачастую и его несчастный противник, успевали воскликнуть: «А-а, Ланселот!» еще до того, как копье без промаха ударяло в цель.

— Честный рыцарь, — сказал Ланселот, — опусти на землю этого израненного человека, пусть отдохнет немного. А мы с тобой померяемся силой.

Сэр Тарквин подскакал к нему и сквозь зубы сказал:

— Если ты рыцарь Круглого Стола, я с огромным удовольствием сначала сброшу тебя на землю, а после выдеру. Я в состоянии сделать это и с тобой, и со всем вашим столом в придачу.

— Похоже, трудностей ты не боишься.

Затем они, как обычно, разъехались, уперли копья и с громом понеслись один на другого. В последний миг Ланселот обнаружил, что он ошибся в суждении о посадке Тарквина. Вспышкой мелькнула мысль, что Тарквин — лучший из

---

**[8] notes: 8**
Порыв (фр.).

когда-либо виденных им копейных бойцов, что мчит он так же стремительно, как сам Ланселот, и целит уверенно.

Рыцари пригнулись, сшиблись, одновременно треснули копья, кони, застигнутые ударом в прыжке, вздыбились и рухнули на спины; переломленные копья взлетели на воздух и поплыли, кружа, как после взрыва, и дама-наездница засмотрелась им вслед. Когда она опустила глаза, оба коня валялись со сломанными хребтами, а рядом недвижно лежали рыцари.

Спустя два часа Ланселот и Тарквин все еще продолжали рубиться.

— Остановись, — сказал Тарквин. — Я хочу поговорить с тобой.

Ланселот остановился.

— Кто ты? — спросил сэр Тарквин. — Ты лучший рыцарь, с каким мне приходилось сражаться. Человека с таким дыханием я еще не встречал. Послушай, у меня в замке шестьдесят четыре пленных рыцаря, и еще сотни иных я убил или покалечил, но столь доброго рыцаря я среди них не видел. Если ты готов помириться со мной и заключить дружбу, я отпущу моих узников.

— Это доброе предложение.

— Я сделаю это ради тебя, будь ты кто угодно,

разве только не один человек. Если же ты — он, мне придется биться с тобою насмерть.

— И кто же это такой?

— Ланселот, — сказал сэр Тарквин. — Если ты — Ланселот, мне нельзя будет ни сдаться, ни заключить с тобой дружбу. Он убил брата моего, Карадоса.

— Я и есть Ланселот.

Сэр Тарквин зашипел под шлемом и нанес искусный удар прежде, чем противник его успел изготовиться.

— Ах, вот как? — вспылил Ланселот. — Мне стоило лишь притвориться, что я — это не я, и пленники оказались бы на свободе. Ты же попытался убить меня врасплох.

Сэр Тарквин продолжал шипеть.

— Я сожалею о Карадосе, — сказал Ланселот. — Он был убит в честном бою и не пытался сдаться. У меня не было даже возможности его пощадить. Он пал как воин.

Они бились еще два часа. Лезвие меча — не единственное оружие, к которому прибегал в бою облаченный в доспехи рыцарь. Иногда они наносили удары венцами щитов, порой били головками эфесов. Вся трава вокруг была забрызгана кровью — маленькими пятнышками

вроде тех, что покрывают форель, но каждое с подобием хвостика, как у головастиков. Порой, собственный вес заставлял их падать друг на друга. Дыхательные отверстия в тяжелых, набитых соломой рыцарских шлемах были настолько малы, что рыцари страдали от удушья. Щиты то и дело грузно повисали, не прикрывая их должным образом.

Все завершилось мгновенно. Никто из них не произнес ни слова. Улучив момент, Ланселот обрушил меч и попал Тарквину по выступу шлема. Оба рухнули, шлем с Тарквина слетел. Оба вытащили кинжалы для ближнего боя. Тарквин попытался подняться, содрогнулся и упал замертво.

Позже, когда Гахерис и дама поили его водой, Ланселот сказал:

— Сколько бы ни было в нем дурного, а все же он был настоящий боец. Я сожалею, что он не сдался.

— Но подумайте о рыцарях, которых он избивал и калечил.

— Он принадлежал к старой школе, — сказал Ланселот. — Именно это мы и намерены искоренить. И все же как воин он делал старой школе честь.

— Он был животным, — сказала дама.

— Кем бы он ни был, он любил своего брата. Послушайте, Гахерис, вы не одолжите мне коня? Мне нужно ехать дальше, а конь мой мертв, бедняга. Если бы вы ссудили мне вашего, вы могли бы отправиться в замок и выпустить Лионеля и всех остальных. Скажите Лионелю, чтобы возвращался ко двору и впредь воздерживался от глупостей. Я же должен ехать с этой дамой. Сделаете это?

— Конечно, вы можете взять моего коня, — сказал Гахерис. — Вы же спасли и коня моего, и меня. Странное дело, вы то и дело спасаете Оркнейцев! В прошлый раз Гавейна. А теперь еще и Агравейна в придачу, он как раз сидит в этом замке. Конечно, вы можете взять моего коня, Ланселот, еще бы.

## 8

Случались с Ланселотом и другие приключения во время этого первого странствия, продлившегося целый год, но подробного рассказа заслуживают, быть может, только два из них. Оба были связаны с консервативной этикой Сильной Руки, против которой Король снарядил свой крестовый поход. В этот период приключения поставляла старая школа, система взглядов норманнского баронства, ибо немногие способны ненавидеть с такой горечью и уверенностью в своей правоте, как члены отстраняемой от власти правящей касты. Рыцарство Круглого Стола шло войной против принципа Сильной Руки, и холерические бароны, для которых он был основным жизненным принципом, хватались за дубины со свирепством отчаяния. Они непременно писали бы протестующие письма в «Тайме», если бы тогда существовала такая газета. Лучшие из них убедили себя в том, что Артура просто влечет новизна, а рыцари его суть ренегаты, изменившие принципам своих пращуров. Худшие поносили его рыцарей такими словами, в сравнении с которыми и «большевик» кажется ласковым про-

звищем, и дозволяли брутальной стороне своих личностей упиваться воображаемыми гнусностями, кои они же этим рыцарям и приписывали. Здравого смысла в этой ситуации оставалось все меньше и меньше, и уже ничто не мешало людям, от природы зверообразным, тешиться россказнями о зверствах противника. Многие из баронов, сопротивление которых приходилось подавлять Ланселоту, распалили себя до такого состояния, что почитали его уже не за человека, а как бы за некий отравляющий газ. Они воевали с ним, не стесняя себя разборчивостью в средствах, они его ненавидели совершенно так, как антихриста, — и при этом искренне верили, что защищают правое дело. Началась гражданская война идеологий.

Однажды ясным летним днем Ланселот скакал через парк, примыкавший к незнакомому замку. По зеленому дерну привольно стояли деревья — вязы, дубы, буки, на сердце у Ланселота лежала тяжесть, он думал о Гвиневере. Перед тем, как он расстался с дамой, которая привела его к замку сэра Тарквина, — просьбу ее Ланселот выполнил, как обещал, — между ними завязался разговор о женитьбе, который его расстроил. Дама сказала, что ему следует либо жениться, либо обзавестись

любовницей, и Ланселот рассердился.

— Я не властен запретить людям говорить, что им нравится, — сказал он, — но жениться я по моим обстоятельствам не могу, а обзаводиться любовницей считаю неправильным.

Какое-то время они проспорили, а после расстались. Ныне, хоть и пережив с тех пор несколько других приключений, он все еще размышлял о данном той дамой совете и чувствовал себя отвратительно.

В воздухе послышался звон, и Ланселот поднял к небу глаза.

Над головой его летел к верхушке одного из вязов отличный ловчий сокол, за ним тянулся поводок, и музыкальный звон колокольцев сливался с чистым посвистом ветра. Вид у сокола был сердитый. Достигнув верхушки, сокол уселся, гневно озираясь и разевая клюв. Поводок трижды обмотался вокруг ближайшего сука. Заметив скачущего в ее сторону сэра Ланселота, птица еще пуще взгневилаеь и вновь попыталась взлететь, но поводок ее не пустил, и она повисла вниз головой, бия по воздуху крыльями. У Ланселота от страха, что птица может обломать оперение, сердце подпрыгнуло к горлу. Через несколько мгновений сокол затих, и остался висеть, медлен-

но вращаясь, задрав по-змеиному голову вправо и вверх; вид у него был постыдный, яростный и смешной.

— О, сэр Ланселот, сэр Ланселот! — закричала совершенно незнакомая благородная дама, вскачь подлетая к нему на коне и явственно пытаясь заломить руки, чему, впрочем, мешали поводья. — О, сэр Ланселот! Я потеряла сокола!

— Вон он, ваш сокол, — сказал Ланселот. — На дереве.

— О Боже, о Боже! — восклицала дама. — Я лишь хотела поучить птицу возвращаться на зов, не спуская с поводка, а шнурок и порвался! Муж убьет меня, если я ее не поймаю! Он такой вспыльчивый и так увлечен соколиной охотой!

— Ну, уж, верно, не убьет.

— Убьет, всенепременно убьет! Еще и задуматься не успеет, а уж убьет! Такой, право, вспыльчивый.

— Возможно, я смог бы ему воспрепятствовать?

— Ах, нет! — отвечала благородная дама. — Это совсем ни к чему. Вы ведь можете покалечить его, а мне никак бы этого не хотелось. Но, быть может, вы смогли бы взамен того взобраться на дерево и достать моего сокола?

Ланселот взглянул на благородную даму, потом на дерево. Потом вздохнул и, как сообщает Мэлори, произнес:

— Что ж, прекрасная дама, раз уж вы знаете мое имя и взываете к моему рыцарскому долгу, я сделаю, что могу, чтобы достать вам этого сокола. Но видит Бог, я не мастер лазать, да и дерево уж очень высокое и мало на нем суков, по которым можно было бы взбираться.

Детство свое он провел, готовясь к тому, чтобы стать бойцом, так что времени лазить по птичьим гнездам, в отличие от других мальчишек, у него не осталось. И просьба дамы, не затруднившая бы тех, кто рос подобно Артуру или Гавейну, его поставила в тяжелое положение.

Печально снимал Ланселот доспехи, косо поглядывая время от времени на дурацкое дерево, снимал, пока не остался в одних штанах и рубахе. Затем он мужественно устремился на штурм нижних ветвей, а благородная дама бегала внизу и все тараторила что-то о соколах, о мужьях и о том, какая хорошая нынче погода.

— Конечно, — повторял Ланселот; глаза его были полны мелкого древесного сора, а лицо кривила уродливая гримаса. — Конечно. Конечно.

На верхушке дерева сокол уже совершенно

запутался в поводке, обмотавшем ему, как это обычно случается, горло и крылья, и поскольку соколу казалось, что поводок напал на него, пытаясь убить, Ланселоту пришлось для спокойствия птицы протянуть ей в качестве подставки голую руку. Сокол вцепился в руку с истерической яростью, но Ланселот терпеливо разматывал поводок, словно не замечая режущей боли. Сокольятники редко жалуются, когда сокол причиняет им боль. Они для этого слишком увлечены.

Отпутав наконец-то сокола от ветвей, Ланселот сообразил, что слезть с помощью одной только руки ему не удастся. Он крикнул даме, казавшейся совсем маленькой у подножия дерева:

— Послушайте, я собираюсь привязать к опутенкам тяжелую ветку, если мне удастся ее отломать, и сбросить птицу на землю. Я выберу не слишком тяжелую, они будут падать плавно, и я отброшу их в сторону, чтобы сучья им не мешали.

— Ах, только поосторожней! — крикнула дама.

Поступив по сказанному, Ланселот принялся неуверенно спускаться. Путь оказался трудным, попадались места, где ему приходилось полагаться лишь на свое умение удерживать равновесие. До земли оставалось футов двадцать, когда

прискакал галопом толстый рыцарь в полном вооружении.

— А, сэр Ланселот! Вот ты мне и попался! — заорал рыцарь.

Дама подобрала сокола и пошла было восвояси.

— Госпожа! — сказал Ланселот, дивясь, как это все здесь знают его по имени.

Толстяк аж завизжал:

— Оставь ее в покое, вероломный убийца! Это моя жена, понял? Она сделала лишь то, что я ей приказал. Мы тебя провели. Ха-ха! Теперь ты попался мне без твоих знаменитых доспехов, и убить тебя не труднее, чем утопить котенка!

— Не очень-то это по-рыцарски, — с гримасой сказал Ланселот. — Ты мог бы, по крайности, дать мне мой меч, и мы бы честно сразились.

— Дать тебе меч, щенок! За кого ты меня принимаешь? Мне вся эта новомодная чушь ни к чему. Когда я ловлю человека, питающегося жареными младенцами, я убиваю его, как гадину, потому как он гадина и есть.

— Но послушай…

— Слезай, слезай! Не целый же день мне тебя дожидаться. Слезай и получи свое, как подобает мужчине, ежели ты мужчина.

— Уверяю тебя, что я жареных младенцев не ем. Лицо у толстяка стало совершенно лиловое, и он завопил:

— Лжец! Лжец! Слезай сию же минуту! Ланселот сидел на ветке, болтая ногами и покусывая ноготь.

— Так ты хочешь сказать, — спросил он, — что намеренно выпустил сокола с поводком, чтобы заполучить возможность убить меня раздетого?

— Слезай!

— Если я слезу, я постараюсь тебя убить.

— Шут гороховый! — рявкнул толстый рыцарь.

— Ладно, — сказал Ланселот, — ты сам виноват. Не надо было тебе разыгрывать грязных трюков. В последний раз спрашиваю, ты позволишь мне вооружиться, как подобает джентльмену?

— Будь уверен, не позволю.

Ланселот обломил подгнивший сук и спрыгнул на землю так, что конь его оказался между ним и рыцарем. Толстый рыцарь поскакал на него и попытался, перегнувшись через коня, снести Ланселоту голову, но Ланселот отбил удар суком, и меч рыцаря завяз в древесине. Затем Ланселот отнял меч у его владельца и перерубил владельцу шею.

— Уходи, — сказал Ланселот благородной да-

ме. — И перестань завывать. Муж у тебя был дурак, а на тебя мне смотреть противно. Я ничуть не жалею о том, что прикончил его.

Впрочем, он об этом жалел.

Последнее приключение также было связано с предательством и с дамой. Молодой человек печально ехал через низинные земли, в те дни еще не осушенные и остававшиеся, возможно, самой дикой частью Англии. Тайные тропы, известные только жившим в болотах саксам, побежденным Утером Пендрагоном, во всех направлениях прорезали болота, и всю эту пахнущую морем, придавленную низким небом равнину заполняло утиное кряканье. Бухали выпи, плавно скользили над камышами болотные луни и миллионы свиязей, крякв и нырков пересекали небо разнообразными клиньями, походя на бутылки из-под шампанского, уравновешенные с помощью нимба из крыльев. По соленым болотам прогуливались, кормясь, прилетевшие со Шпицбергена гуси, изгибая причудливыми петлями шеи, и низинные люди ловили их в сети или в силки. Животы у низинных людей были в крапинку, ноги же лапчатые — так, во всяком случае, верили во всей остальной Англии. Чужаков они, как правило, убивали.

Ланселот скакал по прямой дороге, ведущей, казалось, в никуда, и вдруг увидел, что навстречу ему опрометью несутся два всадника. Приблизясь, они оказались рыцарем и дамой. Впереди мчалась сломя голову дама, а рыцарь гнался за ней. Меч его блестел на фоне тусклого неба.

— Эй! Эй! — закричал Ланселот, подлетая к ним.

— Помоги! — крикнула дама. — О, спаси меня! Он хочет отрубить мне голову!

— Оставь ее! Убирайся! — орал рыцарь. — Это моя жена, и она повинна в прелюбодействе.

— Я невиновна, — возопила дама. — О, сэр, спасите меня от него. Это жестокое, омерзительное животное. Я лишь ласково обошлась с моим кузеном-германцем, а он меня приревновал. Почему я не могу приласкать моего кузена-германца?

— Блудница! — гаркнул рыцарь и попытался достать ее мечом.

Ланселот направил коня между ними и сказал:

— Достойно ли так нападать на женщину? Мне все равно, кто из вас виноват, но женщин убивать не дозволено.

— С каких это пор?

— С тех пор, как в Англии правит Король Артур.

— Она мне жена, — сказал рыцарь. — А тебе до нее нет никакого дела. И она изменница, что бы она ни болтала.

— О, нет, я совсем не такая, — сказала дама. — А ты бандит. Да еще и пьяный.

— А почему я пью, а? И коли на то пошло, пьяница ничем не хуже прелюбодейки.

— Угомонитесь, — сказал Ланселот, — вы, оба. Вот еще не было печали! Я поскачу между вами, пока вы не поостынете. Насколько я понимаю, сэр, вы не станете сражаться со мной ради того, чтобы убивать эту даму?

— Да уж, конечно, не стану, — сказал рыцарь. — Я понял, что вы Ланселот, едва увидев серебро на щите и червленую перевязь; я не дурак, чтобы драться с вами, особенно из-за такой сучки, как эта. Какого дьявола вы лезете не в свое дело?

— Я вас оставлю, — сказал Ланселот, — как только вы дадите мне рыцарское слово никогда не убивать женщин.

— Ну, так я вам его не дам.

— Не дашь, — подтвердила дама. — А и дашь, так не сдержишь.

— Там вон какие-то болотные солдаты подбираются к нам сзади, — сказал рыцарь. — Оглянитесь. Вооружены до зубов.

Ланселот придержал коня и оглянулся. В тот же миг рыцарь, наклонясь, отсек даме голову. Когда Ланселот, не углядевший никаких болотных солдат, вновь перевел на них взгляд, он увидел, что дама скачет с ним рядом уже без головы. Красная струя толчками била из шеи, а дама медленно клонилась влево и наконец упала на дорогу. Весь конь Ланселота был залит кровью.

У Ланселота побелели крылья носа.

— Я убью тебя за это, — сказал он.

Рыцарь мгновенно спрыгнул с коня и улегся на землю.

— Не убивай! — крикнул он. — Пощади! Она повинна в прелюбодействе.

Ланселот тоже спешился и вытащил меч.

— Встань, — сказал он. — Встань и сражайся, ты, ты…

Рыцарь подполз к нему и обхватил его руками за бедра. Подобравшись так близко к мстителю, он не давал ему толком взмахнуть мечом.

— Пощады!

От его малодушия Ланселота мутило.

— Вставай, — повторил он. — Вставай и сражайся. Послушай, я сниму доспехи и буду биться одним лишь мечом.

Но рыцарь ответил ему только криком:

— Пощады! Пощады!

Ланселота затрясло, не от злости на рыцаря, но от жестокости, которую он в себе ощутил. С отвращением глядя на меч, он оттолкнул от себя рыцаря.

— Посмотри, сколько крови, — сказал он.

— Не убивай меня, — сказал рыцарь. — Я сдаюсь. Сдаюсь. Ты не можешь убить человека, просящего о пощаде.

Ланселот вложил меч в ножны и пошел от рыцаря прочь, чувствуя себя так, будто он уходит от собственной души. Он ощущал в своем сердце жестокость и трусость — они-то и делали его отважным и добрым.

— Вставай, — сказал он. — Я не трону тебя. Вставай и уходи.

Рыцарь вгляделся в него, стоя на четвереньках, словно собака, и поднялся, опасливо пригибаясь к земле.

Ланселот отошел в сторону, и его стошнило.

У рыцарей Стола, отправлявшихся на поиски приключений, стало обычаем вновь съезжаться в Карлион на праздник Пятидесятницы, дабы поведать о том, что с ними случилось. Артур обнаружил, что рыцари куда охотнее сражаются за новое Право, если потом им выпадает возмож-

ность поведать об этом. В большинстве своем они предпочитали приводить с собой плененных ими противников в качестве свидетелей правдивости своих рассказов. Это походило на то, как если бы Главный инспектор полиции в некой весьма удаленной области Африки посылал в джунгли своих суперинтендантов, поручая им привести к следующему Рождеству всех вождей диких племен, каких они смогут наставить на истинный путь. Немаловажным было и то, что королевский двор производил на дикарских вождей сильное впечатление, и зачастую они возвращались домой совсем другими людьми.

Праздник, состоявшийся вслед за первым странствием Ланселота, едва не окончился полным провалом. Явились несколько плененных Оркнейцами убогих великанов, приверженцев Сильной Руки, явились и признали себя вассалами Короля, однако они почти потонули в потоке рыцарей, поверженных Ланселотом. «Чей вы пленник?» — «Ланселота». «А вы, мой добрый друг?» — «Ланселота». Спустя недолгое время этот ответ уже выкрикивал весь Стол. Артур говорил: «Добро пожаловать в Карлион, сэр Беллеус, могу ли я спросить у вас, кому из моих рыцарей вы подчинились?» — «Ланселоту», — хором выкри-

кивал Стол. А сэр Беллеус, немного покраснев и гадая, не над ним ли все смеются, сдавленным голосом отвечал: «Да, я сдался сэру Ланселоту».

Пришел сэр Бедивер с рассказом о том, как он отсек голову своей прелюбодейке-жене. Голову он принес с собой, и ему было наказано в виде епитимьи отнести ее к Папе, — в дальнейшем он стал весьма богобоязненным человеком. Явился угрюмый Гавейн и рассказал на смеси шотландского с английским о том, как его спасли от сэра Карадоса. Пришел во главе шестидесяти четырех рыцарей с заржавленными щитами Гахерис, поведавший о спасении от сэра Тарквина. Появилась в крайне восторженном состоянии дочь Короля Багдемагуса, дабы сообщить о турнире с Королем Северного Уэльса. Помимо них явилось множество людей, участвовавших в приключениях, которые мы опустили, — преимущественно рыцари, сдавшиеся сэру Ланселоту, когда он странствовал в обличий сэра Кэя. Вы, может быть, помните по первой книге, что Кэй был отчасти невоздержан на язык, — это не снискало ему особой любви при дворе. Ланселоту довелось однажды спасти Кэя от трех рыцарей, гнавшихся за ним. После того, желая, чтобы Кэй добрался до двора невредимым, Ланселот, покуда Кэй спал,

поменялся с ним доспехами — и в дальнейшем рыцари, нападавшие на Ланселота в уверенности, что перед ними сэр Кэй, нарывались на самый большой в своей жизни сюрприз, тогда как рыцари, встречавшие Кэя в Ланселотовых доспехах, обходили его стороной. Среди тех, кто сдался переодетому Ланселоту, оказались Гавейн, Ивейн, Саграмор, Эктор Окраинный и еще трое. Явился также и рыцарь по имени сэр Мелиот Логрский, спасенный при сверхъестественных обстоятельствах.

Все они явились как пленники, но не Короля Артура, а Гвиневеры. Ланселот продержался вдали от нее целый год, но и у его выносливости имелись пределы. Непрестанно помышляя о ней и томясь страстным желанием вернуться, он позволил себе одну-единственную поблажку. Он посылал побежденных рыцарей преклонять пред нею колени. Это было роковое решение.

## 9

Трудно объяснить поведение Гвиневеры, если только не согласиться с тем, что можно любить двоих сразу. Вероятно, одинаково любить двух людей невозможно, но любовь ведь бывает разная. Женщина в одно и то же время любит и детей своих, и мужа, да и мужчиной, сердце которого без остатка принадлежит одной, нередко овладевают похотливые помыслы относительно другой. Что-то похожее случилось и с Гвиневерой, полюбившей Француза и не утратившей любовной привязанности к Артуру. Когда все это началось, и она, и Ланселот едва-едва вышли из детского возраста, а Король был старше их восемью годами. Двадцатидвухлетнему человек тридцати лет представляется стоящим на пороге дряхлости. Брак между Гвиневерой и Артуром был, что называется, «браком по сговору». Это означает, что заключили его в соответствии с договором между Артуром и Королем Леодегрансом, мнения же Гвиневеры никто не спросил. Их союз оказался успешным, что вообще присуще «бракам по сговору», и до того, как на сцене появился Ланселот, молодая женщина обожала мужа, несмотря

даже на его преклонные лета. Она питала к нему уважение, смешанное с благодарностью и любовью, она желала ему блага и чувствовала себя под надежной защитой. Этим чувства ее не исчерпывались — мы можем сказать, что в них присутствовало все, кроме романтической страсти.

И вот стали появляться пленники. Королева, едва перешагнувшая двадцатилетний рубеж, зардевшись, сидит на троне, а перед ней — залитый светом зал, наполненный благородными рыцарями, и каждый стоит, опустившись на одно колено. «Чей вы пленник?» — «Я пленник Королевы, присланный сэром Ланселотом, дабы Королева решила, жить мне или же умереть». — «А вы чей пленник?» — «Королевы, а сразил меня Ланселот.» Имя сэра Ланселота — у всех на устах, он — первый из рыцарей мира, наилучшее соотношение нанесенных и пропущенных ударов, — оно лучше даже, чем у Тристрама, — изысканный, милосердный, уродливый, неодолимый: и всех этих рыцарей он посылает к ней. Словно в день рождения — столько подарков. Такое только в книгах бывает.

Гвиневера сидела, приосанясь, и царственно наклоняла голову, приветствуя своих пленников.

Глаза ее сияли ярче короны.

Ланселот явился последним. Заволновались факельщики у дверей, шелест пронесся по залу. Стихло лязганье ножей, тарелок и кружек, замолкли дружеские клики, за миг до того напоминавшие птичий базар на острове Св. Кильды, прервались зычные требования принести еще баранью ногу или пинту меда — и лица белыми пятнами повернулись к дверям. В дверях стоял Ланселот, уже не в доспехах, но в великолепном бархатном облачении, с фестонами и ромбовидными прорезями. Он немного замешкался в темном проеме, некрасивый и добродушный, не понимая, отчего все замолкли, и вышел на свет. Затем лица вновь поворотились к столу, птичий гомон возобновился, Ланселот подошел к Королю, чтобы поцеловать ему руку.

Эта минута все и решила. И может быть, лучше рассказать о ней, чем пускаться в какие-то объяснения.

— Ну, Ланс, — радостно сказал Артур, — повеселил же ты нас, можешь не сомневаться. Дженни едва усидела на троне, увидев всех твоих пленников.

— Это были ее пленники, — сказал Ланселот. Королева и он старались не встречаться глазами.

Их глаза уже встретились, пока он стоял на пороге, — чуть ли не со щелчком, какой слышишь, когда смыкаются два магнита.

— Прости, но я поневоле считаю их и моими тоже, — сказал Король. — Они принесли мне в подарок примерно три графства.

Ланселот чувствовал, что нельзя допустить, чтобы наступило молчание. Он заговорил, пожалуй, слишком поспешно.

— Три графства, — сказал он, — не такое уж и приобретение для Императора всей Европы. Послушать тебя, так ты никогда и не побеждал Диктатора Рима. Как там дела в твоих доминионах?

— Дела там паршивые, Ланс. Что толку побеждать Диктатора, если ни тебе, ни другим не удается затем цивилизовать побежденных. И какой смысл становиться Императором всей Европы, если по всей Европе люди только и делают, что режутся, словно безумцы?

Гвиневера поддержала своего героя в попытках предотвратить молчание. Впервые они действовали как партнеры.

— Ну какой же ты странный, Артур, дорогой, — сказала она. — Ты год за годом воюешь, подчиняешь себе целые страны, выигрываешь

сражения, и ты же теперь говоришь, что сражаться дурно.

— Так ведь и дурно. Дурнее ничего нет на свете. О Господи, ну не объяснять же мне все сначала.

— Не надо.

— А что Оркнейская партия? — торопливо спросил молодой человек. — Как поживает твоя знаменитая цивилизация, Сила на стороне Права? Не забывай, я ведь отсутствовал целый год.

Король подпер ладонями щеки и с несчастным видом уставился в стол между своими локтями. Он был добрым, совестливым, мирным человеком, на свое несчастье еще в юные годы попавшим в руки гениального учителя. Вдвоем они выработали теорию, согласно которой убивать и тиранить людей — дурно. В качестве противодействия такого рода деяниям они выдвинули идею Круглого Стола — идею смутную, каковы и все идеи демократии, спортивного духа или морали, — и вот теперь, после стольких усилий по водворению мира на земле он обнаружил, что руки у него по локоть в крови. Он не особенно кручинился об этом, когда чувствовал себя здоровым и крепким, но в минуты слабости стыд и неуверенность томили его. Среди нордических мужей, додумавшихся до цивилизации или воз-

желавших иной славы, чем слава Аттилы-гунна, он был одним из первых, и битва с хаосом порой казалась ему бессмысленной. Он часто думал, что, может быть, для всех его павших воинов было бы лучше остаться живыми, даже если бы жить им пришлось под властью безумия и тирании.

— С Оркнейской партией худо, — сказал он. — Как и с цивилизацией, если не считать твоих последних достижений. Перед твоим приходом я считал себя императором пустого места — ныне я ощущаю себя императором трех графств.

— Так в чем там дело с Оркнейцами?

— О Господи, неужели вместо того, чтобы радоваться твоему возвращению, мы должны обсуждать все это? Похоже, должны.

— В Моргаузе, — сказала Королева.

— Отчасти. Теперь, после смерти Лота, Моргауза крутит любовь со всеми, кого ей только удается прибрать к рукам. Как я жалею, что Король Пеллинор по несчастной случайности прикончил его! Это дурно сказалось на детях Моргаузы.

— Что ты имеешь в виду? Король поскреб стол и заявил:

— Лучше бы ты не побеждал Гавейна, когда переоделся Кэем. А еще бы лучше было тебе не одерживать столь блестящих побед, спасая его

вместе с братьями от Карадоса и Тарквина.

— Но почему?

— Круглый Стол, — медленно произнес Король, — был замечательной выдумкой. Необходимо было изобрести нечто, позволяющее любителям сражений самовыражаться, не причиняя большого вреда. Я не вижу иных способов достичь этого, кроме установления моды, которая увлекла бы их, словно детей. Чтобы привлечь этих людей на нашу сторону, пришлось создать подобие банды — как для школьников-подростков. Вступающий в банду обязан приносить непонятную ему клятву, что он-де будет сражаться лишь во имя наших идей. Если угодно, назови это насаждением цивилизации. Когда я все это выдумывал, мне казалось, будто цивилизация и сводится к тому, чтобы не извлекать выгод из чьей-то слабости — не насиловать девиц, не грабить вдов, не убивать лежачего. Человек обязан вести себя цивилизованно. А в итоге все свелось к спортивному соперничеству. Мерлин всегда говорил, что спортивный дух — это проклятие нашего мира, и так оно и есть. Выдуманная мной схема оказалась неверной. И теперь все эти рыцари обратили ее в фетиш. Они теперь соревнуются. Игровая мания — так называл это Мерлин. Все они

сплетничают, подзуживают друг друга, препираются насчет того, кто кого последним сбросил с коня, кто спас больше девственниц и кто лучший рыцарь Стола. Я сделал стол круглым именно для того, чтобы этого избежать, — не помогло. А пуще всех помешались на этом Оркнейцы. Я думаю, что неуверенность в себе, привитая им матерью, заставляет их стремиться к надежному положению в самом верху общего списка. Им необходимо превзойти всех остальных, дабы как-то преодолеть то, что она с ними сотворила. Вот почему я предпочел бы, чтобы ты не побеждал Гавейна. Он малый достойный, но в глубине души он затаит злобу против тебя. Ты ухудшил его турнирные показатели, а это — часть их достояния, которая ныне для моих рыцарей стала важней, чем их души. Если ты не будешь осторожен, Оркнейская партия начнет на тебя охоту точно так же, как на бедного Пеллинора. Положение скверное. Ради своей так называемой чести люди готовы совершать самые низменные поступки. Я сожалею, что выдумал такие вещи, как честь, спортивный дух и цивилизация.

— Что за речь! — сказал Ланселот. — Не волнуйся. Ничего мне Оркнейцы не сделают, даже если затеют охоту. Что же до неправильности

твоей схемы, так это полная ерунда. Круглый Стол — лучшее из того, что существовало когда бы то ни было.

Артур, чья голова так и покоилась на ладонях, поднял взгляд. Он увидел, что друг его и жена не отрывают один от другого глаз, и что зрачки их расширены, как у безумцев. И Артур поспешил уткнуться взглядом обратно в тарелку.

## 10

Дядюшка Скок повертел в руках шлем и сказал:

— У тебя весь намет иссечен и стерт. Нужно поставить новый. Разгуливать с порубленным наметом дело, конечно, почетное, но сохранять его, когда есть чем его заменить, это уже постыдно. Такая манера сродни похвальбе.

Они беседовали в маленькой кладовке с выходящим на север окном, холодным и серым. Голубоватый свет лежал на стали, словно застывшая нефть.

— Да.

— Как показал себя Весельчак? Он по-прежнему остр? Тебе нравится, как он сбалансирован?

Весельчак был изготовлен Галандом, величайшим оружейником Средних Веков.

— Да.

— Да! Да! — воскликнул дядюшка Скок. — Ты кроме «да» сказать что-нибудь можешь? Что на тебя, черт подери, нашло, в конце-то концов?

Ланселот поглаживал султанчик из перьев, который носил в виде отличительного знака на шлеме, сейчас бывшем в руках у дядюшки Скока.

Султанчик был съемный. Ныне, под влиянием кинематографа и рекламных мультфильмов, люди вбили себе в головы, что рыцари обыкновенно украшали свои доспехи плюмажами из страусовых перьев, кивавшими, словно стебли пампасной травы. Ничего подобного не было. Султан Кэя, к примеру, имел форму жесткого, плоского веера, закрепленного вдоль шлема. Султан этот был с тщанием изготовлен из глазков павлиньих перьев и вид имел точь-в-точь такой, как если бы в голову Кэя стоймя воткнули негнущийся павлиний веер. На пук плюмажных перьев он вовсе не походил и уж никак не кивал. Скорее, он напоминал жировой рыбий плавник, только цветастый. Ланселот, не любивший кричащих красок, обходился несколькими горловыми перьями цапли, перевязанными серебряной нитью, отвечавшей серебру его щита. Вот их-то он и поглаживал. Наконец он резко швырнул султанчик в угол и встал. И принялся порывисто расхаживать по узкой комнатушке.

— Дядя Скок, — сказал он, — ты помнишь, как я просил тебя не говорить со мной об одной вещи?

— Помню.

— Как ты считаешь, Гвиневера любит меня?

— Так ты у нее и спроси, — с французской ло-

гичностью отвечал ему дядя.

— Что же мне делать? — воскликнул рыцарь. — Что делать?

Если трудно объяснить поведение Гвиневеры, любившей двух мужчин одновременно, то объяснить поведение Ланселота почти невозможно. Во всяком случае, это было бы невозможно сделать в наше время, настолько свободное от суеверий и предрассудков, что всем нам только и остается вести себя так, как нам больше по нраву. Почему Ланселот не переспал с Гвиневерой или вообще не сбежал с женой своего героя, как поступил бы сегодня любой просвещенный человек?

Одна из причин его нерешительности состояла в том, что он был христианином. Современному миру как-то свойственно забывать, что в отдаленном прошлом имелось некоторое количество христиан, а во времена Ланселота даже и протестантов-то не существовало, — разве что Иоанн Скот Эригена. Церковь, под влиянием коей Ланселот произрос, — а избегнуть ее влияния было весьма затруднительно, — прямо запрещала ему совращать жену своего лучшего друга. Другой помехой, в значительной мере мешавшей ему делать то, что нравится, была сама идея рыцарства, или цивилизации, до которой первым додумался

Артур, внедривший ее в сознание юного Ланселота. Возможно, какой-нибудь скверный барон, ярый радетель Сильной Руки, и мог бы сбежать с Гвиневерой, даже несмотря на наставления Церкви, потому что отнимать жену у ближнего своего — это и есть одна из форм силового правления. Тут уж кто смел, тот и съел. Но детство Ланселота прошло в рыцарских упражнениях и в размышлениях над теорией Короля Артура. Он верил так же твердо, как и Артур, как и самый закоснелый христианин, что существует такая штука, как Правота. И наконец, имелось препятствие, коренившееся в самой его натуре. Где-то в потайных уголках его странного сознания, в этом злосчастном и путаном лабиринте, в самом его основании, у него еще в детстве разладилось нечто такое, чего мы объяснить не возьмемся. И сам он не смог бы этого объяснить, а уж мы и подавно. Он любил Артура, любил Гвиневеру и ненавидел себя. Лучший из рыцарей мира: всякий с завистью думал о том уважении к себе, которое он, конечно же, должен был питать. Но Ланселот никогда не верил ни в доброту свою, ни в добродетель. Под безобразной и величественной оболочкой, под этим лицом Квазимодо таились стыд и ненависть к себе, вживленные ту-

да еще в раннем детстве чем-то, что теперь было уже слишком поздно выискивать. Ведь с такой роковою легкостью удается заставить ребенка уверовать в собственную никчемность!

— А вот это, насколько я понимаю, — сказал дядюшка Скок, — зависит главным образом от того, что намерена делать Королева.

## 11

В этот раз Ланселот задержался при дворе на несколько недель, и с каждой неделей ему становилось все труднее уехать. К тому мудреному положению, в котором он оказался и которое можно с некоторыми натяжками назвать «бытовой ситуацией», добавлялась еще некая его личная странность, — ибо он придавал целомудрию значение гораздо большее, чем это принято в нашем столетии. Подобно человеку, описанному лордом Теннисоном, он верил, что обладать силой, вдесятеро превосходящей обычную, может лишь тот, кто сохраняет душевную чистоту. Он-то как раз и обладал такой силой, так что это средневековое ее объяснение пришлось ему в самую пору. А из этого верования следовало, что, отдавшись телом и душой Королеве, он утратит свою десятикратную мощь. По этой причине, равно как и по всем остальным, он противостоял Гвиневере с отвагой отчаявшегося человека. Нельзя сказать, чтобы она получала от этого удовольствие. В конце концов дядюшка Скок сказал ему:

— Лучше бы тебе уехать. Ты и так уже потерял

в весе почти два стоуна. Если же ты уедешь, так хоть что-то изменится — либо в ту, либо в эту сторону. Чем быстрее все кончится, тем лучше.

Ланселот сказал:

— Я не могу.

Артур сказал:

— Прошу тебя, останься.

Гвиневера сказала:

— Уезжай.

Случилось так, что второе из предпринятых им странствий в поисках приключений перевернуло всю его жизнь. При дворе много толковали о некоем Короле Пеллесе, хромце, жившем в кишащем привидениями замке Корбин. Короля считали немного тронутым, поскольку он верил, что приходится родичем Иосифу Аримафейскому. В наши дни подобные люди становятся британскими Израэлитами и проводят остаток дней, пророчествуя о конце света, точную дату коего они тщатся определить по измерениям протяженности коридоров в пирамиде Хеопса. Однако Король Пеллес если и спятил, то лишь отчасти, замок же его действительно навещали призраки. Была в нем одна комната с бесчисленными дверьми, через которые ночами являлись разные существа и нападали на всякого, кому

случалось там оказаться. Артур решил, что стоит послать туда Ланселота, дабы он расследовал все на месте.

На пути в Корбин с Ланселотом случилось одно странное приключение, о котором он многие годы вспоминал, терзаясь горестными сожалениями. Он почитал это приключение прощальным свершением своего целомудрия и во все последующие двадцать лет не расставался с убеждением, что до того, как это случилось, он был слугой Божиим, а после стал лжецом.

У подножия замка Корбин лежала деревня, с виду весьма благоденствующая, — мощеные улочки, каменные дома, старинный мост. Замок стоял на холме с одного края долины, а по другую ее сторону, также на холме, возвышалась дозорная башня. Все население деревни высыпало на улицу, будто поджидая его, и сам воздух словно бы задремал, казалось, что солнце проливается на землю золотистым дождем. Ланселот испытывал странное чувство. Должно быть, кровь его была перенасыщена кислородом, ибо каждый камень в каждой стене, и все краски долины, и радостная поступь коня — все воспринималось им с необычайной отчетливостью. Люди, жившие в зачарованной деревне, знали его по имени.

— Добро пожаловать, сэр Ланселот Дюлак, цвет рыцарства! — кричали они. — Ибо с твоей помощью мы надеемся быть избавлены от беды.

Ланселот придержал коня и заговорил с ними.

— Почему вы взываете ко мне? — спросил он, думая о своем. — Откуда вам ведомо мое имя? И что тут у вас происходит?

Они отвечали все хором, выговаривая каждое слово торжественно и в лад.

— Ах, любезный рыцарь, — — говорили они. — Видишь ли ты башню на том холме? В сей башне заключена злосчастнейшая дама, вот уже много лет как помещенная волшебством в кипящую воду, в которой и варится, и никто не может спасти ее, кроме лучшего рыцаря в мире. На прошлой неделе к нам заезжал сэр Гавейн, но и он ей помочь не смог.

— Если сэр Гавейн этого сделать не смог, — сказал Ланселот, — то уж, наверное, и я не смогу.

Не нравились ему соревнования подобного рода. Звание лучшего рыцаря в мире таило в себе ту опасность, что рыцарские качества его обладателя то и дело подвергались проверке, а значит, неминуемо должен был настать день, когда ему придется с этим званием расстаться.

— Пожалуй, я лучше поеду, — сказал он и тро-

нул поводья.

— Ну, нет, — с серьезным видом ответили люди. — Вы ведь сэр Ланселот, мы знаем. Уж вы-то вызволите нашу госпожу из кипящей воды.

— Мне ехать надо.

— Но она терпит муки.

Ланселот склонился к холке коня, перенес через круп правую ногу и очутился на земле.

— Говорите, что я должен делать, — сказал он. Люди обступили его, составив процессию, а мэр деревни взял его под руку. Все вместе они поднялись по холму к дозорной башне, — молча, один только мэр объяснял по пути, как тут все приключилось.

— Наша владетельная госпожа, — рассказывал мэр, — почиталась в этом краю первой красавицей.

И оттого Королева Моргана ле Фэй с Королевой Северного Уэльса исполнились ревности к ней и из мести околдовали. Пять лет она провела в кипящей воде и терпела ужасные муки. Выручить же ее может лишь лучший из рыцарей мира.

Когда они подошли к дверям башни, случилась еще одна странность. Дверь, как водилось в то давнее время, была снабжена решеткой и засовы имела тяжелые. В каменной кладке проема видне-

лись глубокие прорези, в них входили массивные брусья решетки — достаточно крепкие, чтобы устоять против боевого тарана. Теперь же эти брусья сами собой утонули в стене, а железные запоры, поворотясь с мучительным скрежетом, отомкнулись. Дверь тихо отворилась.

— Входите, — сказал мэр, а люди застыли снаружи, ожидая, что случится.

На первом этаже башни располагалась печь, гревшая заколдованную воду. Сюда Ланселот заходить не стал. На втором этаже перед ним открылась комната, до того заполненная паром, что он не мог ничего разглядеть. Он вошел в эту комнату и, словно слепец, двинулся вперед, держа перед собой сцепленные руки, и шел, пока не услышал, как кто-то взвизгнул. Сквозняк, которым потянуло от столь долгое время закрытой двери, немного рассеял пар, и Ланселот увидел взвизгнувшую даму. Она смущенно сидела в ванне и смотрела на него, — очаровательная миниатюрная дама, голая, по выражению Мэлори, как игла.

— Вот так так! — сказал Ланселот.

Девица покраснела, — насколько возможно покраснеть, сидя в кипящей воде, — и тонким голосом произнесла:

— Прошу вас, подайте мне руку.

Ей было ведомо, как снимается заклятие.

Ланселот подал ей руку, она поднялась и вышла из ванны, и все, кто остался снаружи, закричали «ура», точно знали, что происходит внутри, и принесли ей одежду, и положенное нижнее платье, и деревенские дамы кружком обступили дверь и стояли, покамест розовая дева одевалась.

— До чего же приятно снова одеться! — сказала она.

— Куколка моя! — воскликнула толстая старуха, как видно, нянчившая ее малолеткой, и зарыдала от радости.

— Это все сэр Ланселот! — закричали жители деревни. — Трижды ура сэру Ланселоту!

Когда смолкли приветственные клики, прокипяченная дева подошла к Ланселоту и вложила свою ладонь в его.

— Благодарю вас, — сказала она. — Не пойти ли нам теперь в часовню и не воздать ли хвалу не только вам, но и Господу?

— Мы просто обязаны, — сказал Ланселот.

И они пришли в маленькую чистенькую часовню и возблагодарили Бога за милости Его. Они преклонили колена между украшенных росписью стен, на которых какие-то важного вида

святые в голубоватых нимбах стояли, приподнявшись на цыпочки, дабы избегнуть искажения перспективы, и радостные краски витражей изливались на склоненные головы молящихся. Краски были: кобальтово-синяя, лиловая, получаемая с помощью марганца, желтая, получаемая при посредстве меди, красная и зеленая, что опять-таки достигается добавлением меди. Вся часовня была до краев наполнена красками. Служба подходила уже к середине, когда Ланселот вдруг понял, что ему было даровано именно то, о чем он всегда мечтал, — возможность содеять чудо.

На другой стороне долины Король Пеллес, прихрамывая, вышел из замка — выяснить, что там за волнения происходят в деревне. Король взглянул на щит Ланселота, рассеянно поцеловал свое едва не сварившееся дитя, наклонясь над ним, словно аист, клюющий непочтительного птенца, и сказал:

— Бог мой, да ведь вы — сэр Ланселот! И вы, как я вижу, вытащили мою дочь из этой дурацкой посудины. Как вы добры! Все это было предсказано еще в стародавнее время Я Король Пеллес, близкий сородич Иосифа Аримафейского, вы же в восьмом колене происходите от Господа нашего

Иисуса Христа.

— Силы благие!

— Правда-правда, — сказал Король Пеллес. — Все это записано арифметически в камнях Стоунхенджа, у меня же, в моем замке в Кербонеке, имеется некий священный сосуд, а при нем голубица, порхающая то туда, то сюда с золотой курильницей в клюве. И тем не менее вы сделали чрезвычайно доброе дело, выручив мою дочку из котла с кипятком.

— Папа, — сказала дочка, — ты бы нас представил друг другу.

Король Пеллес плавно взмахнул рукой, словно комаров отгоняя.

— Элейна, — сказал он. Вот и еще одна женщина с тем же именем. — Моя дочь, Элейна. Как поживаете? А это сэр Ланселот Дюлак. Как поживаете? В камнях все записано.

Ланселоту, быть может, из-за того, что впервые он увидел ее безо всяких одежд, Элейна показалась прекраснейшей, не считая Гвиневеры, девицей, каких когда-либо доводилось ему лицезреть. Он тоже смущался.

— Вам должно остаться у меня, пожить немного, — сказал Король. — Это все тоже есть в камнях. Я вам как-нибудь покажу священный сосуд и все

остальное. Арифметике вас научу. Хорошая погода сегодня. Не каждый день дочерей вытаскивают из кипятка. Я полагаю, обед вот-вот будет готов.

## 12

Ланселот надолго задержался в замке Корбин. Комнаты с призраками вполне оправдали возлагаемые на них надежды, но иных занятий тут не было. Грудь его теснили чувства, внушенные Гвиневерой, — нещадные муки безнадежной любви, — и он, казалось, напрочь лишился сил. Он не мог собраться с духом, чтобы ехать куда-то. В начальную пору любви к Гвиневере им владело беспокойство, ему мнилось, что непрестанная перемена мест дает надежду на спасение. Ныне властная потребность действовать оставила его. Он чувствовал, что для человека, которому осталось лишь ждать, когда наконец разорвется его сердце, все места одинаковы. И не понимал в своей простоте, что если лучший рыцарь мира спасает тебя, неодетую, из котла с кипящей водой, то ты, скорее всего, влюбишься в него, особенно когда тебе отроду всего восемнадцать лет.

В один из вечеров, когда Пеллес с его разговорами о религиозных родословных казался особенно несносным, а сердечные терзания не позволяли молодому человеку даже толком поесть или спокойно досидеть до конца обеда, за дело взял-

ся дворецкий. Он служил семье Пеллесов вот уже сорок лет, был женат на нянюшке — той, что встретила спасенную Элейну радостными слезами, и, кроме того, с одобрением относился ко всякой любви. Он понимал толк и в молодых мужчинах вроде Ланселота, мужчинах, которые в нынешней Англии еще учились бы на последнем курсе университета или осваивали реактивные самолеты. Из него мог получиться превосходный буфетчик университетского клуба.

— Еще вина, сэр? — спросил дворецкий.

— Нет, спасибо.

Дворецкий вежливо поклонился и заново наполнил рог, который Ланселот осушил, даже не заглянув в него.

— Хорошее вино, сэр, — сказал дворецкий. — Его Величество проявляет большую заботу о своих погребах.

Король Пеллес отправился к этому времени в библиотеку, дабы поработать над некоторыми прорицаниями, и его гость остался угрюмо сидеть в большом зале.

— Да.

Что-то зашуршало за дверью буфетной и дворецкий удалился туда, пока Ланселот допивал новую порцию.

— И вот недурное вино, сэр, — сказал дворецкий. — Его Величество держит это вино в изрядных количествах, жена как раз принесла из погреба новую бутылку. Обратите внимание на осадок, сэр. Я уверен, что это вино вам придется по вкусу.

— Для меня все вина одинаковы.

— Вы очень скромный молодой джентльмен, — сказал дворецкий, заменяя рог Ланселота другим, гораздо большим. — Вы, разумеется, пошутили, сэр, осмелюсь сказать. Когда встречаешь истинного знатока, узнать его — дело несложное.

Он раздражал Ланселота, желавшего остаться со своими горестями наедине, и Ланселот осознавал свое раздражение. По этой причине он машинально встревожился, не нагрубил ли он дворецкому ненароком. Возможно, дворецкий действительно был тонким ценителем вин и, может быть, у него хватало своих невзгод.

И Ланселот вежливо выпил предложенное.

— Очень хорошее вино, — сказал он, желая утешить дворецкого. — Великолепный букет.

— Я рад, что вы его хвалите, сэр.

Ланселот вдруг задал вопрос, рано или поздно задаваемый всяким молодым человеком, даже не заметив, что никакого отношения к вину этот

вопрос не имеет:

— А вы любили когда-нибудь?

Дворецкий уважительно улыбнулся и снова наполнил рог.

К полуночи Ланселот с дворецким сидели за столом друг против друга, физиономии у обоих были красные. На столе между ними стоял кувшин с горячим глинтвейном — смесью красного вина, меда, пряностей и иных добавлений, сделанной женою дворецкого.

— Потому я тебе и рассказываю, — говорил Ланселот, таращась, как обезьяна. — Никому бы не рассказал, но ты малый хороший, с понятием. А рассказать — уже радость. Давай еще выпьем.

— Ваше здоровье, — сказал дворецкий.

— Что же мне делать? — вскричал Ланселот. — Что делать?

Он уронил страховидную голову на сложенные руки и заплакал.

— Побольше отваги, сэр! — сказал дворецкий. — Победа или смерть!

Глядя на дверь буфетной, он дробно постучал рукой по столу и снова наполнил кружку Ланселота.

— Выпейте, — сказал он. — Выпейте от души. И будьте мужчиною, сэр, если вы простите мне

подобную вольность. Не пройдет и минуты, как вы услышите добрые вести, уж можете мне поверить, и вам захочется, как сказано у барда, замедлить часов и дней неумолимый бег.

— Хороший ты малый, — сказал Ланселот. — Да будь я проклят, коли не замедлю, если сумею.

— И чем слуга хуже хозяина?

— А ничем, — ответил молодой человек, подмигивая, как он и сам ощущал, довольно гнусным образом. — Еще и получше, не так ли, дворецкий?

И он осклабился, обретя разительное сходство с ослом.

— Ага, — сказал дворецкий, — а вон и женушка моя, Бризена, видишь, в дверях буфетной, у нее там записка какая-то. Небось, для тебя.

— Ну, и что там написано? — спросил дворецкий, глядя на молодого человека, уставившегося на листок бумаги.

— Ничего, — сказал молодой человек, бросив листок на стол и нетвердыми ногами направляясь к дверям.

Дворецкий прочитал записку.

— Тут написано, что Королева Гвиневера ждет тебя в замке Каз в пяти милях отсюда. Что Короля с ней нет. И еще про какие-то поцелуи.

— Ну и что с того?

— Да ничего, ты ведь все равно пойти не осмелишься.

— Не осмелюсь? — выкрикнул сэр Ланселот и, покачиваясь и карикатурно хохоча, вышел в ночную тьму и потребовал коня.

Поутру он проснулся, будто от толчка, в незнакомом покое. В покое стояла кромешная тьма, окна были завешены гобеленами, голова у Ланселота совсем не болела, что делало честь его организму. Он выпрыгнул из кровати и подошел к окну, отдернуть завесу. В одно мгновение он осознал все, случившееся прошлой ночью, — дворецкого, пьянство, любовное зелье, видимо, подмешанное в вино, послание от Гвиневеры и темное, горящее прохладным огнем тело в постели, которую он только что покинул. Он отдернул завесу и приник лбом к холодному камню оконницы. Чувствовал он себя прескверно.

— Дженни, — сказал он по истеченьи минуты, ему показавшейся часом.

Ответа не последовало.

Он обернулся и увидел прокипяченную деву, Элейну. Она лежала в постели, прижимая голыми ручками одеяло и уставя на него фиалковые глаза.

Ланселот всегда был рабом и мучеником своих чувств, так и не научившимся их скрывать. Когда он увидел Элейну, голова его отдернулась назад. Затем на уродливом лице появилось выражение бездонного и гневного горя, столь неподдельное и явное, что оно исполнило благородства даже его наготу, ясно зримую в падавшем из окна свете. Он задрожал.

Элейна не шелохнулась, лишь глядела на него быстрыми, словно у мышки, глазами.

Ланселот двинулся к сундуку, на котором лежал его меч.

— Я убью тебя.

Она все смотрела на него, восемнадцатилетняя, трогательно маленькая в огромной кровати, испуганная.

— Зачем ты так поступила? — выкрикнул он. — Что же ты натворила! Зачем ты обманула меня?

— Я должна была так поступить.

— Но ведь это предательство.

Он не мог поверить, что она оказалось способной на это.

— Это же вероломство! Ты предала меня.

— О чем ты?

— Ты превратила меня… ты отняла… похитила…

Он швырнул меч в угол и опустился на сундук. Он заплакал, и уродливые линии его лица фантастически искривились. Его мощь, вот что похитила Элейна. Она украла его десятикратную силу. Дети и теперь верят в подобные вещи, думая, что хороший бросок в завтрашнем крикетном матче удастся им только в том случае, если сегодня они будут вести себя хорошо.

Ланселот утер слезы и заговорил, не подымая глаз от пола.

— Когда я был маленьким, — сказал он, — я молил Бога, чтобы он дозволил мне совершить чудо. Только девственник может творить чудеса. Я хотел быть самым лучшим рыцарем в мире. Я был уродлив, одинок. Люди в вашей деревне назвали меня лучшим рыцарем мира, и я сотворил мое чудо, когда вывел тебя из воды. Я не знал, что это чудо станет для меня не только первым, но и последним.

— О, Ланселот, ты сотворишь еще много чудес, — сказала Элейна.

— Никогда. Ты украла мои чудеса. Ты украла мое превосходство над всеми прочими рыцарями. Зачем ты сделала это, Элейна?

Она заплакала.

Ланселот поднялся, завернулся в полотенце и

подошел к кровати.

— Не убивайся, — сказал он. — Я сам виноват, не нужно было напиваться. Я чувствовал себя несчастным, вот и пил. Думаю, еще и дворецкий меня подпоил. Если так, это не очень-то честно. Не плачь, Элейна. Твоей вины тут нет.

— Есть. Есть.

— Ну, значит, отец заставил тебя, чтобы получить в родню потомка Господа нашего в восьмом колене. Или эта ворожея Бризена, жена дворецкого. Не жалей ни о чем, Элейна. Все уже позади. Видишь, я целую тебя.

— Ланселот! — зарыдала Элейна. — Это все произошло потому, что я полюбила тебя. А я разве ничего тебе не отдала? Я была девственницей, Ланселот. Я не грабила тебя. Почему ты меня не убил? Почему не ударил мечом? Но все это оттого, что я тебя полюбила и ничего не могла с собой поделать.

— Ну, успокойся, ну что ты.

— Ланселот, а если у меня будет ребенок?

Он бросил ее утешать и опять поплелся к окну, словно лишаясь разума.

— Я хочу ребенка от тебя, — сказала Элейна. — Я назову его твоим первым именем — Галахад.

Она по-прежнему прижимала одеяло к бокам

маленькими, голыми ручками. Ланселот в гневе повернулся к ней.

— Элейна, — сказал он, — если у тебя будет ребенок, он будет только твоим. Связывать меня состраданием бесчестно. Теперь же я ухожу и надеюсь, что больше никогда тебя не увижу.

# 13

Гвиневера сидела в полутемном покое, занимаясь шитьем, которое было ей ненавистно. Она вышивала чехол на Артуров щит — с драконом стоящим, червленым. Чувства такого ребенка, как восемнадцатилетняя Элейна, легко объяснимы, Гвиневере же исполнилось двадцать два года. И на чувства королевы-ребенка, получившей когда-то в подарок пленников, лег уже отпечаток созревающей личности.

Существует нечто, именуемое знанием жизни, — нечто, недоступное человеку, не достигшему зрелых лет. Его невозможно передать человеку помоложе, поскольку оно лишено логики и не подчиняется установившимся законам. В нем отсутствуют правила. И только за долгие годы, приводящие женщину к середине ее жизни, развивается это ощущение равновесия. Ведь нельзя обучить младенца ходить, объяснив ему все логически, — ему приходится на собственном опыте овладевать странной наукой устойчивого хождения. Что-то похожее присуще и знанию жизни — передать его юной женщине не удается. Остается лишь предоставить ей долгие

годы накапливать опыт. И в конце концов, как раз в ту пору, когда она начинает ненавидеть свое израсходованное тело, она обнаруживает, что, оказывается, может жить дальше. Теперь она может длить существование, опираясь не на принципы, не на логические построения, не на понимание хорошего и дурного, но лишь на особое и изменчивое ощущение равновесия, зачастую отрицающее все перечисленное выше. Надежд на то, чтобы жить поисками истины — если женщины вообще питают такие надежды, — у нее уже не остается, но с этой поры она продолжает жить, руководствуясь седьмым чувством. Чувство устойчивости, приобретенное, когда она училась ходить, было шестым, отныне же она обладает седьмым чувством — знанием жизни.

Медленное обретение седьмого чувства, с помощью которого и мужчины и женщины умудряются проплывать бурными водами этого мира, полного войн, прелюбодеяний, страхов, компромиссов, злоречия и ханжества, — обретение это не сопровождается ощущением торжества. Ребенок еще может, торжествуя, воскликнуть: я научился ходить и не падать! Седьмое же чувство осознается нами без восклицаний. Мы просто продолжаем плыть по сомнительным водам,

вооружившись нашим прославленным знанием жизни, потому что попали в тупик и ничего иного придумать не можем.

И достигнув этой ступени, мы начинаем забывать, что было некогда время, когда мы седьмым чувством не обладали. Мы начинаем забывать, продолжая уравновешенное движение, что было, вроде бы, время, когда наши молодые тела пылали жаждою жизни. Вспоминать о подобных чувствах — невеликое утешение, а потому память о них отмирает в нашей душе.

Но ведь и правда, было же время, когда каждый из нас нагим стоял перед миром, почитая жизнь серьезной проблемой, к которой он относился вдохновенно и страстно. Было время, когда нам казалось жизненно важным выяснить, существует Бог или нет. Ясно же, что Его бытие или, иными словами, возможность будущей жизни имеет первостепенную важность для тех, кому предстоит прожить жизнь земную, ибо от этого зависит, как ее жить. Было время, когда спор между Свободной Любовью и Католической Моралью имел для наших жарких тел не меньшее значение, чем приставленный к виску пистолет.

А если заглянуть еще дальше, то были и времена, когда мы, напрягая души, пытались понять,

что такое мир, любовь, что такое мы сами.

С обретеньем седьмого чувства все эти проблемы и порывы сходят на нет. Зрелые люди без особых трудов умудряются балансировать между верой в Бога и нарушением всех десяти Его заповедей. В сущности говоря, седьмое чувство медленно убивает все остальные, так что в конце концов и о заповедях беспокоиться не приходится. Мы их больше не видим, не слышим, не осязаем. Тела, которые мы любили, истины, которые мы искали, Бог, в котором мы сомневались — отныне мы к ним глухи и слепы; уверенно и уравновешенно мы шагаем вперед, к неотвратимой могиле, надежно защищенные последним из наших чувств. «Восхвалим Господа за старость», поет поэт:

*Восхвалим Господа за старость,*
*За возраст, немощь, тишь погоста.*
*Когда ты стар, разбит и видишь край могилы,*
*Быть добродетельным так просто.*

Гвиневере, сидевшей за вышиванием и думавшей о Ланселоте, было двадцать два года. Она не прошла и половины пути к могиле, не была даже немощна и чувств имела всего только шесть. Вообразить ее трудновато.

Хаос души и тела; возраст, в котором плачут

при виде заката или блеска полной луны; обилие путаных надежд и верований — в Бога, в Истину, в Любовь, в Вечность; умение увлекаться красотою вещей; сердце, способное страдать и переполняться; радость, столь радостная, и печаль, столь печальная, что между ними могли бы разместиться целые океаны; и чтобы уравновесить эти прекрасные качества — непристойно выставляемое напоказ себялюбие; неугомонность, неспособность утихомириться и перестать, наконец, докучать зрелым людям; дерзкие препирательства по поводу отвлеченных понятий, скажем, по поводу Красоты, как будто они представляют для зрелых людей какой-нибудь интерес; совершенное отсутствие опыта по части замалчивания правды, человеку зрелому неприятной; общая возбудимость, надоедливость и несоответствие принятым формам проявления седьмого чувства — такими могли быть некоторые характерные черты, присущие Гвиневере в двадцать два года, ибо черты эти присущи всем. Но венчалось все это расплывчатыми, еще не определившимися чертами, присущими ей одной и отличавшими ее от невинной Элейны, чертами, быть может, менее трогательными, но более связанными с реальным миром, властными чертами, превра-

щавшими ее в ту особую Дженни, которую любил Ланселот.

— О, Ланселот, — напевала она, вышивая навершье щита. — О, Ланс, воротись поскорей. Воротись ко мне, с твоей искривленной улыбкой, с твоей особой походкой, которая выдает, сердит ты или озадачен, — воротись и скажи мне, что вовсе не важно, греховна любовь или нет. Воротись и скажи: довольно того, что ты — Дженни, я — Ланс, что бы там с кем ни случилось.

И самое поразительное, что Ланселот воротился. Он прилетел прямиком от Элейны, прямиком от содеянного ею воровства, прилетел, словно стрела, пронзающая влюбленное сердце. Обманутый, он уже спал с Гвиневерой, уже лишился обманом своей десятикратной мощи. В глазах Господа, как Его представлял себе Ланселот, он уже стал лжецом и потому полагал, что новая ложь ничего не изменит. Утративший звание лучшего рыцаря мира, не способный больше творить чудеса без помощи магии, лишенный возможности чем-нибудь возместить уродство и пустоту своей души, молодой человек устремился за утешением к любимой. Железные подковы коня пролязгали по булыжнику мостовой, заставив Королеву бросить шитье и пойти посмотреть, не Артур ли

вернулся с охоты; ноги в кольчужных чулках прозвенели по лестнице, клацая, словно шпоры о камень; и еще не успев понять, что происходит, Гвиневера уже то ли плакала, то ли смеялась, уже неверная мужу, а впрочем, знавшая всегда, что когда-нибудь это с ней обязательно случится.

## 14

— От твоего отца пришло письмо, Ланс, — сказал Артур. — Он пишет, что на него напал Король Клаудас. Я обещал, если возникнет нужда, помочь ему справиться с Клаудасом в благодарность за помощь при Бедегрейне. Придется отправляться во Францию.

— Понятно.

— А ты что собираешься делать?

— То есть как — «что я собираюсь делать»?

— Ну, хочешь ли ты ехать со мной или останешься здесь?

Ланселот прочистил горло и ответил:

— Я сделаю то, что ты сочтешь за лучшее.

— Конечно, тебе будет тяжело, — сказал Артур, — и мне очень неприятно тебя об этом просить, но как ты посмотришь на то, чтобы остаться?

Ланселот не сумел найти безопасных слов, и Король счел его молчание признаком обиды.

— Разумеется, ты имеешь право проведать отца и мать, — сказал Артур. — Я не хочу, чтобы ты оставался, если это причинит тебе боль. Возможно, мы что-нибудь придумаем.

— Но почему ты не хочешь, чтобы я покинул Англию?

— Мне нужно, чтобы кто-то присматривал за партиями. Я буду чувствовать себя во Франции спокойней, зная, что у меня в тылу остался надежный человек. В Корнуолле вот-вот начнется свара между Тристрамом и Марком, а тут еще Оркнейская вражда. Ну, тебе же известны все наши трудности. И потом, приятно будет думать, что есть кому позаботиться о Гвиневере.

— Возможно, — сказал Ланселот, мучительно подбирая слова, — тебе было бы лучше довериться кому-то другому.

— Не говори ерунды. Кому другому могу я довериться? Тебе достаточно лишь высунуться из конуры, как все ворье разбежится.

— Да, образина у меня не из самых смазливых.

— Кровь леденит! — с нежностью воскликнул Король и хлопнул друга по спине. А потом он ушел, чтобы распорядиться о подготовке к походу.

Двенадцать месяцев провели они в странном раю — год, исполненный радости, какую переживает лосось на гладкой гальке речного дна, в прозрачной, как джин, воде. Следующие двадцать четыре года они прожили под гнетом

вины, и этот первый год остался единственным, в который они испытали подобие счастья. Под старость, оглядываясь на него, они не могли припомнить за все эти двенадцать месяцев ни одного дождливого или студеного дня. Все четыре времени года сохранили в их памяти краски, в какие расцвечены закраины розового лепестка.

— Не понимаю, — говорил Ланселот, — как ты можешь меня любить? Ты уверена в том, что любишь? Ты не ошиблась?

— Мой Ланс.

— Но мое лицо, — говорил он, — это же ужас. Теперь я готов поверить, что Бог способен любить наш мир, каков бы он ни был, — я это знаю на собственном опыте.

Временами их окутывал страх, который исходил от него. Сама Гвиневера раскаяния не ощущала, но заражалась им от любовника.

— Я не смею задумываться. Не смею. Поцелуй меня, Дженни.

— И не задумывайся.

— Не могу.

— Ланс, милый!

Случалось им и ссориться безо всякой причины, но даже ссоры их были ссорами влюбленных и казались в воспоминаниях сладкими.

— Пальцы стопы твоей — как поросята, которых гонят на рынок.

— Не смей говорить подобных вещей. Это непочтительно.

— Непочтительно!

— Да, непочтительно. А почему бы тебе и не быть почтительным? Я, как-никак, Королева.

— Ты что, всерьез хочешь уверить меня, что я обязан выказывать тебе почтение? Мне, видимо, надлежит по целым дням стоять пред тобой на одном колене и целовать твою руку?

— Почему бы и нет?

— Послушай, не будь столь себялюбива. Если я чего и не выношу, так это когда со мной обходятся, как со своей собственностью.

— И я же, по-твоему, себялюбива.

И Королева топала ножкой или целый день потом дулась. Впрочем, после того как он подобающим образом являл раскаяние, она прощала его.

Как-то раз, когда они рассказывали друг дружке о самых своих сокровенных чувствах, невинно умиляясь, когда они совпадали, Ланселот поведал Королеве о своей тайне.

— Ты знаешь, Дженни, в детстве я себя ненавидел. Не знаю, отчего. Я чего-то стыдился. Я

был чрезвычайно благочестивым и праведным мальчиком.

— Теперь-то ты праведностью не отличаешься, — сказала она со смехом. Она не понимала, о чем он ей рассказывает.

— Как-то брат попросил у меня на время стрелу. У меня было две или три особенно прямых, я ими очень дорожил, а у него все стрелы были немного гнутые. И я притворился, будто потерял стрелы, сказал, что не могу их ему одолжить.

— Врунишка!

— Это-то я понял мгновенно. После меня мучали нещадные угрызения совести, я считал, что солгал перед Богом. И потому я отправился в ров, у нас там были крапивные заросли, и засунул стрелы в крапиву, в виде наказания. Закатал рукав и сунул их в самую гущу.

— Бедный Ланс! Каким невинным крошкой ты был!

— Но, Дженни, крапива не жглась! Я совершенно отчетливо помню, что крапива меня не ужалила.

— Ты хочешь сказать, что случилось чудо?

— Не знаю. Наверняка утверждать трудно. Я был таким мечтателем, жил в выдуманном мире — я был в нем величайшим из Артуровых рыца-

рей. Может быть, я и придумал все это, насчет крапивы. Но мне кажется, я помню, как меня потрясло то, что крапива не жжется.

— А я уверена, что случилось чудо, — решительно заявила Королева.

— Дженни, всю жизнь я мечтал о том, чтобы творить чудеса. Я стремился к святости. Видимо, мной владело тщеславие или гордыня, или еще что-нибудь недостойное. Завоевать мир казалось мне недостаточным — я хотел еще завоевать небеса. Меня томила такая алчность, что звания сильнейшего рыцаря мне было мало, я желал еще стать наилучшим. Вот чем плохи мечтания. Я потому и сторонился тебя. Я знал, что если я не сохраню чистоту, то никогда не смогу творить чудеса. И ведь я уже сотворил одно, замечательное. Я освободил девицу, помещенную чарами в кипящую воду. Ее звали Элейной. А потом я утратил мою мощь. Теперь, когда мы вместе, на чудеса я уже не способен.

Он не хотел говорить об Элейне всю правду, боясь ранить чувства Гвиневеры признанием, что она не была его первой женщиной.

— Почему же?

— Потому что мы согрешили.

— Лично я никогда никаких чудес не твори-

ла, — с некоторой холодностью произнесла Королева, — так что мне и жалеть особенно не о чем.

— Но Дженни, я ведь и не жалею ни о чем. Ты — мое чудо, ради тебя я снова отказался бы от всех остальных. Я лишь попытался описать тебе мои детские чувства.

— Что ж, не могу сказать, что я их как следует поняла.

— Разве тебе не понятно желание в чем-то преуспеть? Впрочем, конечно нет. Я знаю, тебе его понимать и не нужно. Это лишь те, кто чего-то лишен, или дурен, или унижен, — только они и нуждаются в успехе. Ты же всегда была цельной и совершенной, тебе и выдумывать было нечего. А я вечно что-то выдумывал. И временами — даже сейчас, с тобой, — меня охватывает ужас при мысли, что я больше не смогу быть лучшим рыцарем мира.

— Ну, так давай все это прекратим, ты как следует исповедуешься и сотворишь еще много чудес.

— Ты ведь знаешь, что ничего прекратить мы не можем.

— По-моему, все это какие-то капризы, — сказала Королева. — Ничего не могу понять. Какие-то самовлюбленные фантазии.

— Я сознаю свое себялюбие. И ничего не могу поделать, хоть и стараюсь избавиться от него. Но разве себя изменишь? Ох, ну разве ты не понимаешь, о чем я тебе говорю? Мальчишкой я был одинок, я изнурял себя упражнениями. Я повторял себе, что стану великим путешественником и пройду пустыни Хорезма, или великим королем вроде Александра или Святого Людовика, или великим целителем — найду бальзам, исцеляющий раны, и буду раздавать его даром; а может быть, стану святым и буду залечивать раны одним лишь прикосновением; или отыщу что-нибудь невиданно важное — Истинный Крест или Святой Грааль, что-нибудь такое. Вот о чем я грезил, Дженни. Я только рассказываю тебе о моих привычных мечтах. Это и есть те чудеса, которые я утратил. Я отдал мои надежды тебе, Дженни, это был дар любви.

## 15

Счастье, продлившееся целый год, кончилось с возвращением Артура — и почти сразу же обратилось в руины, хоть и не по вине Короля. На следующий вечер после его возвращения, пока он еще рассказывал им подробности поражения Клаудаса в том порядке, в котором эти подробности извлекались из памяти, у ворот послышался шум и в большой обеденный зал влетел сэр Боре. Он приходился Ланселоту двоюродным братом и как раз воротился из замка Корбин, где проводил отпуск, изучая повадки привидений. У него имелась для Ланселота новость, которую он и поведал ему шепотом после обеда, — к несчастью, сэр Боре принадлежал к числу женоненавистников и, подобно большинству оных, был по-женски болтлив. Он рассказал новость также и нескольким близким друзьям. Вскоре при дворе о ней знал всякий. Новость же состояла в том, что Элейна Корбинская родила красавца-сына, нареченного при крещении Галахадом, — что было, если помните, и первым именем Ланселота.

— Так вот, значит, — сказала Гвиневера, когда впервые после того, как услышала эту новость,

встретилась с любовником наедине. — Вот, значит, как ты утратил свои чудеса? Ты просто наврал, говоря, что пожертвовал ими ради меня.

— О чем ты?

Гвиневера задышала через нос. Ей казалось, будто пара раскаленных пальцев давит ей изнутри на глаза, пытаясь вытолкнуть их наружу. Смотреть на любовника она не хотела. Она прилагала все усилия, чтобы не устроить скандала, и боялась, что усилия эти будут напрасны — она свой характер знала. Она стыдилась слов, которые может сказать, слова эти были ей омерзительны, но совладать с собой не могла. Она походила на человека, которого несет по бурному морю.

— Ты знаешь, о чем я.

— Дженни, я хотел тебе рассказать, но объяснить все было так трудно.

— Я понимаю твои затруднения.

— Это не то, что ты думаешь.

— Что я думаю! — закричала она. — Откуда тебе знать, что я думаю? Я думаю то же, что все, — что ты презренный совратитель, попросту лжец, со всеми твоими чудесами. А я оказалась такой дурой, что тебе поверила.

При каждом ее выпаде Ланселот дергал головой, словно надеясь, что слова соскользнут по

ней, не причинив вреда. Он уставился в пол, пряча глаза. Глаза у него были велики, отчего всегда казались испуганными или удивленными.

— Элейна ничего для меня не значит, — сказал он.

— А могла бы значить! Как смеешь ты говорить, что она ничего для тебя не значит, когда она мать твоего ребенка? Когда ты пытался скрыть ее от меня? Нет, не прикасайся ко мне, уйди.

— Я не могу так уйти.

— Если ты коснешься меня, я пожалуюсь Королю.

— Гвиневера, меня напоили в Корбине. Потом сказали, что ты ожидаешь меня в замке Каз, привели в темную комнату, там ждала Элейна. Наутро я сразу уехал.

— Неуклюжая ложь.

— Это правда.

— Даже младенец в нее не поверит.

— Я не могу заставить тебя верить против твоей воли. Когда я понял, что произошло, я обнажил меч, чтобы убить Элейну.

— Я бы ее и убила.

— Она была не виновата.

Королева принялась дергать ворот платья, словно ворот ее душил.

— Так ты защищаешь ее, — сказала она. — Ты влюблен в нее, а меня ты обманывал. Так я и знала.

— Клянусь, я говорю тебе правду. Она вдруг сдалась и заплакала.

— Почему ты мне раньше не рассказал? — спросила она. — Почему ты не сказал, что у тебя есть ребенок? Зачем ты лгал мне все это время? Наверное, она и была твоим знаменитым чудом, которым ты так гордился.

Ланселот, раздираемый невыносимыми чувствами, заплакал и сам. Он обнял ее.

— Я не знал о ребенке, — сказал он. — Я не желал его. И я о нем не просил.

— Если б ты сразу сказал мне правду, я бы еще могла в это поверить.

— Я хотел тебе рассказать, но не мог. Я боялся причинить тебе боль.

— Так ты причинил еще большую.

— Я знаю.

Королева вытерла слезы и взглянула на него, улыбаясь подобно весеннему дождику. Через минуту они уже целовались, испытывая чувства, какие, верно, испытывает зеленая трава, освеженная ливнем. Они полагали, что теперь яснее понимают друг друга, но в них уже поселилось

сомнение. В тот день в их любовь, ставшую лишь сильнее, проникли семена отвращения, страха, смятения, разраставшиеся вместе с любовью: ибо любовь уживается с отвращением, эти чувства питают друг друга, что и наделяет порою любовь великим неистовством.

## 16

В замке Корбин малышка Элейна собиралась в дорогу. Она вознамерилась отвоевать Ланселота у Гвиневеры — предприятие, исход которого все, кроме нее, предугадывали с жалостным чувством. Она не обладала оружием, пригодным для такого рода войны, да и воевать не умела. Ей недоставало характера. Ланселот ее не любил. И безнадежность ее положения еще усугублялась тем, что сама-то она Ланселота любила. Нечего было ей противопоставить зрелости Королевы, кроме собственной незрелости и смиренной любви, да еще пухлого младенца, которого она везла показать отцу, — младенца, бывшего для отца лишь символом жестокого обмана. Все это предприятие напоминало штурм неприступной крепости безоружной армией, солдатам которой к тому же связали за спиною руки. С простодушием, объяснить которое можно единственно тем, что большую часть своей жизни Элейна провела в уединении колдовского котла, она решила сразиться с Гвиневерой на ее собственной территории. Она заказала наряды неслыханной роскоши и затейливости и в этих нарядах, только

преувеличивавших ее простоватость и провинциальность, отправилась в Камелот, на битву с Королевой Английской.

Не будь Элейна Элейной, она взяла бы с собой Галахада в качестве оружия. Жалость и чувства собственника, если ими с умом воспользоваться, пожалуй, могли бы связать по рукам и ногам человека, подобного Ланселоту. Но Элейна не отличалась умом и не понимала, зачем ей связывать своего героя. Она брала с собой Галахада лишь потому, что обожала его. Она не хотела с ним расставаться, и потом ей не терпелось показать младенца отцу и, может быть, сравнить их лица. Прошел уже год, как она не видела человека, которым дышала ее детская душа.

Ланселот, покамест Элейна собиралась его полонить, оставался с Королевою при дворе. Однако теперь он лишился и временного душевного мира, который кое-как создал для себя, пока Король был в отъезде. В отсутствие Короля ему еще удавалось полностью погружаться в сиюминутное, теперь же Король был рядом — живым напоминанием о его вероломстве. Страсть к Гвиневере не испепелила любви к Артуру, Ланселот, как и прежде, любил его. Для средневековой натуры, какою и был Ланселот, с ее фатальной склонно-

стью влюбляться в высшее существо, едва оно явится взору, такое положение было мучительным. Заставить себя смириться с мыслью, что его чувство к Гвиневере постыдно, он не мог, ибо оно оставалось глубочайшим переживанием его жизни, однако обстоятельства словно вступили в келейный сговор, норовя придать этому чувству низменное обличье. Торопливые минуты вдвоем, запертые двери, жалкая изобретательность, виноватые уловки, к коим вынуждало любовников присутствие мужа, все это пятнало происходившее между ними — то, что не могло иметь оправданий, не будучи прекрасным. И к этому невыносимому напряжению добавлялось сознание того, что Артур добр, прост и прям, и что он, Ланселот, в любую минуту может нанести Артуру страшную рану, как бы он его ни любил. Терзала его и иная боль, связанная с самой Гвиневерой, с крохотным ростком горечи, которую они во время их первой ссоры ревности посеяли друг в друге — во всяком случае, так им казалось. Не поверив сразу его объяснениям об Элейне, она нанесла ему смертельный удар. И все же не любить ее он не мог. И наконец, Ланселота терзали взбунтовавшиеся свойства его собственной натуры — странное желание чистоты, честности,

духовного совершенства. Все это вместе с бессознательной боязнью появления Элейны и сына разрушило его счастье, в то же время не позволяя ему искать спасения в бегстве. Он теперь редко присаживался, все больше блуждая по замку, движения его стали нервными; не глядя он хватался за первое, что подворачивалось под руку, и не глядя бросал; часто подходил к окнам и смотрел в них, ничего не видя.

Для Гвиневеры страх перед появлением Элейны не был бессознательным страхом. С первой минуты она понимала, что Элейна появится непременно. Но в своих опасениях она, как и всякая женщина, видела много дальше горизонта, доступного мужским взорам. Мужчины нередко обвиняют женщин в том, что те доводят их до неверности, принимаясь мучить беспочвенной ревностью еще до того, как даже помыслы об измене посещают их разум. И тем не менее эти помыслы, вероятно, уже поселились в них, бессознательные и неуследимые ни для кого, кроме женщин. Такая великая женщина, как Анна Каренина, скажем, своей беспричинной, маниакальной ревностью подтолкнула Вронского к определенным поступкам, но эти-то поступки и оказались единственным возможным выходом

из их положения, и избегнуть этого выхода было нельзя. Заглядывая в будущее гораздо дальше, чем он, Анна со всей страстью подталкивала его туда, губя настоящее, потому что в будущем их и ожидала одна лишь погибель.

Подобным же образом вела себя и Гвиневера. Возможно, непосредственная проблема, возникшая в связи с Элейной, не так уж и угнетала ее. Она знала натуру Ланселота, и его собственные намерения не вызывали у нее опасений. И тем не менее способность к предвидению позволяла ей предощутить горести и погибель, различить которые ее любовник не мог. Утверждение, что она ощущала их на рассудочном уровне, было бы неточным, однако в глубинах ее сознания они присутствовали. Как это ни печально, но язык — орудие столь неловкое, что мы не имеем права сказать о матери, будто она «не осознает», что дитя ее плачет в соседней комнате, — в том смысле, что мать неведомо как, неосознанно знает: ребенок плачет. Знание, которым неосознанно — в этом смысле слова — владела Гвиневера, включало в себя и всю ситуацию вокруг Артура и Ланселота, и будущую дворцовую трагедию, и горестный факт собственной бездетности, так никогда и неизлеченной.

Она говорила себе, что Ланселот предал ее, что она жертва Элейниных козней, что ее любовник наверняка предаст ее снова. Она терзала себя тысячами слов подобного рода. Но в глубине души, в ненанесенных на карты областях ее сердца она ощущала иное. Быть может, она все-таки ревновала его, но не к Элейне, а к ребенку. Быть может, она на самом-то деле страшилась любви Ланселота к Артуру. А может быть, страх возбуждало в ней положение в целом, его неустойчивость и неизбежность возмездия, которым оно было чревато. Женщины знают, и много лучше мужчин, что с законами, данными Богом, не шутят. У них для такого знания куда как больше оснований.

Как ни толкуй поведение Гвиневеры, плодами его были муки ее любовника. Она стала столь же беспокойной, как он, но гораздо более безрассудной и гораздо более жестокой.

Несчастия королевского двора усугублялись чувствами, что томили Артура. Себе на беду Артур получил прекрасное воспитание. Его наставник дал ему образование, подобное тому, какое получает младенец в материнской утробе, проживая всю историю человека от рыбы до млекопитающего, — и подобно младенцу в материнской утробе, Артур, пока продолжалась учеба, пребы-

вал под защитой любви. В результате подобного обучения он вырос почти лишенным столь нужных для жизни навыков — злобы, тщеславия, подозрительности, жестокости и наиболее распространенных форм эгоизма. Ревность представлялась ему самым низменным из пороков. Он был прискорбнейшим образом не приспособлен для того, чтобы ненавидеть своего лучшего друга или мучить жену. Слишком много любви и доверчивости вложили в него, чтобы он мог толково справляться с такими простыми делами.

Артур не принадлежал к числу тех интересных натур, чьи тончайшие побуждения допускают дотошный разбор. Он был всего лишь простым и способным на преданность человеком, а все потому, что Мерлин верил, будто простота и уменье любить суть качества, достойные обладания.

Ныне, когда перед глазами его разворачивалась печально известная ситуация, настолько трудная для разрешения, что она получила даже особое название — «вечный треугольник», как если бы она представляла собой геометрическую проблему наподобие Евклидова «Pons Asinorum»[9], — он оказался способен лишь от-

---

**[9] notes: 9**
Ослиный мост (лат.)

ступить. Вообще способными к отступлению оказываются обыкновенно люди правдивые и склонные к оптимизму. Людей, лишенных любви и доверчивости, присущий им пессимизм вынуждает бросаться в атаку. Артур же был достаточно силен и мягок, чтобы сохранить надежду на то, что если он будет доверять Ланселоту и Гвиневере, все еще может пойти на лад. Ему казалось, что такое поведение лучше попыток разом наставить их на истинный путь средствами вроде отсечения любовникам голов за измену.

Артур не знал, что Ланселот с Гвиневерой уже стали любовниками. По сути дела, ему ни разу не довелось застать их наедине друг с дружкой или обнаружить какие-либо доказательства их вины. В таких обстоятельствах отважной душе его свойственно было скорее надеяться, что ему и не доведется их застать, чем расставлять ловушки, намереваясь сразу разрубить завязавшийся узел. Мы не хотим сказать, что Артур являл собою супруга, на все смотрящего сквозь пальцы, просто он надеялся переждать непогоду, отказываясь обращать на нее внимание. Бессознательно Артур, разумеется, со всей определенностью знал, что любовники уже возлежали друг с другом, точно так же, как знал — бессознательно — что

если он спросит об этом жену, она отпираться не станет. Тремя величайшими ее достоинствами были отвага, благородство и честность. А потому спросить ее он не мог.

При таком отношении к сложившейся ситуации, Королю затруднительно было чувствовать себя счастливым. Он не стал возбудимым подобно Гвиневере, или беспокойным — подобно Ланселоту, но осторожным. По собственному дворцу он перемещался опасливо, словно мышь. И все же одну попытку сунуть руку в осиное гнездо он сделал.

— Ланселот, — сказал Король, как-то под вечер, обнаружив его в розовом саду, — что-то у тебя вид в последнее время несчастный. Тебя что-нибудь угнетает?

Ланселот сорвал розу и начал обрывать лепестки. Те древние розы, как установили недавно, действительно имели такое строение, что пятерка нижних, образующих чашечку, лепестков срасталась, как мы это видим у геральдических роз.

— Это не из-за той девицы, — спросил Король, надеясь неизвестно на что, — которая, как говорят, родила тебе ребенка?

Если бы Артур остановился на первом вопросе

и замолчал, ожидая ответа, быть может, они и смогли бы все обговорить. Но Артур боялся того, чем могло разрешиться молчание, а после второго вопроса возможность оказалась упущенной.

— Да, — сказал Ланселот.

— Я так понимаю, что ты не можешь заставить себя жениться на ней?

— Я ее не люблю.

— Ну, смотри, дело твое.

Ланселот, охваченный неуправляемым желанием излить душу в рассказе о своих несчастьях и все же лишенный возможности открыть всю правду именно этому слушателю, пустился в невразумительные объяснения касательно Элейны. Он начал рассказывать Артуру полуправду: как он был опозорен и как лишился своих чудес. Но главным действующим лицом исповеди ему поневоле пришлось сделать Элейну, и через полчаса Артур получил историю, в которую можно было поверить, которой Артур мог удовлетвориться, если ему не хотелось знать полную правду. Эта полуправда оказалась для бедного Ланселота весьма полезной, и в последующие годы он научился подменять ею историю своих подлинных бед. Мы, люди цивилизованные, в подобных обстоятельствах опрометью бегущие в

суд за разводом, требуя алиментов и прочих кар, можем позволить себе с должным презрением взирать на бесхарактерного рогоносца. Но Артур был всего лишь средневековым дикарем. Наша цивилизованность показалась бы ему непонятной, он не знал ничего лучше, чем попытаться превозмочь унижение ревности благородством.

Следующим, кто нашел Ланселота в розовом саду, была Гвиневера. Она явилась туда воплощением благодушия и рассудительности.

— Ланс, ты слышал новость? Только что прискакал вестовой и сообщил, что девица, которая преследует тебя, на пути ко двору, а с ней и младенец. Она прибудет сюда нынче вечером.

— Я знал, что она объявится.

— Нам, разумеется, следует сделать для нее все, что мы сможем. Бедная малышка, она, я думаю, в отчаянии.

— Если она и в отчаянии, моей вины в том нет.

— Нет, конечно же, нет. Просто жизнь порой приносит людям несчастья, и надо им помогать, когда это нам под силу.

— Дженни, как хорошо, что ты с такой добротой говоришь об этом.

Он повернулся к ней и сделал движение, желая поймать ее руку. Ее слова пробудили в нем

надежду, что все образуется. Но Дженни руку отдернула.

— Нет, дорогой, — сказала она. — Я не хочу, чтобы мы любили друг друга, пока она не уедет. Я хочу, чтобы ты был совершенно свободен.

— Свободен?

— Она мать твоего ребенка, она не замужем. Мы ведь все равно пожениться не сможем. Я хочу, чтобы у тебя была возможность взять ее в жены, если ты пожелаешь, потому что это единственное, что для нее можно сделать.

— Но Дженни…

— Нет, Ланс. Нужно быть разумными. Я хочу, чтобы ты избегал меня, пока она здесь, и чтобы ты выяснил, не можешь ли ты все-таки ее полюбить. Это то немногое, что я могу для вас сделать.

## 17

Элейна появилась из ворот барбакана, и Гвиневера холодно поцеловала ее.

— Добро пожаловать в Камелот, — сказала она. — Пять тысяч раз добро пожаловать.

— Благодарю вас, — сказала Элейна.

Они оглядели одна другую с улыбками на враждебных лицах.

— Ланселот будет счастлив увидеть вас.

— О!

— Про ребенка все уже знают, дорогая. Вам нечего смущаться. Королю и мне не терпится узнать, похож ли он на отца.

— Как вы добры, — неуверенно сказала Элейна.

— Вы должны позволить мне первой увидеть его. Вы назвали его Галахадом, не правда ли? Он сильный? Он уже обращает внимание на окружающих?

— Он весит пятнадцать фунтов, — с гордостью сообщила Элейна. — Вы можете увидеть его прямо сейчас, если хотите.

Гвиневера с едва заметным усилием сдержалась и принялась заботливо разворачивать

пледы, укутывавшие Элейну.

— Нет, милочка, — сказала она. — Я могу и потерпеть. Вам нужно отдохнуть после долгой дороги, да, видимо, и ребенка следует устроить. Я могу заглянуть к вам под вечер, когда дитя уснет. Времени у нас предостаточно.

Но в конце концов ей все же пришлось его повидать.

Когда Ланселот в следующий раз увидел Королеву, и благодушия ее, и рассудительности как не бывало. Она казалась холодной, высокомерной и говорила так, словно выступала перед большим скоплением народа.

— Ланселот, — сказала она, — я думаю, тебе следует отправиться к сыну. Элейна места себе не находит из-за того, что ты не пришел его повидать.

— А ты его видела?

— Да.

— Он некрасив?

— Он удался в Элейну.

— Слава Богу. Я пойду прямо сейчас.

Королева окликнула его, заставив вернуться.

— Ланселот, — сказала она, начиная дышать через нос. — Я полагаюсь на тебя и надеюсь, что ты не станешь любиться с Элейной под моей кры-

шей. Раз уж мы с тобой решили не прикасаться друг к другу, пока все не устроится, будет только честно, если и к ней ты не прикоснешься.

— Я не собираюсь любиться с Элейной.

— Разумеется, ничего иного ты сказать и не можешь. И я готова поверить тебе. Но если ты не сдержишь слова и на этот раз, между нами все будет кончено. Навсегда.

— Я сказал все, что мог сказать.

— Ланселот, ты уже обманул меня однажды, как же я могу быть уверенной в тебе? Я поместила Элейну в покоях рядом с моими, и если ты войдешь к ней, я об этом узнаю. Тебя же я попрошу не покидать своей комнаты.

— Как тебе будет угодно.

— Сегодня ночью я пришлю за тобой, если смогу отделаться от Артура. Когда именно, я пока не скажу. Если твои покои окажутся пустыми, я буду знать, что ты у Элейны.

Пока дама Бризена готовила для малыша колыбельку, Элейна рыдала в спальне.

— Я же видела его на стрельбище, и он меня тоже видел. Но он отвернулся. Придумал какой-то предлог и ушел. Он не захотел даже взглянуть на наше дитя.

— Ну, успокойся, успокойся, — утешала ее дама

Бризена. — Бог милостив.

— Не надо мне было приезжать. И мне от этого одни только лишние несчастья, и ему тоже.

— Это все Королева.

— А какая она красивая, правда? Дама высказалась несколько туманно:

— Всяк человек делами красен.

Элейна вновь беспомощно зарыдала. Вид у нее, у красноносой, был преотвратный. Так вот и выглядят люди, когда решаются махнуть рукой на собственное достоинство.

— Я так хотела его обрадовать.

В дверь постучали, вошел Ланселот, и Элейна торопливо вытерла глаза. Они скованно поздоровались.

— Я рад, что вы приехали в Камелот, — сказал он. — Надеюсь, вы хорошо себя чувствуете?

— Да, благодарю вас.

— А как… ребенок?

— Сын вашей милости, — подчеркнуто произнесла дама Бризена.

Она развернула колыбель и отступила, чтобы ему все было видно.

— Мой сын.

Они стояли, глядя сверху вниз на новоявленное существо, беспомощное и по сути дела лишь

наполовину живое. Они, говоря словами поэта, были сильны, он слаб, — настанет день, они ослабеют, он станет силен.

— Галахад, — сказала Элейна и склонилась над свивальниками, глупо жестикулируя и издавая бессмысленные звуки, к которым охотно прибегают матери, когда их малютки начинают выказывать к ним интерес. Галахад сжал кулачок и шлепнул себя в глаз, — достижение, судя по всему, изрядно утешившее обеих женщин. Ланселот наблюдал за ним с изумлением. «Мой сын, — думал он. — Он часть меня, а все же красивый. На урода вроде бы не похож. Хотя по такому младенцу разве скажешь?» Он протянул палец, вложил его в младенческую ладошку, и младенец вцепился в него. С виду казалось, что пухлый кулачок приделан к руке неким хитроумным кукольным мастером. Вокруг запястья шла глубокая складочка.

— О, Ланселот! — вскричала Элейна.

Она попыталась упасть в его объятия, но он ее оттолкнул. Через плечо он с отчаянием и страхом взглянул на Бризену и, издав какой-то дикий, невразумительный звук, выбежал вон. Лишенная опоры Элейна опустилась на пол у колыбельки и разрыдалась пуще прежнего. Бризена, распря-

мившаяся, чтобы встретить враждебный взгляд сэра Ланселота, стояла, с непроницаемым выражением глядя на дверь.

## 18

Наутро его и Элейну призвали в спальный покой Королевы. Что до Ланселота, то он направлялся туда, испытывая даже какое-то подобие счастья. Он помнил, как Гвиневера прошлой ночью притворилась больной, чтобы покинуть покой Короля. В темноте она послала за любовником. Привычная потворствующая ладонь, обхватив его палец, провела его, шествующего на цыпочках, к желанному ложу. В молчании, к которому вынуждала их близость Артуровой спальни, но и в пылкой нежности тоже, они сделали все, чтобы помириться. И сегодня Ланселот был счастливее, чем когда бы то ни было с начала всей этой истерии с Элейной. Он поверил, что если ему удастся уговорить Гвиневеру по-доброму расстаться с Королем, так, чтобы они смогли жить открыто, то для него еще сохранится возможность спасти свою честь.

Он увидел Гвиневеру, напряженную, будто окоченевшую, — в лице ее не было ни кровинки, лишь два красных пятна выделялись вблизи ноздрей. Вид она имела такой, словно ее укачало. Она была одна.

— Итак, — сказала Королева.

Элейна взглянула прямо в ее синие глаза, Ланселот же покачнулся, словно подстреленный.

— Итак.

Они стояли, ожидая дальнейших слов Королевы.

— Куда ты отправился прошлой ночью?

— Я…

— Можешь мне не рассказывать, — закричала Королева, взмахнув рукой, так что они увидели в ладони скомканный, изодранный в клочья носовой платок. — Предатель! Предатель! Убирайся вон из моего замка вместе с твоей потаскушкой!

— Прошлой ночью… — сказал Ланселот. Голова его кружилась от отчаяния, но ни одна из женщин этого не замечала.

— Не говори мне ничего. Не лги. Уходи. Элейна спокойно сказала:

— Прошлой ночью сэр Ланселот был у меня в покоях. Моя служанка Бризена привела его в темноте.

Королева замахала рукой в сторону двери. Она тыкала в нее пальцем и тряслась так, что волосы выбились из прически и упали ей на лицо. Выглядела она ужасно.

— Вон! Вон! И ты тоже, животное! Как смеете

вы произносить подобное в моем замке? Как вы смеете признаваться в этом передо мной? Забирай своего полюбовника и уходи!

Ланселот тяжело дышал, не сводя с Королевы глаз. Возможно, он уже не сознавал окружающего.

— Он считал, что идет к вам, — сказала Элейна. Она стояла, сложив руки, и бесстрастно смотрела Королеве прямо в лицо.

— Старая ложь!

— Это не ложь, — сказала Элейна. — Я не могла больше жить без него. Бризена помогла мне сыграть вашу роль.

Неверной походкой Гвиневера засеменила к Элейне. Она хотела ударить ее по губам, но та не отпрянула. Похоже, Элейна даже надеялась, что Королева ударит ее.

— Лгунья! — взвизгнула Королева. Подбежав к Ланселоту, опустившемуся на сундук и сидевшему, тупо глядя в пол и сжимая руками голову, она вцепилась в край его одеяния и начала тянуть и подталкивать его в сторону двери, но он и не двинулся.

— Так ты и ее выучил этой басне! Что же ты новую не придумал? Мог бы рассказать мне что-нибудь поинтересней. Ты, видно, решил, что

сойдет и это затасканное вранье?

— Дженни… — сказал он, не поднимая глаз. Королева попыталась плюнуть в него, но не попала из-за отсутствия практики.

— Как смеешь ты называть меня Дженни? От тебя еще воняет этой распутницей! Я Королева, Королева Англии, а не твоя девка!

— Дженни…

— Вон из моего замка! — изо всей своей мочи завизжала Королева. — И чтобы я твоей образины здесь больше не видела. Твоей порочной, уродливой, мерзкой образины!

Ланселот вдруг громким голосом произнес прямо в пол:

— Галахад!

Затем он отнял руки от головы и поднял взгляд, и обе они увидели лицо, о котором она только что говорила. На лице застыло удивленное выражение, один глаз начал косить.

Он произнес чуть тише:

— Дженни.

Но вид у него был, как у слепого. Королева открыла рот, чтобы что-то сказать, но не смогла издать ни единого звука.

— Артур, — сказал Ланселот.

И сразу за этим он пронзительно завопил и

выскочил прямо в окно, бывшее на втором этаже. Женщины услышали, как он вломился в какие-то заросли, затрещали и хряснули сучья, и Ланселот, ломая кусты, побежал между деревьями с громким заливистым криком, словно гончая, взявшая след. Скоро крики смолкли вдали, и в спальном покое повисла тишина.

Элейна, теперь такая же белая, как и Королева, но стоявшая по-прежнему гордо и прямо, сказала:

— Вы довели его до безумия. Должно быть, рассудок его ослаб.

Гвиневера ничего не сказала.

— Зачем вы довели его до безумия? — спросила Элейна. — У вас есть супруг, замечательный, самый великий среди людей этой земли. Вы Королева, у вас есть все — честь, счастье, дом. А у меня — ни супруга, ни дома, да и чести я тоже лишилась. Почему вы не отдали его мне? Королева молчала.

— Я любила его, — продолжала Элейна. — Я родила от него чудесного сына, который еще будет первым среди рыцарей мира.

— Элейна, — сказала Гвиневера, — покиньте мой двор.

— Разумеется.

Гвиневера внезапно схватила ее за подол.

— Не говорите никому, — торопливо сказала она. — Ни слова о том, что случилось. Если вы скажете, он погибнет.

Элейна высвободила юбку.

— А вы полагали, что я скажу?

— Но как же нам быть? — воскликнула Королева. — Неужели он обезумел? Может быть, он еще отойдет? Что теперь будет? Может быть, нужно что-то сделать? И что сказать людям?

Элейна не стала задерживаться для дальнейших объяснений. Однако у двери она обернулась, губы ее дрожали.

— Конечно, он обезумел, — сказала она. — Вы завладели им, и вы его погубили. Что еще вы с ним сделаете?

Когда дверь затворилась, Гвиневера опустилась на пол. Она уронила истерзанный платок и заплакала — медленно, просто и искренне. Спрятав лицо в ладони, она содрогалась от горя. (Сэр Боре сказал ей однажды: «Тьфу на ваш плач, ибо плачете вы лишь тогда, когда ничего уже не поправишь».)

## 19

Два года спустя Король Пеллес сидел в башенном покое вместе с сэром Блиантом. Утро было морозное, ясное, безветренное, и на замерзших полях лежала дымка, столь легкая, что в ней и голубь бы не заблудился. Сэр Блиант, ночевавший в замке, щеголял в алом плаще с белой меховой опушкой. Во дворе сэра Блианта ожидали оруженосец и конь, готовые доставить его обратно в Замок Блиант, но хозяин и гость решили позавтракать перед тем, как ему отправиться. Сидя у камина, в котором щедро горело цельное бревно, и согревая перед огнем руки, они потягивали глинтвейн, заедали его печеньем и беседовали о Диком Человеке.

— Я совершенно уверен, что прежде он был джентльменом, — говорил сэр Блиант. — Я видел, как он совершал такие дела, на какие никто, кроме джентльмена, не способен. Да и владение оружием было у него прирожденное.

— А где он теперь? — спросил Король Пеллес.

— Бог его знает. Как-то утром, когда в Замке Блиант собралась охота, он сгинул. Но в том, что он был джентльменом, я уверен.

Глядя на пламя, они еще отхлебнули вина.

— Если желаете знать мое мнение, — понизив голос, прибавил сэр Блиант, — то, по-моему, это был сэр Ланселот.

— Невозможно, — сказал Король.

— Он был высок и могуч.

— Сэр Ланселот погиб, — сказал Король, — Бог да смилуется над ним. Это ведомо всякому.

— Но это ведь не доказано.

— Если бы он был сэром Ланселотом, вы бы его ни с кем не спутали. Более некрасивого человека я в жизни не видел.

— Я с ним никогда не встречался, — сказал сэр Блиант.

— Доказано, что сэр Ланселот, лишившись разума, бегал в одних штанах и рубашке, пока его не изодрал дикий вепрь, а затем он скончался в отшельнической обители.

— И когда это случилось?

— Под прошлое Рождество.

— Примерно в это же время и мой Дикий Человек убежал вслед за охотой. И охотились мы тоже на вепря.

— Ну что же, — сказал Король Пеллес, — вполне возможно, что мы говорим об одном и том же человеке. Если так, это интересно. А откуда он

взялся, этот ваш малый?

— Дело было в прошлом году во время летних поисков приключений. Я, как обычно, отыскал луг покрасивей, разбил шатер и сижу себе внутри, ожидаю, пока что-нибудь подвернется. Как сейчас помню — сижу, играю в шахматы. Вдруг слышу, снаружи кто-то вопит, выхожу, а там какой-то голый человек лупит по моему щиту. А карлик мой сидит на земле и потирает шею — этот маньяк ее едва не сломал, карлик-то, оказывается, и звал на помощь. Я подхожу к этому парню и говорю: «Послушай, добрый человек, ты же не хочешь драться со мной? Давай-ка, брось этот меч и будь умницей». Он, понимаете ли, схватил один из моих мечей, сразу видно было, что он не в себе. Я и говорю: «Не надо тебе драться со мной, старина. Ибо я вижу, что ты нуждаешься в добром сне и хорошей еде». И правда, вид у него был жуткий. Как у человека, отстоявшего три всенощные подряд. Глаза были совершенно красные.

— А он что?

Он просто сказал: «Что до этого, то лучше ты ко мне не приближайся, ибо знай, что иначе я тебя зарублю».

— Странно.

— То-то и дело, что странно. Я имею в виду — странно, что он знал высокий язык.

— И что он сделал потом?

— Ну, на мне только и было одежды, что плащ, а человек этот выглядел опасным. Я вернулся в шатер и надел доспехи.

Король Пеллес подал гостю еще печенья, которое сэр Блиант принял, благодарно кивнув.

— Как только я облачился в доспехи, — продолжал он с набитым ртом, — я взял запасной меч и вышел наружу, чтобы разоружить этого малого. Не то чтобы мне хотелось его ударить или еще что-нибудь подобное сделать, но, поскольку он явно был опасным маньяком, других способов отнять у него меч я не видел. Я стал подходить к нему вроде как к собаке, протянув руку и повторяя: «Ах ты, бедняга. Ну, иди сюда, вот умница». Я полагал, что легко с ним справлюсь.

— И как, справились?

— Стоило ему увидеть меня при мече и доспехах, как он бросился на меня, будто тигр. Я отродясь такой атаки не видел. Я попытался парировать удар и должен сказать, что убил бы его из одной только самозащиты, если бы он предоставил мне такую возможность. Однако следующее, что я могу припомнить, это как я сижу на земле,

а из носа и из ушей у меня льется кровь. Он нанес мне такой удар, что у меня в мозгу помутилось.

— Господи, — сказал Король Пеллес.

— Он же отшвырнул меч и помчался в шатер. Там была моя бедняжка-жена, лежала в постели безо всякой одежды. Так он запрыгнул на ложе, содрал с нее покрывало, завернулся в него и заснул мертвым сном.

— Должно быть, женатый был человек, — заметил Король Пеллес.

— Жена с перепугу завизжала, выскочила из постели, накинула сорочку и побежала ко мне. А я как упал на землю, оглушенный, так и лежу, — она и решила, что я убит. Ну, сами понимаете, шум вышел немалый.

— А он, значит, так все время и спал.

— Спал, как бревно. В конце концов мы кое-как пришли в себя, жена приложила мне к затылку одну из моих латных рукавиц, чтобы унять кровь, которая так и текла из носа, и мы с ней обсудили, что делать дальше. Мой карлик — отличный, кстати сказать, малый — присоветовал нам не причинять ему зла, потому что на него пала десница Божия. Собственно говоря, карлик-то и предположил, что это может быть сэр Ланселот. В тот год много ходило разговоров о загадке сэра

Ланселота.

Сэр Блиант прервал свой рассказ, чтобы откусить еще печенья.

— Кончилось тем, что мы свезли его прямо вместе с ложем в конной повозке в Замок Блиант. Он далее не пошевелился. Ну а как привезли, связали по рукам и ногам, пока он еще не проснулся. Теперь-то я сожалею об этом, но тогда нам рисковать не хотелось, а риск, по всему, что мы знали, был, и немалый. Мы его держали в удобном покое, одевали во все чистое, жена кормила его добрыми яствами, дабы подкрепить его силы, но все же нам казалось, что пока он в цепях, оно как-то надежнее. Полтора года он у нас прожил.

— А как же он убежал-то?

— Я как раз к этому и подбираюсь. Это самая соль истории. Как-то раз я после обеда отправился в лес, думал с полчасика поохотиться, а там на меня вдруг напали сзади двое рыцарей.

— Двое рыцарей? — спросил Король. — Сзади?

— Да. Именно двое и именно сзади. Это были сэр Брюс Безжалостный и какой-то его дружок.

Король Пеллес с размаху хлопнул себя по колену.

— Этот человек, — воскликнул он, — сущая угроза для общества. Не могу понять, почему его

до сих пор никто не прикончил.

— Все горе в том, что его изловить невозможно. Однако я вам рассказывал про Дикого Человека. Сэр Брюс и этот, второй, как вы понимаете, застали меня совершенно врасплох, и должен с сожаленьем признать, что мне пришлось обратиться в бегство.

Сэр Блиант примолк и уставился в огонь. Впрочем, он вскоре взбодрился.

— Ну, ладно, — сказал он, — не всем же быть героями, верно?

— Не всем, — согласился Король Пеллес.

— Я был жестоко изранен, — сказал сэр Блиант, найдя удачную формулу, — и чувствовал, что силы мне изменяют.

— Разумеется.

— Эти двое до самого замка скакали по бокам от меня и наносили мне удар за ударом. Я и по сей день не понимаю, как я жив-то остался.

— Это все записано в Камнях, — сказал Король.

— Мы сломя голову проскакали мимо бойниц барбакана, и, видимо, сквозь них Дикий Человек нас и заметил. Он у нас, понимаете ли, сидел в барбакане, наверху. Так или иначе, он нас увидел и, как потом оказалось, голыми руками разорвал оковы. Оковы, между прочим, были железные, на

руках и ногах. Он при этом жестоко поранился. Затем он выбежал через задние ворота, — руки в крови, цепи так и летают вокруг, — стянул с седла напарника сэра Брюса, отнял у него меч и так саданул сэра Брюса по голове, что тот ничком повалился с коня. Второй рыцарь попытался заколоть Дикого Человека сзади, он же был совсем без доспехов, да только я в последний миг рубанул этого малого по запястью. Ну, тут они оба поймали своих коней и поскакали, что было мочи. Это был уже даже и не карьер, можете мне поверить.

— В этом весь сэр Брюс.

— В тот год у меня жил мой брат. Я и говорю ему: «Зачем же мы держали такого славного парня в цепях?» Мне стало стыдно, когда я увидел его израненные руки. «Он учтив, — говорю, — и благороден, а теперь вот и жизнь мою спас. Нам никогда больше не следует надевать на него цепи, но должно предоставить ему свободу и сделать для него все, что мы сможем». И знаете, Пеллес, мне этот Дикий Человек полюбился. Он был ласков, полон благодарности и все называл меня Господином. Страшно подумать, что это мог быть великий Дюлак, а мы держали его закованным и позволяли ему с таким смирением величать меня Господином.

— Так что же с ним в конце концов стало?

— Он тихо прожил с нами несколько месяцев. Ну а потом в замке объявились охотники на вепря, и один из загонщиков оставил коня и пику у дерева. Дикий Человек схватил их и ускакал. Понимаете, получалось вроде бы, что разного рода джентльменские принадлежности возбуждали его — словно при виде доспехов, сражения или охоты что-то такое начинало ворочаться в его бедной голове и его обуревало желание присоединиться к нам.

— Бедный мальчик, — сказал Король. — Бедный, бедный мальчик! Очень возможно, что это и был сэр Ланселот. Известно, что под прошлое Рождество его растерзал дикий вепрь.

— Мне бы хотелось узнать, как это случилось.

— Если этот ваш человек действительно был Ланселотом, то он поскакал прямиком за вепрем, на которого вы охотились. Вепрь был знаменитый, погубивший за много лет немало собак, потому и охота была не пешая. Они с Ланселотом сошлись один на один, вепрь распорол лошади брюхо, и прежде чем Ланселот отсек ему голову, разодрал тому бедро до самой кости. Ланселот убил его поблизости от обители отшельника, одним ударом. Отшельник вышел наружу, но

Ланселот столь разъярился от раны и от всего остального, что швырнул в отшельника мечом. Я это слышал от рыцаря, который при всем присутствовал. По его словам, сомневаться, что это был сэр Ланселот, не приходилось — он был уродлив лицом и вообще очень похож; этот рыцарь сам, вместе с отшельником, перенес раненого в обитель, после того как он впал в беспамятство. Рыцарь сказал, что от такой раны никому еще не удавалось оправиться, да, собственно, он и видел, как тот человек умер. А пуще всего рыцаря уверило, что Дикий Человек был когда-то великим рыцарем, слово, с каким тот обратился к отшельнику, пока еще стоял в смертельной муке над вепрем: он назвал отшельника «приятель». Так что, как видите, под конец разум его хоть отчасти да прояснился.

— Несчастный Ланселот.

— Упокой Господи его душу.

— Аминь.

— Аминь, — повторил сэр Блиант, глядя в огонь. Затем он встал и повел плечами.

— Надо бы ехать, — сказал он. — А как ваша дочь? Все забываю спросить.

Король Пеллес вздохнул и тоже поднялся.

— Проводит время в монастыре, — сказал он. —

По-моему, она намеревается через год принять постриг. Впрочем, нам удастся повидать ее в следующее воскресенье, она ненадолго приедет домой.

## 20

После отъезда сэра Блианта Король Пеллес поднялся наверх, намереваясь заняться кое-какой библейской генеалогией. История с Ланселотом интересовала его и ставила в тупик еще и потому, что имела прямое отношение к его внуку Галахаду. Всех нас порой доводят до грани безумия наши возлюбленные и жены, но Король Пеллес уверенно полагал, что в человеческой природе присутствует некий основательный стержень, который, как правило, не позволяет переступить эту грань. Он считал, что Ланселот совершил эксцентричный — и это еще мягко сказано — поступок, расставшись с разумом из-за размолвки с возлюбленной, и намеревался выяснить, покопавшись в генеалогии Бана, не было ли в семье иных проявлений безумия, на счет которых можно отнести такое поведение Ланселота. Если они там были, безумие могло передаться и Галахаду. Чего доброго, придется еще отправлять мальчишку в Вифлеемскую больницу (ту, что позже стала называться Бедламом). Как будто ему, Пеллесу, и без того забот не хватает.

— Отцом Бана, — говорил сам себе Король

Пеллес, протирая очки и сдувая пыль с многочисленных трудов по геральдике, генеалогии, некромантии и мистической математике, — был Король Ланселот из Бенвика, повенчанный с дочерью Короля Ирландии. В свою очередь, отцом Короля Ланселота был Иона, взявший в жены дочь Мануеллия Галльского. Так, а отец Ионы, он кто такой?

Если как следует вдуматься, в разуме Ланселота вполне могло иметься слабое звено. Весьма вероятно, что в самых глубинах его сознания некая темная тайна и крылась — мы отмечали это еще лет десять назад, наблюдая за мальчиком, который, стоя посреди Оружейной Бенвикского Замка, вертел в руках шлем.

— Насьен, — сказал Король Пеллес. — Черт бы его подрал этого Насьена. Похоже, их было двое.

Он добрался уже, миновав Лисайю, Хеллиаса Дородного, Насьена Отшельника — от которого Ланселот, вероятно, унаследовал склонность к визионерству — и Наппуса, до второго Насьена, каковой, если он вообще существовал, совершенно уничтожал теорию Короля касательно происхождения Ланселота в восьмом колене от Господа Нашего. Вообще-то говоря, очень похоже на то, что в те давние времена едва ли не каждого

отшельника звали Насьеном.

— Черт бы его подрал, — повторил Король и выглянул в окно, желая узнать, что там за шум на улице, ведущей к замку.

По улице деревушки Корбин, преследуемый теми же жителями, что вышли когда-то приветствовать Ланселота, бежал Дикий Человек — не многовато ли их для одного утра? Человек был наг, тощ, словно призрак, и на бегу прикрывал голову руками, пытаясь ее оберечь. Рядом с ним бежали мальчишки и швыряли в него комьями земли. Время от времени он останавливался, ловил одного из них и перекидывал через изгородь. Но это лишь заставляло мальчишек заменять комья каменьями. Король Пеллес ясно видел кровь, стекавшую по его высоким скулам, его ввалившиеся щеки, впалые глаза и синеватые тени меж ребер. Он видел и то, что человек этот направляется к замку.

В замковом дворе, куда, торопливо прихрамывая, спустился Король Пеллес, вокруг Дикого Человека собралась уже целая толпа замковой челяди, с восторгом его созерцавшей. Чтобы отвязаться от деревенских мальчишек, пришлось опустить на воротах решетку, обитатели же замка были расположены отнестись к беглецу

по-доброму.

— Видите, как он весь изранен, — говорил один из оруженосцев. — Вон хоть на тот здоровенный шрам посмотрите. Не иначе, как был он странствующим рыцарем, покуда не помешался, так что вы с ним повежливее.

Дикий Человек стоял в окружении челяди, дамы хихикали, пажи тыкали пальцами. Он стоял неподвижно, свесив голову, не говоря ни слова, ожидая, что с ним еще сделают.

— А может, это сэр Ланселот?

В ответ послышался общий хохот.

— Нет, серьезно. Никто же не доказал, что Ланселот помер.

Король Пеллес приблизился к Дикому Человеку вплотную и заглянул ему в лицо. Для этого ему пришлось зайти сбоку.

— Вы сэр Ланселот? — спросил он. Изможденное, грязное, бородатое лицо: глаза, похоже, вообще не мигают.

— Вы Ланселот? — повторил Король Но манекен не дал ответа.

— Он глухонемой, — сказал Король. — Пусть живет у нас в шутах. Вид у него, должен сказать, достаточно смешной. Кто-нибудь, принесите ему одежды, — ну, те, знаете, комические, — и

отправьте его на голубятню, пусть отоспится. Да постелите там чистой соломы.

Манекен внезапно поднял обе руки и испустил рев, заставивший всех отшатнуться. Король даже очки уронил. Затем руки опали, манекен вновь застыл, окружающие нервно захихикали.

— Все же вы его лучше заприте, — мудро распорядился Король. — Безопасность прежде всего. Да не давайте ему еду в руки, а кидайте издали. Осторожность никогда не повредит.

И сэра Ланселота, ставшего королевским дурнем, свели на голубятню — и заперли, и кормили, швыряя издали пищу, и спал он на чистой соломе.

Когда в следующее воскресенье племянник Короля, юноша по имени Кастор, приехал, чтобы принять посвящение в рыцари, — это и была та церемония, ради которой собиралась приехать домой Элейна, — в замке воцарилось веселье. Король, страстный любитель всякого рода церемоний, отпраздновал событие с королевским размахом, подарив всякому обитателю владения по мантии. С прискорбием следует отметить, что он отпраздновал его и чрезмерно усердным опустошением тех самых винных погребов, коими правил супруг дамы Бризены.

— Вселиться всем! — восклицал Король.

— Пьем здоровье! — отвечал сэр Кастор, ведший себя отменнейшим образом.

— Мантии все получили? — орал Король.

— Да, спасибо, Ваше Величество, — отзывалась свита.

— Точно?

— Совершенно точно, Ваше Величество.

— Тада лада. Мантии добрые, даром что старье!

И Король любовно завернулся в собственную мантию. В подобных случаях он изменялся до неузнаваемости.

— Всем хочется от души поблагодарить Ваше Величество за столь щедрые подарки.

— И говорить не о чем.

— Трижды ура Королю Пеллесу.

— Ура, ура, ура!

— А нащёт драка? — вдруг осведомился Король. — Дураку мантию выдоили? Где бедный дурак?

Ответом ему было молчание, ибо никому не пришло в голову отложить мантию и для сэра Ланселота.

— Не плучил? Мантию-шмантию? — вскричал Король. — Ападать его сюда сей же минут!

По королевскому приказу сэра Ланселота привели с голубятни. Он стоял, освещенный факелами, жалостная фигура с соломой в бороде и в шутовском наряде.

— Бедный дурень, — печально сказал Король. — Бедный. На, бери мою.

И невзирая ни на какие увещевания и советы, Король с трудом выпутался из своего драгоценного одеяния и набросил его Ланселоту на голову.

— Петь гуляет, — кричал Король. — Отдых-поддых ему. Не могу держать человека день-ночь под забором.

Сэр Ланселот, в роскошном одеянии стоявший навытяжку посреди Главного Зала, выглядел на редкость величественно. Если бы ему еще подстричь бороду (наше чисто выбритое поколение призабыло, как изменяла внешность человека подстриженная борода), да если бы он не оголодал до скелетообразна в келье отшельника после охоты на вепря, да если бы не слухи о его кончине, — но и при всем при том подобие благоговейного молчания опустилось на зал. Впрочем, Король ничего не заметил. Мерно шагая, сэр Ланселот отправился назад в голубятню, и королевские карлы выстроились в два ряда вдоль его пути.

## 21

Элейна, по своему обыкновению, никакой утонченности не выказала. В схожих обстоятельствах Гвиневера наверняка обзавелась бы интересной бледностью — Элейна же обзавелась только лишним весом. В белом одеяньи послушницы она прогуливалась с компаньонками по замковому саду, и походка ее была тяжеловата. Галахад, уже трехлетний, прогуливался рядом, держась за ее руку.

Элейна собиралась принять постриг не потому, что отчаялась. Она не имела намерений провести остаток жизни, изображая кинематографическую монашку. За два года женщина способна забыть сколь угодно большую любовь или, во всяком случае, аккуратно уложить ее в самую глубь сознания, свыкнуться с ней и вспоминать о ней ничуть не чаще, чем вспоминает деловой человек об упущенной по невезенью возможности вложить деньги в предприятие, которое принесло бы ему миллионные барыши.

Элейна намеревалась оставить сына и стать невестой Христовой потому, что не видела, чем еще она могла бы заняться. Шаг этот был вовсе

не драматическим, да, возможно, и не вполне благочестивым, но Элейна знала, что ей никогда уже не полюбить человека так, как любила она своего ныне мертвого рыцаря. Плыть против течения она более не могла.

Она не оплакивала Ланселота, не орошала слезами подушку. Она почти и не вспоминала о нем. Ланселот обосновался в некоем закоулке ее души, подобно морскому моллюску, постепенно вгрызающемуся в скалу. Пока он отвоевывал себе место, Элейну терзала боль. Теперь же моллюск надежно прилепился к скале, пообжился и больше скалу не крошил. Прогуливаясь с девицами по саду, Элейна размышляла лишь о церемонии посвящения сэра Кастора, о том, довольно ли напекли пирогов для пира, да еще о чулках Галахада, нуждавшихся в штопке.

Одна из девиц, игравшая, чтобы согреться, с мячом, — это была все та же игра, которой тешилась Навсикая перед самым появлением Улисса, — вдруг выскочила из кустов, что росли у источника, и подбежала к Элейне. К источнику ее увлек мяч.

— Там мужчина, — зашептала она с таким выражением, словно там был не мужчина, а гремучая змея. — Мужчина спит у источника.

Элейна заинтересовалась — не мужчиной и не девичьим испугом, просто человек, спящий в январе под открытым небом, это как-никак редкость.

— А ну-ка потише, — сказала она. — Пойдемте, посмотрим.

Полная послушница в белых одеждах, на цыпочках приближавшаяся к Ланселоту, простоватая женщина с круглым лицом, упрямо не желавшим являть благородные признаки горя, молодая матрона, думавшая о чулках Галахада, — она не осознавала ни своей уязвимости, ни желаний. Она склонилась над Ланселотом невинно и мирно, погруженная в совершенно иные заботы, подобно бездумному кролику, скачущему, пощипывая траву, по проторенной дорожке. И внезапно капкан захлопнулся.

Двух ударов сердца хватило Элейне, чтобы узнать Ланселота. С первым оно поднялось, как на волне, и замерло в высшей точке подъема. Второй сорвал его с гребня волны, переняв у нее накопленную стремительность, и сердце ринулось вниз, словно конь, вздыбившийся и падающий навзничь.

В рыцарской мантии, раскинувшись, лежал у источника Ланселот. Замечание сэра Блианта

о том, что джентльменские принадлежности что-то такое страгивали в его голове, оказалось справедливым. Растревоженный полученной мантией и какими-то смутными воспоминаниями о подобном же цвете и белом мехе опушки, Дикий Человек прямо от королевского стола отправился к источнику. Здесь, в темноте, в одиночестве, без зеркала, он умылся. Костлявыми кулаками прочистил глазные впадины. Ножницами и скребницей, взятыми на конюшне, попытался привести в порядок волосы.

Элейна отослала женщин. Она вложила ладошку Галахада в ладонь одной из них, и Галахад ушел с ними, не протестуя. Ребенком он был загадочным.

Элейна же присела близ Ланселота и всмотрелась в него. Она не прикасалась к нему, не плакала. Она потянулась было погладить его по отощавшей руке, но так и не решилась на это. Долгое время она просто сидела на корточках и наконец все же расплакалась. Но плакала она от жалости к Ланселоту, к его усталым глазам, таким спокойным во сне, к белым шрамам у него на руках.

— Отец, — сказала Элейна, — если теперь вы мне не поможете, то уже не поможет никто и

никогда.

— Что такое, дорогая моя? — спросил Король. — У меня голова трещит.

Но Элейну это не тронуло.

— Отец, я нашла сэра Ланселота.

— Кого?

— Сэра Ланселота.

— Быть того не может, — сказал Король. — Ланселота убил вепрь.

— Он спит в саду.

Король одним прыжком соскочил с трона.

— И ведь я об этом знал с самого начала, — сказал он, — да только ума не хватило, чтобы задуматься. Дикий Человек. Это же очевидно.

Он слегка пошатнулся и приложил ладонь ко лбу.

— Предоставь это мне, — сказал Король. — Я сам распоряжусь. Я точно знаю, что делать. Дворецкий! Бризена! Куда они, к дьяволу, запропастились? Гей! Гей! А, вот ты где. Так, дворецкий. Приведи-ка сюда жену свою, даму Бризену, и еще двух мужчин, на которых можно положиться. Постой. Возьмешь Гумберта и Гурта. Где он, ты говоришь?

— Спит у источника, — быстро сказала Элейна.

— Вот именно. Стало быть, прикажи всем

обходить розовый сад стороной. Слышишь, дворецкий? Всех долой, и чтобы, когда выйдет Король, никто там не вертелся. И прихвати с собой простыню. Крепкую простыню. Нам придется перенести его на ней, взявшись за четыре конца. Да, и приготовь комнату в башне. Скажешь Бризене, чтобы простыни просушила как следует. Перину лучше всего пуховую. Разожги огонь и приведи туда доктора. Передай ему, пусть прочтет главу о безумии у Варфоломея Английского. Да, и распорядись, чтобы белье приготовили. Пока сон его столь крепок, нам следует его переодеть.

Когда Ланселот проснулся, все увидели, что глаза его прояснились. Но состояние разума явно оставалось прежалостным. Впрочем, по всем признакам он ожидал от них спасения.

Проснувшись в следующий раз, он сказал:

— А, Господи Иисусе! Как очутился я здесь?

В ответ он услышал обычные речи о том, что ему следует отдохнуть и не разговаривать, пока он не наберется сил, и подобные этим. Доктор махнул рукой Королевскому Оркестру, который немедля грянул «Мать благая Иисуса», ибо книга доктора Варфоломея рекомендовала ублажать умалишенных инструментальной музыкой. Все с надеждой глядели на Ланселота, желая убедиться

в благотворном влиянии музыки, но он схватил Короля за руку и в муке воскликнул: «Во имя Бога, мой любезный господин, откройте мне, как я сюда попал?»

Элейна положила руку ему на лоб, заставив лечь.

— Вы забрели сюда в безумии, — сказала она, — и ни одна живая душа не знала, кто вы.

Ланселот повернул к ней недоумевающий взор и потерянно улыбнулся.

— Я себя выставил на посмешище, — сказал он. Позже он спросил:

— А многие видели меня, пока я оставался безумным?

## 22

Тело Ланселота сквиталось с его разумом. Две недели он пролежал в верхнем покое башни, и каждая его косточка болела, между тем как Элейна старалась ему не досаждать. Теперь он был в ее власти, она могла день и ночь ухаживать за ним. Но что-то, присущее ее душе, — достоинство ли, гордость, щедрость, застенчивость, или нежелание быть надоевшей, — спасало его. Она навещала Ланселота не чаще одного раза в день и ничего от него не требовала.

Настал день, когда он задержал ее, уже уходившую. Одетый по-домашнему, он сидел, мирно сложив на коленях руки.

— Элейна, — сказал он, — я думаю, нам следует обдумать, как быть дальше.

Она молча ждала приговора.

— Я не могу вечно здесь оставаться, — сказал он.

— Вы знаете, что вам здесь рады, и что вы можете пробыть здесь так долго, как захотите.

— Ко двору мне вернуться нельзя. Элейна, явно колеблясь, произнесла:

— Если бы вы захотели, отец дал бы вам замок,

и мы… мы смогли бы жить вместе.

Он взглянул на нее, и она отвела глаза.

— Или вы могли бы жить в этом замке одна.

Ланселот взял ее за руку и сказал:

— Элейна, я не знаю, что вам ответить. Пожалуй, мне нечего вам сказать.

— Я знаю, что вы не любите меня.

— И вы думаете, что мы можем при этом быть счастливы?

— Я знаю только, в каком случае я буду несчастна.

— Я не хочу, чтобы вы были несчастны. Однако быть несчастным можно по-разному. Не думаете ли вы, что если бы мы стали жить вместе, вы оказались бы еще более несчастной?

— Я была бы счастливейшей женщиной в мире.

— Послушайте, Элейна, единственная наша надежда в том, чтобы говорить правду, какой бы отвратительной она ни казалась. Вам известно, что я не люблю вас, что я люблю Королеву. Такая уж мне выпала участь, тут ничего не изменишь. Бывают вещи, которые переменить невозможно. Что до вас, то вы дважды заманивали меня в западню. Если б не вы, я и ныне оставался бы при дворе. Как по-вашему, сможем ли мы быть

когда-нибудь счастливы, живя вместе?

— Вы были моим мужчиной еще до того, как Королева вас получила, — с гордостью сказала Элейна.

Он провел по глазам ладонью.

— Вы хотите иметь мужа на этих условиях?

— Есть еще Галахад, — сказала Элейна.

Они сидели бок о бок, глядя в огонь. Она не плакала, не молила о жалости, — и Ланселот знал, что это ему не грозит.

Он произнес, с трудом выговаривая слова:

— Я останусь с вами, Элейна, если вам этого хочется. Я не могу понять, как вам этого может хотеться. Я питаю к вам нежность, поверьте, хоть и не знаю сам — почему, после всего, что с нами случилось. Я не хочу причинять вам боль. Но, Элейна, жениться на вас я не могу.

— Мне все равно.

— Причина тут в том… в том, что супружество это договор. Я… я всегда гордился моим Словом. И если я не… если я не испытываю к вам этого чувства, то… черт подери, Элейна, да не обязан я жениться на вас, ведь именно вы обманули меня.

— Не обязаны.

— Обязан, не обязан! — с перекошенным ли-

цом вскричал Ланселот. Он выплевывал слова в огонь, словно вкус их был ему мерзок. — Я должен быть уверен, что вы все понимаете и что я сам не пытаюсь вас обмануть. Я не женюсь на вас, потому что я вас не люблю. Не я все это начал, и я не могу отдать вам мою свободу: я не могу обещать, что останусь с вами навек. И я не хочу, чтобы вы принимали эти условия, Элейна, ибо они унизительны. Они продиктованы обстоятельствами. Если бы я сказал вам что-либо иное, я бы солгал, и было бы только хуже…

Он умолк и спрятал лицо в ладонях.

— Не понимаю, — сказал он. — Как ни стараюсь.

— При любых условиях, — сказала Элейна, — вы мой добрый и милостивый господин.

Король Пеллес отдал им замок, Ланселоту уже знакомый. Сэру Блианту, державшему этот замок от Короля, пришлось выехать, уступая им место, — и он это сделал даже с готовностью, когда узнал, что оказывает услугу Дикому Человеку, некогда спасшему ему жизнь.

— Так это сэр Ланселот? — спросил Блиант.

— Нет, — ответил Король Пеллес. — Это французский рыцарь, именующий себя Кавалером Мальфет. Я же говорил вам, что я прав, — сэр

Ланселот умер.

Было условлено, что Ланселот станет жить инкогнито, ибо стоит лишь позволить распространиться известию, что он жив и поселился в Замке Блиант, как его тут же потянут ко двору, словно беглого каторжника.

Замок Блиант окружал замечательный ров, превращавший его практически в остров. Попасть в замок можно было лишь лодкой с барбакана, стоявшего по другую сторону рва, сам же замок, помимо стен, окружала волшебная ограда из железа, вероятно, представлявшая собою род cheval de fries[10]. Десять рыцарей были назначены в услужение Ланселоту и двадцать дам — Элейне.

Элейна была вне себя от счастья.

— Мы назовем его Островом Радости, — сказала она. — И будем здесь счастливы. И знаешь, Ланс, — он морщился, когда она прибегала к этому имени, — мне хочется, чтобы ты предавался своим любимым занятиям. Мы непременно должны устраивать турниры, охотиться с соколом, да мало ли что еще. Ты должен приглашать людей погостить, чтобы у нас было общество. Обещаю, что я не буду тебя ревновать, Ланс,

---

**[10] notes: 10**

Рогатка (фр.) — оборонительные сооружения наподобие противотанковых ежей (прим. ред

или мешаться в твои дела. Ты не думаешь, что счастье может нам улыбнуться, если мы будем осмотрительны? Как по-твоему, Остров Радости — хорошее название?

Ланселот откашлялся и сказал:

— Да, название чудесное.

— Нужно будет сделать тебе новый щит, чтобы ты мог выходить на турниры неузнанным. Какое изображение ты бы хотел на него поместить?

— Какое угодно, — сказал Ланселот. — Мы устроим это попозже.

— Кавалер Мальфет. Какое романтическое имя! А что оно означает?

— Оно может значить многое. Одно из значений — Уродливый Рыцарь, другое — Рыцарь, Совершивший Проступок.

Он не стал объяснять ей, что оно может означать и Рыцаря С Дурною Звездой — Рыцаря, Над Коим Тяготеет Проклятие.

— Я не считаю, что ты уродлив — или совершил какое-то зло.

Ланселот сделал над собой усилие и промолчал. По его понятиям, оставаться с Элейной ради того, чтобы иметь в дальнейшем возможность поплакаться на свою несчастную долю, равно как и разыгрывать Великое Самоотречение, было бы

в высшей степени бесчестно, но с другой стороны, и притворство представлялось ему пустым занятием.

— Это оттого, что ты душка, — сказал он и поцеловал ее торопливо и неловко, чтобы скрыть фальшь, прозвучавшую в этом слове. Но Элейна уловила ее.

— Ты сможешь сам заниматься воспитанием Галахада, — сказала она. — Ты сможешь научить его всем твоим приемам, чтобы он, когда вырастет, стал величайшим из рыцарей мира.

Он поцеловал ее снова. «Если мы будем осторожны», — сказала она, и она старалась быть осторожной. Он испытывал жалость к ней за эти старания и благодарность — за благородство ее души. Он походил на рассеянного человека, делающего два дела зараз — одно очень важное, другое совсем пустяковое. Важное он почитал своим долгом. Но быть любимым всегда стеснительно. А из-за того, что он о себе думал, принимать смирение Элейны ему было и вовсе неловко.

Утром того дня, когда им предстояло отправиться в Замок Блиант, Ланселота остановил в Главной Зале новопосвященный рыцарь, сэр Кастор. Ему было всего лишь семнадцать лет.

— Я знаю, что вы называете себя Рыцарем, Со-

вершившим Проступок, — сказал сэр Кастор, — но мне все же сдается, что вы сэр Ланселот. Я прав?

Ланселот взял мальчика за руку.

— Сэр Кастор, — сказал он, — вы полагаете, что это рыцарский вопрос? Пусть даже имя мое и сэр Ланселот, и я лишь называю себя Кавалером Мальфет, — не думаете ли вы, что у меня на то могут быть некие причины, к коим джентльмену высокого рода должно относиться с почтением?

Сэр Кастор залился краской и встал на одно колено.

— Я никому не обмолвлюсь, — сказал он.

И не обмолвился.

## 23

Весна наступала медленно, новые обитатели обжились в замке, и Элейна устроила для своего кавалера турнир. Победителя ожидала награда — красавица девица и ловчий сокол.

Пять сотен рыцарей собрались со всех концов королевства для участия в турнире, — но Кавалер Мальфет со своего рода равнодушной безжалостностью сражал всякого, кто вставал против него, и турнир провалился. Рыцари разъехались, недоумевающие и напуганные. Ни единый человек не лишился жизни — Кавалер с полным безразличием отпускал противника, едва повергнув его наземь, не было также произнесено ни единого слова, во всяком случае, самим Кавалером. Побежденные и ободранные рыцари, не дожидаясь веселого пиршества, обыкновенно происходившего вечером после турнира, разъехались по домам, гадая дорогою, кто таков этот неразговорчивый победитель, и обмениваясь суеверными домыслами. Элейна, продолжавшая отважно улыбаться, пока не уехал последний из рыцарей, ушла к себе в покои и там выплакалась. Потом она вытерла глаза и отправилась на поис-

ки своего господина. Он исчез, едва закончились поединки, ибо у него появилась привычка на закате куда-то уходить в одиночестве, а куда, она не знала.

Она нашла его на укреплениях, залитых золотистым огнем. Их тени и тени зубчатой башни, на которой они стояли, и призрачные тени пылающих древес тянулись по парковым землям широкими фиолетовыми полосами. Отчаянные глаза Ланселота смотрели туда, где, скрытый за далью, лежал Камелот. Перед Ланселотом стоял, прислоненный к стене, его новый щит с анонимной эмблемой. Эмблема изображала серебряную даму на черненом поле и рыцаря, преклонившего пред ней колени.

Простодушная Элейна чувствовала себя польщенной этим изображением. Сообразительности ей никогда не хватало. Теперь же она впервые уяснила, что голову серебряной женщины венчает корона. Элейна беспомощно стояла рядом, пытаясь понять, что же ей делать, но, по правде сказать, делать ей было нечего. Ее оружие было притуплённым и изготовленным из мягкого материала. В ее распоряжении имелись только терпение и самоотречение, а одолеть столь скромными средствами глубоко проникшее в

душу безумие любви, терзавшее некогда стародавнюю расу, было вряд ли возможно.

Как-то поутру они сидели на зеленом валу, у берега озера. Элейна вышивала, Ланселот наблюдал за сыном. Галахад — обстоятельный, немногословный мальчик — играл в некую собственного изобретения игру с куклами, привязанность к коим он сохранял еще долгое время и в летах, когда прочим мальчикам свойственно обращаться к солдатикам. Ланселот вырезал для него из дерева двух рыцарей в полном вооружении. Рыцари водружались с наставленными копьями на снабженных колесиками коней, помещенных на особую платформу. Подтягивая коней за бечевки, можно было заставить рыцарей биться на копьях. Они могли даже выбивать один другого из седла. Галахад не уделял им никакого внимания, а играл все больше с тряпичной куклой, которую он называл «Свят-свят».

— Погубит Гвинета перепелятника, — заметил Ланселот.

К ним торопливо приближалась одна из благородных дам замка с перепелятником на ладони. Спешка ее возбуждала птицу, и та била крыльями, но Гвинета не обращала на нее внимания и только по временам сердито встряхивала ее.

— В чем дело, Гвинета?

— О, госпожа моя, там за водой два рыцаря, они говорят, что прибыли сразиться с Кавалером.

— Скажите им, пусть уезжают, — произнес Ланселот. — Скажите, что меня нет дома.

— Но сэр, привратник указал им дорогу к лодке, и они решили переправляться по одному. Они говорят, что оба сюда не пойдут, но второй переправится, если вы сразите первого. И первый уже в лодке.

Ланселот поднялся и отряхнул колени.

— Передайте ему, чтобы ждал на ристалище, — сказал он. — Я буду через двадцать минут.

Ристалище представляло собой неширокий коридор между двух стен с башнями на каждом конце. На обеих стенах, повыше, были устроены галереи, так что ристалище походило на закрытый теннисный корт, только вместо крыши над головою виднелось небо. Элейна со своею прислугой расположилась на галереях, а двое рыцарей долгое время бились внизу. В копейном бою они оказались ровней — оба были повергнуты наземь — и теперь вот уже два часа рубились на мечах. К исходу этого времени приезжий рыцарь крикнул: «Остановись!»

Ланселот остановился сразу, будто деревенский

батрак, которому разрешили прервать работу и пообедать. Он воткнул меч, словно вилы, в землю и терпеливо застыл. Собственно, он и не бился, а работал со спокойным терпением батрака. Причинить противнику вред он не пытался.

— Кто вы? — спросил приезжий. — Прошу вас, откройте мне ваше имя, ибо я не встречал человека равного вам.

Внезапно Ланселот поднял к шлему обе латных рукавицы, как бы стараясь скрыть в них уже скрытое лицо, и несчастным голосом произнес: «Я сэр Ланселот Дюлак».

— Что?!

— Я — Ланселот, валлиец.

Сэр Персиваль Уэльский отшвырнул меч к стене, меч, ударившись, зазвенел, а Персиваль уже несся к башне, выходившей на ров. Удары его железных ног отзывались эхом от стен. На бегу он развязал и отбросил шлем. Достигнув решетки ворот, он приложил ко рту ладони и закричал, что было мочи:

— Эктор! Эктор! Это Ланселот! Давай сюда!

И не помедлив, бегом устремился обратно к другу.

— Ланселот! Друг вы мой милый! Я знал, что это вы, знал!

Он принялся возиться с ремешками шлема, стараясь побыстрей развязать их неуклюжими пальцами. Содрав латные рукавицы, он и их запустил со звоном в стену. Ему не терпелось увидеть лицо сэра Ланселота. Ланселот же стоял спокойно, словно уставший ребенок, раздеваемый взрослым.

— Но где же вы были? Почему вы здесь? Мы боялись, что вы погибли.

Шлем сошел с головы и полетел вслед за всем, остальным.

— Ланселот!

— Вы сказали, что с вами Эктор?

— Да, Эктор, ваш брат! Мы вас разыскиваем вот уж два года. Ах, Ланселот, как же я рад вас видеть!

— Войдите в замок, — сказал Ланселот, — и отдохните.

— Но что вы делали все это время? Где вы скрывались? Королева с самого начала отправила на поиски трех рыцарей. А под конец нас было уже двадцать три. Это обошлось ей не меньше чем в двадцать тысяч фунтов.

— Я проводил время в разных местах.

— Даже Оркнейцы и те помогали. Сэр Гавейн тоже старался вас отыскать.

Тут подплыл в лодке сэр Эктор — сэр Эктор Окраинный, не опекун Короля Артура, — и для него подняли на воротах решетку. Он понесся к Кавалеру так, словно хотел отбить у него футбольный мяч.

— Брат!

В конце ристалища стояла, глядя на них, спустившаяся с галереи Элейна. Она сознавала, что с минуты на минуту ей предстоит явить радушие людям, которые разобьют ее сердце. Она не мешала им приветствовать друг друга, но следила за ними, словно ребенок, не принятый в игру. Она стояла неподвижно, собираясь с духом, скликая и сосредотачивая в крепости сердца все свои силы, всю пограничную стражу души.

— Это Элейна.

Они повернулись к ней и поклонились.

— Добро пожаловать в Замок Блиант.

## 24

— Я не могу оставить Элейну, — сказал он.

— Да почему? — сказал Эктор Окраинный. — Ты же не любишь ее. У тебя нет перед ней никаких обязательств. Ты только мучаешь себя, оставаясь с ней.

— У меня есть перед ней обязательства. Я не могу вдаваться в объяснения, но это так.

— Королева в отчаянии, — сказал Персиваль. — Чтобы найти вас, она потратила целое состояние.

— Тут я ничем помочь не могу.

— Ну какой смысл дуться? — сказал Эктор. — По-моему, ты просто дуешься. Если Королева раскаивается в том, что она натворила, чем бы оно там ни было, тебе следует явить благородство и простить ее.

— Мне нечего прощать Королеве.

— Так я об этом и говорю. Ты просто обязан вернуться ко двору и продолжить свою карьеру. Прежде всего это твой долг перед Артуром: как-никак ты принес ему рыцарскую присягу. Он очень в тебе нуждается.

— Нуждается?

— У него, как всегда, неприятности с Оркнейцами.

— А что поделывают Оркнейцы? Ах, Персиваль, вы и не представляете, как согревается мое сердце, когда я слышу старые имена. Расскажите мне, о чем судачат при дворе? Как там Кэй, — он часто садился в лужу в последнее время? А Динадан все еще шутит? И какие новости о Тристраме и Короле Марке?

— Если ты так интересуешься новостями, возвращайся ко двору.

— Я же сказал тебе, что не могу.

— Ланселот, взгляните на свое положение трезво. Неужели вы всерьез полагаете, что, живя здесь инкогнито с этой девчонкой, вы сумеете по-прежнему быть самим собой? По-вашему, можно победить на турнире пять сотен рыцарей и остаться неузнанным?

— Да едва мы услышали о турнире, — добавил Эктор, — как сразу помчались сюда. Персиваль сказал: «Либо это Ланселот, либо я — датчанин».

— Если вы твердо решили остаться здесь, — продолжал Персиваль, — это будет означать, что вам придется сложить оружие. Еще один поединок, и о вас примутся толковать по всей стране. Я, впрочем, думаю, что и этого поединка уже не

понадобится.

— Засесть здесь с Элейной, значит от всего отказаться. Ты окажешься в полной отставке — ни гостей, ни турниров, ни чести, ни любви: тебе даже под открытое небо выйти будет нельзя. Ты ведь знаешь, у тебя не такое лицо, чтобы его легко было забыть.

— Что бы это ни значило, Элейна достойная и добрая женщина. Когда человек доверяется тебе, Эктор, когда он целиком от тебя зависит, нельзя причинять ему горе. Так и с собаками не поступают.

— Однако ж на собаках никто и не женится.

— Черт возьми, она любит меня.

— Как и Королева.

Ланселот перевернул вверх дном чашу, которую держал в руках.

— Когда я в последний раз видел Королеву, — сказал он, — она велела мне больше не попадаться ей на глаза.

— Тем не менее она извела двадцать тысяч фунтов, чтобы тебя отыскать.

Ланселот немного помолчал и спросил голосом, прозвучавшим грубо: — Как она?

— Она ужасно удручена.

Эктор сказал:

— Она понимает, что сама виновата. Она все плакала, плакала, а когда Ворс обозвал ее дурой, она даже спорить не стала. Да и Артур удручен, потому что из-за этой истории весь Стол перевернулся вверх дном.

Ланселот швырнул чашу на пол и встал.

— Я сказал Элейне, — произнес он, — что не могу дать обещание остаться с ней, а потому я обязан остаться.

— Вы ее любите? — спросил Персиваль, решившись задать главный вопрос.

— Да, люблю. Она была добра ко мне, и я к ней привязан.

Увидев выражение их лиц, он заменил слово.

— Я люблю ее, — произнес он с вызовом.

Рыцари задержались на неделю, и Ланселот, с жадностью выслушивавший новости о Круглом Столе, ослабевал с каждым днем. За обедом Элейна сидела во главе стола, рядом со своим господином, и тонула в потоке речей о людях, чьих имен она никогда не слышала, и о событиях, сути которых она не понимала. Ей только и оставалось, что предлагать гостям все новые яства, которые Эктор поглощал, не прерывая очередного рассказа. Они перегибались через нее, разговаривали и смеялись, и Элейна тоже

прилежно смеялась. Каждый день на закате Ланселот отправлялся на башню, — впервые застав его там, Элейна на цыпочках удалилась, и он не знал, что тайна его свиданий раскрыта.

— Ланселот, — сказала она как-то утром, — там за рвом ждет какой-то мужчина с конем и доспехами.

— Рыцарь?

— Нет. Он похож на оруженосца.

— Интересно, кто на этот раз. Вели привратнику перевезти его.

— Привратник сказал, что он не хочет переезжать. Он говорит, что будет ждать там, пока не выйдет сэр Ланселот.

— Пойду, посмотрю.

Он направился к лодке, но Элейна задержала его.

— Ланселот, — сказала она, — как мне поступить с Галахадом, если ты вдруг уедешь?

— Уеду? А кто сказал, что я собираюсь уехать?

— Никто не сказал, просто я хочу знать.

— Я не понимаю, о чем ты говоришь.

— Я хочу знать, как мне растить Галахада.

— Ну, я думаю, как обычно. Надеюсь, из него получится добрый рыцарь. Но ведь это вопрос воображаемый.

— Вот это я и хотела узнать. Однако она опять задержала его.

— Ланселот, можно я задам тебе еще один вопрос? Если тебе придется уехать, если тебе придется оставить меня, — ты возвратишься назад?

— Я же сказал, что уезжать не собираюсь.

Она осторожно подбирала правильные слова, словно человек, идущий через болото и ощупывающий перед собою почву.

— Это помогло бы мне и дальше растить Галахада, — помогло бы мне жить дальше, — если б я знала, что когда-нибудь..., что наступит день... если бы я знала, что ты вернешься.

— Элейна, я не понимаю, к чему эти речи.

— Я не пытаюсь остановить тебя, Ланс. Возможно, для тебя и лучше уйти. Наверное, так и должно было случиться. Я только хочу знать, увижу ли я тебя снова, потому что для меня это важно.

Он взял ее за руки.

— Если я уйду, — сказал он, — я возвращусь назад.

Человек, ожидавший по другую сторону рва, был дядюшкой Скоком. Он стоял рядом со старым, и постаревшим еще на два года, скакуном Ланселота, на седле которого были уложены привычные Ланселоту доспехи, стоял словно бы

в ожидании смотра. Все было прилажено, как полагается, и занимало следуемое по разумению воина место. Кольчуга без рукавов, свернутая в тугую скатку. Шлем, оплечья и поручни, отполированные, на что ушли без преувеличения недели усердных трудов, до лоска, до патины света, какую можно увидеть лишь на только что купленных, еще не потускневших от носки или домашней чистки вещах. Запах седельного мыла исходил от них, смешанный с безошибочно узнаваемым собственным запахом доспехов, — столь же специфическим, как тот, который встречает нас в раздевалке профессиональных игроков в гольф, и для рыцаря столь же волнующим.

Каждый мускул Ланселота норовисто напрягся в нетерпеливом стремлении вновь ощутить на себе привычное вооружение, которого он не видел с тех пор, как покинул Камелот. На указательном пальце заныло место, служившее опорой для рукояти меча. Большой в точности знал усилие в унциях, которое ему надлежит прилагать к внутренней стороне рукояти. Буграм ладони не терпелось приникнуть к ней. Вся рука вспомнила вдруг увесистость Весельчака и прониклась желанием взмахнуть им в воздухе.

Постаревший дядюшка Скок стоял, не говоря ни

слова. Он лишь держал узду, не заслоняя упряжи, и ждал, когда рыцарь сядет на коня и поскачет. Твердые глаза его, пронзительные, как у ястреба, покоились на скакуне. Он молча держал огромный турнирный шлем со знакомым султаном из цапельных перьев, перевязанных серебряной нитью.

Обеими руками Ланселот принял у дядюшки Скока шлем и повернул его. Руки знали, какого им ждать веса — ровно двадцати двух с половиною фунтов. Он увидел великолепную полировку, свежую стежку подкладки и приделанный сзади новый намет. Намет был из ажурной шелковой ткани, его покрывало золотое шитье — множество геральдических лилий старой Франции. Ланселот сразу же понял, чьи пальцы расшивали намет. Он поднял шлем к носу и понюхал его.

И мгновенно она оказалась рядом — не та Гвиневера, которую он вспоминал, стоя на зубчатой башне, но подлинная Дженни, с иною осанкой, с каждой ее ресницей, с каждой порою кожи, с каждой нотою голоса и каждой черточкой улыбка

Он не оглядывался назад, уезжая от Замка Блиант, и Элейна, стоявшая на башне барбакана, не махала рукою вослед. В оцепенелой сосредоточенности она смотрела, как он удаляется,

подобная человеку, который, потерпев кораблекрушение, набирает в маленькую лодчонку столько пресной воды, сколько та в состоянии вместить. У нее оставались секунды, чтобы сделать запас Ланселота, которого должно хватить на долгие годы. Больше у нее ничего не будет — только этот запас, их сын и целая куча золота. Он оставил ей все свои деньги, достаточные, чтобы расходовать в год по тысяче фунтов — в ту пору сумма огромная.

# 25

Пятнадцать лет прошло после расставания с Элейной, а Ланселот так и жил при дворе. Отношения Короля с Гвиневерой и ее любовником оставались в значительной мере теми же, что и прежде. Разница, и немалая, состояла в том, что все они постарели. Волосы Ланселота, уже тронутые, будто мех барсука, сединой, когда он, двадцатишестилетний, вернулся, излечившись от безумия, стали теперь совершенно белыми. Преждевременно поседел и Артур — и губы обоих мужчин алели в обрамлении шелковистых бород. Одна Гвиневера ухитрилась сохранить в неизменности свои волосы, по-прежнему отливавшие вороновой чернотой. В свои сорок лет выглядела она великолепно.

Еще одно различие состояло в том, что ко двору явилось новое поколение рыцарей. Пылкость чувств, присущая первым рыцарям Круглого Стола, оставалась такой же, как и в прежние дни, но сами они превратились из людей едва ли не в аллегорические фигуры. Их окружали юные подданные, для которых Артур был не завоевателем будущего, но признанным побе-

дителем прошлого, для которых Ланселот был героем, одержавшим сотни побед, а Гвиневера — романтической возлюбленной нации. Они видели не Артура, охотящегося в зеленом лесу, но идею Королевской Власти, — не человека, но Англию. Когда Ланселот проезжал мимо, смеясь вместе с Королевой над какой-то лишь им двоим понятной шуткой, эти молодые люди испытывали простодушное изумление оттого, что он вообще способен смеяться. «Ну ты подумай, — говорили они друг другу, — смеется, как будто он такой же простак, как мы с тобой. До чего же он снисходителен, наш сэр Ланселот, до чего демократичен, — смеется, совсем как обыкновенный человек! Так он, может, еще и ест и пьет в придачу, и даже спит по ночам». Но в глубине души представители нового поколения сохраняли уверенность, что ничего подобного великий Дюлак, конечно, не делает.

И вправду, немало воды утекло под мостами Камелота за двадцать один год. То были годы строительства. В начале своем они еще оставались годами баллист и камнеметов, тяжело катящихся по выбитым трактам от одного осажденного замка к другому, дабы сломить своей разрушительной мощью замковые стены, — де-

ревянных башен на колесах, которые, громыхая, подвигались в сторону укреплений изменников, чтобы лучники, стреляя с их верхушек, могли обрушить смерть на предательские цитадели, — или саперных рот, с кайлами и лопатами на плечах марширующих по тем же дорогам в облаках летней пыли подрывать мятежные стрельницы, расшатывать огромные валуны их оснований, отчего с грохотом повалятся сверху камни поменьше. Когда Артуру не удавалось взять приступом крепость очередного приверженца принципа Сильной Руки, он распоряжался, чтобы под определенными участками стены прорыли туннели. Своды этих туннелей подпирали деревянными брусьями, которые в должное время поджигали, и они, рушась, увлекали за собой выложенные из камня стены.

Ранние годы были годами сражений, в которых тем, кто упрямо держался за право добывать себе средства к существованию мечом, предстояло от меча и погибнуть. То были годы, залитые светом от пылающих башен, в которых заживо зажаривались, словно бы образованные сплошь из одних Гаев Фоксов, целые отряды бойцов, ибо серьезное возражение против использования дозорной башни в качестве укрепления состояло в

том, что из нее получалась первоклассная печная труба; годы, оглушенные лязгом боевых топоров, лупящих в двери, именно так и устроенные, чтобы боевым топорам нелегко было справиться с ними, — первый слой досок нашивался на них горизонтально, а второй вертикально, дабы дерево не щепилось вдоль волокон; годы, в которые привычными картинами стали неуклюже валящиеся норманнские великаны, с коими всего удобнее было справляться, отрубая им для начала ноги, чтобы затем с большей легкостью дотягиваться до голов, — и мечи, мерцающие вкруг щитов и шлемов, каковое мерцание в особо выдающихся случаях сопровождалось таким дождем искр, что бьющиеся рыцари казались раскаленными добела.

Куда бы вы ни направились в те первые годы, любая открывшаяся вашему взору даль пресекалась пешей колонной наемников, волокущих из-за Порубежья груды награбленного добра; или рыцарем нового ордена, обменивающимся ударами с консервативным бароном, которого он пытался отучить от привычки резать сервов; или златовласой девой, спасаемой при помощи ременной лестницы из заточения в какой-нибудь укрепленной башне; или улепетывающим

во всю прыть сэром Брюсом Безжалостным и стрелой летящим за ним сэром Ланселотом; или несколькими лекарями, старательно копающимися в ранах неудачливого бойца и кормящими его луком и чесноком, дабы можно было по запаху из раны определить, целы ль его кишки. Осмотрев как следует раны, врачи набивали в них жирную шерсть с овечьего вымени — естественную ланолиновую повязку. Там сидел на груди противника сэр Гавейн и пытался прикончить его, тыча в отверстия забрала длинным и острым стилетом, называемым «Милосердием Божиим». Здесь валялись двое рыцарей, до смерти задохнувшихся во время поединка: несчастье, нередкое в те дни неистовых усилий и слишком маленьких вентиляционных отверстий. По одну сторону от вас могла возвышаться поместительная виселица, возведенная каким-нибудь старого закала князьком, чтобы вешать на ней рыцарей Короля Артура вместе с доверившимися им простолюдинами-саксами, — виселица, возможно, столь же великолепная, как та, что была некогда сооружена в Монфоконе и выдерживала до шестидесяти тел, свисавших, подобно засохшим соцветиям фуксии, между шестнадцати ее каменных колонн. На виселицах поскромнее имелись

подобия ступенек, вроде ножных подпорок на телеграфных столбах, по которым палачи могли карабкаться вверх и вниз. По другую же сторону, взор отдыхал на чьем-то земельном владении, столь изрядно огражденном западнями, нарытыми в зарослях ежевики, что не находилось желающего и на милю приближаться к нему. Перед собою вы могли обнаружить рыцаря-недотепу, попавшегося в силок, который взметнул его в воздух на конце крепкой ветки, освобожденной при срабатывании ловушки, да так и оставил беспомощно болтаться между небом и землей. А позади вас мог разворачиваться какой-нибудь кровавый турнир или сражение враждующих партий, и все герольды как один выкрикивали, обратясь к рядам готовых наброситься друг на друга рыцарей: «Laissez les aller», — клич, в точности соответствующий воплю: «Пошли!», который и ныне можно слышать в день Больших национальных скачек.

В однатысячном году ожидался конец света, и реакцией на отсрочку оного стала такая вспышка беззакония и жестокости, что Европу потом мутило еще несколько столетий. Эта-то вспышка и породила доктрину Силы, ставшую главным противником рыцарей Круглого Стола.

В девственных лесах охотились жестокие лорды, исповедовавшие эту доктрину, хотя, разумеется, исключения, подобные доброму сэру Эктору из Дикого Леса, имелись всегда, так что Иоанну Солсберийскому пришлось посоветовать своим читателям: «Коли одному из этих грозных и безжалостных ловцов случится проезжать мимо вашего жилища, принесите ему с поспешностью всякую пищу и питье, какие только сыщутся в вашем доме или какие вы сможете купить или же позаимствовать у соседей: сие может спасти вас от разорения или даже от обвинений в измене». Можно было видеть, утверждает Дюрюи, детей, свисавших на собственных сухожилиях с деревьев. Не таким уж редким зрелищем был и тяжеловооруженный конник, свистящий, как рак, и с лицом, похожим на овсяную кашу, потому что на него во время осады вылили ушат кипящих отрубей. Об иных, еще более впечатляющих картинах упоминает Чосер: там с ножом под епанчою льстец проворный, там искаженный труп лежит в кустах, там настежь хладной смерти зев раскрыт. Куда ни глянь, всюду кровь и сталь, и дым в небесах, и разгул необузданной силы, и — среди общей смуты тех времен — Гавейн исхитрился-таки прикончить нашего старого,

милого друга Короля Пеллинора, сквитавшись за смерть своего отца, Короля Лота.

Такова была Англия, унаследованная Артуром, в таких корчах рождалась на свет цивилизация, которую он пытался создать. Ныне, после двадцати одного года терпеливых свершений, картина стала иной.

Там, где некогда воздымались едва ли не у каждого брода черные рыцари, пышущие яростью и норовящие содрать дань со всякого, кто по опрометчивости выбрал эту дорогу, ныне любая девственница могла, даже имея на себе золото и украшения, разъезжать где и как ей заблагорассудится, не страшась никакого ущерба. Там, где некогда жуткие прокаженные — в ту пору их называли шелудью — в белых балахонах привычно брели по лесам, позванивая, если они хотели вас остеречь, в свои скорбные колокольца или попросту набрасываясь на вас безо всякого звона, если остерегать они вас не хотели, — теперь там стояли обустроенные больницы, которыми правил какой-нибудь религиозный рыцарский орден, дающий надлежащий уход тому, кто вернулся, заразившись проказой, из Крестовых походов. Тиранических великанов перебили, всех до единого, а всех опасных драконов, из которых иные

имели обыкновение камнем падать на вас с неба, клекоча, словно ловчий сокол, вывели из строя. Там, где когда-то потоками текли по трактам банды налетчиков, плеща на ветру флажками, теперь брели в Кентербери компании веселых паломников, развлекающих друг дружку срамными историями. Смиренные клирики, совершающие однодневную экскурсию к Богородице Уолсингэмской, распевали «Alleluia Dulce Carmen», в то время как менее смиренные выводили трелями великолепную средневековую застольную, ими же и сочиненную: «Meum est propositum in taberna mori». Были здесь и учтивые аббаты в отороченных мехом капюшонах, что было противно уставам их орденов, гарцующие на иноходцах и подтянутые йомены с ястребами на кулаках, и крепыши-крестьяне, переругивающиеся с женами насчет покупки нового плаща, и подвыпившие компании, отправившиеся поохотиться без какого бы то ни было вооружения. Одни ехали на ярмарки, не уступавшие размахом ярмарке в Труа, другие направлялись в университеты, споривших с Парижским, из двадцати тысяч школяров которого со временем вышло семь пап. По монастырям монахи все как один с такой буйной изобретательностью расцвечивали начальные

литеры своих манускриптов, что первые страницы прочесть было вообще невозможно. Те же, что круглым письмом не владели, со тщанием копировали «Historia Francorum» Григория Турского или «Legenda Aurea», или «Jeu d'Echecs Moralise», или «Трактат о Соколиной Ловитве» — то есть если они, конечно, не углублялись в «Ars Magna» волшебника Луллия или в принадлежащее перу величайшего из магов «Speculum Majus». По кухням прославленные повара составляли меню, включавшие в одной только первой перемене блюд: бульон из бычачьих ядер, горячий гогольмоголь с вином и пряностями, заливных миног, устриц под винным и угрей под кислым соусом, запеченную форель, свиную голову с грибами, оленьи потроха, свиной фарш, петушьи гребни, гусей с тушеными овощами, оленину с полбой, кур в говяжьем бульоне, жареных белок, хаггис, пудинг с каплуньей шеей, требуху, рубец, бычков — подкаменщиков, чернику с маслом, яблочный мусс, имбирную коврижку, фруктовое пирожное, бланманже, засахаренную айву и стилтонский сыр. В обеденных залах престарелые джентльмены, притупившие вкусовые ощущения неумеренными возлияниями, смаковали странные деликатесы Средних Веков

— крепкие супы из китового и дельфиньего мяса. Их утонченные дамы украшали тарелки розами и фиалками — печеные бархотки и поныне составляют отменную приправу для хлебного пудинга — а оруженосцы отдавали должное овечьему сыру. В детских мальчики лезли вон из кожи, стараясь уговорить матерей, чтобы к обеду подали зеленые груши, каковые тушились в медовой патоке с уксусом, после чего поедались со взбитыми сливками. Застольные манеры также достигли высот цивилизованности, до которых и нам далеко. Теперь вместо сделанных из хлеба плошек стол украшали накрытые крышками блюда, чаши для омовения пальцев, полные ароматной воды, роскошные скатерти и салфетки в избытке. Сами же обедающие восседали за столом в венках из цветов и элегантных мантиях. Пажи подавали блюда, двигаясь со строгим изяществом балетных танцоров. Бутылки с вином ставились на дощечки с изречениями, эль же, напиток менее почтенный, дощечками накрывали. Пока длилось застолье, играли удивительные оркестры, включавшие колокола, большие рога, арфы, виолы, цитры и органы. Там, где некогда, еще до того, как Король Артур создал свой орден, Рыцарь Лесной Башни вынужден был предосте-

речь свою дочь, дабы она по вечерам не выходила без сопровождающих в собственную столовую залу — из страха перед тем, что может случиться в любом темном углу, — ныне играла музыка и горели светильники. Под закопченными сводами, где некогда чумазые бароны вгрызались в кости, вертя их в окровавленных пальцах, теперь сидели и ели люди с чистыми руками, вымытыми в деревянных чашах пахнущим травами туалетным мылом. В монастырских подвалах виночерпии разливали старый и молодой эль, мед, портвейн, кларет, сухой шерри, рейнвейн, пиво, метиглин, грушевый сидр, пряное вино и наилучшей очистки виски. В судейских залах правосудие отправлялось теперь на основании новых Королевских законов взамен свирепых законов Сильной Руки. В деревенских домах добропорядочные жены выпекали такой хлеб, что у всякого только слюнки текли, и подбрасывали в огонь, не обинуясь расходами, очищенный торф, и пасли стада жирных гусей на общественных пастбищах, достаточных, чтобы прокормить двадцать семей в течение двадцати лет. Норманны и саксы, жившие под рукою Артура, понемногу начинали осознавать себя англичанами.

Не диво, что со всей Европы слетались ко двору

молодые, честолюбивые рыцари. Не диво, что, глядя на Артура, они видели лишь короля, а глядя на Ланселота — лишь победоносного воина.

Одним из пришедших в те дни ко двору молодых людей был Гарет. Другим — Мордред.

## 26

— Нечасто случается нам увидеть в последнее время, как трепещет стрела в человеческом сердце, — сказал Ланселот. Дело было под вечер, они находились на стрельбище.

— Трепещет! — воскликнул Артур. — Как славно передает это слово дрожь едва вонзившейся стрелы!

— Я его подцепил в какой-то балладе, — сказал Ланселот.

Они покинули поле и уселись в беседке, из которой видны были юноши, упражнявшиеся в стрельбе.

— Впрочем, ты прав, — печально сказал Артур. — Мы переживаем время упадка, прежних сражений теперь уже не увидишь.

— Упадка! — протестующе вскричал королевский главнокомандующий. — О чем, собственно, ты печалишься? Ведь ты, по-моему, именно этого и хотел?

Король переменил тему.

— А Гарет в хорошей форме, — сказал он, наблюдая за молодым человеком. — Занятно. Он вряд ли на много лет моложе тебя, а все кажется

мальчиком.

— Гарет миляга.

Король положил ладонь на колено Ланселота и любовно стиснул его.

— В том, что касается Гарета, — сказал он, — кое-кто и тебя мог бы назвать милягой. Уже целое предание составилось о том, как он, не назвав себя, явился ко двору, так что даже собственные братья его не признали, как работал на кухне, как Кэй в приступе язвительности дал ему прозвище «Прекрасные Руки», и как только ты один и относился к нему со всем вежеством, пока он не испытал великих приключений и не стал рыцарем.

— Да будет тебе, — заступился за Оркнейцев Ланселот. — Братья не видели его пятнадцать лет. Гавейна тут винить не в чем.

— А я и не виню никого. Я говорю лишь, что с твоей стороны было очень мило принять участие в кухонном паже, постоянно его поддерживать и в конце концов посвятить в рыцари. Впрочем, ты всегда был добр к людям.

— Странно, как их всех тянет сюда, — сказал Ланселот. — Как будто они просто удержаться не могут. Любой мальчишка, в котором есть хоть немного доблести, словно нутром чувствует, что

его место при дворе Артура, даже если придется там работать на кухне, потому что двор Артура — это центр нового мира. Потому-то и Гарет сбежал от матери. Она бы не отпустила его, вот и пришлось удрать и явиться сюда, утаив свое имя. Глупо вообще-то. Моргауза — просто дрянная старуха, ничего другого о ней не скажешь. Она не отпускала его ко двору, потому что ненавидит тебя, а он все равно оказался здесь.

— Моргауза моя сводная сестра, и я причинил ей немало горя. Женщине трудно сохранить хорошие качества, когда все ее сыновья уходят служить человеку, которого она ненавидит. Даже Мордред, последний из ее сыновей.

Ланселот поежился. Он питал к Мордреду инстинктивную неприязнь, и сама эта неприязнь была ему неприятна. Он не знал о том, что Артур приходится Мордреду отцом, ибо историю эту удалось замять — совсем как историю рождения самого Артура — давным-давно, когда ни Ланселота, ни Гвиневеры еще не было при дворе. Но он чуял какую-то странность в отношениях юноши и Артура. Мордреда он не любил безотчетно, как собака кошку, и стыдился своей нелюбви, потому что она противоречила его принципам, в согласии с коими ему надлежало помогать молодым

рыцарям.

— Наверное, наихудшую боль причинил ей уход Мордреда, — продолжал Король. — Ведь любая женщина сильнее всего привязывается к последнему своему ребенку.

— Насколько я осведомлен, она не питала особой привязанности ни к одному из них. И если их уход к твоему двору причинял ей боль, так лишь потому, что она ненавидит тебя. Почему она тебя ненавидит?

— Это дурная история. Я предпочел бы не говорить о ней.

— Моргауза — женщина, — добавил Король, — и женщина с характером.

Ланселот усмехнулся, скорее мрачно, чем весело.

— Да уж надо полагать, — сказал он, — судя по тому, что она вытворяет. Я слышал, она мертвой хваткой вцепилась в Пеллинорова сына, в Ламорака, даром что он ей во внуки годится.

— Кто тебе сказал?

— Об этом весь двор говорит.

Артур вскочил и в волнении сделал три шага.

— Господи-Боже! — воскликнул он. — А ведь отец Ламорака убил ее мужа! А ее сын убил отца Ламорака! Да Ламораку и лет-то всего ничего!

Он снова присел и уставился на Ланселота, словно бы опасаясь того, что может сейчас услышать.

— Как бы там ни было, но именно это она и сделала.

Артур спросил, внезапно и яростно:

— Где Гавейн? Где Агравейн? Где Мордред?

— Предполагается, что они отправились искать приключений.

— Не… не на север?

— Не знаю.

— А где Ламорак?

— По-моему, застрял в Оркнее.

— Если бы ты только знал мою сестру, Ланселот, — если б ты знал, каков Оркнейский клан у себя дома. Они помешаны на своей семье. Если Гавейн, если Ламорак — о, Боже мой, смилуйся над моими грехами, и над грехами прочих людей, и над сумбуром этого мира!

Ланселот с испугом взирал на него.

— Чего ты боишься?

— Я боюсь за мой Стол. Я боюсь того, что вот-вот случится. Я боюсь, что все оказалось ошибкой.

— Глупости.

— Когда я учреждал Круглый Стол, я хотел прекратить анархию. Стол был каналом для грубой

силы, он позволял людям, неспособным без нее обойтись, обратить ее на общую пользу. Но все это оказалось ошибкой. Нет, не прерывай меня. Все оказалось ошибкой, потому что и сам Стол был основан на силе. Право может основываться только на праве, его нельзя устанавливать с помощью Сильной Руки. А я именно это и попытался проделать. И ныне грехи мои обернулись против меня. Я боюсь, что посеял ветер, Ланселот, и теперь мне придется пожать бурю.

— Я не понимаю, о чем ты толкуешь.

— Вон идет Гарет, — сказал вдруг Король с таким спокойствием, словно все было уже позади. — Думаю, через минуту ты все поймешь.

Пока они разговаривали, на стрельбище появился гонец в кожаных поножах. Краем глаза Король заметил, как он торопливо отыскал сэра Гарета и вручил тому письмо. Он смотрел, как юноша читает письмо, как перечитывает — раз, другой — и как он потом потерянно разговаривает с гонцом. Теперь Гарет, сунув лук посланнику в руки и, не заметив этого, медленно приближался к ним.

— Гарет, — произнес Король.

Молодой человек опустился на одно колено и ухватился за руку Короля. Он держался за нее,

как за лестничные перила или за спасательный трос. Тусклыми глазами он смотрел на Артура, но не плакал.

— Моя мать мертва, — сказал Гарет.

— Кто убил ее? — спросил Король, словно вопрос этот был совершенно естественным.

— Мой брат Агравейн.

— Что?!

Восклицание исходило от Ланселота.

— Мой брат убил нашу мать, потому что застал ее в постели с мужчиной.

— Сохраняй спокойствие, Ланселот, прошу тебя, — сказал Король. И снова к Гарету. — Что они сделали с сэром Ламораком?

Но Гарет еще не закончил первой части своего рассказа.

— Агравейн отсек ей голову, — сказал он. — Как единорогу.

— Единорогу?

— Прошу тебя, Ланселот.

— Он убил мать в приступе ярости.

— Я сожалею об этом.

— Я всегда знал, что он это сделает, — сказал Гарет.

— Ты уверен, что эти новости истинны?

— Новости истинны. Истинны. Ведь это Агра-

вейн убил единорога.

— Разве Ламорак был единорогом? — мягко спросил Король. Он не понимал, о чем говорит его племянник, но очень хотел помочь ему. — Значит, Ламорак погиб?

— Ах, дядя! В письме говорится, что Агравейн застал ее нагой в постели с Ламораком и отсек ей голову. А затем они затравили и Ламорака.

Ланселот был не так терпелив, как Король, потому что не пережил горестей, случившихся при начале правления.

— Кто «они»? — спросил он.

— Мордред, Агравейн, Гавейн.

— Стало быть, — сказал сэр Ланселот, — троица твоих братьев сначала погубила Короля Пеллинора, который и мухи бы не обидел намеренно, погубила его лишь потому, что он, по несчастной случайности, убил на турнире их отца, затем они прямо в постели прикончили собственную мать, и, наконец, зарезали молодого Пеллинорова сына, Ламорака, только за то, что его совратила их матушка, превосходившая его возрастом втрое. Я так понимаю, что они все втроем набросились на него одного?

Гарет стиснул королевскую руку, и голова его начала опускаться.

— Они окружили его, — сказал он оцепенело, — и Мордред заколол его, ударив в спину.

## 27

После бесчинств, учиненных ими в землях Древнего Люда, Гавейн и Мордред отправились прямиком в Камелот, Агравейн же с ними не поехал. Они поссорились, едва убив Ламорака, а вернее, едва лишь у них появилось свободное время, чтобы задуматься о случившемся. Убийство Королевы Моргаузы было непреднамеренным. Агравейн совершил его, не успев даже подумать, — от возмущения, как он сказал, но все они инстинктивно сознавали, что им двигала ревность. И потому они обрушили на него старые обвинения, обозвав его жирным головорезом, способным убивать разве что беззащитных и женщин, и оставили, плачущим после бурной сцены. Гавейн, вспомнивший теперь о страстной привязанности, которую он всегда питал к их удивительной матери, — привязанности, внушенной королевой-ведьмой каждому из сыновей, — ехал к королевскому двору, терзаясь мрачным раскаяньем. Он сознавал, что Артур разгневается, узнав о том, как был убит молодой Ламорак, ибо юноша этот числился третьим из лучших рыцарей Круглого Стола, и все же не

испытывал стыда за это убийство. По его разумению, Ламорак заслуживал смерти как лиходей, ибо и он, и его отец причинили вред Оркнейскому клану. Он понимал, что весь двор станет коситься на него из-за убийства матери, что опять начнутся старые пересуды о женщине, которую он еще в молодости зарубил в приступе гнева. Впрочем, и это не очень его угнетало. Он раскаивался и горевал оттого, что погибла его любимая оркнейская матушка, — он лишь теперь начинал понимать, как это случилось, — а равно и оттого, что он нанес ущерб идеалам, насаждаемым Артуром, ибо сам по себе Гавейн был человеком достойным. Он надеялся, что Король повесит его или отправит в изгнание, или придумает для него иное, столь же жестокое наказание. И в королевские палаты он вступил угрюмым от стыда.

Мордред же вошел в зал по пятам Гавейна с таким видом, словно ничего и не случилось. Мордред, был тощ, белобрыс до того, что казался почти альбиносом, и синеглаз — в блеклых глубинах его ярких очей переливалась лазурь, столь светлая, что смотреть в них было почти невозможно. Он был чисто выбрит. Взгляду не за что было в нем зацепиться, — ни за волосы, ни за глаза, ни за усы. Даже краски, казалось, смыты

с него, чтобы не оставалось зацепки. Разве что морщинки, расходившиеся от глаз, сиявших на розоватом, туго обтянутом кожей лице, привлекали внимание, — чуть заметный прищур, который вы могли, по желанию, принять за проявление чувства юмора либо за ироничность, либо просто за потуги этих небесно-синих зрачков заглянуть подальше и поглубже. Вышагивал он, сохраняя прямизну осанки, одновременно чарующую и дерзкую, — но одно плечо поднималось выше другого. Слишком грубо извлеченный на свет повитухой, он, подобно Ричарду Ш, уродился немного горбатым.

Их ожидал Артур, по сторонам от которого стояли Гвиневера и Ланселот.

Грузный, рыжий Гавейн неуклюже преклонил колено. Он не смотрел на Короля и говорил в пол.

— Прощения.

— Прощения, — произнес и Мордред, но он, опустившийся на колено за спиною брата, на Короля смотрел — прямо ему между глаз. В прекрасных переливах его голоса, казалось, звучало двуличие, смысл произносимых слов вполне мог оказаться противоположным их обычному значению.

— Вы прощены, — произнес Артур. — Уходите.

— Уходить? — спросил Гавейн. Он не был уверен, что его не удаляют в изгнание.

— Да, ступайте. Мы встретимся за обедом. А сейчас идите. Оставьте меня, прошу вас.

Гавейн грубовато промолвил:

— В половине всех этих дел повинно одно только злое везение.

На этот раз голос Артура не был ни усталым, ни горестным:

— Ступайте!

Он топнул об пол ногой, как боевой конь, и указал на дверь, словно намереваясь вышвырнуть их. Глаза его вспыхнули на лице с такой же внезапностью, с какой вспыхивает под солнцем зеленый ясень, так что даже Мордред поспешил подняться. Испуганный Гавейн в смятении выкатился из дверей, но горбун оправился еще до того, как покинул зал. Олицетворение покорности, он театрально согнулся в низком поклоне, затем, распрямившись, взглянул Королю прямо в глаза, улыбнулся и вышел.

Артур, дрожа, сел. Над его головой Ланселот с Гвиневерой обменялись взглядами. Им хотелось спросить, по какой причине намеревается он простить своих племянников, или даже объявить

ему, что без ущерба для Круглого Стола даровать матереубийцам прощение невозможно. Однако они ни разу еще не видали Артура, охваченного царственным гневом. Они чувствовали, что в поступке его присутствует нечто неведомое им, и оттого молчали.

Наконец, Король произнес:

— Я пытался кое-что объяснить тебе, Ланс, перед тем, как это случилось.

— Да.

— Вы оба всегда выслушивали мои речи о Круглом Столе. Я хочу, чтобы вы меня поняли.

— Мы постараемся.

— Давно, когда мой Мерлин был еще рядом и помогал мне, он старался научить меня думать. Он знал, что в конце концов ему придется покинуть меня, и потому заставлял думать самостоятельно. Никому не дозволяй учить тебя думать, Ланс, ибо это — бич нашего мира.

Король сидел, глядя на пальцы, а Ланселот и Гвиневера ждали, когда старые мысли бочком, словно крабы, сбегут по его рукам.

— Мерлин, — произнес он, — одобрил Круглый Стол. Видимо, для того времени он годился. Надо думать, он был правильным шагом. Теперь настало время подумать о следующем.

— Не понимаю, — сказала Гвиневера, — почему это Круглый Стол стал нехорош лишь оттого, что Оркнейцам нравится убивать.

— Я уже объяснял Лансу. Идея нашего Стола в том, что Право выше Силы. К несчастью, мы попытались обосновать Право на Силе, а этого делать нельзя.

— Да почему же нельзя, я не понимаю?

— Я пытался прорыть для Силы отводной канал — чтобы она утекала с пользой. Мысль состояла в том, что людям, которым любо сражаться, следует предоставить такую возможность, — пожалуйста, сражайтесь за справедливость. Я надеялся этим решить проблему. Но не решил.

— Но почему же?

— Просто потому, что у нас теперь есть правосудие. Мы достигли того, за что сражались, но любители-то сражений, они ведь по-прежнему здесь, с нами. Неужели ты не понимаешь, что происходит? Нам больше не за что воевать, и воины Круглого Стола начинают попросту гнить на корню. Взгляни на Гавейна с его братьями. Пока у нас имелись великаны, драконы и злобные рыцари старой школы, нам удавалось найти Оркнейцам занятие, удавалось держать их в рамках приличия. Теперь же, когда цель достигнута,

им не к чему приложить свою силу. Вот они и обратили ее против Пеллинора, Ламорака и моей сестры — да смилуется Господь над ними над всеми. Поначалу гниль проявлялась в том, что нашим рыцарством овладела вдруг пресловутая игровая мания — вся эта чушь насчет того, у кого больше очков и так далее. Теперь же вновь начались убийства и это уже второе знамение. Потому я и говорю, что Мерлин, будь он с нами, пожелал бы, чтобы я придумал что-нибудь новое, и прямо сейчас.

— Похоже на то, что досуг и довольство лишают нас мужества — струны провисли и музыка уже не та.

— Нет, беда вовсе не в этом. Беда в том, что я все это время на всякий случай хранил за пазухой камень. Мне следовало с корнем вырвать Силу, а не пытаться приспособить ее к делу. Хотя, по правде сказать, я не знаю, как ее выкорчевать. Теперь же Сила осталась, а дела для нее не находится, вот она и начинает сама рыть для себя каналы, от которых никому не поздоровится.

— Тебе нужно было их наказать, — сказал Ланселот. — Когда сэр Бедивер прикончил свою жену, ты заставил его снести ее голову к Папе. Теперь тебе следует отправить к Папе Гавейна.

Король разжал ладони и впервые за все время поднял глаза.

— Я собираюсь всех вас отправить к Папе.

— Что?!

— Нет, не в буквальном смысле. Ты понимаешь, все горе, как я его понимаю, в том, что мы исчерпали для нашей Силы мирские задачи, — стало быть, остались только духовные. Я всю ночь думал об этом. Если я не могу удержать моих воинов от зла, противопоставляя их миру, значит мне следует противопоставить их духу.

Глаза Ланселота вспыхнули и с неотрывным вниманием уставились на Артура. И в этот же миг Гвиневерой овладело какое-то безразличие. Украдкой она бросила на своего любовника быстрый взгляд и с новой, опасливой сосредоточенностью принялась слушать рассуждения мужа.

— Если мы не примем каких-то мер, — продолжал Король, — Стол просто развалится. Беда ведь не только в том, что начались убийства и открытая вражда, перед нами еще и гордое собой непотребство. Вспомни хотя бы об отношениях Тристрама с женой Короля Марка. Похоже, все принимают сторону Тристрама. Рассуждать о нравственности — занятие неблагодарное, но в

сущности, все сводится к тому, что мы создали нравственные принципы, и их тоже охватывает порча, потому что приложить их нам не к чему. А лучше уж и вовсе не обладать нравственными принципами, чем обладать подпорченными. Мне кажется, любые усилия, направленные на достижение чисто мирской цели, каковой и была моя пресловутая Цивилизация, в самих себе несут зародыши разложения.

— Так что это ты говорил насчет Папы?

— Я выразился фигурально. Подразумевал следующее: идеалы Круглого Стола были мирскими идеалами. Если мы хотим, чтобы Стол уцелел, следует преобразовать их в духовные. Я как-то забыл о Боге.

— Ланселот никогда о Нем не забывал, — странным тоном произнесла Гвиневера.

Но любовник ее слишком увлекся, чтобы заметить этот тон.

— Так что же ты намереваешься делать? — спросил он.

— Я думаю, нам нужно попытаться достигнуть чего-то такого, что пошло бы на пользу нашим душам, понимаешь? Мирские задачи мы выполнили — мир, процветание — и теперь нам нечем заняться. Если мы придумаем для себя еще одну

мирскую задачу, решение которой потребует от нас лишь телесных усилий, — какое-нибудь строительство империи или еще что-то подобное — мы вновь столкнемся с той же проблемой, если не с худшей, едва нам удастся эту задачу решить. Но разве не можем мы сплотить рыцарей Стола, обратив их энергию в область духа? Ты ведь понимаешь, что я имею в виду, говоря о душе и о духе? Если проложить для Силы такой канал, в котором она, вместо того чтобы отстаивать людские права, станет работать на Бога, разве это не предотвратит загнивание и не будет достойным деянием?

— Крестовый поход! — воскликнул Ланселот. — Ты собираешься отправить нас спасать Гроб Господень!

— Можно попробовать, — сказал Король. — Я не совсем то имел в виду, но, возможно, и это вполне подойдет.

— Или же мы можем приступить к поискам священных реликвий, — закричал охваченный энтузиазмом королевский главнокомандующий. — Если все рыцари займутся поисками кусочка Истинного Креста, им даже и сражаться не придется, — я имею в виду, что если мы отправимся в Крестовый поход, нам все-таки придется

прибегнуть к Силе, придется прорыть для нее такой канал, чтобы она обратилась против неверных. Если же мы по-настоящему объединим рыцарей Стола, направив их усилия на поиски чего-то такого, что принадлежало самому Богу — а уж достойнее этого дела и не придумаешь, — у нас у всех и занятие будет, и сражаться нам не придется. И коли на то пошло, почему обязательно искать что-то одно? Слушай, ведь если все наши рыцари — сто пятьдесят человек — сплошь специалисты по поискам, что твои детективы, если все наши рыцари обратят свою энергию на поиски принадлежавших Богу вещей, мы же можем найти их сотни и сотни, и каждая будет иметь огромную ценность. Да ради одного только этого стоило бы заново выдумать Круглый Стол и обучить его рыцарей! Мы, может быть, даже новые Евангелия разыщем. Весь Христианский мир придет нам на помощь. Подумай только, сто пятьдесят человек, специально обученных приемам поисков! И ведь еще не поздно попробовать. Истинный Крест обнаружили в триста двадцать шестом, а Священную Плащаницу отыскали в Лирии только в тысяча триста шестидесятом! Мы можем найти, например, копье, убившее Господа Нашего!

— Да, я думал об этом.

— Особенно стоит рукописями заняться. — Да.

— Нам нужно побывать в самых разных местах — в Святой Земле, повсюду! Вроде моего дорогого де Жуанвилля!

— Да.

— По-моему, — сказал сэр Ланселот, — это прекраснейшая из когда-либо посещавших тебя идей.

— Вообще-то, я ее побаиваюсь, — сказал Король, и на сей раз странно прозвучал уже его голос. — Ночью мне пришло в голову, что, может быть, я ставлю слишком высокую цель. Ты знаешь, если человек достигает совершенства, он просто исчезает. Возможно, тогда-то Столу и придет конец. Представь, вдруг кто-нибудь сумеет найти Бога?

Но разум Ланселота не годился для метафизических рассуждений. Он не заметил, как изменился голос Артура. Чуть слышно он принялся напевать великий гимн Крестоносцев:

Lignum cruris, Signim ducis, Sequitur exercitus.

— Мы можем начать поиски Святого Грааля! — победно воскликнул он.

Именно в эту минуту и появился вестник, посланный Королем Пеллесом. Сэра Ланселота, сказал он, ожидают в обители, где ему надлежит

посвятить в рыцари молодого человека. Хороший такой паренек, красивый и кроткий, ну ровно голубь. Получил образование в монастыре. А зовут его, сказал гонец, вроде бы Галахадом.

Королева Гвиневера встала и снова села. Она разжала и снова сжала руки. Она понимала, что сэр Ланселот уезжает к сыну, рожденному для него другой женщиной, но не это томило ее сильнее всего.

## 28

Если вам хочется почитать о том, как начались поиски Святого Грааля, о чудесах, сопровождавших появление Галахада (Гвиневера, испытывая странное смешение чувств — любопытства, зависти и страха — сделала робкую попытку его обольстить), о последнем ужине при дворе, когда прогремел гром, и солнечный луч проник во дворец, и появилась чаша под покровом, и сладостный аромат наполнил Главную Залу, — если вам хочется почитать обо всем этом, обратитесь к Мэлори. Так рассказать эту историю можно только однажды. Существенные же факты сводятся к тому, что вскоре после праздника Пятидесятницы рыцари Круглого Стола выехали все вместе с непосредственной целью отыскать Святой Грааль.

Прежде чем Ланселот воротился ко двору, прошло целых два года, и для оставшихся дома это было одинокое время. Постепенно те рыцари, которым выпало уцелеть, стали тонкой струйкой стекаться назад — по двое, по трое, — усталые мужчины, приносившие вести о потерях или слухи об удачах. Они приходили на костылях,

или ведя в поводу изнуренных коней, больше уже не способных нести седока, или же — как сделал один из них, потерявший в сражении руку, — неся одну руку в другой. Вид у всех у них был измученный и смущенный. Лица их стали лицами фанатиков, они бессвязно бормотали во сне. Корабли, движущиеся сами собой, серебряные престолы, над которыми служатся дивные Мессы, копья, летающие по воздуху, видения быков и вырванных с корнем деревьев, демоны в древних могилах, короли и отшельники, прожившие по четыреста лет, — вот кто фигурировал в пересудах, наполнивших дворец. Подсчеты, выполненные сэром Бедивером, показали, что половина рыцарей сгинула без вести. Предполагалось, что они погибли. А сэр Ланселот все не возвращался.

Первым надежным свидетелем среди возвратившихся стал Гавейн, достигший двора с перевязанной головой и в чрезвычайно дурном настроении. Единственный из Оркнейцев он так и не пожелал толком освоить английский язык и изъяснялся с северным выговором, чуть ли не преднамеренным. Он и думал-то до сих пор наполовину по-гаэльски. К южанам он относился пренебрежительно, а своим происхождением

гордился.

— Да поразят этот ваш Поиск мрак и слепота, — произнес Гавейн. — Если мне когда и выпадало без толку болтаться по свету, так именно в этот раз!

— Что с вами случилось?

Артур с Гвиневерой сидели, положив руки на колени, будто воспитанные дети, приготовившиеся слушать сказку. Подобно детям, они были насторожены, нетерпеливы и изо всех сил старались извлечь из услышанного крупицы истины.

— Что случилось, говорите? Да то и случилось, что я потратил полтора года, если не больше, попусту рыская за приключениями, а кончил тем, что едва не помер — как это по-вашему? — от сотрясения мозга. Да убережет меня Бог от Святого Грааля во веки веков.

— Расскажите нам все с самого начала.

— Сначала?

Его удивило, что дяде все это так интересно.

— Оно ведь, больно долго придется рассказывать.

— Все равно, расскажите.

— Принесите сэру Гавейну какого-нибудь питья, — сказала Королева. — Присядьте, сэр. Добро пожаловать домой. Устраивайтесь поудобнее и

расскажите нам вашу историю, если вы не слишком утомлены.

— Чего там утомлен, — башка вот только трещит. Но рассказывать я могу. Спасибо, мадам, предпочитаю виски. Так, постойте-ка, с чего же оно началось?

Владетель Оркнея сел и погрузился в воспоминания.

— Когда мы выехали из замка Вогон… Помнится вроде мы все в первый день прискакали в Вогон, а наутро разъехались, так, что ли? Ну да, и как выехали мы из него, я и поскакал на северо-запад. Все едино ведь было, куда скакать. За день до того, как нам расстаться, Ланселот что-то такое всем нам рассказывал, будто Король Пеллес упоминал однажды при нем про священную посудину, которая хранится в одном из его укрепленных замков. Он вроде не так уж и настаивал, будто это какая-то важная штука, но утверждал, что вещь дорогая. Ну, половина рыцарей и двинулась в ту сторону, но я не стал забивать себе этой посудиной голову. Я поскакал на северо-запад.

И он сделал добрый глоток.

— Первым, на чьи следы я напал, — сказал сэр Гавейн, — был Галахад. И показал себя этот малый высокомерным и неучтивым мужланом.

— Этот парнюга, — продолжал сэр Гавейн, делая новый глоток и понемногу разогреваясь, — этот лилейный вьюнош — самый законченный катамит, какой когда-либо отравлял своим зловонием Божий свет и какого мне, на мою беду, довелось нюхнуть, — вот кто он таков, и тут даже спорить не о чем!

— Он что же, сшиб вас с коня? — спросил Король.

— Да нет. Это уж после. А я на его следы напоролся в самом начале.

— Вырос в бабьем монастыре, — гневно продолжил он, — посреди целой оравы старых клуш! До меня то и дело доходили от разных людей, которые на него нарывались, вести о том, как он занимается своими поисками, — благочестивый молокосос с сердцем безжалостного коршуна… Хотя, с другой стороны, что с малого взять — англичанин. Сунулся бы он к шотландцам, его бы враз прирезали.

— А может, уж и прирезали, — заключил он, пораженный внезапно пришедшей мыслью.

— Так что же дурного совершил сэр Галахад?

— Да уж совершил. Он, видите ли, вегетарианец и спиртного в рот не берет и уверяет всех, будто он девственник. Но я встретил сэра Мелиаса, — вы

знаете, что его здорово изувечили? Он мне много чего порассказал о повадках Галахада. Мелиас невесть по какой причине привязался к этому невеже и попросил у мальчишки разрешения сопровождать его. Чего ради он с ним спутался, я и представить себе не могу, потому что первым, кто попросился Галахаду в попутчики, был сэр Увейн. И ему-то сэр Галахад отказал! Сэр Увейн для него оказался недостаточно хорош! Ну ладно, к Мелиасу он снизошел, да вдобавок и в рыцари его посвятил! Да дьявол забери мою душу — чтобы восемнадцатилетний оболтус еще кого-то в рыцари посвящал! Да, так посвятил он Мелиаса и говорит вот прямо такими словами: «Ну, любезный сэр, — говорит, — раз вы происходите от королей и королев, так уж, верно, рыцарского звания не уроните, ибо вам надлежит быть зерцалом рыцарства». Как это, по-вашему, называется, а? Ах ты ж южный сноб! Дальше больше, поехали они искать приключений, да и наехали на распутье, и захотел сэр Мелиас поскакать налево. А Галахад и говорит: «Лучше бы вам не ехать этим путем, ибо думается мне, я легче избегну на нем опасностей, нежели вы». Наш красавчик Галахад от избытка ложной скромности, понимаете ли, не страдает, верно? Мелиас-то все же налево поехал, да только

ему там не поздоровилось, наскочил на него, как и предсказывал Галахад, какой-то таинственный рыцарь и продырявил ему кольчугу насквозь. Ну, лежит он там при последнем издыхании, с обломком копья в боку. Так его, раненого, и обнаружил великий Галахад, и не нашел ничего умнее, как сказать: «Вот видите, лучше было бы вам ехать другой дорогой!» Сказать «говорил же я вам» человеку, который без малого помер, вот же милый ребенок! И помощи никакой ему не оказал,

— Что же дальше приключилось с сэром Мелиасом?

— Он ответил Галахаду: «Сэр, теперь пусть приходит смерть, коли будет на то Его воля». И с этими словами взял да и выдернул из себя обломок копья. Мелиас рыцарь добрый, и мне приятно сообщить вам, что он еще жив.

Артур промолвил:

— Что ж, Галахад всего только мальчик! Возможно, это у него возрастное. Не думаю, что нам следует строго судить его за мелкие промахи в общении с людьми.

— Да знаете ли вы, что он на отца своего напал и сбросил его с коня? Знаете вы, что он позволил родному отцу встать перед ним на колени и просить благословения? Что люди выпрашивали

разрешения умереть у него на руках и он позволял им это, оказывал такую любезность?

— Что ж, возможно, это и было любезностью.

— А, дьявол! — воскликнул Гавейн и сунул нос в кубок.

— Но что же вы нам о себе совсем не рассказываете?

— Первое приключение, которое мне довелось испытать — да по правде сказать, едва ли и не единственное, — случилось у Девичьего Замка. Вот только не хочется мне о нем рассказывать в присутствии Королевы.

Артур с некоторой холодностью произнес:

— Моя жена, сэр Гавейн, не дитя и не дурочка. Обычай этого Замка известен каждому.

Гвиневера воспитанно вымолвила:

— По-французски он называется droit de seigneur[11].

— Ну тогда что же, ну, приехали мы к Девичьему Замку с Увейном и сэром Гаретом. А обороняли тот замок семь рыцарей, они-то и блюли этот обычай. Мы натолкнулись на всех семерых в окрестностях замка, были они во всеоружии, мы с ними славно посражались и всех их переби-

---

**[11] notes: 11**
Право первой ночи.

ли. Только это мы с ними покончили, как вдруг выясняется, что Галахад-то нас опередил. Оказывается, он их выгнал из замка, а сам и поныне внутри. Нам, выходит, выпала роль мясников, мы прикончили дичь, которую не сами загнали.

— Не повезло.

— Галахад же быстренько смылся, а с нами и разговаривать не стал. Получилось, вроде, что мы порочны, а он блажен. Что там было после, не помню.

— Вы отправились дальше с Увейном и Гаретом?

— Нет, после Девичьего Замка мы расстались. Я ехал, ехал, пока не увидел хижину отшельника, а в ней святого старца. Из этих, знаете, которые все норовят кого-нибудь спасти. Первое же, чего он от меня потребовал: «Желаю, — говорит, — знать о счетах ваших с Господом Богом». А я попросил приютить меня на ночь. Ну, ладно, он все же был там хозяин да еще и служитель Божий, так что когда он начал приставать ко мне, чтобы я исповедался, я отказываться не стал. Он и понес какую-то жуткую чушь насчет этих семи рыцарей — они-де не кто иные, как семь смертных грехов, — а мне спокойно так объявил, что я великий убивец.

— А он не сказал вам, — заинтересованно осведомился Король, — что людей вообще ни по какой причине убивать не следует, и особенно когда взыскуешь Святого Грааля?

— Забери мою душу дьявол, коли он этого не сказал! Он мне целую проповедь прочел, что вон Галахад-то отпустил всех семерых, не прикончив, и что будто Святого Грааля кровопролитием не достигнешь.

— И что еще он сказал?

— Да я и не помню. Наговорил мне комплиментов, про которые я вам уже рассказал, а потом говорит, что надлежит-де тебе искупить твои грехи. Говорит, покамест человек как положено не покается и не получит честного отпущения, нечего и Святой Грааль искать. Ну, тронутый. У странствующего рыцаря положение такое, что ему никаких искуплений не требуется, — я ему это в два счета объяснил — рыцарю каяться, все едино, что батраку поститься. В общем, наплел я ему чего-то и поехал себе дальше. Потом встретил я Агловаля с Грифлетом. А потом-то что, что же потом? Помню, ехал я с ними четыре дня… Ну да, а потом мы с ними разъехались, и поглоти меня мрак, если я до самого Михайлова дня не разгуливал без единого приключения!

— Правду сказать, — прибавил Гавейн, — в Англии последнее время никаких приключений не сыщешь. Гиблое какое-то место.

— Принесите сэру Гавейну еще выпить.

— Стало быть, настал Михайлов день, а уж после него повстречался я с сэром Эктором Окраинным. И ему не везло, в точности как мне! Наехали мы с ним на крохотную часовню, выпили малость и завалились спать — и обоим нам в ту ночь приснился один и тот же сон. Рука какая-то в парче, на руке узда, а в кулаке свечка. И некий голос вещает, что вот их-то нам и недостает. Я после повстречал еще одного святого отца, так он мне объяснил, что узда означает воздержание, а свеча веру, и вроде нам с Эктором их ну никак не хватает. Сами знаете, дай человеку сон толковать, так он его наизнанку вывернет. А потом случилась со мной злая напасть из тех, что преследовали меня все это время. Повстречали мы оба моего двоюродного брата сэра Увейна и не признали его, потому что был он с покрытым щитом. Эктор уступил мне первую стычку с ним, с моим же сородичем, и я честно пробил ему грудь копьем. Бригантина у него оказалась слабовата.

— Так Увейн погиб?

— Ваша правда, погиб. Просто черное невезе-

ние, вот что меня одолело.

Артур откашлялся.

— Я бы сказал, что Увейну, да упокоит Господь его душу, не повезло еще больше вашего, — сказал он. — Возможно, вам и вправду неплохо было с самого начала послушаться того отшельника.

— Да не хотел же я его убивать! Ведь он приходился Оркнейцам двоюродным братом. И подумать только, что этот южный буквоед с белым щитом с самого начала не пожелал ехать с ним вместе!

— Это вы о Галахаде? А какая эмблема была у него на щите?

— О Галахаде, о ком же еще! Не было у него никакой эмблемы. Он где-то разжился щитом, который, как он уверял, принадлежал еще Иосифу Аримафейскому. Щит весь серебряный с красным крестом посередке. Серебро, по его словам, означает белизну непорочности, а крест — Грааль. Да, так о чем я рассказывал?

— Вы только что убили Увейна, — терпеливо сказал Артур.

— Доскакали мы с Эктором еще до одного отшельника, он-то нам и объяснил насчет уздечки. Вегетарианец, можете быть уверены! И этот тоже завел старую песню насчет убийств да стал

требовать от нас покаяния. Ну, мы извинились и вон из дверей.

— Он, стало быть, сказал, что никому из вас нет удачи оттого, что вы ищете лишь чьей-либо погибели?

— Сказал, же! Он сказал, что Ланселот не нам чета, потому как редко убивал противника, а в этом Поиске и вовсе никого не убил. И еще сказал, что многие иные рыцари, — Эктор сам повстречал таких десятка два, — через грехи свои оказались в одном положении с нами. Сказал, что человекоубийство противно нашему Поиску. В общем, мы с ним обменялись речами и смылись, пока он еще толковал о своем.

— А потом?

— А потом приехали мы в один замок, Эктор и я, а там славный турнир и в самом разгаре. Ну, мы присоединились к нападающим, отлично так посражались, и только-только оставалось нам что пробиться вовнутрь замка, как объявился Галахад. Господь Всемогущий ведает, каким дурным ветром его принесло. Похоже, он не одобряет рыцарей, которые бьются просто так, ради забавы. Он и присоединился к тем, что обороняли замок, отогнал нас прочь и наградил меня вот этим.

Гавейн притронулся к повязке.

— Эктор-то с ним биться не стал, — пояснил он. — Они же сродичи. А я все равно с ним сразился и не шибко много на этом выгадал. Он меня так саданул, что разнес и шлем, и железный наглавник, да еще меч соскользнул и убил подо мной коня. Тут для меня, клянусь Христом, все и закончилось. Я больше месяца провалялся в постели.

— И потом отправились домой?

— Ваша правда, домой.

— Да, особых удач вам не выпало, — сказала Королева.

— Удач!

Миг-другой Гавейн смотрел в пустой кубок. Потом вдруг оживился.

— Я же еще Короля Багдемагуса пришиб, — сказал он. — Вы об этом не слышали. Забыл рассказать.

Артур, внимательно слушавший рассказ Гавейна, теперь погрузился в собственные мысли. Он сделал нетерпеливый жест.

— Идите спать, Гавейн, — сказал он. — Вы, должно быть, устали. Ложитесь в постель и обдумайте все, что с вами случилось.

## 29

Следующим прибыл сэр Лионель, один из двоюродных братьев Ланселота. У Ланселота был родной брат по имени Эктор и двое двоюродных — Лионель и Борс. Лионель, подобно Гавейну, был сердит, но изливалось его раздражение не на Галахада, а на родного брата, на Борса.

— Приверженность нравственным правилам, — объявил Лионель, — это сущая разновидность безумия. Дайте мне нравственного человека, упорствующего в том, чтобы всякое дело его было правым, и я покажу вам такую кашу, из которой и ангелу не выбраться.

Король с Королевой привычно сидели бок о бок в ожидании рассказа. У них образовался уже обычай приносить в Главную Залу, едва возвращался кто-либо из рыцарей, все потребное для подкрепления сил, так что, пока рыцарь ел, они могли выслушивать привезенные им известия. Свет падал на стол между ними, проходя через высокое витражное окно, и руки их двигались среди тарелок и кубков, казавшихся рубиновыми и изумрудными или полными яркого пламени. Их окружал волшебный мир самоцветов, точно

они сидели на прогалине среди деревьев с драгоценной листвой.

— А что, Борс обзавелся нравственными правилами?

— Да у Борса они всегда были, черт бы его побрал, — ответил Лионель. — Как видно, это в нашей семье наследственное. И с Ланселотом-то беды не оберешься, но Борс его по всем статьям обошел. Известно ли вам, что Борс за всю свою жизнь лишь однажды имел дело с женщиной?

— Правда?

— Да-да, правда. А что касается до Поисков Святого Грааля, так он, похоже, воспринимает их как углубленный курс католической догматики.

— Вы хотите сказать, что он предается ученым занятиям?

Лионель немного смягчился. В душе он любил брата, но выпавшие ему испытания примешали немало горечи к их отношениям. Ныне, когда у него появилась возможность рассказать об этих испытаниях и обдумать их, ему открылась иная грань размолвки с братом.

— Нет, — сказал он. — Не воспринимайте мои речи слишком всерьез. Боре милейший человек, и если из нашей семьи суждено выйти святому, так им будет Боре. У него не слишком светлая

голова, и он порой не чужд педантизма, но некоторые его догадки — чистое золото. Сейчас я верю, что во время поисков Бог испытывал его, и я не знаю, насколько он эти испытания выдержал. Я пытался его убить.

— Вы лучше расскажите нам всю историю с самого начала, — сказал Артур, — а то нам трудно понять, как что случилось.

— В моей-то истории ничего интересного нет. Я все это время проваландался попусту, как Гавейн, встретился с несколькими отшельниками, они меня обозвали убийцей. Я вам лучше расскажу историю Борса, потому что в ней и я принял участие.

— Насколько я понимаю, — начал рассказывать Лионель, — Бог подверг Борса искусу. Как если бы его ожидало рукоположение, и нужно было выяснить, насколько он тверд в вере. И знаете, когда, по-моему, сбились с истинного пути Гавейн, я сам, Эктор и все остальные? В самом начале, и все потому, что мы к исповеди не сходили. Боре-то сходил, в первый же день, и покаянный обет принял. Он обязался ничего в рот не брать, кроме воды и хлеба, носить особое облачение и спать на голом полу. Ну и, разумеется, никаких дам, хотя, с другой стороны, у него, кроме одного разика,

никаких дам и не было.

В том-то и беда его. Да, так вот, первое, что с ним произошло после того, как он привел свою жизнь в порядок, — у него начались видения. Видел он пеликана во всем его благочестии, и лебедя, и ворона, и сгнившее дерево, и некие цветы. Все они были как-то связаны с теологией, он мне все объяснил, да я не запомнил. Затем появилась некая дама и стала умолять, чтобы он спас ее от рыцаря по имени сэр Придам. Спас он ее без особенных трудностей и имел при этом возможность прикончить сэра Придама. Заметьте. Он рассказывал мне свою историю после нашей стычки и все твердил, что это и было его первым искусом. Он говорил, что ощущал себя лошадью, напоказ берущей каждый раз все более сложное препятствие, и боялся, что стоит ему один раз споткнуться, как его тут же и завернут обратно в конюшню. Убей он сэра Придама, всему пришел бы конец. Его отпустили бы снова пастись на травке, как поступили с Гавейном и со всеми нами. Он рассказывал, что никто ему этого не объяснял, просто перед ним вдруг появлялось очередное препятствие, и казалось, будто кто-то за ним наблюдает, кто-то такой, от кого не дождешься ни помощи, ни подсказки, — просто

наблюдатель, интересующийся, одолеет он препятствие или нет. Так вот, Придама он не убил. Он только орал ему, чтобы тот сдавался, и лупил плашмя мечом по физиономии, пока Придам не запросил пощады. Так что это препятствие он благополучно взял. Не кажется ли вам, Король, что во всем этом Поиске присутствовало нечто, противившееся человекоубийству? Что-то такое сверхъестественное, нет?

— Мне кажется, — ответил Король, — что вы мудрый человек, Лионель, даже если вы и пытались убить вашего брата. Но продолжайте рассказывать.

— Ну что же, следующее испытание было непосредственно связано со мной. Из-за него я и пытался Борса убить. Теперь-то я сожалею об этом, я вот только сию минуту и понял, что сожалею. Но тогда я ничего не понимал.

— В чем же состояло второе испытание?

— Мы с Борсом, как вы знаете, всегда относились друг к другу по-доброму. Эта ссора — пустяк. По-своему мы друг друга любили, и вот, когда Борс ехал по лесу, перед ним предстали вдруг сразу две картины. Во-первых, он увидел меня, голого и привязанного веревками к кляче, с двумя рыцарями по сторонам, которые стегали меня терниями.

Во-вторых, он увидел девицу — она ехала на коне и ехала, надо сказать, далеко не шагом, а за ней мчался галопом рыцарь, намереваясь лишить ее девства. Двигались эти две кавалькады в разные стороны, а Борс-то ведь был один.

— Как подумаешь, — с прискорбием заметил сэр Лионель, — не везет мне с этими терниями. Сэр Тарквин уже однажды сек меня ими.

— И кого же выбрал Борс?

— Борс решил спасать девственницу. Когда я потом, во время нашего поединка, спросил его, какого дьявола он бросил на погибель родного брата, он объяснил мне, что, по его тогдашнему разумению, я был презренным грешником, хоть он меня и любил, а девственница это все-таки девственница. Вот он и решил, что его долг — спасти лучшего из нас. Потому-то я и пытался его убить.

— Правда, теперь, — прибавил Лионель, — я в состоянии понять, что определенный здравый смысл в его решении присутствовал. Я понимаю, что это было вторым испытанием, и понимаю, какого труда ему это решение стоило.

— Бедный Боре. Надеюсь, в итоге им не овладела гордыня?

— Им овладело смирение. Эти испытания просто-напросто возникали перед беднягой, и

ему приходилось действовать наугад, к тому же всякий раз считая, что догадка его неверна, а выходил он из испытаний совершенно сбитым с толку и только тогда обнаруживал, что угадал верно. В общем, пришлось ему попотеть, выбирая наилучшее решение.

— А в чем состоял третий искус?

— С каждым разом они становились все тяжелее. На третий раз явился ему человек в церковном одеянии и сказал, что в замке неподалеку обитает некая дама, каковой суждено умереть, если только Борс ее не полюбит. Этот предполагаемый священник указал ему на то, что он уже пожертвовал жизнью брата, то есть моей, ошибочно отдав предпочтение девственнице, и что если он теперь не согрешит с этой новой дамой, у него на совести будет еще одна погубленная жизнь. Я не сказал, что те двое рыцарей бросили меня, сочтя мертвым, и когда Борс меня отыскал, я мертвым и выглядел, так что он отвез мое тело в обитель, чтобы меня там похоронили. Потом я, конечно, оправился.

— Ну так вот, в замке действительно оказалась дама, как и уверял ложный священник, и она подтвердила все, что тот говорил. Она сказала, что над ней тяготеет волшебное заклятие, из-за

которого ей предстоит умереть от любви, если только мой брат не сжалится над нею. Тут-то Борс понял, что ему предстоит либо совершить смертный грех и спасти даму, либо отказаться его совершать и предоставить даме умереть. Он мне потом рассказывал, что припомнил какие-то обрывки из грошового катехизиса и проповедь, которую слышал, когда в Камелот как-то заехали миссионеры. И он решил, что за поступки дамы он не ответчик, а вот за свои отвечать придется. Так что даме он отказал.

Гвиневера хихикнула.

— Но этим дело не кончилось. Дама была ослепительно прекрасна, и вот она, а с нею еще двенадцать дам, красивых и благородных, влезла на самую высокую башню своего замка и давай кричать, что если он не пожертвует своей чистотой, то все они попрыгают вниз. Она уверяла, что заставит их спрыгнуть. От него, говорит, только и требуется, что провести с ней одну ночь — да к тому же приятную — и тем спасти благородных дам. И все они принялись взывать к Борсу, молить его о пощаде и скорбно рыдать. Положение, должен сказать, сложилось весьма затруднительное. Бедняжки были так напуганы, такие были хорошенькие, а от него только и требовалось, что

не упрямиться, дабы спасти им жизнь.

— И как же он поступил?

— Он позволил им прыгнуть.

— Позор! — вскричала Королева.

— О, разумеется, они оказались попросту сборищем всяческой нечисти, и только. Башня перевернулась кверху тормашками и мгновенно исчезла, тут-то и выяснилось, что он все это время беседовал с нечистью, включая сюда и священника.

— Мораль, насколько я понимаю, — сказал Артур, — состоит в том, что не должно впадать в смертный грех, даже если от этого зависит спасение двенадцати жизней. На мой взгляд, с догматической точки зрения это утверждение весьма основательно.

— Насчет догматов я ничего сказать не могу, а вот брат мой едва не поседел, это я знаю.

— К чему у него имелись все основания. А в чем состояло четвертое испытание, если было четвертое?

— Четвертым испытанием, и это было последнее из препятствий, оказался я. Я кое-как оклемался у святых отцов, которых он просил похоронить меня, и как только достаточно окреп, отправился разыскивать брата. Мне стыдно те-

перь говорить об этом, — и кстати, я должен буду испросить вашего прощения за некоторые из моих поступков, — но, если вдуматься, когда родной брат бросает тебя на верную смерть, это как-то уж слишком. Это ведь не пирожок с полки украсть, да и не знал я в то время ничего приключившегося с Борсом, но помнил, что в аккурат перед тем, как лишиться сознания, я видел его бросающим меня на произвол судьбы — так что, допускаю, рассудок мой терзали злые мысли. В сущности, я жаждал его смерти.

Борса я нашел у часовни в лесу и сразу объявил ему, что намереваюсь его убить. Я сказал ему: «Я обойдусь с тобою, как с предателем и подлецом, ибо ты — недостойнейший из рыцарей, вышедших из столь славного дома». Но Борс отказался сражаться. Я говорю: «Если ты не станешь сражаться, я убью тебя прямо как ты стоишь там на земле». А Борс отвечает, что не может сражаться с собственным братом. Дескать, ему, взыскующему Святого Грааля, и обычных-то людей убивать не дозволено, как же может он убить родного брата? А я говорю: «Какое мне дело до того, что там тебе дозволено или не дозволено? Если хочешь защищаться, я стану биться с тобой, а нет, я тебя так убью». Я был в ярости. Борс же опустился на

колени и просил меня смилостивиться.

— Теперь-то я понимаю, — продолжал он, — что Борс был вправе поступать именно так. Он хотел отыскать Грааль и оказался приписанным к подразделению по борьбе с убийствами, я же был его братом. И вел он себя, вообще говоря, отважно. Но в ту пору я ничего этого не понимал. Мне казалось, что он просто упрямится, и не дожидаясь, пока он встанет с колен, я сшиб его наземь вверх ногами. И вытащил меч, чтобы отсечь ему голову.

С минуту Лионель просидел молча, глядя в стоявшее перед ним блюдо, в котором покоилась яйцевидная лужица света, окрашенная витражом в рубиновые тона.

— И знаете, — сказал он, — придерживаться правил и догм дело очень почтенное, пока оно касается только вас, но что делать, когда в ту же самую кашу попадают другие люди? Я так понимаю, что для Борса преклонить колени и позволить мне убить его было поступком вполне логичным, да только тут из часовни выскочил отшельник и упал прямо поперек тела моего брата. Он сказал, что собирается любой ценой оградить меня от братоубийства. И я убил отшельника.

— Убили беззащитного человека?

— Вы не представляете себе, Король, как я сожалею об этом, но такова правда. Я был вне себя от ярости, этот малый мешал мне добраться до Борса, а я человек простой и привык действовать не раздумывая. Они пытались помешать мне, они словно бы вооружились против меня нравственными принципами, а я использовал против их оружия свое. По тогдашним моим ощущениям, Борс противостоял мне, прибегая к бесчестным средствам, и отшельник ему помогал. Мне представлялось, что Ворс норовит навязать мне свою волю. Если бы ему захотелось спасти отшельника, что ж, стоило лишь перестать упрямиться и сразиться со мной. Вы понимаете, что я пытаюсь сказать? Мне казалось, что отшельник это его забота, а не моя.

— Боюсь, я просто взбесился, — помолчав немного, признал сэр Лионель. — Знаете, накатывает иногда такое. Я желал биться с ним и намеревался настоять на своем. Я сказал ему, что убью его, если он не станет сражаться, и я бы его убил. Вы знаете, как это бывает, — все равно как когда на кого-нибудь дуешься.

Некоторое время в зале стояло неловкое молчание.

— Наверное, мне лучше закончить рассказ, *t*

— смущенно вымолвил сэр Лионель.

— Продолжайте.

— Так вот, Борс не помешал мне убить отшельника. Он просто лежал на земле и взывал к моей любви. Я же к этому времени совсем обезумел, частью и от стыда, и поднял меч, чтобы немедля, прямо на месте, отсечь моему брату голову, как вдруг откуда ни возьмись выскочил сэр Колгреванс Горский. Он бросился между нами и стал стыдить меня за то, что я намереваюсь пролить кровь нашего отца. Это уж оказалось последней соломинкой, тем более что все вокруг было залито кровью отшельника, и вместо Борса я бросился на Колгреванса. Через несколько минут ему только и оставалось, что надеяться на пощаду.

— А что делал Борс?

— Бедняга Борс. Я не хочу и думать о том, какие он в ту минуту испытывал чувства. Понимаете, он увидел перед собой очередное препятствие, и все, что ему следовало сделать, — это отступиться от него и тем не погубить еще одну жизнь. Он ведь уже пожертвовал жизнью отшельника, и, судя по всему, из одного лишь упрямства, а теперь я собирался убить ни в чем не повинного Колгреванса, который пытался ему помочь. Да тут еще Колгреванс с плачем взывал к нему: «Вставайте,

помогите мне, сэр Борс. Неужели вы допустите меня погибнуть здесь из-за вас?»

— Пассивное сопротивление, — с острым интересом произнес Артур. — Совершенно новое оружие. Правда, пользоваться им, похоже, непросто. Продолжайте, пожалуйста.

— Ну что же, я убил Колгреванса в честном бою. Сожалею, но это так. А затем повернулся к Борсу, чтобы закончить начатое. Он держал над головою щит, но не противился мне.

— И что же случилось?

— Бог явился, — торжественно произнес молодой человек. — Он явился и встал между нами, и ослепил нас, и щиты у нас занялись огнем.

Последовала долгая пауза — Артур переваривал первое известие о том, на что он рассчитывал или чего опасался.

— Понимаете, — сказал Лионель, — Борс молился.

— И пришел Бог?

— Что это было в точности, я не знаю, но солнце вдруг вспыхнуло на наших щитах. Что-то определенно произошло. Мы вдруг забыли о драке и рассмеялись. Я увидел, что Борс — идиот, а он поцеловал меня, и мы помирились. Потом он рассказал мне свою историю, ну вот как я вам сейчас,

и уплыл на волшебном корабле, обтянутом белой венецианской парчой. Борс отыщет Грааль, если это вообще кому-либо удастся, моя же история на этом кончается.

Они посидели молча, не находя в себе смелости рассуждать о духовных материях, и наконец сэр Лионель заговорил в последний раз.

— Борсу-то хорошо, — сказал он, словно бы жалуясь, — а как же отшельник? И как насчет сэра Колгреванса? Их-то Бог почему не спас?

— Догматы веры вещь непростая, — сказал Артур.

А Гвиневера добавила:

— Мы же не знаем, что у них в прошлом. Смерть от вашей руки не повредила их душам. Возможно, такая смерть их даже спасла. Быть может, Бог послал им подобную смерть потому, что для них она самое лучшее

## 30

Третьим из рыцарей, вернувшихся с важными сведениями, стал сэр Агловаль. Он появился уже под вечер, когда рубины оставили стол и всползли на стену. Агловаль был не достигшим двадцатилетия юношей с чувством юмора и с ясным, благородным лицом. Он все еще пребывал в трауре по отцу, Королю Пеллинору, обозначая траур черной лентой, которую носил на левой руке. Во всяком случае, Артур с Гвиневерой считали, что это траур по отцу. На деле же, с тех пор, как они в последний раз виделись с ним, умерла и его мать. Он принес также известие о кончине сестры, ибо почти над всей семьей Пеллиноров тяготела злая судьба.

— Гавейн здесь? — спросил Агловаль. — А где Мордред с Агравейном?

Он оглянулся так, словно и впрямь надеялся увидеть их в Зале. Цветной луч света падал над его головой на маленький простенький гобелен с изображением неких травящих вепря рыцарей в кольчугах и расписных шлемах с наносниками.

Артур ответил:

— Все они здесь, Агловаль. И все мое благоден-

ствие ныне в ваших руках.

— Я понимаю.

— Вы намереваетесь их убить?

— Я приехал, чтобы сначала убить Гавейна. Это странно звучит — после поисков Святого Грааля.

— Агловаль, вы вправе отмстить Оркнейцам, и я не стану вам препятствовать, если вы попытаетесь. Но я хочу, чтобы вы понимали, что делаете. Ваш отец убил их отца, а брат ваш спал с их матерью. Нет, не надо объяснений, позвольте мне просто напомнить вам факты. Затем Оркнейцы убили ваших отца и брата. Ныне вы собираетесь убить одного из Оркнейцев, а сыновья Гавейна убьют ваших сыновей, и так оно дальше и пойдет. Таков закон Севера. Я же, Агловаль, пытаюсь дать Британии новый закон, по которому людям не придется вечно проливать кровь юношей. Вы не думали о том, насколько тяжек может быть для меня этот труд? Знаете, есть такая пословица: зло за зло — добра не будет, и я с ней согласен. Я мог покарать Оркнейцев за смерть вашего брата. Я мог отрубить им головы. Вы хотели бы, чтобы я это сделал?

— Да.

— Возможно, мне и следовало так поступить.

Артур помолчал, уставясь себе на руки, у него

была привычка разглядывать их, когда он попадал затруднительное положение. Затем он сказал:

— Жаль, что вам не пришлось понаблюдать за Оркнейцами, когда они у себя дома. В их семье счастье гостило нечасто, не то что в вашей.

— Вы думаете, что счастье теперь частый гость в нашей семье? — спросил Агловаль. — Вам известно, что матушка скончалась несколько месяцев назад? Отец звал ее Свинкой.

— Простите, Агловаль. Мы не имели об этом вестей.

— Люди часто посмеивались над отцом. Я знаю, он не отличался грозным характером. Но, наверное, он был очень хорошим мужем, не правда ли, если после его кончины матушка умерла, не выдержав одиночества? Она не умела копаться в своих чувствах, Король, и тем не менее истаяла после того, как Оркнейцы убили отца и Ламорака. Теперь она лежит в одной с ними могиле.

— Агловаль, вам должно поступить так, как вы считаете нужным. И я знаю, что, будучи истинным Пеллинором, вы поступите правильно. Я не прошу вас оказать мне услугу. Но позвольте мне упомянуть о трех обстоятельствах. Прежде всего ваш отец был самым первым рыцарем,

пленившим мою душу, и тем не менее я не покарал Гавейна. Затем: все Оркнейцы обожали свою мать. Она внушила им любовь, слишком сильную, сама же любила только себя. И наконец третье, — прислушайтесь к этому, Агловаль, — третье состоит в том, что королю надлежит прибегать лишь к наилучшим орудиям.

— Боюсь, что третьего я не понял.

— Как по-вашему, — спросил Артур, — есть что-либо достойное в распрях? Способны они принести счастье двум вашим семьям?

— Строго говоря, нет.

— Если я собираюсь искоренить закон, порождающий распри, добьюсь ли я хоть какого-то прока, взывая к Гавейну и подобным ему?

— Я понял.

— Какое благо сотворил бы я, казнив все семейство Оркнейцев? У нас лишь осталось бы для продолжения наших трудов на три рыцаря меньше. И ведь прожитые ими жизни счастливыми не назовешь. А потому, Агловаль, как вы сами видите, надеяться мне остается только на вас.

— Я должен все это обдумать.

— Обдумайте. И не принимайте поспешных решений. Меня в расчет не берите. Просто поступите так, как считаете правильным, и тогда, — ибо

вы Пеллинор — я уверен, все содеется к лучшему. А теперь расскажите мне о своих приключениях во время поисков Грааля, и забудьте на этот вечер об Оркнейцах.

Агловаль тяжело вздохнул и сказал:

— Что касается меня, никаких приключений не было. Но поиски стоили мне сестры, а быть может и брата.

— Сестра ваша скончалась? Бедный мальчик, а я-то думал, что в монастыре она в безопасности.

— Ее обнаружили мертвой в некоей барке.

— Мертвой в барке!

— Да, в волшебной барке. В руках она держала длинную запись с рассказом о поисках Грааля и о моем брате Перси.

— Мы не причиняем вам боль, задавая вопросы?

— Нет. Я рад рассказать вам об этом. У меня еще остался Дорнар, а Перси, похоже, снискал себе высокую славу.

— Каковы же были деяния сэра Персиваля?

— Быть может, мне лучше пересказать вам ту запись с самого начала.

— Как вам известно, — начал свой рассказ сэр Агловаль, — из членов нашей семьи Перси более всех походил на папу. Он был мягок, робок и

несколько нерешителен. Да еще и застенчив к тому же. Когда он повстречался с Ворсом в той их волшебной барке, он немного смутился, так рассказывается в записи. Он ведь, подобно Галахаду, был рыцарем-девственником, понимаете? Мне часто приходило в голову, что они с папой удались под пару друг другу. Прежде всего, оба любили животных и умели обходиться с ними. Помните, у папы была Искомая Зверь, а теперь и у Перси, когда он отправился в Поиск, появились друзья, все больше львы. И потом, Перси тоже был доброжелателен и прост. В тот день, когда все они пробовали вытянуть из ножен благословенный меч, — я говорю о тех троих, что взошли на священную барку, — Перси было дозволено попытать счастья первым. Ничего у него, конечно, не вышло, — все достижения этого рода предназначались для Галахада, — но, не справившись с мечом, он просто с гордостью огляделся по сторонам и сказал: «Клянусь моей верой, я потерпел неудачу!» Однако, я забежал вперед.

Запись гласит, что первое приключение случилось с Перси, когда он покинул Вогон и скакал с сэром Ланселотом, пока они не повстречали сэра Галахада. Они сразились с ним, и Галахад сокрушил обоих. Вслед за тем Перси расстался с

Ланселотом и отправился к затворнице, чтобы ей исповедаться. От затворницы он получил наставление следовать за Галахадом в Гот или Кербонек, но ни в коем случае с ним не сражаться. Правду сказать, Перси уже охватило что-то вроде восторженного преклонения перед Галахадом, так что это наставление пришлось ему в самый раз. Перси отправился в Кербонек, и, пробираясь лесом, услышал бой часов в монастырской обители — в ней-то он и повстречал Короля Эвелака, прожившего почти четыреста лет. Насчет Эвелака я вам лучше рассказывать не стану, потому что мне не все тут понятно. Похоже, старик не мог умереть, пока не будет обретен Святой Грааль — вот что-то такое. Но в его историю замешался еще и Король Пеллес, вообще разобраться в этой части записи довольно трудно. Как бы там ни было, невдалеке от Кербонека на Перси напали восемь рыцарей и еще двадцать вооруженных всадников, он с ними сразился, и в самый последний момент на подмогу ему подоспел сам Галахад. К несчастью, под Перси убили коня, а Галахад ускакал, даже не поздоровавшись.

— Знаете, — прерывая свою повесть, сказал Агловаль, — быть может, святость и неколебимость качества и отменные, и за девственность его я

к Галахаду тоже не в претензии, но не кажется ли вам, что в человеке должно все же быть хоть что-нибудь человеческое? Я вовсе не желаю злословить, но у меня от этого юноши просто волосы дыбом встают. Почему он не мог хотя бы поздороваться или хоть что-то сказать спасенному им человеку вместо того, чтобы молча ускакать прочь, задрав белый нос в небеса?

Артур ничего не ответил, и молодой человек возобновил свой рассказ.

— Перси, как ему было велено, пытался соединиться с Галахадом, а Галахад умчался, так что бедолаге только и осталось бежать за ним следом и кричать: «Я говорю!» Уж и намучился он, пытаясь одолжить у кого-нибудь коня, и пришлось ему в конце концов трусить по следам Галахада, изо всей мочи погоняя кобылу, принадлежавшую какому-то конюху. Да тут еще вывернулся невесть откуда рыцарь и сшиб его с этой кобылы, — боюсь, не везет нашей семье по части героического стиля, — и Перси вновь остался пеш, а Галахада ни слуху ни духу. Ну вот, в этот самый миг появилась некая дама — впоследствии выяснилось, что никакая она не дама, а фея, да еще и не из самых порядочных, — и этак сурово спрашивает, что это он тут делает. Перси и

отвечает: «Ничего не делаю: ни добра, ни большого вреда, что?» Тогда дама ссудила ему вороного коня, который оказался в дальнейшем чертом и сгинул при весьма волнующих обстоятельствах в тот же вечер, едва Перси на свое счастье осенил себя крестом. К этому времени Перси уже попал в подобие пустыни и там подружился со львом, которого спас от змеи. Как я уже говорил, Перси всегда тянуло к нашим бессловесным собратьям.

Затем явилась к нему другая дама, чрезвычайно обольстительная и благородная, и при полном походном снаряжении, и эта дама пригласила Перси отобедать. Он же к тому времени оголодал — кругом-то все же пустыня, да и к вину он за всю жизнь так и не смог привыкнуть, а потому вечерок у них удался на славу. Боюсь, его малость разобрало, ибо он слишком много смеялся, а под конец совсем распалился и попросил даму — ну, сами понимаете. Дама-то была согласна на все, и все бы у них пошло, как по маслу, да Перси, по счастливому случаю, увидел вдруг крест на рукояти своего валявшегося на земле меча. Он вновь осенил себя крестным знамением, и шатер дамы тут же перевернулся кверху ногами, а дама удрала на стоявший неподалеку корабль, крича и ругаясь, и уплыла, и вода за ее кораблем горела.

Перси было так стыдно и голова у него поутру до того болела, что он в виде наказания пронзил себе мечом бедро. Тогда и появилась священная барка с Борсом на борту, и вдвоем они отплыли туда, куда она их повлекла.

Гвиневера промолвила:

— Если предназначение этой священной барки в том, чтобы доставлять людей к Святому Граалю, то как в нее попал Борс, я понимаю. Нам известно, что он прошел через ужасные испытания. Но при чем тут сэр Персиваль? Я не хочу показаться вам грубой, сэр Агловаль, но все же не могу сказать, чтобы ваш брат отличился какими-либо деяниями.

— Он сохранил чистоту, — возразил ей Артур. — Он оказался столь же чист, сколь и Борс, а может быть, даже чище. Невинность его была совершенной. Господь сказал нечто о том, чтобы пустили детей приходить к Нему.

— Но он так все запутал!

Артур рассердился.

— Если Бог, как предполагается, милосерд, — резко ответил он, — то я не понимаю, почему бы Ему не разрешить людям не только карабкаться, но и ковылять в Небеса, пусть даже запинаясь на каждом шагу. Продолжайте рассказывать о

вашей записи, сэр Агловаль.

— Тут в этой истории возникает моя сестра. Вы знаете, она состояла в монахинях, так вот, когда она принимала постриг, ей было видение, что обрезанные волосы надлежит ей хранить в особой шкатулке. Сестра была ученая женщина, склонная к богословским размышлениям. Примерно в то время, когда Перси и Боре оказались в барке, ей было новое откровение, в коем она получила повеление кое-что сделать. Прежде всего надлежало ей отыскать сэра Галахада.

Сестра нашла его отдыхающим в обители отшельника близ Кербонека, после того как он поверг сэра Гавейна. Она заставила его подняться, облачиться в доспехи, и вдвоем они поскакали к Коллибскому морю, где, миновав укрепленный замок, отыскали благословенную барку с ожидающими их Перси и Борсом. Они поплыли все вместе и плыли, пока не достигли прохода меж двух огромнейших скал — здесь их ждала новая барка. Попасть в нее мог не всякий, ибо имелась на ней надпись, остерегающая людей от подобных попыток, если только не обладают они совершенной верой, но Галахад с его несносной самоуверенностью ступил на нее, словно это было обычнейшим делом. Остальные последовали

за ним и нашли на барке богатое ложе с шелковым венцом в головах и с наполовину вынутым из ножен мечом. То был меч Царя Давида. И еще висели там три веретена, сделанные из дерева, росшего в Райском Саду, и два меча попроще, для Перси и Борса. Главный меч, естественно, предназначался Галахаду. Рукоять его была из дивного камня, чаша на рукояти из ребер двух зверей, называемых Калидон и Эртанакс, а ножны из змеиной кожи, и одна сторона меча была красной, как кровь. Перевязь же на мече была из простой пеньки.

Сестра взяла веретена и принялась за работу, и сплела новую перевязь из своих волос, кои она, согласно полученным наставлениям, сохраняла в шкатулке. Она рассказала им всю историю меча, ставшую ей известной в результате ученых занятий, и как случилось, что веретена были сделаны из дерева, различно окрашенного до самой его сердцевины, и в конце концов препоясала этим мечом Галахада. Она была девственницей, и она укрепила тот меч на девственнике при помощи собственных волос. Затем они возвратились на первую барку и поплыли в Карлайль.

Дорогой в Карлайль довелось им спасти старца, которого какие-то лиходеи держали пленником

в его собственном замке. В бою они перебили немало людей, и Перси с Ворсом весьма горевали о том, но Галахад уверил их, что убивать некрещеных — самое правое дело, эти же все как раз и оказались некрещеными. И старец, живший в замке, попросил соизволения умереть на руках Галахада, и Галахад милостиво дал ему такое соизволение.

Когда же прибыли они в Карлайль, то был там еще некий замок, принадлежавший даме, пораженной проказой. Лекари объявили ей, что единственное средство от этой болезни — обмыться из чаши, наполненной кровью целомудренной девственницы королевского рода. Всякому, кто проезжал мимо, люди этого замка пускали кровь, моя же сестра подходила под описание полностью. Чтобы спасти ее, трое рыцарей бились весь день, но под вечер им объяснили причину такого обычая, и сестра сказала: «Лучше одному пострадать, чем двоим». Она решилась отдать свою кровь и остановила сражение, и наутро ей отворили жилы. Перед тем она благословила лекарей, объяснила, как должно отпустить ее в плаванье в барке с этой записью в руке, а там и умерла во время операции.

Сэр Агловаль заглянул к Королю еще раз поздно

вечером, когда тот, покончив с привычными уже утешениями и восклицаниями, собирался улечься в постель. В Зале стоял полумрак, свет, напоминавший драгоценные камни, не играл больше на стенах.

— Между прочим, — смущаясь, спросил сэр Агловаль, — вы не могли бы пригласить Оркнейцев завтра отобедать со мной?

Несколько мгновений Артур вглядывался в Агловаля сквозь размывающий все очертания сумрак, а затем на лице его засветилась безудержная улыбка. Он поцеловал Агловаля (к одному из уголков улыбки скатилась слеза) и сказал:

— Вот я и получил нового Пеллинора, теперь мне есть кого любить.

## 31

А о великом Дюлаке новостей так и не было. Имя его стало магическим, и — где бы он ни пребывал, — согревало всякое сердце, особенно женское. Он и сам обратился в маэстро, и теперь к нему относились так же, как когда-то он относился к дядюшке Скоку. Если вы когда-либо учились летать, если вы прошли когда-нибудь школу великого музыканта или фехтовальщика, вам достаточно будет вспомнить учителя, чтобы понять, что думали о Ланселоте люди, населявшие Камелот. Они бы умерли за него — ради его искусства. А он потерялся.

Медленно стекались в Камелот уцелевшие — Паломид, ныне уже окрещенный, впадающий в смертельную скуку при одном упоминании про Искомую Зверь, постаревший до срока в результате долгого поэтического соперничества с сэром Тристрамом за любовь Изольды Прекрасной; сэр Груммор Груммурсум, теперь уже лысый, как яйцо, подбирающийся к восьмому десятку, умученный подагрой, но по-прежнему отважно взыскующий приключений; Кэй, приметливый и саркастичный; сэр Динадан, подшучивающий

над собственными поражениями, хоть и утомленный до того, что ему больших усилий стоило не дать векам сомкнуться; даже престарелый сэр Эктор из Дикого Леса, восьмидесятипятилетний и нетвердый на ногу.

С собой они привозили поломанные руки и слухи. Один утверждал, что Галахад, Боре и другой Эктор вместе с какой-то монахиней присутствовали на чудодейственной Мессе. Отправлял ее агнец, коему прислуживали человек, лев, орел и бык. По завершении Мессы агнец прошел через церковное окно с витражом, изображавшим такого же агнца, не нарушив при этом стекла и изобразив тем самым непорочное зачатие. Другой рассказывал, как сэр Галахад одолел диавола, обитавшего в гробнице, как остудил он источник разврата, и как в конце концов рухнул замок дамы, пораженной проказой.

Этим рыцарям в заржавленных латах и с иссеченными щитами доводилось в разных местах встречать Ланселота. Они рассказывали о некрасивом рыцаре, молящемся в доспехах у придорожного креста, об освещенном луной изнуренном лице, прижимающемся во сне к щиту. Говорили они и о делах невозможных: о Ланселоте, сброшенном с коня, потерпевшем

поражение, преклонившем колени после того, как его повергли наземь.

Артур задавал вопросы, рассылал гонцов, поминал своего военачальника в молитвах. Гвиневера, пребывающая в опасном расположении духа, с трудом удерживалась на краю пропасти, в которую ее повергло бы неосторожное слово. В любую минуту она могла выпалить или сделать нечто такое, что выдало бы и ее, и ее любовника. Мордред с Агравейном, бывшие среди первых, кто вернулся из Поиска, выжидали, следя за нею блестящими глазками Они бездействовали, как бездействовал, по рассказам, лорд Берли в совете Елизаветы, или подобно выжидающему коту, который терпеливо следит за мышиной норкой, — присутствие, наблюдение.

Прошел слух о гибели Ланселота. Говорили, что у какого-то брода его сразил черный рыцарь; что он бился на копьях с собственным сыном, который и сломал ему шею; что потерпев пораженье от сына, он вновь обезумел и верхом носился по всей стране вдоль и поперек; что таинственный рыцарь похитил его доспехи; что он сразился с двумястами пятьюдесятью рыцарями сразу, был ими схвачен и повешен, как собака. Образовалась сильная партия, верившая (и не упускавшая слу-

чая намекнуть на это), будто его, сонного, убили и погребли под грудой листвы Оркнейцы.

По двое, по трое, потом по одному приходили последние из уцелевших рыцарей, затем одиночные всадники стали появляться с промежутком в несколько дней. Список погибших и пропавших без вести, составленный сэром Бедивером, начал понемногу преобразовываться в список погибших, по мере того как пропавшие либо возвращались, изнуренные и измученные, либо о гибели их поступали достоверные сведения В ведомых шепотом разговорах о Ланселоте начал преобладать поминальный оттенок. Почти все любили его, и потому собеседники решались лишь шептаться о его гибели, опасаясь, что, сказав о ней вслух, они обратят ее в истину. Но шептались они о его доброте и замечательной стати, о таком-то и таком-то ударе, нанесенном тому-то и тому-то, о том, с какой грацией переступал он во время боя. Неприметные пажи и кухонные девушки, живо помнившие улыбку или подарок на Рождество, отходили ко сну на влажных подушках, хоть и знали, что великий воин вряд ли удержал в памяти даже их имена. Кэй напугал всех и каждого, когда заявил со всхлипом, что он, Кэй, всю свою жизнь был

жалким прохвостом, после чего вышел из комнаты, сморкаясь в платок. Тягостное предчувствие неотвратимой беды нависло над двором.

И Ланселот возвратился, он вышел, мокрый и маленький, из-под грозовой тучи. Он вел в поводу похожую на старый бочонок белую кобылу, уже не способную даже трусить рысцой. За спинами их клубились черные осенние тучи, и тощие ребра кобылы выделялись на их синеве, словно хлопья свинцовых белил. Должно быть, некое волшебство, интуиция, чтение мыслей снизошло на обитателей дворца, ибо еще до того, как он появился, все зубчатые стены замка, и башенки, и подъемный мост Больших Ворот оказались утыканы людьми, ожидающими, вглядывающимися, молча указующими друг другу, куда надо смотреть. Когда завиднелась крошечная фигурка, устало бредущая среди дальних деревьев ловчего поля, тихий ропот прошел по толпе. То был Ланселот, в алом плаще рядом с белой кобылой. Он уцелел. И еще до того, как было сказано хотя бы слово, каждый знал уже все о его приключениях. Артур метался, словно безумный, упрашивая людей уйти вовнутрь, покинуть стены, оставить человека в покое. Когда Ланселот, наконец, приблизился к замку, не осталось уже никого, кто

мог бы ранить его чувства. Лишь стояли настежь Большие Ворота, да стоял в Воротах готовый принять лошадь, согбенный и седовласый дядюшка Скок. Сотни глаз, смотревших из-за оконных завес, увидели, как рука лишенного последних сил человека передала оруженосцу поводья, увидели, как он стоит, опустив голову, которую так и не поднял, увидели, как он повернулся и пошел к своим покоям, как он исчез во мраке лестницы, ведущей наверх, в башню.

Два часа спустя дядюшка Скок предстал перед Королем. Он уже раздел Ланселота и уложил его спать. Под алым плащом, сообщил он, была тонкая белая рубашка, а под ней — жуткая власяница. Сэр Ланселот просил передать следующее: он очень устал и просит у Короля прощения за то, что Королю придется подождать его рассказа до завтра. Тем временем, чтобы не откладывать важной вести, дядюшке Скоку надлежит сказать Королю, что Святой Грааль найден. Его нашли Галахад, Персиваль и Боре — с ним и с телом сестры Персиваля они высадились в Саррасе, что в земле Вавилонской. В Камелот Грааль привезти нельзя. Боре через некоторое время появится, а двое других не вернутся уже никогда.

## 32

Гвиневера принарядилась для встречи, пожалуй, чрезмерно. Она накрасилась, в чем совсем не нуждалась, и накрасилась неумело. Ей было сорок два года.

Когда Ланселот увидел ее, в ожидании сидящую за столом близ Артура, любовь вырвалась из тесных пределов его сердца и заструилась по жилам. То была давняя любовь к двадцатилетней девушке, гордо стоящей у трона в окружении пленников, присланных ей в дар, но теперь ту же девушку облекали дурно наложенные румяна и шумные шелка, посредством которых она бросала вызов неотвратимой участи всякого человека. Он увидел в ней страстную душу целомудренной юности, ныне одолеваемую сыгранным с юностью издевательским трюком — предательством тела, обращающим плоть в позеленелые кости. Несуразные прикрасы ее показались ему не вульгарными, но трогательными. Та девушка была по-прежнему здесь, еще проглядывая сквозь осыпающуюся оболочку румян. Она противилась времени с отвагой, точно заявляя: не покорюсь. Под неуклюжим кокетством, под этим недостой-

ным нарядом угадывался человек, взывающий о помощи. Недоумевающие молодые глаза говорили: это я, я здесь, внутри, — что же они со мной сделали? Я не поддамся. Некая часть ее души сознавала, что пудра превращает ее в посмешище, и мысль эта была ей ненавистна, и она старалась удержать любовника одними только глазами. Глаза твердили: не смотри на все это. Смотри на меня. Я по-прежнему здесь, в глазах. Посмотри, я в темнице, помоги мне выбраться из нее. А другая часть говорила: я не постарела, это иллюзия. У меня замечательные румяна. Смотри, как я двигаюсь, совсем как юная девушка. Я смогу отразить неистовый натиск старости.

Ланселот увидел лишь душу, обреченное и ни в чем неповинное дитя, старающееся удержать безнадежную позицию с помощью жалкого войска помад и оранжевых шелков, которыми она надеялась, Бог весть чего опасаясь, порадовать его. Он увидел

Пигмейский стиснутый кулачок,
Вздернутый к тучам непокорно и рьяно,
Бойца, чьей гордыни не сломит рок,
В схватке с призрачным великаном.

Артур спросил:

— Ты хорошо отдохнул? Как ты себя чувству-

ешь?

— До чего же мы рады видеть тебя, — сказала Гвиневера. — Как рады, что ты вернулся.

Что до них, то они увидели человека просветленного — вроде того святого, что описан Киплингом в «Киме». Они увидели нового Ланселота, погруженного в безмолвное постижение мира, сошедшего к ним с духовных высот.

Ланселот ответил:

— Я вполне отдохнул, спасибо. Я думаю, вам не терпится узнать о Граале.

— Боюсь, я впал в эгоизм, — сказал Король. — Я пока никому ничего не сказал. Мы позаботимся, чтобы все было записано и помещено в Солсберийский архив. Но мы хотели бы первыми услышать обо всем, Ланс, и чтобы никто нам не мешал.

— Ты уверен, что не слишком утомлен для рассказа?

Ланселот улыбнулся и взял их руки в свои.

— Мне и рассказывать-то особенно не о чем, — сказал он. — В конце концов, ведь не я отыскал Грааль.

— Сядь, позавтракай. Поговорим, когда ты поешь. Ты очень исхудал.

— Хочешь вина с пряностями или лучше немно-

го сидра?

— Я теперь не пью, — сказал он, — спасибо.

Пока он ел, Король с Королевой сидели по сторонам от него и смотрели. Не успевал он подумать о соли, не успевал потянуться за ней, как они уже подносили ему солонку. Он засмеялся, глядя на их серьезные лица, от выражения которых ему становилось не по себе, и чтобы заставить их улыбнуться, сделал вид, будто намеревается окропить Артура водой, которую пил.

— А реликвии вам не нужны? — спросил он. — Могу предложить мои сапоги, они все равно протерлись до дыр.

— Не стоит с этим шутить, Ланселот. Я уверен, что ты своими глазами видел Святой Грааль.

— Даже если так, соль мне подавать не обязательно.

Но они смотрели на него с прежней серьезностью. Ланселот сказал:

— Прошу вас, поймите. Это Галахада вместе с другими допустили к Граалю. Я допущен не был. Так что не стоит вокруг меня хлопотать, это неправильно, а для меня так даже и обидно. Сколько рыцарей вернулось назад?

— Половина, — ответил Артур. — Их рассказы мы уже слышали.

— Я думаю, вам известно больше, чем мне.

— Мы знаем лишь, что убийц и тех, кто не исповедался, завернули вспять; а ты сообщил, что Галахад, Персиваль и Боре были допущены. Мне рассказывали, что Галахад с Персивалем — девственники, а Боре, хотя, вообще-то, и нет, оказался первоклассным богословом. Я думаю, что Боре избран за веру, а Персиваль — за невинность. О Галахаде же мне почти ничего не известно, не считая того, что всем он не по душе.

— Не по душе?

— Все жалуются, что в нем нет ничего человеческого.

Глаза Ланселота были прикованы к чаше с водой.

— Человеческого в нем мало, — наконец сказал он. — Да и с чего бы? Много ли человеческого в ангелах?

— Я не совсем тебя понимаю.

— Как ты полагаешь, если бы сию минуту сюда явился Архангел Михаил, сказал бы он тебе: «Какая милая нынче погода! У вас не найдется стаканчика виски?»

— Полагаю, что не сказал бы.

— Артур, не сочти мои речи за грубость. Помни, что я пребывал далеко отсюда, в странных

и пустынных краях, иногда совершенно один, иногда в ладье, наедине с Богом и звуками моря. Ты знаешь, я как вернулся к людям, так все время чувствую, что понемногу схожу с ума. Не из-за моря, из-за людей. Стоит людям обступить меня, как все, чего я достиг, начинает от меня ускользать. Даже из того, что произносишь ты или Дженни, многое кажется мне ненужным — странные шумы, пустота. Ты понимаешь, о чем я? «Как поживаете?» — «Присядьте» — «Какая прекрасная погода!» — Что все это значит? Люди слишком много говорят. Там, где я был, и где сейчас Галахад, проявление «хороших манер» это просто пустая трата времени. Манеры нужны лишь в отношениях между людьми, чтобы поддерживать их пустые затеи в рабочем состоянии. Конечно, манеры делают человека, но ведь не Бога же. Так что понять, почему Галахад мог показаться невежливым, бесчеловечным и так далее людям, которые жужжали и стрекотали вокруг него, думаю, можно. Дух его слишком удалился от них, пока он жил на необитаемых островах, в безмолвии, наедине с вечностью.

— Я понимаю.

— Пожалуйста, не сочти меня грубияном. Я пытаюсь описать тебе мои ощущения. Если ты

когда-нибудь бывал в Чистилище Святого Патрика, ты наверняка поймешь, о чем я говорю. Когда выходишь оттуда, люди кажутся смешными.

— Я очень хорошо тебя понимаю. И Галахада тоже.

— На самом-то деле он был очень милым человеком. Я-то знаю, мы провели долгое время в одной барке. Но это не означает, что мы непрестанно раскланивались, уступая друг другу лучшее место.

— Пуще всего его невзлюбили те мои рыцари, что тяготеют к мирскому. Да, я понимаю. И все-таки, Ланс, нам не терпится услышать твою историю, не Галахада.

— Да, Ланс, расскажи нам о том, что с тобой было, и предоставь ангелов самим себе.

— Это лучшее, что я могу сделать, — улыбнувшись, сказал сэр Ланселот, — поскольку встретить хотя бы одного ангела мне дозволено не было.

— Начинай же.

— Когда я оставил Вогон, — начал главнокомандующий, — мной владела хитроумная мысль о том, что наилучшим местом для поисков был бы замок Короля Пеллеса.

Он прервался, ибо Гвиневера внезапно дер-

нулась.

— Я не добрался до замка, — мягко сказал он, — потому что в пути меня поджидало несчастье. Случилось нечто, не входившее в мои планы, а потом уж я шел туда, куда меня вели.

— И что за несчастье?

— В сущности, оно и несчастьем-то не было. Просто я получил первый из направляющих пинков, которых было немало и за которые я благодарен. Вы ведь знаете, я много рассуждал о Боге, а это слово, которое оскорбляет неблагочестивых людей почти так же, как слово «проклятье» оскорбляет благочестивых. Как нам тут поступить?

— Ты просто предположи, что мы люди благочестивые, — сказал Король, — и рассказывай дальше.

— Я скакал вместе с сэром Персивалем, и мы повстречали моего сына. Он поверг меня наземь с первой попытки — мой собственный сын.

— Напал врасплох, — быстро сказал Артур.

— Это был честный поединок на копьях

— Ну, ты же, естественно, не хотел побить собственного сына.

— Я хотел его побить.

Гвиневера сказала:

— Время от времени всякого постигает неудача.

— Я налетел на Галахада со всем искусством, каким владел, и он поверг меня наземь с изяществом, подобного которому я ни разу в жизни не видел.

— В сущности, — прибавил Ланселот с одной из своих добродушных улыбок, — я вправе сказать, что до того ни разу в жизни и не падал с коня. Помню, первое что я почувствовал, оказавшись на земле, это чистейшей воды изумление. И только позже оно обернулось чем-то совсем иным.

— И что же ты сделал?

— Я лежал на земле, а Галахад, который так и не промолвил ни слова, возвышался рядом на коне, и тут появилась женщина, жившая затворницей в хижине, рядом с которой мы бились. Она сделала реверанс и сказала: «Бог да пребудет с тобою, лучший из рыцарей мира».

Ланселот опустил взгляд на стол и шевельнул рукой, словно желая разгладить скатерть. Затем он кашлянул и проговорил:

— Я повернул голову, чтобы увидеть, кто ко мне обращается.

Король с Королевой молча ждали. Ланселот кашлянул снова:

— Понимаете, я пытаюсь рассказать вам о том, что случилось с моей душой, не о моих приключениях. А тут уже не до скромности. Я знаю, я дурной человек, но я всегда был хорош в обращеньи с оружием. И меня в моей греховности по временам утешала мысль… сознание того, что я — лучший рыцарь мира.

— Так что же?

— Да то, что дама эта не ко мне обращалась.

В молчании они переваривали сказанное, глядя, как вдруг задергался правый уголок его рта.

— К Галахаду?

— Да, — сказал сэр Ланселот. — Глаза этой дамы, минуя меня, смотрели на Галахада, который при этих ее словах удалился неспешным галопом. А вскоре за тем удалилась и дама.

— Какую же гадость она сказала! — воскликнул Король. — Мерзкое, намеренное оскорбление! Ее бы стоило выпороть!

— Она сказала правду.

— Но явиться перед тобой и намеренно сказать такое прямо тебе в лицо! — вскричала Гвиневера. — Да еще после одного-единственного падения…

— Она сказала то, что Бог велел ей сказать. Видите ли, она как раз была из благочестивых. Но я

в то время этого не понял».

— Теперь-то благочестия во мне много больше, — прибавил он, как бы оправдываясь, — но в то время я оказался не способным снести случившееся. Я чувствовал себя так, словно из-под меня выбили землю, и в то же время знал, что сказанное ею — чистая правда. И я ускакал от Персиваля, чтобы побыть одному. Он было сунулся ко мне с каким-то предложением, но я ответил только: «Поступайте как знаете». Я скакал без цели, с тяжелой душой, отыскивая место, где сердце мое могло бы разбиться так, чтобы этого никто не увидел. В конце концов — мне уже казалось, что я снова схожу с ума — я набрел на часовню. Понимаешь, Артур, разум мой давно уж терзали многие горести, и мысль о том, что я — прославленный воин, вроде бы умеряла их, пусть и ненамного, а лишившись и этого утешения, я почувствовал, что у меня ничего не осталось.

— Да все у тебя осталось. Ты по-прежнему лучший из воинов мира.

— Самое смешное, что у часовни не оказалось дверей. Не знаю, в чем тут дело, — в моих грехах, или в негодовании по поводу моего поражения, но войти в нее я не смог. Я улегся на щит и уснул, и во сне мне привиделся рыцарь, который явился

и забрал мой шлем, мой меч и коня. Я пытался проснуться, но не сумел. У меня отнимали все мое рыцарское достояние, а я не мог пробудиться, потому что сердце мое наполняли горькие помышления. Некий голос произнес, что не видеть мне больше почета, но я лишь возмутился против этого голоса, и вот, когда я проснулся, все, чем я владел, сгинуло.

Артур, если я не смогу заставить тебя понять, что произошло той ночью, тебе не удастся понять и всего остального. Все мое детство я, вместо того чтобы гоняться за бабочками, потратил на обучение — я учился, желая стать первейшим из рыцарей. Позже я впал в грех, но хотя бы одно у меня оставалось. Я так гордился в душе тем, что меня считают превыше всех остальных. Я знаю, это низкое чувство. Но больше мне было нечем гордиться. Сначала я лишился моего Слова и моих чудес, теперь же, в ночь, о которой я вам рассказываю, меня лишили последнего. Когда я проснулся и обнаружил, что у меня отобрали оружие, меня охватило отчаяние, и я побрел куда глаза глядят. Это было отвратительно, я плакал и изрыгал проклятия. Так они начали ломать меня.

— Мой бедный Ланс.

— Это лучшее из того, что когда-либо случалось со мной. Знаете, утром я вдруг услышал пение птиц, и на душе у меня полегчало. Занятно вот так получить утешение от птичьей стаи. В детстве у меня никогда не хватало времени, чтобы лазить по гнездам. Ты бы, наверное, узнал этих птиц, Артур, но мне их прозвание неизвестно. Там была одна, совсем крохотная, она все задирала хвостик повыше и посматривала на меня. Такая, знаешь, размером не больше колесика на шпоре.

— Это, наверное, крапивник.

— Ну, крапивник так крапивник. Завтра покажи его мне, ладно? Эти птицы заставили меня понять, — поскольку без посторонней помощи мое блуждающее во мраке сердце понять ничего не умело, — что если меня наказывают, то причиной тому моя собственная природа. То, что случается с птицами, отвечает природе птиц. Они заставили меня понять, что мир прекрасен, если прекрасен ты сам, и что невозможно получать не давая. Да и давать-то следует, не ожидая, что получишь нечто взамен. И я смирился с поражением, нанесенным мне Галахадом, и с утратой оружия и доспехов, и в ту же благую минуту отправился искать исповедника, дабы очиститься от зла и впредь уже не грешить.

— Жаль, что не всем рыцарям, вышедшим на поиски Грааля, хватило разумения сходить к исповеди — сказал Артур.

— Я-то и прежде ходил к ней нередко. И все равно большую часть жизни прожил в смертном грехе. Но на этот раз я исповедался во всем.

— Во всем? — спросила Королева.

— Во всем. Понимаешь, Артур, всю жизнь у меня был на совести грех, о котором я, как мне казалось, не должен был никому говорить, потому что…

— Не нужно рассказывать нам о нем, — сказала Королева, — если это причинит тебе боль. Мы же все-таки не твои исповедники. Довольно того, что ты открылся священнику.

— Оставь ее в мире, — согласился Король. — Как бы там ни было, она родила тебе прекрасного сына, который, похоже, достиг Святого Грааля.

Он подразумевал Элейну.

Охваченный внезапной мукой Ланселот, стиснув кулаки, переводил глаза с одного своего собеседника на другого. Все трое затаили дыхание.

— Итак, я исповедался, — сказал он наконец, и все вздохнули свободно, но голос его был тяжек, — и мне было назначено покаяние.

Он замолк, все еще терзаясь сомнениями, ибо смутно понимал, что в этот миг жизнь привела его на распутье. Все трое сознавали, что именно сейчас перед Ланселотом явилась возможность, если она вообще когда-либо существовала, открыться своему другу и королю, — но путь ему преграждала Гвиневера, ибо то была и ее тайна.

— В виде покаяния мне надлежало носить власяницу, принадлежавшую некогда одному из известных святых, — в конце концов продолжил он, смирясь с поражением, — а кроме того, не есть мяса, не пить вина и ежедневно выслушивать мессу. Через три дня я покинул жилище священника и поскакал обратно к кресту, стоявшему близ того места, где я лишился оружия. Священник снабдил меня кое-каким на первое время. Ну вот, я проспал ночь у креста и видел еще один сон, а поутру рыцарь, похитивший мои доспехи, возвратился. Мы сразились на копьях, и я вернул свои доспехи. Странно, правда?

— Я полагаю, что на тебя после доброй исповеди снизошла благодать и оттого тебе можно было доверить твою прежнюю мощь.

— Вот и я так полагал, однако сейчас ты увидишь, правы мы с тобой или нет. Я думал, что теперь, когда грех снят с моей души, мне будет

дозволено вновь стать лучшим рыцарем мира. И я поскакал, распираемый счастьем, пытался даже что-то такое спеть, — и так попал на широкую равнину, где стоял замок с шатрами и прочим, и пять сотен рыцарей в черном и рыцарей в белом, бились на турнире. Белые брали верх, и я решил присоединиться к черным. Я думал, что раз я прощен, я смогу совершить великие подвиги и оказать помощь слабейшей стороне.

Он замолк и опустил веки.

— Но белые рыцари, — прибавил он, открывая глаза, — очень скоро пленили меня.

— Ты хочешь сказать, что вновь потерпел поражение?

— Я потерпел поражение и бесчестье. Я пришел к мысли, что грехов на мне еще и побольше прежнего. Когда они отпустили меня, я ускакал прочь, кляня все на свете, как в первый вечер, а когда наступила ночь, свалился под яблоню, и плакал, плакал, пока не заснул.

— Но это же ересь, — воскликнула Гвиневера, подобно большинству женщин, изрядно сведущая в теологии. — Если ты принес честную исповедь и исполнил покаянную епитимью, и получил отпущение грехов.

— Я исполнил епитимью, наложенную за один

из моих грехов, — сказал Ланселот, — но я забыл о другом. В ту ночь мне снова приснился сон — передо мною явился старец, сказавший мне так: «Ах, Ланселот, слабый верою и порочный душою! Отчего так легко обратилась воля твоя к смертному греху?» Дженни, я всю жизнь прожил в смертном грехе, в худшем из всех. Это гордыня заставляла меня стремиться к званию лучшего рыцаря мира. Гордыня побудила меня напоказ помочь побеждаемым на турнире. Или, если хочешь, назови это тщеславием. А исповедь, принесенная мной во всем, что касалось… что касалось женщины, вовсе не сделала меня достойным человеком.

— Итак, ты потерпел поражение.

— Да, я потерпел поражение. И на следующее утро я отправился к другому отшельнику, чтобы исповедаться снова. На этот раз я постарался как следует. Мне было сказано, что для взыскующего Святого Грааля недостаточно лишь целомудрия и воздержания от убийств. Следует отвратиться от любого тщеславия и гордыни, ибо во время Поиска внушенные ими деяния Господу не угодны. И я отвратился от них и получил отпущение,

— А что было потом?

— Я поскакал к берегам Мортезы и повстречал

там рыцаря в черном, который сразился со мной на копьях. И он тоже поверг меня наземь.

— В третий раз!

Гвиневера вскричала:

— Да ведь ты же получил в этот раз полное отпущение!

Ланселот накрыл ее руку своей и улыбнулся:

— Если мальчик крал варенье, — сказал он, — и родители наказали его, он, возможно, раскается в своем поступке и впредь преисполнится добродетели. Однако это не даст ему права красть и дальше, верно? Это не означает, также, что ему обязаны варенье подносить. В том, что Бог позволил черному рыцарю сбросить меня с коня, никакого наказания не было, Бог просто лишил меня особого дара одерживать победы, а жаловать мне его или не жаловать — это всегда оставалось в Его власти.

— Но, бедный мой Ланс, отдать всю свою славу и не получить ничего взамен! Когда ты погрязал в грехе, ты всегда побеждал, так почему же, обратясь к благочестию, ты терпишь одно поражение за другим? И почему то, что ты любишь, всегда причиняет тебе страдания? Что ты сделал потом?

— Я встал на колени в водах Мортезы, Дженни,

там, где он сбросил меня, — и возблагодарил Бога за это приключение.

## 33

Терпение Артура лопнуло.

— Прекрати! — гневно воскликнул он. — Хватит об этом! Почему нужно так мучить достойного, доброго, мягкого человека? У меня все сжимается внутри от стыда, даже когда я тебя слушаю! Какого…

— Ш-ш-ш, — сказал сэр Ланселот. — Я вполне доволен тем, что отказался от любви и от славы. И более того, — тем, что меня, в сущности, вынудили от них отказаться. Господь не потратил ведь столько трудов на Гавейна или Лионеля, не так ли?

— Пф! — сказал Король Артур тоном, к которому еще недавно прибегнул, беседуя с ним, Гавейн.

Ланселот рассмеялся.

— Да, — сказал он, — замечание убедительное. Но может быть, лучше тебе все же дослушать мою историю до конца.

В тот вечер я уснул на берегу Мортезы, и во сне мне было приказано взойти на корабль. Разумеется, когда я проснулся, корабль уже ждал, и взойдя на него, я почувствовал сладчайший аромат и испытал великую радость, и увидел

еду и питье, и все, что только можно вообразить. Передо мной оказалось «все, что только мог я задумать и пожелать». Я знаю, мне не удастся сейчас толком описать вам этот корабль — прежде всего потому, что теперь, когда я снова среди людей, он как-то потускнел в моей памяти. Но вам не следует думать, что все исчерпывалось его ароматами или драгоценной одеждой, которую я на нем обнаружил. Все это было, но не оно составляло главную прелесть. Вам следует помнить и о запахе смолы, и о красках моря. Порою оно становилось совершенно зеленым, как толстое стекло, и тогда сквозь толщу воды проглядывало дно. Порой его покрывали огромные медлительные уступы, и птица, летящая вдоль вершины уступа, вдруг пропадала в низине. В шторм огромные буруны вгрызались, словно клыками, в скалистые острова. Белые клыки их показывались на утесах не в самый миг удара, но когда с утесов стекала вода. Тихими ночами можно было увидеть, как звезды отражаются в мокром песке. Были там две звезды совсем близкие друг другу. А песок покрывали складки, совершенно как нёбо у нас во рту. И запах водорослей, и шум пустынного ветра. Я видел острова, на которых жили пичуги, похожие на кроликов, только клювы их переливались

подобно радуге. Лучше всего было зимой, потому что тогда на островах появлялись гуси — длинные дымчатые караваны гусей, поющих в узкой полоске холодной зари, словно гончие псы.

Стоит ли гневаться на то, что Бог сотворил со мною вначале, Артур, если затем он дал мне куда как большее. Я говорил: «Отче милостивый, Иисусе Христе, я сам не знаю, за что мне такая радость, ибо это превосходит все радости земные, когда-либо мною испытанные».

У корабля была одна странность — мертвая женщина путешествовала на нем. Она держала в руке письмо, рассказавшее мне, как обстоят дела у других рыцарей. Еще более странно то, что я ее, мертвую, совсем не боялся. Лицо у нее было такое спокойное, что мне она казалась самым подходящим спутником. Мы словно бы ощущали некую общность. Чем я кормился, не знаю.

После того, как я провел месяц на корабле с мертвой дамой, к нам был приведен Галахад. Он благословил меня и позволил поцеловать его меч.

Артур побагровел лицом, будто индюк.

— Ты попросил его о благословении? — требовательно вскричал он.

— Конечно.

— Ну и ну! — сказал Артур.

— Шесть месяцев мы проплавали вместе на священном корабле. За этот срок я хорошо узнал своего сына, и он, казалось, проникся любовью ко мне. Весьма часто он говорил со мною, проявляя чрезвычайное вежество. Все это время с нами случались на островах приключения, в которых участвовали дикие звери. Мы встречали морских ласок, что так красиво свистят, и Галахад показывал мне журавлей, летящих над самой водой, над летящими прямо под ними перевернутыми отражениями. Он рассказывал мне, что рыбари называют баклана «старая черная ведьма» и что у ворона век не короче человечьего. Бывало, заслышишь в воздухе «кар, кар», и скоро они уже опускаются к нам, кувыркаясь ради забавы. Однажды мы видели пару клуши: они были прекрасны! А тюлени! Они приближались, чтобы послушать пение корабля, и плыли рядом, переговариваясь, как люди.

Однажды в понедельник мы приплыли к лесистой земле. Белый рыцарь спустился берегом и сказал Галахаду, что ему надлежит сойти с корабля. Я понимал, что его забирают, дабы он отыскал Святой Грааль, и опечалился оттого, что не мог отправиться с ним. Помните, как было в детстве,

когда дети выбирали перед игрой кто за кого, а тебя, случалось, ни одна из сторон в конце концов не принимала? Вот и меня охватило такое же чувство, только еще похуже. Я попросил Галахада молиться за меня. Я попросил его молить за меня Господа, чтобы Он и впредь сохранил меня среди своих верных слуг. Затем мы поцеловались с ним и расстались.

Гвиневера жалобно произнесла:

— Не понимаю, почему тебя оставили в стороне, если на тебя снизошла благодать.

— Это трудный вопрос, — сказал Ланселот. Он развел руки и смотрел в стол между ними.

— Возможно, мои намерения были дурны, — сказал он, помолчав. — Возможно, в глубине души — подсознательно, как ты бы сказала, — я по-настоящему и не хотел исправляться…

Королева слушала, и лицо ее озарялось чуть приметным сиянием.

— Глупости, — прошептала она, совсем противное имея в виду. Она ласково стиснула его руку, но Ланселот отодвинул ее.

— Когда я молился, чтобы Бог сохранил меня для себя, — сказал он, — возможно, причиной тому было.

— А не кажется ли тебе, — сказал Артур, — что

излишне чувствительная совесть — это в твоем положении недозволительная роскошь?

— Возможно. Во всяком случае, меня среди избранных не было.

Он сидел, глядя, как море вздымается у него между руками, и слушая деревянную трескотню глупышей на утесах ближнего острова.

— Корабль вновь унес меня в море, — после долгого молчания сказал он, — ибо поднялся ветер. Спал я совсем немного, все больше молился. Я просил, чтобы мне, хоть меня и нет среди избранных, все же дозволено было узреть хоть частицу Истинной Крови.

В молчании, павшем на комнату, мысли каждого разбрелись по своим, собственным тропам. Артур размышлял о горестном зрелище, — о грешном, земном человеке, да, но лучшем из них, тяжело плетущемся по следам троицы этих сверхъестественных девственников, о его обреченных, отважных, тяжких усилиях.

— Занятно, — сказал Ланселот, — как часто люди, не умеющие молиться, повторяют, что молящемуся не дождаться ответа, сколько бы ни твердили им те, кто молиться умеет, что они получают ответ. Однажды в полночь сильный ветер принес мой корабль к задним воротам

Замка Кербонек. Странно и то, что именно сюда я ехал в самом начале.

В тот миг, как корабль пристал к берегу, я понял, что часть моего желания будет исполнена. Разумеется, я не мог увидеть Грааль целиком, ибо не был ни Борсом, ни Галахадом. Но со мной обошлись по-доброму. Им пришлось уклониться от их пути, чтобы явить мне свою доброту.

У задних ворот замка было темно, как в могиле. Я облачился в доспехи и поднялся к воротам. Двое львов, сторожившие ворота, попытались заступить мне дорогу. Я вытащил меч, чтобы сразиться с ними, но некая десница ударила меня по руке. Глупо, конечно, было полагаться на меч, когда полагаться мне надлежало только на Бога. И потому я перекрестился онемевшей рукой и вошел, и львы не причинили мне никакого вреда. Все двери оказались открытыми, кроме последней, и здесь я встал на колени. Я помолился, и дверь отворилась.

Артур, в моем пересказе все это может показаться невероятным. Я не знаю, как передать это словами. За последней дверью находилась часовня. Там служили Мессу.

Ах, Дженни, как прекрасна была часовня, свет, заливавший ее, и все остальное! Ты бы сказала:

«Цветы и свечи», но дело не в них. Их, быть может, и вовсе-то не было.

Там было другое, там были, хоть это, наверное, крикливо звучит, — сила и слава. Они захватили все мои чувства и потянули меня вовнутрь.

Но войти я не смог, Артур и Дженни, — меч преграждал мне дорогу. Я видел внутри Галахада, и Борса, и Персиваля. Там было еще девять рыцарей из Франции, Дании и Ирландии, и дама с моего корабля тоже была среди них. Там был и Грааль, Артур, на серебряном престоле, и много иных предметов! Но для меня, как ни томился я у дверей, дорога была закрыта. Я не знаю, кто служил эту Мессу. Быть может, Иосиф Аримафейский, быть может… ну, ладно. Я попытался, невзирая на меч, войти и помочь ему, поскольку он нес некую слишком тяжкую ношу. Я хотел лишь помочь, Артур, Господь мне свидетель. Но из последней двери в лицо мне ударило дыхание, палящее, как печной жар, и я рухнул без чувств.

## 34

Большое оживление царило во внутренних покоях дворца: взад-вперед сновали горничные, лязгали на лестнице жбаны и ведра, комнату заволакивал пар. Пролетая по лужам, там и сям рассеянным по полу, ноги горничных издавали хлюпающие звуки, а из соседней комнаты доносился шепот, смешанный с укромным шумом шелков.

Королева уже взошла по шести ступенькам деревянной лестницы, ведущей к ванне, и теперь сидела внутри на толстой доске, так что наружу торчала лишь голова. Ванна походила на большую пивную бочку, голову Королевы облекал белый тюрбан. Сидела она голышом, только жемчужное ожерелье так и осталось на шее. В одном углу комнаты стояло зеркало, и весьма дорогое, в другом — столик с ароматами и притираниями. Напудренную пуховку замещал на нем замшевый кошель, полный истолченного мела, пахнущего розовым маслом, привозимым из Крестовых походов. На полу между лужами в беспорядке валялись льняные полотенца, коими ей предстояло вытираться, шкатулки

с драгоценностями, парчовые платья и иные наряды, подвязки, белье — все это принесли ей на выбор из смежной комнаты. Лежали здесь и опальные головные уборы, накрахмаленные, напоминающие причудливыми очертаниями свечные гасила, меренги и двойные коровьи рога, сетки для волос, усеянные жемчугами, платки из доставленного с Востока шелка. Одна из дам-камеристок стояла перед королевской ванной, держа для обозрения расшитую мантию. Мантию покрывали соединенные гербы мужа и отца Королевы: вздыбленный дракон Англии и шестерка поднявших лапы и обернувшихся очаровательных львят Короля Леодегранса, коему львы в гербе полагались по причине его имени. Поперек мантии шла тяжелая шелковая прошва, вроде шнура на занавесе, чтобы стягивать мантию на груди. Шелковую же кайму гербов опушал беличий мех, серебристый и голубой.

Облик Гвиневеры утратил потерянное выражение, она сидела, без привередливой гневливости принимая предлагаемые наряды. Лица же камеристок выражали блаженство. Больше года ходили они за Королевой вздорной, жестокой, несговорчивой, несчастной. Теперь она была всем довольна и не тиранила их. Они пребывали

в полной уверенности, что Ланселот вновь стал ее любовником. И были не правы.

Гвиневера оглядела шестерку львят, «поднявших лапы обернутых», они вышагивали, свесив красные языки и выпятив когти, нахально подмигивая и помахивая хвостами, на кончиках которых полыхали язычки пламени. Она покивала, храня на лице удовлетворенное, сонное выражение, и камеристка, присев в реверансе, удалилась в гардеробную. Королева проводила ее взглядом.

Вы вправе, конечно, если вам так больше нравится, счесть и саму Гвиневеру неким подобием львицы, пожиравшей мужчин, или же одной из тех самовлюбленных женщин, что упорствуют в желании властвовать над всеми и вся Собственно, такой она и казалась — при поверхностном рассмотрении. Красивая, жизнерадостная, вспыльчивая, требовательная, порывистая, чарующая и не спешащая расставаться с захваченным, она обладала всеми качествами, положенными пожирательнице мужчин. Но факт, о который, словно о скалу, разбиваются все эти поверхностные истолкования, состоит в том, что Гвиневера вовсе не отличалась неразборчивостью. Никого, кроме Артура и Ланселота, в ее жизни не было.

Да и тех она не пожрала в собственном смысле этого слова. Мужчины, пожираемые львицей, становятся обычно ничтожествами — у них не остается никакой иной жизни, помимо той, которую они ведут в пищеварительном тракте своей владычицы. Между тем, и Артур, и Ланселот, коих Гвиневера, казалось бы, поглотила, прожили собственные жизни, исполненные свершений.

Одно из истолкований характера Гвиневеры — и его наряду с прочими остается лишь принимать на веру — сводится к тому, что она была, как это принято говорить, «живым» человеком. Она не принадлежала к числу людей, на которых легко налепить бирку вроде «верный» — «неверный», или «склонный к самоотречению», или «ревнивый». Временами она была верной, временами неверной. Она всегда оставалась самой собой. Видимо, таилась в ней некая душевная честность, потому что иначе она не смогла бы удержать около себя двух таких мужчин, как Ланселот и Артур. Подобное, как уверяют, тяготеет к подобному, а уж в благородстве двух этих мужчин никто, похоже, не сомневается. Надо полагать, и ей было присуще благородство. Трудно писать о живом человеке.

Она жила в воинственные времена, когда

жизнь молодого человека была такой же краткой, как жизнь воздухоплавателя двадцатого столетия. В такие времена пожилым моралистам свойственно несколько смягчать свои моральные установления — в виде благодарности за то, что их охраняют. Обреченные на смерть пилоты с их жадностью к жизни и к любви, предназначенной, по всем вероятиям, к скорой и бесследной погибели, трогают сердца юных женщин или, быть может, пробуждают в них ответную отвагу. Щедрость, храбрость, честность, сострадание, способность смотреть краткой жизни в лицо, безусловно, товарищество и нежность — вот душевные качества, коими можно объяснить, почему Гвиневера приняла близость и Ланселота, и Артура. И прежде всего храбрость, храбрость, с которой она всем своим сердцем брала и отдавала, пока еще было время. Поэты вечно склоняют женщин к храбрости этого рода. Она срывала розовые лепестки, пока оставалась на это способной, и поразительнее всего то, что она сорвала только два, не больше, и сохранила их навсегда, и они были лучшими из возможных.

Основная суть трагедии Гвиневеры в том, что она оставалась бездетной. Артур прижил двух незаконнорожденных сыновей, у Ланселота

был Галахад. Гвиневера же, единственная из этой троицы, кому дети полагались по чину, кто воспитал бы их наилучшим образом, кого Господь по всем признакам сотворил для того, чтобы растить прелестных чад, — только она осталась незаполненным сосудом, берегом без моря. Бездетность и надломила ее, когда она достигла возраста, в котором морю ее предстояло иссохнуть окончательно. Бездетность наделила ее на недолгое время женским неистовством — впрочем, это время оставалось еще впереди. В бездетности, быть может, и кроется одно из объяснений двойной любви Гвиневеры — может статься, она любила в Артуре отца, а в Ланселоте сына, родить которого была не способна.

Круглые Столы, рыцарские подвиги — все это легко ослепляет людей. Вы читаете о каких-либо возвышенных победах Ланселота, и когда он возвращается к своей возлюбленной, вы склонны негодовать на нее, ибо она препятствует этим победам или даже пятнает их. Но она ведь и не могла участвовать в поисках Грааля. Она не могла на целый год раствориться в лесах Англии, вооружась копьем и взыскуя подвигов. Ее удел состоял в том, чтобы сидеть дома — какие бы неподдельные страсти, какой бы голод ни

раздирал ее яростное и нежное сердце. Ибо никаких способов отвлечься, кроме тех, что можно сравнить с нынешними дамскими партиями в бридж, в ее распоряжении не было. Она могла охотиться с дербником, играть в жмурки или в «девять шашек». Вот и все забавы, какие в ее время имелись у взрослых женщин. Ястребы, гончие псы, геральдика, турниры — это все доставалось Ланселоту. Ей же, поскольку она не питала пристрастия к прялке и вышиванию, заняться было решительно нечем — кроме самого Ланселота.

И потому нам следует вообразить себе Королеву женщиной, лишенной ее главного атрибута. Обживаясь в своем трудном возрасте, она совершала поступки странные. Ее заподозрили даже в отравлении одного рыцаря. Многие из подданных стали относиться к ней неприязненно. Но и неприязнь зачастую представляет собой комплимент, и Гвиневера, хоть и прожила она бурную жизнь и умерла, пожалуй, непримиренной, — ибо в отличие от Ланселота не была создана для веры, — Гвиневера никогда не была существом незначительным. Она делала то, что свойственно делать женщине, делала это с королевским размахом, и сейчас, сидя в ванне, делала от всей души.

От мужчины, который по сути говоря видел Бога, сколько бы ни было в нем человеческого, трудно ожидать, что он немедленно займется с вами любовью. А когда мужчина этот — Ланселот, и без того помешанный на Боге, нужно быть чересчур жизнелюбивой и жестокой, чтобы вообще ожидать от него чего-либо подобного. Но женщинам присуща такого рода жестокость. Отговорок они не приемлют.

Гвиневера знала, что Ланселот вернется к ней. Она знала это с той самой минуты, когда он рассказал, как молился о том, чтобы Господь «сохранил» его среди своих слуг. И знание это оживило ее, как оживляет вода цветок, давно не знавший полива. Оно смело и грубые румяна, и цветастые шелка, столь растрогавшие его, когда он только-только вернулся. Все, что ей оставалось теперь, это добиться, чтобы их воссоединение стало полным и прошло без помех. Спешить не стоило.

Ланселота, еще не ведавшего, что ему предстоит вновь пожертвовать для Королевы столь любимым им Богом, ее расположение утешило, хотя, впрочем, и удивило. Он побаивался ужасных сцен ревности, жалобных пеней. Он гадал, как объяснить измученной девочке, запертой

за размалеванными глазами, что он не в силах вернуться к ней, что он обязан исполнить долг куда более сладостный, какую бы боль она ни испытывала. Он боялся, что она набросится на него, что она раскинет перед ним свои скудные силки и тенета — трогательно соблазнительные именно скудостью их. Он совершенно не представлял себе, как сможет справиться с жалостью.

Гвиневера же, вопреки его ожиданиям, вдруг расцвела и даже краситься перестала. Он не дождался ни пеней ее, ни покушений. Она лишь улыбалась, являя неподдельную радость. Женщины, мудро сказал сам себе Ланселот, непредсказуемы. Им удалось даже обсудить положение со всей прямотой, и она согласилась со всем, что он ей сказал.

Гвиневера сидела в ванне, устремив невидящий взор на львят, и перебирала в памяти подробности их разговора, отчего на лице ее возникало сонное выражение потаенного счастья. Она снова видела милое, некрасивое лицо Ланселота, произносящего такие серьезные речи об устремлениях его честного сердца. Она любила его устремления, любила старого солдата, столь верного в его невинной любви к Богу. Она знала, что эта любовь обречена на поражение.

Извиняясь и умоляя ее не почитать его слова за обиду, Ланселот сказал, (1) что после Грааля они уже не могут вернуться к прежнему; (2) что если бы не его преступная любовь, ему, быть может, и разрешили бы достигнуть Грааля; (3) что такой возврат был бы в любом случае опасен, поскольку Оркнейская партия начала неприятнейшим образом присматривать за ними, в чем особливо усердствуют Агравейн и Мордред; и (4) что это было бы великим позором для них самих, а равно и для Артура. Он четко перечислил свои доводы один за другим.

В другой раз он попытался объяснить ей — очень длинно и в путаных словах, — как он открыл для себя Бога. Он полагал, что если ему удастся заставить Гвиневеру обратиться помыслами к Богу, это разрешит вставшую перед ним этическую проблему. Если они смогут вместе направить стопы свои к Богу, это будет означать, что он вовсе не бросил свою любовницу, не принес ее счастье в жертву своему.

Теперь Королева улыбалась, более не таясь. Какой он все-таки милый. Она согласилась с каждым его словом — она уже всей душой обратилась к вере!

И выпростав из ванны белую длань, Королева

потянулась к жесткой щетке с ручкой из слоновой кости.

## 35

Все это было прекрасно, пока не прошло первое упоение от возвращения Ланселота. Прозорливость Королевы могла простираться дальше пределов, положенных заурядному человеку, но свои пределы имелись и у нее. Приятно было с теплым чувством неделю или месяц ожидать Ланселота, хранящего стойкую веру в чудо. Но когда месяц понемногу оборачивается годом, это уже совсем иное дело. Возможно, он, в конце-то концов, и взялся бы снова за прежнее — возможно. Но женщина не может слишком долго дожидаться победы, ибо рискует состариться, не успев насладиться ее плодами. Какой смысл все ждать и ждать пришествия счастья, когда счастье стоит на пороге, а время уносится прочь?

Мало-помалу Гвиневера становилась если и не менее цветущей, то более сердитой. По мере того как один месяц благочестия добавлялся к другому, в глубине ее сердца копилась буря. Благочестие? Самовлюбленность, — безмолвно кричала она, — эгоистическая способность пожертвовать чужой душой, чтобы спасти свою. Повесть о Борсе, предоставившем дюжине

предполагаемых благородных дам спрыгнуть с крепостной стрельницы, лишь бы не совершить самому — даже им во спасение — смертного греха, глубоко поразила ее. Теперь вот и Ланселот намеревался проделать нечто похожее. Ну что же, Ланселоту с его рыцарством и мистицизмом, со всеми радостями, коими мир одаривает мужчину, хорошо разыгрывать великое отречение от прошлой любви. Но для отречения все же потребны двое, как потребны они для любви и для ссоры. Она не бесчувственная принадлежность, с которой можно обращаться так, как ему удобно: захотел — взял, захотел — бросил. Человеческое сердце нельзя отбросить подобно тому, как иные бросают пить. Пьянство касается только вас, и только от вас зависит, покончить с ним или нет, но душа возлюбленной не является вашей собственностью, вы не вправе распоряжаться ею по своему усмотрению, вы в долгу перед ней.

Ланселот понимал это так же ясно, как и отважная Гвиневера, и, по мере того как отношения их ухудшались, ему становилось все труднее сохранять прежнюю твердость. Он чувствовал себя, как Боре при вмешательстве безоружного отшельника. Пока дело касалось только его одного, он был, разумеется, вправе смиряться пред

Господом, как Боре смирился пред Лионелем. Но придавленный Гвиневерой, будто Боре отшельником, вправе ли он принести свою давнюю любовь в жертву, как был принесен в жертву отшельник? Ланселота, наравне с Гвиневерой, решение Борса повергло в ужас. В сердцах двух любовников гнездилось бессознательное благородство, не способное подстраиваться под догмы. Вот он, восьмой смертный грех — благородство.

Все разрешилось в одно утро, когда они музицировали вдвоем, уединившись в башенном покое. На столе между ними стоял походивший на две огромные книги музыкальный инструмент, называемый регалем. Гвиневера пела песню, сочиненную Марией Французской, а Ланселот с трудом подбирал другую, принадлежащую горбуну из Арраса, — и вдруг Гвиневера накрыла правой рукою все ноты, какие под ней уместились, а левой притиснула обе книги. Регаль страшновато всхрапнул и замолк.

— Что ты?

— Лучше тебе уехать, — сказала она. — Покинь нас. Отправляйся искать приключений. Разве ты не видишь, что я теряю последние силы?

Ланселот глубоко вздохнул и сказал:

— Да, это я вижу. Каждый день.

— Так уезжай же. Не думай, я не собираюсь устраивать сцену. Я не хочу, чтобы мы из-за этого ссорились, и не добиваюсь, чтобы ты передумал. Просто, если ты уедешь, я буду страдать меньше, чем сейчас.

— Ты говоришь это так, словно я намеренно мучаю тебя.

— Нет. Ты ни в чем не виноват. Просто мне хочется, чтобы ты уехал, Ланс, потому что тогда я смогу отдохнуть. Ненадолго. И не будем спорить об этом.

— Конечно, я уеду, коли ты так желаешь.

— Желаю.

— Наверное, так будет лучше.

— Ланс, я хочу, чтобы ты понял, — я не пытаюсь обманом вовлечь тебя во что-то или к чему-то принудить. Я только думаю, что для нас будет лучше расстаться на месяц, на два, расстаться друзьями. Только это и ничего другого.

— Я знаю, что ты никогда не стала бы обманывать меня, Дженни. Я тоже совершенно запутался. Я ведь надеялся, что ты все поймешь. Поймешь, что со мною случилось. Конечно, было бы легче, если бы ты тоже побывала в той барке, если бы ты сама все прочувствовала. А так я не могу передать тебе моих ощущений, потому что тебя там

не было, отсюда и все мои трудности. И мне все кажется, будто я приношу тебя в жертву — или нас, если хочешь, — какой-то новой любви…

— И кроме того, — сказал он, отворачиваясь, — дело ведь вовсе не в том, что я… что мне не нужна и старая любовь тоже.

С минуту он простоял в молчании, глядя в окно, руки его неестественно мирно свисали вдоль тела, — и после хрипло добавил:

— Если хочешь, мы начнем все сначала.

Когда он резко отворотился от окна, в комнате было пусто. После обеда он пришел к ее покоям, желая ее повидать, но ему лишь передали на словах, чтобы он сделал то, о чем она его попросила. Он упаковал свои скудные пожитки, не понимая, что случилось, но чувствуя, что был на волосок от великой беды и чудом сумел ускользнуть. Он попрощался со своим согбенным старым оруженосцем, теперь уж в любом случае слишком дряхлым, чтобы отправиться с ним, и наутро выехал из Камелота.

## 36

Если служанкам Королевы предполагаемое возобновление любовной интриги доставляло радость, то имелись при дворе и такие, кто решительно никакой радости в этой связи не испытывал. А если и испытывал, то радость жестокую и выжидающую. Общий тон двора изменился в четвертый раз.

Первым по порядку из властвовавших здесь настроений было чувство молодого товарищества — чувство, под знаком которого Артур начал свою великую борьбу; вторым — рыцарственное соперничество, с каждым годом все выдыхавшееся, пока величайший из европейских дворов едва не потонул во вражде и бессмысленных соревнованиях. Затем восторженный пыл, возбужденный поисками Грааля, выжег дурные миазмы, претворив их в недолговечную красоту. Ныне же наступила наиболее зрелая и наиболее грустная фаза — восторги благополучно угасли, и все, что осталось двору, это практиковаться в нашем прославленном седьмом чувстве. Ныне двор обрел «знание жизни»: теперь он вкушал плоды

успехов, цивилизации, savoir-vivre[12], слухов, мод, злобы и терпимости к любому скандалу.

Половина рыцарей погибла — лучшая половина. Свершилось именно то, чего Артур боялся с самого начала поисков Святого Грааля. Достигая совершенства, человек умирает. Что, кроме смерти, мог испросить Галахад у Бога? Лучшие среди рыцарей обрели совершенство и сгинули, предоставив худшим удерживать завоеванные ими позиции. Правда, еще остались носители прежней закваски — Ланселот, Гарет, Агловаль да несколько дряхлых балабонов вроде сэра Груммора и сэра Паломида, но общий тон задавали иные. Тон задавала угрюмая ярость Гавейна, мишурный блеск Мордреда, сарказмы Агравейна. То, что вытворял в Корнуолле Тристрам, лишь усугубило положение. Ходил по рукам некий магический плащ, который могла носить только верная жена, — или, быть может, то был магический рог, из которого, опять-таки, могла напиться лишь жена, сохранившая верность. С безмолвным смешком подносился в подарок скошенный щит, несший изображение с намеком на наставленные мужу рога. Супружеская верность воспринималась

---

**[12] notes: 12**
Житейская мудрость (фр.)

теперь как «новость». Одежды приобрели фантастический вид. Длинные носки Агравейновых туфель приходилось крепить ниже колен к подвязкам посредством золотых цепочек, что до Мордреда, то у него те же цепочки дотягивались до специального пояса, охватывавшего талию. Камзолы, служившие изначально покровами для доспехов, удлинились сзади и укоротились спереди. Даже простая ходьба стала затруднительным делом, ибо существовала опасность споткнуться о собственные рукава. Дамы, желавшие следовать моде, соревновались, выбривая лбы и следя, чтобы не показалось наружу ни пряди волос, рукава же они поневоле связывали узлами, дабы не мести ими пол. Джентльмены в не менее пугающей степени выставляли напоказ ноги. Одеяния их стали многоцветными. Порой одна нога оказывалась красной, другая зеленой. И все эти прорезные мантии и непристойные шутовские наряды носились не от избытка веселья. Мордред облачался в свои смехотворные туфли из чувства презрения: они являли собою сатиру на него самого. При дворе потянуло новыми веяньями.

Так что с Гвиневеры теперь глаз не спускали, и то были не взоры суровой подозрительности

или теплого одобрения, но скучающие взоры расчетливости и холодные — общества. Терпеливые коты пока выжидали и мирно посиживали у мышиной норки.

Мордред с Агравейном считали Артура лицемером — каковым и следует быть всякому порядочному человеку, если исходить из предположения, что никакой порядочности не существует и существовать не может. Гвиневера же им представлялась особой, лишенной какой ни на есть культуры.

Изольда Прекрасная, говорили они, тоже наставляла Королю Марку рога, но хотя бы цивилизованным образом. Она делала это изящно, прилюдно, следуя установлениям моды и проявляя самый возвышенный вкус. Всякий мог привлечь к этому внимание Короля и насладиться результатами. Она обладала безупречным чутьем во всем, что касалось нарядов, увлекалась водевильными шляпками, придававшими ей вид подвыпившей бабенки. Она потратила миллионы Марковых денег на павлиньи языки к обеду.

А что Гвиневера? Одевается, словно цыганка, развлекается на манер хозяйки постоялого двора и любовника своего ото всех скрывает. Да и зануда она, если уж правду сказать. Никакого чувства

стиля. Стареет без всякого изящества, ревет, сцены закатывает, что твоя торговка из рыбных рядов. Уверяли, будто она выгнала Ланселота, устроив жуткий скандал, во время которого обвинила его в том, что он-де любит других женщин. Предполагалось, что она кричала ему: «Я вижу и чувствую день ото дня, как любовь ваша оскудевает». Мордред сообщил своим двусмысленным музыкальным голосом, что мегеру в женах он способен понять, но в любовницах — увольте. Эпиграмма эта получила широкое распространение.

Артур, замкнутый и несчастный в новой атмосфере, приобретавшей по отношению к нему свойства центробежные взамен центростремительных, в простых одеждах бродил по дворцу, стараясь оставаться вежливым. Королева, более него склонная к наступательным действиям, — он еще помнил ее решительной девушкой с темными волосами и алыми губами, то и дело встряхивающей головой, — вознамерилась овладеть ситуацией, задавая пиры и изображая светскую даму. Снова пошли в ход румяна и пышные одеяния, оставленные ею при возвращении Ланселота. В поведении ее появились признаки легкого безумия. Всем блестящим царствова-

ниям знакомы такие пустые периоды, во время которых Корона лишается большей части своих приверженцев.

Беда разразилась внезапно, когда Ланселот еще пребывал неведомо где. Ощущение опасности, висевшее в воздухе со времен Грааля, внезапно сгустилось до вещественной плотности во время обеда, данного Королевой.

По всей видимости, Гавейн питал пристрастие к плодам и фруктам. Более всего ему нравились груши и яблоки, и оттого несчастная Королева, старавшаяся преуспеть в новой для нее роли хозяйки светского салона, особо позаботилась, дабы во время обеда, устроенного ею для двадцати четырех рыцарей, обеда, к которому ожидался и Гавейн, стол украшали отборные яблоки. Она знала, что партия Оркнея и Корнуолла вечно представляла угрозу для чаяний мужа, — а Гавейн стоял теперь во главе клана. Королева надеялась, что обед пройдет удачно, что он поможет создать новую атмосферу, что это будет изысканный обед. Она пыталась ублажить злые языки, обратясь в обходительную хозяйку, подобную Изольде Прекрасной.

К несчастью, не одна она знала о Гавейновой слабости к яблокам, и, к несчастью же, озлоб-

ление, порожденное убийствами Пеллиноров, все еще не иссякло. Правда, Артуру удалось отвратить Агловаля от мстительных помыслов, и казалось, будто раны, нанесенные стародавней враждой, затянулись. Но был один рыцарь по имени сэр Пинель, дальний родственник Пеллиноров, считавший отмщение необходимым. И сэр Пинель отравил яблоки.

Яд — оружие неверное. В этом случае оно, как вообще нередко бывает, ударило мимо цели, и предназначенное Гавейну яблоко съел рыцарь из Ирландии по имени Патрик.

Вообразите картину, бледные рыцари, вскочившие из-за стола в свете свечей, безуспешные попытки оказать несчастному помощь, мнительные взоры, с пристыженной подозрительностью впивающиеся то в одного, то в другого. О Гавейновой слабости ведомо было каждому. Семейство его никогда не ходило в любимчиках у нелюбимой теперь Королевы. Обед давала она. А Пинелю в его положении пускаться в объяснения было не с руки. Кто-то из присутствующих ошибкой убил вместо Гавейна сэра Патрика, и пока не откроют убийцу, подозрение в равной мере будет тяготеть надо всеми. Сэр Мадор де ла Порте, превосходивший прочих то ли самомнением,

то ли злорадством, то ли въедливостью, в конце концов высказал вслух то, что было у всех на уме. Он обвинил Королеву в предательстве.

В наши дни, когда цель правосудия темна и невнятна, каждая из сторон нанимает защитников, чтобы они, препираясь, выявили эту цель. В ту пору представители высших классов нанимали заступников, дабы те выявляли оную в драке, что, в сущности, сводится к тому же. Сэр Мадор решил сэкономить на адвокате и самому отстоять свою правоту, он потребовал также, чтобы Гвиневера поручила ведение дела какому-либо заступнику, способному ее защитить. Артур, вся философия которого основывалась на превосходстве права над силой, помочь жене ничем не мог. Если Мадор требовал Суда Чести, его требование надлежало выполнить. Артур же не имел права сражаться, когда тяжба касалась его жены, точно так же, как в наше время супруги лишены права давать показания друг против друга.

Положение складывалось — хуже некуда. Подозрения, слухи, взаимные обвинения и контробвинения запутали разбирательство чуть ли не до того, как оно началось. Вражда с Пеллинорами, старинная распря между Пендрагоном и Корнуоллом, причастность Ланселота, а затем

еще и внезапная смерть человека, никак, по всей видимости, не связанного ни с тем, ни с другим, ни с третьим, — все это смешалось в ядовитый туман, кольцами смыкавшийся вокруг Королевы. Если бы Ланселот оставался при ней, он бы и стал сражаться в качестве ее заступника. Но она отослала его, и никто не ведал куда, некоторые полагали даже, что во Францию, к родителям. Если бы было известно, что он где-то поблизости, сэр Мадор, возможно, оставил бы свои подозрения при себе.

Не стоит, хотя бы из милосердия, задерживаться на днях, предшествовавших судебному поединку — не стоит описывать смятенную женщину, стоящую на коленях перед сэром Борсом, который ее и раньше-то не шибко любил, а ныне, едва-едва воротясь от Грааля, к коему привело его собственное целомудрие, любил и того меньше. Она умоляла его сразиться за нее, если не удастся отыскать Ланселота. Ей пришлось молить об этом, бедняжке, ибо страсти двора достигли такого накала, что по своей воле никто бы за ее защиту не взялся. Королева Англии не могла отыскать себе заступника.

Наихудшей оказалась ночь перед поединком. Ни Гвиневера, ни Артур не сомкнули глаз. Он

твердо верил в ее невиновность, но в отправление правосудия вмешаться не мог. Она, раз за разом трогательно заверявшая его в этой невиновности, сознавала, что в нынешнее бедственное положение ее привели совсем иные горести и что к следующей ночи она, быть может, уже сгорит на костре. Вместе озирали они трагедию и унижение созданного ими Круглого Стола, ни единый человек из которого не желал их спасти, и оба знали, что все в один голос называют Королеву Стола погубительницей добрых рыцарей. В пропитанном горечью мраке Артур вдруг с отчаянием воскликнул: «Что за причина, что ты не можешь удержать при себе сэра Ланселота?» Так оно и тянулось до самого утра.

## 37

Сэр Борс-женоненавистник без особой охоты согласился сразиться за Королеву, если никого иного отыскать не удастся. Он объяснил ей, что ему вообще-то делать этого не следует, поскольку и сам он присутствовал на обеде, но когда Артур застал Королеву стоящей перед ним на коленях, сэр Боре покраснел, поспешил поднять ее и согласился. Затем он на пару дней куда-то исчез, ибо суд должен был состояться спустя две недели.

Для поединка приготовили луг близ Вестминстера. По сторонам широкого квадрата воздвигли заграждение из крепких бревен наподобие лошадиного загона — только заграждение без барьера внутри. Если бы речь шла об обычном бое на копьях, тогда барьер построили бы, но в данном случае биться предстояло не на жизнь, а на смерть, а это означало, что для окончания поединка рыцарям, возможно, придется спешиться и биться на мечах, и оттого барьера городить не стали. По одну сторону луга воздвигли помост для Короля, по другую — для Лорда-Констебля. Помост и заграждение обтянули тканями. По концам ристалища устроили занавешенные

проходы, вроде тех, сквозь которые выезжают на арену циркачи. В одном из углов его помещалась всем желающим на обозрение огромная груда хвороста с железным столбом посередке, таким, что не обгорит и не расплавится. Столб и хворост предназначались для Королевы, коли закон признает ее виновной. Перед тем, как Артур приступил к главному труду всей его жизни, человек, посмевший в чем-либо обвинить Королеву, был бы предан смерти прямо на месте. Теперь же, благодаря проделанной им работе, ему надлежало приготовиться к тому, чтобы послать на костер собственную жену.

Ибо в мозгу Короля начала вызревать новая мысль. Все прежние усилия прорыть для Силы отводной канал пошли прахом, даже когда перед ней были поставлены духовные цели, и ныне он нащупывал путь к полному ее искоренению. Довольно раболепствовать перед Силой, решил Король, Силу следует выкорчевать со всеми ее корнями и сучьями, установив новые основания бытия. Мысль его подбиралась к Праву, принявшему вид самодовлеющего критерия, к Правосудию как отвлеченному принципу, не опирающемуся на насилие. Еще несколько лет, и он додумался бы до Гражданского Права.

День был холодный. Ткань ограждения и шатра натянулась, и флажки, распластавшись, лежали по ветру. Палач в своем углу дул на пальцы, пристроившись поближе к жаровне, от пламени которой ему предстояло запалить огромный костер. Герольды в шатре Лорда-Констебля облизали потрескавшиеся на ветру губы, перед тем как прижать к ним трубы и сыграть фанфары. Гвиневере, сидевшей между солдатами из стражи Констебля, пришлось попросить, чтобы ей принесли шаль. Она заметно осунулась. Печальное, немолодое лицо застыло в ожидании, напряженном и стойком, между мясистыми лицами стражников.

Разумеется, спас ее Ланселот. Боре за время своей двухдневной отлучки сумел отыскать его в монашеской обители, и в самый последний миг Ланселот вернулся, чтобы сразиться за Королеву с сэром Мадором. Никто из знавших его и не ожидал ничего иного, — был ли он отослан с позором или без оного — но поскольку считалось, что Ланселот покинул страну, его возвращение окрасилось в драматические тона.

Сэр Мадор выехал из прохода на южном конце ограждения и, пока его герольд дул в трубу, огласил свои обвинения. Из северного прохода по-

явился сэр Боре и тут же отправился совещаться сначала с Королем, а после с Констеблем, вступив с ними в длинные, запутанные объяснения либо споры, сути которых из-за ветра никто уловить не смог. Зрители забеспокоились, гадая, в чем помеха и почему судебный поединок не продолжается, как ему следует. Затем, после нескольких путешествий от королевского помоста к помосту Лорда-Констебля, сэр Боре скрылся в своих воротцах. Возникла неуютная пауза, во время которой черная комнатная собачонка с приплюснутым носиком выскочила на ристалище и понеслась неведомо куда, по каким-то лишь ей известным делам. Один из рыцарей стражи изловил ее и связал навыйником от щита, за что публика наградила его ироническим «ура». Затем наступило молчание, нарушаемое лишь криками лотошников, расхваливающих свои орехи и имбирные пряники.

Ланселот выехал из северного прохода с гербом Борса на щите, и все, сидевшие в амфитеатре, мгновенно поняли, что это он, только переодетый. Тишина наступила такая, словно все разом затаили дыхание.

Он вернулся не из снисходительной жалости к Королеве. Грубое объяснение насчет того, что

он-де «покончил с ней», чтобы спасти свою душу, а теперь возвратился, явив волнующую щедрость этой же самой души, — это неверное объяснение. Все было гораздо сложнее.

Главная беда этого рыцаря — с самого его детства, из которого он в полной мере так и не вышел, — состояла в том, что для него Бог был живым существом. Не абстракцией, которая карает тебя за пороки и награждает за добродетели, а живым существом, как Гвиневера или Артур, или кто угодно другой. Ланселот, разумеется, чувствовал, что Бог по всем статьям превосходит Гвиневеру или Артура, но главное было все-таки в том, что Он оставался для Ланселота живым человеком. У Ланселота имелись совершенно определенные представления относительно того, как этот Человек выглядит, и что он чувствует, — и в некотором смысле он был в этого Человека влюблен.

Рыцарь, Совершивший Проступок, был вовлечен не в Вечный Треугольник. Речь следует вести о Вечном Четырехугольнике — столь же вечном, сколь и четырехугольном. Дело вовсе не в том, что он бросил любовницу, опасаясь кары со стороны некоей разновидности Священного Пугала, просто перед ним оказались два любимых им че-

ловека. Одним была Артурова Королева, другим — Тот, Кто, безмолвно присутствуя в Замке Кербонек, отправлял там таинство мессы. К несчастью, как это нередко случается в любовных делах, два объекта его страсти никак не могли поладить друг с другом. Все выглядело почти что так, словно ему предстояло выбрать между Джейн и Дженет, и он словно бы ушел к Дженет, — не из боязни, что та накажет его, если он останется с Джейн, но чувствуя, с сердечным жаром и жалостью, что ее он любит гораздо сильнее. Возможно, он чувствовал даже, что Богу он нужнее, чем Гвиневере. Именно эта проблема, скорее эмоциональная, чем этическая, и заставила его искать убежища в обители, где, как он надеялся, ему удастся до конца разобраться в своих чувствах.

И все-таки было бы не совсем верным сказать, что не великодушные побуждения заставили его воротиться. Ланселот был человеком великодушным. Он был маэстро. Даже если в обычные времена Бог нуждался в нем сильнее, на этот раз нужды его первой любви явно были безотлагательнее. Мужчина, оставивший Джейн ради Дженет, тоже ведь может сохранить достаточно душевной теплоты, чтобы вернуться к первой, когда она будет отчаянно в нем нуждаться, и

теплоту эту можно тогда было б назвать жалостью, великодушием, благородством — если бы вера в существование этих чувств не вышла в наше время из моды и не стала бы отчасти даже неприличной. Как бы там ни было, но Ланселот, боровшийся со своей любовью к Гвиневере, как и со своей любовью к Богу, вернулся к ней сразу, едва лишь познав, что она в беде, и стоило ему увидеть ее просиявшее лицо, заждавшееся под постыдною стражей, как укрытое кольчугой сердце его перевернулось, пронзенное неким чувством, — назовите его любовью или жалостью, или как вам это понравится.

В тот же миг перевернулось и сердце сэра Мадора де ла Порте, но идти на попятный ему было уже поздновато. Лицо его под шлемом невидимо для всех побагровело, он ощутил как бы некое жжение под соломой, облекавшей крутом его череп. Он вернулся в свой угол и пришпорил коня.

Есть нечто прекрасное в том, как взлетает в воздух сломанное копье. Внизу под ним, на земле, еще вовсю идет потасовка. Ленивое движение копья, его подъем и кружение, медлительные и безмолвные, составляют с потасовкой разительный контраст. Копье как бы возносится над земными заботами, похоже, не усматривая в быстром дви-

жении смысла. Быстрое движение — в данном случае движение сэра Мадора, покидающего коня спиной вперед и кверху ногами, — происходит много ниже копья, совершающего в грациозной отрешенности свой независимый пируэт и падающего на землю, туда, где больше никто о нем и не вспомнит. По какому-то баллистическому капризу копье сэра Мадора пало вниз острием — в точности за спиной рыцаря-стражника, что держал в руках черного мопса. Когда этот рыцарь впоследствии оборотился и обнаружил копье, стойком торчавшее сзади него, точно заглядывая через плечо, его продрал озноб.

Сэр Ланселот спешился, дабы лишить себя преимущества, каковое имеет всадник перед пешим бойцом. Сэр Мадор поднялся и буйно замахал мечом в сторону противника. Он не на шутку осерчал.

Потребовалось два основательных удара, чтобы угомонить сэра Мадора. Когда он в первый раз очутился на земле, Ланселот подошел к нему, чтобы принять его капитуляцию, но сэр Мадор снова разволновался и сподниза ткнул возвышающегося над ним противника мечом. Это был довольно подлый удар, нацеленный снизу в пах сквозь такую часть доспехов, которая по необходимости

укреплена менее всего. Ланселот отступил, чтобы позволить сэру Мадору встать, если тому угодно будет продолжить поединок, и все увидели, как его набедренники и наголенники заливает кровь. Было нечто жуткое в том, как терпеливо он отступил, с пробитым бедром. Выйди он из себя, перенести это зрелище было бы легче.

Во второй раз королевин заступник ударил сэра Мадора покрепче. Затем он сорвал с него шлем.

— Ладно, — сказал сэр Мадор. — Сдаюсь. Я был не прав. Сохрани мне жизнь.

Тут Ланселот сделал очень изящный ход. На его месте практически всякий рыцарь удовлетворился бы тем, что дело Королевы выиграно, и оставил бы все как есть. Но Ланселоту была присуща своего рода прилежная заботливость по отношению к людям, он почитал необходимым думать о том, что они чувствуют или могут почувствовать.

— Я сохраню тебе жизнь, — сказал он, — лишь если ты пообещаешь мне, что на могиле сэра Патрика ничего написано не будет. Ни слова о Королеве.

— Обещаю, — сказал Мадор.

Затем, пока лекари еще несли по полю потерпевшего поражение адвоката, Ланселот направился к королевской ложе. Королеву, не

теряя времени, освободили, и она уже сидела рядом с Артуром.

Артур сказал:

— Снимите ваш шлем, неведомый рыцарь.

Артур и Гвиневера испытали прилив любви и сострадания, когда рыцарь снял с себя шлем, и они снова увидели некрасивое, столь знакомое им лицо, обладатель которого, истекая кровью, стоял перед ними.

Артур спустился на поле. Он заставил Гвиневеру встать, взял ее за руку и свел за собой на арену. Он церемонно поклонился сэру Ланселоту и потянул Гвиневеру за руку, чтобы и она присела перед рыцарем в реверансе. В полный голос Король произнес, складывая слова на старинный манер:

— Сэр, грамерси за ваш великий ратный труд, что приняли вы нынче за меня и за мою Королеву.

Любовь светилась на его улыбающемся лице, а за спиной у него Гвиневера рыдала так, словно сердце ее разрывалось.

## 38

И случилось так, что правда относительно смерти сэра Патрика открылась на следующий день — благодаря появлению Нимуи, представившей объяснения, кои она получила с помощью ясновидения. Мерлин, перед тем как позволить Нимуе замкнуть его в пещере, вверил ей Дело Британии. Он заставил ее пообещать, — большего он сделать не мог, — что раз уж она овладела всем его волшебством, то она теперь и будет присматривать за Артуром. Выслушав обещание, он смиренно вошел в свою темницу, на прощание окинув Нимую долгим обожающим взглядом. Нимуя при всем ее легкомыслии и непунктуальности была девушкой, в сущности, доброй. Она прибыла ко двору, опоздав всего на день, поведала, как было отравлено яблоко, и вернулась к собственным заботам. Сэр Пинель подтвердил ее показания, ударившись тем же утром в бега, но оставив писанное признание, и все сошлись на том, что сэр Ланселот весьма удачно оказался поблизости.

Может быть, и удачно, да только не для Королевы. Да, разумеется, она жива и спасена от

позора, и однако же случилось невообразимое. Несмотря на все слезы, несмотря на безудержный всплеск чувств, снова потрясший их, Ланселот продолжал упрямиться, желая остаться верным своему Граалю.

Ему-то хорошо, восклицала Гвиневера, — она с каждым днем теряла рассудок, и смотреть на нее было тяжко, — ему хорошо, он купается в новых радостях. Ну еще бы, он испытывает восхитительные ощущения — силу, просветление, душевный подъем — они способны искупить все, что угодно. Возможно, этот его знаменитый Бог дал ему нечто такое, чего она дать не сумела. А ей-то как быть? Ему не случалось задумываться о том, что она получила от Бога? Все выглядит в точности так, кричала она Ланселоту в лицо, как если бы он бросил ее ради другой женщины. Он отнял у нее все самое лучшее, а теперь, когда она постарела и ни на что не годится, он норовит отыскать утешение где-то еще. Он повел себя с типичным для мужчины скотским эгоизмом — взял все, что мог, в одном месте, а когда там поживиться стало уже нечем, отправился в другое. Мелкий воришка — вот кто он такой. И подумать только, она ему верила! Хватит, больше она не любит его, она не позволит ему и приблизиться к ней, даже

если он на коленях станет молить ее об этом. И на самом-то деле, она не ставила его ни во что еще до того, как начались поиски Грааля, — да, ни во что, и она уже тогда решила бросить его. Пусть не думает, будто это он ее бросает: совершенно наоборот. Это она отшвыривает его прочь, словно грязную тряпку, потому что не чувствует к нему ничего, кроме презрения. К нему и к его позерству, к его раздутой от важности физиономии, к его низости, к его инфантильности и тщеславию. К его никчемному Боженьке и ханжеской лжи. И если он хочет знать полную правду, а она не видит никакого смысла и дальше ее скрывать, — так при дворе есть один молодой рыцарь, уже ставший ее любовником: уже бывший им еще до Грааля! Милейший молодой человек — не чета Ланселоту! Очень ей нужен такой прокисший сморчок, когда у ее ног лежит прекрасный, как роза, мальчик, который боготворит ее, да-да, боготворит землю, по которой она ступает! Самое лучшее для Ланселота это вернуться к Элейне, к матери его знаменитого сына. И пусть себе молятся вместе, если получится, две старых развалины, целую ночь напролет. Пусть беседуют о своем дитятке, о Галахаде, нашедшем этот проклятый Грааль, пусть смеются над ней, если им это нра-

вится, да, пожалуйста, смейтесь, милости просим, смейтесь, ведь она так и не смогла родить сына.

И тут Гвиневера начинала хохотать, между тем как некая часть ее, словно сквозь окна, выглядывала сквозь глазницы наружу и с отвращением внимала производимому ей шуму, — потом смех сменялся слезами, и она принималась бурно рыдать.

Странное дело, но Артур, решив устроить по случаю оправдания Королевы турнир, выбрал для него место невдалеке от Корбина. Этим местом мог быть Винчестер или Бракли, где и сейчас находится одно из четырех уцелевших в Англии турнирных полей. Собственно, важным является не место, где проходил турнир, важно, что именно в Корбине влачила в одиночестве зрелые годы бездетная ныне Элейна.

— Ты, разумеется, отправишься на этот турнир? — злобно спросила Королева. — Не упустишь же ты возможности побывать рядышком со своей потаскухой?

Ланселот сказал:

— Дженни, неужели ты не способна ее простить? Скорее всего, она теперь столь же некрасива, сколь и несчастна. Она ведь никогда не обзаводилась запасными позициями.

— Великодушный Ланселот!

— Если ты не желаешь, чтобы я ехал на этот турнир, — сказал он, — я не поеду. Я никогда не любил никого, кроме тебя.

— Кроме Артура, — сказала Королева. — Кроме Элейны. Кроме Бога. Если, конечно, не существует еще и других, о которых я не прослышала.

Ланселот пожал плечами — один из глупейших жестов, когда собеседник твой жаждет ссоры.

— А ты поедешь? — спросил он.

— Я? Ехать туда, чтобы полюбоваться, как ты увиваешься вокруг этой кочерыжки? Разумеется, не поеду и тебя не пущу.

— Ну и отлично, — сказал он. — Я скажу Артуру, что болен. Я могу сослаться на то, что еще не оправился от раны.

И он пошел искать Короля.

Когда все уехали на турнир и при дворе стало пусто, Гвиневера вдруг передумала. Возможно, она удержала Ланселота, чтобы остаться с ним наедине, а обнаружив, что ничего путного из их уединения не выходит, переменила решение, — впрочем, причина нам неизвестна.

— Лучше тебе все же поехать, — сказала она. — Если я стану держать тебя здесь, ты скажешь, что я это из ревности, и будешь потом тыкать

меня в эту ревность носом. Кроме того, если ты останешься, это может вызвать скандал. Да и не нужен ты мне. Видеть тебя не могу. Убирайся. Ступай!

— Дженни, — попытался он урезонить ее, — как же я поеду теперь. Я ведь сказал, что мне мешает рана, и если я все же появлюсь на турнире, скандал разразится куда более громкий. Все подумают, что мы поссорились.

— Ну и пусть себе думают, что хотят. Я только одно могу тебе сказать: лучше уезжай, пока ты не свел меня с ума.

— Дженни.

Он чувствовал, что сердце его разрывается надвое, и что безумие, до которого она некогда его довела, того и гляди поразит его снова. Возможно, и она это заметила. Как бы там ни было, повадка ее внезапно смягчилась, и она проводила его в Корбин ласковым поцелуем.

«Я возвращусь назад», — пообещал он когда-то, и вот наконец сдержал обещание. Немыслимо было приехать на турнир и не проведать Элейну. Дело не только в том, что он обещал ей вернуться, он к тому же хранил в памяти последние слова их единственного сына, ныне покойного или по крайней мере перенесенного в мир иной. Даже

самый жестокий человек навряд ли отказался бы навестить ее при таких обстоятельствах.

Значит, придется остановиться в Корбине, рассказать ей о Галахаде, а на турнире сражаться в измененном обличье. Он объяснит Артуру, что сослался на рану, дабы явиться туда нежданным и неузнанным, ибо таковы новомодные веяния. Эта отговорка и объяснит, почему он обосновался в замке Корбин, а не там, где проходит турнир, и предотвратит разного рода скандальные толки о его новой ссоре с Королевой.

Подъезжая аллеей ко рву и минуя cheval de frise, он с изумлением обнаружил, что Элейна ждет его на зубчатой стене — в той же позе, в какой он оставил ее, уезжая, двадцать лет назад. Она встретила его в Главных Воротах.

— Я ждала тебя.

Она потолстела, стала приземистой, похожей отчасти на Королеву Викторию, и появление его приняла с простодушием истинной веры. Он же сказал, что вернется, — ну, вот и вернулся. Ничего иного она и не ожидала.

И следующие ее слова вонзились в его сердце, как нож.

— Теперь ты останешься здесь навсегда, — сказала она, и это не прозвучало вопросом. Вот во

что претворила она ответ, данный им, когда они расставались много лет назад.

## 39

Если вам хочется почитать о Корбинском турнире, обратитесь к Мэлори, там все описано. Мэлори был страстным любителем турниров, подобно тем пожилым джентльменам, что в наши дни не вылезают из крикетных павильонов стадиона «Лордз», — быть может, он имел даже доступ к какому-то древнему справочнику вроде «Уиздена», а то и к судейским протоколам. О каждом из прославленных турниров он приводит исчерпывающий отчет, сообщая о всяком рыцаре, сколько очков он набрал, и как звали человека, который перебросил его через конский круп или вышиб из него дух. Однако дотошные описания старых крикетных матчей способны нагнать только скуку на тех, кто в них не участвовал, и потому мы не станем давать подробный отчет об этом турнире. Пожалуй, единственное, что у Мэлори скучновато, так это подробнейшие судейские ведомости, которые он приводит в двух-трех местах, — хоть, впрочем, и они не совсем уж скучны для человека, осведомленного, в чью форму были облачены те или иные из рыцарей помельче. Для нас довольно будет сказать,

что Ланселот разил противника по всему полю — за время, прошедшее после Грааля, к нему вернулось все его мастерство — и что он со своим мечом превзошел бы все поставленные им за долгую жизнь рекорды, если бы не открылась заново рана, полученная им от сэра Мадора. Странно, что он показал столь высокий уровень исполнительского мастерства именно в этот раз, ибо душа его изнывала втройне — по Гвиневере, по Богу и по Элейне, — следует, впрочем, сказать, что в подобных обстоятельствах не один он являл высокие образцы искусства. В конце концов, после того, как он, несмотря на старую рану, сокрушил то ли тридцать, то ли сорок рыцарей (спешив, кстати сказать, и Агравейна с Мордредом), на него насели сразу трое, и копье одного из нападавших пробило его защиту. Копье сломалось, оставив наконечник у Ланселота в боку.

Ланселот покинул поле, пока был еще способен усидеть на коне, и поскакал быстрым галопом, раскачиваясь в седле и отыскивая место, где он сможет побыть один. Всякий раз, как он получал серьезную рану, в нем просыпалась эта инстинктивная потребность в одиночестве. Смерть представлялась ему частным делом, и если уж пришлось умирать, он старался получить воз-

можность умереть наедине с собой. Лишь один рыцарь увязался за ним — Ланселот был слишком слаб, чтобы избавиться от него, — этот-то рыцарь и помог ему вытащить из ребер наконечник копья, и он же, когда Ланселот все же лишился чувств, расположил его поудобней, «повернув сэра Ланселота так, чтобы ветер дул ему в лицо». Тот же самый рыцарь в конце концов уложил его в постель и доставил к этой постели не помнившую себя от горя Элейну.

Важность Винчестерского турнира определяется не каким-то особым проявлением воинской доблести и даже не плачевной раной Ланселота, от которой он со временем оправился Связанные с этим турниром обстоятельства, сыгравшие немалую роль в жизни четырех наших друзей, еще остается пересказать. Ибо Ланселот, нежданно столкнувшийся с необоснованной уверенностью несчастной Элейны, уверенностью в том, что он останется с ней навсегда, не решился сказать ей правду. Возможно, он был во многих смыслах человеком слабым — прежде всего слабым в том, что отнял Гвиневеру у своего лучшего друга, слабым в своих попытках променять возлюбленную на Бога и, наконец, если уж говорить о главном проявлении его слабости — в том, что

он пытался утешить Элейну, обещав ей возвратиться. Ныне, когда он лицом к лицу столкнулся с простодушными надеждами бедной женщины, он не отважился одним решительным ударом разрушить ее иллюзии.

При всей ее простоте и неосведомленности иметь с Элейной дело было непросто, ибо она обладала тонкостью чувств, — в сущности говоря, куда большей, нежели Гвиневера, хоть и не хватало ей силы, которой была наделена храбрая и открытая внешнему миру Королева. Ей достало деликатности не ошеломлять Ланселота восторженными приветствиями, когда он вернулся после долгой отлучки, не пенять ему, да она никогда и не чувствовала, что имеет причины ему пенять, и сверх всего — не удушать его жалобами на свою горькую участь. Пока они дожидались в Корбине начала турнира, она, словно зажав сердце в кулак, не давала себе никаких поблажек: тщательно воздерживаясь от упоминаний о долгих годах, прожитых ею в надежде на возвращение своего господина, о своем одиночестве — полном теперь, когда у нее не осталось и сына. Все, о чем она умалчивала, Ланселоту было известно. Сам неуверенный и тонко чувствующий, он забыл уже, как странно

начинались их отношения. В печалях Элейны он винил теперь только себя.

И оттого, когда она обратилась к нему с пустяковой просьбой, пред тем избавив его от стольких слез и восторгов, что оставалось делать ему, как не доставить ей удовольствие? Ему еще предстояло открыть ей тщету ее покамест непоколебленных надежд. А он все откладывал. Ощущая себя палачом, осведомленным о неизбежности завтрашней казни, он пытался дать жертве сегодня хотя бы немного радости.

— Ланс, — сказала она перед самым турниром, по-детски смиренно прося его о странной услуге, — теперь, когда мы вместе, ты согласишься носить на турнире мой знак?

Теперь, когда мы вместе! И в ее интонациях он вдруг увидел отображение двадцати лет одинокой жизни и в первый раз осознал, что все это время она следила за его рыцарскими успехами, словно школьница, влюбленная в бэтсмена Хоббса. Бедняжка воображала себе его битвы — и почти наверняка воображала неверно, втайне утоляя изголодавшееся сердце полученными из вторых рук описаниями поединков, гадая, чей знак занимает сегодня почетное место. Быть может, она двадцать лет твердила себе, что настанет

день, когда великий воин выйдет сражаться с ее лентой на шлеме, — одна из тех надежд, смешных и честолюбивых, которыми насыщается несчастливая душа, лишенная достойной ее пищи.

— Я никогда не носил ничьих знаков, — сказал он со всей откровенностью.

Она не стала молить и жаловаться и честно постаралась скрыть разочарование.

— Но твой понесу, — сразу прибавил он. — И буду горд этим. Да кроме того, он поможет мне — и даже очень поможет — остаться неузнанным. Как раз потому, что это мое обыкновение ведомо всем, он станет отличнейшей маскировкой. Как ты умно это придумала! К тому же он заставит меня лучше сражаться. Каков он?

То был шитый крупным жемчугом алый рукав. За двадцать лет можно сделать хорошую вышивку.

Через две недели после Винчестерского турнира, пока Элейна еще выхаживала своего героя, возвращая его к жизни, Гвиневера устроила при дворе сцену сэру Борсу. Будучи женоненавистником, Боре всегда имел с женщинами весьма поучительные сцены. Он говорил, что думал, и они говорили, что думали, и никто из них ни капли другого не понимал.

— А, сэр Боре, — произнесла Королева, которая в спешке послала за ним, едва прослышав про алый рукав, ибо Боре был одним из ближайших сородичей Ланселота. — А, сэр Боре, слышали ли вы, как сэр Ланселот коварно меня предал?

Боре, уразумев, что Королева «от гнева едва не лишилась рассудка», густо покраснел и сказал с преувеличенной терпеливостью:

— Если и был кто предан, так это сам Ланселот. Его смертельно ранили три рыцаря сразу.

— Я рада, — крикнула Королева, — рада слышать об этом! И хорошо, если он умрет. Он коварный рыцарь-изменник!

Сэр Боре пожал плечами и поворотился к Королеве спиной, словно желая сказать, что не намерен выслушивать подобные речи. Вся спина его, пока он шагал к дверям, показывала, что именно думает он о женщинах. Королева кинулась следом, намереваясь, если придется, задержать его силой. Она не собиралась позволить ему с такой легкостью избегнуть этой сцены.

— Разве я не могу назвать его изменником, — возопила она, — если он носил во время турнира в Винчестере на своем шлеме красный рукав?

Боре, устрашась физического насилия, ответил:

— Меня и самого печалит этот рукав. Не нацепи он рукав, чтобы никто его не признал, может быть, на него и не набросились бы сразу трое.

— Тьфу на него! — воскликнула Королева. — Он получил хорошую взбучку, при всей его заносчивости и бахвальстве. Его побили в честном бою.

— Ничего подобного. На него напали трое зараз, да к тому же и старая рана его открылась.

— Тьфу на него! — повторила Королева. — Я слышала, как сэр Гавейн рассказывал перед Королем, что нет слов передать, какая любовь между ним и Элейной.

— Я не могу запретить Гавейну говорить, что ему вздумается, — горячо, отчаянно, жалостно, гневно, испуганно выпалил сэр Боре и вышел, хлопнув дверью и тем почти что сравняв счет.

А в Корбине Ланселот с Элейной держали друг дружку за рука Он бледно улыбнулся ей и слабым голосом сказал:

— Бедная Элейна. Похоже, тебе на роду написано выхаживать меня то от одной болезни, то от другой. Только полуживого тебе и удается меня получить.

— Теперь-то я получила тебя навсегда, — сияя, сказала она.

— Элейна, — произнес Ланселот, — мне нужно

с тобою поговорить.

## 40

Когда Рыцарь, Совершивший Проступок, возвратился из Корбина, Гвиневера все еще гневалась. По какой-то причине она заставила себя уверовать в то, что Элейна вновь стала его любовницей, — может быть, просто-напросто потому, что этой уверенностью она надеялась уязвить Ланселота больнее всего. Он только притворялся, будто его обуяли религиозные чувства, заявила она, — и это вполне доказывается тем, что он немедля спутался с Элейной, едва представилась такая возможность. Именно это, утверждала она, и было у него на уме все время. Он мошенник, да и мошенник-то жалкий — слабенький. Между ними происходили истерические ссоры по поводу его слабости и мошенничества, перемежавшиеся сценами более любовного рода, необходимыми в качестве противовеса той идее, что она всю свою жизнь любила мошенника. Вследствие этих ссор, Гвиневера приобрела более цветущий вид и даже вернула себе былую красоту. Но между бровей у нее обосновались две морщины, а в сверкающие, словно алмазы, глаза ее порой страшно было заглядывать. Они теряли осмысленное выражение.

Что до Элейны, то с ней вскоре все прояснилось, ибо на сей раз именно Элейна нанесла им удар — самый сильный удар в ее жизни. Впрочем, преднамеренным его назвать было нельзя: Элейна просто покончила с собой.

Похоронная барка спустилась к столице по реке, — ибо реки в ту пору были основными проезжими трактами, — и пристала под самой стеною дворца. Внутри лежала она — похожая на располневшую куропатку женщина, так и не нашедшая в жизни опоры. Человек, вероятно, совершает самоубийство от слабости, не от силы. Ее немощные потуги направить руку судьбы, завлекая своего господина с помощью жалких уловок или безмолвной участливости, оказались недостаточно убедительными для жизни, все вершащей по своему произволу. Ее покинул сын, потом возлюбленный, а больше у нее ничего не осталось. Даже обещанного возвращения слабые руки ее удержать не смогли. Некогда оно было чем-то таким, ради чего стоило жить, подпорками — не слишком роскошными, но с достаточной исправностью помогавшими ей сохранять прямую осанку. Ей удалось обойтись и такими. Не будучи ни властной, ни слишком требовательной, она сумела растянуть надолго то малое, чем

ей приходилось довольствоваться. Но теперь она лишилась и малого.

Все обитатели дворца сошли к реке, чтобы осмотреть барку. Не прекрасную деву из Астолата увидели они в ней, но пожилую женщину, чьи руки в жестких с виду перчатках послушно сжимали бусины четок. Смерть изменила ее, состарила. Суровое, серое лицо женщины в барке явно не принадлежало Элейне, удалившейся куда-то еще или просто исчезнувшей.

Кем бы ни был Ланселот, — слабовольным мужчиной, маниакальным игроком или одним из тех невыносимых созданий, что норовят всегда поступать, как подобает порядочному человеку, ему пришлось несладко. Надо полагать, что ему с его наследственной склонностью к безумию, с его фантастическим лицом, с окончательно запутавшимся клубком обязательств и моральных принципов, стоило немалых трудов поддерживать свою жизнь в равновесии и без разнообразных ударов, получаемых в придачу ко всем этим прелестям. Он смог бы вынести и эти удары, благослови его провидение заскорузлым сердцем. Но сердце у него было под стать сердцу Элейны, и теперь бремя, раздавившее ее, оказалось для него непосильным. Все, что он мог бы

сделать для несчастной женщины и что теперь делать было уже поздно, все мучительные мысли об ответственности, приходящие после того, как свершается непоправимое, все это затянулось в его сознании тугим узлом.

— Почему ты не был к ней чуть подобрее? — плача, вопрошала Королева. — Почему ты не хотел дать ей хоть какую-то малость, ради которой стоило жить? Неужели ты не мог явить ей хотя бы каплю щедрости и нежности, ведь они бы спасли ей жизнь!

Гвиневера, еще не понявшая, что Элейна встала теперь между ними куда основательнее, чем когда-либо прежде, говорила это от всей души, совершенно искренне. Ее переполняла жалость к покоившейся в барке сопернице.

## 41

А между тем жизнь в Камелоте, несмотря на самоубийство Элейны, шла по новой стезе. Особенно счастливой никто бы ее не назвал, но людям так или иначе свойственно цепляться за жизнь, желать, чтобы она продолжалась. Нельзя сказать, что в этой новой жизни присутствовала единая фабула, она состояла скорей из рассказиков, как-то все шло одно за другим, образуя цепь вовсе не отмеченных необходимостью событий. Один из таких анекдотов, происшедших как раз в то время, заслуживает упоминания — не потому, что из него что-либо проистекло или что-то ему предшествовало, нет, просто именно такого рода казусы и случались с Ланселотом. Да и реагировал он на них довольно своеобразно.

Как-то раз он лежал ничком в лесу, предаваясь никому не ведомым печальным размышлениям, как вдруг невдалеке от него появилась дама-охотница, вооруженная луком. Нигде не сказано, была ли она дамой мужеподобной разновидности, при усах и мужском галстуке, или просто девицей без царя в голове, представительницей киношного мира, взявшей в руки лук лишь для того, чтобы

выглядеть пошикарнее. Как бы то ни было, она увидела Ланселота и приняла его за кролика. Все же по здравом размышлении ее, пожалуй, следует причислить к мужеподобным дамам, ибо, — хотя способность подстрелить по ошибке мужчину вместо кролика и свидетельствует о многом, — кинозвезде все-таки навряд ли удалось бы попасть в цель. Ланселот, вскочивший на ноги (стрела почти на шесть дюймов вошла в его ягодицу), повел себя в точности, как полковник Боуги, загнанный в гольфе на вторую отметку. Он с немалым пылом сказал: «О дама, или девица, кто бы вы ни были, в недобрый час взяли вы в руки этот лук. Дьявол научил вас стрелять!»

Тем не менее Ланселот, даже с раной пониже спины, отправился сражаться на следующий турнир — немаловажный вследствие того, что на нем приключилось. Напряжение, всерьез охватившее двор и явственное для всякого, за исключением Ланселота, слишком невинного, чтобы осознавать подобные вещи, совершенно определенным образом начало проявляться на турнире близ Вестминстера. Прежде всего, Артур заявил на нем о своем отношении к несчастному треугольнику, в котором состоял. Он сделал это,

бедняга, неожиданно встав в grand melee[13] на сторону, противную той, за которую выступал Ланселот. Он ополчился против своего лучшего друга и попытался причинить ему ущерб, и весьма распалился при этом. Ничего противного рыцарству он не совершил и в конечном итоге ничем не повредил Ланселоту. Но странный выверт его чувств, тем не менее, остается фактом. До и после того они оставались друзьями. И однако же один яростный миг Артур пробыл рогоносцем, а Ланселот — изменником. Таково поверхностное объяснение — но не исключено, что в поступке Артура присутствовала и совсем иная, потаенная мысль. Давно прошло то время, когда Артур был счастливым мальчишкой Вартом, давно уже дом его и королевство миновали суженный им пик удачи. Быть может, Артур устал бороться, устал от Оркнейской клики, от удивительных новых мод, от сложностей любви и новейшего правосудия. Он мог сражаться с Ланселотом в надежде, что тот убьет его, — даже и не в надежде, ибо сознательной попытки тут не было. Этот прямой, благородный и добросердый человек мог подсознательно постичь, что единственным

---

**[13] notes: 13**
Общая стычка (фр.)

выходом из положения, в которое попал и он, и два любимых им человека, должна стать его, Артура, смерть, после которой Ланселот сможет жениться на Королеве и примириться с Богом, — и оттого, быть может, он предоставил Ланселоту возможность убить себя в честном бою, что руки у него опустились. Быть может, и так. Во всяком случае, ничего из этого не вышло. Вспышка раздражения — и любовь их расцвела заново.

Другая важная особенность турнира состояла в том, что Ланселот в блаженной невинности наконец противопоставил себя Оркнейцам раз и навсегда. Он спешил весь клан за исключением Гарета, одного рыцаря за другим, а Мордреда с Агравейном сбросил с коня даже дважды. Только святому могло хватить глупости столь часто спасать этих рыцарей от погибели, выручая их из разного рода Башен Слез и подобных этому мест, но повышибать из них дух в качестве апофеоза, да еще выбрав столь неудачное время, это уже граничило со слабоумием. Гавейн, отдадим ему должное, был человеком достаточно порядочным, чтобы не принимать участия в заговорах, умышляющих против жизни Ланселота, что до Гахериса, то он был попросту глуп. Однако со дня турнира посягательство фешенебельной партии

Мордреда и Агравейна на жизнь главнокомандующего стало всего лишь вопросом времени.

Третье свидетельство того, куда подул теперь ветер, явил Гарет, выступивший под Вестминстером на стороне Ланселота. Это странное скрещение чувств — Король против своего второго «я», Гарет против собственных братьев, — не миновало ничьего внимания. Все понимали, что подобное проявление подспудной напряженности чревато грозой. И гроза пришла — как водится, с такой стороны, откуда никто ее и не чаял.

Жил на свете один рыцарь, из самых затрапезных, по прозванию сэр Мелиагранс, которому при дворе ни в чем не было счастья. Приведись ему жить в более ранние времена, когда о мужчине судили по его мужским достоинствам, он вполне бы мог преуспеть. К несчастью, он принадлежал к более позднему поколению, Мордредова покроя, и судили о нем уже по новым стандартам. Всякому было ведомо, что сэр Мелиагранс невысокого полета птица. Он это тоже сознавал — хотя сама классификация по высоте полета была выдумана Мордредом — и не испытывал в оной связи особого счастья. Кроме всего прочего, у сэра Мелиагранса имелась особая причина чув-

ствовать себя в обществе несчастным. Сколько он себя помнил, он был отчаянно и безнадежно влюблен в Гвиневеру.

Новость пришла, когда Артур с Ланселотом прогуливались по аллее для игры в шар. У них сложилось обыкновение каждый день встречаться в этом далеко не людном месте, чтобы насладиться недолгой беседой.

Артур как раз говорил:

— Нет, Ланс, нет. Ты никогда не понимал беднягу Тристрама.

— Да проходимец он был, только и всего, — упрямо повторил Ланселот.

Они говорили о Тристраме в прошедшем времени, поскольку отчаявшийся Король Марк убил-таки его, пока тот играл на арфе у ног Изольды Прекрасной.

— Пусть он даже и умер, — добавил рыцарь. Однако Король энергично потряс головой.

— Не проходимец, — сказал он, — буффон, один из величайших комических персонажей. Он вечно влипал в нелепейшие истории.

— Буффон?

— Рассеянный простофиля, — сказал Король. — Именно это и делало его столь комичным. Да ты вспомни хотя бы его романы.

— Это ты об Изольде Белорукой, что ли?

— Я совершенно уверен, что Тристрам попросту перепутал двух женщин. Он помешался на Изольде Прекрасной, а потом взял да и забыл о ней — напрочь. И вот в один прекрасный день ложится он в постель с другой Изольдой и вдруг что-то такое в этой процедуре напоминает ему о чем-то совсем ином. Его осеняет вдруг, что Изольда-то не одна, их две, — и он приходит в страшное расстройство. Что же это я лезу в постель к Изольде Белорукой, говорит он себе, когда всю свою жизнь я любил Изольду Прекрасную! Ну, как тут не расстроиться? А Королева Ирландии, которая едва его не прикончила в ванне? На этом молодом человеке лежал отсвет высокой комедии, так что ты уж прости его, пусть даже он и был проходимцем.

— Я... — начал Ланселот, и в этот миг появился вестник.

Им был запыхавшийся мальчишка в рассеченном стрелою под правой подмышкой коротком кафтане. Он сжимал прореху пальцами и говорил, захлебываясь.

Речь шла о Королеве, отправившейся поутру майским праздничным поездом по лугам и лесам, ибо дело происходило первого мая. Она выехала

рано, как того требовал обычай, намереваясь вернуться к десяти часам с росистыми первоцветами, фиалками, цветками боярышника и ветвями в зеленых почках, какие полагалось сбирать в это утро. Всю свою охрану — Рыцарей Королевы, носивших в качестве знака отличия белые щиты, — она оставила дома, взяв с собою лишь десяток рыцарей, одетых в партикулярное платье. Они облачились в зеленое, дабы справить тем самым праздник весны. Среди них находился и Агравейн, недавно пристроившийся к Королеве на службу, чтобы шпионить за ней, — Ланселота же намеренно с собою не взяли.

Ну так вот, они уже весело скакали домой, в цветах и ветках, когда наперерез им выскочил из засады сэр Мелиагранс. Все эти разборы полетов давили ему на психику, и в конце концов он счел, что вправе вести себя не по-джентльменски, раз его все равно джентльменом никто не считает. Он знал, что Королева выехала в сопровождении невооруженных рыцарей и что Ланселота среди них нет. И он, собрав изрядное количество лучников и рыцарей вооруженных, решил захватить ее.

Произошла стычка. Рыцари Королевы защищали ее мечами и кинжалами, как только могли,

пока все не получили ранения, шестеро — серьезные. В конце концов, Гвиневера, дабы спасти их жизни, сдалась. Она поставила сэру Мелиагрансу — которому так и не хватило духу повести себя настоящим мерзавцем — условие, что если она отзовет своих рыцарей, то он обязуется отвезти раненых к себе в замок и уложит их на ночь в преддверии ее спальни. Влюбленный Мелиагранс, которого и так уже били корчи от собственного нерешительного лиходейства, понимая, сколь безнадежно пытаться силой принудить возлюбленную к чему бы то ни было, условия принял. Бедняга не годился на злодейские роли.

Пока раненых суетливо укладывали поперек седел, приготовляясь к печальному шествию, Королева, сохранившая трезвую голову, поманила к себе отрока-пажа, сидевшего верхом на свежем и быстроногом пони, и тайком поручила ему кольцо, а с ним — словесное известие для Ланселота. Улучив удобную минуту, отрок помчался прочь с такой прытью, как если бы от нее зависело спасение его жизни, — как оно, впрочем, и было, ибо в погоню за ним пустились лучники. Вот оно, это кольцо.

Ланселот, едва дослушав рассказ до середины,

закричал, требуя, чтобы подавали доспехи. К концу рассказа Артур стоял перед рыцарем на коленях, пристегивая ему наголенники.

## 42

Когда верховые лучники воротились и удрученно сообщили, что мальчишку им подстрелить не удалось, сэр Мелиагранс понял, что его ожидает в ближайшем будущем. Он проникся горестными сожалениями, и не только от сознания, что повел он себя и неразумно, и пакостно, но и по причине его неподдельной любви к Гвиневере. Однако кое-какой задор в нем еще оставался, и он понимал, что, зашедши так далеко, отступать уже не приходится. Ланселот несомненно заявится сюда, как только ушей его достигнут известия о случившемся, стало быть, необходимо выиграть время. Замок сэра Мелиагранса не был подготовлен к осаде, но если подготовить его удастся, то появится основательная надежда на заключение сделки с осаждающими, тем более что Королева-то будет внутри. Следовательно, Ланселота надлежит задержать любой ценой, пока замок не станет пригодным для обороны. Сэр Мелиагранс правильно догадался, что Ланселот очертя голову кинется спасать Королеву, едва ему удастся влезть в доспехи. Наилучший же способ задержать его — это устроить еще одну засаду,

на узкой лесной прочисти, которой Ланселот не минует, столь узкой, что лучникам наверняка удастся убить под ним коня, если не пробить его латы. Еще со Смутных Времен разного рода заросли вырубались по обеим сторонам всякой проезжей дороги на расстояние полета стрелы, но эту просеку вследствие некоторых особенностей местности проглядели. А умело пущенная стрела способна, как было известно сэру Мелиагрансу, даже одолев порядочное расстояние, пробить любые доспехи.

Итак, назначенный в засаду отряд спешно покинул замок, а в самом замке поднялась невиданная суматоха. Пастухи сгоняли скотину внутрь цитадели, а скотина либо норовила сбежать, либо лезла не в свое стадо, либо упрямилась и в ворота не шла. Мальчишки-водоносы бегом натаскивали воду в огромные кадки — замок принадлежал к дурацкой разновидности, происхождением своим обязанной как будто Ирландии: во внутреннем дворе его колодец отсутствовал. Служанки метались взад и вперед в состоянии близком к истерике, ибо сэр Мелиагранс, как это и вообще свойственно людям, залетевшим чересчур высоко, вознамерился так принять плененную им Королеву, чтобы уж никто и ни в чем

не смог его упрекнуть. Горничные приготовляли для нее будуар, перетаскивали туда гобелены из его холостяцкой спальни, надраивали серебро и бегали по ближайшим соседям, занимая золотую посуду. Сама Гвиневера, затиснутая, пока для нее готовились официальные покои, в маленькую гостиную, еще усугубляла суматоху, требуя для раненых рыцарей повязок, горячей воды и носилок. Сэр Мелиагранс, носившийся вверх и вниз по лестницам с криками «Да, мадам, сей минут, мадам!» или «Мэриан, Мэриан, куда ты, черт дери, засунула свечи?», или «Мэрдок, чтоб через минуту ни одного барана в башне не было!», находил еще время прижиматься лбом к холодным камням амбразуры, хвататься за сбившееся с толку сердце, проклинать свою дурость и еще пуще запутывать свои и без того уже путаные помыслы.

Раньше всех порядок в своих делах навела Королева. Ей, собственно, и нужно-то было только раненых перевязать, к тому же ее притязания удовлетворялись в первую голову. Она присела с прислужницами к одному из замковых окон, являя собою зрелище безбурной сердцевины бушующего смерча. Вдруг одна из девушек воскликнула, что внизу что-то движется по дороге.

— Это телега, — сказала Королева. — Скорее всего, из тех, что доставляют в замок провизию.

— Там на телеге рыцарь, — сказала девица, — рыцарь в доспехах. Наверное, его увозят, чтобы повесить.

В те дни езда на телеге почиталась позорной.

Немного погодя они разглядели коня, скакавшего крупным галопом вслед за телегой, поводья его волочились по пыльной дороге. Спустя еще недолгое время они с ужасом поняли, что и внутренности коня тоже метут дорожную пыль. Конь был весь утыкан стрелами, превратившими его в подобие дикобраза, но вид имел до странного беззаботный — вероятно, шок оглушил его. Это был конь Ланселота, а в телеге сидел Ланселот и лупил кобылу ножнами. Он, как и ожидалось, попал в засаду, потратил какое-то время, пытаясь свести счеты с нападающими, — которые с легкостью удирали от закованного в тяжкий металл пешего воина, прыгая через плетни и канавы, — а затем решил проделать остаток пути пешком. Мелиагранс, собственно, и рассчитывал на невозможность такого похода для человека, несущего на себе снаряжение, которое весит столько же, сколько сам человек, однако он не принял в расчет телегу, которую сумел захватить

Ланселот. Степень тревоги за судьбу Королевы, охватившей на этот раз великого воина, можно оценить по тому, что в самом начале пути он, как рассказывают, заставил коня переплыть Темзу от Вестминстерского моста до Лэмбита, невзирая на то что при неудаче доспехи наверняка увлекли бы его на дно.

— Как ты посмела сказать, что этот рыцарь будет повешен? — воскликнула Королева. — Дерзкая ты девчонка! Как осмелилась ты сравнить сэра Ланселота с каким-то злодеем?

Бедная девушка покраснела и прикусила язык, а Ланселот уже швырнул вожжи оцепеневшему от ужаса возчику и ринулся по подъемному мосту, крича что есть мочи.

Сэр Мелиагранс узнал о его появлении как раз в ту минуту, когда Ланселот прорывался сквозь Главные Ворота. Ошалелый привратник попытался захлопнуть их перед его носом, но получил железным кулаком в ухо и мирно вытянулся на земле. Ланселотом владел один из редких у него приступов ярости, — быть может, вызванный страданиями его коня.

Мелиагранс, наблюдавший, как несколько его воинов ломают в Большом Дворе деревянные навесы, дабы не позволить разгуляться Греческому

Огню, буде его используют при осаде, окончательно пал духом. Он опрометью взлетел по лестнице, и пока Ланселот еще стоял у будки привратника и яростно требовал выдать ему Королеву, Мелиагранс уже рухнул к ее ногам.

— Что это с вами вдруг? — спросила Гвиневера, глядя на удивительного вульгарного человечка, простертого перед нею, — глядя, как это ни странно, не без благосклонности. Что ни говори, а похищение во имя любви следует счесть комплиментом, особенно когда все кончается хорошо.

— Я сдаюсь, сдаюсь! — возопил сэр Мелиагранс. — О, я сдаюсь вам, драгоценная Королева. Спасите меня от этого сэра Ланселота!

Гвиневера выглядела ослепительно прекрасной. Тому мог быть причиной и месяц май, и комплимент, полученный от неотесанного рыцаря, и некое предчувствие — из тех, что посещают женщин в преддверии радости. Во всяком случае, она испытывала счастье и не желала похитителю зла.

— Ну и прекрасно, — сказала она с веселой рассудительностью. — Чем меньше эта история вызовет шума, тем лучше для моей репутации. Я постараюсь успокоить сэра Ланселота.

Сэр Мелиагранс даже присвистнул, так глубоко

он вздохнул от облегчения.

— Вот это верно, — сказал он. — Этот старый петух, — гм-гм! Прошу пардону, оговорился! Не будет ли угодно Вашему милостивому Величеству после того, как вы распорядитесь и усмирите сэра Ланселота, провести ночь в Замке Мелиагранс во благо ваших раненых рыцарей?

— Пока не знаю, — сказала Королева.

— Вы все сможете отбыть завтра, — настаивал сэр Мелиагранс, — тогда и говорить будет не о чем. Вы тогда скажете, что гостили у меня.

— Ну ладно, — сказала Королева и, пока сэр Мелиагранс утирал мокрый лоб, спустилась к Ланселоту.

Он стоял посреди внутреннего двора, выкликая врага. Стоило Гвиневере увидеть его, стоило ему увидеть ее, как давний электрический разряд пронесся из глаз в глаза, не успели они и слова сказать. Словно и не было никогда ни Элейны, ни Поисков Святого Грааля. Насколько мы в состоянии это понять, в тот миг она примирилась со своим поражением. И видимо, он прочел у нее в глазах, что она уступает ему, что она готова позволить ему быть таким, каков он есть, — любить своего Бога и делать все, что ему заблагорассудится, — пусть только останется Ланселотом. Мир

и душевное здравие снова вернулись к ней. Она отреклась от безумных посягательств собственницы и удовольствовалась радостью видеть его живым, чего бы он ни наделал. Они вновь были юными существами — теми двумя, чьи глаза столько лет назад встретились в сумрачной зале Камелота, едва не породив щелчка, с каким смыкаются два магнита. И сдавшись ему без остатка, она, не чая того, выиграла свою битву.

— О чем столько шуму, сэр Ланселот? — спросила Королева.

Они беседовали легким, насмешливым тоном. Ими снова владела любовь.

— Вам ли об этом спрашивать?

И вновь разгорячась, он добавил чуть более гневно:

— Он убил моего коня.

— Спасибо, что приехали, — произнесла Королева. Голос ее был нежен. Таким Ланселот помнил его в самом начале. — Спасибо, что прискакали столь скоро и столь отважно. Но рыцарь этот мне сдался, и нам должно его простить.

— Позор ему за то, что он убил моего коня.

— Мы с ним уже примирились.

— Знай я, что вы намерены с ним примириться, — с некоторой ревностью произнес

Ланселот, — я бы не стал загонять себя едва ли не до смерти, поспешая на помощь.

Королева сжала его ладонь. Он уже стянул рукавицу.

— Вы раскаиваетесь в своем добром деле? — спросила она.

Ланселот молчал.

— Он мне безразличен, — произнесла Королева, краснея. — Я лишь подумала, что будет лучше, если мы избежим скандала.

— Я желаю скандала не более вашего.

— Вы вольны поступить, как вам угодно, — сказала Королева. — Хотите, сразитесь с ним. Выбор только за вами.

Ланселот смотрел на нее.

— Госпожа, — произнес он, — были бы только вы довольны, а о прочем я и не думаю. Что до меня, то меня удоволить нетрудно.

Пышные обороты Высокого языка проступали в его речах всякий раз, что ему случалось растрогаться.

## 43

В комнате снаружи лежали на носилках раненые рыцари. Во внутреннем покое, где спала Гвиневера, имелось окно, забранное железной решеткой. Стекло в нем отсутствовало.

Ланселот приметил в саду лестницу, достаточно длинную для его целей, и хоть они ни о чем не сговаривались, Королева ожидала его. Увидев в окне морщинистое лицо и любопытный нос, притиснутый к прутьям решетки, она не приняла его ни за демона, ни за горгулью. Сердце ее стукнуло несколько раз, пока она стояла у ложа, чувствуя, как бурно кровь приливает к шее, а затем Королева, молча — с молчанием сообщницы — подошла к окну.

Никто не знает, что сказали они тогда. Мэлори говорит, что они «беседовали о многих вещах, поверяя друг дружке свои печали». Возможно, они согласились, что нельзя любить Артура и при этом обманывать его. Возможно, Ланселот сумел, наконец, заставить ее понять свое отношение к Богу, а она сумела заставить Ланселота понять, как тяжела бездетность. Возможно, они вполне согласились в том, что с их преступной любовью

покончено.

В конце концов сэр Ланселот прошептал:

— Я хотел бы оказаться внутри.

— Я была бы лишь рада.

— Вы всем сердцем желаете, госпожа моя, чтобы я был сейчас с вами?

— Да, воистину.

Последний из прутьев решетки, когда его выламывали, рассек Ланселоту мякоть ладони до самой кости.

Чуть позже шепот затих, и в темной комнате наступило молчание.

На следующее утро Королева Гвиневера надолго задержалась в постели. Сэр Мелиагранс, коему не терпелось сколь можно быстрее и безопаснее покончить со всем этим делом, копошился в преддверии спальни, желая, чтобы она поскорее вышла. Ему прежде всего страх как не хотелось длить свои муки, задерживая Королеву у себя в доме и не имея возможности ею обладать.

Наконец он не выдержал и — отчасти чтобы поторопить ее, отчасти же из неукротимого любопытства, свойственного влюбленным, вошел в спальню, намереваясь ее разбудить, что было вполне допустимым в ту пору, пору церемониальных пробуждений.

— Прошу прощения, — сказал сэр Мелиагранс, — что это с вами, госпожа, что вы так долго спите?

Он все поглядывал краем глаза на лежащую в постели недостижимую красавицу, притворяясь, однако, что совсем и не смотрит. Кровь из рассеченной руки Ланселота запятнала и подушки, и простыни, и одеяла.

— Изменница! — возопил вдруг сэр Мелиагранс. — Изменница! Вы изменница Королю Артуру!

Уверясь, что он обманут, сэр Мелиагранс потерял голову от гнева и ревности. Поскольку собственная его затея ему же и вышла боком, он счел Королеву образцом чистоты, а себя, желавшего ею овладеть, — кругом неправым. Теперь же он вдруг убедился, что все это время она надувала его, лишь изображая даму, чересчур добродетельную, чтобы его полюбить, и между тем развлекаясь у него же под носом со своими ранеными рыцарями. Ему втемяшилось в голову, что кровь принадлежит кому-то из раненых рыцарей — иначе с чего бы она настояла, чтобы их расположили под дверью спальни? К гневу его примешивалась самая дикая зависть. Оконной решетки, восстановленной на скорую руку, он

даже и не заметил.

— Изменница! Изменница! Я обвиняю вас в государственной измене!

Завывания сэра Мелиагранса собрали к дверям спальни кое-как ковыляющих раненых рыцарей (смятение уже пошло гулять по замку), камеристок, служанок, пажей, мальчишек-истопников, пару грумов — всех привлекли звуки скандала.

— Все они изменники, — кричал сэр Мелиагранс, — все или некоторые. Здесь побывал раненый рыцарь.

Гвиневера ответила: — Это ложь. И все они мне в том свидетели.

— Ты клевещешь на госпожу нашу! — закричали рыцари. — Выбери из нас, кого пожелаешь. Мы сразимся с тобой.

— Ну нет! — взвыл сэр Мелиагранс. — Ни к чему все ваши надменные речи! С Ее Величеством возлежал раненый рыцарь.

Он еще продолжал указывать на пятна крови, бывшие, безусловно, серьезной уликой, когда среди присмиревших Рыцарей Королевы появился сэр Ланселот. Никто и не заметил, что рука его в перчатке.

— Что тут случилось? — спросил Ланселот.

Мелиагранс, размахивая руками, принялся

объяснять ему, что случилось: при виде нового слушателя его вновь обуяло волнение.

Ланселот холодно произнес:

— Могу ли я напомнить вам о вашем собственном поведении в отношении Королевы?

— Я не ведаю, о чем вы говорите. Мне это все равно. Я знаю только, что прошлой ночью в этой комнате был рыцарь.

— Остерегайтесь говорить так.

Ланселот глядел на него сурово, пытаясь предупредить его и образумить. Оба они знали, что подобное обвинение должно будет завершиться судебным поединком, и Ланселоту хотелось заставить Мелиагранса понять, с кем ему придется сражаться. В конце концов сэр Мелиагранс это понял. И взглянул на Ланселота с нежданным достоинством.

— Будьте и вы осмотрительнее, сэр Ланселот, — тихо сказал он. — Я понимаю, что вы лучший из рыцарей мира, но и вам не следует биться за неправое дело, ибо Бог рано или поздно может поразить вас, сэр Ланселот, блюдя справедливость.

Истинный любовник Королевы стиснул зубы.

— Это нам надлежит предоставить Господу, — сказал он.

И добавил с откровенной угрозой:

— Что до меня, то я открыто утверждаю, что ни одного из этих раненых рыцарей не было в комнате Королевы. И ежели вы готовы биться за ваши слова, я буду сражаться с вами.

В конечном счете Ланселоту трижды пришлось сражаться, дабы спасти Королеву: в первый раз с сэром Мадором, и то было правое дело, во второй — с сэром Мелиагрансом, из-за этой вот довольно сомнительной игры слов, а в третий раз — будучи уже совершенно неправым, — и каждый бой все ближе подводил их к погибели.

Сэр Мелиагранс бросил перчатку. Уверовав в истинность своего обвинения, он почувствовал приступ упрямства, нередкий у человека, ввязавшегося в бурный спор. Он изготовился скорей умереть, чем отступиться от своего. Ланселот перчатку принял — что ему еще оставалось? Все с охотою занялись мелочами, сопровождающими всякий вызов: запечатывали малыми печатками обязательства сторон, обговаривали день поединка — ну, и так далее. Сэр Мелиагранс становился все тише и тише. Теперь, когда машина правосудия поглотила его, у него появилось время для размышлений, и размышления эти, как водится, повели его совсем в противоположную сторону. Он не был человеком последовательным.

— Сэр Ланселот, — сказал он, — раз уж мы решили с вами биться, вы ведь не станете до срока злоумышлять против меня?

— Разумеется, не стану.

Ланселот поглядел на него с искренним изумлением. Сердце Ланселота походило на сердце Артура. Он вечно попадал в неприятное положение — как, например, когда под Вестминстером спешил Оркнейцев, — из-за того, что недооценивал царящее в мире коварство.

— Значит, до боя мы будем друзьями?

Старый воин ощутил давным-давно ставший привычным укол стыда. Придется вот драться с человеком, сказавшим почти что правду.

— Да, — пылко промолвил он, — друзьями! Раскаяние его все росло, и он подошел к Мелиагрансу поближе.

— Так давайте пока помиримся, — довольным тоном сказал сэр Мелиагранс. — Без задних мыслей. Не пожелаете ли осмотреть мой замок?

— С доброй охотою.

Мелиагранс повел его по замку, из комнаты в комнату, пока не дошли они до покоя с потайным люком в полу. Доска перевернулась, ловушка открылась. Ланселот пролетел шесть футов и приземлился в темнице на кучу соломы. Затем

Мелиагранс распорядился скрытно увести одного из коней и вернулся к Королеве с известием, что заступник ее поскакал вперед. Хорошо всем ведомое обыкновение Ланселота вдруг ни с того ни с сего уезжать, никому не сказавшись, добавило правдоподобия россказням Мелиагранса. Мелиагрансу же предпринятые им меры представлялись наилучшей порукой того, что Бог не предпочтет в поединке неправую сторону, — ибо и в его принципах воцарилась совершенная неразбериха.

# 44

Второй судебный поединок стал столь же сенсационным, как поединок с сэром Мадором. Прежде всего Ланселот объявился в последний миг, когда времени до начала оставалось еще меньше, чем в первый раз. Его ждали до последнего и уж совсем отчаялись, и уговорили биться вместо него сэра Лавейна. Сэр Лавейн как раз выезжал на ристалище, когда великий человек прискакал что есть духу на белом коне, принадлежавшем Мелиагрансу. До самого этого утра он все сидел в темнице, пока девица, доставлявшая ему пищу, не согласилась, воспользовавшись отсутствием хозяина, освободить его в обмен на поцелуй. Ланселоту пришлось побороть кое-какие серьезные сомнения в допустимости оного поцелуя, но в конце концов он счел его все же оправданным.

Мелиагранс рухнул наземь при первом же выпаде Ланселота и вставать отказался.

— Сдаюсь, — сказал он. — Мое дело пропащее.

— Вставай. Вставай, ты еще и не бился.

— И не буду, — сказал сэр Мелиагранс. Ланселот стоял над ним, терзаясь сомнениями. Он задолжал Мелиагрансу выволочку за историю с конем,

и еще одну за предательский трюк с ловушкой. Но он сознавал, что обвинения этого человека, в сущности, справедливы, и мысль о том, что придется его убить, Ланселоту была не мила.

— Пощады, — сказал сэр Мелиагранс. Ланселот скосил глаза к помосту, на котором под охраной людей Констебля сидела Королева. Этого вопрошающего взгляда увидеть никто не мог по причине глухого шлема.

Однако Гвиневера его увидела — или почуяла сердцем. Она повернула ладонь большим пальцем вниз и украдкой проделала над краем ограждения несколько как бы колющих движений. Мелиагранс, полагала она, слишком опасен, чтобы оставаться живым.

Полная тишина висела над ареной, ибо все затаили дыхание и ждали, наклонившись вперед и вперясь в бойцов, уподобясь собравшимся в круг стервятникам, чья добыча еще не издохла. Подобно толпе в римском амфитеатре или на испанском бое быков, все ожидали, когда будет нанесен coup de grace[14], а в том, что Ланселот нанесет его, не сомневался никто. По общему разумению, обвинение Мелиагранса было гораздо

---

**[14] notes: 14**
Губительный удар (фр.)

серьезнее наветов Мадора, и все, как и Гвиневера, считали, что он заслуживает смерти. Ибо в те дни любовью правили иные условности, не схожие с нашими. Любовь в ту пору была рыцарственной, зрелой, долгой, религиозной, почти платонической — делом слишком серьезным для легковесных наветов. Это мы теперь попривыкли, что любовь может начаться и кончиться в течение длинного уикенда.

Ланселот в нерешительности постоял над врагом, и затем до зрителей долетел его голос, приглушенный шлемом. Он сделал врагу предложение.

— Если вы встанете, — говорил он, — и сразитесь со мной, как должно, не на жизнь, а на смерть, я дам вам преимущество. Я сниму шлем и уберу все доспехи с левой стороны тела, и я стану биться без щита, и левую руку велю привязать у меня за спиной. Это сравняет нас, верно? Так что же, встанете вы и сразитесь со мной на этих условиях?

Раздался высокий, истерический визг, и все увидали, как сэр Мелиагранс, диковато жестикулируя, ползет к Королевской ложе.

— Не забудьте, что он сказал! — причитал Мелиагранс. — Все слышали! Я принимаю его

условия. Не позволяйте ему от них отказаться. Никаких доспехов слева, ни щита, ни шлема, и левую руку привязать за спиной. Все слышали! Все!

Король крикнул: «Быть по сему!». Рыцари и герольды сошли на ристалище, и Мелиагранс притих. Всякому было стыдно за него. В неодобрительном молчании, пока Мелиагранс продолжал бубнить, требуя соблюденья условий, руки воинов неохотно разоружили сэра Ланселота и связали его. Им казалось, будто они помогают при казни человека, которого любят, ибо предложенное преимущество было слишком серьезным. Связав Ланселота и вручив ему меч, они похлопали его по спине, — подталкивая его этими грубыми хлопками вперед, к Мелиагрансу, — и отвернулись.

Что-то блеснуло на покрытом песком ристалище, словно лосось выпрыгнул из воды у запруды. Это Ланселот, вызывая удар, подставил противнику обнаженный бок. И едва противник ударил, послышался щелчок вроде тех, с какими меняются изображения в калейдоскопе, — Ланселот сменил позицию. За ударом Мелиагранса последовал удар Ланселота.

Сэра Мелиагранса уволокли с поля, привязав

его к лошади. Шлем и голова его были расколоты надвое.

## 45

Ну что же, повесть о том, как чужеземец из Бенвика похитил сердце Королевы Гвиневеры, как он оставил ее ради своего Бога и как потом воротился к ней, вопреки поставленному перед собою запрету, — повесть эта получилась у нас долгой. Это повесть о любви прежних времен, когда зрелые люди любили верно, — не история нынешних дней, когда подростки следуют низменным спазмам кинематографа. Люди, о которых мы рассказали, четверть века боролись, пытаясь понять друг друга, и ныне в их жизни наступила пора, подобная бабьему лету. Ланселот пожертвовал для Гвиневеры своим Богом, она же в ответ вручила ему свободу. Элейна, так и оставшаяся не более чем случайной участницей их неурядиц, достигла назначенного ей покоя. Да и участь Артура, чей угол в их треугольнике был с общепринятой точки зрения не самым счастливым, нельзя было счесть совсем уже жалкой. Мерлин ведь и не предназначал его для личного счастья. Артур был создан для царственных радостей, для счастья нации. Последнее же ко времени, когда наступил для наших героев закат,

было вполне восстановлено двумя прославленными победами Ланселота. Модные поветрия, современность и порча, поразившая самое сердце Стола, канули в небытие, и великая идея Артура снова пришла в движение. Артур создавал Закон как Силу и Власть. Да и для личных сожалений причин у Артура не было. От терзаний Ланселота и Гвиневеры он намеренно стоял в стороне, подсознательно доверяя этим двоим, как людям, которые не станут предъявлять его сознанию свои печали, — и подвигал его на это не страх, не безвольное попустительство, но благороднейшие из побуждений. Ибо в руках Короля была власть. Он пребывал в положении мужа, которому довольно было отдать один лишь приказ, чтобы решить задачу о вечном треугольнике, послав их обоих на костер или плаху. Жизнь его жены, как и жизнь ее возлюбленного, зависела от его милосердия, — и именно по этой причине, а вовсе не из трусости, благородное сердце его предпочитало оставаться в неведении.

Бабье лето лежало перед ними, протяни только руку; пересуды умолкли, наглецы получили урок смирения. Оркнейской партии оставалось только роптать — еле слышным, как бы подземным ропотом. В скрипториумах аббатств, в замках ве-

ликих баронов безвредные авторы писали строка за строкою Требники и Трактаты о Рыцарстве, а миниатюристы расцвечивали в них заглавные буквы и старательно выписывали эмблемы в гербах. Золотых и серебряных дел мастера выстукивали молоточками золотые пластины. Изгибая золотую проволоку, они сплетали на епископских посохах узоры невиданной сложности. Миловидные дамы держали домашних воробьев и дроздов или прилагали неистовые усилия, стараясь обучить ручных сорок говорить. Запасливые хозяйки заполняли свои буфеты патокой, почитавшейся добрым средством от дурного дыхания, домодельными пластырями, называемыми Flos Ung-uentorum[15], весьма полезными при ревматических болях, и мускусными шариками ради приятности их аромата. Также запасались они и к великому посту, покупая финики и пряники с миндалем, и селедок ценой по четыре шиллинга шесть пенсов за телегу. Ястребники и сокольники взаимно поносили птиц друг друга, вкладывая в это занятие всю душу. В новых судебных палатах — ибо с Сильной Рукой было покончено — законники, трудолюбивые, будто пчелы,

**[15] notes: 15**
Бальзамический цвет (лат.)

строчили судебные предписания касательно виндикационного иска, вручения копии иска противной стороне, корыстной поддержки одной из тяжущихся сторон, лишения гражданских и имущественных прав, лорд-канцлерского суда, наложения ареста на имущество в обеспечение долга, нарушения права владения, неотлагаемых взысканий, неправомочности сделки, списывания имущества за долги, подкупа присяжных и судей, покрытия взыскуемого из имущества ответчика, права проезда по чужой земле, уплаты местных податей, юрисдикции выездной сессии, Quorum bonorum[16], Sic et non[17], Pro et contra[18], Jus primae noctis[19] и Questio quid juris[20]? Воров, правда, вешали за кражу товара ценой в один шиллинг, ибо кодификация правосудия оставалась еще запутанной и слабой, — но и это было не так ужасно, как звучит, если вспомнить, что

---

**[16] notes: 16**
Доля имущества (лат.)

**[17] notes: 17**
Да и нет (лат.)

**[18] notes: 18**
За и против (лат.)

**[19] notes: 19**
Право первой ночи (лат.)

**[20] notes: 20**
У кого есть вопросы к суду? (лат.)

на один шиллинг можно было купить двух гусей, или четыре галлона вина, или двадцать восемь буханок хлеба, — а столько еще не всякий вор смог бы и унести. По сельским лужайкам парами брели на закат влюбленные простолюдины, не отличавшиеся особым добронравием, брели, обвив друг дружку руками за талии и напоминая сзади заглавную Х.

Мир воцарился в Артуровой Стране Волшебства, и все радости мира лежали пред Ланселотом и Гвиневерой. Но у фигуры, углами которой они состояли, оставалось все же четыре угла.

Бог был тотемом Ланселота. Он был еще одним участником пожизненной их борьбы, и теперь Он, наконец, выбрал минуту, чтобы заступить им дорогу. Мальчик, когда-то смотревшийся в шлем, мальчик, которому снился источник с водой, вечно ускользавшей от его уст, лелеял честолюбивые помыслы: сотворить какое-нибудь несложное чудо. Он содеял подобие чуда, когда извлек Элейну из кипятка, будучи лучшим рыцарем мира, — еще перед тем, как Элейна той страшной ночью заманила его в западню, заставив нарушить запрет. Четверть века он вспоминал о ночи своей печали, и эти воспоминания сопровождали его во всех поисках Грааля. До нее он почитал себя

человеком, служащим Богу. После нее он обратился в мошенника. И наконец приспело время, когда надлежало взглянуть своей судьбе в глаза.

Был один рыцарь из Венгрии по имени сэр Уррий, семь лет назад получивший на турнире несколько ран. Он там сражался с человеком, которого звали сэр Альфагус, коего и убил, получив от него эти раны, три на голове да четыре на груди и на левой руке. Матерью покойного Альфагуса была одна испанская ворожея, и она наложила на сэра Уррия Венгерского заклятие, так что ни единая из его ран никак не могла затянуться. Им предстояло кровоточить и открываться, пока лучший из рыцарей мира не залечит их, коснувшись руками.

Сэра Уррия Венгерского долго возили по разным странам, — возможно, он страдал чем-то вроде гемофилии, — в поисках рыцаря, который сумеет ему помочь. В конце концов, он решился пересечь Пролив, дабы достичь сей чуждой, северной земли. Все и всюду говорили ему, что единственная его надежда — это сэр Ланселот, и сэр Уррий наконец приехал, дабы его отыскать.

Артур, который всегда думал о людях самое лучшее, был уверен, что Ланс справится с этой задачей, но он полагал справедливым предо-

ставить каждому рыцарю Стола возможность попытать свои силы. В ком-то могло ведь таиться скрытое совершенство, такое уже бывало.

В ту пору двор пребывал в Карлайле, прибыв туда на праздник Пятидесятницы, и было устроено так, чтобы все собрались на городском лугу. Туда же принесли в паланкине сэра Уррия и уложили его на парчовые подушки. Вокруг него стройными рядами стояли в своих лучших одеждах сто десять рыцарей, — еще сорок странствовали в поисках приключений, — землю устлали коврами, воздвигли шатры, дабы высокородные дамы могли наблюдать за происходящим. Из любви к своему Ланселоту Артур пожелал окружить роскошью высший из подвигов его жизни.

Книга о сэре Ланселоте кончается, и вот нам предстоит в последний раз увидеть его в этой книге. Он затаился в комнате замка, где хранилась конская упряжь, оттуда ему все было видно. Вокруг, между седел и блестящих мундштуков с удилами, во множестве свисали поводья — достаточно крепкие, заметил он, чтобы выдержать его вес. Здесь он и ждал, спрятавшись, и молился, чтобы хоть кто-нибудь, — может быть, Гарет? — оказался способным быстро свершить это чудо, или же, если того не случится, чтобы все позабы-

ли о нем, не заметив его отсутствия.

Как по-вашему, приятно ли быть первейшим рыцарем мира? Ну, так подумайте, если да, о том, как вы будете защищать этот титул. Подумайте об испытаниях, все повторяющихся, безжалостных, чреватых позором, которые вам придется выдерживать день за днем, — пока в последний и неизбежный день вы не потерпите поражение. Подумайте еще и о том, что вам-то известна причина поражения, основательная причина, которую вы пытались скрыть, так трогательно пытались скрыть или не заметить целых двадцать пять лет. И подумайте о том, как вот теперь вам придется явиться перед самым большим и благородным собранием, какое только можно представить, и публично обнаружить свой грех. Они ожидают, что вы преуспеете, а вам предстоит неудача: вам придется открыть перед всеми обман, который вы совершали в течение четверти века, и все они мгновенно узнают причину — постыдную причину, которую вы норовили утаить от своего же разума, и которая, напоминая о себе в тиши вашего пустого покоя, столь больно язвила вас, что голова ваша дергалась, как бы пытаясь ее стряхнуть. Чудеса, которые вам хотелось творить в столь давнее время, совершаются лишь

в чистоте душевной. Люди, стоящие снаружи, ждут от вас этого чуда, ибо вы всегда играли на их вере в чистоту вашей души, и именно теперь, когда предательство, прелюбодейство и убийство облекли вашу душу, как саван, вам придется выйти на яркий солнечный свет, чтобы подвергнуть вашу честь испытанию.

Ланселот стоял посреди седельной, белый, как полотно. Он знал, что Гвиневера там, снаружи, и что она тоже бледна. Он сплетал пальцы и смотрел на крепкую упряжь, и молился, как только умел.

— Сэр Серваус ле Врюс! — прокричали герольды, и сэр Серваус, рыцарь, чье имя стояло далеко от начала списка соревнователей, выступил вперед. Человек он был застенчивый, интересовался исключительно естественной историей и в жизни своей ни разу ни с кем не сражался. Он приблизился к сэру Уррию, уже постанывавшему от множества прикосновений, преклонил колени и сделал все, что ему было по силам.

— Сэр Озанна-Храброе Сердце!

Так оно и шло до самого конца списка в сто десять человек, чьи пышные имена Мэлори приводит в должном порядке, так что вы почти видите чистые очерки их тяжелых бригантин,

цвета и металлы гербов, яркие краски плюмажей. Оперенье на головах придавало им сходство с воинственными индейцами. Лязгали на ходу пластинчатые поножи, и шпоры ясно позванивали в ответ. Они преклоняли колени, сэр Уррий морщился, и все было впустую.

Ланселот не повесился на поводьях. Все верно, он нарушил запрет, обманул друга, вернулся к Гвиневере и убил сэра Мелиагранса в неправой ссоре. Ныне он был готов принять наказание. Он шел меж двух длинных рядов рыцарей, ожидавших под солнцем. Сама попытка остаться незамеченным привела его на приметнейшее место — он оказался последним. Он шел между глазеющих рыцарей, уродливый, как и всегда, сконфуженный, полный стыда, — ветеран, которого ждет поражение. Мордред с Агравейном слегка подвинулись вперед.

Встав на колени близ сэра Уррия, Ланселот обратился к Артуру:

— Должен ли я делать это, после того как все потерпели неудачу?

— Конечно, должен. Я повелеваю тебе.

— Если ты повелеваешь, я подчиняюсь. И все же такая попытка, после всех остальных, отдает высокомерием. Может быть, ты освободишь меня

от нее?

— Ты все неправильно понял, — сказал Король. — Нет никакого высокомерия в том, что ты попытаешь свои силы. Если уж ты не справишься, значит, это никому не по плечу.

Сэр Уррий, к этому времени совсем ослабевший, приподнялся, опираясь на локоть.

— Прошу вас, — сказал он. — Я для того и приехал, чтобы вы сделали это.

Слезы стояли в глазах Ланселота.

— Ах, сэр Уррий, — сказал он, — если бы только я мог вам помочь, с какой охотой я сделал бы это. Но вы не понимаете, вы не понимаете.

— Во имя Господа! — сказал сэр Уррий. Ланселот взглянул на восток, где по его понятиям обитал Господь, и мысленно произнес несколько слов. Слова были примерно такие: «Я не славы ищу, но прошу тебя, если можно, спаси нашу честь. И если ты пожелаешь исцелить этого рыцаря ради него самого, то прошу тебя, исцели». Затем он попросил сэра Уррия, чтобы тот дал ему осмотреть свою голову. Гвиневера, во все глаза смотревшая из своего шатра, увидела, как двое мужчин склонились друг к другу. Затем зашевелились люди, ближайшие к ним, и поднялся ропот, а следом и крик. Джентльмены начали вдруг подбрасывать

кверху шапки, вопить и пожимать друг другу руки. Артур снова и снова выкрикивал все одни и те же слова, он вцепился в локоть грубияна Гавейна и кричал ему в ухо: «Она закрылась, как ящик! Как ящик!». Какие-то пожилые рыцари приплясывали вокруг, ударяя щитом о щит, как при игре в «горячий пудинг», и тыкая друг друга под микитки. Из оруженосцев многие хохотали, словно безумные, и лупили друг друга по спинам. Сэр Боре целовал Короля Ангвиса Ирландского, и тот не сопротивлялся. Сэр Галахальт, высокородный принц, грянулся оземь, споткнувшись о собственные ножны. Благородный сэр Беллеус, тот, что далекой ночью в шатре из красного шелка никакой не выказал злобы из-за распоротой печени, производил страшный шум, выдувая музыку из травинки, зажатой между пальцами. Сэр Бедивер, так и предававшийся ярому покаянию с той поры, как посетил Папу, гремел какими-то святыми костьми, привезенными им домой в качестве сувенира; на костях округлыми буквами было написано «С приветом из Рима». Сэр Блиант, вспоминая своего кроткого Дикого Человека, обнимал сэра Кастора, никогда не забывавшего о рыцарственной отповеди, полученной им от Кавалера Мальфет. Добрый и чувствительный

Агловаль, поставивший крест на вражде Пеллиноров, обменивался с прекрасным Гаретом звучными пинками. Мордред с Агравейном кривились. Сэр Мадор, красный, словно индюк, мирился с сэром Пинелем-отравителем, который инкогнито вернулся домой. Король Пеллес обещал всем и каждому подарить новую мантию, принимая на себя все расходы. Белый, как лунь, дядюшка Скок, столь старый, что производил уже чуть ли не баснословное впечатление, пытался перескочить через свою клюку. Шатры опадали, хлопали стяги. Крики «ура» прокатывались один за другим, словно гром или дробь барабанов, над башенками Карлайля. Все поле, все люди в поле, все башни крепости, казалось, вздымались и опадали, подобно поверхности озера под дождем.

А в середине поля, всеми забытый, один, стоял на коленях ее любовник. Одинокий и неподвижный, он знал тайну, скрытую от других. Чудо состояло в том, что ему дозволено было сотворить чудо. «И тут, — говорит Мэлори, — сэр Ланселот заплакал, словно малый ребенок, которого побили».

*EXPLICIT LIBER TERTIUS*

# Свеча на ветру

*После недолгого размышления он сказал: «Я нашел, что на многих моих пациентов благотворно влияли зоологические сади. Господину Понтифику я прописал бы курс крупных млекопитающих. Только лучше бы ему не знать, что он созерцает их в лечебных целях..»*
*INCIPIT LIBER QUARTUS*

# 1

Годы, накапливаясь, не проявляли доброты к Агравейну. Даже в сорок он выглядел на свой нынешний возраст, на пятьдесят пять. Трезвым он бывал редко.

Мордред же, холодный и хилый, вроде бы и вовсе возраста не имел. Подобно выражению, таящемуся в глубине его синих глаз, подобно переливам его музыкального голоса, годы Мордреда оставались неуследимыми.

Стоя в крытой галерее дворца Оркнейцев в Камелоте, эти двое смотрели на ловчих птиц, выставленных на колодках под солнце, заливавшее муравчатый дворик. Галерею украшали новомодные стрельчатые арки — наступала эпоха пламенеющей готики, — в грациозных проемах этих арок и стояли, храня благородное безразличие, птицы: самка кречета, большой ястреб, два сокола (самка с самцом) и четверка маленьких дербников, проведших в неволе всю зиму и все-таки выживших. Колодки отличала особая чистота, ибо в те дни охотники полагали, что ежели вы пристрастились к охоте, сопряженной с обильным пролитием крови, вам следует

с особым тщанием стараться скрыть ее лютый характер. Алую кордовскую кожу колодок покрывало прелестное узорчатое золотое тиснение. Должики ястребов были сплетены из белой конской кожи. А кречетиху, дабы отметить высокое положение, занимаемое ею в жизни, облачили в опутенки и должики, вырезанные из заверенной авторитетами кожи единорога. Чтобы добраться сюда, кречетиха проделала долгий путь из Исландии, и это было самое малое, что могли для нее сделать владельцы.

Приятным голосом Мордред произнес:

— Ради Бога, давай уберемся отсюда. Здесь воняет.

При звуках его голоса птицы чуть шевельнулись, отчего колокольца их издали еле различимый, как бы шепчущий звон. Колокольца, не считаясь с расходами, доставляли из Индий, и пара, украшавшая самку кречета, была изготовлена из серебра. При звуках колокольцев сидевший на своем насесте в тени галереи огромный филин, которого иногда использовали для ловли приманки, открыл глаза. За миг до этого он еще мог показаться чучелом, неряшливым пуком перьев. Но стоило глазам распахнуться, и филин превратился в нечто из Эдгара Аллана По. Вряд ли

вам понравилось бы смотреть в его глаза. Глаза были красные, страшные, глаза убийцы, казалось, источающие свет. Они походили на рубины, полные пламени. Филина звали Великий Герцог.

— Не чую я никакого запаха, — сказал Агравейн. Он с подозрением потянул носом воздух, пытаясь хоть что-то унюхать. Но и к вкусу, и к запаху он давно уже стал нечувствителен, да к тому же и голова у него болела.

— Здесь смердит Спортом, — сказал Мордред, произнося последнее слово как бы в кавычках, — а также Подобающим Занятием и Избранным Обществом. Пойдем лучше в сад.

Агравейн никак не мог расстаться с темой их разговора.

— Что проку опять поднимать шум вокруг этой истории? — сказал он. — Мы-то с тобой понимаем, кто тут прав, кто виноват, да ведь только мы, а больше никто. Нас и слушать не станут.

— Нет уж, придется послушать. — Крапинки, испещрявшие райки Мордредовых глаз, полыхнули лазоревым светом, ярким, как у филина. Из вяловатого человека с перекошенным плечом, облаченного в нелепый костюм, он преобразился в воплощение Правого Дела. В подобных случаях он становился полной противоположностью

Артуру — безусловным недругом всего, что обозначается словом «англичанин». Он обращался в несгибаемого Гаэла, отпрыска утраченной расы, более древней, чем раса Артура, и более утонченной. Когда Правое Дело вот так воспламеняло его, Артурово правосудие принимало в сравнении вид тупоумной буржуазной затеи. Поставленное рядом с варварским и темным разумом пиктов, оно представлялось проявлением пресного самодовольства. Всякий раз, как он подобным образом выказывал свое неприятие Артура, в чертах его проступали вдруг все его материнские пращуры, в основе цивилизации коих, как и в основе воззрений Мордреда, лежал матриархат: то были воины, скакавшие на неседланных конях, бросавшиеся в атаку на колесницах, искушенные в военном коварстве и украшавшие свои жуткие оплоты головами врагов. Длинноволосые и свирепые, они выходили, как сообщает один из авторов древности, «с мечом в руке навстречу рекам крови иль вздыбленному бурей океану». То была раса, олицетворяемая ныне скорее Ирландской Республиканской Армией, нежели шотландскими националистами; раса, представители которой всегда убивали лендлордов и всегда валили вину за их смерть на них же

самих; раса, которая могла превратить в национального героя человека, подобного Линчагану, откусившему женщине нос, — поскольку он был из ирландцев, а она из галлов; раса, заброшенная вулканом истории в отдаленные области земного шара, где она, обуреваемая ядовитой обидой и чувством неполноценности, и поныне являет напоказ всему свету застарелую манию величия. Это из нее выходили католики, способные бросить открытый вызов любому папе или святому — Адриану, Александру или Святому Иерониму, — если политика оных этих католиков не устраивала: истерически раздражительные, терзаемые скорбями, бранчливые хранители сгинувшего наследия. То была раса, которую, при всем ее варварском, коварном, отчаянно храбром непокорстве, много веков назад поработил чужеземный народ, олицетворяемый ныне Артуром. И это обстоятельство также разобщало отца и сына. Агравейн сказал:

— Я хотел поговорить с тобой, Мордред. Черт, и присесть-то не на что. Садись вон на ту штуку, а я сяду здесь. Тут нас никто не услышит.

— А хоть бы и услышали. Нам именно это и требуется. Такие вещи нужно говорить громко, а не шептаться о них по укромным галереям.

— В конце концов и шепот достигает нужных ушей.

— Если бы. Ничего он не достигает. Королю не угодно слышать об этом, и пока мы тут шепчемся, он волен притворяться, что ничего не может расслышать. Как бы он пробыл столько лет Королем Англии, не научившись лицемерить?

Агравейн чувствовал себя неуютно. Его ненависть к Королю не отличалась такой определенностью, как ненависть Мордреда, в сущности, он ни к кому, кроме Ланселота, личной вражды не питал. Его озлобленность выбирала свои цели скорее наобум.

— Не думаю я, что мы добьемся чего-то, сетуя на прошлые обиды, — угрюмо сказал он. — Трудно ожидать чьей-либо поддержки в таком запутанном, да еще и Бог весть когда случившемся, деле.

— Как бы давно оно ни случилось, факт остается неизменным: Артур отец мне, и он отправил меня, еще младенца, поплавать в неуправляемой барке.

— Для тебя это факт, — сказал Агравейн, — а для других нет. Все уже так перепуталось, что никто не захочет в это вникать. Не можешь же ты ожидать, что нормальные люди станут помнить, кто кому приходится дедушкой, а кто — сводной

сестрой и так далее. Во всяком случае, в наши дни из-за чьих-то частных склок люди воевать не пойдут. Для войны нужна ущемленная национальная гордость, что-нибудь связанное с политикой и требующее только повода, чтобы прорваться наружу. Нужно использовать уже готовые, подручные средства. Возьми хоть этого мужлана, Джона Болла, — того, что верует в коммунизм, — у него тысячи последователей и все готовы посодействовать смуте ради собственной выгоды. Или те же саксы. Мы могли бы заявить, что поддерживаем национальные движения. И могли бы, коли на то пошло, слить все воедино и назвать результат национал-коммунизмом. Но в любом случае требуется нечто определенное, доходчивое, чтобы пронимало любого. И враг нужен непременно многочисленный — евреи, норманны, саксы, — чтобы каждому было на кого озлиться. Мы можем возглавить движение Древнего Люда, желающего сквитаться с саксами, или движение саксов против норманнов, или сервов против общественного устройства. Нам понадобится знамя, именно знамя, да и особая эмблема тоже. Бери, какую хочешь, — свастику, коммунизм, национализм, все что угодно. А личные твои претензии к старику, это вещь безнадежная.

В любом случае у тебя уйдет самое малое полчаса, чтобы растолковать, в чем они состоят, даже если ты влезешь на крышу и будешь кричать оттуда.

— Я мог бы кричать о том, что моя мать приходилась ему сестрой и что он попытался утопить меня по этой причине.

— Ну, покричи, если хочешь, — сказал Агравейн.

Перед тем как филин открыл глаза, они разговаривали о давних обидах, причиненных их роду, — о своей бабушке Игрейне, обесчещенной отцом Артура, о давно иссякшей вражде гаэлов и галлов, известной им по рассказам матери, слышанным в древнем Дунлоутеане. Именно эти обиды холодная кровь Агравейна осознавала как слишком давние и смутные, чтобы они могли послужить оружием в борьбе с Королем. Теперь они подобрались к более свежему поводу для недовольства, — к прегрешению Артура с его сводной сестрой, завершившемуся попыткой прикончить порожденного в этом грехе бастарда. Это оружие безусловно могло оказаться более мощным, незадача, однако, состояла в том, что Мордред-то и был этим бастардом. Малодушная осторожность старшего из двух братьев, обладавшего к тому же более изощренным умом, говорила ему, что сыну

навряд ли следует превращать незаконность своего появления на свет в знамя, под которое могли бы собраться те, кто желает сбросить с трона его отца. К тому же Артур давным-давно сумел замять эту историю, и если Мордред вновь извлечет ее на свет Божий, он лишь покажет себя неумелым политиком.

Они сидели в молчании, уставившись в пол. Агравейну неможилось, под глазами у него набухли мешки. Мордред был, как и всегда, подтянут, опрятен и одет по последней моде. Вычурный наряд служил ему неплохим камуфляжем, под которым его кривое плечо оставалось почти незаметным.

— Я, собственно, не гордый, — произнес Мордред. Он с горечью глядел на сводного брата, вкладывая в свой взгляд куда больше значения, чем брат способен был воспринять. Глаза его говорили:

— Да ты хоть на горб мой взгляни. Мне нет причины гордиться моим рождением.

Агравейн нетерпеливо поднялся.

— Как бы там ни было, а мне нужно выпить, — сказал он и хлопнул в ладоши, призывая пажа. Затем он провел по векам дрожащими пальцами и замер, чуть покачиваясь, с отвращением глядя

на филина. Мордред, пока они ожидали выпивки, с презрением созерцал Агравейна.

— Начнешь копаться в старом дерьме, — сказал Агравейн, в которого пряное вино вдохнуло новую жизнь, — сам же в нем и окажешься. Ты все-таки помни, что мы не в Лоутеане. Мы в Артуровой Англии, и англичане любят его. Они либо не захотят тебе верить, либо, если поверят, обвинять станут тебя, не его, потому что ты вытащил эту гадость на свет. В таком восстании ни единый человек участвовать не станет, тут и говорить-то не о чем.

Мордред смотрел на брата. Он, подобно филину, ненавидел Агравейна и порицал его за трусость. Все, что мешало Мордреду мечтать об отмщении, было для него нестерпимо, и оттого он мысленно изливал свою неприязнь на Агравейна, про себя называя его пьяным предателем интересов семьи.

Агравейн, понимавший это и уже утешенный половиной бутылки, рассмеялся Мордреду в лицо. Он хлопнул младшего брата по здоровому плечу, понукая его наполнить свой стакан.

— Выпей, — с ухмылкой сказал он.

Мордред пригубил вино, словно кошка микстуру.

— А вот не слышал ли ты часом, — игриво осведомился Агравейн, — о великом святом по имени Ланселот?

Он подмигнул заплывшим глазом, доброжелательно глядя на кончик собственного носа.

— И что же?

— Я так понимаю, что ты наслышан о нашем preux chevalier [21]?

— Разумеется, я знаю, кто такой сэр Ланселот.

— Полагаю, я не ошибусь, сказав, что этот непорочный джентльмен пару раз скидывал нас обоих с коня?

— Ланселот впервые спешил меня так давно, — сказал Мордред, — что я уже и не помню, когда это случилось. Ну, и что же с того? Даже если человек способен спихнуть тебя с коня длинной палкой, это еще не значит, что он лучше тебя.

Странное дело, теперь, когда разговор пошел о Ланселоте, оживление Мордреда сменилось равнодушием. Агравейн же, до этой поры поддерживавший разговор без особой охоты, внезапно обрел красноречие.

— Вот именно, — сказал он. — А кроме того, наш благородный рыцарь с давних пор состоит в

---

**[21] notes: 21**
Доблестный рыцарь (фр.)

любовниках у Королевы Английской.

— Всем известно, что Гвен была любовницей Ланселота еще с допотопных времен, да толку-то что? И Королю это известно не хуже прочих. Я знаю наверняка о трех случаях, когда ему говорили об этом. Не вижу, что мы тут можем сделать.

Агравейн, словно пьяный волынщик, прижал пальцем одну ноздрю, а затем погрозил тем же пальцем брату.

— Говорить-то ему говорили, — объявил он, — да все обиняками. Присылали разные там вещицы с намеком — то щит с двусмысленным изображением, то рог, из которого могут пить лишь верные жены. Вот только никто ни разу не сказал ему об этом в открытом суде, прямо в лицо. Мелиагранс предъявил всего лишь расплывчатое обвинение, да и то в пору, когда дела решались судебными поединками. А ты вот подумай, что бы произошло, если бы мы напрямик обличили сэра Ланселота, да еще при этих новейших законах, так что Король волей-неволей назначил бы следствие?

Глаза у Мордреда вспыхнули, словно у филина.

— Ну и?

— Ну и совершенно не представляю себе, что могло бы из этого выйти, кроме раскола. Артур

зависит от Ланселота, потому что тот командует всеми его войсками. Ланселот — основа его мощи, потому что всякий же понимает, против грубой силы не больно-то попрешь. Но если мы сумеем устроить так, чтобы между Артуром и Ланселотом начались веселенькие дрязги — из-за Королевы, — тогда мощь его даст трещину. Вот тут и настанет черед для тонкой политики. Тут и придет самое подходящее время для недовольных — для лоллардов, коммунистов, националистов и прочей шушеры. А значит, и ты улучишь минуту для своей пресловутой мести.

— Мы сможем лишить их силы, потому что они уже ослаблены изнутри.

— Раскол будет означать куда как больше.

— Раскол будет означать, что корнуольцы сквитаются за нашего деда, а я за мою мать.

— ..л не тем, что силой попрут против силы, а тем, что с толком раскинут умом.

— А это значит, что я отомщу за себя человеку, который пытался меня утопить, когда я еще был младенцем…

— …сначала свалив его головореза, а после действуя с должной осторожностью.

— Свалив нашего прославленного чемпиона…

— …сэра Ланселота!

Суть дела состояла в том, — и возможно, следует в последний раз подробно ее изложить, — что отец Артура убил Графа Корнуольского. Он убил этого человека, потому что возжелал его жены. В самую ночь убийства бедная Графиня понесла Артура. Рожденный слишком рано с точки зрения разного рода условностей, касающихся ношения траура, супружества и всего прочего, он был тайком отправлен на воспитание к сэру Эктору из Дикого Леса. Он так и вырос в неведеньи о своем происхождении и девятнадцатилетним юношей влюбился в Моргаузу, не зная, что она — одна из его сводных сестер, дочерей Графини и Графа. Сестра, уже бывшая матерью Гавейна, Агравейна, Гахериса и Гарета и вдвое превосходившая Артура годами, весьма успешно совратила его. Плодом их союза стал Мордред, одиноко взращенный матерью в варварской глуши Внешних Островов. Моргауза растила его в одиночестве, поскольку он был много младше всех прочих членов семьи. Все прочие уже упорхнули ко двору Короля, влекомые кто честолюбием, ибо то был величайший из дворов мира, а кто — желанием бежать от матери. Мордред же остался во власти этой женщины с ее наследственной враждой к Королю да еще и с личной обидой. Ибо Артур,

хоть по незрелости и соблазненный Моргаузой, все-таки смог избавиться от нее и со временем женился на Гвиневере. Моргауза, засев на севере с единственным оставшимся у нее сыном, обрушила на мальчика-калеку всю свою страшную материнскую мощь. Она поочередно то ласкала его, то о нем забывала, ненасытная в своей плотоядности, жившая, черпая силу в любви, питаемой к ней ее собачонками, детьми и любовниками. В конце концов, один из старших сыновей в припадке ревности снес Моргаузе голову, застав ее, семидесятилетнюю, в постели с молодым человеком по имени сэр Ламорак. В ту пору Мордред, раздираемый любовью и ненавистью, что бушевали в его страшной семье, оказался одним из ее убийц. Ныне, при дворе своего отца, которому хватило такта скрыть историю его рождения, несчастный сын обнаружил, что признается всеми как брат Гавейна, Агравейна, Гахериса и Гарета; обнаружил, что Король-отец, которого он по наущению матери ненавидел всем сердцем, относится к нему с любовью; обнаружил вдруг, что его, человека изуродованного, умного и критически настроенного окружает цивилизация, слишком прямолинейная для чисто интеллектуального критицизма; и, наконец, он обнаружил,

что является наследником северной культуры, всегда противопоставлявшей себя ограниченной морали южан.

## 2

В дверях галереи возник паж, тот, что уже приносил Агравейну вино. С преувеличенной вежливостью, ожидаемой от пажей, желающих стать оруженосцами, а после и рыцарями, он склонился в низком поклоне и объявил:

— Сэр Гавейн, сэр Гахерис, сэр Гарет.

Следом вошли трое братьев, громогласных после свежего воздуха и недавних упражнений, — теперь весь клан был в сборе. У всех у них, кроме Мордреда, имелось где-то в глуши по жене, но никто этих жен не видел. Да и самих-то Оркнейцев мало кому случалось в течение долгого времени видеть поодиночке. Когда они собирались все вместе, в них проступало что-то детское, скорее даже приятное, чем наоборот. Возможно, нечто детское было присуще и всем остальным паладинам, упоминаемым в истории Артура, — если простота и детскость это одно и то же.

Первым вошел глава семейства, Гавейн, неся на кулаке самку сокола, голову которой украшал молодой хохолок. Гавейн стал грузен, в рыжей шевелюре его появились поблекшие пряди. Волосы на висках пожелтели, как у хорька, еще

немного и они совсем побелеют. Гахерис приобрел сходство с Гавейном, во всяком случае большее, чем у всех остальных. Но копия вышла бледная: не такой рыжий, не такой мощный, не такой крупный и не такой упрямый. Правду сказать, был он малость глуповат. Гарет, самый младший в четверке родных братьев, до сих пор не утратил юношеского обличил. Походка его оставалась упругой — такой, словно ему нравилось ощущать себя живым.

— Ишь ты! — хрипло воскликнул Гавейн, переступая порог. — Уже пьете?

Он еще сохранял чужеземный выговор в знак пренебрежения к языку англичан, но думать по-гаэльски уже перестал. Вопреки воле Гавейна, английский язык его становился все совершеннее. Гавейн старел.

— Да ладно тебе, Гавейн.

Агравейн, знавший, что его привычка пропускать рюмочку-другую еще до полудня одобрения не вызывает, вежливо осведомился:

— Хороший выпал денек?

— Недурственный.

— Превосходный! — воскликнул Гарет. — Мы упражнялись в напуске верхом с помощью Ланселотова слетника, и она по-настоящему

освирепела. Я и не думал, что она сумеет взять добычу без притравы! Гавейн управлялся с ней просто великолепно. Она пошла вниз, не помедлив и секунды, словно всю жизнь только и делала, что била сверху цапель, описала отличный круг над свежими стогами у Белого Замка и ушла над ним аккурат на южную сторону дороги пилигримов. Она…

Гавейн, заметивший, что Мордред намеренно зевает, оборвал Гарета:

— Побереги дыхание.

— Хорошая вышла охота, — неловко заключил Гарет. — И поскольку она взяла добычу, мы решили, что можно дать ей имя.

— И какое же? — снисходительно поинтересовались двое.

— Ну, раз она родом с Лёнди, а стало быть, имя должно начинаться на Л, мы решили, что неплохо будет назвать ее в честь Ланселота. Например, Ланселотта или что-нибудь наподобие этого. Из нее получится первоклассная ловчая птица.

Агравейн взглянул на Гарета из-под приспущенных век и сказал, растягивая слова:

— Тогда уж лучше пусть будет Гвен.

Гавейн, выходивший в дворик, чтобы усадить птицу на колодку, вернулся назад.

— Брось, — сказал он.

— Сожалею, если сказал неправду.

— Меня не заботит, правда это или неправда. Я только одно тебе говорю: попридержи язык.

— Гавейн, — сказал Мордред, возводя глаза горе, — Гавейн у нас такой preux chevalier, что при нем дурных речей не держи, не то нарвешься на неприятности. Он, понимаешь ли, очень сильный и во всем подражает сэру Ланселоту.

Рыжий рыцарь с достоинством поворотился к нему.

— Не такой уж я и сильный и вовсе этим не пользуюсь. Я только стараюсь держать своих родичей в достойном виде.

— И разумеется, — подхватил Агравейн, — спать с женой Короля — самое достойное дело, даже если Королевская семья порушила нашу и заделала нашей матери сына, а после пыталась его утопить.

Гахерис возразил:

— Артур всегда был к нам добр. Прекратил бы ты лучше это нытье!

— Был, потому что он нас боится.

— Не вижу я, чего Артуру бояться, когда у него есть Ланселот, — сказал Гарет. — Всякому ведомо, что он — лучший из рыцарей мира и способен

одолеть кого угодно. Так ведь, Гавейн?

— Что до меня, я и говорить-то об этом не желаю.

Мордред вдруг вспыхнул, распаленный высокомерным тоном Гавейна.

— Ну и отлично, зато я желаю. Я, может, и слабоват в копейном бою, но у меня хватит смелости встать на защиту моей семьи и ее прав. Я не лицемер. Каждый при дворе знает, что Королева и главнокомандующий — любовники, и однако же предполагается, что все мы — честные рыцари, защитники дам, и все только об одном и талдычат — о так называемом Святом Граале. Мы с Агравейном решили прямо сейчас отправиться к Артуру и в присутствии двора открыто задать ему вопрос о Королеве и Ланселоте.

— Мордред, — воскликнул глава клана, — ничего такого ты делать не станешь! Грех тебе!

— Еще как станет, — сказал Агравейн, — и я с ним пойду.

Гарет испытывал изумление и боль.

— Они и впрямь решились на это, — протестующе вымолвил он.

Справясь с минутной оторопью, Гавейн взял бразды правления в свои руки и твердо произнес:

— Агравейн, во главе клана стою я, и я тебе запрещаю.

— Ах, ты мне запрещаешь!

— Да, я запрещаю тебе, ибо ты будешь обидчивым дурнем, если сделаешь это.

— Честный Гавейн, — обронил Мордред, — считает тебя обидчивым дурнем.

На сей раз огромный рыцарь, словно норовистый конь, рванулся к Мордреду.

— Помалкивай! — рявкнул он. — Ты думаешь, что я тебя из-за твоего убожества пальцем не трону, и пользуешься этим. Но если ты, дохляк, будешь тут скалиться, так я тебе врежу!

Мордред услыхал, как его собственный голос, казалось, доносившийся откуда-то сзади, холодно произносит:

— Гавейн, ты меня удивил. Ты произнес логически связную речь.

И затем, когда рыцарь-гигант пошел на него, тот же голос сказал:

— Ну, давай. Ударь меня. Покажи, какой ты храбрый.

— Ой, да перестань же ты, Мордред, — взмолился Гарет. — Ты что, и минуту не можешь не задираться?

— Мордред не стал бы, как ты выражаешься,

задираться, — встрял Агравейн, — если бы Гавейн его не запугивал.

Гавейн взорвался, будто одна из недавно выдуманных пушек. Как затравленный собаками бык, он отворотил от Мордреда и заорал на обоих.

— Да дьявол задери мою душу, или умолкните, или выметайтесь отсюда! Будет у нас когда-нибудь мир в семье? Захлопни, во имя Господа, пасть и оставь эту идиотскую болтовню про сэра Ланселота.

— Это не идиотская болтовня, — сказал Мордред, — и мы ее не оставим.

Он встал.

— Ну что, Агравейн, — спросил он, — пошли к Королю? Кто еще с нами?

Гавейн встал у них на пути.

— Ты никуда не пойдешь, Мордред.

— И кто меня остановит?

— Я.

— Да ты храбрец, — отметил ледяной голос, так и звучавший откуда-то со стороны, и горбун сделал шаг вперед.

Гавейн выставил рыжую руку с золотистыми волосками на пальцах и толкнул Мордреда назад. В тот же миг Агравейн положил белую ладонь с толстыми пальцами на рукоять своего меча.

— Не двигайся Гавейн. Я при мече.

— Ты всегда при мече, — выкрикнул Гарет, — дьявол!

Вся жизнь младшего брата вдруг сошлась в знакомую картину. Убитая мать, единорог, человек, в это мгновение вытаскивающий меч, и мальчишка, размахивающий посреди темной кладовки ярким кинжалом, — все слилось в его крике.

— Ну что же, Гарет, — прорычал белый, как полотно, Агравейн, — я понял тебя, смотри, я вынимаю меч.

Ситуация вышла из-под контроля: они уже действовали, будто марионетки, будто все это происходило не в первый раз, — как оно, впрочем, и было. Гавейном, едва он завидел сталь, овладела привычная слепая ярость. Изрыгая потоки слов, он отскочил от Мордреда, выхватил единственное свое оружие, охотничий нож, и кинулся на Агравейна, — все это одним махом. Толстяк, которого напор братнина гнева вынудил перейти от наступления к обороне, отшатнулся, заслоняясь мечом, пляшущим в дрожащей руке.

— А-а, — ревел Гавейн, — ты отлично понял его, мой тощий мясник. Как нам не полезть с мечом на собственного брата, мы же всегда так любили убивать безоружных людей. Чтоб тебя саваном

удавило! Спрячь меч, ты! Спрячь, говорю! Ты что это надумал? Мало тебе, что ты зарезал нашу мать? Спрячь меч, будь ты проклят, или наберись наглости и ударь. Агравейн…

Мордред, держа ладонь на собственном кинжале, скользнул Гавейну за спину. Миг, и сталь, освещенная глазами филина, блеснула среди теней галереи, и тут же Гарет бросился на защиту Гавейна. Поймав запястье Мордреда, он закричал:

— Хватит! Гахерис, займись остальными!

— Агравейн, убери меч! Гавейн, оставь его!

— С дороги! Я научу этого пса уму-разуму!

— Агравейн, опусти немедленно меч, он же убьет тебя! Поторопись! Не будь идиотом! Оставь его, Гавейн. Он не хотел. Гавейн! Агравейн!

Но Агравейн, целя в главу семейства, уже сделал слабенький выпад, который Гавейн презрительно отмахнул ножом. И сразу огромный старый рыцарь с хорьковой шерстью на висках устремился вперед и стиснул ручищами Агравейнову поясницу. Меч еще звенел на полу, а Агравейн уже грянул спиной о стол, на котором стояло вино, и Гавейн навалился на него сверху. Нож яростно взлетел вверх, норовя сделать свое, но подскочивший сзади Гахерис поймал его в

полете. Образовалась немая и неподвижная живая картина. Гарет держал Мордреда. Агравейн, свободной рукой прикрывая глаза, пытался увернуться от ножа. А Гахерис удерживал мстительно занесенную руку.

В эту непростую минуту дверь галереи отворилась вторично, и вежливый паж со всегдашним бесстрастием провозгласил:

— Его Величество Король!

Напряжение спало. Каждый выпустил, что держал, и снова пришел в движение. Агравейн, задыхаясь, сел. Гавейн отвернулся от него и провел рукой по лицу.

— О Господи! — пробормотал он. — Опять на меня накатила эта мутная дрянь!

На пороге показался Король.

Он вступил в галерею — спокойный старик, так долго трудившийся, напрягая все силы. Он выглядел старше своих лет, ныне уже немалых. В мгновение королевского ока он уяснил происшедшее и, пересекая галерею, чтобы ласково поцеловать Мордреда, улыбнулся всем сразу.

## 3

Ланселот с Гвиневерой сидели у окна башенного покоя. Человек нашего времени, знакомый с Артуровской легендой лишь благодаря Теннисону и подобным ему, поразился бы, увидев прославленных любовников теперь, когда пора расцвета для них давно уже миновала. Любой из нас, с привычной легкостью строящих представление о любви на романтической истории двух детей, Ромео и Джульетты, немало бы изумился, доведись ему вернуться в Средневековье, в эпоху, когда один из поэтов рыцарства писал о мужчине, что у него есть «en ciel un dieu, par terre une deesse [22]». В те времена влюбленных набирали не из подростков и юношей, но из людей поживших, понимающих что к чему. В ту пору люди любили друг друга так долго, как жили, не прибегая к удобным выдумкам вроде бракоразводных судов и психоаналитиков. У этих людей был Бог в небесах, а на земле богиня, — и поскольку человеку, который вручает всю свою жизнь богине, поневоле приходится проявлять в

**[22] notes: 22**
Бог в небесах, а на земле богиня (фр.)

выборе ее некоторую осторожность, они искали себе богинь, основываясь не на преходящих, исключительно плотских критериях, и не покидали своих избранниц играючи, едва только плоть переставала оправдывать их ожидания.

Ланселот с Гвиневерой сидели у окна высокой крепостной башни, а внизу под пологими солнечными лучами лежала Англия Короля Артура.

То была Страна Волшебства эпохи Средневековья, эпохи, которую многие привычно считают «темной», и именно Артур превратил эту страну в то, чем она стала. Когда старый Король взошел на трон, она была Англией закованных в доспехи баронов, голодного мора и войн. Она была страной, в которой судья устанавливал истину «Божьим судом» то есть каленым железом, в которой законы для англичан и норманнов были различны, в которой звучал печальный бессловесный напев Морфа-Руддлана. В ту пору на всем побережье, куда только достигали ладьи иноземцев, не осталось в живых ни единого зверя и ни единого плодового дерева в целости. В ту пору по лесам и болотам остатки саксов сражались, противясь жестокому игу Утера Завоевателя; в ту пору слова «норманн» и «барон» означали то же самое, что ныне «сахиб»; в ту пору голова Лле-

веллина ап Гриффита в короне из побегов плюща плесневела на тесно торчавших из стен Тауэра пиках; в ту пору вы могли повстречать при дороге калек-побирушек, из коих каждый тащил в левой руке свою же правую, и с ними лесных псов, тоже изуродованных, ковыляющих на трех лапах, — дабы неповадно было им охотиться в лесных угодьях своего господина. К приходу Артура сельские жители уже попривыкли каждую ночь баррикадироваться в собственных домах, как бы в ожидании осады, и просить у Бога мирной ночи, — глава семьи повторял молитвы, возносимые в открытом море при приближении шторма и завершавшиеся мольбой: «Господи, спаси и помилуй», на что все присутствующие отвечали «Аминь». В те ранние дни в баронском замке можно было видеть горемык с выпотрошенными животами, чьи кровоточащие внутренности поджаривали у них на глазах, людей, распоротых, дабы выяснить, не проглотили ль они свое золото, людей с забитыми в рот зазубренными железными клиньями, людей, подвешенных вниз готовой над чадными очагами, людей, брошенных в змеиную яму, людей, чьи головы стягивали кожаные жгуты, людей, втиснутых в короба, набитые камнями, сокрушавшими несчастным кости.

Достаточно обратиться к посвященной тому времени литературе, повествующей о мифологических семействах вроде Плантагенетов, Капетов и прочих, чтобы понять, что творилось в этой стране. Легендарные короли, подобные Иоанну, имели обыкновение вешать перед обедом по двадцать восемь заложников; тогда как королей вроде Филиппа оберегали «сержанты-булавоносцы» — подобие штурмовиков, охранявших своего господина с кистенями в руках; короли же вроде Людовика рубили врагам головы на эшафотах, под которыми они заставляли стоять вражьих детишек, дабы кровь родителей капала им на головы. Так, во всяком случае, уверял нас Ингульф Кройлендский, покамест не выяснилось, что все его писания — сплошная подделка. Затем имелись еще архиепископы, которых называли «шкуродерами»; и церкви использовали в качестве укрепленных фортов, роя окопы прямо по кладбищам, среди мертвых костей; и существовали прейскуранты, по которым всякий мог откупиться от ответственности за любое убийство; и тела отлученных валялись непогребенными; и оголодавшие крестьяне кормились древесной корой, а то и друг другом (один такой съел сорок восемь человек). По одну сторону от

вас могли поджаривать еретиков (сорок пять тамплиеров сожгли за один только день), а по другую — катапультами закидывать в осажденные крепости головы пленников. Тут извивался в цепях вождь Жакерии, коронованный раскаленным докрасна железным треножником. Там возносил жалобы Папа, сидящий в узилище в ожидании выкупа, или корчился другой, отведавший яду. В стены замков замуровывались в виде золотых брусков целые сокровища, после чего строителей отправляли на тот свет. Дети играли на улицах Парижа трупом Коннетабля, другие же — вместе с женщинами и стариками, — оказавшись в кольце осады, хоть и вне стен осажденного города, умирали голодной смертью. С шипением горели привязанные к столбам Гус и Иероним в митрах вероотступников на головах. Плыли вниз по Сене слабоумные из Жумьежа с перерезанными подколенными жилами. В замке Жиля де Рец обнаружили не менее тонны пережженных детских костей — он убивал по двенадцать дюжин детей в год, и так целых девять лет. Герцог Беррийский лишился королевства по причине непопулярности, которую он заработал, опечалясь при известии о павших в сражении восьмистах пехотинцах. Юного графа Сен-Поль

обучали искусству боя, предоставляя ему две дюжины живых узников, дабы он попрактиковался на них в различных способах убийства. Людовик Одиннадцатый, еще один выдуманный король, держал неприятных ему епископов в довольно дорогостоящих клетках. Герцог Роберт был прозван «Великолепным» своими вельможами и «Дьяволом» теми из верующих, кому привелось пожить под его рукой. И во все это время, до прихода Артура, простые люди, — из коих в одном только городе всего за неделю волки сожрали четырнадцать человек, коих третью часть унесла Черная Смерть [23], чьи трупы набивали в ямы «наподобие бекона», чьим ночным убежищем часто становились леса, болота и пещеры, коих за семьдесят лет сорок восемь раз косило голодным мором, — эти самые люди с благоговением взирали на высокородных феодальных властителей, именуемых «господами неба и земли», а будучи изувеченными каким-нибудь епископом, коему пролитие крови было заказано, по которой причине он ходил на них с железной дубиной, громко пеняли на то, что Христос и его святые спят в небесах.

---

**[23] notes: 23**
Чума

«Pourquoi», — в отчаянии пели бедняги:

Pourquoi nous laisser faire dommage? Nous sommes hommes comme ils sont. [24]

Такова была на удивление современная цивилизация, доставшаяся Артуру в наследство. Но не она открывалась взорам наших любовников. Ныне, освещенная яблочно-зеленой вечерней зарей, перед ними расстилалась баснословная Старая Англия Средневековья — той его поры, когда оно вовсе не было темным. В Англии, созерцаемой Ланселотом и Гвиневерой, стоял Век Индивидуальностей.

Что за чудное время — эпоха рыцарства! Каждый был собой и только собой, ревностно воплощая бесчисленные странности человеческой натуры. Лежавший под окнами башенного покоя ландшафт переполняло такое буйство людей и предметов, что и не знаешь, с какого конца взяться за его описание.

Темное Средневековье! Удивительна все-таки бесцеремонность, с какой девятнадцатый век наклеивал свои ярлыки. Ибо здесь, под этими окнами, в Артуровой Стране Волшебства, солнце пылало сотнями самоцветов в витражах мо-

---

**[24] notes: 24**

«Почему дозволено им обижать нас? Ведь мы такие же люди, как и они.» (фр.)

настырей и обителей, переливаясь на шпицах соборов и замков, возведенных с неподдельной любовью. В ту темную пору архитектура таким светом озаряла страстные души людей, что они наделяли свои крепости любовными прозвищами. Ланселотов Замок Веселой Стражи вовсе не был чем-то исключительным в пору, которая оставила нам Ботэ, Плезанс или Мальвозин, — дурных соседей своим врагам, — в пору, когда даже остолоп наподобие воображаемого Ричарда Львиное Сердце, страдавшего, кстати сказать, от чирьев, мог назвать свою крепость «Gaillard», сиречь «Молодчага», и говорить о ней, «моя годовалая красавица-дочка». Да что там, даже такой легендарный прохвост, как Вильгельм Завоеватель, и тот носил титул «Великого Строителя». А возьмите хотя бы стекло, окрашенное на всю глубину в пять благородных тонов. Стекло было грубее нашего, толще, вставлялось не такими большими, как ныне, пластинами. Люди той поры любили его с той же страстью, с какой давали имена своим замкам, и Виллар де Оннекур, потрясенный во время путешествия особенной красотой одного из окон, остановился, чтобы зарисовать его, пояснив, что «я находился в пути, подчиняясь зову, пришедшему из земли Венгер-

ской, когда зарисовал это окно, поскольку оно усладило меня более всех иных окон». Вообразите себе внутреннее убранство старинных соборов — не привычный для нас интерьер, серый и голый, но сверкание красок, фрески, писанные по сырой штукатурке, на которых все персонажи стоят на цыпочках, колыхание гобеленов или багдадской парчи. Вообразите и интерьеры тех замков, что виднелись из окна Гвиневеры. Они не походили уже на угрюмые цитадели предшественников Артура. Теперь в них стояла мебель, сработанная столяром, а не плотником; по стенам, скрывая двери, мягко спадали нарядные ткани Арраса, гобелены, подобные тому, на котором изображен турнир в Сен-Дени, и который, хоть и покрывает он более четырех сотен квадратных ярдов, был соткан менее чем за три года, — такое рвение снедало его творцов. Даже сегодня, внимательно осмотревшись в разрушенном замке, можно порой обнаружить крючья, с которых свисали эти ослепительные шпалеры. Вспомните еще о златокузнецах Лотарингии, создававших раки для мощей в виде маленьких храмов с боковыми приделами, статуями, трансептами и всем прочим, совершенные кукольные домики; вспомните лиможские и выемчатые эмали, немецкую резьбу

по кости, ирландскую работу по металлу, инкрустированную гранатами. Наконец, если вам и впрямь хочется представить себе брожение творческого начала в эти наши пресловутые темные века, прежде всего избавьтесь от представления, будто письменная культура пришла в Европу лишь после падения Константинополя. В те дни каждый клирик в каждой стране был человеком культурным, ибо в этом и состояла его профессия. «Каждая написанная буква, — говорил средневековый аббат, — это рана, нанесенная дьяволу». Библиотека Сен-Рикье уже в девятом веке содержала двести пятьдесят шесть томов, включая Вергилия, Цицерона, Теренция и Макробия. У Карла Пятого имелось не менее девятисот десяти книг, так что личная его коллекция была почти столь же обширной, как нынешняя «Всеобщая Библиотека».

Ну и наконец, сами люди, видные из окна, — блестящее сборище разного рода оригиналов, каждый из которых сознавал, что обладает помимо тела такой изумительной вещью, как душа, и выявлял ее на свой, порою удивительнейший манер. В лице Сильвестра Второго на папский престол взошел прославленный чернокнижник, хоть и ходила о нем дурная молва, будто бы имен-

но он изобрел маятниковые часы. Баснословный Король Франции по имени Роберт, на свою беду отлученный от церкви, испытал ужасные затруднения в домашнем обиходе, поскольку единственная пара слуг, которых удалось уговорить стряпать для него, поставила условием, чтобы после каждой трапезы все причастные к ней кастрюли бросались в огонь. Архиепископ Кентерберийский, отлучивший под горячую руку сразу всех пребендариев собора Святого Павла, ворвался в Приорию Святого Варфоломея и прямо посреди храма вышиб дух из субприора, чем вызвал такие волнения, что на нем разодрали священническое облачение (под которым, впрочем, оказались доспехи), а самому ему пришлось лодкой удирать в Лэмбит. Графиня Анжуйская имела обыкновение при свершении таинства мессы исчезать сквозь окно. Мадам Трот де Салерно использовала собственные уши в качестве носовых платков, а брови ее свисали до самых плеч, будто серебряные цепочки. Епископа Батского (дело было при воображаемом Эдуарде Первом) по здравом размышлении сочли неподходящим для архиепископского поста по той причине, что у него было слишком много незаконнорожденных детей — не просто несколько штук, а слишком

много. Но и сам этот епископ навряд ли мог потягаться с графиней Геннебергской, которая взяла да и родила за один присест триста шестьдесят пять младенцев.

То был век полноты, век, когда человек во всякое дело нырял с головой. Возможно, и насаждаемая Артуром идея христианского мира возникла как результат всестороннего образования, которое дал ему Мерлин.

Ибо Король, по крайней мере в истолковании Мэлори, являлся святым покровителем рыцарства. Он не был рассерженным Бриттом в раскраске из вайды, мечущимся по пятому веку, — ни даже одним из тех nouveaux riches de la Poles, которые, по-видимому, омрачили последние годы самого Мэлори. Артур был сердцем рыцарства, достигшего расцвета — столетия, может быть, за два до того, как наш не чающий души в старине автор приступил к своему труду. Он был олицетворением всего, что имелось достойного в Средневековье, и все, что он олицетворял, было создано им самим.

В представлении Мэлори, Артур Английский — это поборник цивилизации, совершенно неправильно толкуемой историческими трудами. В эпоху рыцарства серв вовсе не был рабом,

лишенным всякой надежды. Напротив, у него имелось по меньшей мере три вполне законных пути для восхождения по ступеням общественной лестницы, и превосходнейший из этих путей предоставляла ему Католическая Церковь. Благодаря политике Артура, церковь эта, и поныне являющаяся величайшим из всех сообществ, открытых для образованных людей, обратилась в столбовую дорогу, доступную наинизшему из рабов. Сакс-землепашец превратился в Папу Адриана IV, сын плотника — в Григория VII. В эти столь презираемые нами Средние Века вы могли стать великим человеком, почитаемым во всем мире, просто дав себе труд учиться. Убеждение же, что цивилизация Артура отставала по части столь уважаемой нами науки, совершенно ошибочно. Ученые того времени, хоть и называли их магами, изобретали вещи невероятные, ничуть не худшие наших, — просто мы так давно пользуемся их открытиями, что уже к ним попривыкли. Величайшие среди магов — Альбертус Магнус, брат Бэкон и Раймонд Луллий — ведали кое-какие тайны, утраченные ныне, и между делом выдумали то, что и по сей день является для цивилизации едва ли не основным продуктом потребления, а именно порох. Их чтили за ученость, а Альберта

Великого и вовсе произвели в епископы. Один из них, человек по имени Баптиста Порта, судя по всему, изобрел даже кинематограф — да притом оказался настолько разумен, что решил оставить это изобретение без дальнейшего развития.

Что до самолетов, то еще в десятом веке монах по имени Этельмайер экспериментировал с ними и вполне мог преуспеть, кабы не несчастная оплошность, допущенная при креплении хвостового узла. Он разбился: «quod, — говорит Вильям Мальмсберийский, — caudam in posteriori parte oblitus fuerat adaptare».

Даже в том, что представляется нам до крайности современным, темные века не так уж и сильно от нас отстают. Во всяком случае, люди той поры давали замечательные названия некоторым из самых зверских своих коктейлей, к примеру: «Задира», «Бешеный Пес», «Отче-Шлюхин Сын», «Ангельская Снедь», «Млеко Дракона», «Лезь-на-Стену», «Шире Шаг» и «Ноги Вверх».

Вид из окна открывался прелестный, хоть отчасти и непривычный. Там, где у нас лежат разгороженные поля и парки, у них располагались крестьянские общинные земли, вересковые пустоши, огромных размеров леса и болота. Шервудский лес тянулся на сотни миль от

Ноттингема до самого Йорка. Население трудолюбиво занималось бортничеством, распугивало грачей, пахало на волах, — тут вам придется заглянуть в «Люттереллов Псалтырь», замечательно изображающий эти занятия. В те дни, если вас интересовали разного рода странности, вы могли бы, при определенном везении, увидеть из окна скачущего мимо рыцаря. Ваше внимание наверняка привлекла бы его голова, обритая вкруг ушей и на затылке, — на макушке, однако, волосы торчали вверх, как у японской куклы, так что в целом голова походила на деревенский каравай с солонкой наверху. Этот пук волос, да еще прикрытый шлемом, отменно гасил удар. Следом, возможно, проехал бы (и вероятно, на иноходце) клирик, — у него с волосами дело обстояло в точности наоборот, ибо его макушка благодаря тонзуре была совершенно голой. Когда он в первый раз являлся к епископу, чтобы тот возвел его в сан, он приносил с собой ножницы. Затем, если бы вам захотелось увидеть какого-нибудь совсем уже удивительного всадника, вы могли бы дождаться крестоносца, поклявшегося освободить Гроб Господень. Вы, разумеется, ожидали бы увидеть крест на его накидке, но вряд ли вам могло прийти в голову, что он поместит этот

символ практически везде, где только сможет, — до того ему было любо избранное им занятие. Подобно новопосвященному бойскауту, охваченному энтузиазмом, он лепил крест и на щит своего герба, и на кафтан, и на шлем, и на седло, и на конскую узду. Следующим проезжим мог оказаться какой-нибудь мирской брат, принадлежащий к одному из цистерианских орденов, и по его одеянию вы определенно решили бы, что он — человек ученый. Увы, он-то как раз и был неграмотен ex officio[25]. Вся его служба состояла в наложении свинцовых печатей на папские буллы, и ради сохранения тайны папской переписки на эти должности набирали людей надежных, таких, что и буквы прочесть не сумеют. Следом мог объявиться сакс — при бороде и в подобии фригийского колпака, носимого в знак непокорства, следом — рыцарь из болот, что на северной границе. Последний, поскольку он жил ночным разбоем, мог изукрасить свои одежды, запустив месяц и звезды по лазурному фону. В какой-то части пейзажа вы могли бы приметить дымок, возносящийся над мехами алхимика, пытавшегося, с похвальным прилежанием, обратить

**[25] notes: 25**
По должности (лат.)

свинец в золото, — искусство, недоступное нам и поныне, хотя мы уже подбираемся к нему посредством атомного синтеза. Дальше, в окрестностях монастыря, вы, пожалуй, смогли бы различить сердитых монахов, босиком марширующих вокруг своей обители, — они, надо полагать, разругались с аббатом, ибо, насылая на него порчу, двигались против солнца. Теперь взгляните вон в том направлении, видите, там виноградник с оградою из костей, — в начале правления Артура удалось совершить открытие, согласно которому из костей получаются превосходные ограды для виноградников, погостов и даже для укрепленных фортов, — а если вы посмотрите вон туда, вам, быть может, удастся разглядеть ворота замка, сильно похожие на выставку охотничьих трофеев. Ворота сплошь покрывали прибитые к ним головы волков, медведей, оленей, ну и так далее. А там, вдали, чуть левее, вполне мог протекать — в соответствии с правилами, изложенными Жоффруа де Прейи, — рыцарский турнир, и королевские герольды тщательно, словно рефери перед боксерским матчем, осматривали бойцов, проверяя, не прикрепились ли они как-нибудь к седлам. Во времена предполагаемого короля Эдуарда III такие вот рефери перед самым началом

судебного поединка, имевшего состояться между неким графом Солсберийским и Солсберийским же епископом, обнаружили, что под доспехами у бойца, выступавшего за епископа, по всему телу нашиты на одежду молитвы и волшебные заклинания. — а это было все равно что боксеру засунуть в перчатку конскую подкову. Прямо под самым окном могла угрюмо проехать верхами пара мучимых запором папских нунциев, возвращающихся в Рим. Одна такая пара была как-то послана к Варнаве Висконти с буллами, в которых он отлучался от церкви, Варнава же лишь заставил их съесть привезенные буллы — пергаменты, ленты, свинцовые печати и все остальное. Сразу за ними мог проплестись под окном пилигрим-наемник, опираясь на крепкий узловатый посох, подбитый железом, как альпеншток, и сгибаясь под бременем медалей, на коих почиет благодать, святых реликвий, черепков с таинственными надписями, нерукотворных ликов и тому подобного. Сам себя он именовал паломником и, если ему уже удалось вдоволь пространствовать, реликвии его могли включать перо Архангела Гавриила, несколько углей из тех, на которых поджарили Св. Лаврентия, палец Святого Духа — «целый и крепкий, каким и был

он вовеки», «сосуд с потом Св. Михаила, собранным после его борений с диаволом», малую часть «куста, из коего Господь воззвал к Моисею», камзол Св. Петра или же толику молока Пресвятой Девы, что сохраняется в Уолсингеме. За паломником могла крадучись проследовать личность несколько более греховная — один из тех, кто «днем спит, ночью же бдит, ест хорошо и пьет хорошо, но имением не владеет». Это мог быть грабитель, о подобных коему в ту пору писали:

А для воров закон таков: хватай и вяжи лиходея, И без жалости вешай на крепком суку,

и пусть его ветер греет.

Но до того, как закачаться на ветру, он еще поживет свободной жизнью. Его подруга твердо ступает с ним рядом, и за ее голову также обещана награда, — она коротко остригла волосы перед тем, как уйти в леса, и зовется «разбойничьей женкой». Время от времени она оглядывается, — не кричат ли уже позади «держи вора!», не видать ли погони.

Здесь мог появиться барон, перед которым несут с осторожностью горячий пирог, ибо один раз в году он обязан приносить такой пирог Королю, дабы Король Артур понюхал его, принимая запах в виде уплаты ленной повинности. Мог по-

казаться и другой барон, преследующий с копьем наперевес какого-нибудь дракона, — бум! — и барон рушился наземь, а конь трусил себе дальше. Впрочем, если такое случалось, один из слуг тут же подводил ему своего коня и помогал взобраться на оного, — как и мы в наши дни поступили бы с тем, кто возглавляет охоту, — ибо таков был феодальный закон. Далеко на севере, под уже выцветающим закатным небом, мог вдруг затеплиться свет в окне деревенского дома, где некая трудолюбивая ведьма не только вылепливала из воска фигурку человека, который не пришелся ей по душе, но даже подвергала фигурку обряду крещения, — момент безусловно важный, — прежде чем утыкать ее булавками. Кстати сказать, один из ее друзей-священников, впрочем, сменивший хозяина, с охотой служил заупокойные мессы по любому, от кого вам желательно было избавиться, — и дойдя до слов «Requim aeternum dona ei, Domine»[26], — выговаривал оные истово, хотя подразумеваемый человек был еще жив. Столь же далеко на востоке вы могли бы под тем же закатом увидеть Ингерранда де Мариньи, того самого, который построил огромную висели-

**[26] notes: 26**
Вечный покой дай ему, Господи (лат.)

цу в Монфальконе, теперь и сам он, повинный в занятиях Черной Магией, клацая костями, догнивает на этой виселице. По дороге могли проскакать Герцоги — Беррийский с Бретонским — два достойных человека в похожих на стальные атласных кирасах. Эти двое не пожелали воспользоваться преимуществами, какие дают доспехи, и поскольку в атласных одеждах было не так жарко, они решили ничем, кроме отваги, не отличаться от обыкновенных людей. Нечто подобное мог бы проделать и Ланселот. Над ними на склоне холма мог, оставаясь незамеченным, восседать Развеселый Уот с всегдашним своим туеском, наполненным дегтем. Он представлял собой типичнейшую фигуру Страны Волшебства, деготь же предназначался для овец — это был антисептик. Если бы вы сказали ему: «У нас тут всяк сам себе барин», — он бы согласился с вами немедленно, ибо он-то эту пословицу и выдумал, а уж мы ее после переиначили, заменив барана на барина.

Еще на большем расстоянии мог обнаружиться банкрот, нещадно секомый на каком-нибудь из торжищ Московии, — не от плохого к нему отношения, но по причине жгучей надежды, что если он будет вопить достаточно громко, кто-нибудь

из его друзей либо родичей, стоящих в толпе, проникнется состраданием и уплатит его долги. Далее к югу, в сторону Средиземноморского бассейна, вы могли бы увидеть моряка, караемого, согласно закону Ричарда Львиное Сердце, за пристрастие к азартной игре. Кара заключалась в том, что моряка три раза бросали с грот-мачты в море, и всякий раз, что он плюхался в воду, товарищи его ободрительно вопили «ура». А на рынке прямо под вами вполне могло совершаться третье затейливое наказание. Виноторговца, коего товар оказывался дурного качества, привязывали к позорному столбу и принуждали выпить непомерное количество его же собственного вина, а все оставшееся выливали ему на голову. И как же болела назавтра бедная голова! Посмотрев вон в ту сторону, вы могли бы, если у вас достаточно широкие взгляды, получить удовольствие, наблюдая за разухабистой Алисой, наградившей ухажера удивительным поцелуем, как о том сообщает Чосер. Посмотрев же в эту сторону, вы обнаружили бы отчаявшегося Мельника и его семейство, пытающееся разобраться в светопреставлении, случившемся прошлой ночью в их доме из-за сдвинутой с ее места колыбели, о чем повествует в своем рассказе Мажордом. На

игровой площадке вон той монастырской школы несколько школяров со священным трепетом разглядывают своего однокашника, коему хватило находчивости и удачи наповал уложить из новомодной пушки Графа Солсберийского. И может быть, рядом с площадкой в вечернем свете роняют лепестки цветущие сливы, появившиеся, подобно Мерлиновой шелковице, совсем недавно. Другой мальчуган, на сей раз четырехлетний король Шотландии, с грустью вручает своей няньке королевский рескрипт, дозволяющий ей шлепать короля без риска быть обвиненной в государственной измене. Весьма малопочтенного вида армия — в сущности, организованная банда, привыкшая добывать себе пропитание мечом, — могла бродить от дверей к дверям, выпрашивая куски (участь, коей достойна всякая армия); а человеку, нашедшему убежище вон в той церкви, что к востоку отсюда, вполне могли оттяпать ногу, высуни он ее на полшага за дверь. В том же самом пристанище вы обнаружили бы целое общество фальшивомонетчиков, воров, убийц и неисправных должников, которые в успокоительном уединении церкви, где никто их не арестует, старательно чеканили фальшивые деньги или острили ножи, приготовляясь к вечер-

ней прогулке. Худшее, что могло приключиться с ними после того, как они здесь укрылись, — это изгнание из страны. В этом случае им пришлось бы пешком тащиться до Дувра, все время держась середины дороги и сжимая распятие, — если они хоть на миг выпускали его из рук, на них разрешалось напасть, — а добравшись туда, им надлежало, если корабля для них сразу не находилось, по горло зайти в воду, доказывая тем самым, что они взаправду стараются покинуть страну.

Известно ли вам, что в ту мрачную эпоху, которую мы изучаем, глядя в окно Гвиневеры, людям доставало благопристойности, чтобы подчиняться Католической Церкви, когда она налагала запрет на любые военные действия, — этот запрет назывался Божиим Перемирием, а длилось оно с пятницы до Понедельника, а равно во весь Рождественский и Великий Посты? Неужели вы полагаете, что эти люди с их битвами, голодом, Черной Смертью и рабством были менее просвещенными, нежели мы с нашими войнами, блокадами, гриппом и всеобщей воинской повинностью? Пусть они даже были настолько глупы, что верили, будто Земля является центром Вселенной, сами-то мы разве не верим, что человек — это цвет творения? Если рыбы потратили мил-

лион лет на превращение в рептилий, так ли уж неузнаваемо переменился Человек за несколько прожитых нами столетий?

# 4

Закат рыцарства, вот что наблюдали из башенного окна Ланселот с Гвиневерой. Силуэты их темных профилей долго оставались явственными на фоне меркнущего неба. Профиль Ланселота, старого и страховидного, напоминал своими очертаниями профиль горгульи. Такой же лик, погруженный в ужасное созерцание, мог глядеть с собора Нотр-Дам, построенного при жизни Ланселота. Впрочем, лицо достигшего зрелости Ланселота исполнилось благородства, прежде ему несвойственного. Жуткие линии его углубились и успокоились, превратившись в складки, свидетельствующие о сиде. Подобно бульдогу, с которым природа обошлась хуже, чем с кем бы то ни было из собак, Ланселот обрел, наконец, лицо, внушающее доверие.

Самое трогательное состояло в том, что эти двое пели. Голоса их, уже не полнозвучные, как у людей в расцвете молодых сил, еще сохранили способность уверенно вести мелодию. Пусть даже и слабые, они оставались чистыми и поддерживали друг дружку.

Как месяц Май придет, (пел Ланселот) И солнце

обольет Лучами день младой, Уж мне не страшен бой.

— Когда, — пела Гвиневера, —

Когда небесный свод Вкруг солнце обойдет, Пускай приходит мгла, О ночь, ты мне мила.

— Но ах! — выпевали оба, —

Но ах! И день, и ночь, Уйдут когда-то прочь, И для души остылой Ничто не будет мило.

Маленький настольный орган издал неожиданную трель, они прервали пение, и Ланселот сказал:

— Хороший у тебя голос. Мой, боюсь, становится скрипучим.

— А ты бы пил поменьше.

— Ну, это уже нечестно! Да я со времен Грааля, считай, спиртного почти и в рот не беру.

— Я бы предпочла, чтобы ты и вовсе не пил.

— Что ж, значит, бросаю пить — даже воду. Вот умру у твоих ног от жажды, и Артур устроит мне роскошные похороны, а тебе никогда моей погибели не простит.

— Да, и я отправлюсь за мои грехи в монастырь и буду жить счастливо до скончания дней. Что мы теперь споем?

— Ничего, — сказал Ланселот. — Мне не хочется петь. Иди сюда, Дженни, сядь рядом со мной.

— Тебя что-то гнетет?

— Нет. Я в жизни не был так счастлив. Да, думаю, и не буду.

— Отчего же ты счастлив?

— Не знаю. Оттого, что весна все же пришла, а впереди у нас веселое лето. Руки у тебя опять потемнеют, вот здесь, наверху, кожа слегка зарумянится, и порозовеют скругленья локтей. Знаешь, что я больше всего люблю в твоих руках? Изгибы, — складки над локтями, к примеру.

Гвиневера уклонилась от этих чарующих комплиментов.

— Интересно, чем сейчас занят Артур?

— Артур навещает Гавейнов, а я говорю о твоих локтях.

— Я слышу.

— Дженни, я счастлив, оттого что ты распоряжаешься мной. Вот и все объяснение. Пристаешь ко мне, чтобы я пил поменьше. Мне нравится, что ты заботишься обо мне, говоришь, что я должен делать.

— По-моему, ты в этом нуждаешься.

— Нуждаюсь, — подтвердил он. И вдруг с внезапностью, удивившей обоих: — Можно, я сегодня приду?

— Нет.

— Почему?

— Ланс, ну что ты спрашиваешь! Ты же знаешь, Артур дома, это слишком опасно.

— Артур не против.

— Если Артур вынужден будет поймать нас, — рассудительно сказала она, — ему придется нас убить.

С этим он не согласился.

— Да Артур все про нас знает. Его и Мерлин предупреждал со всеми подробностями, и Моргана ле Фэй прислала ему два совершенно прозрачных намека, и потом еще эта история с сэром Мелиагрансом. Он никогда не станет ловить нас, если его не заставят.

— Ланселот, — сердито сказала она, — я не могу позволить тебе говорить об Артуре так, словно он какой-нибудь сводник.

— А я и не говорю о нем так. Он лучший мой друг, и я люблю его.

— Ну, значит, ты говоришь обо мне так, словно я еще и похуже.

— Вот именно так ты себя сейчас и ведешь.

— Очень хорошо! Если тебе нечего больше сказать, лучше уйди.

— Чтобы ты могла без помехи лечь с ним в постель, я так понимаю.

— Ланселот!

— Ах Дженни! — Он вскочил, легкий, как прежде, и поймал ее, не давая уйти. — Не сердись. Прости, если я обидел тебя.

— Убирайся! Оставь меня в покое!

Но Ланселот держал ее по-прежнему крепко, как человек, не дающий дикой зверушке вырваться и удрать.

— Не сердись. Прости. Ты ведь знаешь, я так не думаю.

— Животное ты все-таки.

— Нет. И я не животное, и ты не животное. Дженни, я буду тебя держать, пока ты не перестанешь злиться. Я сказал это, потому что почувствовал себя несчастным.

Ее голос, глухой и сдавленный, жалобно произнес:

— Только сию минуту ты говорил, что счастлив.

— Ну, говорил. И все равно я несчастен и весь свет мне не мил.

— Думаешь, только тебе одному?

— Нет, не думаю. Прости мне мои слова. Мне самому они радости не прибавили. Будь умницей, ладно? и не заставляй меня мучиться еще сильнее.

Гвиневера смягчилась. Годы умерили пылкость их прежних ссор.

— Ладно.

Но улыбка ее и податливость лишь заново разбередили его.

— Дженни, давай уедем отсюда вместе.

— Прошу тебя, не начинай все сначала.

— Не могу я не начинать, — отчаянно сказал он. — Я не знаю, что делать. Господи, это тянется всю нашу жизнь, но отчего-то весной всегда становится хуже. Ну почему тебе не уехать со мной в Веселую Стражу и не жить там в открытую?

— Ланс, отпусти меня и постарайся быть благоразумным. Ну-ка, садись, давай споем еще что-нибудь.

— Не хочу я петь.

— А я не хочу этих разговоров.

— Если ты уедешь со мной в Веселую Стражу, все наши мучения кончатся раз и навсегда. Мы сможем жить вместе, мы будем счастливы, нам не придется никого обманывать день за днем, и мы умрем с миром в душе.

— Ты же сам сказал, что Артур все знает о нас, — отвечала она, — и что мы вовсе его не обманываем.

— Да, но это другое дело. Я люблю Артура, и я не

могу видеть, как он глядит на меня, и сознавать, что он все знает. Ты же понимаешь, Артур любит нас обоих.

— Но, Ланс, если ты так его любишь, как же ты убежишь с его женой?

— Я хочу, чтобы все было честно, — упрямо сказал он, — хотя бы под конец.

— Ну, а я этого не хочу.

— На самом-то деле, — его вновь обуял гнев, — ты просто хочешь иметь двух мужей. Женщинам всегда подавай все сразу.

Она терпеливо отвергла ссору.

— Не хочу я иметь двух мужей, и чувствую я себя так же скверно, как ты, — но что хорошего получится, если мы станем жить открыто? Нынешнее наше положение ужасно, но по крайней мере Артур знает об этом про себя, и нам можно любить друг друга и чувствовать себя в безопасности. А если я убегу с тобой, все рухнет. Артуру придется объявить тебе войну, осадить Веселую Стражу, и тогда один из вас погибнет, если не оба, и погибнут еще сотни людей, и никому от этого лучше не станет. Да и не хочу я покидать Артура. Когда я выходила за него замуж, я обещала оставаться с ним, и кроме того, я привязана к нему. Здесь я могу хотя бы заботиться о нем и помогать

ему, даже если я люблю и тебя тоже. Не вижу я в этой твоей открытости смысла. Зачем нам делать Артура жалким в глазах всего света?

Ни он, ни она не заметили в густеющих сумерках, что пока она говорила, на пороге покоя появился Король. Сидя боком к окну, они почти не видели комнаты. Долю секунды Король простоял, собираясь с мыслями, витавшими далеко отсюда — погруженными в заботы об Оркнейцах или в иные дела государства. Он остановился в занавешенном проеме дверей, бледная длань его, отведшая в сторону гобелен, еле заметно блеснула в темноте перстнем с королевской печатью, затем, не задержавшись ни на миг, чтобы послушать их разговор, он выпустил ткань и отступил. Он отправился на поиски пажа, чтобы тот объявил о его появлении.

— Самое честное, — говорил Ланселот, скручивая зажатые между коленями руки, — самое честное для меня — это уехать и не возвращаться. Но если я еще раз сделаю такую попытку, разум мой больше не выдержит.

— Бедный мой Ланс, и что бы нам было не петь дальше! Теперь ты снова впадешь в тоску, и у тебя опять будет приступ. Почему мы не можем оставить все как есть, — пусть твой замечатель-

ный Бог сам обо всем позаботится. Есть ли смысл в потугах что-то делать или придумывать исходя из того, что вот это правильно, а это неправильно? Да не знаю я, что правильно, а что нет. Разве не можем мы довериться самим себе, делать, что делается, и уповать на лучшее?

— Ты его жена, а я его друг.

— Хорошо, — сказала она, — кто заставил нас полюбить друг друга?

— Дженни, я не знаю, что делать.

— Ну, и не делай ничего. Иди ко мне, поцелуй меня по-доброму, и Бог о нас позаботится.

— Милая!

На этот раз к ним поднялся по лестнице паж, громко топая, как оно водится у пажей, и неся с собой свечи. О свечах распорядился Артур.

Вокруг поспешно отпрянувших друг от друга любовников засветилась своими красками комната. По мере того, как мальчик зажигал свечи, из темноты проступало великолепие ее драпировок. Со всех четырех стен, струясь, стекали пестрящие цветами луга и полные птиц рощи Арраса. Дверная завеса снова приподнялась, и в комнату вошел Король.

Он выглядел старым, старше их обоих. Но то была благородная старость, исполненная ува-

жения к себе. Даже и в наши дни можно порой повстречать человека шестидесяти или более лет, черноволосого и прямого, словно тростник. К этому разряду принадлежали и наши герои. Ланселот, теперь мы можем его как следует разглядеть, казался прямым олицетворением лучшего, что есть в людской природе, — человеком, у которого чувство ответственности стало почти фанатическим. Гвиневера, — и это могло бы, пожалуй, удивить тех, кто знавал ее в пору, когда в душе ее бушевала буря, — выглядела мягкой и миловидной. Она едва ли не вызывала желание встать на ее защиту. Но из этих троих более всех трогал сердце Артур. Он был так просто одет, так мягок, так терпелив в обхождении со своими скромными принадлежностями. Часто, когда Королева развлекала избранное общество в освещенной факелами Главной Зале, Ланселот находил Артура в маленькой комнатке, где тот сидел в одиночестве, штопая собственные чулки. Ныне он — в синей домашней мантии, синей, поскольку эта краска была в те дни весьма дорогой и предназначалась для королей, либо святых, либо ангелов на картинах, — ныне он, улыбаясь, стоял на пороге мерцающей комнаты.

— Привет, Ланс. Привет, Гвен.

Гвиневера, у которой еще не выровнялось дыхание, ответила на приветствие:

— Привет, Артур. Ты застал нас врасплох.

— Прости. Я только-только вернулся.

— Как там Гавейны? — спросил Ланселот тоном, который давно уже стал привычным и который ему так и не удалось сделать естественным.

— Когда я вошел, они дрались.

— Это на них похоже! — воскликнули Ланселот с Гвиневерой. — И что же ты сделал? Из-за чего они передрались?

Голоса их звучали так, словно речь шла о жизни и смерти, ибо собственное их состояние мешало им верно понять состояние Короля.

Король смотрел прямо перед собой.

— Я не спросил.

— Скорее всего, — сказала Королева, — какая-нибудь семейная история.

— Скорее всего.

— Надеюсь, никто не пострадал?

— Никто не пострадал.

— Ну и прекрасно, — вскричала она, сама заметив, что звучащее в ее восклицании облегчение выглядит нелепо, — выходит, что все хорошо.

— Да, выходит, что все хорошо.

Они заметили, как искрятся его глаза. Их встре-

воженность забавляла его, — стало быть, все в порядке.

— Ну-с, — сказал Король, — нам непременно нужно и дальше толковать о Гавейнах? Получу я наконец поцелуй от собственной жены?

— Дорогой.

Она потянулась к мужу и поцеловала его в лоб, думая о нем, как о старом и верном друге, — как о ручном медведе.

Ланселот поднялся.

— Мне, может быть, лучше уйти?

— Останься, Ланс. Так приятно хоть немного побыть с вами наедине. Иди сюда: сядь к огню, спой нам песню. Скоро нам уже и огонь не понадобится.

— Да, — сказала Гвиневера. — Как странно, скоро уже лето.

— И все равно приятно посидеть у огня, — дома.

— Хорошо вам сидеть у себя дома, — странным тоном сказал Ланселот.

— О чем это ты?

— У меня-то дома нет.

— Не горюй, Ланс, еще будет. Подожди, пока доживешь до моих лет, а там уж и начинай тревожиться по этому поводу.

— Можно подумать, — сказала Королева, — что не каждая встречная женщина гонится потом за тобой целую милю, а то и две.

— С ищейками, — добавил Артур.

— Да к тому же половина из них напрямик делает тебе предложение.

— И ты еще жалуешься, что у тебя дома нет. Ланселот рассмеялся, последний ледок напряжения был сломан.

— А ты, — спросил он, — женился бы на женщине, которая гоняется за тобою с ищейками?

Прежде чем ответить, Король серьезно обдумал вопрос.

— Я бы не смог, — сказал он наконец, — я, видишь ли, уже женат.

— На Гвен, — сказал Ланселот.

Странно. Казалось, они разговаривали уже не словами, но значениями, отличными от слов. Как муравьи, беседующие при посредстве антенн.

— На Королеве Гвиневере, — поправил его Король.

— Или на Дженни? — предположила Королева.

— Да, — согласился он, но лишь после долгой паузы, — или на Дженни.

Наступило еще более глубокое молчание, и в

конце концов Ланселот снова встал.

— Ну ладно, мне нужно идти. Артур положил ладонь ему на руку.

— Нет, Ланс, останься на минуту. Я хочу кое-что рассказать Гвиневере сегодня и предпочел бы, чтобы и ты послушал. Мы столько времени прожили вместе. Я хочу исповедаться в одной давней истории, а ты как-никак один из членов нашей семьи.

Ланселот сел.

— Ну, вот и хорошо. Теперь дайте мне каждый руку, а я сяду между вами, вот так. Ну что же. Моя Королева и мой Ланс, и ни один из вас не укорит меня тем, что я собираюсь вам рассказать.

Ланселот с горечью произнес:

— Не нам укорять кого бы то ни было, Король.

— Да? Ну ладно, я не знаю, что ты имеешь в виду, но я хочу рассказать вам кое о чем, сделанном мной в молодости. Это еще до того, как я женился на Гвен, и задолго до твоего посвящения в рыцари. Вы согласны меня послушать?

— Конечно согласны, если тебе это нужно.

— Только мы не верим, будто ты сделал что-либо дурное.

— Собственно говоря, все началось еще до моего рождения, когда отец полюбил Графиню

Корнуольскую и убил Графа, чтобы ее получить. Она была моей матерью. Эта часть истории вам известна.

— Да.

— Возможно, вы не знаете, что я родился не в самое удачное время. Слишком скоро после бракосочетания отца и матери. Потому-то они и скрыли мое рождение и еще в пеленках отослали меня к сэру Эктору, чтобы он меня вырастил. Сам Мерлин меня и отвез.

— А потом, — весело сказал Ланселот, — когда твой отец умер, тебя привезли ко двору, и ты вытащил из камня волшебный меч и доказал, что ты — по праву рождения Король над всей землею Английской, и с той поры жил счастливо, и на том вся история и кончается. Я бы не назвал ее такой уж плохой.

— К сожалению, на этом она не кончается.

— Как это?

— Видите ли, дорогие мои, меня отобрали у матери, едва я родился, и куда меня дели, она не знала. Не знал и я, кто моя мать. Единственными людьми, осведомленными о нашем с нею родстве, были Утер Пендрагон и Мерлин. Много лет спустя, уже став королем, я познакомился с родичами моей матери, так и не зная, кем они

мне приходятся. Утер уже умер, а Мерлин вечно путался в своем ясновидении и просто забыл рассказать мне о них, поэтому мы встретились как чужие друг другу. Одну из моих родственниц я нашел очень умной и привлекательной.

— Знаменитые Корнуольские сестры, — холодно обронила Королева.

— Да, дорогая, знаменитые Корнуольские сестры. У покойного Графа было три дочери, приходившихся мне, хоть я того и не знал, сводными сестрами. Их звали Моргана ле Фэй, Элейна и Моргауза, они почитались первыми красавицами Британии.

Двое слушателей ждали, когда тихий голос Короля возобновит рассказ, что он и сделал, не дрогнув.

— Я влюбился в Моргаузу, — прибавил он, — и у нас родился ребенок.

Если кто-то из двоих и почувствовал удивление, негодование, сострадание или зависть, они их не выказали. Их больше всего удивило, что тайну удалось сохранить столь долгое время. Оба они по голосу Короля почувствовали, что он мучается, и не хочет, чтобы его прерывали, пока он до конца не облегчит свою душу.

В молчании, они долго смотрели в огонь, это

была самая длинная пауза в разговоре. Наконец Артур пожал плечами.

— Так что, сами видите, — сказал он, — я отец Мордреда. Гавейн и прочие — племянники мне, а Мордред настоящий мой сын.

По глазам Короля Ланселот понял, что можно говорить.

— И все равно твоя история не кажется мне такой уж греховной. Ты же не ведал, что Моргауза приходится тебе сводной сестрой. И Гвен ты еще не знал. А судя по дальнейшей жизни Моргаузы, вина скорее всего лежит целиком на ней. Это была не женщина, а дьявол.

— Она была моей сестрой — и матерью моего сына.

Гвиневера погладила его руку.

— Какое несчастье.

— Кроме того, — сказал Король, — она была очень красива.

— Моргауза… — начал Ланселот.

— Моргауза заплатила отрубленной головой за свои прегрешения, и потому нам лучше оставить ее покоиться с миром.

— Отрубленной, — сказал Ланселот, — ее же собственным сыном, заставшим ее в постели с сэром Ламораком…

— Прошу тебя, Ланселот.

— Извини.

— Я все же не думаю, что грех лежит на тебе, Артур. В конце концов ты ведь не знал, что она твоя сестра.

Король глубоко вздохнул и продолжил рассказ, только голос его стал глуше.

— Вы еще не знаете, — сказал он, — худшего из того, что я совершил.

— Чего же?

— Понимаете, я был молод, мне было всего девятнадцать. А Мерлин явился слишком поздно, чтобы объяснить мне, что происходит. Все вокруг втолковывали мне, какой ужасный грех я совершил, и как ничего, кроме бед, из него не воспоследует, и еще много разного о том, на что будет похож Мордред, когда родится. Меня запугали жуткими предсказаниями, и я совершил нечто, с тех самых пор не дающее мне покоя. Видите ли, наша мать, как только все вышло наружу, где-то укрыла Моргаузу.

— И что ты сделал?

— Я повелел объявить, что всех детей, рожденных в определенный срок, надлежит поместить на большой корабль, и корабль пустить в море. Я хотел уничтожить Мордреда для его лее блага, а

где ему предстоит родиться, того я не знал.

— И это было сделано?

— Да, корабль отплыл, Мордред оказался на нем, и корабль разбило об остров. Большая часть несчастных младенцев утонула, но Мордреда Бог сохранил и привел его ко мне, чтобы вечно мучить меня стыдом. Моргауза все открыла ему спустя долгое время после того, как получила его назад. Но перед другими людьми она всегда делала вид, будто он законный сын Лота, подобно Гавейну и всем остальным. Естественно, ни ей, ни его братьям не хотелось рассказывать посторонним об этом деле.

— Ну что же, — сказала Гвиневера, — если никто об этом не знает, исключая Оркнейцев и нас, и если Мордред все-таки уцелел…

— Ты забыла про остальных младенцев, — жалко сказал Король. — Они мне снятся все время.

— Почему ты нам раньше этого не рассказывал?

— Мне было стыдно.

Тут уж Ланселота прорвало.

— Артур, — воскликнул он, — чего тебе стыдиться? Это не ты сделал, это сделали с тобой, когда ты был еще слишком молод, чтобы толком во всем разобраться. Попались бы мне в руки ско-

ты, запугивающие детей россказнями о грехах, я бы им шеи переломал. Какая польза от таких разговоров? Сколько людей от них пострадало — и ради чего?! И те несчастные дети!

— Они все утонули.

Трое еще посидели, глядя в огонь, затем Гвиневера повернулась к мужу.

— Артур, — спросила она, — а почему ты рассказал нам об этом сегодня?

Он помолчал, подбирал слова.

— Видишь ли, я боюсь, что Мордред втайне питает ко мне неприязнь, — и, в общем, вполне заслуженную.

— Измена? — осведомился главнокомандующий.

— Да нет, Ланс, не то чтобы измена, но, по-моему, его томит недовольство.

— Ну так отруби этому слюнтяю голову, и делу конец.

— Что ты, я и подумать об этом не могу! Ты забываешь, что Мордред мой сын. Я люблю его. Я и без того причинил мальчику много зла, да и род мой почему-то вечно обижал Корнуоллов, так мне еще этого греха не хватало. Кроме того, я все же отец ему. Я вижу в нем себя самого.

— Что-то не улавливаю я особого сходства.

— Тем не менее оно существует. Мордреду присуще стремление к славе и почестям, а я и сам всегда им отличался. Просто он немощен телом и оттого не способен показать себя в наших играх, и это озлобило его, как, наверное, озлобило бы и меня, если бы мне не сопутствовала удача. Наконец, он на свой причудливый манер отважен и предан своим сородичам. Понимаешь, мать настроила его против меня, это вполне естественно, и по его разумению во мне воплотилось все, что есть дурного на свете. Я почти уверен, что в конце концов он меня убьет.

— И ты всерьез почитаешь это веской причиной, чтобы не убить его прямо сейчас?

Лицо Короля отразило вдруг удивление, если не ужас. До этой минуты он покойно сидел между ними, усталый и несчастный, теперь же встал и взглянул своему капитану прямо в глаза.

— Тебе следует помнить о том, что я — Король Англии. А король не может казнить людей, когда ему заблагорассудится. Король стоит во главе своего народа, он обязан служить народу примером и исполнять народную волю.

Испуг на лице Ланселота смягчил Короля, и он снова взял своего друга за руку.

— Ты должен понять, — пояснил он, — что ко-

гда короли ведут себя по-бандитски и верят в одну только силу, народ тоже превращается в бандитскую шайку. Если я не буду стоять на страже закона, мой народ лишится его. А я, естественно, хочу, чтобы мой народ жил по новым законам, потому что они принесут ему процветание, а если будет благополучен народ, значит, и я буду благополучен.

Двое смотрели на него, пытаясь понять, что он им хочет внушить. Он не позволял им отвести взгляда, стараясь говорить не с ними, а с их глазами.

— Ты понимаешь, Ланс, я обязан быть абсолютно честным. Я не могу позволить, чтобы что-то еще отяготило мою совесть, довольно мне и этих младенцев. Единственный путь, на котором я могу устранить силу, это путь правосудия. Король не только не должен желать казни для своего недруга, настоящий король обязан с готовностью предать казни друга.

— В том числе и жену? — спросила Гвиневера.

— В том числе и жену, — серьезно ответил Король.

Ланселот, испытывая неловкость, шевельнулся на своей скамье и попытался пошутить:

— Я надеюсь, что ты еще не в ближайшем буду-

щем собираешься отрубить Королеве голову.

Король продолжал держать его за руку и смотрел ему прямо в глаза.

— Если будет доказано, что Гвиневера или ты, Ланселот, повинны в причинении зла моему королевству, я буду обязан отрубить вам обоим головы.

— Силы небесные! — воскликнула Гвиневера. — Надеюсь, никто не станет это доказывать!

— Я тоже надеюсь.

— А Мордред? — помолчав немного, спросил Ланселот.

— Мордред — несчастный молодой человек, и я боюсь, что он способен прибегнуть к любому средству, лишь бы мне повредить. Если ему, к примеру, представится возможность подобраться ко мне, используя тебя либо Гвен, он, я думаю, не преминет ею воспользоваться. Ты понимаешь, что я имею в виду?

— Понимаю.

— Поэтому если вдруг наступит минута, когда кто-либо из вас окажется… когда возникнет опасность, что он сможет воспользоваться вами как средством… прошу вас, ради меня, будьте настороже, ладно? Я весь в ваших руках, мои дорогие.

— Но мне кажется совершенно бессмыслен-

ным…

— С самого первого дня, как он здесь появился, — сказал Ланселот, — ты был к нему добр. Почему же он должен желать тебе зла.

Король сидел, положив на колени руки, и казалось, смотрел на пламя из-под приспущенных век.

— Ты забываешь о том, — мягко сказал он, — что я так и не дал Гвен сына. Умри я, и Мордред сможет стать Королем Англии.

— Если он решится на измену, — стиснув кулаки, сказал Ланселот, — я сам прикончу его.

Перечеркнутая синими венами длань Короля тут же легла ему на руку.

— Вот единственное, чего ты не должен делать ни в коем случае, Ланс. Что бы не учинил Мордред, пусть он даже покусится на мою жизнь, обещай мне помнить, что по крови он мой прямой наследник. Я предавался пороку….

— Артур, — воскликнула Королева, — ты не имеешь права так говорить. Это настолько смехотворно, что мне становится стыдно…

— Ты не согласна с тем, что я — человек порочный? — удивленно спросил Король.

— Конечно же, нет.

— А я-то думал, что после рассказа об этих мла-

денцах…

— Да никому, — с жаром вскричал Ланселот, — такое и в голову не придет!

Освещенный пламенем очага, Король встал. Вид у него был озадаченный и польщенный. Ему-то смехотворным казалось предположение, будто он не порочен, но он испытывал к ним благодарность за их любовь к нему.

— Хорошо, — сказал он, — во всяком случае, в дальнейшем я предаваться порску не намерен. Дело короля — по возможности предотвращать кровопролитие, а не подталкивать к нему.

Он еще раз взглянул на них исподлобья.

— Ну, мне пора, дорогие мои, — весело заключил он. — Мне еще нужно заглянуть в Суд по гражданским делам, кое-что подготовить по части нашего прославленного правосудия. Останься с Гвен, Ланс, развесели ее после этой злосчастной истории, ладно? Ну, вот и умница.

## 5

Говоря о своем намерении подготовить кое-что по части своего прославленного правосудия, Артур не подразумевал непосредственного участия в заседании суда. Правда, средневековые короли собственными персонами восседали в судах вплоть до так называемого Генриха IV, предположительно заседавшего и в Суде Казначейства, и в Суде Королевской Скамьи. Но сегодня было уже слишком поздно для законодательной деятельности. Артур просто собирался почитать ходатайства, предназначенные к завтрашнему слушанию, что он, как человек добросовестный, возвел для себя в обычай. Закон стал ныне главным его интересом, последним усилием в одолении Силы.

В пору Утера Пендрагона вообще не существовало закона, о котором стоило бы говорить, если не считать некой разновидности этикета, — ребяческого, однобокого и предназначенного только для высших слоев общества. Даже и теперь, несмотря на содействие отправлению Правосудия со стороны Короля, имевшего целью всемерно стеснить Сильную Руку, существовало

три разновидности законов, выпутаться из которых было порой весьма затруднительно. Артур старался выпарить из них нечто общее, объединив обычное, каноническое и римское право в единый кодекс, который, как он надеялся, будет называться «гражданским». Это занятие, как и чтение завтрашних ходатайств, ежевечерне призывало его к трудам, вершившимся в безмолвном уединении Судебной Залы.

Зала располагалась на другом конце дворца. На сей раз она была не так пуста, как ожидалось.

Хотя в ней и присутствовали пятеро, ожидавшие Короля, возможно, первым, на что обратил бы внимание современный посетитель, была все же сама Зала. Прежде всего бросалась в глаза совершенная ее квадратность, которой она была обязана драпировкам. Уже стемнело, так что окна были завешены, двери же оставались завешенными во всякое время, и в итоге человек чувствовал себя в ней, как в ящике: странное ощущение симметричного замкнутого пространства, знакомое, надо думать, бабочкам, попавшим в морилку. Увидеть здесь пятерых людей, значило удивиться, как они сюда попали, ибо это отдавало китайской головоломкой. По всем стенам, от пола до потолка тянулись в два ряда истории Давида

и Вирсавии, Сусанны и старцев, излагаемые на тканых картинах, веселые краски которых сияли в полную силу. Выцветшая ветошь, которую мы ныне разглядываем, утратила всякое сходство с яркими гобеленами, превращавшими Судебную Залу в расписную шкатулку.

Пламя свечей отблескивало на пятерых. Мебели, которая могла бы отвлечь от них взор, в комнате было немного — лишь длинный стол с пергаментами, разложенными на предмет просмотра их Королем, королевский трон да соединенный с сиденьем налой для чтеца в углу. Все краски этого места достались стенам да еще пятерке мужчин. Каждого из них облекал шелковый камзол с гербом, несшим в себе стропило с тремя цветками чертополоха и отличавшимся у мужчин помоложе различными знаками принадлежности к младшей ветви рода, так что вместе они походили на пятерку игральных карт, выложенных на стол. То было семейство Гавейна, по обыкновению ссорившееся.

Гавейн говорил:

— В последний раз тебя спрашиваю, Аггравейн, заткнешь ты пасть или нет? Я в это дело лезть не намерен.

— И я тоже, — сказал Гарет. Гахерис сказал:

— И я.

— Твое упрямство грозит клану расколом. Я тебе прямо говорю, ни один из нас тебе не помощник. Сам будешь выкручиваться.

Мордред взирал на них с выражением глумливого терпения.

— Я заодно с Агравейном, — сказал он. — Ланселот и тетя всех нас покрывают позором. Если никто не желает принимать на себя ответственность, значит, придется нам с Агравейном.

Гарет гневно повернулся к нему.

— Ты всегда был готов на любое недоброе дело.

— Спасибо.

Гавейн, сделал над собою усилие, стараясь, чтобы слова его прозвучали умиротворяюще. По природе своей он миротворцем не был, и потому усилие это выглядело воистину физическим, чем-то похожим на землетрясение.

— Мордред, — сказал он, — ради всего святого, прислушайся к голосу разума. Поимей храбрость отступиться и оставить все как есть. Я старше тебя и вижу, какое зло из этого выйдет.

— Что бы из этого ни вышло, я намерен обратиться к Королю.

— Пойми, Агравейн, если ты сделаешь это, начнется раздор. Ты разве не видишь, что Артуру

с Ланселотом придется обратиться друг против друга, и половина королей Британии примет сторону Ланселота из-за его великой славы, а значит начнется гражданская война?

Глава клана грузно надвинулся на Агравейна, словно незлобливый зверь, показывающий заученный фокус, и похлопал его по плечу огромной лапой.

— Ну, парень, будет тебе. Забудь, что мы с тобой подрались сегодня. На каждого по временам такое накатывает, но ведь мы с тобой все же родные братья. Я в толк не возьму, как у вас рука поднимается на сэра Ланселота, от которого мы столько лет ничего, кроме добра, не видели? Ты разве не помнишь, как он спас тебя, а заодно и Мордреда, от сэра Тарквина? Брось все это, ты же ему жизнью обязан. Да и я тоже, парень, — вспомни сэра Карадоса из Башни Слез.

— Он это сделал ради собственной славы.

Гарет обратился к Мордреду.

— В нашем кругу ты можешь говорить о Ланселоте и Гвиневере все, что тебе угодно, потому что это, к несчастью, правда, но я не желаю слышать, как ты глумишься над ними. Когда меня только приняли ко двору кухонным мальчиком, он был единственным, кто хорошо ко мне относился.

Он и малейшего понятия не имел, кто я такой, но постоянно дарил мне что-нибудь, старался меня ободрить и защищал от Кэя, — и именно он посвятил меня в рыцари. Каждый знает, что он за всю свою жизнь не совершил ни единого низкого поступка.

— Когда я был еще молодым рыцарем, — сказал Гавейн, — я, да простит меня Бог, ввязывался в сомнительные поединки и часто впадал в неистовство, — да, разил человека после того, как он уже сдался. Ну, и докатился до того, что убил девицу. А вот Ланселот не причинил зла ни единому существу, которое было слабее него.

Гахерис добавил:

— Он опекает молодых рыцарей и старается помочь им добыть себе славы. Не понимаю я, с чего вы на него взъелись.

Мордред пожал плечами, встряхнул рукавами камзола и изобразил зевок.

— Что до Ланселота, — отметил он, — так это Агравейн к нему неравнодушен. Мой раздор — с нашим добрым монархом.

— Ланселот, — заявил Агравейн, — больно высоко забрался.

— Ничего подобного, — сказал Гарет. — Он и есть самый великий человек, какого я знаю.

— Я не из тех, кто влюблен в него, будто школьник…

По другую сторону гобелена скрипнули петли на двери. Заскрежетала дверная ручка.

— Угомонись, Агравейн, — мягко и настоятельно сказал Гавейн, — не устраивай шума.

— Ну уж нет.

Рука Артура приподняла завесу.

— Прошу тебя, Мордред, — прошептал Гарет.

Король был уже в Зале.

— В конце концов, — сказал Мордред, повышая голос так, чтобы его нельзя было не услышать, — Правосудию должно распространяться и на Круглый Стол, иначе будет нечестно.

Агравейн, тоже притворяясь, будто он не заметил вошедшего, громогласно добавил:

— Настало время, когда кто-то должен сказать правду.

— Мордред, молчи!

— И ничего, кроме правды! — с некоторым даже триумфом закончил горбун.

Артур, чьими помыслами целиком владела предстоявшая ему работа, постукивая каблуками, прошел по каменным коридорам дворца и теперь безо всякого удивления стоял в дверях, ожидая дальнейшего. Украшенные стропилами

и чертополохом мужчины, повернувшись к вошедшему, увидели старого Короля в последние минуты его величия. Несколько мгновений они простояли в безмолвии, и Гарет с болью, всегда присущей обретению знания, увидел его таким, каков он был. Он увидел не романтического героя, но простого человека, сделавшего все, что было в его силах; не предводителя рыцарства, но ученика, постаравшегося сохранить верность своему удивительному наставнику, волшебнику, для чего ему пришлось думать и думать, не давая себе передышки; не Артура Английского, но одинокого старого джентльмена, полжизни удерживавшего корону вопреки усилиям рока.

Гарет стремительно опустился на колено.

— Мы не причастны к тому, что здесь происходит!

Гавейн, преклонивший колено гораздо медленнее, опустился на пол рядом с Гаретом.

— Сэр, я пришел сюда, надеясь совладать с братьями, но они меня не послушали. Я не желаю слышать того, что они могут сказать.

Последним на колено встал Гахерис.

— Мы хотим уйти, пока они не начали говорить. Артур вступил в комнату и ласково поднял Гавейна.

— Конечно, уходите, дорогие мои, если вам этого хочется, — сказал он. — Надеюсь, я не стану причиной семейного разлада?

Гавейн мрачно поворотился к двум остальным братьям.

— Это разлад, — произнес он, облекая свою речь, словно в плащ, в старинные рыцарские словеса, — коему суждено сокрушить цвет рыцарства в целом свете: злая беда для нашего благородного братства, и вся причина ей — двое неудачливых рыцарей.

После того, как Гавейн, храня на лице презрительное выражение и подталкивая перед собою Гахериса, вышел из комнаты, после того, как Гарет, беспомощно махнув рукой, последовал за ним, Король молча подошел к трону. Он снял с сидения две подушки и положил их на ведущие к трону ступени.

— Ну что же, племянники, — ровным голосом сказал он, — присаживайтесь и расскажите, чего вы хотите.

— Мы лучше постоим.

— Конечно-конечно, как вам удобнее.

Такое начало расходилось с тактикой, задуманной Агравейном. Он протестующе произнес:

— Перестань, Мордред! Мы вовсе не собираемся

ссориться с нашим Королем. У нас даже в мыслях этого не было.

— Я постою.

Агравейн застенчиво присел на одну из подушек.

— Может быть, на двух вам будет удобнее?

— Нет, спасибо, сэр.

Старик наблюдал за ними и ждал, — так человек, приговоренный к повешению, может покорно исполнять требования палача, не помогая ему, однако, вязать петлю. Он смотрел на них с усталой иронией, предоставляя им самим выполнять задуманное.

— Возможно, самым разумным было бы и дальше молчать об этом, — сказал Агравейн с хорошо разыгранной неохотой.

— Возможно.

Мордред, представляющий главные силы нападавшей стороны, резко вклинился в разговор.

— Это смехотворно! Мы пришли сюда, чтобы кое о чем рассказать нашему дяде, и мы обязаны это сделать.

— Все это так неприятно.

— В таком случае, дорогие мои мальчики, если вы не против, давайте оставим эту тему в покое. Весенние ночи слишком прекрасны, чтобы за-

бивать себе голову неприятными заботами, так не лучше ли вам пойти помириться с Гавейном? Ступайте, попросите, чтобы он одолжил вам назавтра своего умницу-ястреба. Королева как раз сегодня говорила, как она любит, когда к обеду подают молодого зайца.

Он пытался спасти ее, а быть может, и всех их. Мордред, уставя на отца пылающий взор, объявил без предисловий:

— Мы пришли рассказать вам о том, что давным-давно известно каждому при вашем дворе. Королева Гвиневера — давняя любовница сэра Ланселота и не скрывает этого.

Старик наклонился, расправляя мантию. Он обернул ее вокруг ног, чтобы сохранить их в тепле, выпрямился и вгляделся в лица племянников.

— Вы готовы доказать свое обвинение?

— Готовы.

— А известно ли вам, — мягко спросил он, — что оно уже выдвигалось прежде?

— Было бы удивительно, если б оно не выдвигалось.

— Когда подобные слухи поползли в последний раз, они были обязаны своим появлением человеку по имени сэр Мелиагранс. Поскольку никаких

иных способов доказать истинность слухов не обнаружилось, пришлось прибегнуть к поединку. Сэр Мелиагранс донес на Королеву, обвиняя ее в предательстве, и готов был сразиться, чтобы отстоять свой донос. По счастью, сэр Ланселот был настолько добр, что встал на защиту Ее Величества. Результаты вы помните.

— Мы хорошо их помним.

— Когда дело дошло наконец до боя, сэр Мелиагранс лег спиною на землю и стал требовать, чтобы сэр Ланселот согласился признать его побежденным. Его ничем невозможно было поднять, пока, наконец, сэр Ланселот не предложил ему биться на тех условиях, что он, Ланселот, снимет с себя шлем, обнажит левую сторону тела и попросит, чтобы ему привязали за спину одну руку. Это предложение сэр Мелиагранс принял и был должным образом зарублен.

— Мы все это знаем, — нетерпеливо воскликнул младший из братьев. — Поединки лишены всякого смысла. Как угодно, но честным правосудием их не назовешь. В них побеждают одни головорезы.

Артур вздохнул и сложил ладони. Он продолжал говорить тихим голосом, ни разу его не повысив.

— Вы еще очень молоды, Мордред. Вам еще предстоит узнать, что правосудие, каким бы способом оно ни свершалось, почти никогда не обеспечивает полного торжества справедливости. Если вы можете предложить какой-либо иной способ решения спорных вопросов, кроме судебного поединка, я с удовольствием испытаю его.

— Если Ланселот сильнее других и всегда заступается за Королеву, то это еще не означает, что Королева всякий раз права.

— Определенно не означает. И однако, как вы понимаете, спорные вопросы необходимо как-то решать, раз уж мы с ними сталкиваемся. Если доказать утверждение невозможно, стало быть, его надлежит обосновать каким-то иным способом, а почти все эти способы оказываются по отношению к кому-то нечестными. И потом, вы же не обязаны сами сражаться с заступником Королевы, Мордред. Вы можете сослаться на недомогание и нанять сильнейшего из знакомых вам людей, чтобы он бился вместо вас, как, разумеется, и Королева может нанять сильнейшего среди известных ей людей, чтобы он сразился за нее. Это почти то же самое, как нанять наилучшего спорщика, дабы он отстаивал твою правоту.

В конечном итоге выигрывает обычно тот, кто богаче, — нанимает ли он самого дорогого спорщика или самого дорогого бойца, и потому не стоит изображать дело так, будто все решает грубая сила.

— Нет, Агравейн, — продолжал он, ибо последний заерзал, желая что-то сказать, — подождите немного, не перебивайте меня. Я хочу, чтобы по части поединков у нас была полная ясность. Как я это понимаю, тут вопрос денег: денег, чистой удачи, ну и, разумеется, отчасти Божией воли. Если денег с обеих сторон поровну, следует признать, что побеждает тот, кому сильнее везет, — как при подбрасывании монеты. Так вот, уверены ли вы двое, что если вы обвините Королеву Гвиневеру в измене, сильнее повезет именно вашей стороне?

Агравейн вступил в разговор, изображая робость. Пил он в тот день с осторожностью, так что рука у него больше не дрожала.

— Если позволите, дядюшка, я хотел бы сказать следующее. Мы надеемся уладить это дело, вовсе не прибегая к судебному поединку.

Взгляд Артура тут же сосредоточился на нем.

— Вы отлично знаете, — сказал он, — что испытание «судом Божиим» отменено, что же до очищения присягой, то, боюсь, найти достаточное

количество пэров, равных Королеве рождением, невозможно.

Агравейн улыбнулся.

— Мы не очень много знаем о новых законах, — плавно заговорил он, — но нам кажется, что если обвинение будет доказано в одном из ваших новых судов, то и необходимости в судебном поединке не возникнет. Конечно, мы можем и ошибаться.

— Суд присяжных, — презрительно заметил сэр Мордред, — кажется, так это у вас называется? Ярмарочное правосудие.

Агравейн, холодная душа которого ликовала, подумал: «Вот ты и подорвался на собственной мине!»

Король побарабанил пальцами по подлокотнику кресла. Враг теснил его, обходя с флангов, вынуждая отступить. Он медленно произнес:

— А вы изрядно знаете законы.

— Вот, например, дядюшка, если Ланселота и впрямь обнаружат в постели Гвиневеры — при свидетелях — тогда ведь и поединок окажется ненужным, верно?

— Если вы простите мне эти слова, Агравейн, я предпочел бы, чтобы вы называли вашу тетю по титулу, по крайней мере в моем присутствии, —

даже в подобной связи.

— Тетей Дженни, — заметил Мордред.

— Да, я вроде бы слышал, как сэр Ланселот называл ее этим именем.

— «Тетя Дженни»! «Сэр Ланселот»! «Если вы простите мне эти слова»! А они, небось, прямо сейчас целуются!

— Либо вы будете разговаривать как воспитанный человек, Мордред, либо вам придется покинуть эту комнату.

— Дядя, я уверен, что он вовсе не желал проявить бесцеремонность. Просто он очень расстроен бесчестьем, пятнающим вашу заслуженную славу. Мы хотели просить вас о правосудии, Мордред же питает столь глубокие чувства к… ну… к своей Династии. Не правда ли, Мордред?

— Я за нее и пенса ломаного не дам.

Король, чье лицо, казалось, еще больше осунулось, вздохнул, но не утратил терпения.

— Пусть так, Мордред, — сказал он, — нам лучше не затевать сейчас препирательств на менее важные темы. У меня уже недостанет сил выслушивать новые грубости. Вы утверждаете, что моя жена — любовница моего лучшего друга, и, видимо, намереваетесь доказать это при помощи свидетелей, вот и давайте этим заниматься. Я

так понимаю, что возможные последствия вам известны?

— Мне — нет.

— Ну, уж Агравейну-то — во всяком случае, я в этом уверен. Последствия таковы. Если вы настаиваете на гражданском процессе взамен обращения в Суд Чести, дело будет решаться в соответствии с гражданским законодательством. В случае, если дело выиграете вы, человеку, который спас вас обоих от сэра Тарквина, отрубят голову, а мою жену, которую я очень люблю, сожгут на костре за предательство. Если же вы не сумеете отстоять ваших обвинений, то должен предупредить, что вас, Мордред, я отправлю в изгнание, лишив тем самым всяких надежд на наследование престола, какие у вас покамест имеются, тогда как Агравейну придется в его черед взойти на костер, поскольку, предъявляя подобное обвинение, он сам совершает предательство.

— Всякий знает, что мы способны в два счета доказать наши обвинения.

— Прекрасно, Агравейн, вы проницательный толкователь закона и вы решили прибегнуть к закону. Я полагаю, напоминать вам о существовании такой вещи, как милосердие, не имеет

смысла?

— Это не то ли милосердие, — спросил Мордред, — которое позволяет отпускать младенцев поплавать по морю?

— Благодарю вас, Мордред. Я едва не забыл.

— Мы не хотим милосердия, — сказал Агравейн, — мы хотим правосудия.

— Я уже разобрался в ситуации.

Артур уперся локтями в колени и прикрыл пальцами глаза. Поникший, он просидел с минуту, призывая на помощь себе чувство долга и собственного достоинства, затем заговорил, не отнимая руки.

— И как же вы намереваетесь их захватить? Толстяк был сама благовоспитанность.

— Если вы согласитесь, дядюшка, уехать из дому на ночь, мы соберем вооруженных людей и захватим Ланселота в опочивальне Королевы. Но вам придется уехать, иначе он туда не придет.

— Не думаю, что я могу вот так взять и расставить западню для собственной жены, Агравейн. Я полагаю, будет честным сказать, что бремя доказывания следует возложить на ваши плечи. Да, я думаю это будет честным. Я же определенно обладаю правом отказаться от того, чтобы стать — ну, скажем, подобием соучастника. Намеренно

уезжать из дому, чтобы помочь вам, — это не входит в круг моих обязанностей. Нет, в этом я могу отказать вам с чистой совестью.

— Но вы же не можете навсегда отказаться уезжать из дому. Вы не можете провести остаток жизни, оставаясь прикованным к Королеве и не подпуская к ней Ланселота. Вы ведь собирались на следующей неделе присоединиться к охоте, верно? Если вы не отправитесь охотиться, это будет означать, что вы преднамеренно меняете ваши планы, желая воспрепятствовать правосудию.

— Никто не в силах воспрепятствовать правосудию, Агравейн.

— Стало быть, вы уедете на охоту, дядюшка Артур, и дадите нам дозволение ворваться в опочивальню Королевы, если там окажется Ланселот?

Ликование, звучавшее в его голосе, было столь недостойным, что даже Мордред почувствовал омерзение. Король поднялся, кутаясь в мантию, словно не мог согреться.

— Мы уедем.

— И вы не станете предупреждать их заранее? — Голос Агравейна дрожал от возбуждения. — Вы ведь не предупредите их после того,

как мы предъявили им обвинение? Это было бы нечестно, ведь так?

— Нечестно?

Он взглянул на них из невероятной дали, казалось, взвешивая на неких весах истину, справедливость, зло и дела человеческие.

— Мы даем вам наше дозволение.

Глаза его вернулись издалека и, блеснув, точно у сокола, сосредоточились только на них.

— Но если вы, Мордред с Агравейном, позволите мне сказать несколько слов как частному человеку, то знайте: единственная оставшаяся у меня надежда состоит в том, что Ланселот убьет вас обоих, а с вами и всех свидетелей, — подвиг, который, говорю это с гордостью, для моего Ланселота никогда непосильным не был. А к этому могу добавить, уже как служитель правосудия, что если вы хоть в чем-то не сможете доказать вашего чудовищного обвинения, то я стану преследовать вас обоих безжалостно, всею мощью закона, который вы сами же и привели в движение.

## 6

Ланселот знал, что Король отправился на охоту в Нью-Форест, и потому с уверенностью ожидал зова Королевы. В спальне его было темно, лишь перед святым образом теплился свет. Облаченный в мантию Ланселот мерял шагами пол. Не считая нарядной мантии и подобия тюрбана на голове Ланселот был готов ко сну, то есть гол.

Комната была мрачноватая, без роскошеств. Голые стены, жесткая, ничем не покрытая скамья, окна без стекол. Оконные проемы затягивало промасленное, пропускающее свет полотно. У великих полководцев часто бывают такие вот простые походные спальни (говорят, и герцог Веллингтон спал в Уолмерском замке на походной кровати), в которых нет ничего, не считая, может быть, кресла или старого сундука. Сундук имелся и в комнате Ланселота — гробовидный, окованный. Кроме него и кровати, смотреть тут было не на что — разве что на огромный меч, стоявший, со свисающей перевязью, у стены.

На сундуке лежал шлем. Походив немного, Ланселот подцепил его, поднес поближе к свету у образа и несколько времени постоял с тем же оза-

даченным выражением, какое мы давным-давно видели на лице мальчика, — постоял, разглядывая свое отражение в стальной поверхности. Затем он вернул шлем на место и вновь принялся вышагивать по комнате.

Когда в дверь постучали, он решил, что это сигнал. Он подхватил меч и протянул руку к щеколде, но дверь вдруг отворилась сама собой. Вошел Гарет.

— Можно?

— Гарет!

Ланселот окинул его удивленным взглядом и без особого восторга сказал:

— Заходи. Рад тебя видеть.

— Ланселот, я пришел предупредить тебя.

Вглядевшись в Гарета, старик усмехнулся.

— Силы благие! — сказал он. — Надеюсь, ничего серьезного?

— Напротив, все очень серьезно.

— Так заходи же и прикрой дверь.

— Ланселот, это касается Королевы. Я не знаю, с чего начать.

— Ну, тогда и не начинай.

И взяв своего молодого друга за плечи, он принялся разворачивать его лицом к выходу.

— Очень мило, что ты хотел меня предупре-

дить, — говорил он, стискивая плечи Гарета, — но вряд ли ты сможешь поведать что-либо, мне еще неизвестное.

— Ах, Ланселот, ты ведь знаешь, я на все готов, чтобы тебе помочь. Я и представить себе не могу, что скажут братья, когда услышат, что я побывал у тебя. Но я не мог стоять в стороне.

— Да в чем дело-то?

Он приостановился, чтобы еще раз вглядеться в Гарета.

— В Мордреде с Агравейном. Они ненавидят тебя. Вернее, Агравейн ненавидит. Зависть его заела. Мордред больше ненавидит Артура. Мы изо всех сил старались их удержать, но они не слушают. Гавейн сказал, что вообще не желает иметь с этим ничего общего, ни с той, ни с другой стороны, а Гахерису всегда было трудно принять какое-нибудь решение. Вот и пришлось прийти мне. Я не мог не прийти, даже против воли моих братьев и моего клана, потому что я обязан тебе всем и не могу допустить, чтобы это случилось.

— Мой бедный Гарет! Надо же, до какого состояния ты себя довел!

— Они были у Короля и прямо сказали ему, что ты… что ты ходишь к Королеве в опочивальню. Мы пытались им помешать и не стали задержи-

ваться там, не хотели их слушать, но именно это они и сказали.

Ланселот выпустил его плечо и сделал два шага по комнате.

— Не расстраивайся, — сказал он. — Многие и прежде говорили об этом, да ничего из того не вышло. Пошумят и забудут.

— Только не теперь. Я просто чувствую это, нутром.

— Чепуха.

— Это не чепуха, Ланселот. Они ненавидят тебя. На сей раз они не решатся на поединок, потому что помнят Мелиагранса. Они слишком коварны. Они попытаются заманить тебя в западню. И подберутся к тебе так, что ты и не заметишь.

Но старый воин лишь улыбнулся и похлопал его по спине.

— У тебя воображение разыгралось, — объявил он. — Отправляйся к себе, друг мой, ляг в постель и забудь обо всем. Очень мило, что ты пришел, но теперь — иди домой, успокойся, выспись как следует. Если бы Король желал скандала, он ни за что не уехал бы на охоту.

Гарет покусывал пальцы, собираясь с духом, чтобы высказаться прямо. Наконец он решился:

— Прошу тебя, не ходи к Королеве сегодня. Лан-

селот приподнял одну из своих удивительных бровей, но затем передумал — и опустил.

— Почему вдруг?

— Я уверен, что это ловушка. Я уверен, что Король нарочно уехал на ночь, чтобы ты пришел к ней, и значит, Агравейн будет там, чтобы тебя поймать.

— Артур никогда бы такого не сделал.

— Но ведь сделал же.

— Чепуха. За тобой еще нянька ходила, а я уже знал Артура, — он такого не сделает.

— И все же это рискованно.

— Если это рискованно, что ж, насладимся риском.

— Прошу тебя!

На сей раз рука Ланселота легла Гарету несколько ниже спины и уже всерьез подтолкнула его к выходу.

— Вот что, мой милый кухонный паж, послушай меня. Во-первых, я знаю Артура; во-вторых, я знаю Агравейна. Ты полагаешь, я могу испугаться его?

— Но ведь предательство».

— Гарет, однажды, когда я был еще молод, мне повстречалась дама, гнавшаяся за кречетом, который порвал поводки. Остатки их зацепились

за дерево, и птица повисла на его верхушке. Дама уговорила меня влезть на дерево и снять ее кречета. Лазить по деревьям я никогда особенно не умел. А когда я долез доверху и освободил птицу, явился во всеоружии муж этой дамы, намереваясь отрубить мне голову. Вся затея с кречетом оказалась западней, они хотели вытащить меня из доспехов, так чтобы мне оставалось рассчитывать лишь на его милосердие. Я сидел на дереве в одной рубашке, даже без кинжала.

— И что же?

— Да то, что я огрел его суком по башке. А он был мужчиной почище бедного старого Агравейна, пусть даже мы оба с тех веселых времен обзавелись ревматизмом.

— Я знаю, что ты способен справиться с Агравейном. Но представь, что он приведет с собой вооруженную банду.

— Никого он не приведет.

— Приведет.

Шорох донесся от двери, кто-то легонько поскреб ее. Это могла быть и мышь, но глаза Ланселота мгновенно затуманились.

— А приведет, — коротко сказал он, — значит, придется драться с бандой. Только это воображаемая ситуация.

— Ты бы не мог сегодня остаться здесь?

Они уже подошли к двери, и слова королевского капитана прозвучали гораздо решительнее.

— Послушай, — сказал он, — если тебе так уж нужно знать, Королева послала за мной. Вряд ли я могу отказать, когда за мной посылают, верно?

— Выходит, я напрасно изменил Древнему Люду?

— Нет, не напрасно. Всякий, кто узнал бы об этом, только похвалил бы тебя за отвагу. Но Артуру мы можем верить.

— И ты пойдешь, несмотря ни на что?

— Да, мой кухонный паж, и прямо сию минуту. Боже правый, да не делай ты такого трагического лица. Предоставь это занятие мерзавцам, которые в нем поднаторели, а сам беги домой и ложись спать.

— Это значит, прощай.

— Глупости, это значит — спокойной ночи. И что самое главное — Королева ждет.

Старик перебросил мантию через плечо, — легко, словно он еще пребывал в расцвете юношеских сил. Он поднял щеколду и постоял в проеме двери, пытаясь вспомнить, что он забыл.

— Если б я только мог тебя удержать!

— Увы, этого ты не можешь.

Выбросив из головы весь разговор, он шагнул во тьму коридора и исчез. Он и вправду забыл кое-что — свой меч.

# 7

В пышной своей спальне окруженная горящими свечами Гвиневера ждала Ланселота, расчесывая поседевшие волосы. Она выглядела на удивление красивой, — не как кинозвезда, но как женщина, отрастившая душу. Гвиневера напевала. Это был гимн — ни больше ни меньше, — прекрасный «Veni, Sancte Spiritus»[27], написанный, как полагают, Папой.

Пламя свечей, спокойно вздымаясь в ночном воздухе, отражалось в золотых львятах, которыми было усеяно синее покрывало кровати. Узоры из граненых страз поблескивали на гребнях и щетках. Большой жестяной сундук покрывали эмалевые изображения ангелов и святых. На стенах лучились мягкими складками парчовые драпировки, а на полу — достойная порицания, безоглядная роскошь — лежал настоящий ковер. Люди, которым случалось ступать на него, робели, поскольку ковры изначально предназначались не для полов. Артур вообще обходил его стороной.

---

**[27] notes: 27**
Приди, Святой Дух (лат.)

Гвиневера пела, расчесывая волосы, тихий голос ее гармонировал со спокойствием свечей. Между тем дверь тихо отворилась. Королевский главнокомандующий сбросил свой черный плащ на сундук и, переступив через него, встал у нее за спиной. Она увидела его в зеркале и не удивилась.

— А можно я?

— Если хочешь.

Он взял щетку и, держа ее в пальцах, которым долгая практика сообщила немалую сноровку, провел по серебристой лавине. Королева закрыла глаза.

Спустя некоторое время он заговорил.

— Это похоже… не знаю на что это похоже. Нет, не на шелк. Скорее на льющуюся воду, но и на облако тоже. Облака ведь и состоят из воды, верно? Это как бледный туман, или зимнее море, или водопад, или стог сена, подернутый инеем. Да, сено, глубокое, мягкое и пахучее.

— Возни мне с ними, — сказала она.

— Это море, — торжественно произнес он, — море, в котором я был рожден.

Королева открыла глаза и спросила:

— Ты пришел без помех?

— Никто меня не увидел.

— Артур сказал, что вернется завтра.

— Да? А вот седой волос.

— Выдерни его.

— Бедный волос, — сказал он. — Какой он тонкий. Почему у тебя такие красивые волосы, Дженни? Мне пришлось бы сплести вместе шесть твоих, чтобы получился один толстый, такой, как у меня. Так выдернуть?

— Выдерни.

— Больно?

— Нет.

— Вот интересно, почему? В детстве я часто дергал сестер за волосы, а они — меня, и больно было черт знает как. Или, старея, мы утрачиваем восприимчивость и становимся уже неспособными испытывать боль или радость?

— Нет, это потому что ты выдернул только один, — объяснила она. — Больно, когда выдергиваешь целый клок. Смотри.

Он наклонил голову, чтобы ей было легче достать, и она, закинув назад белую руку, намотала на палец торчавший у него надо лбом вихор. И тянула, пока он не скорчил гримасу.

— Да, все еще больно. И то облегчение!

— Это так тебя сестры дергали?

— Так, а я их гораздо сильнее. Стоило мне подо-

браться поближе к любой из моих сестер, как она обеими руками хваталась за косички и прожигала меня гневным взглядом насквозь. Королева рассмеялась.

— Хорошо, что я не из твоих сестер.

— О, твоих волос я бы не тронул. Они слишком прекрасны. С ними я обошелся бы совсем по-другому.

— Как же?

— Я бы… ну, наверное, я бы укрылся ими, свернулся в клубок, как лесная соня, и уснул. Я бы с радостью проделал это прямо сейчас.

— Сначала придется их расчесать.

— Дженни, — внезапно спросил он, — как ты думаешь, долго это продлится?

— О чем ты?

— Гарет только что приходил ко мне, хотел предупредить, что Артур уехал намеренно, желая расставить нам западню, и что Мордред с Агравейном вознамерились нас поймать.

— Артур никогда такого не сделает.

— Вот и я ему так сказал.

— Если только его не заставят, — задумчиво добавила она.

— Как бы они его заставили, не понимаю? Королева отвлеклась в сторону.

— Какой все-таки Гарет славный — надо же, пошел против братьев.

— Знаешь, по-моему, он один из самых славных людей при дворе. Гавейн благороден, но слишком вспыльчив и злопамятен.

— Он человек верный.

— Да, Артур часто повторяет, что если ты не из Оркнейцев, тебе есть чего бояться, а если из них — считай, тебе повезло. Конечно, дерутся они, как коты, но на самом-то деле обожают друг друга. Это клан.

Мысли Королевы, пройдя стороной, описали круг и вернулись в исходную точку.

— Ланс, — встревоженно спросила она, — как ты думаешь, не могли они вынудить Короля?

— Что ты имеешь в виду?

— У Артура так развито чувство справедливости.

— Я тоже думал об этом.

— И тот разговор на прошлой неделе. По-моему, он пытался нас предупредить. Постой! Ты ничего не слышал?

— Нет.

— Мне почудился какой-то шорох за дверью.

— Пойду взгляну.

Он подошел к двери и распахнул ее, но за ней

было пусто.

— Ложная тревога.

— Тогда запри ее.

Ланселот запер дверь на засов — массивный дубовый брусок шириною в пять дюймов, глубоко сидевший в особом пазу, проделанном в толстой стене. Вернувшись к свету, он разделил сияющие волосы на пряди и принялся быстро их заплетать. Руки его порхали, как ткацкие челноки.

— Нервничать глупо, — заметил он. Гвиневера, однако, продолжала размышлять и ответила ему вопросом.

— Ты помнишь Тристрама с Изольдой?

— Конечно.

— Тристрам спал с женой Короля Марка, и Король убил его за это.

— Тристрам был недотепой.

— А мне он казался милым.

— Это ему от тебя и требовалось. И все же он был корнуольским рыцарем и ничем не отличался от них.

— Но его называли вторым среди рыцарей мира. Сэр Ланселот, сэр Тристрам, сэр Ламорак…

— Обычная болтовня.

— Но почему ты считаешь его недотепой? — спросила она.

— Ну, это длинный разговор. Ты ведь не помнишь, каково было рыцарство перед тем, как Артур основал Круглый Стол, а потому и не знаешь, за какого гениального человека тебе посчастливилось выйти замуж. Тебе не заметна разница между Тристрамом и — ну, скажем, Гаретом.

— И какая же между ними разница?

— В прежнее время каждый рыцарь стоял сам за себя. Люди бывалые, хоть тот же сэр Брюс Безжалостный, мало чем отличались от настоящих бандитов. Доспехи делали их неуязвимыми, они это знали, — вот и творили, что хотели. Резали кого ни попадя и блудили, как заблагорассудится. Поэтому, когда Артур взошел на трон, они изрядно прогневались. Он, понимаешь ли, верил в Добро и Зло.

— Он и поныне в них верит.

— По счастью, у него имелся еще и твердый характер, не одни только идеи. Ему понадобилось лет пять примерно, чтобы утвердить эти идеи, а сводились они к тому, что человек должен быть добр. Пожалуй, я одним из первых перенял у него эту мысль, а поскольку я был еще юн, он сделал ее частью моего существа. Обо мне всегда говорят, что я рыцарь добрый, — ну просто само

совершенство, да только я-то тут ни при чем. Это все идеи Артура. Именно этих качеств он ждал от младшего поколения, от Гарета, скажем, а теперь они вошли в моду. И привели в итоге к Поискам Грааля.

— Но Тристрам-то почему недотепа?

— Да уж таким уродился. Артур называет его буффоном. Он жил в Корнуолле, Артурово воспитание его миновало, но веянья моды он ухватил. У него бродили в голове какие-то путаные понятия о том, что знаменитому рыцарю следует быть добрым, и он всю жизнь бросался из стороны в сторону, норовя подстроиться под моду, но толком не понимая ее и не чувствуя. Вроде нерадивого ученика — списывает, но не понимает. Настоящей-то доброты в нем и на йоту не было. С женой он себя вел отвратительно, бедного старика Паломида вечно изводил, не позволяя ему забыть, что он всего-навсего черномазый, и с Королем Марком обходился самым постыдным образом. Корнуольские рыцари принадлежат к Древнему Люду, и в душе они всегда питали враждебность к идеям Артура, далее если отчасти их и усваивали.

— Как Агравейн.

— Верно. Мать Агравейна из корнуольцев.

Агравейн потому и ненавидит меня, что для него я олицетворяю эти идеи. Забавно, но всю нашу троицу, тех, кого обыкновенные люди называли лучшими рыцарями, — я имею в виду Ламорака, Тристрама и себя самого, — потомки Древнего Люда от души ненавидели. Когда Тристрам погиб, они с ума сходили от радости, а все потому, что он копировал нашу идею, да и Ламорак был убит, причем предательски, не кем иным, как семейством Гавейна.

— Я думаю, — сказала она, — что на самом деле все причины, по которым Агравейн тебя ненавидит, сводятся к старинной басне о зеленом винограде. Не волнует его никакая идея, он просто естественным образом терзается завистью к любому бойцу, который его превосходит. Он ненавидел Тристрама за взбучку, которую получил от него по дороге в Веселую Стражу, а в убийстве Ламорака участвовал, потому что тот его побил на турнире вблизи аббатства; что до тебя — сколько раз ты его повергал?

— Не помню.

— Ланс, ты понимаешь, что двое других ненавистных ему людей уже мертвы?

— Рано или поздно умирает каждый. Внезапно Королева рванулась, высвобождая из его пальцев

пряди своих волос. Она развернулась в кресле и, придерживая одной рукой косу, уставилась на него округлившимися глазами.

— Я уверена, что Гарет сказал правду! Я уверена — они сейчас идут сюда, чтобы захватить нас!

Она вскочила и начала подталкивать его к двери.

— Уходи. Уходи, пока еще есть время.

— Но Дженни…

— Нет. Никаких «но», я знаю, что это правда. Я чувствую. Вот твой плащ. Ах, Ланс, пожалуйста, уходи поскорее. Они закололи сэра Ламорака ударом в спину.

— Оставь, Дженни, не волнуйся так неизвестно из-за чего. Это только фантазии…

— Это не фантазии. Прислушайся. Слушай.

— Ничего не слышу.

— Посмотри на дверь.

Ручка, приподнимавшая дверную щеколду, кусок металла, выкованного в форме конской подковы, медленно сдвигалась налево. Она перемещалась, будто краб, с некоторой опаской.

— Ну, и что там с дверью?

— На ручку смотри!

Они стояли, зачарованно глядя, как она движется — вслепую, рывками, робко и неуверенно,

как бы нащупывая путь.

— О Боже, — прошептала Королева, — теперь уже слишком поздно!

Щеколда упала на место, и о дерево двери звучно ударил металл. Дверь была крепкая, двуслойная, в одном слое волокна шли вдоль, в другом поперек, и снаружи в нее ударили латной рукавицей. Голос Агравейна, отдаваясь эхом в пустотах его шлема, закричал:

— Именем Короля, откройте дверь!

— Мы погибли, — сказала она.

— Рыцарь-изменник, — выкрикнул голос, похожий на ржание, и дерево содрогнулось под ударом металла. — Сэр Ланселот, теперь ты попался!

Закричало еще несколько голосов. Множество доспехов, более уже не сдерживаемых необходимостью соблюдать осторожность, залязгало по каменной лестнице. Дверь прогибалась, приникая к засову.

Не сознавая того, Ланселот тоже перешел на язык рыцарства.

— Не сыщется ли в покое каких-нибудь доспехов, — спросил он, — дабы мне прикрыть мое тело?

— Ничего нет. Даже меча.

Он стоял, глядя на дверь с озадаченным, деловитым выражением и покусывая пальцы. В дверь лупили уже несколько кулаков, она содрогалась, голоса, долетавшие из-за нее, вполне могли принадлежать своре гончих.

— Ах, Ланселот, — сказала она, — здесь нет ничего, чем можно биться, и ты почти гол. Их много, они при оружии. Тебя убьют, а меня сожгут на костре, и наша любовь пришла к печальному концу.

Положение казалось безвыходным, и это злило Ланселота.

— Хоть бы мои доспехи были со мной, — раздраженно сказал он, — это же смехотворно, погибнуть вот так, будто крыса в ловушке.

Он оглядел комнату, кляня себя за то, что забыл взять оружие.

— Рыцарь-изменник! — бухал голос. — Выходи из опочивальни Королевы!

Другой голос, музыкальный и хладнокровный, весело крикнул:

— Подумай как следует, нас тут четырнадцать человек при оружии, тебе от нас не уйти.

Голос принадлежал Мордреду, удары усилились.

— Ах, будь они прокляты, — сказал Ланселот. —

Сколько шуму от них. Придется мне выйти, иначе они поднимут весь замок.

Он повернулся к Королеве и обнял ее.

— Дженни, я почитаю тебя благороднейшей из всех христианских королев. Достанет ли тебе силы?

— Дорогой мой.

— Моя милая старушка Дженни. Поцелуемся. Теперь послушай. Ты всегда была моей единственной прекраснейшей дамой, и мы никогда друг друга не подводили. Не страшись и на этот раз. Если они убьют меня, помни про сэра Борса. Все мои братья и племянники будут заботиться о тебе. Пошли известие Борсу или Эктору, они спасут тебя, если потребуется. Они доставят тебя невредимой в Веселую Стражу, и ты сможешь жить на моих землях Королевой, как тебе и приличествует. Ты поняла?

— Если тебя убьют, я не хочу спасения.

— Ты обязана спастись, — твердо сказал он. — Кто-то должен остаться в живых, дабы достойно объяснить, что с нами случилось. Кроме того, я хочу, чтобы ты за меня молилась.

— Нет. Молиться придется кому-то другому. Если тебя убьют, я пойду на костер и приму смерть мою так же кротко, как любая христианская

королева.

Он нежно поцеловал ее и опустил в кресло.

— Слишком поздно спорить, — сказал он. — Я знаю, что бы ни случилось, ты останешься той же Дженни, а стало быть, и мне надлежит оставаться пока Ланселотом.

Затем, еще раз окинув комнату озабоченным взглядом, добавил рассеянно:

— Конечно, им оно, может, и на руку, но, втянув тебя в эту распрю, они совершили недоброе дело.

Она наблюдала за ним, стараясь не расплакаться.

— Ногу бы отдал, — сказал он, — за самые простые доспехи, даже за обычный меч, чтобы им было после, о чем вспоминать.

— Ланс, если бы они убили меня, а ты бы спасся, я была бы счастлива.

— А я был бы несчастен до чрезвычайности, — ответил он и вдруг понял, что ему на удивление весело. — Ну ладно, постараемся сделать, что можем. Докука моим старым костям, однако сдается мне, удовольствие я получу!

Он составил свечи на крышку лиможского сундука, так чтобы они оказались у него за спиной, когда он откроет дверь. Он подобрал свой черный плащ, аккуратно сложил его по длине вчетверо и

обмотал вокруг кисти и предплечия левой руки, чтобы их защитить. Взяв в правую руку стоявший у постели табурет, он ухватил его поудобнее и в последний раз окинул комнату взглядом. Все это время наружный шум возрастал, и какие-то двое, судя по всему, пытались даже прорубить боевыми топорами дверь — попытка, которую перекрещение древесных волокон в двуслойной двери делало безнадежной. Ланселот подошел к двери и возвысил голос, отчего за ней сразу же стало тихо.

— Честные лорды, — сказал он, — не шумите так и не спешите. Я сейчас отопру эту дверь, и тогда вы сможете сделать со мною, что пожелаете.

— Ну давай, — закричали они, перебивая друг друга.

— Отпирай.

— Не сражаться же тебе против всех нас.

— Впусти нас в опочивальню.

— Мы сохраним тебе жизнь, если ты пойдешь с нами к Королю Артуру.

Ланселот прижал плечом ходившую ходуном дверь и неслышно втолкнул засов в стену. Затем, еще придерживая дверь, — люди по другую сторону двери перестали ее рубить в ожидании чего-то, что, как они почувствовали, вот-вот

произойдет, — он крепко упер правую ногу в пол футах в двух от косяка и отпустил дверь, дав ей открыться. Дверь натолкнулась на его ногу и, дрогнув, застыла, оставив узкий проход, так что назвать ее распахнутой было нельзя, скорей приоткрытой, — и через этот проход с послушанием куклы на ниточках внутрь сразу же влез один-единственный рыцарь при полном оружии. Ланселот захлопнул за ним дверь, мгновенным ударом загнал на место засов, обмотанной левой рукой схватил меч пришлеца за головку эфеса, дернул его на себя, подставил рыцарю ногу, пока тот падал, саданул по голове табуретом и через долю секунды уже сидел у него на груди — проворность ему еще не изменила. Со стороны казалось, будто он проделал все это с легкостью и даже ленцой, словно вооруженного мужчину покинули силы. Вошедший в комнату человек, высотою и шириною доспехов напоминавший орудийную башню, человек, простоявший долю секунды, глядя на противника сквозь прорезь шлема, оставил по себе впечатление робкой покорности, — казалось, что он вошел, вручил свой меч Ланселоту и бросился на пол. Теперь эта груда металла так же послушно лежала на полу, пока ее голоногий противник вдавливал острие ее же

меча в дыхательное отверстие забрала. И когда Ланселот обеими руками нажал на рукоять, груда лишь протестующе содрогнулась раз-другой.

Ланселот поднялся, вытирая руки о мантию.

— Жаль, но пришлось его убить.

Он открыл забрало и глянул внутрь:

— Агравейн Оркнейский!

Из-за двери донесся жуткий крик, стук, треск и проклятия. Ланселот повернулся к Королеве.

— Помоги мне с доспехами, — коротко бросил он. Она подошла к нему сразу, без отвращения, и оба они опустились на колени близ тела, сдирая с него жизненно важные части доспехов.

— Послушай, — говорил он, пока оба работали. — Мы получили честный шанс. Если мне удастся их отогнать, я вернусь за тобой, и ты отправишься в Веселую Стражу.

— Нет, Ланс. Мы и так принесли немало вреда. Если ты пробьешься, держись в стороне, пока все не успокоится. Я останусь здесь. Если Артур простит меня и если эту историю удастся замять, ты сможешь потом вернуться. А если он меня не простит, ты сможешь прийти мне на помощь. Это куда?

— Дай-ка мне.

— Вот еще одна.

— Все же гораздо лучше тебе уехать, — настаивал он, втискиваясь в кольчугу, словно футболист, надевающий свитер.

— Нет. Если я уеду, все рухнет навеки. Если же я останусь, мне, может быть, удастся все как-то уладить. Ты же всегда сможешь спасти меня, если в том будет нужда.

— Не хочется мне тебя оставлять.

— Если меня осудят и ты спасешь меня, я уеду в Веселую Стражу, обещаю.

— А если нет?

— Протри шлем плащом, — сказала она. — А если нет, ты сможешь потом вернуться, и все будет по-прежнему.

— Ну, хорошо. Так. Без остального я обойдусь. Он выпрямился, держа в руке окровавленный меч, и взглянул на мертвого человека, когда-то убившего свою мать.

— Брат Гарета, — сказал он задумчиво. — Пьян был, наверное. Господь да упокоит его душу, — как ни абсурдно это звучит.

Старая дама развернула его лицом к свечам.

— Это означает «прощай», — прошептала она, — но ненадолго.

— Это означает «прощай».

Он поцеловал ее руку, поскольку был в доспе-

хах, и грязь вперемешку с кровью покрывала металл. Оба одновременно подумали о тринадцати, ждущих снаружи.

— Мне бы хотелось, чтобы ты взял у меня что-нибудь, Ланс, и дал мне что-нибудь свое. Давай обменяемся кольцами.

Они обменялись кольцами.

— Бог да пребудет с моим кольцом, — сказала она, — как я с ним пребуду.

Ланселот повернулся и направился к двери. Снаружи кричали:

— Выходи из Королевиной спальни!

— Изменник Королю!

— Открывай дверь!

Они старались наделать побольше шума, чтобы вызвать скандал. Ланселот встал к источнику шума лицом, расставил ноги и ответил им на языке чести.

— Оставьте этот шум, сэр Мордред, и примите мой совет. Ступайте прочь от дверей этого покоя и не поднимайте такого крика, и не занимайтесь больше наветами. И если вы разойдетесь и перестанете шуметь, я завтра утром предстану перед Королем, и тогда мы посмотрим, который из вас — или, может быть, все вы — осмелитесь обвинить меня в измене.

И там я отвечу вам так, как надлежит рыцарю, что сюда я пришел не со злым умыслом; и это я там докажу и внушу, как должно, моими собственными руками.

— Тьфу на тебя, предатель! — прокричал Мордред. — Мы все равно захватим тебя, несмотря на твое бахвальство, и убьем тебя, если захотим.

Другой голос проорал:

— И знай, что мы от Короля Артура получили право выбора: убить нам тебя или помиловать.

Ланселот опустил забрало на затененное лицо и острием меча сдвинул засов. За распахнувшейся с грохотом крепкой деревянной дверью обнаружился узкий проход, забитый железными фигурами и мечущимся пламенем факелов.

— Ах, сэры, — зловеще произнес Ланселот, — а другого благословения нету на вас? Тогда держитесь.

## 8

Спустя неделю, клан Гавейна собрался в Судебной Зале. При дневном освещении комната выглядела иной, поскольку окна теперь занавешены не были. Она больше не походила на ящик, лишившись отчасти обманчивой и угрожающей ровности всех четырех стен, которая превращала ее в подобие гобеленовой западни, вроде той, что соблазнила рапиру Гамлета на поиски крыс. Свет послеполуденного солнца вливался в створчатые окна, расцвечивая тканый рассказ о Вирсавии, сидевшей, выпятив чету округлых грудей, в ванне, установленной на зубчатой стене замка, который казался сложенным из игрушечных детских кирпичиков; ярким пятном выделяя Давида на ближайшей к ней крыше — бородатого, в короне и с арфой; зыблясь на сотнях коней, копий, торчавших все в одну сторону, доспехов и шлемов, рябивших в сцене битвы, ставшей для Урии последней. Сам Урия, напоминая неопытного ныряльщика, валился с коня, получив от вражеского рыцаря удар мечом, застрявшим в области диафрагмы. Меч, дойдя до середины тела, развалил несчастного надвое, и из раны обильно

извергались пугающе реалистические вермильоновые черви, по всей видимости, изображавшие Уриевы кишки.

Гавейн угрюмо сидел на одной из поставленных для просителей боковых скамеек, скрестив руки и затылком прислонясь к гобелену. Гахерис, присев на длинный стол, возился с кожаным плетением соколиного клобучка. Он пытался поменять местами стягивающие клобучок ремешки, чтобы тот садился плотнее, и, поскольку плетение было сложным, запутался. Рядом с ним стоял Гарет, испытывавший острое желание отобрать у брата клобучок, ибо был уверен, что сможет поправить дело. Мордред с белым лицом и рукою в повязке люлькой стоял, прислонясь, в амбразуре одного из окон и смотрел наружу. Его все еще мучила боль.

— Это надо в прорезь продеть, — сказал Гарет.

— Знаю-знаю. Я хочу сначала просунуть вот этот.

— Дай я попробую.

— Погоди минуту. Прошел. Мордред сказал от окна:

— Палач готов начать.

— Угу.

— Жестокая ее ожидает смерть, — сказал Морд-

ред. — Дерево взяли выдержанное, дыма не будет, так что она сгорит, не успев задохнуться.

— Это ты так думаешь, — мрачно сказал Гавейн.

— Несчастная старуха, — сказал Мордред. — Даже как-то жалко ее становится.

Гарет гневно повернулся к нему.

— Мог бы раньше об этом подумать.

— А теперь верхний, — сказал Гахерис.

— Насколько я понимаю, — продолжал Мордред, ни к кому в особенности не обращаясь, — нашему сюзерену полагается наблюдать за казнью через это окно.

Гарет окончательно вышел из себя.

— Ты бы не мог помолчать хоть минуту? А то начинает казаться, что тебе нравится смотреть, как сжигают людей.

Мордред презрительно ответил:

— Как и тебе, на самом-то деле. Только ты думаешь, что говорить об этом вслух некрасиво. Ее сожгут в одной рубашке.

— Да умолкни ты, ради Бога! Тугодум Гахерис произнес:

— По-моему, тебе нечего так волноваться. Мордред мгновенно развернулся к нему.

— Почему это ему нечего волноваться?

— А чего ему волноваться? — сердито спросил Гавейн. — Или ты полагаешь, что Ланселот не примчится ее спасать? Уж он-то во всяком случае не трус.

Мордред быстро сообразил, о чем речь. Спокойная поза его сменилась нервным возбуждением.

— Однако если он попытается спасти ее, будет бой. Королю Артуру придется сражаться с ним.

— Король Артур будет наблюдать за казнью отсюда.

— Но это чудовищно! — взорвался Мордред. — Ты хочешь сказать, что Ланселоту позволят улизнуть с Гвиневерой из-под нашего носа?

— Вот именно это самое и случится.

— Но тогда вообще никто не будет наказан!

— Силы небесные, ты человек или нет? — воскликнул Гарет. — Неужели тебе так хочется увидеть, как сжигают женщину?

— Да, хочется! Вот именно хочется! Гавейн, ты что же, намерен сидеть здесь и ждать, пока это случится, после того как убили твоего брата?

— Я предупреждал Агравейна.

— Вы трусы! Гарет! Гахерис! Заставьте его сделать что-нибудь. Этого нельзя допустить. Он же убил Агравейна, вашего брата.

— Насколько мне известна вся эта история,

Мордред, Агравейн и с ним еще тринадцать рыцарей в полном вооружении вознамерились убить Ланселота, когда на нем ничего, кроме мантии, не было. А кончилось тем, что убитым оказался сам Агравейн и с ним все тринадцать рыцарей, — за исключением одного, который сбежал.

— Я не убегал.

— Ты выжил, Мордред.

— Гавейн, клянусь, я не убегал. Я сражался с ним, сколько было сил. Но он сломал мне руку, и я ничего не смог сделать. Клянусь честью, Гавейн, я честно сражался с ним.

Он почти плакал.

— Я не трус.

— Если ты не убегал, то как же вышло, — спросил Гахерис, — что Ланселот отпустил тебя, перебив всех остальных? В его интересах было убить всех вас, тогда бы и свидетелей не было.

— Он сломал мне руку.

— Да, но он не убил тебя.

— Я говорю правду.

— Но он же тебя не убил.

От боли в руке и от гнева Мордред расплакался, как дитя.

— Предатели! Вот всегда так. Оттого, что я слабее других, все вы против меня. Вам подавай

мускулистых болванов, а мне вы все равно не поверите, что бы я ни говорил. Агравейн мертв и отпет, а вы не хотите даже, чтобы кого-то наказали за это. Предатели! Предатели! И все останется по-прежнему!

В тот миг, когда в комнату вошел Король, голос Мордреда сорвался. Вид у Артура был усталый. Он медленно приблизился к трону и устроился на нем. Гавейн, поднявшийся было со скамьи, снова плюхнулся на нее, а Гарет с Гахерисом так и остались стоять, с жалостью глядя на Артура под аккомпанемент Мордредовых рыданий.

Артур ладонью потер лоб.

— Почему Мордред плачет? — спросил он.

— Мордред пытался нам объяснить, — ответил Гавейн, — как это вышло, что Ланселот убил тринадцать рыцарей, а потом подумал-подумал да и решил, что нашего Мордреда убивать не стоит. Причина, видать, была та, что между ними вспыхнули теплые чувства.

— Я думаю, что могу объяснить, в чем причина. Видите ли, десять дней назад я попросил сэра Ланселота не убивать моего сына.

Мордред горько сказал:

— И на том спасибо.

— Вам не меня следует благодарить, Мордред.

Правильнее всего было бы сказать спасибо Ланселоту.

— Лучше бы он меня убил.

— Я рад, что он этого не сделал. Постарайтесь научиться хоть немного прощать, сын мой, теперь, когда у нас такая беда. Помните, что я ваш отец. У меня больше не осталось семьи, только вы один.

— Лучше бы мне было и не родиться.

— Я тоже так думаю, бедный мой мальчик. Но вы родились, и нам теперь остается как можно лучше исполнить свой долг.

Мордред, на лице которого выразилось как бы застенчивое коварство, поспешил подойти к нему.

— Отец, — сказал он, — известно ли вам, что Ланселот непременно явится, чтобы спасти ее?

— Я ожидал, что так это и будет.

— Но вы выставили рыцарей, чтобы ему помешать? Вы распорядились о крепкой страже?

— Стража крепка настолько, насколько это возможно, Мордред. Я старался быть честным.

— Отец, — взмолился Мордред, — пошлите им в помощь Гавейна и этих двоих. Он же приведет с собой сильный отряд.

— Как, Гавейн? — спросил Король.

— Спасибо, дядя. Только вы бы меня лучше не просили.

— Я обязан попросить вас, Гавейн, чтобы соблюсти справедливость по отношению к страже, уже находящейся там. Вы же понимаете, если я считаю, что появится Ланселот, выставить слабую стражу было б нечестно, ибо это означало бы — предать своих людей, просто пожертвовать ими.

— Станете вы меня просить или нет, но при всем уважении к Вашему Величеству, я туда не пойду. Я этих двоих наперед предупредил, что участвовать в их затее не стану. Нет у меня желания ни смотреть, как сжигают Королеву Гвиневеру, — хотя, должен сказать, и не выйдет из этого ничего, так я надеюсь, — ни помогать ее сжечь. Вот и весь сказ.

— Ваши речи пахнут изменой.

— Может, и так, но только я к Королеве всегда относился по-доброму.

— Я тоже относился к ней по-доброму, Гавейн. Это ведь я женился на ней. Но когда дело идет о государственном правосудии, обычные чувства лучше отставить в сторону.

— Боюсь, не получится у меня их отставить. Король повернулся к другим двум братьям.

— Гарет? Гахерис? Вы окажете мне услугу, на-

дев доспехи и укрепив собой стражу?

— Дядя, пожалуйста, не просите нас.

— Поверьте, мне не доставляет радости просить вас об этом, Гарет.

— Я знаю, но, пожалуйста, не надо нас заставлять. Ланселот — мой друг, как я могу с ним биться?

Король коснулся его руки.

— Ланселот ожидал бы, что вы пойдете туда, дорогой мой, против кого бы мы ни выставили стражу. Он тоже верит в справедливость.

— Дядя, я не могу с ним сражаться. Он посвятил меня в рыцари. Я пойду, если таково ваше желание, но я пойду без доспехов. Хотя боюсь, что и это тоже пахнет изменой.

— Я готов пойти в доспехах, — сказал Мордред, — пусть даже рука моя сломана.

Гавейн саркастически заметил:

— Для тебя, паренек, это будет вполне безопасно. Мы же знаем, что Король попросил Ланселота, чтобы он тебя не обижал.

— Предатель!

— А вы, Гахерис? — спросил Король.

— Я пойду с Гаретом, безоружный.

— Ну что же, полагаю, большего мы сделать не можем. Кажется, я постарался сделать все, чего

требовал долг.

Гавейн поднялся со скамьи и с неуклюжим сочувствием протопал к Королю.

— Вы сделали больше, чем можно было от вас ожидать, — с теплотой в голосе произнес он, держа в своей лапе ладонь с набрякшими венами, — и теперь нам остается только надеяться на лучшее.

Пусть мои братья пойдут туда — без оружия. Он не тронет их, если будет видеть их лица. А я должен остаться здесь, с вами.

— Ну, значит, идите.

— Можно, я скажу палачу, чтоб начинали?

— Скажите, Мордред, если вам это нужно. Передайте ему мой перстень и возьмите у сэра Бедивера письменное распоряжение.

— Спасибо, отец. Спасибо. Это не займет и минуты.

И обладатель бледного, озаренного энтузиазмом, а на миг и странно искренней благодарностью лица поспешил прочь из Залы. С горящими глазами и нервно подергивающимся ртом он последовал за братьями, вышедшими, чтобы присоединиться к страже. Старый Король, оставшись наедине с Гавейном, уронил голову на руки.

— Он мог бы сделать это, проявив чуть больше

достоинства. Или хоть постаравшись не выказать удовольствия.

Гавейн положил руку на его поникшее плечо.

— Не бойтесь, дядя, — сказал он. — Все будет как должно. Ланселот спасет ее, когда наступит определенное Богом время, и никто не причинит ей вреда.

— Я старался исполнить мой долг.

— Вы достойны восхищения.

— Я приговорил ее, потому что закон того требует, и сделал все, зависящее от меня, чтобы привести приговор в исполнение.

— Но этого не будет. Ланселот не допустит, чтобы она пострадала.

— Гавейн, вам не следует думать, будто я пытаюсь ее спасти. Я — правосудие Англии, и наша задача — без всякой жалости предать ее смерти на костре.

— Да, дядя, и всякому ведомо, как вы старались об этом. Но правда-то остается правдой, — в душе мы оба желаем, чтобы она не пострадала.

— Ах, Гавейн, — сказал Король. — Ведь я столько лет был ей мужем!

Гавейн повернулся к нему спиной и отошел к окну.

— Не мучьте себя. Вся эта смута кончится, как

ей и следует.

— А как следует? — воскликнул старик, горестно глядя Гавейну в спину. — И как не следует? Если Ланселот придет к ней на помощь, он убьет множество ни в чем не повинных людей, назначенных в стражу, которую я поставил, чтобы сжечь ее на костре. Они доверились мне, и я выставил их, чтобы они его к ней не подпустили, ибо таково правосудие. Если он ее спасет, они падут. А если они не падут, сожгут ее. Она погибнет, Гавейн, в страшном, опаляющем пламени, — она, столь любимая мною Гвен.

— Да не думайте вы об этом. Ничего такого не будет.

Но Король уже не владел собой.

— Почему же тогда он сразу не объявился? Чего он так долго ждал?

Гавейн твердо сказал:

— Он должен был дождаться, когда она окажется на открытом месте, на площади, иначе ему пришлось бы штурмовать замок.

— Я пытался предупредить их, Гавейн. За несколько дней до того, как их поймали. Но ведь трудно называть вещи прямо их именами, не обижая людей. Да и я вел себя, как дурак. Старался не сознавать, что происходит. Я думал, что, если

не буду вполне сознавать происходящего, все в конце концов выправится. Вам не кажется, что в случившемся виноват я сам? Что я мог бы спасти их, сделать для этого что-то еще?

— Вы сделали все, что могли.

— Я совершил в молодости бесчестный поступок, и из него выросли все мои беды. Как по-вашему, возможно уничтожить последствия злого дела, творя вслед за ним добрые? Не думаю. С тех самых пор я пытался остановить зло добрыми делами, но оно лишь распространялось, как круги по воде. Вам не кажется, что и это — тоже его результат?

— Не знаю.

— До чего же страшно вот так сидеть и ждать! — воскликнул Король. — А Гвен, наверное, еще хуже. Почему они не вывели ее сразу, чтобы все кончилось поскорее?

— Уже скоро.

— И ведь во всем этом нет ее вины. А чья же тогда? Моя? Быть может, мне следовало отвергнуть свидетельство Мордреда и закрыть на это дело глаза? Или оправдать ее? Я мог бы пренебречь моим новым законом. Это мне следовало сделать?

— Вы могли это сделать.

— Я ведь мог поступить по своему желанию.

— Да.

— Но что бы тогда осталось от правосудия? Каковы были б последствия? Последствия, правосудие, злые дела, утонувшие дети! Каждую ночь они окружают меня.

Гавейн заговорил тихо, изменившимся голосом.

— Вам должно забыть об этом. Вам должно собрать в кулак все ваши силы, ибо предстоит самое трудное. Вы справитесь?

Король стиснул подлокотники трона. — Да.

— Боюсь, что вам придется подойти к окну. Ее вот-вот выведут.

Старик не шелохнулся, только пальцы его намертво стиснули дерево. Он так и сидел, глядя перед собой. Затем с усилием поднялся, перенеся вес на запястья, и двинулся навстречу своему долгу. В его отсутствие казнь считалась бы незаконной.

— На ней белая рубашка.

Двое тихо стояли бок о бок, наблюдая за происходящим как люди, которые не могут позволить себе никаких чувств. В испытании, свалившемся на них, было нечто оглушающее, низводившее их разговор до обмена краткими замечаниями. — Да.

— Что они делают?

— Не знаю.

— Молятся, наверное.

— Да. Это епископ впереди. Они смотрели на молящихся.

— Странный у них вид.

— Обыкновенный.

— Как по-вашему, можно мне сесть? — словно дитя, спросил Король. — Я им уже показался.

— Вы должны стоять.

— Мне кажется, я не смогу.

— Вы должны.

— Но, Гавейн, а вдруг она на меня посмотрит?

— Без вас казнь совершить невозможно, таков закон.

Снаружи, под окном, на укороченной перспективой рыночной площади, казалось, запели гимн. Разобрать отсюда слова или мелодию было невозможно. Они различали священнослужителей, хлопочущих о соблюдении приличествующих смерти формальностей, и мерцание неподвижно стоящих рыцарей, и множество людских голов, — как будто по сторонам площади расставили корзины с кокосовыми орехами. Разглядеть Королеву было делом нелегким. Она появлялась и снова скрывалась, словно вихрем, несомая слож-

ным церемониалом: ее вели то в одну, то в другую сторону, к ней то стекалась стайка судейских чиновников и духовников, то ей представляли палача, то уговаривали встать на колени и помолиться, то увещевали подняться и произнести речь, то окропляли, то подносили свечи, кои ей полагалось держать в руках, то прощали ей все прегрешения, то упрашивали, чтобы ода простила прегрешения всем окружающим, и все подвигали и подвигали поближе к костру, выталкивая из жизни обстоятельно и с достоинством. Что там ни говори, но процедура предания смерти осужденного законом преступника в «Темные Века» отнюдь не отличалась неряшливостью. Король спросил:

— Видите вы кого-нибудь, кто спешит ей на помощь?

— Нет.

— А ведь кажется, прошло уже много времени. Пение за окном прервалось, наступила гнетущая тишина.

— Долго еще?

— Всего несколько минут.

— Они позволят ей помолиться?

— Да, это они ей позволят. Старик внезапно спросил:

— Как по-вашему, может, и нам следует помолиться?

— Если желаете.

— Наверное, нам нужно встать на колени?

— По-моему, это не важно.

— Какую молитву мы прочитаем?

— Я не знаю.

— Может быть, «Отче наш»? Я только ее и помню.

— Что ж, молитва хорошая.

— Будем читать вместе?

— Если желаете.

— Гавейн, боюсь, мне все же придется встать на колени.

— Я останусь стоять, — сказал Властитель Оркнея.

— Ну вот…

Они еще только начали возносить свои безыскусные мольбы, когда из-за рыночной площади чуть слышно донесся сигнал трубы.

— Чшш, дядя!

Молитва смолкла на полуслове.

— Смотрите, там воины. По-моему, конные! Артур, вскочив, уже стоял у окна.

— Где?

— Труба!

И теперь уже прямо в комнату ворвалось ясное, пронзительное, ликующее пение меди. Король, дергая Гавейна за локоть, дрожащим голосом закричал:

— Мой Ланселот! Я знал, он придет!

Гавейн протиснул в оконницу грузные плечи. Они толкались, боясь упустить хоть что-то из виду.

— Да. Это Ланселот!

— Смотрите, он в серебре.

— Алый пояс на серебряном поле!

— Как держится в седле!

— Вы посмотрите, что там творится! Посмотреть, действительно, стоило. Рыночную площадь размело, словно лавиной, — то была сцена из жизни Дикого Запада. Корзины полопались, и кокосы раскатились в разные стороны. Рыцари стражи лезли на коней, подпрыгивая сбоку от своих скакунов с ногой, засунутой в стремя, меж тем как кони кружили вокруг всадников, словно вокруг осей. Псаломщики разбегались, бросая кадила. Священники посохами прокладывали себе путь через толпу. Епископа, который уходить не желал, стиснуло людскими телами и относило к церкви, а за ним плыл, словно штандарт, епископский посох, несомый высоко над смятенным

людом каким-то преданным дьяконом. Балдахин о четырех столбах, под которым на площадь доставили что-то или кого-то, раскорячив колья, погружался в толпу, словно тонущий атлантический лайнер. Под медную музыку в площадь приливной волной втекал кавалерийский отряд, сверкая красками, лязгая оружием, помавая перьями, будто вожди индейских племен, и мечи воинов взлетали и опускались, как рычаги каких-то странных машин. Покинутая горсткой служек, заслонивших ее при совершении последних обрядов, Гвиневера стояла средь этой бури, словно маяк. В белой рубашке, привязанная к столбу, она оставалась недвижной в центре бешеной круговерти. Она как будто плыла над всеми. Бой кипел у ее ног.

— Как он управляется со шпорами и уздой!

— Ни у кого больше нет такого натиска, как у него.

— Ох, бедная стража! Артур заламывал руки.

— Там кто-то рухнул.

— Это Сегварид.

— Какая схватка!

— Его натиск, — пылко промолвил Король, — всегда был неотразимым, всегда! Ах, какой выпад!

— А вон и сэр Пертилоп упал.

— Нет. Это Перимон. Его брат.

— Смотрите, как блещут мечи на солнце. Какие краски! Хороший удар, сэр Гиллимер, хороший удар!

— Нет-нет! Посмотрите на Ланселота. Смотрите, как он наскакивает и напирает. Вон Агловаль слетел с коня. Смотрите, он приближается к Королеве.

— Приам его остановит!

— Приам — чепуха! Мы победим, Гавейн, — мы победим!

Гавейн, огромный, сияющий, обернулся.

— Это какие такие «мы»?

— Ну ладно, ладно, — пусть будет «они», глупый вы человек. Сэр Ланселот, разумеется. Вот и весь ваш сэр Приам.

— Сэр Боре упал.

— Пустяки. Они в минуту посадят его на коня. Вон он, совсем близко от Королевы. Нет, вы только взгляните! Он привез ей платье и плащ.

— Еще бы!

— Мой Ланселот не позволил бы, чтобы мою Гвиневеру видели в одной лишь рубашке!

— Да ни за что на свете!

— Он набрасывает их на нее.

— Она улыбается.

— Благослови вас обоих Господь, милые вы создания! Но пешие воины, бедные пешие воины!

— По-моему, можно сказать, что бой кончен.

— Ведь он не станет убивать больше людей, чем требует необходимость? В этом мы можем на него положиться?

— Разумеется, можем.

— Это не Дамас там под лошадью?

— Да. Дамас всегда носил красный плюмаж. По-моему, они отходят. Быстро управились!

— Гвиневера уже на коне.

Вновь пропела труба, но сигнал был другой.

— Да, должно быть отходят. Это сигнал отступления. Господи Боже мой, вы посмотрите, какая там неразбериха!

— Я только надеюсь, что пострадали немногие. Вы отсюда не видите? Может быть, нам следует выйти, оказать им помощь?

— Отсюда глядеть, так поверженных вроде немало, — сказал Гавейн.

— Моя верная стража.

— Около дюжины.

— Мои отважные воины! И это тоже моя вина!

— Вот не вижу я, кого и в чем тут можно винить, — разве братца моего, так он уже мертв.

Да, это уже последние его ребята отходят. Видите Гвиневеру? Вон там, над всей этой давкой.

— Может, помахать ей рукой?

— Не надо.

— Вы думаете, это будет нехорошо?

— Нехорошо.

— Ну что же, тогда лучше, наверное, не махать. А хорошо бы все же что-нибудь сделать. Как-никак она уезжает.

Гавейн, ощутив прилив нежности, резко повернулся к Королю.

— Дядя Артур, — сказал он, — вы все-таки великий человек. Но говорил же я вам — все кончится, как следует.

— И вы великий человек, Гавейн, — хороший человек и добрый.

И радуясь, они расцеловались на старинный манер, в обе щеки.

— Ну вот, — повторяли они. — Ну вот.

— А теперь что станем делать?

— Это как скажете.

Старый Король огляделся вокруг, словно отыскивая, чем бы заняться. Бремя лет покинуло его вместе с признаками старческой дряхлости. Он распрямился. Румянец заиграл на щеках. Морщинки у глаз, казалось, лучились.

— Я думаю, что первым делом нам надлежит от души надраться.

— Отлично. Позовите пажа.

— Паж, паж! — закричал Король, высовываясь в дверь. — Куда ты, к дьяволу, запропастился? Паж! А вот ты где, шалопай, ну-ка, тащи сюда вино. Чем ты там занимался? Любовался, как сжигают твою хозяйку? Хорош, нечего сказать!

Довольный мальчишка взвизгнул и загрохотал каблуками вниз по лестнице, до середины которой он только-только поднялся.

— А потом, после выпивки? — поинтересовался Гавейн.

Весело потирая руки, Артур вернулся в залу.

— Пока не думал. Что-нибудь да подвернется. Вероятно, мы сможем уговорить Ланселота, чтобы он попросил о прощении, или придем еще к какому-нибудь соглашению с ним, — и тогда он вернется. Он мог бы сказать, что пришел к Королеве в опочивальню, потому что она призвала его, чтобы вознаградить за Мелиагранса, ибо он выступал как ее защитник, а она хотела избегнуть пересудов касательно вознаграждения. А потом ему, конечно, пришлось ее спасать, поскольку он-то знал, что она невиновна. Да, я думаю, что-то в этом роде мы и устроим. Только в

будущем им придется вести себя поаккуратней.

Но восторженное состояние покидало Гавейна гораздо быстрее, чем его дядю. Он заговорил медленно, не отрывая глаз от пола.

— Сомневаюсь я. — начал он. Король вгляделся в него.

— Сомневаюсь я, что все удастся уладить, покамест жив Мордред.

Бледной рукой подняв завесу, на пороге возникло призрачное существо, наполовину облаченное в доспехи, с незащищенным предплечьем в люльке повязки.

— Покамест жив Мордред, — сказало оно с драматической горечью, достойной мастера сценической реплики, — этому не бывать никогда.

Артур в удивлении обернулся. Он глянул в горячечные глаза сына и в тревоге шагнул к нему.

— Но Мордред!

— Но Артур.

— Да как ты смеешь так разговаривать с Королем? — рявкнул Гавейн.

— А ты вообще молчи.

Его лишенный выражения голос остановил Короля на середине пути. Но он уже снова собрался с духом.

— Войдите, Мордред, — дружелюбно сказал

он. — Мы знаем, побоище было страшное. Мы видели его из окна. И все-таки хорошо ведь, что ваша тетя теперь в безопасности, а правосудие соблюдено во всех отношениях».

— Побоище было страшное.

Голос его был голосом автомата, но исполненным глубокого значения.

— Пешие воины…

— Плевать.

Гавейн, словно механизм, поворачивался к сводному брату. Он повернулся всем телом.

— Мордред, — спросил он с тяжким акцентом. — Мордред, где ты оставил сэра Гарета?

— Где я оставил их обоих?

Рыжеволосый рыцарь разразился быстрым потоком слов.

— Нечего меня передразнивать, — заорал он. — Что ты скрипишь, как попугай? Говори, где они!

— Ступай и поищи их, Гавейн, среди людей на площади.

Артур начал было:

— Гарет и Гахерис…

— Лежат на рыночной площади. Их трудно узнать, столько на них крови.

— Но ведь они невредимы, верно? Они же были без оружия. Они не ранены?

— Они мертвы.

— Чушь, Мордред.

— Чушь, Гавейн.

— На них же не было доспехов! — протестующе воскликнул Король.

— На них не было доспехов.

Гавейн произнес, с угрозой подчеркивая каждое слово:

— Мордред, если окажется, что ты солгал…

— …то добродетельный Гавейн зарежет последнего из своих родичей.

— Мордред!

— Артур, — отозвался он. Он повернул к Королю каменное лицо, являющее безумную смесь злобы, вкрадчивости и отчаяния.

— Если это правда, это ужасно. Кому могло прийти в голову убить Гарета, да еще безоружного?

— Кому?

— Они и сражаться-то не собирались. Они пошли и встали в дозор, потому что я им приказал. К тому же, Ланселот — лучший друг Гарета. Да и со всем родом Бана мальчик был дружен. Это кажется мне невозможным. Вы уверены, что не ошиблись? Голос Гавейна внезапно наполнил комнату:

— Мордред, кто убил моих братьев?

— Действительно, кто? В неистовой ярости Гавейн ринулся к горбуну.

— Кто же, как не сэр Ланселот, о мой могучий друг.

— Лжец! Я должен сам их увидеть.

Тот же порыв, что бросил Гавейна к брату, вынес его, еще бурлящего гневом, из комнаты.

— Но, Мордред, вы уверены, что они мертвы?

— У Гарета снесено полголовы, — безучастно отозвался Мордред, — он кажется удивленным. А лицо Гахериса лишено выражения, поскольку голова его разрублена надвое.

Король испытывал скорее недоумение, чем ужас. С грустью и удивлением он произнес:

— Ланс не мог этого сделать… Он любил их обоих. На них не было шлемов, он должен был их узнать. Он посвятил Гарета в рыцари. Он ни за что не совершил бы такого поступка.

— Разумеется, нет.

— Но вы говорите, что он это сделал.

— Я говорю, что он это сделал.

— Должно быть, это ошибка.

— Должно быть, это ошибка.

— Что вы хотите этим сказать?

— Я хочу сказать, что чистый и бесстрашный

Рыцарь Озера, которому вы позволили сделать из вас рогоносца и похитить вашу жену, позабавился перед тем, как отбыть восвояси, убив двух братьев, — двух безоружных людей, питавших к нему дружескую любовь.

Артур опустился на скамью. Маленький паж, посланный за вином и вернувшийся, согнулся в низком поклоне.

— Ваше вино, сэр.

— Унеси его прочь.

— Сэр Лукан Дворецкий спрашивает, сэр, нельзя ли ему помочь в переноске раненых, сэр, и нет ли у нас льняных повязок?

— Спроси у сэра Бедивера.

— Хорошо, сэр.

— Паж, — окликнул он уходившего мальчика.

— Сэр?

— Какие потери?

— Говорят, погибло двадцать рыцарей, сэр. Сэр Белианс Надменный, сэр Сегварид, сэр Грифлет, сэр Брандиль, сэр Агловаль, сэр Тор, сэр Гаутер, сэр Гиллимер, три брата сэра Рейнольда, сэр Дамас, сэр Приам, сэр Кэй Чужестранец, сэр Дриант, сэр Ламбегус, сэр Хермин, сэр Пертилоп.

— А Гарет и Гахерис?

— Я о них ничего не слышал, сэр. Захлебываясь

словами и еще продолжая свой бег, в комнату ворвался огромный рыжий рыцарь. Словно ребенок, он устремился к Артуру. Мешаясь **с**рыданиями, изо рта его вылетали слова:

— Это правда! Правда! Я нашел человека, он видел, как все случилось. Бедный Гахерис и наш младший брат, Гарет, — он убил их обоих, безоружными.

И упав на колени, он зарылся рыжевато-белесой, словно осыпанной песком, головой в мантию старого Короля.

## 9

Через шесть месяцев, ярким зимним днем, началась осада Замка Веселой Стражи. Солнце сияло, посылая лучи под острым углом к северному ветру, обливая белизной заиндевелые восточные скаты борозд на пашне. Снаружи замка шныряли в жесткой траве чибисы и скворцы. Лишенные листьев деревья стояли подобно скелетам, подобно схемам кровотока или нервной системы. Коровьи лепешки, попадаясь под ногу, гудели, как деревянные. Зима окрасила все в блеклую лишайниковую зелень, какую видишь на подушке зеленого бархата, много лет пролежавшей под солнцем. Стволы оголенных деревьев, совсем как подушку, устилал белесый пушок. А похоронные одеяния елей были покрыты им сверху донизу. В лужах потрескивал лед, и сам Замок Веселой Стражи возвышался над промерзлым рвом, как на картинке, освещенный бессильным солнцем.

Замок Ланселота не производил грозного впечатления. Старомодные твердыни Артуровых пращуров сменились сооружениями настолько нарядными, что ныне их и воображаешь с трудом. Не следует представлять их себе подобными

тем разрушенным крепостям с крошащейся между камней известкой, какие мы видим сегодня. На самом деле, стены их покрывала штукатурка. В нее подмешивали желтую краску, отчего она слегка отливала золотом. Крытые черепицей, остроконечные, во французском вкусе, башенки замка теснились, возносясь над зубчатыми стенами во множестве самых неожиданных мест. Там были фантастические мостики, крытые наподобие Моста Вздохов, шедшие от часовни к какой-нибудь башне. Там были наружные лестницы, ведшие Бог весть куда, — может быть, в небеса. Каминные трубы, неожиданно воспаряли над навесными стрельницами. Стекленные настоящим витражным стеклом окна, вознесенные повыше, туда, где им не грозила опасность, мерцали в сплошных некогда стенах. Флажки, распятия, горгульи, водостоки, флюгеры, шпили и звонницы усеивали покатые крыши, спадавшие то в одну, то в другую сторону, крытые где красной черепицей, где замшелой каменной плиткой. Это был не замок, а город. Легкое печенье вместо тяжелого пресного хлеба древнего Дунлоутеана.

Вокруг веселого замка раскинулся лагерь осаждающих. В те дни короли, снаряжаясь в очередную кампанию, брали с собой гобелены,

украшавшие их дома, что служило мерой основательности их становища. Шатры были красные, зеленые, клетчатые, полосатые. Некоторые — из шелка. Здесь, среди мешанины веревок и красок, шатровых столбов и высоких копий, шахматистов и маркитантов, гобеленовых интерьеров и золотой посуды, и обосновался Артур Английский, намереваясь взять своего друга измором.

Ланселот с Гвиневерой стояли в замковой зале у пылающего очага. Теперь огонь уж не разводили в середине покоя, предоставляя дыму самостоятельно выбираться сквозь верхние окна. В зале имелся настоящий камин, богато изукрашенный вырезанными по камню гербами и геральдическими щитодержателями Венвика, на решетке его тлела половина дерева. Мороз сделал землю слишком скользкой для коней, и потому в тот день стояло хоть и необъявленное, но перемирие.

Гвиневера говорила:

— Я не в состоянии представить себе, как ты мог это сделать.

— Да и я не в состоянии, Дженни. Я даже не помню, чтобы я это сделал, но только все говорят, что так оно и было.

— Ты совсем ничего вспомнить не можешь?

— Видимо, я распалился, да и за тебя испытывал страх. Вокруг была толчея, все махали оружием, рыцари пытались меня задержать. Пришлось прорубаться.

— Это так на тебя не похоже.

— Ведь не думаешь же ты, что я это сделал намеренно? — с горечью спросил он. — Гарет любил меня больше, чем родных братьев. Я был ему едва ли не крестным отцом. Ох, давай оставим это, ради всего святого.

— Не мучай себя, — сказала она. — По крайней мере бедному мальчику не приходится участвовать в том, что у нас происходит.

Ланселот задумчиво пнул тлеющий ствол. Он стоял, положив одну руку на каминную полку, и смотрел на мерцающие уголья.

— У него были голубые глаза. Он помолчал, уставясь в огонь.

— Когда он явился к Артуру, он не сказал, чей он сын, потому что ему пришлось убежать из дому, чтобы вообще попасть ко двору. Мать Гарета враждовала с Артуром и даже думать не могла о том, чтобы его отпустить. Но и он не мог держаться в стороне. Он мечтал о рыцарстве, жаждал почестей, романтических приключений. Вот он и сбежал к нам и не назвал своего имени. Он даже

не просил, чтобы его посвятили в рыцари. Ему достаточно было находиться в центре великих событий, пока не представится случай показать свою силу.

Ланселот подпихнул на место отвалившуюся ветку.

— Кэй отправил его работать на кухню и дал ему прозвище: «Прекрасные Руки». Кэй всегда был грубияном. А потом… как давно это было.

В тишине — оба стояли, опершись локтем о полку и выдвинув одну ногу поближе к огню, — сквозь решетку спадал невесомый пепел.

— Я время от времени давал ему разную мелочь, чтобы он себе купил что-нибудь. Кухонный паж Бомейн. Он по какой-то причине привязался ко мне. Я своею рукой посвятил его в рыцари.

Он с удивлением посмотрел на свои пальцы, двигая ими, словно никогда не видел их прежде.

— Потом он сражался во время приключения с Зеленым Рыцарем, и мы узнали, какой он великолепный воин…

— Добрый Гарет, — сказал он почти с изумлением, — и этой же самой рукой я убил его, потому что он не пожелал выйти против меня в доспехах. До чего все-таки жуткие создания — люди! Стоит нам, гуляя в полях, увидеть цветок, как

мы палкой сшибаем ему головку. Именно так и погиб Гарет.

Гвиневера в расстройстве коснулась виноватой руки.

— Ты не мог этого предотвратить.

— Я мог это предотвратить. — Ланселота охватили его всегдашние религиозные терзания. — То была моя вина. Ты права, это было на меня не похоже. Да, то была моя вина, моя вина, моя горестная вина. Все потому, что я в этой давке рубил направо и налево.

— Но ты же должен был спасти меня.

— Да, но я мог рубиться только с рыцарями в доспехах. А я вместо того разил полубезоружных пеших ратников, и защититься-то не способных. Я был укрыт с головы до ног, а у них — всего-то навсего кожаные латы да пики. Но я разил их, и Бог наказал нас за это. Именно из-за того, что я забыл рыцарские обеты, Бог заставил меня убить бедного Гарета, да и Гахериса тоже.

— Ланс! — резко сказала она.

— А теперь над нами обоими разразились адские бедствия, — продолжал он, отказываясь слушать. — Теперь я вынужден биться с моим Королем, который посвятил меня в рыцари и научил всему, что я знаю. Как мне биться с ним?

Как мне биться даже с Гавейном? Я убил трех его братьев. Разве могу я добавить к ним еще одного? А Гавейн теперь вцепится в меня мертвой хваткой. Он уже никогда меня не простит. И я его не виню. Артур простил бы нас, но Гавейн ему не позволит. И мне приходится сидеть, словно трусу, осажденным в этой норе, — никто, кроме Гавейна, не хочет сражаться, но они то и дело выходят под стены с фанфарами и поют:

Рыцарь, чье имя Измена, Выйди сражаться за стены. Гей! Гей! Гей!

— Так ли уж важно, что они там поют. От этого пения ты не становишься трусом.

— А вот мои же собственные воины начинают так думать. Боре, Бламур, Блеоберис, Лионель, — они постоянно упрашивают меня выйти из замка на бой. Но если я выйду, что тогда будет?

— Насколько я в состоянии судить, — сказала она, — будет то, что ты разобьешь их, а после отпустишь, попросив вернуться домой. Все только уважают тебя за твою доброту.

Он спрятал лицо за изгибом локтя.

— Ты знаешь, что случилось во время последнего боя? Боре схватился на копьях с самим Королем и выбил его из седла. Он спешился и стоял над Артуром с обнаженным мечом. Я увидел, что

происходит, и поскакал туда, как безумный. Боре сказал: «Не положить ли мне конец этой войне?» — «Не смей, — закричал я, — под страхом смерти, не смей». И после я подсадил Артура обратно в седло и умолял его, на коленях умолял отправиться восвояси. Артур заплакал. Глаза его наполнились слезами, он смотрел на меня и молчал. Он постарел. Он не хочет воевать с нами, но не может противиться Гавейну. Гавейн был прежде на нашей стороне, но я в моей греховности перебил его братьев.

— Забудь ты свою греховность. Всему виной ярость Гавейна и коварство Мордреда.

— Если бы дело было только в Гавейне, — пожаловался он, — еще оставалась бы надежда на мир. Он человек внутренне благородный. Достойный человек. Но рядом с ним все время стоит Мордред, растравляет его намеками и не дает ему забыть о своем несчастье. А тут еще вечная ненависть между галлами и гаэлами и Мордредов Новый Порядок. И конца этому я не вижу.

В сотый раз Королева предложила:

— Может быть, мне стоит вернуться к Артуру и отдаться ему на милость?

— Мы же предлагали им это, и они ответили отказом. И какой в этом смысл? Скорее всего, они

в конце концов просто сожгут тебя на костре.

Оставив камин, она отошла к амбразуре большого окна. Внизу за окном лежал погруженный в свои заботы лагерь осаждающих. Какие-то крошечные солдаты играли на льду пруда в «Лису и гусей». Их ясный смех долетал сюда, отделенный расстоянием от кувырков, которые его вызывали.

— А война все идет и идет, — сказала она, — и убивают на ней пеших солдат, а не рыцарей, и никто на это не обращает внимания.

— А война все идет.

Не поворачиваясь, она заметила:

— Пожалуй, я все же рискну и вернусь, мой милый. Пусть даже меня сожгут, это все-таки лучше, чем смута.

Он перешел за нею к окну.

— Дженни, я бы отправился с тобой, если бы в этом был хоть какой-то смысл. Мы могли бы поехать вместе, позволить им отрубить нам головы, если бы это давало хоть крошечную надежду остановить войну. Но все уже обезумели. Пусть мы с тобою сдадимся, все равно Боре, Эктор и остальные продолжат раздор, — даже если мы будем убиты. Ныне все поднялось на поверхность, сотни поводов для вражды — вспомни

тех, кто погиб на рыночной площади, и тогда, на лестнице, вспомни полвека правления Артура. Скоро я уже не смогу их удерживать, даже при нынешнем положении. Эб Достославный, Вилар Доблестный, Уррий Венгерский — они станут мстить за нас, и будет только хуже. Уррий страх как мне благодарен.

— Похоже, вся наша цивилизация сошла с ума, — сказала она.

— Да, и похоже, мы сами ее до этого довели. Боре, Лионель и Гавейн ранены, и все вокруг жаждут крови. Мне приходится совершать с моими рыцарями вылазки и носиться по полю, делая вид, что я наношу удары, и в конце концов на меня либо выталкивают Артура, либо налетает Гавейн, и тогда приходится прикрываться щитом и обороняться, ведь разить их в ответ мне невозможно. А мои люди видят это и говорят, что, не утруждая себя, я лишь затягиваю войну, отчего они терпят урон.

— То, что они говорят, — правда.

— Разумеется, правда. Но если не это, остается только убить и Артура, и Гавейна, а как я могу это сделать? Если б Артур позволил тебе вернуться и сам отошел бы отсюда, все было бы лучше, чем теперь.

Лет двадцать назад Гвиневера вспылила бы, услышав столь бестактное предположение. Ныне же, в их осеннюю пору, она лишь улыбнулась.

— Дженни, то, что я говорю, ужасно, но это правда.

— Конечно, правда.

— И выходит, что мы обращаемся с тобой, будто с марионеткой.

— Все мы марионетки.

Он прислонил голову к холодному камню амбразуры и стоял так, пока она не взяла его за руку.

— Не думай об этом. Просто оставайся в замке и будь терпелив. Может быть, Бог о нас позаботится.

— Ты уже говорила это однажды.

— Да, за неделю до того, как они нас поймали.

— А не захочет Бог, — с горечью сказал он, — так останется уповать на Папу.

— На Папу!

Он поднял взгляд.

— Что это ты?

— Послушай, Ланс, то, что ты сказал… А ну как Папа вынужден будет прислать обеим сторонам буллы, угрожая нам отлучением, если мы не придем к соглашению? Что если мы попросим о

папском решении? Борсу и прочим придется его принять. И тогда, конечно…

Он не отрывал от нее глаз, пока она подыскивала слова.

— Он может назначить епископа Рочестерского, чтобы он выработал условия мира…

— Да, но какие условия?

Однако идея уже захватила Гвиневеру и воодушевила ее.

— Ланс, какими бы они ни были, нам с тобой их придется принять. Пусть даже низкие… пусть даже позорные для нас, для народа они будут означать мир. И у наших рыцарей не найдется извинений для продолжения раздора, потому что они обязаны будут подчиниться Церкви.

Ланселот не мог найти нужных слов.

— Ну и?..

Она обратила к нему лицо, исполненное покоя и облегчения, — деятельное, лишенное всего показного, лицо, какое видишь у женщины, когда она нянчит ребенка или занимается чем-то еще, требующим умения и сноровки. Он не знал, что можно возразить такому лицу.

— Мы можем завтра же отправить гонца.

— Дженни!

Ему казалась невыносимой мысль о том, что

она, уже далеко не девочка, позволяет им передавать себя из рук в руки, мысль о том, что он должен ее потерять, как и о том, что терять ее он не должен. От всего, что наполняет людские жизни, от их любви, от всех его прежних верований, у него не осталось ничего, кроме позора. Она поняла и это и в этом тоже ему помогла. С нежностью она поцеловала его Снаружи ежедневный хор затянул свое:

Рыцарь, чье имя Измена, Выйди сражаться за стены. Гей! Гей! Гей!

— Ну их, — сказала она, гладя его белые волосы. — Не слушай. Мой Ланселот должен остаться в замке, и все закончится хорошо.

## 10

— Итак, Его Святейшество заключил между ними мир без всякого их участия, — со злостью сказал Мордред.

— Угу.

Они сидели в Судебной Зале, Гавейн и Мордред, ожидая начала последней стадии переговоров. Оба были в черном, но с тем странным различием, что Мордред выглядел в нем великолепно, напоминая Гамлета, тогда как Гавейн больше походил на могильщика. С подобной театральной простотой Мордред начал одеваться, когда возглавил популярную ныне партию. Целью ее было установление некоего подобия национального правления плюс гаэльская автономия и избиение евреев — в виде отмщения за смерть мифического святого по имени Хью Линкольнский. В партии, распространившей свое влияние по всей стране, состояли уже тысячи членов, носивших партийный значок с изображением алого кулака с зажатой в нем розгой и называвших себя «Хлыстунами». Старшего же брата, надевшего партийную форму лишь для того, чтобы сделать приятное младшему, облекало домотканое чер-

ное сукно — беспросветный мрак искреннего траура.

— Смешно сказать, — продолжил Мордред, — но если б не Папа, мы бы тут никогда не увидели такого красивого шествия — у всех по оливковой ветви в руке, а целомудренные влюбленные сплошь в белых одеждах.

— Да, хорошее было шествие.

Гавейн, чей разум на извилистых путях иронии чувствовал себя неуверенно, принял насмешку за честное описание события.

— Это верно, спектакль удался на славу.

Старший брат шевельнулся, словно испытывая неловкость и пытаясь расположиться поудобнее, но вместо того просто вернулся к началу разговора.

Он произнес неуверенно, как бы задавая вопрос или излагая просьбу:

— Ланселот говорит в письме, будто убил нашего Гарета по ошибке. Говорит, что не видел его.

— Это вполне в духе Ланселота — рубить безоружных направо-налево, не вглядываясь, кто они и что они. Он всегда этим славился.

На сей раз ирония была настолько увесистой, что даже Гавейн ее ощутил.

— Вот и я мыслю, что это на него не похоже.

— Не похоже? Разумеется, не похоже. Он же вечно изображал preux chevalier, щадившего людей, — ни разу не убившего человека, который не устоял против него. Тем и прославился. И ты полагаешь, что он вдруг ни с того ни с сего отбросил притворство и принялся крушить безоружных?

С трогательной потугой на беспристрастность Гавейн произнес:

— Вроде, не было ему причины их убивать.

— Причины? А разве Гарет не брат нам? Он убил его из мести, чтобы отплатить нам, всей нашей семье, потому что это мы застукали его с Королевой.

И с особым тщанием выбирая слова, Мордред добавил:

— Все потому, что Артур любит тебя, и Ланселот завидует твоему влиянию. Ему хотелось ослабить Оркнейский клан, он все отлично продумал.

— Он ослабил и свое положение тоже.

— А кроме того, он завидовал Гарету. Боялся, что наш брат начнет наступать ему на пятки. Наш Гарет ему подражал, а это не устраивало preux chevalier. Нельзя же позволить, чтобы существовало целых два безупречных рыцаря.

Судебную Залу уже подготовили к пышной заключительной церемонии. Сейчас в ней нахо-

дились лишь двое мужчин, и Зала казалась голой. Братья сидели немного странно — один позади другого — на ступеньках, ведущих к трону, то есть не видя лиц друг друга. Мордред смотрел Гавейну в затылок, Гавейн смотрел в пол. Сдавленным голосом он произнес:

— Гарет был лучшим из нас.

Если бы он сейчас резко обернулся, его удивила бы напряженная пристальность, с какой Мордред вглядывался в него. Выражение Мордредова лица вовсе не сочеталось с музыкой, звучавшей в его голосе. Человек, внимательно приглядевшийся к Мордреду, мог бы заметить, что в повадках его появилась в последние шесть месяцев некая странность.

— Гарет был славный малый, — произнес Мордред, — и угораздило же его пасть от руки именно того человека, которому он так верил.

— Это научит меня никогда не верить южанам. Мордред повторил, почти неуловимо подчеркнув замену местоимения:

— Да, это нас научит.

Старый деспот обернулся. Он схватил белую руку брата, стиснул ее и, запинаясь, заговорил.

— Я все время думал, что весь вред от Агравейна, — от Агравейна и от тебя. Я думал, что

вы предубеждены против сэра Ланселота. Мне стыдно за эти мысли.

— Кровь — не водица.

— Это так, Мордред. Можно болтать про идеалы, про правое и неправое и про все такое, — а под конец все сводится к тому, кто чей сородич. Я ругал Гарета, когда он забирался в огородик святого отца, там, у обрыва…

Голос его задрожал и прервался, братья молчали, пока худосочный Мордред не сказал, возвращая Гавейна на прежний путь:

— В детстве волосы у него были такие светлые, что казались белыми.

— Кэй прозвал его «Прекрасные Руки».

— Кэй хотел обидеть его.

— Хотел, а все же сказал правду. Руки у Гарета были красивые.

— А теперь он лежит в могиле.

Лицо Гавейна вспыхнуло так, что брови стали на нем незаметны. На висках его вздулись вены.

— Да проклянет их Господь! Я не приму этого мира. Я их не прощу. Почему Король Артур норовит загладить содеянное? И зачем в это лезет Папа? Не их братьев убили — моих, и клянусь всемогуществом Божиим, я отомщу!

— Ланселот проскользнет у нас между пальцев.

Он человек изворотливый, его не ухватишь.

— Не проскользнет. На этот раз он у нас в руках. Корнуоллы слишком долго и много прощали.

Мордред поерзал на ступеньках.

— Ты когда-нибудь размышлял о том, что принес Стол Оркнею и Корнуоллу? Отец Артура убил нашего деда. Сам Артур совратил нашу мать. Ланселот убил трех наших братьев, не считая Флоренса и Ловеля. А мы с тобой торчим здесь, торгуя нашей честью, чтобы примирить двух англичан. Тебе это не кажется трусостью?

— Нет, это не трусость. Папа может заставить Короля принять Королеву обратно, но о сэре Ланселоте в его буллах нету ни слова. Мы обещали ему неприкосновенность, чтобы он мог привезти сюда женщину, и мы также позволим ему уйти отсюда. Но после…

— А зачем же сейчас-то его отпускать?

— Затем, что ему обещана охранная грамота. Господь запрещает трогать его, Мордред, мы все-таки рыцари!

— Да, и мы не должны прибегать к нечистому оружию, даже если наши враги прибегают к нему.

— Вот, правильно. Пусть кабан побегает, дадим ему это право, а сами будем гнать его и загоним до

смерти. Артур слабеет: он исполнит нашу волю.

— Печально видеть, — вымолвил сэр Мордред, — до чего ослабла хватка несчастного Короля с тех нор, как началась вся эта история.

— Да, это печально. Но он понимает различие между правым и неправым.

— Это для него что-то новое.

— Ты говоришь о слабости?

— Как быстро ты все схватываешь.

Быть саркастичным с Гавейном не составляло ему труда — все равно, что передразнивать слепого.

— Нельзя сидеть на всех стульях сразу. Ему вообще не стоило водиться с этим предателем.

— Как и брать в жены Гвен.

— Да уж, тут оба они виноваты. Не мы искали ссоры.

— Что верно, то верно.

— Король обязан отстаивать правосудие. Даже если Его Святейшество заставят Короля снова принять эту женщину на свое ложе, у нас остаются наши права на сэра Ланселота. Он совершил великое предательство, когда увез Королеву, так же как и когда убил наших братьев.

— Любые права.

Грузный рыцарь снова схватил своего брата за

руку, казавшуюся еще бледнее в заскорузлой лапе могильщика, и сказал, с трудом подбирая слова:

— Это так горько и больно, когда остаешься совсем один.

— Мы дети одной матери, Гавейн. — Да!

— И Гарету она тоже была матерью…

— А вот и Король.

Торжественная церемония примирения достигла завершающей стадии. В замковом дворе запели трубы, и по лестнице дворца потекли вверх сановники Государства и Церкви. Придворные, епископы, герольды, пажи, судьи и просто зрители, беседуя, вливались в Залу. С их появлением гобеленовый куб наполнился красками, словно пустая ваза цветами. Его украсили дамы, чьи казавшиеся голыми лица венчались уборами в виде полумесяцев или длинных конусов или куафюрами, столь же удивительными, как у Герцогини из «Алисы в Стране Чудес». В ярких корсажах с талиями где-то под мышками, с руками, укрытыми в спадающие складками рукава, в достающих до полу юбках, в одеяниях из триполитанской верблюжьей шерсти, тафты или домодельного красного сукна, нежные существа проплывали к своим местам, вея ароматами мирра и меда (которым они полоскали

рты). Их кавалеры, молодые оруженосцы, одетые по последней моде (многие из них уже состояли в «Хлыстунах» и носили значок Мордреда), меленько перебирали ногами в долгоносых туфлях, в коих совершенно невозможно было взойти по ступеням. У подножия лестницы туфли приходилось снимать, и дальше наверх их уже подносили пажи. Первое, что в этих молодых людях бросалось в глаза, — это их ноги в высоких чулках: пришлось даже принять особый закон, регулирующий покрой их кафтанов, каковым предписано было иметь длину, достаточную для сокрытия ягодиц. За ними последовали более респектабельные члены Королевского совета в удивительных шляпах, из коих иные походили на стеганые колпаки, под которыми настаивается завариваемый чай, иные на тюрбаны, иные на птичьи крылья, а иные и на муфты. Советников облекали складчатые стеганые мантии с высокими плоеными воротниками, с оплечьями и поясами в драгоценных камнях. Тут были и клирики в аккуратных шапочках, согревавших тонзуры, в простых одеяниях, столь непохожих на наряды мирян. Тут был и заезжий кардинал в замечательной шляпе с кисточкой, и по сию пору украшающей писчую бумагу Вулзи-Колле-

джа в Оксфорде. Тут были меха и опушки всех сортов, включая красивый ромбовидный узор, составленный из кусочков меха белых и черных ягнят. Шум от разговоров стоял такой, как от стаи скворцов.

Но то была лишь первая часть торжественного шествия. О начале второй предупредили все те же трубы, на сей раз пропевшие ближе. Затем в Залу вошло некоторое число цистерианских монахов, секретарей, дьяконов и прочих служителей церкви, — сплошь обремененных чернилами, кои получали посредством вываривания терновой коры, пергамента-ми, тонким песком, буллами, перьями и перочинными ножиками, каковые всякий писец, работая, обыкновенно держит в левой руке. Также имелись у них счетные палочки и протоколы последних переговоров.

Следом в Залу вступил епископ Рочестерский, облеченный званием папского нунция. Он явился во всем подобающем нунцию великолепии, хоть и оставил внизу свой паланкин. Это был пожилой господин в шелковистых власах, в ризах, с епископским посохом, в стихаре и с перстнем епископа, — учтивый, сознающий свою духовную власть священнослужитель.

И вот наконец трубы прозвучали у самых

дверей, и в Залу вступила Англия. В тяжелой горностаевой накидке, покрывавшей его плечи и левую руку и спускавшейся узкой полоской вдоль правой, в бархатном синем плаще и ошеломительного вида короне, обремененный величием и поддерживаемый, буквально поддерживаемый под руки особо назначенными для того чиновными лицами, Король прошествовал к расположенному на возвышении, накрытому золотым балдахином с вышитыми по нему драконами вставшими красными трону, на ступенях которого завиделись сквозь расступившуюся толпу встречающие его Гавейн и Мордред. Доставленный к трону, Король тяжело осел на него. Стоявший до этого времени нунций также уселся на белый с золотом трон, что стоял насупротив королевского. Гул затих.

— Можем ли мы начать?

Благозвучный, словно в храме, голос Рочестера разрядил напряжение:

— Церковь готова.

— Государство тоже.

Это громыхнул Гавейн — несколько вызывающим тоном.

— Осталось ли что-либо, что надлежит уладить прежде, чем они войдут?

— Все улажено по-честному.

Рочестер обратил взгляд к Властителю Оркнея.

— Этим мы обязаны сэру Гавейну.

— К вашим услугам.

— В таком случае, — произнес Король, — я полагаю, мы можем известить сэра Ланселота, что Двор ожидает его.

— Бедивер, будьте любезны послать за подсудимыми.

Все уже заметили, что у Гавейна появилось обыкновение говорить от имени трона, и что Артур ему не препятствует. Однако папский посланник подобной смиренности не питал.

— Одну минуту, сэр Гавейн. Я обязан указать, что Церковь не считает этих людей подсудимыми. Миссия Его Святейшества, каковую я представляю, это миссия мира, но не мщения.

— Церковь может рассматривать этих людей, как ей представляется верным. Мы здесь для того, чтобы исполнить повеление Церкви, но исполняем мы оное так, как умеем. Приведите сюда подсудимых.

— Сэр Гавейн…

— Протрубите сигнал ко входу Ее Величества. Заседание Суда начинается.

Зазвучала музыка, ей, словно в дурном спек-

такле, ответила музыка снаружи, и все головы повернулись к дверям.

С шелестом шелков и колыханием мехов в середине Залы образовался проход. За открывшейся аркой дверей стояли, ожидая своего выхода, Ланселот с Гвиневерой.

Было что-то трогательное в пышности их одеяний — словно они нарядились для участия в шараде, не вполне для нее подходя. Облачения их были белыми с золотым шитьем, и Королева, уже больше не юная и прекрасная, держала оливковую ветвь без всякой грациозности. Они неловко шли по проходу, словно старательные актеры, старательные, но лишенные актерских способностей. Дойдя до трона, они преклонили колени.

— Мой достославный Король.

Едва ощутимый проблеск взаимного расположения был мгновенно уловлен Мордредом.

— Очаровательно!

Ланселот взглянул на старшего брата.

— Сэр Гавейн.

Оркнеец показал ему спину. Ланселот повернулся к Церкви.

— Господин мой Рочестер.

— Добро пожаловать, сын мой!

— По Королевскому повелению и по повелению

Папы я привез Королеву Гвиневеру.

Наступила опасная тишина, которую никто не решался нарушить своими речами.

— И стало быть, долг мой, раз никто не желает мне отвечать, состоит в том, чтобы подтвердить невиновность Королевы Английской.

— Лжец!

— Я явился сюда сам, дабы заявить, что Королева блага и нелжива, верна Королю Артуру и чиста перед ним, и это я готов доказать всякому, кто оспорит меня, исключая только Короля или сэра Гавейна. И это мой долг перед Королевой — сделать подобное предложение.

— Святой Отец повелел нам принять ваше предложение, сэр Ланселот.

И во второй раз воодушевление, нараставшее в Зале, было разрушено Оркнейской партией.

— Тьфу на твои хвастливые речи! — крикнул Гавейн. — Что до Королевы, то пусть она получит прощение и живет здесь. Но ты, коварный и трусливый рыцарь, за что было тебе убивать моего брата, который любил тебя сильнее, нежели весь род наш?

Оба великих воина, не заметив того, перешли на высокий язык, отвечающий и этому месту, и страстям, которые ими владели.

— Бог видит, сэр Гавейн, что извинения мне не помогут. Я предпочел бы скорее убить моего племянника, сэра Борса. Но я не видел их, Гавейн, и заплатил за это!

— Ты совершил это из ненависти ко мне и к Оркнею!

— Сердце мое, — ответил Ланселот, — скорбит о том, что вас заставили думать так, господин мой сэр Гавейн, ибо я знаю, что пока вы против меня, между мною и Королем согласию не бывать.

— Истинно сказано, Ланселот. Ты явился сюда с охранным ручательством, дабы привезти назад Королеву, но отсюда уйдешь как убийца, каков ты и есть.

— Если я убийца, господин мой, тогда да простит меня Бог. Но я никогда не убивал коварными ухищрениями.

Ланселот прибегнул к этому доводу без какой-либо задней мысли, но Гавейн усмотрел в нем больше того, нежели он содержал. Стиснув кинжал, Гавейн воскликнул:

— Я понял твой намек! Ты разумеешь сэра Ламорака…

Епископ Рочестерский поднял руку в перчатке.

— Гавейн, не могли бы мы отложить эти пререкания до другого раза? Наша прямая задача

— восстановить Королеву в ее правах. Не сомневаюсь, что сэр Ланселот желал бы объяснить причины возникновения раздора, так чтобы Церковь могла скрепить ее возвращение на престол.

— Благодарю вас, господин мой.

Гавейн свирепо взирал на Ланселота, пока усталый голос Короля не побудил разбирательство двигаться дальше. Как-то неуклюже оно продвигалось, рывками.

— Вас застали у Королевы.

— Сэр, я был зван к госпоже моей, Королеве, а для чего, я не знал; но едва только я закрыл за собой дверь Королевиных покоев, как тотчас же сэр Агравейн и сэр Мордред стали бить в нее, называя меня рыцарем-изменником и трусом.

— Они правильно называли тебя.

— Господин мой сэр Гавейн, в той схватке им не удалось выказать себя правыми. Я же ныне говорю в защиту Королевы, но не моей чести.

— Хорошо, сэр Ланселот, хорошо.

Рыцарь, Совершивший Проступок, со спокойной грацией повернулся к своему старейшему другу, к первому человеку, которого он полюбил. Он оставил язык рыцарства, перейдя на простую речь:

— Разве нельзя нас простить? Разве не можем

мы вновь стать друзьями? Мы вернулись сюда в раскаянии, Артур, хотя и не имели нужды возвращаться. Неужели ты не помнишь прежних дней, когда мы сражались бок о бок и были друзьями? Если ты явишь нам милосердие, все содеянное зло удастся исправить, буде сэр Гавейн покажет к тому добрую волю.

— Король являет нам правосудие, — ответил рыжий рыцарь. — И разве ты явил милосердие моим братьям?

— Я являл милосердие всем вам, сэр Гавейн. И смело скажу, что я ничуть не хвастаюсь, говоря, что многие в этой зале обязаны мне свободой, если не жизнью. Я и прежде, из-за иных наветов, сражался за Королеву, как же было мне не сразиться, когда беда грозила ей из-за меня? И за вас я также сражался, сэр Гавейн, и спас вас от постыдной смерти.

— И при всем при том, — промолвил Мордред, — ныне из всех Оркнейцев уцелели лишь двое.

Гавейн резко вскинул голову.

— Король пусть решает, как ему угодно. Я же принял решение шесть месяцев назад, когда нашел сэра Гарета, залитого кровью — и безоружного.

— Видит Бог, я желал бы, чтобы он был в доспехах, ибо тогда он мог бы выстоять против меня. Он мог бы убить меня и спасти нас всех от этих несчастий.

— Великодушная речь.

Старый рыцарь воскликнул с внезапной страстностью, обращаясь ко всем, кто согласен был его выслушать:

— Почему же вам так хочется верить, что я желал его смерти? Я посвятил Гарета в рыцари. Я любил его. В тот миг, как я услышал о его смерти, я понял, что вы меня никогда не простите. Я понял, что всем моим надеждам конец. Убивать сэра Гарета было не в моих интересах.

Мордред прошептал: «Не от души, стало быть, убивал».

Ланселот сделал последнюю попытку образумить Гавейна.

— Гавейн, простите меня. От того, что я сделал, сердце мое обливается кровью. Я знаю, как вам больно, потому что и мне больно тоже. Может быть, если я принесу покаяние, вы позволите миру вернуться в нашу страну? Не вынуждайте меня сражаться для спасения моей жизни, но позвольте мне совершить паломничество во имя Гарета. Я выйду из Сандуича в одной рубахе и

пройду босой до Карлайля, закладывая часовню в память о нем через каждые десять миль.

— Мы полагаем, — ответил Мордред, — что кровь Гарета не искупается сооружением часовен, сколь бы ни были они милы сердцу епископа Рочестерского.

Терпение старого рыцаря лопнуло.

— Придержите язык!

И тут же взъярился Гавейн.

— Веди себя вежливо, ты, убийца, или мы заколем тебя прямо у ног Короля!

— Для этого потребуется больше. Снова вмешался нунций.

— Сэр Ланселот, прошу вас. Что бы ни происходило, но пусть хоть кто-то из нас сохранит должное терпение и достоинство. Сядьте, Гавейн. За кровь сэра Гарета было предложено искупление, посредством которого, возможно, удастся положить конец войне. Мы ждем вашего ответа.

Наступило выжидательное молчание, и седой гигант заговорил еще более резко:

— Я выслушал речи сэра Ланселота и его щедрые посулы, но он убил моих братьев. Этого я ему никогда не прощу, и в особенности его предательства по отношению к моему брату сэру Гарету. И если мой дядя, Король Артур, пожелает

помириться с ним, тогда Король лишится моей службы и службы всех гаэлов. Сколько бы мы тут не толковали, мы знаем правду. Этот человек отъявленный изменник и Королю, и мне.

— Никто из назвавших меня изменником, Гавейн, не пережил своего обвинения. Что до Королевы, я все объяснил.

— С этим покончено. Я не позволяю себе выпадов против женщины, если могу без этого обойтись. Я говорю сейчас о приговоре, который вынесен будет тебе.

— Если это приговор Короля, я его принимаю.

— Король уже согласился со мной, до твоего прихода.

— Артур…

— Обращайся к Королю по титулу.

— Сэр, это правда?

Но старик лишь поник головой.

— По крайней мере дайте мне услышать об этом из уст Короля!

Мордред произнес:

— Говорите, отец.

Артур помотал головой, словно затравленный медведь. Он двигал ею по-медвежьи тяжко, но не отрывал глаз от пола.

— Говорите.

— Ланселот, — услышали все произносимые Королем слова, — тебе известно все, что было и есть между нами. Мой Стол разрушен, мои рыцари разделились или погибли. Я никогда не искал раздора с тобою, Ланс, как и ты со мной.

— Но неужели нельзя с этим покончить?

— Гавейн говорит… — слабо начал он.

— Гавейн!

— Правосудие…

Гавейн поднялся на ноги, рыжий, плотный, неистовый.

— Мой Король, мой господин и мой дядя. Согласен ли суд, чтобы я произнес приговор этому трусливому предателю?

Тишина стала полной.

— Знайте же все вы, что таково Королевское Слово. Королева возвратится к нему свободной, и ничто из того, в чем она была заподозрена доныне, никакой опасностью ей не грозит. Такова воля Папы. Но ты, сэр Ланселот, тебе надлежит не долее чем в пятнадцать дней удалиться из этого королевства в изгнание, как ты есть явный изменник; и клянусь Богом, мы последуем за тобою по истечении этого срока, чтобы обрушить крепчайший из замков Франции на твои уши.

— Гавейн, — с мучительным трудом произнес

Ланселот, — не преследуй меня. Я принимаю изгнание. Я стану жить в моих французских замках. Но не преследуй меня, Гавейн. Не заставляй войну длиться вечно.

— Оставь это тем, кто почище тебя. А замки твои принадлежат Королю.

— Если ты пойдешь на меня войною, Гавейн, не вызывай меня на бой и не позволяй Артуру выходить против меня. Я не могу сражаться с друзьями. Гавейн, ради Господа, не заставляй нас сражаться.

— Хватит твоих речей. Вручи Королю Королеву и поспеши вон от этого Двора.

С чем-то вроде завершающей скрупулезности Ланселот собирал воедино все свои душевные силы. Он перевел взгляд с Англии на своего мучителя. Медленно он поворотился к Королеве, так и не сказавшей ни слова. Он увидел ее, неповоротливую в дурацких одеждах с шутовской оливковой ветвью в руках. Он высоко поднял голову, сообщая их трагедии серьезность и благородство.

— Ну что же, госпожа моя, видно, нам должно расстаться.

Он взял ее за руку и повел к середине Залы, дорогою обращая ее в ту женщину, которую помнил

всегда. Что-то в пожатии его руки, в походке, в полноте его голоса заставило ее вновь расцвести, обратившись в Розу Англии, — ибо в последний раз выступали они заодно. Она опять была высшей наградой тому, кто ее завоюет, — состояние, которое оба они призабыли. Величаво, как в танце, рыцарь-горгулья вывел ее на самую середину Залы. Здесь он установил ее, ослепительную, замковым камнем державы, и здесь простился с ней навсегда. В последний раз были вместе сэр Ланселот, Король Артур и Королева Гвиневера.

— Мой Король и старые друзья мои, одно слово, прежде чем я уйду. Приговор мой требует, чтобы я покинул наше содружество, коему прослужил всю жизнь. Мне должно оставить страну, и война последует за мной по пятам. Стало быть, я в последний раз стою здесь перед вами заступником Королевы. Я стою здесь, чтобы сказать вам, госпожа моя и дама, перед всем этим двором, что если в будущем вам станет грозить какая-либо беда, то хотя бы один бедный рыцарь придет вам на помощь из Франции, — и пусть каждый помнит об этом.

Неторопливо он перецеловал ее пальцы, чопорно развернулся и в тишине зашагал к дверям длинной-длинной залы. Он шел навстречу свое-

му будущему, и будущее смыкалось вокруг него.

В то время любому злодею, заручившемуся правом неприкосновенности, давалось пятнадцать дней, чтобы добраться до Дувра. Добираться же следовало предписанным для злодеев образом: «непрепоясанным, необутым, главы не покрывая, в одной рубахе, аки висельнику бысть надлежит». Идти полагалось серединой дороги, сжимая в руке маленький крест, символ неприкосновенности. Вероятно, по пятам за Ланселотом, таясь, следовал бы Гавейн или кто-то из его присных, в надежде, что он на миг выпустит из рук талисман. И все же, в рубахе ли, в кольчуге, он все равно остался бы их старым Командующим. Вот так он и шел бы — твердо, без спешки, глядя прямо перед собой. Когда он шагнул за порог, в облике его уже проступило долготерпение, потребное в дальней дороге. Люди, оставшиеся в Судебной Зале, покинутой старым воином, вдруг ощутили, безвкусицу своих ярких одежд, и многие с тайной боязнью скосили глаза на алую розгу.

# 11

Гвиневера сидела в Королевской опочивальне Замка Карлайль. Огромное ложе, застлав, приспособили под диван, отчего оно приобрело вид столь опрятный и строгий, что на него боязно было присесть. В опочивальне имелись также — камин, снабженный всем необходимым для подогрева небольшого котла, высокое кресло и налой для чтения. Имелась здесь и книга, быть может, тот самый Галеот, о котором упоминает Данте. Стоила она не меньше, чем девяносто быков, но поскольку Гвиневера прочла ее уже семь раз, книга больше не возбуждала в ней интереса. Отсвет недавно выпавшего снега вливался в спальню снизу, — озаряя более потолок, нежели пол, и смещая привычные тени. Тени лежали синие и не там, где обычно. Высокородная леди коротала время за шитьем, чинно сидя в высоком кресле, пообок от книги, а на ступенях, ведущих к ложу сидела одна из ее камеристок и также вышивала.

Гвиневера клала стежок за стежком, и разум ее, как у всякой рукодельницы за работой, был наполовину пуст, — другая его половина неторопливо

перебирала заботы, одолевавшие Гвиневеру. Ей не хотелось оставаться в Карлайле. Слишком близко к северу, — то есть к графству Мордреда, — слишком далеко от хранительных удобств цивилизации. Она бы с удовольствием оказалась сейчас, ну, скажем, в Лондоне, может быть, даже в Тауэре. Куда приятнее было бы смотреть не на эти унылые снега, а на суматошное оживление столицы, видное из окон Тауэра: на Лондонский мост, сплошь утыканный шаткими домами, которые то и дело кувыркались в реку. Она вспоминала этот мост, как существо, наделенное индивидуальностью, — со всеми его постройками, и с головами мятежников на пиках, и с тем местом, где сэр Давид в полных доспехах сражался на поединке с лордом Уэллсом. Погреба домов располагались в опорах моста, а еще у моста имелась своя собственная часовня и башня для его обороны. То был совершенный в своем роде игрушечный город с хозяйками, выставляющими из окон головы, спускающими в реку бадьи на длинных веревках, плещущими туда же помои, развешивающими стираное белье, визгливо призывающими детей, когда наступает пора подтягивать кверху подъемную часть моста.

Да что говорить, и просто в самом Тауэре нахо-

диться сейчас было бы гораздо приятней. Здесь, в Карлайле, царил мертвенный покой. А там морозный ландшафт оживляло бы непрестанное мельтешение лондонцев вокруг башни Завоевателя. Даже Артуров зверинец, который он ныне держал прямо в Тауэре, и тот вносил бы в жизнь приятное разнообразие своим шумом и запахами. Последним его прибавлением был взрослый слон, подаренный Королем Франции и специально зарисованный на предмет отображения в летописи неутомимым хроникером Матфеем Парижским.

Добравшись до слона, Гвиневера отложила шитье и принялась растирать пальцы. Пальцы онемели. И согревались они теперь не так быстро, как прежде.

— Вы выставили крошки для птиц, Агнес?

— Да, госпожа. Зарянка сегодня такая нахальная. Там один из дроздов разжадничался, так она ему целую песню пропела, и громкую!

— Бедняжки. Все-таки я надеюсь, что через несколько недель они уже все запоют.

— Кажется, так давно все нас покинули, — сказала Агнес. — И при дворе стало совсем как у птиц, все тихие и какие-то ожесточенные.

— Они вернутся, не сомневайся.

— Да, госпожа.

Королева снова взялась за иглу и задумчиво проколола ею ткань.

— Говорят, сэр Ланселот выказал большую отвагу.

— Сэр Ланселот всегда был отважным джентльменом, госпожа.

— В последнем письме сказано, что Гавейн бился с ним один на один. Должно быть, он чувствовал себя несчастным, сражаясь с Гавейном.

Агнес заговорила с горячностью:

— Нипочём я не пойму, как это Король смог пойти с этим сэром Гавейном против своего лучшего друга. Ведь всякий видит, что того просто гнев ослепил. Да потом еще разорять землю французскую, просто чтобы досадить сэру Ланселоту, и погубить столько народу, и повторять все эти гадости, которые говорят Хлыстуны. Если и дальше так пойдет, никому от этого не будет добра. Что прошло, то прошло, и почему они не могут с этим смириться, хотела бы я знать?

— Я думаю, Король отправился с сэром Гавейном, потому что он пытается соблюсти справедливость. Он считает, что Оркнейцы вправе требовать правосудия за смерть Гарета, — да я и сама так считаю. А кроме того, если Король

не будет держаться сэра Гавейна, у него совсем никого не останется. Больше всего на свете он гордился Круглым Столом, а теперь Стол распался, и Король хочет сохранить от него хоть что-то.

— Не больно это удачный способ сохранить Стол, — сказала Агнес, — воевать с сэром Ланселотом.

— Закон на стороне сэра Гавейна. Так, во всяком случае, говорят. А Король в своем выборе все равно не свободен. Его же собственные подданные тянут Короля за собой, — те, кто хочет завоевать во Франции какие-нибудь владения и потом присвоить захваченное, и те, кому опротивел мир, который ему удавалось так долго поддерживать, и те, кто жаждет военной карьеры или хочет пролить побольше крови в отместку за убитых на Рыночной Площади. Тут и молодые рыцари из партии Мордреда, которым внушили, будто мой муж выжил на старости лет из ума, и родичи тех, кто пал на лестнице, и Оркнейский клан с древней враждой в душах. Война — как пожар, Агнес. Начало ей может положить один-единственный человек, но после она распространяется вширь, пока не охватит всех. И сказать, из-за чего она ведется, уже невозможно.

— Ах, госпожа, это все высокие материи, нам,

бедным женщинам, их не понять. Но расскажите же, о чем еще говорится в письме?

Несколько времени Гвиневера просидела, глядя в письмо и не видя его, ибо мысли ее вращались вокруг затруднений мужа. Затем она медленно произнесла:

— Король любит Ланселота так сильно, что вынужден проявлять несправедливость к нему, — из опасения оказаться несправедливым к другим людям.

— Да, госпожа.

— А здесь, — сказала Королева, вдруг заметив письмо, которое держала в руке, — здесь говорится, как сэр Гавейн что ни день выезжал к замку и выкликал сэра Ланселота, называя его изменником и трусом. Рыцари же Ланселота гневались и выходили один за одним, но он сокрушил их всех и многих сильно покалечил. Он едва не убил Борса и Лионеля, пока наконец не пришлось сэру Ланселоту выйти к нему. Люди, засевшие в замке, настояли на этом. Он сказал сэру Гавейну, что тот принудил его биться, как зверя, загнанного в засаду.

— А сэр Гавейн что?

— А сэр Гавейн сказал: «Оставь твои пустые речи и выходи, и мы отведем душу.

— И они сразились?

— Да, они сразились в поединке перед воротами замка. Прочие все обещали не вмешиваться, и они начали биться в девять часов утра. Вы ведь знаете, насколько лучше сэр Гавейн сражается поутру. Потому они так рано и начали.

— Хорошо еще, что Господь наделил сэра Ланселота троекратной силой! Потому как я слышала разговоры, будто у Древнего Люда в жилах примешана кровь эльфов, недаром ведь они рыжие, госпожа, и от этого ихний властитель до полудня владеет силой трех человек, потому что за него сражается солнце!

— Должно быть, это очень страшно, Агнес. Но сэр Ланселот слишком горд, чтобы не дать ему этого преимущества.

— Надеюсь, сэр Гавейн его не убил.

— Едва не убил. Но он прикрывался щитом и все время уклонялся и медлил, и отступал перед сэром Гавейном. Здесь сказано, что он получил много жестоких ударов, но сумел оборонить себя до полудня. А затем, конечно, мощь эльфов пропала, и он нанес Гавейну такой удар по голове, что тот рухнул и не сумел подняться.

— Увы, бедный сэр Гавейн!

— Да, он мог бы убить его прямо на месте.

— Но не убил.

— Нет. Он отступил и оперся на меч. Гавейн молил его о смерти. Он неистовствовал как никогда и взывал к Ланселоту: «Зачем ты отступаешь от меня? Вернись и убей меня насмерть! Я не сдамся тебе. Убей меня сразу, ибо если ты сохранишь мне жизнь, я только буду биться с тобою снова». Он плакал.

— Уж на сэра-то Ланселота можно положиться, — рассудительно сказала Агнес, — что он нипочем не станет разить поверженного рыцаря.

— Да, можно.

— Он всегда был достойным и добрым джентльменом, хоть красавцем его и не назовешь.

— Никто и ни в чем не мог его превзойти.

Они примолкли, смутившись охвативших их чувств, и снова взялись за шитье. Наконец Королева сказала:

— Свет меркнет, Агнес. Как вы думаете, не зажечь ли нам свечи?

— Конечно, госпожа. Я тоже подумала об этом. Она принялась разжигать от пламени камина свечи с тростниковыми фитилями, что-то ворча об отсталости и нищете северных варваров, у которых и свечей-то порядочных нет, а Гвиневера

между тем еле слышно запела. То был дуэт, который она часто певала с Ланселотом, и, осознав это, она сразу умолкла.

— Ну вот, госпожа. А день-то, похоже, прибавился.

— Да, скоро снова весна.

Усевшись и возобновив при дымном свете шитье, Агнес вернулась к расспросам, — с того места, на котором они прервались.

— А что сказал про это Король?

— Король заплакал, увидев, как Ланселот пощадил Гавейна. Его одолели воспоминания, и он так расстроился, что даже заболел.

— Это, наверное, то, что называют нервным срывом, госпожа?

— Да, Агнес. Король занемог от горя, а Гавейн лежал с сотрясением мозга, так что обоим было худо. Но рыцари по-прежнему держали осаду.

— Что ж, госпожа, не очень-то веселое письмо, верно?

— Да, не очень.

— Я, помню, тоже раз получила письмо, — ну, да что там, как говорят, чем хуже весть, тем скорее доходит.

— Все, что у нас теперь есть, — это письма. Двор опустел, мир раскололся, и никого, кроме Лорда-

Протектора, при нас не осталось.

— Ах, уж этот мне сэр Мордред: вот сроду я таких терпеть не могла. Чего он добивается, разглагольствуя перед народом? Да еще и шляпу перед ним снимает, только людей смешит! И почему он не может одеться повеселее, слоняется тут весь в черном, будто он и не человек, а светопреставление Господне?

Это он, если позволите, от сэра Гавейна одежку-то перенял.

— Их форма задумана как траур по Гарету.

— Да никогда он к сэру Гарету добрых чувств не питал, этот-то. Не верю я, что он их вообще питал хоть к кому-нибудь.

— Он питал их к своей матери, Агнес.

— Ага, а ей в конце концов перерезали глотку за то, что она была не лучше, чем ей полагалось. Вся их шатия со странностями.

— Королева Моргауза, — задумчиво произнесла Гвиневера, — наверное, и впрямь была странной женщиной. Теперь, после назначения сэра Мордреда Лордом-Протектором, все уже знают об этом, так что скрывать тут особенно нечего. Наверное, она была сильной женщиной, если смогла увлечь нашего Короля, когда у нее уже было четверо сыновей. Да что там, она и сэра

Ламорака-то завлекла, уже будучи бабушкой. Должно быть, она имела страшную власть над своими сыновьями, если один из них испытывал к ней столь яростное чувство, что далее убил ее. А ведь ей было уже под семьдесят. Я думаю, она просто сожрала Мордреда, Агнес, как паук.

— Одно время поговаривали насчет того, что все эти Корнуольские сестры — ведьмы. Оно, конечно, хуже всех из них была Моргана ле Фэй, но и эта Моргауза недалеко от нее ушла.

— От этого лишь проникаешься жалостью к Мордреду.

— Вы, госпожа моя, поберегите эту вашу жалость для себя, потому что от него вы жалости не дождетесь.

— С той поры, как страну оставили на его попечение, он всегда был вежлив со мной.

— Ага, вежлив-то он был. От таких вот тихонь главный и вред.

Гвиневера, держа шитье поближе к свету, задумалась над ее словами. И спросила с некоторой тревогой:

— Ты ведь не думаешь, что сэр Мордред задумал что-то недоброе, Агнес, правда?

— Темный он человек.

— Но он же не станет делать зла после того, как

Король доверил ему заботу о стране и о нас?

— Я этого вашего Короля, госпожа, если вы простите мне такие вольные речи, никак понять не могу. Сначала он отправляется воевать со своим лучшим другом, потому что ему сэр Гавейн так велел, а потом оставляет Лордом-Протектором самого своего злого врага. Почему он ведет себя так безрассудно?

— Мордред ни разу не нарушил законов.

— Это оттого, что он слишком хитер.

— Король говорил, что Мордреду предстоит стать наследником трона, а одновременно покинуть страну и Королю, и наследнику невозможно, поэтому он, естественно, должен был остаться наместником. Это лишь справедливо.

— Из этой вашей справедливости, госпожа, никогда еще ничего путного не выходило.

Они вновь взялись за шитье.

— Если уж правду сказать, — добавила Агнес, — так это Королю нужно было остаться, а Мордред пусть бы себе уехал.

— И я бы того хотела. Чуть позже она пояснила:

— Я думаю, Король захотел отправиться с сэром Гавейном, надеясь, что ему удастся их примирить.

Они все шили с тяжестью на сердце, и иглы, длинно поблескивая, гасли в темной ткани, словно падучие звезды.

— А вы боитесь сэра Мордреда, Агнес?

— Да, госпожа, правда ваша, боюсь.

— И я тоже. Он в последнее время ходит так неслышно и… как-то странно смотрит на людей. И потом все эти его речи насчет гаэлов, саксов и евреев, и все эти крики, истерики. Я на той неделе слышала, как он засмеялся наедине с собой. Очень страшно.

— Он такой пронырливый. Может, он и сейчас нас слушает.

— Агнес!

Гвиневера, словно ударенная, уронила иглу.

— Ой, ну что вы, госпожа, не надо так расстраиваться, я просто пошутила.

Но Королева как замерла, так и не шелохнулась.

— Подойдите к двери. Я уверена, что вы правы.

— Ох, госпожа, я не могу.

— Немедленно откройте ее, Агнес.

— Госпожа, а вдруг он там стоит!

Ее тоже заразил страх. Хилых свечей явно недоставало. Он мог находиться и в самой опочивальне, где-нибудь в темном углу. Агнес

вспорхнула, будто куропатка, завидевшая над собой ястреба, и оправила юбку. Замок вдруг стал для обеих женщин слишком темным и безлюдным, слишком одиноким, слишком полным ночи и зимы.

— Если вы откроете ее, он уйдет.

— Но надо же дать ему время уйти.

Каждая старалась справиться со своим голосом, чувствуя, как темное крыло накрывает ее.

— Тогда встаньте поближе к двери и скажите что-нибудь громко, прежде чем ее отворить.

— А что мне сказать, госпожа?

— Скажите: «Не открыть ли мне дверь?». И тогда я скажу: «Да, по-моему, пора спать».

— По-моему, пора спать.

— Давайте же.

— Хорошо, госпожа. Начинать?

— Начинайте, да, только скорее.

— Я не знаю, как у меня получится.

— Ох, Агнес, пожалуйста, Поскорее!

— Ладно, госпожа. Надеюсь, получится.

И глядя на дверь так, словно та могла на нее наброситься, Агнес сообщила ей во весь голос:

— Я собираюсь открыть дверь!

— Спать пора! Ничего не случилось.

— Ну, открывайте, — сказала Королева. Агнес

подняла щеколду и распахнула дверь, и Мордред улыбнулся им из дверного проема.

— Добрый вечер, Агнес.

— Ох, сэр!

Бедная женщина, затрепетав, присела в реверансе, прижимая руку к груди, и прыснула мимо него по лестнице. Он вежливо посторонился. После того, как Агнес исчезла, он вступил в опочивальню, великолепный в своем черном облачении с единственным холодным бриллиантом, блеснувшим на алом значке в тусклом свете свечей. Любой, кто не видел его месяц или два, мгновенно понял бы, что Мордред лишился рассудка, — однако разум его распадался с такой постепенностью, что люди, жившие рядом, ничего не заметили. За ним вперевалку вошел черный мопсик, поводя яркими глазками и помахивая загнутым хвостом.

— Что-то наша Агнес нынче нервна, — сказал Мордред. — Добрый вечер, Гвиневера.

— Добрый вечер, Мордред.

— Развлекаетесь вышиванием? А я думал, вы станете вязать носки для солдат.

— Зачем вы пришли?

— Так, вечерний визит. Простите мне театральность моего появления.

— Вы всегда ожидаете за дверью, пока она отворится?

— Как-то же нужно в нее проникнуть, мадам. Это удобнее, чем входить в окно, — хотя мне приходилось слышать о людях, которым удавалось и это.

— Понятно. Присядете?

Мордред уселся, тщательный в каждом движении, мопс запрыгнул к нему на колени. Зрелище он являл, пожалуй, трагическое, ибо вся повадка его была повадкой матери. Он разыгрывал роль, утрачивая остатки реальности.

Сколько написано трагедий, в которых роковые блондинки доводят своих любовников до погибели, в которых Крессиды, Клеопатры, Далилы, а порой даже скверные дочери, вроде Джессики, причиняют страдания своим возлюбленным или родителям: и все же в основе настоящей трагедии лежат отнюдь не эти поступки. Эти — не более чем жалкая мишура, в которую рядится человеческая душа. Ну, пал Антоний на собственный меч — и что с того? Меч убил его — и только. Не вожделение любовника, но вожделение матери — вот что растлевает сердце и душу. Оно-то и обрекает трагического героя на смертный путь. В самой потаенной из комнат обитает Иокаста, не

Джульетта. Гамлета толкает в объятья безумия не глупышка Офелия, но Гертруда. Сущность трагедии состоит не в отъятии и не в краже. Украсть сердце по силам любой вертихвостке. Сущность трагедии в том, чтобы давать, навязывать, добавлять, душить без всяких подушек. Дездемона, лишенная жизни или чести, ничто для Мордреда, лишенного собственной личности, Мордреда с душой украденной, втихомолку удавленой, иссохшей, между тем как жизнь его матери продолжалась по-прежнему — в торжестве, в изобилии, в излиянии на Мордреда любви, удушающей, пусть и без явственного злого намерения. Мордред был единственным из сынов Оркнея, кто так и не женился. Он был единственным, кто двадцать лет прожил наедине с матерью, когда его братья упорхнули в Англию, — он был ее живой кладовой. Теперь, когда она умерла, он обратился в ее могилу. Она продолжала существовать в нем, словно вампир. Когда он двигался, когда он сморкался — это были ее движения. Действуя, он становился таким же нереальным, какой была она, когда изображала девственницу перед единорогом. Он баловался той же жестокой магией. Он даже завел, подобно ей, комнатных собачонок, — хотя всегда ненави-

дел ее любимиц с той же жгучей мукой, с какой ненавидел ее любовников.

— Как-то нынче в воздухе холодком потянуло, нет?

— Февраль всегда холоден.

— Я разумею нежные токи наших с вами личных отношений.

— Лорд-Протектор, назначенный моим мужем, по необходимости должен встречать у Королевы теплый прием.

— Но не мужнин ублюдок, а?

Она опустила иглу и взглянула ему прямо в лицо.

— Я не понимаю, зачем вы приходите ко мне с такими речами, и не могу догадаться, чего вы хотите.

Она не собиралась выказывать ему враждебность, но он сам вынуждал ее к этому. К тому же она никогда никого не боялась.

— Да вот, решил поболтать с вами о политической ситуации — просто поболтать, не более.

Она сознавала, что приближается некий кризис, и от этого сознания ее охватывала слабость. Она была уже слишком стара, чтобы тягаться с безумцем, да к тому же и подозрений касательно состояния его рассудка еще не имела. До этой

поры лишь обременительная ироничность его тона вызывала у нее чувство собственной нереальности и делала ее неспособной к простому и естественному выбору слов. Но уступать ему она не желала.

— Я буду рада выслушать то, что вы хотите сказать.

— Вы чрезвычайно великодушны… Дженни.

Это было чудовищно. Он претворял ее в одну из своих фантазий и разговаривал с этой фантазией, а не с живым человеком.

Она сказала разгневанно:

— Не соблаговолите ли вы, обращаясь ко мне, использовать мой титул, Мордред?

— О да, разумеется. Я обязан извиниться, если я вторгся в охотничьи угодья сэра Ланселота.

Издевка подействовала на нее, как тонизирующее средство, придав ей осанку царственной дамы, какой она и была, несгибаемой аристократки со сверкающими на ревматических пальцах перстнями, полвека успешно правившей миром.

— Я уверена, — сказала она наконец, — что попытайся вы сделать это, вас ожидали бы немалые затруднения.

— Однако! Впрочем, боюсь, я сам напросился на это. Вы всегда были несколько вспыльчивы…

Королева Дженни.

— Сэр Мордред, если вы не будете вести себя, как подобает джентльмену, я лучше уйду.

— И куда же?

— Куда угодно: в любое место, где женщина, достаточно старая, чтобы годиться вам в матери, может чувствовать себя защищенной от подобных выходок.

— Вопрос только в том, — задумчиво заметил он, — где такое место находится? Если учесть, что все ушли во Францию, и что правителем королевства остался именно я, план ваш, кажется, утрачивает даже остатки основательности. Конечно, вы могли бы отправиться во Францию… да только доберетесь ли вы до нее?

Она поняла или начала понимать.

— Я что-то никак не вникну в смысл ваших слов.

— Ну что же, значит, вам нужно основательно поразмыслить над ними.

— С вашего позволения, — сказала она, вставая, — я позову мою камеристку.

— Отчего не позвать, позовите. Правда, мне придется ее отослать.

— Агнес будет делать то, что прикажу ей я.

— Сомневаюсь. Давайте попробуем.

— Мордред, не могли бы вы оставить меня?

— Нет, Дженни, — ответил он. — Мне хочется побыть с вами. Но если вы согласитесь посидеть минуту спокойно и выслушать меня, я обещаю вести себя как совершеннейший джентльмен, — а именно, как один из ваших preux chevaliers.

— Вы не оставляете мне выбора.

— Весьма незначительный.

— Чего же вы хотите? — спросила она и села, сложив на коленях руки. Жить среди опасностей ей было не внове.

— Ну вот еще, — сказал Мордред, совершенно безумный. Он пребывал в отличном расположении духа, упоенно играя с ней, словно кошка с мышью. — К чему такая неприкрытая спешка? Нужно, чтобы отношения между нами стали непринужденными, прежде чем мы приступим к нашей беседе, иначе она покажется натянутой.

— Я слушаю.

— Нет-нет. Вы должны назвать меня «Морди» или еще как-нибудь ласково. Тогда и мое «Дженни» приобретет естественный вид. И мы с тем большим удовольствием станем продвигаться вперед.

Она не ответила.

— Гвиневера, вы хотя бы отчасти представляете

себе свое положение?

— Мое положение — это положение Королевы Англии, так же, как ваше — ее Лорда-Протектора.

— Между тем как Артур и Ланселот дерутся друг с другом во Франции.

— Совершенно верно.

— А если предположить, — спросил он, поглаживая мопса, — что я пришел рассказать вам о полученном мною утром письме? Касательно смерти Артура и Ланселота?

— Я бы вам не поверила.

— Они убили друг друга в сражении.

— Это неправда, — тихо сказала она.

— Ну, в общем-то, нет. А как вы догадались?

— И если это неправда, говорить так — жестоко. Зачем вы это сказали?

— Очень многие поверили бы в это, Дженни. Я ожидаю, что очень многие и поверят.

— С чего бы? — спросила она, еще не успев понять, куда он клонит. И умолкла, затаив дыхание. В первый раз она ощутила страх: не за себя, за Артура.

— Не можете же вы…

— Ну, как не могу? Могу, — воскликнул он весело. — И даже сделаю. Что, по-вашему, произойдет,

если мы объявим о смерти бедного Артура?

— Но, Мордред, вы не можете так поступить! Они же живы… Вы всем обязаны. Король назначил вас своим наместником… Ваша вассальная клятва… Это будет нечестно! Артур всегда проявлял по отношению к вам такую скрупулезную справедливость…

Он ответил, и глаза его были холодны:

— Разве я когда-нибудь просил у него справедливости? Справедливость — это то, что он преподносит людям, чтобы потешиться.

— Но ведь он ваш отец!

— Если на то пошло, я не просил, чтобы он меня породил. Полагаю, и это тоже он сделал потехи ради.

— Понятно.

Она сидела, скручивая пальцами шитье, стараясь думать спокойно.

— Почему вы так ненавидите моего мужа? — спросила она почти с изумлением.

— Я не ненавижу его. Я его презираю.

— Он же не знал, — тихо объяснила она, — когда все случилось, что ваша мать — сестра ему.

— И, как я полагаю, он не знал, что я ему сын, когда засунул меня в тот корабль?

— Ему едва исполнилось девятнадцать, Морд-

ред. Его запугали пророчествами, и он сделал то, что его заставляли сделать.

— Моя мать, пока она не повстречала Короля Артура, оставалась порядочной женщиной. У нее и у Лота Оркнейского был счастливый дом, она родила ему четырех отважных сыновей. А что с ней сталось потом?

— Но она же была вдвое старше него! Как тут не подумать…

Он остановил ее, подняв руку.

— Вы говорите о моей матери.

— Простите, Мордред, но право…

— Я любил мою мать.

— Мордред…

— Король Артур вошел к женщине, хранившей верность своему мужу. А когда он оставил ее, она была уже распутницей. Она закончила свою жизнь голой, в постели с сэром Ламораком, убитая — и поделом — собственным сыном.

— Мордред, весь наш разговор не имеет смысла, если вы не можете понять, если вы не можете поверить, что Артур добр, что он раскаивается, что он сейчас в беде. Он любит вас. Он говорил об этом лишь за день-два до того, как начались эти несчастья…

— Пусть оставит эту любовь себе.

— Он был так честен с вами, — взмолилась она.

— Справедливый и благородный король! Да, легко быть честным, когда все уже позади. Есть чем утешиться! Справедливость! Ее он тоже может оставить себе.

Стараясь, чтобы не дрогнул голос, она произнесла:

— Если вы провозгласите себя королем, они вернутся из Франции, чтобы сражаться с вами. Тогда вместо одной войны у нас будет две, и вторая — в Англии. Рыцарское содружество окажется перечеркнутым.

Он улыбнулся, испытывая живейшее наслаждение.

— Все это кажется невероятным, — сказала она, стискивая шитье.

Она сделала все, что могла. На миг у нее мелькнула мысль, что если она унизится перед ним, если преклонит перед ним свои старые, негнущиеся колени и станет молить его о милосердии, он, может быть, и смягчится. Но нет, совершенно ясно, что безнадежно и это. Он назначил себе определенный путь и катил по нему, будто шар по желобу. Даже все то, что он говорил, было, так сказать, текстом выбранной роли. И завершиться

ей полагалось так, как записано в пьесе.

— Мордред, — беспомощно сказала она, — пожалейте хоть простолюдинов, если нет у вас жалости ни ко мне, ни к Артуру.

Он спихнул с колен мопса и встал, улыбнувшись ей с безумным удовлетворением. Глядя на нее сверху вниз, но вовсе не видя ее, он потянулся.

— Пусть не Артура, — произнес он, — но вас пожалеть я, безусловно, обязан.

— Что вы хотите этим сказать?

— Я тут обдумывал некий узор, Дженни, незамысловатый такой узорчик.

Она вглядывалась в него, не говоря ни слова.

— Да. Мой отец совершил кровосмешение с моей матерью. Вам не кажется, Дженни, что если я — в ответ — сочетаюсь браком с женой отца, рисунок выйдет прелестный?

# 12

Тьма стояла в палатке Гавейна, лишь плоская жаровня, в которой тлел древесный уголь, подсвечивала ее снизу. В сравнении с роскошными шатрами английских рыцарей палатка его казалась жалкой и ветхой. Несколько клетчатых оркнейских пледов устилали жесткую кровать, а единственными украшениями были — снабженная надписью «Optimus egrorum, medicus fit Thomas bonorum»[28] свинцовая бутыль со святой водой, принимаемой им вместо лекарства, да привязанный к колу палатки пучок сухого вереска. То были его домашние боги.

Гавейн ничком лежал на пледах. Гавейн плакал, медленно и безнадежно, между тем как сидевший рядом Артур гладил его по руке. Это рана лишила Гавейна сил, иначе бы он плакать не стал. Старый Король пытался его успокоить.

— Не стоит горевать об этом, Гавейн, — говорил он. — Вы сделали все, что могли.

— Второй раз он меня пощадил, второй раз за один-единственный месяц.

---

**[28] notes: 28**
Наилучшего качества снадобье от Святого Фомы (лат.)

— Ланселот всегда был могуч. Его и годы не берут.

— Так почему же тогда он меня не убил? Я же молил его об этом. Я сказал ему, что если он оставит меня живым и меня залатают, я, как только поправлюсь, стану биться с ним снова.

— И Боже ты мой! — добавил он со слезами. — Как болит голова!

Артур со вздохом сказал:

— Все оттого, что вы получили оба удара по одному и тому же месту. Это злое везение.

— Мне стыдно, что я так болею.

— А вы не думайте об этом. Лежите спокойно, а то у вас снова начнется горячка и вы еще долго не сможете биться. И что тогда с нами станется? Без нашего Гавейна, ведущего армию в бой, мы совсем потеряемся.

— Пустой я человек, Артур, — сказал Гавейн. — Остервенелый буян и только, и убить его мне не по силам.

— Самые лучшие люди всегда говорят, что они никуда не годятся. Давайте переменим тему и поговорим о чем-нибудь приятном. Об Англии, например.

— Не видеть нам больше Англии, никогда.

— Глупости! Увидим, и прямо этой весной. А

весна вот-вот наступит. Вон еще когда подснежники вылезли, а у Гвиневеры, я думаю, уже и крокусы того и гляди зацветут. Она замечательно управляется с садом.

— Гвиневера была добра со мной.

— Моя Гвен со всеми добра, — с гордостью произнес старик. — Знать бы, что она сейчас делает. Наверное, спать ложится. А может быть, засиделась допоздна, беседуя с вашим братом. Как подумаешь, что они, возможно, прямо в эту минуту говорят о нас, сердце согревается: быть может, они восхваляют доблести Гавейна, или Гвен говорит о том, как ей хочется, чтобы ее старик вернулся домой.

Гавейн беспокойно заерзал на ложе.

— И я уж подумывал, не вернуться ли нам домой, — пробормотал он. — Если Ланселот так ненавидит Оркнейский клан, как уверяет Мордред, чего же он тогда щадит его главу? Может быть, он все-таки по несчастной случайности убил Гарета.

— Я уверен, что по несчастной случайности. Если бы вы помогли нам остановить эту войну, мы бы с ней быстро покончили. Вы сами знаете, мы воюем сейчас, чтобы соблюсти справедливость по отношению к вам. В конечном счете, и я,

и все остальные, кто желает сражаться, обязаны будут склониться перед вашим решением. Что до меня, то вы никого не найдете счастливее, если согласитесь прекратить войну.

— Да, но я поклялся биться с ним до смерти.

— Вы уже сделали две добрых попытки.

— И оба раза получил добрую взбучку, — горько сказал он. — Он уже два раза мог бы покончить с войной. Нет, если я сейчас примирюсь с ним, я буду выглядеть трусом.

— Самые отважные среди людей — это те, кто не боится выглядеть трусом. Вспомните, как Ланселот месяцами отсиживался в Веселой Страже, пока мы пели под стенами песенки.

— Я не могу забыть лицо нашего Гарета.

— Смерть его была горем для всех нас.

Гавейн пытался думать — то были тяжкие усилия, которые не могла для него облегчить и долгая практика. В этот темный вечер они казались тяжкими вдвойне из-за состояния, в котором пребывала его голова. Еще со времени поисков Грааля, когда Галахад нанес ему страшный удар по черепу, его стали мучить головные боли, а теперь Ланселот в двух поединках подряд сокрушал его и — по странному совпадению — ударами, наносимыми по тому же самому месту.

— Почему я должен отступиться? — спросил Гавейн. — Потому лишь, что он побил меня? Это будет похоже на бегство. Если бы мне удалось свалить его в третьей стычке, тогда да, тогда может быть. И пощадить… Тогда мы были бы квиты.

— Поля в Англии скоро покроются лютиками и ромашками, — задумчиво сказал Король. — Как было б славно добиться мира.

— Да, а какая по весне соколиная охота!

Воспоминания заставили лежащего на едва различимом ложе Гавейна повернуться, но боль, пронзившая череп, вынудила его замереть.

— Силы небесные, как дергает голову!

— Хотите, я приложу к ней влажную ткань, или, может быть, выпьете молока?

— Нет. Потерплю. Все равно не поможет.

— Бедный Гавейн. Надеюсь, он вам ничего не сломал.

— Он сломил мой дух. Давайте поговорим о другом. Король с сомнением произнес:

— Я и так слишком разговорился Думаю, мне лучше уйти, а вы поспите.

— Ах нет, не уходите. Не оставляйте меня наедине с самим собой. Одиночество изнуряет меня.

— Но доктор сказал…

— К дьяволу доктора. Побудьте еще чуть-чуть. Подержите меня за руку. Расскажите об Англии.

— Завтра должна прийти почта, тогда мы сможем даже почитать об Англии. Получим самые свежие новости. Молодой Мордред пришлет письмо, и, может быть, Гвен мне тоже напишет.

— Почему-то в письмах Мордреда ничего, кроме холодных приветствий, нету.

Артур поспешил оправдать сына.

— Это только из-за того, что жизнь его не баловала. Но поверьте, сердце его воистину сгорает от любви. Гвен всегда говорила, что все тепло своей души он отдал матери.

— Он был привязан к нашей матери.

— Может быть, даже влюблен в нее.

— Вот причина, почему он так завидует вам. Эта мысль, впервые пришедшая Гавейну в голову, поразила его, будто открытие.

— Возможно, по этой же причине он и позволил сэру Агравейну убить ее, когда она вступила в любовную связь с сэром Ламораком… Бедный мальчик, жизнь обошлась с ним круто.

— Он единственный брат, какой у меня остался.

— Я знаю. Эта несчастная оплошность Ланселота — истинная трагедия.

Властитель Лоутеана лихорадочно схватился за свою головную повязку.

— Какая уж там оплошность. Я еще мог бы в нее поверить, кабы на них были шлемы, но они стояли с непокрытыми головами. Он должен был их узнать.

— Мы уже столько раз говорили об этом.

— Да. И все впустую.

С трагической робостью старик спросил:

— Не кажется ли вам возможным, Гавейн, пересилить себя и простить Ланселота, что бы там ни произошло? Я не пытаюсь заставить вас забыть о вашем долге, но если не умерять правосудия милосердием…

— Я умерю его, когда жизнь Ланселота будет зависеть только от моего милосердия, не раньше.

— Ну что же, вам решать. А вот и доктор идет, сейчас скажет мне, что я слишком у вас засиделся. Входите, доктор, входите.

Но вместо доктора в палатку шумно вступил епископ Рочестерский с пакетами и железным светильником в руках.

— Это вы, Рочестер. А мы думали — доктор.

— Добрый вечер, сэр. И доброго вечера вам, сэр Гавейн.

— Добрый вечер.

— Как голова нынче?

— Спасибо, господин мой, понемногу проходит.

— Ну, это прекрасная новость.

— А я, — лукаво прибавил он, — тоже принес неплохие новости. Почта пришла раньше ожиданного!

— Письма!

— Одно вам, — и он вручил его Королю. — Длинное.

— А для меня что-нибудь есть? — спросил Гавейн.

— На этой неделе, увы, ничего. В следующий раз повезет.

Артур пододвинулся с письмом поближе к светильнику и взломал печать.

— Вы извините меня, я почитаю.

— Конечно. Какие могут быть церемонии, когда приходят вести из Англии. Боже ты мой, сэр Гавейн, вот уж не думал, что на старости лет подамся в паломники и стану слоняться по иным.

Трескотня епископа вдруг замерла. Артур не сделал ни единого жеста. Он не покраснел и не побледнел, не уронил письма, не уставился перед собой неподвижным взором. Он тихо читал письмо. Но Рочестер замолк, а Гавейн приподнялся,

опираясь на локоть. Приоткрыв рты, они смотрели, как он читает.

— Сэр…

— Ничего, — сказал он, отмахиваясь. — Простите меня. Новости.

— Я надеюсь…

— Прошу вас, позвольте мне дочитать. Поговорите с сэром Гавейном.

Гавейн спросил:

— Дурные вести? Могу я взглянуть?

— Нет, прошу вас, подождите минуту.

— Мордред?

— Нет. Пустяки. Доктор просил… Господин мой, мне нужно переговорить с вами снаружи.

Гавейн с трудом попытался сесть.

— Вы должны мне сказать.

— Вам не о чем тревожиться. Ложитесь. Мы сейчас вернемся.

— Если вы уйдете, ничего не сказав, я последую за вами.

— Здесь ничего важного. Вы потревожите рану.

— Что случилось?

— Ничего. Просто…

— Ну?

— Ладно, Гавейн, — сказал он, внезапно сда-

ваясь, — похоже, Мордред провозгласил себя Королем Англии и установил этот его Новый Порядок.

— Мордред!

— Понимаете, он объявил своим Хлыстунам, что мы мертвы, — объяснил Артур, словно излагал условия задачи, — и…

— Мордред сказал, что мы мертвы?

— Он сказал, что мы мертвы, и…

Ему никак не удавалось выразить это словами.

— И что?

— Он вознамерился жениться на Гвен.

Наступило мертвое молчание, рука епископа неуверенно повлеклась к нагрудному кресту, а Гавейнова смяла ткань, покрывавшую ложе. Затем оба заговорили одновременно.

— Лорд-Протектор…

— Не может этого быть. Это шутка. Мой брат не сделал бы такого.

— К несчастью, это правда, — терпеливо промолвил Король. — Письмо от Гвиневеры, Бог весть как она управилась переслать его нам.

— Но возраст Королевы…

— Провозгласив себя Королем, он предложил ей свою руку. Помочь ей было некому. Королева приняла его предложение.

— Приняла предложение Мордреда!

Гавейн ухитрился перекинуть ноги через край ложа.

— Дядя, дайте мне письмо.

Он принял письмо из машинально расставшейся с ним нетвердой руки Короля и стал читать, наклонив лист к свету.

Артур продолжал объяснения:

— Королева приняла предложение Мордреда и попросила его разрешения отправиться в Лондон за приданым. Оказавшись в Лондоне, она с немногими, кто остался ей верен, неожиданно бросилась в Тауэр и затворилась там. Слава Богу, это крепкий форт. Сейчас они осаждают ее в Лондонском Тауэре, и Мордред использует пушки.

Рочестер ошеломленно переспросил:

— Пушки?

— Он использует пушки.

С этим разум старого священника справиться просто не смог.

— Это невероятно! — сказал он. — Объявить о нашей смерти и жениться на Королеве! А потом еще использовать пушки…

— Теперь, когда дело дошло до пушек, — сказал Артур, — Столу конец. Мы должны поспешить домой.

— Стрелять из пушек по людям!

— Мы обязаны немедленно отправиться к ней на помощь, господин мой. Гавейн может остаться здесь…

Но Властитель Оркнея уже выбирался из постели.

— Гавейн, что вы делаете? Лягте немедленно.

— Я отправляюсь с вами.

— Гавейн, ложитесь. Рочестер, помогите мне справиться с ним.

— Последний из моих братьев нарушил вассальную клятву.

— Гавейн…

— А Ланселота… О Господи, моя голова!

Он стоял в тусклом свете, покачиваясь, обеими руками держась за повязку, и тень его шутовски металась вокруг палаточного кола.

## 13

Ангвису Ирландскому приснился однажды ветер, сдувший все его замки и города: нынешний ветер, похоже, пытался проделать то же самое. Ветер задувал вокруг Замка Бенвик на всех органных регистрах. Шум от него стоял такой, словно между древесных стволов продирало бессчетные нити сырого шелка, как мы продираем расческою волосы, словно груды гравия сыпались из ковша землечерпалки на прибрежный песок, словно рвались колоссальные простыни, словно били барабаны далекой битвы, словно бесконечный змей несся по миру через прорость домов и деревьев, словно тяжко вздыхали старцы, и выли женщины, и мчались куда-то стаи волков. Ветер свистел, гудел, ухал и бухал в каминных трубах. Над трубами же он завывал, как живая тварь: некое примитивное чудище, оплакивающее свое окаянство. То был дантовский ветер, сметающий журавлей и погибших любовников: не знающий отдыха Сатана, в его тяжких и гремучих трудах.

К западу от замка он терзал и утюжил море, отрывая от него целые груды воды и унося ее пеной. На суше он гнул перед собою деревья. Уз-

ловатые деревца боярышника стенали и горестно вскрикивали, их сдвоенные стволы терлись друг о друга. Птицы, оседлав с треском хлещущие воздух ветви деревьев, приникали к ним, вытянув головы к ветру и обратив свои изящные коготки в якоря. На утесах стоически восседали сапсаны, бакенбарды их, свалявшиеся от дождя, торчали сосульками в стороны, мокрые перья топорщились на головах. Дикие гуси, пробиваясь в сумерках к своим ночным становищам, с трудом отвоевывали у воздушных струй по ярду в минуту, их нестройные клики срывало и относило назад, так что они достигали ушей, когда гуси, пролетевшие всего в нескольких футах над вами, уже скрывались из виду. Кряквы и свиязи, высоко занесенные ураганом, исчезали, еще не успев появиться.

Проникая под двери замковых покоев, порывы ветра терзали плещущее пламя расставленных по полу тростниковых свечей. Они, будто в трубах, гудели в круглых пролетах винтовых лестниц, грохали деревянными ставнями, визгливо скулили в окошках бойниц, тормошили безучастные гобелены, проходя по ним жесткими волнами, пронизывали замок насквозь. Каменные башни трепетали под ветром, содрогаясь целиком, слов-

но басовые струны музыкального инструмента. Черепицы летели с кровель и с отрывистым треском разбивались в куски.

Боре с Блеоберисом, съежась, сидели у яркого пламени, похоже, наученного злым ветром отбрасывать свет, не давая тепла. Даже огонь казался замерзшим, словно бы нарисованным. Мучительный ветер путал их мысли.

— Но почему же они ушли так поспешно? — жалобно спрашивал Боре. — Где это видано, чтобы так вот взять да и снять осаду? Всего за одну ночь. Исчезли, будто их сдуло.

— Должно быть, дурные вести пришли. Не иначе, как в Англии что-то неладно.

— Может быть.

— Если бы они надумали простить Ланселота, они бы ему сообщили об этом.

— Все-таки странно — хвать, и уплыли, ничего не сказав.

— Как ты думаешь, может быть, Корнуолл восстал — или Уэльс, или Ирландия?

— От Древнего Люда только того и жди, — согласился закоченевший Блеоберис.

— Хотя навряд ли это мятеж. Я полагаю, Король занемог, вот и пришлось его спешно отправить домой. Или на Гавейна напала хворь. Может,

у него от второго удара Ланселота ум за разум зашел?

— Может быть.

Боре пнул пламя ногой.

— Исчезнуть таким манером, без единого слова!

— А почему Ланселот ничего не предпримет?

— Да что же он может сделать?

— Не знаю.

— Король-то его изгнал.

— Да.

— Ну, и ничего тут не поделаешь.

— И все-таки, — сказал Блеоберис, — я бы хотел, чтобы он что-нибудь сделал.

В подножии башенной лестницы с треском открылась дверь. Гобелены скрутило винтом, пламя свечей взметнулось кверху, очаг выдохнул клуб дыма, и голос Ланселота, несомый ветром, позвал: «Боре! Блеоберис! Эктор!»

— Здесь.

— Где?

— Здесь, наверху.

Далекая дверь захлопнулась, и тишина воротилась в комнату. Пламя свечей снова легло, и там, где только что с трудом различался крик Ланселота, отчетливо зазвучали его шаги по каменным

ступеням. Он поспешно вошел, с письмом в руке.

— Боре. Блеоберис. Я вас искал. Они встали.

— Письмо из Англии. Гонцов выбросило на берег в пяти милях отсюда. Мы должны немедля отправляться туда.

— В Англию?

— Да, да. Конечно, в Англию. Я приказал Лионелю взять на себя транспорт, а ты, Боре, позаботься о фураже. Мы не можем ждать, пока кончится буря.

— Но зачем мы туда поплывем? — спросил Боре.

— Что за известия, объясни?

— Известия? — неопределенно сказал Ланселот. — На это нет времени. На корабле расскажу. Вот, прочитайте письмо.

Он вручил его Борсу и вышел, прежде чем они успели ответить.

— Однако!

— Прочитай, что там?

— Я даже не знаю, от кого оно.

— Может, в письме сказано.

Они еще не справились с датой, как снова вошел Ланселот.

— Блеоберис, — сказал он. — Совсем забыл. Займись лошадьми. Ну-ка, давайте сюда письмо.

Если вы двое начнете его читать, вам и за ночь не управиться.

— О чем оно?

— Большую часть новостей сообщил мне гонец. Похоже, Мордред восстал против Артура, провозгласил себя Вождем Англичан, и предложил Гвиневере руку.

— Так ведь она уже замужем, — запротестовал Блеоберис.

— Потому-то они и сняли осаду. Затем Мордред, судя по всему, собрал в Кенте армию, чтобы не дать Королю высадиться. Он объявил, что Артур погиб, осадил Гвиневеру в Лондонском Тауэре и обстреливает его из пушек.

— Из пушек!

— Он встретил Артура в Дувре и дал сражение, чтобы воспрепятствовать высадке. Бой был тяжелый, наполовину на суше, наполовину на море, но Король его выиграл. Он пробился на сушу.

— А кто написал письмо? Ланселот неожиданно сел.

— Письмо от Гавейна, от несчастного Гавейна. Он мертв.

— Мертв!

— Как же он тогда писал… — начал Блеоберис.

— Ужасное письмо. Гавейн был достойным

человеком. Вы все заставляли меня сражаться с ним, не понимая, какое сердце билось у него в груди.

— Да прочти же письмо-то, — нетерпеливо сказал Боре.

— Видимо, последний удар по голове, который он от меня получил, оказался опасен. Ему вообще не следовало трогаться с места. Но он томился одиночеством, отчаянием и чувствовал себя преданным. Последний из его братьев обернулся изменником. Он настоял на том, чтобы возвратиться в Англию и помочь Королю, — и во время высадки ринулся в бой. К несчастью, он вновь получил удар по старой ране и через несколько часов умер.

— Я не понимаю, почему тебя-то это расстраивает.

— Послушайте, что здесь написано.

Ланселот поднес письмо к окну и молча просмотрел его еще раз. Было в письме что-то трогательное — почерк Гавейна так не походил на него самого. В таком человеке, каков был Гавейн, вряд ли кто-нибудь мог заподозрить литературный талант. На самом деле, более натуральным казалось, что и он, подобно большинству остальных, неграмотен. И однако же исписанный лист за-

полняли не заостренные буквы готики, бывшей в то время в ходу, но прелестные старогаэльские минускулы, оставшиеся такими же опрятными, округлыми и мелкими, какими были они, когда престарелый святой обучал им Гавейна в сумрачном Дунлоутеане. С той поры он писал так нечасто, что искусство, обретенное им, сохранилось во всей его красоте. То был почерк старой девы или мальчика давних времен, пишущего со тщанием, высунув язык и зацепившись ступнями за ножки стула. Несмотря на все беды и мучения старости, почерк сохранил и присущую ему целомудренную опрятность, и изящество давно уж не модных завитков. Казалось, что из черных доспехов выступил вдруг смышленый мальчишка: совсем еще маленький, с капелькой на кончике носа, с посинелыми босыми ступнями, с корешком ламинарии в крохотном пучке моркови, на который походила его ладошка.

*«Тебе, сэр Ланселот, цвет благородного рыцарства, лучший изо всех, кого только видел я и о ком слышал за всю мою жизнь, я, сэр Гавейн, сын Короля Лота Оркнейского и сын сестры благородного Короля Артура, шлю приветствие.*

*И я хочу, чтобы весь мир узнал, что я, сэр Гавейн, рыцарь Круглого Стола, искал смерти от*

*твоей руки, — и умираю не по твоей вине, но по моей. И потому я заклинаю тебя, сэр Ланселот, возвратиться в это королевство и посетить мою могилу и прочитать молитву-другую за упокой моей души.*

*И в этот самый день, когда я пишу тебе это послание, я бил смертельно ранен, но рану эту еще прежде нанес мне ты, сэр Ланселот, и я не мог бы принять смерть от руки, благороднее той, что убила меня.*

*Ты же, сэр Ланселот, ради всей прежней любви, что была некогда между нами...»*

Ланселот прервал чтение и бросил письмо на стол.

— Нет, — сказал он, — я не могу продолжать. Он просит меня прибыть со всей поспешностью и помочь Королю в борьбе против его брата: последнего его родича. Гавейн любил свою семью, Боре, но под конец у него никакой семьи не осталось. И все же он прислал мне свое прощение. Он заявил даже, что во всем виноват он сам. Бог свидетель, он воистину был добрым братом.

— Что же нам делать, чтобы помочь Королю?

— Мы должны добраться до Англии так скоро, как только сможем. Мордред отступил к Кентербери и готовится к новой битве. Возможно, все

уже кончено. И эти-то вести были задержаны штормом. Теперь все зависит от нашей быстроты.

Блеоберис сказал:

— Пойду, займусь лошадьми. Когда отплываем?

— Завтра. Сегодня. Сейчас. Едва лишь затихнет ветер. Не копайся там.

— Хорошо.

— А за тобой, Боре, фураж. — Да.

Ланселот вышел с Блеоберисом на лестницу, но в дверях обернулся.

— Королева в осаде, — сказал он. — Мы должны ее выручить.

— Да.

Оставшийся наедине с ветром Боре с любопытством поднял письмо. Он наклонил его к гаснущему свету, любуясь z-образными *g,* кудрявыми *b* , искривленными подобно лезвиям плуга t. Каждая крохотная строка была словно борозда с вывернутым пластом земли, от нее веяло свежестью, как от распаханной нови. Но на краю листа борозда обрывалась. Боре перевернул лист, рассмотрел бурую подпись и по складам прочитал заключение, шевеля губами, пока трепетали свечи, клубился дым и выл ветер

*«А время написания этого письма — всего лишь за два с половиной часа до моей смерти, и писано оно моею собственной рукой и подписано кровью моего сердца.*

*Гавейн Оркнейский»*

Боре дважды выговорил это имя и стиснул зубы. Гавейн.

— Небось, — с сомнением произнес он, — они там, на Севере, произносят его имя как-нибудь вроде Кухулина. Ничего в этих древних языках не поймешь.

Он положил письмо, отошел к мрачному окну и принялся напевать песенку, называвшуюся «Дым, дым на холме», слова которой унесло от нас волнами времени. Быть может, они походили на нынешние, на те, что гласят:

И все еще Шотландия в сердцах, Кровь горяча, и снятся нам Гебриды. [29]

---

**[29] notes: 29**
Перевод С. Степанова

## 14

Тот же заунывный ветер дул и в Солсбери, над шатром Короля. В шатре стояла покойная тишь — сравнительно с буйством снаружи. Его отличала роскошь убранства, создаваемая царственными гобеленами (Короля сопровождал Урия, по-прежнему рассеченный надвое), покрытым пышными мехами ложем, ярким блеском свечей. Шатер был просторный. В глубине его тускло поблескивала на вешалке королевская кольчуга. Дурно воспитанный сокол, имевший порочное обыкновение время от времени пронзительно вскрикивать, неподвижно стоял, вцепившись, как попугай, в жердочку, накрытый клобучком и погруженный в какие-то унаследованные от предков кошмары. Гончая, белая, словно слоновая кость, настороженно лежала, опираясь на все четыре лапы и с жалостью глядя на Короля ласковыми глазами оленихи. У постели виднелась чудесная эмалевая шахматная доска с фигурами из яшмы и хрусталя, стоявшими в матовой позиции. Всюду лежали бумаги. Они покрывали стол секретаря, налой для чтения, стулья, — скучные правительственные документы, которыми он,

несмотря ни на что, продолжал заниматься, документы, касавшиеся так и не сведенных в единый кодекс законов, интендантства, вооружения и распорядка дня. Огромная учетная книга лежала раскрытой на справке, посвященной бедняге по имени Вильям-с-Лужайки, не явившемуся в суд и приговоренному к повешению (suspendatur) за грабеж. На полях опрятным почерком секретаря была проставлена краткая эпитафия: *«susp.»*, вполне отвечавшая общему трагическому настроению. Налой покрывали бесчисленные стопы прошений и выписок с уже обозначенными на них решениями и подписью Короля. На тех, с которыми Король был согласен, он старательно надписывал «Le roy le veult»[30]. Отвергнутые прошения помечались уклончиво-вежливой формулой, к которой всегда прибегают царствующие особы: «Le roy s'advisera»[31]. Читальный налой вместе с креслом был вырезан из одного куска дерева, в этом-то кресле, понурясь, и сидел Король. Голова его лежала среди документов, приведенных ею в беспорядок. Казалось, Король уже умер, — да он и близок был к этому.

---

**[30] notes: 30**
Такова королевская воля (фр.)

**[31] notes: 31**
Король подумает (фр.)

Артур устал. Две выигранных им битвы — одна под Дувром, другая в Бархемдаун, — надломили его. Жена его лишилась свободы. Самый старый из друзей находился в изгнании. Собственный сын пытался его убить. Гавейна похоронили. Круглый Стол распался. В стране шла война. И все же он смог бы выстоять так или этак, если бы не было уничтожено главное, во что он верил всем сердцем. Давным-давно, когда разум его еще принадлежал шустрому мальчишке по имени Варт, он попал в обучение к доброму и благожелательному старику с развевающейся белой бородой. Мерлин научил его верить, что человек способен к совершенствованию, что в целом ему свойственна скорее порядочность, чем скотство, что добро стоит усилий, что никакого первородного греха не существует. И из мальчика выковали оружие, способное помочь человеку, — в предположении, что человек добр. Его заблуждавшийся старый наставник создал из него некое подобие Пастера или Кюри, или терпеливого открывателя инсулина. Служение, для которого он был предназначен, состояло в противлении Силе, умственному расстройству человечества. Его Круглый Стол, его идея Рыцарства, его Святой Грааль, его приверженность

Правосудию — все они были последовательными шагами в борьбе, для которой он был сформирован. Он походил на ученого, всю свою жизнь отыскивающего возбудителя рака. Покончить с Силой, сделать человека счастливее. Но в основе всей постройки лежала исходная предпосылка: человеку присуща порядочность.

Когда он оглядывался на свою жизнь, ему начинало казаться, что все это время он пытался преградить путь половодью, а оно, едва обузданное, прорывалось в новом месте, заставляя его снова браться за работу. То был разлив неодолимой Силы. В начальные дни, еще до женитьбы, он норовил — в битвах с Гаэльской конфедерацией — сломить силу силой и обнаружил лишь, что злом зла не поправишь. Однако ему удалось сокрушить романтические феодальные представления о том, что такое война. Затем, с помощью Круглого Стола, он попытался обуздать жестокость в ее сравнительно слабых проявлениях, чтобы можно было использовать силу для достижения полезных целей. Он отправлял могучих мужей спасать угнетенных, исправлять содеянное зло, — смирять индивидуальную мощь баронов, как сам он смирил мощь королей. И они занимались этим, пока по прошествии времени

цель не оказалась достигнутой, — но сила так и осталась у него на руках не усмиренной. Ему пришлось отыскивать новый канал, и он поставил своих бойцов на службу Богу, отправив их на поиски Святого Грааля. Но и это кончилось поражением, поскольку преуспевшие в Поиске достигли совершенства и оказались для мира утраченными, а потерпевшие неудачу, как вскоре выяснилось, лучше не стали. В конце концов он счел необходимым начертать как бы карту силы, опутав последнюю сетью законов. Он попытался систематизировать злонамеренное применение силы отдельными личностями, чтобы можно было поставить ему пределы в безличностном государственном правосудии. Он готов был принести в жертву этому правосудию жену и лучшего друга. И когда сила отдельных людей, казалось, была обуздана, Принцип Силы снова замаячил у него за спиной, обернувшись коллективным насилием, взаимосвязью жестокости, многолюдными армиями, неподвластными установленным для отдельных людей законам. Он стеснил единичную силу, но для того лишь, чтобы оказаться лицом к лицу со множественной. Победив убийство, он столкнулся с войной. А на нее законы не распространялись.

Войны его ранней поры, те, что он вел против Лота или Диктатора Рима, имели целью подорвать феодальные представления о войне, как о лисьей охоте или спортивных играх с выкупом в виде приза победителю. С этой целью он ввел в обращение идею тотальной войны. И вот, когда он достиг старости, эта же самая тотальная война воротилась к тому, кто ее породил, в облике тотальной ненависти, столь похожей на современные виды вражды.

И сейчас, упокоив чело на бумагах и сомкнув веки, Король изо всех сил старался не думать. Ибо если первородный грех все-таки существует, если человек по природе своей — злодей, если Библия права, утверждая, что человек прежде всего лжив и безнадежно порочен, тогда целью всей его жизни была тщета. Рыцарство и правосудие оборачиваются детскими мечтаниями, если главный ствол, к которому он пытался привить их, — это Хлыстун, и никто иной, Homo ferox [32] вместо Homo sapiens [33].

Однако за этой мыслью стояла другая, еще худшая, на которую он не осмеливался и замах-

---

**[32] notes: 32**
Человек свирепый (лат.)

**[33] notes: 33**
Человек разумный (лат.)

нуться. Возможно, человек не добр и не дурен, возможно, он просто машина, работающая в неодушевленной вселенной, и доблесть его есть не более, чем рефлекторный отклик на опасность, — сродни машинальному подскоку при булавочном уколе. Возможно, и не существует никаких добродетелей, если только не считать добродетелью этот самый подскок, и человечество — это всего лишь механический ослик, вовлеченный железной морковкой, которую именуют любовью, в бессмысленно однообразный труд воспроизведения рода. Возможно, Сила — это просто закон Природы, потребный для поддержания в нужной форме тех, кто выживает после столкновения с ней. Возможно, и сам он…

Но он не решался глубже вникать в эту мысль. Он чувствовал себя так, словно что-то отмерло у него между глаз, там, где нос соединяется с черепом. Он не мог спать. Ему снились дурные сны. Завтра решающая битва. А ему еще нужно прочитать и подписать все эти бумаги. Но и читать или подписывать их он тоже не мог. Не мог оторвать голову от стола.

Почему сражаются люди?

Старик всегда старался оставаться честным в своих размышлениях, не испытывая, впрочем,

особенных озарений. Ныне его утомленный мозг то и дело норовил соскользнуть на ставшие уже привычными круги: проторенные пути, вроде того, по которому кружит мельничный ослик. Артур уже тысячи раз проходил ими и никуда не пришел.

Виной ли тому безнравственные вожди, влекущие невинные народы к уничтожению, или безнравственны сами народы, выбирающие себе вождей по душе? Казалось бы, маловероятно, что один-единственный Вождь способен принудить к чему-то целый миллион англичан. Если бы, к примеру, Мордреду приспичило заставить всех англичан до единого носить детские юбочки или стоять на головах, — вряд ли они устремились бы в его партию, сколь бы умны, убедительны, соблазнительны или даже угрожающи ни были доводы, коими он их стал бы приманивать. Уж наверное, вождь вынужден предлагать тем, кого он ведет, нечто для них привлекательное? Он может, конечно, подтолкнуть рушащееся здание, но и само здание, видимо, должно зашататься, прежде чем рухнуть? А если так, то значит и войны вовсе не являются бедствиями, в которые злые люди вовлекают добреньких простаков. Они представляют собой национальные движения,

по происхождению своему куда более загадочные и глубокие. Да, собственно, и не было у него ощущения, будто это он или Мордред довели страну до нынешнего несчастного состояния. Если бы водить страну туда-сюда было так же легко, как свинью на веревке, почему же тогда он не смог привести ее к рыцарству, правосудию и миру? А ведь он старался.

Но тогда, — он пошел по второму кругу, все это сильно смахивало на дантовский Ад, — если на самом деле не он и не Мордред вызвали нынешние несчастья, кто же был их причиной? Как вообще начинаются войны? Ибо любая новая война, похоже, является следствием предыдущих. Мордред ведет к Моргаузе, Моргауза к Утеру Пендрагону, Утер к собственным предкам. Как если бы Каин убил Авеля и захватил его земли, и с тех пор род Авеля все старается отвоевать свои наследственные владения. Безумие длится за веком век, отвечая злом на зло и резней на резню. Никто от этого не выигрывает, поскольку потери всегда несут обе стороны, но и выпутаться из этого никому не по силам. В нынешней войне можно винить его или Мордреда, но в ней повинны и миллион Хлыстунов, и Ланселот, и Гвиневера, и Гавейн — все и каждый. Тем, кто

живет мечом, суждено от меча и погибнуть. И видимо, все пути будут вести к беде до той поры, пока человек не желает забыть о прошлом. Зло, сотворенное Утером, и зло, сотворенное Каином, можно исправить, но только если, благословясь, забыть и то, и другое.

Сестры, матери, бабушки: все коренится в прошлом! Любые деяния, совершенные при жизни одного поколения, могут привести к непредсказуемым последствиям при жизни другого, так что даже чихая, мы кидаем в пруд камушек, круги от которого способны достичь и самого дальнего берега. И видимо, единственная надежда состоит в том, чтобы вообще ничего не делать, пребывать в покое, подобно камушку, которого никто никуда не бросал. Однако ведь и это противно.

Что справедливо, что несправедливо? Чем отличается деяние от недеяния? Если бы мне пришлось начинать сначала, думал старый Король, я бы укрылся в монастыре, страшась Деяния, способного накликать беду.

Благословенное забвение — вот что существеннее всего. Если всему, что содеяно тем или иным человеком или пращурами его, суждено в дальнейшем порождать кровопролитие, следовательно, нужно стереть прошлое и все начать

заново. Человек обязан быть готов к тому, чтобы сказать: да, несправедливость существовала со времен Каина, но если мы примем status quo, мы лишь продлим наши бедствия. Земли наши будут разграблены, люди убиты, народы унижены. Чем жить, глядя и вперед, и назад, давайте-ка лучше начнем все сначала. Мстя за прошлое, мы будущего не построим. Присядем рядом, как братья, и примем Божий мир.

Увы, в каждой новой войне именно это и говорилось. Люди вечно твердили, что уж эта-то война, точно, последняя, а после нее настанет райская жизнь. Они всегда норовили выстроить новый мир — такой, какого никто еще не видел. Однако когда приходило время строительства, оказывалось, что они для него слишком глупы. Будто дети, с криком требующие, чтобы им разрешили построить дом, — однако стоит им приступить к строительству, сказывается отсутствие практических навыков. Никак им не удается правильно выбрать строительные материалы.

Мысли старика прилежно подвигались вперед. Они никуда его не вели: они возвращались на собственные пути и проходили их дважды, но он свыкся с ними и остановиться не мог. Он вступил

на следующий круг.

Возможно, главная причина войны это обладание собственностью, как и уверял этот коммунист, Джон Болл. «Дела английские идут худо, — заявил он, — и идти им так до поры, пока всякая вещь не станет общей и не будет уже ни виллана, ни господина.» Возможно, войны разражаются из-за того, что люди вечно твердят: *мое* королевство, *моя* жена, *мой* любовник, *мои* владения. И он, и Ланселот, и все остальные всегда втайне сознавали это. Возможно, до тех пор, пока люди пытаются владеть хоть чем-то по отдельности друг от друга, пусть даже душой и честью, им так и предстоит воевать. Голодный волк будет вечно нападать на нагулявшего жирок оленя, бедняк — грабить банкира, серв — восставать против высших классов, а нищие народы — биться с богатыми. Возможно, войны только и ведутся между имущими и неимущими. Тут, правда, есть одно возражение: никому еще не удавалось определить, что такое «иметь». Рыцарь в серебряных доспехах, стоит ему повстречаться с рыцарем в золотых, тут же объявляет себя неимущим.

Но предположим на миг, думал он, что «имение», как бы мы ни определили его, что оно-то и есть корень зла.

Я имею, а Мордред не имеет. Из чувства противоречия он возразил сам себе: представлять дело так, будто Мордред или я вызвали эту бурю, — нечестно. Мы лишь подставные лица, за которыми стоят куда более сложные силы, действующие, судя по всему, под влиянием каких-то иных побуждений. Выглядит это так, словно некий импульс продирает все общество. Сейчас уже и Мордред почти беспомощен, его понукают люди, слишком многочисленные, чтобы их сосчитать: те, кто верит в истинность сказанного Джоном Боллом и надеется, утверждая всеобщее равенство, подобраться к власти, или те, кто видит в любом перевороте возможность протолкнуться вперед, прибегая к силе. Похоже, что этот импульс идет снизу. Последователи Болла и Мордреда — это желающие возвыситься неудачники, или рыцари, не игравшие заметной роли при Круглом Столе и оттого ненавидящие его, или бедняки, желающие богатства, или безвластные, рвущиеся к власти. А мои люди, для которых я не более чем талисман или знамя, — это рыцари, возглавлявшие Круглый Стол, богачи, защищающие свои владения, обладатели власти, не желающие с ней расставаться. Это силовая борьба имущих с неимущими, безумное столкновение множества

людей, и вожди их тут почти ни при чем. Но ладно, пусть. Согласимся со смутной идеей о том, что войну вызывает «имение» как таковое. В таком случае, правильным был бы полный отказ от владения чем бы то ни было. Именно его, как время от времени напоминал Рочестер, и рекомендовал нам Господь. Говорено ведь было и богатому об игольном ушке, и о ростовщиках тоже. Вот почему, по словам Рочестера, Церковь не может слишком часто вмешиваться в скорбные дела мира сего, ибо нации, классы и отдельные личности вечно кричат «мое, мое» там, где Церковь учит говорить «наше». Если это верно, тогда вопрос не только в том, чтобы разделить имущество. Тогда делить следует все — даже мысли, чувства, жизни. Господь повелел людям отказаться от жизни, в которой каждый — сам по себе. Господь сказал, что лишь те, кто сможет отбросить свои ревнивые я, пустые индивидуальные представления о счастье и горе, лишь те почиют в мире и войдут в число избранных. Тому, кто хочет спасти свою жизнь, следует ее потерять. И однако же нечто в старой седой голове не могло принять правоверную точку зрения. Очевидно, конечно, что лучшее целебное средство от рака матки состоит в том, чтобы матки и вовсе не иметь. Бы-

стродействующие радикальные снадобья могут избавить вас от чего угодно — в том числе и от жизни. Идеальный совет, которому, правда, никто не в силах последовать, состоит в том, чтобы не принимать никаких советов. Небесные советы для земли бесполезны. Новый истоптанный круг поплыл, вращаясь, в его голове. Возможно, войны ведутся из страха — из опасений за свою безопасность. Если истины не существует, если истина не поведана людям, тогда во всем, что лежит вовне отдельного человека, таится опасность. Да и поведав истину себе самому, все равно остаешься неуверенным в ближнем. Эта неопределенность способна в конце концов привести к тому, что начнешь видеть в ближнем угрозу. Так, во всяком случае, объяснял причину войн Ланселот. Он говорил, что самым насущным из всего, чем человек обладает, является его Слово. Бедный Ланс, он свое слово нарушил, и все же не много существовало на свете людей, чье слово было бы столь же надежным.

Возможно, войны случаются потому, что народы не верят в Слово. Напугавшись, они лезут в драку. Народы, как люди, — им тоже присущи чувства неполноценности или превосходства, мстительности или страха. И рассматривать

отдельного человека как олицетворение целой нации — дело вполне разумное.

Подозрительность и страх, обладание и жадность, негодование по поводу сотворенного предками зла — все это составные части единого целого. И все-таки, перебирая их, решения не отыщешь. К настоящему решению Королю подобраться не удавалось. Он был слишком стар, изнурен и несчастен, чтобы додуматься до чего-либо нового. Он был всего только человеком, возжелавшим лучшего и пошедшим в своих размышлениях путем, на который его толкнул чудаковатый волшебник, питавший слабость к роду людскому. Последней его попыткой стала идея о справедливости, состоявшая в том, чтобы не совершать ничего несправедливого. Но и она привела к неудаче. Выяснилось, что делать что-либо вообще — до крайности трудно. Хотя себя-то он умудрился отделать весьма основательно.

Но, как видно, не до конца — и Артур доказал это, подняв голову от стола. В душе его присутствовало нечто непобедимое — величие, настоенное на простоте. Он выпрямился и потянулся к железному колокольчику.

— Паж, — сказал он, когда в шатер, спотыкаясь и протирая кулаками глаза, вошел мальчуган.

— Мой господин.

Король пригляделся к нему. Даже в крайних его обстоятельствах он сохранял способность замечать других людей, особенно новых или достойных. Когда он в палатке утешал сломленного Гавейна, более всех в утешении нуждался он сам.

— Бедное дитя, — сказал он. — Тебе бы сейчас спать крепким сном.

Он вглядывался в мальчика с напряженным и утомленным вниманием. Давно уже не сталкивался он лицом к лицу с невинной ясностью отрочества.

— Послушай, — сказал он, — ты не мог бы доставить эту записку епископу? Только не буди его, если он спит.

— Мой господин.

— Спасибо.

Мальчик уже выходил, когда Король окликнул его.

— Обожди, паж.

— Мой господин?

— Как твое имя?

— Том, мой господин, — почтительно ответил он.

— Где ты живешь?

— Близ Уорвика, мой господин.

— Близ Уорвика.

Казалось, старик пытается представить себе это место, как если б оно было Раем Земным или страной, описанной Мандевиллем.

— В местечке, называемом Ньюболд Ривел. Там красиво.

— Сколько тебе лет?

— В ноябре будет тринадцать, мой господин.

— А я продержал тебя на ногах целую ночь.

— Нет, мой господин. Я поспал на одном из седел.

— Том из Ньюболд Ривел, — с удивлением сказал Король. — Сколько же людей мы в это втянули. Скажи мне, Том, что ты собираешься делать завтра?

— Я буду сражаться, сэр. У меня есть добрый лук.

— И ты будешь убивать из этого лука людей?

— Да, мой господин. Я надеюсь убить многих.

— А если убьют тебя?

— Тогда я умру, мой господин.

— Понимаю.

— Так я отнесу письмо?

— Нет. Погоди немного. Мне хочется с кем-нибудь поговорить, только в голове у меня все

как-то спуталось.

— Принести вам вина?

— Нет, Том. Сядь и постарайся выслушать меня. Сними эти шахматы с табурета. Ты хорошо все понимаешь, когда тебе рассказывают о чем-нибудь?

— Да, мой господин. Я понятливый.

— А поймешь ты меня, если я попрошу, чтобы ты не сражался завтра?

— Мне хочется сражаться, — решительно сказал мальчик.

— Всем хочется сражаться, Том, но никто не знает — почему. Допустим, я попрошу тебя не сражаться, в виде особой услуги Королю? Ты это сделаешь?

— Я сделаю то, что мне прикажут.

— Тогда слушай. Присядь на минуту, я расскажу тебе одну историю. Я человек очень старый, Том, а ты юн. Когда ты состаришься, ты сможешь пересказать другим то, что я расскажу тебе этой ночью, и я хочу, чтобы ты это сделал. Это тебе понятно?

— Да, сэр. Я думаю, да.

— Расскажи об этом так. Жил некогда король и звали его Король Артур. Это я. Когда он взошел на английский трон, он обнаружил, что все короли и

бароны дерутся друг с другом, как сумасшедшие, и поскольку им были по карману дорогие доспехи, не существовало практически ничего, способного помешать им поступать как вздумается. Они творили много дурного, ибо жили, полагаясь на силу. И вот королю пришла в голову мысль, что силу должно использовать, если ею вообще стоит пользоваться, ради справедливости, а не ради самой силы. Слушай внимательно, мальчик. Он думал, что если ему удастся заставить баронов сражаться за правду, помогать слабым, исправлять злые дела, то все их драки могут оказаться не столь дурными, какими они некогда были. И он собрал вместе всех честных и добрых людей, каких только знал, и произвел их в рыцари, и научил их тому, что придумал, и усадил их за Круглый Стол. В те счастливые дни их было сто пятьдесят человек, и Король Артур всем сердцем любил Круглый Стол. Он гордился им больше, чем своей любимой женой, и новые рыцари его многие годы убивали страшных великанов, питавшихся человечиной, и спасали девиц, и выручали несчастных из заточения, и старались наставить мир на праведный путь. Такова была мысль Короля.

— По-моему, это была добрая мысль, мой гос-

подин.

— И добрая и недобрая вместе. Один Бог ведает.

— А что случилось с Королем под конец? — спросил мальчик, решив, что рассказ Короля завершен.

— По некоей причине, дела пошли худо. Стол раскололся на части, началась злая война, и в ней все были убиты.

Мальчик уверенно перебил его.

— Нет, — сказал он, — не все. Король победил. Мы победим.

Артур неопределенно улыбнулся и покачал головой. Ему нужна была только правда.

— Все были убиты, — повторил он, — кроме одного пажа. Я знаю, о чем говорю.

— Мой господин?

— Этого пажа звали Томом из Ньюболд Ривел, что близ Уорвика, и перед битвой старый Король отослал его под страхом ужасного бесчестья. Видишь ли, Король желал, чтобы остался кто-то, кто будет помнить про его славную мысль. Ему очень хотелось, чтобы Том вернулся в Ньюболд Ривел, и вырос мужчиной и прожил в Уорвикшире мирную жизнь, — и хотелось, чтобы Том рассказал всем, кто пожелает слушать, об этой старинной

мысли, которая им обоим показалась когда-то доброй. Как ты думаешь, Томас, ты сможешь сделать это, чтобы порадовать Короля?

Глядя на Короля чистыми глазами безукоризненно честного человека, мальчик сказал:

— Для Короля Артура я все готов сделать.

— Вот храбрый малый. Теперь послушай меня. Постарайся, чтобы в голове у тебя не перепутались герои всех известных тебе легенд. Это я пересказал тебе мою мысль. Это я собираюсь повелеть тебе взять коня и не медля отправиться в Уорвикшир и не встревать со своим луком в завтрашнее сражение. Ты все понял?

— Да, Король Артур.

— Ты пообещаешь мне впредь соблюдать осторожность? Помнить, когда дела в стране пойдут плохо и надеяться останется лишь на то, что ты уцелеешь, помнить о том, что ты — своего рода сосуд, в котором хранится наша мысль?

— Я обещаю.

— Это кажется проявлением эгоизма с моей стороны — использовать тебя таким образом.

— Это честь для бедного пажа, добрый господин мой.

— Томас, моя мысль о рыцарстве — это все равно что свеча, вот вроде этих. Я нес ее долгие годы,

защищая рукой от ветра. Нередко она норовила погаснуть. Ныне я вручаю свечу тебе, — ты понесешь ее дальше?

— Она будет гореть.

— Добрый Том. Светоносец. Сколько тебе лет, говоришь?

— Почти тринадцать.

— Быть может, еще лет шестьдесят. Половина столетия.

— Я передам ее другим людям, Король. Англичанам.

— Ты скажи им там, в Уорвикшире: что, не чудесной ли красоты свечу он нес?

— Скажу, приятель, уж это я им скажу.

— Ну, значит, так. Давай, Том, двигай, пора тебе поторапливаться. Возьми себе лучшего сына кобылы, какого найдешь, и дуй в Уорвикшир да так, чтобы тебя и кроншнеп не догнал.

— Я поскачу во весь дух, дружище, чтобы свеча не погасла.

— Ну что ж, добрый Том, благослови тебя Бог. Да про епископа не забудь, про Рочестера-то, как мимо поедешь.

Мальчик встал на колени, чтобы поцеловать руку своего господина, — накидка на его худых плечах, с гербом Мэлори, казалась до нелепости

новой.

— Господин мой Властитель Англии, — сказал он. Артур ласково поднял его, чтобы поцеловать в плечо.

— Сэр Томас из Уорвика, — сказал он, — и мальчик исчез.

Мгла стояла в пустом величавом шатре. Ветер выл, оплывали свечи. В ожидании епископа старый, старый человек присел за читальный налой. Время шло, и голова его никла к бумагам. Глаза следившей за ним гончей, поймав отблеск свечей, горели призрачным блеском, словно янтарные чаши с погребальным огнем. Снаружи забухали пушки Мордреда — им предстояло палить во тьме до самой утренней битвы. Король, опустошенный последним усилием, отдался печали. Даже когда рука его гостя отвела полог шатра, тихие капли продолжали стекать по носу и падать на пергамент с ударами, мерными, как у древних часов. Он отвернул в сторону голову, — он не желал, чтобы его видели, но большего сделать не мог. Полог упал, и в шатер медленно вступила странная фигура в плаще и шляпе.

— Мерлин?

Но у входа не было никого: Мерлин привиделся ему в старческой дреме.

Мерлин?

Он вновь начал думать, но теперь так ясно, как никогда. Он вспомнил престарелого некроманта, который учил его, — учил на примере животных. Существует, припомнил он, что-то около полумиллиона различных животных видов, и человек — всего лишь один из них. Конечно, человек тоже животное, не растение же и не минерал, верно? И Мерлин научил его при посредстве животных тому, что отдельный вид может узнать очень многое, вникая в проблемы, стоящие перед тысячами других видов. Он вспомнил воинственных муравьев, проводивших границы, и мирных гусей, не проводивших границ. Он вспомнил урок, преподанный барсуком. Вспомнил Ле-лёк и остров, увиденный ими во время перелета, остров, на котором мирно сожительствовали все эти тупики, гагарки, чистики и моевки, сохраняя собственные разновидности цивилизации, не ведая войн, — потому что и они не проводили границ, И вся проблема внезапно легла перед ним просто, словно на карте. Самое фантастическое в любой войне состоит в том, что ведется она из-за ничего — в доподлинном смысле этого слова. Границы — суть воображаемые линии. Никакой зримой линии между Англией и Шотландией

не существует, хотя из-за нее-то и давались сражения при Флоддене и Бэннокберне. Одна лишь география являлась причиной — политическая география. И все. Народы вовсе не нуждаются ни в единообразии цивилизаций, ни в единообразии вождей, — не больше, чем тупики или чистики. Пусть себе, подобно эскимосам и готтентотам, сохраняют собственную цивилизацию каждый, пока они в состоянии предоставить друг другу свободу торговли, свободу проезда и доступ в иные края. Странам следует обратиться в графства, — но в графства, сохраняющие собственную культуру и местные законы. Все, что требуется сделать, — это не воображать больше воображаемых линий на поверхности земли. Перелетные птицы обошлись без них, ибо такова их природа. Каким безумием казались границы Лё-лёк и еще покажутся человеку, если он сможет научиться летать.

Старый Король чувствовал себя исполненным бодрости, голова была совершенно ясной, он почти готов был начать все сначала.

Настанет когда-нибудь день, — должен настать, — и он возвратится в Страну Волшебства с новым Круглым Столом, у которого не будет углов, как нет их у мира, столом без границ между

нациями, которые усядутся за ним для общего пиршества. Надежда на это коренится в культуре. Пока людей удается уговорить читать и писать, а не только есть да предаваться плотской любви, все-таки существует возможность того, что они образумятся.

Но в ту ночь слишком поздно было для новых усилий. В ту пору судьба назначила ему умереть и, как кое-кто уверяет, быть перенесенным в Авалон, где он мог ожидать лучших дней. В ту пору судьба Ланселота и Гвиневеры состояла в том, чтобы принять постриг, а судьба Мордреда — в том, чтобы погибнуть. Судьба человека — того ли, иного — это нечто менее капли, пусть и сверкающей, в огромном и синем волнении озаренного солнцем моря.

Пушки противника громыхали тем разодранным в клочья утром, когда Его Величество Король Англии с миром в душе шагнул навстречу грядущему.

*EXPLICIT LIBER REGIS QUONDAM REGISQUE FUTURI*

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ ЗАНОВО

# Книга Мерлина

*Incipit Liber Quintus* [34]

*Он немного подумал, а после сказал: «Я нашел, что на многих моих пациентов благотворно влияли зоологические сады.*

*Господину Понтифику я прописал бы курс крупных млекопитающих. Только лучше бы ему не знать, что он созерцает их в лечебных целях...»*

**[34] notes: 34**
Начинается пятая книга

# 1

Нет, это не был епископ Рочестерский.

Король отворотился от новопришедшего, не интересуясь его персоной. Слезы, тяжело катившиеся по обвислым щекам, заставляли его стыдиться своего вида, но он чувствовал себя слишком подавленным, чтобы их утирать. Неспособный на большее, он лишь упорно прятал лицо от света. В его теперешнем состоянии уже не имело смысла скрывать старческое горе.

Мерлин присел рядом с Артуром и взял его изможденную руку в свои, отчего слезы полились лишь обильнее. Волшебник гладил его по ладони, прижимая большим пальцем синеватые вены, ожидая, когда в них снова воскреснет жизнь.

— Мерлин? — спросил Король.

Казалось, он не удивился.

— Ты мне снишься? — спросил он. — Прошлой ночью мне снилось, будто пришел Гавейн с целой командой прекрасных дам. Он сказал, что дамам дозволили сопровождать его, так как при жизни он был их избавителем, и что они пришли предостеречь меня, ибо завтра все мы погибнем. А после того мне приснилось, что я сижу на троне,

привязанном наверху колеса, и колесо поворачивается, а я лечу в яму, полную гадов.

— Колесо свершило свой оборот: я снова с тобой.

— А ты какой сон — дурной? — спросил Король. — Если так, не мучай меня.

Мерлин все так же держал его за руку. Он поглаживал ее вдоль вен, стараясь заставить их спрятаться в плоть. Он умягчал шелушистую кожу, в мистической сосредоточенности вливая в нее жизнь, понуждая ее вновь обрести упругость. Кончиками пальцев касаясь Артурова тела, он пытался вернуть ему гибкость, облегчая ток крови, возвращая силу и ладность опухшим суставам, и молчал.

— Нет, ты добрый сон, — сказал Король. — Хорошо бы, ты мне снился подольше.

— Да я никакой и не сон. Я человек, тот самый, которого ты помнишь.

— Ах, Мерлин, сколько бед случилось со мной с тех пор, как ты нас покинул! Все труды, на которые ты подвигнул меня, оказались напрасными. Вся твоя наука — обманом. Ничего этого делать не стоило. Нас забудут, и тебя, и меня, словно нас и не было вовсе.

— Забудут? — переспросил волшебник. В свете

свечи было видно, как он, улыбаясь, озирает шатер, словно желая убедиться в истинном существовании его убранства — мехов, мерцающей кольчуги, гобеленов, пергаментных свитков.

— Жил когда-то Король, — произнес он, — о котором писали Ненний и Гальфрид Монмутский. Говорят, что последнему помогал кое в чем архидиакон Оксфордский и даже этот восхитительный олух, Гиральд Валлиец. Брут, Лайамон и вся остальная шатия: сколько вранья они наворотили! Одни уверяли, что он был бриттом, размалеванным синей краской, другие, — что он в угоду сочинителям норманнских романов красовался в кольчуге. Кое-кто из бестактных германцев облачал его на манер своих занудливых Зигфридов. Одни, вроде твоего приятеля Томаса из Хаттон-Коннерс, одевали его в серебро, другие же,

— замечательно романтический елизаветинский автор по имени Хьюгс, к примеру, — узрели в его истории замечательную любовную коллизию. Затем еще был слепой поэт, норовивший растолковать человечеству пути Господни, этот сравнивал Артура с Адамом, пытаясь понять, который из двух важнее. Примерно а то же время появились великие музыканты — Перселл, к

примеру, а еще позже такие гиганты, как Романтики, и все они непрестанно грезили о нашем Короле. За ними явились люди, давшие ему доспехи, подобные листьям плюща, и поставившие его с друзьями посреди развалин, где ежевика, разрастаясь, овивала их своими плетьми, и они в обморочном трансе падали наземь, стоило лишь легкому ветерку коснуться их губ. Потом еще был один викторианский лорд… Даже людям, вроде бы никаким боком к нему не причастным, и тем было до него дело, — тому же Обри Бердслею, создавшему иллюстрации к рассказу о нем. А несколько времени погодя объявился и бедный старина Уайт, полагавший, будто мы с тобой воплощали идеи рыцарства. Он уверял, что наше значение кроется в нашей порядочности, в том, как мы противостояли кровожадным помыслам человека. Каким же анахронистом он был, бедолага! Это ведь умудриться надо — начать с Вильгельма Завоевателя и кончить Войнами Алой и Белой Розы… И еще были люди, обращавшие «Смерть Артура» в разного рода непостижимые колебания, вроде радиоволн, и другие, обитавшие в неоткрытом полушарии и тем не менее почитавшие Артура и Мерлина, которых знали по движущимся картинам, чем-то

вроде своих незаконных отцов-основателей. Дело Британии! Разумеется, нас позабудут, Артур, если считать мерой забвения тысячу лет да еще полтысячи, да еще одну тысячу к ним впридачу!

— А Уайт это кто?

— Человек, — рассеянно ответил волшебник. — Ты вот посиди, послушай, а я прочитаю тебе кусочек из Киплинга. — И старик с воодушевлением продекламировал знаменитое место из «Холма Пука»:

— «Я видел, как сэр Гюон с отрядом своих челядинцев выступил из Замка Тинтагиль в сторону Ги-Бразиля, встретив грудью юго-западный ветер, и брызги летели над замком, и Кони Холмов теряли разум от страха. Они вышли в минуту затишья, крича тоскливо, как чайки, и шторм отнес их от моря на добрых пять миль, прежде чем им удалось повернуться ему навстречу. То была магия — самая черная, на какую только способен был Мерлин, и море пылало зеленым огнем, и в белой пене пели русалки. А Кони Холмов под вспышками молний неслись с волны на волну! Вот что творилось здесь в давние времена!»

— Вот тебе только одно описание, — добавил волшебник, закончив цитату. — В прозе. Не диво, что Дан под конец закричал: «Восхитительно!» И

сказано все это о нас и о наших друзьях.

— Но, учитель, я не понимаю.

В растерянности глядя на своего престарелого ученика, волшебник встал. Он перевил бороду в крысиные хвостики, засунул их кончики в рот, подкрутил усы, похрустел суставами пальцев. То, что он сотворил с Королем, наполняло его страхом, ему казалось, что он пытается искусственным дыханием оживить человека, пожалуй, слишком долго пробывшего под водой. Однако, стыда он не испытывал. Ученый и должен без жалости продвигаться вперед, преследуя единственную в мире вещь, имеющую значение,

— Истину.

Чуть погодя, он позвал, — негромко, словно окликая уснувшего:

— Варт?

Никакого ответа.

— Король?

На этот раз он услышал ответ — горький ответ:

— Le Roy s'advisera.

Все оказалось даже хуже, чем опасался Мерлин. Он снова сел, снова взял вялую руку и заново стал обхаживать Короля.

— Давай-ка попытаем счастья еще раз, — попросил он. -Нас ведь пока не разбили наголову.

— Что проку от этих попыток?

— Такое у человека занятие — делать попытки.

— Значит, люди — попросту остолопы.

Старик ответил со всей прямотой:

— Разумеется, остолопы да впридачу еще и злые. Тем-то и интересны старания сделать их лучше.

Жертва чародея открыла глаза и устало закрыла их снова.

— Мысль, посетившая тебя перед самым моим приходом, справедлива, Король. Я имею в виду мысль о Homo ferox. Однако и соколы тоже ведь ferae naturae: и это в них самое любопытное.

Глаза оставались закрытыми.

— А вот другая твоя мысль, насчет… относительно того, что люди — машины, вот она неверна. А коли и верна, то это ведь ничего не значит. Потому что, если все мы — машины, то не о чем и тревожиться.

— Вот это мне понятно.

Странно, но он и вправду это понял. Глаза его открылись, да так и остались открытыми.

— Помнишь ангела в Библии, готового пощадить целый город, если в нем отыщется хотя бы единый праведник? И ведь не один отыскался. То же относится и к Homo ferox, Артур, даже сейчас.

В глазах, неотрывно глядевших на маячившее перед ними видение, возникло подобие интереса.

— Ты слишком буквально воспринял мои советы, Король. Неверие в первородный грех вовсе не подразумевает веры в первородную добродетель. Оно подразумевает лишь, что не следует верить в абсолютную порочность человека. Человек, быть может, порочен и даже очень порочен, а все же не абсолютно. В противном случае, согласен, любые попытки бессмысленны.

Артур произнес, расплывшись в одной из своих ясных улыбок:

— Да, это хороший сон. Надеюсь, он окажется длинным.

Его учитель стянул с носа очки, протер их, снова надел и внимательно оглядел старика. За стеклами очков поблескивало удовлетворение.

— Если бы ты, — сказал он, — не пережил всего этого, ты бы так ничего и не понял. Никуда не денешься, знание — вещь наживная. Ну, как ты?

— Бывает и хуже. А ты?

— Отменно.

Они обменялись рукопожатием, как если бы только что встретились.

— Побудешь со мной?

— Вообще-то говоря, — отвечал некромант, звучно сморкаясь, чтобы скрыть ликование, а может быть и раскаяние, — мне и находиться-то здесь не положено. Я просто послан к тебе с приглашением.

Он сложил носовой платок и сунул его под шляпу.

— А мыши? — спросил Король, и глаза его в первый раз чуть заметно блеснули. На секунду кожа у него на лице дрогнула, натянулась, и под нею, быть может, в самых костях, проглянула конопатая, курносая физиономия мальчишки, которого когда-то давно очаровал Архимед.

Мерлин с удовольствием стянул с головы колпак.

— Только одна, — сказал он. — По-моему, это была мышь, хотя теперь уже толком не скажешь, усохла наполовину. Глянь-ка, а вот и лягушка, я еще летом ее подобрал. Она, бедолага, попала во время засухи под колеса. Силуэт — само совершенство.

Он с удовлетворением ее обозрел, прежде чем сунуть обратно в шляпу, затем уложил ногу на ногу и, поглаживая колено, с таким же удовлетворением обозрел ученика.

— Итак, приглашение, — сказал он. — Мы на-

деялись, что ты нанесешь нам визит. Битва твоя, полагаю, как-нибудь обойдется без тебя до утра?

— Во сне это не имеет значения.

Видимо, это замечание рассердило волшебника, ибо он гневно воскликнул:

— Послушай, перестань ты все время твердить о снах! Нужно же все-таки хоть немного уважать чувства других людей.

— Не обращай внимания.

— Да, так вот, — приглашение. Мы приглашаем тебя посетить мою пещеру, ту самую, куда меня засадила молодая Нимуя. Помнишь ее? Там собрались кое-какие друзья, ждут тебя.

— Это было бы чудесно.

— К сражению у тебя, насколько я знаю, все подготовлено, а заснуть ты все равно навряд ли заснешь. И может быть, если ты погостишь у нас, на душе у тебя полегчает.

— Совершенно ничего у меня не подготовлено, — сказал Король, — но в сновидениях так или этак, а все как-то устраивается.

При этих словах старый господин выскочил из кресла, цопнул себя за лоб, словно подстреленный, и воздел к небесам палочку из дерева жизни.

— Силы благие! Опять эти сны!

Величавым жестом он сорвал с себя остроконечную шляпу, пронзил взглядом бородатую фигуру насупротив, с виду такую же старую, как он сам, и — в виде восклицательного знака -треснул себя палочкой по макушке, И полуоглушенный, ибо не расчитал силу удара, — снова упал в кресло.

Старый Король наблюдал за Мерлином, и душа его согревалась. Теперь, когда давно утраченный друг столь живо снился ему, он начинал понимать, почему тот вечно и совершенно сознательно валял дурака. Шутовство было приемом, посредством которого он облегчал людям учение, позволяя им, и учась, не утрачивать ощущение счастья. Король начинал испытывать симпатию, и даже не без примеси зависти, к старческой отваге своего наставника, способного верить и не оставлять стараний, причудливых и бесстрашных, — и это с его-то опытом и в его летах. От мысли, что доблесть и стремление к благу все же способны выстоять, на душе становилось светлее и легче. С облегченным сердцем Король улыбнулся, закрыл глаза и заснул — по-настоящему.

## 3

Ощущения от лечебной процедуры приятностью не отличались. Примерно такие же возникают, когда волосы с силой расчесываешь «против шерсти», или когда массажист самой неприятной разновидности, из тех, что пристают к пациенту с требованием «расслабиться», вправляет вывихнутую лодыжку. Король вцепился в подлокотники кресла, стиснул зубы, закрыл глаза, и покрылся потом. Когда он во второй раз за эту ночь открыл их, окружавший его мир разительно переменился.

— Благие небеса! — воскликнул он, вскочив на ноги. Покидая кресло он перенес свой вес не на запястья, как это делают старики, но на ладони и кончики пальцев. — Ты только взгляни, какие глубокие глаза у этого пса! Свечи отражаются в них не от поверхности, а от самого дна, будто от донышка кубка. Почему я этого прежде не замечал? А там, смотри, в купальне Вирсавии дырка протерлась, не грех бы ее заштопать. И что это там за слово в книге? Susp.? Кто же это унизил нас так, что мы стали вешать людей? Разве заслуживает того хотя бы один человек? Мерлин,

а почему, когда я ставлю между нами свечу, свет не отражается в твоих глазах? В лисьих глазах отсвет красный, в кошачьих зеленый, у лошади желтый, у пса шафранный… А посмотри, какой у сокола клюв, там же зубчики, как на пиле! У ястреба с пустельгой таких не бывает. Должно быть, это особенность falco. И как странно устроен шатер! Одно толкает его вверх, другое тянет книзу. Ex nihilo res fit

. А шахматные фигуры, ты только взгляни! Мат, видите ли! Ну нет, мы начнем игру заново…

Вообразите заржавелый засов на садовой калитке, — то ли его поставили косо, то ли калитка обвисла с тех пор, как его привинтили, но вот уже многие годы засов не встает толком на место, приходится его либо вбивать, либо втискивать, немного приподымая калитку. Вообразите теперь, что этот старый засов отвинтили, отдраили наждаком, выкупали в керосине, отшлифовали тонким песочком, основательно смазали, и затем искусный мастеровой снова приладил его да так, что засов ходит туда-сюда, подчиняясь нажатию пальца, — что там пальца, перышка! — на него достаточно дунуть, чтобы он открылся или закрылся. Представляете, что он испытывает? Он испытывает блаженство, как человек, поправля-

ющийся после горячки. Он только и ждет теперь, чтобы его подвигали, он жаждет насладиться приятнейшим, неизменно исправным движением.

Ибо счастье — это лишь побочный продукт осуществленного предназначения, как свет — побочный продукт электрического тока, бегущего по проводам. Если ток не проходит, не будет и света. Потому-то и не достигает счастия тот, кто ищет его для себя одного. Человеку же довлеет стремиться к тому, чтобы стать подобным исправно скользящему засову, току в его беспрепятственном беге, выздоравливающему больному, которому жар и головная боль так долго не позволяли даже двинуть глазами, — а ныне они без устали трудятся, двигаясь с легкостью чистых рыбок в чистой воде. Глаза работают, работает ток, работает засов. Загорается свет. Вот в этом и счастье: в безупречно выполненной работе.

— Легче, легче! — сказал Мерлин. — Мы, вроде бы, на поезд не опаздываем.

— На поезд?

— Виноват. Это цитата, к которой один мой друг частенько прибегал в разговорах о прогрессе человечества. Ну-с, судя по твоему виду, чув-

ствуешь ты себя получше. Может быть, сразу и отправимся в нашу пещеру?

— Немедленно!

И без дальнейших церемоний они приподняли полог шатра и вышли, оставив сонную гончую в одиночку сторожить накрытого клобучком сокола. Услышав шелест полога, незрячая птица, надеясь привлечь к себе внимание, хрипло заклекотала.

Прогулка их освежила. От буйного ветра и быстроты, с которой они передвигались, их бороды относило то за левое плечо, то за правое (в зависимости от того, какую щеку они подставляли ветру), и им казалось, что корни волос норовят вылезти из-под кожи, как бывает, когда накручиваешь локоны на папильотки. Они промчались равниною Солсбери, проскочили заставляющий призадуматься монумент Стоунхенджа, и Мерлин мимоходом прокричал приветствие древним богам, для Артура невидимым: Крому, Беллу и прочим. Словно вихрь, пронеслись они над Уилтширом, стороной миновали Дорсет, легко, как проволока головку сыра, пронизали Девон. Равнины, холмы, леса и болота пропадали у них за спиной. Реки, поблескивая, мелькали, как спицы кружащего колеса. В Корнуолле, у древнего

кургана, похожего на огромную кротовую кочку с темным входом в боку, они остановились.

— Входим.

— Я был здесь когда-то, — сказал Король, замирая, словно в оцепенении.

— Был.

— Когда?

— Ну, когда?

Король вслепую порылся в памяти, чувствуя, что истина скрыта где-то в его душе. Однако:

— Нет, — сказал он. — Не могу припомнить.

— Войди и увидишь.

Они прошли запутанными ходами, мимо ответвлений, ведущих к спальням, мусорным свалкам, кладовкам и местам, где можно помыть руки. Наконец, Король остановился, положив ладонь на дверную щеколду, и объявил:

— Я знаю, где я.

Мерлин ждал продолжения.

— Это барсучья нора, я был здесь ребенком.

— Верно.

— Мерлин, мерзавец ты этакий! Полжизни я оплакивал тебя, уверенный, что ты заперт, как жаба в норе, а ты все это время сидел в Профессорской, дискутируя с барсуком!

— А ты открой дверь и взгляни.

Король открыл дверь. Та самая, хорошо ему памятная комната. Те же портреты давно усопших прославленных благочестием или ученостью барсуков, те же светляки, экранчики красного дерева, доска, вроде качелей, для транспортировки графинов. Те же подъеденные молью мантии и тисненая кожа кресел. Но замечательнее всего: Король увидел давнишних своих друзей — тот самый комитет, нелепее коего и вообразить было нельзя.

Звери застенчиво встали, приветствуя его. Они пребывали в замешательстве и робели, частью оттого, что слишком долго предвкушали нынешний сюрприз, частью же оттого, что ни разу еще не встречали настоящего Короля и опасались, что он окажется совсем не таким как прочие люди. Как бы там ни было, решили они, а положенные формальности следует соблюсти. Все согласились, что приличия требуют, дабы они встали и, может быть, отдали поклон и почтительно улыбнулись. Они провели несколько совещаний, серьезно обсуждая, как надлежит титуловать Короля — «Ваше Величество» или «Сир», — а также следует ли целовать его руку. Они обсудили также вопрос о том, сильно ли он переменился и даже — бедняжки — помнит ли он их вообще.

Звери кружком стояли у камина: барсук, в смятении поднявшийся из кресла, отчего с колен его на каминную решетку обрушилась истинная лавина исписанных листков; T. natrix, распрямившийся во всю длину и постреливающий эбеновым язычком, коим он намеревался, если понадобится, облизать королевскую руку; Архимед, в радостном предвкушении подскакивающий на месте, полураскрыв крылья и трепеща ими, словно пичуга, выпрашивающая корм; Балин, впервые в жизни имевший сокрушенный вид, ибо он боялся, что его-то и не вспомнят; Каваль, коего от полноты чувств стошнило в углу; козел, когда-то давно в пророческом озарении отдавший Артуру императорские почести; ежик, верноподданно застывший навытяжку в самом конце полукруга, — его по причине блохастости заставляли садиться отдельно, но и его переполняли патриотические чувства и желание быть замеченным, — конечно, если это возможно. Даже бывшее Артуру внове огромное чучело щуки, стоявшее под портретом Основателя на полке камина, и оно, казалось, вперяется в него умоляющим глазом.

— Ребята! — воскликнул Король.

Тут все они густо покраснели и засучили лап-

ками и сказали:

— Пожалуйста, простите нас за столь скромный прием.

Или:

— Добро пожаловать, Ваше Величество.

Или:

— Мы хотели вывесить флаг, да куда-то он девался.

Или:

— Не промокли ли ваши царственные ножки?

Или:

— А вот и сквайр!

Или:

— Ах, как приятно видеть тебя после всех этих лет!

Ежик же церемонно откозырял и промолвил:

— Правь, Британия!

В следующую минуту помолодевший Артур пожимал всем лапы, всех целовал и хлопал по спинам, пока решительно все не прослезились.

— Мы ведь не знали… — всхлипнул барсук.

— Мы боялись, что ты мог забыть…

— А как правильно: «Ваше Величество» или «Сир»?

Вопрос был существенный и Артур добросовестно ответил:

— Для императора — «Ваше Величество», а с обыкновенного короля хватит и «Сира».

Так что с этой минуты он стал для них просто Вартом, и больше они о титулах не помышляли.

Когда волнение улеглось, Мерлин закрыл дверь и решительно овладел ситуацией.

— Ну, так, — сказал он. — Дел у нас по горло, а времени на них всего ничего. Король, прошу тебя: вот твое кресло, на самом почетном месте, ибо ты среди нас — главный: ты делаешь черную работу и несешь основное бремя. А ты, ежик, — сегодня твой черед побыть Ганимедом, так что давай, тащи сюда мадеру да поскорее. Налей каждому по большой чаше, а потом мы начнем заседание.

Первую чашу ежик поднес Артуру и подал ее тожественно, встав на колено и окунув один грязноватый пальчик в вино. Пока он обносил по кругу всех остальных зверей, тот, кто некогда был Вартом, успел осмотреться.

Со времени его последнего визита Профессорская изменилась, причем изменения эти носили отчетливый отпечаток личности его наставника. Ибо на всех свободных креслах, на полу и на столах лежали тысячи книг самых разных обличий, раскрытых на страницах, содержавших некие наиважнейшие сведения. Открытые для

последующего осведомления, они так и остались лежать, и тонкий слой пыли уже успел осесть на их страницы. Тут были Тьерри, Пинноу и Гиббон, Сигизмунди и Дюрюи, Прескотт и Паркман, Жюссеранд и д'Альтон, Тацит и Смит, Тревельян и Геродот, настоятель Милман и Макалистер, Гальфрид Монмутский и Уэллс, Клаузевиц и Гиральд Камбрейский (включая утраченные тома об Англии и Шотландии), «Война и мир» Толстого, «Комическая история Англии», «Саксонские хроники» и «Четыре хозяина». Тут были «Зоология позвоночных» де Бира, «Опыты об эволюции человека» Эллиотта-Смита, «Органы чувств насекомых» Эльтрингама, «Грубые ошибки» Брауна, Альдровандус, Матфей Парижский, «Бестиарий» Физиолога, полное издание Фрезера и даже «Зевс» А.Б. Кука. Тут были энциклопедии, схематические изображения человеческого и иных тел, справочники, вроде Уидерби с описаниями самых разных птиц и животных, словари, логарифмические таблицы и полный выпуск «Национального биографического словаря». На стене висела начертанная рукой Мерлина таблица, параллельные столбцы которой содержали историческое описание расположенных в алфавитном порядке народов, населявших Землю

последние десять тысяч лет. Ассирийцы, шумеры, монголы, ацтеки и прочие, — каждый народ был прописан чернилами своего, особого цвета, а на вертикальных линиях слева от столбцов значились годы до и после н.э., так что получалось подобие диаграммы. На другой стене висела настоящая, еще более любопытная диаграмма, которая показывала возвышение и падение различных животных видов за последнюю тысячу миллионов лет. Когда вид вымирал, соответствующая ему линия сходилась к горизонтальной асимптоте и пропадала. Одним из последних эту участь претерпел ирландский лось. Сделанная для развлечения карта изображала расположение окрестных птичьих гнезд предыдущей весной. В наиболее даленном от камина углу комнаты стоял рабочий стол с микроскопом, под окуляром которого располагался замечательно выполненный микросрез нервной системы муравья. На том же столе лежали черепа человека, человекообразных обезьян, рыб и дикого гуся, также рассеченные, дабы видно было соотношение между корой головного мозга и полосатым телом. В другом углу было оборудовано некое подобие лаборатории, — здесь в неописуемом беспорядке теснились реторты, пробирки, центрифуги,

культуры микробов, мензурки и бутылки с наклейками: «Гипофиз», «Адреналин», «Мебельная политура», «Вентикачеллумский кэрри» и «Джин Де Купера». На этикетке последнего имелась карандашная надпись: «Уровень жидкости в этой бутылке ПОМЕЧЕН». Наконец, в стоящих там же термостатах содержались живые образчики богомолов, саранчи и иных насекомых, а пол покрывали останки преходящих увлечений волшебника: крокетные молотки, вязальные спицы, мелки пастели, линогравировальные инструменты, воздушные змеи, бумеранги, клей, сигарные коробки, самодельные духовые инструменты (деревянные), повареные книги, волынка, телескоп, жестянка замазки для садовых прививок и корзинка с крышкой и с биркой «Фортнум энд Мэйсон» на донышке.

Старый Король удовлетворенно вздохнул и забыл о внешнем мире.

— Ну-с, барсук, — сказал Мерлин, распираемый важностью и официальностью, — а подай-ка мне протокол последнего заседания.

— Мы же его не вели. Чернил не было.

— Ну и Бог с ним. Давай тогда заметки о Великом Викторианском Высокомерии.

— А эти пошли на растопку.

— Вот дьявол. Так дай хоть «Пророчества», что ли.

— «Пророчества» есть, — гордо сказал барсук и склонился, сгребая в кучу листы, осыпавшиеся, когда он вставал, на решетку камина. — Я их нарочно подготовил, — пояснил он.

К сожалению, листы уже прихватило огнем, и когда барсук задул их и передал магу, выяснилось, что все они успели наполовину сгореть.

— Ну, это уж черт знает что! А куда ты дел «Тезисы о человеке» и «Диссертацию о Силе»?

— Вот сию минуту были здесь.

И бедный барсук, состоявший секретарем комитета, правда, довольно никудышным, с встревоженным и пристыженным видом принялся, близоруко щурясь, перебирать бумеранги.

Архимед сказал:

— Может быть, проще будет обойтись без бумаг, а, хозяин? Давайте просто поговорим.

Мерлин пронзил его гневным взором.

— Нам ведь нужно лишь объясниться, — заметил T. natrix.

Мерлин пронзил и его.

— В любом случае, — сказал Балин, — мы именно к этому в конце концов и придем.

Мерлин перестал сверкать глазами и обиженно

надулся.

Каваль, украдкой подобравшись к хозяину, положил ему голову на колени, с мольбой заглянул в лицо и не был отвергнут. Козел самоцветными глазами уставился в пламя. Барсук с виноватым видом снова опустился в кресло, а ежик, чопорно сидевший в дальнем углу, сложив на коленях руки, неожиданно для всех подал первую реплику.

— Рассказывай, парень, — сказал он.

Все изумленно воззрились на ежика, но он был не из тех, кого легко осадить. Он отлично знал, почему всякий, с кем он оказывался рядом, норовил отодвинуться, но считал, что права у всех тем не менее равные.

— Рассказывай, парень, — повторил он.

— Я предпочел бы послушать, — сказал Король. — Я ничего пока не понимаю, кроме того, что меня привели сюда для восполнения каких-то пробелов в моем образовании. Вы не могли бы начать с самого начала?

— Главная сложность в том, — заметил Архимед, — что чрезвычайно трудно решить, где оно — это начало.

— Тогда расскажите мне про комитет. Для чего вы создали комитет, и что за вопрос он решает?

— Ты мог бы назвать нас Комитетом по Пробле-

ме Воплощения Силы в Человеке. Мы пытаемся разрешить стоящую перед тобой задачу.

— Мы — Королевская Комиссия, — гордо пояснил барсук. — Было сочтено, что собрание разного рода животных может оказаться способным давать рекомендации самым различным ведомствам…

Долее сдерживаться Мерлин оказался не в силах. Даже ради сохранения обиженного вида молчать, когда другие уже разговаривают, он не мог.

— Позвольте-ка мне, — сказал он. — Я-то в точности знаю, с чего начать, так уж я и начну. Всем слушать.

— Мой милый Варт, — произнес он после того, как ежик выкрикнул: «Слушайте, слушайте!» и, подумав, прибавил: «К порядку!», — прежде всего я должен попросить тебя мысленно обратиться к начальной поре моего учительства. Ты о ней что-нибудь помнишь?

— Все начиналось с животных.

— Вот именно. А не приходило тебе на ум, что я отправлял тебя к ним не ради забавы?

— Ну уж забавного там хватало…

— Но почему именно животные, вот в чем вопрос.

— Так объясни же мне — почему.

Волшебник уложил ногу на ногу, скрестил на груди руки и важно сощурился.

— В мире, — сказал он, — насчитывается двести пятьдесят тысяч животных видов, — это не считая растительности, — и не менее двух тысяч восьмисот пятидесяти из них млекопитающие, как и сам человек. Все они в той или иной форме обладают политическими институтами (одна из ошибок моего друга Аристотеля как раз и состояла в том, что он именно человека определил как «политическое животное»), между тем как сам человек, эта жалкая малость в сравнении с двумястами сорока девятью тысячами девятьсот девяносто девятью прочими видами, ковыляет по своей набитой политической колее, даже не поднимая глаз на окружающие его четверть миллиона примеров. Положение тем более нелепое, что человек представляет собой парвеню животного мира, ибо почти все остальные животные еще за многие тысячи лет до его появления так или иначе разрешили все его проблемы.

По комитету прошел одобрительный шепоток, а уж мягко добавил:

— Именно по этой причине он и пытался дать тебе, Король, представление о природе, — была

надежда, что приступая к решению своей задачи, ты оглянешься по сторонам.

— Ибо политические установления любого животного вида, — сказал барсук, — включают средства контроля над Силой.

— Но я не понимаю… — начал было Король, однако его сразу же перебили.

— Разумеется, ты не понимаешь, — сказал Мерлин. — Ты намерен сказать, что у животных нет политических установлений. Прими мой совет, сначала подумай как следует.

— А разве есть?

— Конечно есть и весьма эффективные. Кое-кто среди них являет собою коммунистов или фашистов, подобно большинству муравьев, — имеются и анархисты, вроде гусей. Существуют также социалисты — пчелы, к примеру, да, собственно и среди трех тысяч муравьиных семейств распространены разные оттенки идеологий, не один только фашизм. Не все они поработители и милитаристы. Имеются рантье — белки, скажем, или медведи, которые во всю зимнюю спячку существуют за счет жировых накоплений. Любое гнездо, любая нора, каждое пастбище представляют собой форму личной собственности, — и как, по-твоему, ухитрились бы уживаться друг

с другом вороны, кролики, пескари и прочие живущие сообществами создания, если бы они не разрешили проблем Демократии и Насилия?

Видимо, эта тема была основательно проработана, ибо прежде чем Король успел ответить, в разговор вмешался барсук.

— Ты так и не привел нам, — сказал он, — и никогда не сможешь привести ни единого примера капитализма в мире природы.

Вид у Мерлина стал совершенно несчастный.

— А поскольку примера ты привести не можешь, — добавил барсук, — это доказывает, что капитализм противоестественен.

Стоит упомянуть, что во взглядах барсука сказывалось сильное влияние русских. И он, и прочие звери провели в спорах с Мерлином столько столетий, что поневоле овладели высоковолшебной терминологией и теперь произносили такие слова как «большевики» и «нацисты» с легкостью необычайной, словно те были лоллардами или хлыстунами современной им истории.

Мерлин, принадлежавший к твердолобым консерваторам, — качество в его положении даже прогрессивное, если учесть, что двигаться во времени ему приходилось навстречу всем остальным,

— слабо оборонялся.

— Паразитизм, — сказал он, — древнее и почтенное установление природы, присущее многим — от блохи до кукушки.

— Мы не о паразитизме говорим. Мы говорим о капитализме, для которого имеется точное определение. Можешь ли ты привести в пример хотя бы один вид, помимо человека, представители которого присваивают стоимость, создаваемую трудом других представителей того же вида? Даже блохи не эксплуатируют блох.

Мерлин сказал:

— Существуют человекообразные обезьяны, за которыми, когда их содержат в неволе, хозяевам приходится присматривать и очень внимательно. В противном случае господствующие особи отнимают у своих собратьев пищу, порой даже заставляя их отрыгивать ее, и те умирают голодной смертью.

— Пример представляется шатким.

Мерлин скрестил руки и еще помрачнел. Наконец, он «натянул решимость, как струну», глубоко вздохнул и признал горькую правду.

— Да он шаткий и есть, — сказал он. — Я не могу отыскать в природе ни одного примера подлинного капитализма.

Но едва он это сказал, как руки его взмыли вверх, и кулак одной влепился в ладонь другой.

— Вот оно! — воскликнул он. — Я же чувствовал, что я прав относительно капитализма. Мы просто не там искали.

— По обыкновению.

— Главная специализация каждого вида почти всегда представляется неестественной прочим видам. И отсутствие в природе примеров капитализма вовсе не означает, что капитализм неестественен для человека, — неестественен в смысле «плох». На том же основании можно утверждать, что для жирафа неестественно объедать верхушки деревьев, — ведь других антилоп со столь же длинной шеей не существует, — или что первые земноводные, вылезая из воды, вели себя неестественно, поскольку других примеров земноводности в то время не существовало. Капитализм — это попросту специализация человека, точно такая же, как и развитый головной мозг. В природе нет других созданий с головным мозгом, подобным человеческому. Но это же не значит, что обладание головным мозгом неестественно для человека. Напротив, это значит, что человек обязан свой мозг развивать. То же и с капитализмом. Подобно мозгу, он — специализация челове-

ка, жемчужина короны! Вообще, если вдуматься, капитализм, возможно, и проистекает из обладания развитым мозгом. Иначе почему еще один пример капитализма — вот те самые обезьяны — обретается нами среди антропоидов с мозгом, родственным человеческому? Да-да, я всегда знал, что прав, оставаясь мелким капиталистом! Я знал, что существует основательная причина, по которой России времен моей юности следовало бы изменить ее воззрения. Уникальность не подразумевает неправильности: напротив, именно правильность она и подразумевает. Правильность для человека, конечно, не для прочих животных. Она подразумевает…

— Сознаешь ли ты, — спросил Архимед, — что вот уже несколько минут никто из присутствующих не понимает ни единого твоего слова?

Мерлин резко умолк и посмотрел на своего ученика, следившего за разговором более с помощью глаз, чем чего-либо иного, — переводя их с одного лица на другое.

— Прошу прощения.

Король заговорил задумчиво, словно обращался к себе самому.

— Выходит, что я был глуп? — спросил он. — Глуп, не обращая внимания на животных?

— Глуп! — вскричал волшебник, вновь обретая победный тон, ибо открытие относительно капитализма наполнило его ликованием.

— Вот наконец-то крупица истины на устах человека! Nunc dimittis!

И немедля оседлав своего конька, он поскакал во всех направлениях сразу.

— Что меня просто валит с ног, — воскликнул он, — так это самоуверенная наглость человеческой расы. Начни с необъятной вселенной, затем сузь область рассмотрения до одного крохотного солнца в ней; перейди к спутнику этого солнца, каковой мы именуем Землею; взгляни на мириады водорослей или как они там называются, населяющих океан, на неисчислимых микробов, достигающих минус бесконечности и обитающих внутри нас. Окинь взглядом четверть миллиона видов, которые я уже упомянул, прикинь, сколь немыслимо долго они уже существуют. А теперь посмотри на человека, на прямоходящего, чей взор достигает, с точки зрения природы, не дальше, чем взор новорожденного щенка. И именно он, это… это пугало, — Мерлин до того разволновался, что уже не мог тратить время на поиски подходящих эпитетов, — …он присваивает себе прозвище Homo sapiens, — ничего себе, а? — он

объявляет себя венцом творения, совершенно как тот осел, Наполеон, сам на себя возложивший корону! Он, видите ли, являет снисхождение к прочим животным: даже к собственным предкам, да благословит Господь мою душу и тело! Вот оно: Великое Викторианское Высокомерие, поражающее, неизъяснимое предрассуждение девятнадцатого века. Загляни хотя бы в романы Скотта, который даже человеческих существ заставляет изъясняться так, словно они не люди, а железные грелки с углями, — лишь потому, что они родились за какую-то пару сотен лет до него! И вот тебе человек, гордо красующийся посреди двадцатого века, — он питает благодушную веру, что его раса за тысячу жалких лет «продвинулась вперед», и при этом только тем и занимается, что разносит на куски своих же собратьев. Когда же до него дойдет, что у птицы уходит миллион лет на изменение одного-единственного махового пера? Нет, красуется, жалкий увалень, пыжится, ибо уверен, что весь мир изменился, поскольку он удосужился изобрести двигатель внутреннего сгорания! Пыжится еще со времен Дарвина, потому как прослышал, что существует какая-то эволюция. Он совершенно не сознает, что эволюция протекает миллионолетними циклами, и

оттого полагает себя уже эволюционировавшим с эпохи Средних веков. Двигатель внутреннего сгорания, может быть, и эволюционировал, а не он! Загляни в эту нестерпимую книгу, «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура», ты увидишь, как он осклабляется при упоминании о своих же пращурах, не говоря уж о прочих млекопитающих. Потрясающее, всеобъемлющее нахальство! А Бога сотворить по собственному подобию?! Уверяю тебя, так называемые примитивные народы, обожествлявшие животных, были вовсе не так глупы, как считается. Им хотя бы скромности доставало. Почему это Бог не может сойти на землю в образе дождевого червя? Червей куда больше, чем людей, а пользы от них и гораздо больше. Да и о чем, вообще, речь? Где оно, это дивное превосходство? Чем двадцатый век выше Средних веков, а средневековый человек — примитивных народов или диких зверей? Что, человек так уж замечательно научился управлять своей Силой, Свирепостью или Собственностью? Чего достиг он? Истребляет, как каннибал, представителей собственного вида! Известны ли тебе подсчеты, согласно которым с 1100-го по 1900-й годы Англия провоевала четыреста девятнадцать лет, а Франция — триста

семьдесят три? Знаешь ли ты о выкладках Лапюже, из коих следует, что в Европе каждые сто лет убивали по девятнадцати миллионов человек, так что пролитая кровь могла бы питать фонтан, извергавший с самого начала истории по семьсот литров в час? А теперь позволь сказать тебе следующее, досточтимый сэр. В природе, внешней по отношению к человеку, война — это такая редкость, что ее, почитай, и вовсе не существует. На все двести пятьдесят тысяч видов наберется от силы дюжина воюющих. Если бы природа удосужилась обратить свой взор на человека, на этого крошечного кровопийцу, у нее бы волосы встали дыбом!

— И наконец, — заключил волшебник, — оставляя в стороне его моральные качества, является ли это одиозное существо значительным хотя бы в плане физическом? Снизошла бы равнодушная природа до того, чтобы заметить его, наравне с тлей и коралловыми полипами, вследствие изменений, произведенных им на земной поверхности?

## 4

Король, ошеломленный таким потоком красноречия, вежливо произнес:

— Разумеется, снизошла бы. Хотя бы делами своими мы все же значительны.

— Это какими же? — яростно осведомился его наставник.

— Ну, помилуй. Посмотри, сколько мы всего понастроили, посмотри на города, на пахотные поля…

— Большой Барьерный Риф, — глядя в потолок, сказал Архимед, — представляет собой постройку длиною в тысячу миль, сооруженную исключительно насекомыми.

— Так ведь это всего-навсего риф.

Мерлин привычно ахнул шляпой о пол.

— Ты когда-нибудь научишься мыслить отвлеченно? — вопросил он. — Коралловые полипы имеют ровно столько же оснований заявить, что Лондон — всего-навсего город.

— Пусть так, но если все города мира выстроить в ряд…

Архимед сказал:

— Если ты возьмешься выстраивать в ряд го-

рода мира, я выстрою все коралловые острова и атоллы. А после мы сравним результаты и увидим то, что увидим.

— Ну, может быть, насекомые важнее человека, но ведь это всего лишь один вид…

Козел застенчиво произнес:

— По-моему, у комитета должна где-то быть записка насчет бобра, — в ней утверждается, что бобры соорудили целые моря и континенты…

— Птицы, — с подчеркнутым бесстрастием промолвил Балин,

— разносящие в своем помете семена деревьев, как уверяют, насадили леса, столь обширные…

— А кролики, — вмешался ежик, — которые, почитай, от Австерии ровное место оставили…

— А фораминиферы, из чьих тел, собственно, и состоят «белые скалы Дувра»…

— А саранча…

Мерлин поднял руку.

— Предъявите ему скромного дождевого червя, — величественно вымолвил он.

И звери хором зачитали цитату:

— Натуралист Дарвин указывает, что в акре каждого поля обитает примерно 25 000 дождевых червей, что в одной только Англии они ежегодно взрыхляют 320 000 000 тонн почвы, и что обна-

ружить их можно практически в любом регионе Земли. В течение тридцати лет они изменяют всю земную поверхность на глубину в семь дюймов. «Земля без червей, — говорит бессмертный Гилберт Уайт, — вскоре стала бы холодной, затверделой, лишенной ферментации и вследствие того бесплодной.»

## 5

— Сдается мне, — сказал Король — счастливым тоном, ибо все эти разговоры, казалось, уводили его далеко от Мордреда и Ланселота, от мест, в которых, по слову из «Короля Лира», — «люди пожирают друг друга, как чудища морские», — прямиком в радостный мир, где размышляют, беседуют и любят, не обрекая себя этим на муки. — Сдается мне, что если все сказанное вами правда, то с моих собратьев-людей стоило бы сбить немного спеси, и это пошло бы им только на пользу. Если удастся приучить их смотреть на себя лишь как на одну из разновидностей млекопитающих, возможно, новизна такого воззрения окажет на них бодрящее действие. Расскажите же мне, к каким выводам относительно животного, именуемого человеком, пришел комитет, ибо вы, конечно, обсуждали эту тему.

— У нас возникли затруднения с названием.

— С каким названием?

— Homo sapiens, — пояснил уж. — Стало очевидным, что в качестве прилагательного sapiens никуда не годится, а найти иное до крайности трудно.

Архимед прибавил:

— Помнишь, Мерлин однажды упомянул, что зяблик носит прозвание coelebs? Хорошее прилагательное, отражающее какую-либо особенность, присущую виду, вот что нам требуется.

— Первым предложением, — сказал Мерлин, — было, разумеется, ferox, поскольку человек — самое свирепое из животных.

— Странно, что ты упомянул это слово. Час назад я сам именно о нем и думал. Но ты, конечно, преувеличиваешь, когда говоришь, что человек свирепее тигра.

— Преувеличиваю?

— Я всегда находил, что в целом люди — существа достойные…

Мерлин снял очки, глубоко вздохнул, протер их, снова надел и с любопытством воззрился на своего ученика, как если бы ожидал, что у того могут в любую минуту вырасти длинные, мягкие, ворсистые уши.

— Попробуй-ка вспомнить свою последнюю прогулку, — кротко предложил он.

— Прогулку?

— Ну да, прогулку по зеленым английским лугам. Вот идет себе Homo sapiens, наслаждаясь вечерней прохладой. Вообрази себе эту сцену. Вот

черный дрозд распевает в зарослях. Он что,

— умолкает и с проклятьем убирается прочь? Ничуть не бывало. Он лишь начинает петь громче и опускается человеку на плечо. А вон и кролик пощипывает травку. Разве он удирает в ужасе к себе в нору? Вовсе нет. Он скачет человеку навстречу. Мы видим также полевую мышь, ужа, лисицу, ежика, барсука. Прячутся они или радостно принимают пришлеца?

— Почему? — воскликнул старый волшебник, вспыхивая вдруг странным, застарелым негодованием. — Почему нет в Англии ни единой твари, которая не улепетывала бы даже от человеческой тени, уподобляясь обгорелой душе, удирающей из чистилища? Ни млекопитающего, ни рыбы, ни птицы. Иди, прогуляйся чуть дальше, выйди на берег реки, — даже рыбы шарахнутся прочь. Поверь мне, внушать страх всему живому — это чего-нибудь да стоит.

— И не надо, — быстро добавил старик, кладя ладонь на колено Артура, — не надо воображать, что они точно так же бегут друг от друга. Если лиса выйдет на луг, кролик, быть может, и смоется, но птица на дереве, да и все остальные, смирятся с ее присутствием. Если ястреб повиснет над ними, дрозд, возможно, и спрячется, но лиса и

прочие отнесутся к его появлению спокойно. И только человека, только ретивого члена Общества по изобретению новых мук для животных, страшится любая живая тварь.

— Все же эти животные не вполне, что называется, дикие. Тигр, к примеру…

Мерлин вновь прервал его, вскинув руку.

— Хорошо, если хочешь, прогуляемся по самым что ни на есть Черным Индиям, — сказал он. — Нет в африканских джунглях ни тигра, ни кобры, ни слона, которые не убегали бы от человека. Несколько тигров, спятивших от зубной боли, еще, может быть, и нападут на него, да кобра, если ее как следует прижать, будет сражаться из самозащиты. Но когда на лесной тропе умственно полноценный человек встречает такого же тигра, в сторону сворачивает именно тигр. Единственные животные, которые не бегут от человека, это те, которые его никогда не видели, — тюлени, пингвины, додо, арктические киты, — так они вследствие того и оказываются тут же на грани исчезновения. Даже те немногочисленные создания, что кормятся на человеке, — москиты и паразитирующие блохи — даже они страшатся своего кормильца и старательнейшим образом следят за тем, чтобы не подвернуться ему под

пальцы.

— Homo ferox, — продолжал Мерлин, качая головой, — редчайшее в природе животное, убивающее для удовольствия. В этой комнате нет ни единого зверя, который не относился бы к убийству с презрением, разве что оно совершается пропитания ради. Человек впадает в негодование, завидев сорокопута, в небольшой кладовке которого имеется скромный запас улиток и прочего, насаженный на колючки, между тем как собственные забитые доверху кладовые человека окружены стадами очаровательных существ вроде мечтательных волов или овец с их интеллигентными и чувствительными лицами, которых держат лишь для того, чтобы плотоядный их пастырь, у коего и зубы-то не годятся для плотоядства, зарезал их на самом пороге зрелости и сожрал. Почитал бы ты письмо Лэма к Саути, в котором описывается, как испечь живого крота, да что можно учинить с майскими жуками, с кошкой, засунутой в пузырь, да как надрезать только что пойманных скатов, да о рыболовных крючках, этих «смиренных подателях невыносимой боли». Homo ferox, изощренный мучитель животных, который ценой огромных расходов растит фазанов лишь затем, чтобы их убивать; который

терпеливо обучает прочих животных ремеслу убийцы; который живьем сжигает крыс, — я видел это однажды в Ирландии, — дабы их визгом припугнуть иных грызунов; который вызывает у домашних гусей перерождение печени, чтобы затем повкуснее поесть; который отпиливает у скота живые рога для удобства транспортировки; который иглой ослепляет щеглов, чтобы они запели; который заживо варит в кипятке омаров и раков, хоть и слышит их пронзительные вопли; который уничтожает войнами собственный вид и каждые сто лет губит по девятнадцати миллионов его представителей; который публично казнит себе подобных, если суд признает их виновными в преступлении; который выдумал способ терзать с помощью розги своих же детенышей, и который свозит их в концентрационные лагеря, именуемые школами, где те же самые муки причиняются детям специально уполномоченными субъектами… Да, ты имеешь полное право спросить, так ли уж обоснованно поименование человека словом ferox, ибо это слово в собственном его значении, относящимся до жизни вполне достойных животных на лоне дикой природы, никак невозможно приложить к такому созданию.

— О Господи, — сказал Король. — Ну и подготовка же у тебя.

Но утихомирить старого волшебника было отнюдь не просто.

— Причина, по которой мы усомнились в пригодности слова ferox, — сказал он, — состояла в том, что Архимед заявил, будто stultus уместнее.

— Stultus? А мне казалось, что мы — существа разумные.

— Во время одной из жалких войн, какие велись в мои молодые годы, — с глубоким вздохом сказал волшебник, — было сочтено необходимым снабдить население Англии набором печатных карточек, предназначенных для того, чтобы обеспечить это население пищей. Прежде, чем купить еду, надлежало собственноручно заполнить такую карточку. Каждый индивидуум должен был в одну часть карточки вписать номер, в другую собственное имя, а в третью — имя торговца продуктами. Человеку оставалось либо осуществить сей интеллектуальный подвиг — вписать один номер и два имени, — либо помереть от голода. От этой операции зависела его жизнь. В итоге выяснилось, что, насколько я помню, две трети населения неспособны безошибочно произвести такую последовательность действий. И этим

людям, как уверяет нас Католическая Церковь, вверены бессмертные души!

— А ты уверен в истинности приведенных фактов? — с сомнением поинтересовался барсук.

Мерлину хватило такта, чтобы покраснеть.

— Я не вел тогда записей, — сказал он, — но в существе, если не в деталях, эти факты верны. Я, например, ясно помню одну женщину, стоявшую во время той же войны в очереди за птичьим кормом; как выяснилось при распросах, никаких птиц у нее не было.

Артур возразил:

— Даже если те люди не сумели как следует вписать, что следовало, это ничего не доказывает. Будь они иными животными, они вообще не умели бы писать.

— Краткий ответ на это, — парировал философ, — таков: ни одно человеческое существо не способно просверлить носом дырку в желуде.

— Не понимаю.

— А вот видишь ли, насекомое, именуемое Balaninus elephas, умеет сверлить желуди упомянутым способом, но не умеет писать. Человек может писать, но не может сверлить желудей. Таковы их специализации. Существенное различие между ними состоит, однако же, в том, что

если Balaninus сверлит свои дырки чрезвычайно умело, человек, как я тебе продемонстрировал, писать толком не умеет. Вот почему я говорю, что если сопоставлять различные виды, человек оказывается более бестолковым, более stultus, чем остальная животная братия. Да, собственно, никакой разумный наблюдатель иного ожидать и не вправе. Слишком краткое время провел человек на нашем шарике, чтобы требовать от него сноровки в каком бы то ни было ремесле.

Король почувствовал, что настроение его становится все более подавленным.

— И много других имен вы придумали? — спросил он.

— Было и третье предложение, его внес барсук.

При этих словах довольный барсук пошаркал ногами, украдкой оглядел из-под очков общество и принялся изучать свои длинные когти.

— Impoliticus, — сказал Мерлин, — Homo impoliticus. Если помнишь, Аристотель определил нас как политических животных. Барсук предложил подвергнуть это определение проверке, и мы, рассмотрев политическую практику человека, пришли к выводу, что impoliticus, по всей видимости — единственное пригодное слово.

— Продолжай, раз уж начал.

— Мы установили, что Homo ferox присущи политические идеи двух сортов: либо что любая проблема решается силой, либо что для их разрешения следует прибегать к убеждению. Муравьеобразные люди будущего, уверовавшие в силу, считают, что для установления истинности утверждения «дважды два четыре» достаточно повышибать дух из людей, которые с тобой несогласны. Демократы же, верующие в убеждение, полагают, что всякий человек вправе обладать собственным мнением, ибо все люди рождаются равными: «Я ничем не хуже тебя», — вот первое, что инстинктивно выпаливает человек, который хуже тебя всем.

— Но если нельзя опереться ни на силу, ни на убеждение, — сказал Король, — то я не вижу, что остается делать.

— Ни сила, ни убеждение, ни мнение никак не связаны с размышлением, — с глубочайшей искренностью промолвмл Мерлин.

— Убеждая в чем-либо другого, ты лишь проявляешь силу ума, — это своего рода умственное фехтование и цель его — достигнуть победы, не истины. Мнения же суть тупики дураков и лентяев, неспособных думать. Если когда-нибудь честный политик по-настоящему и с бесстрасти-

ем обдумает свое занятие, то в конце концов даже Homo stultus вынужден будет принять его выводы. Мнению нипочем не устоять против истины. Однако, в настоящее время Homo impoliticus предпочитает либо спорить о мнениях, либо драться на кулачках — вместо того, чтобы ждать, когда в голове у него забрезжит истина. Должны пройти еще миллионы лет, прежде чем людей в их массе можно будет назвать политическими животными.

— Так что же мы представляем собой в настоящем?

— Нам удалось обнаружить, что в настоящее время род человеческий разделяется в политическом отношении на одного мудреца, девятерых прохвостов и девять десятков болванов на каждую сотню. То есть — это с точки зрения оптимистического наблюдателя. Девять прохвостов собираются под знамя, выброшенное самым прожженым из них и становятся «политическими деятелями»; мудрец отходит в сторонку, ибо понимает, что его безнадежно превосходят числом, и посвящает себя поэзии, математике или философии; что же до девяноста болванов, то эти плетутся вослед знаменам девятерых проходимцев, выбирая их наугад, плетутся

по лабиринтам софистики, злобы или войны. Так приятно командовать, говорит Санчо Панса, даже если командуешь стадом баранов, — вот потому-то политики и вздымают свои знамена. К тому же, баранам все едино за каким знаменем тащиться. Если это знамя демократии, девятеро прохвостов станут членами парламента, если фашизма — партийными лидерами, если коммунизма — комиссарами. И никакой больше разницы, только в названии. Болваны так и будут болванами, мошенники — вождями, результатом — эксплуатация. Что касается мудреца, то и его удел при любой идеологии в общих чертах одинаков. При демократии ему предоставят возможность пухнуть с голода на чердаке, при фашизме упекут в концентрационный лагерь, при коммунизме ликвидируют. Таков оптимистический, но в целом вполне научный вывод относительно повадок Homo impoliticus.

Король мрачно сказал:

— Ну что же, прошу у всех прощения за беспокойство. Насколько я понимаю, самое лучшее для меня — пойти и утопиться. Я нахален, ничтожен, свиреп, туп и неспособен к политической жизни. Вряд ли мне стоит и дальше влачить подобное существование.

Услышав это, все звери ужасно разволновались. Они вскочили, все как один, обступили его, принялись обмахивать его веерами и наперебой предлагать вина.

— Нет, — говорили они. — Право же, мы вовсе не хотели тебе нагрубить. Мы хотели помочь, честное слово. Не принимай все так близко к сердцу. Мы уверены, непременно существует множество людей, которые действительно sapiens и ничуть не свирепы. Мы говорили тебе все это, чтобы заложить своего рода основы, которые после могли бы облегчить решение твоей сложной задачи. Ну, давай же, пропусти стаканчик мадеры и больше не думай об этом. Ей-ей, мы считаем человека самым чудесным из всех созданий, наилучшим, какое только существует в природе.

И они сердито поворотились к Мерлину, говоря:

— Ну, посмотри, что ты наделал! Вот они, твои тары— бары! Бедный Король совершенно отчаялся, а все потому, что ты навалился на него, балабонишь и делаешь из мухи слона!

Мерлин ответил только:

— Даже определение, данное греками, — «Антропос», «Тот, кто смотрит вверх», — даже и оно

неверно. Расставшись с отрочеством, человек редко устремляет взор на что-либо расположенное выше его роста.

## 7

Странным казалось ему в его возрасте вновь отправиться к животным. Возможно, думал он со стыдом, я просто снова впал в детство, и мне все это снится, возможно, я докатился до старческого слабоумия.

Но эта мысль заставила его припомнить свое настоящее детство, счастливые дни, когда он плавал во рву или летал с Архимедом, и он осознал, что с той поры кое-чего лишился. Теперь он назвал бы утраченное способностью удивляться. В то время все приводило его в восторг. Его восприимчивость или чувство прекрасного, — как там это ни называй, — без разбору влеклось к чему ни попадя. Он мог, пока Архимед читал ему лекцию о птичьем полете, зачарованно следить, как топорщиться в совиных когтях мышиный мех . Или же великий господин Щ мог произносить перед ним речь о Диктатуре, а он все это время видел лишь зубастую пасть и сосредоточенно разглядывал ее, обуреваемый восторгом, сопутствующим обретению всякого нового знания.

Эта способность удивляться не возвратилась к нему, сколько ни отдраивал Мерлин его мозг. На

смену ей пришла, как он полагал, способность к трезвому суждению. Теперь-то он выслушал бы и Архимеда, и господина Щ. Теперь он не заметил бы ни серого меха, ни желтых зубов. И думая об этой перемене, он не испытывал гордости.

Старик зевнул, — ибо и муравьи зевают, равно как и потягиваются со сна, подобно людям, — и обратил свои помыслы к предстоящему делу. Никакой радости он, став муравьем, не испытывал, не то, что при прежних превращениях, он думал лишь: ну вот, придется поработать. С чего начнем?

Гнезда были изготовлены из земли, рассыпанной неглубоким, не толще полудюйма, слоем на небольших столиках, похожих на скамейки для ног. Сверху на слой земли поместили стеклянную пластину, накрыв ее тканью, ибо в тех местах, где выращивается молодняк, должно быть темно. Удалив ткань, можно было заглянуть в подземный муравьиный приют, — нечто вроде муравейника в разрезе. Заглянуть можно было и в круглое помещение, в котором выхаживали куколок, — точно в теплицу со стеклянной крышей.

Собственно гнезда располагались ближе к краям столиков, — стеклянные крышки закры-

вали их только наполовину. Это было подобие открытой сверху земляной авансцены, а на противоположных краях столиков размещались стеклышки от часов, куда для кормления муравьев наливался сироп. Между собой гнезда не сообщались. Столики стояли бок о бок, но не соприкасаясь, а под ножки их были подставлены тарелки с водой.

Разумеется, сейчас все это выглядело иначе. Местность, в которую он попал, походила на обширное поле, усеянное валунами, на одном из концов его виднелась сплющенная — между пластинами стекла — цитадель. Попасть в нее можно было через туннели, пробитые в камне, и над каждым из входов красовалось уведомление:

ВСЕ, ЧТО НЕ ЗАПРЕЩЕНО, — ОБЯЗАТЕЛЬНО.

ТАКОВ НОВЫЙ ПОРЯДОК.

Уведомление ему не понравилось, хоть и осталось непонятным. Про себя он подумал: надо бы немного осмотреться, прежде чем лезть вовнутрь. Невесть по какой причине, эти надписи поубавили в нем охоты проникнуть в крепость, они придавали грубым туннелям какой-то зловредный вид.

Размышляя о надписях, он осторожно пошевелил похожими на антенны сяжками, привыкая

к новым ощущениям, и покрепче уперся ступнями в землю, как бы желая утвердиться в новом для него мире насекомых. Передними ножками он почистил сяжки, подергал за них, пригладил, — вид у него был при этом совершенно как у викторианского негодяя, подкручивающего усы. Сразу за этим он осознал нечто, ожидавшее осознания, — а именно, что в голове у него слышен какой-то шум, причем явно членораздельный. Шум ли то был или некий сложный запах, он никак не мог разобрать, — проще всего описать это явление, сказав, что оно походило на передачу по радио. Поступала передача через сяжки, походя на музыку.

Музыка, размеренная, словно пульс, а с нею слова — что-то вроде «Ложка-ножка-мошка-крошка» или «Мамми-мамми— мамми-мамми», или «Ты-мечты-цветы». Поначалу ему эти песни нравились, особенно про «Вновь-кровь-любовь», — пока он не обнаружил, что они не меняются. Едва закончившись, они начинались сызнова. Через час-другой ему уже казалось, что он вот-вот завоет от них.

Кроме того, в голове у него раздавался голос, — в паузах между музыкой, — и по всей видимости отдавал некие приказания.

— Всех двудневок перевести в западный проход, — говорил он, или, — Номеру 210397/WD заступить в сиропную команду взамен выпавшего из гнезда 333105/WD.

Голос был роскошный, но какой-то безликий, — словно его очарование явилось результатом старательных упражнений, своего рода цирковым трюком. Мертвый был голос.

Король, или быть может, нам следовало бы сказать муравей, пошел прочь от крепости, едва лишь ощутил в себе способность передвигаться. Он начал исследовать каменистую пустошь, однако чувствовал себя при этом неважно, — идти в то место, откуда исходили приказы ему не хотелось, но и этот тесноватый пейзаж наводил на него тоску. Он обнаружил среди валунов неприметные тропки, извилистые и бесцельные, и вместе целенаправленные, ведшие к сиропохранилищу, но также и куда-то еще, — а куда, он не разобрался. По одной из них он добрел до глыбы земли, под которой располагалась естественная котловина. В котловине, — опять-таки обладавшей странным выражением бессмысленной осмысленности — он обнаружил пару дохлых муравьев. Они лежали рядышком, но неряшливо, как будто некто весьма основательный прита-

щил их сюда, дорогой забыв — зачем. Лежали они скрючась, и не казались ни довольными, ни огорченными своей кончиной. Просто лежали, как два опрокинутых стула.

Пока он разглядывал трупы, по тропинке спустился живой муравей, тащивший третьего покойника.

— Хай, Сангвиний! — сказал он.

Король вежливо ответил:

— Хай.

В одном отношении, хоть он и не подозревал об этом, ему повезло. Мерлин не забыл снабдить его нужным для гнезда запахом, — ибо, пахни от него каким-то иным гнездом, муравьи убили б его на месте. Если бы мисс Эдит Кавелл была муравьем, на памятнике ей было б написано: «ЗАПАХ ЕЩЕ НЕ ВСЕ».

Новый муравей кое-как свалил принесенный труп и принялся растаскивать двух других в разные стороны. Казалось, он не знает, куда их пристроить. Или вернее, он знал, что лежать они должны в определенном порядке, но не мог сообразить как этого порядка добиться. Он походил на человека с чашкой чая в одной руке и бутербродом в другой, которому захотелось чиркнуть спичкой и закурить сигарету. Однако

если бы человек додумался поставить чашку и положить бутерброд, — прежде чем хвататься за сигарету и спички, — этот муравей положил бы бутерброд и взял спички, потом бросил бы спички и схватился за сигареты, потом положил бы сигарету и взял бутеброд, поставил бы чашку, взял сигарету и наконец оставил бы бутерброд в покое и взял спички. Он, видимо, склонен был полагаться для достижения цели на случайную последовательность действий. Терпения ему хватало, а вот думать он не умел. Если перетаскивать три трупа с места на место, их удастся со временем уложить под глыбой в одну линию, что и составляло его обязанность.

Король наблюдал за его суетой с удивлением, обратившимся в раздражение, а затем в неприязнь. Он испытывал желание спросить муравья не лучше ли загодя обдумать то, что намереваешься делать, — досадливое желание человека, наблюдающего за худо исполняемой работой. Потом у него возникла потребность задать и еще кой-какие вопросы, к примеру: «Тебе нравится быть могильщиком?» или «Ты раб?», или даже «Ты счастлив?».

Самое-то удивительное было то, что задать эти вопросы он не мог. Для этого пришлось бы

переложить их на муравьиный язык и передать через антенны, — между тем, он с беспомощным чувством обнаружил вдруг, что нужных ему слов попросту не существует. Не было слов ни для счастья, ни для свободы, не было слова «нравиться», как не было их и для противоположных понятий. Он ощутил себя немым, пытающимся крикнуть: «Пожар!». Наиболее близкими по смыслу словами, какие ему удалось подобрать даже для «правильный» и «неправильный», были «дельный» и «бездельный».

Отвозившись с трупами и оставив их лежать в беспорядке, муравей снова поворотил на тропу. У себя на пути он обнаружил Артура, а потому затормозил и взмахнул, словно танк, выносными антеннами. Впрочем, он, волосатый, с безгласым и грозным шлемом вместо лица и с чем-то вроде шипов на члениках передних ног, походил скорее на рыцаря в латах верхом на укрытом бронею коне,

— или даже на их комбинацию, на косматого кентавра в доспехах.

Он снова сказал:

— Хай, Сангвиний!

— Хай!

— Что ты делаешь?

Король ответил правдиво, но неразумно:

— Ничего не делаю.

Несколько секунд муравей пребывал в ошеломлении, в каком пребывал бы и ты, если б Эйнштейн поделился с тобой своими последними соображениями касательно Вселенной. Затем он расправил все двенадцать колен антенны и, не обращая внимания на Короля, заговорил прямо в небо.

Он сказал:

— Квадрат пять, докладывает 105978/UDC. В квадрате пять сумасшедший муравей. Прием.

Слово «сумасшедший» он заменил словом «бездельный». Впоследствии Артур обнаружил, что в этом языке имеется лишь две характеристики: «дельный» и «бездельный», — применяемые в любых ценностных суждениях. Если сироп, выставляемый для них Мерлином, был сладким, — это был «дельный» сироп, если же в него добавлялась сулема, он становился «бездельным» сиропом, и этим вопрос исчерпывался. Даже передаваемые по радио «крошки», «цветы», «мамми-мамми» и проч. полностью описывались утверждением относительно дельности оных.

Вещание на миг прервалось и роскошный голос произнес:

— Штаб-квартира отвечает на вызов 105978/UDC. Какой у него номер? Прием.

Муравей спросил:

— Какой у тебя номер?

— Не знаю.

После того, как эта новость дошла до штаб-квартиры, из нее поступило указание спросить, может ли он объяснить причину своего отсутствия на службе. Муравей спросил может ли он и так далее: теми же словами и тем же голосом, что и радио. Королю стало не по себе и к тому же он обозлился, — оба ощущения были ему неприятны.

— Могу, — ответил он саркастически, поскольку ясно было, что воспринять сарказм это существо неспособно. — Я упал, ударился головой и ничего больше не помню.

— Докладывает 105978/UDC. У бездельного сотрясение по причине выпадения из гнезда. Прием.

— Штаб-квартира отвечает 105978/UDC. Номер бездельного муравья 42436/WD, выпал из гнезда этим утром, во время работы в сиропной команде. Если он достаточно компетентен для исполнения своего долга…

А вот это — «достаточно компетентен для ис-

полнения своего долга» — на муравьином языке произносится без затруднений, ибо сводится к слову «дельный». Но довольно лингвистики.

— Если он достаточно компетентен для исполнения своего долга, проинструктируйте 42436/WD присоединиться к сиропной команде, освободив присланного на его место 210021/WD. Конец передачи.

— Понял? — спросил муравей.

Оказалось, что лучшего объяснения, чем выдуманное им — насчет ушиба головы — выдумать было невозможно, даже если бы захотелось, ибо муравьи действительно время от времени падали со столика, и Мерлину, если он вовремя это замечал, приходилось доставлять их обратно на кончике карандаша.

— Да.

Могильщик, не уделяя ему больше никакого внимания, пополз по тропе за новым трупом или за чем-то еще, что следовало отволочь на помойку.

Артур двинулся в другом направлении — на соединение с сиропной командой. Он запомнил свой номер и номер рядового, которого ему предстояло сменить.

## 8

Служащие сиропной команды, словно идолопоклонники, стояли вокруг одного из часовых стеклышек. Он встал в круг, объявив, что 210021/WD должен вернуться в главное гнездо. Вслед за этим он, как и остальные, принялся наполнять себя сладким нектаром. Поначалу сироп показался ему очень вкусным, так что ел он с жадностью, но через несколько секунд стал испытывать неудовлетворенность. Он никак не мог понять, в чем тут дело. Он лопал изо всех сил, подражая остальным членам команды, однако все это походило на банкет без еды или же на обед в спектакле. Было тут нечто от дурного сна, в котором поглощаешь в огромных количествах шпаклевку и никак не можешь остановиться.

Вокруг часового стекла шла непрестанная суета. Те, кто до краев набивал утробы, уходили вовнутрь крепости, заменяемые процессией пустых муравьев, шествующих оттуда. Новых муравьев в этой процессии не было, одна и та же дюжина сновала туда и сюда, и этим же самым им предстояло заниматься до скончания жизни.

Внезапно Артур осознал, что съеденное не по-

падает к нему в желудок. В самом начале туда проникла малая часть, теперь же основная масса скоплялась в подобии верхнего желудка или зоба, откуда ее можно было легко изъять. А едва он присоединился к уходящему на запад потоку муравьев, до него дошло, что предстоит отрыгнуть запасенное на каком-нибудь продуктовом складе.

Работая, члены сиропной команды беседовали друг с другом. Сначала это показалось ему хорошим знаком, и он прислушивался, чтобы побольше узнать.

— О вслушайся! — говорил один. — Снова в ушах это «Мамми-мамми-мамми-мамми». По-моему, «Мамми-мамми-мамми-мамми» очень милая (дельная) песенка. Она такая первоклассная (дельная).

Другой замечал:

— По-моему, наша любимая Водительница просто чудесна, а по-твоему как? Мне сообщали, что в последней войне ее ужалили три сотни врагов, и она получила за это Крест Муравьиной Отваги.

— Какое счастье, что в наших жилах течет кровь Сангвиниев, правда? Разве не ужасно было бы оказаться одним из этих вонючих Formicae fuscae

?

— А ты слышал про 310099/WD, который отказался отрыгнуть сироп, когда его попросили, вот ужас, верно? Конечно его сразу казнили, по особому распоряжению нашей любимой Водительницы.

— О вслушайся! Снова в ушах эта «Мамми-мамми-мамми— мамми». По-моему…

Артур набил утробу и потащился к гнезду, оставив их в начале нового круга. У них не было ни новостей, ни скандалов, ничего такого, о чем можно было бы поболтать. Никакой новизны для них не существовало. Даже разговоры о казнях укладывались в формулу, изменялся лишь регистрационный номер преступника. Покончив с «мамми-мамми-мамми-мамми», они были вынуждены переходить к любимой Водительнице, а от нее к вонючим fuscae и к последним казням. Причем, даже все любимое, чудесное и счастливое было «дельным», а все ужасное «бездельным».

Он очутился в огромной крепостной зале, где сотни и сотни муравьев вылизывали и кормили малюток; борясь с перепадами температуры, растаскивали личинок по разным переходам, открывали и закрывали вентиляционные прохо-

ды. В середине залы удовлетворенно восседала громадная Водительница, откладывая яйца, прислушиваясь к сообщениям по радио, испуская распоряжения или отдавая приказы о казнях, купаясь в море обожания. (Впоследствии он узнал от Мерлина, что у разных муравьев Водительницы вступают в должность по-разному. К примеру, у вида Bothriomyrmex честолюбивая основоположница Нового Порядка вторгается в гнездо вида Tapinoma и запрыгивает прежней тиранше на спину. После чего, укрытая запахом хозяйки, гостья без спешки отпиливает ей голову, пока не приобретет таким способом безусловных прав на руководящее положение.) В конце концов он так и не донес свой сироп до склада. Он выяснил, что ему надлежит разгуливать на манер живой стойки с закусками, обслуживая тех, кто работал внутри муравейника. Всякий, кому припадала охота поесть, останавливал его, заставлял открыть рот и кормился оттуда. Они не обращались с ним как с отдельной личностью да, в сущности, и сами личностями не обладали. Он был бессловесным лакеем, обслуживавшим бессловесных клиентов. Даже его желудок ему не принадлежал.

Однако нам не стоит входить в дальнейшие

подробности относительно муравьев — это неприятная тема. Довольно сказать, что он терпеливо жил среди них, подлаживаясь к их обычаям, наблюдая их и пытаясь как можно больше понять, но не имея возможности задавать вопросы. Причина была не только в том, что язык их не обзавелся словами для обсуждения тем, интересующих человека, — и потому было невозможно спросить у них, верят ли они в Жизнь, в Свободу, в Стремление к Счастью, — но также и в том, что спрашивать что-либо было просто опасно. Любой вопрос представлялся им признаком сумасшествия. В их жизни вопросы отсутствовали: имелись только приказы. Артур ползал от гнезда к сиропу и обратно, восклицая, что песня про «мамми» очень милая, распахивая рот, чтобы срыгнуть, и пытаясь понять, что удастся.

Ему уже хотелось завыть, когда из туч появилась колоссальная рука, державшая соломинку. Рука поместила соломинку между двумя гнездами, до того разделенными, так что между ними образовался мост. Затем она исчезла.

## 9

Ближе к вечеру на новый мост забрел черный муравей, несчастный представитель fuscae, смирного народа, сражавшегося лишь из самозащиты. Его повстречал один из мусорщиков и тут же убил.

После доклада об этой новости радиовещание изменилось, — а вернее сказать, оно изменилось, едва лишь шпионы установили, что в гнезде fuscae также имеется блюдце с сиропом.

Вместо «Мамми-мамми-мамми» начали передавать «Муравия, Муравия превыше всего», а поток распоряжений стал перемежаться беседами о войне, патриотизме и экономическом положении. Роскошный голос поведал, что их обожаемое отечество окружено ордами вонючих fuscae, — и в ответ эфирные хоры запели:

Когда кровь fusca капает с клинка Прекрасна жизнь и радость велика.

Было также разъяснено, что Отец всех Муравьев в неизъяснимой мудрости своей заподведал, дабы черные мураши были вовек в рабстве у красных. В настоящее время у обожаемого отечества вообще нет рабов — возмутительное положение,

каковое надлежит исправить, дабы не исчезла драгоценная раса. Затем утверждалось, что под угрозой находится национальное достояние Сангвиниев. Их границы вот-вот будут нарушены, их домашний скот, жуков, того и гляди угонят, а их общинный желудок ссохнется от голода. Король внимательно прослушал две из этих бесед, чтобы запомнить их на будущее.

В первой доводы были расположены в следующем порядке:

А. Мы столь многочисленны, что голодаем.

Б. Поэтому нам следует не сокращать наше население, но всемерно увеличивать численность наших семейств, чтобы стать еще многочисленнее и голоднее.

В. Когда мы станем еще многочисленней и голоднее, мы, очевидно, обретем право отбирать у иных народов их сироп.

Помимо прочего, у нас к тому времени появится многочисленная и голодная армия.

Лишь после того, как это логическое построение получило практическое применение, и валовая продукция родильных приютов утроилась, — тем временем, благодаря Мерлину, оба гнезда ежедневно получали сироп в количествах, покрывавших все их потребности, — ибо при-

ходится признать, что голодающим нациям, по всей видимости, никогда не удается изголодаться до такой степени, чтобы они не могли позволить себе тратить на вооружение гораздо больше всех остальных, — только после того начались лекции второй разновидности.

Выглядели они так:

А. Мы гораздо многочисленнее их, а потому имеем право на их сироп.

Б. Они гораздо многочисленнее нас, а потому норовят бесстыдно украсть наш сироп.

В. Мы — могучая раса, а потому обладаем естественным правом поработить их жалкую расу.

Г. Они — могучая раса, и вопреки естеству норовят поработить нашу безобидную расу.

Д. Мы должны напасть на них ради самообороны.

Е. Обороняя себя, они нападают на нас.

Ж. Если сегодня мы на них не нападем, они нападут на нас завтра.

З. В любом случае мы вовсе не нападаем на них.

Мы несем им неисчислимые блага.

После обращений второго рода начались религиозные церемонии. Они, — как обнаружил Король, — были унаследованы от баснословного

прошлого, столь давнего, что для него и даты не подберешь, прошлого, в котором мураши еще не додумались до социализма. Церемонии восходили к тем временам, когда муравьи еще не утратили сходства с людьми, и некоторые из этих церемоний производили очень сильное впечатление.

Во время одной из них исполнялся псалом, начинавшийся, — с учетом языковых различий — хорошо известными словами: «Мечу подвластна земля и что наполняет ее, компасу бомбардировщика и им, что сеют бомбы с него», — и кончавшийся очень страшно: «Возлетите на воздух, врата, да поднимутся верхи ваши, и вы возлетите, двери вечныя, и войдет Царь Охранитель! Кто сей Царь Охранитель? Се Господь Призрачных Сил, Он — Царь Охранитель!»

Странно, но рядовых муравьев песнопения не воодушевляли, а лекции не интересовали. И то, и другое они принимали как данность. Для них это были ритуалы вроде песенок про «Мамми» или разговоров о Любимой Водительнице. Муравьи не относились к ним как к плохим или хорошим, волнующим, разумным или устрашающим. Они вообще их не воспринимали, но находили Дельными.

Итак, настало время выступить на завоевание рабов. Приказы о подготовке к войне были отданы, солдаты вымуштрованы до последней степени, на стенах гнезда появились патриотические лозунги: «Сироп или Смерть?» или «Присягаю тебе, мой Запах!», и Король окончательно впал в отчаяние. Ему казалось, что он еще не видел столь жутких тварей, — разве что, когда жил среди людей, — и его начинало подташнивать от омерзения. Вечно звучащие прямо в голове голоса, от которых он не мог избавиться, невозможность уединения, ибо одни постоянно кормились прямо из его живота, а другие распевали в его мозгу, смертельная пустота, заместившая чувства, утрата всех оценок за исключением двух, всепроникающая даже не злоба, а монотонность,

— все это убивало в нем радостное ощущение жизни, которое в начале ночи подарил ему Мерлин. Он вновь чувствовал себя таким же несчастным, каким был, когда волшебник обнаружил его плачущим над бумагами, и вот, едва только Красная Армия выступила в поход, он вдруг, словно утратившее разум существо, развернулся к ней лицом посередине соломинки, готовый ценой своей жизни не дать ей пройти.

## 10

— О, Господи, — сказал Мерлин, промокая носовым платком покрытый бисерным потом лоб, — у тебя просто талант влипать в неприятности. Ну и минута!

Животные встревоженно осмотрели Короля, желая убедиться, что он не поломал костей.

— Ты цел?

— Более чем.

Тут они обнаружили, что он взбешен. Руки его ходуном ходили от гнева.

— Скоты! — воскликцал он. — Скоты!

— Да уж, привлекательного в них мало.

— Я бы не возражал, — взорвался Король, — если бы ими владела злоба, если бы они намеренно предавались пороку. Я бы не возражал против этого, будь у них на хоть какая-то причина для жестокости, если бы это их хотя бы развлекало. Но они же ничего не понимают, они не совершают сознательного выбора. Они… они… их попросту не существует!

— Присядь, — сказал барсук, — передохни немного.

— Какие мерзкие твари! Разговаривать с ними

— все равно, что с камнями, неспособными сдвинуться с места, или со статуями, или с машинами. Если ты произносишь что-то, не устраивающее машину, она срабатывает, если нет, — не срабатывает, стоит себе смирно, бессмысленно, без всякого выражения. Ах, Мерлин, как это страшно! Это же ходячие мертвецы. Когда они умерли? Хоть какие-то чувства прежде были у них? Сейчас — ни единого. Они похожи на дверь из сказки, которая отворяется, когда ей скажешь «сезам». По-моему, они знают от силы дюжину слов или их сочетаний. Человек, которому известны эти слова, может заставить их сделать все, на что они способны, а потом… Потом придется опять начинать сначала! Опять и опять, и опять! Как в аду. Только ни один из них не понимает, что он уже там. Они вообще ничего не понимают. Существует ли что-нибудь страшнее этого вечного движения, этого «давай-давай-давай» — без причины, без понимания, без перемен, без конца?

— А ведь пожалуй, — сказал Мерлин, — муравьи, в сущности, и представляют собой доподлинный Вечный Двигатель. Мне это как-то в голову не приходило.

— Самое страшное в них, что они похожи на человеческие существа, не люди, но их подобия,

дурные копии.

— В этом как раз ничего странного нет. Муравьи еще в бесконечном прошлом усвоили политическую доктрину, которой ныне тешится человек. Тридцать миллионов лет назад они довели ее до совершенства, после чего никакое дальнейшее развитие стало уже невозможным, и с той поры впали в застой. Для муравьев эволюция закончилась примерно за тридцать миллионов лет до Рождества Христова. Они создали совершенное коммунистическое государство.

Тут Мерлин благочестиво возвел глаза к потолку и прибавил:

— Мой старый друг Маркс, быть может, и был первостатейным экономистом, но, клянусь Духом Святым, как естествоиспытатель он решительно никуда не годился.

Барсук, имевший склонность ко всем относиться по-доброму, даже и к Карлу Марксу, у которого, кстати сказать, организация материала была почти столь же прозрачной, сколь у самого барсука, произнес:

— Вряд ли сказанное тобой является справедливо в отношении к истинному коммунизму. Я бы сказал, что муравьи больше походят на фашистов Мордреда, чем на коммунистов Джона Болла…

— Это лишь разные стадии развития одного и того же. Достигнув совершенства, они становятся неразличимыми.

— Но в истинно коммунистическом мире…

— Дайте Королю вина, — распорядился Мерлин. — Ежик, о чем, интересно узнать, ты думаешь?

Ежик рысцой побежал за графином и принес оный, а с ним и стакан. Он сунул мокрый нос в королевское ухо и, обдавая Короля ароматами лука, хрипло зашептал:

— Мы за тобой приглядывали, точно. Ежику можешь верить. Ты бы их поколотил. Паршивые скоты. — Он покивал, расплекал мадеру и немного побоксировал в воздухе, держа в одном кулаке графинчик, а в другом стакан. — Гоп-гоп ура его куличеству, вот оно как, по-нашему. Мы говорим, дайте нам их уделать, жизнь положу за английские графства! Мы бы их и уделали, бим-бом, право слово, да только эти не дали.

Однако барсук не позволил увести себя в сторону. Едва Король получил вино, барсук терпеливо начал с того же самого места.

— Муравьи ведут войны, — сказал он, — и потому назвать их коммунистами невозможно. В подлинно коммунистическом мире войн быть не

может, поскольку все объединены в союз. Тебе не следовало забывать, что истинный коммунизм недостижим, пока все народы мира не проникнутся его идеями и не сольются в Союз советских социалистических республик. А муравейники, поскольку они не сливаются в единый союз, не являются вполне коммунистическими, вот потому-то они и воюют.

— Они не сливаются, — сварливо ответил Мерлин, — лишь по причине малости муравейников в сравнении с обширностью мира, и к тому же им мешают естественные препятствия — реки и так далее, делающие невозможной взаимную связь для существ подобного размера и со столь малым количеством пальцев. Впрочем, если тебя это устроит, я готов признать, что они — законченные хлыстуны, коим географические и физические особенности мира мешают превратиться в законченных лоллардов.

— Тогда тебе следует отказаться от твоей критики в адрес Карла Маркса.

— Мне следует отказаться от критики? — воскликнул философ.

— Да, ибо Маркс своим Союзом ССР, разрешил проблему нашего Короля, а именно, проблему войны.

Мерлин посинел, откусил немалый кусок бороды, выдрал из головы несколько клочьев волос, швырнул их в воздух, вознес лихорадочную молитву о наставлении на истинный путь, уселся близ барсука и, взяв его за лапу, умоляюще заглянул в барсучьи очки.

— Да как же ты не понимаешь, — трогательно вопросил он,

— что разрешить проблему войны способен союз чего угодно? Невозможно же воевать, состоя в союзе, ибо войне должно предшествовать разделение. Если бы мир представлял собой союз бараньих отбивных, не было бы никаких войн. Но это же не значит, что всем нам следует спешно понаделать друг из друга бараньих отбивных.

— На самом-то деле, — после некоторого размышления промолвил барсук, — ты определяешь муравьев как фашистов или коммунистов не потому, что они воюют, а…

— Я объединяю все три секты по их основному признаку, которым в конечном счете является отрицание прав личности.

— Это мне понятно.

— Их теория, по сути своей, тоталитарна, и сводится она к тому, что люди или муравьи существуют для государства или общества, а не

наоборот.

— А почему ты считаешь Маркса негодным естествоиспытателем?

— Вообще говоря, — сурово ответил волшебник, — особенности характера моего старого друга Карла находятся вне компетенции данного комитета. Будь добр помнить, что мы собрались не для того, чтобы разбираться с коммунизмом, наша основная проблема — это организованное убийство. Коммунизм занимает нас лишь постольку, поскольку он связан с войной. С этой оговоркой я отвечаю на твой вопрос следующим образом: Маркс был дурным натуралистом, потому что, во-первых, совершил серьезный промах, не исследовав человеческого черепа; затем потому, что не заинтересовался гусями, и наконец потому, что впал в заблуждение относительно равенства, каковое вообще противно природе. Люди равны в их достоинствах и талантах не более, чем в лицах и телосложении. С тем же успехом можно было потребовать, чтобы все люди на земле носили обувь одного размера. Вот эта-то смехотворная идея равенства и была принята муравьями более тридцати миллионов лет назад и, исповедуя ее столько времени, они ухитрились претворить ее в истину. Ну и полюбуйся, в какой

луже они оказались.

— Свобода, Равенство, Братство… — начал было барсук.

— Свобода, Разбой и Бесстыдство, — тут же отозвался волшебник. — Пожить бы тебе при революции, размахивающей этим лозунгом. Сначала его провозглашают, затем объявляют, что, исходя из высших соображений морали, необходимо уничтожить аристократов — дабы очистить партию или сплотить общество, или обезопасить дело демократии во всем мире, — а затем насилуют и убивают всех, до кого удается добраться, причем больше с горя, чем в гневе, — а то еще распинают людей, или подвергают пыткам, о которых я и говорить не хочу. Ты бы нюхнул Гражданской войны в Испании. Вот тебе человеческое равенство. Зарежь каждого, кто тебя превосходит, и очень скоро мы все будем равны. Как в покойницкой.

## 11

Неожиданно для всех заговорил T. natrix.

— Вы, люди, — сказал он, — не имеете никакого представления о Вечности, даром что все время болтаете о душах, чистилищах и о прочем. Если бы кто-нибудь из вас по-настоящему верил в Вечность или хотя бы в существование очень долгих периодов времени, вы бы крепко подумали, прежде чем решиться проповедовать равенство. Я и вообразить не могу ничего страшнее Вечности, заполненной совершенно одинаковыми людьми. Единственное, что делало жизнь сносной в далеком прошлом, это разнообразие живых существ на земном шаре. Если бы все были равны, если бы все принадлежали к существам одного рода, мы бы давно уже молили об эвтаназии. По счастью, в природе нет ничего похожего на равенство способностей, достоинств, возможностей или воздаяний. Слава Богу, каждое животное, принадлежащее к уцелевшим доныне видам, — если оставить в стороне муравьев и им подобных, — индивидуально до крайности. Иначе мы вымерли бы от скуки или превратились в автоматы. Даже среди колюшек, на первый

взгляд совершенно одинаковых, даже среди них имеются свои гении и тупицы, и все они соревнуются, норовя урвать какую-нибудь кроху еды, причем именно гении ее и получают. Когда-то жил на свете человек, который кормил своих рыбешек, опуская в аквариум стекляный кувшин с едой внутри. Некоторые колюшки нашли дорогу к корму с третьей-четвертой попытки и запомнили ее, другие же, насколько мне известно, ищут ее и до сей поры. Вот вам и равенство. И если бы не это, Вечность, лишенная различий, а значит и перемен, была бы слишком ужасной даже для созерцания.

— Все это совершенно не относится к делу. Мы, если не ошибаюсь, собрались, чтобы поразмышлять о войне.

— Виноват.

— Король, ты уже в состоянии встретиться с гусями, — спросил волшебник, — или тебе хочется отдохнуть?

— Невозможно, — прибавил он как бы в скобках, — толком подступиться к предмету нашего рассмотрения, пока в нашем распоряжении не будет всех необходимых фактов.

Старик ответил:

— Я полагаю, мне следует отдохнуть. Я уже не

так молод, как был когда-то, даже после твоего массажа, ты же хочешь, чтобы я за малое время многое понял. Ты можешь дать мне несколько минут?

— Разумеется. Ночи нынче долгие. Ежик, обмакни-ка вот этот платок в винный уксус и положи ему на лоб. Всем остальным молчать и отодвиньтесь от него, ему нужно побольше воздуха.

И звери расселись по местам и сидели тихо, как мыши, пихая один другого в бок, если кому-то случалось кашлянуть, а Король закрыл глаза и, чувствуя к зверям благодарность, погрузился в свои мысли.

Слишком многого они хотят от него. Трудно научиться всему за одну только ночь, а он — всего лишь человек да к тому же и старый.

Возможно, Мерлину и вообще-то не следовало останавливать свой выбор на умученном заботами старике, перенесенном сюда из шатра под Солсбери. В детстве он ничем особым не выделялся, разве что привязчивостью, да и ныне до гения ему было далековато. Быть может, весь наш длинный рассказ посвящен, в конечном итоге, довольно бесцветному старому джентльмену, которому самое место было бы в Кранфорде или в Баджерс-Грин, — сидел бы он себе там, занимаясь

организацией деревенских соревнований по крикету или хоровых праздников.

Ему хотелось кое-что обдумать. Его лицо, его глаза, прикрытые набрякшими веками, давно уже утратили всякое сходство с мальчишескими. Он выглядел утомленным, и он был Королем, что заставляло всех остальных взирать на него с почтительностью, страхом и печалью.

Да, они хорошие, добрые существа, он в этом не сомневался. И он ценил их уважение к нему. Но их трудности не имели отношения к трудностям человека. Им, разрешившим проблемы своего общественного устройства задолго до самого появления человека, легко было, проявляя мудрость, заседать и рассуждать в их Колледже Жизни. Их благожелательность, их вино, пламя очага и заботливость по отношениюю друг к другом, — все это давалось им легче, чем ему, их орудию, давался его скорбный труд.

Не открывая глаз, Король мысленно обратился к реальному миру, из которого он явился сюда: жену у него отняли, лучший друг его изгнан, племянники убиты и собственный сын норовит вцепиться ему в горло. Но самым худшим было не то, что случилось с ним лично, — хуже всего, что в это втянуты все его соотечественники. Звери

правы, — и впрямь: свиреп человек. Они могли говорить об этом отвлеченно, с неким диалектическим ликованием, но для него это утверждение было конкретным: ему приходилось жить среди йеху из плоти и крови. Он и сам был из них, жестокий и глупый, как они, связанный с ними странной неразрывностью человеческого сознания. Он был англичанин, а Англия воевала. Как бы он ни ненавидел войну, как бы ни желал ее прекратить, он все равно тонул в реальном, хоть и неосязаемом море свойственных англичанину чувств, которыми не мог управлять. Пойти им наперекор, сразиться с морем, — на это он решиться не мог.

И ведь всю свою жизнь он трудился. Он сознавал, что человек он не даровитый. Направляемый нравственными принципами старика-ученого, овладевшего еще юной его душой, лишенный свободы и поглощенный им без остатка, нагруженный, словно Синдбад, насильно лишенный собственной личности и безжалостно призванный к умозрительному служению, он трудился на благо Страны Волшебства с тех пор, как помнил себя. Он даже не понимал во всей полноте того, что делает, будто тягловое животное, обреченное тащиться по выбитой колее. И как он теперь

осознал, за спиной его вечно стоял снедаемый верой, не знающий жалости Мерлин, а перед ним — человек: свирепый, тупой, аполитичный.

Ныне он понял: им нужно, чтобы он вернулся к своим трудам, еще более тяжким и нескончаемым. Именно в тот миг, когда он сдался, когда он заплакал от горечи поражения, когда старый вол рухнул на колею, именно тогда они и явились, чтобы пинками поднять его на ноги. Они явились, чтобы дать ему новый урок и принудить к дальнейшим трудам.

Он так и не узнал счастья, просто счастья для себя самого, да он и не принадлежал самому себе, — никогда, с той поры, как жил мальчишкой в Диком Лесу. Разве это честно — отнять у него все? Они превратили его в слепого щегла, о котором сами ему рассказали, в щегла, вынужденного услаждать людей своим пением, пока сердце его не разорвется, поющего, но уже навсегда слепого.

Теперь, когда они омолодили его, он ощутил могучую прелесть мира, которой они его лишили. Ему захотелось пожить хоть немного, — поваляться на земле, впитывая ее запахи, посмотреть, как anthropos, в небо и затеряться в облаках. Он вдруг понял, что ни один человек, пусть даже

живущий на самой далекой, самой голой океанской скале, не вправе жаловаться на однообразие ландшафта, пока он еще способен поднимать глаза к небесам. Ибо в небе каждый миг рождается новый ландшафт, и новый мир — в каждой лужице на скале. Ему захотелось уйти в отставку, пожить. Он не желал, чтобы его вновь послали назад, тянуть, не поднимая глаз, изношенное ярмо. Он и сейчас еще не очень стар. Он, может быть, еще сумеет прожить с десяток лет, но то будут годы без бремени, полные солнечного света и пения птиц, ибо птицы, без сомнения, поют и поныне, да только он перестал их замечать, не замечал бы и дальше, если бы звери ему не напомнили.

Разве это долг его — возвратиться назад к Homo ferox и, скорее всего, принять смерть от руки того, кому он пытался помочь, а если и не от руки, то уж наверняка умереть под ярмом,

— разве он не может отречься от этих трудов? Он мог бы уйти прямо сейчас, прямо из этого холма, и никто больше его не увидит. Пустынники Фиваиды, отшельники скалы Скеллиг-Мишель — им посчастливилось убежать от человека на лоно мирной природы. Именно этого, осенило его вдруг, он и хотел: покоя и мира. В начале ночи он

желал смерти и готов был ее принять, но теперь они позволили ему увидеть проблеск жизни, давнего счастья, того, что он когда-то любил. Они воскресили, каким бы жестоким не казалось это воскрешение, его отрочество. Он хотел, чтобы его оставили в покое, чтобы ему, как в детстве, не довлели обязанности, он хотел удалиться от службы, быть может, уйти в монастырь, — уйти куда угодно, но дать хоть немного покоя своей старой душе.

Однако, они пробудили его от грез своими речами, своим жестоким, блестящим оружием.

— Итак, Король. Тебе следует повидаться с гусями, пока не кончилась ночь.

— Тебе полегче?

— Заклинание никому не попадалось?

— Что-то вид у тебя усталый.

— Глотни вина на дорожку.

## 12

Место, в котором он очутился, было совершенно плоским. В человечьем мире настоящая плоскость встречается редко, потому что дома, деревья, ограды иззубривают ландшафт. Трава и та тянется кверху бесчисленными стебельками. Но здесь, в утробе ночи, среди беспредельной, плоской, влажной грязи, напоминавшей черный творог, зацепиться глазу было решительно не за что. Даже если бы на ее месте простирался мокрый песок, и то бы он нес на себе отпечатки волн, схожие с нашими небными складками.

Лишь одна первородная стихия обитала на этой огромной равнине — ветер. Ибо здешний ветер был безусловно стихией. В нем ощущалось пространность, могущество тьмы. В человеческом мире ветер приходит откуда-то и куда-то уходит и, уходя, через что-то проходит — через деревья, улицы или ограды. Этот ветер приходил ниоткуда. И проходил через плоское ничто в никуда, в некие несуществующие места. Пологий, почти беззвучный, если не считать странного гула, осязаемый, бесконечный, ощеломляющий протяженностью, он тяжко тек над грязью. Его

контуры можно было очертить по линейке. Титанические серые линии его шли, не колеблясь и не прерываясь. Можно было повесить на него зонтик за гнутую ручку, и тот так бы и остался висеть.

На этом ветру Король ощущал себя как бы еще не сотворенным. Если не брать в расчет влажной твердыни под его перепончатыми лапами, он обитал в пустоте, в плотной, подобной хаосу, пустоте. Его ощущения были ощущеньями геометрической точки, загадочным образом существующей на кратчайшем пути между двумя другими: или же линии, прочерченной по плоской поверхности, у коей имеются ширина и длина, но никакого объема. Никакого объема! Да ветер и являл собою объем в чистом виде! В нем были мощь, текучесть, сила, устремленность и ровность мирового потока, неуклонно изливающегося в преддверия ада.

Впрочем и этому нечестивому чистилищу поставлены были пределы. Далеко на востоке, может быть в целой миле, стояла сплошная звуковая стена. Она нарастала, спадала, словно сжимаясь и разжимаясь, но оставалась сплошною. В ней слышалась угроза, она жаждала жертв, — ибо там простиралось огромное, безжалостное море.

В двух милях к западу, виднелись треугольником три пятнышка света. То светились слабенькие лампадки в хижинах рыбаков, вставших пораньше, чтобы поймать прилив в запутанных протоках соленых болот, где вода порою текла противясь натиску океана. Тем и исчерпывались черты его мира — звук моря и три огонька: темень, пологость, пространность, влажность: и ровный поток ветра, вливающийся в бездонную ночь.

Когда забрезжил опасливый день, он обнаружил, что стоит посреди толпы подобных ему созданий. Одни сидели в грязи, теперь взбаламученной злыми мелкими водами возвращающегося моря, другие уже уплывали по этой воде, пробужденные ею, от надоедливого прибоя. Сидевшие имели сходство с большими чайниками, засунувшими носики под крылья. Плывущие время от времени окунали головы в воду и затем потрясали ими. Те, что проснулись еще до наступленья воды, стояли, с силой взмахивая крыльями. Глубокое безмолвие сменилось гоготом и болтовней. Их было сотни четыре в серой окрестности — замечательно красивых существ, диких белогрудых гусей, которых человек, однажды видевший их вблизи, никогда уже

не забудет.

Задолго до восхода солнца они уже изготовились к полету. Прошлогодние семейные выводки сбивались в стайки, а сами эти стайки проявляли склонность к объединению с другими стайками, возможно под водительством дедушки или даже прадедушки, или какого-то признанного вожака небесного воинства. Когда примерное разделение на отряды было завершено, в разговорах гусей обнаружилась нотка легкого возбуждения. Они принимались резко вертеть головами то в одну, то в другую сторону. А затем, развернувшись по ветру, все вместе вдруг поднимались на воздух, по четырнадцать или по сорок гусей разом, и широкие крылья их загребали темноту, и в каждом горле трепетал восторженный вопль. Сделав круг, они быстро набирали высоту и скрывались из виду. Уже на двадцати ярдах они терялись во мраке. Те, что снялись пораньше, не издавали особого шума До прихода солнца они предпочитали помалкивать, отпуская лишь случайные замечания или, если возникала какая-либо опасность, выкликая одну предупредительную ноту. Тогда, заслышав предупреждение, все вертикально взмывали в небо.

Им овладевало беспокойство. Темные эскадри-

льи над его головой, поминутно снимавшиеся с земли, заронили в него вожделение. Его томила потребность последовать их примеру, но он не чувствовал уверенности в себе. Может быть их семейные стаи, думал он, воспротивятся его вторжению. И все же ему не хотелось остаться в одиночестве. Ему хотелось соединиться с ними, насладиться обрядом утреннего полета, явно доставлявшего им удовольствие. В них ощущалось товарищество, вольная дисциплина и joie-de-vivre.

Когда сидевшая с ним рядом гусыня расправила крылья и подскочила, он машинально проделал то же. Около восьми его соседей уже несколько времени дергали клювами, и он подражал им, словно их действия были заразительными, и теперь вместе с той же восьмеркой он полетел по гладкому воздуху. В миг, когда он покинул землю, ветер пропал. Неугомонность и свирепость его сгинули, как отсеченные ножом. Он оказался внутри ветра, и внутри был покой.

Восьмерка гусей построилась в линию, строго выдерживая равные промежутки. Он оказался последним. Гуси летели к востоку, где занимался слабы свет, и вскоре перед ними стало всходить ярое солнце. Далеко за простором земли оран-

жево-алая трещина пронизала гряду облаков. Сияние разрасталось, внизу завиделись соленые топи. Они открылись перед ним лишенными примет болотами или вересковыми пустошами, по воле случая ставшими частью моря, — их вереск, еще сохранивший сходство с вереском, сопрягался с морской травой, пока не измок и не просолился, и ветви его осклизли. Место ручьев, что текли бы сквозь пустошь, заняла морская вода, пробившая русла в синеватой грязи. Там и сям стояли на кольях длинные сети, в которые мог бы влететь невнимательный гусь. Они-то и были, как он догадался, причиной тех предостерегающих криков. Две-три свиязи свисали с сетей, и далеко на востоке человек, похожий на муху, с жалким упорством тащился по слякоти, чтобы собрать добычу в мешок.

Солнце, вставая, окрасило пламенем ртуть протоков и мерцающий ил. Кроншнепы, начавшие скорбно стенать еще до рассвета, теперь перелетали с одной травянистой отмели на другую. Свиязи, ночевавшие на воде, принялись высвистывать свои сдвоенные ноты, похожие на свист рождественских шутих. Против ветра поднимались с земли кряквы. Травники, словно мыши, прыскали в стороны. Облачко крошечных

чернозобиков, более плотное, чем стайка скворцов, разворачивалось в воздухе с шумом идущего поезда. С веселыми криками снималась с сосен, растущих на дюнах, черная воронья стража. Всяких видов береговые птицы облепили линию прибоя, наполнив ее оживлением и красотой.

Заря, заря над морем и совершенство упорядоченного полета были исполнены такой прелести, что ему захотелось запеть. Все его грустные мысли о человеке, жалкая потребность покоя, с таким запозданием овладевшая им в Профессорской, все это спало с него, едва он ощутил мощь своих крыльев. Ему захотелось влиться в хор, славящий жизнь, и поскольку вокруг него крылья несли тысячу гусей, долго ждать ему не пришлось. Смех и музыка мгновенно пронизали караваны этих созданий, подобно дыму струившихся по небу, грудью к встающему солнцу. Каждый отряд их пел на свой манер, кто проказливо, кто торжественно, кто чувствительно, кто с ликованием. Предвестники дня заполнили рассветное небо, и вот что они запели:

О мир, под крылом кружащий, простри персты перламутра!

Солнце седое, сияй белогрудым баловням утра!

Багряные блики зари узри на груди гордой,

Услышь, как в каждой гортани гудят органы и горны!

Внемлите, черные тучи кочующего батальона, Рожкам и рычанию гончих, гаму небесного гона!

В далекие дали, далеко, вольны и велики, Уходят Anser albifrons, их песни и клики.

## 13

Стоял уже день, Король прогуливался по неровному полю. Вокруг паслись товарищи по полету, выдергивая траву боковыми рывками мягких маленьких клювов, извивая шеи крутыми дужками, столь отличными от грациозных лебединых изгибов. И пока они так кормились, кто-то из их числа непременно стоял на страже, задрав по-змеиному голову. В недавние зимние месяцы, а то и в прежние зимы они разбились на пары, разбиение это сохранялось и там, где паслось семейство или целый летучий отряд. Молодая самочка, спавшая бок о бок с ним на грязевой равнине, была однолеткой. Она то и дело поглядывала на него умным глазом.

Старик, вспомнивший вдруг свое отрочество, украдкой оглядел ее, и она показалась ему очень красивой. Он почувствовал даже как в нем просыпается что-то вроде нежности к ее пушистой грудке, покамест совершенно лишенной полосок, к ее полненькому плотному тельцу и приятным складочкам на шее. Эти складки, как он краем глаза заметил, создавались разностью в оперении. Ряды вогнутых перышков отделялись один

от другого, образуя подобие бахромы, которую он находил чрезвычайно изящной.

Наконец, юная дама подпихнула его клювом. Она как раз была часовым.

— Валяй, — по-простецки сказала она, — ты следующий.

Не дожидаясь ответа, она опустила голову и, продлив то же движение, выдернула травинку. Так, кормясь, она постепенно отдалилась от него.

Король стоял на часах. Он не знал, за чем ему должно следить, и не видел никакого врага — только и было кругом, что кочки да его пасущиеся сотоварищи, но не жалел, что ему доверили быть часовым. Он с удивлением осознал, что готов без всякого неудовольствия демонстрировать свою мужественность, особенно если есть надежда, что дама станет за ним наблюдать. Даже прожив такое множество лет, он сохранил невинность, позволявшую ему не питать уверенности в том, что наблюдать за ним она станет непременно.

— Что это ты делаешь? — спросила она, когда спустя полчаса ей случилось проходить мимо.

— Стою на страже.

— Да ну тебя, — сказала она, хихикнув — или правильнее сказать «гоготнув»? — Глупенький!

— Почему?

— Да брось ты. Сам знаешь.

— Честно, не знаю, — сказал он. — Я что-то не так делаю? Мне непонятно.

— Клюнь следующего. Ты перестоял уже самое малое вдвое больше положенного.

Он сделал, как ему было сказано, и ближайший гусь принял у него вахту, а Король подошел поближе к гусыне и стал пастись рядом с ней. Они пощипывали траву, косясь друг на дружку бисеринами глаз, пока он наконец не собрался с духом.

— Я показался тебе глуповатым, — застенчиво сказал он, впервые за все свои встречи с разным зверьем решившись открыть свою истинную видовую принадлежность, — но это потому, что я вообще-то не гусь. Я был рожден человеком. Я в первый раз попал к серому народу.

Она удивилась, но не сильно.

— Это бывает не часто, — сказала она. — Люди обычно стремятся стать лебедями. Последними у нас тут побывали дети Короля Лира. Впрочем, насколько я понимаю, все мы из семейства гусиных.

— О детях Лира я слышал.

— Им тут не понравилось. Они оказались безна-

дежными националистами, и такие религиозные были, — все время вертелись вокруг одной ирландской часовни. Можно сказать, что других лебедей они вообще старались не замечать.

— А мне у вас нравится.

— Это я заметила. Тебя зачем прислали?

Они попаслись в молчании, пока собственные слова не напомнили ему о его миссии.

— Часовые, — сказал он. — Мы что, воюем?

Она не поняла последнего слова.

— Воюем?

— Ну, деремся с другим народом?

— Деремся? — неуверенно переспросила она. — Мужчины, бывает, дерутся — из-за своих жен и так далее. Конечно, без кровопролития, — так, немножко помутузят друг друга, чтобы выяснить, кто из них лучше, кто хуже. Ты это имел в виду?

— Нет. Я имел в виду сражения армий — например, с другими гусями.

Это ее позабавило.

— Интересно! Ты хочешь сказать, что собирается куча гусей и все одновременно тузят друг друга? Смешное, наверное, зрелище.

Тон ее удивил Короля.

— Смешно смотреть, как они убивают друг друга?

— Убивают друг друга? Гусиные армии, и все убивают друг друга?

Медленно и неуверенно она начала постигать эту идею, и по лицу ее разливалась гадливость. Когда постижение завершилось, она пошла от него прочь. И молча ушла на другую сторону поля. Он последовал за ней, но она повернулась к нему спиной. Он обошел ее кругом, чтобы заглянуть ей в глаза, и испугался, увидев в них выражение неприязни, — такое, словно он сделал ей некое непристойное предложение.

Он неуклюже сказал:

— Прости. Ты меня не так поняла.

— Прекрати эти разговоры!

— Прости.

Немного погодя он с обидой добавил:

— По-моему, нельзя запрещать человеку спрашивать. А из-за часовых вопрос представлялся естественным.

Оказалось однако, что разозлил он ее донельзя, едва не до слез.

— Сейчас же прекрати эти разговоры! Хорошенькие мысли, должно быть, тебя посещают, мерзость какая! Ты не имеешь никакого права говорить подобные вещи. Разумеется, у нас есть часовые. Здесь водятся и кречеты, и сапсаны,

ведь так? — и лисы, и горностаи, да и люди с сетями. Это естественные враги. Но какая же тварь дойдет до такой низости, чтобы убивать существ одной с нею крови?

Он подумал: жаль, что не существует крупных зверей, которые охотились бы на человека. Если бы в мире было достаточно драконов и птиц Рух, человечество, возможно, обратило бы свою мощь против них. К несчастью, никто кроме микробов на человека не охотится, а микробы слишком малы, чтобы человек признал в них достойного противника.

Вслух он сказал:

— Я пытался понять.

Она сделала над собою усилие, заставляя себя проявить снисходительность. Было в ней что-то от синего чулка, — она полагала необходимым придерживаться по возможности широких взглядов.

— Похоже, до этого тебе еще далеко.

— А ты научи меня. Расскажи мне все про гусиный народ, чтобы в мозгах у меня прояснилось.

Она испытывала некоторые сомнения, — после ужаса, в который он ее поверг, — но душа у нее была добрая. Она, как и всякий гусь, была снисходительной, и прощение давалось ей легко. Вскоре

они подружились.

— Так что ты хотел бы узнать?

В следующие несколько дней он обнаружил (ибо они проводили вместе немало времени), что Ле-лек — совершенно очаровательная особа. Она назвала ему свое имя в самом начале их знакомства и посоветовала ему тоже обзавестись именем. Имя они выбрали вместе: Ки-куа — высокий титул, позаимствованный у редких красногрудых гусей, которых она встретила однажды в Сибири. После того, как с именем все было улажено, Ле-лек всерьез взялась за его образование.

Голову Ле-лек занимал не один только флирт. На свой рассудительный манер она живо интересовалась особенностями окружающего ее обширного мира и хотя вопросы Артура порой ставили ее в тупик, она быстро научилась относится к ним без отвращения. Вопросы эти по большей части основывались на опыте, приобретенном им среди муравьев, потому-то они ее и озадачивали.

Его интересовал национализм, государственный контроль, личная свобода, проблема собственности и тому подобное, — все то, о чем говорилось в Профессорской, и что он сам наблю-

дал в муравейнике. Большую часть этих понятий ей приходилось растолковывать, прежде чем она могла приступить к каким-либо объяснениям, так что разговоры у них получались интересные. Беседовали они по-дружески, и по мере того, как образование его подвигалось вперед, старый Король с удивлением обнаружил, что начинает испытывать к гусям глубокое почтения и даже любовь: подобие тех чувств, какие, видимо, испытывал Гулливер, живя среди лошадей.

Нет, объясняла она, никакого государственного контроля серый народ не знает. У него отсутствует общественная собственность, равно как и притязания на какую-либо часть земного шара. Этот прелестный шар, полагали они, не может принадлежать кому бы то ни было, кроме себя самого, доступ же к природным ресурсам открыт для всех гусей в равной степени. Точно так же и никакая государственная дисциплина не навязывалась какой бы то ни было отдельной птице. Рассказ о муравье, приговоренном к смерти за то, что он, возвратившись в муравейник, отказался отрыгивать пищу, глубоко возмутил ее. У гусей, говорила она, каждый съедает столько, сколько способен вместить, но если ты полезешь туда, где кормится птица, обнаружившая участок с сочной

травой, она тебя долбанет клювом и правильно сделает. Да, подтверждала она, у гусей имеется частная собственность и помимо еды, — супружеская пара год за годом возвращается в одно и то же гнездо, хотя в промежутках ей, может быть, и приходится покрывать расстояния в несколько тысяч миль. Гнездо — дело частное, как и супружеская жизнь. Гуси, объясняла она, не склонны к беспорядочным любовным связям, разве что в ранней молодости, а в эту пору, как она полагала, так тому и быть надлежит. Когда они женятся, они женятся на всю жизнь. Политические же их воззрения, если у них вообще таковые имеются, патриархальны или индивидуалистичны и имеют своей основой свободу выбора. И уж конечно, никаких войн гуси не ведут.

Он поинтересовался, как у них обстоит дело с вождями. Очевидно было, что определенные гуси признаются в качестве вождей, — как правило, маститые старые джентльмены с крапчатой грудью, — и что эти вожди возглавляют караваны во время полета. Припомнив муравьиных Королев, которые, подобно членам семейства Борджиа, резали одна другую в борьбе за высшие посты, он поинтересовался, каким образом избираются гусиные капитаны.

Они не избираются, отвечала она, во всяком случае при этом не соблюдается никаких формальностей. Они просто становятся капитанами.

Когда он начал допытываться подробностей на этот счет, она разразилась длинной речью, касающейся перелетов. Вот что она рассказала:

— Мне кажется, — говорила она, — первый гусь, совершивший перелет из Сибири в Линкольншир и обратно, вернувшись, завел в Сибири семью. И вот, когда наступила зима и нужно было заново искать, чем прокормиться, он, должно быть, сумел кое-как отыскать ту же дорогу, ведь кроме него никто ее не знал. Год за годом он водил по ней свое разросшееся семейство, став его лоцманом и адмиралом. Когда ему пришла пора умирать, видимо, лучшими лоцманами оказались старшие его сыновья, поскольку они чаще других проделывали этот путь. Естественно, сыновья помоложе, не говоря уже о юнцах, не очень-то хорошо знали дорогу и потому были рады последовать за кем-то, кто ее знал. Возможно, и среди сыновей постарше имелись такие, что были известны своей бестолковостью, так что семья доверяла не всякому.

— Вот так, — говорила она, — и выбирается адмирал. Может быть, этой осенью к нам в семью

заглянет Винк-винк и скажет: «Извините, среди вас нет ли случайно надежного лоцмана? Бедный старый прадедушка скончался, когда поспела морошка, а от дядюшки Онка проку немного. Мы ищем кого-нибудь, за кем можно лететь следом.» И мы тогда скажем: «Двоюродный дедушка будет рад, если вы составите нам компанию, но только имейте в виду, если что-то пойдет не так, мы не отвечаем.» «Премного благодарен, — ответит он. — Уверен, что на вашего дедушку можно положиться. Вы не будете возражать, если я расскажу об этом Гогону, у них, сколько я знаю, такие же трудности?» «Нисколько.»

— В точности так, — пояснила она, — двоюродный дедушка и стал адмиралом.

— Хороший способ.

— Видишь, какие у него нашивки, — уважительно прибавила она, и оба посмотрели на дородного патриарха, грудь которого, действительно, украшли черные полосы — вроде золотых кругов на рукаве адмирала.

В другой раз он поинтересовался у нее, каковы суть радости и честолюбивые устремления гусей. Извинившись, он объяснил ей, что человеческие существа, пожалуй, склонны были бы счесть скучноватой жизнь, не отмеченную эффектными

приобретениями, пусть даже сделанными в ходе войны.

— Люди, — сказал он, — стараются запасти как можно больше украшений, сокровищ, предметов роскоши, испытать как можно больше наслаждений и так далее. Это дает им цель в жизни. Говорят также, что это приводит к войнам. Боюсь, однако, что если людское достояние свести к тому минимуму, которым удовлетворяются гуси, люди почувствуют себя несчастными.

— Определенно почувствуют. Мозг у них и у нас устроен по-разному. Если ты попытаешься заставить людей жить в точности так, как живут гуси, они станут такими же несчастными, какими стали бы гуси, заставь их вести человеческое существование. Но это не означает, что нам нечему поучиться друг у друга.

— Я начинаю думать, что от нас гуси многому не научатся.

— Мы прожили на земле дольше вас, бедняжек, на миллионы лет, так что винить вас тут особенно не в чем.

— Но расскажи же мне, — попросил он, — каковы ваши удовольствия, устремления, цели — или как вы их называете? Они ведь должны быть довольно ограниченными, нет?

Услышав это, она рассмеялась.

— Основная цель нашей жизни, — забавляясь, сказала она,

— состоит в том, чтобы жить. По-моему, вы, люди, как-то о ней позабыли. Что до наших удовольствий, то они, если сравнить их с украшениями и сокровищами, не так уж и скучны. У нас есть песня о них, которая называется «Радость жизни».

— Спой мне ее.

— Спою, подожди минуту. Я просто обязана сказать тебе, как мне всегда было обидно, что в ней ничего не говорится об одной из величайших наших радостей. Те, чьи имена называются в этой песне, вроде бы спорят относительно известных гусям удовольствий, но никто из них не вспоминает о странствиях. По-моему, это глупо. Мы путешествуем в сотни раз дальше, чем люди, видим такие интересные вещи, переживаем столько восхитительных перемен, — все время что-нибудь новое, — и я не могу понять, как это случилось, что поэт о них позабыл. Да что говорить, моя бабушка летала в Миклегарт, у меня есть дядя, который побывал в Бирме, а прадедушка вообще уверял, что ему случалось залетать даже на Кубу.

Король знал, что Миклегарт — это скандинавское название Константинополя; о Бирме он слышал лишь от T. natrix'a, а до Кубы в то время вообще никто еще не додумался, так что все сказанное произвело на него должное впечатление.

— Как это, наверное, чудесно — путешествовать, — сказал он.

Он подумал о красоте крыльев, о песнях полета, о том, как мир, вечно новый и новый, кружит под крыльями гусей.

— Вот эта песня, — без дальнейших предисловий сказала она и нежным голосом спела ее так, как поют дикие гуси:

РАДОСТЬ ЖИЗНИ

*И ответил Ки-йо: кто здоров, тот и рад, -*

*Крепость ног, гладкость крыл, гибкость шей, ясность глаз:*

*Нет на свете лучших наград!*

*Старый Анк отвечал: честь дороже даров, -*

*Искатель путей, кормилец гусей, хранитель, а равно податель идей:*

*Вот кто слышит небесный зов!*

*А резвушка Ле-лек: Любовь, господа!*

*Нежность очей, учтивость речей, прогулки вдвоем и гнездо вечерком:*

*Они пребудут всегда!*

*Был Анг-унг за желудок: Ах, еда! — он сказал. -*

*Стебли травы, колкость стерни, злато полей, сытость гусей:*

*Это выше всяких похвал!*

*Братство! — крикнул Винк-винк, -*

*Вольный дружества жар!*

*Построение в ряд, караванный отряд, все, как один, и заоблачный клин:*

*Вот в чем Вечности истинный дар!*

*Я же, Льоу, выбрал пенье — веселье сердец, —*

*Музыка сфер, песни и смех, слезы тишком и мир кувырком:*

*Все это Льоу, певец.*

По-своему это чудесная песня, думал он, тронутый ее тяжеловесной нежностью. Он начал было подсчитывать перечисленные в ней радости, загибая пальцы, но поскольку пальцев было всего только три впереди да еще один бугорок сзади, пришлось каждый палец использовать дважды.

Странствия, здоровье, честь, любовь, аппетит, дружество, музыка, поэзия и, как сказала Ле-лек, жизнь сама по себе.

Недурной получился список при всей его простоте, особенно если учесть, что она могла бы добавить к нему что-нибудь вроде Мудрости.

## 14

Волнение в войске все нарастало. Молодые гуси вовсю флиртовали или сбивались в кучки — поговорить о своих лоцманах. Время от времени они затевали вдруг игры, будто дети, возбужденные предвкушением праздника. Одна из игр была такая: все становились в кружок, и совсем молодые гуси выходили один за другим в середину, вытянув шеи и притворяясь, что вот-вот зашипят. Дойдя до середины, они припускались бежать, хлопая крыльями. Это они показывали, какие они смельчаки и какие отличные выйдут из них адмиралы, стоит только им подрасти. Распространялась, кроме того, странная манера мотать из стороны в сторону клювом, что обыкновенно делается перед тем, как взлететь. Нетерпение овладело и старейшинами, и мудрецами, ведающими пути перелетов. Знающим взором они озирали облачные массы, оценивая ветер, — какова его сила и по какому, стало быть, румбу следует двигаться. Адмиралы, отягощенные грузом ответственности, тяжелой поступью меряли шканцы.

— Почему мне так неспокойно? — спрашивал

он. — Словно что-то бродит в крови?

— Подожди, узнаешь, — загадочно говорила она. — Завтра, может быть, послезавтра…

И в глазах ее появлялось мечтательное выражение, словно бы говорящее: «давным-давно» или «далеко-далеко отсюда».

Когда день настал, все изменилось на грязной пустоши и в соленых болотах. Похожий на муравья человек, с такой терпеливостью выходивший на каждой заре к своим длинным сетям, с расписаньем приливов, накрепко запечатленным у него в голове,

— ибо ошибка во времени означала для него верную смерть, — заслышал в небе далекие горны. Ни единой из тысяч птиц не увидел он ни на грязной равнине, ни на пастбищах, с которых пришел. Он был по своему неплохим человеком, — он торжественно выпрямился и стянул с головы шапку. То же самое он набожно проделывал и каждой весной, когда гуси покидали его, и каждой осенью, — завидев первую из вернувшихся стай.

Далек ли путь через Северное Море? У парохода он занимает два или три дня, — так долго тащится судно по этим зловещим водам. Но для гусей, мореходов воздуха, для острых их клиньев,

в лохмотья раздирающих облака, для певцов, что, обгоняя бурю, поют в эмпиреях, делая час за часом по семьдесят миль, для этих странных географов, (здесь подъем на три мили, так они говорят), плывущих не по водам, но по дождевым облакам, — чем для них был этот путь? Прежде всего, счастьем.

Король еще не видел своих друзей в таком ликовании. Оно наполняло их песни, распеваемые без остановки. Были среди них грубоватые, каковые мы оставим до другого раза, были несравненно прекрасные саги, были и песни до крайности легомысленные. Одна, довольно глупая, очень позабавила короля:

Иные в дорогу зовут берега, Но травкою грязные манят луга — Гу-гу-гу! Ги-ги-ги! Га-га-га!

Не шеи у нас, а подобье дуги — Их словно бы слесарь согнул в три поги…

Га-га-га! Гу-гу-гу! Ги-ги-ги!

Мы травку пощипываем на лугу — И другу здесь хватит, и хватит врагу!

Ги-ги-ги! Га-га-га! Гу-гу-гу!

Гу-гу-гу! Га-га-га! Нам грязь дорога!

Га-га-га! Ги-ги-ги! Трогать нас не моги!

Хорошо на лугу нам в семейном кругу!

Ги-ги-ги! Га га-га! Гу-гу-гу!

Была еще чувствительная:

Дикий и вольный, спустись с высока И верни мне любовь моего гусака.

А однажды, когда они пролетали над скалистым островом, населенным казарками, похожими на старых дев в кожаных черных перчатках, серых шляпках и гагатовых бусах, вся эскадрилья разразилась дразнилкой:

Branta bernicla сидела в грязи, Branta bernicla сидела в грязи, Branta bernicla сидела в грязи, А мы пролетали мимо.

Вот мы летим, дорогая, гляди, Вот мы летим, дорогая, гляди, Вот мы летим, дорогая, гляди, На Северный Полюс, мимо.

Но что проку рассказывать о красоте? Дело состояло попросту в том, что жизнь была до невероятия прекрасной, — радостью, достойной того, чтобы ее пережить.

Порой, опускаясь с уровня перистых облаков, чтобы поймать благоприятный ветер, они попадали в облачные стаи — огромные башни, вылепленные из водных паров, белые, как отстиранное в понедельник белье, и плотные, как меренги. Случалось, что одно из этих небесных соцветий, снежно-белый помет колоссального Пегаса, оказывалось в нескольких милях перед

ними. Они прокладывали курс прямо на облако и смотрели, как оно разрастается, безмолвно и неуследимо, лишенным движения ростом,

— и наконец, когда они приближались к нему вплотную, и казалось, вот-вот должны были больно удариться носами о его по видимости плотную массу, солнце начинало тускнеть, и туманные призраки вдруг обвивали их на секунду, сплетаясь, словно небесные змеи. Их облегала серая сырость, и солнце медной монетой скрывалось из виду. Крылья ближайших соседей истаивали в пустоте, пока каждая птица не обращалась в одинокий звук посреди стужи уничтожения, в развоплощенное привидение. Потом они висели в лишенном примет небытии, не ощущая ни скорости, ни левого с правым, ни верха, ни низа, покамест с той же, что прежде, внезапностью не накалялся заново медный грош, и не свивались за спиной небесные змеи. И через миг они опять попадали в самоцветно сверкающий мир с бирюзовым морем внизу, с вновь отстроенными блистательными дворцами небес, и с еще не просохшей росой Эдема.

Одними из лучших минут перелета стали те, которые они провели, минуя скалистый остров в океане. Были и другие, например, когда их

строй пересекся с караваном тундровых лебедей, направлявшихся в Абиско и издававших на лету такие звуки, словно щенячий выводок тявкал, прикрывшись носовыми платками, или когда им повстречался виргинский филин, в мужественном одиночестве вершащий свой трудный полет, — в теплых перьях у него на спине, так они уверяли, совершал даровой переезд малютка-крапивник. Но одинокий остров был лучше всего.

На нем раскинулся птичий город. Все его жители сидели на яйцах, все переругивались, но отношения между ними были самые дружеские. На верхушке утеса, поросшей короткой травкой, мириады тупиков старательно рыли норы. Чуть ниже, на проспекте Гагарок, птиц набилось столько и на такие узкие полки, что им приходилось стоять, повернувшись спиною к морю и крепко держась за камень длинными пальцами. Еще ниже, на улице Чистика, толпились эти самые чистики, задирая в небо узкие игрушечные личики, как делают сидящие на яйцах дрозды. В самом низу находились Моевкины трущобы. И все эти птицы, откладывавшие, подобно человеку, по одному яйцу каждая, жили в такой тесноте, что трудно было разобрать, где чья голова, — пресловутого нашего жизненного

пространства им не хватало настолько, что если новая птица настойчиво пыталась усесться на полке, с нее в конце концов сваливалась одна из прежних ее обитательниц. И при этом все отличались добродушием, веселились, ребячились и поддразнивали друг дружку. Они походили на неисчислимую толпу рыбных торговок, собранных на самой обширной в мире спортивной трибуне, занятых личными препирательствами, что-то поедающих из бумажных кульков, отпускающих шуточки в адрес судьи, распевающих комические куплеты, вразумляющих детишек и сетующих на мужей. «Подвиньтесь-ка малость, тетенька», — говорили они, или: «Протиснись вперед, бабуся»; «Тут идет эта Флосси и садится прямо на креветок»; «Положи ириску в карман, дорогуша, и высморкайся»; «Глянь-кось, это там не дядя Альберт с пивком?»; «Можно я тут приткнусь, я маленькая»; «А вон и тетя Эмма тащится, все-таки сверзилась с полки»; «Шляпка моя не съехала?»; «Эк она раздухарилась!»

Птицы одной породы старались более или менее держаться своих сородичей, но и в этом особой мелочности не проявляли. На проспекте Гагарок там и сям попадались упрямые моевки, сидевшие на каком-нибудь выступе в твердом

намерении бороться за свои права. Всего их там было, наверное, с полмиллиона, и шум от них стоял оглушительный.

Король поневоле задумался, как при таких обстоятельствах пошли бы дела в городе, населенном разными расами.

Затем еще были фиорды и острова Норвегии. Кстати сказать, как раз на одном из тех островов услышал великий В.Г. Хадсон подлинную гусиную историю, над которой не грех задуматься человеку. Жил, рассказывает он нам, на побережьи крестьянин, на чьих островах не было покоя от лис, так что он на одном из них поставил лисий капкан. Назавтра, навестив этот остров, он обнаружил, что в капкан попался старый дикий гусь, видимо, Великий Адмирал, если судить по его крепости и нашивкам. Крестьянин не стал его убивать, а снес домой, подрезал крылья, связал ему ноги и выпустил во двор к своим уткам и курам. Так вот, одно из следствий лисьей докучливости состояло в том, что крестьянину приходилось крепко запирать птичник на ночь. Обыкновенно он выходил под вечер, чтобы загнать туда птицу, а потом запирал дверь. Несколько времени погодя, он приметил одно удивительное обстоятельство, а именно — куры,

которых приходилось раньше собирать по всему двору, теперь дожидались его в сарае. Как-то под вечер он проследил за происходящим и обнаружил, что старый дикий гусь взял на себя работу, значенье которой сумел постигнуть присущим ему разумением. Каждым вечером, ближе ко времени, когда запирался курятник, умудренный старик-адмирал обходил своих домашних товарищей, главенство над коими он на себя возложил, и, обходясь одними лишь собственными силами, благоразумно сгонял их в положенное место — так, словно полностью понимал, для чего это делается. Что же до диких гусей, в былое время летавших следом за ним, они никогда уже не садились на тот остров, — прежде всегда посещавшийся ими, — где был похищен их капитан.

И вот наконец, после всех островов они приземлились в конечном пункте первого дня перелета. О, какое заслышалось восторженное бахвальство, какие всякий обращал к себе поздравления! Они падали с неба, ложась на крыло, выписывая фигуры высшего пилотажа и даже входя в штопор. Они испытывали гордость за себя и за своего лоцмана и нетерпенье при мысли об ожидающих их впереди семейственных наслаждениях.

Перед самой землей они начинали планиро-

вать, изогнув крылья книзу. В последний миг, сильно хлопая крыльями, они ловили в них ветер, и следом — плюх! — оказывались на земле. С минуту подержав крылья над головой, они их складывали, быстро и аккуратно. Они пересекли Северное море.

## 15

Сибирское болото, до которого они добрались через несколько дней, казалось чашей, наполненной солнечным светом. На обступавших его горах еще лежал кружевной снег, который, тая, стекал вниз маленькими речушками, пенистыми, словно эль. Озера посверкивали, накрытые комариными тучами, а среди росших по их берегам карликовых берез слонялись безвредные северные олени, с любопытством принюхиваясь к гусиным гнездам, и гуси, шипя, отгоняли их прочь.

Ле-лек, хоть еще и незамужняя, сразу принялась устраивать место для будущего потомства, так что у Короля образовался досуг, можно было подумать.

Человеком он был доверчивым и уж во всяком случае незлобливым. Предательство, коим вознаградили его труды представители человеческой расы, еще только начинало давить на его сознание тяжким грузом. Он пока не сказал сам себе всей незатейливой правды, но правда эта состояла в том, что его предали все до единого, даже жена и старейший друг. Сын был еще не самым

большим предателем. Созданный Королем Круглый Стол восстал против него, во всяком случае, половина Стола, то же проделала и половина его страны, той самой, для блага которой он трудился всю свою жизнь. Теперь его просили вернуться и снова начать служить предавшим его людям, и он наконец-то понял, — впервые, — что это равносильно погибели. Ибо на что он может надеяться, обретаясь среди людей? Со времен Сократа люди почти неизменно убивали любого порядочного человека, воззвавшего к ним. Они и Бога-то своего убили. Всякий, возвещавший им истину, становился узаконенным объектом предательства, и стало быть приговор, который Мерлин выносил Королю, был смертным приговором.

Здесь же, среди гусей, у которых предательство и убийство приравнивались к непристойности, он, в конце концов, испытал осознанное счастье и покой. Здесь было на что надеяться существу, не лишенному сердца. Случается иногда, что уставший человек, наделенный верой и склонностью к монашеской жизни, ощущает неодолимую потребность удалиться в обитель, в такое место, где душа его раскроется, словно цветок, и станет расти, осуществляя присущее ей представление о добре. Вот такую потребность и испытывал

ныне старый Король, с той лишь разницей, что его обителью было пронизанное солнцем болото. Ему захотелось оставить людей и, наконец, обустроить свою жизнь.

Обустроить ее с Ле-лек, например: ему казалось, что для усталой души это самое лучшее. Он сравнивал ее с другими женщинами, которых знал, и сравнение зачастую оказывалось в ее пользу. Она была здоровее их — ни тебе мигреней, ни прихотей, ни истерик. Она была такой же здоровой, как он сам, такой же сильной, такой же умелой летуньей. Не существовало ничего, что он мог бы сделать, а она не могла, стало быть, общность их интересов была идеальной. Она была понятлива, рассудительна, верна, с ней приятно поговорить. И к тому же она чистоплотнее большинства женщин, ибо проводит половину дня за чисткой перышков, а другую за купанием, и лицо у нее никакой липкой краской не выпачкано. Уж она-то, выйдя замуж, не станет обзаводиться любовниками. Да и красивее она, чем большая часть женщин, ибо фигура ее создана природой, а не искусными ухищрениямие. Она изящна, не ковыляет на ходу, — собственно, и у всех диких гусей походка легкая, — и оперение у нее на его взгляд красивое. И она будет любящей матерью.

Он нашел, что испытывает к Ле-лек, если и не страсть, то очень теплое чувство. Ему были милы ее крепкие лапки с утолщениями наверху, ее аккуратный клюв. На клюве имелись зазубринки, вроде зубов, а крупный язык, казалось, целиком заполнял его изнутри. Ему нравилось, что она никогда не спешит.

Приготовление гнезда увлекало ее так, что приятно было смотреть. Гнездо нельзя было назвать шедевром зодчества, но своему назначению оно вполне соответствовало. Ле-лек очень волновалась, выбирая траву, и когда выбор, наконец, был сделан, она устлала торфяную ямку, донышко которой напоминало мягкую, бурую, влажную и смятую промокашку или еще цирковые опилки, вереском, лишайником, мхом и пухом с собственной грудки, мягким, как паутина. Он несколько раз приносил ей в подарок пучки травы, но трава, как правило, оказывалась неподходящей формы. Собирая эту траву, он по чистой случайности обнаружил, сколь восхитительную вселенную являло собою болото, на котором они обитали.

Ибо то был мир в миниатюре, подобный тем, которые, как рассказывают, выращивают в особых чашах японцы. Ни одному японскому садовнику еще не удавалось вырастить карли-

ковое деревце, столь же схожее с настоящим, сколь стебель вереска, на котором через равные промежутки расположены утолщения, напоминающие пуговичные петли. Здесь, на болоте, у ног Короля расстилались целые леса карликовых деревьев со своими прогалинами и ландшафтными видами. Густейший мох заменял траву, лишайник — подлесок. Здесь живописно лежали рухнувшие стволы, имелись даже странноватого вида цветы — крохотные серо-зеленые стебельки, очень сухие и колючие, с алым шариком наверху, вроде сургучной печати. Здесь росли микроскопические грибы, только шляпки у них заворачивались кверху, напоминая подставку для яиц. А по иссохшему лесу сновали, вместо кроликов и лисиц, отливающие маслянистой чернотой жучки, оправлявшие свои крылья, вращая заостреными хвостиками. Они походили более на волшебных драконов, чем на кроликов, и разнообразие их казалось бесконечным: жучки зеленые, как изумруды, паучки размером с булавочную головку, божьи коровки, отливающие красной эмалью. В углублениях торфа, столь подталиво гнувшегося под ногами, стояли лужицы бурой воды, населенные морскими чудовищами: тритонами и гребляками. Почва

здесь была повлажнее, и на ней бурно разрастались самые разные мхи: у одних были красные стебельки и зеленые головки, другие походили на кукурузу, выращенную лилипутами. Там, где вереск поджигала некая природная стихия, скажем, собранные капельками росы солнечные лучи, — не человек, предпочитающий выжигать болота по весне, когда на них полным-полно птичьих гнезд, — виднелись пустоши с обугленными пеньками, выцветшими добела крошечными улиточьими домиками, не превосходящими размером перечную горошину, и лишайниками цвета шпаклевки, похожими на опаленную губку, — если отломить у такого стебелек, окажется, что внутри он пуст.

Все это при микроскопичности своих размеров простиралось вдаль, и над всем нависали запахи болота, прозрачный воздух, который кажется на болотах таким просторным, солнце, столь сильное, что казалось, будто свет его воистину рушится вниз, солнце, уходящее на ночной покой всего на два часа, и наконец, да оградят нас Небеса, — комары!

Он нередко думал, что птице, наверное, скучно сидеть на яйцах. Теперь он знал, что перед глазами Ле-лек раскинется целая вселенная, мир,

бурлящий прямо под ее носом.

Однажды под вечер, во время совместной прогулки по слепящему озеру, он сделал ей предложение, — не с горячностью страсти, ибо он уже слишком долго прожил в мире и слишком хорошо его знал, но с нежностью и надеждой. В бурой воде отражалось небо, казавшееся в ней еще более синим, — синим, как яйца черных дроздов, только без крапинок. Он подплыл к ней, неглубоко опустив хвост под воду и полого вытянув шею и голову, похожий на плывущую змею. Он поведал ей о своих горестях и недостатках, о том, как он ее обожает. Он рассказал, что соединившись с ней, надеется спастись от Мерлина и от мира. Ле-лек, как обычно, не выказала удивления. Она тоже пригнула шею и подплыла к нему, и увидев покорное выражение ее глаз, он почувствовал себя очень счастливым.

Но, как вы могли бы уже догадаться, черная рука пала с неба и вцепилась в него. Он ощутил, как его сносит назад, — не на крыльях, не в общем перелетном караване, но затягивая в мерзкий туннель волшебства. Исчезая, он успел ухватить одно вспорхнувшее перышко, и Ле-лек скрылась из виду.

## 16

— Ну вот, — воскликнул волшебник едва ли не до того, как путешественник материализовался, — теперь мы можем понемногу начать подбираться к главной идее. Перед нами, наконец, забрезжил свет.

— Дай ему прийти в себя, — сказал козел. — А то у него вид какой-то несчастный.

Но Мерлин отмахнулся от этого предложения.

— Несчастный? Вздор! Он отлично себя чувствует. Я говорил о том, что мы можем понемногу начать подбираться…

— К коммунизму, — сунулся было барсук, близорукий и чересчур поглощенный своим предметом.

— Нет-нет-нет. С большевиками мы покончили. Теперь в его рапоряжении находятся все данные, и мы можем заняться проблемой Силы. Однако, следует предоставить ему возможность самому додуматься до правильных выводов. Желаешь ли ты, Король, выбрать по своему усмотрению любое животное, чтобы я объяснил тебе, почему это животное воюет или не воюет?

— Любое без исключений, — добавил он, на-

клоняясь с чарующей улыбкой вперед, как если бы норовил всучить этих животных, словно дешевые сладости, своей расставшейся со всеми надеждами жертве. — Ты можешь выбрать любого, кто взбредет тебе в голову. Аистов, актиний, акул, амеб, архаров, аскарид…

— Ну, пусть выберет муравьев и гусей, — нервно предложил барсук.

— Нет-нет. Только не гусей. Гуси — это слишком просто. Будем честными, позволим ему выбирать самому. Пусть он выберет, ну, скажем, грачей.

— Очень хорошо, — сказал барсук. — Грачей.

Мерлин откинулся в кресле, соединил концы пальцев домиком и откашлялся.

— Первое, что нам надлежит предпринять, — сказал он, — прежде чем мы перейдем к рассмотрению конкретных примеров, это определить предмет нашего рассмотрения. Что такое война? Войну, насколько я понимаю, можно определить как агрессивное использование силы в отношениях между совокупностями существ, принадлежащих к одному и тому же виду. Причем именно между совокупностями, ибо в противном случае речь идет просто о разбое и оскорблении действием. Нападение одного сумасшедшего волка на стаю — это еще не война. И опять-таки

воевать могут лишь представители одного и того же вида. Птицы, добывающие кузнечиков, кошки, ловящие мышей, или даже тунцы, охотящиеся на сельдей, — то есть рыбы одного вида, нападающие на рыб другого, — все это не дает нам истинных примеров военных действий. Мы видим, стало быть, что имеется два существенных момента: во— первых, воюющие стороны должны принадлежать к одному семейству, и во-вторых, само это семейство должно быть семейством общественных животных. Таким образом, мы можем начать с того, что отбросим всех, кто не живет в сообществах, а уже затем приступить к поискам примеров воинственности в природе. Проделав первое, мы увидим, что у нас останется изрядное число таких животных, как скворцы, пескари, кролики, пчелы и с ними еще тысячи иных. Однако, начав искать среди них примеры воинственного поведения, мы столкнемся с острой нехваткой этих самых примеров. Много ли ты можешь назвать животных, предпринимающих согласованные агрессивные действия против сообществ, принадлежащих к их собственному виду?

Мерлин помолчал пару секунд, ожидая ответа старого Короля, и продолжил лекцию.

— Вот именно. Ты мог бы упомянуть кое-каких насекомых, человека, разного рода микробов или там кровяные тельца, — если о них можно сказать, что они принадлежат к одному виду, — и после этого ты бы в растерянности остановился. Явственная аморальность войн состоит, как я уже указывал, в том, что в природе они редки. А потому нам следует прекратить поиски, испытывая облегчение от того, как удачно сходятся воедино полученные нами данные, — ибо последние могли оказаться чрезмерно объемистыми, — прекратить, стало быть, поиски и заняться характерными особенностями этих видов, столь склонных к вражде. Что же мы обнаружим? Обнаружим ли мы, что воевать свойственно, как могли бы утверждать пресловутые коммунисты, о которых все время твердит барсук, именно тем видам, представители которых владеют частной собственностью? Совсем напротив, мы обнаружим, что воюют как раз те животные, которые склонны ограничивать или запрещать частную собственность. Это муравьи и пчелы с их общинными желудками, это люди с их национальной собственностью режут друг другу глотки; в то время как птицы, обладающие личными женами, гнездами и охотничьими угодьями, кролики

с их собственными норами и животами, пескари с их собственными участками и лирохвосты с их частными сокровищницами и декоративными парками, — они-то все живут в мире. И не следует с презрением отвергать обычные гнезда или охотничьи угодья в качестве форм собственности: для животных они точно такая же собственность, как для людей дома и предприятия. Но самое важное, что они являются именно частной собственностью. Владельцы частной собственности по самой природе своей склоняются к мирной жизни, а вот те, кто додумался до общественной, — вот те-то и воюют. Этот тезис, как нетрудно видеть, полностью противоположен тому, что провозглашает тоталитарная доктрина.

— Разумеется, и в природе владельцы частной собственности порой бывают вынуждены оборонять свои владения от разбойных нападений, совершаемых иными частными лицами. Но это редко приводит к кровопролитию, и людям тут опасаться нечего, тем более что наш Король уже склонил их к тому, чтобы согласиться, в принципе, с применением сил поддержания порядка.

— Однако, ты хочешь возразить мне, что, может быть, силой, связующей воедино воинственных животных, является вовсе не национализм, что

они, может быть, воюют совсем по иным причинам, — например, потому что все они что-то там производят или все владеют домашним скотом, или все они — земледельцы, подобно некоторым из муравьев, или все обладают запасами пищи. Мне нет нужды отнимать у тебя время, обсуждая эти возможности, поскольку ты сам в состоянии разобраться с ними. Пауки — величайшие среди производственников и однако же не воюют; у пчел нет домашних животных и сельским хозяйством они не занимаются, — а войны ведут; многие из агрессивных муравьев никакими запасами пищи не владеют. И вот посредством примерно таких рассуждений, подобных нахождению наибольшего общего делителя в математике, ты так или иначе, а придешь к предложенному мной объяснению, — вообще говоря, самоочевидному, если над ним подумать. Война есть следствие общественной собственности, той самой, которую отстаивают практически все демагоги, торгующие вразнос тем, что они именуют Новым Порядком.

— Я несколько забежал с моими примерами вперед. Для проверки выводов нам следует рассмотреть нечто конкретное. Давайте обратим наши взоры к грачиному гнездовью.

— Итак, перед нами общественное, как и муравей, животное, проживающее вместе со своими товарищами в хорошо проветриваемых общественных помещениях. Эти животные осознают свою национальную принадлежность, и до такой именно степени, что грачиное сообщество изводит грачей, относящихся к другому, живущему в некотором отдаленнии сообществу, если те попытаются свить гнезда на освоенных данным сообществом деревьях. Таким образом, грач — животное не только общественное, но еще и исповедующее национализм, хоть и в незначительной мере. Важно, однако, что грачи не объявляют свои пастбища национальной собственностью. Любое соседствующее с их гнездовьем поле, богатое злаками или червями, посещается не только грачами данного сообщества, но также и представителями всех ближних общин, а на самом деле еще и галками, и голубями, живущими по соседству, и никаких вспышек вражды не возникает. Фактически, грачи если и отстаивают национальную собственность, то лишь в малой мере, — применительно к месту гнездования, и в итоге такое бедствие, как война, им неведомо. Они принимают как должное ту очевидную с точки зрения природы истину, что

доступ к природным ресурсам должен быть открыт для свободного предпринимательства.

— Обратимся теперь к гусям, к древнейшей расе, обладающей одной из наиболее развитых культур и великолепно разработанным языком. Восхитительные музыканты и поэты, господствующие в воздушном пространстве уже миллионы лет и за все это время не сбросившие ни единой бомбы, приверженцы единобрачия и дисциплины, интеллигентные, живущие сообществами, обладающие высокими моральными качествами и чувством ответственности, несокрушимо верующие в то, что никакие природные ресурсы в мире не могут присваиваться какой-либо сектой или семьей, принадлежащей к их племени. На любом приличном поле Zostera marina или пастбище с хорошей травой можно сегодня обнаружить две сотни гусей, а завтра — все десять тысяч. В одной и той же гусиной стае, перелетающей от пастбища к местам отдыха, мы можем видеть как белогрудых, так и серых гусей, а то и казарок. Мир открыт для всех. Но не подумай, что они коммунисты. Каждый отдельный гусь готов сразиться с ближним за обладание гнилой картофелиной, а жены их и гнезда принадлежат им безусловно. Это тебе не муравьи — никаких об-

щинных домов или желудков. И эти прекрасные создания, путешествующие по всему земному шару, не предъявляя прав ни на какую его часть, никогда не воюют.

— Именно национализм, то есть притязание малых общин на какие-то участки совершенно безразличной к ним Земли как на свою общественную собственность, и составляет основное проклятие человека. Мелочные и бестолковые крикуны, адепты ирландского или польского национализма, — вот истинные враги человечества. Да и самих-то англичан, готовых воевать под показным предлогом «защиты прав малых наций», возводя одновременно памятники женщине, замученной за слова о том, что патриотизм это еще не все, можно счесть лишь сборищем благожелательных недотеп, руководимых замечтавшимися проходимцами. Впрочем, особо отличать англичан, ирландцев или поляков было бы нечестно. Мы все сидим в этом по самые уши. Это проявление общего идиотизма Homo impoliticus. И к тому же, хоть я и отозвался столь грубо об этой частности английского характера, я хотел бы сразу добавить, что прожил среди англичан несколько столетий. Если они и представляют собой сборище недотепистых

проходимцев, им по крайне мере не откажешь в благожелательности и мечтательности, а я не могу не счесть эти качества более предпочтительными, нежели тираническая и циничная тупость воюющих с англичанами гуннов. На этот счет я попросил бы никого не заблуждаться.

— И в чем же, — вежливо поинтересовался барсук, — состоит практическое решение?

— А решение самое простое и легкое, какое только можно придумать. Необходимо уничтожить таможенные барьеры, паспорта и законы об иммиграции, превратив человечество в конфедерацию частных лиц. Собственно говоря, следует уничтожить нации и не только нации, но и государства тоже, вообще сделать недопустимым любое объединение людей, превышающее размером семью. Возможно, придется довольно основательно ограничить личные доходы из опасения, что богатые люди могут составить некое подобие нации. Однако нет решительно никакой необходимости превращать частных лиц в коммунистов или в нечто подобное, — это просто противоречит законам природы. Если повезет, то, может быть, лет за тысячу образуется даже новый язык, но самое главное — предоставить живущему в Стоунхендже человеку возможность за один

вечер уложить пожитки и беспрепятственно отправиться искать фортуну в Тимбукту…

— Человеку следует стать перелетной птицей, — подумав, добавил он, и на лице его появилось удивленное выражение.

— Да, но это повлечет за собой катастрофу! — воскликнул барсук. — Японская рабочая сила… Торговля будет подорвана!

— Плевать! Все люди обладают одним и тем же телесным устройством и испытывают одинаковую потребность в пище. Если кули способен пустить тебя по миру тем, что ухитряется прожить в Японии, довольствуясь одной миской риса в день, то самое лучшее для тебя — отправиться в Японию и купить эту миску. Тем самым ты пустишь по миру кули, который, как я полагаю, будет к этому времени разъезжать в твоем роллс-ройсе по Лондону.

— Но ведь цивилизации будет нанесен смертельный удар! Снижение уровня жизни…

— Вздор! Уровень жизни кули только повысится. Если в честном соревновании выяснится, что он не хуже, а то и лучше тебя, — ну, так дай ему Бог удачи. Именно он нам и нужен. Что до цивилизации — сам посмотри, чего она стоит.

— Это приведет к революции в экономике!

— А ты предпочел бы череду Армагеддонов? Ничего по— настоящему ценного, о мой барсук, этот мир пока еще не получал задаром.

— А похоже, — вдруг согласился барсук, — мысль, действительно, стоящая.

— Наконец-то ты понял. Оставь человека при его пустяковой трагедии, раз уж она ему так по душе, и обрати свои взоры к двумстам пятидесяти тысячам прочих животных. Они, за несколькими незначительными исключениями, обладают хотя бы политическим здравомыслием. Выбор-то ведь самый простой: муравей или гусь, — и все, что следует сделать нашему Королю, когда он вернется к людям, это втолковать им, что иного выбора нет.

Барсук, завзятый противник всех и всяческих преувеличений, напористо возразил.

— Прости, — сказал он, — но утверждать, что человеку остается выбирать только между муравьем и гусем, значит смешивать понятия. Во-первых, человек ни в того ни в другого превратиться не может, а во-вторых, муравьи, как нам известно, отнюдь не считают свою долю несчастной.

Мерлин мгновенно отразил аргумент противника.

— Ничего похожего я и не утверждал. Не придирайся к словам. Реально всякому виду предоставляется лишь две возможности: либо следовать собственному эволюционному пути, либо исчезнуть. Муравьи сделали выбор между муравьиным существованием и вымиранием, так же как гуси — между гибелью и жизнью, свойственной гусям. Дело же не в том, что муравьи заблуждаются, а гуси нет. Муравьизм хорош для муравьев, гусизм

— для гусей. Точно так же и человеку предстоит выбирать между человечностью и вымиранием. А человечность в значительной мере определяется разумностью решения той самой проблемы силы, на которую мы пытались взглянуть глазами иных существ. Вот что Королю следует попытаться довести до сознания людей.

Архимед кашлянул и спросил:

— Извини, пожалуйста, хозяин, но если с прозорливостью у тебя сегодня все в порядке, не мог бы ты сказать, удастся это Королю или нет?

Мерлин поскреб в затылке и протер очки.

— В конечном итоге — удастся, — сказал он после долгой паузы. — В этом я уверен. Иначе вся раса сгинет подобно американским вяхирям, каковые, должен добавить, численностью весь-

ма и весьма превосходили человека, и однако же вымерли в конце девятнадцатого столетия за какую-то дюжину лет. Но произойдет ли это в его время или позднее, — для меня дело темное. Главная трудность, когда живешь назад, а думаешь вперед, состоит в том, что начинаешь путаться в настоящем. Это еще одна причина, по которой многие из нас предпочитают ударяться в абстракции.

Престарелый джентльмен сложил ладони на животе, вытянул к огню ноги и, обуреваемый мыслями о нелегкости своего положения во времени, принялся цитировать одного из своих любимейших авторов:

— «Я смотрел, — цитировал он, — как разыгрывается у меня на глазах история смертных, принадлежавших к самым различным народам… королевы и короли, императоры и республиканцы, патриции и плебеи проносились передо мной в обратном порядке… Время хлынуло вспять, разворачивая потрясающие картины. Великие люди гибли, не успев завоевать себе славы. Королей свергали некоронованными. Нерон и Борджиа, Кромвель, Асквит и иезуиты вкушали вечное бесчестье и лишь затем принимались его зарабатывать. Моя родная страна растаяла в

Британии варваров, Византия — в Риме, Венеция — в Аквилее венетов, Эллада — в неисчислимых блуждающих племенах. Падали и лишь затем наносились удары.»

Тишину, наступившую вслед за воссозданием этой впечатляющей картины, нарушил козел, вернувшийся к прежней теме.

— Что ты там ни говори, — сказал козел, — а вид у него несчастный.

В первый раз после возвращения Короля звери пригляделись к нему и в комнате повисло молчание.

## 17

Король, так и сидевший с пером в руках, смотрел на зверей. Перо он держал, сам того не сознавая, — то был последний оставшийся у него кусочек прекрасного. Он защищался им от зверей, словно оружием, способным удержать их на расстоянии.

— Никуда возвращаться я не намерен, — сказал он. — Вам придется подыскать другого вола, чтобы тянуть вашу лямку. Зачем вы меня вернули? Почему я должен умирать за людей, о которых вы сами говорите с таким презрением? Ведь среди них меня ожидает смерть. Люди глупы и свирепы, — это слишком верно. Каких только горестей не натерпелся я от них, кроме разве что смерти. Неужели вы полагаете, что они прислушаются к слову мудрости, что тупица поймет его и отбросит оружие? Нет, он убьет меня за это слово, — убьет, как муравьи убили бы альбиноса.

— И Мерлин, — воскликнул он, — я боюсь смерти, потому что пожить мне так и не удалось! У меня не было собственной жизни, не было времени, чтобы проникнуться красотой. Я только-только начал ее замечать. Ты показал мне

красоту и тут же отнял ее у меня. Ты переставляешь меня, будто шахматную фигуру. Имеешь ли ты право хватать мою душу и лепить из нее то, что тебе требуется, лишая мой разум собственного разумения?

— Да, звери, я вас подвел, я знаю. Я не оправдал вашего доверия. Но я не могу снова влезать в ярмо, слишком долго вы заставляли меня тянкть его. Ради чего я должен был оставить Ле-лек? Я никогда не был умен, я был только терпелив, но и терпению приходит конец. Никто не в состоянии протерпеть всю свою жизнь.

Они не смели ему отвечать, просто не находили слов.

Ощущение вины и растраченной впустую любви наполняло Артура страданием, от которого ему приходилось защищаться гневом.

— Да, вы умны. Вам известны длинные слова, вы умеете жонглировать ими. Если фраза кажется вам удачной, вы усмехаетесь и произносите ее. Но хихикаете-то вы над человеческими душами, и это мою душу, единственную, какая у меня есть, вы снабдили биркой и внесли в каталог. И у Ле-лек тоже была душа. Кто обратил вас в богов, распоряжающихся чужими судьбами, кто поставил вас выше наших сердец, так что вы

пытаетесь руководить их движениями? Хватит, я больше не стану делать для вас грязной работы и ваши грязные планы мне больше не интересны, я уйду с гусиным народом в какое-нибудь тихое место, где мне дадут спокойно умереть.

Голос его задрожал, став голосом старого, жалкого горемыки, он рывком откинулся в кресле и закрыл руками лицо.

В этот миг обнаружилось, что посреди комнаты стоит ежик. Крепко стиснув лиловатые пальчики в кулаки, задрав в ожидании вызова яростный носик, тяжело дыша, он встал — маленький, гневный, вульгарный, заеденный блохами, с торчащими между иголок сухими листьями, — один против всего комитета, и комитет испугался.

— А ну все отвалили, ясно? — решительно заявил он. — И больше к нему не суйтесь. С этим парнем надо по-честному.

И ежик отважно шагнул, занимая позицию между комитетом и своим героем, готовый сбить с ног первого, кто посмеет сунуться вперед.

— Ага, — сакркастически произнес он. — Трухлявая компания балабонов, вот вы кто такие по-нашему. Тоже мне, Пилаты собрались, — человека они судят. Бу-бу-бу, бу-бу-бу. Вот пускай только пальцем кто его тронет, я тому враз сверну

грязную шею.

Мерлин жалостно запротестовал:

— Но никто и не хотел, чтобы он делал что-нибудь против воли…

Ежик подошел к чародею, придвинул свой подергивающийся носишко вплотную к его очкам, так что тот отшатнулся, и фыркнул волшебнику прямо в лицо.

— Ну да, — сказал он. — А никто никогда ничего и не хочет. Только почему-то помнит все время, что чья сила, того и воля.

После чего он возвратился к сокрушенному Королю, остановившись с тактом и благородством на некотором расстоянии от него, ибо помнил о блохах.

— Ну их, хозяин, — сказал он, — засиделся ты тут. Пошли, прогуляешься с маленьким ежиком, подышишь Божьим воздухом да приложишь головушку к лону земному.

— И забудь об этих пустомелях, — прибавил он. — Пусть себе препираются до истерики, чума их возьми. А ты иди, подыши воздухом с простым человеком, небом полюбуйся.

Артур протянул ежику руку и тот несмело подал ему свою, отерев ее предварительно об иголки на спине.

— Он ежик-то, может, и блохастый, — скорбно пояснил он при этом, — да честный.

Они вместе направились к двери; на пороге еж, обернулся и окинул взглядом покидаемое поле сражения.

— Оривор, — добродушно обронил он, с невыразимым презрением оглядев комитет. — Смотрите, не разрушьте до нашего возвращения Божий мир. Другого-то вам не сделают.

И он язвительно поклонился потрясенному Мерлину:

— Наше вам, Бог Отец.

И несчастному Архимеду, который сидел, отвернувшись, вытянувшись и закрыв глаза:

— Бог Сын.

И с мольбой взиравшему на него барсуку:

— И Бог Пух Святой.

## 18

Ничего нет прекраснее весенней ночи в деревне, особенно самых поздних ее часов, и самое лучшее, если ты в это время один. В эти часы, когда слышишь снующих своими путями обитателей дикой природы, коров, начинающих вдруг жевать в аккурат перед тем, как на них натыкаешься, и тайную жизнь листвы, и звуки, издаваемые травой, которую кто-то тянет и дергает, и прилив крови в твоих собственных венах; когда видишь в глубокой тьме очертания холмов и деревьев и звезды, вращающиеся сами собой в своих на славу смазанных лунках; когда лишь один огонек виднеется в дальнем домишке, обозначая чью-то болезнь или раннее пробуждение для какой-то таинственной поездки; когда тяжело ухают подковы лошадей и поскрипывает следом телега, везущая на неведомый рынок спящих среди кулей мужчин; когда собаки звякают цепями на фермах, и тявкает и затихает лиса, и умолкают совы; — как чудесно в эти часы ощущать себя живым и сознающим все вокруг, пока все остальные люди, вытянувшись в постелях, лежат по домам, бессознательные, отдавшие себя

на милость полуночного разума.

Ветер стих. Запорошившие безмятежное небо звезды расширялись и съеживались, образуя картину, которая звенела бы, если б могла звучать. Огромный скалистый холм, на который взбирались двое, величественный, хоть и грязный, громоздился на фоне неба, словно заострившийся горизонт.

Ежик с трудом перебирался с кочки на кочку, всхрюкивая, валился в тинистые лужицы, пыхтел, карабкаясь на крохотные обрывы. В самых трудных местах утомленный Король подавал ему руку, поднимая его туда, где почва была потверже, подсаживал, каждый раз замечая, как трогательно и беззащитно выглядят сзади его голые ножки.

— Благодарствуйте, — повторял ежик. — Премного вам обязаны, будьте уверены.

Когда они добрались до вершины, ежик, отдуваясь, опустился на землю, и Король сел рядом с ним, чтобы полюбоваться открывшимся видом.

Всходила поздняя луна, и перед ним медленно возникала Англия — его королевство, Страна Волшебства. Распростертая у его ног, она тянулась к далекому северу, немного кренясь к воображаемым Гебридам. Это была его родная земля.

Луна, от которой древесные тени казались значительнее, чем сами деревья, ртутью наливала молчаливые реки, разглаживала игрушечные пастбища, подергивая все вокруг легким маревом. Но Король чувствовал, что узнал бы свою страну и без света. Он знал, где должен быть Северн, где Даунс, где Скалистый край, — незримые, но неотъемлемые от его дома. Вон на том поле должна пастись белая лошадь, а там — сушиться на изгороди стиранное белье. Только так это и могло быть.

Внезапно он ощутил острую и печальную красоту существования, просто существования, вне любых представлений о правом и неправом, он ощутил, что сам по себе факт существования в мире и есть конечная истина. Он ощутил прилив жгучей любви к стране, лежащей у его ног, не потому, что она хороша или дурна, но потому, что она существует, потому что золотыми вечерами по ней тянутся тени пшеничных копен; потому что гремят хвосты у бегущих овец, а хвосты сосущих ягнят вращаются, словно маленькие вихри; потому что наплывают волнами света и тени чудесные облака; потому что по выпасам ищут червей стайки золотисто— зеленых ржанок, коротко перепархивая с места на место навстречу

ветру; потому что похожие на старых дев цапли, которые, согласно Дэвиду Гарнетту, закалывают рыбьими костями свои волоски, чтобы те стояли торчком, падают в обморок, если мальчишке удается незаметно подкрасться к ним и гаркнуть во все горло; потому что дымы от жилищ синими бородами блуждают по небу; потому что в лужах звезды ярче, чем в небесах; потому что существуют лужи, и протекающие водосточные желобы, и покрытые маками кучи навоза; потому что выскакивает вдруг из реки и падает обратно лосось; потому что свечи каштанов выпархивают из ветвей в ароматном весеннем воздухе, словно чертики из табакерок или малютки— призраки, топырящие кверху зеленые лапки, чтобы тебя напугать; потому что вьющие гнезда галки вдруг повисают в воздухе с ветками в клювах, превосходя красотою любого голубя, возвращающегося в ковчег; потому что в свете луны под ним простиралось величайшее из благ, дарованных Господом миру, — серебристый дар мирного сна.

Он понял вдруг, что любит эту страну, — сильнее, чем Гвиневеру, сильнее, чем Ланселота, сильнее, чем Ле-лек. Она была и матерью его, и дочерью. Он знал наречия ее народа, он ощутил бы, как она преображается под ним, если бы смог,

словно гусь, которым он был когда-то, промчаться над ней по воздуху от «Зомерзета» до Озерного края. Он мог бы сказать, что думают простые люди о том, об этом, — да о чем угодно, — даже не спрашивая их. Он был их Королем.

А они были его народом, от отвечал за них, — будь они stultus или ferox, — как тот старый гусиный адмирал отвечал за обитателей крестьянского подворья. Сейчас-то они свирепыми не были, потому что спали.

Англия лежала у ног старика, словно заснувший мальчик. Проснувшись, он примется топать ногами, хвататься за что попало, все ломать, убивать бабочек, таскать кошку за хвост, — вообще взращивать свое эго с аморальной и жестокой сноровкой. Но во сне эта мужская склонность к насилию оставляла его. Сейчас мальчик лежал беззащитным, уязвимым, походя на младенца, уверенного, что мир позволит ему спокойно поспать.

И на ум Королю пришли вдруг совсем не ужасные, но, напротив, — прекрасные качества человека. Он увидел огромную армию свидетельствующих в пользу человечества мучеников: молодых мужчин, многие из которых отказались даже от первых семейных радостей и ушли, чтобы

пасть на грязных полях сражений, подобных полю под Бедегрейном, пасть за то, во что верят другие, но ушли-то они по собственному свободному выбору, ушли, уверенные, что это необходимо, ушли, хотя им вовсе этого не хотелось. Возможно, они были попросту невежественными юнцами, умиравшими за бессмыслицу. Но невежество их было невинным. И они, в своей невежественной невинности, сделали нечто немыслимо трудное и сделали не для себя.

Он увидел вдруг всех, кто когда-либо приносил себя в жертву: ученых, голодавших во имя истины, поэтов, не принявших сулившего им успех компромисса, родителей, задушивших свою любовь, чтобы дать детям достойную жизнь, врачей и священников, умиравших, чтобы помочь людям, миллионы крестоносцев, в массе своей глуповатых и за эту глупость убитых, — но желавших добра.

Вот оно — желавших добра! Он уловил, наконец, проблеск этой необычайной особенности человека, это странное, альтруистичное, редкостное и упрямое благородство, заставляющее писателей и ученых отстаивать свои истины даже под угрозою смерти. Eppur si muove, — как еще предстояло сказать Галилею,

— а все-таки она вертится. Его вполне могли сжечь, если бы он продолжал держаться за столь несообразный вздор — за утверждение, что Земля будто бы вращается вокруг Солнца, но он все-таки вынужден был упорствовать в своих высокомерных притязаниях, поскольку существовало нечто, ценимое им превыше себя самого. Истина. Осознанное понимание Того, Что Есть. Вот на что способен человек, на что способны англичане, любимые им, спящие, беззащитные в этот миг англичане. Быть может, они и тупы, и свирепы, и аполитичны, и вообще почти безнадежны. Но время от времени, — так нечасто, так редко, так величественно,

— а все равно появляются люди, готовые взойти на плаху и отдать себя палачу, готовые даже сгинуть, ничего по себе не оставив, ради дела, которое больше их самих. Истина, эта странная штука, посмешище Пилата. Сколько глуповатых юнцов полагало, что они умирают ради нее, и сколькие еще умрут за тысячи, может быть, лет. Их истина необязательно будет такой же бесспорной, как та, что еще откроется Галилею. Довольно и того, что они, немногочисленные и замученные, явят пример величия, нечто даже большее суммы всего того, чем они в невежестве

своем обладали.

И тут его снова захлестнула печаль, мысль о том, каким станет мальчик, едва лишь проснется, мысль об этом жестоком и скотоподобном большинстве, среди которого мученики — столь редкое исключение. А она тем не менее вертится. Как мало, как до ничтожности мало тех, кто готов эту мысль отстаивать!

Он едва не заплакал от жалости к миру, к мерзостности его, да еще и такой ничтожной.

Ежик заметил:

— А ничего местечко, верно?

— Верно, парень. Жаль только сделять для него я ничего не могу.

— Да уж сделал. Ты ж наш заступник.

— В долине ожил домишко. Глазок света мигнул, и Король ощутил, как зажегший его человек, — браконьер, скорее всего, медлительный, неуклюжий и упорный, словно барсук, — натягивает тяжелые сапоги.

— Сыр?

— Сир, парень; и не «куличество», а «величество».

— Величество?

— Точно, парень.

— А ты помнишь, как я тебе когда-то песенки

пел?

— Как не помнить. «Старый мостик», «Гиневьеву» и… и…

— «Дом, милый дом».

Король вдруг поник головой.

— Может, спеть тебе снова, а, Величество?

Но Король смог лишь кивнуть.

Ежик встал в свете луны и принял приличествующую пению позу. Он пошире расставил ножки, ручки сложил на животе и зацепился взглядом за какой-то удаленный предмет. Затем чистым деревенским тенорком он спел Королю Англии про дом, милый дом.

Глупенькая, простая мелодия стихла, — а впрочем при свете луны, на горе, стоящей в твоем королевстве, она вовсе не кажется глупой. Ежик пошебуршил ножками, покашлял, у него явно было что-то еще на уме. Однако Король безмолвствовал.

— Величество, — стесняясь, вымолвил еж, — у нас еще новая есть.

Ответа не было.

— Мы как узнали, что ты придешь, новую разучили. Вроде как для приветствия. Нас этот Мирн научил.

— Спой, — выдохнул старик. Он откинулся на

вереск, ибо чувствовал, что силы его на исходе.

И вот, здесь, на английских высотах, чисто произнося каждое слово, старательно выученное с голоса Мерлина, на музыку, написанную в будущем Пэрри, держа в одной серой ручке свой меч из веточек, на колеснице из покрытых плесенью листьев, ежик поднялся, чтобы возвести Иерусалим — Иерусалим и ничто иное.

О! где мой лук в златом огне?

Где стрелы страсти? Где мой щит?

Раздайтесь, тучи! Пусть ко мне, Пылая, колесница мчит.

Дерзай, мой дух, неодолим.

Не спи, мой меч, доколе я Не возведу Иерусалим В зеленых Англии полях.

## 19

Бледные лица сгорбившихся у огня членов комитета единым движением обратились к двери, и шесть пар виноватых глаз уставились на Короля. Но в дверь вошел не Король, вошла Англия.

Говорить или объяснять что-либо не имело смысла: все было видно по его лицу.

Звери поднялись, приблизились к Королю и смиренно его обступили. Мерлин, к удивлению Короля, оказался стариком, руки которого трепетали, как листья. Он беспрестанно сморкался в свой колпак, из которого сыпался истинный дождь мышей и лягушек. Барсук горько плакал, бессознательно прихлопывая каждую слезу, повисавшую на кончике его носа. Архимед, чтобы скрыть, как ему стыдно, окончательно свернул голову задом наперед. Весь облик Каваля выражал муку. T. natrix, у которого в каждой ноздре стояло по чистой слезинке, сложил голову к королевским стопам. А мигательная перепонка Балина билась со скоростью морзянки.

— Боже, храни Короля, — сказали они.

— Можете сесть.

Итак, после того, как Артур опустился в предсе-

дательское кресло, звери почтительно присели — Королевский Тайный Совет.

— В скором времени, — сказал Король, — нам предстоит вернуться в наше светлое королевство. Прежде чем мы удалимся, мы желали бы задать несколько вопросов. Первый: здесь было сказано, что в будущем появится человек, подобный Джону Боллу, было сказано также, что он окажется дурным натуралистом, поскольку станет утверждать, будто людям следует жить на манер муравьев. Какими доводами опровергаете вы это утверждение?

Мерлин поднялся и стянул с головы шляпу.

— Это вопрос естественной морали, сир. Комитет полагает, что всякому виду, желающему жить в согласии с этой моралью, следует развиваться в рамках присущей ему специализации. Слону довлеет заниматься своим хоботом, а гирафе, или хамелеопарсу — своей шеей. Если же слон возжелает летать, таковое его желание надлежит счесть аморальным, ибо у слона отсутствуют крылья. Специальной особенностью человека, столь же развитой у него, сколь шея у гирафы, является кора его головного мозга. Это часть мозга, которая вместо того, чтобы обслуживать инстинкты, отвечает за память, дедукцию и те формы мышления,

благодаря которым индивидуум осознает себя как личность. Устройство человеческой головы позволяет человеку сознавать себя отдельным существом, что совсем не часто случается с животными или даже дикарями, и потому любая форма коллективизма, декларируемая в качестве политической доктрины, противоречит специализации человека.

— В этом, к слову, и состоит причина, — медленно продолжил старый джентльмен, и глаза его заволоклись пленкой, словно глаза усталого, страдающего ясновидением грифа, — по которой я всю долгую мою жизнь, растянувшуюся вспять на несколько утомительных столетий, вел собственную малую войну против силы во всех ее проявлениях, и оттого же я — по праву или без оного — склонял и других людей вести ее. Вот почему я некогда убедил вас, сир, с презрением относиться к мании игр и противопоставить вашу мудрость баронам, верующим в Сильную Руку; полагаться более на правосудие, нежели на силовое правление; и собрав воедино все силы ума, постараться установить, — что и мы старались проделать этой затянувшейся ночью, — в чем причина битв, которые мы ведем, ибо война — это проявление силы, не признающей узды

и летящей, не разбирая дороги. Я не стал бы предпринимать этого крестового похода на том единственном основании, что сила является неприемлемой с отвлеченной точки зрения. Ибо для боа-констриктора, представляющего собой практически одну огромную мышцу, утверждение «Сильный — прав» было бы справедливым буквально; для муравья, мозг которого устроен не так, как мозг человека, в буквальном смысле справедливо, что государство важнее личности. Но применительно к человеку, чья специализация кроется в осознающих собственную личность складках его мозговой коры, — столь же развитых у него, сколь развиты мышцы боа— констриктора, — в такой же мере справедливы утверждения, что правота определяется не силой, а духовной истинностью, и что личность гораздо важнее государства. Настолько важнее, что человеку следует уничтожить государство. Пусть боа-констрикторы предаются самолюбованию оттого, что они — такие вот мускулистые атлеты: для них мания игр, сильная рука и тому подобное — это именно то, что требуется. Возможно, сетчатый узор питона представляет собой некую разновидность шерстяного борцовского трико самого большого размера. Пусть муравьи утверждают

славу своего государства: нет никаких сомнений в том, что тоталитаризм — лучшая для них форма общественного устройства. Что же до человека, то комитет полагает, — и не на основании отвлеченных определений правоты и неправоты, но исходя из конкретного, данного самой природой определения, согласно которому каждый вид обязан следовать своей специализации: в сфере человеческой деятельности сила вообще никогда не бывает права; государство не может стоять выше личности; будущее принадлежит душе отдельного человека.

— Возможно, вам стоит подробнее рассказать о мозге.

— Сир, в этой старой черепной коробке происходит немало интересного, но для целей нашего расследования мы ограничимся двумя разделами мозга: корой и полосатым телом. Последнее определяет, попросту говоря, мои инстинктивные и машинальные действия, в первой же у меня хранится тот самый разум, за который наша раса всем на удивление получила прозвище sapiens. Возможно, я смогу пояснить это, прибегнув к уподоблению, хотя уподобления чреваты опасностью и зачастую уводят нас в сторону. Полосатое тело подобно отдельному зеркалу,

которое в ответ на поступающие в него возбуждения отражает вовне инстинктивные действия. В коре же размещены целых два зеркала. Каждое способно видеть себя самого, по этой причине они осведомлены о своем существовании. Кто-то когда-то сказал: человек, познай самого себя, — иными словами, истинная наука о человеке, как выразился еще один философ, это сам человек. Это потому, что человек специализируется по части развития коры головного мозга. У других животных с развитым мозгом основную роль играет не то отделение, где стоят два зеркала, а другое — с одним. Помимо человека, весьма немногие животные осознают себя личностями. Даже примитивным народам, принадлежащим к человеческому сообществу, еще свойственно смешивать человека с его окружением, — ибо дикий индеец, как вы, может быть, знаете, делает столь малое различие между собой и окружающим миром, что когда ему нужен дождь, он начинает плеваться. Нервная система муравья может быть названа однозеркальной, как у дикаря, поэтому для муравья естественно быть коммунистом, растворяться в толпе. Цивилизованному же человеку, мозг которого двузеркален, приходится специализироваться в развитии собственной

личности, в самопознании, — назовите это, как вам угодно, — и именно потому, что два этих зеркала отражаются одно в другом, человек никогда не сможет преуспеть в качестве беззаветного пролетария. Он обязан обладать собственной высокоразвитой личностью и всем, что с ней связано, включая эгоизм и инстинкт собственника. Прошу простить сделанное мною уподобление, если оно показалось вам неуместным.

— Обладают ли гуси корой головного мозга?

Мерлин снова поднялся.

— Да, и для птиц очень приличной. У муравьев же нервная система устроена иначе, в ней главную роль играет некое подобие полосатого тела.

— Второй вопрос касается войны. Нам предлагалось тем или иным способом уничтожить ее, однако никто не дал ей возможности высказаться в свою защиту. Вероятно, существует все же нечто такое, что можно сказать и в пользу войны. Мы желали бы это услышать.

Мерлин положил шляпу на пол, пошептался с барсуком, и тот, порывшись в куче протоколов, извлек, ко всеобщему удивлению, именно тот документ, который искал.

— Сир, комитет уже занимался этим вопросом и позволил себе набросать список pro и contra,

который мы готовы вам зачитать.

И прочистив горло, Мерлин громко провозгласил:

— PRO.

— В пользу войны, — пояснил барсук.

— Пункт первый, — сказал Мерлин. — Война является одной из главных движущих сил героической романтики. Без войны у нас не было бы ни Роландов, ни Маккавеев, ни Лоуренсов, ни Ходсонов, ни Ходсоновой легкой кавалерии. Не было бы и Креста Виктории. Война стимулирует так называемые добродетели, такие как храбрость и взаимовыручка. Фактически война не лишена своих возвышенных сторон. Следует также отметить, что не будь войны, мы лишились бы половины нашей литературы. Шекспир пропитан войной.

— Пункт второй. Война предоставляет способ борьбы с перенаселением, пусть и отвратительный, и не вполне эффективный. Тот же самый Шекспир, во всем, что касается войны, согласный, по всей видимости, с немцами и с их бредовым апологетом Ницше, говорит в сцене, которую он, как полагают, написал для Бомонта и Флетчера, что война врачует кровью больную землю, исцеляя мир от избытка людей. Возможно, мне

стоило бы отметить в скобках, — разумеется, со всевозможной почтительностью, что в своем отношении к войне Бард представляется мне на удивление неразумным. «Генрих V» — мерзейшая из известных мне пьес, и сам Генрих — персонаж премерзостный.

— Пункт третий. Война дает выход заключенной в человеке свирепости, и пока человек остается дикарем, некое средство такого рода представляется необходимым. Изучив историю, комитет обнаружил, что когда перекрывается один из выходов человеческой жестокости, она сразу находит другой. В восемнадцатом и девятнадцатом столетиях, когда война представляла собой довольно скромный ритуал, практикуемый профессиональными армиями, которые вербовались в преступной среде, широкие массы населения находили утешение в публичных казнях, стоматологических операциях без применения наркоза, кровопролитных видах спорта и сечении собственных детей. В двадцатом веке война получила столь широкое распространение, что к участию в ней стали привлекаться и эти самые массы, после чего повешения, резание по живому, петушиные бои и порки вышли из моды.

— Пункт четвертый. В настоящее время комитет занят серьезными исследованиями, имеющими целью прояснить, до какой степени война является необходимой в физиологическом и психологическом планах. На данной стадии исследований мы еще не считаем возможным представить продуктивный отчет, однако мы, как нам кажется, установили, что война отвечает определенным реально существующим потребностям человека, — быть может, состоящим в связи со свирепостью, упомянутой в пункте третьем, но возможно и не состоящим. Нам удалось заметить, что после того, как хотя бы одному поколению удается прожить свои сроки в мире и спокойствии, человечеством овладевают уныние и тревога. Бессмертный, если не всеведущий, Лебедь Эйвона замечает, что, по всей видимости, мирная жизнь, претворяясь в человеческой голове в подобие абсцесса, прорывается наружу войной. «Война,

— говорит он, — это гнойник довольства и покоя, вовне прорвавшись, он не даст понять, как умер человек». В рамках такой интерпретации мирная жизнь — это вялое течение болезни, в то время как прорыв гнойника, то есть война, является скорее благотворным, нежели наобо-

рот. Комитет установил два способа, которыми довольство и покой могут уничтожить расу, если не позволять разразиться войне, а именно: человеческая раса либо утратит мужественность и обессилит, либо вследствие гормонального расстройства погрузится в коматозное состояние. И кстати о мужественности, — стоит отметить, что война вдвое повышает коэффициент рождаемости. Причина, по которой женщины терпят войну, состоит в том, что она стимулирует половую активность мужчин.

— Пункт пятый. Наконец, существует довод, который, вероятно, могло бы выдвинуть любое из обитающих на земле животных за вычетом человека, а именно, что война представляет собой неоценимое благо для творения Божия в целом, ибо она дает слабую надежду на самоистребление человеческого рода.

— CON, — объявил чародей, но Король остановил его.

— Возражения нам известны, — сказал он. — Идею полезности войны следует рассмотреть подробнее. Если Сила чем-то полезна, зачем тогда комитет намеревается чинить ей препоны?

— Сир, комитет пытается выявить физиологические основы войны, возможно, связанные

с гипофизом и адреналином. Не исключено, что человеческому организму для сохранения здоровья необходима периодическая адреналиновая подпитка. (Если рассмотреть гормональную активность организма на примере, скажем, японцев, то мы увидим, что они в больших количествах потребляют рыбу, которая, насыщая их тела иодом, увеличивает щитовидные железы, делая японцев до крайности раздражительными.) Пока эти вопросы не исследованы должным образом, мы остаемся в неопределенности, однако, комитет хотел бы указать, что данная физиологическая потребность может быть удовлетворена и иными способами. Война, как уже отмечалось, представляет собой малоэффективное средство сокращения населения, точно так же она может оказаться и неэффективным способом осуществляемой с помощью страха стимуляции адреналиновых желез.

— Каковы же иные способы?

— Во времена Римской Империи был поставлен эксперимент, по ходу которого в качестве подмены испытывались кровавые представления в цирках. Они обеспечивали то самое очищение, о котором твердит Аристотель, — вполне возможно, что и нам удастся отыскать некую

альтернативу, которая сумеет доказать свою эффективность. Однако, куда более радикальные снадобья способна предоставить наука. Либо удастся подпитывать гормональную недостаточность посредством периодических инъекций адреналина всему населению, либо, — поскольку недостаточность может носить и иной характер, — найдется какая-либо действенная форма хирургического вмешательства. Быть может, коренную причину войны можно будет попросту удалять, — как аппендикс.

— Нам было сказано, что война вызывается национальной собственностью, теперь же мы слышим, что ее причиняет некая железа.

— Сир, эти два момента вполне могут находиться в связи, пусть даже и не причинно-следственной. Например, если бы национальная собственность была единственной причиной войны, мы могли бы ожидать, что войны так и будут без перерыва продолжаться до тех пор, пока таковая собственность существует. Мы видим, однако, что они перемежаются периодами затишья, называемыми миром. Складывается впечатление, что в такие спокойные периоды человечество впадает во все более глубокую спячку, пока, наконец, не достигает того, что

можно было бы назвать точкой насыщения адреналиновой недостаточности, и уже тут оно хватается за первый подвернувшийся повод для хорошей инъекции стимулянта, сиречь страха. Таким подручным поводом и является национальная собственность. Даже если войну рядят в религиозные одежды, как скажем, крестовые походы против Саладина или альбигойцев, или Монтесумы, основа ее все-таки остается неизменной. Никто бы не потрудился распространять на Монтесуму блага христианской веры, если бы сандалии его не были сделаны из золота, но и никто не счел бы золото достаточно соблазнительным, когда бы не потребность в хорошей дозе адреналина.

— Вы предлагаете использовать альтернативные средства вроде римского цирка, пока не будет закончено ваше исследование, касающееся работы желез. Вы рассмотрели эти средства с достаточной основательностью?

Архимед неожиданно захихикал.

— Мерлин хочет устроить международную ярмарку, сир. Он хочет, чтобы там имелось множество качелей, гигантских колес, живописных железных дорог, проходящих по резервациям, и чтобы все это было отчасти опасно и примерно

один человек из ста убивался до смерти. Посещение следует сделать добровольным, ибо, как он говорит, одна из наиболее нестерпимых особенностей войны — это всеобщий призыв. Он уверяет, что люди станут ходить на такие ярмарки по собственной воле — от скуки, от адреналиновой недостаточности или от чего угодно, и что они, скорее всего, будут испытывать потребность в таких развлечениях, в возрасте двадцати пяти, тридцати и сорока пяти лет. Посещение следует обставлять как дело престижное и почетное, и каждый посетитель должен получать памятную медаль, тех же, кто придет пятьдесят раз, следует удостаивать Креста за выдающиеся заслуги, — по-моему, так он выразился, — а за сто посещений награждать Крестом Виктории.

Волшебник с пристыженным видом пощелкал суставами пальцев.

— Это предложение, — униженно произнес он, — предназначалось скорее для пробуждения фантазии, чем для серьезного обсуждения.

— В настоящее время оно определенно не представляется осуществимым на практике. Имеются ли иные панацеи от войн, к которым мы можем прибегнуть ныне?

— Комитет предложил некое противоядие,

которое может дать временное облегчение, подобное тому, какое приносит сода насыщенному кислотой желудку. В качестве целебного средства оно бесполезно, хотя и может смягчить течение болезни. Оно могло бы спасать по нескольку миллионов жизней в каждом столетии.

— И в чем же оно состоит?

— Сир, вы, возможно, заметили, что люди, ответственные за объявление войны и руководящие ее ходом, не особенно склонны переносить тяготы, которыми она чревата. В битве при Бедегрейне Ваше Величество уже сталкивалось с чем-то подобным. Короли и генералы, командующие сражениями, имеют странное обыкновение выходить из них живыми. Комитет предлагает по завершении каждой войны немедленно предавать смерти всех официальных лиц проигравшей стороны, имеющих чин не ниже полковника, — безотносительно к тому, виновны ли они в развязывании войны или не виновны. Такая мера, разумеется, является отчасти несправедливой, но понимание того, что неминуемым результатом поражения в войне будет смерть, может оказать сдерживающее воздействие на тех, кто ободряет и направляет подобного рода предприятия, предотвратив же какое-то количество войн,

она поможет сохранить жизни нескольких миллионов представителей низших слоев общества. Даже фюрер вроде Мордреда дважды подумает, стоит ли ему раздувать вражду, если будет знать, что в случае неудачи его ожидает казнь.

— Это представляется нам разумным.

— Это не так разумно, как представляется, отчасти и потому, что ответственность за развязывание войн не лежит целиком на одних только вождях. В конце концов, вождя ведь избирают и принимают те, кого он ведет. Гидроголовая масса не так уж и невинна, как она любит изображать. Она развязывает своим генералам руки, стало быть, она и обязана нести моральную ответственность.

— И все же, такая мера могла бы повлиять на вождей, заставив их противиться подданым, подталкивающим их к войне. Уже одно это могло бы помочь.

— Могло бы. Трудность прежде всего в том, чтобы уговорить правящие классы принять подобное соглашение. Кроме того, я боюсь, что всегда отыщется маньяк из тех, кто готов на все, даже на мучительную смерть, лишь бы заработать дурную славу. Эти будут рваться к прелестям власти с еще пущим пылом, лишь усугубляемым

возможностью мелодраматической расплаты. Королей ирландской мифологии их положение обязывало идти в бой впереди своих армий, что и оборачивалось для них жутким уровнем смертности, и однако ни в королях, ни в сражениях история Зеленого Острова недостатка не испытывала.

— А как насчет того новейшего закона, который придумал наш Король? — вдруг поинтересовался козел. — Если частных лиц можно удержать от убийства боязнью смертной казни, то почему бы не установить международного закона, который позволит пободными же средствами удерживать народы от войн? Агрессивная нация может держаться за мир, зная, что если она затеет войну, некая международная полиция приговорит ее к рассеянию посредством, скажем, массовых депортаций в другие страны.

— На то есть два возражения. Во-первых, это будут попытки лечить болезнь, а не предотвратить ее. Во-вторых, мы по опыту знаем, что введение смертной казни убийств на самом деле не прекращает. Однако, и такая мера может оказаться благотворным, пусть и временным шагом в нужном направлении.

Старик засунул, словно китаец, кисти рук в

рукава и, ожидая дальнейших вопросов, угрюмо уставился в стол, за которым восседал совет. Глаза его начинали утрачивать присущую им пронзительность.

— Он тут все писал книгу под названием «Libellus Merlini, или Пророчества Мерлина», — ядовито сообщил Архимед, когда стало ясно, что обсуждение прежней темы закончено, — очень хотел почитать ее Вашему Величеству, как только вы появитесь.

— Мы готовы выслушать чтение.

Мерлин всплеснул руками.

— Сир, — сказал он, — это заурядное предсказание судьбы, цыганские штучки, не более того. Я вынужден был ее написать, потому что она наделала много шума в двенадцатом столетии, после чего пропала из виду аж до двадцатого. Но уверяю вас, сир, что это просто салонная игра, не заслуживающая в настоящую минуту внимания Вашего Величества.

— Тем не менее, прочитайте мне какую-либо часть ее.

Пришлось уничиженному ученому, из которого за последний час повыбивали все его софизмы и увертки, снять с каминной решетки обгорелую рукопись и, как будто он и впрямь приступал

к салонной игре, раздать животным по кругу несколько листков, на которых еще можно было что-то разобрать. Один за другим животные начали зачитывать их, словно изречения, извлеченные из праздничных хлопушек, и вот что они прочитали:

— «Бог поможет, — так скажет Додо.»

— «Медведь излечится от головной боли, отрубив себе голову, — но на спине у него сохранится болячка.»

— «Лев возляжет рядом с Орлом и скажет: Наконец-то все твари едины! Но Дьявол поймет соль этой шутки.»

— «Звездам, кои учат Солнце вставать, довлеет к полудню прийти с ним к согласию — или исчезнуть.»

— «Дитя, остановясь на Бродвее, воскликнет: Мама, смотри, вон человек!»

— «А много ли нужно времени, чтобы возвести Иерусалим? — спросит паук, остановившись без сил посреди своей паутины на первом этаже Эмпайр-Стэйт-Билдинг.»

— «Жизненное пространство ведет к пространству для размещения гроба, — заметил Жук.»

— «Сила рождает силу.»

— «Войны сообществ, сторон, стран, вер, конти-

нентов, цветов кожи. Затем десница Господня, — если не раньше.»

— «Имитация ( ) прежде действия спасет человечество.»

— «Лось помер оттого, что отрастил слишком большие рога.»

— «Для уничтожения Мамонтов вовсе не обязательно сталкиваться с Луной.»

— «Участь всех видов — их исчезновение как таковых, и в этом их счастье.»

Это изречение заставило зверей призадуматься, и наступило молчание.

— Каково значение пророчества, содержащего греческое слово?

— Сир, часть его значения, но лишь малая часть, такова: единственная надежда людского рода состоит в просвещении без насилия. Конфуций так говорит об этом:

Дабы распространять добродетель в мире, человек должен прежде править в своей стране.

Дабы править в своей стране, человек должен прежде править в своей семье.

Дабы править в своей семье, человек должен прежде, упражняясь в нравственности, научиться править собственным телом.

Дабы править собственным телом, человек

должен прежде править собственным разумом.

Дабы править собственным разумом, человек должен прежде быть честным в своих помышлениях.

Дабы быть честным в своих помышлениях, человек должен прежде увеличить свои познания.

— Понятно.

— Есть ли какой-либо смысл во всем остальном? — прибавил Король.

— Ни малейшего.

— Еще один вопрос перед тем, как мы оставим это кресло. Ты сказал, что политические воззрения не имеют касательства к нашей теме, однако они, по-видимому, столь тесно связаны с вопросом о сущности войны, что следует в какой-то мере разобраться и в них. В начале ночи ты объявил себя капиталистом. Ты продолжаешь не этом настаивать?

— Ваше Величество, если я и сказал нечто подобное, я не имел этого в виду. Просто барсук, споря со мной, выступал с позиций коммуниста тысяча девятьсот тридцатых годов, и это заставило меня в видах самозащиты принять на себя роль капиталиста. Подобно любому думающему человеку, я анархист. Говоря же по существу, человеческому роду по прошествии веков еще

предстоит увидеть разительные видоизменения капитализма и коммунизма, благодаря которым они, в конце концов, станут неотличимыми один от другого, приняв обличие демократий, — это же самое, кстати сказать, произойдет и с фашизмом. Однако, как бы не переиначивали себя эти три разновидности коллективизма и сколько бы столетий не истребляли они друг друга по причине присущей им ребяческой раздражительности, факт остается фактом: любые формы коллективизма ошибочны, если исходить из устройства человеческого мозга. Путь человека — это путь индивидуалиста, и в этом смысле у меня имелись основания со всей ответственностью одобрить капитализм, если это можно считать одобрением. Презренный капиталист викторианской эпохи, в значительной мере допускавший свободную игру индивидуальности, в своей политике был, вероятно, в гораздо более точном смысле этого слова футуристичен, чем все Новые Порядки, о которых так много крика стояло в двадцатом веке. Он принадлежал будущему, поскольку индивидуализм — это будущее человеческого мозга. Он не был столь архаичен, сколь фашисты и коммунисты. Но разумеется, и он при всем при том оставался в значительной степени архаистичным, и именно

поэтому я предпочитаю быть анархистом, то есть существом несколько более современным. Если вы помните, гуси тоже анархисты. Они понимают, что нравственные принципы должны исходить изнутри, а не снаружи.

— Я полагал, — жалобно вмешался барсук, — что коммунизм представляет собой шаг в направлении анархии. Я полагал, что при достижении истинного коммунизма государство должно отмереть.

— Слышал я и об этом, да мне что-то не верится. Я не понимаю, как можно раскрепостить личность, создавая первым делом всесильное государство. В природе нет государств, — разве что у чудищ вроде муравьев. Мне кажется, что люди, затевающие строительство государства, — вот как Мордред с его хлыстунами, — эти люди в итоге должны увязать в нем настолько, что избавление от него обратится для них в непосильное дело. Впрочем, не исключено, что сказанное тобою все-таки верно. Хотелось бы надеяться. Во всяком случае, давайте оставим эти сомнительные политические идеи тусклым тиранам, которые их исповедуют. Возможно, через десять тысяч лет, считая от нынешней ночи, для просвещенного человека и настанет пора заняться подобного

рода вопросами, но до того ему лучше обождать, пока род человеческий подрастет. Мы со своей стороны предложили этой ночью решение частной проблемы — проблемы силы, как высшего судии: решение это состоит в той очевидной банальности, что причиной войн является существование национальной собственности, с оговоркой, согласно которой стимулируются войны определенными железами. На этом давайте пока, во имя Божие, и остановимся.

Дрожащей рукой старый волшебник смел свои заметки в сторону. Осуждающие слова, произнесенные ежиком несколько времени назад, больно ранили его, ибо в глубине души он нежно любил своего ученика. Теперь, когда его царственный герой возвратился с победой, сделав правильный выбор, он знал, что мудрость его растрачена не впустую. Знал он и то, что роль наставника сыграна им до конца. Давным-давно он сказал Королю, что тот никогда уже больше не будет Вартом, сказал лишь для того, чтобы подбодрить его, ибо сам нисколько в это не верил. А теперь вот поверил, поняв, что пришла пора и ему уступить свое место, отказаться от власти, позволявшей ему направлять и указывать. Это отречение стоило ему его всегдашней веселости. Больше он не сможет

уже произносить напыщенных речей, приводить людей в оторопь и ослеплять их сверкающими складками своей магической мантии. Высокомерие учености выдохлось в нем. Он чувствовал себя дряхлым и пристыженным.

Старый Король, в котором все детское также сгинуло без следа, сидел за столом, вертя в руках листок бумаги. Размышляя, он обыкновенно наблюдал за своими руками. Он аккуратно складывал листок то так, то этак, затем опять разглаживал. Листок содержал одну из выписок Мерлина, предназначенную для картотеки и по рассеянности засунутую в «Пророчества»: цитату из летописца, которого звали брат Клинн и который умер в 1348 году. Этот монах, назначенный аббатством в хронисты, дабы он вел записи для истории, видел, как приближается Черная Смерть, намереваясь унести его, а быть может и целый мир, ибо она уже убила в Европе третью часть населения. Заботливо вложив несколько чистых листов пергамента в книгу, которую ему больше уже не суждено было заполнять, он завершил ее следующим посланием, некогда вызвавшем в Мерлине странное благоговение: «Видя столь много болящих, — писал он на латыни, — видя, как мор овладевает всем миром,

ожидая среди мертвых, когда смерть придет и за мной, я завершил описание того, что воистину слышал и удостоверил. И если написанному не должно гибнуть вместе с писавшим, а труду исчезать вместе с трудившимся, я оставляю немного листов для его продолжения, — на тот случай, что в будущем обретется среди живых некий муж либо кто иной из рода Адамова, избегнувший нынешней пагубы, и сможет продолжить труды, коим я положил когда-то начало.»

Король тщательно сложил листок и поискал для него места на столе. Члены комитета взирали на Короля, зная, что через минуту он встанет, и готовясь последовать его примеру.

— Ну, что же, — сказал Король. — Мы разрешили нашу задачу.

Он постучал краем сложенного листка по столу и поднялся.

— Нам следует возвратиться до наступления утра.

Поднялись и животные. Они проводили его до двери, стеснились вокруг, целуя Королевскую руку, прощаясь. Его теперь уже отставной учитель, которому предстояло еще доставить Короля назад, придерживал дверь. Был ли он сном или не был, но он уже начинал легко колыхаться и

таять, как и все остальные. Они повторяли:

— Доброй удачи Вашему Величеству, скорого и успешного разрешения ваших дел.

Король отвечал с печальной улыбкой:

— Мы надеемся, что разрешение будет скорым.

Но один из бывших там знал, что говорит он о собственной смерти.

— Так ведь это всего лишь на время, Ваше Величество, — промолвил T. natrix. — Помните историю про Святого Георгия? Homo sapiens и поныне таков. Вас ждет неудача, поскольку убивать — не по злобе, так по неведенью — в человеческой природе. Но неудача — зодчий удачи, и природа потихоньку меняется. Пример достойного человека всегда служит к наущенью невежественных и смиряет присущее им неистовство, — и так мало по малу, век за веком, пока не утихомирятся духи вод. А потому — стойкой отваги Вашему Величеству и спокойного сердца.

Король поклонился знающему и повернулся, чтобы уйти.

Но в последний миг чья-то лапка потянула его за рукав, напомнив про друга, о котором он позабыл. Ухватив ежа подмышки, он поднял его и подержал перед собой на вытянутых руках.

— Ах, ежик, — сказал он. — Нам должно побла-

годарить тебя за великую услугу. Прощай, ежик, веселой жизни тебе и сладких песен.

Но ежик, будто велосипедист, заболтал ножками, желая, чтобы его опустили. Очутившись на полу, он опять потянул Короля за рукав, и старик преклонил ухо, чтобы услышать ежиков шепот.

— Нет-нет, — хрипло промолвил ежик, стискивая лапки и серьезно глядя в глаза Королю. — Не говори «прощай».

Он еще раз дернул Короля за рукав, и голос его почти замер.

— Оривор, — прошептал ежик. — Оривор.

## 20

Ну вот, мы все же и добрались до конца нашего запутанного рассказа.

Артур Английский вернулся к людям, чтобы выполнить, как удастся, свой долг. Он заключил перемирие с Мордредом, решив про себя, что предложит ему половину своего королевства. Сказать по правде, он готов был отдать и все королевство, если это окажется необходимым. Как владения оно давно уже утратило для него всякую ценность, к тому же теперь он знал наверное, что мир важнее королевства. Однако он почитал своим долгом сохранить, по возможности, одну половину и вот по какой причине: если он сможет потрудиться хотя бы над половиной страны, ему, быть может, удастся привнести в нее зачатки того доброго разумения, которому научили его гуси и заседавшие в комитете животные.

Итак, они установили перемирие, и две армии лицом к лицу застыли в боевых порядках. Над каждой реял штандарт, сооруженный из поставленной на колеса корабельной мачты, к верхушке которой был прикреплен коробок, содержащий освященную гостию, а на самих

мачтах развевались знамена с изображениями Дракона и Чертополоха. Рыцари, принявшие сторону Мордреда, облачились в черные доспехи, плюмажи их также были черны, а на предплечьях зловеще светилась кровавого тона розга — значок Мордреда. Выглядели они куда более грозно, чем, может быть, сами себя ощущали. По рядам объявили, что никто не должен выказывать враждебных намерений и что всякому мечу надлежит оставаться в ножнах. Однако, сказано было далее, дабы уберечь себя от предательства, разрешается нападать на противника ради собственного спасения, если во время переговоров будет замечен обнаженный меч.

Артур вышел со своим штабом в прогал между армиями, и Мордред со своими облаченными в черное людьми выступил ему навстречу. Они сошлись, и старый Король снова увидел лицо своего сына, напряженное и осунувшееся. И он тоже, несчастный человек, забрел за край Одиночества и Печали, отыскивая страну Kennaquhair, но вышел он без проводника и сбился с пути.

Ко всеобщему удивлению, они договорились об условиях мира куда скорее, чем можно было надеяться. Король оставил за собою половину своей державы. Одно мгновение мир и радость

провисели на волоске.

Но именно в это мгновение, словно застывшее на острие ножа, ветхий Адам вновь поднял голову, обернувшись к ним новой своей стороной. Феодальные методы ведения войн, бароны-угнетатели, Сильная Рука, даже мятеж на идеологических основаниях, — Королю так или иначе удавалось справиться с ними, но лишь для того, чтобы на последней дистанции потерпеть поражение вследствие пустякового факта, состоящего в том, что человек — инстинктивный убийца.

Рядом с ними, у ног офицера из штаба Мордреда, скользнул в луговой траве уж. Офицер инстинктивно отпрянул, рука его метнулась поперек тела, сверкнув на миг розгою на предплечьи. Блестящий меч полыхнул в воздухе, норовя зарубить так называемую гадюку. И обе армии, решив, что случилась измена, гневно взревели. С обеих сторон опустились и замерли копья. И едва Король Артур метнулся к своим полкам — беловолосый старик, выставивший вперед узловатые длани так, словно он хотел оттолкнуть ими бойцов, до последней минуты противостоящий разливу Силы, которая во всю его жизнь, где бы он ей ни ставил преграды, прорывалась в новом месте, — едва успел он броситься к ним,

как шум и вой поднялись до небес, послышался воинственный клич, и две встречных волны сомкнулись над головой Короля.

Ланселот прибыл слишком поздно. Как он ни спешил, все оказалось напрасно. Он только и смог, что умиротворить страну и похоронить мертвецов. Затем, едва лишь установилось какое-то подобие порядка, Ланселот поспешил к Гвиневере. Предполагали, что она все еще в Лондонском Тауэре, ибо осада, предпринятая Мордредом, не увенчалась успехом.

Однако Гвиневера исчезла.

В ту пору уставы монастырей были не так строги, как ныне. Зачастую монастыри походили более на гостиницы для своих высокородных покровителей. Гвиневера приняла постриг в Эмсбери.

Королева чувствовала, что оба они настрадалась довольно и довольно причинили страданий другим. Она не пожелала ни увидеться со своим старинным любовником, ни обсудить с ним свой шаг. Она сказала, что желает примириться с Богом, и это было неправдой только отчасти.

Бог никогда особенно не занимал ее мыслей. Она неплохо разбиралась в догматах веры, но и не более того. Правда же состояла в том, что

она постарела и обрела мудрость: она знала, что Ланселот относился к Богу с куда большей страстностью, и что для него подобное обращение все равно неизбежно. И потому, ради Ланселота, ради того, чтобы облегчить ему этот шаг, великая Королева отрекалась теперь от того, за что боролась всю свою жизнь, подавая Ланселоту пример и оставаясь в своем выборе неколебимой. Гвиневера сошла со сцены.

Большая часть ее побуждений была Ланселоту ясна, и когда Королева отказалась увидеться с ним, он со стариковской галльской галантностью забрался в Эмсбери по стене. Он подстерег ее, попытался переубедить, но она осталась решительной и непреклонной. Видимо, что-то, увиденное ею в Мордреде, разрушило присущую ей прежде жажду жизни. Они расстались, чтобы никогда уже не встретиться на этой земле.

Аббатиса из Гвиневеры получилась прекрасная. Она правила своей обителью распорядительно, царственно, со своего рода величественным высокомерием. Маленьких учениц монастырской школы растили здесь в духе великой аристократической традиции. Им случалось видеть, как Гвиневера, прямая и величавая, сверкая камениями на пальцах, прогуливается по саду в светлом,

тонкого полотна облачении, надушенном вопреки уставу. Послушницы все до единой обожали ее с присущей школьницам пылкостью и шептались о ее прошлом. Она стала Благородной Старой Дамой. Когда она, наконец, почила, ее Ланселот, белоголовый, с изрезанными морщинами щеками, приехал за телом, чтобы отвезти ее к могиле мужа. Там, в этой достославной могиле, ее и похоронили: спокойное царственное лицо ее закрыли крышкой, забили гвоздями и упрятали в землю.

Что же до Ланселота, то он стал затворником ревностным. Вместе с семеркой своих рыцарей он принял постриг в обители близ Гластонбери и посвятил остаток дней монастырскому служению. Артур, Гвиневера, Элейна — всех их не стало, но и призраков, он любил их как прежде. Он молился за них по два раза на дню со всей его так и не узнавшей поражения силой и жил в радостном аскетизме вдали от людей. Он научился даже различать в лесах птичьи песни, ибо теперь у него хватало времени для всего того, чего лишил его дядюшка Скок. Он стал превосходным садовником и достославным святым.

— Ipse, — говорит средневековая поэма о другом старом крестоносце, бывшем в свое время, подобно Ланселоту, великим властителем, и так-

же, как он, удалившемся от мира:

Ipse post militae cursum temporalis, Illustratus gratia doni spiritualis, Esse Christi cupiens miles specialis, In hac domo monachus factus est claustralis

Он после мирского смятения войн, Исполнившись благодати духовного дара, Пожелал стать ревностным солдатом Христовым И был в сей обители пострижен в монахи.

Более прочих спокойный, милостивый и добрый, Белый, как лебедь, ибо лета его были преклонны, Ласковый, любезный и всеми любимый, Он нес в себе благость Духа Святого.

Часто посещал он Святую Церковь, Радостно выслушивал таинство мессы, Возносил, как только умел, молитвы И обращался мыслями к Славе Небесной.

Его кроткие и шутливые речи, Весьма достохвальные и полные веры, Доставляли всей братии радость, Ибо не был он важен и высокомерен.

И всякий раз, проходя по подворью, Он кланялся братьям направо и налево, И приветствовал, вскидывая голову, вот так, Тех, кого любил особенно нежно.

Hic per claustrum quotiens transient meavit, Hinc et hinc ad monachos caput inclinavit, Et sic nutu

capitis eos salutavit, Quos affectu intimo plurimum amavit.

Когда же пришел и его смертный час, в монастыре этот час сопровождался видениями. Старому аббату приснился неслыханной красоты колокольный звон и ангелы, которые, смеясь от счастья, возносили Ланселота в Небеса. Его нашли в келье мертвым, свершающим третье и последнее из своих чудес. Ибо скончался он среди того, что называют Ароматом Святости. Когда умирает святой, тело его наполняет комнату дивным благоуханием, — то ли свежего сена, то ли весеннего цветения, то ли чистого берега моря.

Эктор произнес над братом прощальное слово, — один из самых трогательных прозаических фрагментов в нашем языке. Он сказал:

— Ах, Ланселот, ты был всему христианскому рыцарству голова. И скажу теперь, сэр Ланселот, когда лежишь ты здесь мертвый, что не было тебе равных среди рыцарей на всей земле. И ты был благороднейшим из рыцарей, когда-либо носивших щит. И был ты для любивших тебя самым верным другом, когда-либо сидевшим верхом на коне. И был ты самым верным возлюбленным изо всех грешных мужей, когда-либо любивших женщину. И самым добрым человеком, когда-либо

поднимавшим меч. Ты был собой прекраснейшим изо всех в среде рыцарей и кротчайшим и учтивейшим мужем, когда-либо садившимся за стол вместе с дамами, а для твоего смертельного врага — суровейшим рыцарем, когда-либо сжимавшим в руке копье.

Круглый Стол распался под Солсбери, и малое число уцелевших рыцарей его с каждым днем все уменьшалось. Под конец их осталось лишь четверо: Борс-женоненавистник, Блеоберис, Эктор и Бламур. Старики совершили паломничество в Святую Землю, дабы помолиться за упокой души каждого из своих товарищей, и там, в Страстную Пятницу, они умерли во славу Господа, последние рыцари Круглого Стола. Теперь не осталось ни одного — только рыцари Бани и иных орденов, ничтожных в сравнении.

Участь же Короля Артура Английского, этого нежного сердца и средоточия всего, о чем здесь рассказано, и по нынешний день остается загадочной. Некоторые считают, что он и Мордред поразили один другого мечами. Роберт Торнтонский уведомляет, что некий хирург из Салерно, пользовавший Короля, осмотрев его раны, счел, что ему уже не поправиться, и потому Король «храбро прочитал In manus, не подымаясь с места,

где возлежал… и больше не промолвил ни слова». Те, кто придерживается этой версии, уверяют, что Короля погребли в Гластонбери под камнем, на котором значится: «HIC JACET ARTHURUS REX QUON DAM REXQUE FUTURUS», и что тело его было извлечено из земли Генрихом II, дабы нанести ответный удар валлийскому национализму, — ибо валлийцы уверяли даже, что великий Король вообще не погиб. Они верили, что он еще вернется, чтобы возглавить их, да к тому же еще утверждали, по обыкновению ложно, что Король был по национальности бритт. С другой стороны, Адам Домерхэмский сообщает нам, что раскопки производились в апреле 1278 года, при Эдуарде I, и что он сам при этом присутствовал; в то же время известно, что производились и третьи поиски, тщетные, уже при Эдуарде III, который, кстати, в 1344 году возродил Круглый Стол в качестве серьезного рыцарского ордена, подобного ордену Подвязки. Какова бы ни была подлинная дата раскопок, традиционно считается, что извлеченные из могилы кости принадлежали человеку исполинского роста, и что волосы у Гвиневеры были золотые.

Существует и иной широко распространенный рассказ, согласно которому компания Королев

увезла нашего героя в волшебной барке в долину Авалона. Говорят, что они переправились с ним через Северн в свою страну, дабы там залечить его раны.

Среди итальянцев бытует представление о некоем Артуро Магно, перенесенном на гору Этна, где, как они утверждают, его еще можно увидеть время от времени. Дон Кихот Испанский, весьма ученый джентльмен, хотя и спятивший по причине своей учености, придерживался того мнения, что Артур обратился в ворона, — утверждение, которое, быть может, и не покажется таким уж смехотворным тем, кто прочел наш скромный рассказ. Затем, есть еще ирландцы, которые, смешав Артура с одним из своих Фиц-Джеральдов, твердят, будто он на ранней заре еще скачет с подъятым мечом к Лондондерри-Эйр. Шотландцы, у которых имеется легенда о том, как

Рыцарь Артур
Мчит порою ночной
С копьем золотым
И горящей свечой,

и поныне клянутся его именем в Эдинбурге, где, как они верят, он восседал на Троне Артура. Бретонцы уверяют, что они иногда слышат его

рог и видят, как он скачет в доспехах, — они тоже верят, что он вернется. Напротив, в книге, называемой, «Возвышенная История Святого Грааля», переведенной раздражительным ученым по имени д-р Себастиан Эванс, сказано, будто Артура мирно похоронили в доме молитвы, «что стоит у начала Опасных Болот». Некая мисс Джесси Л. Эстон упоминает о рукописи, которую ей угодно было датировать 1533-м годом, и которая в согласии с «Le Morte d'Arthur» заверяет, что одной из явившихся за ним Королев была никто иная, как престарелая ворожея Моргана, его сводная сестра, и что она увезла его на волшебный остров. Д-р Соммер почитает все это нелепицей. Множество различных мужей, коих звали Вольфрам фон Эшенбах, Ульрих фон Цацикгофен, д-р Вехслер, профессор Циммер, м-р Натт и так далее, либо полностью обходят этот вопрос, либо сохраняют ученое недоумение. Чосер, Спенсер, Шекспир, Мильтон, Вордсворт, Теннисон и множество иных надежных свидетелей согласны в том, что Артур все еще пребывает на земле: Мильтон, правда, склонен считать, что он находится под землей («Arturumque etiam sub terris bella moventem» — «Также и Артур движет свои войска под землею»), тогда как Теннисон полагает, что он еще

посетит нас «в облике современного Джентльмена величавой осанки», — вероятно, похожего на принца-консорта. Вклад же Шекспира состоит в том, что он поместил своего любимого Фальстафа (после кончины оного) в лоно не Авраама, но Артура.

Легенды простонародья прекрасны, странны и определенны. Гервазий Тилберийский, писавший в 1212 году, сообщает, что в пущах Бретани «лесные обитатели рассказывают, будто через день на другой, около полудня или же в полночь, когда луна полна и сияет, они часто видят отряд охотников, каковые в ответ на распросы, говорят, будто они из числа друзей и челядинцев Артура». Это, однако, скорее всего попросту шайки браконьеров— саксов, — вроде людей Робина Вуда, — давших своей ватаге прозвание в честь древнего Короля. Жители Девона привычно показывают среди скал своего побережья «печь и кресло» Артура. В Соммерсетшире имеются две деревушки, называемые Восточный и Западный Камел(от), упоминаемые Леландом, они буквально пропитаны легендами о Короле, и поныне восседающем где-то в своей золотой короне. Следует отметить, что река Айвел, откуда, согласно Драйтону, «берут начало все наши рыцарские

подвиги и отважные деяния», течет по тому же самому графству. Также и приходской священник Южного Кэдбери сообщает о своей пастве: «в народе поговаривают, что в полнолуние Король Артур со своими людьми скачет вкруг холма на подкованных серебром конях и там, где они проезжают, находят серебряные подковы, а объехав холм, они останавливаются, дабы напоить коней из волшебного источника». Наконец, в Корнуолле есть деревушка, называемая Бодмин, жители которой верят, что Король обитает в одном из местных могильных холмов. В 1113 году они даже напали прямо во дворе монастыря на группу монахов из Британии — дело совершенно неслыханное, — позволивших себе усомниться в справедливости их предания. Следует признать, что некоторые из этих дат едва ли согласуются с и без того весьма противоречивой артуровской хронологией, и потому Мэлори, этот великий человек и благороднейший из источников нашего повествования, хранит по данному поводу сдержанное молчание.

Что до меня, то я никак не могу забыть о последнем прощании ежика вместе с намеком Дон Кихота и подземной грезой Мильтона. Это лишь немногим больше, чем теория, но может быть,

обитателям Бодмина стоит осмотреть их могильники, и если среди них найдется один большой, похожий на кротовую кочку, — и особенно если вблизи от него обнаружатся барсучьи следы, — мы сможем прийти к некоторым заключениям. Ибо я склонен верить, что возлюбленный мой Артур грядущего в самую эту минуту сидит в Профессорской Колледжа Жизни среди своих ученых друзей, и все они, напрягая разум, обдумывают, как получше помочь нашему удивительному виду: и я, со своей стороны, уверен, что в некий день, когда не только Англия, но и весь наш мир ощутит в них нужду и окажется готовым прислушаться к доводам разума, — если, конечно, это вообще когда-либо случится, — они в радости и славе выйдут из своего форта, и может быть, вновь принесут нам счастье, рыцарство и старинное средневековое благословение в лице нескольких простых душою людей, которые хотя бы пытались своими скромными силами угомонить древний жестокий сон Атиллы Гунна.

Explicit liber Regis Quondam, graviter et laboriose scriptus inter annos MDCCCCXXXVI et MDCCCCXLII, nationibus in diro bello certantibus. Hic etiam incipit, si forte in futuro homo superstes pestilenciam possit evadere et opus continuare inceptum, spes Regis

Futuri. Ora pro Thoma Malory Equite, discipuloque humili ejus, qui nunc sua sponte libros deponit ut pro specie pugnet.

Здесь завершается книга о Короле Былых Времен, написанная со многими трудами в года с 1936-го по 1942-й, когда народы предавались ужасной войне. Здесь начинается также, — если по счастливой случайности найдется в будущем муж, который переживет эту пагубу и сможет продолжить начатую работу, — надежда на Грядущего Короля. Молитесь за Томаса Мэлори, рыцаря, и за его смиренного ученика, который ныне по собственной воле откладывает в сторону свои книги и уходит сражаться за подобных ему.